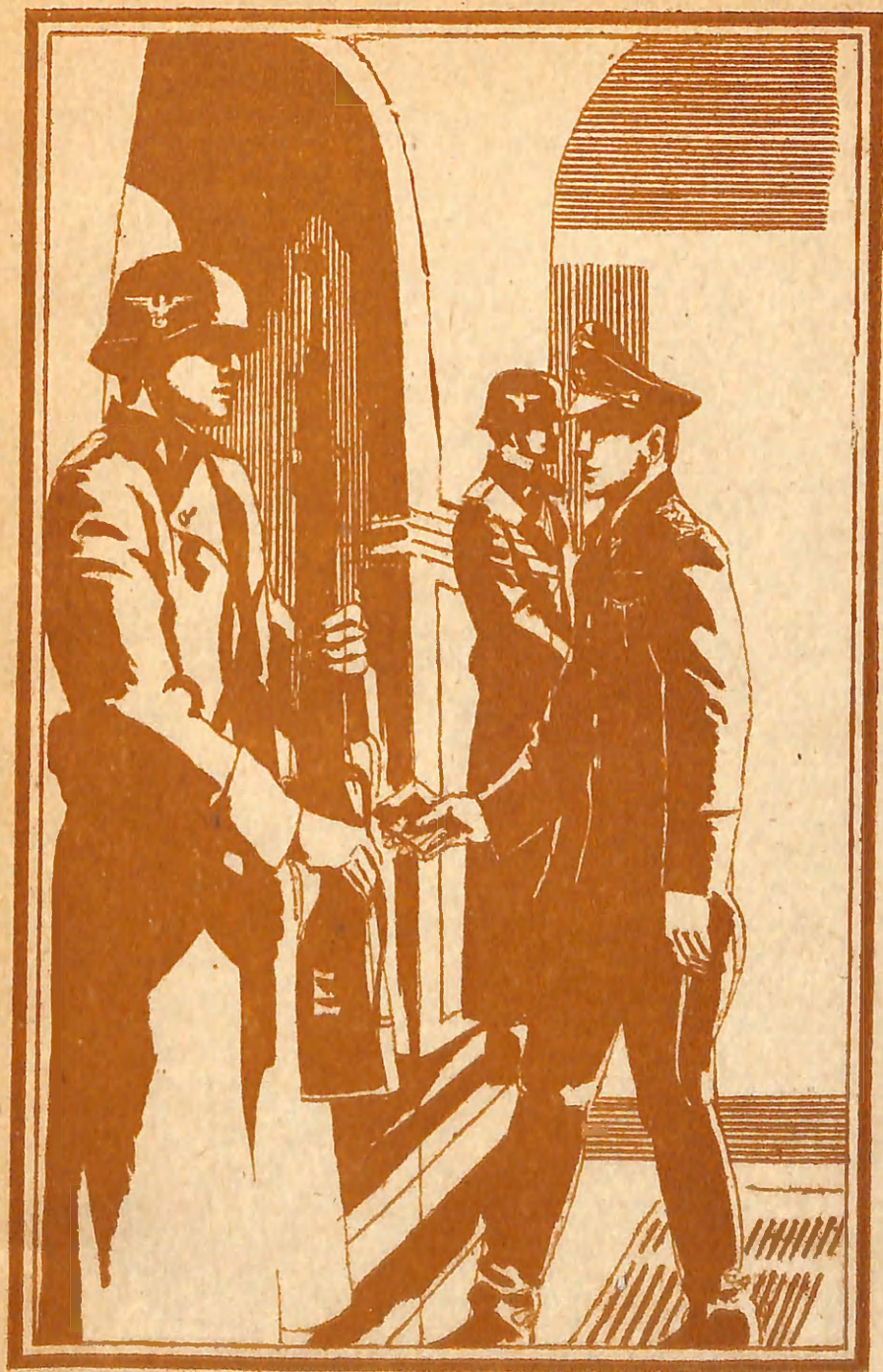


ПШТ И МЧ

ЩИТ И МЕЧ

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»





ВАДИМ
КОЖЕВНИКОВ

ЩИТ
И МЕЧ

РОМАН



КИШИНЕВ
«ЛУМИНА»
1983

Художник А. Хмельницкий

Кожевников В. М.

К 58 Щит и меч. Роман — Кишинев: Лумина, 1983. — с. 856.

Роман Вадима Кожевникова «Щит и меч» воспроизводит героическую, связанную с постоянной опасностью для жизни работу советского разведчика, действующего за пределами нашей Родины.

События, отраженные в романе, развиваются в конце тридцатых годов в Прибалтике, затем в Польше и в нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

К 4702010200—009
м 752(12)—83

Без объявления

84P7

Печатается по изданию: Кожевников В. Щит и меч. М.: Советский писатель, 1976.

© Оформление. Издательство «Лумина», Кишинев, 1981.



1

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин, по национальности немец.

Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Хотя у погибшего были похищены различные ценности: обручальное кольцо, часы, бумажник, — однако часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошенном в канализационный колодец, что исключило версию об убийстве с целью грабежа.

Скорее можно было предполагать организованную террористическую акцию.

Убит был крупный специалист в области радиотехники — инженер Рудольф Шварцкопф.

Его сын Генрих Шварцкопф, студент Рижского политехнического института, потрясенный смертью отца, не дал никаких показаний.

В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс, слесарь-механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей Фридриху Кунцу.

По имеющимся сведениям, Иоганн Вайс в день убийства длительное время находился в квартире Шварцкопфа, где монтировал какие-то приборы, заказанные инженером. Кроме того, Вайс состоял в дружественных отношениях с сыном Шварцкопфа, который увлекался мотоциклетными гонками, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезные усовершенствования в принадлежащий Генриху Шварцкопфу мотоцикл фирмы «Цундап», чем помог тому выиграть недавно состязания на кубок. Было известно, что Иоганн Вайс аккуратно посещает собрания «Немецко-балтийского народного объединения» и бесплатно отремонтировал автомашину крей-

слеятера этого «объединения» адвоката Себастьяна Функа, у которого он в свободное время работал шофером.

На допросе Иоганн Вайс вел себя крайне сдержанно, отвечал на вопросы уклончиво. А когда молодой сотрудник латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул Вайса, что тот не желает помочь следствию, хотя убит его соотечественник, Иоганн Вайс ответил, что не видит ничего удивительного в том, что убит именно его соотечественник. Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недружелюбно.

Эти слова возмутили следователя. И он стал упрекать Вайса: как, мол, ему, молодому рабочему, не стыдно говорить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно теперь, как никогда, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех рабочих, независимо от их национальности?

Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его холодному, спокойному лицу нельзя было понять, как он воспринимает то, что говорит ему следователь — тоже молодой рабочий, только недавно ставший сотрудником уголовного розыска. Сюда его направила партийная организация стекольного завода, хотя к новой профессии он не имел ни призвания, ни способностей. Об этом сотрудник вгорячах тоже сказал Вайсу, но не вызвал у того никакого сочувствия.

Из уголовного розыска Вайс пошел в кафе, где заказал пиво, сосиски и неторопливо позавтракал. И столь же неторопливо отправился на остановку, пропустил один трамвай, сел только в следующий и всю дорогу меланхолично глядел в окно. Не доезжая остановки до дома, где жил крейслайтер «Немецко-балтийского народного объединения» адвокат Себастьян Функ, вышел и поспешно, чуть ли не бегом, устремился вперед.

Себастьян Функ, упитанный, широкоплечий, почти квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими щеками, нетерпеливо топтался возле подъезда своего дома. Когда Вайс подал к парадному старомодный «адлер», Функ с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросил:

— Почему я должен ждать машину, а не машина меня?

Вайс кротко ответил:

— Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.

— Какие еще могут быть у тебя неприятности? — брезгливо буркнул Функ и пообещал: — Это я тебе сегодня сделаю неприятность. — Но все-таки, смилостивившись, осведомился: — Ну, что у тебя там такое?..

По мере того как Вайс подробно рассказывал, о чем его допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа приобретало все

¹ Районного руководителя (нем.).

более благодушное выражение. Он похлопал шофера по плечу:

— Это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец.

— Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. И я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.

— Ничего не понадобится,— небрежно сказал Функ.— Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.

— Ну какой же я рабочий? — горячо возразил Вайс.— Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.

— Да, и потому, что ты этого не знал, ты несколько месяцев так трогательно ухаживал за своей больной тетушкой, что вся община говорила о тебе как об исключительно порядочном юноше. Не удивляйся. Я, как крейслейтер, считал своим долгом знать о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.

— Но я же любил свою тетушку, хотя, конечно, сильно огорчился, что не получил наследства.

Функ покачал головой.

— Я полагаю, на кладбище ты плакал в равной мере и о тетушке и о наследстве...— Спросил сухо: — Ты все еще колеблешься — ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?

— Господин Функ,— сказал Вайс,— теперь я решил: ехать, и как можно скорее.

— Почему теперь, а не раньше?

— Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал её фиктивным владельцем. Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Но мне теперь ясно, мастерскую конфискуют. И я буду вынужден пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.

— Вот теперь я слышу голос немецкой крови! — одобрительно закивал головой Функ.

Вечером, когда Вайс, вымыв машину, протирает стекла замшевым лоскутом, в гараже неожиданно появился Функ (раньше он туда никогда не приходил) и спросил:

— Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы выразить ему соболезнование?

— Его отец всегда хорошо ко мне относился.

— Это я знаю,— сердито сказал Функ,— но не могу понять, почему.

— Я всегда аккуратно выполнял его заказы.

— И еще?

— Я помогал ему в свободное время, ведь он был изобретатель.

— А над чем он работал?

— К сожалению, я недостаточно образован, чтобы понимать, над чем он работал.

— Да, глупая у тебя голова,— изрек Функ. Понизил голос, сказал твердо и веско: — А теперь слушай. Если ты решишь уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты уедешь туда, потому что мы этого еще не решили. Но мы решим, чтобы ты уехал, если уедет Генрих Шварцкопф. А чтобы он уехал, ему надо знать, что так же собирался поступить его отец.

— А разве он этого не знает?

— До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно Рудольф прислал мне письмо... Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо.

— А может, лучше просто показать письмо Генриху, ведь он всегда делал то, чего хотел его отец.

Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал:

— Я тебе доверяю, Иогани, доверяю, как своему сыну. Это письмо у меня пропало. И я думаю, его похитили агенты НКВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был нужен как крупный инженер, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что Шварцкопф собирается уехать, убили его.— И произнес высокопарно: — Теперь наш долг — вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя которого сейчас большой человек в Германии. Он мечтал прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в исключительно привилегированном положении по сравнению со всеми нами.— Спросил: — Ты все понял?

— Да, я скажу Генриху, что буду самым преданным ему человеком, если он согласится в ближайшие дни уехать.

— Это так, но и мне ты тоже кое-чем обязан,— напомнил Функ.— Без моего согласия тебе не выбраться отсюда.

Даже лучший специалист не смог придать умиротворенного выражения искаженному ужасом лицу Рудольфа Шварцкопфа,— в гробу его прикрыли крепом.

Немцы, жившие в Риге, недолюбливали Шварцкопфа за высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественникам, и за слишком демонстративное уважение к профессору Гольдблату.

Дружить с евреем, пусть даже он гений,— ведь это вызов обществу!

Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына, чтобы тот просил руки дочери профессора Гольдблата. Правда, поговаривали также, что если соединить работу Гольдблата — ученого-теоретика — с энергичной деятельностью Шварцкопфа в области техники, то это сулит такие патенты, приоб-

рстением которых могут заинтересоваться даже великие державы.

Высокий, статный, со строгим лицом и надменными манерами, Рудольф Шварцкопф сумел создать себе репутацию холодной, решительной натуры, но, в сущности, был человеком крайне неуравновешенным, мнительным и болезненно самолюбивым.

Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию объяснялось главным образом тем, что у него там был младший брат, которого он не без основания считал бездарным, тупым пруссаком. Прижитый отцом от горничной еще при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь стал крупной фигурой в гитлеровском рейхе. И он, несомненно, воспользуется своим положением, чтобы по-своему отомстить старшему брату за его брезгливо-высокомерное отношение к себе: будет оказывать ему снисходительное покровительство, требуя взамен почтительности к своей матери, бывшей горничной Анни, а ныне вдовствующей госпоже фон Шварцкопф.

Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отношение к радиотехнике, и почти ничего не знал в других областях человеческой мысли.

К фашизму он относился терпимо, считая, что фашизм выражает слепое отчаяние нации, униженной военным поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных государств обладают нормальным человеческим мышлением, чуждым идеям иступленной жертвенности во имя мирового господства или любви к отечеству.

Брат Рудольфа, штурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, неоднократно писал крейслайтеру Функу, что теперь, когда Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание там Рудольфа может повредить его, Вилли, партийной карьере, и требовал от крейслайтера принятия решительных мер.

Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа председатель Совнаркома Латвии посетил инженера и спросил, как тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост директора научно-исследовательского института.

Шварцкопф сказал, что подумает.

В тот же день к нему без предупреждения явился крейслайтер Функ и с возмущением заявил, что немецкие круги в Риге считают поведение Шварцкопфа предательским по отношению к национальным интересам рейха.

Генрих не придавал особого значения чрезвычайной взволнованности отца после этого визита. Раздраженное самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоминали о брате-штурмбанфюрере, проявляющем большую осведомленность о всех его делах и поведении.

Успокоился Шварцкопф только тогда, когда Иоганн Вайс

принес заказанные ему приборы, выполненные не только с особой тщательностью, но и с дополнительными техническими усовершенствованиями, которые не были предусмотрены в чертежах.

Иоганн Вайс держал себя у Шварцкопфа непринужденно, но с тем особым тактом, который невольно импонировал инженеру, не терпящему никакой фамильярности.

Вайса отличали сдержанность, готовность услужить, но не было в нем и тени угодливости. Чувствовалось, что он преклоняется перед знаниями своего патрона. Однако его любознательность в области техники не простиралась дальше заказов, которые он выполнял. И когда Шварцкопф увлеченно начинал рассказывать о задуманных работах, Вайс вежливо напоминал, что он недостаточно образован и, к сожалению, ему трудно понять технические идеи, которые развивал перед ним Рудольф Шварцкопф.

С Генрихом Шварцкопфом у Вайса были самые дружеские отношения, но и с отцом он держал себя со скромным достоинством человека, отлично сознающего разделяющее их неравенство в положении.

Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что Иоганн — настоящий друг, и даже ввел его в дом профессора Гольдблата, дочь которого Берта по воскресеньям собирала у себя молодежь, преимущественно музыкальную. Берта училась в консерватории, но уже давала концерты, и не только в Латвии: года два назад она выступала в Стокгольме и Копенгагене. На музыкальных вечерах Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке. А перед ужином отправлялся на кухню и помогал кухарке нарезать тонкими ломтиками ветчину для сэндвичей, откупоривал бутылки, колот лед для коктейлей.

Когда Генрих спрашивал Иоганна, какого он мнения о Берте, Вайс говорил:

— Красивая!

— Ну, а еще?

— Талантливая...

— Ну-ну, дальше? — нетерпеливо требовал Генрих.

— И она будет знаменитой.

Генрих мрачнел и говорил, нервно дергая плечом:

— Вот именно. И ей нужен супруг, который будет таскать за ней чемодан, оклеенный этикетками всех отелей мира. И отец требует, чтобы я женился на этой гордячке во имя его целей; он хочет сделать профессора сотрудником своей фирмы «Рудольф Шварцкопф».

— Но почему ты считаешь ее гордячкой?

— А потому, что она со своим фортепьяно мечтает о личной власти над толпой так же, как мы, немцы, о мировом господстве!

— Ну, это не одно и то же...

Генрих произнес раздраженно:

— Отец, пожалуй, не очень-то симпатизирует фашизму. Он сам хочет прибрать к рукам Гольдблата, претворить его замыслы в патенты и стать единоличным властелином фирмы, торгующей техническими идеями. И таким способом диктовать свою волю самым крупным мировым концернам.

— Он технократ и фантазер.

— Но он очень талантливый человек. А я?

Вайс заколебался:

— Ты слишком разбрасываешься. И, по-моему, излишне увлекаешься спортом.

— Это помогает ни о чем не думать.

— По-моему, это невозможно — не думать.

— Вот я и стремлюсь к невозможному, — резко закончил разговор Генрих.

Иоганн Вайс последние месяцы всегда сопровождал Генриха на мотодром и на взморье, где Генрих тренировался на мотоботе.

Месяца три назад, когда они однажды вышли в море в плохую погоду, разразился шторм. Сильной волной мотобот перевернуло. Вайс спас Генриха. Но когда Генрих торжественно заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоганна, Вайс попросил Генриха никому об этом не говорить; если появится заметка в газете, владелец автомастерской Фридрих Кунц уволит его с работы, потому что владельцы мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Кунца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая своего рабочего обслуживать спортивные катера.

Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным, а его рассудочность принимал за чисто национальный практицизм, внушенный старонемецкой добропорядочностью, не более.

О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь на то, что рано осиротел. Работал он на ферме, принадлежащей эмигрантам из России. Родственную ласку узнал, только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда к ней пришло одиночество и страх смерти. Эта тетка помогла ему почувствовать себя снова немцем. У нее была хорошая библиотека. И только из книг он узнал кое-что о своей родине, которую он, конечно, любит, но, увы, недостаточно знает. Но лекции в клубе объединения помогли ему более полно узнать то, что он знал лишь поверхностно.

В мотоклубе Вайс бывал только в качестве личного механика Генриха и никогда не переступал черты, отделяющей технического рабочего от истинного спортсмена. Он не отказывался подготовить машину к пробегу, произвести на месте мелкий ремонт, но, закончив работу, каждый раз писал на

блокиоте счет, отрывая листок, давал его владельцу машины и недовольно хмурился, если с ним затягивали расчет.

Получая сверх положенного, он сдержанно благодарил, но никогда при этом не улыбался.

Со спортсменами держал себя с чопорной вежливостью. И хотя он нравился некоторым девицам в вызывающе обтягивающих фигуру кожаных костюмах, ни одну из них он не соглашался сопровождать в далекие загородные поездки. И когда Генрих, смеясь, спросил, не боится ли он потерять невинность, Иоганн серьезно ответил, что больше всего боится потерять клиентуру мастерской: он только следует правилам поведения, которые ему внушил господин Фридрих Кунц.

Генрих назвал это проявлением рабской психологии.

Иоганн ответил, что настолько дорожит своей службой, что ради нее готов отказаться от многих удовольствий.

Генрих усмехнулся:

— На твоём месте я бы из одного чувства классового протеста поторжествовал над буржуазией. Тем более — внешние данные для этого у тебя вполне подходящие.

Иоганн пожал плечами и заявил, что, хотя теперь он действительно рабочий, это вовсе не означает, что он останется им навсегда.

— Ну да, — усмехнулся Генрих, — ты рассчитываешь, что, как только переселишься в рейх, перед тобой откроются блестящие перспективы!

— Нет, — сказал Иоганн, — на особо блестящие перспективы я не рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня сразу возьмут в солдаты.

— И все-таки хочешь уехать.

— Я не расстался со своими колебаниями, — с грустью признался Иоганн, — но я немец, и долг для меня превыше всего, хотя я и понимаю, что быть солдатом не самая завидная участь.

— Не унывай, старина! — Генрих снисходительно похлопал его по плечу. — Дядя Вилли заочно испытывает ко мне родственные чувства. Он большой человек, и даже если мы с отцом не поедem в Германию, мы дадим или, вернее, я дам тебе письмо к дяде, и он тебя сунет куда-нибудь, где тебе будет потеплее. Можешь быть уверен.

— Я буду за это весьма признателен, — учтиво сказал Вайс, — тебе, твоему отцу и господину Вилли Шварцкопфу.

— Ну, отец-то его недолюбливает, считает плебеем, ревнует к фамильной чести нашего рода. А дядя меня очень зовет, писал, что уже заказал специально для меня гоночную машину в Праге — он там близкий человек к гаулейтеру. Сейчас он снова в Берлине, но писал, что встретит нас с отцом на новой границе новой Германии и что мы даже не подозреваем, как она от нас близка.

— А какого класса машина? — заинтересовался Иоганн.
— В письме дядя подробно описал все ее технические достоинства.

— Мне было бы интересно ознакомиться.

— Пожалуйста, — сказал Генрих и протянул письмо Иоганну.

Вайс спросил:

— Но ты не возражаешь?

— Ну что ты!

Вайс пробежал глазами письмо, воскликнул восхищенно:

— Поздравляю! Это же отличная машина. — И вдруг заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить одну срочную работу.

2

Иоганн Вайс отправился к Шварцкопфам, надев черный галстук. Домоправительница принимала соболезнующих визитеров в гостиной. Люстра была затянута черным крепом.

Генрих Шварцкопф не выходил из кабинета отца. Но Вайсу домоправительница сказала, что молодой хозяин ждет его. Вайс полагал, что найдет Генриха убитым отчаянием, и был несколько удивлен, увидев, что тот деловито разбирает бумаги отца и укладывает их в два больших кожаных чемодана. Не подавая Иоганну руки, он сказал:

— Я уезжаю. Дядя сообщил телеграммой, что выедет встречать. — Лицо его было бледным, но не горестным а скорее каким-то ожесточенным. Спросил вскользь: — Ты готов меня сопровождать?

Вайс кивнул. Потом добавил:

— Если крейслейтер господин Функ оформит мой выезд.

— Функ сделает все, что я ему прикажу, — властно заявил Генрих и злобно добавил: — Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию. И не принял мер для его спасения. Я уверен, Функ — светский агент. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть Советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намеряют жертвами.

— И давно у Функа были такие подозрения?

— Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался. И поплатится за это.

В комнату вошла Берта Гольдблат. Генрих окинул ее взглядом, заметил:

— О! Тебе идет черное!

Девушка, делая вид, что не придает значения этим сло-

вам, или действительно пренебрегая ими, осторожно и нежно притронувшись длинными, тонкими пальцами к плечу Генриха, сказала:

— У папы сердечный приступ. Он просит извинить, что не мог навестить тебя. — И, снимая черные перчатки, сообщила: — Мне предложили выступить в Москве с концертной программой, но я отказалась. — Она опустила глаза, как бы объясняя, почему отказалась: — У тебя такое горе, Генрих!..

Генрих дернул плечом.

— Евреи — в Москву! Немцы — в Берлин! — Оглянувшись на Вайса, показав глазами на Берту, спросил: — Любуешься, верно? Ей идет черное! Но в Берлине ты не увидишь еврейки, которая носила бы траур по немцу.

Берта гордо вскинула голову.

— В Берлине вы также не увидите немку, которая носила бы траур по евреям, которых там убивают...

— Фашисты, — добавил Вайс.

— Давайте лучше выпьем, — примирительно предложил Генрих и, наливая вино в бокалы, озабоченно сказал: — Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба, которую он, как честный человек, несомненно бы выполнил. Поэтому я обращаюсь с той же просьбой к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я прошу, чтобы мне их вернули, хотелось бы получить их сегодня же.

— Но твой отец работал вместе с моим. Как я могу без помощи папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу?

— Это тебе посоветовал... Функ? — спросил Вайс у Генриха.

Генрих замялся. Он никогда не лгал. Произнес уклончиво:

— Разве я не могу настаивать, чтобы все, что принадлежало отцу, было возвращено мне, как наследнику?

— А мне кажется, на этом настаивает Функ, — сказал Вайс.

Генрих бросил гневный взгляд на Иоганна, но тот, ничуть не смущаясь, объяснил:

— Господин крейслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев — это естественно. — И предложил: — Если хочешь, я помогу фрейлейн Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца, кроме того, он поручал мне незначительные чертежные работы.

— Да, пожалуйста, — согласился Генрих.

Берта вздохнула с облегчением:

— Будет лучше всего, если Иоганн мне поможет.

Раздался телефонный звонок. Вайс снял трубку, подавая ее Генриху, сказал:

— Профессор Гольдблат.

— Да,— сказал Генрих,— я вас слушаю... Да, я разрешил крейслейтеру войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте... Да выслушайте меня!.. — Он с растерянным видом повернулся к гостям...

Берта, побледнев, поднялась с кресла. Вайс, с чрезмерным вниманием разглядывая свои новенькие ботинки, пробормотал:

— А мне казалось, что покойный господин Шварцкопф никогда не выражал ни дружеских чувств, ни особого доверия к Функу и был бы очень удивлен, узнав, что тот проявил такую заботу о его работах.

Берта сказала дрожащим, срывающимся голосом:

— Я очень сожалею, Генрих. Очень. Я должна идти.— Холодно кивнула и вышла из комнаты.

— Проводи,— попросил Генрих.

Вайс вышел вслед за Бертой. Она шла молча, быстро.

— Что с ним? — спросила она, не поворачивая головы к Вайсу.

Тот пожал плечами.

— Его окружают сейчас те, кого не очень-то жаловал Рудольф Шварцкопф.

— Но ведь невозможно так сразу стать совсем другим.

— Вы его любите?

— Да, мне нравится Генрих. Но я никогда не была в него влюблена.

— А он?

— Вы знаете его лучше, чем я. Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца обыск. Там какие-то люди из немецкого объединения. Это может убить его.

— А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну хотя бы для того, чтобы были свидетели?

— Ну вот вы и будете свидетелем.

— Я не могу,— поспешно сказал Вайс,— господин крейслейтер может помешать моему отъезду, и...

— Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны. Я прошу вас оставить меня.— И Берта перешла на другую сторону улицы.

Вайс вернулся к Шварцкопфу.

Генрих спросил:

— Ну?

— Она не ожидала от тебя этого.

— Я спрашиваю не что она, а что ты обо мне думаешь.

Вайс уселся поудобнее в кресле, закурил.

— Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, тебе следовало самому взять их у профессора. Отвези их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме.

— О! Ты, я вижу, стал рационально мыслить. И не желаешь замечать, что я вел себя как подлец.

— Я уже говорил, что ты следовал наставлениям Фупка, а твой отец его не уважал. Вот и все. Кроме того, я еще не проникся сознанием своего арийского превосходства, чтобы говорить так, как ты с Бертой.

— Ты любишь евреев?

— Влюблен в БERTY не я, а ты.

— Мне надоело слушать, что она талантливая, знаменитость! А я...

— Что ты?

— Обыкновенная посредственность.

— Ну, ерунда. Если ты пойдешь по стопам отца, ты займешь надлежащее место в жизни. И в этом тебе мог бы помочь профессор Гольдблат.

— Каким образом?

— Тебе ничего не советовал по этому поводу дядя Вилли?

— Да, он писал... что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу. Но под руководством отца.

— Значит, твой дядя будет огорчен, когда узнает, что ты поссорился с дочерью профессора.

— А какое ему дело?

— Ну как же! Ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.

— Ты что, действительно считаешь меня негодяем?

— Нет, почему же? Если рейху нужен ценный еврей, надо делать то, что нужно рейху.

— Ты как-то странно изменился, Иоганн. Почему?

— Ты тоже. И возможно, оттого, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать наци.

— Но это отвратительно — то, что ты мне сейчас говорил. Вайс пожал плечами.

Генрих задумался. Потом спросил:

— Значит, ты советуешь мне не уезжать отсюда и стать если не зятем, то хотя бы учеником Гольдבלата?

— А что тебе говорил Функ?

— Он требует, чтобы я не медлил с отъездом.

— Тогда что ж, тогда у меня к тебе одна просьба: скажи Функу, что берешь меня с собой.

— Я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия?

— Но ты так ему скажешь?

— Без тебя я не поеду, — твердо заявил Генрих, — ты сейчас единственный близкий мне человек. — Улыбнувшись, он проговорил: — Я даже не могу понять: ведь знакомы мы все-

го несколько месяцев, а у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.

— Благодарю тебя, Генрих,— сказал Иоганн.

Генрих пожал протянутую руку, помедлил и обнял Вайса...

Рано утром, как всегда точно, минута в минуту, Иоганн Вайс подал машину к подъезду.

Функ приказал ехать в гавань.

Последние переселенцы должны были отправиться по железной дороге. Несмотря на это, Функ, пользуясь ранее выданным ему пропуском, каждый день посещал Рижский порт, обходил причалы и просил Вайса фотографировать его на фоне портовых сооружений.

Развалившись на сиденье, Функ заметил одобрительно:

— Аккуратность и точность — отличительная черта немца. Ты был вчера вечером у Генриха Шварцкопфа?

— Да, господин крейслейтер.

— Кто еще там был?

— Дочь профессора.

— Как провели время?

— Берта и Генрих поссорились.

— Причина?

— Генрих дал ей почувствовать свое расовое превосходство.

— Мальчик становится мужчиной. При тебе звонил профессор?

— Да, господин крейслейтер.

— У Генриха испортилось настроение после разговора с профессором?

— Нет, господин крейслейтер, я этого не заметил. Но он был взволнован.

— Чем?

— Разрешите высказать предположение?

Функ кивнул.

— Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора. И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые, особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для рейха.

— Генрих растет на глазах,— одобрил Функ.— Не только его, но и нас это тоже беспокоит. Но дочь Гольдблата привела в дом латышей, которые представляют советскую власть, и они не разрешили взять бумаги — описали их и опечатали. Мы обратились с протестом к своему консулу.

— Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.

— Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.

— И теперь ничего нельзя сделать?

— Мы думаем,— со вздохом произнес Функ,— что потеряли эту возможность.— Он взглянул на своего шофера.— Ты мне будешь рассказывать про Генриха все, как сейчас?

— Я это делаю охотно, господин крейслейтер.

— И будешь делать впредь, даже если тебе не захочется.— Он помолчал.— Ты выедешь в Германию вместе с Генрихом. Так мы решили. Ты доволен?

— Да, господин крейслейтер. Я рассчитываю на Генриха, его дядя может помочь мне попасть в тыловую часть. Не очень хотелось бы сразу на фронт.

Функ усмехнулся:

— Ты со мной откровенен. Это хорошо! А то я не мог понять, почему ты так бескорыстно дружишь с Генрихом. Это подозрительно.

В гавани Функ приветствовал служащих порта, поднимая сжатый кулак и произнося при этом:

— Рот фронт!

Но никто не отвечал ему тем же. Рижские портовики хорошо знали, кто такой Функ.

Несколько десятков тысяч немцев, живших в Латвии, имели свое самоуправление: «Дойчбалтише фольксгемейншафт» — «Немецко-балтийское народное объединение», которое расчленилось на отделы: статистический, школьный, спортивный, сельскохозяйственный и другие.

Статистический отдел занимался регистрацией всех немцев по месту жительства. Для этого страна была разделена на районы — «дойчбалтише нахбаршафтен».

В провинции, где жило сравнительно мало немцев, главным образом фермеры, одна нахбаршафт соответствовала области, а в городах Риге, Либаве и других — району. Начальник района назывался нахбарнфюрер. Пять-шесть районов составляли зону — крейс, во главе которой стоял крейслейтер. Каждый, кто принадлежал к организации, платил в нее членские взносы. Когда в сентябре 1939 года началось переселение желающих вернуться на родину немцев, «Немецко-балтийское народное объединение» возглавило всю работу с переселенцами. Был составлен план. Назначены для каждой зоны день и час выезда.

За несколько дней до отъезда к переселенцам направлялись плотники, доставались упаковочные материалы. Все имущество, включая мебель, укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань.

Пароходы были германские. Пассажирские суда предоста-

вила немецкая туристская компания общества «Крафт дурх фрейде» — «Сила через радость».

В назначенный час переселенцы на автобусах приезжали в гавань и садились на пароходы, которые следовали в Данциг, Штеттин, Гамбург.

К лету 1940 года переселение в основном закончилось — в Латвии осталась лишь небольшая группа немцев. Это были люди, не пожелавшие уехать, главным образом из-за смешанных браков, и те, кто не хотел жить в Германии по политическим мотивам. Но нашлись латыши, которые, тоже по политическим причинам, стремились уехать в Германию, и им удалось за весьма крупные денежные суммы оформиться членами «Немецко-балтийского народного объединения».

Изучая деятельность «объединения», работники советских следственных органов установили: некоторые активисты — тайные члены национал-социалистической партии — почему-то не репатриировались с первыми группами. И для того, чтобы их дальнейшее пребывание в Латвии не так бросалось в глаза, они искусственно задерживали отъезд многих лояльно настроенных немцев.

Но когда несколько активистов были уличены в шпионаже, из Берлина пришло распоряжение крейслейтерам общества немедленно завершить репатриацию. Очевидно, Берлин считал, что целесообразнее убрать свою явную агентуру, чем вызывать впредь и без того достаточно обоснованное недоверие правительства социалистической Латвии.

Но за это время небольшая, правда, группа лояльно настроенных немцев — к ним принадлежал и инженер Рудольф Шварцкопф — решила остаться в Латвии. Надо полагать, что руководители общества после провала своих агентов понимали, что в рейхе их за это не похвалят, а тут еще несколько немцев не пожелали возвращаться на родину!

Террористический акт был возмездием послушнику и предупреждением колеблющимся.

Это хорошо понимали работники следственных органов. Но задержат сейчас подозреваемых виновников преступления не представлялось возможным. По межгосударственному соглашению немецкое население должно было беспрепятственно покинуть Латвию. Нарушение договора грозило дипломатическими осложнениями. А прямых улик против Функа и его ближайших помощников пока не было.

3

Когда Иоганн Вайс пришел в автомастерскую, где он жил в отгороженной фанерой каморке, он застал у себя нахбарн-фюрера Папке, который вместе с рабочим-упаковщиком прие-

хал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоровался, вежливо поблагодарил Папке за любезность.

На полу высилась стопка книг, и среди них «Майн кампф» Гитлера, из которой во множестве торчали бумажные закладки.

Папке сказал, беря эту книгу в свои толстые руки с короткими пальцами:

— Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга, которая также должна сопутствовать немцу на всем пути его жизни. Я ее не вижу.

Вайс достал из-под матраца библию и молча протянул Папке.

Папке перелистал страницы, заметил:

— Но я не вижу, чтобы ты так же старательно читал эту священную книгу.

Вайс пожал плечами:

— Извините, господин нахбарнфюрер, но для нас, молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и священное писание. Вы как будто этого не одобряете?

Папке нахмурился.

— Мне кажется, ты об этом собираешься сообщить первому же гестаповцу, как только переедешь границу?

И хотя всем немцам в Риге, а значит и Вайсу, было ведомо, что нахбарнфюрер Папке — давний сотрудник гестапо, чего тот, в сущности, не скрывал, Иоганн обидчиво возразил ему:

— Вы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить мне странное представление о деятельности гестапо. Но если мне будет предоставлена честь быть чем-нибудь полезным рейху, я оправдаю это высокос доверие всеми доступными для меня способами.

Папке рассеянно слушал. Потом, будто это его не очень интересовало, спросил безразличным голосом:

— Кстати, как там дела у Генриха Шварцкопфа? Удалось ему получить все бумаги отца?

— Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично Шварцкопфу, или вообще в с е? В с е,— повторил он подчеркнуто,— какие можно было взять у профессора Гольдблата?

— Допустим, так,— сказал Папке.

Вайс вздохнул, развел руками:

— К сожалению, здесь возникли чисто юридические затруднения — так я слышал от Генриха.

— И как он предполагает поступить в дальнейшем?

— Мне кажется, Генриха сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему остальному он не придает никакого значения.

— Очень жаль,— недовольно покачал головой Папке.—

Очень! — Но тут же добавил: — Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.

Вайс заметил не совсем уверенно:

— Мне думается, что штурмбанфюрер вначале желал, чтобы Генрих остался тут.

— Зачем?

Вайс улыбнулся.

— Я полагаю, чтоб чем-то быть здесь полезным рейху.

— Ну, для такой роли Генрих совсем не пригоден, — сердито буркнул Папке. — Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие делу люди. — Произнес обиженно: — Неужели штурмбанфюрер не удовлетворен нашими кандидатурами?

— Этого я не могу знать, — сказал Вайс и спросил с хитрецей в голосе: — А что, если попросить Генриха узнать у Вилли Шварцкопфа, какого он мнения о тех лицах, которых вы отбрали? — Пояснил поспешно: — Я это предлагаю потому, что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен, и, если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.

— Я это знаю, — угрюмо согласился Папке и, внезапно улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал: — Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в рейх, не исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. — Улыбка Папке стала еще более доверительной. — Сказать по правде, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для этого имелись некоторые основания. Но сейчас ты меня убедил, что мои опасения были излишними.

— Я очень сожалею, господин нахбарнфюрер.

— О чем?

— О том, что вы только сейчас убедились, что ваше недоверие ко мне было необоснованным.

— В этом виноват ты сам.

— Но, господин Папке, в чем моя вина?

— Ты долго колебался, прежде чем принял решение репатрироваться.

— Но, господин Папке, я не хотел терять заработка у Рудольфа Шварцкопфа. Он всегда щедро платил.

— Да, мы проверили твои счета Шварцкопфу. Ты неплохо у него зарабатывал. И мы поняли, почему ты ставил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов.

— Это правда — мне хотелось накопить побольше. Зачем же на родине мне быть нищим?

Папке сощурился:

— Мы проверили твою сберегательную книжку. Все свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал заявление о репатриации. И правильно реализовал свои сбережения. Это мне тоже известно. Ты человек практичный. Это хорошо. Я рад, что мы с пользой поговорили. Но не исключено, что в день отъезда я пожелаю с тобой еще о чем-нибудь побеседовать.

— К вашим услугам, господин нахбарнфюрер,— Вайс щелкнул каблуками.

Папке уехал в коляске мотоцикла, за рулем которого сидел упаковщик, человек с замкнутым выражением лица и явно военной выправкой.

Вайс устало опустил на койку и потер ладонями лицо, будто стирая с него то выражение подобострастия, с каким он проводил нахбарнфюрера до ворот мастерской. Когда он отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным, тоскливым, мучительно озабоченным.

Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе «Майн кампф» и библию, он сел к сколоченному из досок столу. Включил стоящую на нем электрическую плитку, хотя в каморке было тепло. Из мастерской послышались шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там его уже ожидал пожилой человек в черном дождевике — владелец велосипеда, недавно отданного в ремонт.

Вайс сказал, что машину можно будет получить завтра.

Но человек не уходил. Внимательно разглядывая Иоганна, он сказал:

— Я знал вашего отца, он медик?

— Да, фельдшер.

— Где он сейчас?

— Умер.

— Давно?

— В тысяча девятьсот двадцатом году.

— Где же его похоронили?

— Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.

— Но, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца?

— Да, конечно.

— Я помню его довольно хорошо,— сказал человек раздумчиво.— Он был страстный курильщик. Вот только забыл: он курил трубку или сигары? — Попросил: — Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец.

Иоганн замялся, припоминая все виденные им фотографии фельдшера Макса Вайса,— ни на одной из них он не был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту.

Человек сказал строго:

— Но я отлично помню, он курил большую трубку. У вас

в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.

— Вы ошибаетесь, мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья,— твердо отрезал Иоганн.

— Очевидно, вы правы,— согласился человек.—Извините.

Вайс проводил его до двери, запер мастерскую и вышел на улицу. Было сумеречно, шел мелкий, невидимый в темноте дождь. Он направился в сторону порта, но, не доходя до него, свернул в переулок и спустился по грязным ступеням в подвал пивного зала «Марина».

Усевшись за столик, он попросил у кельнера порцию черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капустой.

Трое латышей — портовых рабочих, увидев свободные места, подсели к Вайсу. Они были заметно навеселе, но потребовали еще по порции водки и по бокалу пива. Не обращая внимания на Вайса, они продолжали спор, который, видимо, их очень волновал.

Разговор шел о пакте ненападения, заключенном между Советским Союзом и Германией. Рабочие говорили, что, хотя советские войска стоят сейчас на новой границе, следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы оно могло оказать помощь Красной Армии, если Гитлер обманет Сталина. Как о вполне допустимом говорили они, что Гитлер может напасть на Латвию, и хотя еще не все латыши на стороне советской власти, большинство будет драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы вели себя как в своей колонии. И уже по одному этому следовало дать оружие народу, для которого немцы — давние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорослый латыш в бобриковой куртке возражал товарищам, утверждая, что надо прежде всего произвести проверку даже в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии. Охватить проверкой всех, включая и рабочих, и только тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия.

Остановив взгляд на Вайсе в поисках союзника, латыш в бобриковой куртке спросил:

— Ну, а ты, парень, что думаешь?

Вайс помедлил, потом произнес раздельно, с наглой смелостью глядя в глаза напряженно ожидающим его ответа рабочим.

— Ты правильно говоришь,— кивнул он в сторону латыша в бобриковой куртке.— Зачем легкомысленно доверять рабочему классу? Надо его сначала проверить. Но пока вы, латыши, будете друг друга проверять, мы, немцы, придем и установим здесь свой новый порядок.

Положил деньги на стол, поднялся и пошел к выходу.

Человек в бобриковой куртке хотел броситься на Вайса с кулаками, но приятели удержали его. Один из них сказал:

— Он правильно тебя понял. Выходит, то, о чем ты говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, латышей. Что получается: этот немец, наверное, гитлеровец, хотя и был полностью на твоей стороне, но поддерживал не тебя, а нас против тебя.

Выйдя из пивной, Вайс зашагал к гавани. Дождь усилился. Казалось, кто-то шлепает по асфальту босыми ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи причалов. Рыбаки в желтых проолифленных зюйдвестках при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие плоские корзины.

На причале толпились торговцы, приехавшие сюда на пароконных телегах. Вайс укрылся от дождя под навесом, где был сложен различного рода груз.

К нему подошел невысокий человек в старенькой тирольской шляпе, вежливо приподнял ее, обнажив при этом лысую голову, и осведомился, который теперь час. Вайс, не взглянув на часы, ответил:

— Без семи минут.

Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то удивился:

— Представьте, на моих то же самое. Какая точность! — Взяв под руку Вайса и шагая с ним в сторону от причала, пожаловался: — Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцекса. Можете называть меня просто Бруно. — Искоса глянул на Вайса. — Я весь к вашим услугам. — Спросил строго: — Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней и я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии за неблагоприятное...

— Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен? — недружелюбно спросил Вайс. — Один я уже как будто бы выдержал.

— Отнюдь! — запротестовал Бруно. Но тут же сам возразил себе: — А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня — нисколько. — Спросил: — Хотите конфетку? Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему.

Вайс спросил хмуро:

— Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?

Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился:

— Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? — Поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом: — Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешно охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не пон-

развиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.

— Я же хотел...— попытался оправдаться Вайс.

— Все, все понятно, голубчик, чего вы хотели,— добродушно прервал Бруно,— и вы были почти на верном пути, когда порекомендовали Папке выяснить через Генриха у Вилли Шварцкопфа список резидентов. И вы правы, Папке — тупой солдафон. Но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью. Это его сильная сторона, которую вы недоучли, как недоучли и то, что Папке — мелкий гестаовец, а только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни Папке, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть и другие лица, совсем другие...— Бруно ласково улыбнулся Вайсу.— Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту.— Помолчав, добавил:— Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности — это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?

— Да,— согласился Вайс.— Вы правы, я увлекся, нарушил инструкцию, принимаю ваш выговор.

— Ну что вы!— усмехнулся Бруно.— Когда дело доходит до выговора, человек уходит и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом — несколько дружеских советов.— Зевнул, пожаловался:— А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей. Плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана.

— Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?

— Ну что вы, Иоганн!— укоризненно заметил Бруно.— Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати,— с довольным видом сообщил Бруно,— я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии — по крайней мере наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это — очень счастливое для меня обстоятельство. В худшем случае — служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило.— Улыбнулся.— Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью...— И многозначительно подчеркнул:— Эльзой.

— Ну да, Эльзой,— уныло подтвердил Вайс.— У нее были белокурые волосы, голубые глаза, она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.

— Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал? — пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито: — Ну, вы, конечно, догадались, визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча. — Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился: — Еще раз свидетельствую свое почтение. — И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам.

Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдблата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда доносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружающей дом профессора, закурил.

Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине, звуки рояля в сыром тумане улицы.

Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху:

— Музыка — это язык человеческих чувств. Она недоступна только животным.

Генрих усмехнулся:

— Вагнер — великий музыкант. Но под его марши колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы..

Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы:

— Звери в цирке тоже выступают под музыку.

— Ты считаешь наци презренными людьми и удивляешься, почему они...

Берта перебила:

— Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности.

— Однако, — упрямо возразил Генрих, — не кто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе.

— Европа — это и Советский Союз?

— Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером.

— И в подтверждение своего миролюбия Красная Армия встала на новых границах?

— Это был ловкий фокус.

— Советский народ ненавидит фашистов!

Генрих презрительно пожал плечами.

Берта произнесла гордо:

— Я советская гражданка!

— Поздравляю! — Генрих насмешливо поклонился.

— Да, — сказала Берта. — Я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у честных людей. А у меня есть теперь отечество, и оно — гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен очень низко

опуститься, чтобы стать настоящим наци, что ты, кстати, и делаешь не без успеха.

Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервозно настроена.

Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием:

— Ну зачем я вел себя как последний негодяй?

— Да, ты точно определил свое поведение.

— Но ведь она мне нравится!

— Но почему же ты избрал такой странный способ выказывать свою симпатию?

Генрих нервно дернул плечом.

— Я думаю, что было бы бесчестно скрывать от нее мои убеждения.

— А то, что ты говорил,— это твои подлинные убеждения?

— Нет, совсем нет,— вздохнул Генрих.— Меня мучают сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?

— Нет, не сможет,— с тайной радостью сказал Вайс.— И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю.

— Возможно, ты и прав,— покорно согласился Генрих.— Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно.

Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома Генрих спросил:

— А ты, Иоганн, тебе нечего сжигать?

Вайс помедлил, потом ответил осторожно:

— Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы раздражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать.

— Почему?

— Я боюсь, что стану тебе неприятен и потеряю друга.

— Ты хороший человек, Иоганн,— сказал Генрих.— Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища! — И долго не выпускал руку Вайса из своей.

Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странную волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. Встал, бросил окурок и зашагал к авторемонтной мастерской.

Утро было сухое, чистое.

Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива.

На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев-репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, невесть кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидающе поглядывая на родителей. Родители в который уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки. Исподтишка косились по сторонам, ожидая начальства, приказаний, проверки. Женщины не выпускали из рук саквояжей, в которых, очевидно, хранились документы и особо ценные вещи.

Крейслейтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались. Когда кто-нибудь из отъезжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей «Немецко-балтийского народного объединения» с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-либо осведомленное лицо.

И так же, как все переселенцы, крейслейтеры и нахбарнфюреры с готовностью начинали искательно улыбаться, стоило появиться любому латышу в служебной форме.

Но, кроме двух-трех железнодорожных служащих, на перроне не было никого, перед кем следовало бы демонстрировать угодливую готовность подчиняться и быть любезным.

Подошел состав. В дверях вагонов появились проводники, раскрыли клеенчатые портфельчики с множеством отделений для билетов.

Но никто из репатриантов не решался войти ни в один из трех предназначенных для них вагонов. Все ждали какого-то указания, а от кого должно было исходить это указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, стояли проводники возле дверей вагонов, стояли пассажиры. И только длинная, как копье, секундная стрелка вокзальных часов, похожих на бочку из-под горячего, совершала в этой странной общей неподвижности судорожные шажки по циферблату.

Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабочему с изумлением спросить: «Вы что стоите, граждане? Через

пятнадцать минут отправление», — как все пассажиры, словно по грозной команде, толпясь, ринулись к вагонам.

Послышались раздраженные возгласы, треск сталкивающихся в проходе чемоданов.

Начальствующие руководители «объединения» и рядовые его члены одинаково демократично боролись за право проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, кто обладал большей силой, ловкостью и ожесточенной напористостью.

И если еще можно было понять подобное поведение людей, пытающихся первыми занять места в бесплэцкартном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого класса была просто непостижима... Ведь никто не мог занять их места. Между тем среди пассажиров первого класса борьба за право войти в вагон раньше других была наиболее ожесточенной. Но стоило репатриантам энергично и шумно ввалиться в вагоны и захватить в них принадлежащее им, так сказать, жизненное пространство, как почти мгновенно наступила благопристойная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физиономиях вновь появилось выражение покорной готовности подчиняться любому распоряжению. И, обретя в лице проводников начальство, пассажиры улыбались им любезно, застенчиво, в напряженном ожидании каких-либо указаний.

По-прежнему они — теперь через окна вагонов — бросали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появления кого-то самого главного, кто мог все изменить по своей всевластной воле.

Но вот на перроне появился латыш в военной форме, сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно. И когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его пытливыми взглядами, даже привставали с сидений.

Военный подошел к газетному киоску, где сидела хорошенькая продавщица, оперся локтями о прилавок и принял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало понятно: этот человек явился всерьез и надолго.

Как только висящие на чугунном кронштейне часы показали узорными, искусно выкованными железными стрелками время отправления, поезд тронулся. И у репатриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пассажиров этого поезда дальнего следования.

Станным казалось только то, что они ни с кем не прощались. Не было перед этими тремя вагонами обычной вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объятий. И когда поезд отошел, пассажиры не высывались из окон, не махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих отъезжающих никто не провожал. Они навсегда покидали Латвию. Для многих она была родиной, и не у одного поколения здесь, на этой

земле, прошла жизнь, и каждый из них обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лишения, которые испытал весь немецкий народ после первой мировой войны. Их связывала с отчизной только сентиментальная романтическая любовь и преклонение перед старонемецкими традициями, которые они свято блюди. За многие годы они привыкли пребывать в приятном сознании, что здесь, на латышской земле, они благоденствуют, живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчизны. И радовались, что судьба их не зависит от тех политических бурь, какие клокотали в Германии.

Долгое время для рядовых трудящихся немцев «Немецко-балтийское народное объединение» было культурнической организацией, в которой они находили удовлетворение, отдавая дань своим душевным привязанностям ко всему, что в их представлении являлось истинно немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Германии утвердился и в «объединении». Его руководители стали фюрерами, осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую власть с не меньшей жестокостью и коварством, чем их сородичи в самой Германии.

За небольшим исключением, — речь идет о тех, кто открыто и мужественно вступал в борьбу с фашистами и в период ульманисовского террора был казнен, или находился в тюрьме, или ушел в подполье, — большинство латвийских немцев уступило политическому и духовному насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стремились они выразить преданность Третьему рейху, всеми явными и тайными способами, сколь бы ни были эти способы противны естественной природе человека.

Дух лицемерия, страха, рабской покорности, иступленной жажды обрести господство над людьми не только здесь, но и там, где фашистская Германия распространяла свое владычество над поработенными народами захваченных европейских государств, дух этот вошел в плоть и кровь членов «объединения», и наружу вышло все то низменное, потаенное, что на первый взгляд казалось давно изжитым, по крайней мере у тех, кто, подчеркивая свою добропорядочность, придерживался здесь, в Латвии, строгих рамок мещанско-бюргерской морали.

И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели внешнее спокойствие, с их добродушно улыбающихся лиц не сходило выражение напряженной тревоги.

Одних терзало мучительное беспокойство, что сулит им отчизна, будут ли они там благоденствовать, как в Латвии, нет ли на них «пятен», способных помешать им утвердиться в качестве новых благонадежных граждан рейха. Других, кто не сомневался, что их особые заслуги перед рейхом будут оценены наилучшим образом, беспокоило, смогут ли они беспре-

пятственно пересечь границу. Третьи — и их было меньшинство — тайно предавались просто сердечной скорби о покидаемой латвийской земле, которая была для них родиной, жизнью, со всеми привязанностями, какие отсечь без душевной боли было невозможно.

Но страх каждого перед каждым, боязнь обнаружить свои истинные чувства и этим повредить себе в будущем и настоящем — все это скрывалось под давно уже привычной маской лицемерия. Поэтому репатрианты старались вести себя в поезде с той обычной беспечной независимостью, которая присуща любому вагонному пассажиру.

...Иоганн Вайс не спешил занять место в бесплацикартном вагоне, он стоял на перроне, поставив на асфальт брезентовый саквояж, терпеливо ожидая, когда сможет подняться на подножку, не причинив при этом беспокойства своим попутчикам.

Неожиданно подошел Папке и рядом с брезентовым саквояжем Вайса поставил фибровый чемодан; другой, кожаный, он продолжал держать в руке.

Не здороваясь с Вайсом и подчеркнуто не узнавая его, Папке внимательно наблюдал за посадкой. И вдруг, выбрав момент, схватил саквояж Вайса и устремился к мягкому вагону.

Вайс, решив, что Папке по ошибке взял его саквояж, побегал за ним с чемоданом. Но Папке злобно прикрикнул на него:

— Зачем вы мне суете ваш чемодан? Ищите для этого носильщика.

И Вайсу пришлось проследовать в свой вагон, где он занял верхнюю полку, положив в изголовье фибровый чемодан Папке.

Вся эта история ставила Вайса в довольно затруднительное положение. Вначале он предположил, что Папке разыграл комедию для того, чтобы ознакомиться с содержимым саквояжа, и скоро вернет его, возможно даже извинившись за «ошибку». Но потом более тягостные соображения стали беспокоить Вайса. На границе чемодан вскроют таможенники, и в нем они могут обнаружить нечто такое, что помешает его владельцу пересечь границу, а владельцем чемодана стал сейчас Вайс.

Выбросить чемодан или, воспользовавшись подходящим моментом, подсунуть его под скамейку кому-нибудь из пассажиров — значит лишить Папке его имущества. А ведь Вайсу, после того как Функ уехал в рейх и связь с ним потеряна, важно пользоваться и впредь расположением Папке, и он не имеет права подвергать себя риску утратить это расположение.

Напряженно ища способ распутать петлю, накинутую на него Папке, Вайс свесил с полки ноги и, мотая головой, стал наигрывать на губной гармошке тирольскую песенку, слова которой отлично знали все мужчины, однако произносить их в присутствии дам было не принято. Тем не менее женщины, слушая мелодию этой песенки, обещающе улыбались молодому озорнику, столь откровенно выражавшему свою радость по поводу отъезда на родину.

Тощий молодой немец налил в пластмассовый стаканчик водки и протянул Вайсу.

— За здоровье нашего фюрера! — Он молитвенно закрыл глаза. — Ему нужны такие молодцы, как мы.

— Хайль! — Иоганн простер руку.

Немец строго предупредил:

— Мы еще не дома. — Ухмыльнувшись, заметил: — Но мы с тобой не родственники. И если ты забудешь потом налить мне столько же из своего запаса, это будет с твоей стороны неприлично.

Пожилой пассажир со свежевыбритым жирным затылком пробормотал:

— Ты прав, вы могли быть мотами в Латвии, но не должны вести себя легкомысленно у себя дома.

Тощий спросил вызывающе:

— Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в рейхе ее нет? Ты на это намекаешь?

Пожилой пассажир, такой солидный и медлительный, вдруг начал жалко моргать, лицо его покрылось потом, и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот неправильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было больше есть, чтоб меньше продуктов доставалось латышам, а в Германии он будет меньше есть, чтобы больше продуктов доставалось доблестным рыцарям вермахта.

— Ладно, — сказал тощий. — Считай, что ты выкрутился, но только после того, как угостишь меня и этого парня, — кивнул он на Вайса. — Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, вислобрюхие, должны считать для себя честью угостить будущих солдат вермахта.

Когда Бруно заглянул в отделение вагона, где устроился Вайс, он застал там веселое пиршество. И только один хозяин корзины со съестным понуро жался к самому краю скамьи, уступив место у столика молодым людям.

Бруно приподнял тирольскую шляпу, пожелал всем приятного аппетита. Увидев среди пассажиров Вайса, он кинулся к нему с объятиями, весь сияя от этой неожиданной и столь счастливой встречи. И он начал с таким страстным нетерпением выпрашивать Вайса об их общих знакомых и так неудержимо стремился сообщить ему подобные же сведения, что

Вайс из чувства благовоспитанности был вынужден попросить Бруно выйти с ним в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удовольствие слушать его громкий и визгливый голос.

Бруно, извиняясь, снова приподнял над белой лысиной шляпу с игривым петушиным перышком и, поднеся обе ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко оттого, что недавно у него было воспаление среднего уха и он совсем плохо слышал даже свой собственный голос, а теперь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть говорить нормально: то орет, как фельдфебель на плацу, то шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близкие люди. Кланяясь и шаркаясь, Бруно долго извинялся за свое вторжение и удалился с Вайсом, дружески поддерживая его под локоть.

Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, где бренчат вафельные железные плиты и сквозь сложенные гармошкой брезентовые стенки с воем дул ветер.

Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемодане Папке. Бруно кивнул и сейчас же ушел в соседний вагон с таким видом, будто после всего услышанного потерял охоту иметь что-либо общее с Иоганном, попавшим в беду.

Но через некоторое время Бруно вновь появился в вагоне, где ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибровым чемоданом Папке небольшую плетеную корзину, он объявил, что ушел со своего места, но пусть никто не беспокоится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, просто он веселый человек и хочет развлечь уважаемых соотечественников несколькими забавными фокусами.

Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать фокусы, и хотя фокусы были незамысловатые и проделывал их Бруно не очень-то ловко, он требовал, чтобы присутствовавшие честно закрывали глаза перед тем, как загадать карту, и с таким неподдельным отчаянием конфузился, когда загаданную карту не удавалось назвать, что расположил к себе всех. А потом, небрежно подхватив фибровый чемодан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место.

После ухода Бруно Вайс полез на верхнюю полку и лег, положив под голову руки, и закрыл глаза, будто заснул.

Время приближалось к обеду, когда вновь появился Бруно с чемоданом. Снова, бесконечно извиняясь, забросив его на полку к Вайсу, вынул из кармана бутерброд, аккуратно завернутый в промасленную бумагу, и сказал, что сейчас будет наслаждаться обедом.

Но когда пожилой немец протянул Бруно куриную ножку, тот вежливо отказался, сославшись на нежелание полнеть, поскольку твердо надеется, что родина не откажется от него как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе ещё большую симпатию. И чтобы не мешать пассажирам обедать, он залез на

верхнюю полку, уселся рядом со своей корзиной и обнял ее. Но тут же, с присущей ему природной живостью, спустился на пол и с корзиной в руках удалился, сказав на прощание, что постарается найти себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал:

— Если я и утратил красоту своей прически, то только потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся перед женской красотой.

Пассажиры вагона провожали шутника снисходительными взглядами. Вайс тоже улыбался, а когда он полез на полку, то больно стукнулся коленом о чемодан Папке, снова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое ребро голову с таким наслаждением, словно это был не чемодан, а подушечка.

После миновавшей тревоги он обрел спокойствие, — видимо, в чемодане Папке ничего опасного для него, Вайса, не содержалось. Только сейчас Иоганн понял, как неизменно тяжело ему носить ту личину, которую он на себя надел. Несколько минут избавления от нее принесли ему чувство, сходное с тем, которое испытывает человек, на ощупь ползший во мраке по нехоженной горной тропе над бездной. Тропа обрывается, кажется — впереди гибель, и вдруг под ногой опора, он перешагнул через провал, и снова оказался на тропе.

За последние месяцы у Иоганна выработалась почти автоматическая способность к холодному, четкому самонаблюдению. Он приобрел привычку хвалить или осуждать себя, как постороннего, нравиться себе или не нравиться, презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя новую личину и с внимательным, придирчивым любопытством исследовал ее жизнеспособность. Он испытывал своего рода наслаждение, когда власть его над этой личиной была полной.

Он понимал, что в минуту опасности присвоенная ему личина могла быть сдернута с него по его вине; он был в полной зависимости от того, насколько она прочна, ибо только она одна могла спасти его такого, каков он есть на самом деле.

Эта зависимость от того себя, к которому он не мог преодолеть чувства враждебности и презрения, иногда настолько изнуряла духовные силы, что для восстановления их было необходимо, хотя бы на самое короткое время, исцеляющее одиночество.

Но когда он наконец мог остаться наедине с собой, приходила ничем не преоборимая тоска от утраты мира, который составлял сущность его «я». И этот мир был живым, прекрасным, настоящим, а тот, в котором он жил сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелым, как бредовый сон.

Никогда он не предполагал, что самым трудным, мучительным в той миссии, которую он избрал, будет это опасное раздвоение сознания.

Вначале его даже увлекала игра: влезть в шкуру другого человека, сочинять его мысли и радоваться, когда они точно совпадали с тем представлением, которое должно возникать об этом человеке у других людей.

Но потом он понял, ощутил, что чем успешней он сливается со своей новой личиной, тем сильнее потом, в мгновения короткого одиночества, жжет его тоска по утрате того мира, который все дальше и дальше уходил от него, по утрате себя такого, каким он был и уже не мог быть, не имел права быть.

В минуты усталости его охватывало мучительное ощущение, будто он весь составлен из никогда не снимаемых протезов и никогда не почувствует себя настоящим, живым человеком, никогда уже полно не сможет воспринимать жизнь и людей такими, какие они есть, и себя таким, каким он был.

Один из наставников говорил ему, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит и преодолевать его мучительно, непросто. Да, теперь он понимал, насколько непросто. Понимал, что переезд через советскую границу будет означать не только исполнение части задания. Переезд означает необратимое отсечение от той жизни, за пределами которой его личина должна получить еще большее господство над ним, над его подлинной сущностью, и чем покорней он будет служить этой личине, тем полнее и успешнее он выполнит свой долг.

Он неохотно расставался с чувством короткого отдохновения после миновавшей опасности, от которой его избавил Бруно.

В Белостоке Вайс не вышел на вокзал, куда устремились все пассажиры скупать кур, яйца, сдобные булки, колбасные изделия.

В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бормотал:

— Хорош гусь этот твой Папке: полчемодана банок с черной икрой, меха и контрабандная дребедень. Хозяйственный мужичок! Чемодан отдашь ему, когда пересечете границу, досматривать тебя не будут. Мне придется задержаться на границе. В остальном все остается, как договорились. Главное — не проявляй резвой инициативы. Нам нужен Иоганн Вайс. И не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. Понятно?

В вагоне появился пассажир, с трудом поддерживающий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе объявил, двигая фигуру на шахматной доске:

— Вот вам вечный шах. — И, потирая руки, заметил скидано: — Это моя любезность, я не сделал мата вашему королю

исключительно из соображений такта. — Снисходительно глядя на Иоганна, посоветовал: — Учитесь, молодой человек, выигрывать, не оскорбляя самолюбия противника, тогда вы не утратите расположения партнера. — Покопался в карманах пассажира с пакетами: — Вы, господин, заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываете о престиже рейха. Неужели вы не понимаете, что поработали сейчас на красных, внушая им мысль о том, будто бы в Германии народ испытывает трудности? Нехорошо! — Он встал и, презрительно вздернув плечи, отправился в свой вагон.

Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что он очень хороший немец, настоящий немец и член национал-социалистской партии, что он готов принять все замечания и чем угодно искупить свою вину, даже выбросить покупки, это только ошибка и ничего более... Он так волновался, так сильно переживал обвинение, брошенное ему Бруно, что Иоганн, сжалившись, посоветовал толстяку не придавать особо большого значения сделанному ему замечанию: ведь он не исключение, все пассажиры поступали так же, но, если он потом обратит внимание немецких властей на недостойное поведение репатриантов, это снимет обвинение с него самого.

Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет. И потом всю дорогу посматривал на него преданно, с благодарностью.

На пограничной станции пассажирам предложили проследовать в таможенный зал для прохождения необходимых формальностей. Таможенники осматривали вещи бегло, иногда только спрашивали, что лежит в чемоданах. И все же пассажиры нервничали, это выражалось в их чрезмерной предупредительности, ненужной готовности показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках объяснить, что уезжают они в Германию не по политическим мотивам, а из желания навещать родственников, с которыми давно не видалась.

Папке, несмотря на возражения таможенника, вывалил на обитую линолеумом стойку все вещи из саквояжа Вайса и объявил, что везет только самое необходимое, потому что не уверен в том, что Германия станет его родиной: ведь настоящая его родина — Латвия, где у него много друзей — латышей и евреев, которые дороги его сердцу.

Таможенник, не притрагиваясь к вещам и глядя поверх головы Папке, попросил сложить все обратно в саквояж. Папке поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его вытянулось, когда таможенник попросил открыть кожаный чемодан.

Рядом с Папке стоял Бруно. Корзину его вывалили на стойку, и таможенник тщательно просматривал каждую вещь, откладывая в сторону бумаги и фотопленку, уложенную в аптекарские фарфоровые баночки.

Бруно, увидев в руках пограничника книгу, на переплете которой значилось «Учебник истории», хотя в действительности под переплетом было нечто совсем другое, сказал громко, вызываясь:

— Если бы я пытался привезти книгу фюрера, но я ее увожу, увожу туда, где слова фюрера живут в сердце каждого. — И, оборотившись к Папке, спросил его, в надежде на поддержку: — Это же нелепо — полагать, что подобная литература может считаться запрещенной!

Папке отодвинулся от Бруно, сказал неприязненно:

— Оставьте меня в покое с вашим фюрером. — И посоветовал таможеннику: — Взгляните, что у него в карманах. Эта публика любит оружие. Я не удивлюсь, если у него на поясе висит кинжал с девизом на лезвии: «Кровь и честь». Таких молодчиков не следует пускать в Германию.

— Ах, так! — яростно воскликнул Бруно. — Это вас не следует пускать в Германию! И если пускать, то только для того, чтобы посадить там за решетку.

— Гражданин! — строго произнес таможенник. — Прошу соблюдать тишину и не мешать работе.

Иоганн поставил чемодан на стойку, вынул сигарету и, подойдя к Папке, вежливо попросил:

— Позвольте...

Папке протянул свою папиросу. Наклоняясь, чтобы прикурить, Вайс прошептал:

— Ключ от вашего чемодана?

Папке отстранился, лицо его на мгновение потемнело. Но тут же приняло приветливое выражение. Он громко проговорил:

— Молодой человек, я вам сделаю маленький подарок, нельзя же курильщику путешествовать без спичек. — Полез в карман и положил в руку Вайсу связку ключей в замшевом мешочке.

— Благодарю вас, — сказал Иоганн. — Вы очень любезны.

Открыв чемодан, Иоганн опустил глаза, глядя, как руки таможенника небрежно перебирают лежащие там вещи.

Таможенник спросил, не везет ли он что-либо недозволенное.

Вайс отрицательно покачал головой. Таможенник перешел к другому пассажиру, сказав Вайсу:

— Можете взять ваш чемодан.

После досмотра репатрианты перешли на другой перрон, где их ждал состав из немецких вагонов. Пограничники раздавали пассажирам их документы, взятые ранее для проверки. Вручая документы, офицер-пограничник механически всжливо говорил каждому по-немецки: «Приятного путешествия!» — и брал под козырек.

Офицер-пограничник был ровесником Иоганна и чем-то да-

же походил на него — сероглазый, с прямым носом, чистым высоким лбом и строгой линией рта, статный, подобранный, с небольшими кистями рук. Бросив на Иоганна безразличный взгляд и сверив таким образом с оригиналом фотографию на документе рейха, пограничник, аккуратно сложив, протянул Байсу бумаги, козырнул, пожелал ему, как и другим, приятного путешествия и перешел к следующему пассажиру. На лице его сохранялось все то же выражение служебной любезности, за которой чувствовалось, однако, как чужды ему, молодому советскому парню в военной форме, все эти люди, и вместе с тем было видно, что он знает о них такое, что ему одному положено знать.

В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник подошел к Папке и, тщательно и четко выговаривая немецкие слова, попросил извинения за беспокойство, но он вынужден просить Папке пройти вместе с ним в здание вокзала для выяснения некоторых формальностей, которые, видимо из-за канцелярской ошибки, не были полностью соблюдены в документах Папке.

И Папке встал и покорно пошел впереди пограничника на перрон.

Из другого вагона вышел Бруно, так же, как и Папке, в сопровождении военных. Он возбужденно спорил и пытался взять из рук пограничника свою корзину.

Когда Бруно поравнялся с Папке, он почтительно раскланялся, приподняв свою тирольскую шляпу с игривым перышком, и воскликнул патетически:

— Это же насилие над личностью! Я буду протестовать! — Обратился к офицеру-пограничнику, простирая длани в сторону Папке: — Уважаемый общественный деятель, известное лицо! И вдруг... — Он в отчаянии развел руками.

— Не надо шуметь, — серьезно предупредил пограничник.

— А я буду шуметь, буду! — не унимался Бруно. Улыбаясь Папке, попросил: — Я рассчитываю, вы не откажете подтвердить здешним властям, что я человек лояльный, и если в моих вещах нашли предметы, не рекомендованные для вывоза за границу, то только потому, что я просто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, а что нельзя.

Через некоторое время Папке с расстроенным лицом вернулся в вагон, в руке он держал кожаный чемодан.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

Пограничники с электрическими фонарями, пристегнутыми кожаными петельками к бортовым пуговицам шинелей, проводили тщательный внешний досмотр состава, спускались

даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследовать нижнюю часть вагонов.

Казалось бы естественным, если бы каждый пассажир в эти последние минуты перед переездом границы испытывал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Происходящее говорило Иоганну о том, что большинство переселяется в Германию не по приказу и не под давлением обстоятельств, а руководствуясь своими особыми, дальновидными целями. Должно быть, у многих имеются серьезные основания скрывать до поры до времени свои истинные намерения и надежды.

И чем больше равнодушия, покидая Латвию, выказывал тот или иной пассажир, тем глубже проникало в сознание Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится для него здесь в каждом из этих людей, обладающих способностью повелевать своими чувствами, маскировать их.

В этой последней партии репатриантов только незначительное число семейств неохотно оставляло Латвию, подчиняясь злобещей воле «Немецко-балтийского народного объединения». Не многие здесь горевали о своих обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы труда и жизни.

Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии вел двойную жизнь, накапливая то, что могло быть зачтено им в Германии как особые заслуги перед рейхом. И только слишком показное равнодушие и наигранное выражение скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать себя перед решающими минутами пересечения границы.

Вайс мысленно отмечал шаблонный способ маскировки, мгновенно принятый, словно по приказу, неслышно отданному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он и для себя принял к исполнению этот безмолвный приказ. И тоже с унылой скукой, бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался ожиданию с тем же равнодушным безразличием, какое было запечатлено на лицах почти всех пассажиров.

Поезд медленно тронулся. И колеса начали отстукивать стыки рельсов с ритмичностью часового механизма.

Но как Иоганн ни пытался владеть собой, этот стальной ритмичный отстук грозного времени, неумолимого и необратимого, наполнил его ощущением бесконечного падения куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из состояния мучительной скорбной утраты всего для него дорогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам:

— Господа, осмелюсь приветствовать вас, кажется, уже на

земле рейха. — Он встал, вытянулся. Лицо его обрело благоговейно-восторженное выражение.

При общем почтительном молчании Вайс достал из кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и приколот к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом: все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться.

Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все они собирались идти в гости или ожидали гостей. Каждый заранее тщательно продумал свой костюм, чтобы внешний вид свидетельствовал о солидности, респектабельности. А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна была говорить о приверженности к старонемецкому консерватизму, неизменности вкусов и убеждений. На столиках появились выложенные из чемоданов библии, черные, не первой свежести, котелки, перчатки. Запахло духами.

Внезапно поезд судорожно лязгнул тормозами, как бы споткнувшись, остановился. По проходу протопали немецкие солдаты в касках, на груди у каждого висел черный автомат. Лица солдат были грубые, неподвижны, движения резкие, механические. Вошел офицер — серый, сухой, чопорный, с презрительно сощуренными глазами.

Пассажиры, как по команде, вскочили с мест.

Офицер поднял палец, произнес негромко, еле раздвигая узкие губы:

— Тишина, порядок, документы.

Брезгливо брал бумаги заткнутой в перчатку рукой и, не оборачиваясь, протягивал через плечо ефрейтору. Ефрейтор в свою очередь передавал документ человеку в штатском, а тот точным и пронзительно-внимательным взглядом сличал фотографию на документе с личностью его владельца. И не у одного пассажира возникло ощущение, что этот взгляд пронизывает его насквозь и на стене вагона, как на экране, в эти мгновения возникает если не его силуэт, то трепещущий абрис его мыслей.

Забрав документы у последнего пассажира, офицер теми же тяжелыми, оловянными словами объявил:

— Порядок, спокойствие, неподвижность.

И ушел.

Солдаты остались у дверей. Они смотрели на пассажиров, будто не видя их. Стояли в низко опущенных на брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав челюсти.

Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что он где-то уже видел этого офицера и этих солдат, видел такими, какие они есть, и такими, какими они хотели казаться. И от совпадения умозрительного представления с тем, что он увидел своими глазами, он почувствовал облегчение. Дружелюбно и почтительно, с оттенком зависти поглядывал он на сол-

дат — так, как, по его предположению, и следовало смотреть на них штатскому юноше немцу.

Когда офицер вернулся в вагон в сопровождении сержанта и человека в штатском и начал раздавать пассажирам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по швам, восторженно и весело глядя в глаза офицеру.

Тот снисходительно улыбнулся.

— Сядьте.

Но Вайс, будто не слыша, продолжал стоять в той же позе.

— Вы еще не солдат. Сядьте, — повторил офицер.

Вайс вздернул подбородок, произнес твердо:

— Родина не откажет мне в чести принять меня в свои ряды вермахта.

Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, спутники Иоганна шумно поздравили его: несомненно, он произвел с первого же своего шага на земле рейха наилучшее впечатление на представителя немецкого оккупационного командования.

Поезд катился по земле Польши, которая теперь стала территорией Третьей империи, ее военной добычей.

Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесцеремонно, как хозяева обменивались различными соображениями насчет новых германских земель, щеголяя друг перед другом деловитостью и презрением к славянщине. Мелькали развалины селений, подвергшихся бомбардировкам.

Под конвоем немецких солдат пленные поляки ремонтировали поврежденные мосты. На станциях повсюду были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими названиями или надписями на немецком языке.

И чем больше попадалось на пути следов недавнего сражения, тем непринужденнее и горделивее держали себя пассажиры. Вайс так же, как и все, неотрывно смотрел в окно и так же, как и все, восхищался вслуж мощью молниеносного немецкого удара, и глаза его возбужденно блестили. Возбуждение охватывало его все больше и больше, но причины этого возбуждения были особого порядка; он уже давно четко и точно успевал запечатлевать в своей памяти мелькающие пейзажи там, где сооружались крупные хранилища для горючего, склады, расширялись дороги, упрочались мосты, там, где на лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняя землю для будущих аэродромов.

И все это, наблюдаемое и запомнившееся, он почти автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой мысленным взором карте. Так выдающиеся шахматисты наизусть играют сложную партию без шахматной доски.

В этой напряженной работе памяти сказывалась тренировка, доведенная до степени механической реакции, но, увы,

деловой необходимости во всем этом не было... Ибо Вайс отлично знал, что пройдет немалый срок, пока он сможет передать сведения своим, но тогда эти сведения уже успеют устареть, хотя во всей неприкосновенности и будут сохраняться в его памяти.

Шумно восхищаясь лежавшей у подножия дерева со срезанной от удара вершиной грудой металла — всем, что осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шуточно подзадоривали Вайса, советуя ему попытаться вступить в воздушные силы рейха, чтобы стать знаменитым асом. И Вайс, сконфуженно улыбаясь, говорил, что он считает высшей честью для себя закреплять на земле победы славных асов, но не смеет даже и мечтать о крыльях, которых достойны только лучшие сыны рейха. И, разговаривая так с пассажирами, он в то же время лихорадочно решал, как ему поступить. Да, все, что он увидел и запомнил, лежит в запретной для него зоне, но он сделал открытие, которое потрясло его, и это открытие сейчас важнее всего на свете. Накладывая на незримую карту отдельные возводимые немцами в Польше сооружения, мимо которых они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную нацеленность на страну, от которой все больше и больше удалялся. Все в нем кричало о страшной опасности, нависшей над его родиной. Смятение овладело им.

И если все возможные обстоятельства, при которых человек может утратить власть над собой, включая пытки и угрозу казни, были обсуждены с наставниками и тщательное самонаблюдение дало ему твердую уверенность, что любую опасность он встретит с достоинством, не утратив воли, самоконтроля и решимости, то это испытание оказалось выше его сил, он чувствовал это.

А поезд все шел и шел, и колеса все так же ритмично постукивали по шпалам. Вот он замедлил ход, остановился. Небольшая станция. К перрону подъехал грузовик с солдатами. Из него сбросили на землю два каких-то тяжелых, мокрых мешка, но тут же Иоганн с ужасом увидел, что это не мешки, а люди. Два окровавленных человека со связанными на спине руками медленно поднялись и теперь стояли, опираясь друг о друга, чтобы не упасть, смотрели запущенными глазами на уставившихся на них пассажиров. На шее у них на белых чистеньких веревках висели одинаковые таблички: «Польский шпион». Надписи были сделаны мастерски: каллиграфическим староготическим немецким шрифтом по-немецки и ясными, разборчивыми буквами по-польски.

— Но! Но! — прикрикнул обер-лейтенант. — Вперед! — Конвойный толкнул одного из арестованных прикладом.

Тот, качаясь на окровавленных ступнях, медленно двинулся вдоль платформы, товарищ его плелся следом.

— Быстрее! — снова выкрикнул обер-лейтенант. — Быстрее!

И, обернувшись к пассажирам, с испуганными лицами наблюдавшим за проезжающим, приказал раздраженно:

— По вагонам, по местам, живо!

И все пассажиры ринулись в вагоны, толкаясь в проходах так, будто промедление угрожало им смертью.

Толпа подхватила Байса, затолкала в вагон, и он понял, как злы на него попутчики за медлительность, с которой он выполнял команду офицера.

Захлопнулась дверца тюремного вагона. Поезд отошел без сигнала, покатылся дальше, на запад. И опять отстукивали свое колесо...

Неожиданно Иоганн вспомнил, что когда он читал в каком-нибудь романе, как герой его что-то особое, таинственное слышит в перестуке колес, это казалось ему смешной выдумкой. А сейчас он невольно поймал себя на том, что мерный, ритмичный, всегда успокаивающий стук вызывает тревогу.

И, взглядываясь в пассажиров, тщетно пытающихся сохранить прежнее выражение спокойствия и уверенности, он на лицах многих из них заметил тревогу. Было очевидно, что репатрианты из своего безмятежного далека несколько в ином свете представляли себе «новый порядок», устанавливаемый их соотечественниками, и рассчитывали, что возвращение на родину будет обставлено празднично. И как ни был потрясен Иоганн увиденным, как ни страдал польским героям, он с радостью и успокоением понял: нацеленность Германии на границы его отчины не может оставаться тайной, и польские патриоты любой ценой — даже ценой своей жизни — известят об этом командование советских войск. Эта мысль возвратила Иоганну хладнокровие, которое он было утратил.

Несколько успокоившись, Иоганн решил навестить Генриха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь они перед отъездом не ладили.

Были обстоятельства, неизвестные Вайсу.

Когда Генрих Шварцкопф вместе с Папке приехал на вокзал, здесь его ждал Гольдблат.

Профессор выглядел плохо. Лицо опухшее, в отеках, он тяжело опирался на трость с черным резиновым наконечником.

Генрих смутился, увидев Гольдבלата. Но профессор истолковал его смущение по-своему, в выгодном для Генриха смысле. Он сказал:

— Я понимаю тебя, Генрих. Но Берта вспыльчива. Я уверен, что она испытывает в эти минуты горестное чувство от разлуки с тобой. — Профессор был прав: Берта действительно испытывала горестное чувство, но не потому, что уезжал Генрих, — с ним, она считала, уже все кончено; ей было больно за отца, который, вопреки всему происшедшему, решился в

память дружбы со старым Шварцкопфом на ничем не оправданный поступок.

Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой папке были работы Гольдבלата, которые Функ пытался недавно забрать из квартиры профессора. (Это темное дело Функу не удалось довести до конца: своевременно вмешался угрозыск.) И вот профессор решил несколько своих особенно ценных работ подарить сыну покойного друга.

Протягивая Генриху папку чертежей, перетянутую брючным ремнем, профессор сказал:

— Возьми, Генрих. Ты можешь продать мои чертежи какой-нибудь фирме. Если тебе там будет трудно и ты захочешь вернуться домой...

Генрих побледнел и сказал:

— Я у вас ничего не возьму.

— Напрасно,— сказал профессор, и, внимательно взглянув в глаза Генриху, добавил: — Ты ведь хотел получить их. Но почему-то иным способом, минуя меня.

Папке шагнул к Гольдבלату.

— Разрешите, профессор.— И, кивнув на Генриха, произнес, как бы извиняясь за него: — Он просто не понимает, какой вы ему делаете ценнейший подарок.

— Нет,— сказал профессор,— вам я этого не даю.— И прижал папку к груди.

— Пошли,— приказал Генрих и толкнул Папке так, что тот едва устоял на месте.

— Бедный Генрих,— сказал профессор. И повторил: — Бедный мальчик.

Берта застала только конец этой сцены,— не выдержав, она приехала вслед за отцом на вокзал.

Не взглянув на Генриха, она взяла у отца папку и, подерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь.

В такси профессору стало плохо. Ему не следовало после сердечного приступа сразу выходить из дому. Но он крепился, говорил дочери, утешая ее:

— Поверь мне, Берта, если бы Генрих взял мою папку, я бы с легким сердцем вычеркнул этого человека из своей памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила так же. Но он не взял ее. Значит, в нем осталась капля честности. И теперь я жалею этого мальчика.

— Папа,— с горечью сказала Берта,— в Берлине он надеет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо больше гордиться своим дядей штурмбанфюрером Вилли Шварцкопфом, чем своим отцом — инженером Рудольфом Шварцкопфом, который называл тебя своим другом.

Профессор сказал упрямо:

— Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять у меня папку.

Всего этого Иоганн Вайс не знал.

Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал в дверь купе мягкого вагона.

Генрих сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно представил его пожилой женщине с желтым, заплывшим жиром лицом, предложил кофе из термоса, спросил:

— Ну, как путешествуешь? — И, не выслушав ответа, почтительно обратился к своей попутчице: — Если вы, баронесса, будете нуждаться в приличном шофере... — повел глазами на Вайса, — мой отец был им доволен.

Хотя у Шварцкопфов не было своей машины и, следовательно, Вайс не мог служить у них шофером, он встал и склонил голову перед женщиной, выражая свою готовность к услугам. Она сказала со вздохом, обращаясь к Генриху:

— К сожалению, он молод, и ему придется идти в солдаты. А у меня нет достаточных связей среди наци, чтобы освободить нужного человека от армии.

— А фельдмаршал? — напомнил Генрих.

Баронесса ответила с достоинством:

— У меня есть родственники среди родовитых семей Германии, но я не осведомлена, в каких они отношениях с этим нашим фюрером. — Усмехнулась: — Кайзер не отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума высоко ценить аристократию.

— Уверю вас, — живо сказал Генрих, — фюрер неизменно опирается на поддержку родовитых семей Германии.

— Да, я об этом читала, — согласилась баронесса. — Но особенно он благоволит к промышленникам.

— Так же, как и те к нему, — заметил Генрих.

— Но зачем же тогда он называет свою партию национал-социалистской? Не благоразумней ли было ограничиться формулой национального единства? «Социалистская» — это звучит тревожно.

Вайс позволил себе деликатно вмешаться:

— Смею заверить вас, господа баронесса, что наш фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем кайзер.

Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала строго:

— Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при том условии, чтобы вы не смели рассуждать о политике. Даже с горничными, — добавила она, подняв густые темные брови.

— Прошу простить его, баронесса, — заступился за Иоганна Генрих. — Но он хотел сказать вам только приятное. — И, давая понять, что пребывание Вайса здесь не обязательно, пообещал ему: — Мы еще увидимся.

Раскланившись с баронессой, Иоганн вышел в коридор,

отыскал купе Папке и без стука открыл дверь. Папке лежал на диване в полном одиночестве.

Вайс спросил:

— Принести ваш чемодан?

— Да, конечно. — Приподнимаясь на локте, Папке осведомился: — Ничего не изъяли?

— Все в целости.

— А меня здорово выпотрошили, — пожаловался Папке.

— Что-нибудь ценное?

— А ты как думал! — Вдруг рассердился и произнес со стоном: — Я полагаю, у них на тайники особый нюх. — Заявил с торжеством: — Но я их все-таки провел. Этот, в тирольской шляпе, оказался настоящим другом. Перед тем как меня стали детально обследовать, я попросил его поддержать мой карманный молитвенник. Сказал, что не желаю, чтобы священной книги касались руки атеистов.

— Ну что за щепетильность!

Папке хитро сощурился и объявил:

— Эта книжица для меня дороже всякого священного писания. — И, вынув маленькую книгу в черном кожаном переплете, нежно погладил ее.

— В таком случае, — осуждающе объявил Вайс, — вы поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому лицу.

— Правильно, — согласился Папке. — Что ж, если не было другого выхода... Но мой расчет был чрезвычайно тонким, и этот, в тирольской шляпе, мгновенно разделил мои чувства.

«Ну еще бы! — подумал Вайс. — Бруно давно тебя понял. И можешь быть спокойным, твой молитвенник он не оставил без внимания».

— Я благодарен тебе за услугу, — сказал Папке.

— Я сейчас принесу чемодан.

— Возьми свой саквояж.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил Вайс.

— А у тебя в нем что-нибудь такое?

— Возможно, — сказал Вайс и, улыбнувшись, объяснил: — Кое-какие сувениры для будущих друзей.

Видно было, Папке тревожил этот вопрос, и Вайс понял, что тот не обследовал его саквояжа, значит, Вайс не вызывает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, самым сейчас приятным для Иоганна.

Вернувшись в свой вагон, Вайс забрался на верхнюю полку, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Как жаль, что он сопровождал Иоганна только до границы. С таким человеком всегда можно чувствовать себя уверенно, быть спокойным, когда он рядом, даже там, в фашистской Германии. Вайс не мог знать, что когда-то Бруно немало лет прожил в этой стране. И некоторые видные деятели Третьей империи хорошо

знали знаменитого тренера Бруно Мотце, обучившего немало значительных особ искусству верховой езды. Им не было известно только, что искусство это он в совершенстве постиг еще в годы гражданской войны в Первой Конной армии. Мотце был также маклером по продаже скаковых лошадей и благодаря этому имел возможность как-то общаться с офицерами немецкого генерального штаба, слушать их разговоры. Покинул он Германию в самом начале тридцать пятого года вовсе не потому, что ему угрожал провал. Просто его донесения значительно расходились с представлениями его непосредственных начальников о германских вооруженных силах. Будучи ярким лошадиником, Бруно Мотце — как ему объяснили его начальники — слишком преувеличивал роль танков в будущей войне. И поскольку доказать ему в порядке служебной дисциплины ничего не удалось, звание у него осталось то же, какое он имел в годы гражданской войны, командуя эскадронном. Всего этого Иоганн Вайс, разумеется, не знал. Бруно сделал то, что умел и мог сделать: обеспечил своему молодому соратнику так называемую «прочность» на первых шагах его пути в неведомое.

И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один. И это осознание себя как частицы целого — сильного, мудрого, зоркого — принесло успокоение, освободило от нескончаемого напряжения каждой нервной клеточки, подающей сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить новым сверхнапряжением воли, чтобы твою реакцию на эти сигналы ни один человек не заметил.

И еще было приятно в эти минуты душевного отдыха похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой теперешним, с Иоганном Вайсом, и постепенно исчезает необходимость придумывать, как в том или ином случае должен поступить Иоганн Вайс. Он — Вайс, созданный тобой, — повелевает каждым твоим движением, каждым помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовному наставнику.

Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного наставника-инструктора, его любимое изречение, которое раньше казалось скучной догмой: «Самое опасное — привыкнуть к опасности».

Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим карандашом в информационных бюллетенях описание случаев, когда многоопытные разведчики проваливались из-за того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безопасности, устав от постоянного напряжения, позволяли себе короткий роздых. Он терпеливо и подробно останавливался на каждой ошибке, но успешные, талантливые операции, какими бы выдающимися они ни были, комментировал странно.

— Это уже отработанный пар, — говорил наставник с сожалением. — Вошло в анналы... Действенно лишь то, что не-

повторимо. В нашем деле изобретательность столь же обязательна, как и необходима. Ближецы — ошибка природы. Повторять пройденное — значит совершать ошибку. Учитесь работать воображением, но не злоупотребляйте им. Правда — одна лишь действительность, сверяйте с ней каждый свой помысел, поступок. Самый надежный ваш союзник — правда естественности. Она высшая школа. Высший наставник. Она дает главные руководящие указания. Уклоняться от них — значит сойти с правильного пути, приблизиться к провалу.

Вспоминая уроки инструктора, Вайс внутренне благодарно улыбнулся этому уже пожилому человеку, отдавшему свою жизнь профессии, о которой не пишут в анкетах. Таким, как он, не присваивают профессорских званий. Их труды размножают всего в десятке экземпляров и хранят не на библиотечных полках, а в стальной неприступности сейфов.

Память инструктора берегла имена всех его учеников. Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников на примере подвиготех, кто, не рассчитывая ни на памятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины человеческого духа.

Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, последовательность, неуклонность в осуществлении цели — эти девизы, не однажды повторенные, прежде казались Иоганну педагогическими догмами. А как трудно руководствоваться ими, когда перед тобой возникает внезапно дилемма и ты должен решить, действительно ли то, что стоит на твоём пути, есть самое главное или это нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно пройти не задерживаясь.

Что такое Папке на его пути — побочное или главное?

Если постараться быть в дальнейшем полезным Папке, заслужить его расположение, может, откроется лазейка в гестапо? Стать сотрудником гестапо — разве это мало?

Проявить инициативу, рискнуть. Чем? С собой? Но тем самым он подвергнет риску задание, конечная цель которого ему неизвестна. Запросить Центр? Но у него нет разрешения на это и долго еще не будет. Значит, надо ждать, вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, который предпочитает всему скромную, хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, уподобиться господину Фридриху Кунцу, его бывшему хозяину в Риге, стать владельцем собственной авторемонтной мастерской.

Небо было пасмурным, холодным, тусклым. Падал серый дождь, временами со снегом. Невспаханые поля походили на бесконечные болота. Казалось, поезд шел по пустыне. Позже Иоганн узнал, что населению запрещалось появляться в зоне железной дороги. Патрули с дрезины на ходу расстреливали нарушителей оккупационных правил.

В Варшаву прибыли ночью, город был черным, безлюдным. Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По перрону и путям метались огни ручных фонарей. Слышались отрывистые слова команды, топот солдатских сапог. Вдруг раздался взрыв гранаты, треск автоматных очередей. Потом все стихло.

Через некоторое время по перрону, стуча коваными сапогами, протопал конвой. В середине его согбенно плелся солдат, зажав под мышками ноги человека, которого он волок за собой по асфальту. Человек был мертв, широко распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появились полицейские с носилками — они несли трупы солдат, прикрытые бумажными мешками.

Пассажиры смиренно сидели в вагонах, сохраняя на лицах выражение терпеливого спокойствия. Казалось, все увиденное не произвело на них никакого впечатления.

Но за беспечным равнодушием, с каким они переговаривались о посторонних предметах, проглядывала судорожная боязнь обмолвиться незначай каким-нибудь словом, которое потом могло повредить им. Было ясно: эти люди боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного нападения на поезд польских партизан.

Иоганн, внимательно наблюдая за своими спутниками, сделал для себя важный вывод: скрытность, осторожность, вдумчивое лицемерие, способность к мимикрии и постоянное ощущение неведомой опасности — вот общий дух рейха. И спутники Иоганна, заглазно проникшиеся этим духом, казались, давали ему, Вайсу, наглядный урок бдительности и лицемерия как основных черт, типичных для благонадежных граждан Третьей империи.

Иоганн сделал и другое ценное психологическое открытие.

Когда полицейские несли трупы немецких солдат, убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паренек — сосед Иоганна — вскочил, поднял руку и крикнул иступленно:

— Слава нашим доблестным героям, не пожалевшим жизни во имя фюрера!

Хотя нелепость этого возгласа была очевидна: один убитый польский партизан и трое немецких солдат, погибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться ликованиям, — пассажиры с восторгом подхватили этот возглас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермахту.

Казалось, в сердцах репатриантов мгновенно вспыхнуло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто не решался первым погасить в себе бурю восторженных переживаний, хотя уже иссякли эмоции, израсходованы были подходящие для такого случая слова и мускулы лица утомились от судорожного выражения восторга и благоговения.

Виновник этого высокого переживания уже успел забыть о

своим патриотическим порыве. Он лежал на полке и, елозя по губам гармошкой, выдувал игривую песенку.

А когда гневная рука вырвала из его рук гармошку и пожилой пассажир яростно закричал: «Встать, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты!» — паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами виновато, испуганно стал просить у всех прощения и клялся, что это он нечаянно.

И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него подозрительные и негодующие взгляды. И когда пожилой пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических чувств надо призвать юнца к ответственности и что он сообщает обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили такое решение.

Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс сделал открытие, что существует некая психологическая взрывчатка и если ее вовремя подбросить, то можно найти выход даже в очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. Сочетание дисциплинированной благопристойности и бешено выражаемых эмоций — вот современный духовный облик прусского обывателя, и это тоже следует принять на вооружение. За духовной модой необходимо следить так же тщательно, как за покроем одежды, которая должна выражать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обществе.

И еще Иоганн подметил, что у его спутников все явственнее сквозь оболочку страха, подавленности, подозрительности пробиваются черточки фюреризма — жажды любым способом утвердить свое господство над другими, воспользоваться мгновенным растерянием окружающих, чтобы возвыситься над ними, и потом всякого, кто попытается противиться этой самозванной власти, жестоко и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но если поверженный покорно и беспрекословно подчинится, сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некоторое возвышение над другими.

Так случилось с тощим малым. Пожилой пассажир, внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво принял робкое заискивание неудачливого музыканта, снисходительно простил его. И затем долго со значительным видом внушал ему, что теперь каждый истинный немец должен воспитывать в себе черты, сочетающие послушание с умением повелевать. Ибо каждый немец на новых землях — представитель всевластной Германии, но перед фюрером каждый немец — песчинка. Одна из песчинок, которые в целом и составляют гранит нации.

Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чувство азарта, жажду проверить и на практике свое новое открытие.

Не удержавшись, он свесился с полки и небрежно заметил:

— А вы, оказывается, социалист!

Пожилый пассажир побагровел и стал тяжело дышать.

Вайс упрямо повторил:

— Не национал-социалист, а именно социалист.

Пожилый встревоженно поднялся и, осторожно касаясь плеча Вайса, сказал робко:

— Вы ошиблись.

Вайс сухо произнес:

— Мне жаль вас, — и отвернулся к стене.

В вагоне наступила тишина, пожилой пассажир, нервно покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поскорее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него отворачивались. А тощий юноша, мотая головой, извлекал из губной гармошки бойкие, игривые звуки.

5

На рассвете приехали в Лодзь.

Древнейшие польские земли, колыбель польского государства — Познанское воеводство, Силезия, Кувия и часть Мазовии — были включены гитлеровцами в состав Третьей империи. Лодзь фашисты причислили к городам Германии.

На остальных землях Польши была создана временная резервация для поляков, так называемое генерал-губернаторство, которое должно было поставлять Германии сельскохозяйственные продукты и рабочую силу.

Лодзь — Лицманштадт — Фатерланд.

Это должен был понять каждый немецкий репатриант.

Это рейх.

И все славянское приговорено здесь к изгнанию, к уничтожению, к казни.

В сыром, сизом тумане, как тени, двигались силуэты людей. На перроне выстроились носильщики. Позади каждого из них стоял человек в штатской одежде. Репатриантов сопровождали в общежитие близ вокзальной площади и приказали не выходить. На следующий день их поочередно стали вызывать в центральный пункт переселения немцев — Айнвандерцентральштелле. Эта организация, кроме политической проверки и оформления новой документации репатрированных, занималась также распределением репатриантов на работу по заявкам ведомств. Поэтому до прохождения всех стадий учета и проверки приезжие должны были находиться в специально отведенных помещениях — как бы в карантине. Для многих немцев это была и биржа труда.

От чиновников центрального пункта переселения зависела судьба репатриантов: кого на фермы, кого на заводы в про-

мысленные районы Германии. Здесь же представители тайных фашистских служб встречали своих давних агентов, вроде Папке, и вербовали новых — тех, кто мог бы оказаться подходящим для этого рода службы.

Тщательно одеваясь перед визитом в центральный пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти:

«Чиршский Карл, оберштурмбанфюрер СС, бывший сотрудник Дрезденского СД, заместитель начальника переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности (РСХА). В Лодзи возглавляет переселение немцев из прибалтийских и других государств. Приметы: тридцать шесть лет, высокого роста, худощав.

Зандбергер, тридцать восемь лет, штандартенфюрер СС, начальник переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности, постоянно проживает в Берлине, в Лодзи бывает наездами.

Редер Рольф, тридцать пять лет, оберштурмбанфюрер СС, среднего роста, блондин, нормального телосложения, лицо круглое, сотрудник СД по проверке немцев, переселяющихся в Германию из других стран...»

В этом мысленном путешествии по досье едва ли была сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика памяти равнялась утренней умственной зарядке и освобождала голову от всяких побочных мыслей, не только утомительных, но и бесполезных в данной обстановке.

Предполагая, что допрос может превратиться в опасный поединок, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, предаться полному умственному отдыху.

И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, который утверждал, что даже когда утром чистишь зубы, то и эти минуты следует использовать плодотворно — для размышлений. Наставник тщательно избегал служебного лексикона. Слова «подвиг», «героизм» он не употреблял, заменяя их другими: «работа», «сообразительность». Высшей похвалой в его устах звучало слово «разумно».

Доктор Редер Рольф сидел, развалившись в кресле. Черный эсэсовский китель расстегнут. Белая крахмальная рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Рассматривая свои только что отполированные маникюршей ногти, не глядя на Вайса, сделал ленивый жест рукой.

Иоганн сел.

— Ну, что скажете?

— Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.

Редер неохотно поднял руку:

— Хайль! — Придвинул стопку анкет, приказал: — Пройдите в другую комнату и заполните.

Вайс взял анкеты, встал и, когда повернулся, внезапно по-

чувствовал спиной, затылком прицельный, острый взгляд Редера. Томительно хотелось обернуться, чтобы встретить этот пронизывающий взгляд. Иоганн знал, что Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И соратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внушали себе, что обладают гипнотической силой. Иоганну хотелось испытать, может ли он глубоким спокойствием своего взгляда погасить настойчивое намерение Редера читать чужие мысли. Но он тут же подавил в себе это ненужное желание, осторожно вышел и тихонько притворил за собой дверь.

Анкеты содержали вопросы, на которые он уже множество раз отвечал на занятиях: чем подтверждается немецкое происхождение, мотивы, побудившие к отъезду в Германию, — все это было давно четко отработано.

И сейчас он стремился только к тому, чтобы заполнить анкету за то время, в каком нуждается человек, не подготовленный к вопросам, обдумывающий ответы. Сдав анкету чиновнику, Вайс ждал в приемной, предполагая, что теперь Редер займется им более основательно. Ждать пришлось долго. И когда наконец его вызвали, Иоганн был удивлен вопросом Редера:

— А, вы еще тут?

— Господин штурмбанфюрер, — твердо сказал Вайс, — я был бы счастлив, если б вы уделите мне несколько минут.

Редер нахмурился, лицо его приняло подозрительное выражение.

— Я хотел бы просить у вас совета, — коротко пояснил Вайс. — О вашем высоком положении в рейке мне говорил господин крейслейтер Функ, у которого я работал шофером.

Крупное лицо Редера расплылось в самодовольной улыбке.

Иоганн продолжал, скромно опустив глаза:

— Как вам известно из моей анкеты...

— Да, там все в порядке, — небрежно бросил Редер.

— Господин Функ был доволен моей работой. Но я холост. И господин Функ говорил, что это не-solidно — быть холостяком в моем возрасте. Не мешает ли это найти мне здесь хорошее место?

Редер, откинувшись в кресле, хохотал. Тугой живот его подскакивал.

— Ну и простак же ты! — захлебываясь от смеха, твердил Редер. — Ему, видите ли, нужно благословение штурмбанфюрера!

Вошел чиновник. Редер кивнул на Вайса:

— Он просит меня найти ему деву, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера, а самому уклониться от военной службы. Ну и шельмец! — И махнул рукой в сторону двери.

Вайс с виноватым и растерянным видом откланялся и вышел.

Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал ему документы, внушительно заметив при этом:

— Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя фамилия Шульц.

— Слушаюсь, господин Шульц! Очень вам признателен.

Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что посыльный принес ему записку от Генриха. После прохождения проверки репатриантам разрешили выходить в город. Вайс направился по адресу, указанному в записке.

Генрих занимал апартаменты в одном из лучших отелей. Он был не один: оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, как и обещал, встретил племянника и в этот же день собирался выехать с ним на машине в Берлин.

Генрих представил Вайса своему дяде. Тот, не подав Иоганну руки, небрежно кивнул головой с черной, зачесанной на бровь, как у Гитлера, прядью. Над толстой губой его торчали гитлеровские же усы. Был он тучен, лицо потасканное, под глазами мешки, одна щека нервно подергивалась.

На круглом столике, кроме обычного гостиничного телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских телефонных аппарата, толстые провода их змеились по полу.

Генрих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин и, возможно, больше они не увидятся. Потом сказал покровительственно:

— Памятуя твои услуги моему отцу... Если ты в чем-нибудь нуждаешься...— И вопросительно посмотрел на дядю.

— Да,— сказал оберштурмбанфюрер, доставая какие-то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка со стальным браслетом,— можно дать ему денег.

Иоганна больно уколол пренебрежительно-снисходительный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний друг расстается с ним. Он понял, что необратимо рушатся надежды, возлагаемые на дружбу с Генрихом, на возможность использовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на это рассчитывал, и не он один...

Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью:

— Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба,— щелкнул каблучками и склонил голову перед Вилли Шварцкопфом. Произнес с просительной улыбкой: — У меня есть возможность получить место в гараже Айнвандерерцентральнойштелле. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.

Вилли Шварцкопф поднял брови, туповато осведомился:

— Ты хочешь служить там шофером?

Вайс еще раз почтительно наклонил голову.

Вилли Шварцкопф взял телефонную трубку, назвал номер, сказал:

— Говорит оберштурмбанфюрер Шварцкопф. — Вопросительно взглянул на племянника: — Как его зовут? — Повторил в трубку: — Иоганн Вайс. Он будет работать у вас шофером... Да... Нет. Только шофером. — Бросил трубку, взглянул на часы.

Вайс понял, поблагодарил и дядю и племянника. У двери Генрих сунул ему в карман конверт с деньгами, пожал вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась.

Вот и кончено с Генрихом, и все оказалось бесплодным — все, на что истрачено столько душевных сил, с чем связывалось столько далеко идущих планов. Есть ли здесь вина самого Вайса? И в чем она? Не разгадал душевной черствости Генриха? Был недостаточно напорист, недостаточно настойчив, чтобы занять место его доверенного наперсника? Недооценил влияния Функа, а потом и Вилли Шварцкопфа? Полагал, что пробуждающиеся симпатии Генриха к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пылкость, его, казалось бы, искреннюю привязанность к товарищу?

Вайс понимал, что допустил не только служебную ошибку, которая, возможно, отразится на всей операции, но человечески ошибся, и эта ошибка оставит след в его душе. Как бы там ни было, а Генрих ему нравился своей искренностью, доверчивым отношением к людям, хотя эта доверчивость легко подчинялась любой грубой воле извне. Подъем чувств легко сменялся у него подавленностью, кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, искренне презирал себя за дурные поступки, метался в поисках цели жизни. Вот эта порывистость, смятенность, недовольство собой и казались Иоганну человечески ценными в Генрихе, и он радовался, когда видел, что его осторожное влияние иногда сказывается в поступках и мыслях Генриха. Это привязывало Иоганна к молодому Шварцкопфу, и из объекта, на которого Вайс делал ставку, Генрих как-то постепенно превращался в его спутника. Если с ним и нельзя было делиться сокровенными мыслями, то, во всяком случае, можно было не испытывать чувства одиночества.

И вот все, что медленно, терпеливо подготавливал Иоганн, что составляло главное в разработке его замысла, оборвалось.

На другое утро Иоганн снова отправился на Центральный переселенческий пункт.

Шульц встретил его одобрительным смешком.

— А ты не такой уж простофиля, каким тебя посчитал господин оберштурмбанфюрер, — сказал он, похлопывая Иоганна по плечу. — Оказывается, ты знаком с оберштурмбанфюрером Шварцкопфом?

— Что вы, — удивился Вайс, — откуда я могу быть знаком с таким лицом! Но я работал у его брата, Рудольфа Шварцкопфа, и сын господина Шварцкопфа рекомендовал меня господину оберштурмбанфюреру.

— Хорошо, — благосклонно сказал Шульд. — Я прикажу взять тебя в наш гараж. Но кому ты этим обязан? Надеюсь, всегда будешь помнить?

— Весь в вашем распоряжении. — Вайс вскочил, щелкнул каблуками, вытянув руки по швам.

В этот день Вайс прошел процедуру оформления на службу в Айнвандерерцентральштелле.

Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар, и не дорого. Вероятно, хозяйку подкупила кротость, с какой он принял ее неукоснительное правило:

— Никаких женщин!

Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что хозяйка, фрау Дитмар, сжалившись, милостиво разъяснила:

— Во всяком случае, не в моем доме.

Иоганн пробормотал сконфуженно:

— Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.

— Убирать свою комнату вы должны сами!

— Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому, и, право... Вы убедитесь...

— Почему тетя?

— Я сирота, мадам.

— О! — воскликнула милостиво фрау Дитмар. — Бедный мальчик! — И, расчувствовавшись, предложила Иоганну кофе в крохотной кухне, блистающей такой чистотой, какая бывает только в операционной.

Невысокая, полная, круглолицая, с увядшими голубыми глазами навывкате и скорбными морщинками в углах рта, фрау Дитмар сохранила, несмотря на свой возраст, черты былой миловидности. Но по ее одежде, по манерам, по выражению лица можно было заключить, что она давно примирилась с тем, что ее женский век кончился.

За кофе в порыве внезапной симпатии, свойственной одиноким людям, уставшим от своего одиночества, она разоткровенничалась и стала рассказывать о себе.

Фрау Аннель Дитмар принадлежала к старинному немецкому роду, отпрыски которого со временем разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Покойные родители ее прожили всю жизнь в Польше. Шестнадцати лет Аннель вышла замуж за инженера Исахима Дитмара, который был старше ее на пятнадцать лет. Инженер был не из ловких и удачливых людей. Недостатки эти усугублялись его чрезмерной, щепетильной честностью, за которую ему приходилось не однажды подвергаться обвинениям в нечестности со стороны

владельцев фирмы. Умер он от сердечного припадка после очередного оскорбления, нанесенного ему инспектором фирмы, — тот назвал его тупицей и глупцом.

Инженер Дитмар, в соответствии с технологией, дал указание использовать для изготовления деталей станков, экспортируемых за границу, высоколегированную сталь. Но это не отвечало политическим целям Германии и экономическим интересам фирмы.

Откуда господину Дитмару было знать, например, что с благословения Геринга начальник абвера Канарис через третьи страны наладил тайную продажу оружия испанским республиканцам с целью ослабить их боеспособность? Для этого в Чехословакии, в балканских и других государствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпасы, гранаты. Все это привозили в Германию. Эсэсовские оружейники отпиливали ударники, портили патроны, уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли в них взрыватели мгновенного действия. После переделки непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, Чехословакию, Голландию и перепродавали за золото испанскому республиканскому правительству.

Нечто подобное решили предпринять по своей инициативе владельцы фирмы, где служил Дитмар: они начали вырабатывать отдельные детали станков, предназначенных на экспорт, не из высоколегированной, как того требовала технология, а из низкокачественной стали. И таким образом фрау Дитмар стала вдовой. Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где обнаружили его блестящие способности к математике.

Но если отец чуждался политики, то сын предавался ей со страстью. Он преклонялся перед Гитлером, вступил в «гитлерюгенд», стал функционером организации.

Фрау Дитмар, давно осудив никчемность супруга, мечтала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет достойное место в обществе и будет преданно покоить старость матери. Она отказывала себе во всем, чтобы дать ему возможность получить образование. И вот... За весь год Фридрих прислал ей только две поздравительные открытки: одну — на пасху, другую — на рождество.

Почти все это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый же вечер, почувствовав расположение к одинокому и скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою мать, предпочитая ее обществу компании сверстников.

Иоганн понял: фрау Дитмар втайне жаждет играть при нем роль матери и таким образом в какой-то мере утолить тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы Иоганн согласился сопровождать ее по воскресеньям в кирху,

на утренние богослужения, как это некогда делал ее Фридрих. Но натуре это была добрая, мягкая, отзывчивая женщина.

Если бы даже столь выдающийся и опытный специалист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее удобное жилище, едва ли он мог бы найти лучшее, чем дом фрау Дитмар.

Итак, Иоганн в лице фрау Дитмар нашел квартирную хозяйку, какую трудно предугадать даже в самых дальновидных планах. Ее душевное расположение к нему — защита от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомленность о жизни города помогут избежать поверхностного суждения об окружающих его здесь людях.

В гараже, куда на следующий день пришел Иоганн за полчаса до начала работы, его встретили с явной неприязнью. Вскоре он догадался о ее причинах.

Нахбарнфюрер Папке выполнил свое обещание. В эсэсовском мундире он явился к начальнику гаража ефрейтору Келлеру, и, хотя тот уже получил от Шульца распоряжение зачислить Вайса в штат, Папке, со своей стороны, дал подобное же приказание.

Шоферы, механики, слесари, мойщики машин сторонились Иоганна, но вели себя при этом с почтительной настороженностью — так, как, по их мнению, следовало вести себя с протеее сотрудника гестапо, который здесь, в гараже, несомненно, будет выполнять функции тайного доносчика.

Вайс решил, что заблуждение сослуживцев ему на руку: изоляция избавит его от излишних расспросов и навязчивой дружбы — вряд ли кто захочет общаться с таким сомнительным типом, каким он был в их представлении.

Имелись преимущества и в независимости его положения. Если он вначале скажет что-нибудь не так или обнаружит неведение, это сочтут естественным для агента гестапо, и он может смело осведомляться о том, о чем профессиональному немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно.

Ну, и, конечно, если понадобится, можно сразу попробовать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой и строптивый человек, полный чувства собственного достоинства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил долгожданного друга.

Вайс получил новенькую высокоосную чехословацкую «татру» с мотором воздушного охлаждения — машину, приспособленную к армейским нуждам, со специальными креплениями в передней и задней части корпуса для установки пулемета.

Несмотря на то, что машина была уже освобождена от заводской смазки, Вайс заново вычистил детали. В свое время

он прошел курс обучения на всех марках машин, выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, что Германия захватит Чехословакию и ему придется работать на чехословацких машинах; поэтому Иоганну пришлось напрячь всю свою техническую смекалку, чтобы после пробного выезда с честью овладеть «татрой». И, конечно, он допустил вначале кое-какие оплошности.

В гараже существовали свои неписанные правила.

Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же спецовке, в которой готовил машину к выезду.

Никто, находясь в гараже, не пользовался своим комплектом инструментов — брали гаражный, хотя он был значительно хуже. В туалетной комнате висело на деревянных роликах полотенце. Все им вытирались в течение рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал свое собственное полотенце.

Если обращаешься к кому-нибудь за советом или помощью, надо тут же угостить сигаретой, а если занял больше времени — отдать всю пачку.

Кое-кто из шоферов не считал для себя зазорным воровать бензин, цена которого была баснословна, и торговать им на «черном» рынке, но если забудешь в гараже зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день потерянное будет лежать на прилавке проходной.

Первым нужно здороваться только с ефрейтором Келлером и механиком гаража, с шоферами — по выбору, но слесари и мойщики машин обязаны первыми приветствовать шоферов, особенно тех, кто возит начальников.

Вильгельм Брудер, шофер штурмбанфюрера Редера, был фигурой более значительной, чем Келлер, и с ним почтительно раскланивались все без исключения, а он не всегда находил нужным отвечать.

Иоганн, несмотря на то, что все это еще более упрочило неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других щелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только вынимал из кармана сигареты.

Хотя Иоганн не был личным шофером кого-либо из начальства и, значит, не имел покровителя, тень Папке служила ему прикрытием от возможных столкновений с сослуживцами.

Поездки Вайса пока ограничивались только районами города, и возил он главным образом незначительных служащих Центрального пункта переселения немцев, очевидно уведомленных Келлером, что при этом шофере болтать лишнего не следует. Иоганн и перед этими людьми старался зарекомендовать себя с лучшей стороны: почтительно открывал дверцу, помогал нести чемоданы, осведомлялся о желаемой пассажирской скорости. Но когда какой-нибудь словоохотливый пассажир пытался вступить с ним в беседу, даже на патриотиче-

ские темы, Иоганн от разговоров уклонялся, вежливо сославшись на уставные правила. Получив первое жалованье, он пригласил в ресторан Брудера, Келлера и водителя полугрузовой бронированной машины Карла Циммермана, занимавшего особое положение в гараже, так как никому не было известно, в каком ведомстве он служит.

Иоганн заметил, что китель Циммермана на животе с обеих сторон оттопырен двумя пистолетами, а в кабине его машины на специальной держалке укреплен граната и с потолка свешиваются кожаные петли, в которых лежит автомат. Никто в гараже не имел права касаться машины Циммермана — он готовил ее сам, и вызов ему привозил обычно мотоциклист. Каждый раз, получив вызов, Циммерман расписывался в приказе и возвращал его мотоциклисту.

Иоганн решил: самым правильным будет, если он не станет ничего заказывать в ресторане, а скромно предложит гостям сделать выбор по собственному их вкусу.

Циммерман, подчеркивая, что здесь он себя считает самым главным, и для того, чтобы дать другим почувствовать это, громко объявил, самодовольно поглядывая на Келлера:

— Не бойся, если даже тебя пьяного задержит патруль, я скажу им такое, что они отсалютуют тебе, как генералу.— И подмигнул Иоганну.

Циммерман, Келлер и Брудер оказались мастаками по части даровой выпивки. Пиво со шнапсом — это был только первый заход. Иоганн понимал, что три таких разных человека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни были пьяны, не станут откровенничать друг с другом. Наивно было бы полагать, что шнапс развяжет им языки. И не на это рассчитывал Вайс. Он знал: новичку положено угостить сослуживцев — он просто следовал традиции.

Иоганн никогда еще не напивался, а в тех случаях, когда приходилось это делать, умел себя контролировать. И сейчас он как бы со стороны с любопытством следил за всеми стадиями собственного опьянения. Вместе с опьянением к нему пришла какая-то удивительная легкость. Он наговорил столько приятного своим собутыльникам, что к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дружеские чувства.

Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв Иоганну дверь и почувствовав запах спиртного. Говорила, что считает себя как бы матерью Иоганна и не может себе простить, почему не предложила ему пригласить гостей домой: ведь в ее доме она никогда не позволила бы ему пить шнапс. Она была так взволнована, так огорчена всем происшедшим, что всю ночь держала на голове холодный компресс, пила сердечные капли. Наутро Иоганн просил у нее прощения с той искренностью и тем чистосердечием, с какими уже многие месяцы ни к кому не обращался.

Однажды в пасмурный, дождливый день, случайно проходя мимо бюро по найму прислуги, Вайс встретил баронессу, соседку Генриха по купе. Она приехала в пароконной коляске из замка, ранее принадлежавшего знаменитому польскому роду и отданного теперь ей в собственность генерал-губернаторством взамен оставленного в Латвии небольшого имения.

Баронесса была чем-то расстроена, похудела, морщины на ее лице углубились, кожа повисла складками. Одета она была в меха и небрежно ступала по лужам в своих замшевых туфлях с перламутровыми пряжками.

Баронесса с первых же слов разоткровенничалась. Должно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада была увидеть знакомое лицо.

Узнав теперь, что Вайс был не просто шофером Шварцкопфа, а как бы военным чином, и что хозяин его — важная персона, она окончательно прониклась к нему доверием. Среди прочей болтовни она поведала Вайсу о своих тревогах. Она подозревает, что у бывших владельцев замка есть родственная ветвь в Англии и это может ей повредить впоследствии. В сущности, она не одобряет конфискации имущества у польской аристократии, и хотя славянство — низшая раса, к древним родам расовый принцип неприменим. И если некоторые польские аристократы фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не представляет опасности для рейха. Это вполне благоразумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на Россию — это опасно...

На прощание баронесса милостиво пригласила Иоганна в замок и пообещала, что управляющий угостит его хорошим обедом.

После пирушки в ресторане Вайс заметил, что его дружеские отношения с Келлером, Брудером и Циммерманом затруднили общение с рядовыми работниками гаража. И это было ему очень горько.

Вначале они чуждались Вайса и говорили только то, что было необходимым по ходу работы.

Но потом, как это всегда бывает, труд сблизил их с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к человеку, если видят в его рабочих повадках подлинное мастерство.

Вайс знал термитную и газовую сварку, умел определить марку стали по излому, с точностью лекальщика отшлифовать деталь, и эти универсальные знания удивляли немецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не подавали виду.

Многому Белов научился на заводе, где работал и отец, но большую часть своего умения он обрел в институтской лабо-

ратории, где занимался в студенческом научном кружке под руководством академика Линева.

Сначала из немногословных реплик Вайс узнал, что Венер — участник первой мировой войны, был тяжело ранен на Восточном фронте и какой-то русский солдат, тоже раненый, полегче, взял его в плен, повел, а потом, после того как покурили, сидя в осыпавшемся окопе, махнул рукой и ушел, забрав только винтовку Венера.

Вайс сказал:

— Значит, среди русских попадаются хорошие люди. Но этот, наверное, не был большевиком.

Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, потом спросил:

— Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?

— Кажется, большевики.

— Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?

Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры.

Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гараже, Винц спросил Иоганна:

— Вот ты, молодой и ловкий малый, почему работаешь, как мы, а не в СС, не в гестапо, — вот где такому парню лестница вверх.

— А ты почему по ней не лезешь?

— Я рабочий.

— И тебе это нравится — быть рабочим?

— Да, — сказал Винц. — Нравится.

— А где нос перешиб, на работе?

— Да, — сказал Винц, — на работе. Неаккуратно вправляли мозги, вот и поломали.

— Кто?

— Да уж кому положено.

— Понятно, — сказал Вайс.

— Что именно?

— Смелый ты парень.

— Это потому, что такое говорю? — Винц усмехнулся. — Не видел ты, значит, настоящих смелых ребят.

— Да, я не был на фронте, — нарочно снисходичал Иоганн.

— Они не на фронте.

— А где?

— В гестапо!

— Да, ребята там крепкие, — сказал Иоганн, внимательно глядя на Винца, и добавил с улыбкой: — Ты ведь это хотел сказать.

Винц тоже улыбнулся и похвалил:

— А ты действительно ловкий парень, не из тех, кто плюет товарищу под ноги.

— И ты не из таких.

— Правильно,— согласился Винц.— Угадал в самую точку.

Иногда Вайс после работы заходил со своими напарниками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отхлебывали пиво из больших кружек и вели разговоры о своих семьях, вспоминали о доме, читали полученные письма.

Однажды Иоганн спросил, будет ли война с Россией.

Венер ответил загадочно:

— Бисмарк, во всяком случае, не советовал.

Винц сказал:

— А он плевать хотел на твоего Бисмарка. Возьмет и прикажет, сегодня или завтра прикажет.

— А будет еще послезавтра,— уклончиво сказал Венер.

— И что тогда? — допытывался Винц.— Что послезавтра будет?

— Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать на всю пивную то, что будет? — рассердился Венер.

Винц, внимательно глядя на Иоганна, поднял кружку:

— Будь здоров! — И выпил до дна.

Иоганн тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на всякий случай:

— За тебя и за нашего фюрера.

— Ох и ловкий ты парень! — сказал Винц.— Тебе бы в цирке работать.

Уважение рабочих гаража Вайс приобрел благодаря своему умению спокойно, без лишних разговоров выполнять сложную техническую работу по ремонту машин. Вместе с Винцем и Венером он восстановил разбитую передвижную электростанцию, смонтированную на кузове грузовика с мощным дизельным двигателем.

Сдавая отремонтированную электростанцию военному инженеру, Вайс удостоился не только похвал но и денежной награды.

Вечером в той же пивной он разделил деньги между своими напарниками.

Венер и Винц заказали свои обычные большие кружки пива и, как всегда, чинно, протяжно отхлебывали маленькими глотками, заглатывая напиток вместе с горьким дымом сигарет. Но когда вышли на улицу — оба они, явно не сговариваясь заранее, запротестовали, требуя, чтобы Иоганн взял себе большую долю из полученных денег.

— Но почему? — спросил Вайс.

— Знаешь, парень,— строго сказал Венер,— ты у себя в Прибалтике нанюхался социализма. А у нас здесь совсем другой запах.

— Дерьмом воняет,— объяснил Винц.— И ты еще к нему не принюхался.

— Ну, вот что,— сказал Иоганн.— Мой нос сам мне скажет, где чем пахнет, а вы катитесь.

— Значит, не возьмешь свои деньги?

— Вот что,— сказал Иоганн,— ничего я вам не давал. А только заплатил. Заплатил, понятно?

— Так много?

— А это — мое дело. Я хозяин, я плачу.

— Значит, ты из этих, кто хозяева?

— Да,— сказал Иоганн,— именно из этих.

— Значит, ~~не~~ возьмешь?

— Нет.

Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями улице. И вдруг Винц с силой хлопнул по спине Вайса и сказал:

— А ты, Иоганн, настоящий немецкий рабочий парень, таких у нас в Руре было когда-то немало.

— В Гамбурге тоже,— добавил Венер.

И впервые за все это время Иоганн испытал искреннюю радость оттого, что его признали немцем...

Постепенно Иоганн убедился, что чем выше положение того или иного лица, тем меньше оно расположено к откровенности. Пропорционально занимаемой должности увеличивается тайный контроль за ним. Чем значительнее персона, тем длиннее хвост агентуры. И этот хвост может захлестнуть Иоганна петлей, если он, еще недостаточно защищенный, будет в нее соваться.

Наблюдая и размышляя, Вайс установил для себя любопытную и очень полезную истину: чем выше занимаемая должность, тем выше комерней обладатель ее относится к подчиненным и тем строже требует соблюдения тайны различного рода информации. Но высокомерие, проявляемое к ближайшим подчиненным, в отношении мелких служащих приобретает зачастую характер пренебрежения к ним. И подобно тому, как немецкий генерал никогда не позволит себе выйти к офицеру без кителя, а перед солдатом не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, так и вышестоящие чины в присутствии низших служащих не слишком строго соблюдают правила сохранения служебной тайны.

В служебной системе, где старшие зачастую передоверяют младшим свою работу, в тщательно продуманной и безукоризненной схеме имелись точечные организмы, которые, будучи по своему положению низшими чинами, выполняли ответственную работу.

Эти «организмы» готовили отчеты, донесения, сводки, доклады. Все они были людьми большей частью образованными, готовыми безотказно трудиться в тылу, считая высшим благом уже одно то, что их не посылали на фронт.

Вот с такими служащими-солдатами Вайс стремился сблизиться. Но пока не знал, как.

И еще. В оккупированной Польше немецкие офицеры не только упивались сознанием своего всевластия, но и стремились обставить пребывание здесь с наибольшим комфортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, приученные с детства к скудному домашнему обиходу, обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков в лакеев. И чем выше занимал должность офицер, тем больше людей его обслуживало.

Повара, лакеи-денщики, горничные пользовались большим расположением старших офицеров, чем младшие офицеры. И эта публика была осведомлена о своих хозяевах лучше, чем самые приближенные лица.

То была настоящая каста. Строевики презирали ее, и только штабные чиновники понимали особое влияние этой касты, которой опасно было пренебрегать.

В эту специфическую среду Вайс хотел проникнуть, но, понимая свое особое положение, люди этой среды держали себя с кастовой замкнутостью.

И Вайс с усмешкой думал, что, если бы баронесса вдруг решила принять его как равного и представила своим знакомым, он знал бы, как держать себя с немецкой аристократией, — книги, фильмы, тренировки служили для этого надежной основой. А о немецкой прислуге он был осведомлен гораздо меньше. Ему предстояло на практике изучить эту новую для него социальную прослойку. Попытки найти ключ к тайнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончились безуспешно. Фрау Дитмар заявила с негодованием:

— Прислуга — это враг в доме. Я стала обходиться без прислуги с тех пор, как моя кухарка сделала мне замечание. Она посмела сказать, что если я не буду к возвращению мужа с работы красиво причесываться, он оставит меня. Это наглцы, согладаты в семье!

Жизненный опыт Вайса не давал ничего полезного в познании людей этого рода. И если у некоторых его знакомых и были домработницы, то они находились скорее в положении члена семьи, от которого зависят все остальные, пребывающие, кроме того, в непрерывном тревожном ожидании, что вот-вот домработница объявит: с такого-то дня она студентка, или продавщица, или уезжает на новостройку.

Сотни машин съезжались каждую субботу вечером к довольственному цейхгаузу за пайками, размеры и ассортимент которых соответствовали званию и должности того или иного лица. Пайки для своих хозяев получали кухарки, денщики, повара. Но им не полагался транспорт, и предлагать кому-либо из них свою машину было неосторожно.

Как-то Иоганну посчастливилось навязаться в помощники

ефрейтору, выдающему на складе обеденные сервизы из трофейного фонда. Но завязать знакомства не удалось. Слуги с такой жадностью расхватывали сервизы, так спорили, кто из их хозяев чего достоин, что, кроме унижения, это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в процессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда адъютант гаулейтера Польши захотел взять старинный французский сервиз на сто персон, ефрейтор не разрешил и грубо сказал адъютанту, что у того руки коротки.

— Этот сервиз предназначен... — и многозначительно закатил глаза под лоб.

И адъютант, так же многозначительно кивнув, послушно согласился взять сервиз попроще.

Значит, в Польшу должен прибыть если не Гитлер, то кто-то из его приближенных. Но кто? Куда? Когда?

Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау Дитмар. Беседы с ней обогащали его сведениями о том образе жизни, который вели здесь немцы, так же, как и в Латвии, державшиеся в Польше замкнутой колонией, сохраняя традиции старонемецкого обихода.

Фрау Дитмар рассказывала, как напугал вначале многих местных немцев приход фашистов к власти. Но расправы с коммунистами, рабочим движением в Германии успокоили даже тех, кто считал Гитлера авантюристом. Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессивный захват Гитлером Чехословакии и Польши вызовет вступление в войну Англии, Франции и России. И тогда неизбежно новое поражение Германии. Но теперь, когда Англия и Франция без всякого сопротивления уступили Польшу, даже старинные прусские наследственные семьи военных не только стали сторонниками Гитлера, но провозгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фюрере. И, возможно, это так, заключила фрау Дитмар, потому что астрологи, приезжавшие сюда из Берлина, подтвердили, что приход Гитлера к власти предсказан свыше.

— А вы верите в астрологию? — спросил Вайс.

Фрау Дитмар заявила с достоинством:

— Я христианка. Верю в бога. Но почему Гитлер не может быть посланцем бога? Новым Иисусом? Так назвал проповедник нашего фюрера.

— И вы тоже считаете его сыном божьим?

— Господи милосердный! — сердито сказала фрау Дитмар. — Но откуда он мог еще взяться? Все мы дети Иисуса!

Из этого Иоганн сделал вывод, что даже милейшая и добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать, с материнской заботой относящаяся к нему, — даже она не решается быть искренней, когда разговор заходит о политике. И она, считая себя матерью Иоганна, боится, что названный сын предаст ее.

Да, не так легко пробить этот панцирь недоверия каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на себе его костяную, твердую скорлупу, чтобы прятаться под ней, как пресмыкающиеся, и выжить, выжить, выжить...

И все-таки не кто другой, как фрау Дитмар, помогла Иоганну проникнуть в среду, куда он до сих пор тщетно пытался попасть.

Когда он после окончания богослужения подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосульку или на сталагмит, из ее высоких арочных дверей вышла фрау Дитмар под руку с дамой в накидке из беличьего меха. Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та служит экономкой у полковника фон Зальца и что она знакома с фрау Марией Бюхер очень давно — еще с детства.

Сначала Иоганн доставил домой фрау Дитмар, а потом повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника фон Зальца.

В ответ на вежливый, заданный безразличным тоном вопрос «Как вам здесь живется?» Вайс словоохотливо изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет никого, сослуживцы — плохо воспитанные люди. Все вечера он проводит с фрау Дитмар. Пользуясь книгами ее сына, немного занимается. После военной службы хотел бы открыть свое дело; у него есть опыт механика, и он мог бы неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести небольшой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастерскую.

Мария Бюхер слушала его рассеянно, казалось, ее совершенно не интересуют жизненные планы молодого человека. Но когда они приехали, фрау Бюхер вдруг спросила весьма заинтересованно:

— У вас есть средства, чтобы купить такую мастерскую?

— У меня есть голова, — хвастливо сказал Вайс.

— О, этого, к сожалению, недостаточно, — снисходительно заметила фрау Бюхер. Но тут же добавила: — Но голова у вас есть, и очень неплохая, если в ней такие солидные мысли. — Помедлив, сказала решительно: — Вы сейчас выпьете со мной чашечку кофе.

Она вышла из машины, открыла ключом железную калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загроможденную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми железными полосами.

Сняв беличью накидку, фрау Бюхер предстала перед Вайсом в голубом платье из тонкого джерси, наглядно демонстрирующем все выпуклости ее могучей фигуры.

Угощая Вайса кофе, домоправительница так кокетничала с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс затосковал, поскольку ни за что не решился бы проложить дорогу

в недоступную ему среду ценой такого самоотверженного подвига.

Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем другим тоном она сказала, что ее дочь — очень милая девушка, окончившая гимназию, работает переводчицей у полковника, она тоже, как Вайс, военная. Полковник занимает важный пост в аввере и по роду своей деятельности уезжает надолго, поэтому у дочери бывает свободное время, которое она могла бы проводить с приличным юношей, конечно в обществе матери. В заключение мадам Бюхер сказала, что сообщит через фрау Дитмар, когда Вайс сможет снова навестить ее.

7

Профессиональных шоферов в гараже было мало. Большинство устроились в тыловой части с помощью различных махинаций и восполняли недостаток опыта унижительной угодливостью перед начальством и ревностным щегольством друг перед другом в преданности фюреру.

Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы кустарных мастерских, хозяева пивных заведений и дешевых гостиниц, лакеи и официанты, комиссионеры и маклеры неизвестных фирм — люди подозрительных профессий — все они имели надежные социальные, политические и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и механиками, жившими на казарменном положении в гараже.

Однажды старший писарь штаба транспортной части Фогт приказал Иоганну найти специалиста по ремонту пишущих машинок. Иоганн предложил свои услуги. И не только наладил и вычистил машинку Фогта, но приятно поразил его грамотностью и той скоростью печатания, какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машинки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той работы, которая была ему поручена в эти дни. Эксплуатация старшим младшего считалась здесь в порядке вещей и пронизывала все сверху донизу. Он приказал Вайсу явиться вечером в канцелярию, но предупредил, чтобы об этом никто не знал.

Фогт устроился на диване, подложив под голову свернутую шинель, и стал диктовать Вайсу списки солдат, отчисленных из различных транспортных подразделений для укомплектования ударных частей. Строго предупредил, что все это абсолютно секретные материалы.

Печатаая, Иоганн быстро усваивал и запоминал наиболее важные сведения: помогла длительная тренировка, которую он проходил, чтобы почти автоматически, с первого чтения, запоминать до десятка страниц. И как же он в эти часы мыс-

ленно благодарил своего наставника, который утверждал, что чем больше у разведчика самых неожиданных профессиональных познаний, тем больше открывается перед ним возможностей для маневра и тем меньше его зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн хорошо овладел пишущей машинкой, наставник оценил это достижение выше его успехов по освоению оружия иностранных марок.

Ночью Иоганн сделал записи, зашифровал их, перенес шифровки на страницы одной из книг сына фрау Дитмар, поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег спать с понятным чувством удовлетворения: работа была начата удачно.

К сожалению, в остальном Иоганну не слишком везло. Келлер, охладев к Вайсу, так как не получал новых подтверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил его на грузовую машину.

И Вайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки с различными вещами, захваченными начальствующим составом в городе, грабеж которого осуществлялся тщательно и аккуратно, по заранее разработанному плану. Специальные лица ведали учетом всего, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

Распределение этих ценностей производилось в точном соответствии с положением, званием, должностью тех, кто был достоин пожинать плоды побед вермахта.

Старшие военные офицеры, получив от знакомых гестаповцев или контрразведчиков абвера сведения о том, кто из поляков подлежит репрессии, спешили посетить их под предлогом вселения к ним в квартиру кого-нибудь из своих подчиненных. И после пытливого обследования картин, фарфора, старинной мебели, бронзы делали отметки у себя в записных книжках. Не стеснялись открывать шкафы с одеждой, осведомляться, представляют ли ценность дамские меховые шубы, накидки. А после произведенной репрессии приходили снова и давали указания родственникам, как следует упаковать отобранные ими вещи, чтобы они не были повреждены при транспортировке в Германию.

И эти рыцари вермахта — потомки прусских чванных юнкеров, кичившихся тем, что воинская служба — дорога чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, поводом для которых служил малейший намек, якобы задевающий их личную честь, — сидя посреди чужой гостиной на стуле, поставив между ног, туго обтянутых галифе, дедовскую саблю, настороженно следили за тем, как родственники людей, быть может увенчанных на казнь, дрожащими руками заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные фамильные ценности.

Наиболее дотошные заставляли этих несчастных людей не только составлять опись изъятых предметов, но и простран-

но описывать их старинное происхождение и подтверждать данные ими сведения своими подписями.

Иоганн не имел права останавливаться на всем маршруте до вокзала. После выгрузки машину тщательно осматривали, поднимали сиденье в шоферской кабине, раскрывали ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офицер — никогда.

И когда Иоганн стоял с грузовиком у дома, из которого выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохожих, падающие на лицо, как плевки. В такие минуты он старался думать только о своем первоначальном и длительном задании: он должен, должен упорно, настойчиво и покорно вживаться в эту жизнь и, сохраняя при этом полную пассивность, стать Иоганном Вайсом, искать расположения окружающих, научиться быть дружески искательным по отношению к ним, даже в наци находить человеческие струнки, чтобы играть на них...

Вайс давно не встречался с Папке. Неожиданно тот явился в гараж и, странно, конфузливо улыбаясь, сказал, что в Лодзи теперь уже почти никого из рижан не осталось, а он соскучился по землякам. Не проведет ли Иоганн с ним вечер?

Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярией. Фогт эксплуатировал его, как мог. Но разве не укрепится доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбанфюрер гестапо прикажет освободить ему вечерок?

Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по тротуарам. Не так давно на электростанции была обнаружена организация Сопротивления. Участников ее расстреляли. Новые работники, проверенные гестапо, очевидно, отличались благонадежностью, но не техническими знаниями. Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую ослепительную силу, что казалось, лампы, не выдержав напряжения, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, то увядающе блекли, то игриво подмигивали, то испуганно мелко и часто трепетали, и по улицам, как призраки, метались тени.

Внушительно, ритмично бухали каблуки патрулей. Гулкое их звучание было схоже со звуком, какой издает молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий марш тупого, бесчеловечного, словно вытесанного из камня символа грубого насилия.

На лица прохожих внезапно падал белый диск, как бы выстреленный из ручного фонаря патрульного, из темноты выскакивало искаженное страхом лицо человеческое, еще более, чем страхом, изуродованное попыткой воспроизвести конвульсию улыбки. Ослепленные глаза моргали, как у смертника.

Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица так же бесшумно и мгновенно исчезали, чтобы снова возникнуть и исчезнуть, их ритмически-последовательное появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей.

Казалось, эти лица исчезали не оттого, что гас фонарь патрульного, а от одного тупого звука каблуков, втаптывающих в землю самую душу польского народа, распластанную, распятую. И не по земле — по живому телу народа шествовали наци.

Предавшись горестному созерцанию порабощенного города, Иоганн рассеянно слушал ворчливое бормотание Папке и несколько раз ответил невпопад. Поймав себя на этом, он с усилием освободился от наваждения и, снова становясь Вайсом, спросил бодро:

— Как ваши успехи, господин унтерштурмбанфюрер? Надеюсь, все хорошо?

Папке загадочно усмехнулся и вдруг сказал добродушно:

— Когда мы наедине, можешь называть меня Оскаром. У меня было два-три приятеля, которые называли меня так.

— О, благодарю вас, господин унтерштурмбанфюрер!

— Оскар! — напомнил Папке и произнес уныло: — Один из них стал штурмшарфюрером и теперь не снисходит до того, чтобы назвать меня Оскаром, а я не осмеливаюсь назвать его Паулем. Другой попал в штрафную часть, и если б даже довелось встретиться с ним, я не позволил бы ему обратиться ко мне по имени.

— А третий?

Папке сказал угрюмо:

— Я предупреждал его — не говори мне лишнего, а он все-таки говорил. Я выполнил свой долг.

— Понятно. А если я позволю себе в разговоре с вами лишнее?

Папке задумался, потом сказал, вздохнув:

— В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы кто-нибудь звал меня Оскаром. Хотя мне бы очень хотелось иметь приятеля, который бы меня так называл.

Вглядываясь в физиономию Папке, Вайс заметил новое, ранее не свойственное ей выражение печали, разочарования. Маленький сморщенный подбородок был уныло поджат к обиженно отвисшей толстой нижней губе, на низком лбу сильнее обозначились складки морщин, веки опухли, глаза в красных, воспаленных жилках. Папке шел, волоча ноги, не приветствуя даже старших по званию, — очевидно, знал, что с гестаповцами ни у кого нет охоты связываться. Зябнувшие руки глубоко засунул в карманы шинели, низко надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопыривала большие волосатые уши.

Папке сказал, что ему не хочется идти в солдатскую пив-

ную, а в суицерское казино Вайса не пустят, и вообще лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы свободно поговорить о прошлом, — ведь, право, в Риге они жили не так уж плохо.

Не долго думая, Вайс пригласил его к себе.

Папке понравилась фрау Дитмар, даже ее явную неприязнь к нему он считал признаком аристократизма. В комнатке Иоганна он поставил на стол добытую из кармана бриджей бутылку шнапса и, прикладывая зябнущие руки к кафельным плиткам голландской печи, в ожидании, пока Иоганн приготовит закуску, жаловался, что здесь его недостаточно оценили. Он рассчитывал на большее — и по званию и по должности. Сказал, что Функ — мошенник.

Папке предполагал, что Функ был двойным агентом — гестапо и абвера, но, по-видимому, ставку делал на абвер. И наиболее ценные сведения по неизвестным каналам связи сплавлял абверу, где Канарису удалось собрать все старые агентурные кадры рейхсвера — техников, специалистов с опытом первой мировой войны. Канарис мечтает стать главным доверенным лицом фюрера и жаждет прибрать к рукам все разведывательные органы — гестапо, партии, министерства иностранных дел. Но фюрер никогда не позволит сосредоточить такую силу в руках одного человека. Гестапо — это партия, и ущемить гестапо — все равно что покушаться на все-силие самой национал-социалистской партии. И Папке как бы вскользь напомнил, что он нацист с 1934 года, но выскочки заняли все высокие посты, пока он честно служил рейху в Латвии. Его подбородок снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа обиженно отвисла.

Жадно выпив подряд несколько рюмок водки, Папке раскис, ослабел и, глядя осоловелыми, помутневшими от слез глазами на Вайса, рассказал, как его, старого наци, исполнительного служаку, недавно унизили.

Бывший его приятель, теперь штурмшарфюрер, приказал Папке взять на улице одного человека и отвезти туда, куда прикажут двое штатских, которых Папке принял за агентов гестапо. За городом штатские стали избивать этого человека резиновыми шлангами, для веса набитыми песком. Они требовали, чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот не соглашался.

Самому Папке никогда не приходилось никого пытаться. Но он видел, как пытали коммунистов в подвалах ульманисовского Центрального политического управления. Он запомнил квалифицированные способы пыток и предложил применить к упрямцу один из них.

Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штатские приказали Папке отвезти его туда, куда тот захочет, а сами ушли пешком.

Придя в себя после избиения и пыток, пассажир, подопечный Папке, стал яростно ругаться. И Папке понял, что имеет дело не с политическим преступником, а с коммерсантом — компаньоном тех двоих. И бумага, которую требовалось подписать, была просто коммерческим документом, и теперь, хотя этот человек вложил больше капитала в отобранный у поляков кожевенный завод, доля его прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на Папке в гестапо за участие в шантаже.

Но когда Папке сказал штурмшарфюреру, что те двое штатских — авантюристы и обманули его, штурмшарфюрер притворился, что даже не понимает, о чем речь. А потом сделал вид, будто понял, и сказал, что Папке злоупотреблял своим положением в гестапо, польстившись на взятку, а за это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшарфюрер сам доносить на него не станет, но если коммерсант доберется до высших лиц, пусть Папке пеняет на себя.

Рассказывая, Папке не стеснялся плакал тяжелыми серыми слезами, губы его дрожали. Он твердил иступленно:

— Мне, старому наци, плюнули в душу. И я должен молча сносить это!

— А почему вам не сообщить в партию о поступке штурмшарфюрера?

Слезы Папке мгновенно высохли.

— Я же тебе говорил: гестапо — это партия. Партия — гестапо. Честь наци не позволит мне это сделать.

— Но штурмшарфюрер — плохой член партии, раз он берет взятки.

— Нет, Вайс, ты неправ, — покачал головой Папке. — Он просто умнее, чем я о нем думал. В конце концов, это одно из проявлений нашей способности возвышаться над моралью простодушных дураков, чтобы утвердить господство сильной личности. И, если хочешь знать, я готов преклониться перед штурмшарфюрером и горжусь, что он был когда-то моим другом.

Иоганн внимательно следил за выражением лица Папке, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень притворства. Нет, унтерштурмбанфюрер был искренен в своем преклонении перед удачливостью бывшего приятеля.

«Какой же ты раб и мерзавец!» — подумал Иоганн и сказал:

— Вы, господин унтерштурмбанфюрер, для меня образец наци и преданности идеям.

— Оскар! Называй меня, пожалуйста, Оскар. Мне приятно, когда меня называют по имени, — жалобно попросил Папке. И чистосердечно признался: — В Латвии я чувствовал себя как-то увереннее на земле. А здесь мне каждый шаг дается с трудом, как по льду хожу. — Вдохнул. — В Риге я знал не

только, что у каждого немца в голове, но и что у Него в тарелке. А здесь... — И сокрушенно развел руками. — Поляки — коварный народ: подсунули мне донос, — оказалось, наш агент. Такие сволочи! — Выпрямился, коричневые глазки блеснули. — Но ты не думай, что старый Оскар скис. Он еще себя покажет. У меня есть надежда выдвинуться на евреях. С ними проще. Предстоит крупная операция. Из уважения к моему партийному стажу обещали зачислить в группу... Но! — Папке угрожающе поднял палец.

— Будьте спокойны, — сказал Вайс и сделал такое движение, будто откусывает себе язык.

— Ну, а ты как?

Вайс уныло пожал плечами.

— Работаю на грузовой — и ничего больше.

— Возишь трофеи?

— Да.

— И нечем поживиться?

— Господин унтерштурмбанфюрер, я честный человек.

— Оскар, Оскар, — сердито напомнил Папке.

— Дорогой Оскар, — не очень уверенно произнося имя Папке, робко попросил Иоганн, — может, вашей группе понадобится хороший шофер — так я к вашим услугам.

— Хочешь заработать? — понимающе подмигнул Папке. — Им будет приказано явиться на пункт сбора только с ручной поклажей — не тряпье же они возьмут!

— Это естественно, — поддакнул Вайс. — Но я хлопочу не о том, у меня другая цель. Просто мое положение в гараже улучшится, если меня выделят для специальной операции. Знаете, на легковой машине легче работать: у каждого свой шеф. После того как я поработаю в вашей группе, Келлер поощрит, пожалуй, выдвинет меня. Он ведь тоже наци.

— Ладно, — пообещал Папке и протянул руку. Вайс признательно пожал ее. Потом Папке вынул из бумажника фотографию супруги и детей, прислонил к бутылке с вином и попросил Вайса подойти ближе. Указывая на фотографию, сказал: — Это мой рейх. И ради них старый Оскар готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай выпьем за этих немцев, для которых Германия будет весь мир.

Он сильно перебрал в этот вечер, и Иоганн уговорил его остаться ночевать. Помогая Папке раздеться, он слушал его бессвязный лепет о том, что молодость безвозвратно прошла и в свои пятьдесят лет он носит чин, который сейчас имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем-нибудь сорвется — и тогда фронт, смерть. И Папке снова плакал. И, уже раздетый, опустился на колени, обращаясь с молитвой к всевышнему, чтобы тот не покидал его и наставлял в минуты сомнений и горестей.

Наутро одежда Папке была выглажена, вычищена, китель аккуратно висел на спинке стула.

Иоганн сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он и предполагал, Папке постеснялся зайти попрощаться и поблагодарить фрау Дитмар за эту любезность. Улыбаясь, Иоганн рассказал Папке, что тот заснул не сразу: пытался спеть солдатскую песню, не очень пристойную.

Папке ушел на цыпочках. Когда он был уже в дверях, Иоганн напомнил о вчерашнем обещании.

Ночью ему пришлось как следует поработать утюгом и щеткой, чтобы с женской тщательностью вычистить костюм своего гостя. Но возиться стоило: на хлебном мякише Иоганн сделал оттиск гестаповского жетона с шифром и личным номером Папке. Записная книжка и обработка других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что пригодится, и Иоганн был искренне благодарен Папке за то, что тот вспомнил о нем, навестил. Хороший парень Оскар, побольше бы таких! А вот фрау Дитмар была другого мнения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приводить в ее дом подобных невоспитанных господ, которые, уходя, не считают нужным даже попрощаться с хозяйкой дома.

8

К началу зимы в Лодзи усилились патрули военной полиции. Стало больше контрольных пунктов. Дороги часто перекрывались на несколько суток, и проезд по ним без специальных пропусков был запрещен.

Если несколько месяцев назад различные воинские части состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизованных, то не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить теперь не только полное омоложение солдатского состава, но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтовики, за плечами у которых было победоносное шествие по Дании, Норвегии, Франции, разгром английского экспедиционного корпуса — об этом свидетельствовали их значки, медали, ордена. Численное преобладание военнослужащих из моторизованных, танковых и авиационных подразделений также было совсем не трудно установить по петлицам, окантовкам, значкам на мундирах. Ежедневные прогулки по одной из центральных улиц для подсчета встречных военнослужащих и классификации их по роду войск дали Иоганну возможность прийти к несомненному выводу: на территории Польши немцы сосредотачивают мощную ударную группировку.

Расформирование Центрального пункта по репатриации немецкого населения вызвало у личного состава автобазы тревогу и уныние. Многих уже отправили в строевые части, это же угрожало и Вайсу.

Система сугубой секретности передислокации войск действовала неотвратно и повсеместно.

Начальствующий состав специальных служб пребывал в штатском.

Танковые части передвигались только ночными маршами по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты «люфтганзы» устаревших типов, чтобы своим шумом заглушить шум танков.

Во многих районах был объявлен якобы санитарный карантин, и эсэсовские патрули никого в них не впускали без пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Нижние чины военной полиции, контрразведчики абвера, агенты гестапо после комендантского часа бесцеремонно проверяли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Номерные знаки всех видов автотранспорта были заменены новыми. За любые внеслужебные разговоры, пусть даже касающиеся только личных взаимоотношений, военнотружующие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь транспортной части решительно отказался от услуг Вайса.

Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть во фронттовую часть, что с ненавистью смотрел на каждого еще не отчисленного из гаража шофера.

На Папке тоже нельзя было рассчитывать. Получив назначение в особую группу гестапо по приему еврейского населения, прибывающего в специальных эшелонах из оккупированных европейских государств, Папке с первых же шагов допустил ошибку. Он простодушно полагал, что раз евреев отправляют в концентрационные лагеря, так надо сразу дать им почувствовать, кто они такие и что их ждет.

Он не обратил внимания на то, как любезно гестаповцы на первых порах обходились с евреями: не гнушались брать под руки престарелых, чтобы помочь подняться по лесенке в кузов грузовика, трепали ласково по щекам детишек, желали всем доброго пути.

А Папке вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед сослуживцами свою ревностную приверженность идеологии наци.

И что же? После того как последняя машина с евреями ушла, гауптштурмфюрер подозвал Папке и, презрительно глядя холодными глазами в его потное лицо, крикнул:

— Дурак, свинцовая башка! — И приказал: — Повторить!

Папке отчислили из особой группы. И теперь он уже не в гестаповской форме и не в звании унтерштурмбанфюрера, а в обычной армейской, в чине унтер-офицера, шляется до дешевым пивным и заводит дружбу с солдатами. Но ведь на этом карьеры не сделаешь!

Папке был настолько удручен, что, забыв об осторожности, сказал Вайсу:

— Да, я грубый человек. Но я правдивый человек. И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, будто верю, что их везут на курорт. — И добавил сердито: — Твой дурак Циммерман возит в лагерь банки с хорошеньким товаром...

— Что именно? — словно для того только, чтобы продолжить разговор, осведомился Вайс.

— Изделия «Фарбениндурии» — газ «циклон Б», роскошное средство для истребления мышей, тараканов и людей, — буркнул Папке.

Вайс заметил предостерегающе:

— Вы совершенно напрасно мне об этом сказали.

— Но ты же мой приятель.

— Все равно этого не следовало делать. — И Вайс повторил отчетливо: — Вы мне сказали, что газом «циклон Б» мы будем умерщвлять заключенных в концентрационных лагерях. Верно?

— Ну что ты! — испуганно прошептал Папке. — Зачем уж так?

— Нехорошо, — укоризненно сказал Вайс. — Нехорошо быть болтливым. — И попрощался с Папке, хотя тот хотел еще что-то объяснить, просить, чтобы Вайс забыл его слова. Но Вайс безжалостно покинул Папке, зная, что тот будет теперь стремиться быстрее встретиться вновь. И если положение Папке сейчас такое, что он не сможет помочь Вайсу избежать службы во фронтовой части, то, во всяком случае, теперь он на крючке, и Вайс так, за какой-нибудь пустяк, не отцепит его с этого крючка. И вместе с тем нельзя чересчур пугать Папке: напуганный, он донесет что-нибудь на Вайса или, еще проще, — пристрелит. Труссы от страха бывают способны на смелость. А вот если долго, осторожно, исподволь изводить Папке, может получиться что-нибудь полезное. Но где взять время для этого?

Сразу после того, как удалось устроиться здесь шофером, Иоганн послал во Львов открытку, купленную в армейской лавке: толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми пальчиками зажимает себе нос.

«Дорогая Лизхен, — писал ночью на этой открытке Иоганн. — Я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребудет над вашей семьей божье благословение. Твой Михель».

А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно выполоскал кончик носового платка и, макая в эту воду оструганную спичку, мягко, чтобы не поцарапать поверхности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач.

Фрау Дитмар часто страдала от мигрени и во время прис-



тулов не выносила шума. Поэтому она попросила Иоганна забрать к себе в комнату ее старенький двухламповый радиоприемник, с тем чтобы постоялец рассказывал ей по утрам за завтраком политические новости.

Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая настройкой по эфиру, услышал адресованные ему лично позывные — тоненькие, едва различимые и такие родные! После этого он систематически стал получать сообщения из Центра.

Искусство составлять максимально короткие, предельно четкие сообщения, помимо литературных способностей их автора, как и всякое искусство, зависит от качества добытых сведений. Чем ценнее, значительнее содержание сообщения, тем емче оно укладывается в минимум слов. Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, добытые ценой терпеливого бесстрашного труда, на который ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались в короткие строки цифровых знаков.

Подобно научному открытию, путь к которому — безустанный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой формулой — ее можно записать на папиросной коробке, хотя она несет революционное изменение целого направления какой-нибудь области человеческого познания, — подобно ему открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов.

Но как для всякой научной работы требуется бесчисленное множество фактов, их изучение, классификация, так и в разведывательном исследовании факты — материал, постепенный, сложный анализ которого приводит к синтезу — обобщению, равному открытию.

Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию студента-практиканта, твердо зазубрившего формулы, но только на производстве увидевшего их воплощение в гигантские, могучие механизмы, многосложное действие которых столь далеко от умозрительного представления о них, полученного из учебников.

Можно потратить месяцы жизни на последовательное изучение предприятия, чтобы установить его мощности. Но можно по бросовой стружке из заводской лаборатории определить, на что нацелены эти мощности.

Анализ капли нового горючего или машинного масла может многое сказать о направлении научных изысканий, ведущихся в стране.

Но для того, чтобы установить ценность факта, его достоверность, отличить случайное от закономерного, для этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, разносторонние познания, полное отсутствие тщеславной самоуверенности и отважная способность в малом разглядеть большое,

значительное, каким бы это малое на первый взгляд ни казалось незначительным, пустячным, не стоящим внимания.

Система охраны военной тайны была скрупулезно разработана отделами штаба вермахта и действовала всеобъемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта первой мировой войны. Рейхсвер ошлифовал ее до совершенства.

В свое время державы-победительницы раскинули в Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, возглавляемую резидентами, обладающими мировой славой. И все же рейхсверу удалось многое скрыть от их недреманного ока. Этим он был обязан блистательной системе сохранения военной тайны и отлично вымуштрованному личному составу, умеющему держать язык за зубами; каждый памятовал, что любая оплошность карается беспощадным приговором военного суда, мгновенно приводимым в исполнение.

Молниеносный разгром европейских армий и вершина немецкой стратегии — внезапный удар по всей линии Польша — Франция, — все это было не только употребленным торжеством гитлеровской военной машины, ее мощи, но и подтверждением несравненной способности армии, ее личного состава сохранять в тайне боевые приказы, подготовку к их осуществлению.

Каждая разбойничья победа над очередной страной-жертвой внушала гитлеровскому солдату сознание превосходства немецкой нации над европейскими народами, фанатическую веру в сверхчеловеческую способность Гитлера управлять судьбами мира, менять по своей воле течение истории. И даже матерые генштабисты, считавшие себя особой кастой, элитой, кичащиеся своим военным родовым аристократизмом, в конце концов склонились перед «гением» Гитлера, не однажды грубо и презрительно отвергавшего то, что казалось им неопровержимым. Гитлер угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Германию слепым орудием в их руках, нацелить ее для удара по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это положение вещей, шантажировал великие державы, шантажировал, как наемный убийца, выговаривая все большую цену. И он получил в качестве аванса страны Европы. А потом пырнул ножом в живот свсих хозяев: сначала ранил Францию — почти смертельно, а потом Англию. Коварная политика фашистского государства, воплощенная в стратегии и тактике немецкой армии, требовала сохранения военных тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи.

Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось, охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после первой мировой войны, но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны и души людей. Постепенно оно покрывалось тяжелой металлической броней, ометинивалось оружием, а каждая клеточка его военного организма обростала хорошо

пригнанной чешуей, назначенной охранять, скрывать то, что нужно было скрыть.

Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской контр-разведывательной сетью и строжайшей, безотказно действующей дисциплиной всего личного состава. Дисциплина в свою очередь поддерживалась страхом жестокого наказания за малейшее нарушение уставных правил, дотошно предусматривающих любые возможности, щели, сквозь которые могут просочиться железно охраняемые сведения.

Все попытки Вайса завязать беседы с армейскими нижними чинами, проникнуть в расположение частей оканчивались неудачей. Шоферы автобазы в соответствии с приказом Келлера не имели права сообщать друг другу маршруты своих поездок. Помимо всего, машины, за исключением броневика Циммермана, использовались лишь в пределах города. Но Циммерман никогда не говорил о своей работе, и Иоганн ничего не знал о ней, кроме того, что машина Циммермана за сутки проходила иногда больше трехсот километров,— это легко можно было проверить по спидометру. Но как бы ни была непроницаема броня, скрывающая передислокацию немецких частей, Иоганн обязан был сквозь нее проникнуть. И проник. Как и все великие открытия, это оказалось до чрезвычайности просто.

Келлер в последнее время стал настолько пренебрегать Вайсом, что поручил ему вывозить на специальную мусоросжигалку за городом бумажный мусор из различных учреждений, подлежащий уничтожению.

Первые же поездки Вайса на мусоросжигалку дали ему то, что он так долго и тщательно искал. Он рассматривал обрывки иностранных газет, иллюстрированных журналов, старые накладные, внимательно изучал и классифицировал их. Они говорили о том, что из оккупированных немцами стран в Польшу прибыли немецкие штабные части.

Не пренебрегал Вайс и немецкой продукцией. По клочкам газет можно было установить, из каких районов Германии прибыли в Лодзь немецкие воинские части.

Он изучал мусор не менее увлеченно и вдохновенно, чем археолог свои находки.

Но скоро он утратил источник такой информации и очень сожалел об этом, сколь мало привлекательным он ни был: Келлер освободил его от перевозки мусора. Об этом Иоганн сообщил в конце очередного письма-шифровки, где излагал свои наблюдения о передислокации немецких частей, предвзвременно, с присущей ему тщательностью, проверив достоверность анализа сведений, добытых на мусоросжигательной станции, путем наблюдений за номерами появляющихся новых армейских машин в городе.

Когда Иоганн ехал на машине один, он никогда не отка-

зывал в любезности подвезти кого-нибудь из армейских. За это с ним расплачивались болтовней.

Разве можно не оказать внимания своему парню, такому приветливому и услужливому, к тому же со дня на день собирающемуся уходить с маршевой ротой. Правда, он еще не нюхал фронта, но как он почтительно относился к фронтовикам, советуясь, в какую часть лучше пойти служить.

Танкистам Иоганн расхваливал авиацию, летчикам — танковые части.

В этих кратких, но пылких дискуссиях о преимуществах того или иного вида оружия Вайс черпал немало существенных сведений.

Однажды во время очередной облавы в городе Иоганн увидел стоящего в нише ворот парня с бледным, как брынза, лицом. Парень озирался, держа правую руку в кармане.

Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил воздух, поманил парня и, подавая ему насос, показал знаком, что он ему приказывает накачать скат. Парень послушался.

Подожел патруль. Вайс показал свои документы.

Патруль спросил, кивая на парня:

— А этот с тобой?

Вайс, уклоняясь от прямого ответа, сказал неопределенно:

— Полковник вызвал машину, а мы вот опаздываем.

Патруль ушел.

Кончив накачивать воздух в камеру, парень вопросительно поглядел на Вайса, спросил по-немецки:

— Я могу уходить?

— Может, подвезти за твой труд?

Юноша заколебался, потом, решившись будто на что-то отчаянное, уселся рядом с Вайсом.

Долго ехали молча.

Наконец юноша не выдержал, спросил:

— Ты почему меня выручил?

— Это ты меня выручил,— сказал Иоганн,— накачал колесо.

— Станный немец.

— Чем?

— Да вот выручил,— упрямо повторил парень,— и везешь. Я же поляк.

— Вижу.

— Ты что, хороший немец?

— Что значит «хороший»?

— А вот из таких,— парень поднял руку со сжатым кулаком.

Вайс пожал плечами.

— Рот фронт! Не знаешь?

— Нет,— сказал Вайс.

— Так какого же черта ты меня выручил? — рассердился поляк.

— А где это ты видел таких немцев?

Лицо парня снова побелело:

— А ты, выходит, из гестаповцев, да? Притворялся, да? Поймал, да? — И поспешно сунул руку в правый карман.

Вайс не оборачиваясь посоветовал:

— Не горячись. Посчитай до десяти и подумай.

Дальше ехали снова молча.

— Я здесь сойду, — сказал парень. Открыл дверцу и вылез спиной к выходу.

Вайс наклонился.

— А деньги?

— Какие? — удивился парень.

— За проезд.

Парень вынул измятые злотые, сказал:

— Здесь на пачку сигарет тебе не хватит.

— Все равно давай, — строго сказал Вайс. Пряча деньги, сказал усмехаясь: — А ты думал, немец тебя даром пове-
зет?

Развернул машину. Мелькнуло растерянное, удивленное лицо парня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил.

И хотя Иоганн здорово это придумал, взяв с парня деньги за проезд, все равно выручать его — это была вольность, на которую он не имел права.

«Плохо, товарищ Белов, — мысленно сказал себе Иоганн. Но тут же невольно подумал: — А ловко это получилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают: заставляют лю-
бого польского прохожего качать ручку насоса. Вот и я заста-
вил тоже...»

Но когда через несколько дней на улице пьяный немецкий солдат бил по щекам какую-то накрашенную женщину и та бросилась к Вайсу, умоляя защитить, Иоганн молча отстра-
нил ее и прошел мимо. Вайс прошел мимо так равнодушно, будто это все происходило в потустороннем мире. После слу-
чая с парнем он еще долго относился к себе критически, «про-
рабатывал» себя. Он понимал: приметы советского человека, его нравственные особенности здесь столь же опасны и вред-
ны, как жалость для хирурга. И он равнодушно прошел мимо избиваемой женщины, твердо зная, что его долг выше этих чувств.

Несколько дней Иоганн возил местного немца, фермера Клюге — члена фрейкора «пятой колонны» в Польше, функ-
ционеры которой совершали диверсии накануне гитлеровско-
го вторжения, а потом выполняли роль гестаповских подруч-
ных.

Тяжеловесный, коротконогий, с мясистым лицом, страдаю-

щий одышкой, Ключе, узнав, что Вайс из Прибалтики, сказал с упреком:

— Таких парней следовало там держать до поры до времени, чтобы вы потом по нашему опыту устроили там хорошенькую поросычью резню.

Вайс спросил:

— Вы считаете, у нас была бы такая возможность?

— Я думаю, так.

— Зачем же мы тогда оттуда уехали?

— Вот именно, зачем? — угрюмо сказал Ключе. И вдруг, ухмыльнувшись, утешил: — Ничего, парень, все впереди.

У Ключе на ферме работало несколько десятков военнопленных поляков и французов, но он взял подряд на доставку щебня для дорожного строительства и всех пленных загнал в каменоломню и в качестве надсмотрщиков приставил к ним сына и зятя. Теперь Ключе хлопотал о новых военнопленных для фермы, уверяя, что все его прежние поумирали от дизентерии.

Вайс спросил:

— А что вы будете делать зимой с таким количеством военнопленных?

Ключе сказал:

— Главным конкурентом человека в потреблении основных пищевых продуктов является свинья. А у меня одних производителей больше десятка, и четыре из них медалисты. — Спросил: — Понял?

— Нет, — сказал Иоганн.

— Ну, так понимай, что моим подопечным не выдержать такой конкуренции. Будет падеж — и все.

— Свиной?

— Ладно, не притворяйся, — усмехнулся Ключе и деловито добавил: — Другие получше устраиваются, у кого хозяйство ближе к лагерям. На работу их к ним гоняют, а кормежка в лагере. Будешь хозяином, сынок, учись. — Добавил, помолчав: — В первую мировую у моего отца русские пленные работали. Тощие, сухие, но жилистые, — опасаться их приходилось, — у отца ухо один лопатой так и срубил.

— Одно только ухо? — спросил Вайс.

— Одно.

— Значит, промахнулся, — сказал Вайс.

— Правильно, — сказал Ключе. — Промажнулся. — Задумался, произнес, поеживаясь: — Если русские у меня будут, — без пистолета даже к лежащему подходить нельзя. Может за ногу схватить. Это я знаю.

— Вы что же, и на русских пленных рассчитываете?

— Раз война, — значит, и пленные.

— А будет?

Ключе пожал плечами и в свою очередь спросил:

— А почему, по-твоему, столько в генерал-губернаторстве новых войск?..

Келлер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа прекратил обслуживать Ключе.

На следующее утро Иоганн возил Ключе по разным учреждениям. Потом Ключе приказал везти его в поместье. Ровно до двух часов Иоганн вел машину по раскисшей от дождя проселочной дороге. В два часа остановил машину, распахнул дверцу, объявил:

— Господин Ключе, время вашего пользования машиной кончилось.

Вайс открыл багажник, вынул из него чемодан Ключе, поставил на землю. То же самое проделал с вещами, находящимися в кабине.

Ключе сказал:

— Мне же еще пятьдесят два километра ехать, я заплачу. Нельзя бросать посреди дороги почтенного человека,

Вайс сказал:

— Выходите.

— Я не выйду.

Вайс развернул машину и погнал ее в обратном направлении.

— Но у меня там на дороге остались вещи!

Вайс молчал.

— Остановись!

Вайс затормозил машину.

Ключе копался у себя в бумажнике, потом стал совать Иоганну деньги.

Иоганн оттолкнул его руку.

— Ну хорошо,— сказал Ключе,— хорошо! Тебе это даром не пройдет.

Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи, обратно к вещам.

Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что Ключе хотел задержать машину.

Келлер сказал:

— Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить в два ноль-ноль, даже если бы это было посредине лужи.

— Я так и сделал,— сказал Вайс.

У него было ощущение, будто все эти дни он возил в машине какое-то грязное животное.

Вайс вытряхнул чехлы с сидений. Ему казалось, что в машине воняет.

Непрерывная десяти-, а то и двенадцатичасовая работа изнуряла даже самых крепких шоферов. Иоганн должен был

обладать таким запасом физических и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать их главному своему делу, требующему величайшей сосредоточенности, сообразительности, самообладания.

Человек порой не замечает, как, отравленный усталостью, он утрачивает какую-то дозу чуткости, теряет ничтожные мгновения, необходимые для того, чтобы молниеносно найти решение в непредвиденной ситуации. Можно силой воли преодолеть усталость, но как узнать, не затормаживает ли утомление твое сознание, вынужденное беспрестанно воздействовать на твое подлинное «я» и на твое второе «я», принявшее облик шофера Иоганна Вайса? Тем более что из сочетания этого двойного мышления требовалось выработать то единственное, которое отвечает твоим целям, твоему долгу.

В последние дни усталость нервная, душевная, физическая, то вытесняла из него Иоганна Вайса, то — и это приносило большое удовлетворение — он полностью ощущал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади, кроме воспоминаний о другом мире, где он некогда обитал. Вместе с тем чрезмерная нагрузка и вызванная ею усталость помогали ему перебарывать тоску по Родине, спать без сновидений, не предаваться воспоминаниям, обжигающим душу. Лишь однажды он поймал себя на том, что плакал ночью, когда ему приснились руки отца, пахнувшие железными опилками.

За эти месяцы Иоганн добыл, впитал в себя то, чего не могли дать самое изощренное, придирчивое обучение, тренировка воли, наблюдательности, переимчивости: с него как бы свалилось то неимоверное напряжение, в котором он неотступно держал себя все время, чтобы быть таким, как окружающие его люди, на чьи повадки, привычки, взгляды, особенности наложила отпечаток целая историческая полоса существования нации, ее бытовой социальный уклад.

Свершилось облегчающее перевоплощение — то, которое предсказывал ему инструктор-наставник. Оно пришло как благотворный результат гигантской работы ума, воли, памяти.

Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую предполагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала душевной собственностью, нужно было вместе с тем ничего не утратить от себя самого. Ничего своего не уступить Вайсу. Ибо Иоганн Вайс должен быть не только жизнеспособен, как самостоятельная личность, но полностью подчиниться тому, кто надеется на себя его личину.

Фрау Дитмар торжественно сообщила Иоганну, что Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила их сбоих к себе.

— Это очень приятная новость, — обрадовался Иоганн.

— Но ваш мундир...

— Я надену штатский костюм.

— Но он же светлый, это же не для вечернего визита! — воскликнула фрау Дитмар и упрекнула Вайса: — Нельзя быть таким легкомысленным. Гем более — у Марии взрослая дочь, — что она о вас подумает? — Но тут же успокоила его: — Не огорчайтесь, Иоганн, — и принесла из своей комнаты завернутый в простыню костюм сына. — Примерьте, — приказала она. — Я уверена, вы будете в нем как принц.

Действительно, костюм Фридриха очень шел Иоганну. Задумчиво глядя на него, фрау Дитмар сказала грустно:

— Последний раз, когда я видела Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда... — Спохватившись, тут же поправились: — Для юноши... Присядьте, — предложила фрау Дитмар и сказала очень серьезно: — Я должна предупредить вас, Иоганн: Мария — умная женщина. Мы все ее очень уважаем, но есть обстоятельства, которые вы должны знать. Ее дочь Ангелика, — вы увидите, прелестная особа, — но дело в том, что, когда она была еще совсем юной, отец полковника Иоахима фон Зальца, генерал-лейтенант фон Зальц, находясь уже в более чем зрелом возрасте... Ну, словом, мог быть большой скандал, уголовный суд. Девочка пыталась покончить с собой. И если б не ум ее матери, могло бы произойти несчастье. На семейном совете фон Зальцев, в котором участвовала и Мария, было решено, что она — тогда только старшая горничная в имении генерала — станет домоправительницей, а на имя ее дочери фон Зальцы напишут дарственную на шесть гектаров земли и, кроме того, до ее совершеннолетия будут выплачивать ежегодно некую сумму. Мария настояла также, чтобы генерал передал ей документ, в котором признавал, что Ангелика — его побочная дочь. Этот документ давал Марии гарантию, что фон Зальцы, когда все утихнет, не откажутся от своих обязательств. А считать Ангелику своей побочной дочерью для генерала было приличнее, чем признать то, что случилось.

Когда сын генерала Иоахим фон Зальц вернулся из военного училища, отец сообщил ему, что у него есть сестра. Конечно, Иоахиму все это было чрезвычайно неприятно, но такие истории часто случаются и в более именитых семьях. Пришлось примириться, но встречаться с «сестрой» Иоахим не желал.

И тут Мария проявила столько женской мудрости и такта,

что Иоахим вскоре убедился: она вовсе не покушается на фамильную честь фон Зальцев и не претендует на родственные связи.

Не так давно он согласился познакомиться со своей «сестрой» и после этого взял ее к себе переводчицей. Полковник относится к Ангелике строго официально, но это вовсе не означает, что он не испытывает к ней своего рода симпатии. Иоахим фон Зальц занимает значительную должность в абвере не только потому, что принадлежит к знатному роду, — он показал себя с лучшей стороны на дипломатической службе в Англии и Франции.

Помедлив, фрау Дитмар сказала доверительно:

— Мария Бюхер — моя подруга, и я могла бы не рассказывать вам всего этого. Кроме того, здесь имеется еще одно обстоятельство. В свое время Фридрих и Ангелика... Мне кажется, лучше вам это знать и, конечно, забыть, если... — фрау Дитмар улыбнулась, — если у вас появятся какие-нибудь серьезные намерения. Вы сами убедитесь. Я искренне люблю Ангелику — она чудесная девушка, хотя не лишена некоторых странностей.

Откровенный рассказ фрау Дитмар об этой маленькой семейной истории не с лучшей стороны рекомендовал Марию Бюхер и ее дочь, а слова о «серьезных намерениях» довольно цинично раскрывали причину приглашения на семейный праздник. Не слишком обрадовал Иоганн и откровенный материнский эгоизм фрау Дитмар (ее Фридриху не нужна была такая жена), и все же Вайсу было приятно, что выбор фрау Бюхер пал именно на него. Значит, он сумел внушить ей такое о себе представление, какого добивался, когда вез ее из кирпичи. «Неплохая работа», — похвалил себя Иоганн и тут же отметил, что мысленно произнес эти слова в той интонации, в которой говорил их инструктор-наставник. Случилось это после того, как Иоганн, выполняя урок, доказал ему, почему именно немцы — высшая раса, и подтверждал свои суждения цитатами из выступлений Альфреда Розенберга — теоретика германского фашизма. Докладывал он в двух вариантах: первый принадлежал рядовому солдату, второй — офицеру вермахта.

— Хотя и сверхглупо, — усмехаясь, сказал наставник, — но в общем... — И произнес с одобрением: — Неплохая работа.

И когда Иоганн пожаловался, что у него сейчас такое ощущение, будто он наелся дерьма, инструктор-наставник сказал укоризненно:

— Неправильно реагируешь, Белов. Это же их идеология. Презирать — пожалуйста, но знать и понимать — твоя обязанность. Без этого ты среди них будешь казаться неполноценным, и тогда ты там никаких перспектив на продвижение не получишь. И не забывай: Иоганн Вайс — парень скромный,

но себе на уме. За офицерский погон может и на подлость пойти.— Торопливо добавил: — С нашей точки зрения, конечно, а там это считается «ловим момент». Человек человеку — волк, и так далее.

10

У фрау Марин Бюхер собрались, очевидно, самые близкие ее друзья — двое мужчин и три женщины. Они называли друг друга только по именам, но при этом были подчеркнута вежливы и предупредительны. По их одежде и манерам трудно было определить, что они собой представляют.

Пожилой человек по имени Герберт был в солидном двубортном пиджаке. На вязаном жилете — цепочка. Он был преисполнен чувства собственного достоинства, и мясистое лицо его выражало глубочайшее равнодушие ко всему на свете. Он говорил какому-то хилому господину в смокинге, что англичанам после Дюнкерка благоразумней всего заключить с фюрером мирный договор, с тем чтобы совместно решить восточную проблему. За это фюрер может позволить им оставить себе некоторые северные территории России, которые они оккупировали в свое время и потом потеряли. Взамен Англия, разумеется, должна поделиться с Германией некоторыми своими колониальными владениями.

Но хилый господин в смокинге по имени Пауль осторожно возражал, утверждая, что фюрер сделает то, что не удалось Бонапарту. И немецкие солдаты будут так же победоносно маршировать по улицам Лондона, как они маршируют сейчас по Парижу.

Дама в парчовом платье, с короткими, толстыми, как окорока, обнаженными руками, перебивая этих двух собеседников, заявила очень авторитетным тоном, что фюрер, хотя и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один, и господин Мосли обещал фюреру содействовать тому, чтобы общественное мнение Англии склонилось в пользу исторических целей фюрера.

— Вильма — наш Риббентроп, — кивая на полную даму, сказала хорошенькая блондинка в голубом куцем платье, отрываящем колени.

Вильма с лстивой улыбкой ответила блондинке:

— Ты, Ева, как и наша прародительница, всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, у господина бригаденфюрера появляется желание съесть яблоко, когда он видит тебя.

Ева, польщенная, загадочно улыбнулась.

— Не стала бы отрицать.

Господин в смокинге обернулся, лениво поаплодировал:

— Браво, Ева!

Фрау Бюхер провозгласила, восхищенно глядя на Еву:

— О, Ева — самая обольстительная из валькирий! И хотя я женщина, я понимаю бригаденфюрера.

На Вайса никто из гостей не обратил внимания, но фрау Дитмар встретили очень почтительно. И искренне обрадовались ее приходу. И когда Ева, перед которой все заискивали, крикнула: «К черту политику! В конце концов мы женщины», — фрау Дитмар строго поправила ее:

— Немецкие женщины, милая. — И, сев рядом с мужчинами, спросила: — Ну как, Герберт, с кем мы будем воевать еще?

Пауль не дал Герберту ответить:

— Вы хотите спросить, фрау Дитмар, какие еще страны станут частью великой Германии?

— Ах, оставьте! — недовольно оборвала его фрау Дитмар. — Вы тут не со своим хозяином. Мы можем не валять дурака.

— Как жаль, что среди нас нет вашего Фридриха, — сказала блондинка. — Он оказался таким серьезным юношей.

— Да, Фридрих, — подхватила Вильма, — он, конечно, серьезный юноша, но если бы ты, Ева, укоротила юбку еще на пять сантиметров...

— Юный штурмовик не выдержал бы штурма, — закончил с хохотом Пауль.

Из последующих разговоров Вайс понял, что господин Герберт служит экспертом-оценщиком в конторе «Пакет-аукцион», на склады которой доставляют имущество репрессированных жителей из оккупированных областей. Эта же контора выдает конфискованное имущество различным должностным лицам. Наиболее значительные ценности вручаются как личный подарок фюрера за особые заслуги, а также в дни праздников или военных побед, даты которых приравнены по своему значению к пасхальным и рождественским дням. Имперская канцелярия составляет специальные списки лиц, заслуживающих того или иного подарка. И вот господин Герберт, как эксперт, определяет ценность предметов, предназначенных для подарков. И может оценить вещь в сто марок, когда в действительности она стоит тысячу.

Самые высокопоставленные лица заинтересованы в расположении Герберта. Ведь если он захочет или сочтет для себя выгодным, он подберет такие вещи для подарков в тысячу марок, истинная стоимость которых — целое состояние.

Но Герберт вынужден был сообщать личному представителю Гиммлера обо всех особо ценных предметах, поступающих на склады конторы, откладывая их и передавать в фонды гестапо. И вот почему: никто из собравшихся здесь не знал, что в годы послевоенного кризиса Герберт был приго-

ворен к пожизненному заключению за аферу с маргарином. Его изготавливали из сырья, вредного для здоровья людей, и многие, главным образом дети, тяжело заболели, отравились.

Бывший начальник прусской тайной полиции, а ныне начальник службы безопасности группенфюрер СС Рейнгард Гейдрих — высокий, костлявый, с безжизненными, холодными глазами, тонкими губами и сухим крючковатым носом — приказал выпустить Герберта из заключения и направить в контору «Пакет-аукциона». Гейдрих был уверен, что этот человек, обязанный ему жизнью, будет безгранично предан и исполнителен, поскольку знает, что за любую оплошность его мгновенно бросят в тюрьму и осудят, как отравителя немецкого народа.

Вот почему Герберт был безукоризненно честен в своем сложном деле.

Внимательно слушая, о чем беседуют гости фрау Бюхер, Вайс довольно скоро понял, что они, очевидно, повторяют расуждения своих хозяев, которым всячески стремятся подражать и в словах и в повадках. Он слушал все эти претенциозные разговоры с любопытством, хотя ничего нового для себя не почерпнул: обо всех маневрах гитлеровской клики, о заигрывании с Англией Центру уже было известно из других, более достоверных, источников. Но все же было приятно сознавать, что он непринужденно чувствует себя в этой необычной компании. Вайс вовремя подал Еве пепельницу, чтобы она не уронила пепел на платье, и Ева живо поблагодарила его.

Когда Герберт, обругав поляков, которые спрятали ценнейшие гобелены из замка Вавель, говорил, что найдутся средства заставить их указать заветный тайник, Иоганн осведомился, не знает ли господин Герберт, какова судьба «Мадонны со щеглом» Рафаэля. И Герберт, уважительно взглянув на Вайса, объяснил ему, какое сокровище эта картина. Потом он сказал, что если бы такие образованные молодые люди, как Иоганн, служили в органах разведки, то для германской империи на оккупированных землях не были бы потерянными многие произведения искусства, хотя, конечно, специальным подразделениям СС поручено немедленно брать под свою охрану музеи и частные коллекции, находить их прежних хранителей и, применяя соответствующие методы допроса, добиваться того, чтобы ни одна картина, скульптура или какая-нибудь иная вещь, представляющая художественную ценность, не была утрачена для рейха.

Фрау Вильму Иоганн спросил, как она полагает, не наградит ли фюрер вождя английских фашистов Освальда Мосли рыцарским крестом за деятельность в пользу Германии. На это Вильма ответила, что господин Мосли, несомненно, достоин такой высокой награды, но, по ее мнению, наградить его следует тогда, когда войска вермахта высадятся на побережье

Англии, или тогда, когда Мосли, как он обещал Риббентропу, совершит в Англии фашистский переворот.

В разговор вмешался Пауль — спросил Иоганна, в какой стране он хотел бы воевать. Иоганн сказал шутливо:

— Там, где амазонки.

Все рассмеялись.

Пауль предложил:

— Не забудьте тогда пригласить меня с собой. Я научу их сбивать коктейли.

Герберт спросил Еву:

— Ну как, толстушка, твой генерал все еще ревнует тебя к каждому встречному солдату? И не без оснований?

— Ах, Герберт, — вздохнула Ева, — какой ты все-таки циник! — Но так победно улыбнулась, глядя в тусклые глаза Герберта, что можно было не сомневаться, Герберт попал в точку.

Фрейлейн Ангелика, девушка с болезненно бледным лицом, сохранила нескладную долговязость подростка. Казалось, худые, тонкие ноги и длинные вялые руки чем-то мешают ей. Маленькое личико с тугой, прозрачной, будто покрытой парафином кожей застыло в неподвижности. Большие синие глаза с чуть голубоватыми белками и туманным взглядом придавали ее лицу такое выражение, словно говорит она не о том, о чем думает.

За столом Иоганн оказался рядом с Ангеликой. Она равнодушно улыбнулась ему и сказала, лениво растягивая слова:

— Вам приятно сидеть рядом со мной?

Иоганн, озабоченно разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени, воскликнул:

— О фрейлейн, я в восторге! — Осведомился: — Что можно вам предложить?

Тем же ленивым тоном она протянула:

— Я почти ничего не ем.

— Несколько листиков салата позволите?

— Только чтобы доставить вам удовольствие. Налейте, пожалуйста, вина. — И впервые внимательно взглянула на него. Спросила: — Вы фронтовик?

Иоганн отрицательно качнул головой.

— Ничего, вы им будете, — твердо пообещала Ангелика. Подняла глаза, сказала значительно: — Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.

— Ну к чему такие мрачные мысли за веселым столом! — автоматически заметил Иоганн.

— А мне таких не жалко. Никогда! Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.

Вначале такая откровенность показалась Иоганну подозрительной. И он сказал елеинно:

— Все мы смертны, фрейлейн, но души наши бессмертны. И там, наверху, — он закатил глаза, — ждет нас всевышний...

— Ерунда! — брезгливо бросила девушка. — Никто нигде нас не ждет.

— Ангелика! — ласково напомнила с противоположного конца стола фрау Бюхер. — Положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек. — И робко взглянула на дочь.

Ангелика даже головы не повернула в ее сторону. С усилием раздвигая бледные губы, спросила:

— О, я могу еще любезничать с мужчиной, не правда ли? — Помедлив, сказала серьезно: — Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних. У других — отняло жизнь... — Добавила с усмешкой: — Мне еще повезло: мама говорила, что в те годы рождались младенцы без ногтей и волос — уроды. И у матерей не было молока, детей выкармливали искусственно. Этакие вагнеровские гомункулюсы. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить, — жестко повторила она. — И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.

— Кому? — осведомился Вайс.

— Всем. Всем.

— Вы член Союза немецких девушек?

— Да, — решительно ответила Ангелика и так мотнула при этом головой, что пышные, цвета осенней травы волосы рассыпались по плечам. Поправляя прическу, она сказала: — Но я не люблю слушать радио. Не выношу кричащих дикторов. Мы имеем право говорить со всем миром даже шепотом, но весь мир должен с благоговением слушать нас.

— Простите, фрейлейн, но я будущий солдат и считаю: команда должна быть громкой.

— Значит, я тоже должна кричать? — усмехнулась Ангелика.

— Если захотите мной командовать...

— А вы любите, чтобы вами повелевали? — спросила девушка.

Фрау Бюхер громогласно поинтересовалась:

— О чем беседует молодежь?

Иоганн улыбнулся и так же громко спросил:

— Разрешите, фрау Бюхер, поднять этот бокал за здоровье вашей дочери?

Гости зааплодировали.

Ангелика бросила недовольный взгляд на Иоганна и, опуская глаза, прошептала:

— Вы чересчур любезны.

Девушка демонстративно повернулась к соседке и больше уже не разговаривала с Вайсом, не обращала на него внимания.

Фрау Бюхер, зорко наблюдавшая за всеми, сразу увидела, что между ее дочерью и Вайсом что-то произошло: на лице гостя появилось виноватое выражение. Она громко спросила:

— Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж или авторемонтную мастерскую?

Иоганн понял, что фрау Бюхер хочет подать его гостям как юношу с солидными деловыми намерениями. И чтобы зарекомендовать себя перед этими людьми с лучшей стороны и доставить удовольствие мадам Бюхер, он с воодушевлением стал делиться своими жизненными планами.

Однако его слова произвели на гостей впечатление, противоположное тому, на какое он рассчитывал.

Пришлось признаться себе, что он сильно промахнулся: недооценил богатого опыта собравшихся в лицемерии. Ведь эти люди не только сами постоянно лицемерили, но изо дня в день пытливо подмечали малейшее проявление лицемерия у других — тех, с кем они постоянно соприкасались. Видя низости, уловки, ложь своих хозяев, зная их грязненькие тайны, мелочное тщеславие, эти люди, с человеческим достоинством которых господа никогда не считались, выработали в себе чуткую способность к притворству и умение молчаливо, с глубоко скрытым презрением обличать его у других.

Вайс быстро уловил смысл того иронического молчания, с каким гости слушали его рассуждения. Да, он совершил ошибку и понял это, еще продолжая говорить о своих жизненных планах.

Искренность для этих людей — признак глупости. И если его не посчитают глупцом, то лицемером, скрывающим истинные свои намерения, уж наверно. А это еще хуже, чем прослыть наивным дурачком. Никто здесь, кроме него, не пытался привлечь внимания к своей особе рассуждениями о чем-нибудь личном. А Вайс сделал это с непродуманной поспешностью и, пожалуй, бесцельно. Только для того, чтобы проверить, примут ли его в этой среде за своего. И просчитался. Переиграл. То есть сделал ошибку, о которой не однажды предупреждал его инструктор-наставник: забыл о самоконтроле, допустил распушенность воображения, утратил беспощадную, но единственно надежную опору — понимание реальной обстановки.

И, продолжая говорить, Вайс напряженно искал лазейку, чтобы выскользнуть из созданного им самим опасного положения. Вайс вдруг мило улыбнулся и спросил:

— Как вам нравятся мечты эдакого «Михеля»? — И серьезно добавил: — Что касается меня то я буду там, где мне прикажут интересы рейха.

— Bravo, — сказала фрау Бюхер, — вы ловко над нами подшутили, господин Вайс!

— Этот юноша знает, за какой конец надо держать винтовку,— одобрительно заметил Пауль.

— Господин Вайс,—воскликнула фрейлейн Ева,—вы будете отлично выглядеть в офицерском мундире!

Пауль предупредил:

— Берегитесь, она захочет вам его отутюжить утром!

— Вы циник, Пауль,— томно сказала Ева.

После этого интерес к Вайсу иссяк, никто больше не обращал на него внимания.

Предоставленный самому себе, Иоганн сел за столик в углу и стал перелистывать альбом с цветными видовыми открытками. На одной из них он увидел изображение столь хорошо знакомого ему Рижского порта... Мысли его невольно перенеслись в этот город, который он так недавно покинул. Ему вспомнилась Лина Иорд, дочь судового механика, студентка Политехнического института, с кукольным, гладким, будто эмалированным, лицом, миниатюрная, с крохотной фуражкой на светлых волосах, с вдумчивыми темно-серыми строгими глазами.

Она упрекала Иоганна за его приверженность ко всем мероприятиям «Немецко-балтийского народного объединения».

— Мне кажется,— говорила она насмешливо,— вы хотите уподобиться типам, которые изо всех сил стараются походить на коричневых парней из рейха.

— Но мне просто приятно бывать в кругу своих соотечественников.

— Странно! — произносила она недоверчиво.— Вы такой серьезный и, мне кажется, думающий человек — и вдруг с благоговейным вниманием слушаете глупейшие рассуждения об исключительности немецкой природы и эти ужасные доклады, полные зловещих намеков.

— Но вы тоже их слушаете.

— Ради папы.

— Он вас заставляет ходить на эти доклады?

— Напротив. Я это делаю для того, чтобы избавить нашу семью от опасных сплетен.

Однажды она пригласила Иоганна к себе домой.

Гуго Иорд, отец Лины, недавно вернулся из плавания. Это был типичный моряк. Медлительный, спокойный, с выцветшими, прищуренными глазами. Он был невысокого роста, как и дочь, но коренастый, широкоплечий, с тяжелыми руками. В углах маленького, плотно сжатого рта две глубокие продольные морщины. Судно, на котором он плывал, принадлежало немцу, и экипаж состоял сплошь из немцев. Они ходили в Мурманск за лесом. На обратном пути сдвинулись льды. Судно зажало. От давления ледяного поля лопнула обшивка, гребной винт был сломан.

Но капитан не хотел вызывать советское спасательное суд-

но. Они дрейфовали вместе с ледяным полем, пытаясь собственными силами осуществить ремонт.

А потом начался шторм с пургой, ледяные поля разошлись, и все окончилось бы плохо, если б не подошла советская зверобойная шхуна.

Гуго Йорд сказал Вайсу хмуро:

— Эти советские парни со зверобойной шхуны чинили нашу посудину так, будто не нам угрожала опасность, а им. Потом, когда мы снова оказались на своем ходу, наш капитан пригласил к себе в каюту их шкипера и боцмана на выпивку. И сказал:

— «А мы ведь немцы...»

«Ну и что? — сказал шкипер. Потом он увидел на столе капитана вымпел со свастики, спросил: — Вы — фашист?»

«Да, — ответил капитан, — именно».

Тогда оба они — и шкипер и боцман — молча надели бушлаты и шапки.

Капитан спросил:

«Жалеете, что нас выручили?...»

Шкипер сказал:

«У вас горячего дойти не хватит, могу дать полторы тонны, как терпящим бедствие. У вас в кубрике лед, команде даже обогреться нечем».

Потом, когда мы пошли своим ходом, на шхуне подняли паруса. Выходит, русские моряки отдали нам свое последнее горячее.

Все это говорил Гуго отрывисто, угрюмо, будто обиженный чем-то.

Иоганн спросил:

— Но ведь на море всегда полагается так поступать?

— А на земле? — спросил Гуго.

Иоганну очень понравился Гуго, но встречаться с ним он избегал. Немцы из «Народного объединения» говорили о Гуго как о человеке чуждом. Общение с ним могло повредить Вайсу.

По этим же причинам он вынужден был настороженно держать себя и с Линой. Она вначале приписывала это застенчивости Иоганна. Сама просила после вечеров в «Немецко-балтийском объединении» провожать ее до дому. Брала под руку, заглядывала в его озабоченное лицо, чуть ли не становясь на цыпочки для этого.

У нее был живой и свободный ум.

Испытывая скрытую нежность к этой девушке, он томился тем, что, встречаясь с ней, вынужден был притворяться, мямлить, скрывать свои убеждения, и мысли, и чувства, и знания... Он не имел на это права и потому хмуро отмалчивался, спешил поскорее довести ее до дому. Она едва поспевала за ним, семена своими маленькими ножками. Мило сердилась.

Говорила, что ей вовсе не надо спешить домой и что ей правится вот так шагать рядом с Иоганном куда угодно. Смеялась, запрокидывая лицо с темно-серыми серьезными, ждущими глазами.

И только возвращаясь домой один, Иоганн давал волю мечтам и мысленно говорил то, что хотел бы сказать девушке. Но почти сейчас же он резко одергивал себя, потому что даже в мыслях не имел права отличаться от Иоганна Вайса. Нет у него такого права, даже если это необходимо для душевного отдыха. Да и не смеет он наслаждаться душевным отдыхом, если при этом может быть введена в никемное заблуждение эта девушка, если это послужит причиной ее горя.

Он перестал встречаться с Линой.

А через некоторое время Гуго Йорд нанялся на норвежский танкер, а его семья переехала в Осло.

Иоганн пришел в порт только тогда, когда пассажирское судно, на котором находилась Лина, уже уходило с рейда.

С палубы большого белого парохода доносилась музыка. Базальтового цвета волны тяжело стучали о сваи причалов.

Стоя на холодном, мокром ветру, обдуваемый горькой водяной пылью, Иоганн с тоской и волнением думал о том, что, должно быть, ему уже никогда не доведется увидеть Лину. Кем же останется он в ее памяти?..

Сейчас, сидя в этой комнате и глядя на Ангелику, не испытывая ни малейшего волнения, он спокойно и тщательно продумывал то, как ему следует дальше вести себя с этой девушкой, чтобы привлечь ее внимание и вызвать у нее желание оказать ему покровительство. Это было бы так полезно сейчас! Конечно, фрау Дитмар расписала здесь все мыслимые и немыслимые достоинства Вайса, опекая его, она искренно гордилась им. Но что именно может вызвать симпатии у Ангелики?

Вайс заметил подчеркнутую почтительность, которую проявляли к этой девушке все гости. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивала перед ней. И та принимала все это как должное.

Между тем подали десерт. Вайс снова очутился рядом с Ангеликой.

— Как вы находите Лицманштадт? — небрежно спросила Ангелика, как бы только сейчас заметив своего соседа.

— Если вам он нравится, я готов согласиться, что это замечательный город.

— А он мне не нравится.

— В таком случае — и мне тоже.

Ангелика подняла брови:

— У вас нет своего мнения?

Иоганн, смело глядя в лицо Ангелике, сказал:

— Мне кажется, фрейлейн, что вы привыкли к тому, чтобы у вас в доме все разделяли ваше мнение.

— Вы так обо мне думаете?

— Мне так показалось.

— Вы, очевидно, из тех, кто считает, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины.

— Но вы не из таких.

— Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках.

— Бисмарк утверждал: «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других».

— Однако вы начитанный!

Вайс пожал плечами.

— Книжки — хорошие советчики. Но даже тысяча советов не заменяет тысячи пфеннигов.

— Здравая мысль. Вам нравится у нас?

— Я бы мог сказать, что больше всего мне здесь нравится вы. Но я этого не скажу.

— Почему?

— Вы оказали мне гостеприимство, и я должен быть благодарен за это фрау Дитмар. Очевидно, она вам говорила обо мне и просила о чем-нибудь для меня.

— Возможно.

— Значит, если бы я вам сказал, что здесь вы мне милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.

— А вы, оказывается, довольно прямодушный человек.

— Я рад, если вы это поняли.

— Вы полагали, я способна такое оценить?

— Именно на это я и рассчитывал.

— Но вы видите меня первый раз, откуда эта уверенность?

— Интуиция, — сказал Иоганн.

— А вдруг вы ошибаетесь?

Иоганн развел руками:

— В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, папа у них — шофер. Только и всего.

— А вам хотелось бы, чтобы их отец был генералом?

— Как прикажете, фрейлейн, — пошутил Вайс.

— Хорошо, — сказала Ангелика, — мы это еще обсудим. — Потом несколько минут спустя произнесла серьезно: — Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть обстоятельства, по которым я была бы вынуждена выполнить ее просьбу о вас. Вы о них знаете?

Вайс поколебался, потом решил: фрау Дитмар ведь не скрывала это.

— Вас любит Фридрих?

— Теперь? Не думаю. Но фрау Дитмар я люблю, как вторую мать.

— Извините,— сказал Вайс,— но мне бы не хотелось пользоваться...

— Молчите! — приказала Ангелика.— Словом, я, конечно, выполнила ее просьбу. И вот, видите, даже не зная вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Мне так надоели эти нагло лезущие вверх...

— Но я бы тоже хотел получше устроиться,— сказал Вайс.

— Устроиться...— презрительно повторила Ангелика.— Именно устроиться.— Наклоняясь к Вайсу, глядя на него широко открытыми глазами, зрачки которых сузились в черные, угольные жесткие точки, она спросила глухо: — Вы думаете, Фридрих — человек, у которого развита воля к власти? Вздор. Я думаю, он полез в наци только ради того, чтобы спасти своих ученых стариков, вышибленных из университета. По-моему, Фридрих — раб науки, человек, испортивший себе будущее.

— А вы? — спросил Вайс.

Ангелика откинулась на стуле, сказала твердо:

— Хотя я не такая красивая, как Ева Браун, я хочу и буду шагать по головам к своей цели.

— Тем более — фюрер сказал, что он освобождает нас от химеры совести,— напомнил Иоганн.

— Да, конечно,— машинально согласилась Ангелика. Добавила насмешливо: — Но я девушка, и вы можете воздействовать на меня менее опасным способом — дайте яблоко!

— Вы действительно такая решительная, как вы о себе говорите?

Ангелика опустила веки.

— Нет, не всегда. Но всегда убеждаю себя, что надо быть решительной во всем.

Когда гости встали из-за стола и расселись в кресла с чашечками кофе в руках, Ангелика увела Вайса на кухню и здесь стала заботливо ухаживать за ним: положила в его тарелку несколько кусков штруделя, а кофе налила в большую фаянсовую кружку, а не в крохотную фарфоровую чашечку, какие были поданы гостям.

Вайс завел разговор о своих сослуживцах. Говорил о грубых нравах в этой среде. Пожаловался, что из зависти к нему — ведь он не просто шофер, а шофер-механик — его сняли с легковой машины, посадили на грузовую. И лучше фронт, лучше погибнуть с честью, чем подобная жизнь среди завистливых, невоспитанных людей, готовых на любую подлость, лишь бы не быть отчисленными в строевую часть.

Ангелика внимательно слушала, и по тем вопросам, какие она задавала, можно было судить, что Иоганн, несомненно,

поднялся во мнении фрейлейн Бюхер, которая неспроста с таким заинтересованным видом осведомляется о подробностях его биографии. Нужно ли говорить, что ответы Иоганна полностью совпадали с анкетами, которые ему пришлось заполнять.

Задание Центра искать любые возможности для общения с сотрудниками абвера, найти себе место в его системе Иоганн пока не мог выполнить. Мало того — ему угрожало отчисление в строевую часть, что, по существу, граничило с провалом. И если даже он сумеет со временем удрать из строевой части, его будут искать как дезертира, и он окажется непригодным для той работы, на какую был нацелен. Значит, вся его подготовка — сложная, долготерпеливая — окажется напрасной, рухнут надежды, которые на него возлагались. Но сейчас открывалась заманчивая возможность.

Ангелика спросила, есть ли у него друзья.

Вайс сказал печально:

— Был у меня настоящий друг — Генрих Шварцкопф, но он сейчас в Берлине живет, у своего дяди, штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. — И добавил осторожно: — Если бы Генрих был рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, Вилли Шварцкопф однажды позаботился обо мне: по его рекомендации меня взяли в гараж.

— И он снова мог бы дать вам рекомендацию? — поинтересовалась Ангелика.

— Не знаю... Возможно, и дал бы, — с сомнением в голосе сказал Иоганн. — Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, штурмбанфюрер не откажет ему.

Гости уже расходились, и фрау Дитмар зашла на кухню за Вайсом. Застав молодых людей за дружеской беседой и поняв, что Ангелика готова принять участие в судьбе Вайса, фрау Дитмар положила руку на его плечо и сказала с гордостью:

— Вы, Иоганн, произвели на всех сегодня очень хорошее впечатление. — Обратилась к Ангелике, попросила: — Ты знаешь, я с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить. Ведь у тебя такие возможности!

Застенчивая улыбка блуждала на лице Вайса. Он опустил голову и потупил глаза, чтобы скрыть их напряженное, выжидающее выражение.

— Я попробую. — Ангелика поцеловала в лоб фрау Дитмар и подала Вайсу руку — тонкую, белую, влажную.

Через несколько дней фрау Дитмар с радостью сообщила, что по просьбе Ангелики полковник Зальц говорил с Шварцкопфами по телефону и те дали благосклонный отзыв о Вайсе. Все его бумаги переданы из Центрального переселенческо-

го пункта в службу абвера. И если со стороны гестапо не будет возражений, Вайса зачислят шофером в штаб абвера. Но должно пройти еще некоторое время, пока гестапо даст на это разрешение.

Иоганн отчетливо сознавал, что добровольно сунул голову в пасть гестапо и малейшая неточность в документах или какая-либо оплошность, допущенная им здесь, может стать для него смертным приговором, предваряемым тщательными допросами, пытками...

Обо всем этом он сообщил в Центр.

Но все обошлось благополучно. В этот день Иоганн, как всегда, на рассвете пришел в гараж, чтобы подготовить грузовик к выезду. К нему подошел Келлер и проворчал сердито:

— Ну и ловкий же ты парень! Недурно устроился! — Показал глазами на новенький, только что с завода, «БМВ» мышиного цвета, с двумя запасными баллонами над багажником и завистливо сказал: — Хозяин у тебя, надо думать, тыловой чиновник...

Но Келлер ошибся.

11

Майор Аксель Штейнглиц начал карьеру разведчика еще до первой мировой войны. Сын небогатого крестьянина, он стыдился своего низкого происхождения и поэтому с особой настойчивостью стремился занять достойное место в офицерском корпусе, где профессия шпиона тогда еще не считалась почетной, несмотря на особое благоволение генерального штаба к представителям этого рода службы.

Однажды Штейнглица оскорбили в офицерском клубе, и он вызвал обидчика на дуэль, но тот отказался принять вызов, объяснив, что для чести прусского офицера унижительно драться с человеком, никогда открыто не обнажавшим оружия.

Война и особенно послевоенные годы изменили положение. Профессия шпиона оказалась расцвеченной всеми романтическими цветами героизма. О «черных рыцарях» много писали, ими восхищались, создавали о них легенды, стремились увлечь представителей «потерянного поколения» подвигами тайной войны.

Штейнглиц не попал в тот список рассекреченных шпионов, которым правительство рейха предоставило широкую возможность для безудержной рекламы. Он проявил себя с лучшей стороны, выполняя различные тайные поручения. Но, находясь в рядах специальной службы, на многие годы был вынужден расстаться с офицерским мундиром. Только теперь, когда Гитлер начал поход на Европу, Штейнглиц вновь надел мундир, получил повышение в звании и должность, которая

давала ему некоторую независимость, значительные средства и открывала самые соблазнительные перспективы в будущем.

Канарис, начальник абвера, хорошо знал Штейнглица, его слабости и его сильные стороны.

Слабостью Штейнглица была тщеславная жажда добиться признания высшего офицерского корпуса. Сильной стороной — готовность на любую низость ради этого. Сюда следует добавить огромный опыт и дерзкое умение добиваться цели любыми способами, коллекция которых была у него уникальной и проверенной на многих людях, ушедших в небытие при обстоятельствах весьма загадочных.

Став шофером майора, Йоганн в первые же дни усвоил одно: этот вылощенный человек с редко мигающими, совиными глазами и сухим, почти безгубым лицом, не разрешающий себе ни одного лишнего движения, — сейчас для него и самая большая опасность и самая большая надежда.

Подражая Канарису, Штейнглиц говорил мягко, тихо, вкрадчиво, стремясь следовать любимому изречению своего шефа: «Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его, только тогда он может оказаться благо-разумным». Сам Штейнглиц был не способен самостоятельно выработать точку зрения на что-либо. Сила его убежденности заключалась в отсутствии каких-либо убеждений. Его жизненный опыт профессионального шпиона подтверждал, что во все времена истории Германии люди его профессии составляли особую касту, и какие бы политические изменения ни происходили в стране, кто бы ею ни управлял — Гогенцоллерны, Гинденбург, Гитлер, — военный генералитет и кадры профессиональных разведчиков сохраняются в священной неприкосновенности.

Полученные им задания Штейнглиц разрабатывал с педантичной скрупулезностью, применяя системы планирования, которые он тщательно изучил в архивах уголовной полиции. Методику и приемы операций он заимствовал из практики наиболее выдающихся профессиональных преступников.

За спиной у Акселя Штейнглица было несколько мастерски совершенных убийств. Но он не знал ни цели этих убийств, ни того, кто были его жертвы. Да и не интересовался этим. Он занимал тогда незначительную должность и, по указанию тех, кто занимал высшие должности, дисциплинированно выполнял задания. Он работал, чтобы завоевать такое положение, которое позволило бы ему давать указания другим. И он достиг такого положения, правда, в довольно зрелом возрасте. Но карьера его была омрачена обстоятельствами, свидетельствующими, что одного профессионального усердия для успешной шпионской деятельности все-таки недостаточно.

Угрюмое четырехэтажное здание № 74/76 по улице Тирпи-

цуфер в Берлине, где размещался абвер, Аксель Штейнглиц почитал храмом всевышнего, храмом властелина шпионажа империи, каким не без основания считал Канариса, тайного покровителя убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В годы первой мировой войны, когда Канариса арестовали в Италии, как немецкого шпиона, он ловко задушил тюремного священника и в его одежде совершил побег. Седовласый, краснощекий крепыш, демократически общительный, болтливый, с манерами избалованного барина, афиширующего свои чудачества и трогательную любовь к домашним животным, коллекционирующий произведения искусства, любитель музыки, нежный семьянин, он отечески и с полным знанием дела наставлял своих агентов в искусстве умерщвления людей. Он ценил в агентах профессиональную вышколенность и недолюбливал тех, кто был склонен к самостоятельным решениям, чем бы они ни диктовались.

Но кроме абвера иностранным шпионажем усиленно занимались еще и гестапо, служба безопасности, так называемая СД, и агентура Риббентропа.

Гитлер поощрял существовавшую между ними конкуренцию, но особо покровительствовал гестапо.

Аксель Штейнглиц получил от Канариса задание отправиться в Англию и похитить портфель с документами у курьера английского министерства иностранных дел. Сделать это было нужно, когда курьер покинет машину с охраной и войдет в здание министерства. Портфель будет на стальном браслете закреплен на левой руке курьера.

Изучая обстановку, где предстояло совершить операцию, Штейнглиц заметил, что этим же занимается человек, лицо которого ему показалось знакомым. Небольшое усилие памяти — и он вспомнил, кто этот человек: видел его фотографию в картотеке тайной уголовной полиции. Шерман — мелкий мошенник, шумно прославившийся зверским убийством своей любовницы.

Штейнглица глубоко оскорбило такое недоверие шефа, направившего в качестве его дублера это ничтожество.

В Британской публичной библиотеке он вырвал из старого комплекта «Фелькишер беобахтер» страницу с репортажем о суде над Шерманом и его портретом. Вложил в конверт вместе с запиской, из которой можно было узнать, что в Лондоне скрывается этот немецкий уголовный преступник, и отправил по почте в Скотленд-Ярд.

Задание Штейнглиц выполнил.

В вестибюле министерства иностранных дел он дождался курьера и вскочил вслед за ним в служебный лифт, успев захлопнуть дверь перед носом сопровождающего. И здесь, в кабине лифта, убил курьера ударом кастета в висок, разрезал специально изготовленными клещами-кусачками цепочку,

которой портфель был прикреплен к стальному браслету на запястье курьера, а затем благополучно вышел из министерства.

В тот же день он вернулся в Берлин, на Тирпицштрассе, № 74/76.

Аксель Штейнглиц рассчитывал, что получит повышение по службе, надеялся и на крупное денежное вознаграждение, но все обернулось иначе: победа оказалась его самым крупным поражением.

Еще возглавляя прусскую тайную полицию, Рейнгард Гейдрих завязал надежные связи с английской полицией; став начальником службы безопасности — СД, он не только не утратил этих связей, но и развил их на новой основе.

Оказывается, Шерман был доверенным агентом гестапо и задание получил от самого Гиммлера. Англичане сообщили Гейдриху о провале Шермана, и тот догадался, чья эта работа.

Гейдрих торжествовал: ну, теперь Канарис у него в руках! Ведь если всемогущий Гиммлер узнает, что направленного им в Англию агента ликвидировал агент Канариса, тому несдобровать. За свое молчание Гейдрих мог потребовать от Канариса любой, даже самой значительной услуги. Но это еще не все: теперь Канарис не решится доложить Гитлеру об операции, успешно проведенной абвером в Лондоне, и не получит за нее награды. Не получит ее и Гиммлер, который, если бы его агент не провалился, не преминул бы похвастаться перед Гитлером успехом гестапо. Выгода для Гейдриха явная: его конкуренты остались ни с чем.

Канарис и Гейдрих жили рядом — в пригороде Берлина, на Долленштрассе, и Гейдрих по воскресеньям частенько навещал соседа, играл в крокет с его супругой и двумя дочерьми.

И когда Гейдрих во время очередного визита сообщил Канарису о поступке Штейнглица, начальник абвера сразу понял, чем этот поступок ему грозит. И решил действовать.

Он мог расправиться со Штейнглицем, ликвидировать его без излишнего шума — для этого у него было достаточно возможностей. Но он сохранил своему агенту жизнь. Отнюдь не из жалости к Штейнглицу и не из уважения к его заслугам. Канарис был связан с английской полицией еще теснее, чем Гейдрих. Используя свои связи, Канарис добился того, что Шерман, не выдержав методов допроса английской уголовной полиции, дал согласие Интеллидженс Сервис на сотрудничество с ней. Соответствующие доказательства Интеллидженс Сервис любезно предоставила Канарису, и он предъявил их сначала Гейдриху, чтобы освободиться от зависимости от него по данному делу, а потом Гиммлеру, заверив, что о предательстве

ве агента гестапо знают только два человека: Гиммлер и Канарис. Третьего нет и не будет. И этим Канарис даже несколько расположил к себе Гиммлера.

Что касается Штейнглица, то Канарис повысил его в звании, подчеркивая перед Гейдрихом безупречность своего подопечного. Но отныне Штейнглиц лишился доверия шефа и, оставаясь майором абвера, мог рассчитывать только на черную работу.

Миссия его в оккупированной Польше была крайне незначительной — разве поручат серьезное дело опальному сотруднику, жизненное существование которого продлено только потому, что Канарису понадобилось сохранить его как пешку в опасной игре с Гиммлером и Гейдрихом.

Но сам Аксель Штейнглиц не собирался так просто расставаться с тем, к чему стремился всю жизнь. Второй отдел абвера — диверсии и террористические акты — еще запишет в своих анналах имя Штейнглица. Майор самоуверенно полагался на свой профессиональный опыт, ценность которого он привык определять в долларах — самой устойчивой валюте в период покорения Европы гитлеровским вермахтом.

Безжизненный, деланно тусклый взгляд, лениво жеванные слова о том, куда ехать, толчок стеклом в шею шофера, когда нужно остановиться, — все это лишь в малой степени предвещало те трудности, какие стояли перед Иоганном Вайсом, и ясно было, что ему понадобится не только самоотверженное терпение и искусство водителя, но самое высокое мастерство — мастерство советского разведчика, — чтобы благополучно удержаться в своей должности при майоре. О том, что Штейнглиц — матерый германский разведчик, Иоганна уведомили из Центра, как только он сообщил о месте своей новой работы.

Из самых различных источников поступали в Центр достоверные сведения о том, что уже на исходе 1940 года гитлеровская Германия открыто дислоцировала свои армейские группы вблизи границ Советского Союза. Обо всем этом незамедлительно докладывали Сталину.

Фашистская Германия последовательно выполняла свою милитаристскую программу, сформулированную Гитлером в его «Майн кампф». «Мы, национал-социалисты, — вещал Гитлер, — сознательно подводим черту под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы... переходим к политике будущего — к политике территориальных завоеваний. Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы должны в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. Сама судьба как бы указывает этот путь».

Майор Штейнглиц немало поработал в Польше в сентябрьские дни 1939 года, создавая диверсионные террористические

группы из местного немецкого населения. Но его заслуги не были отмечены. Тогда, воспользовавшись легким ранением в ногу, случайно полученным при обучении террористов, Штейнглиц надолго удалился в горный санаторий. Однако расчеты его не оправдались: о нем никто не вспоминал. Тогда он напомнил о себе сам и получил сомнительную должность инспектора диверсионно-разведывательных школ, нацеленных на Советский Союз и расположенных на территории бывшей Польши. Но майор был специалистом по западным странам. Русским языком он не владел, о Советском Союзе имел самое смутное представление. И понимал, что в этой ситуации при первом же упущении его ждет разжалование, фронт.

Штейнглиц воспользовался возможностью задержаться на некоторое время в Лодзи и стал навязчиво наносить визиты различным высокопоставленным лицам, надеясь с помощью протекции занять более определенное и устойчивое положение.

Приходил он не с пустыми руками, прибегая для этого к услугам эксперта конторы «Пакет-аукцион» господина Герберта, маргаритовая афера которого была известна ему еще по картотеке уголовной полиции.

Но Герберт, зная о невежестве майора и полном отсутствии у него вкуса, отделялся аляповатыми имитациями художественных произведений.

Иоганну доводилось возить на склады «Пакет-аукциона» конфискованные в музеях и личных коллекциях уникальные полотна. И он подметил систему распределения конфиската на складе.

Сопровождая майора на склад, чтобы отнести в машину то, что тот выберет, Иоганн сразу же догадался о махинациях Герберта, беззастенчиво подсовывающего майору дешевые подделки. А у того жадно разгорались глаза, когда Герберт называл их якобы баснословную цену.

И вот Иоганн сделал первый решительный шаг на пути к тому, чтобы Штейнглиц наконец как-то обратил на него внимание. До этого мертвый, сонный взгляд майора означал только, что если вместо Вайса за рулем окажется другой солдат, он этого не заметит.

Вайс решительно направился в темный закоулок склада, осветил фонарем стеллажи, на которых лежали прикрытые тряпьем, нарочито небрежно сваленные картины старых мастеров, древние кубки, редкостные меха, и сказал громко и значительно:

— Господин майор, вот предмет, достойный вашего внимания!

За те несколько дней, которые служил у него этот шофер, Штейнглиц впервые услышал его голос. Кстати, он считал это естественным.

Вайс знал, что подобная смелость может не понравиться.

Майор приблизился только для того, чтобы, не повышая голоса, сделать Вайсу внушение за неуместное вмешательство. Но солдат, держа в одной руке какую-то картину в массивной раме, а другой освещая ее фонарем, произнес отчетливо:

— Жан Этьен Лиотар, восемнадцатый век, подлинник!

Герберт побледнел.

— Господин майор! Это невозможно. Предполагается— для личной коллекции фельдмаршала...

Вайс, заворачивая картину в бумагу, небрежно бросил через плечо:

— Только в том случае, если от нее откажется господин группенфюрер СС,— и, зажав картину под мышкой, вытянулся перед майором.

Тот махнул перчаткой: «Пшел». И медленно, задумчивой поступью направился к выходу.

Иоганн, грубо оттеснив плечом Герберта, успел распахнуть ворота перед майором. Потом забежал вперед, открыл дверцу машины, положил картину на заднее сиденье и снова вытянулся, прижав правую руку к пилотке, а левой придерживая дверцу.

Два следующих дня Штейнглиц по-прежнему мертвыми, слепыми глазами скользил по лицу Вайса, казалось не видя его. И все приказания Вайс выполнял молча.

На третий день утром Штейнглиц промямлил сонно:

— Имя?

— Рядовой Иоганн Вайс, господин майор!

И больше ни слова.

И лишь ночью, когда Вайс вез майора из загородной резиденции оберфюрера СС в гостиницу, Штейнглиц так же вяло и сонно осведомился:

— Кто твой начальник?

— Господин майор Аксель Штейнглиц!

— Хорошо, пусть так.

И снова несколько дней только едва различимое короткое бормотание майора, приказывающего, куда ехать.

И вдруг однажды Вайс услышал странные хлюпающие звуки. Он испуганно обернулся. Майор смотрел на него неподвижными, будто стеклянными, как у чучела, глазами, но губы его кривились от смеха.

— Послушай, ты! Если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.

Оберфюрер СС, которому Штейнглиц, смертельно боясь попасть впросак, преподнес картину, пришел от нее в восторг. И в благодарность за столь ценное подношение счел возможным не только поделиться чрезвычайно секретной информацией, но и обещал майору поддержку в его деятельности, име-

ющей, по словам оберфюрера, особо важное значение для будущего Германии на Востоке.

Способность к рисованию приносила Иоганну в его счастливом и, казалось бы, недавнем прошлом, когда он еще был Сашей Беловым, две общественные нагрузки: стенную газету и художественное оформление здания к праздникам, а также неприятности, когда он рисовал карикатуры. Обиды приятелей он старался искупить самокритичными автошаржами. Любовь к краскам, к цвету, стремление передать на бумаге все многообразие окружающего владели им с детства.

Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам на завод, и, разглядывая рисунки, бормотал сокрушенно:

— Ну что ж, давай, кому-то надо быть и художником!..

Но сын знал, что отец в душе гордится его дарованием, восхищается им.

Академик Линева успокаивал Сашу Белова, когда тот делился с ним своими сомнениями:

— Да вы не расстраивайтесь, это не раздвоение личности, а очевидная способность воспринимать цвет и форму. В научной работе эмоциональное восприятие разнообразных явлений природы столь же естественно, как в любом другом творческом процессе, а творчество — всегда исследование со множеством неизвестных.

Инструктор-наставник сказал как-то:

— Из тебя, Белов, возможно, Репин получился бы, если бы ты по этой линии пошел. — И, вздохнув, пожалел: — Скорей бы ты канитель с империализмом кончила! Не будет войн — каждый человек на земле сможет в полной мере развить свои способности.

Когда Белов очень удачно написал портрет одного замечательного советского разведчика, начальник отдела товарищ Барышев, внимательно посмотрев на портрет, потом на Белова, заявил:

— Какие у нас люди талантливые, а? — И добавил для ясности: — И он и ты. — И еще уточнил: — Но тебе, Саша, до него, — кивнул на портрет, — еще много тянуться надо. — Спохватился: — Но ты сильно нарисовал. — Сказал виновато: — Извини, друг, но даже в нашем клубе на стену повесить — не разрешат. Товарищ снова на задании. — И постарался утешить: — Будь уверен: придет время — пожалуйста, хоть в Третьяковку.

— Это что ж, при коммунизме?

Барышев задумался.

— Не обязательно. Но где-то на подходе...

Александра Белова знали букинисты. В день получения стипендии — сначала на рабфаке, потом в институте — он отправлялся на поиски редких репродукций. Воскресенья проводил в Третьяковке, в Музее изобразительных искусств. На ка-

никулы уезжал в Ленинград, ежедневно к открытию приходил в Эрмитаж, уходил почти последним.

То, что он теперь был лишен возможности рисовать, наполняло его томительной тоской, он ощущал почти физическое недомогание, которое объяснял тем, что ему пока ничего не удалось здесь сделать. А между тем информации, поступавшие от Иоганна Вайса, в совокупности с другими данными, точно свидетельствовали: над Советским Союзом нависла грозная опасность.

— Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами? — как всегда неожиданно, проскрипел Штейнглиц.

Вайс разгадал эту провокационную манеру: самой констатацией вопроса коварно поставить человека в такое положение, будто о нем все уже известно, интересуют только частности, — вот как сейчас. Много ли он зарабатывал! А то, что он торговал картинами, — это, мол, для майора несомненно.

— Нет, — сказал Иоганн. — Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером, и по его заказу я делал плафоны для специального освещения картин, а когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинства принадлежащих ему полотен.

После длительной паузы Штейнглиц произнес, не разжимая губ:

— Эта картина из «Пакет-аукциона» оказалась подделкой. Пришлось ее выбросить!

— Виноват, господин майор! — с облегчением согласился Вайс, понимая, что Штейнглиц подготовил эту версию на случай, если полотно Лиотара действительно предназначалось кому-то из высокопоставленных лиц.

Все эти дни вместе с майором в машину садился человек в штатском; держал он себя со Штейнглицем весьма независимо. Дважды они посетили лодзинскую тюрьму, потом, прихватив с собой какого-то поляка — тоже в штатском, но с военной выправкой, — приказали ехать в Модлин. По пути останавливались в городах, где были тюрьмы или старые крепостные здания, превращенные в места заключения. Из немногих разговоров Иоганн понял, что они ищут офицера польской разведки, который похитил в германском военном министерстве много секретных документов и даже в свое время добыл набросок плана нападения на Польшу. Но польский генеральный штаб отказался верить своему разведчику, и после возвращения на родину его заточили в тюрьму.

А поляк, который ехал с ними, тоже был агент польской разведки в Германии, но, судя по всему, провокатор, двойник, работал на фашистов. И он убеждал Штейнглица, что надо немедленно ликвидировать того офицера, которого они искали, если, конечно, удастся его найти в одной из тюрем.

Майор молчал, молчал и немец в штатском. А когда поляк попросил остановить машину в пустынном месте и пошел в кусты, немец в штатском сказал:

— Если тот согласится на нас работать, пусть сообщит какой-нибудь польской организации, что этот служил нам, — они пристукнут. Дурак, который привык, чтобы за него составляли дезинформации! А потом мы тому поможем перебраться через Ла-Манш, и англичане сами снова забросят его сюда. Будет сколачивать патриотов в кучу. Не бегать же за каждым в отдельности!..

У ворот Модлинской крепостной тюрьмы Вайс простоял больше суток. Приметы провокатора-поляка он запомнил твердо и даже мысленно уложил их в шифровку.

На рассвете к машине подошли майор и немец в штатском. Вайс вопросительно взглянул на Штейнглица.

— Лодзь, — приказал майор. Лица и у него и у его спутника были сердитыми, утомленными.

Всю дорогу оба пассажира угрюмо молчали. Когда подъехали к Лодзи, штатский сказал отрывисто:

— Если б он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.

— Да, — сказал Штейнглиц. — Расстрел — это почетно.

Немец в штатском усмехнулся, очевидно вспоминая о чем-то забавном, спросил хвастливо:

— Ты заметил, на него сначала произвело благоприятное впечатление, — и сделал такое движение согнутым указательным пальцем, будто нажал на спусковой крючок, — когда я в его присутствии того прохвоста, который его предал?.. — Вздохнул. — Было хорошо продумано. Но мы сделали все, что могли.

Майор кивнул, соглашаясь.

Иоганн сначала машинально прибавлял скорость, но потом поймал себя на том, что стремится вмазать машину вместе с пассажирами в первый встречный грузовик, и даже прикинул, как ловчее из нее выскочить. Но это не было бы возмездием. Это было бы преступной слабостью перед лицом дела, которому он служил. Он заставил себя постепенно сбавить скорость. Руки его стали влажными. Перед глазами поплыл туман. Он почувствовал, как вдруг сразу ослабел от голода, от бессонной ночи в машине, от всего того, что ему пришлось сейчас пережить...

Но, остановив машину у подъезда гостиницы, распахнул дверцу, вытянулся, придерживая ее локтем, козырнул и, преданно глядя в лицо Штейнглицу, осведомился:

— Какие будут дальнейшие приказания, господин майор?

Не получив ответа, столь же поспешно забежал вперед, толкнул входную дверь, взял у портье ключ, следуя в почти-

тельном отдалении от Штейнглица, поднялся по лестнице, снова забежал вперед и открыл дверь номера.

В номере встал у вешалки, всем своим видом выражая ожидание.

Майор устало опустился в кресло, снял сначала один сапог, потом другой. Вайс подал ему туфли, забрал сапоги и пошел к машине.

Из багажника достал сапожную мазь, щетку и с такой яростью начистил сапоги, будто хотел искупить свою минутную слабость в машине, будто эта работа была добровольным наказанием за слабовольное, на мгновение, отступничество от чекистского долга, повелительно требующего от него постоянной, неотступной мобилизации всех душевных сил.

Когда Вайс принес сверкающие сапоги в номер, его пассажиры спали: Штейнглиц — на диване, человек в штатском — на постели майора.

Вайс взял ботинки и одежду человека в штатском, вышел в тамбур и до тех пор искал на вешалке обувную и одеждуную щетку, пока не ознакомился с содержанием карманов пальто, брюк, пиджака. Потом положил одежду так, как она была брошена на стуле. Спустился вниз, отвел машину в гараж, вымыл, отлакировал замшей, заправил горючим.

Проснулся, как и приказал себе, в три часа ночи и в четыре часа двадцать семь минут закончил шифровку телеграммы и нанес ее тайнописным составом на обыкновенную почтовую открытку.

«Полковник Курт Шнитке, Курт Шнитке», — дважды написал Иоганн, чтобы быть уверенным, что имя одного из руководителей Кенигсбергского разведывательного отделения абвера, специализированного для действий против Советского Союза, будет правильно расшифровано. Он передал также, что Шнитке получил секретный приказ о немедленном формировании штата руководителей для диверсионных школ на территории Польши, и сообщил шифр-адрес разведывательного отделения абвера в Кенигсберге и то, что это отделение требовало двадцать комплектов летнего обмундирования командного состава Красной Армии.

Наутро, когда Иоганн подал машину к подъезду гостиницы, майор приказал отвезти его на аэродром.

Уже выходя из машины, Штейнглиц, как всегда, небрежно процедил чуть слышно сквозь зубы, не выговаривая окончаний слов:

— Два дня. Здесь. Час раньше, — и ушел, щеголяя выправкой истукана.

Ну что ж, значит, два дня свободы — хороший подарок майора Аксея Штейнглица советскому разведчику Александру Белову!

На Гитлерштрассе Вайс остановил машину у роскошного

кондитерского магазина «Союз сердец». Надписи «Только для немцев» на дверях и витринах не было: вся эта улица особняков, из которых выселили поляков, стала центром чисто немецкого района.

Военные, полицейские патрули и агенты в штатском бдительно охраняли национальную неприкосновенность этой части города. Вечерами по Гитлерштрассе чинно прогуливалась разряженная толпа немцев, и если бы эксперт конторы «Пакет-аукцион» господин Герберт нашел время побывать здесь, он увидел бы на плечах, на головах и даже на ногах гуляющих многое из того, что было привезено на склады «Пакет-аукциона» после конфискации у польских граждан.

Почти ко всем немецким чиновникам, военным из специальных служб, гестаповцам, нацистским функционерам, коммерческим и промышленным агентам — уполномоченным самых различных германских концернов, осваивающих новые территории рейха, приехали из Германии бесчисленные родственники. Одни, энергичные, — в надежде на поживу, другие, ленивые, — просто чтобы отодраться, выпивать на даровщину, наслаждаться властью над любым немцем.

Сюда волокли стариков и старух, подростков, младенцев, не забывали о собаках, кошках, канарейках, попугаях, так как трезво соображали, что дешевого и хорошего корма здесь хватит на всех. Ну, а о поляках беспокоиться нечего: все равно они обречены на истребление.

По вечерам на Гитлерштрассе происходил своеобразный омерзительный парад победителей-мародеров, ползущих вслед за вермахтом разряженной толпой по черной от пожарниц и сырой от крови земле.

В кондитерской специально подобранные продавщицы — свеженькие, хорошенькие, в голубых платицах, белоснежных, кружевных передниках и наколках на высоких прическах, — щеголяя берлинским произношением, умело и предупредительно обслуживали посетителей.

Все они находились под наблюдением специальной службы Крепса, озабоченной здоровьем высших чиновников и офицеров, которые из-за скупости и неосмотрительности часто попадали в армейские госпитали по причинам, далеким от военных подвигов.

Здесь торговали не только кондитерскими изделиями. Но прусский дух чинной благопристойности неуклонно соблюдался и тут. И продавщица без тени кокетства, серьезно и почти тщательно выслушивала внушающего доверие и надежды покупателя и записывала адрес, по которому ей самой следовало доставить покупку. Конверт с некоей суммой «на транспортные расходы» она небрежно совала в кармашек кружевного передника и, кивнув клиенту, подходила к следующему с выраже-

нием сдержанной любезности и готовности, если, конечно, он того заслуживал.

Вайс купил большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые любила фрау Дитмар, и направился к выходу. Но тут из примыкавшего к магазину кафе его окликнула хорошенькая блондинка, он тотчас же узнал Еву — гостью фрау Бюхер. Ева сидела за столиком одна. Убрав свертки с покупками, она предложила Иоганну сесть рядом.

Сдобное, миловидное лицо ее, обрамленное искусно уложенными локонами, сияло добродушием. На ней был пушистый норвежский жакет, широкие мягкие брюки — происхождения их Вайс не смог определить — и французские туфли-танкетки. В ушах, на шее и на груди блестела чехословацкая бижутерия.

— Вы кого-нибудь ждете? — спросил Иоганн.

— Я — никогда. Меня — всегда, — кокетливо ответила Ева.

Вайс приподнялся, давая понять, что не хочет мешать ей. Ева остановила его движением пухлой ручки.

— О, я пришла сюда только полакомиться. Обожаю сладкое! Это — для меня высшее наслаждение. — Упрекнула: — Господин Иоганн, у вас сложилось обо мне представление как о легкомысленной женщине. Но, право, я не такая. Я люблю...

— Детей, кухню, церковь, — подсказал Иоганн, предполагая, что Ева обидится и у него появится повод покинуть ее.

Но Ева простодушно согласилась:

— Это правда, я такая. Вы довольны своим новым местом, господин Вайс? — вдруг спросила она.

— Да, и я очень признателен фрейлейн Ангелике за ее заботу обо мне.

— Но почему Ангелике? — удивилась Ева. — Это я для вас постаралась. — Помедлила: — Правда, по просьбе Ангелики. Но если б я не захотела... Неужели она вам ничего не сказала?..

И Ева, непринужденно болтая, будто между прочим, с женским ехидством рассказала Вайсу кое-что для него любопытное. Оказывается, сын фрау Дитмар был помолвлен с Ангеликой (об этом Иоганн, впрочем, догадывался) и, хотя историю ее падения удалось поначалу от него скрыть, в гневе вернул ей слово, когда узнал обо всем происшедшем. И университет бросил совсем не потому, что увлекся фашизмом. В карьере нацистского функционера он увидел больше возможностей возвыситься над аристократами Зальцами. Но, увы, ошибся. Гитлер предпочел штурмовикам прусское родовое офицерство. Зальцы снова вошли в силу. Полковник Иоахим фон Зальц даже вступил в национал-социалистскую партию. И, очевидно следуя своему родителю, теперь испытывает к Ангелике не только «родственные» чувства. Поэтому фрау Ма-

рия Бюхер очень беспокоится, как бы отец полковника, узнав об этом, не отнял у Ангелики дарственную. Но если б Ангелика вышла сейчас замуж, ее отношения с Иоахимом Зальцем не представляли бы никакой опасности ни для кого. Фрау Дитмар тоже очень волнуется, боится, что если Фридрих узнает о связи Ангелики сначала с генералом фон Зальцем, а потом с его сыном, то он может решиться на какой-нибудь необдуманный поступок. Ведь он такой пылкий и самолюбивый! Встали обе дамы и решили, что в лице Иоганна они обрели выход из сложного положения, создавшегося в этих двух очень приличных семьях. Что думает обо всем этом Ангелика, неизвестно. Спросить боится. Но, во всяком случае, пока что она сочла излишним беспокоить полковника фон Зальца, а попросила Еву заняться устройством Вайса — та любит дразнить своего генерала ревностью. И Ева попросила генерала о Вайсе — просто для того, чтобы лишний раз проверить свою женскую неотразимость.

Все это Ева поведала Вайсу, не переставая поглощать пирожные.

— А если приедет Фридрих и все узнает? — спросил Вайс.

Ева, облизывая липкие пальцы, сказала твердо:

— Он не приедет. И ничего не узнает.

— Почему?

— Ах, разве вы не знаете? Он в Пенемюнде: там изобретают какое-то страшное оружие. И работают не только наши ученые, привлечены даже неарийцы. Они все там как в концентрационном лагере, конечно комфортабельном. Фридриха направили туда потому, что он почти инженер и к тому же наци. Он прямо-таки находка для гестапо: образованный человек и их тайный агент. Это редкость. Я убеждена, что он теперь не меньше чем гауптштурмфюрер. Наконец-то фрау Дитмар может считать себя счастливой матерью.

— А разве раньше не считала?

— Конечно нет. Она не верила в другие его способности. Фридриха. Она верила в другие его способности.

— Ухаживать за девицами?

— Ну что вы! — Ева даже обиделась за Фридриха. — Он такой умный молодой человек! Как-то принес на рождественский бал в мэрии Санта-Клауса из папье-маше, и этот Санта-Клаус двигался по велению Фридриха и раскланивался с самыми уважаемыми гостями.

— Волшебник!

— Ну конечно. Все так думали, особенно дети. Но потом Фридрих объяснил, что сделал все это с помощью радио. Во всяком случае, мой группенфюрер говорил, что опыты с этой игрушкой пригодятся Фридриху в Пенемюнде. И если он не будет таким простофилей, каким был его отец, он сможет многого добиться.

— Я очень рад за фрау Дитмар! — искренне воскликнул Иоганн. Он и впрямь был обрадован значительно больше, чем могла предполагать Ева. Пенемюнде... Пенемюнде — это новость!

Проявлять дальнейший интерес к этой теме было бы неосторожно, и Иоганн тут же переменял тон и предмет разговора.

— Фрейлейн, вы как цветущая яблоня! — сказал он тихо и коснулся рукой сдобного локотка Евы.

Но она отдернула руку и сказала серьезно:

— Оставьте, Иоганн. Мне эти штучки смертельно надоели. Я хотела с вами поговорить по душам, как со своим парнем, — ведь я тоже из деревни. И как только накоплю достаточно бережений, вернусь к отцу, уплачу за восточных рабочих, и, уверяю вас, я знаю дорогу к счастью... Ведь я, в сущности, очень добропорядочная девушка. — Она пожала полными плечами. — Не какая-нибудь берлинская потаскушка с Александерплац. Видите, не курю, не люблю крепких напитков, слабость у меня только одна — сладкое. — Спросила многозначительно: — Вы поняли меня, господин Вайс?

— Да, — рассеянно согласился Иоганн и озабоченно осведомился: — Но кто вам сказал, что я работал на ферме?

— Бог мой! — Ева даже руками всплеснула. — Неужели вы полагаете, что мой шеф без ознакомления со всеми вашими бумагами согласился посоветовать майору Штейнглицу взять вас шофером? — Сказала гордо: — Я бы тоже не могла занимать той должности у обергруппенфюрера, какую занимаю, если бы меня не рекомендовало гестапо и, конечно, пастор, которому я исповедуюсь во всех своих прегрешениях. — И Ева улыбнулась Вайсу и теперь сама протянула ему руку.

Осбняк обергруппенфюрера, куда Вайс привез Еву, охраняли эсэсовцы с черными автоматами на груди. И если бы не их слишком пристальное любопытство, Ева, возможно, пригласила бы Иоганна зайти к ней выпить чашку кофе. Уговаривать же солдата в присутствии охраны обергруппенфюрера Ева считала ниже своего достоинства и поэтому сдержанно простилась с Вайсом.

12

Все молодое поколение фашистской Германии с самых ранних лет подвергалось нацистской обработке: «юнгфольк», затем «гитлерюгенд», обязательные трудовые лагеря, двухлетнее пребывание в охранных или штурмовых отрядах и, наконец, «школы Адольфа Гитлера» для особо достойных, которых специально готовили к службе в фашистском партийном и государственном аппарате.

Надо полагать, Фридрих Дитмар, пройдя такой путь, едва ли мог сохранить те черты своего характера, о которых с неж-

ностью и восхищением рассказывала Иоганну фрау Дитмар.

Но вместе с тем у Иоганна возникали смутные надежды на Фридриха, когда фрау Дитмар говорила, что в своих письмах к сыну рассказывает, как заботлив, как внимателен к ней квартирант. Иоганн стремился, чтобы Фридрих запомнил его имя, и просил фрау Дитмар в каждом письме писать сыну, что солдат Вайс шлет ему почтительный поклон.

Иоганн был несказанно рад, когда сияющая фрау Дитмар попросила его однажды выполнить поручение Фридриха. Записку от сына, где были перечислены книги и конспекты университетских лекций, которые он хотел получить из дома, привез ей ротенфюрер СС, по общевойсковому — старший ефрейтор.

Пока фрау Дитмар угощала ротенфюрера и расспрашивала о сыне, Иоганн отобрал по этому списку книги и рукописи Фридриха, сложил, аккуратно упаковал и вручил посланцу.

Понимая, что матери дорога каждая бумажка, полученная от сына, он быстро сделал копию списка и, отдав письмо Фридриха фрау Дитмар, отвез ротенфюрера на военный аэродром. Но как ни пытался Вайс узнать хоть что-нибудь о том, как поживает господин Дитмар, ротенфюрер молчал. Поймать его на ценном признании удалось только на прощание, когда Иоганн, подавая ротенфюреру прорезиненный плащ, заметил: «У вас там сейчас дожди, ветра, погода в Пенемюнде в такое время всегда дрянь». Ротенфюрер кивнул, соглашаясь.

Но и этого было достаточно, чтобы убедиться в достоверности сведений, полученных от Евы.

Изучение списка книг и тематика лекций подтвердили, что Фридриха совсем не случайно интересуют сейчас электронная техника, системы дистанционного радиорелейного управления, навигационная автоматика.

Размышляя над всем тем, что удалось узнать от фрейлейн Евы, Иоганн считал наиболее целесообразным всю заботу о своем устройстве приписать исключительно Ангелике Бюхер. И решил поблагодарить свою благодетельницу, посоветовавшись предварительно с фрау Дитмар о том, как это лучше сделать.

Фрейлейн Ангелика согласилась принять Вайса утром, предупредив через фрау Дитмар, что располагает очень ограниченными временем, так как полковник фон Зальц поручил ей чрезвычайно важную и срочную работу.

Первые же дни общения с майором Штейнглицем принесли Вайсу много поучительного, полезного.

Майор по внешности являл собой идеал пруссака — чопорного, чистоплотного щеголя. И вот, получая новое обмундирование, Вайс щедро совал кому следует марки, и ему выдали все, что полагалось, не только точно по фигуре, но и лучшего

качества. Кроме того, за приличную сумму он приобрел здесь же, в цейхгаузе, кожаный мундир эсэсовского самокатчика.

В парикмахерской Вайс потребовал, чтобы мастер сделал ему такую же прическу, как у майора Штейнглица.

И когда он, преображенный, предстал перед майором, тот сделал вид, будто ничего не заметил, однако тут же приказал Иоганну сопровождать его в те учреждения, которые он посещал, словно Вайс был его адъютантом, хотя майору и не полагалось иметь адъютанта. Вид и поведение Иоганна были вполне адъютантскими, и это придавало Штейнглицу особый вес.

Расшаркиваясь и рассыпаясь в благодарностях, Вайс преподнес Ангелике коробку шоколада, купленную в кондитерской «Союз сердец» на Гитлерштрассе, и отметил при этом, что его новая внешность и следствие ее — новые, самоуверенные манеры — произвели на девушку самое лучшее впечатление.

Искусству вызывать людей на откровенность посвящены целые тома глубоких и тонких теоретических исследований германских психологов, профессоров шпионажа. В архивах соответствующих служб хранятся отчеты агентов, компилированные и систематизированные в картотеках по разделам. И все это, продуманное, выверенное, досконально изученное, выжатое до степени квинтэссенции, обрело высшую степень системы, тайну которой дано было постигнуть, затвердить, вызубрить только черным рыцарям, посвященным в орден германского шпионажа.

Но дух прусской дисциплины, которая чванливо провозглашалась отличительной национальной чертой, тяготел беспощадно и над деятелями тайных служб, над их умами, волей, требуя строгого, неотступного следования шаблонным приемам, выработанным «гениями разведки». Если считать шпионаж «искусством», то даже лучшие его образцы, многократно повторенные, утрачивали свою первоначальную ценность и часто были подобны жалкой репродукции с картины большого художника, бесконечно повторенной на упаковке дешевого мыла.

Гитлер внес большой вклад в науку подлости. Его наставление: «Я провожу политику насилия, используя все средства, не заботясь о нравственности и «кодексе чести»... В политике я не признаю никаких законов. Политика — это такая игра, в которой допустимы все хитрости и правила которой меняются в зависимости от искусства игроков... Когда нужно, не остановимся перед подлогом или шулерством», — это его наставление воодушевило все фашистские тайные службы на бесчеловечные акции, помогло им превысить меру всех мерзостей, какие когда-либо знала история. Но ничто не помогло фашистам постичь советский закон, сломить его.

Абвер испытывал серьезные затруднения при попытке сформировать группы «пятой колонны» на территории СССР в канун своего коварного нападения. А ведь до сих пор ему удавалось блистательно осуществить это при захвате многих европейских государств.

Полковник Иоахим фон Зальц действительно в последнее время нуждался не только в лирических, но и в чисто деловых услугах своей секретарши: представленные ему списки лиц, отобранных в диверсионно-террористические группы, предназначенные для забрасывания на территорию СССР, оказались неудовлетворительными.

Фрейлейн Ангелика была приятно удивлена, увидев Вайса в новом, более привлекательном обличье. Она не скрывала от Иоганна, а, напротив, подчеркнула, как обрадована и даже восхищена его видом. Ангелика расчетливо решила воспользоваться этим визитом для того, чтобы навести Иоганна на разговор, который был ей сейчас полезен. Ведь Вайс — прибалтийский немец, он жил в Латвии при советской власти и, пожалуй, сможет дать какие-нибудь рекомендации, а Ангелика предложит их от своего имени фон Зальцу, расположением которого она в последнее время очень дорожила, связывая с полковником свои далеко идущие планы на будущее.

Иоганн тоже хотел поболтать с Ангеликой, чтобы, если удастся, выведать у нее что-либо. Он знал до известной степени приемы немецкого шпионажа; допустим, так: достаточно прибегнуть к шантажу: «Фрейлейн Ангелика, мне кое-что известно о вас, и о папаше Зальце, и о нынешних ваших отношениях с его сыном», — и, конечно, фрейлейн Ангелика раскиснет.

Прием хотя и шаблонный, но вполне в духе методики, признанной всеми империалистическими разведками.

Но вместо этого испытанного, бьющего наверняка и такого простого способа Вайс встал на путь более сложный, так как полагал, что на подобный шаблонный прием отвечают не менее шаблонно: сначала он будет некоторое время получать незначительные материалы, а потом последует донос в гестапо.

Ангелика достаточно умна и сумеет выступить в роли разоблачителя своего шантажиста. В конце концов, ее совратил не кто-нибудь, а немецкий барон. Так ли уж это унижительно в глазах того общества, к которому принадлежит Ангелика?

Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в голове Иоганна, но даже тенью не отразилось на его лице, выражавшем одно только восхищение хорошенькой и деловой девицей. Видно было, что он польщен оказанным ему доверием.

И в ответ на небрежный, заданный будто бы из одного вежливого любопытства к прошлому Вайса вопрос Ангелики о его знакомых и друзьях в Риге он с воодушевлением расска-

зал, как ловил ночью рыбу в заливе вместе со своим другом Генрихом Шварцкопфом.

— И с девушками,— так нервно и насмешливо добавила Ангелика, что Иоганн решил перейти к другой теме. Она была несколько опасна, но зато давала возможность понять, чем вызван интерес к нему Ангелики.

Грустно вздохнув, Вайс сказал:

— Извините, фрейлейн, но для каждого прибалтийского немца тяжела безвозвратная потеря — как бы там ни было — родины.

— Почему вы говорите — безвозвратная? — строго осведомилась Ангелика и многозначительно добавила: — Я несколько иначе, чем вы, представляю будущие границы рейха.

Вайс возразил живо:

— О, я тоже думал иначе. Но пакт, заключенный с Москвой, мы, немцы, там, в Латвии, расценили как крушение наших надежд.— Шепнул смущенно: — Надеюсь, эти слова останутся между нами?..

— О, конечно,— уверила Ангелика. И посоветовала: — Будьте со мной предельно откровенны, так же, как и я с вами.— Положив руку на колено Вайса, посочувствовала: — Я понимаю ваши переживания.— Помедлила и вдруг сказала решительно: — Иоганн, я могу вам обещать: если вы — и очень скоро — предложите мне покататься на лодке по вашему Рижскому заливу, я охотно приму приглашение.

— Фрейлейн, вы сулите мне соблазнительные сны...

— Больше я пока ничего не могу вам сказать,— оборвала Ангелика эту галантную фразу. И серьезно взглянула на Вайса.

Иоганн подумал, не слишком ли поспешно дал понять Ангелике, как воспринял ее слова, и промямлил:

— Да, если б не этот пакт...—И сказал как бы про себя: — Но ведь у нас с Польшей тоже был договор!...

Ангелика снисходительно улыбнулась.

— Наконец-то. Как вы все-таки медленно соображаете.— Откинувшись на спинку стула, поправляя прическу, спросила с любопытством: — Ну, а эти большевики вас сильно притесняли в Латвии?

Вайс опустил глаза.

— Если вести себя с ними осмотрительно...— Быстро поднял глаза и, поймав на лице Ангелики выражение жадного внимания, снова потупился, пробормотал неохотно, — то можно было избежать неприятностей.— Встал.— Извините, фрейлейн, мне пора...

Ангелика вскочила, положила обе руки ему на плечи.

— О, прошу вас...— И пообещала многозначительно: — Оставайтесь, вы не пожалеете.

Иоганн сделал вид, что воспринял это как призыв, и реши-

тельно обнял девушку. Как он и рассчитывал, она сердито вырвалась из его рук.

— У вас солдатские манеры!

— Но я солдат, фрейлейн.

— Если вы хотите завоевать меня, то надо действовать не так...

— А как? — ухмыльнулся Вайс.

— Будьте умницей, Иоганн. Сядьте и расскажите мне все, что вы знаете. — Добавила ласково: — Пожалуйста! — И снова положила руку на его колено.

Перебирая ее тонкие, холодные, чуть влажные пальцы, Иоганн сказал как бы нехотя:

— Если вам так хочется, фрейлейн, ну что ж, я готов.

— О! — удовлетворенно вздохнула Ангелика и ближе придвинулась к нему.

Иоганн толково, точно и обстоятельно рассказал то, что было ему рекомендовано в случае нужды передать немецкой разведке в качестве своего личного патриотического дара.

Это был хитроумный набор фактов мнимозначительных, за некоторыми скрывалась ловушка, а другие были столь обнаженно правдивы, что не могли не ввести в соблазн...

Ангелика слушала внимательно и напряженно, спросила:

— Откуда вам известны эти подробности, Иоганн?

— Вы знаете, я работал в автомастерской, и мне приходилось ремонтировать им машины. И после ремонта сопровождать в пробных выездах. Это очень недоверчивые люди.

— Они называют это бдительностью?

— Бдительность — это несколько иное. Это обычай проверять документы. И чем больше у тебя документов, тем больше ты внушаешь доверия...

Ангелика встала, видно было, что ее живо интересовал разговор с Иоганном.

— Одну минутку. — И вышла из комнаты.

Вскоре она вернулась и объявила торжественно:

— Иоганн, полковник Иохим фон Зальц ждет вас у себя в кабинете.

Переступив порог, Вайс увидел бледного, сутулого человека, с впалой грудью и такими же запавшими висками и щеками на костистом длинном, унылом лице. Стекла пенсне сильно увеличивали глаза навывкате, выражающие усталость, глубокое равнодушие ко всему. Полковник небрежно, чуть склонив плешивую голову, одновременно ответил на приветствие Вайса и показал ему на кожаное кресло с пневматической подушкой в изголовье. Когда Вайс сел, он уставился на него прозрачными, бесцветными, неморгающими глазами в красноватых жилках. Потом сложил перед собой кисти рук так, что палец касался пальца и, устремив взгляд на свои ногти,

стал сосредоточенно рассматривать их, совершенно углубившись в это занятие.

Вайс тоже молчал.

— Да? — вдруг обронил полковник, не поднимая глаз и не меняя позы.

— Ну, повторите, повторите! — нетерпеливо потребовала Ангелика.

Вайс встал, как для доклада, и сжато, но еще более твердым голосом повторил то, что он рассказывал Ангелике.

Полковник сидел все в той же позе, прикрыв глаза тонкими сизыми веками. Ни разу он не прервал Вайса, ни разу не обратился с вопросом.

Пытливо вглядываясь в фон Зальца, Иоганн силился определить, какое впечатление на того производят его слова, но лицо полковника оставалось непроницаемым. И когда Вайс закончил, полковник продолжал глубокомысленно созерцать собственные ногти.

Молчание становилось тягостным. Даже Ангелика начала испытывать неловкость, не зная, как воспринять ее настойчивая просьба выслушать Вайса.

И вдруг полковник спросил сильным, несколько дребезжащим голосом:

— Кто из ваших земляков, находящихся здесь, может выполнить долг чести перед рейхом и фюрером?

— Господин полковник, мы все, как истинные немцы...

— Сядьте! — последовал приказ. — Это лишнее. Назовите имя.

— Надо уметь обращаться с парашютом? — решительно осведомился Вайс.

— Имя!

— Папке, господин полковник! — И, снова вытянувшись, преданно глядя в глаза фон Зальцу, Вайс отрапортовал: — Бывший нахбарнфюрер, средних лет, отменного здоровья, решительный, умный, отлично знает обстановку, владеет оружием, часто выезжал в пограничные районы, имеет там связи.

Полковник помедлил, взял телефонную трубку, назвал номер, проговорил с томительной скукой в голосе:

— Дайте срочно справку о Папке, прибывшем из Риги. — Положил трубку и снова погрузился в молчаливое созерцание своих холеных ногтей.

В последнее время Папке избегал встреч с Иоганном, но осведомлялся о нем у сослуживцев и даже наведывался в его отсутствие к фрау Дитмар, пытаясь узнать, как проводит время ее жилец. Поэтому не удивительно, что Иоганн постарался при первой же возможности отделаться от Папке, тем более что если в Советскую Латвию зашлют именно Папке, обезвре-

дить его не представит особого труда. Для этого достаточно сообщить в шифровке его имя — приметы и так известны.

Полковник по-прежнему сидел в позе застывшего изваяния, изредка подымая пустые, невидящие глаза.

Иоганн оглянулся на Ангелику, как бы вопрошая, что ему делать дальше.

Ангелика ответила строгим взглядом.

Здорово ее выдрессировал полковник, если она в его присутствии боится даже слово произнести. Интересно, наедине они столь же бессловесны?

Зазвонил телефон.

Полковник приложил трубку к бледному, широкому, оттопыривающемуся уху и, изредка кивая, сказал несколько раз, будто прокаркал: «Да, да». Положил трубку и вопросительно посмотрел на Вайса, словно удивляясь, зачем он здесь. Ангелика поспешно поднялась и, оглянувшись на Вайса, пошла к двери. Он понял, встал, щелкнул каблуками, повернулся и, бодро чеканя шаг, вышел в сопровождении Ангелики.

Как только они оказались одни, раздался звонок.

— Одну минутку, — извинилась Ангелика и исчезла за дверьми кабинета.

Вернулась она не скоро. Но когда вошла, улыбалась и держала в руке незажженную сигарету. Протянула ее Вайсу.

— Это вам от полковника.

— Значит, все хорошо? — осведомился Вайс.

Ангелика снисходительно похлопала его по спине и проводила до внутренней лестницы.

По дороге домой Вайс весь был поглощен сложной работой мысли. Как бы получше уложить в минимум знаков все, что ему удалось сегодня узнать, как избежать слов, выражающих его переживания, и вместе с тем найти такие слова, которые передали бы все значение того, что было не сказано?

Когда Вайс встретил на аэродроме майора Штейнглица, он так горячо приветствовал его, что даже при всей своей черствости и надменности майор не мог не испытать в душе приятного чувства и великодушно простил Иоганна, когда тот, сутаясь с вещами, чуть было не уронил термос. Вайс подготовился к встрече — засунул в багажную сетку за передней спинкой букет.

Майор, конечно, увидел цветы, но по привычке к скрытности сделал вид, будто ничего не заметил.

За долгое свое пребывание на специальной службе Штейнглиц выработал правило выискивать в каждом слабости и, будучи большим знатоком всяческих мерзостей, чувствовал себя уверенно только с теми людьми, которые сами были готовы на любую мерзость. А если исследование личности в этом на-

правлении не увенчивалось успехом, то он считал эту личность недалекой и ни на что не способной.

Вместе с тем Штейнглиц любил с гордостью повторять фашистские сентенции, вроде: «Нордическое крестьянство — элита элит», «Мелкие крестьяне и юнкеры соединены общностью судеб, они — спинной хребет военной мощи страны и являются потенциальным новым дворянством земли и крови».

Сын крестьянина, он немало страдал в догитлеровские времена от пренебрежения титулованных офицеров рейхсвера. И наивно рассчитывал, что теперь крестьянское происхождение откроет ему дорогу в армейскую элиту. А то, что Вайс работал когда-то на ферме и был племянником фермерши, заставило майора отказаться от привычной подозрительности. Штейнглиц даже проникся некоторой симпатией к своему шоферу, полагая, что именно в таких, как он, и сохраняются первородная простота, покорность и доверчивость — черты, свойственные крестьянским детям, не утратившим благотворной родственной связи с землей.

Придя к этому умозаключению, майор уверовал в него как в неопровержимую истину, так же как он навсегда уверовал в выработанную его специальной службой систему, где все — вплоть до способов возмездия тем, кто посмеет отступить в чем-либо от этой системы, — было предусмотрено заранее.

Искреннюю радость Вайса майор посчитал подтверждением того, что крестьянин — кем бы он ни был — испытывает врожденное благоговение перед своим барином, и это благоговение — свидетельство расовой чистоты немецкого крестьянства.

А Иоганн действительно очень обрадовался возвращению майора. И не собирался скрывать своих чувств по этому поводу. Радость его объяснялась тем, что ему удалось кое-что узнать о своем хозяине, и он готов был служить ему с воодушевлением, самоотверженностью и героизмом — неотъемлемыми слагаемыми, необходимыми для выполнения задания, возложенного на советского разведчика.

Помимо всего прочего, Иоганн не прочь был почерпнуть кое-что из опыта майора Штейнглица, который, хоть и впал в немилость, был одним из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генерального штаба. Им еще предстояло схватиться в будущем, и Иоганн хотел быть во всеоружии, чтобы выйти из этой схватки победителем.

Иоганн думал обо всем этом, когда бережно вел машину, искоса наблюдая в зеркало за майором. Но лицо его пассажира сохраняло обычное холодно-замкнутое выражение.

У входа в гостиницу Штейнглиц, как всегда, небрежно, сквозь зубы, не договаривая окончаний слов, процедил:

— Час ноль-ноль. С полным запасом горючего. Свои вещи — тоже.

Иоганн понял, что покидает Лодзь, и, возможно навсегда.

13

Бедная фрау Дитмар! Как засуетилась, как горестно заметалась она, когда узнала об отъезде Вайса. Казалось, это известие расстроило ее не меньше, чем разлука с Фридрихом. Глаза ее были влажны от слез.

Иоганн невольно вспомнил, как суетилась, металась, прощая сына, мать Саша Белова, укладывала в чемодан теплое белье, шерстяные носки, уговаривала взять чуть ли не две дюжины носовых платков, совала авоську с продуктами. И сын не мог сказать ей, что должен все свои вещи оставить в специальной комнате на аэродроме, где ему предстоит перелететь и получить на дорогу совсем другой чемодан.

Иоганн вспомнил, как держался при расставании со своей матерью, которую нельзя было волновать. Она и без того была донельзя встревожена таинственной разлукой. И он бодрился, шутил, уверял ее, что теперь будет работать на засекреченном предприятии. Но мать знала, что он обманывает ее, хотя и делала вид, будто верит каждому слову сына.

Отец не мог скрыть от нее, какую гордую дорогу избрал их Саша. И она поклялась молчать, у нее хватило сил притворяться перед сыном в час разлуки. И он знал, что она будет даже лгать, уверять всех, что ее Шурику живется хорошо, рассказывать, как он там работает, на своем засекреченном оборонном заводе, придумывать письма от него. И что она будет плакать тайком от мужа, в который раз разглядывая фотографии сына...

А отец? Казалось, в тот вечер навсегда залегли у него на лице глубокие морщины. И хотя он бодрится, бормочет о том, как воевал в гражданскую войну, о том, что он тоже парень был хват, глаза у него тоскливые, и сразу понятно: не умеет старик лицемерить, притворяться для него всего страшнее. И он не верит, что его Саша, его мальчик, такой чистый, правдивый, беспредельно искренний, сможет обманывать, притворяться...

Днем Иоганн успел заскочить в контору «Пакет-аукцион» и, памятуя слова майора о маргарине, которые еще тогда подбивали на Герберта угнетающе, развязно заявил, что он приехал не за маргариновыми изделиями, а за хорошей дамской вязаной кофтой. Но тут же, успокаивая Герберта, показал бумажник.

Можно ли при отчете отнести эту сумму в рубрику «специальные расходы», Вайс твердо не знал. Но он решился на это, полагая, что в крайнем случае, ну что ж, бухгалтер выч-

тет из заработной платы в десятикратном размере за неоправданный перерасход иностранной валюты.

Но не отблагодарить фрау Дитмар за все ее заботы он не мог. Она была искренне внимательна к нему. Кроме того, знакомство с ней принесло ему немало пользы, и кто знает, что еще понадобится от нее впоследствии.

И когда фрау Дитмар примеряла теплую вязаную кофту и говорила, что не решается принять такой ценный подарок, по румянцу на щеках и красным пятнам на шее видно было, как она счастлива.

Но как бы ни были трогательны эти минуты прощания, Иоганн не забыл спросить у фрау Дитмар позволения написать письмо Фридриху и поблагодарить его за гостеприимство. И фрау Дитмар дала Иоганну номер полевой почты сына, предупредив, что Фридрих не очень-то любит сам писать письма. И пообещала, что она снова напишет Фридриху, какой хороший человек жил в его комнате...

В точно назначенное время Вайс подъехал к гостинице. Вынес чемоданы майора, уложил в багажник.

— Варшава, — процедил Штейнглиц, откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги, закрыл глаза и приказал себе заснуть. Он был горд тем, что может заставить себя спать: ведь на это способна только волевая сверхличность, каковой самонадеянно и считал себя майор.

Падал мокрый снег, земля обнажилась на проталинах, а низинах стоял туман. Холодно, зябко, уныло. Бесконечно тянулась дорога, изъезженная воронками от авиабомб. Гулко гудели под колесами настилы недавно восстановленных мостов. В канун разбойничьего нападения на Польшу 1 сентября 1939 года большинство мостов было взорвано германскими диверсионными группами. Мелькали черные развалины зданий в уездных городишках. Через определенные промежутки времени машина останавливалась у контрольных пунктов. Штейнглиц просыпался, небрежно предъявлял свои документы, а чаще металлический жетон на цепочке, который производил на начальников патрулей весьма сильное впечатление.

Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, как будто не замечая этих указателей, вскоре догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, строительства, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил повод часто сверяться с картой, особенно когда встречались объекты, привлекавшие его внимание.

Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физи-

ономия спящего Штейнглица. Никаких пометок на карте Вайс не делал, полагаясь на свою память.

Когда подъехали к лесистой местности, патруль задержал машину. Майор показал свои документы, вытащил жетон — не помогло. Унтер-офицер почтительно доложил, что проезд одиночным машинам запрещен, так как в лесу укрылись польские террористы.

— Позор! — проворчал Штейнглиц.

Вышел из машины на обочину и потом, застегиваясь, сказал унтер-офицеру:

— Их надо вешать на деревьях, как собак. Сколько у них деревьев, столько их и вешать.

— Вы правы, господин майор. Надо вешать.

— Так что же вы стоите? Идите в лес и вешайте! — Тут он заметил, что обрызгал сапог, и приказал патрульному солдату: — Вытереть! — А когда тот склонился, сказал брезгливо: — Трус! У тебя даже руки дрожат — так ты боишься этих лесных свиней.

Но сам Штейнглиц только тогда разрешил патрульному офицеру открыть шлагбаум, когда собралось больше десятка армейских машин. И свою машину приказал Вайсу вести в середине колонны, позади бронетранспортера, и положил себе на колени пистолет. И выругал Вайса за то, что тот не сразу вынул из брезентовой сумки гранату.

Черные деревья вплотную подступили к дороге. Пахло сыростью, хвоей и лес казался Иоганну родным. Такие же леса были у него на родине, а в этом притаились польские партизаны, не побоявшиеся вступить в мужественное единоборство с железными лавинами гитлеровских полчищ.

Как хотел Вайс услышать сейчас выстрелы, разрывы гранат, трескотню ручных пулеметов — он ждал их, как голоса друзей. Но лес молчал. Непроницаемый, темный и такой плотный, будто деревья срослись ветвями. И когда машина вновь выехала на голую равнину, Иоганну показалось, что здесь темнее, чем в лесу. Наверное, потому, что задние колеса транспортера забрызгали грязью ветровое стекло. Он хотел остановиться, чтобы вытереть грязь, но майор не позволил: боялся оторваться от бронетранспортера.

Глубокой ночью, когда до Варшавы оставалось не больше тридцати километров, Штейнглиц приказал Иоганну свернуть с шоссе. Подъехали к каким-то зданиям, — очевидно, раньше это было поместье, — обнесенным высоким забором и двойным рядом колючей проволоки. Проекторы на сторожевых вышках, установленных по углам забора, заливали все вокруг ослепительным мертвенным светом. У ворот их задержали. Охрана очень тщательно проверила документы майора и пропустила машину только после того, как караульный офицер по телефону получил на это разрешение. Во дворе Штейнглиц

ца встретили люди в штатском. Он почтительно отковырял, и они все вместе ушли. Иоганну отвели койку в общежитии недалеко от гаража, где стояло множество новых машин лучших немецких марок.

Это расположение, загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были сконцентрированы самые совершенные технические средства охраны; ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, трубчатые спирали Бруно, система металлических мачт с прожекторами, позволяющая в любое мгновение залить беспощадным светом всю бывшую помещичью усадьбу или осветить любой ее уголок, и незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью вспышек сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него, и все собранные здесь достижения человеческой мысли точно и слаженно служили одной цели: намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира.

Только солдаты охранного подразделения носили военную форму. Те, кому они подчинялись, кто властвовал здесь, были в штатском, и только по степени почтительности, проявляемой к этим штатским, можно было определить, как высока должность, которую они занимают. Ни один из них не скрывал своей военной выправки и права командовать другими, такими же штатскими, отличавшимися лишь более щегольской выправкой. Подчиненные штатские напоминали узников, добровольно заточивших себя в каменных флигелях. Они были заняты весь день и лишь после обеда, а некоторые только после ужина прогуливались по каменным плитам внутреннего двора, отделяющего эти флигели от хозяйственных зданий.

Те же из штатских, кто имел право общаться с внешним миром, подвергались при выездах проверке нескольких патрульных постов. Эти посты обслуживало специальное подразделение СС, которому, по-видимому, и была поручена внешняя охрана.

Очевидно, эсэсовцы не подчинялись властям расположения, так как как бесцеремонно освещали фонарями лица пассажиров любой выезжающей или въезжающей машины, забирали документы, уносили в комендатуру для проверки и не торопились их вернуть. А когда возвращали, даже если проверенный оказывался весьма высокопоставленным лицом, козыряли небрежно и независимо.

Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено: хозяйственные постройки, плац, вымощенный булыжником, — и все. Он не имел права переступить за пределы этой черты. Незримые границы сторожила внутренняя охрана; у каждого пистолет, граната в брезентовом мешочке, автомат.

Для чего все это, Иоганн пока не мог выяснить.

Все тут держались нелюдимо. Иоганну казалось, что его окружают глухонемые. Даже общаясь между собой, эти люди, приученные к молчанию, охотнее прибегали к мимике и жестикуляции, чем к простым человеческим словам.

В гараже лежала целая стопа железных номерных знаков — после каждого длительного выезда номер на машине меняли. Несколько раз Иоганн видел, как перекрашивали почти новые машины. У трех легковых стекла были пуленепроницаемые, у двух — такие, что сквозь них не рассмотреть внутренность кузова, за исключением, конечно, ветрового стекла.

Ел Вайс в столовой, вместе с теми, кто, как и он, не имел права выходить за пределы незримой границы. Система питания построена была на самообслуживании. Ели подолгу и много, молча, не проявляя никакого интереса друг к другу. Несколько девиц с мужскими повадками из подразделения вспомогательной службы, такие же вымуштрованные, как и все здесь, с сытыми, равнодушными лицами не оживляли общей унылой картины. Когда какую-нибудь из них тискали за столом, девица, не меняясь в лице, спокойно, как лошадь в стойле, продолжала есть. А если это мешало поглощать пищу, она так же молча, с силой отталкивала ухажера.

За ужином давали шнапс, иногда пиво, и можно было сыграть в кости на свою порцию. И если кто-нибудь уступал выпивку девице и та принимала ее, начинали хихикать и поздравлять расщедрившегося со свадебным удовольствием.

Но и этого развлечения хватало на минуту, не больше, а потом все снова смолкали и не обращали уже никакого внимания на пару, которую только что грубо вышучивали.

Прошло много дней, а майор Штейнглиц не давал о себе знать. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Иоганна своим тупым, бессмысленным однообразием. Он даже не мог выяснить, что это за соединение, кто его обслуживает, чем здесь занимаются люди.

Как-то в кухне испортился электромотор, вращающий мясорубку. Иоганн вызвался починить его и починил. Повар кивнул головой — и все. Ни одного слова ни от одного из окружающих не услышал Иоганн, хотя работал на кухне больше трех часов, а народу здесь было достаточно. И когда он помогал механику гаража, тот охотно принимал его услуги, но благодарил тем же молчаливым кивком.

Одиночество, бездеятельность, бессмысленность пребывания тут делали его жизнь все невыносимей.

А Штейнглиц то ли забыл о существовании Вайса, то ли навечно сдал его в эту часть — ни у кого нельзя было ничего выведать.

Каждое утро в отгороженный колючей проволокой загон приходил дрессировщик собак со своим подручным.

Толстый, коротконогий, с мясистыми плечами, дрессировщик в одной руке держал плетъ, а в другой — палку с кожаной петлей на конце. Одет он был в белый свитер, кожаную коричневую жилетку, замшевые залоснившиеся шорты, толстые шерстяные носки, бутсы на шипах и тирольскую шляпу со множеством значков. Лицо холеное, профессорское, всегда чисто выбрито.

Что за человек подручный, понять трудно. Настоящее живое чучело. Стеганный брезентовый комбинезон с проволоочной маской фехтовальщика на лице. Шея, словно колбасными кругами, обмотана брезентовым шлангом, набитым опилками. Низ живота защищен фартуком, выкроенным из автомобильного баллона, поверх фартука — брезентовый плоский мешок.

Дрессировка была незамысловатой. Пока подручный шел по ровной линии, собаки покорно сидели у ног дрессировщика. Стоило подручному сделать резкое движение в сторону, как собаки бросались на это живое чучело и начинали рвать круги шланга, набитые опилками, и висающий на фартуке, защищающем низ живота, брезентовый мешок.

Если собаки сбивали подручного с ног, и, не обращая внимания на команду, продолжали рвать, дрессировщик разгонял их ударами плети, а самому свирепому псу накидывал на голову кожаную петлю, прикрепленную к палке, и оттаскивал в сторону.

Дрессировщик и его подручный никогда не разговаривали. Команда подавалась собакам не словами, а свистком.

Однажды, когда подручный завизжал от боли, дрессировщик, против обыкновения, не сразу разогнал озверевших псов, а выждал некоторое время и, после того как они разбежались, ударил, тщательно примерившись, поваленного на землю окровавленного человека тупым носком бутсы.

Заметив, что Вайс наблюдает за ним, дрессировщик начал вежливо здороваться и всегда первый говорил: «Доброе утро» или «Добрый день».

Как-то он подошел к проволочному забору, спросил:

— Красиво? — Похвастал: — Эти животные послушны, как дети. Нужно только иметь талант, волю к власти. — Пожаловался: — Сейчас стало трудно доставать хорошие экземпляры. Во всех ведомствах по делам военнопленных при ОКВ и штабах округов завели теперь собственные питомники. И это похвально. Хороший пес может так же нести службу, как хороший солдат.

Вайс показал глазами на собак:

— В таких пубах им русский мороз не страшен! Как вы думаете?

— Конечно, — согласился дрессировщик. Осведомился: — Вы не любите холода? — Утешил: — Фюрер обещал молниеносно

разделаться с Россией. Надо полагать, рождество там будут праздновать только наши гарнизоны...

— О да, безусловно, — поддакнул Вайс.

Вот еще одно подтверждение опасности, нависшей над его страной. Что ж, можно было бы информировать Центр и о том, что военное министерство Германии даже собак уже мобилизовало для Восточного фронта.

Инструктор-наставник как-то сказал Александру Белову:

— Ну что ж, если начнется война, — долг чекиста спасать армию, народ от подлых ударов в спину. А для того, чтобы предотвратить такие удары, нужна всеведущая зоркость наших людей, работающих на той стороне. Вот тебе вся твоя долговременно действующая директива. Простая и ясная как день. А приложение к ней — разумная инициатива, смекалка и твердое сознание того, что за каждую каплю крови, пролитую советскими людьми, мы несем особую ответственность — каждый из нас лично, где бы он ни находился...

14

К хозяйственным постройкам примыкал двухэтажный каменный флигель, надежно укрытый высоким забором со свисающим карнизом, оплетенным колючей проволокой. Три раза в день открывались ворота в этом заборе, чтобы пропустить термосы с горячей пищей, которую возили из кухни. По субботам к термосам прибавлялся ящик с бутылками пива и водки. И только один-единственный раз в день — в шесть часов утра, когда было еще сумеречно, — из этих ворот выходили строем восемь человек в трусах и, какая бы ни была погода, проделывали на плацу гимнастические упражнения. Потом снова строились и скрывались за воротами.

Это повторялось шесть дней. А на седьмой, в воскресенье, они приходили после обеда на грязный, мощный булыжником плац и усаживались на брошенные возле гаража старые автомобильные покрышки с таким видом, будто выползли сюда отдохнуть после тяжелой работы. Одеты они были в трофейные мундиры разгромленных гитлеровцами европейских армий — кто во французский, кто в датский, кто в норвежский. У некоторых одежда была смешанной, — скажем, брюки от французской формы, а китель английский.

Кто были эти люди? По приказу они не должны были ничего знать друг о друге, не имели права знать, а за попытку узнать им грозило жестокое наказание.

Люди без родины. Нет у них имен — только клички. Нет прошлого. И не будет будущего. Они знали, что народ, имя которого было записано в их анкетах, хранимых специальной службой, не простит им преступлений против его чести и сво-

боды. Впереди одно: к репутации негодяев предстояло прибавить славу палачей.

Их хорошо знали берлинская, мюнхенская, гамбургская криминалки. Некоторым из них понадобилась бы вторая жизнь, чтобы отбыть наказание за все черные дела, которые за ними числились.

Не было закона, который охранял бы их права, и не было страны, где бы они не нарушили закона.

И чтобы оказаться вблизи этих людей и понять, кто они, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже.

Он оставил ворота распахнутыми. И услышал русскую речь, русские слова, не видя еще, кто их произносит.

Приглушенный баритон, заглатывая букву «р», лениво мямлил:

— В сущности, имеются четыре защитных механизма, маскирующих страх смерти: секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.

— Фрейд, — вставил кто-то небрежно.

— Возможно. И поскольку концепция «каждый человек — мой враг» — главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего не только современно, но и необходимо для сохранения общества...

— Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах, — посоветовал кто-то сильным голосом.

— Извольте, — согласился баритон. — Тут я видел пожилую фею с развитыми до неприличия, ну прямо как галифе, бедрами. Представьте, отвергла в силу моей расовой неполноценности.

— Ты бы за свои дела попросил звание арийца.

— Я напомнил шефу о своих заслугах, но он в крайне нелюбезных выражениях обещал меня повесить, если я еще хоть раз попробую заикнуться.

— Только правда убивает надежды, — высокопарно заметил баритон. — Оставьте Зубу его заблуждения о себе самом. Пусть живет на благо Германии — нашего великого союзника. Что касается меня, то я никогда не испытывал потребности в высокоморальных поступках и, надеюсь, не испытаю.

— А суд божий?

— Я рассчитываю, что всевышний разделяет мою концепцию.

— Ты бы не ножом, а пером зарабатывал. Почему бросил?

— Не бросил, а выгнали. Неосмотрительно осуществил молниеносный способ обогащения. Слишком шумный процесс получился. Возможно, если б отправил в небытие соотечественницу, а не немку, все б и обошлось.

— Сколько тебе дали?

— Смягчили. Я утверждал на суде, что любил старуху

бескорыстно. А убийство совершил в состоянии аффекта, вызванного ревностью.

— И долго ты с ней путался?

— Познакомился в цирке, когда выступал в труппе наездников под предводительством Шкуро, а раззнакомился через год-полтора.

— Побатрачил...

— Что ж, постигла судьба Германна из «Пиковой дамы»: ни денег, ни старушки.

Сиплый проговорил задумчиво:

— А все-таки есть в этом какое-то мистическое совпадение... Николая сослали в Тобольск, в нескольких верстах от него село Покровское — родина Гришки Распутина. — Вздыхнул: — Эх, Россия!

— Я попрошу! — визгливо вступил тенор. — О государе императоре...

— Брось, — спокойно отпарировал сиплый. — Да не махай кулачишками. Дам по харе так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает бывшего своего барина.

— Узнают! — зловеще пообещал тенор. — Узнают...

— Так тебе немцы и отдадут усадьбу, держи карман шире!

— Господа, — баритон звучал барственно, — вы слишком далеко зашли, вы не имеете права обсуждать планы Германии в отношении бывшей территории России.

— А кто накапает?

— А хоть я, — ответил баритон. — Я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.

— Сволочь!

— Именно...

Кто-то рассказал:

— Когда я отбывал срок в Бремене, нас гоняли на работы в оружейные мастерские, а потом, прежде чем пропустить обратно в камеры, просвечивали каждый раз рентгеном: проверяли, не спер ли кто-нибудь инструмент из цеха. А говорят, будто облучение отрицательно отражается на способностях.

— А на черта тебе эти способности?

— Ну, все-таки...

— А я, господа, первое, что сделаю, — закажу щи и расстегай. Ну такой, знаете...

— Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Будут кидать с парашютом — ноги переломишь. Со мной был такой один субчик — сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить — из пистолета.

— Ну и дурак!

— А что? На себе тащить в советскую больницу?

— А ты бы как хирург — ножичком!

— Эх ты, мясник!

— Будь спокоси, если попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.

— Если я тебя раньше на стропе не вздерну.

— Ну зачем опять грубости? — умиротворяюще проговорил баритон. — Весна, скоро пасхальные дни.

— А где ты их праздновать будешь?

— Где же еще, как не в российских Рязанях?

— Вот и отволокут тебя в Чека. Будет тебе там пасха!

— НКВД, — строго поправил тенорок. — Не надо быть такими отсталыми.

— Вызубрил...

— А что ж, с двадцатого года дома не был.

— Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.

Вайс вышел из гаража с надутым баллоном в руках, сел невдалеке от этих людей и внимательно осмотрел баллон, будто искал на нем прокол. Потом прижал баллон к уху и стал сосредоточенно слушать, утекает воздух или нет.

Высокий, тощий, с хрящеватым носом, не оборачиваясь, спросил по-русски:

— Эй, солдат, закурить есть?

Вайс сосредоточенно вертел в руках баллон.

— Хочешь, я сам дам тебе сигарету? — снова спросил щепелявым баритоном долговязый.

Вайс не прерывал своего занятия.

— Да не бойся, ни черта он по-русски не понимает, — сказал коренастый. И спросил по-немецки: — Эй, солдат, сколько времени?

Вайс ответил:

— Нет часов. — И обвел твердым, запоминающим взглядом лица этих людей.

Улыбаясь Иоганну, плешивый блондин проблеял тенорком по-русски:

— А у самого на руке часы. Немецкая свинья, тоже воображает! — Любезно протянул сигарету и сказал уже по-немецки: — Пожалуйста, возьмите, сделайте мне удовольствие.

Вайс покачал головой и вытащил свой портсигар.

Блондин засунул себе за ухо отвергнутую Вайсом сигарету, вздохнул, пожаловался по-русски:

— Вот и проливай кровь за них. — Обернулся к Вайсу, сказал по-немецки: — Молодец, солдат! Знаешь службу. — Поднял руку. — Хайль Гитлер!

Вайс сходил в гараж, оставил там баллон и, вернувшись обратно, положил себе на колени дощечку, а поверх нее лист почтовой бумаги.

Склонившись над бумагой, Вайс глубокомысленно водил по ней карандашом. Изредка и внешне безразлично поглядывал он на этих людей в разномастных иностранных мундирах,

которые владели немецким языком, а возможно, и другими языками так же, как и русским. Они давно утратили свой естественный облик, свои индивидуальные черты. И хотя приметы у них были разные, на их лицах запечатлелось одинаковое выражение жестокости, равнодушия, скуки.

Чем дольше Йоганн вглядывался в эти лица, тем отчетливее он понимал, что невозможно удержать их в памяти.

В следующее воскресенье он снова занял позицию возле гаража и, шаркая напильником, положил заплату на автомобильную камеру. Покончив с ней, неторопливо разобрал, промыл и снова собрал карбюратор. Вытер руки ветошью и, как в прошлый раз, занялся письмом.

А эти люди, очевидно привыкнув к молчаливому, дисциплинированному немецкому солдату, свободно болтали между собой.

Вайс безразличным взглядом обводил их лица, потом переводил глаза на какой-либо сторонний предмет и снова писал, будто вспомнив нужные ему для письма слова.

Солдат, сочиняющий письмо домой, — настолько привычное зрелище, что никто из этих людей уже больше не обращал на него внимания, не замечал его. Тем более что убедились — по-русски он не смыслит ни бельмеса.

Главенствовал у них, по-видимому, тот, сухошавый, бритоголовый, с правильными чертами лица, с серыми холодными глазами и вытянутыми в ниточку бровями на сильно скошенном лбу. Когда он бросал короткие реплики, все смолкали, даже тот, с барски картавым баритоном, любитель афоризмов: «Для того чтобы убить, не обязательно знать анатомию», «Среди негодяев я мог бы быть новатором», «Дороже всего приходится платить за бескорыстную любовь».

Как-то он сказал томно:

— Кажется, я когда-то был женат на худенькой женщине с большими глазами.

Бритоголовый усмехнулся.

— И загнал ее в Бейруте ливанскому еврею.

— Ну, зачем оскорблять, — арабу, и даже, возможно, шейху.

Бритоголовый свел угрожающе брови, процедил сквозь зубы:

— Ты что мне тут лопочешь?

Обладатель баритона мгновенно сник:

— Ну ладно, Хрящ, ты прав, прав.

Сухоный, напоминавший подростка, жилистый старик с маленьким, сжатым морщинами, горбоносым лицом, спросил с кавказским акцентом:

— Шейх? Что такое шейх? Я сам шейх. Почему продал, не помнишь?

Человек с обвисшим лицом и чуждыми волосами, зализанными на лысину, только пожал плечами.

Бритоголовый сказал:

— Нам, господа, следовало бы и здесь навести порядок.

— У немцев?

— Я имею в виду русскую эмиграцию. Одних Гитлер воодушевил, вселил надежды, а другие — из этих, опролетарившихся, — начали беспокоиться о судьбе отчизны.

— Резать надо, — посоветовал старик.

— Не лишено, — согласился бритоголовый. — Я кое-кого назвал шефу, предложил наци услуги — устранить собственоручно. Это имело бы показательное значение, мы бы публично продемонстрировали нашу готовность казнить отступников. Но увы, шеф отказал. Пообещал, что этим займется гестапо. А жаль, — грустно заключил бритоголовый.

Человек с обвисшим лицом протянул мечтательно:

— А в России сейчас тоже весна-а!

— Будешь прыгать, не забудь надеть галоши, чтоб ноги не промочить.

— Я полагаю, уже подсохнет...

— Польшу они в три недели на обе лопатки

— Ну, Россия — не Польша.

— Это какая тебе Россия? Большевистская?

— Ну, все-таки...

— И этот тоже! Заскулил, как пес.

— В каждом из нас есть что-то от животного...

— Ты помни номер на своем ошейнике, а все остальное забудь...

Сухие, пахнущие пылью лучи солнца падали на эту закованную в булыжник землю, на зарешеченные окна зданий, на это отребье, на предателей, донашивающих трофейные мундиры поверженных европейских армий. От высокого забора с нависшим дощатым карнизом, оплетенным колючей проволокой, падали широкие темные тени, и казалось, будто двор опоясывают черные рвы. Бухали по настилам сторожевых вышек тяжелые сапоги часовых. Ссутулясь, сидел Иоганн, держа на коленях дощечку с листком бумаги, и что-то старательно выводил на ней карандашом. Он тоже был тут узником, узником, подчиненным размеренной и строго, как в тюрьме, регламентированной жизни.

И все-таки он был здесь единственным свободным и даже счастливым человеком и с каждым днем в этом страшном мире все больше убеждался, что он тут единственный обладатель счастья. Счастья быть человеком, использующим каждую минуту своей жизни для дела, для блага своего народа.

Вот и сейчас, сидя на солнце, Иоганн терпеливо и старательно работал. Да, работал. Рисовал на тонких листках бумаги хорошо очиненным карандашом портреты этих людей.

Каждого он хотел изобразить дважды — в фас и в профиль. Он рисовал с тщательностью миниатюриста.

Никогда раньше Саша Белов не испытывал такого трепетного волнения, такой жажды утвердить свое дарование художника, как в эти часы.

И если в искусстве ему был глубоко чужд бесстрастный, ремесленный объективизм, то сейчас только этот метод изображения мог заменить ему отсутствие фотообъектива. Он должен был воспроизвести на бумаге эти лица с такой точностью, словно это не рисунки, а сделанные с фотографий копии.

Рисуя, он должен был сохранять на лице сонное, задумчивое выражение человека, с трудом подбирающего слова для письма. А между тем от успеха его теперешней работы, возможно, будут зависеть судьбы и жизни многих советских людей.

В столовую приходила чета глухонемых. Он — плотный, плечистый, черноволосый, с крупными чертами неподвижного лица. Глаза настороженно-внимательные, с нелюдимо-враждебным, немигающим взглядом. Она — пушистая блондинка, тонкая, высокая, нервная, чуткая к малейшему проявлению к ней внимания или, напротив, невнимания. На лице ее непроизвольно мгновенно отражалось то, что ее сейчас взволновало. Это была какая-то необычайно выразительная мимика обнаженной чувствительности, отражавшей малейший оттенок переживания.

Эта пара не принадлежала к числу обслуживающего персонала. Они занимали здесь особое положение, если судить по тому, что глухонемой вел себя так, словно не замечал никого из сидящих за столом, а те не решались в его присутствии, пользуясь глухотой этих двух людей, говорить о них что-нибудь обидное.

Однажды в столовой обедал приезжий унтер-офицер — огромный упитанный баварец. Бросив исподтишка взгляд на глухонемую, он сказал соседу:

— Занятная бабенка, я бы не прочь с ней поизъясниться на ошупь.

Глухонемой встал, медленно подошел к унтер-офицеру, коротко ударил в шею ребром ладони. Поднял, держа под мышками. Снова посадил на стул и вернулся к жене. Никто из присутствующих даже не сделал протестующего движения. Продолжали обедать, будто ничего не случилось.

Иоганн знал этот способ нанесения удара, вызывающий краткий паралич от болевого шока.

Унтер-офицер с белым, мокрым от пота лицом раскрытым ртом ловил воздух. Ему было плохо, он сползал со стула.

Иоганн вывел его во двор, потом привел к себе в комнату,

уложил на койку. Почувствовав себя лучше, унтер-офицер встал и объявил зловеще, что глухонемому это будет стоить веселенького знакомства с гестапо. И ушел в штаб расположения. Но скоро вернулся обратно сконфуженный, удрученный.

Постепенно приходя в ярость, он рассказал Байсу, почему рапорт начальству по поводу нанесенного ему оскорбления был решительно отклонен. Иоганн и сам начал догадываться, что представляет собой эта странная супружеская чета.

Канарис считал себя новатором, привлекая глухонемых к агентурной работе. Он использовал их для того, чтобы в различных условиях иметь возможность узнать, о чем говорят интересующие его лица.

Находясь в отдалении от объектов слежки, эти глухонемые агенты путем наблюдения за артикуляцией губ беседующих могли точно установить, о чем они говорят. Если расстояние было значительным, применяли бинокль или специальные очки с особыми стеклами, рассчитанными на людей с хорошим зрением.

Но эта пара агентов оказалась штрафниками.

Они скрыли от своего шефа, что ждут ребенка. И, находясь за пределами Германии, рассчитывали, что женщине удастся благополучно разрешиться от беременности.

Но им пришлось вернуться до родов.

Женщину на последнем месяце беременности схватили на улице и, несмотря на то, что она была агентом абвера, привезли в госпиталь, где было произведено кесарево сечение.

Женщине сказали: ребенок мертв. А за ее жизнь боролись лучшие врачи. Абвер не простил бы им потери нужного человека.

И теперь супругов выслали сюда, как злорадно сказал унтер-офицер, «для карантина». Вначале глухонемые «психовали» и даже пытались отравиться газом. Но абвер приставил к ним наблюдателей. И все их дальнейшие попытки прибегнуть к другим способам самоубийства кончались ничем, и они их прекратили, когда окончательно убедились, что от службы абвера нельзя тайно уйти даже из жизни.

Иоганн купил у дрессировщика собак выбракованного щенка и подарил его глухонемой. Вначале она колебалась, брать ли его, моляще, растерянно оглядывалась на мужа. Он кивнул. Женщина жадно схватила щенка, прижала к себе. Муж вынул бумажник, вопросительно и строго глядя на Байса.

— Мне было бы приятно, если бы вы приняли мой подарок.

Глухонемой помедлил, спрятал бумажник, протянул сигареты. Закурили.

Байс сказал:

— Я работаю у майора Штейнглица. Также абвер.

Глухонемой кивнул.

Вайс объяснил:

— Я вынужден был оказать помощь унтер-офицеру — вам могли угрожать неприятности.

Глухонемой презрительно оттопырил губы.

Женщина, держа в одной руке щенка, другую протянула Вайсу и пожала его руку. Лицо ее было нежное и невыразимо печальное.

Она сделала округлый жест над животом, покачала головой. В глазах показались слезы.

Муж сжал губы, лицо его стало жестким. Он постучал кулаком по голове, закрыл глаза, потом развел сокрушенно руками.

Вайс сказал:

— Я понимаю ваше горе. Но жить надо.

Женщина показала пальцем на себя, на мужа, потом на щенка, покачала головой.

— Да, вы правы, — сказал Вайс, — человек не животное. — Вайс помолчал, потом продекламировал: — «Человек — это лишь покрытый тонким слоем лака, прирученный дикий зверь».

Женщина брезгливо от него отшатнулась. Вайс объяснил:

— Так утверждает Эрих Ротакер, наш великий историк.

Глухонемой коснулся своего лба пальцем, потом отрицательно помахал им.

— Я тоже так не думаю, — сказал Вайс. — Но есть много людей, которые не только так думают, но и поступают так.

Глухонемой кивнул головой, соглашаясь.

Каждый вечер супруги выводили щенка на прогулку на пустынном плацу. Завидев Вайса, щенок дружелюбно подбегал к нему, и Вайс как бы невольно становился спутником этой странной пары во время таких прогулок.

Последнее время супруги стали брать с собой маленькие грифельные дощечки, на которых они быстро писали, стирая написанное влажной губкой. Это облегчало общение.

Брошенные своим несчастьем в безмолвие, эти два человека нашли друг друга, еще когда были детьми. Он, шахтер и сын шахтера, она, дочь пастора, бежала из дома, когда родители стали противиться ее дружбе с глухонемым юношей, рабочим.

В одном из подразделений абвера он стал испытателем парашютов. Хорошо зарабатывал. Совершал тренировочные прыжки в самых сложных условиях, в каких могут оказаться при заброске агенты. От нее скрывал не службу в абвере, а то, какой опасности он подвергает себя ежедневно. При неудачном прыжке получил тяжелое увечье. Понял, что если погибнет, она убьет себя. Потом посчастливилось. Им обоим дали в абвере другую, хорошую работу. Вайс знал, что это

за «хорошая» работа. Бывали во многих странах. Всегда мечтали о ребенке. Боялись только одного: чтобы не родился тоже глухонемой.

Вайс спросил:

«А если бы вы не согласились вернуться домой до рождения ребенка?»

Глухонемой быстро написал на грифельной доске: «Невыполнение» — и провел у себя по горлу ребром ладони, закрывая глаза.

Когда Вайс написал, что он из Прибалтики, женщина значительно переглянулась с мужем и быстро набросала на доске:

«Догадывались, вы не из рейха».

«Почему?»

«Некоторые слова вы произносите иначе».

«И много таких слов?»

«Нет, совсем немного. И, возможно, вы произносите их правильно, но артикуляция губ иная, не всегда нам понятная».

Однажды в воскресный день глухонемая пожаловалась Вайсу на то, что муж ее не хочет молиться.

Глухонемой пожал плечами, коснулся ушей, губ и погрозил небу кулаком.

Женщина в свою очередь простерла к небу руку с открытой ладонью, потом показала на мужа, коснулась своей груди и, нежно улыбаясь, склонила голову.

Вайс понял ее.

Проходя мимо греющихся на солнечном припеке уже известных Вайсу диверсантов, глухонемые брезгливо отвернулись.

Когда зашли за здание флигеля, Вайс изобразил, подняв руки и приседая, приземляющего парашютиста. Глухонемой кивнул, сделал движение, будто вынимает пистолет, и направил руку с вытянутым пальцем, будто стволом пистолета, на жену, на себя.

Вайс показал на свой погон.

Глухонемой, протестуя, закачал головой и снова показал на жену, на себя.

Вайс понял. Глухонемой объясняет, что диверсанты призваны убивать не военных, а штатских людей.

Между булыжниками на плацу росла жалкая сорная трава, но глухонемая умудрялась находить среди этой чахлой травы растения с крохотными жесткими цветочками величиной чуть больше булавочной головки, составляла из них миниатюрный букетик, вдыхала неслышимый запах, блаженно закрывая глаза. Лицо у мужа при этом становилось печально-виноватым.

Вайс написал на грифельной доске: «Но вы сможете по-

том купить себе ферму?» Глухонемой изобразил на лице насмешливую улыбку. Написал: «Дрессировщик собак зарабатывает больше нас». Снова вытянул палец, изображая ствол пистолета, сощурился, прицеливаясь, дописал: «Вот за это хорошо платят».

Женщина, прочитав, подняла глаза к небу, потом перевела взгляд на мужа и покачала головой. И, строго смотря в глаза Вайсу, погрозила ему пальцем.

Выходит, супруги решили, что он, как абверовец, человек одной с ними профессии, но они не одобряли тех, кто убивает.

Через неделю Вайс увидел, как глухонемой в сопровождении офицера сажился в машину. Лицо его было темным, угрюмым, глаза болезненно блестели.

А спустя еще несколько дней увезли также глухонемую. Вайс с трудом узнал ее, когда она шла к машине с маленьким чемоданчиком в руке. Она едва волочила ноги, голова ее никла, плечи опущены, на лоб свисала прядь, нижняя губа закусана, а лицо было, как у мертвой, серо-землистое, глаза остановившиеся. И когда в поле ее зрения попал Вайс, она, как показалось Иоганну, не поняла, кто это, — взгляд ее был тускл, невидящ.

Значит, супругов разлучили.

Теперь им, верно, предстоит работать каждому в отдельности. В качестве живых запоминающих аппаратов для визуального подслушивания.

Воздух был сырой, тусклый, влажный, из гаража остро пахло бензином, добываемым путем переработки каменного угля. Хороший румынский бензин шел только на нужды авиации.

15

Вайс неутомимо искал возможности вырваться из заточения. Раз в неделю он посылал фрау Дитмар почтительно-нежные письма. Ответа не было. Очевидно, номер полевой почты, который ему здесь дали, принадлежит какой-нибудь части, находящейся далеко отсюда. Наконец ему удалось узнать, что курьер ездит за почтой только раз в месяц. И вот наступил день, когда Иоганн получил сразу целую кучу писем от фрау Дитмар. В последнем она мельком упомянула, что к ней заходил обер-ефрейтор Бруно, справлялся о Вайсе.

Неужели Бруно?!.. У Иоганна от волнения даже перехватило дыхание, но, отвечая фрау Дитмар, он только как бы между прочим попросил сообщить обер-ефрейтору, если, конечно, тот зайдет еще раз, номер своей полевой почты.

Уединиться здесь было почти невозможно, пришлось воспользоваться единственным подходящим для этого местом. И там, накинув крючок на дощатую дверь с отверстием в виде сердечка, Иоганн поболтал в заранее припасенной банке кон-

чик все того же носового платка, пропитанного химическим веществом, и написал раствором симпатических чернил между строк записки свои предполагаемые координаты, начертил схему дорог, ведущих к расположению, и указал возможное место для тайника.

На следующий день он сдал письмо в незаклеенном конверте в окошечко охранной комендатуры.

Обязанности дворника исполнял здесь пожилой угрюмый солдат, назначенный на эту должность благодаря хлопотам дочери, неотлучно находившейся в штабном флигеле.

Солдат был глуховат и потому угрюм. Хотя ему и льстило, что его дочь — старшая в женском вспомогательном подразделении, но то, что она слишком дисциплинированно выполняет любое желание офицеров, — это ему не нравилось. И когда однажды он обозвал ее шлюхой, дочь отправила его на пять суток на гауптвахту, хотя могла бы отдать под военно-полевой суд: ведь папаша был всего лишь рядовым, а она ефрейтором.

Как-то раз эта сложенная подобно атлету девица-ефрейтор, после того как Вайс вторично отремонтировал на кухне электромясорубку, поручила ему сменить спирали на специальной жаровне. На жаровне сжигались бумаги из тех, что подлежали после ознакомления уничтожению.

Вайс чинил жаровню вечером в канцелярии под надзором ефрейторши.

Она спросила:

— Хочешь выпить?

— Нет.

— Женат?

— Помолвлен. — Эту версию Иоганн выдвинул из чисто оборонительных соображений. Ефрейторша сидела на стуле, положив ногу на ногу так, что видно было, где кончались у нее чулки.

Закинув обе руки себе на шею, выставив полную грудь, она спросила насмешливо:

— И ты ей так же верен, как и рейху?

— Так же.

Ефрейторша иронически пожала плечами.

— Если она не во вспомогательных частях, то все равно, как и все женщины, призвана и отбывает сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина работает двенадцать часов, а потом идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью под одеяло своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно пустит кого-нибудь под свое одеяло, как и все другие.

— Она не такая.

— Я тоже была не такая.

— Вы из деревни?

— Да.

— У вас своя ферма?

— Нет. Мы работали с отцом у господина рейхсфюрера Гиммлера, у него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель чистопородных индеек. К рождеству мы их забивали и целыми грузовиками отправляли не только в Мюнхен, но и в другие города.

— У него большие доходы от этой птицефермы?

— Ха! Он теперь один из богатейших людей в империи, ферма — это так, для удовольствия.

— Вы его знали, видели?

— Да, и довольно часто.

— И какой он?

— Знаете, такой заботливый. Заболел индюк из Голландии, так он приказал оттуда прислать ему специального ветеринара-орнитолога. И тот вылечил.

— Вам хорошо платили на ферме?

Ефрейторша сказала задумчиво:

— Отец под рождество унес с фермы несколько горстей орехов, которыми откармливают индюшек. Он хотел их вернуть в серебряную бумагу и повесить на елку.

— И что же?

— Мы встречали рождество без отца. Его избил управляющий и запер в сарае на все дни рождества.— Произнесла с надеждой: — Надеюсь, в генерал-губернаторстве мне дадут землю, и тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.

— Вы на это рассчитываете?

— А как же! Я член национал-социалистской партии, вступила еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. Каждый из нас получит свой кусок.— Зевнула, осведомилась лениво: — Так как, угостить шнапсом? — Вайо ничего не ответил.— Если вы стесняетесь, можно пойти ко мне.— Заметила одобрительно: — Вы хороший мастер.— И тут же добавила: — Но сейчас это не имеет значения. Германия располагает таким количеством рабочих рук со всех своих новых территорий, что надо уметь только ими командовать — и все.

— Да,— сказал Иоганн,— мы, немцы,— нация господ. Ваш отец почему-то забыл об этом, когда брал орехи, предназначенные на корм для индюшек.

Ефрейторша возразила простодушно:

— Но скоро он сможет сам так же наказывать батрака, когда у нас будет своя птицеферма.

— А если начнется война с Россией?

Ефрейторша задумалась, потом сказала:

— Все-таки я хотела бы получить свой кусок земли не там, а здесь, в генерал-губернаторстве.

— Почему?

— В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. — Вытянув ноги в блестящих чулках и глядя на них озабоченно, спросила: — Вы не находите, что они у меня красивые и полные, как у настоящей дамы? Так мне многие говорят. — Сказала задумчиво: — А когда я работала на ферме, были, как палки, сухие, ровные снизу доверху.

— Да, — согласился Иоганн, — здесь неплохо кормят.

Расстался он с ефрейторшей почти дружески. На прощание она сказала ему сочувственно:

— Я знала тут еще таких парней, как вы. Они не могут. Говорят, это от сильных нервных переживаний после особых заданий.

— Нет, — усмехнулся Иоганн, — что касается меня, то я не нервный, не замечал за собой ничего такого.

— Это потому, — сказала ефрейторша, — что вам не приходилось быть агентом.

— Да, — согласился Иоганн, — не приходилось. Не всем же быть исключительными храбрецами. Только вот жаль, что они кое-что теряют после этого и не могут потом обзавестись потомством.

Тема разговора, видимо, сильно занимала ефрейторшу. Она заметно оживилась.

— Мне один эсэсовский офицер доверительно рассказывал, что Герда Борман, супруга рейхслейтера Мартина Бормана, собирается обратиться ко всем женщинам Германии с призывом разрешить своим мужьям многоженство и даже сама написала проект закона. И вручила мужу личную доверенность, разрешающую ему иметь трех жен с обязательством посещать каждую семью раз в неделю.

— Ну, это так, выдумка, — усомнился Вайс.

— Честное слово, это правда, — поклялась ефрейторша и добавила серьезно: — И это было б очень патриотично со стороны немецких женщин. Мы же должны помочь фюреру заселить новые территории немцами. И нас должно быть на земле больше, чем всех других народов. Это же ясно.

— Ну ладно, пусть так, — согласился Вайс, укладывая инструмент в брезентовую сумку. Щелкнул выключателем. Спирали в жаровне, накаляясь, источали сухой жар, пахнувший горячим металлом.

Иногда по вечерам Иоганн помогал аккумуляторщику Паулю Рейсу перебирать, мыть, очищать свинцовые пластины от осадков окиси, и тогда они беседовали.

Пауль родом из Баварии, отец его — владелец небольшой бондарной мастерской, где изготовлялись не только бочки, но и резные деревянные раскрашенные кубки для пива.

Пауль толст, весел, добродушен. Он показал Байсу значки, которые получил, выигрывая не однажды первенство на пивных турнирах. Объяснил:

— Хотя это вредно отражалось потом на здоровье, зато лучшей рекламы для бондарной мастерской не придумаешь.

В 1938 году в дни 9—10 ноября по всей Третей империи прокатилась кроваво-черная волна еврейских погромов. Пауль в те дни приютил в мастерской семью врача Зальцмана, который некогда спас ему жизнь, сделав смелую и, главное, бесплатную операцию, когда Пауль умирал от заворота кишок. Кто-то донес на Пауля.

Он был членом национал-социалистической партии. Пресли суду чести. Исключили, сослали в трудовые лагеря.

Пауль говорил, обиженно оттопыривая пухлые губы:

— На суде чести я утверждал, что мной руководили только деловые побуждения. Я считал: мой долг Зальцману не меньше пятисот марок. Это большая сумма. Отказать Зальцману в убежище означало бы, что я решил таким образом отделаться от кредитора. Это могло подорвать доверие к отцовской фирме.

— В самом деле?

— Безусловно. Многие отделялись от своих кредиторов тем, что доносили о них что-нибудь в гестапо.

— Доносили только на евреев?

— Если бы! На всех, кому не хотелось возвращать долги. — Сказал с гордостью: — В нашем роду Рейсов все были бондари, а трое из наших предков — цеховые знаменосцы. И никто из Рейсов никогда не совершал коммерчески бесчестных поступков.

— Значит, если бы вы не были должны врачу деньги, то и не подумали бы его прятать?

Пауль сказал уклончиво:

— Нас двое братьев — я и Густав. Густав старший. Он учитель. Когда отец понял, в какую сторону дует ветер, он приказал одному из нас стать наци. Я младший, холостой. Пришлось подчиниться.

— Это что ж, вроде как в старые времена отдавали в рекруты?

— Не совсем так, — возразил Пауль. — Среди нашей молодежи я пользовался спортивной славой.

— Ты спортсмен?

Пауль напомнил:

— Я же тебе показывал значки. Наше спортивное объединение содержалось на средства богатейших пивоваров. Они с самого начала оказали поддержку фюреру, когда он еще не был фюрером. А ты что думал, только Крупны открывали ему кредит?

— Ну а при чем здесь ты?

— Как при чем? Я же известный спортсмен. Имею кое-какое влияние. И если я наци, значит, выигрывают наци.

— На пивных турнирах?

— Они у нас приобрели после этого характер политических митингов.

— Ах, так?

— А ты что думал? Фюреру нужны преданные люди. Но не в рабочих же пивных их надо было искать, я так полагаю.

— Ты хочешь сказать, что рабочие не поддерживают фюрера?

— Я так не говорил,— забеспокоился Пауль.— Ты сам понимаешь, Германия — это фюрер.— Помедлив, сказал, хитро сощурился: — У нас в мастерской до прихода фюрера к власти работали по девять часов, а потом стали работать по двенадцать за те же деньги.— Закончил назидательно: — Народ обязан нести жертвы во имя исторических целей рейха.

— А твой отец?

Пауль сказал грустно:

— Тоже. Имперское правительство оказывает поддержку только крупным промышленным объединениям. За эти годы многие мелкие владельцы разорились. Маленькие пошли вниз, крупные — вверх.— Произнес с завистливой гордостью: — Вот господин Геринг начал с монопольной фабрикации «почетных кортиков» для СА и СС, а теперь у него концерн: больше сотни заводов, десятки горнопромышленных и металлургических предприятий, а торговых компаний, транспортных и строительных фирм тоже хватает.

— Ты это о маршале Германе Геринге?

— Он больше, чем маршал. Он магнат. И Мартин Борман — тоже, а с чего начал свою политическую карьеру? Вступил в тысяча девятьсот двадцатом году в «Союз против подъема еврейства», и тут заметили его способности.

— А ты, значит, промахнулся?

Пауль пожал рыхлыми плечами, согласился:

— Да, не получилось из меня бритого зверя.

— Это что значит?

— Ну, так мы называли себя в партии.

— А твой брат, он что ж, ради фирмы так и не вступил в наци?

— Он погиб во время нашего прорыва в Арденнах.

— Значит, тебе все-таки повезло,— заключил Вайс.

— Да,— согласился Пауль,— повезло, но это везение мне не даром далось. Я дал обязательство жениться.

— На ком?

— На нашей ефрейторше из вспомогательного женского

подразделения. Это она взяла меня сюда из маршевой роты. И ей многим обязан.

— О, я с ней познакомился.

— А я не из ревнивцев,—поспешил заверить Пауль.—Она женщина с головой и характером — это главное для семейной жизни.

Беседы с Паулем убедили Иоганна в том, что общительность, умение при всех обстоятельствах сохранять хорошее расположение духа, приветливые манеры — все это способно подчас быстрее расположить другого к беспечной откровенности, чем хитроумная изворотливость. Она может вызвать у собеседника желание состязаться в уме и желание скрыть истинные свои мысли, чтобы выведать тайные помыслы собеседника.

Умение заводить знакомства с самыми различными людьми обогащало Иоганна познаниями той сферы, в которой ему приходилось действовать. Изучение топографии душ давало ему возможность увереннее передвигаться от человека к человеку. Он не притворялся, не прибегал к этаким своеобразной мимикрии, к некоему защитному цвету, чтобы слиться с особенностями личности собеседника; оставаясь до известной степени самим собой, он искренне интересовался жизнью каждого нового знакомого, и эта искренность подкупала больше и была прочнее, проникновеннее, результативнее, чем лживое притворство и уверения в единомыслии. Прибегать к этому последнему способу стоило только в двух случаях: как к средству вынужденной самообороны или нанося удар собеседнику с целью обвинения в недостаточной преданности рейху.

Иоганн убедился в том, что полезнее для получения более обширных сведений ставить себя в положение человека, которого надо в чем-то еще убеждать. Наивное сопротивление разжигает собеседника больше, чем поощрительное поддакивание ему. Кроме того, нельзя утрачивать чисто человеческого интереса к собеседнику. Каждый, кто бы он ни был, инстинктивно стремится нравиться другим. И если другой имеет в его глазах какие-то достоинства, тем больше он старается расположить его к себе.

Значит, при всех обстоятельствах надо уметь показывать товар лицом. Будь то профессиональные знания или осведомленность, касающаяся различных областей познания, нравственная сила убеждения или приверженность к твердым устоям, доброжелательность, если она нелицемерна, умение гибко пользоваться ограниченным правом оставаться самим собой, сохранять порядочность в условиях, когда для этого почти нет никаких условий. Все это как бы составляло духовное вооружение в лагере противника. И чем лучше Ио-

ганн владел таким оружием, тем надежнее защищенным он себя чувствовал.

Избегать общения с низкими, подлыми людьми—это здесь для него было недозволенной роскошью, и чем явственнее проступали в людях эти черты, тем энергичнее он был обязан стараться сблизиться с носителями их, чтобы изучить не только множество вариантов различного рода подлости, но и проследить источники, ее питающие.

В поле зрения попадались не только политические концентраты нацизма, но и растворы его в крови тех, кто даже не называл себя наци. С такими полуотравленными людьми надо было вести себя особенно вдумчиво и осторожно, ибо они могли оказаться одновременно полезными и опасными.

Вайс понимал, что каждый человек смотрится как бы в зеркало собственных представлений о самом себе.

Но для его деятельности было насущно необходимо постоянно ощущать, как воспринимается его личность другими, и соответственно этому представлению вырабатывать в себе те черты, которые совпадали бы с образом, который уже существовал в сознании других. Вместе с тем, чтобы подыматься вверх по ступеням, занимать все более выгодное положение, продвигаться вперед, ему нужно дать почувствовать окружающим и свое превосходство, но в такой мере, чтобы оно не пробуждало ревнивой зависти, а выглядело так, будто бы он не умеет проявить свои способности без снисходительной поддержки. Всегда найдутся желающие поддержать человека с головой, осчастливить его такой поддержкой. А если не найдутся сами, то можно их найти.

Йоганн чувствовал, что и Пауль и ефрейторша из вспомогательного женского подразделения, хотя он и не прикидывался их единомышленником, а сохранил в общении с ними самостоятельные позиции, прониклись к нему уважением. А между тем оба они по своему складу не привыкли испытывать уважение к тем, кто не стоял над ними.

И в этом как бы тренировочном своем успехе Вайс видел кое-что обнадеживающее. Период его затянувшегося, длительного фундаментального вживания протекает благополучно, и это ощущение благополучия еще больше разжигало его тоску по активным действиям, тогда как он все еще продолжал совершать подвиг бездействия.

Однажды пожилой солдат, отец невесты Пауля Рейса, не обратил внимания на разворачивающийся во дворе грузовик и попал под колеса. Солдата положили в санитарную часть, находившуюся здесь же, в хозяйственном городке.

Ефрейторша попросила Вайса временно, в порядке личной любезности, поработать за отца, чтобы сохранить его должность, пока он находится в госпитале. Она сказала:

— Пауль ленив и нечистоплотен. Ему нельзя доверять.

Сначала Вайс только подметал двор, посыпал песком дорожки, белил известью тумбочки на обочинах. В комбинезоне, надетом поверх мундира, и коротком клеенчатом фартуке, взятых из шкафчика со спецодеждой, оставшейся от старика, с метлой и совком в руках, Вайс постепенно стал убирать с унылой, обиженной миной не только двор, но и внутренние помещения комендатур, охраняющих проходы между отдельными секторами расположения.

И скоро охрана привыкла к Вайсу. А когда фрейлейн ефрейтор, с бедрами наподобие галифе и мелкозавитыми волосами, вручила Вайсу пропуск для того, чтобы он мог привозить песок из карьера, находящегося далеко за расположением, Вайс получил возможность перемещаться не только между секторами.

Это дало Вайсу много полезного. Он получил свободу маневра, возможность быть в различных помещениях.

Заходя во флигель, где жили люди в разномастных мундирах, он нашел подтверждение своей догадке, что этих людей готовят для заброски в Советский Союз. Он установил это по обрывкам черновиков, записей лекций, касающихся топографии. По тем памятным выпискам, которыми, прежде чем заучить наизусть, они пользовались, ему даже удалось определить районы их предполагаемых действий.

Иоганн чувствовал себя человеком, в руки которого неожиданно попал клад.

Отправившись за песком на грузовой машине, Вайс выбрал подходящее место для тайника и на обратном пути у телефонного столба с номерным знаком 74/0012 закопал в консервной банке завернутую в кусок противоипритной непромокаемой накидки, полагающейся к каждому противогазу, первую свою за время пребывания здесь шифровку и несколько портретов диверсантов.

Столб с этим номером был указан потом тайнописью в записке, предназначавшейся Бруно и вложенной в письмо к фрау Дитмар.

Так он наладил связь. Это было счастье. Теперь конец одиночеству, томительному, безысходному безделью. Ведь что бы ни делал Вайс, без надежной связи со своими все его усилия оставались втуне. Но предаваться ощущению счастья Иоганн не мог, не говоря уже о том, что это расслабляющее волю ощущение было теперь ему противопоказано.

И все-таки он допустил оплошность.

Нарисованные им портреты остальных террористов-диверсантов Вайс хранил внутри отдушины кирпичного фундамента гаража, предварительно обернув куском все той же противоипритной накидки. Вечером он просмотрел их в последний раз, собираясь на следующий день положить в тайник у телеграфного столба, и обнаружил, что изображение

человека, которого диверсанты называли Хрящом, сильно потерпел на сгибах. Иоганн решил восстановить испорченный кое-где рисунок. Зажег свет в плафоне на потолке машины, сел в нее и принялся за дело. Дверцу машины он оставил открытой, чтобы услышать, если кто-нибудь войдет в гараж. И...попался.

Человек с начальственными манерами вошел в гараж в сопровождении своего шофера и охранника и сразу же увидел солдата в освещенной машине. Он и вырвал у солдата бумагу, на которой тот что-то писал.

Вайс выскочил из машины, вытянулся, замирая.

Человек в штатском удивленно разглядывал рисунок.

— Кто?

Иоганн доложил:

— Иоганн Вайс, шофер господина майора Акселя Штейн-глица.

— Это кто?

Иоганн посмотрел на рисунок.

— Не могу знать.

Человек угрюмо, подозрительно уставился в глаза Вайсу.

— Кто? — повторил он.

И вдруг Иоганн ухмыльнулся и, принимая свободную, не-солдатскую позу, сказал презрительно:

— Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня.— Попро-сил с надеждой в голосе:— Я был бы очень счастлив пока-зать вам мои рисунки.

Человек в штатском еще раз внимательно посмотрел на рисунок, поколебался, но все-таки вернул его Вайсу, молча сел в свою машину и уехал.

Вайсу была знакома и машина и ее шофер. Она обслужи-вала только одного человека—этого в штатском. Каждый раз после выезда на ней меняли номер, за короткое время дважды перекрашивали. Он понимал, что у этого человека профессиональная память и будет не так просто выкрутиться под его внимательным, как бы обыскивающим душу взгля-дом.

И когда Вайс остался один, он знал, что и машина и ее хозяин вернутся.

Можно бежать от опасности, а можно отважно броситься ей навстречу. Вайс предпочел последнее.

Достал плотной оберточной бумаги, поставил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фюре-ров, фельдмаршалов, генералов, прусских полководцев и яро-стно принялся за работу теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого.

Жестокое спасение за судьбу своего дела и собственную судьбу, жажда искупить непростительную оплошность — вот какие музы вдохновляли Иоганна на творческий подвиг.

Он был достаточно осведомлен о направлении, свойственном искусству гитлеровской Германии.

Прежде всего парадная помпезность. Портретист мог соперничать в мастерстве лишь с гримером из морга, почтиительно расписывающим лица покойников под живые, придавая им выражение величия—непременной принадлежности каждого чиновного трупа.

Блеск рыночных олеографий меркнул перед кричащими громоздкими полотнами, заключенными в массивные бронзовые рамы. И все силы художников уходило на фотографически точное воспроизведение мундиров: талант портного был для этого необходим так же, как талант живописца.

Но было и другое направление в портретной живописи. Сторонники первого — чиновничьего, льстивого, бюрократически педантичного — запечатлевали на портретах все внешние атрибуты величия, считая высшим достижением умение воспроизводить оболочку. Приверженцы второго стремились выразить идею личности. Им казалось, что чем иступленнее, истеричнее мазня, чем больше в ней каких-то таинственных, им одним понятных мистических намеков, тем лучше она передает эмоции на лицах тех, кого они пытались изобразить, ибо они создавали не портреты, а идеи портретов, мифы. И если представители первого направления нуждались в ремесленном, но все-таки умении, то тем, кто следовал второму, всякое умение было противопоказано, и чем наглее попирались приемы, даже у маляров почитавшиеся за основу основ, тем большей значительности достигал символический эффект полотна.

Отсутствие времени, крайняя взволнованность и столь же крайнее отвращение к объекту — натуре — изображения толкнули Вайса на этот второй путь.

В манере условной, наглой он перерисовал с солдатского календаря портреты имперских высших деятелей и, чтобы не тратить времени на мундиры и регалии, задрапировал торсы в римские тоги, памятуя о стремлении рейхсканцлера и его приближенных подражать повадкам древних императоров.

Закончив первый комплект рисунков, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке. Второй комплект он выполнил уже в иной манере, несколько напоминающей ту, в какой были запечатлены все внешние черты субъекта по кличке «Хрящ» — черты, которые сами по себе уже являлись уликами.

Набросал головы дрессировщика собак, повара, майора Штейнглица, девицы-ефрейтора и все это также положил под матрац, предварительно припорошив каждый лист пылью.

До самого вечера Вайс не появлялся в общежитии. А когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он с ра-

достью убедился, что его предусмотрительность на этом этапе вполне оправдана. На листах не было и следов пыли. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, его предположение о том, что господин в штатском не оставит без внимания встречу с «художником», подтвердилось. А поскольку тем, кто занимается разведывательной деятельностью, художественное дарование весьма полезно и даже необходимо для зарисовки оборонительных объектов и топографических съемок, то у господина в штатском, который, несомненно, был профессионалом, ночная работа Вайса вызвала естественное подозрение, следствием чего был обыск.

Но портреты высших имперских лиц, выполненные в свободной манере, далекой от тех требований, которые предъявляются к мастерам разведки, могли защитить Вайса от подозрений в том, что он способен точно выполнять разведывательные задания топографической съемки.

Зарисовки же, сделанные в иной манере, плохо передавали портретное сходство и потому свидетельствовали, что занятия, которым солдат отдавал часы досуга, вполне безопасны для вермахта.

Все это Вайс успел прикинуть и оценить. Но как бы ни были логичны его рассуждения, он не мог заснуть ночью. И хотя успел спрятать на следующий день нарисованные им портреты террористов-диверсантов в тайнике у дороги, тревога не покидала его.

На второй день Вайса вызвали в штабной флигель, и там среди людей в штатском он впервые за много дней увидел своего хозяина — майора Штейнглица. Вайсу приказали сходить за рисунками.

Он принес листы и аккуратно разложил на столе. Лица, которые были изображены на этих листах, требовали почтительности. И поэтому присутствующие почтительно рассматривали рисунки Иоганна, не делали никаких замечаний. Зато портреты дрессировщика, повара, девицы-ефрейтора были осмеяны.

Иоганн сам считал портреты халтурными, но все-таки кое-что в них было. И, на мгновение забывшись, он искренне огорчился пренебрежительным отношением к своему мастерству. Его искренность послужила прекрасным свидетельством бескорыстности увлечения солдата рисованием и укрепила пошатнувшееся было доверие к нему. Когда же майор Штейнглиц вспомнил, как ловко Вайс сумел найти картину Лиотара на складе «Пакет-аукциона», подозрения были окончательно рассеяны. И все присутствующие единодушно решили, что Вайс должен написать портрет генерала фон Браухича.

Стали советоваться. И Вайс узнал, что генерал фон Браухич назначен командующим крупной группировкой и, воз-

можно, в самые ближайшие дни посетит данное расположение, в услугах которого сейчас нуждается. Правда, непосредственно это расположение подчинено Берлину, но с Браухичем тоже приходится считаться, так как вскоре предстоит передвижение на восток вместе с его группировкой.

Вайс спросил, на каком фоне лучше изобразить Браухича, и предложил силуэт Варшавы. Кто-то из штатских рассмехался:

— Лучше бы московский Кремль.

Но его одернули: если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, то это может вызвать ревнивое недовольство.

Вайс все понял и предложил изобразить Браухича на фоне знамен и оружия. С ним согласились. Тогда он напомнил, что понадобятся различные материалы—холст, краски, кисти, и ему разрешили съездить за всем необходимым в Варшаву.

Все складывалось необыкновенно удачно: дело в том, что приближалась дата, когда Иоганн, по договоренности с Центром, должен был выходить к месту встречи в Варшаве.

Через два дня (именно на исходе третьего дня и должна была состояться эта встреча) Иоганн достал велосипед и покатил в Варшаву. Не так просто было уговорить начальника внешней охраны, что ехать нужно именно на велосипеде. Обер-ефрейтор хотел, чтобы Иоганна отвезли на мотоцикле. Но велосипед был единственной возможностью избежать от сопровождающего, и Иоганн настоял на своем, ссылаясь на то, что нужно беречь горючее, предназначенное для военных целей. И даже, осмелев, обвинил обер-ефрейтора в том, что тот расточительно расходует средства обеспечения дальнейших походов вермахта.

Многие районы Варшавы были превращены карающим налетом авиации в развалины, в подобие каменоломни. Авиабомбы, как палицы, раскроили черепа домов. Этими авиадубинами гитлеровцы жаждали вышибить у поляков память об их славной, многовековой истории. Еще 22 августа 1939 года Гитлер за ужином в кругу своих приближенных обещал:

— Польша будет обезлюжена и населена немцами. А в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое... Мы разгромим Советский Союз. Тогда наступит немецкое мировое господство...

И Геринг, придя в восторг от этих слов, сбросил с себя мундир, вскочил полуголый на стол и, изображая дикаря, плясал на нем, и его оплывшее жиром, рыхлое, бабье тело тряслось.

Польский разведчик, которого гитлеровцы недавно заду-

шили в той самой тюремной камере, куда бросили его правители буржуазной Польши, своевременно информировал этих последних, помимо всего прочего, и об ужине у Гитлера и о том, что на нем говорилось.

Буржуазные правители Польши предали патриота, как предали весь польский народ.

И когда Иоганн бродил среди трагических развалин, среди торчащих, будто скалы, остроконечных останков стен, он вспоминал, как в свое время вернули ему в военкомате документы. Вернули их с огорченным видом и всем другим студентам, рабочим, служащим, пожелавшим вступить добровольцами в армию. Произошло это после отказа польского буржуазного правительства пропустить через свою территорию части Красной Армии, для того чтобы защитить Польшу от угрозы внезапного нападения гитлеровского вермахта.

Агенты Гитлера довели до сведения правящих кругов Англии о готовящемся нападении на Польшу, чтобы узнать, что в этом случае будет угрожать Германии. И вот, что они узнали. Будет формально объявлена война Германии. И она была объявлена. И получила название «странной войны», сидячей войны.

Так Польша была брошена под ноги фашистам в надежде облегчить Гитлеру поход на Восток — на страну социализма.

С заговором империалистов против всего человечества, осуществляющимся тайными службами с помощью самых подлых способов, боролись люди, среди которых был и Александр Белов.

Он, Александр Белов, студент, один из самых обещающих учеников академика Линева, первый интеллигент в рабочей династии Беловых, отказался от научной деятельности, от всего, что ему сулила жизнь, и ушел на фронт, как в годы гражданской войны, повинаясь долгу коммуниста, ушел воевать его отец. Это был иной фронт — фронт тайной войны. Советского разведчика Александра Белова направили сюда, в стан фашистов, для того, чтобы предвосхищать, отводить удары, нацеленные в спину его народа, и самому наносить удары по врагам в их же логове.

Силы были неравны. Иоганн был один среди врагов.

И когда он увидел Бруно, пробирающегося по тропинке, расчищенной среди варшавских развалин, его знакомую хилую фигуру, подвижное лицо с постоянной гримасой иронии над своими телесными недугами, исцелиться от которых у него никогда не хватало времени, Иоганн почувствовал то же, что чувствует выпущенный из тюрьмы узник, когда у ворот его встречает родной человек. И как ни выскокил он себя за эти месяцы, как тщательно ни готовился к этой встрече, совладать с собой он не смог и порывисто бросился к Бруно.

— Эмоции! А без эмоций не можешь? — недовольно сказал Бруно.

Шагая вслед за Иоганном по узкой тропинке в развалинах, Бруно деловито бормотал своим глуховатым голосом:

— У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего, действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились. Талант!

Вайс остановился.

— Иди, — приказал Бруно. — Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь меня слушать. — Проговорил тихо: — Война. Вот-вот. — Повторил строго: — Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом для тебя трудном. Война начнется — не рыпаться. Пережить спокойно, с выдержкой. Связь в первые дни будет прервана. — Вздохнул: — Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтоб никаких эмоций, кроме преданности рейху. И ничего — понял? — ничего, только вживаться. Что бы ни было — вживаться. — Затем Бруно сообщил Вайсу все то, что ему следовало знать. С удивительной памятью, почти дословно передал содержание писем его родителей. Сказал, что был у них дома. Передал рекомендации руководства, добавил свои советы. Сказал: — На связь с тобой будет направлен другой товарищ. А теперь говори коротко, слушаю.

И Бруно, обойдя Вайса, зашагал чуть впереди.

Иоганн доложил обо всем, что не успел передать через тайник. И когда он, закончив служебное, хотел перейти к тому, что сегодня волновало его больше всего, — к словам Бруно о близкой войне, тропинка вывела их из развалин на площадь.

Здесь два немецких солдата разошлись — один пошел направо, другой налево. Они не знали, что им предстоит встретиться еще один, последний раз...

Вайс купил все, что было ему нужно, сел на велосипед и покатил обратно, в свое тюремное расположение. Писать портрет фон Браухича, вернее, срисовывать его с красочной обложки армейского журнала. Он бодро подкатил к железным воротам, предъявил часовым увольнительную на три часа сорок пять минут по служебному заданию. Портрет фон Браухича Вайс написал. Но фон Браухич не появился здесь. Гитлеровские войска, сосредоточенные на границе СССР, были полностью готовы к нападению. И ждали только команды фюрера.

С того дня и начались испытания Иоганна, которые требовали от него всей силы духа, выносливости, изворотливости. Это было часто равносильно тому, чтобы самому содрать с себя заживо кожу, вывернуть ее наизнанку, снова напаялить и при этом улыбаться. Делать вид, будто ты не испытываешь

мук и все твое существо не содрогается от непреодолимой потребности сейчас, сию минуту, отомстить. И отомстить не за себя,— до себя ли, когда истекает кровью твой народ!

Но он был обречен на подвиг бездействия. Убивают советских людей, а ты среди убийц, в их стане, должен послушно выполнять свой долг, ждать. Ждать, чтобы выполнить все точно в то время, которое будет предопределено волей и разумом тех, кто предотвращает тайные удары тайных сил фашизма и своей жизнью отвечает за жизнь каждого.

16

Иоганн Вайс был назначен под начало майора Штейнглица, в специальное подразделение, которому поручалось, следуя за наступающими частями вермахта, собирать на захваченной территории материалы для разведывательной и контрразведывательной службы абвера.

Подобного рода обязанности входили также в круг деятельности гестапо, и поэтому их нужно было выполнять особенно сноровисто, чтобы превзойти конкурента. Все, кого зачислили в подразделение майора Штейнглица, должны были пройти специальные подготовительные курсы.

На курсах Иоганн Вайс вместе с другими служащими абвера ознакомился с подлинными советскими документами: партийными и комсомольскими билетами, паспортами, орденскими книжками, командировочными предписаниями, служебными удостоверениями, пропусками, различного рода справками. Он также прослушал ряд лекций о структуре советских государственных учреждений, партийных организаций, системе учета, формах составления отчетов и документации.

Одну из лекций прочел по-русски — лекция переводилась на немецкий — неопределенного возраста субъект в синем шевиотовом костюме и пестром джемпере, обтягивающем толстое брюхо, — невозвращенец, бывший сотрудник Наркомвнешторга. Как узнал потом Вайс, немецкая фирма после заключения договора на поставки не только вручила ему ценные подарки, но и устроила на свой счет встречу с некоей дамой. Встреча произошла в загородном ресторане, где этого типа и сфотографировали раздетым и притом в непотребной позе. И поскольку сей тип был отцом семейства и дорожил своей репутацией морально устойчивого человека, он сначала во имя спасения семейной чести пожертвовал некоторой долей ведомых ему служебных тайн, а потом, уже во имя спасения своей шкуры, пожертвовал и родиной.

И коммунист Александр Белов стоял перед этим вырожденком навтыяжку, как полагается стоять перед учителем, и отвечал на его вопросы, как полагалось отвечать ученику. И

когда тот с довольным видом заметил переводчику: «Толковый солдатик», — а переводчик сказал Вайсу: «Гут», — Вайс вежливо, благодарно улыбнулся, душевно маясь, что не может стиснуть пальцами жирную короткую шею этого своего учителя.

Несколько раз Иоганн возил майора Штейнглица в город, и, как ни странно, теперь, после общения с ненавистным ему до судорог изменником, с которым ему приходилось встречаться на занятиях, майор казался Вайсу даже симпатичным. Это был обыкновенный враг, шпион по профессии, кичащийся своим опытом тайных дел мастера, постигший все способы взламывания душ, настолько упоенный собой, что уже давно утратил способность различать тонкие оттенки человеческого поведения. И Вайсу ничего не стоило войти в еще большее доверие к Штейнглицу. Однажды он сказал:

— Господин майор, во время стоянки у резиденции рейхс-комиссара ко мне в машину подсел зондерфюрер гестапо — полный блондин лет тридцати, без каких-либо особых примет. Дал сначала пачку сигарет, потом две. Пообещал в следующий раз добавить бутылку шнапса. Разрешите спросить, что ему о вас докладывать?

Все это Вайс произнес деловым, равнодушным тоном, будто ничего тут особенного нет: так полагается по службе — и только.

И хотя майор промолчал, ничего не ответил, словно не расслышал, не понял, не обратил никакого внимания, но по тому, как сощурились его глаза, как присохли к зубам губы, Иоганн установил безошибочно: слова его попали в цель.

Только в конце недели во время очередной поездки Штейнглиц осведомился небрежно:

— Ну как, встречал того парня? — и точно повторил приметы, названные Вайсом.

Иоганн в тон майору ответил небрежно:

— Видел, но уклонился от разговора, так как не получил от вас указания, что следует ему доложить.

— Ты обязан сообщить службе фюрера все, что ее интересует, — коротко заметил майор.

Вайс помедлил, соображая, что кроется за этим ходом, потом вдруг широко и добродушно ухмыльнулся:

— Господин майор, тетя учила меня: «Если твоему хозяину хорошо, то и тебе хорошо, а у того, кто меняет хозяев, нет хозяина в голове».

— У тебя умная тетя.

— Она умерла, — напомнил Вайс.

Майор сказал быстро:

— Встреться, пообещай узнать все, что его интересует. — Полез в карман, достал бумажник, протянул марки. — Это вам с ним на пиво.

— Благодарю, господин майор.

Но эксплуатировать этого вымышленного им гестаповца, чтобы помучить Штейнглица страхом и, главное, кое-что выведать о нем самом, Вайсу не довелось: на следующую ночь специальное подразделение внезапно подняли по тревоге. Вместе с другими Иоганн покинул расположение и выехал к восточной границе. Расквартировались на хуторе в районе, из которого давно уже было изгнано население. Проезжая запретную зону, Иоганн видел войсковые пехотные и моторизованные части второго эшелона: они стояли на исходных позициях. И было это 16 июня 1941 года.

Последние указания, отданные обер-ефрейтором, бывшим чиновником министерства просвещения доктором Зуппе, касались главным образом методов рассортировки документов врага. Их следовало складывать по определенной системе в защитного цвета брезентовые мешки и сундуки: партийные — в одни, государственные — в другие, экономические — в третьи и т. д. Ведра с крышками предназначались для значков, медалей, орденов, печатей, штампов. Каждый солдат получил сумку, наподобие тех, какие носят почтальоны.

Накануне отъезда подразделение пополнилось четырьмя солдатами, снабженными набором воровских инструментов и газовыми резаками для вскрытия несгораемых шкафов. «Новички» были достаточно опытны и не нуждались в особых наставлениях. Вайс убедился в этом, внезапно обнаружив вопиющий пробел в своей языковой подготовке. Оказалось, что его учителя, прекрасно знавшие все немецкие диалекты, понятия не имели о немецком воровском жаргоне, и Вайсу пришлось здесь, на месте, пополнить свое филологическое образование.

Тот же Зуппе рекомендовал, как вести себя с советскими гражданами, если понадобится получить от них сведения о месте хранения документов и их систематике. В заключение Зуппе процитировал фюрера:

— «Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека». — И добавил от себя: — Величие нашей свободы заключается в том, что мы освободились от таких сковывающих личность понятий, как жалость, великодушие, милосердие к противнику.

Пожилой солдат Курт Рейнхольд пренебрежительно сказал о Зуппе:

— Этот прохвост все пытается замазать свои либеральные речи в период Веймарской республики. Потом он доносил на профессоров и студентов. Это ему зачли, когда взяли в абвер.

— А ты откуда знаешь?

Рейнхольд покосился на Вайса:

— Служил швейцаром в Лейпцигском университете, ходил по его поручениям с пакетами в отделение гестапо. Значит, знаю.

В соседнем хуторе расположилось подразделение зондеркоманды СД. Вайс узнал, что солдаты этого подразделения недавно прошли практический курс обучения в концентрационных лагерях, созданных при каждом полку СС еще в феврале 1933 года.

Лагеря были трех категорий: трудовые, для «больных» и экспериментальные, где эсэсовцы обучались умению руководить и «методике подавления». Человеческий материал в лагеря поставляли чрезвычайные суды, предназначенные для того, чтобы «искоренить противников Третьей империи, главным образом коммунистов и социал-демократов».

Во всех населенных пунктах гестапо имело на каждые пять домов по осведомителю, в функции которого и входило выявление лиц, подлежащих заключению в концлагерь.

Методика соответствующей обработки поставляемого в лагерь человеческого материала была продумана самым тщательным образом. Подробнейшие инструкции предусматривали буквально все: имелись чертежи лагерных сооружений; статистические данные о том, какие эпидемические заболевания наиболее эффективны по числу смертельных исходов; медицинские советы, какие меры предосторожности следует соблюдать персоналу, чтобы избежать инфекции; лагерное меню, предназначенное поддерживать силы заключенных во время исполнения ими трудовых обязанностей, и специальный голодный рацион, рассчитанный на контингент, обременительный для экономики лагерного хозяйства.

Имелось указание, что в специальные лагерные блоки, где ставятся научно-исследовательские медицинские опыты, результаты которых могут оказаться полезными для сохранения здоровья граждан Третьей империи, вход посторонним лицам строжайше запрещен. И всякое оглашение методики этих опытов беспощадно карается.

Имелись схемы рвов с обозначением их отдаленности от места заключения. Рекомендации о наиболее целесообразной укладке тел для погребения. Таблица емкостей рвов при определенной глубине и профилях. В примечании говорилось, что, поскольку Германия не признает Женевского соглашения, выработка соответствующего режима обращения с военнопленными целиком возлагается на лагерную администрацию.

В разделе «Меры наказания нарушителей лагерного распорядка» обозначено: «Самые эффективные».

Эти наставления никому из солдат не выдавались на руки.

Офицер, командующий подразделением, хранил наставление в планшете за целлулоидной прозрачной крышкой и давал прочесть каждому солдату, не выпуская планшеты из рук.

Наблюдая в эти дни за своими сослуживцами, Вайс отметил, что все они необычайно жизнерадостно настроены и довольны своей судьбой. Еще бы! Ведь они избежали службы в линейных армейских частях, и война для них безопасна: продвижение вслед за ударными частями требует одной только исполнительности и канцелярского рвения.

Некоторые даже говорили, что вообще любят путешествовать и война открыла перед ними возможность задаром посетить многие страны Европы, привезти оттуда сувениры. Что мужчине перестать воевать — все равно что женщине перестать рожать. И охотно вспоминали старую немецкую поговорку: «Король во главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Германия во главе всего мира».

В большинстве это были солидные, степенные люди: мелкие чиновники, лавочники, владельцы мастерских; сменив штатские костюмы на солдатские мундиры, они почувствовали себя в них вполне уютно.

Некоторые питали в свое время иллюзии, что Гитлер, как он это обещал в своих «революционных» речах начала тридцатых годов, создаст условия для процветания мелкой немецкой буржуазии за счет ущемления могущественных концернов.

Он обещал даже конфисковать крупные универмаги, чтобы разместить в них мелких торговцев. Этими обещаниями он сделал мелких торговцев и предпринимателей пылкими и страстными последователями фашизма. Но, став рейхсканцлером с помощью промышленных магнатов Германии, Гитлер так зажал мелкую буржуазию, что не только экономический кризис, но и новое законодательство вызвало тысячи крахов, и мелкие владельцы сочли это возмездием за свои легкомысленные буржуазно-революционные иллюзии. Одни из них, более прыткие, ринулись к наци, чтобы в политической шумихе поправить свои делишки, другие постарались устроиться в армию, в спецподразделения, где их социальная благонадежность служила порукой тому, что и здесь они не пропадут.

Это были бюргеры в солдатских мундирах, озабоченные лишь тем, как бы с меньшими неудобствами и лишениями пройти тот победоносный путь, который предназначил им фюрер. Они давно приучили свое сознание к тому, что фашистская партия — «носительница государственной мысли». И если раньше супруги их вышивали на салфеточках добродетельные сентенции на все случаи жизни, то теперь стены их квар-

тир были украшены затейливо вышитыми изречениями Гиллера, Геббельса, Розенберга.

И если раньше они наставляли своих детей цитатами из Библии, то теперь высшим мерилom нравственности служили высказывания фюрера: «Мы вырастим молодежь резкую, требовательную и жестокую... Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей».

И многие из этих неофитов, заполняя анкеты, с гордостью писали, что их сыновья выполняют свой долг перед рейхом в частях гестапо, СД, СС, абвера. Это давало отцам множество различных привилегий, в том числе и право на службу в специальном подразделении.

Майор Штейнглиц занял небольшую виллу вместе с капитаном Оскаром фон Дитрихом.

С этим человеком майора связывало давнее знакомство, почти дружба. Почти! Ибо не в его обычае было обременять свою личную жизнь закадычными друзьями, кем бы они ни были; он придерживался правила: каждый сам за себя, и никто — за всех. Каждый платит за себя и уклоняется от уплаты за тарелки, разбитые другими, — этот девиз определял не только бытовые, но и моральные устои Штейнглица: для него в течение всей его жизни дружба с кем-либо была только приемом, путем к достижению цели.

Дитрих, типичный пруссак, происходил из почтенного юнкерского рода. Пропорции его черепа, носа, ушей могли бы привести в восторг любого исследователя благородных признаков арийской расы.

Он получил не только военное, но и более широкое образование и рисковал попасть под формулу фюрера, оглашенную во время выступления в рейхстаге 30 января 1930 года: «Интеллигенция — это отбросы нации...» Но и с этой стороны ничто не угрожало капитану Оскару фон Дитриху, руководящему сотруднику отдела абвера «ЗЦ» — контрразведка.

Аксель Штейнглиц служил во втором отделе «Ц» — диверсии, саботаж, террор. Много лет он был исполнителем, трудягой и собственноручно выполнял черную работу. Человек невежественный, Штейнглиц в период выполнения задания мог сойти в некотором роде за образованного, проштудировав те материалы, которые подбирали ему университетские профессора, сотрудничавшие в границах своей специальности в имперской разведке. Но так же, как, вернувшись с задания, он освобождался от костюма, в котором его выполнял, так же легко он расставался и с небольшой толикой познаний, пондобившихся ему только для успешного завершения операции.

Для Штейнглица спецслужба была работой, профессией — не более. Высшим для себя достижением он считал такое положение в отделе, при котором он мог бы располагать круп-

ной неподотчетной суммой в иностранной валюте для вознаграждения агентуры, не забывая при этом, конечно, и себя.

Для Оскара фон Дитриха работа в «ЗЦ»-отделе была не просто службой, профессией, даже не карьерой. Это был гармонический комплекс, в котором он нашел воплощение своих надежд, убеждений, идеалов сверхличности, свободной от духовно связывающих обычного человека наивных законов нравственности и морали. И самое значительное, что он получил, — власть, власть над людьми. Что может быть выше сластолюбивой игры человеческой жизнью — самой азартной из всех игр!

Аксель Штейнглиц наглотался на своем жизненном пути немало унижений от тех, кто был старше его по званию, по занимаемой должности, однако это не наложило мрачного отпечатка на его мышление.

Оскар фон Дитрих не знал подобных огорчений, но кое-что ему все же пришлось пережить. В пору юношеской зрелости он испытывал болезненную застенчивость по отношению к женщине, а когда попытался ее преодолеть, оказался бессильным. Девушка, с которой он имел дело, разболтала о его недостатке, и Дитриха долго преследовала насмешливая жалость сверстников.

В военном училище он стал последователем древних патрицианских развращенных нравов и обрел покровителя в лице преподавателя фехтования, который заставил кадетов почтительно относиться к Оскару. Впрочем, особого труда это не составляло, потому что дурные наклонности бытовали в закрытых учебных заведениях Германии.

Каким-то образом об интимной дружбе с учителем фехтования узнал отец Оскара, заслуженный офицер рейхсвера, бывший адъютант кайзера. Между отцом и сыном произошел тяжелый разговор, в процессе которого сын посмел намекнуть, что сам кайзер обладал теми же склонностями, какие были у обожаемого их учителя фехтования. Кончилось все тем, что отец отказал сыну в ежемесячном пенсионе.

Чтобы не подвергаться лишениям, Оскар украл у матери кое-какие фамильные драгоценности. И, хотя его поступок не был предан семейством Дитрихов гласности, Оскар, любивший мать, долго переживал свое унижение, видя ее всегда теперь испуганное, грустное лицо.

Был еще один случай в жизни Оскара фон Дитриха, воспоминание о котором и теперь, спустя много лет, заставляло его краснеть. Как-то на открытый лагерный полигон, где занимались юнкера, забрела хорошенькая беленькая козочка. Обрадовавшись развлечению, юнкера открыли по ней беспорядочную пальбу. Израненная коза сначала металась с жалобными воплями, а потом поползла, волоча перебитые задние

ноги. Юнкера столпились вокруг и с любопытством следили за ее агонией. И тут Оскар не выдержал — разрыдался.

Это было непристойно.

На офицерском совете училища Оскару пришлось выслушать справедливые упреки в том, что он опозорил училище, что его возмутительное поведение, недостойное будущего офицера, произвело самое тягостное впечатление на юнкеров. Говорили даже, что его следует отчислить из училища.

Был вызван отец; и если во время обсуждения не очень приличной дружбы с учителем фехтования отец только иронически усмехался, а потом лишил Оскара пенсионера, сказав, что юнкер, который не платит девкам на Александерплац, может жить более экономно, то теперь полковник фон Дитрих исступленно орал на сына, судорожно хватал его за лацканы мундира венозными, дряблыми пальцами и даже пытался дать пощечину.

В конце концов Оскар покаялся, и все обошлось.

После окончания училища Оскар фон Дитрих умело использовал протекцию отца для прохождения службы в армии, поступил в абвер и третий отдел избрал вначале потому, что тут была неограниченная возможность унижать других в отместку за некогда пережитые им самим унижения.

Но с годами пришел опыт, фон Дитрих, занимая все более значительные должности, убедился, что эта служба дает ему многое. Она не только избавляет от комплекса неполноценности, о чем он с большим удовлетворением вычитал у Фрейда, но и вооружает философской теорией превосходства сильной личности над прочими. Эту теорию он может применять на практике, отнюдь не злоупотребляя служебным положением, даже напротив: ведь, следуя своим идеалам, он тем самым как бы укрепляет мощь рейха.

И постепенно из Оскара фон Дитриха выработался тот особый тип контрразведчика, который был так чтим руководителем абвера. Мыслитель, интеллектуал, адмирал Канарис полагал, что контрразведка — это не род специальной службы, а система мировоззрения, доступная избранным. Высшей властью над людьми может обладать только тот, кто осведомлен о всех их тайных слабостях, поступках, мерзостях, а если кто-либо не поддавался искушениям, то, значит, эти искушения были недостаточны или не те, какими можно соблазнить человека.

Настоящий контрразведчик, по убеждению Канариса, не должен уличать, — ему следует только копить улики против власть имущих, чтобы иметь возможность привести их в действие в тех случаях, когда кто-либо из этих людей проявит непокорность. И чем больше у него, контрразведчика, такого рода сведений, тем короче будет его путь к личной власти.

Светила генерального штаба вермахта, все ближайшее окружение Гитлера были представлены в секретной картотеке Канариса энциклопедией крови, грязи, гнусностей, каких еще не знала история. И Канарис лелеял мечту предъявить когда-нибудь каждому из этих людей соответствующую запись в своей картотеке, надеясь, что от него откупятся, предоставив ему место на вершине той пирамиды, которую они составляют.

Но вел он себя осторожно, зная, что фюрер, сам когда-то находясь в звании ефрейтора, был армейским шпионом и уже тогда сумел оценить все безграничные возможности этого рода деятельности. И теперь Гитлер, опасаясь, как бы тот, кто возглавит объединенные органы шпионажа, не захватил власть в Третьей империи, не решился сосредоточить эту могучую силу в одних руках и разделил ее между многими органами.

И Канарис совсем не обиделся, только стал действовать еще более осторожно, когда ему передали, что фюрер обозвал его «гиеной в сиропе», — это даже польстило его самолюбию разведчика.

Период тайной войны с европейскими державами давал Канарису больше возможностей сблизиться с Гитлером, чем война явная, да еще с Россией. Труд подручного доставал улик для вынесения смертных приговоров казался ему малоинтересным и столь же малоперспективным, если учесть приоритет в такого рода деятельности и гестапо, и СС, и СД, которым Гитлер оказывал особое доверие, и покровительство, и предпочтение.

Поскольку отец Оскара фон Дитриха был близок с Канарисом, капитан кое-что знал обо всем этом. Его самолюбие тоже часто страдало. Офицеры гестапо, СС, СД грубо и откровенно подчеркивали свое превосходство над сотрудниками абвера, вынужденными ограничивать поле деятельности лишь интересами вермахта, его штабов.

Худощавый до хрупкости, но не лишенный грации, чрезвычайно сдержанный в обращении, Оскар фон Дитрих даже со старшими по должности был так высокомерно, чопорно, тонко и леденяще вежлив, что это давало ему возможность в любых обстоятельствах сохранять достоинство и неуязвимо унижать других. В сущности, он был фантазер: воображал себя гением, поправшим все человеческое, высоко стоящим над теми, компрометирующим материалом о которых он располагал.

И, глядя прозрачными голубыми, почти женскими глазами на старшего и по званию и по должности армейского офицера, беседуя с ним о чем-нибудь отвлеченном, Дитрих наслаждался своей незримой властью, так как обладал информацией, которая могла в любой момент обратить этого офице-

ра в солдата или даже в мишень для упражнений дежурного подразделения гестапо.

Несмотря на то что майор Штейнглиц был старше по званию, он относился к капитану Дитриху как подчиненный. Это было просто произвольное преклонение плебея перед аристократом, неимущего — перед имущим. И это была еще тайная надежда на протекцию Дитриха.

Никакая нацистская пропаганда не смогла вышибить из трезвых мозгов Штейнглица убеждения, что истинные правители гитлеровской Германии, так же как и Германии всех времен, — промышленные магнаты и высший офицерский корпус: это было вечным, неизменным. А нацисты — что ж, они очистили Германию от коммунистов, социалистов, профсоюзов, либералов, от грозной опасности смыкающегося в единую силу рабочего класса — проделали работу мясников.

И хотя фюрер — вождь фашистов и глава рейха, но если рейх — Третья империя, то Гитлер — император, такой же, как кайзер. И, как у кайзера, его опора — магнаты, богачи, крупные помещики, военная элита.

Так думал своим мужичьим умом Штейнглиц и дальновидно служил представителю военной элиты капитану Оскару фон Дитриху. И когда, например, Оскар разбил патефонную пластинку с любимой своей песенкой «Айне нахт ин Монте-Карло», Штейнглиц мгновенно вызвался добыть в отделе пропаганды другую.

17

Была теплая, ясная июньская ночь. Глянцевитая поверхность прудов отражала и луну, и звезды, и синеву неба. Горько и томительно пахли тополя. А с засеянных полей, заросших сурепкой, доносился нежный медовый запах. Иоганн не торопясь вел машину по серой, сухой, с глубоко впрессованными в асфальт следами танков дороге.

Проехали длинную барскую аллею, исполосованную тенями деревьев. Потом снова пошли незапаханные пустыни полей. А дальше начались леса, и стало темно, как в туннеле.

Иоганн включил полный свет, и тут впереди послышалась разрозненная пальба, крики и глухой звук удара, сопровождаемый звоном стекла.

Фары осветили уткнувшийся разбитым радиатором в ствол каштана автомобиль.

Два офицера войск связи — один с пистолетом, другой с автоматом в руках, — бледные, окровавленные, вскочили на подножку и потребовали, чтобы Вайс быстрее гнал машину.

Вайс кивком указал на Штейнглица.

Майор приказал небрежно:

— Сядьте. И ваши документы.

— Господин майор, каждая секунда...
— Поехали, — сказал Штейнглиц Вайсу, возвращая документы офицерам. Спросил: — Ну?

Офицеры связи, все так же волнуясь и перебивая друг друга, объяснили, что произошло.

Несколько часов назад какой-то солдат забрался в машину с полковой рацией, оглушил радиста и его помощника, выбросил их из кузова, а потом, угрожая шоферу пистолетом, угнал машину. Дежурные станции вскоре засекли, что где-то в этом районе заработала новая радиостанция, передающая открытым текстом на русском языке: «Всем радиостанциям Советского Союза двадцать второго июня войска фашистской Германии нападут на СССР...»

На поиски станции выехали пеленгационные установки, на одной из них были эти офицеры. Вскоре на шоссе они увидели похищенный грузовик и стали преследовать его, сообщив об обнаружении в эфир, но на повороте их машина по злой воле шофера или по его неопытности врезалась в дерево.

Иоганн вынужден был прибавить скорость. Офицер, который сел с ним рядом, взглядывал то на спидометр, то на дорогу и, видимо, не случайно уперся в бок Иоганну дулом автомата.

Азарт захватил и Штейнглица, и он тоже тыкал в спину Иоганна стволом «вальтера».

Через некоторое время впереди показался грузовик-фургон, в каких обычно размещались полковые радиоустановки, и хотя это было пока бессмысленно, связисты и Штейнглиц выставили оружие за борт машины и стали отчаянно палить вслед грузовику.

На подъеме грузовик несколько замедлил скорость. Машина Вайса стала неумолимо настигать его.

И тогда Иоганн решил, что тоже устроит аварию и тоже на повороте, но постарается сделать это более искусно, чем погибший шофер: врежет машину не в дерево, а в каменные тесаные столбики ограждения. Достаточно смять крыло, и уже нужно будет остановиться, чтобы или сорвать его, или исправить вмятину над передним колесом, а грузовик за эти секунды преодолеет подъем.

Он уже нацеливался половчее выполнить задуманное, как вдруг их опередил бронетранспортер. Из скошенного стального щита над ветровым стеклом судорожно вырывалось синее пулеметное пламя.

Авария уже не поможет. Иоганн помчался на бешеной скорости, но транспортер не дал обогнать себя: пулеметные очереди веером прошивали дорогу, и Иоганн не решился подставить свою машину под пули. Пулеметная пальба сливалась с ревом мотора.

И вскоре заскрежетали об асфальт металлические диски

колес с пробитыми шинами, раздался грохот, и грузовик упал под откос. Все было кончено.

Иоганн затормозил машину на том месте, где потерявший управление грузовик разбил ограждение из толстых каменных тумбочек и рухнул с шоссе в овраг, заросший кустарником.

Теперь он лежал на дне оврага вверх колесами. Дверцы заклинило, и извлечь шофера из кабины не удалось. Штейнглиц воспользовался рацией на транспортере, чтобы сообщить капитану Дитриху о происшествии, касающемся того как контрразведчика.

Иоганн предложил перевернуть грузовик с помощью транспортера. Водитель решительно возразил: сказал, что при такой крутизне спуска это невозможно и он не хочет стать самоубийцей.

Вайс обратился к Штейнглицу:

— Разрешите?

Майор медленно опустил веки.

Приняв этот жест за согласие, Вайс отстранил водителя, влез в транспортер и захлопнул за собой тяжелую стальную дверцу. То ли для того, чтобы избавить от страданий человека, сплющенного в кабине грузовика, то ли для того, чтобы оказаться одному в этой мощной, вооруженной двумя пулеметами машине с тесным, как гроб, кузовом,— он сам не знал, зачем...

Едва он начал спуск, как почувствовал, что эта многотонная машина уходит из повиновения. Вся ее стальная тяжесть как бы перелилась на один борт, словно машину заполняли тонны ртути, и теперь эта ртуть плеснулась в сторону, и ничем не удержать смертельного крена. И когда, включив мотор, Иоганн рванул машину назад, эта жидкая стальная тяжесть тоже перелилась назад. Еще секунда — и машина начнет кувыркаться с торца на торец, как чурбак. А он должен заставить ее сползти медленно и покорно, чуть елозя заторможенными колесами в направлении, обратном спуску. Борясь с машиной, Иоганн проникался все большим и большим презрением к себе. Зачем он вызвался? Чтобы по-дурацки погибнуть, да? Или покалечиться? Он не имел на это права. Если с ним что-либо случится, это будет самая бездарная растрата сил, словно он сам себя украл из дела, которому предназначен служить. И чем большее презрение к себе охватывало его, тем с большей яростью, иступлением, отчаянием боролся он за свою жизнь.

Иоганн настолько изнемог в этой борьбе, что когда, казалось, последним усилием все же заставил транспортер покорно сползти на дно оврага, он едва сумел попасть в прыгающие губы сигаретой.

Тем временем к месту происшествия подъехали Дитрих и

два полковника в сопровождении охраны. И санитарная машина.

Иоганн и теперь не уступил места водителю транспортера. И когда за грузовик зацепили тросы и мощный транспортер персвернул его, Иоганн подъехал поближе и, не вылезая на землю, стал наблюдать за происходящим.

Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую дверцу. Иоганн вышел из транспортера, вскочил на подножку грузовика с другой стороны, забрался на радиатор и с него переполз в кабину, так как лобовое стекло было разбито. Человек, лежащий здесь, не проявлял признаков жизни. Иоганна даже в дрожь бросило, когда он коснулся окровавленного, скрюченного тела. Солдаты, справившись наконец с дверью, помогли отогнуть рулевую колонку и освободить шофера. Изломанное, липкое тело положили на траву. Лоскут содранной со лба кожи закрывал лицо шофера.

Штейнглиц подошел, склонился и аккуратно наложил этот лоскут на лоб искалеченному человеку. И тут Иоганн увидел его лицо. Это было лицо Бруно.

Водитель транспортера направил зажженные фары на распростертое тело.

Санитары принесли носилки, подошел врач с сумкой медикаментов.

Но распоряжались тут не полковники, а представитель контрразведки капитан Дитрих. Дитрих приказал обследовать раненого здесь же, на месте.

Врач разрезал мундир на Бруно. Из груди торчал обломок ребра, пробивший кожу. Одна нога вывернута. Кисть руки разможена, расплющена, похожа на красную варенку.

Врач выпрямился и объявил, что этот человек умирает. И не следует приводить его в сознание, потому что, кроме мучений, это ему ничего не принесет.

— Он должен заговорить, — твердо сказал Дитрих. И, улыбнувшись врачу, добавил: — Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени, если, конечно, вы не хотите потерять нечто более важное.

Врач стал поспешно отламывать шейки ампул, наполнял шприц и снова и снова колол Бруно.

Дитрих тут же подбирал брошенные, опорожненные ампулы. Врач оглянулся. Дитрих объяснил:

— Герр доктор, вы позволите потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько добросовестно вы выполнили мою просьбу?

Врач побледнел, но руки его не дрогнули, когда он снова вонзил иглу в грудь Бруно. Иоганну показалось, что колол он в самое сердце.

Бруно с хрипом вздохнул, открыл глаза.

— Отлично, — одобрительно заметил врачу Дитрих. При-

казал Штейнглицу: — Лишних — вон... — Но врача попросил: — Оставайтесь. — Присел на землю, пощупав предварительно ее ладонью, пожаловался: — Сыровато.

Штейнглиц снял с себя шинель, сложил и подsunул под вад Дитриху. Тот поблагодарил кивком и, склоняясь к Бруно, сказал с улыбкой:

— Чье задание и кратко содержание передач. — Погладил Бруно по уцелевшей руке. — Потом доктор вам сделает укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста...

Вайс шагнул к транспортеру, но один из полковников, подкинув на руке пистолет, приказал шепотом: «Марш!» — и даже проводил его к дорожной насыпи. Уже оттуда он крикнул охранникам:

— Подержите-ка парня в своей компании!

Самокатчики в кожаных комбинезонах спустились за Вайсом, привели на шоссе, усадили в мотоцикл и застегнули брезентовый фартук, чтобы он не мог в случае чего сразу выскочить из коляски.

В ночной тиши был хорошо слышен раздраженный голос Дитриха:

— Какую ногу вы крутите, доктор?! Я же вам сказал — поломанную! Теперь в другом направлении. Да отдерите вы к черту эту тряпку! Пусть видит... Пожалуйста, еще укол. Великолепно. Лучше коньяку. А ну, встаньте ему на лапку. Да, не стесняйтесь, доктор! Это тонизирует лучше всяких уколов.

Иоганн весь напрягся, ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху... И казалось, в самые уши, ломая черепную коробку, лезет невыносимо отвратительный голос Дитриха. И не было этому конца.

Вдруг все смолкло. Тьму озарил костер, запахло чем-то ужасным.

Иоганн рванулся, и тут же в грудь ему уперся автомат. Он ухватился было за ствол, но его ударили сзади по голове.

Иоганн очнулся, спросил:

— Да вы что? — И объяснил, почему хочет вылезти из коляски.

Один из охранников сказал:

— Если не можешь терпеть — валяй в штаны! — И захотел. Но сразу, словно подавился, смолк.

Через некоторое время на шоссе вылезли полковники, Дитрих и Штейнглиц.

Дитрих попрощался:

— Спокойной ночи, господа! — И направился к машине. Самокатчики освободили Вайса.

— Едем! — приказал Штейнглиц, едва Иоганн сел за руль.

Оба офицера молчали. Тишину нарушил Дитрих — пожаловался капризно, обиженно:

— Я же его так логично убеждал...

Штейнглиц спросил:

— Будешь докладывать?

Дитрих отрицательно качнул головой.

— А если те доложат?

Дитрих рассмеялся.

— Эти армейские тупицы готовы были лизать мне сапоги, когда я предложил свою версию. Что может быть проще: пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию.

— Зачем так? — удивился Штейнглиц.

— А затем, — назидательно пояснил Дитрих, — что, если бы, допустим, советский разведчик дерзко похитил полевую рацию и передал своим дату начала событий, полковникам не избежать бы следствия.

— Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство! Ясно — это советский разведчик.

— Да, — сухо проговорил Дитрих. — Но у меня нет доказательств. И к чему они, собственно?

— Как к чему? — изумился Штейнглиц. — Ведь он же все передал!

— Ну и что ж! Ничего теперь от этого уже не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить его ни на минуту.

— Это так, — согласился Штейнглиц. — А если красные ответят встречным ударом?

— Не ответят. Мы располагаем особой директивой Сталина. Он приказал своим войскам в случае боевых действий на границе отеснить противника за пределы демаркационной линии и не идти дальше.

— Ну, а если...

— Если кому-нибудь станут известны эти твои идиотские рассуждения, — строго оборвал майора Дитрих, — знай, что у меня в сейфе будет храниться их запись.

— А если я донесу раньше, чем ты?

— Ничего, друг мой, у тебя не выйдет. — Голос Дитриха звучал ласково.

— Почему?

— Твоя информация мной сейчас уже принята. Но не сегодняшним числом, и за ее злоумышленную задержку тебя расстреляют.

— Ловко! Но почему ты придаешь всему этому такое значение?

Дитрих ответил томно:

— Я дорожу честью третьего отдела «Ц». У нас никогда не было никаких промахов в работе, у нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.

Штейнглиц воскликнул горячо, искренне:

— Оскар, можешь быть спокоен — я тебя понял!

— Как утверждает Винкельман, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится быть всегда и при всех обстоятельствах красивым... — И Дитрих снисходительно потрепал Штейнглица по щеке.

Светало. Небо в той стороне, где была родина Иоганна, постепенно все больше и больше озарялось восходящим солнцем. Теплый воздух лучился блеском и чистотой. Через спущенное стекло в машину проникал нежный, томительный запах трав.

Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мертвящее оцепенение. Все душевные силы были исчерпаны. Сейчас он обернется и запросто застрелит своих пассажиров. Потом придет в подразделение и снова будет стрелять, стрелять, только стрелять! Это — единственное, что он теперь в состоянии сделать, единственное, что ему осталось.

Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы услышал голос Бруно, его последний завет: «Что бы ни было — вживаться. Вживаться — во имя победы и жизни людей, вживаться».

Да и чего Иоганн добьется своим малодушием? Нет, это не малодушие, даже предательство. Бруно не простил бы его.

Если б случилось чудо, и Бруно остался жив, и его бы попросили оценить свой подвиг, самое большее, что он сказал бы: «Хорошая работа», «Хорошая работа советского разведчика, исполнившего свои служебные обязанности в соответствии с обстановкой». Он бы так сказал о себе, этот Бруно.

Но почему Бруно? У этого человека ведь есть имя, отчество, фамилия. Семья в Москве — жена, дети. Они сейчас спят, но скоро проснутся, дети будут собираться в школу, мать приготовит им завтрак, завернет в вощеную бумагу, проводит до дверей, потом и сама уйдет на работу.

Кто ее муж? Служащий. Часто уезжает в длительные командировки. Все знают: должность у него небольшая, скромная. Семья занимает две комнатки в общей квартире. К младшему сыну переходит одежда от старшего, а старшему перешивают костюмы и пальто отца. И когда такие, как Бруно, погибают так, как погиб он, родственников и знакомых оповещают: скоропостижно скончался — сердце подвело. И все. Даже в «Вечерней Москве» не будет извещения о смерти.

Но на смену этому времени должно же прийти другое время. Пройдет много, очень много лет, прежде чем дети чекиста смогут сказать: «Отец наш...» И рассказ их прозвучит как легенда, странная, маловероятная, невероятная легенда о времени, когда это называлось просто: работа советского разведчика в тылу врага.

Но не потом, а сейчас, сразу же изучат соратники погиб-

шего обстоятельства его смерти. Для них его смерть — рабочий урок, один из примеров. И если все, до последнего вдоха, окажется логичным, целесообразным, запишут: «Коммунист такой-то с честью выполнил свой долг перед партией и народом».

Но этот человек, которого называли Бруно, — советский гражданин. Разве нет у него имени, отчества, фамилии?

Где они, имена тех чекистов-разведчиков, которые отдали жизнь, как отдал ее Бруно, чтобы предупредить Родину об опасности? Где они, их имена? А ведь были люди, которыми меньше повезло, чем Бруно. Их смерть была медленной. Хорошо продуманные пытки, которые они выносили, тянулись бесконечно долгие месяцы. А когда гестаповцам случалось иной раз и переусердствовать и приближалась смерть-избавительница, светила медицинской науки снова возвращали этих мучеников к жизни, что было ужаснее самой лютой смерти. И все время, пока тела их терзали опытные палачи, удары затаивающего пульса глубококомысленно и сосредоточенно считали гестаповские медики. Сотой доли этих смертных мук не перенес бы и зверь, а они переносили. Переносили и знали, что этот последний их подвиг останется неизвестным, никто из своих о нем не узнает. Никто. Гестапо умерщвляло медленно и тайно. И мстило мертвым, устами засланных предателей клеветца на них. И гестаповцы предупреждали свои жертвы об этом — о самой страшной из всех смертей, которая ожидает их после смерти. Не знаю, из какого металла или камня нужно извлекать памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа.

Бруно! Иоганн вспоминал, как он подшучивал над своими недомоганиями, болезненностью, хилостью. Да, он был хилый, подверженный простуде, с постоянно красным от насморка носом. В каких же чужеземных казематах была когда-то выстужена кровь этого стойкого чекиста? А постоянные боли в изъезженном тюремными голодовками желудке?

Плешивый, тощий, вечно простуженный, со слезящимися глазами, с преждевременными морщинами на лице, и в то же время подвижный и жизнерадостный, насмешливый. Как все это не вяжется с представлением о парадно-рыцарском облике героя! А конфетки, которые он всегда сосал, утверждая, что сладкое благотворно действует на нервную систему? Бруно! Но ведь он не Бруно. Может, он Петр Иванович Петухов? И когда он шел к себе на работу по улице Дзержинского, невозможно было отличить его от тысяч таких же, как и он, прохожих.

И он, как другие сотрудники, многосемейные «заграничники», получая задание, рассчитывал на командировочные, чтобы скопить на зимнее пальто жене, и на прибавление к

отпуску выходных дней, не использованных за время выполнения задания. Зарплата-то как у военнослужащего, плюс за выслугу лет, как у шахтеров или у тех, кто работает во вредных для здоровья цехах.

Только, знаете ли, в знатные люди страны, как бы он там у себя ни работал, какие бы подвиги ни совершал, ему не попасть: не положено.

Объявят в приказе благодарность. Даже носить награды не принято. Не тот род службы, чтобы афишировать свои доблести, привлекать к себе внимание посторонних.

Уважение товарищей, таких же чекистов, сознание, что ты выполнил свой долг перед партией, перед народом,— вот высшая награда разведчику.

Иоганн знал, что если представится возможность, он кратко сообщит в Центр: «Посылая радиogramмы о сроках нападения на СССР, погиб Бруно. Противник данными о нем не располагает». И все. Остальное—«беллетристика», на которую разведчику потом указывают, как на растрату отпущенного на связь времени.

Иоганн снова и снова анализировал все, что было связано с подвигом Бруно. Нет, не случайно Бруно оказался поблизости от их расположения. Он, вероятно, предполагал, что Иоганн способен на опрометчивый поступок и, узнав о дате гитлеровского нападения, может себя провалить, если поступит так, как поступил Бруно. Иоганн проник в самое гнездо фашистской разведки. Бруно это не удалось, и поэтому он счел целесообразным выполнить то, что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна сохранить. Бруно, наверное, рассчитывал, что о похищенной рации станет известно Иоганну и тот поймет, что информация передана.

Иоганн не знал, что Бруно хотел взорвать машину, чтобы не попасть в руки фашистов, но не успел: пуля перебила позвоночник, парализовала руки и ноги. Это не оплошность—стечение обстоятельств. И когда выворачивали его сломанную ногу, топтали раздавленную кисть руки, жгли тело, он почти не ощущал боли. Никто не знал этого. Знал только Бруно. Боль пришла, когда задела его сломанный позвоночник. Она все росла и росла, и он не мог понять, как еще живет с этой болью, почему она бессильна убить его, но ни на секунду не потерял сознания. Мысль его работала четко, ясно, и он боролся с врагом до самого последнего мгновения. Умер он от паралича сердца. Сознание Бруно все выдержало, не выдержало его усталое, изношенное сердце.

Иоганн снова увидел лицо Бруно с откинутым лоскутом кожи, его внимательный оживший глаз словно беззвучно доложил Иоганну: «Все в порядке. Работа выполнена». Именно «работа». «Долг» он бы не сказал. Он не любил громких

слов. «Работа» — вот самое значительное из всех слов, которые употреблял Бруно.

— Эй, ты! — Дитрих ткнул Вайса в спину. — Что скажешь об аварии?

Иоганн пожал плечами и ответил, не оборачиваясь:

— Хватил шнапсу, ошалел. Бывает... — И тут же, преодолевая муку, медленно, раздельно добавил: — Господин капитан, вы добрый человек: вы так старались спасти жизнь этому пьянице.

Да, именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это было труднее всего, что выпало на его долю за всю, пусть пока недолгую, жизнь.

— Хорошо, — сказал Дитрих. И в зеркальце Иоганн увидел, как он толкнул локтем Штейнглица. Потом Дитрих повторил еще раз: — Все хорошо. Отлично.

Штейнглиц заметил не без зависти:

— У тебя истинно аналитический ум, ты все учел.

— Ум — хорошо, — сказал Дитрих. — А хороший аппетит — еще лучше. Объявил: — Однако я проголодался.

Они подъехали к хутору. Вайс остановил машину возле виллы и по приказанию Дитриха пошел разыскивать повара.

Наступил день, светило солнце, служащие спецподразделения чистили у колодца зубы, умывались, брились, наклонившись над тазами. В нижнем белье, в трусах, они совсем не походили на солдат. Многие вышли в домашних теплых туфлях из клетчатого сукна, на войлочной подошве. Пахло туалетным мылом, мятной зубной пастой, одеколоном. И нужно было жить, улыбаться, разговаривать. Как будто ничего не произошло и не было этой ночи, никогда не было на свете Бруно...

18

Фашистская Германия точно рассчитала, умело выбрала момент для разбойничьего нападения на Советский Союз. Мощный сосредоточенный удар потряс страну.

И было бы неверно изображать рейхсканцлера Адольфа Гитлера только бесноватым истериком-психопатом, как это делают теперь, стараясь перещеголять друг друга, его единомышленики по службе в бундесвере. Многие полезные для германского милитаризма стратегические идеи Гитлер заимствовал у выдающихся государственных деятелей таких могучих империалистических держав, как США, Великобритания, Франция.

Они не только поощряли Гитлера в его стремлении нанести главный удар на Восток, но и любезно предоставили ему денежные займы, стратегические материалы, оказывали содействие советами.

Альфред Розенберг на обеде, данном в его честь в Лондоне, куда он прибыл по личному поручению Гитлера, отвечая на любезность любезностью, обещал: «Германия уничтожит большевиков с полного одобрения и по поручению Европы».

И надо думать, что Гитлер не уступал в хитрости многим главам великих империалистических государств, если сумел заставить их авансом, в счет оплаты за будущее уничтожение Страны Советов, заплатить фашистской Германии целыми европейскими странами.

Эта способность совершать международные сделки объясняет то обстоятельство, что не случайно именно на него, а не на кого-нибудь иного, империалистические державы возлагали свои самые сокровенные надежды.

Вначале Гитлер не чуждался скромной роли наемного убийцы, он всячески старался изобразить, что руководствуется якобы одними лишь политическими мотивами и намерен направить свои действия только против одного народа — советского. Но когда великие державы выплатили ему вперед всю европейскую наличность и Франция стыдливо обнажила перед германским империализмом свои государственные границы, Гитлер, ничем уже не удерживаемый от соблазна, за пять недель сломил тщетное сопротивление и овладел и Францией, деликатно оставив правительству Виши прелестный уголок на юге страны для неги и размышлений о превратности судьбы.

Поражение в Дюнкерке английского экспедиционного корпуса знаменовало закат мощи британских сухопутных армий. И из туманного неба на Лондон беспощадно посыпалась лавина немецких авиабомб.

Отнюдь не из милосердия, а побуждаемый общностью империалистической идеологии и интересов, Гитлер направил 10 мая 1941 года в Лондон своего заместителя Гесса со снисходительным предложением заключить мир.

Правящие круги Англии вынуждены были тогда уклониться от сговора с фашистской Германией, как ни был он соблазнителен. Ведь взамен военного поражения они понесли бы тяжкое экономическое поражение, и не от кого-нибудь, а от своих главных конкурентов на мировом рынке — германских промышленных магнатов. Кроме того, даже если бы они и пожертвовали рыночными интересами, в те времена уже нельзя было не считаться с английским народом, ненависть к фашизму которого могла обрушиться на голову правительства, капитулировавшего перед Гитлером.

По свидетельству фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, «планируя нападение на СССР, Гитлер исходил из того, что Россия находится на стадии создания собственной военной промышленности, и этот процесс еще не закончен, а кроме

того, Сталин в 1937 году уничтожил лучшие кадры своих высших военачальников».

И это и еще многое другое внушило генеральной штабу вермахта непоколебимую уверенность в том, что детально разработанный и тайно размноженный всего в девяти экземплярах план нападения на Советский Союз, план «Барбаросса», — высшее достижение германского военного гения.

Войну против СССР гитлеровские стратеги рассчитывали провести за шесть — восемь недель и, во всяком случае, при любых обстоятельствах закончить к осени 1941 года.

Германские военные силы, тайно сосредоточенные на границах Советского Союза, в то время были самыми могучими, самыми высокооснащенными и самыми опытными из всех армий мира.

Фашистская Германия, упоенная военными победами, после того как гестапо просеяло трудовое население страны сквозь тюремные решетки, а лучших сынов народа бросило в концентрационные лагеря, кладбищенские пространства которых ваяли значительные жизненные пространства, — эта Германия была надежным тылом, надежной опорой вермахта.

Уже к лету 1940 года под контролем фашистской Германии и Италии оказались страны с населением около 220 миллионов человек, и все экономические ресурсы этих стран направлялись на усиление мощи германской военной машины.

8 июля 1941 года Гитлер отдал приказ: «Москву и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы...» «Что касается Москвы, — разъяснил Гитлер, — это название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам большую свалку». О населении директива его была столь же короткой и ясной: «Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе Древнего Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие для германской нации господ».

22 июня 1941 года, около четырех часов утра, на рассвете, гитлеровские полчища напали на СССР.

Началась Великая Отечественная война советского народа. Она длилась 1418 дней и ночей.

Во втором эшелоне вместе со штабами, службами тыла, хозяйственными взводами, ротой пропаганды, медицинскими батальонами, кухнями, трофейными командами продвигалось и подразделение майора Штейнглица.

Жарко, душно, пыльно...

Но обе стороны шоссе горели деревни, леса, хлеб на по-

лях, сама земля. И казалось, не от солнца эта жара, а только от пылающих пожаров.

И когда колонна почему-либо останавливалась и смолкал шум моторов, то сразу наступала глухая, словно на дне пропасти, тишина, и слышно было только сухое потрескивание пламени, шуршание, да глухо рушились горящие бревна..

Небо было чистое, прозрачное, светящееся, и ритмично, через точные промежутки времени, его как бы разрезал вдоль металлический гул низко летящих плотным строем бомбардировщиков, и по земле скользили их серые плавучие тени. Но бомбардировщики пролетали, и снова все вокруг обволакивала вязкая, как расплавленное стекло, тишина.

У переправы колонны остановились. Все вышли из машин, разминались, отряхивались от пыли.

Здесь тянулась оборонительная полоса, по-видимому недостроенная: валялись лопаты, кирки, бочки с цементом, бревна для накатов, пучки арматуры. И трупы. Множество трупов. Траншеи всюду пересечены отгисками танковых гусениц, — значит, исход боя решила моторизованная часть.

Военнослужащие тыловых подразделений с тем пренебрежением к мертвецам, на какое способны лишь люди, сумевшие изворотливо избежать опасностей фронта, жадной толпой бросились смотреть на убитых большевиков.

Пожалуй, только один майор Штейнглиц с опытным видом деловито осматривал трупы и ворочалих, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений.

У большинства убитых он обнаружил множественные ранения, даже тяжелораненых перевязывали здесь же, на поле боя, и по несколько раз. Значит, и раненые не покидали позиций, продолжали бой, не уходили в тыл.

Судя по документам, которые Штейнглиц вынул из карманов убитых, это были солдаты, не прослужившие еще и года.

Возле ручного пулемета лежал на боку солдат, голова его вдавлена в землю, обрубок левой руки толсто перебинтован и у плеча стянут жгутом из телефонного провода в черной резиновой оболочке. А вот еще один, тоже без руки, а в зубах, как сигарета из меди, блестит взрыватель. Между колен — граната, так и склонился над ней...

И все они, настигнутые смертью, замерли, оцепенели, как бы остановив движение времени, запечатлев своими недвижимыми телами самое напряженное мгновение боя.

Женщина, с санитарной сумкой через плечо, с разорванными пачками патронов в судорожно сжатых руках, лежит щекой на винтовке, и кто-то бесстыдно задрал подол ее юбки.

Одни мертвецы в окопах, другие впереди, за бруствером, но нет ни одного позади окопов, в ходах сообщения, в недостроенных блиндажах.

В капонирах, куда, очевидно, сносили обеспамятевших раненых,—груда мертвых тел. Штейнглиц понял: раздраженный потерями немецкий офицер не стал удерживать солдат от расправы...

Вернувшись в машину, майор к своему обычному «поехали» добавил:

— Не нравятся мне эти русские. — И объяснил: — Вести бой с превосходящими силами, не располагая элементарными условиями для обороны, могут только иступленные фанатики.

Через несколько километров они увидели на полуобгорелом пшеничном поле разбитые советские танки «Т-26», вооруженные одними пулеметами. Вести на таких машинах танковый бой — все равно что в древних рыцарских доспехах вступить в поединок с орудийным расчетом.

Но среди этих стальных трупов были и два немецких танка. Видно, не случайно советские танки столкнулись с ними, таранили их, воспламенив горючим из лопнувших баков.

Штейнглиц заметил вскользя:

— Русские не только не умеют делать свои машины, но и водить их. — Долго смотрел в окно на бесконечные поля пшеницы, сказал с одобрением: — О, здесь богатые имения, я таких не видел в Европе. Интересно, где сейчас их владельцы? — Посмотрел на часы: — Время обеденное, у меня разыгрался аппетит. — И приказал Вайсу остановиться в ближайшей деревне, узнать, где ее староста, чтобы умыться, пообедать и отдохнуть у него.

Эта деревня горела, как и все другие деревни, но никто из немногих оставшихся тут жителей не пытался загасить пламя.

Майор вышел из машины, подошел к старику, копавшему яму в палисаднике, и объяснил жестами, что хочет пить. Старик понял, воткнул лопату в землю и так спокойно и медленно вошел в горящую хату, будто это был не огонь, а только огненно-яркий свет.

Он вернулся с ковшом и подал его Штейнглицу. Тот поднес ковш к губам, отпил с наслаждением и тут увидел лежащую на краю ямы мертвую молодую женщину.

Старик поплевал на ладони, продолжая копать землю.

Майора ужаснула мысль, что вода отравлена. Но тут же, по свойственной ему логике мышления, он отогнал эту мысль как вздорную: откуда у старика яд, и потом он так спокойно ведет себя...

Штейнглиц вынул сигареты, предложил старику. Тот взял машинально, тяжело опираясь грудью о ручку лопаты, и, глядя лучистыми, какими-то детски-грустными глазами, показал на яму:

— Вот, внучку хороню. Вы ее убили, значит. Понял? Вы! Штейнглиц решил, что он просит еще сигарет, и снова вынул из кармана пачку, достал одну сигарету, протянул старику. Тот положил ее про запас за ухо и таким же воркующим голосом сказал:

— Ты, немец, видать, добрый, но все равно я вас резать буду. Я теперь человек немилосердный, не прощающий.

Майор принял эти слова за выражение благодарности и потрепал старика по плечу, а потом повернулся, чтобы идти к машине. И тут старик, как топор, вознес лопату ребром над головой Штейнглица.

Майора спасло только то, что он в этот момент поскользнулся на глине, выброшенной из ямы. Лопата рассекла воздух и вонзилась в доски, приготовленные для могилы.

Засовывая дрожащими руками пистолет обратно в кобуру, майор влез в машину и, несмотря на духоту, поднял с обеих сторон стекла, будто защищаясь ими. Он даже не позволил Вайсу считать глину со своего мундира. Приказал скорее ехать в штаб ближайшей части СС, чтобы потребовать расправы над всеми жителями деревни за покушение на его жизнь.

Но Вайс позволил себе высказать предположение, что старик, наверное, просто обиделся: ведь майор вылил на землю воду, не допив ее до конца, а здешние жители считают это самым страшным оскорблением своему дому.

— Да? — удивился Штейнглиц. — Какая дикость!

Сожалел ли Иоганн о том, что старик не убил Штейнглица? Нет. Если бы это случилось, он утратил бы канал для продвижения в службу абвера. И Вайс решил, что будет удерживать майора от небезопасных путешествий. Сейчас Штейнглиц был ему особенно нужен. Только сохранив ему жизнь, сделав его орудием поражения тайной фашистской службы, Иоганн сможет отомстить Штейнглицу за все, и за смерть этого старика с глазами ребенка.

И он сказал совершенно искренне:

— Господин майор, за то, что я отпустил вас одного, я считаю, меня нужно повесить.

— О!

— Можете в меня стрелять, но теперь я не отойду от вас ни на шаг.

Штейнглиц, растроганный такой преданностью, счел даже возможным пошутить:

— Хорошо. За исключением, конечно, тех случаев, когда моя дама сочтет твое присутствие нежелательным. — Майор впервые в жизни разрешил себе такую вольность в разговоре с человеком, стоящим ниже его.

С того момента, как Иоганн увидел родную землю, обожженную, окровавленную, растерзанную фашистами, его охва-

тила спасительная, леденящая ярость, какое-то мстительное спокойствие. Иоганн даже порадовался: он здесь, в безопасности, тащится во втором эшелоне, и за спиной у него развалился, наслаждаясь отдыхом, крупнейший немецкий разведчик. И если Иоганн сочтет нужным, он запросто укокошит его или кучу таких же фашистов из автомата. Может взорвать штаб. Взять за свою жизнь сотни вражеских. Может. Но не должен. Не имеет права.

От него, советского разведчика, сейчас требуется неизмеримо большее — спокойствие. Подвиг бездействия, подвиг ожидания, подвиг молчания, когда все в нем, каждый его нерв кричит.

Как же так, говорили: ни пяди не отдадим!

Кто виноват, кто?

Бруно ведь передал, передал же Бруно по радию обо всем!

А разве и он, Иоганн Вайс, не сообщал каждую неделю о сосредоточении на границе гитлеровских армий, собираемых здесь в кулак из всех оккупированных стран Европы? В своей последней информации он передал, что во многих глубинных городах Польши появились таможенники и пограничники. Это означало, что вермахт принял границу у пограничных частей.

Разве когда-нибудь утихала ненависть к фашистам у советского народа, разве не жил советский народ в мужественном ожидании схватки с фашизмом?

Разве кто-нибудь сомневался, что война неминуема?

Так почему же фашисты застали его страну врасплох? Почему?

На шоссе появились дорожные знаки с надписями: «Внимание! Опасность! Объезд!»

Колонна, в которой они ехали, свернула на проселок, и теперь машины тряслись на бревнах настила, ныряли в ухабы, застревали в низких заболоченных местах, и все время слева, оттуда, где осталось шоссе, доносились частые, но экономно короткие пулеметные очереди, глухие разрывы гранат, мощные залпы орудий.

Скоро Вайс узнал о причине объезда. Оказалось, крохотный гарнизон дота перекрыл пулеметным огнем движение на шоссе и ведет бой с немецкой артиллерией и танками.

Штабной офицер сказал Штейнглицу, что красные цепями приковывают своих солдат к пулеметам и орудиям. Штейнглиц иронически посоветовал офицеру выделить специальные подразделения и снабдить их слесарным инструментом, чтобы они помогли красным освободиться от цепей.

Вайс заметил, что углы сухих губ Штейнглица обиженно отвисли, он раздражен, и зрелище следов победоносного прорыва германской армии не возбуждает, а как-то даже удручает его.

И действительно, Штейнглиц чувствовал себя глубоко обиженным, обойденным человеком.

Восточный фронт был для него своего рода ссылкой. Его специальность — Запад. Но после лондонской истории его лишили привычного поля деятельности. Он не был трусом. Во время войны в Испании он пробрался в республиканские части, сражался в них и давал информацию о том, как эффективно ручные гранаты с взрывателями мгновенного действия взрываются в руках бойцов-республиканцев, снаряды, не разрываясь, падают в окопы франкистов, как неисправимо отказывают пулеметы, как стволы орудий лопаются после первого же выстрела.

Все это вооружение и боеприпасы гитлеровцы продали республиканцам через подставных лиц. И Штейнглиц в боевых условиях проверил, насколько успешно осуществил эту тайную операцию второй отдел «Ц».

Когда Каммхубер, разработавший план убийства германского посла в Праге и доверивший немаловажную роль в этой операции Штейнглицу, предложил ему в 1940 году отправиться во Фрейбург, чтобы во время налета на него гитлеровской эскадрильи «Эдельвейс» сразу же организовать доказательство, что этот немецкий город разбомбили французские самолеты, Штейнглиц отлично справился с поручением. Даже осколки немецких бомб, извлеченные хирургами из тел людей, пострадавших во время налета, Штейнглиц заменил осколками бомб французского производства; выявил, кто из немцев — жителей Фрейбурга — хорошо разбирается в силуэтах самолетов, и убрал их, как опасных свидетелей. Это была чистая, увлекательная работа, к тому же она принесла награды и повышение по службе.

А что сулил ему Восточный фронт? Весь успех припишут себе армейские полководцы, а молниеносное продвижение механизированных воинских частей не дает возможности раскинуть сеть агентурной разведки для серьезной диверсионно-террористической работы.

Штейнглиц знал, что его коллеги, специализировавшиеся на восточных районах, давно подготовили из буржуазно-националистических элементов диверсионные банды, в задачу которых входило рвать связь, сеять панику, убивать ни о чем не подозревающих людей. Он знал также, что десанты этих бандитов, переодетых в красноармейскую форму, уже сброшены сюда, на русскую землю, с германских самолетов.

Знал он и о сформированном еще в конце 1940 года полке особого назначения «Бранденбург». Полк этот создали для проведения диверсионных актов на Восточном фронте. Он был скомплектован из немцев, хорошо знающих русский язык, и его личный состав обмундировали в советскую военную форму и снабдили советским оружием.

Но все это чужие, а не его, Акселя Штейнглица, достижения. Грубая, примитивная работа, ее может выполнить любой старший офицер вермахта. Фельдмаршал Браухич насовал в этот «Бранденбург» выскочек из своей свиты. Они-то уж получают рыцарские кресты за успешное выполнение особого задания. Ну и пусть получают! Штейнглиц считал ниже своего достоинства руководить безопасными массовыми убийствами доверчивых советских солдат и офицеров и вовсе не хотел, чтобы ему поручили командовать такой диверсионной частью. Это занятие для армейцев. Профессиональная гордость матерого шпиона, опытного диверсанта была ущемлена уже одним тем, что ему, будто он мусорщик, поручили собирать брошенные советские документы.

И победоносное продвижение германских армий по советской земле Штейнглиц воспринимал в эти дни как свое поражение, как крушение своих надежд, как гибель карьеры.

Вначале Вайс не мог понять причины подавленного настроения майора, его хмурой, унылой озабоченности. Но постепенно по брезгливым, ироническим репликам Штейнглица стало ясно, что тот недоволен своим нынешним положением, тяготится возложенным на него поручением, ревнует к успехам армейцев. И после того, как пришлось свернуть с шоссе в объезд, он злорадовался, что ни артиллерия, ни танки не могут так долго справиться с одиноким советским гарнизоном, засевшим в доте и нарушившим передвижение тыловых колонн.

Он даже одобрительно отзывался о старике, чуть было не убившем его. Сказал, что русские, хотя они и неполноценны в расовом отношении, все же чем-то напоминают ему испанцев, и напрасно капитан Дитрих рассчитывает, что путь в Москву окажется такой же увеселительной прогулкой, какой была для немецкой армии дорога к Парижу.

И Вайс понял, что Штейнглиц расстроен из-за неприятностей по службе, раздражен и в свою очередь готов доставить неприятности кому угодно, лишь бы утолить обиду, причиненную ему начальством.

Населенный пункт, который, согласно дислокации, отводился для расположения ряда спецслужб, оказался местом боевых действий. Отступающий советский гарнизон занял его и превратил в узел обороны.

Это неожиданное обстоятельство внесло суматоху и растерянность в колонны второго эшелона, и офицеры не знали, как им поступить. Приказано было обосноваться в этом населенном пункте, а как обоснуешься, когда он занят противником? Нарушить приказ невозможно. Выполнить — тоже невозможно.



Посоветовавшись, командиры спецслужб отдали распоряжение сойти с дороги и располагаться близ населенного пункта, но в таком месте, где огонь противника не мог нанести урона.

В той, иной жизни, где Иоганн был не Иоганн, а Саша, он в туристских студенческих походах, на охоте с отцом научился с наименьшими неудобствами приспособляться к самым различным условиям, независимо от природы, климата и времени года. Да и служба в армии кое-что дала ему.

И сейчас он в заболоченной местности выбрал местечко посуше, где кочки были с бурым сухим оттенком, наметил лопатой квадрат, окопал его со всех сторон канавой. Нарубил тальника, выложил квадрат охапками веток, потом торфом, снова ветками и на этом пьедестале растянул палатку. Разложил внутри нее дымный костерчик из гнилушек, выкурил комаров и только после этого затащил полог.

Штейнглиц неподалеку беседовал о чем-то с Дитрихом, при этом они нещадно били себя по лицам ветками, отмахиваясь от комаров.

Вайс доложил, что палатка готова и в ней обеспечена полная гарантия от комаров.

Штейнглиц пригласил Дитриха.

Хотели этого оба офицера или нет, но обойтись без Вайса они не могли, хотя принимали все его услуги как должное. Он приспособил чемодан Дитриха вместо стола, застлал противоипритной накидкой и даже умудрился прилично сервировать. Быстро приготовил на костре горячий ужин и, стоя на коленях — свод-то у палатки низкий, — ухаживал за офицерами. И, беспокоясь о здоровье своего хозяина, настаивал, чтобы тот пил шнапс, а не вино, утверждая, что комары — разносчики малярии и нет лучшего средства избежать заболевания, чем пить спирт.

Дитрих еще более Штейнглица заботился о своем здоровье и потому пил не переставая.

В палатке было темно. Иоганн попробовал снова разжечь костер, но от едкого дыма запершило в горле и заслезились глаза. Пришлось погасить огонь. А Дитрих то и дело беспокойно ощупывал свое распухшее от комариных укусов лицо и непременно хотел посмотреть на себя в зеркало.

Иоганн взял пустую жестянку, набил туда жир от консервированных сосисок, отрезал кусочки от брезентовых тесемок, которыми соединялись полотнища палатки, воткнул в жир, распушил и зажег, как фитили. И получился отличный светильник.

Оба офицера были пьяны, и каждый по-своему.

Штейнглиц считал выпивку турниром, поединком, в котором он должен был выстоять, сохранить память, ясное сознание. Алкоголь — прекрасный способ расслабить волю, притупить настороженность партнера, чтобы вызвать его на безу-

держную болтливость. И Штейнглиц умело пользовался этим средством, а себя приучил преодолевать опьянение, и чем больше пил, тем сильнее у него болела голова, бледнело лицо, конвульсивно дергалась левая бровь, но глаза оставались, как обычно, внимательно-тусклыми, и он не терял контроля над собой.

Он никогда не получал удовольствия от опьянения и пил сейчас с Дитрихом только из вежливости.

К Дитриху вместе с опьянением приходило сладостное чувство освобождения от всех условностей и вместе с тем сознание своей полной безнаказанности. Вот и теперь он сказал:

— Слушай, Аксель, я сейчас совсем разденусь — оставляю только фуражку и портупею с пистолетом, — выйду голый, подыму своих людей и буду проводить строевые задания. И, уверяю тебя, ни одна свинья не посмеет даже удивиться. Будут выполнять все, что я им прикажу. — И начал раздеваться.

Штейнглиц попробовал остановить его:

— Не надо, Оскар, простудишься.

Дитрих с трудом высунул голову за полог палатки, проверил.

— Да сыровато... Туман. — Задумался на секунду и сказал, радуясь, что нашел выход: — Тогда я прикажу всем раздеться и буду командовать голыми солдатами.

Штейнглиц буркнул:

— У нас с тобой разные вкусы.

Дитрих обиделся. Презрительно посмотрел на Штейнглица, спросил:

— Как ты считаешь, мы соблюдаем приличия в своих международных обязательствах?

— А зачем?

— Вот! — обрадовался Дитрих. — Хорошо! Сила и мораль несовместимы. Сила — это свобода духа. Освобождение от всего. И поэтому я хочу ходить голый. Хочу быть как наш дикий пращур.

Штейнглиц молча курил, лицо его подергивалось от головной боли.

Вайс подал кофе. Подставляя пластмассовую чашку, Дитрих сказал:

— В сущности, все можно сделать совсем просто. Если предоставить каждому по одному метру земли, то человечество уместится на территории немногим больше пятидесяти квадратных километров. Плацдарм в пятьдесят километров! Дай бумагу и карандаш, я подсчитаю, сколько нужно стволов, чтобы накрыть эту площадь, скажем, в течение часа. Час — и фьють, никого! — Поднял голову, спросил: — Ты знаешь, кто изобрел версию, будто Советский Союз разрешил частям вермахта пройти через свою территорию для завоевания Ин-

дии? — И сам же ответил с гордостью: — Я! А ведь отличное прикрытие, иначе как объяснить сосредоточение наших войск на советской границе?

— Детский лепет, примитив, никто не поверил.

— Напрасно ты так думаешь. Дезинформация и должна быть чудовищно примитивной, как рисунок дикаря. — Задумался, спросил: — Ты читал заявление ТАСС от четырнадцатого июня? — Он порылся в сумке, достал блокнот, прочел: — «...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...» — Перевод звучал механически точно.

Штейнглиц свистнул.

— Первоклассная дезинформация. Наша работа?

— Нет, — голос Дитриха звучал сухо, — это не работа нашей агентуры. Мы вчера захватили важные советские документы. Представь, в случае нашего вторжения Наркомат Обороны приказывает своим войскам не поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать крупных осложнений, — и только. В этом я вижу выражение слепой веры большевиков в обязательства, в законы международного права.

— Ерунда! — возразил Штейнглиц.

Дитрих устоял на неровный огонек светильника, сказал убежденно:

— Нам следует собрать их всех в кучу. — И показал руками, как это делать. — Сколько под них надо — десять — двадцать квадратных километров, — и всех... — Он поднял палец. — Всех! Иначе они нас... — И так резко махнул рукой, что от ветра погас светильник.

Вайс снова зажег фитильки и вопросительно взглянул на Дитриха.

Тот, вероятно приняв Вайса за Штейнглица, взял его за плечи, пригнул к себе и прошептал в самое ухо:

— Аксель, ты осел! Мы влезли в войну, победу в которой не выигранные сражения, а только полное уничтожение большевиков. Полное! Чтобы ни одного свидетеля не осталось на земле. И тогда мы все будем ходить голые, все! И никто не скажет, что это неприлично. — И снова попытался раздеться, но тут же свалился на пол, захрапел.

Вайс вместе со Штейнглицем уложил Дитриха спать.

Вышли из палатки.

Болото дымилось туманом, луна просвечивала на небе салым пятном, орали лягушки.

Помолчали. Закурив, Штейнглиц счел нужным объяснить поведение Дитриха:

— Вчера капитан понервничал: допрашивал двух ране-

ных советских офицеров, они вели себя как хамы — вызывая. Оскар ткнул одному из них в глаз сигарету, а тот ему нагло пообещал сделать из Берлина пепельницу. А один пленный ударил головой его в живот. В сущности, ничего от них такого не требовали: вернуться к своим и предложить окруженной части капитулировать. Могли бы, в конце концов, и обмануть. Странное поведение... — Потянулся, зевнул. И вдруг пошатнулся, успел схватиться за плечо Вайса, признался: — Шнапс в ноги ударил. — И полез в палатку спать.

19

На следующий день подразделение майора Штейнглица приступило наконец к своим прямым обязанностям.

В большой, госпитального типа палатке за раскладным столом четыре солдата, в том числе и Вайс, занимались сортировкой документов. Часто среди них попадались испорченные, залитые кровью. Такие документы бросали в мусорные корзины из разноцветной проволоки.

Нумеровали печати и штампы после того, как с них был сделан оттиск на листе бумаги, и складывали в большой сундук.

Карты, если на них не было никаких пометок, выбрасывали, если же имелись пометки или нанесенные от руки обозначения, — передавали ефрейтору Вольфу. Тот тщательно изучал каждую такую карту и некоторые из них, бережно сложив, прятал в портфель, в обыкновенный гражданский портфель с ремнями и двумя плоскими замками.

Солдаты-канцеляристы работали с чиновничьим усердием, и разговоры они вели мирные: о своем здоровье, о письмах из дому, о ценах на продукты, одежду, обувь. И, сортируя, просматривая бумаги, они периодически вытирали пальцы резиновыми губками, смоченными дезинфицирующей жидкостью, чтобы не подцепить инфекции. И если б не это обстоятельство, не их мундиры да желтый свет в целлулоидовых окошках палатки, все походило бы на обычное канцелярское заведение и ни на что другое.

Вольф, обнаружив запятнанные кровью бумаги, говорил всем:

— Господа, напоминаю: будьте внимательны и выбрасывайте неопрятные бумаги, не представляющие особой ценности.

За эти несколько суток лагерь на болоте превратился в аккуратный военный городок: всюду проложены дорожки из бревен, стоят столбы с указателями, штабные палатки окопаны траншеями, насосы день и ночь откачивают из траншей воду. Даже комаров стало меньше после того, как в воздухе распылили какую-то едкую жидкость, приспособив для этого ранцевые огнеметы.

И не только офицеры, но и солдаты выглядели подчеркнуто опрятно, будто и не было у них под ногами вонючей, грязной хляби, невылазной топи, трясины.

Мостики с перилами из белых березовых стволов, так отчетливо видные ночью, настилы для транспорта, линии проводов связи, аккуратно уложенные на торфяные брусья или поднятые на бамбуковых шестах, — все это и многое другое свидетельствовало об опытности, мастерстве, армейском умении, дисциплине штабных команд, об их прекрасной материальной оснащенности. И только одно было нелепым — то, что эти тыловые службы разместились в болоте, а не на сухом пригорке в нескольких километрах за пунктом, предназначенным для дислокации.

Мотомеханизированные соединения германской армии стремительно и глубоко клещами вгрызались в тело страны, безбоязненно оставляя у себя в тылу окруженные, изолированные и искромсанные в неравных сражениях островки советских гарнизонов: их оставляли на растерзание специальным частям, щедро снабженным всеми новейшими средствами уничтожения.

По сведениям немецкой разведки, в населенном пункте Кулички сначала заняли оборону несколько танков и до полуроты пограничников, но постепенно количество советских солдат увеличивалось. Каждую ночь к Куличкам с отчаянными боями прорывались все новые бойцы, хотя каждый раз при прорыве к гарнизону Куличек почти половина их погибала.

Немецкое командование полагало такое истребление противника экономичным. Для уничтожения гарнизона подошла артиллерийская часть, и все было подготовлено. Тщательно рассчитали, сколько нужно боеприпасов на соответствующую площадь, из скольких стволов они должны быть посланы, и орудия уже стояли в надлежащем порядке вокруг плацдарма. И все же, несмотря даже на то, что советский гарнизон не давал своим огнем германским частям продвигаться по шоссе, немцы медлили со штурмом, ожидая подхода танков.

Штейнглиц и Дитрих не сидели сложа руки. Они часто выезжали на огневые позиции, чтобы наблюдать за поведением противника, но так как специальности у них были разные, то и интересовали их разные стороны этого поведения.

Вайсу пришлось прервать труды в канцелярской палатке, чтобы сопровождать Штейнглица в его поездках.

Было известно, что советские танкисты в Куличках, когда у них иссякло горючее, закопали свои машины в землю. И никто не опасался внезапного прорыва танков со стороны окруженного гарнизона.

Но однажды ночью, когда Штейнглиц и Дитрих, как обычно, просматривали в стереотрубы с наблюдательного пункта специально оставленное дефиле, к которому истступленно и отчаянно пробивались сквозь пулеметный огонь разрозненные кучки советских солдат, вдруг в сторону шоссе, стреляя из пушки и пулемета, рванулся одинокий советский танк.

Тут же раздались залпы, и точно пристрелянные по секторам батареи подбили танк.

Штейнглиц и Дитрих приказали солдатам взять у погибших танкистов документы. Они правильно рассудили, что для этой машины, очевидно, были собраны последние остатки горючего и экипаж получил задание пробиться к более крупному советскому соединению не столько за помощью, сколько затем, чтобы получить приказ, как действовать гарнизону дальше: отступить или защищать этот плацдарм до конца.

Подобные приказы и запросы о них уже не однажды попадали в руки офицеров абвера. К тому же немецкие радиопы много раз перехватывали в эфире обращения окруженного гарнизона к высшим штабам.

Солдаты, посланные к разбитому советскому танку, не смогли выполнить приказ: осажденный гарнизон открыл такой огонь, что трое немцев были тут же убиты, а двое, раненые, еле приползли обратно.

Из следующих пяти солдат не вернулся ни один.

Если осажденный гарнизон охраняет подбитый танк, не щадя даже драгоценных боеприпасов, значит, в нем есть документы, которые ни в коем случае не должны попасть в руки врагу.

Новую пятерку солдат заставили ползти к танку только под угрозой расстрела. И снова трое были сразу же убиты. Двое проползли не больше десятка метров и зарылись в болото, лежали, не смея поднять головы.

Небо, светящееся, звездное, заболоченная равнина в блестящих бочагов, серебрятся кусты ивняка, тишина. А там, под пригорком, высится темная глыба двухбашенного советского танка в стальных рваных лохмотьях пробоев от немецких снарядов.

На НП, в чистеньком, аккуратном дзоте, обшитом светлым тесом, сидят на складных стульях немецкие офицеры. Ярко горит электрическая лампа, на столике судки-термосы с горячим ужином, на коленях у офицеров бумажные салфетки, они едят и разговаривают о еде.

Армейский офицер почтительно слушает Штейнглица. Майор рассказывает об особенностях испанской, английской, французской, итальянской кухни. Рассказывает он подробно, с полным знанием всех кулинарных тонкостей. Он хорошо знает эти страны, был там резидентом.

Дитрих изредка лениво вставляет свои замечания. Он тоже знаток европейской кухни, даже более осведомлен, чем Штейнглиц: он много путешествовал и останавливался в лучших отелях. Штейнглиц не мог себе этого позволять. Ведь он бывал за границей не ради удовольствия — выполнял агентурные задания, работал. И всегда, даже осуществляя самые ответственные операции, стремился сэкономить в свою пользу возможно большую сумму из отпущенных ему на проведение той или иной операции средств. И когда готовился к операции, досконально продумывая все ее детали, он с не меньшей тщательностью прикидывал, как бы побольше выгадать для себя, хотя заранее был известен размер денежного вознаграждения, которое ожидает его по возвращении, и он всегда получал его от начальника второго отдела «Ц» либо наличными, либо в виде чека.

Армейский офицер сказал, что часа через два подойдет вызванный им танк и тогда можно будет приблизиться к подбитой советской машине, чтобы взять у мертвых танкистов документы. А пока остается только терпеливо ждать.

Вайс, как это стало теперь обычным, молча прислуживал офицерам. Менял тарелки, раскладывал мясо, наливал вино в походные пластмассовые стаканчики, резал хлеб, подогревал на электрической плитке галеты с тмином и консервированную, залитую салом колбасу в плоских банках. И, сноровисто делая все это, размышлял, как ему следует сейчас поступить. Полтора десятка немецких солдат не достигли цели, и мало шансов достичь ее. Риск очень велик. Имеет ли он право рисковать?

Ему говорили дома: твоя жизнь теперь не будет принадлежать тебе. Это не твоя жизнь, раз от нее может зависеть жизнь других. И если ты опрометчиво, необдуманно пойдешь навстречу гибели, то погибнешь не только ты, а, возможно, и множество советских людей: они станут жертвами фашистских диверсий, коварных замыслов, которые ты мог бы предотвратить. Жизнь хорошего разведчика порой равняется иксу, умноженному на большое число, а за ним — человеческие и материальные ценности. Но если этот разведчик только и делает, что играет собственной жизнью, кичась своей личной храбростью, он ничего, кроме вреда, не принесет. Ведь сам по себе он ничего не значит, что бы там о себе ни воображал, какой бы эффектной, героической ни казалась ему собственная гибель. Разведчиком должен руководить глубоко и дальновидно оправданный расчет. И умная бездейственность в иных обстоятельствах несомненно ценнее какого-нибудь поспешного и необдуманного действия, пусть даже весьма отважного на первый взгляд, но направленного на решение лишь ближайшей, частной задачи. И необдуманно решившись на это действие, позабыв о главном, он перестает быть для против-

ника опасным. Он становится мертвым советским разведчиком, а если попадает в руки врага живым, его будут пытаться, чтобы узнать обо всем, что связано с его прежними делами.

Как же должен в данной ситуации поступить Иоганн? Конечно, он может погибнуть, вызвавшись добраться до советского танка. Но не обязательно ведь он погибнет, скорее всего доползет, заберется в танк и уничтожит пакет, который, несомненно, передали одному из танкистов. Если гарнизон счел необходимым собрать все горючее, чтобы танк попробовал прорваться, если к нему, рискуя остаться без боеприпасов, не дадут подойти, значит, пакет очень важный, от него зависит жизнь многих, наверное, не меньше, чем тысячи советских солдат и офицеров. Значит, пропорции сейчас такие: один к тысяче.

И хотя Иоганну запрещено рисковать собой, при таком соотношении он, пожалуй, имеет право на риск. Есть еще одно обстоятельство, с которым он не может не считаться. Долготерпение его не безгранично. Сколько же можно созерцать с безучастным видом окровавленную, обожженную землю Родины, смотреть, как убивают советских людей, и угодливо прислуживать убийцам, так, будто ни о чем другом он и не помышляет! Он должен дать себе передышку, хоть на несколько минут вырваться из этого мучительного бездельного, медленного существования. Только несколько минут действия, и он снова обретет силу воли, спокойствие, способность к притворству. Несколько минут — это так немного, и потом он опять, как прежде, будет выжидать, выжидать бесконечно. Ну, может он себе это позволить? И ничего с ним не случится, он будет очень осторожен и сумеет доползти до танка. И не о себе одном он думает: он хочет уничтожить пакет, чтобы спасти людей. Ну что тут плохого? Он уничтожит пакет и тут же вернется, и опять все пойдет по-прежнему. Нет, даже не по-прежнему: он станет еще изворотливее, еще хитрее, еще осторожнее и терпеливее.

Иоганн разложил на тарелки аккуратные кусочки горячей ветчинной колбасы и дымящийся картофель, разлил в пластмассовые стаканчики остатки коричневого рома, снял фартук, поправил пилотку.

— Господин майор, если я сейчас больше не нужен, разрешите мне взять документы из подбитого советского танка. — Все это он сказал таким тоном, каким спрашивал: «Вы позволите добавить соуса?»

Штейнглиц, по одному ему известным соображениям, не пожелал показать, как важна для него эта просьба. Что ж, солдат желает совершить подвиг — это естественно и даже обязательно для немецкого солдата. И майор, не поднимая глаз от тарелки, молча кивнул головой.

Иоганн снял со стены брезентовую сумку, из которой тор-

чали длинные деревянные ручки гранат, каску и автомат армейского офицера, надел все это на себя и, козырнув, вышел из блиндажа.

Небо потускнело, заволоклось реденькими облачками, но блеклый свет его по-прежнему отчетливо освещал каждый бугорок. Было тихо, сонно, серо, уныло. Трава застыла в знобкой росе.

Иоганн внимательно осмотрел болото. До танка безопаснее добираться не по прямой, а зигзагами: от одной впадины до другой, от кочки к кочке, от бугорка к бугорку. Прикинул и запомнил ориентиры, чтобы не потерять направление.

Он пополз, как только миновал окоп боевого охранения и казалось, не к танку, а в сторону от него. Заставлял себя часто отдыхать, ползти медленно, извиваясь, как пресмыкающееся, вдавливаясь в землю, тереться лицом о траву. Приказывал себе бояться малейшего хруста веточки, еле слышного бряцания железа, каждого шороха, бездыханно замирать, как не замирает даже, пожалуй, самый последний трус, когда страх сводит его с ума. Но именно ум повелевал Иоганну вести себя так, как ведет себя человек, иступленно боящийся смерти. Иоганн тоже боялся, но боялся не смерти: он боялся потерять жизнь, которая ему не принадлежала. У него было такое ощущение, будто он подвергает смертельной опасности не себя, а самого дорогого ему человека, жизнь которого несоизмеримо значительнее, важнее, чем его собственная. И вот этого очень нужного человека, человека, чья жизнь назначена для больших деяний, он подвергает опасности, и за это он отвечает перед всеми, кому жизнь этого человека дороже их собственной. Они доверили ее Иоганну Вайсу, а он не оправдал этого высокого доверия. И он дрожал за целостность этого человека и делал все, чтобы спасти его, уберечь от огромной опасности, которой подверг его Иоганн Вайс.

Он полз очень медленно, бесстыдно-трусливо, тщательно, опасливо выбирая малейшие укрытия. И, наверное, офицерам надоело следить за ним в стереотрубу, а Штейнглиц почувствовал даже нечто вроде конфуза: каким же трусом оказался его хваленый шофер! Конечно же им надоело следить в стереотрубу за Вайсом, ползущим, как серая мокрица, за этим трусом, позорящим мундир немецкого солдата. И хорошо, как-то легче, когда за тобой не наблюдают.

Иоганн посмотрел на светящиеся стрелки часов. Оказывалось, он только немногим более двух часов упорно и медленно волочит себя по болоту, делает бесконечные остановки и снова ползет в тишине, сырости, в грязи. И тут раздался выстрел, первый выстрел, и всем телом Иоганн ощутил, как удари-

лась о землю пуля советского снайпера. А потом началась охота за Вайсом. Пока стрелял один снайпер, немцы молчали, но когда раздались короткие пулеметные очереди, на них, словно нехотя, ответили бесприцельными длинными очередями, а потом решительно стукнул миномет — один, другой.

Иоганн, уже собирая последние силы, зигзагообразными бросками все ближе и ближе подбирался к танку, и чем расстояние до него делалось короче, тем длиннее становились очереди советского пулемета. Иоганн увидел, как у самого его лица словно пробежали цепочкой полевые мыши — это очередь легла возле его головы. Он замер, потом стал перекачиваться, потом опять полз: бросок вправо, бросок влево, два броска влево, один вперед. Если ранят, лишь бы не в голову, не в сердце. Тогда он все-таки доползет и успеет сделать то, что он должен сделать.

И вот Иоганн лежит под защитой танка.

Пахнет металлом. В нескольких местах зияют рваные пробоины, и из них кисло и остро тянет пороховым перегаром.

Передний люк открыт, из него свесилось неподвижное тело. Иоганн броском закинул себя в люк, пулеметная очередь безопасно ударила по броне, будто швырнули горсть гальки, но не успел он этого подумать, как боль обожгла его: пуля пробила ногу.

Иоганн не стал терять времени — он и потом успеет снять сапог, перевязать рану. Втянул мертвого танкиста в люк, быстро осмотрел его карманы. Пакета нет. У рычага скорчился еще один танкист — мертвый, залитый кровью. Светя себе в темноте зажигалкой, Иоганн обследовал и его карманы. Ничего, никаких бумаг. Может, в голенище? Иоганн склонился, и вдруг железо скользнуло по его голове и обрушилось на плечо.

Иоганн действовал так, как его учили действовать в подобных обстоятельствах. Он не вскочил, хотя инстинкт повелевает человеку встречать опасность стоя, а умело свалился на спину, согнул ноги, прижал их к телу, чтобы защитить живот и грудь, и, вдруг выпрямив, огромной силой нанес обоим ногам удар.

Боль в ключице и пробитой ноге на мгновение бросила его как бы в черную яму. Очнулся он от новой боли: кто-то, наверно оставшийся в живых танкист, бил его головой о стальную пол, пытался душить скользкими от крови руками. Иоганн оторвал от себя его руку, захватил под мышку и резко перевернулся, стараясь вывернуть руку из сустава. Теперь он лежал на танкисте, но задыхался, не мог произнести ни слова и отдышал, чтобы вздохнуть, чтобы что-то сказать. Потом настойчиво, повелительно потребовал:

— Пойми! Я свой.— Вздыхнув, Иоганн сказал: — А теперь слушай! — И стал отчетливо, словно диктуя, твердить: —

— Двадцать километров от Куличек на северо-запад Выселки, база горячего.— Потребовал:— Повтори! Ну повтори, тебе говорят... И запомни. Теперь, где пакет? Ведь есть же пакет?

Танкист потянулся к пистолету.

Иоганн сказал поспешно:

— Не надо... Придет фашистский танк. Понял? Танк. Надо уничтожить пакет.

Танкист опустил пистолет.

— Ты кто?

Иоганн подал зажигалку:

— Жги.

Танкист отполз от Иоганна и, не опуская пистолета, вынул пакет, чиркнул зажигалкой, поднес пламя к пакету, спросил:

— А кто про базу сообщит?

— Ты!

— Значит, мне обратно, к своим?

Иоганн кивнул.

— А почему не с пакетом?

— Можешь не добираться, убьют, и пакет останется при тебе. Понятно?

Танкист, помедлив, вымолвил:

— У меня еще карта с нашими огневыми позициями и минным полем. Жечь?

— Давай ее сюда.

Танкист навел пистолет.

Иоганн спросил:

— А еще карта есть?

— Какая?

— Такая же, только чистая.

— Допустим...

Иоганн, не то кривясь от боли, не то усмехаясь, спросил:

— Не соображаешь? Наметим ложные поля и огневые позиции там, где их нет, и подбросим карту.

— Да ты кто?

— Давай карты,— потребовал Иоганн.— У тебя же пистолет!

Танкист подал планшет.

Иоганн вытер руки, приказал:

— Свети!

Расстелив обе карты, стал наносить на чистую пометки.

Танкист, опустив пистолет, следил за его работой. Одобрил:

— Здорово получается! — и снова спросил: — Да кто ты?

Иоганн одну карту сжег, а другую вложил в планшет и сказал танкисту, показав глазами на труп:

— Повесь на него планшет.

Танкист выполнил его приказание.

— А теперь, товарищ,— голос Иоганна дрогнул,— прощай...

Танкист шагнул к люку. Иоганн остановил его:

— Возьмешь с собой вот его.

— Да он мертвый.

— Метров сто протащишь, а потом оставь — немцы подберут. Так до них карта дойдет убедительнее.

— А ты? — спросил танкист.

— Что я?

— А ты как же?

Иоганн приподнялся, ощупал себя.

— Ничего, как-нибудь поползу.

— Теперь меня слушай,— сказал танкист.— Я поползу, ты — за мной, бей вслед из автомата. Картинка получится ясная. Может, встретимся.— И танкист снова повторил: — Так не хочешь сказать, кто ты?

— Не не хочу, а не могу. Понял?

— Ну что ж, товарищ, давай руку, что ли! — И танкист протянул свою.

Вылез из люка, вытянул тело погибшего товарища и пополз, волоча его на спине.

Через несколько минут Иоганн последовал за ним. Тщательно прицелился из автомата и стал бить чуть правее частыми очередями, успел даже кинуть в сторону гранату. А потом немцы открыли огонь — мощный, вступили минометные батареи, рядом разорвалась мина, горячий и какой-то тяжелый воздух подбросил Иоганна, швырнул, и нестерпимой болью хлынула жгучая, липкая темнота. Очевидно, уже обеспамятев, он все-таки приполз к танку, укрылся под его защитой.

21

Иоганна Вайса доставили в госпиталь с биркой на руке. Если бы не было рук, то бирку прикрепили бы к ноге. При отсутствии конечностей повесили бы на шею.

Как и всюду, в госпитале имелся сотрудник гестапо. Он наблюдал, насколько точно медики руководствуются установкой нацистов: рейху не нужны калеки, рейху нужны солдаты. Главное — не спасти жизнь раненому, а вернуть солдата после ранения на фронт. Раненый может ослабеть от потери крови, от страданий, кричать, плакать, стонать. Но при всем этом он прежде всего должен, обязан исцелиться в те сроки, за какие предусмотрено его выздоровление.

За медперсоналом наблюдал унтершарфюрер Фишер. За ранеными — ротенфюрер Барч.

Барч был совершенно здоров, но лежал неподвижно, как

лежали все тяжелораненные. Потел в бинтах. Это была его работа. Его перекладывали из палаты в палату, с койки на койку, чтобы он мог слышать, что в бреду несет фронтовик. Или что он потом рассказывает о боях.

Фишер ведал сортировкой раненых. Распределял по палатам, принимая во внимание не столько характер ранения, сколько информацию Барча о солдате. В отдельном флигеле, в палате с решетками на окнах, размещались раненые, приговоренные Фишером к службе в штрафных частях.

Фишер был бодр, общителен. Сытый, жизнерадостный толстяк с сочными коричневыми глазами. Всегда с окурком сигары в зубах.

Барч от долгого пребывания в госпитале, от унылой жизни без воздуха, от постоянного лежания, неподвижности был бледен, дрябл, слаб, страдал одышкой и привычной бессонницей. На лице у него застыло страдальческое выражение, более выразительное даже, чем у умирающих.

В офицерской палате забота о раненых определялась не ранением, а званием, наградами, родом службы, связями, деньгами. Там тоже были свой Фишер, свой Барч.

Временная потеря сознания таила смертельную опасность для Вайса. И, очнувшись, он даже не успел обрадоваться тому, что остался жив, его охватила тревога: не утратил ли он контроля над собой в беспамятстве, молчал ли? Но все как будто было в порядке.

Хирург осмотрел Вайса в присутствии Фишера, и тот спросил механическим голосом, как желает солдат, чтобы его лечили:

— Немножко побольше боли, но быстрое исцеление, раньше на фронт, или побольше анестезии, но медленное выздоровление?

Вайсу было необходимо как можно скорее вернуться в свое спецподразделение, и он с подкупающей искренностью объявил, что мечтает быстрее оказаться на фронте. И Фишер сделал первую отметку в истории болезни Вайса, диагностируя его политическое здоровье.

Привычная наблюдательность Иоганна помогла ему сразу же определить истинные функции и Фишера и Барча.

И когда Барч стал страдальчески томным голосом советовать Вайсу, что следует проделывать, чтобы продлить пребывание в госпитале, Вайс выплеснул ему в лицо остатки кофе. И потребовал к себе Фишера. Но докладывать Фишеру не было необходимости. Увидев залитое кофейной гущей лицо Барча, Фишер и сам все понял. Сказал Вайсу строго:

— Ты солдат, не кипятись, Барч предан своему фюреру...

Теперь Иоганну не требовалось больше никаких улик: и с Фишером и с Барчем все было ясно.

Госпиталь выглядел примерно так, как поле после мино-

вавшего боя, и отличался от него только тем, что все здесь было опрятным, чистеньким. Наблюдая за ранеными, слыша их стоны, видя, как страдают эти солдаты с отрезанными конечностями, искалеченные, умирающие, Иоганн испытывал двойственное чувство.

Это были враги. И чем больше их попадало сюда, тем лучше: значит, советские войска успешно отражают нападение фашистов.

Но это были люди. Ослабев от страданий, ощутив прикосновение смерти, некоторые из них как бы возвращались в свою естественную человеческую оболочку: отцы семейств, мастеровые, крестьяне, рабочие, студенты, недавние школьники.

Иоганн видел, как мертво тускнели глаза какого-нибудь солдата, когда Фишер, бодро хлопая его по плечу, объявлял об исцелении. Значит, на фронт. И если у иных хватало силы воли, несмотря на мучительную боль, засыпать, очутившись на госпитальной койке, то накануне выписки все страдали бессонницей. Не могли подавить в себе жажду жизни, но думали только о себе. И никто не говорил, что не хочет убивать.

Однажды ночью Иоганн сказал испытующе:

— Не могу заснуть — все о русском танкисте думаю. Пожилой. Жена. Дети. Возможно, как и я, до армии шофером работал, а я убил его.

Кто-то проворчал в темноте:

— Не ты его, так он бы тебя.

— Но он и так был весь израненный.

— Русские живучие.

— Но он просил не убивать.

— Врешь, они не просят! — твердо сказал кто-то хриплым голосом.

Барч громко осведомился:

— А если какой-нибудь попросит?

— А я говорю — они не просят! — упрямо повторил все тот же голос. — Не просят — и все. — И добавил зло: — Ты, корова, меня на словах не лови, видел я таких!

— Ах, ты так... — угрожающе начал Барч.

— Так, — оборвал его хриплый и смолк.

На следующий день, когда Вайс вернулся после перевязки в палату, на койке, которую занимал раньше солдат с хриплым голосом, лежал другой раненый и стонал тоненько, жалобно.

Вайс спросил Барча:

— А где тот? — и кивнул на койку.

Барч многозначительно подмигнул:

— Немецкий солдат должен только презирать врагов. А ты как думаешь?

Вайс ответил убежденно:

— Я своих врагов ненавижу.

— Правильно, — одобрил Барч. — Правильно говоришь.

Вайс, глядя ему в глаза, сказал:

— Я знаю, кому я служу и кого я должен ненавидеть. — И, почувствовав, что не следовало говорить таким тоном, спросил озабоченно: — Как ты себя чувствуешь, Барч? Я хотел бы встретиться с тобой потом, где-нибудь на фронте.

Барч произнес уныло:

— Что ж, возможно, конечно... — Потом сказал раздраженно: — Не понимаю русских. Чего они хотят? Армия разбита, а они продолжают воевать. Другой, цивилизованный народ давно бы уже капитулировал и приспособливался к новым условиям, чтобы продлить свое существование...

— На сколько — спросил Вайс, — продлевать им существование?

Барч ответил неопределенно:

— Пока что восточных рабочих значительно больше, чем нам понадобится...

— А тебе сколько их нужно?

— Я бы взял пять-шесть.

— Почему не десять — двадцать?

Барч вздохнул.

— Если б отец еще прикупил земли... А пока, мы рассчитали, пять-шесть хватит. Все-таки их придется содержать. У нас скотоводческая ферма в Баварии, и выгоднее кормить не сколько лишних голов скота, чем лишние рабочих. — Похвастался: — Я окончил в тридцать пятом году агроэкономическую школу. Отец и теперь советуется со мной, куда выгоднее вкладывать деньги. В годы кризиса папаша часто ездил шалить в город. — Показал на ладони: — Вот такой кусочек шпика — и пожалуйста, девочка. Мать знала. Ключи от кладовой прятала. Отец сделал отмычку. Он и теперь еще бодрый.

— Ворует шпик для девочек?

— Взял двух из женского лагеря.

Вайс проговорил мечтательно:

— Хотел бы я все-таки с тобой на фронте встретиться, очень бы хотел...

Барчу эти слова Вайса не понравились, он смолк, отвернулся к стенке...

Во время операции и мучительных перевязок Иоганн вел себя, пожалуй, не слишком разумно. Он молчал, стиснув зубы, обливаясь потом от нестерпимой боли. И никогда не жаловался врачам на слабость, недомогание, не выпрашивал дополнительного, усиленного питания и лекарств, как это делали все раненые солдаты, чтобы отослать домой или продать на черном рынке. Он слишком отличался от прочих, и это могло вызвать подозрение.

Барч рассказывал, что в Чехословакии он обменивал самые паршивые медикаменты на часы, броши, обручальные кольца и даже покупал на них женщин, пользуясь безвыходным положением тех, у кого заболел кто-нибудь из близких. Медикаменты занимают мало места, а получить за них можно очень многое. Он сообщил Вайсу, по секрету, что соответствующие службы вермахта имеют приказ сразу же изымать все медикаменты на захваченных территориях. И не потому, что в Германии не хватает лекарств, а чтобы содействовать сокращению численности населения на этих территориях. И Барч позавидовал своему шефу Фишеру, под контролем у которого все медикаменты, какие поступают в госпиталь: Фишер немалую часть из них сплавляет на черный рынок. На него работают несколько солдат с подозрительными ранениями — в кисть руки. Они знают, что, если утаят хоть пфенниг из его выручки, Фишер может в любой момент передать их военной полиции.

Потом Барч сказал уважительно, что никто так хорошо, как Фишер, не знает, когда и где готовится наступление и какие потери несет германская армия.

— Откуда ему знать? — усомнился Вайс. — Врешь ты все!

Барч даже не обиделся.

— Нет, я не вру. Фишер — большой человек. Он в соответствии с установленными нормами составляет список медикаментов, необходимых для каждой войсковой операции, и потом отсылает отчет об израсходованных медикаментах, количество которых растет в соответствии с потерями. А также актирует не возвращенное госпиталям обмундирование.

— Почему не возвращенное? — удивился Вайс.

— Дурак, — сказал Барч. — Что мы, солдат голых хороним? У нас здесь не концлагерь.

Эта откровенная болтовня Барча исцеляюще действовала на Иоганна.

Заживление ран проходило у него не очень благополучно. Из-за сепсиса около трех недель держалась высокая температура, и он вынужден был расходовать все свои душевные и физические силы, чтобы не утратить в беспамятстве той частицы сознания, которая помогла ему и в бреду быть абверовским солдатом Вайсом, а не тем, кем он был на самом деле. И когда температура спадала и он вырывался из небытия, у него почти не оставалось сил сопротивляться неистовой, все захватывающей боли.

Во время мучительных перевязок раненые кричали, визжали, выли, а некоторые даже пытались укусить врача, и это считалось в порядке вещей, и никто не находил это предсудительным.

Иоганн терпел, он с невиданным упорством сохранял достоинство и здесь, в перевязочной, когда в этом не было ника-

кой необходимости. Как знать, может быть, эта бессмысленная борьба со страданиями имела смысл, ибо иначе Иоганн не чувствовал бы себя человеком.

И он стал медленно возвращаться к жизни.

Он уже не терял сознания, постепенно падала температура, с каждым днем все дальше и дальше уходила боль, прибывали силы, даже аппетит появился.

И вместе с тем Иоганна охватила изнуряющая подавленность, тоска. Война. В смертный бой с врагом вступили все советские люди, даже старики и дети, никто не щадит себя, а он, молодой человек, коммунист, валяется, не принося никакой пользы, на немецкой койке, и немецкие врачи возвращают его к жизни. Ничто ему здесь не угрожает, он лежит в теплой, чистой постели, сыт, за ним заботливо ухаживают, он даже в почете. Еще бы! Немецкий солдат-герой, побывавший в рукопашной схватке.

А тут еще Иоганн узнал от раненых, что гарнизон, окруженный в Куличках, был атакован после мощной артподготовки и полностью истреблен.

Значит, зря подвергал себя Иоганн смертельному риску.

Он поступил неправильно, никуда от этого не денешься, нет и не будет ему оправдания. Но откуда Иоганн мог знать, что, когда танкист, истекая кровью, дополз до своих, ему не довелось доложить начальнику гарнизона о том, что с ним произошло!

Обезоруженный, без пояса, он стоял, шатаясь, перед начальником особого отдела и молчал. Тот требовал признания в измене Родине: все, что ему говорил танкист, казалось неправдоподобным, представлялось ложью, обманом. Были факты, которые танкист не отрицал и не мог отрицать. Да, он встретился с фашистом. Да, и фашист его не убил, а он не убил фашиста. Да, он дал фашисту карту. Неважно какую, но дал. Где секретный пакет? Нет пакета. Однако этого достаточно. Потерял секретный пакет! Все ясно.

И танкисту тоже все было ясно — он хорошо сознавал безвыходность своего положения. И стойко принял приговор, только попросил не перемещать огневые позиции и минное поле. А когда понял, что к его словам по-прежнему относятся подозрительно, стал так униженно просить об этом, как слабодушные молят о сохранении им жизни.

Эта последняя просьба танкиста была выполнена, но вовсе не потому, что ему поверили: просто не осталось времени переместить огневые позиции.

Немцы начали артподготовку, и система их огня в первые же минуты открыла многое начальнику особого отдела: упорно минуя наши огневые позиции, немцы били по тем участкам, где не стояло ни одной батареи. Вслед за артподготовкой

началась танковая атака, и танки пошли в атаку прямо на минное поле.

И особист понял, что осудил на смерть невинного человека, героя. И немец, о котором тот говорил, наверно, вовсе не немец, а такой же чекист, как и он, и, выполняя свой долг, доверился танкисту ради того, чтобы ввести в заблуждение врага и спасти гарнизон.

Когда фашисты ворвались в расположение гарнизона, начальник особого отдела, лежа у пулемета, отстреливался короткими, скупыми очередями. Потом бил из пистолета. Последний патрон, который мог ему принести избавление, он, аккуратно целясь, израсходовал на врага.

Когда израненного начальника особого отдела приволокли в контрразведку, он думал только о том, чтобы не потерять сознания на допросе и толково сделать то, что он решил сделать: отвести опасность от героя-разведчика.

Капитан Дитрих допрашивал особиста, применяя те методы, которые считал наиболее эффективными. Сначала особист расчетливо молчал: ведь иначе его слова показались бы недостаточно правдоподобными. Признание должны у него вымучить, вот тогда в него поверят. И у него долго и тщательно вымучивали признание. Наконец, когда особист почувствовал, что его страдания становятся невыносимыми и он может умереть, так и не сказав того, что он считал необходимым сказать, ради чего он пошел на эту двойную муку, он сделал признание, которого от него добивались. Сказал, что направил танк во вражеский тыл с целью дезинформации: вручил командиру карту с ложными обозначениями огневых позиций и минного поля; чтобы тот подбросил эту карту противнику. Но, когда танк подбили, командир погиб. А планшет его, в котором была карта, надел один из танкистов. Какой-то смелый немецкий солдат забрался в танк, вступил в бой с экипажем, но был убит. Единственный оставшийся невредимым танкист взвалил на себя раненого товарища, у которого был планшет с картой, и пополз обратно, к своим. Но огонь был очень сильный, танкист испугался и бросил раненого, даже не снял с него планшет, за что и был расстрелян.

На этот допрос Дитрих пригласил и Штейнглица. И Штейнглиц деловито помогал добиться от особиста признания. Потом послали солдата проверить показания, и солдат доложил, что в указанном месте действительно закопан труп расстрелянного танкиста.

И оба офицера убедились, что вленный сказал им правду.

Пока проверяли его показания, особист успел несколько прийти в себя. А когда снова приступили к допросу, он набросился на Дитриха и впился зубами ему в щеку, успев подумать, что этот женственный, изящный контрразведчик должен дорожить своей внешностью. И Дитрих, яростно защи-

щаяся, выхватил пистолет и в упор застрелил есабиста, чего тот и добивался.

Штейнглицу было не до ссоры с Дитрихом, хоть тот и уничтожил опрометчиво столь ценного пленника. Сейчас они должны были держаться друг за дружку. Ведь они оба поверили дезинформации противника и оба в равной мере отвечают за это. Тут уж не до ссор, надо быстрее выпутываться. И, пожалуй, даже лучше, что пленный мертв. Нет никакой нужды записывать его показания. Не сговариваясь, они написали совсем другое: после того, как карта попала в руки немцев, противник изменил расположение огневых позиций и переменировал поле. Вот что показал пленный. И эти его «показания» оба абверовца скрепили своими подписями, что одновременно надолго скрепило их теперь уже вынужденную дружбу.

Что касается Вайса, то с ним все было ясно: за свой несомненный подвиг солдат заслуживает медали и звания ефрейтора. А с общевойсковым командиром, руководившим уничтожением окруженного вражеского гарнизона, договориться нетрудно, с ним можно поладить.

Немецкой разведке из радиоперехватов было известно, что советская Ставка приказывала своим офицерам и генералам во что бы то ни стало удерживать занимаемые ими рубежи даже в условиях глубоких фланговых обходов и охватов. Располагала немецкая разведка и директивой наркома обороны от 22 июня, в которой он требовал от советских войск только активных наступательных действий, но одновременно приказывал «впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить». А фашистские армии уже вторглись на территорию Советской страны и с каждым днем продвигались все дальше и дальше.

Если бы армейский генерал доложил, что абверовцы Штейнглиц и Дитрих поверили дезинформации противника, не предотвратили его замысла, то в отместку они могли лишить генерала лавров победителя, сообщив куда следует, что разгром вражеского гарнизона надо приписать не оперативному опыту генерала, а отсутствию такового у противника. И если генерал собирается и дальше продвигаться по вражеской территории подобными методами, то есть бить по участкам, где не было ни одной батареи, ни одного пулемета, то ему следует руководить не войсковой частью, а похоронной командой.

Справедливо оценив «полезную» работу Штейнглица и Дитриха и выслушав в ответ эту их контраргументацию, генерал счел наиболее благоразумным представить обоих абверовцев к награде. И Штейнглиц, пользуясь случаем, расхвалил генералу подвиг своего шофера. Ибо только этот подвиг и был несомненным во всей этой сомнительной истории, и по-

ощущение шофера как бы озаряло ореолом достоверности награду Штейнглица.

После того как Фишер зачитал приказ о награждении Вайса медалью и присвоении ему звания ефрейтора, отношения Иоганна с Барчем приобрели более доверительный характер.

Фишер, собирая нужные сведения, то и дело перемещал Барча с койки на койку, из одной палаты в другую, чтобы он всегда был в курсе умонастроения того или иного раненого.

Но Барч оступел от длительного лежания, и ему было трудно составлять письменные отчеты. И когда выяснилось, что у ефрейтора абвера Вайса не только отличный почерк, но и хороший слог, Барч считал возможным использовать его в качестве своего помощника по письменной части.

Ночью санитары перекладывали Вайса и Барча на больничные носилки и привозили в пустую палату, специально отведенную для того, чтобы там можно было побеседовать без свидетелей. Встав с носилок и с наслаждением разминаясь, Барч говорил Вайсу, о чем следует писать в отчетах, причем каждый раз подчеркивал, что фразы должны быть не только красивыми, но и энергичными. Он даже заказал особую досочку, чтобы Вайсу удобнее было писать лежа. И вот Иоганн лежал на своих носилках и писал за Барча рапорты, положив бумагу на эту досочку. Постепенно их роли стали меняться. Вайс говорил, что ему нужны материалы более разностороннего характера, чем те, какие сообщал ему Барч, иначе он не сумеет хорошо составить отчеты о плодотворной работе политической администрации госпиталя. Возможно, эти материалы и не интересовали начальство Фишера, но они нужны были Александру Белову.

Еще более полезные сведения почерпнул Иоганн, беседуя с ранеными. В госпитале лежали солдаты самых различных родов войск. Соседями Иоганна по палате были солдаты метеорологической службы и бортмеханик с бомбардировщика. И вот из разговоров с метеорологами Иоганн понял, что немцы педантично увязывают с состоянием погоды действия не только авиации, но и мотомеханизированных частей. По тому, откуда были срочно затребованы прогнозы погоды на той или иной территории, можно было точно установить направление предполагаемых наступательных операций. Немцы забрасывают метеорологов-разведчиков в наши тылы — особенно много в те районы, на которые нацелены удары. Узнал все это Вайс, разозлив солдат своими насмешками. Говорил, что ни к чему метеорологам боевое оружие. Вместо автоматов их надо вооружить зонтиками. Следовало бы также отобрать у них пистолеты, а кобуру оставить — пусть хранят в ней термо-

метры, и каски надо отобрать — их с успехом заменяют на голове ведра водомеров. И вообще, для чего нужна эта метеослужба? Разве только для того, чтобы офицеры и генералы знали, когда им следует брать плащи, выходя из дому, а когда не следует.

Слушать все это раненым было обидно, и они очень обстоятельно защищали свою профессиональную воинскую честь, доказывая Вайсу, как он ошибается, недооценивая роль метеорологической службы в победах вермахта. И чем убедительнее они опровергали Вайса, тем большее представление он получал о немецкой системе метеослужбы.

Не оставлял Вайс вниманием и своего ближайшего соседа по койке, бортмеханика. Постоянной заботой, предупредительностью он так расположил к себе этого угрюмого и замкнутого человека, от которого прежде никто и слова не слышал, что тот понемногу разговорился. Вайс оказался внимательным, терпеливым и сочувствующим собеседником и смог многое выведать у бортмеханика.

Бомбардировщик «Ю-88», на котором летал бортмеханик, возвращаясь после операции, разбился за линией своих войск, потому что в баках не хватило горючего.

Справочные данные германских военно-воздушных сил о дальности полетов бомбардировщиков не соответствуют действительным возможностям самолетов.

Но никто не решается внести исправления в справочники, поскольку шеф авиации Геринг — второе лицо в империи. Боевые вылеты планируются по утвержденным Герингом справочникам, и экипажи вынуждены брать меньшую бомбовую нагрузку, чем полагается, или же сбрасывают бомбы, не долетев до цели. Только отдельные, самые опытные экипажи, виртуозно экономя горючее, могут выполнять задание с положенной бомбовой нагрузкой. Все об этом знают, и теперь решено располагать аэродромы ближе к линии фронта, чтобы иметь возможность обрушивать удары на глубокие тылы. Прицельное бомбометание с пикирующих бомбардировщиков хорошо обеспечивает успешные действия наземных войск, но подготовка штурманов и пилотов для пикировщиков занимает много времени. К тому же для стратегического поражения больших площадей нет нужды в прицельном бомбометании. Вот генштаб и решает сейчас, как быть: выпускать больше тяжелых бомбардировщиков или же создать бомбы огромной разрушительной силы? По-видимому, склоняются к тому, что необходимо создать адскую бомбу, которая заменит тысячи обычных.

Все это Вайс выведал не сразу, а постепенно, изо дня в день осторожно играя на самолюбии бортмеханика.

Сначала он сочувственно заметил, что понимает состояние бортмеханика: ведь это позор — шлепнуться на своей терри-

тории, да еще после того, как бомбардировщик неведимым ушел и от зенитного огня и от советских истребителей. И бортмеханик, защищая собственную честь, очень толково объяснил Вайсу, почему его самолет потерпел аварию.

О том, где базируются аэродромы бомбардировщиков, Вайс узнал следующим образом. Как-то в палате зашел разговор о преимуществах тыловиков. И Вайс громко позавидовал бортмеханику. Как хорошо, безопасно служить в бомбардировочной авиации, ведь она базируется в глубоком тылу да еще вблизи населенных пунктов, не то что истребители: те всегда ближе к линии фронта. И бортмеханик сейчас же и очень доказательно опроверг Вайса.

В другой раз Вайс, проявив глубокую осведомленность в военной истории чуть ли не с древних времен, увлекательно рассказал о вековой борьбе между снарядом и броней. Бортмеханик не пожелал остаться в долгу и продемонстрировал не менее глубокие познания в области авиации. Развивая мысль о закономерностях противоречий между способами воздушной транспортировки и средствами разрушения, он рассказал о двух направлениях в современной авиационной стратегии и объяснил преимущества и недостатки каждого из них. Сам он считал более перспективной бомбу — бомбу гигантской разрушительной силы. Если же ее не удастся создать, победят сторонники бомбардировщика, способного нести большое количество обычных бомб.

Словом, Вайс трудился, и небезуспешно, всеми способами наводя собеседника на определенные высказывания так же, как штурман наводит самолет на определенную цель.

Но всем этим его деятельность не ограничивалась. Вайс постарался, чтобы Фишер узнал, кто сочиняет за Барча отчеты таким отличным слогом и переписывает их не менее прекрасным почерком, и вскоре получил поручение, которого и добивался. Теперь он помогал Фишеру составлять отчеты об израсходованных медикаментах и требования на перевязочные средства и медикаменты для полевых госпиталей в соответствии с масштабами намечаемых командованием боевых операций.

Ничто не придает человеку столько душевных и физических сил, как сознание, что он живет, трудится не зря. Постепенно Вайс перешел в разряд выздоравливающих, стал подниматься с койки, а потом и ходить.

Здесь, в госпитале, пока он лежал на своей чистой постели, Йоганн получил любопытные сведения. И получил их без особых усилий, находясь в условиях почти комфортабельных. А его так называемое «прикрытие» было настолько прочным и убедительным, что он чувствовал себя как бы защищенным непроницаемой броней. Не раз он вспоминал о своих прозорливых наставниках, которые утверждали, что результаты ра-

боты разведчика сказываются не сразу. Но какое нужно феноменальное, ни на секунду не ослабляемое напряжение воли, всех духовных, человеческих качеств, чтобы талантливо соответствовать любому, даже самым тончайшим, особенностям обстановки, в которой живет, действует, борется разведчик!

Но как бы ни были мудры наставники, наступает момент, когда следовать их советам становится очень трудно, и тогда возникает самая большая из всех опасностей, с которыми сталкивается разведчик.

Эта опасность — нетерпение.

Накоплены драгоценные сведения, и необходимо как можно скорее передать их своим. Нет больше сил хранить их, ведь они так важны для победы, ведь они нужны людям сегодня, сейчас!

Вот это мучительное нетерпение стало, как огонь, жечь Иоганна, и чем больше он накапливал материалов, чем они были значительнее, тем сильнее сжигало его душу нетерпение.

И опять он как бы слышал простуженный и такой родной голос Бруно, его последние слова, его завещание: «Что бы ни было — вживаться».

Вживаться... И опять приходила нескончаемая бессонная ночь, и Иоганн, чтобы избавиться от искушения, снова и снова повторял то, чему учили его наставники.

Разведчик — прежде всего исследователь, он должен видеть взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать отдельные явления, чтобы предвидеть возможность наступления вытекающих из них событий. Всякая случайность связана с необходимостью, случайность — форма проявления необходимости. Поэтому так важно видеть связь и взаимодействие явлений. Без отдельного, единичного нет и не может быть общего. Всеобщее существует лишь благодаря единичному, через единичное. Но и единичное, отдельное — лишь часть общего и нелегко вне общего. Эффектная гибель не всегда подвиг для разведчика. Подвиг в том, чтобы вжиться в жизнь на вражеской стороне. Разведчик — чувствующая, мыслящая сигнальная точка, частица общей сигнальной системы народа. Он призван предупреждать о тайной опасности, о коварном замысле врага, предупреждать удары в спину. Центр, коллективный орган исследования, обобщая и анализируя частные сведения, поступающие от разведчиков, устанавливает главную опасность и вырабатывает тактику ее предотвращения.

Кладискательский метод не годится для разведчика. Ведь за случайную находку часто приходится расплачиваться жизнью, а гибель разведчика — это не только утрата одной человеческой жизни, это угроза многим другим человеческим жизням, не защищенным от опасности, может быть, и их гибель.

И когда выбывает один, только один разведчик, тот участок, на котором он работал, становится неведомым Центру, и, значит, нельзя предотвратить опасность, таящуюся на этом участке. Иоганн не имеет права самостоятельно распоряжаться своей жизнью, что бы им ни руководило. Ведь то, в чем он видит главное, в общем масштабе, возможно, только частность, и притом далеко не решающая.

Так думал Иоганн, мучимый бессонницей, но не находил покоя. И его сжигало нетерпение. А тут еще он получил ответ на свои две открытки, которые послал из госпиталя фрау Дитмар. В ее письме, полном ахов и охов по поводу всего с ним случившегося, не было и намека на то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее о Вайсе.

Неужели после гибели Бруно связь со своими оборвалась?

Никогда Иоганн не предполагал, что добытые разведчиком сведения могут причинять ему такие страдания. И как невыносимо тяжело хранить их втуне. И какое нужно самообладание, чтобы неторопливо, медленно, осмотрительно искать способ передачи этих сведений. И что найти этот способ порой труднее, чем добыть драгоценные сведения.

Он чувствовал себя как подрывник, успешно заложивший мину под вражеские укрепления, но в последние секунды вдруг обнаруживший, что шнур где-то оборвался и для того, чтобы произвести взрыв, остается только поджечь шнур в непосредственной близости от мины и, значит, погибнуть. А на это Иоганн не имел права.

22

В палате, где лежал Иоганн, появился недавно ефрейтор Алоис Хаген.

Говорили, что пулевое ранение он получил не на фронте, а в Варшаве. Вместе с эсэсовскими ребятами он преследовал партизан в городе. Одному из красных все-таки удалось скрыться. Хагену он сделал в ногу дырку, когда тот его уже почти настиг. Иоганн слышал, как эсэсовцы, доставившие в госпиталь ефрейтора, расхваливали храбрость Хагена, проявленную им во время преследования партизана.

Этот Хаген был идеальным образцом нордического типа арийца. Атлетического сложения, с длинным лицом, светлыми, холодными глазами. Держал он себя вызывающе нагло. Влюбленный в себя, как Нарцисс, он без конца смотрелся в зеркальце, капризно требовал, чтобы его особо тщательно лечили, добился повышенного рациона и не разрешал закрывать форточку, чтобы в палате всегда был приток свежего воздуха.

Часто у койки Хагена раздавался женский смех. Он любезничал с сестрами, сиделками, лаборантками — всех жен-

щин, независимо от возраста, называл сильфидами. Считал это «пруссским комплиментом».

Когда Фишер, широко улыбаясь, приступил к опросу Хагена, чтобы выяснить некоторые моменты его биографии, неясно обозначенные в анкете, которую тот небрежно заполнил, Хаген, не отвечая, в упор уставился на Фишера, внимательно разглядывая его. Потом так же молча раздвинул циркулем указательный и средний пальцы и, словно делая какой-то пример, прикоснулся к его носу, ушам, лбу, подбородку.

Фишер спросил изумленно:

— У вас температура?

Хаген бросил презрительно:

— У тебя не кровь, а коктейль. — Сощурившись, осведомился: — Как это ты с такими ушами и носом словчил проскочить мимо расового отдела? — Он снисходительно похлопал Фишера по колену и успокоил: — Ладно, живи. — Приказал, будто перед ним сидел подчиненный: — Чтобы всегда был одет, я не выношу, когда воняет сортиром. — И вернулся к стене.

От койки Хагена Фишер отошел на цыпочках.

Коротенький, короткорукий, с отвислым пузом и приплюснутой головой, растущей, казалось, прямо из жирных плеч, с темной, как у фюрера, прядью, начесанной на астматический выпуклый, табачного цвета глаз, Фишер знал, что ему не пройти даже самой снисходительной экспертизы в расовой комиссии. А ведь до пятого колена, известного семейству Фишеров, все они были чистокровные немцы. И за что только природа так зло наказала его, не снабдив основными биологическими признаками расовой принадлежности арийца? И ростом он не вышел, и волосы у него не белокурые, и глаза не голубые. А уж о форме носа, ушей, черепа и говорить не приходится. Правда, если бы он меньше жрал, то мог бы похудеть, и тогда, пожалуй, у него бы появилось какое-то сходство с фюрером. Да, с самим фюрером! Ну, а вдруг Хаген действительно заявит в расовую комиссию, что тогда? Посмотрят на него и скажут: «Фишер не ариец». Вот и начинай доказывать. Докажешь. А пятно все же останется: подозрение-то было!

И Фишер мудро решил не раздражать этого Хагена, терпеть его наглость: ведь фюрер тоже когда-то был ефрейтором. Хаген — образец арийца. Он может кого угодно обвинить в расовой неполноценности. А это не менее опасно, чем обвинение в измене рейху. Но, если отбросить биологические факты, Фишер чувствовал себя подлинным арийцем, арийский дух был в нем силен, он его проявлял в обращении с ранеными. Если солдат не мог отвечать на вопросы стоя, то Фишер заставлял его отвечать сидя.

Особенно часто Хаген делал «пруссские комплименты»

обер-медсестре фрейлейн Эльфриде, которая гордо, как шлем, носила копну своих рыжих волос. Халат в обтяжку столь выгодно подчеркивал все женские прелести обер-медсестры, что у некоторых солдат при взгляде на нее бледнели носы.

Хаген громко объявил фрейлейн Эльфриде, что повинаясь воле фюрера, он готов выполнить свой долг — умножить с ее помощью число настоящих арийцев. Прищурясь, оглядел ее и строго сказал:

— Да, пожалуй, нам стоит поработать для фатерланда.— И приказал: — Вы мне напомните об этом, когда я буду уже на ногах.

Он так повелительно обращался с Эльфридой, что та по его требованию, вопреки правилам, принесла ему в палату мундир и все снаряжение.

Хаген совершенно спокойно повесил китель на спинку стула. Сапоги поставил под койку, бриджи аккуратно положил под матрац, а парабеллум, небрежно оглядев, сунул под подушку. Объяснил не столько Эльфриде, сколько своему соседу по койке, страдающему колитом сотруднику роты пропаганды, который не раз упрекал Хагена, что тот совсем не читает.

— «Как только я слышу слово «интеллект»,— Хаген цитировал Ганса Иоста, руководителя фашистской палаты по делам литературы,— моя рука тянется к спусковому крючку пистолета».— И, не отводя мертвенно-прозрачных глаз от тощего лица фашистского пропагандиста, похлопал по подушке, под которую сунул парабеллум.

Этот прусский красавец, наглец вызывал у Иоганна дрожь ненависти. Он старался поменьше бывать в палате, хоть ему и трудно было надолго покидать постель. Он уходил в коридор и часами оставался там, только бы не видеть омерзительно красивого лица Хагена, не слышать его голоса, его хвастливых рассуждений.

По-видимому, Иоганн тоже не вызывал у Хагена симпатии. Правда, когда какой-то генерал в сопровождении свиты посетил госпиталь, и ему представили Хагена, и генерал любовался Хагеном, как породистой лошастью, и Хаген, как лошадь, хвастливо демонстрировал себя, ибо все в нем было по арийскому экстерьеру, по пропорциям соответствующей таблицы, Хаген доложил, что ефрейтор Вайс — тоже отличный экземпляр арийца, хоть и несколько помельче. И Вайс тоже удостоился благосклонного генеральского кивка.

Иоганн заметил, что Хаген исподтишка наблюдает за ним и, завязав беседу, не столько вдумывается в слова, которые произносит Вайс, сколько внимательно вслушивается в то, как он эти слова произносит.

И Вайс, со своей стороны, украдкой тоже пристально наблюдал за Хагеном. Лицо пруссака всегда оставалось недвиж-

ным, мраморно-холодным, а вот зрачки... Следя за выражением глаз Хагена, Вайс заметил, что его зрачки то расширяются, то сужаются, хотя освещение палаты не менялось. Значит, пустая болтовня с Вайсом чем-то возбуждает, волнует Хагена. Чем же?

Вайс держал себя с предельной настороженностью. И скоро убедился, что и Хаген также настороженно относится к нему. Хаген совсем поправился, ходил по палате и коридорам. Очевидно, его не выписывали из госпиталя потому, что обер-медсестра приняла меры, чтобы подольше задержать здесь этого красавчика с фигурой Аполлона и волнистыми белокурыми волосами, которые он иногда милостиво разрешал ей причесывать. Возможно, он выполнил свое обещание, Эльфрида теперь, млея от счастья, с рабской покорностью выполняла все, что шепотом приказывал ей этот проходимец.

Иоганн уже давно мог ходить, но был очень слаб и, чтобы быстрее окрепнуть, стал тайком заниматься зарядкой по утрам, когда все еще спали. И попался.

Однажды он, как обычно, в предутренних сумерках старательно делал на своей койке гимнастические упражнения, и вдруг его охватило ощущение какой-то неведомой опасности. Иоганн замер и тут же встретился взглядом с Хагеном: тот тоже не спал, лежал, опираясь на локоть, и внимательно следил за Иоганном. Лицо его было суровым, но не презрительным, нет, скорее, пожалуй, дружелюбным.

Иоганн, испытывая непонятное смятение, отвернулся к стене, закрыл глаза...

Весь день Хаген не обращал на Иоганна внимания. А вечером, когда курил у открытой форточки, вдруг сказал ему с какой-то многозначительной интонацией:

— Вайс, закури-ка офицерскую сигарету. Я хочу повысить тебя в звании. — И протянул сигареты.

Иоганн подошел, наклонился, чтобы вытащить сигарету из пачки, но Хаген в этот момент почему-то резко поднял руку, в которой держал сигареты, прижал к плечу. Вайс недоуменно уставился на Хагена, и в ответ тот отчетливо и сердито прошептал по-русски:

— Зарядка не та. Система упражнений у немцев, возможно, другая... — Похлопал Вайса по плечу, спросил громко: — Ну что? Скоро будем лакомиться в Москве славянками?... — Расхотелся. — У них, говорят, обувь сплетена из коры. Представляю их ножищи!

В палату вошла обер-медсестра. Хаген шагнул к ней, небрежно подставил выбритую щеку. Эльфрида благоговейно приложила к ней губами, засияла всем своим сытым, молочно-белым лицом.

После этого случая Хаген избегал не только говорить с

Байсом, но и встречаться с ним взглядом, даже не смотрел в его сторону.

Кто же он, этот Хаген? Провокатор, которому поручено изобличить Вайса и передать гестапо? Значит, Хаген или опытный шпион, или...

Сколько ни размышлял Иоганн, как ни наблюдал за Хагеном, установить он ничего не мог и жил теперь в постоянном тревожном ожидании.

Хаген уходил с вечера, возвращался в палату на рассвете и спал до обеда. И Эльфрида, откинув всякий стыд, требовала, чтобы все соблюдали полную тишину, когда спит ефрейтор Хаген.

Так прошла неделя. И тут Хаген вдруг сказал Иоганну, что его Эльфрида добыла коньяк и приглашает их обоих поужинать.

Вечером он без стука открыл дверь в комнату Эльфриды, она с нетерпением ждала за накрытым столом. Уселась. Эльфрида с молитвенным благоговением смотрела на своего повелителя, который командовал здесь так, как ефрейтор командует солдатами на плацу. Но, выпив, Хаген смягчился и, положив руку на колено Эльфриды, разрешил ей с томной нежностью перебирать его пальцы. А сам предался воспоминаниям, растроганно вспоминал школьные годы. Он рассказывал о своем учителе Клаусе, высмеивал его привычки, манеру разговаривать, поучать, повторял его любимые изречения. И громко хохотал, но при этом серьезно поглядывал на Вайса, словно ожидая от него чего-то, словно Иоганн должен что-то понять.

И вдруг Иоганн понял. Вовсе не о каком-то там Клаусе говорит Хаген, а о начальнике отдела Барышеве. Ну да, о нем! Ведь это его манеры и привычки. Он всегда режет сигарету пополам, чтобы меньше курить. У него когда-то было прострелено легкое. И это же его афоризм: «Вечными бывают только автоматические ручки, но и те отказывают, когда нужно расписаться в получении выговора». Он всегда говорит: «Понятие долга — это и сумма, которую ты занял и должен вернуть, и то, что ты обязан сделать, чтобы быть человеком, а не просто фигурой с погонами». А это его самое любимое: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер...»

Иоганн взволнованно, радостно даже перебил Хагена и заключил:

— «Посеешь характер — пожнешь судьбу».

Но Хагену не понравилась чрезмерная поспешность Иоганна. Взглянув исподлобья, он предложил:

— Давай пить. — И упрекнул Эльфриду: — Могла бы пригласить какую-нибудь, хотя бы фольксдойч. А то сидит ефрейтор, глядя на тебя, облизывается.

Эльфрида поспешно вскочила. Хаген удержал ее:

— Ладно уж, в следующий раз...

Через некоторое время, почувствовав себя лишним, Иоганн поднялся из-за стола. Хаген сказал:

— Подожди, вернемся в палату вместе.

Потом они вдвоем ходили по госпитальному двору: солдат внутренней охраны, которому Хаген отдал недопитый коньяк, разрешил им погулять.

Алексей Zubов принадлежал к тем счастливым натурам, чье душевное здоровье уже само по себе окрашивает жизнь в радужные тона.

Уверенный в том, что жизнь есть счастье, движимый любопытством и любознательностью, он испробовал немало профессий.

Едва лишь объявлялась мобилизация на какую-нибудь стройку, он первым вызывался ехать туда, на самый трудный ее участок, увлеченный жадой новых мест, проверкой самого себя на прочность.

Но как только стройка утрачивала характер героического штурма и период лишений и трудностей оставался позади, он начинал томиться, скучать и перебирался на новый объект, где обстановка первозданности требовала от каждого готовности к подвигу.

Природный дар общительности, искренняя доброжелательность, приветливость, умение легко переносить невзгоды и трудности, самоотверженное отношение к товарищам и полное пренебрежение к заботам о собственных благах быстро завоевывали ему уважительное расположение людей, которым он дорожил больше всего на свете.

Он был правдив до бестактности и в этом смысле безжалостен к себе и другим. И если когда и терял власть над собой, то лишь в столкновениях с грубой ложью; тут ярость овладевала им, иступленная, гневная, отчаянная.

Он пылко поклонялся тем, чья жизнь казалась ему высоким образом служения долгу.

При всем этом он был снисходителен к людским слабостям и всегда умел видеть их смешные стороны.

Как многие юноши его возраста, он полагал, что жизнь, которой он живет, со всеми ее удобствами и благами уготована ему революционным подвигом старшего поколения, перед которым он за это в долгу.

Около двух лет Zubов трудился на тракторном заводе, где в одном из цехов выпускали танки. Здесь он работал под началом бригадира немца-политэмигранта, который его школьные познания в немецком языке довел до степени совершенства. Он сумел передать своему способному ученику все тон-

чайшие оттенки берлинского произношения. И теперь сам наслаждался, слушая его безукоризненную немецкую речь.

Свое стремление изучить немецкий язык Zubov объяснял тем, что Германия — одна из самых высоко технически развитых стран, значит, у нее сильный рабочий класс, а если рабочий класс силен, значит, Германия стоит на пороге революции, и поэтому надо как можно скорее изучить язык своих братьев по борьбе за социализм. В этом убеждении Zubov всемерно поддерживал его бригадир, немец-политэмигрант, пророка в самое ближайшее время революционный взрыв в Германии. В возможность такого взрыва верили многие, что объясняло и моду советской молодежи тех лет — юнгштурмовку, и увлечение песнями Эрнста Буша, и распространенность приветствия поднятым вверх сжатым кулаком — «Рот фронт!», и твердую надежду на то, что Тельман победит.

Родители Zubov: отец — завхоз больницы, который во время гражданской войны в возрасте девятнадцати лет уже командовал полком, и его мать — фельдшерица, в те же годы и в том же возрасте уже занимавшая пост председателя губисполкома, — считали Алексея чуть ли не недорослем за то, что он как будто вовсе не стремился к высшему образованию.

Призванный в Красную Армию, Zubov поступил курсантом в школу пограничников. Потом служил в звании лейтенанта на том погранпункте, через который проходили эшелоны с немецкими репатриантами из Латвии. В последнем из эшелонов находился и Иоганн Вайс.

Начальник погранпункта и присутствовавший при этом Бруно дали понять Zubovu, что это «особенный немец», и еще тогда, на пограничном посту, лишь мимоходом глянув, Zubov запомнил его лицо. Он узнал Вайса в госпитале, но долго не показывал ему этого, проявив тем самым большое самообладание и выдержку...

На рассвете в утро нападения гитлеровцев на нашу страну Zubov находился в секрете. Он вел бой до последнего патрона, и, когда пограничная полоса уже была захвачена врагом, он очнулся после контузии, причиненной ручной немецкой гранатой.

Была ночь, но небо, казалось, корчилось в багровых судорогах отсветов пожаров. Горько пахло гарью, сгоревшей взрывчаткой. Железным обвалом гулко катились по шоссе, по проселкам вражеские моторизованные части.

Оглушенный, в полусознании, Zubov уполз в лесок, где скрывались еще несколько раненых пограничников и девушка-санинструктор. На рассвете санинструктор увидела, как по шоссе движутся две полуторки, в которых сидят в чистеньких новеньких мундирах наши пехотинцы.

Санинструктор выбежала на шоссе и остановила машины.

Но это были не наши бойцы. Это было подразделение бранденбургского полка, специально предназначенного для выполнения провокационно-диверсионных акций в тылу нашей армии.

Командир подразделения, любезно улыбаясь санинструктору, взял с собой нескольких солдат, пошел с ними в лес, где лежали раненые, неторопливо побеседовал с ними, испытывая явное удовольствие от безукоризненно точного знания русского языка. А потом отдал приказ застрелить раненых, как он объяснил санинструктору, из гуманных соображений, чтобы избавить их от страданий.

Зубов спасся только потому, что лежал в некотором отдалении от общей группы раненых, внезапно скованный шок, вызванным контузией.

Командир подразделения бранденбургского полка не позволил своим солдатам безобразничать с девушкой-санинструктором, а аккуратно выстрелил ей в затылок, отступив на шаг, чтобы не забрызгаться.

В отуманенном сознании Зубова, временно утратившего слух, все это проходило в беззвучной немоте. И это беззвучие еще усугубляло страшную простоту убийства, которое совершалось на его глазах.

То, что это убийство совершалось так просто, спокойно, почти беззлобно, мимоходом, потому что оно было лишь докучной обязанностью этих торопящихся на другое убийство людей, — все это вошло в сердце Зубова как ледяная игла, замораживающая то, что прежде составляло его естественную сущность и было так свойственно его душевно здоровой человеческой природе.

Несколько дней Зубов отлеживался в лесу. Потом у него хватило сил убить зашедшего в кусты по нужде немецкого военного — полицейского, оставившего велосипед на обочине.

Зубов переоделся в его мундир, ознакомился с документами и, сев на велосипед, покатыл по дороге, но не на восток, а на запад.

Все это дало Зубову несомненное право одиночного бойца действовать на собственный страх и риск. Благодаря своей наглостной общительности и самоуверенности он свободно передвигался в прифронтовом тылу.

Вначале он только приглядывался, вступал развязно в разговоры с целью выведать, есть ли у встретившегося ему немца хотя бы тень горестного ощущения своего сопричастия к преступлению, и, не обнаружив таковой, с холодным самообладанием, осмотрительностью, продуманным коварством вершил суд и расправу. Так что немало его собеседников удалились в мир иной, с мертво застывшими от изумления перед внезапной смертью глазами.

Зубов искусно пользовался нарукавными повязками, сня-

тыми им с убитых немцев: дорожной службы, контрольно-пропускного пункта, регулировщика.

Если в легковой машине было несколько пассажиров, он ограничивался тем, что почтительно козырял, проверяя документы. Во всех других случаях, не успевая погасить вежливой улыбки, мгновенно нажимал на спусковой крючок автомата...

Как-то он обнаружил советского летчика, выбросившегося с парашютом из горящего самолета.

Отругав летчика за то, что тот в десятилетке плохо учился немецкому языку, заставил его затвердить фразы, необходимые при обращении нижнего чина к старшим по званию, переодел в немецкий солдатский мундир. И теперь уже имел подчиненного.

Вдвоем они выручили от патруля польского учителя, неудачно бросившего самодельную бомбу: не сработал взрыватель.

Потом они добрались до Белостока, где жили родственники учителя, по пути пополнив компанию советским железнодорожником — накануне гитлеровского нападения он сопровождал в Германию грузы в соответствии с торговым договором.

В целях сбережения личного состава и в связи с его культурной отсталостью — так шутивно оценивал Zubov незнание немецкого языка своими соратниками — рекогносцировки и отдельные операции в Белостоке он первое время проводил самостоятельно.

Будучи отличным бильярдистом (в клубе на заставе имелся бильярдный стол), Zubov стал не только завсегдатаем белостокского казино, но приобрел славу как мастер высшего класса. Удоставаясь партии с офицерскими чинами, деликатно щадя самолюбие партнеров, подыгрывал им, что свидетельствовало о его воспитанности и принималось с признательностью.

Как-то его вызвал на бильярдный поединок офицер роты пропаганды барон фон Ганденштейн.

Выигрывая каждый раз контровую партию, Zubov довел своего партнера до такой степени иступления, что ставка в последней партии выросла до баснословной суммы.

Эффектным ударом небрежно положив последний шар в лузу, Zubov осведомился, когда он сможет получить выигрыш.

Барон располагал многими возможностями для того, чтобы мгновенно убрать на фронт младшего полицейского офицера. Но проигрыш! Это долг чести. Здесь требовалась высокая щепетильность. В канонах офицерской касты неуплата проигрыша считалась не меньшим позором, чем неотомщенная пощечина.

Zubov предложил барону дать ему в счет выигрыша, вер-

нее взамен него, должность начальника складов роты пропаганды, которую по штатному расписанию имел право занимать только офицер — инвалид войны.

Барон приказал оформить Зубова и пренебрег тем, что отсутствует его личное дело, так как Зубов объяснил, что за ним числится по военной полиции небольшой грешок — присвоение некоторых ценностей из имущества жителей прифронтовой зоны. А здесь, в роте пропаганды, он собирается начать новую, чистую жизнь.

Тонко проиграв фон Ганденштейну во втором турнире, ослепив барона титулом чемпиона Белостокского гарнизона и удостоившись за это его дружбы, Зубов оказался все-таки человеком неблагодарным. Когда барон получил назначение на пост коменданта концлагеря, Зубов вызвался проводить его к новому месту службы, куда тот так и не прибыл...

Пожалуй, неуязвимость Зубова, действующего столь дерзко в немецком окружении, заключалась в том, что он и здесь не утратил ни своей жизнерадостности, ни обворожительной общительности, ни того душевного здоровья, которое ему сопутствовало даже в самые трагические моменты жизни.

Он так непоколебимо был убежден в справедливости и необходимости того, что он делает, что ни один из его поступков не оставлял терзающих воспоминаний в его памяти и нимало не тревожил его совесть.

Например, проводя вечер с сотрудником гестапо в казино, Зубов с аппетитом ужинал, ему нравился вкус вина, которое они пили, и то приятное, возбуждающее опьянение, которое это вино вызывало.

Он с интересом, с неизменной любознательностью слушал рассказ офицера, сына помещика, о жизни в богатом поместье и представлял ее мысленно такой, как о ней рассказывал гестаповец, и думал, как это интересно — ловить форель в холодной, стремительной горной реке, пахнущей льдом.

И когда офицер, говоря о своей любви к животным, рассказывал, сколько страданий доставила ему гибель чистопородного быка-производителя, в стремительном беге раздробившего череп о трактор, Зубов вообразил себе этого могучего быка, в последнем смертном усилии лижущего выпадающим языком сердобольную руку хозяина.

Гестаповец жаловался, что по роду службы он вынужден применять некоторые насильственные меры допросов. Это он-то, с его чувствительным сердцем! Отец однажды, когда он был еще мальчиком, позволил себе выпороть его, и от такого унижения он чуть было не наложил на себя руки. И вот теперь это чудовищное занятие, бессонница, брезгливое содрогание при виде крови!

Зубов спросил:

— Но если вам это не нравится, зачем вы это делаете?

— Это мой долг,— твердо сказал сверстник Зубова в звании гестаповца.— Это долг всей нашей нации — утверждать свое господство, тяжелый, неприятный, но высший долг во имя достижения великих исторических целей.

Этот гестаповец был сбит насмерть автомашиной недалеко от своего дома, где он прогуливался в позднее время, страдая бессонницей после казни на базарной площади польских подпольщиков.

Досадливо морщась, Зубов сказал своим соратникам, удачно осуществившим эту нелегкую операцию:

— Конечно, следовало бы пристукнуть хотя бы гауптштурмфюрера, командующего казнью, а не этого унтерштурмфюреришку. Но зачем он фотографировался под виселицей рядом с казненным? Врал — переживает... Нет, это идейная сволочь, и я с ним поступил правильно, принципиально.

Пятым членом группы стал немец-солдат со склада музыкального инвентаря роты пропаганды.

Покойный приятель, унтерштурмфюрер СС, посоветовал Зубову быть осторожным с этим солдатом, сказав, что в самые ближайшие дни он подпишет приказ об аресте этого подозрительного типа, возможно коммуниста, скрывающегося от гестапо на службе в армии.

...Убедить немецкого коммуниста, опытного конспиратора, в том, что Зубов — советский офицер, стоило большого труда.

Зубову пришлось выдержать серьезный экзамен, давая самые различные ответы, касающиеся жизни Советской страны, пока этот немец не убедился в том, что Зубов не провокатор.

Именно Людвиг Куперт придал действиям этой самодеятельной партизанской группы более организованный, плановый и целеустремленный характер.

Взрыв двух воинских эшелонов.

Поджоги складов с провиантом.

Было высыпано по полмешка сахарного песка в автоцистерны с авиационным бензином, следствием чего явилась авария пяти транспортных четырехмоторных «юнкерсов».

Все это были плоды разработки Людвиг Куперта.

И, наконец, нападение на радиостанцию, окончившееся гибелью группы, за исключением самого Зубова.

Но здесь вины Людвиг не было. Случайность, которую невозможно предусмотреть: монтер ремонтировал прожектор и, отремонтировав, направил луч света не на внешнее ограждение, для чего был предназначен прожектор, а вовнутрь двора, и в белом толстом столбе холодного, едкого света отчетливо стал виден офицер охраны, лежащий ничком на камнях, и двое солдат охраны, стоящих лицом к стене, раскинув руки

в позе распятых на кресте. А позади них — Людвиг с автоматом.

Зубов получил легкое ранение, но, изображая преследователя диверсантов, счел целесообразным прибавить к огнестрельному ранению контузию с потерей дара речи и способности двигать ногами, тем более что с этим состоянием он был уже знаком.

Он позволил уложить себя на носилки, оказать первую помощь, а потом, в связи с подозрением в повреждении позвоночника, не возражал, чтобы его доставили во фронтową госпиталь, где он пользовался немалым комфортом.

Зубов проявлял в своих действиях исключительное бесстрашие. Кроме всего прочего, был еще один момент, объясняющий это его свойство.

Он внушил себе, что, стоя на материалистических позициях, он обязан относиться к возможно очень близкой своей смерти как к более или менее затянувшемуся болевому ощущению, после чего наступит его собственное персональное н и ч т о. Вроде как бы внезапный разрыв киноленты, когда механик не успевает включить свет и вместо изображения на экране — темнота в зале, и ты уходишь в этой темноте. Повреждение устраняется, и все без тебя досматривают жизнь на экране.

Как бы оправдываясь за подобные мысли, он, бывало, говорил своим соратникам:

— Что же, я не имею права на самоутешительную философию? Имею право! Зачеты я здесь не сдаю. Отметки никто не ставит. Умирать неохота. А незаметно для себя выбыть из жизни — это другое.

Людвига Куперта он спрашивал тревожно:

— Вы не обижаетесь на меня, что я иногда с вашими соотечественниками уж очень грубо?..

Людвиг строго одергивал:

— Первой жертвой гитлеровского фашизма стал сам немецкий народ, я благодарю вас за то, что вы и за него боретесь доступными здесь для вас средствами.

Как-то Зубов познакомился на улице с хорошенькой полькой, настолько изящной и миловидной, что он, скрывая от товарищей, стал ухаживать за ней.

Задорная, остроумная, она увлекла Зубова, и вот однажды вечером, когда он провожал ее, она остановилась возле развалин какого-то дома и, сказав, что у нее расстегнулась подвязка, пошла в развалины, чтобы поправить чулок. Зубов решил последовать за ней, и тут на него набросились двое юношей, а девушка пыталась его задушить.

Спасаясь от засады, он позорно бежал, и вслед ему стреляли из его же пистолета.

Зубов вспоминал об этом приключении с восторгом и с

грустью. С восторгом потому, что девушка, по его мнению, оказалась настоящей героиней, а с грустью потому, что если раньше испытывал к ней чисто визуальное, как он объяснял, чувство нежности, которое способна внушить каждая хорошенькая девушка, то теперь не на шутку тосковал, считая, что безвозвратно потерял гордое, чистое создание, достойное благоговейного поклонения.

Людвиг, врачую травмы Зубова, полученные в борьбе с молодыми польскими патриотами, вздыхая, говорил:

— Это был бы предел парадоксальной глупости, если бы вас, советского офицера, удушили борцы польского народа. И я считаю, что вы за свое легкомыслие заслуживаете более памятных отметок на теле, чем те, которые получили. — Произнес иронически: — Вы забыли о том, что быть немецким оккупантом не только заманчиво, но и в высшей степени опасно для жизни. И ваша собственная, уже немалая практика служит этому несомненному доказательством.

Зубов отличался бестрепетным самообладанием, сочетающимся с самозабвенной, наглой дерзостью.

Когда он узнал, что в казино готовится банкет в честь немецкого аса, бросившего на Москву бомбу-торпеду, Зубов отправился в гостиницу, где остановился этот летчик, долго, терпеливо дожидаясь его в вестибюле, и, когда летчик вышел, последовал за ним. Представился, попросил дать автограф.

Бумажку с автографом отнес Людвигу, и тот, подделав почерк аса, написал записку, адресованную устроителю банкета, где просил извинить его: присутствовать на банкете он не сможет, так как получил приказ немедленно отбыть на фронт.

Явившись в назначенный час, летчик не нашел ни устроителей банкета, ни роскошного банкетного стола.

Возмущенно отвергнув поползновение приветствовать его со стороны других офицеров, уходя, он встретил у вешалки Зубова, и от Зубова, как от своего первого поклонника, он снисходительно принял предложение развлечься в частном доме.

Зубов вез офицера в потрепанном малолитражном «опель-кадете». Извинившись за непрезентабельную машину, Зубов выпрашивал летчика о его героическом полете. И позволил себе усомниться в разрушительной силе взрыва. Летчик сказал, что специально совершил небезопасный круг, чтобы удостовериться и полюбоваться тем, что торпеда достигла цели, и теперь он один из немногих, кому поручено совершать такие налеты на Москву с применением этого дорогостоящего, но столь эффективного средства разрушения советской столицы.

Зубов притормозил машину, закуривая и давая закурить асу. Потом, разведя руками, сказал:

— Ничего не поделаешь, в таком случае я вынужден вас убить. — И добавил, наставив пистолет: — Ничего не подела-

ешь — война насмерть. — И, уже нажимая спусковой крючок, добавил: — А вы не солдат, а преступник!

Вернулся к своим соратникам Зубов бледным, угрюмым, как никогда. Не мог заснуть, всю ночь сидел на койке, беспрестанно курил, пил воду. Впервые пожаловался, что у него сдали нервы, и вдруг объявил, что будет пробираться к своим, чтобы воевать нормально, как все, а больше он так не может...

Польский учитель Бронислав Пшегледский молча слушал Зубова, не возражая ему.

На следующее утро он сказал, что хочет познакомить его с одним человеком, с которым Зубову необходимо встретиться для того, чтобы принять окончательное решение.

Этим человеком оказался бывший совладелец фармацевтической фирмы, пожилой юркий человечек с прямым пробормом посередине клинообразной головы и тоненькими, тщательно подбритыми усиками.

Памятуя о том, что ему следует больше молчать, а всю беседу проведет с этим человеком Пшегледский, Зубов молча слушал их.

Прежде всего этот человек заявил, что предлагаемый Пшегледским товар он должен испытать сначала на собаке. И строго предупредил, что действие его должно сказаться на животном через три минуты максимум. Что доставка в лагеря и в гетто такого товара сейчас крайне затруднена. Но он главным образом ориентируется на клиентуру гетто, где людям есть чем платить, и потребители в силу все увеличивающейся жестокости режима в особенности интересуются детскими дозами: во-первых, они дешевле, а во-вторых, взрослые могут обойтись и веревкой, броситься на охранника, чтобы таким способом избежать дальнейших страданий, а дети не могут.

Но какие-то спекулянты-мошенники продавали для гетто фальсификацию, химическую дрянь, которая действовала или крайне медленно, или вовсе не приводила к летальному исходу, не вызывая ничего, кроме безрезультатных страданий. Поэтому клиенты должны иметь выборочно из каждых десяти доз одну бесплатную, чтобы кто-нибудь из желающих мог проверить ее на себе. Тогда только платят за остальные девять.

Кроме того, он предупреждает, что в концлагерях люди могут платить ерунду, гроши. И если он переправляет туда некоторое количество доз, то только из милосердия к страдальцам.

Поэтому пусть польский пан и его друг немецкий офицер поймут, что на этом не заработаешь. Человечек сокрушенно развел чистенькими ручками с отшлифованными ногтями.

Потом Пшегледский сказал Зубову, что этот человечек, с которым они познакомились, — один из крупных спекулянтов

ядами. Что сейчас таким промыслом занимается немалое число ему подобных, сбывая яды главным образом в гетто и Треблинские лагеря уничтожения «А» и «Б», где раздетых догола мужчин, и женщин, и детей загоняют в камеры с поднятыми руками, чтобы уплотнить человеческую массу, подлежащую удушению.

И Пшегледский посоветовал:

— Чтобы ваше решение не было ошибочным и было все-сторонне продуманным, я настоятельно рекомендую вам посетить Треблинку «А» или «Б» по вашему усмотрению. И только после этого решить, какие способы борьбы с врагом могут считаться приемлемыми и какие неприемлемыми.

Зубов увидел однажды, как из вагона прибывшего из Голландии эшелона выталкивали досками пачки слипшихся мертвых тел. Оставшиеся в живых едва могли шевелиться и, понуждаемые побоями, еле доползли к грузовикам, принадлежавшим хозяйству концлагеря.

И теперь, возвращаясь усталый после очередной операции к себе на базу, валясь на койку, Зубов прочно засыпал и не видел больше тревожащих душу снов.

Щеголеватый, добродушный на вид, атлетически сложенный белокурый ариец — Зигфрид, как прозвали его приятели, немецкие офицеры в казино, — Алексей Зубов вновь обрел нагловатую самоуверенность кичащегося своей внешностью истинного арийца. И цинично подсмеиваясь в кругу поклонников над своей жалкой, подобающей инвалиду должностью начальника складов роты пропаганды. Он говорил, что в интересах рейха — сохранять его как производителя для пополнения потомства будущих владык мира.

И все же по краям его мягкого, но четко очерченного рта легли две продольные жесткие морщины, некогда задорно светящиеся глаза поблекли и приобрели серый металлический оттенок, на висках обозначилась яркая седина, которая шла ему, но была насталько преждевременной, что можно было подумать: этот юноша, пышущий здоровьем, пережил нервное потрясение или тяжелую душевную травму.

Один из младших офицеров зондеркоманды, доктор Ротенбург, объясняя Зубову сущность исторической миссии германской империи, сказал:

— Мы должны быть сильными и во имя этого обессилить все другие нации. Доброта — признак слабости. Проявление доброты со стороны любого из нас — предательство. И с такими нужно расправляться, как с предателями. Людью управляет страх.

Все, что способно вызывать страх, должно служить рейху так же, как страх смерти служит первоосновой для религиозных верований.

Мы открыли величайший принцип фюреризма. Фюрер —

вершина, мы — ее подножие, и в полном подчинении воле одного — наша национальная сила. Уничтожение евреев — только акция проверки национального самосознания каждого из нас, своеобразная национальная гигиена...

Мы хотим сократить число потребителей ценностей. Чтобы раса господ стала единственным их потребителем, а остальные народы только производили для нас эти ценности. В этом высшая цель, освобождающая нас от всех нравственных предрассудков, стоящих на пути к достижению этой цели.

— Ладно, пусть так, — согласился Зубов. — Ну, а если вас лично убьют? Как вы относитесь к такой возможности?

Ротенбург сказал:

— Вам известно, я сам умею убивать. Полагаю, что я сумею умереть за фюрера с полным достоинством.

И Ротенбург солгал: он умолял, ползал у ног Зубова, когда, отправившись с ним в загородную прогулку, узнал, кто он, этот Зубов, и выслушал его приговор...

— Как же так, — с усмешкой сказал ему Зубов, — вы говорили «идейный, сумею умереть за фюрера» — и вдруг так унижаетесь. Вот сейчас я вас убью. Так скажите, за что вы отдаете свою жизнь. Ну!..

Кроме мольбы о пощаде, Зубов ничего не услышал от доктора Ротенбурга.

А как его боялись все офицеры Белостокского гарнизона — этого красноречиво философствующего, фанатичного наци, любителя казней женщин, утверждавшего, что первородная женская стыдливость у приговоренных настолько велика, что, даже стоя у рва, они пытаются закрыть себя руками не столько от пуль, сколько от взглядов исполнителей казни.

Он хвастал перед фронтовиками, утверждая, что в совершенстве знает все способы умерщвления. И доктору Ротенбургу пригодились его знания. За минуту до смерти он умолял Зубова выстрелить ему в затылок и показал рукой, куда следует стрелять, зная по опыту, что точное попадание в это место не сопровождается длительной агонией.

После гибели своих соратников во время налета на радиостанцию Зубов остался один.

Лежа в госпитале, он вначале пожалел, что на нем был ефрейторский мундир, а не офицерский. Тогда бы он находился в офицерской палате, где, очевидно, лучший уход и лечение. Он хотел как можно быстрее стать на ноги, чтобы продолжить свой поединок с врагом.

Он снисходительно разрешил обер-сестре влюбиться в себя, одержимый одной мыслью: пользуясь ее заботами, быстрее выздороветь, стать на ноги.

Узнав Белова, он терпеливо дожидался момента, чтобы от-

крыться ему, проявляя при этом ту же исключительную выдержку, которая сопутствовала ему и в подвигах.

Но, выслушав Зубова, Белов не одобрил многое из того, что тот успел совершить.

— Извини, — сказал насмешливо Зубов, — я человек справедливый. Чего заслужили, за то и получили.

Белов посмотрел на небо, светящееся кристаллами звезд, на бледное лицо Зубова с жесткими морщинами в углах рта. Спросил задумчиво:

— А когда война кончится? Ты кем будешь?

Зубов опустил глаза, ковырнул носком ботинка землю, сказал угрюмо:

— По всей вероятности, почвой, на которой будет что-нибудь расти такое подходящее. — И тут же предупредил: — Но, пока я жив, я временно бессмертный. Такая у меня позиция. С нее я и стреляю.

— Один ты.

— Верно, солист, — сказал Зубов, — выступаю без хора.

— Нельзя об этом так говорить.

— А как можно? Как? — рассердился Зубов. — Нет таких слов, чтобы об этом говорить. Нет, и надо надеяться, что их никогда потом не будет.

— Но мы-то будем!

— Мы будем. Правильно. А насчет себя и тебя не уверен. Такое обязательство на себя не беру — выжить.

На госпитальном дворе лежала черная, мертвая, опавшая листва каштанов, с крыши капало. Эти тяжелые холодные увесистые капли словно отстукивали время. Небо было сырым, тяжелым, низким. Возле дощатого сарая стояли гробы, накрытые брезентом.

Поеживаясь, Зубов сказал:

— Ну, пошли. Зябко, боюсь, простужусь. Болеть глупо. Мне здесь каждый час моей жизни дорог. — И добавил заботливо: — И ты себя должен беречь, даже, может быть, больше, чем я себя.

Вернувшись в палату, они молча улеглись на свои койки.

Итак, о Вайсе Алексей Зубов узнал от Бруно. Барышев прочел цикл лекций в школе пограничников.

Теперь Зубову нужно уходить. Гестаповцы уже наведывались в госпиталь, но Эльфрида не хочет отпускать его. Он сказал ей, чтобы она составила акт о его смерти. Ни к чему оставлять за собой следы.

Вайс дал Зубову явку в Варшаве. Спросил:

— Запомнил?

Зубов сказал, обидевшись на такой вопрос:

— Возможно... — И протянул руку,

— Уходишь?

Зубов кивнул.

Отсутствие Хагена обнаружилось только к вечеру.

Фишер, злорадствуя, деловито допрашивал раненых. Потом Эльфриду.

Эльфрида сказала, что Хаген был выписан еще накануне. А ночью за ним прислали машину из гестапо, но не для того, чтобы арестовать: гестаповский офицер поздоровался с Хагеном за руку и обнял его. То же самое подтвердил и ефрейтор Вайс, зная, что эту версию Эльфриде рекомендовал Зубов. Эльфрида была готова на все ради Хагена и последнее время обращалась к нему только так: «Мой бог!»

Он снова один среди врагов, снова обречен на бездействие, должен вживаться в чуждую ему, омерзительную жизнь. И ждать, готовить себя к выполнению того задания, ради которого его сюда направили. Он верил, что это задание будет необыкновенно важным, значительным. Он не мог думать иначе. Только эта уверенность придавала ему душевные силы. Фашистские газеты и журналы были полны фотографий. Захваченные советские города. Пожарища. Разрушенные здания. Казни народных мстителей. Виселицы. И трупы. Всюду трупы. Трупы мужчин, женщин, стариков, детей. И над всем этим фашистские знамена со свастикой, будто чудовищный, ненавистный паук впился в русскую землю. И он, Александр Белов, должен спокойно смотреть на эти снимки. Ему хорошо: он полеживает на мягкой постели, его вкусно и сытно кормят, за ним заботливо ухаживают эти самые фашисты, и он один из них. И еще долго должен оставаться таким, как они. И чем он от них неотличимее, тем лучше он выполняет свой долг.

23

В госпиталь начали поступать танкисты с черными ожогами третьей степени.

Иоганн не раз слышал рассуждения Штейнглица о преимуществах танковых соединений. Майор говорил Дитриху, что Сталин еще в середине тридцатых годов совершил роковую ошибку, когда расформировал мощные механизированные корпуса и заменил их более мелкими танковыми бригадами. Так же опрометчиво поступила и Франция. Распылив свои значительные танковые силы, она тем самым создала наилучшие условия для продвижения мощных моторизованных германских соединений. И Германия не замедлила этим воспользоваться: молниеносно вбила могуче сосредоточенные танковые клинья в самое сердце страны. Штейнглиц также утверждал, что Советская Армия не располагает не только

специальной противотанковой артиллерией, но даже противотанковыми ружьями. И то, что по советскому полевому уставу командир всегда должен быть впереди, вести свою часть или подразделение в бой, — неоценимая услуга для противника: можно, как на полигоне, выбивать командный состав. Говорил Штейнглиц и о том, что Советская Армия недостаточно оснащена радиоаппаратурой и больше полагается на линейную связь. Немецким диверсионным группам не так уж трудно будет разрушать линейную связь и тем самым лишать советские штабы возможности управлять войсками.

Обо всем этом Иоганн информировал Центр. Он не знал, конечно, и не мог знать, как была воспринята его шифровка, когда Барышев доложил о ней Берии. Берия сказал:

— Что такое? Находясь за рубежом, нагло клеветает на наши вооруженные силы! Надо проверить этого типа, кому он там еще служит!

И очень возможно, если б не Барышев, Александра Белова ждала бы судьба тех советских разведчиков, которые упорно настаивали на том, что нападение фашистской Германии на СССР в самое ближайшее время неизбежно. Понимая, что Берия не станет их слушать — известно было, как он относился к тем, кто отваживался с ним не соглашаться, — они пытались миновать его, с невероятным трудом пробивались к Сталину. Но Сталин направлял их все к тому же Берии. И разведчикам предъявляли обвинения «в ложной провокационной информации, имеющей цель столкнуть СССР и Германию».

И Бруно тоже ожидал, что его постигнет такая судьба. Он подал обширную докладную записку о своих наблюдениях, выводы из которых противоречили утверждениям Берии. Бруно считал, что репатриация немцев из Прибалтики проведена Германией для того, чтобы пополнить специальные части вермахта контингентом, знакомым с местными условиями. Обратно в Прибалтику они вернутся уже в качестве завоевателей. Он получил сведения о том, что эти части проходят армейскую боевую подготовку на местности, напоминающей условия Прибалтики.

Бруно побывал в районах демаркационной линии и видел, как специальные команды, выделенные из состава разведки абвера германским правительством, переносят останки павших в бою с поляками немецких солдат, чтобы захоронить их на польской земле, ставшей теперь территорией Германии. И Бруно установил, что этим актом немцы хотят только ввести в заблуждение Советское правительство. Хороня трупы немецких солдат на «своей» земле, Германия тем самым как бы подтверждает, что не покушается на советскую территорию. Но захоронение покойников лишь маскировка, нужная

для того, чтобы немецкая разведка могла изучить пограничные районы. Бруно «засек» немецкого разведчика из этой похоронной команды во время его работы, очень далекой от печальной официальной миссии.

И все это и многое другое Бруно изложил в своей докладной.

Но разве мог знать Бруно, что Берия докладывал Сталину о полной репатриации немцев из Прибалтики как о неоспоримом свидетельстве того, что фашистская Германия верна заключенному с Советским Союзом пакту. И сведения, что германские команды увозят трупы своих солдат из освобожденных земель западных областей Белоруссии и Украины, тоже преподносились в качестве свидетельства мирных устремлений Гитлера и политической дальновидности Сталина в этом вопросе...

Барышев понимал, что угрожает Бруно и как будет воспринята его докладная записка. И не скрыл этого от Бруно. И, чтобы сохранить Бруно, направил его с важным заданием в тыл врага, полагая, что там он будет, пожалуй, в большей безопасности, чем дома.

Берии нужны были только те, кто своими донесениями ловко подтверждал соображения Сталина. И он жестоко преследовал тех разведчиков, верных принципам Дзержинского, тех советских чекистов, которые считали своим высшим долгом говорить правду, какой бы она ни была жестокой и горькой. Только правду. И, чтобы добыть эту необходимую партии, народу правду, они шли на все, и если нужно было жизнью заплатить за эту правду, они платили не задумываясь, как сделал это Бруно. Но как часто их жизнь была еще не самой дорогой ценой!..

И то, что Иоганн Вайс так долго не получал целенаправленного задания и действовал, по существу, на свой страх и риск, было не случайно.

Работая в гараже переселенческого цехтра в Лодзи, Вайс сумел выяснить систему зашифровки номерных знаков на армейских машинах и расшифровал условные обозначения. Тщательный, систематический анализ натолкнул его на обобщения. Вайса ошеломили сделанные им подсчеты, и он тут же передал информацию в Центр. Подтверждалось, что немецкие части обеспечены транспортными средствами значительно лучше, чем соответствующие советские части. Больше у немцев приходилось и тягачей на артиллерийскую батарею, а о штабном и тыловом автотранспорте и говорить нечего. Все это свидетельствовало о подвижности немецких соединений и, значит, об их маневренности.

И куда бы ни попадал Вайс, с какими бы явлениями ни сталкивался, он старался осмыслить их и передать свои сообщения Центру.

Информации Александра Белова неизменно вызывали гнев Берии. И каждый раз на оперативных совещаниях у Берии происходили стычки со старыми советскими разведчиками. Они совсем по-иному оценивали донесения Александра Белова, радовались стойкости своего молодого товарища, его твердой решимости, когда нужно было сообщить самую горькую правду.

Нападение фашистской Германии подтвердило правоту верных своему долгу советских разведчиков. Теперь стало невозможно не считаться с ними.

Иоганн Вайс и не подозревал, сколько раз он подвергался опасности, и не здесь, среди врагов, а дома, среди своих. Не знал он и о том, что с началом войны многое для него изменилось, что решено поручить ему выполнение задания особой трудности и что Центр уже разработал все детали этого задания.

Танкистов в госпитале с каждым днем становилось все больше. Танкисты жаловались, что, когда они, считая себя в полной безопасности, «врезались в мягкое брюхо» советских пехотных частей, солдаты забрасывали их машины бутылками с горючей жидкостью. Мешки с этими бутылками висят на поясе у каждого солдата, и они охотятся за танками, погнувшись какому-то азарту, а не логике ведения войны. Ведь пехотная часть при соприкосновении с мотомеханизированной частью, безусловно, должна признать свое поражение.

Так же, не считаясь с правилами ведения боя, поступают советские артиллеристы: они на руках выкатывают орудия на открытые позиции впереди пехоты и прямой наводкой бьют по танкам.

Но раз уж они так действуют, надо к ним приноравливаться. Немецкие автоматчики должны идти в атаку не позади, а впереди танков, чтобы охранять их от пехотинцев, вооруженных бутылками с горючей жидкостью, и выбивать прислугу артиллерийских батарей. Это каждому ясно, но это не соответствует ни немецкому уставу, ни привычке немецких солдат — атакуя, надежно защищаться броней.

В первые дни войны советские пехотинцы бегали от немецких танков, а теперь они бегут на немецкие танки с гранатами и бутылками. И такая тактика врага не только неожиданна, но и непонятна. Ведь фюрер объявил, что Советская Армия уже разгромлена, а солдаты этой разгромленной армии, то ли не зная, то ли не желая знать об этом, дерутся так, будто каждый из них в одиночку может победить армию противника. Русские не хотят признавать или не понимают, что потерпели поражение. И это их заблуждение приносит значительные потери немецким войскам, одержавшим победу...

Слушая такие рассуждения танкистов, Иоганн старался

навести их на разговор о том, почему Германия за полтора месяца разгромила вооруженные силы Голландии, Бельгии, Франции, нанесла поражение английским экспедиционным войскам, а тут, в отсталой стране — и вдруг встретила такое сопротивление.

— Наверно, — предположил он, — это потому, что там, в Европе, были хорошие дороги, а в России — плохие.

Танкисты презрительным молчанием встретили это соображение Вайса.

Тогда он сказал, что надо вооружить немецкую пехоту бутылками с горючей смесью, раз эти бутылки так эффективны.

Но и эти его слова были встречены все тем же презрительным молчанием. Только один танкист, весь обожженный, забинтованный, как мумия, спросил глухо:

— А ты бы лег с миной под советский танк? — Голос его звучал как из мягкого гроба.

Вайс заявил гордо:

— Если мне лично прикажет фюрер!

— Врешь, не ляжешь! А они бросаются на танки и под танки без приказа, самовольно.

— Возможно, от отчаяния, — сказал Вайс.

— От отчаяния не на танк бросаются, а от танка, — прошепел забинтованный. — Они дерутся за свою землю так, будто эта земля — их собственное тело.

Иоганну очень хотелось увидеть лицо танкиста, скрытое сейчас бинтами. Какой он? Но даже если снять бинты, лица не увидишь — оно сожжено. Что-то он понял, этот танкист, и, наверно, мог бы больше сказать об этой войне и о советских солдатах.

Иоганн знал, что Геринг, назначенный в 1936 году генеральным уполномоченным по четырехлетнему плану, осуществил полную милитаризацию всех немецких промышленных предприятий. Жестокое законодательство казарменно закрепило рабочих на заводах и фабриках. Фашистские специальные службы беспощадно расправлялись с теми, кто пытался отстаивать даже минимальные рабочие права. Геринг заявил, что не остановится перед «применением варварских методов», и не останавливался: за невыполнение нормы обвиняли в саботаже и бросали в концлагеря, штурмовики и эсэсовцы прямо в цехах убивали профсоюзных деятелей, рабочих-активистов.

Окровавленный, замученный, загнанный фашистским террором рабочий класс Германии! Какой он сейчас? Иоганн очень хотел знать это. Может быть, танкист с обожженным лицом — рабочий. Но поговорить с ним больше не удалось. Кто-то из раненых донес на опаленного огнем человека, и Фишер перевел танкиста во флигель с зарешеченными окнами.

Очевидно, оценку танкистом противника посчитали недооценкой победоносной мощи вермахта. Но в этом человеке Иоганн ощутил черты той Германии, в честь которой советская молодежь носила юнгштурмовки. В этой Германии была Баварская советская республика 1919 года, Красная армия Мюнхена, доблестно сражавшаяся в апреле 1919 года. Ее сыны дрались в рядах испанских республиканцев. Она дала миру Карла Либкнехта, Розу Люксембург, Эрнста Тельмана. Это была Германия революции, Германия любви и надежд советского народа. И, может быть, танкист в запеченных кровью бинтах был из той Германии, которую чтит Александр Белов?

Так хотел думать Иоганн, и так он думал об этом танкисте.

Тучная, но удивительно проворная, с пышными медными волосами и нежными коровьими глазами, обер-медсестра Эльфрида несколько раз зазывала к себе Вайса, чтобы поведать ему свою бабью тоску: ведь Иоганн был другом Хагена.

Вайс осторожно осведомлялся, как ведет себя Фишер после исчезновения Алоиса Хагена.

Эльфрида беспечно отвечала:

— Как всегда.— И передразнила: — «А ну, крошка, перешагнем государственные границы приличия!»

— Фишер твой любовник?

— Ах, нет, что ты! — возмутилась Эльфрида. — Просто я ему оказываю иногда любезность. Да и к тому же, — она понизила голос, — он мог бы наделать мне кучу неприятностей.

— Каким образом?

Эльфрида будто не расслышала вопроса и перевела разговор на другое:

— Ах, Иоганн! Теперь, когда всех немок мобилизовали на принудительные работы и во вспомогательные части, мужчины заходят в женские казармы, в общежития, на предприятия, как в бордель. Одним женщинам, может, это и нравится — так выражать свой патриотизм, а другие боятся быть привередливыми. Тем более что фюрер благословил нас на все, кроме, конечно, связей с унтерменшами. — Воскликнула негодующе: — Я бы на месте Гиммлера приказала привезти в рейх туземок с новых территорий, чтобы наши мужчины посещали их за небольшую плату в пользу местных муниципалитетов. Ведь фюрер говорил: «Я должен предоставить рабочему, зарабатывающему деньги, возможность тратить их, если он ничего не может на них купить, для поддержания в народе хорошего настроения».

— У тебя голова министра!

— Ах, Иоганн, я не могу думать о нашей морали. Немецких женщин, оторвав от семьи, в принудительном порядке

заставили отбывать трудовую повинность, а мужчины предпочитают их выполнять и другие повинности... Ведь, в конце концов, и я когда-нибудь выйду замуж. И если мой муж окажется не национал-социалистом, он просто не оценит тех жертв, которые я здесь приношу.

— А Алоис?

— О, это совсем другое дело! Он был слишком почтителем ко мне, когда мы оставались наедине, а этого вовсе не требуется. И к тому же я, наверное, никогда больше не увижу его.

Эльфрида заплакала. Пожаловалась сквозь слезы:

— А ведь он мог бы жениться на мне. Я из очень приличной семьи. Мой отец — деревенский пастор. Отец умолял меня не вступать в «гитлерюгенд», а я вступила. И сразу же наш юнгфюрер пристал ко мне. Грозил донести, что отец дружит с каким-то евреем. Я испугалась. А потом юнгфюрер посмеялся надо мной и сказал, что этот еврей — Христос.

— Как же нам теперь быть? — спросил Иоганн.

— А что случилось? — встревожилась Эльфрида.

— Да с Христом: он же действительно еврей.

— Ах! — воскликнула горестно Эльфрида. — Я сейчас думаю не о Христе, а об Алоисе.

— Что такое?

Эльфрида наклонилась к уху Иоганна, прошептала:

— К нам сюда привезли полумертвого советского летчика. У него нет ног, рука раздавлена. Но его обязательно нужно было оживить. Ему огромными дозами впрыскивали тонизирующее, все время вливали кровь и глюкозу.

— Зачем?

— Ну как ты не понимаешь! Он летел на новой советской машине, а когда самолет подожгли, он нарочно разбил его, и теперь нельзя узнать, что это была за машина.

— Значит, его хотели оживить только для того, чтобы узнать, какая эта была машина?

— Ну конечно!

— При чем же здесь Алоис?

Эльфрида смутилась, побледнела так, что на ее щеки и руках проступили веснушки.

— Когда я дежурила у постели летчика, Алоис пробрался ко мне.

— И что же?

— Он приказал мне выйти, сказал, что будет говорить с летчиком.

— Да?

— И летчик ему признался.

— Отлично! Молодец Алоис!

— Теперь Алоис может сообщить штабу ВВС о новом советском самолете, если только...

— Если что?

— Если только летчик не очнется и не выболтает все сам.
— Это возможно? — спросил озабоченно Вайс.
— Нет! — гордосказала Эльфрида. — Теперь это уже невозможно.

— Почему?

— Потому, что я доказала Алоису свою любовь.

— Чем?

— Просто по ошибке я дала летчику большую дозу снотворного, а он и так был полумертвый.

— Ты убила его?

— Да нет, он сам очень хотел. — Произнесла испуганным шепотом: — Знаешь, когда я дала летчику много-много таблеток, он проглатывал их торопливо, как курица зерно, и впервые за все время открыл глаза, и в первый раз я услышала его голос. Он сказал: «Данке шен, г-геноссе», — и погладил мне руку.

— Почему же?

— Раз он знает немецкий язык, значит, он успел прочесть этикетку и знал, что я ему даю.

— Ты думаешь, он хотел умереть?

— Я даже думаю, Алоис пообещал ему, что я такое для него сделаю. Он же знал, что если не умрет в госпитале, его все равно убьют. У него в документах написано, что он политрук звена.

— Коммунист?

— Конечно! Даже после того, как он открыл глаза, и стал все понимать, и мог говорить, он ничего не сказал штурмбанфюреру. А вот Алоису сказал.

Иоганн строго заметил:

— Значит, ты поступила как настоящая патриотка, как какистка, отомстила русскому летчику-коммунисту. — И мягко успокоил: — И ничего не бойся. За такой патриотизм у нас в Германии еще никого не наказывали.

— Но, я считаю, мне надо быть скромной и молчать.

— Да, — согласился Иоганн, — скромность — лучшее украшение женщины.

Эльфрида зарумянилась.

— О, я была во всех смыслах скромной. Но война... — Она сокрушенно потупилась. Взглянула на часы, испугалась: — Господин Фишер всегда заходит ко мне в это время. — Подошла к зеркалу, подкрасила губы и стала взбивать свои цвета красной меди жесткие волосы...

Со дня на день Вайса могли выписать из госпиталя, и, если бы не Эльфрида, его наверняка с первым же маршевым батальоном отправили бы на Восточный фронт.

Эльфрида выяснила по номеру полевой почты, где надо искать подразделение майора Штейнглица, и добилась, чтобы Фишер направил Вайса обратно в его часть.

На прощание Эльфрида пригласила Вайса к себе, угостила завтраком и дала на дорогу объемистый пакет с продуктами.

Она была рассеянная, усталая, все время о чем-то беспокоилась. Они поговорили немного о Хагене, выпили по рюмке, и Эльфрида озабоченно спросила:

— Может, ты хочешь скорее уйти? Тогда прощай!— И объяснила:— А то мне некогда. Очень много раненых.— Пожаловалась:— Эти эрзацные бумажные бинты так быстро промокают, не успеваем менять.

Иоганн предложил вежливо:

— Я могу написать тебе...

Эльфрида пожала плечами.

— Как хочешь.— Но тут же спохватилась:— Я не знаю номер своей новой полевой почты.— Похвасталась:— Ведь я получила повышение. С герр профессором я уезжаю в Аушвитц. Профессор будет заниматься там научной работой, ему даже выделили специальный блокгауз.

— Какая же это работа?

— Секрет!— Эльфрида погрозила Иоганну толстым, похожим на молочную сосиску пальцем.

— Ну что ж, желаю успеха!— сказал Иоганн. И пожал Эльфриде руку.

Итак, Эльфрида уезжала в Аушвитц. Аушвитц — так немцы называли польский Освенцим. Но Иоганн научился владеть собой, говорить то, чего не думал. И он легко, просто, беспечно выговорил эти слова: «Желаю успеха!»— именно так, как на его месте сказал бы любой наци.

Шел дождь, было пасмурно, с мокрых деревьев падали мертвые, желтые листья. Зеленые автофургоны с красными крестами на кузовах чередой въезжали в распахнутые железные ворота огромного фронтального госпиталя, который и без того уже был заполнен до отказа.

Иоганн по деревянному тротуару дошел до пустыря, прегражденного в кладбище. Над могилами торчали куцые белые кресты. На некоторых из них висели стальные каски. Поляки-военнопленные опускали на веревках в глубокую могилу один гроб за другим. Эта могила была многоэтажной. Возле нее лежал заранее приготовленный крест. На нем стояло только одно имя: немецкого унтер-офицера.

Пастор в военной форме сидел на соседней могиле и курил, ожидая, когда опустят последний гроб, чтобы прочесть молитву.

Иоганн козырнул пастору. Тот, не вставая, вытянул руку в партийном приветствии:

— Хайль Гитлер!

— Зиг хайль,— сказал Вайс и побрел обратно, ощущая

мертвую тяжесть глины на сапогах. Напрасно он потащился сюда в надежде обнаружить могилу, в которую бросили советского летчика. Тут и немцев-то хоронят навалом.

Иоганн шел и думал об этом безвестном летчике, о том, что говорил этот летчик лейтенанту Зубову, когда просил легкой смертью спасти его от смерти мучительной.

Он думал об Эльфриде, о повышении, которое она получила. В Аушвитце, в этом лагере смерти, Эльфрида будет помогать своему герр профессору истязать заключенных. Производит опыты над живыми людьми. Эта рыжая дочка пастора, тупая и сентиментальная, чувственная и равнодушная, глупая и лукавая, развращена до того, что разврат не считает развратом. И не деревенский конфюрер ее растлил — фашизм.

Перед глазами Вайса вставала сутулая фигура пастора-фашиста, терпеливо сидящего под серым дождем с сигаретой в зубах на могиле солдата: он ждал, когда можно будет поспешно пробормотать молитву над сложенными в штабеля покойниками, из которых лишь один удостоивается права на то, чтобы его имя было надписано на кресте. Один, а не все мертвые. Империя с коммерческой предусмотрительностью ставит такие фальшивые кресты, чтобы никто не узнал о ее просчете в «восточной кампании».

К осени Гитлер обещал победоносно завершить войну с Россией. К осени!

Автофургоны с красными крестами на кузовах, разбрызгивая грязь двойными задними скатами, все въезжали и въезжали в распахнутые железные ворота госпиталя.

Было промозгло, сыро, сивые облака висели над черепичными остроконечными крышами, на асфальте, как клочья кожи, валялись дряблые листья.

Иоганн с трудом дотащил свой тяжелый мешок до шоссе, отдохнул на обочине и, расплачиваясь сигаретами с шоферами попутных машин, к вечеру добрался до городка, где расположилось подразделение майора Штейнглица.

24

Майор жил в особняке, некогда принадлежавшем знаменитому польскому художнику. Старого художника расстреляли за то, что он повесил в костеле икону, на которой была изображена распятая на свастике Польша...

Часовой даже не допустил Вайса к воротам. Но Вайс был настойчив, заявил, что имеет сообщить нечто чрезвычайное, и если уж его не могут пропустить, то пусть майор выйдет к нему.

И когда Штейнглиц вышел и, едва кивнув, равнодушно уставился на него, Вайс, протягивая бутылку трофейного

французского коньяка, которым его снабдила Эльфрида, щелкнул каблуками, отдал приветствие и доложил:

— Господин майор, вы посылали за этой маркой коньяка. Прошу простить, несколько задержался...

Штейнглиц усмехнулся.

Вайс посчитал это достаточным для того, чтобы независимо пройти мимо часового.

Дальше он действовал так бесцеремонно, как и решил действовать. Притворившись, будто не замечает нового шофера Штейнглица, осмотрел машину, вычистил сиденья. А когда шофер попытался возражать, Вайс пригрозил ему, говоря, что за такой уход за машиной расстрелять и то мало.

А утром подал в постель Штейнглицу завтрак, приготовленный из продуктов, которыми снабдила его Эльфрида. Сказал весело:

— Господин майор, вы отлично выглядите! Я счастлив видеть вас!

Покончив с завтраком, майор сказал брюзгливо:

— Ты напугал моего парня.

— Сожалею, что не убил!— воскликнул Вайс.— Тормоза в таком состоянии, что я просто содрогнулся, когда понял, какой опасности подвергалась ваша жизнь.

Вайс не мог церемониться с шофером. Это как рукопашная схватка. И тот, кто ее выиграет, останется у Штейнглица. Вайс должен был ее выиграть. И выиграл.

Он подал машину к подъезду и ожидал майора, держа на коленях гаечный ключ. Шофер стоял несколько поодаль.

Вышел Штейнглиц, сел рядом с Вайсом и, будто не замечая другого шофера, сделал знакомое Вайсу нетерпеливое движение подбородком.

Это означало, что майор спешит.

И только машина тронулась, как к ней присоединился транспортер с автоматчиками. Да, дела майора идут неплохо, если теперь его сопровождает такой эскорт.

— Поздравляю, господин майор!— Йоганн кивнул на машину с охраной.

Штейнглиц не ответил, только нижняя губа у него слегка отвисла. Значит, он одобрил догадливость своего шофера, похваление доставило ему удовольствие.

Не все еще понимали, что с него снята опала, а Дитрих просто нарочно делал вид, будто не знает, какое доверие оказано Штейнглицу, какое важное поручение ему дали, и не менял своего снисходительно-покровительственного тона. Но Штейнглиц мирился с этим. С контрразведчиком, даже если он называет себя твоим другом, лучше всего держаться так, словно он оказывает тебе честь своей дружбой, тем более что Оскару Дитриху, хотя он и был ниже Штейнглица по званию,

предназначалось сыграть одну из главных ролей в выполнении этого ответственного задания.

Вот и сейчас, когда им следовало бы вдвоем разыскивать объект и вместе решать, что больше подойдет, Дитрих дрыхнет в постели. И после бесконечных скитаний по окрестностям Варшавы майор Штейнглиц вынужден будет докладывать капитану Дитриху о результатах своих поисков, а тот, позевывая, может быть, скажет ему, как в прошлый раз:

— И все-таки, Аксель, ты болван. Пожалуй, в свое время ты умел работать пистолетом. Но головой — нет. Головой ты никогда не умел работать. Сравнить ее с задницей — это значит оскорбить задницу.

Конечно, Штейнглиц мог бы такое ответить Дитриху!.. Но Штейнглиц — человек разумный. Он промолчал. Ведь за подобный намек Дитрих сумеет так ловко спровадить его в гестапо, что даже сам адмирал Канарис не сможет выхлопотать для него замену казни штрафной ротой.

Вайс, глядя на майора в зеркало, сказал с гордостью:

— О, господин майор! У вас награда?

— Это давно, — небрежно заметил Штейнглиц.

— В таком случае, господин майор, считайте, что я вас поздравил со следующей!

Штейнглиц не ответил. Но это не помешало ему оценить внимательность Вайса. Как этот солдат, нет, уже ефрейтор, умеет отвлечь от неприятных мыслей! Надо отправить обратно в часть того, нового шофера. Только и знает, что смотрит преданными, собачьими глазами да дрожит, как бы не послали на фронт. А этот Вайс — храбрый солдат. И вместе с тем как он умеет чувствовать настроение своего начальника!

Вот Вайс заметил, что Штейнглиц загляделся на деревенскую девушку, которая высоко подняла юбку, переходя через лужу, — и пожалуйста — замедлил ход машины. Нет, он необычайно чутко понимает своего хозяина. Хорошо, что его не убили. Надо сделать ему что-нибудь приятное. И Штейнглиц сказал:

— Тут для нижних чинов уже есть дом с девками. Ордер на посещение — в отделе обслуживания.

— Благодарю вас, господин майор! — широко улыбнулся Вайс.

Если б майор знал, как обрадовала Иоганна эта неожиданная милость!

Значит, когда наступит нужный момент, будет предлог отлучиться, чтобы обследовать новое расположение, которое окружает такая же тайна, как и то, прежнее, где Вайс так долго пробыл в заключении, пока не стал самовольно солдатом-дворником. Здесь надо будет придумать что-нибудь иное...

Майор Штейнглиц неутомимо рыскал вокруг Варшавы, тщательно обследуя помещичьи усадьбы, замки, виллы, фольварки, и делал это так дотошно, с такой заинтересованностью, будто присматривал имение лично для себя.

Теперь в эти поездки майор брал с собой бывшего ротмистра польской охранки Душкевича. Пану Душкевичу было уже далеко за пятьдесят, но он тщательно следил за собой. Редкие волосы, расчесанные на прямой пробор, выкрашены, брови выщипаны в стрелку, как у женщины, воспаленная от частого бритья кожа припудрена.

Обрюзгшая лиловая физиономия и большой живот, свисающий между расставленных ног, не мешали ему выглядеть весьма солидно в его отличном английском пальто и черном котелке. И держал он себя с немецким офицером солидно, без угодливости. Он даже сказал Штейнглицу с упреком:

— Герр майор, смею вас заверить: до последнего часа мы не утрачивали благоразумной надежды, что вместе с вами, вместе с великой Германией мы покончим с большевиками, но, увы...

Штейнглиц, глядя в окно, спросил:

— Как это называлось раньше?

— Варшавское воеводство, герр майор.

— Нет, вся эта страна?

Пан Душкевич побагровел.

Майор заглянул прозрачными, ледяными глазами в выпуклые, цвета горчицы глаза Душкевича, посоветовал:

— Я бы не рекомендовал вам обременять память старинными воспоминаниями: это может вредно отразиться на здоровье.

— Многолетний опыт борьбы с коммунистами позволяет думать, что именно теперь моему здоровью ничто не угрожает,— с достоинством ответил пан Душкевич.

Штейнглиц промолчал.

Душкевич возил с собой карту окрестностей Варшавы, держал ее на толстых коленях и, когда возникала необходимость, надевал на нос пенсне с золотой цепочкой на заушной дужке, и, как всякий дальнзоркий человек, горделиво отстраняясь, рассматривал карту и в эти минуты походил на заслуженного профессора.

Однажды он сказал глубокомысленно:

— Я человек образованный, почти окончил гимназию, работал с интеллигенцией и, как знаток, смею кое-что предложить. Публичные казни, конечно, эффектны, но они делают польскую интеллигенцию излишне популярной в народе. Смею рекомендовать личный опыт. Я брал группу политических и выпускал на свободу самого видного из них. Через некоторое время подсаживал к оставшимся своего, и он уведом-

лял заключенных, что тот, освобожденный, — предатель. И не препятствовал им информировать об этом свою организацию. Способ весьма результативный.

— Старо как мир. Впрочем, обратитесь к капитану фон Дитриху. Его это может заинтересовать.

— Но вы, господин майор, понимаете, как это обеспечивает свободу маневра?

— Но если маневр не удастся, мы вас, пожалуй, повесим.

— Нет, господин майор, — твердо сказал Душкевич. — Вы меня не повесите. Это будет неразумно....

Управляющий имением баронессы Корф не разрешил Штейнглицу без ее ведома осматривать поместье. Не разрешила этого и сама баронесса. Она вышла на крыльцо в жакетке из чернобурок и в простых грязных сапогах. Не выпуская изо рта сигареты, астматически задыхаясь и кашляя, баронесса очень милостиво, как со старым знакомым, поздоровалась с Иоганном. На пана Душкевича она и не взглянула, а Штейнглица спросила ехидно, на каком он играет инструменте. И когда Штейнглиц сердито ответил, что он не музыкант, а офицер абвера, баронесса оборвала его:

— Господин Канарис в моем салоне пользовался успехом, играя на флейте, а господин Гейдрих играл на скрипке. И если вы не музыкант, вам здесь делать нечего. — Но тут же смилостивилась и приказала управляющему, чтобы он пригласил господ позавтракать у него во флигеле.

За завтраком управляющий сказал Штейнглицу, что баронесса просит его помочь ей устроить здесь небольшой концлагерь для тех военнопленных, которые работают в имении. Это дисциплинировало бы их, кроме того, лагерный рацион питания экономичней.

Штейнглиц обиделся, отодвинул тарелку, сказал, что это не входит в его обязанности. Но так или иначе баронесса могла бы обратиться к нему сама, а не через посредника.

Управляющий заметил:

— Баронесса полагала, что сердцу немецкого солдата ближе три заповеди фюрера. — Загибая чистенькие сухонькие пальцы, перечислил: — Онемечивание, выселение, истребление. —

Поднял глаза, проговорил многозначительно: — Кроме всего, за упомянутое благоустройство баронесса готова внести от сорока до пятидесяти пяти марок с каждой головы!

— Очень сожалею, — сказал Штейнглиц, — но я лишен возможности оказать баронессе содействие. — И он поднялся из-за стола.

Управляющий, не вставая, простился с ним небрежным поклоном.

Но он ошибся в Штейнглице. Майора нельзя было купить так дешево. Ему приходилось при выполнении заданий убивать и похищать людей — это была его работа. Но если убий-

ство не маскировалось ограблением, он никогда не забирал никаких ценностей. И похищенный человек так же не мог смягчить его мольбой о своих детях, как и соблазнить деньгами. Штейнглиц считал, что его неподкупность стоит дорого, что когда-нибудь он получит за нее сполна, и не позволял себе размениваться на мелочи. Вот и теперь он решил показать, как оскорблен тем, что ему предложили взятку.

Глядя на управляющего холодными, рыбьими глазами, Штейнглиц вдруг приказал отрывисто:

— Встать!

Управляющий покорился.

Майор поднял руку:

— Сесть! Встать!

Старческие колени управляющего дрожали, но он старательно выполнял приказания, лоя, как рыба, ртом воздух.

— Быстро. Еще быстрее, — командовал Штейнглиц. И только когда управляющий упал в изнеможении, майор пошел к машине, сел и удовлетворенно откинулся на сиденье, вытянув наискось сухие длинные ноги в блестящих сапогах.

Пан Душкевич после этой сцены уже не решался сидеть в котелке рядом с майором. Он держал котелок на коленях и надевал, только когда выходил из машины.

По характеру требований, которые неотступно выдвигал Штейнглиц, обследуя бесконечные имения, замки, поместья, Иоганн установил, что тот ищет нечто подобное прежнему секретному расположению, и не одно, а несколько подходящих мест. Предназначаются они не для размещения штабов и, по видимому, не для концлагерей, хотя люди в них должны быть лишены свободы передвижения и возможности общения с внешним миром. Ведь если бы требовалось подходящее место для концлагерей, Штейнглиц не стал бы искать поместья, хорошо оборудованного, но в то же время удаленного от главных путей.

Несомненным было одно: главную базу Штейнглиц предполагал разместить где-то здесь, в окрестностях Варшавы, и Вайс в течение недели известил открытками адресатов в Ровно, Львове и даже в Берлине о том, где он сейчас находится. В его вещах сохранился знакомый нам носовой платок, и, поболтав его кончик в чашке с чистой водой, Иоганн написал водой между строк каждой открытки свои координаты.

Из Берлина прибыл некий господин Лансдорф. Он был в штатском, но Штейнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Это был сухощавый седовласый человечек со старчески запавшим ртом, маленькой головой, горделиво тор-

машей на тонкой длинной шее, с властными движениями и внимательным, как у змеи, взглядом выпуклых темных глаз.

Штейнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Лансдорфа и оказать ему все услуги, какие потребуются.

Выполнить это почетное поручение с честью показалось сначала довольно затруднительным, так как ни теоретически, ни практически Иоганн не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и, тщательно обдумав свое поведение, Иоганн приступил к исполнению порученных ему обязанностей. На улице прохладно, и согреть на калориферах белье, которое наденет после ванны этот почтенный старичок,— значит сделать ему приятное. Лансдорфу, когда он вошел в свою комнату, не очень-то понравилось, что его чемодан открыт, но, увидев приготовления для ванны, он тут же успокоился.

Вайс так осторожно и старательно помог ему раздеться, будто это был раненый, только что вынесенный с поля боя. Улегшись в ванну, Лансдорф заметил, что температура воды именно такая, какую он предпочитает, и, прикрыв глаза белыми, как у курицы, веками, попросил Вайса взять со стола книгу и почитать ему вслух.

Книга эта оказалась французским романом, изданным в 1902 году на немецком языке в Мюнхене. Называлась она «Искусство наслаждения». Но ничего фривольного в ней не содержалось. Автор обстоятельно и подробно, день за днем описывал жизнь пожилого холостяка, который приговорил себя к добровольному заключению в своей комнате. Единственным живым существом, с которым он позволял себе общаться, была канарейка. Беседы с этой птичкой и составляли суть повествования.

Вайс читал книгу, сидя на круглой табуретке в некотором отдалении от ванны, и, когда изредка подымал глаза, видел торчащее из воды сморщенное личико Лансдорфа, на котором блуждала мечтательная улыбка.

Потом Вайс помог Лансдорфу выбраться из ванны, вытер его насухо теплым полотенцем, завернул в заранее нагретую простыню и отвел к постели. Здесь он надел на старика теплую длинную ночную рубаху, прикрыл его периной и осведомился, будут ли какие приказания.

— Мне нравится, как ты читаешь,— сказал Лансдорф.— Продолжай!

Но только Вайс взялся за книгу, как в дверь робко постучали, а потом так же робко в комнату вошли Штейнглиц и Дитрих.

Тем же ровным голосом, каким он одобрил манеру чтения Вайса, Лансдорф сказал стоящим навтыжку подле кровати офицерам:

— Господа! Сейчас я прочту вам приказ фельдмаршала

Кейтеля. Он гласит,— и стал читать документ, отпечатанный на тонкой папиросной бумаге: — «Пункт первый. Советские военнопленные подлежат клеймению посредством особого должного временного знака.

Пункт второй. Клеймо имеет форму острого угла примерно в сорок пять градусов, с длиной стороны в один сантиметр и ставится на левой ягодице. Царапины наносятся раскаленным ланцетом на поверхность напряженной кожи и смачиваются китайской тушью».

Таким образом, военнопленные, поступающие в транзитные лагеря, где нами проводится отбор материала, пригодного для зачисления в разведывательные и диверсионные школы, оказываются мечеными. Отсюда следует, господа, что самый предварительный отбор материала надлежит производить в сборных лагерях.— Тут Лансдорф почмокал губами.

Вайс догадливо подскочил, всунул ему в рот сигарету, поднес зажженную спичку.

— Господа!— сказал Лансдорф визгливо.— Я полагаю, этот ефрейтор воспитан лучше некоторых офицеров.— И тем же недовольным голосом продолжал:— Пункт третий этого приказа от двенадцатого мая нынешнего года разъясняет, как надо обращаться с захваченными в плен советскими военнополитическими работниками. В нем указано:

«Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл они не эвакуируются».

Дитрих заметил нетерпеливо:

— Мы получили этот приказ.

Лансдорф насмешливо посмотрел на него и, будто не слышав, продолжил прежним, ровным тоном:

— Этот пункт приказа вызвал естественное соперничество между службами СД, СС, гестапо и вашей службой.

Когда служба, ведающая транзитным лагерем, сообщает, что провела ликвидацию некоторой части вновь прибывших военнопленных, это рассматривается как упущение тех служб, которые ведают сборными лагерями. А когда служба тыловых лагерей ликвидирует в процентном отношении больше военнопленных, чем было ликвидировано в прифронтовых, административную прифронтовых лагерей обвиняют в беспечности.

В силу таких обстоятельств каждая служба на всех ступенях лагерной системы заинтересована в том, чтобы уничтожать максимальный процент военнопленных, поскольку любое снижение сведений о количестве уничтоженных может послужить поводом для расследования и привлечения к ответственности за невыполнение приказа от двенадцатого мая тысяча девятьсот сорок первого года.

Лансдорф стряхнул пепел в предупредительно поданную

Вайсом большую морскую раковину, иронически посмотрел на офицеров.

— Господа, я не предлагаю вам сесть, ибо вы могли бы расценить подобное мое предложение как выражение неуверенности в вашей армейской выносливости. Но к делу. Все вышеизложенное будет крайне осложнять вашу задачу. Вы должны отобрать максимальное количество лагерного материала, для того чтобы после специфического изучения завербовать определенное число лиц и обучить их, подготовить к разведывательной и диверсионной деятельности.—Помолчал. И заключил после паузы: — На самом предварительном этапе рекомендую: когда впоследствии среди отобранного вашей службой при консультации гестапо материала обнаружатся отдельные непригодные субъекты, не следует всецело обвинять в этом упущении гестапо. Адмирал Канарис не хотел бы обострять отношения сторон, и потому вы сами должны исправлять ошибки гестапо и делать это без излишних формальностей. И без официальных церемоний публичных казней. Господа, вы свободны.

Не дав им раскрыть рта, он отпустил их кивком головы.

Утром Лансдорф попросил помассировать ему больную ногу. И Вайс с удивительным мастерством справился с этим. В области массажа у него была солидная и теоретическая и практическая подготовка. Тренеры утверждали, что массаж не только универсальное средство от всех болезней, но и целительный бальзам для нервной системы. Вайс в свое время прослушал лекции массажиста, да и после тренировок на стадионе «Динамо» спортсмены часто массировали друг друга. Так что у Иоганна был достаточный опыт.

Лансдорф, очень довольный, объявил, что еще древние римляне прибегали к массажу: полководцы накануне сражений, а патриции перед важнейшими выступлениями в сенате.

Вайс отважился заметить, что даже Тимур, будучи отличным кавалеристом, не пренебрегал массажем.

Лансдорф, внимательно оглядев ефрейтора, спросил, за что он получил медаль.

Вайс скромно ответил:

— Увы, только за храбрость!

— А что у тебя есть еще?

— Голова, господин генерал!

— Я не генерал,— сухо поправил Лансдорф. Усмехнувшись, добавил: — Но не будь нас, генералы воевали бы как слепые. Так что у тебя в голове?

— Я хотел бы быть вам полезен.

— Чем?

— Я полагаю, вы знаете о каждом больше, чем он сам о себе знает...

— Да, конечно!

— Мне кажется, майор Штейнглиц и капитан Дитрих не совсем точно поняли вас.

— Говори, я слушаю.— Лансдорф даже приподнялся на локте.

Вайс понимал, чем он рискует, но у него не было иного способа привлечь к себе внимание Лансдорфа.

— Вы дали им понять, что чем больше будет отсеяно уже в самой школе, тем больше найдется впоследствии оснований упрекнуть службы гестапо в недостаточной осмотрительности.

— И что из этого следует?

— Надо, чтобы такой непригодный материал в известном числе все же попадал в школы, иначе, если его не выявить, вся дальнейшая ответственность будет ложиться на службу абвера.

— О, да ты мошенник! Где ты этому научился?

— Мой шеф, крейслайтер Функ, применял этот метод в отношении членов «Немецко-балтийского народного объединения». Он принимал туда всех желающих. Но потом, накануне репатриации, составил огромный список тех, кого считал не заслуживающими доверия. И Берлин высоко оценил его заслуги и указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.

— Откуда ты это знаешь?

— Я пользовался исключительным доверием господина Функа.

— Почему?

— Потому, что вы первый и последний человек, которому я счел возможным сказать об этом. Функ ценил мою способность забывать то, что следует помнить.

— Ты, оказывается, тщеславный,— одобрительно заметил Лансдорф.

Вайс воскликнул с полной искренностью:

— Я понял, что вы большой человек, и просто хотел обратиться на себя ваше внимание.

— И когда ты все это придумал?

— Только сейчас,— доверчиво признался Вайс.— Почувствовал вашу благосклонность и вот решился...— Прошептал:— Я немного знаю русский язык.— Добавил поспешно:— Об этом я написал в анкете. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии.— Пояснил:— Это не совсем тот русский язык, на котором разговаривают советские люди, но я все понимаю.

Лансдорф лежал с закрытыми глазами, лицо его было недвижимо, как у мумии.

Вайс сказал жалобно:

— Господин майор ценит меня только как шофера. Но я был бы счастлив, если бы кто-нибудь обратил внимание и на другие мои способности.

Лансдорф открыл глаза, выпуклые, как у хищной птицы.

Вайс выдержал его обыскивающий, проникающий в самое нутро взгляд с той же застенчивой, просительной улыбкой.

Лансдорф сказал:

— Ты тот человек, которого надо совсем немного обучить и послать в тыл к русским. — И, покосившись на медаль Вайса, добавил иронически: — Ты же храбрец.

Вайс похолодел, у него даже пальцы на ногах свело от ощущения провала. Вот к чему привел этот рискованный разговор, который он затеял, преследуя совершенно иную цель. Выходит, он просчитался, не сумел оценить этого сибаритствующего старика. Не надо было навязываться ему. А как не навязываться, когда он стоит гораздо ближе, чем даже Штейн-глиц, к тому источнику сведений, куда так стремился Иоганн? И как узнать, действительно ли Лансдорф счел его подходящим для работы в тылу противника или только хотел испытать его?

Раздумывать было некогда, и скорее машинально, чем сознательно, Вайс сказал довольным голосом:

— Благодарю вас, господин Лансдорф. Надеюсь, вы не будете сожалеть о своем решении.

— А почему бы я мог сожалеть? — сощурившись, осведомился Лансдорф.

— Дело в том, — сказал Вайс, — что у меня настолько типичная внешность, что в Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские — тем более. — Торопливо добавил: — Но это ничего не значит. Я, как истинный немец, готов отдать жизнь за фюрера, и, можете верить мне, если придется погибнуть, я погибну там с честью, как немец.

Лансдорф долго, внимательно разглядывал Вайса. Потом сказал с сожалением:

— Да, ты прав. Ты типичный немец. Тебя можно было бы выставить в расовом отделе партии как живой образец арийца. Но я подумаю о тебе, — пообещал Лансдорф, движением руки отсылая Иоганна.

Накануне этого опасного разговора Иоганн долго размышлял, как ему вести себя в новой обстановке, которая хотя и благоприятно складывалась для него, но таила угрозу изоляции. Он не хотел быть снова обречен на бездействие, как в прошлый раз, когда попал на секретный объект абвера, где готовили группу русских белоэмигрантов для засылки в советский тыл.

По всем данным, служба абвера начала создавать огромную сеть разведывательно-диверсионных школ.

Это свидетельствовало и о том, что молниеносное наступление гитлеровцев сорвалось, и о том, что провалились их надежды найти поддержку среди некоторой части населения Советской страны. И не «пятая колонна», на которую они рассчитывали, ожидала их на советской земле, а мощные удары партизанских соединений.

Тогда решили мобилизовать все способы ведения тайной войны. Провести гигантские диверсии, массовые террористические акты на территории Советской страны. И это становилось уже не тактикой, а стратегией военных операций. Немецкий генеральный штаб и все секретные службы Третьей империи объединились для выполнения этой задачи.

И не случайно Лансдорф оказался видным работником СД. Выяснив это, Вайс решил сыграть на соперничестве между абвером и гестапо. Сыграть с таким расчетом, чтобы можно было поверить в его абверовский патриотизм и готовность пойти на любую подлость ради этого патриотизма. Ибо старая лиса Лансдорф не поверил бы ни в какой иной патриотизм, кроме карьеристского, служебного рвения. Решился на риск Иоганн не сразу, а только после того, как ознакомился с блокнотом Лансдорфа, вернее, с одной записью в нем, сделанной четким, несколько старомодным почерком: «Советские военнопленные, находясь в лагерях, продолжают автоматически сохранять нравы и обычаи, свойственные их политической системе, и создают тайные организации коммунистов, которые и управляют людьми.

Для выявления таких «руководящих» лиц службы гестапо имеют в среде заключенных осведомителей — наиболее ценный проверенный материал для разведывательно-диверсионных школ.

Но службы гестапо, чтобы сохранить этот контингент только для своей системы, всячески скрывают его, заносят в целях маскировки в списки неблагонадежных и даже подлежащих ликвидации.

Необходимо смело, интуитивно выявлять такой контингент в лагерях всех ступеней и, вопреки сопротивлению гестапо, зачислять в школы».

Эту запись Лансдорф, очевидно, занес в блокнот, чтобы инструктировать сотрудников абвера, направляемых в лагеря военнопленных для отбора курсантов.

Вайс сделал из нее соответствующие выводы и решился поговорить с Лансдорфом, надеясь, что это откроет ему возможность участвовать в отборе «контингента». Он, как говорится, рискнул всем, чтобы достичь всего. Раскрыть сеть гестаповских осведомителей — разве ради этого не стоило riskнуть жизнью? И он рискнул, хотя и догадывался и о проницательности и о неусыпной подозрительности Лансдорфа.

Но ведь поведение Вайса было убедительным, вполне до-

стоверным. Разве не естественно наивное, нахальное стремление юного немца выслужиться? И разве не естественным был испуг Иоганна? Что тут странного? Шофер-ловкач, прижившийся при своем хозяине, и вдруг — в самое пекло. Конечно, он был испуган. Другое дело, что Иоганн испугался, когда понял, что ему предстоит быть сброшенным на парашюте к своим, тогда как сейчас его место здесь, среди врагов. Но Лансдорф, конечно, приписал его испуг обыкновенной трусости.

Вайс мог вызвать подозрение и тем, что совался в тайные дела высоких начальников. Но ведь и это так естественно. Наглец? Конечно. Он и не скрывал этого. Скромный довольствовался бы шоферской баранкой.

Почему сказал Лансдорфу, что знает русский язык? А разве он скрывал это? В анкете все есть, он ведь ответил на сотни различных вопросов. Майора Штейнглица не интересовали его познания. Иоганн ему и не навязывался, но пришел момент, когда нужно о них напомнить. Опасно? Да, опасно. Но ведь тот, у кого он научился русскому языку, был не из тех русских, с которыми воюют немцы. Модный художник, убежавший от русской революции. Все это есть в анкете.

И волновало сейчас Иоганна другое. Сумеет ли он быть немцем, увидев советских людей, брошенных в фашистские концентрационные лагеря? Как он будет смотреть в глаза тем, кто и здесь не утратил гордости, чести, преданности отчизне? Его обучили многому. И, кажется, он оказался неплохим учеником. Трудно быть немцем среди фашистов, это требует высшего напряжения всех душевных сил. И все же он стал немцем, для фашистов он свой. Но где взять силы, чтобы быть фашистом среди советских людей? Как вести себя? К этому его не готовили, не обучали его этому. Даже и предположить он не мог, что придется пойти на такое самоистязание. И пойти не потому, что ему приказали, а по своей инициативе, потому что это сейчас наиболее целесообразно, нужно, необходимо.

Поступить иначе он тоже не мог. Его долг — оказаться сейчас там, где опаснее всего быть человеком. И надо глубоко спрятать все человеческое, забыть о том, что ты человек, советский человек. Ведь чем меньше он будет проявлять нормальных человеческих чувств, естественных для каждого, тем естественней он будет выглядеть перед советскими военнопленными. Они должны видеть в нем фашиста, только фашиста, ненавистного врага. И какая же попытка быть фашистом в глазах этих людей, остающихся настоящими людьми даже там, где делается все, чтобы сначала убить в человеке все человеческое, а только потом физически уничтожить его!

Все это было страшно, и он даже не обрадовался, когда через несколько дней фон Дитрих сказал, как бы между прочим, что Вайс получил повышение по службе и будет числиться те-

перь переводчиком при втором отделе «Ц», но, пока нет другого шофера, нужно подготовиться к длительной поездке. Нет, Иоганн не обрадовался своему успеху в рискованной операции с Лансдорфом. Не будет ли его победа поражением? Не переоценил ли он себя, хватит ли у него металла в душе, чтобы выдержать те духовные инквизиторские пытки, на которые он себя обрек?..

Но все это было в душе Иоганна, а ефрейтор Вайс в ответ поклонился Дитриху и, по-видимому ошавев от счастья, нечленораздельно пробормотал, что готов ему служить.

Очень хотелось побыть одному, но тут же Вайс подсказал себе, что следует зайти к Лансдорфу, поблагодарить его, не забывая при этом восторженно улыбаться.

Лансдорф принял его холодно и деловито. Молча выслушав восторженную благодарность ефрейтора, кивком головы отпустил его. Но когда Вайс был уже у самой двери, вдруг сказал многозначительно:

— У тебя немного длинный язык. Из-за него может пострадать шея.

— Господин Лансдорф, — с достоинством ответил Вайс, — полагаю, моя шея пострадает только в том случае, если я не буду вам лично обо всем докладывать.

— Именно это я и хотел сказать...

26

В канцелярии обер-шрайбер вручил Иоганну коротенькую почтовую открытку. Приятель Вайса, некий Фогель, унтер-офицер зондеркоманды, расквартированной в Смоленске, приглашал Вайса на рождество в Москву.

Сообщив об этом приглашении обер-шрайберу и заметив шутливо, что русские так ленятся отдавать свои города, что приходится их поторапливать, Иоганн предоставил обер-шрайберу в свою очередь возможность посмеяться над медлительностью русских и затем удалился в гараж. Здесь он с помощью все того же московского носового платка, пропитанного химикалиями, проявил открытку и расшифровал красновато-коричневые цифры, нанесенные косо и плотно тончайшим пером: «Варшава, Новый свет, 40. Варьете «Коломбина». Николь. Номер вашей квартиры. Возраст вашего отца...»

Иоганн отлично понимал, что сейчас он полностью в распоряжении Дитриха, и поэтому для поездки в город достаточно позволения одного Дитриха, но все же счел необходимым попросить разрешения также у Штейнглица, чем еще больше расплосжил его к себе. Не довольствуясь всем этим, Вайс явился еще и к Лансдорфу, доложил, что едет в Варшаву, и спросил, не будет ли каких приказаний, демонстрируя этим,

что главным своим хозяином он считает Лансдорфа, а не кого-нибудь иного.

Лансдорф поручил купить ему соляно-хвойных таблеток для ванн. Легкого слабительного. Поискать в магазинах книги, изданные не позже девяностых годов прошлого века. Пояснил:

— Я люблю только то, что связано с моей юностью. — Прикрыв глаза бледными веками, добавил: — Она была прекрасна.

Дитрих попросил купить ему пирожных на Маршалковской в кондитерской «Ян Гаевски», а Штейнглиц — кровяной колбасы. Денег майор не дал, но зато дружески посоветовал Вайсу для профилактики зайти после посещения Варшавы в санитарную часть.

Чин ефрейтора и медаль открыли перед Иоганном новые возможности.

Он остановил первую же попутную грузовую машину, приказал солдату пересестя из кабины в кузов, дал шоферу пачку сигарет и велел гнать в Варшаву «со скоростью черта, удирающего от праведника».

Настроение у Иоганна было отличное. Этакое залихватское жизнерадостное ощущение удачи и, как после экзаменационной сессии в институте, жажда праздности в награду за труд. И он позволил себе «распуститься», запросто поболтать с шофером о том, о сем... Что бы там ни было, с делом, которое ему поручено, до сих пор он, пожалуй, справлялся, а ведь ничто так не бодрит человека, как сознание исполненного долга.

И он уже считал себя настолько закаленным, неуязвимым, что даже бесстрашно высказывал презрительные суждения о русских, не испытывая при этом отвращения к самому себе.

И он задорно спросил шофера, сутулого, пожилого солдата с лицом, изборожденным грубыми продольными морщинами:

— Ну что, скоро возьмем Москву — и конец войне?

Шофер, не подымая усталых глаз, заметил угрюмо:

— Ты считаешь, что война с русскими уже кончается, а они считают, что только сейчас начинают воевать с нами.

— А сам ты как думаешь?

— Хайль Гитлер! — сказал шофер и, не отрывая правой руки от баранки, приподнял указательный палец.

По произношению Иоганн угадал в нем южанина.

Шофер подтвердил это предположение.

— Есть немцы, которые пьют только пиво, другие — только шнапс, но есть и третьи — они любят вино. — Покосился на Вайса: — Да, я из Саара, а ты, сразу видно, пруссак.

— Да, я пруссак, — в свою очередь подтвердил Иоганн. — Знаешь, как в одной умной книге написано о Пруссии: «Прус-

сия не является государством, которое владеет армией, она скорее является армией, которая завладевает нацией».

Шофер сказал подозрительно:

— Для пруссака ты что-то слишком образован.

— Это потому, что я племянник Геббельса.

— Правильно, — согласился шофер. — Только для полного сходства не хватает, чтобы тебе ногу перешибли.

— Не теряю надежды.

— Русские тебе помогут.

— Не успеют: скоро им конец.

— Ты что, из похоронной команды, как твой дядя? Они их давно всех похоронил.

Вайс сделал вид, что не понял опасного намека, осведомился:

— Ты, видно, старый солдат? В первую мировую сражался?

— Да. До Урала дошел.

— Ну! — удивился Иоганн. — Да ты герой!

Шофер спросил:

— А ты лесорубом когда-нибудь работал?

— Нет.

— Ну ничего, русские научат. Они нас на Урале научили лес валить. В первую мировую не весь вырубили, на вторую оставили. Лесов там много, на всех хватит.

— Ты что-то глупо шутишь, — строго заметил Иоганн.

— А я поглупел, — глухо сказал шофер. — Поглупел со вчерашнего дня, как открытку поздравительную получил: по поводу смерти героя моего последнего — младшего. А было у меня их трое. Три поздравительных на одного отца — многовато.

— Кури, — Иоганн протянул пачку.

Шофер взял сигарету, сказал печально:

— Курю. Но не помогает.

Иоганн посоветовал:

— Просись на фронт, отомстишь за смерть сыновей.

— Кому?

— Русским.

— У меня их в шахте завалило, — сказал шофер. — Понял? В шахте! Личная собственность рейхсмаршала Геринга эти шахты. Был приказ экономить крепежный лес в связи с военным временем. Вот костями моих сыновей и подпирали кровлю.

— Ради победы приходится приносить жертвы.

— Господину Герингу? Моих детей?

— Ты рассуждаешь как коммунист!

— Похоже? — Шофер склонился, что-то поправил на дверце, у которой сидел Иоганн. Прибавил скорость, прижался к рулю и, не глядя на Вайса, предложил: — Давай еще закурим.

Иоганн полез в карман за сигаретами. И тут шофер, резко толкнув Иоганна плечом, выбросил его из кабины. Машина, хлопая дверцей, помчалась по шоссе.

Иоганну повезло: он упал в кювет рядом с дорожным столбиком. Еще немного — и он разбился бы насмерть, ударившись об этот столбик.

Но хотя у Иоганна ныло все тело и в общем глупо было оказаться на дороге в столь бедственном положении, настроение у него не испортилось. Скорее даже наоборот. Такого немца, как этот шофер, он встретил здесь впервые. Ай да шофер! Побольше бы таких немцев!

Иоганн отряхнулся, привел себя в порядок. Да, вид у него неважный, и руку рассадил. Вот к чему может привести бесцельный «трёп». Впрочем, разве такой уж бесцельный? Нет, кое-что полезное для себя он извлек из этого разговора, кое-что...

И, как ни печален был недавний урок, в следующей попутной машине, а ею оказался бензовоз, Иоганн снова завязал оживленную беседу с водителем, молодым парнем из Зальцбурга, бывшим ночным таксистом.

Посасывая эрзац-сигару, изготовленную из бумаги, пропитанной раствором никотина, этот знаток злчных мест рассказал Вайсу, что и здесь, в Варшаве, можно порезвиться не хуже, чем даже во Франции, были бы деньги! С каждой ездки на его долю приходится десять литров первосортного американского или английского горючего — это на черном рынке то же, что и литр самогона, а с пол-литром можно смело стучать ногами в дверь любой знакомой девочки.

— Да кто тебе поверит, что бензин американский! — рассмеялся Вайс.

Шофер обиделся, объяснил:

— Наша колонна авиацию обслуживает. Значит, бензохранилище фирмы «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» или «Роял датч-шелл», и до самого последнего времени они после каждого миллиона литров присылали премии: зажигалки, электрические фонарики, часы, портфели... Конечно, шоферам эти премии не достаются. Все начальству.

— Обходят?

— Закон природы.

Вайс сказал доверительно:

— Я ведь тоже шофер. Но на легковой не много возмешь.

— А надо с умом. — Шофер достал засунутую за щитком над ветровым стеклом карту, протянул Вайсу.

Иоганн развернул ее у себя на коленях.

Шофер снова объяснил:

— Кружки — базы. Дорога видел как идет! А я спрям-

ляю проселком — вот и получается пять верных литров, помимо тех десяти.

Вайс долго смотрел на карту, запоминал. И когда отдал, еще несколько минут, напрягая сознание, вынуждал себя видеть эту карту и видел ее, словно она была нанесена незримыми красками на прозрачном ветровом стекле. Он сосредоточенно уставился в это стекло, но не замечал ни темных от дождя фольварков, ни прудов, как чешуей покрытых черной облетевшей листвой, ни серых грузовиков, в которых сидели солдаты в серой форме, с серыми лицами, не замечал он ни серого неба, ни серой дороги, ни серого дождя. Он видел только карту. И очнулся от оцепенения только в тот момент, когда вдруг отчетливо понял, что накрепко и очень точно запомнил эти кружки и тоненькие линии дорог в сетке квадратов. И тут же, подхватив последние слова шофера, предложил:

— Масло я могу достать. Что могу, то могу. В гараже банок пять есть...

— Чудак, — рассмеялся шофер. — Они же просят коровье!

До самой Варшавы Иоганн доехал в маленьком «опеле», принадлежащем толстому немцу с розовым, младенческим лицом. Немец этот был в новеньком спортивном костюме, шея замотана пушистым вязаным шарфом, выглядел он настоящим щеголем. Увидев на груди Вайса новенькую медаль, похвалил:

— Герой! — И, подмигнув, указал на фляжку, болтающуюся на крючке: — Шнапс! И я тоже с вами выпью. — Видно было, что он очень дружески расположен к Вайсу.

Иоганн налил себе в пластмассовую крышечку. Немец взял у него фляжку, выпил прямо из горлышка, сообщил:

— Фармацевт концерна «ИГ Фарбениндустри». Еду в Аушвиц по коммерческому делу.

— Там же концлагерь!

— Вот именно! Вы, господин ефрейтор, не страдаете бессонницей? — неожиданно осведомился он.

Вайс с недоумением взглянул на него:

— Кажется, нет.

Фармацевт снисходительно похлопал его по плечу и объяснил:

— А то скоро я смогу порекомендовать вам таблетки.

— Какие таблетки?

— Те, которые мы там испытываем. Но комендант Освенцима просто негодяй. — Посетовал: — За каждую бабу просит по двести марок! А фирма назначила максимум сто семьдесят. Нам нужно пока приблизительно сто пятьдесят голов. Если помножить, получится приличная сумма, превышать которую у меня нет полномочий.

— Вы что же, и мне предлагаете свою отраву?

— Детка, — снисходительно сказал фармацевт, — одну на ночь — и дивный сон.

— А заключенным?

— Вместо десерта и без ограничения.

— Значит, смертельные дозы?

— Именно, — сказал фармацевт. — Притом совершенно бесплатно. В интересах сохранения здоровья наших потребителей. Туда однажды пробрались какие-то мошенники. — В голосе его послышалось негодование. — Они продавали заключенным какую-то дрянь под видом цианистого калия. И большая часть выживала, но после столбняка, судорог и прочих мучений. И, представьте, оказалось, что почти все пострадавшие — евреи: они предпочитают самоубийство газовой камере. — Проговорил задумчиво: — Если б можно было обойтись без коменданта, я убежден, нашлось бы очень много желающих добровольно пройти все стадии испытания нашей экспериментальной продукции. Возможно, даже уплатили б за это припрятанными ценностями. — Оживился: — Вы знаете, где они прячут ценности? Это просто умопомрачительно!

Иоганн сжал челюсти, на щеках его заходили желваки. И вдруг он спросил:

— Что вы сказали о фюрере?

— Я — о фюрере? — изумился толстяк.

Иоганн, блестя глазами, повернулся к толстяку, повторил яростно:

— Нет, как ты смел мне, немецкому солдату, сказать так о фюрере? Ты посмел сказать «жаба»? Я тебе покажу жабу!

И Вайс ударил фармацевта и долго и тщательно бил его в тесной кабине, потом оттащил его и сам сел за руль.

Машина медленно катилась по шоссе. Фармацевт осторожно стонал, боясь снова взбесить чем-нибудь солдата.

Вайс отходил от припадка внезапной ярости и клял себя за распушенность. Он считал, что достоин того, чтобы ему самому за это набили морду. Нет, так забыться, так забыться!

— Господин ефрейтор, — робко спросил фармацевт, — куда вы меня везете?

— В гестапо, — механически ответил Вайс.

— Умоляю вас...

— Вы могли оскорбить меня, но фюрера!.. — сказал Вайс, обдумывая, что делать дальше с этим фармацевтом: скоро контрольно-пропускной пункт.

— Если вы выйдете из машины и три раза громко и отчетливо крикнете: «Хайль Гитлер!» — я, пожалуй, прощу вас, — сказал Иоганн примирительно.

— О, извольте, извольте!

Иоганн притормозил. Фармацевт вышел на обочину, вздохнул, прокричал, что от него требовалось, проявив при этом некоторое даже излишнее усердие, спросил заискивающе:

— Вы удовлетворены, господин ефрейтор?

— Вполне, — буркнул Иоганн.

Когда они миновали контрольно-пропускной пункт, где наряд эсэсовцев проверял документы, фармацевт со вздохом облегчения пожал руку Вайсу и воскликнул с чувством:

— Благодарю вас! А то я знаете как волновался!

— Я человек слова, — строго заметил Вайс.

И уже когда въезжали в предместье города, фармацевт признался:

— Вы знаете, господин ефрейтор, сначала мне показалось, что вы сумасшедший, но потом я подумал, что сам иногда теряю контроль над собой, — в конце концов, ведь комендант лагеря — штандартенфюрер. Таково его звание. Очевидно, я неотчетливо произнес первые два слога, и вы подумали... И, клянусь, на вашем месте я поступил бы так же. — Лицо его было в кровоподтеках, но он продолжал просительно и лъстиво улыбаться.

Вайс вышел из машины на Маршалковской и пренебрежительно махнул рукой фармацевту.

Александру Белову по молодости лет не довелось наблюдать нэп. Он знал об этом периоде только по книгам и кинофильмам. Поэтому, вероятно, его представление о Маршалковской во время немецкой оккупации Варшавы как о нэпманском вертепе не совсем точно соответствовало действительности. Но презрительное выражение его лица, высокомерное отношение к разного рода торгашам вполне соответствовали поведению и манерам германских оккупантов.

И в польских и в немецких армейских магазинах он держал себя надменно и, едва появившись на пороге, громко объявлял:

— Герр штурмбанфюрер поручил мне купить именно в вашем магазине...

Это производило должное впечатление.

Когда Иоганн выбирал слабительное для Лансдорфа в армейской аптеке, вошел дежурный врач в чине капитана и спросил, давно ли герр штурмбанфюрер страдает.

Иоганн сурово оборвал капитана:

— Господин штурмбанфюрер ничем не может страдать!

Это было так внушительно сказано, что капитан даже сделал непроизвольное движение рукой, чуть не выбросив ее в партийном приветствии.

И все-таки к началу представления в варьете «Коломбина» Вайс опоздал. В связи с комендантским часом спектакли начинали с пяти часов. Тащиться в варьете с покупками и тем более на встречу со связным было крайне неудобно.

Поэтому Иоганн зашел в «Гранд-отель» и сказал дежурному полицейскому офицеру, что он адъютант полковника Штейнглица и просит передать полковнику Штейнглицу этот

пакет, если тот, как обещал, явится сюда с дамой. Если же полковник предпочтет отель «Палас», то тогда он сам вернется за его покупками.

Номера, демонстрируемые в варьете, не произвели впечатления на Иоганна Вайса. Впрочем, ничего другого он и не ожидал, хотя ему раньше не доводилось бывать на подобного рода представлениях.

И когда десять тощих герлс в потертых парчовых трусах, пожилые и сильно накрашенные, болтали в такт музыке ногами, пытаясь скрыть под деланными улыбками, что для таких резвых телодвижений им не хватает дыхания, он смотрел на них с жалостью. Потом вышли двое, в плавках, с ног до головы покрытые жирной бронзовой мазью, и принимали позы античных статуй.

Торчащие ребра, ключицы наглядно свидетельствовали о том, что по карточкам эти артисты не получают ни жиров, ни мяса. Вслед за ними на эстраду выскочил клоун, изображавший Чарли Чаплина. В него стали кидать из зала огрызки яблок, окурки и кричали: «Юде!» Клоун ничего такого не делал, он даже не увертывался от отбросов.

Весь номер, оказывается, именно в том и состоял, что клоун позволял зрителям кидать в себя все, что попало. Он только защищал руками лицо.

Но вот что подметил Вайс. Этот клоун иногда вдруг на мгновение сбрасывал маску Чарли, и тогда выступало другое лицо — усики те же, но черная прядь, ниспадающая на бровь, и выдвинутая на мгновение вперед челюсть настолько подчеркивали опасное сходство, что Вайс невольно пугался за этого дерзкого человечка. Но через миг снова появлялся Чарли, ковыляющий в своих огромных, растопыренных в разные стороны плоских ботинках.

И когда объявили номер «Два Николь два — партерные акробаты», — Вайс сделал непроизвольное движение, подавшись вперед.

В зале накурено, тесно, шумно. Военные пили пиво, доставали закуску в промасленной бумаге и раскладывали ее на свободном стуле. Если впереди сидел штатский, они клали ноги на спинку его стула.

Чины военной полиции водили по задним рядам электрическими фонариками и выпроваживали из зала солдат, если те начинали слишком вольно и настойчиво вести себя с уличными девками.

Вайсу не нужно было особенно напрягать зрение, чтобы узнать в этом идеально сложенном акробате, затянутом в черном трико, Зубова. Это был он. Только волосы его расчесаны на прямой пробор, брови тонко подбриты, губы слегка подкрашены. Он здорово работал, этот акробат Николь. Его партнерша, лица которой Иоганн еще не успел разглядеть, потому

что он о ней не думал, как черная змейка, металась в руках Зубова, то оплетая его, то замирая в летящей позе на его вытянутой руке.

Им долго аплодировали.

И когда, выйдя на аплодисменты, Зубов высоко подбросил свою партнершу, а она, сделав в воздухе сальто, вдруг развернула наподобие крыльев полотнище со свастикой, зал заревел от восторга и устроил настоящую овацию.

Пройдя в артистическую с коробкой глюкозных конфет, купленных в буфете, Вайс толкнул дверь, на которой было написано на косо повешенной бумажке: «Два Николь два». Он поклонился жирно намазанной женской физиономии, которую увидел в зеркале, и пробормотал:

— Фрейлейн, я восхищен вашим искусством.— Иоганн положил на подзеркальник свою коробку конфет и с улыбкой обернулся к Зубову.

Но тот встретил его улыбку невозмутимо равнодушно.

— Господин ефрейтор,— сказал Зубов — ваши уважаемые родители, наверное, говорили вам, что входить в комнату к незнакомым людям, не постучав предварительно, неприлично.

— Виноват,— сказал Вайс. И находчиво предложил согласно паролю: — Я готов постучать шестнадцать раз.

Он ждал отзыва, но Зубов молчал.

Потом Зубов спросил:

— Вы, собственно, к кому пришли, господин ефрейтор?

— Я хотел бы принести свои поздравления Николь...

— Их двое — два Николь два,— напомнил без улыбки Зубов.

— О, я хотел бы представиться главному из них,— сказал Вайс, начинал испытывать раздражение. Он не понимал, почему Зубов с таким упорством не отвечает на пароль.

— Главный Николь — вот,— объявил Зубов и показал глазами на девушку, снимающую с лица грим.

Вайс подошел к ней, еще раз поклонился. Серые внимательные глаза встретились с сердитыми глазами Иоганна.

— Так это вы, господин ефрейтор, сидели на шестидесятом месте? Вы что-нибудь хотите мне сказать?

— Да,— подтвердил Иоганн.

— Здесь?

— Если ваш партнер не возражает, я хотел бы вас куда-нибудь пригласить.

Зубов сказал девушке:

— Я провожу его к Полонскому.

В небольшом пивном баре они молча пили у стойки пиво, сильно разбавленное водой.

Зубов заметил владельцу бара:

— Вчера, пан Полонский, водопровод не работал, и пиво было крепче.

— Сегодня водопровод тоже не работает,— сказал владелец бара.

— Откуда же столько воды?

— То, пан, мои слезы,— сказал владелец бара,— то мои слезы о гиблой моей коммерции.

Вошла девушка с чемоданчиком в руке, голова туго обвязана платком. Желтая бобриковая жакетка. Лицо еще лоснится от вазелина. Она взяла Вайса под руку и, передавая чемоданчик Зубову, скомандовала:

— Пошли!

Свернули в переулок, где было темно и торчали кирпичные развалины.

Прижимаясь к Иоганну, девушка говорила отдельно, строго:

— Я ваша связная. У него,— она кивнула на идущего сзади Зубова,— есть теперь свое особое задание.— Задумалась.— Полагаю, пока для нас с вами самой подходящей «крышей» будет...— запнулась,— ну, вы за мной, словом... ухаживаете.— Спросила: — У вас есть другие варианты?

— Нет,— чистосердечно признался Иоганн.

— Своему начальству завтра доложите о нашем знакомстве. Ну и о том, что ночевали у меня, что ли. Так будет, пожалуй, правдоподобней.

— Что правдоподобней? — спросил Вайс.

— Ах,— сердито сказала девушка,— ну, раз артистка, какие с ней могут быть еще церемонии! Верно?

— Да нет, вы ошиблись,— запротестовал Иоганн.— Они считают меня очень приличным молодым человеком.

— Вообще ничего не следует слишком подчеркивать, благовоспитанность тоже,— наставительно сказала девушка.— Во всяком случае, вам, ефрейтор.

— Хорошо,— согласился Вайс.

— Ну, ничего хорошего в этом нет.— Прижалась еще теснее.— Запомните. Я Эльза Вольф. Фольксдойч. Мать — полька. Отец, конечно, немец, офицер. Погиб. Я дитя любви. Родилась в Кракове. Католичка. Если спросят про партнера — любовник. Но скоро бросит. Что еще? Все, кажется.— Напомнила решительно: — Значит, будете у меня ночевать.

Иоганн взмолился:

— Но я же не могу. Я обещал Дитриху, Штейнглицу и, наконец, Лансдорфу явиться вовремя. Я должен.

— Нет, не должны. Вы должны помочь мне обрести в вашем лице армейского покровителя: соседи начали меня притеснять. Спокойной ночи, — сказала она громко по-немецки, обращаясь к Зубову.

— Ладно, спокойной ночи, — пробормотал Зубов и ушел.

— Куда он? — спросил Иоганн.

Эльза пожала плечами.

— Ну как же так, один...

— А вас не интересует, как я здесь одна и всегда одна?

— А Зубов?

— Николь — хороший парень, но он слишком полагается на силовые приемы. Недавно он снова придумал аттракцион с пальбой.

— Извините, а сколько вам лет?

— По годам вы старше меня, по званию — не знаю, — строго сказала Эльза.

— А вы давно?..

— Вернетесь, зайдете в кадры, попросите мое личное дело... — Посмотрела напряженным взглядом в глаза, добавила отрывисто: — Докладывайте, я слушаю...

Вайс сжато повторял ей все то, что готовил для информации. Она кивала, давая понять, что запомнила. Спросила:

— Это все?

— Нет, только главное.

— Неплохо, — похвалила она без улыбки. — Вы не теряли времени. Молодец.

— Благодарю вас, — и Вайс добавил слегка иронически: — товарищ начальник!

— Нет, — сказала она. И напонила: — Я только ваша связная.

— Разрешите обратиться с вопросом?

— Знаете, — сказала она, — не нужно на меня обижаться. Вы думаете, я сухарь. А мне просто на шею хотелось броситься сначала Зубову, потом вам. Я так долго не видела своих... Так что вы хотели узнать?

— Это вы открыли у Зубова артистическое дарование?

— Я, — кивнула она с гордостью. — Существует специальный «циркуляр фюрера» о поддержании в народе хорошего настроения, и в связи с этим предоставляется броня служителям искусства, «мастерам бицепса». Я отдала Зубова под покровительство этого циркуляра. И представьте, Зубов нравится публике. Но он очень дерзко ведет себя.

— На сцене?

— Нет.

— С вами?

— Нет, с немцами. — Добавила грустно: — Я каждый раз удивляюсь, когда вижу его.

— Почему?

— Ну, просто потому, что он всегда уходит как бы на встречу смерти.

Появился какой-то прохожий.

Эльза стала болтать по-немецки. Вайс вслушивался в ее речь: произношение было безукоризненным. У фонаря он еще

раз внимательно взглянул ей в лицо. Ничего такого особенного — бледное, усталое. Чуть великоватый открытый лоб. Но огромные, казалось, самосветящиеся глаза скрадывали близину лба. Губы мягкие, большие, но красиво очерченные. Тяжеловатый подбородок со шрамом. А голос! Голос у нее очень разный: то глухой, то глубокий, грудной, то резкий, отрывистый.

Подшли к четырехэтажному невзрачному дому, вход со двора. Пахнуло помоями. Лестница темная. Дверь Эльза открыла своим ключом. Длинный коридор. Комната рядом с кухней — крохотная, стол, стул, деревянная кровать, даже нет шкафа.

Сбросив на спинку стула бобриковый жакет, развязав платок, она вдруг обрушила на плечи копну блестящих ярких волос. Предупредила шепотом:

— Крашенные. Так вульгарней. — Приказала: — Ложитесь, спите. Я вас разбужу. Снимите китель, я пойду с ним на кухню, выглажу. — Объяснила: — Вещественное доказательство для соседей. — Усмехнулась иронически: — А то, знаете, подозрительно, ни разу не приводила мужчин. Я погашу свет.

— Зачем? — спросил Вайс.

— Затем, что вы должны все-таки поспать.

Эльза вернулась не скоро. Она легла рядом с Иоганном, накрыла жакеткой, придвинулась поближе, спросила:

— Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?

Он шептал ей на ухо то, что считал необходимым дополнительно передать в Центр, от его дыхания шевелилась прядка ее волос. И вдруг девушка засмеялась. Он подумал, что она смеется над ним: считает сведения недостоверными или уже устаревшими. Но она объяснила: «Щекотно», — и он осторожно убрал прядку с ее уха. И когда снова зашептал, он несколько раз нечаянно коснулся ее уха губами, но она ничего не сказала: или не заметила, или не сочла нужным заметить. А потом пришла ее очередь говорить, он повернулся к ней спиной, и теперь она шептала ему в самое ухо, строго начальнически. Сегодня она, так и быть, примет устную информацию, но на будущее он должен сам все зашифровывать. О «почтовых ящиках» он получит указание позже. Схему расположения баз горючего пусть нанесет сейчас же: она может понадобиться Зубову.

— Все?

— Всё! — сказала девушка.

Иоганн вытянулся и, глядя на свисающие клочья белой бумаги, которой был оклеен потолок, спросил:

— А просто так поговорить можно?

— Чуть-чуть...

— Пристают?

— Конечно. Но у меня документ рейхскомендатуры: ком-

тактироваться с представителями армии запрещено. Носительница инфекции.

— Какой?

— Туберкулез. А вы что думали?

— Это правда? — спросил Иоганн.

— Конечно. Всегда была здоровой, а тут открылся процесс.

— Но надо лечиться.

— После войны — обязательно. Но хватит на эту тему.

Спросила: — Медаль вместе с «легендой» получили?

— Ну вот еще! — обиделся Иоганн. — За боевой подвиг.

Они дали.

— А из дома награды есть?

— Нет, только от немцев.

— Поздравляю, — сказала она. — Герой!

— Рассчитываю на унтер-офицерское звание.

— Карьерист! Еще немного — и станете генералом или штурмбанфюрером. — Но тут же она серьезно предупредила: — Не торопитесь быстро выдвигаться, я их знаю: завистливые доносят друг на друга. Самая большая опасность — это быстрый успех.

— Вы рассудительны, как старушка.

— Ну, хватит, — прервала она. — Хватит! — Наклонилась и, невольно прижавшись к Иоганну, взяла со стула сигареты.

Иоганн пробормотал:

— Странно, лежу на постели с девушкой...

По ее лицу пробежала усмешка.

— Одному ухажеру я едва руку не вывернула из сустава, чтобы больше не лез...

— А кто у вас был инструктором дзю-до? — простодушно осведомился Иоганн.

— Здрате, — шепот ее звучал негодуя. — Вы не в меру любопытны. — Сказала огорченно: — А я о вас лучше думала.

— А что вообще вы обо мне думали?

— Ничего. Просто полагала: будет более солидный товарищ. — И снова наклонилась, погасила окурки. — Слушайте и запомните: нет ни вас, ни меня. И ничего для нас нет и не будет, пока есть все это, — ее белая рука в темноте как будто раздвинула стены комнатухи. — Поняли? — И уже ласковее. — Пожалуйста...

Они еще поговорили немного.

— Пора спать, — сказала Эльза, и наступила тишина.

Он долго лежал, вжавшись в стенку, с закрытыми глазами, но так и не уснул. Вскочил, как только Эльза дотронулась до него, чтобы разбудить. Лицо у нее было еще бледнее, чем вчера, под глазами синие тени. Она вяло подала Иоганну руку.

— Не знаю, как буду сегодня выступать в варьете. Я так

устала! Привыкла быть одна, а тут вдруг то Зубов, то вы. И потом снова остаться одной...

— Мне тоже будет потом...—Иоганн запнулся,— скучновато.

Эльза вышла проводить его.

В кухне у плиты толпились женщины. Услышав шаги, они все разом обернулись.

Эльза вскинула руки на плечи Иоганна, прильнула к его губам, а потом легонько подтолкнула в спину.

Иоганн машинально запоминал дорогу к дому Эльзы, предметы сами собой вчеканивались в его сознание. Он думал об этой девушке...

В «Гранд-отеле» он взял у портье свои свертки, вышел к контрольно-пропускному пункту, предъявил документы. Его усадили в попутную машину, и всего с одной пересадкой он добрался до подразделения.

27

Штейнглиц сочувственно отнесся к мотивам, которыми Вайс объяснил свое опоздание.

— Иметь постоянную любовницу гигиеничней, чем бегать каждый раз к новой девке.

— Но я по-настоящему влюблен, господин майор.

— Сентиментальность — наша национальная ахиллесова пята.

Лансдорф остался доволен покупками, но причину опоздания признал неуважительной.

— Женщину мужчины выдумали для того, чтобы оправдывать свои глупости.

Лансдорф произнес наставительно:

— Нам нужны люди молчаливые и решительные, которые умеют в одиночестве довольствоваться незаметной деятельностью и быть постоянными.

Иоганн живо согласился:

— О, эти прекрасные мысли Фридриха Ницше, как ничто другое, соответствуют и моему идеалу.

А сам подумал: «Вот это ловко получилось! Молодец я, запомнил. Не верил, что пригодится, а вот, оказывается, пригодились».

Костяное лицо Лансдорфа, казалось, стало еще более твердым. Он подошел к Вайсу, оглядел его так, будто собирался примерить на него что-то.

— Вы его любите?

— Он добавил перца в нашу кровь!

— Как? Повторите!— Лансдорф поднял сухой палец.— Отлично! Безмерная способность к властолюбию и столь же

безмерная способность к подчинению и послушанию — в этом мощь германской нации.

Вайс щелкнул каблуками, вздернул подбородок и осведомился угодливо:

— Какие будут дальнейшие приказания, господин Лансдорф?

Дитриху доложить о причинах опоздания не удалось по той причине, что капитан за это время поссорился со своим шофером — смазливый малым с капризным, безвольным ртом, а теперь помирился с ним, и ему было не до Вайса. Курт, шофер Дитриха, собирал вещи капитана, и капитан суетливо помогал ему, видимо очень довольный, что примирение состоялось. Вайсу он сказал, чтобы тот приготовился к поездке, с ними поедет и Курт: он, Дитрих, не выносит одиночества...

Шел дождь со снегом. Едва успев коснуться земли, снег таял. И все было грязным. И небо в грязных низких тучах, и земля в грязных лужах, и раскисшее от грязи шоссе, и цвета земли вода в речках, и стекла машины, заляпанные грязью.

Дитрих сел рядом с шофером, и Вайс вольготно расположился на заднем сиденье. Свет едва проникал в машину сквозь забрызганные грязью стекла. Сумрачно, клонит в сон. И Вайс дремал и думал о своей связной, которую он даже мысленно был обязан называть Эльзой: этого требуют правила конспирации.

...Машина догнала танковую часть. Танки шли один за другим с равномерными интервалами. Башенные люки открыты, из них торчат головы командиров машин. Иоганн прильнул к окну. Еще думая о девушке, еще мысленно слыша ее приглушенный шепот, он машинально запоминал номера машин, эмблемы на броне, количество белых колец на стволах орудий, обозначающих подбитые цели.

К корте танков привязаны бревна. Значит, эти танки будут участвовать в операции на заболоченной местности.

В колонне немецких танков шли два наших «КВ». Они были свежеевыкрашенные, — значит, после ремонта. В открытых люках «КВ» видны головы в наших ребристых кожаных шлемах, — значит, советские танки предназначались для провокационно-диверсионной операции. Все это Иоганн фиксировал почти машинально, продолжая как бы по инерции думать о девушке.

Она между прочим рассказала ему, что дома занималась в кружке художественной гимнастики и это ей пригодились здесь. Когда она пришла наниматься в немецкое варьете, хозяин сказал:

— Давайте.

— Но я не взяла костюма.

— А, — сказал он брезгливо, — меня можете не стесняться. Я уже давно не боеспособен, почти как евнух.

Постукивая монетой по столу, он запел детскую песенку про кролика и козочку, и она под этот аккомпанемент проделала упражнения, с которыми выступала на соревнованиях, но от смущения взяла слишком высокий темп.

— Хорошо, — сказал хозяин, — я вас беру. Но вы чересчур серьезно работаете. Меньше спорта, больше секса. Помните: сейчас на улицах слишком много одиноких женщин. И если мужчины платят деньги, чтобы увидеть на эстраде женщину, то она не должна вызывать у них воспоминаний о гимнастических спортивных праздниках.

Эльза пожаловалась Вайсу:

— У меня по два выхода в день, физическая нагрузка порядочная, и поэтому все время хочется есть. Мне даже ночью снится еда — хлеб, или картошка, или молоко, а иногда все вместе. По карточкам так мало дают... И потом я делюсь с одной немкой. Она считается вне закона: ее сына расстреляли за дезертирство. Такая несчастная женщина...

Иоганн всматривался в танкистов, выглядывающих из круглых башенных люков. Лица их мокро лоснились от дождя и казались неправдоподобно маленькими под огромными шлемами. Вот мелькнула последняя марсианская голова в танке. Машина обогнала эту грохочущую, сотрясающую землю стальную стену, вырвалась на пустынное шоссе и медленно переехала по мосту через унылую грязную реку с низкими пойменными берегами, заросшими камышом и ивами. И когда переезжали этот металлический мост, Иоганн прикинул, под какой его пролет эффективней всего заложить взрывчатку, если, допустим, прийти сюда под видом путевого рабочего, присланного починить деревянный настил для пешеходов.

И хотя речка узенькая, метров одиннадцать, нет, даже, пожалуй, десять, и неглубокая: если судить по отмели — метра полтора-два, не больше, — но дно у нее топкое, илистое, а поймы огромные, болотистые. И если взорвать мост, то восстановить переправу меньше чем за две недели не удастся, так что дело стоящее.

Иоганн опустил стекло и выбросил на мост скомканную газету. Часовой видел это, но не остановил машину со штабным номером, даже отвернулся, чтобы показать, будто ничего не заметил. Часовому лет сорок. Коммуникации повсюду охраняют солдаты старших возрастов из полуинвалидных команд. Иоганн знал: есть целые батальоны, составленные из людей, страдающих различного рода желудочными заболеваниями, сформированы части и из солдат со слабым зрением, с пониженным слухом. Надо бы выяснить их номера. А вообще что ж, в очень плохую погоду можно на большой скорости проехать через мост и бросить пакет со взрывчаткой. И не где попало бросить, а возле той вон противопожарной

бочки с песком. За бочкой пакет не будет виден, только надо умудриться, чтобы он лег под металлическую балку, — тогда она обрушится от динамической нагрузки. Правда, пролет останется целым, но уже ни поезда, ни танки по мосту не смогут проходить, а возможно, и пролет рухнет, когда на него обвалятся верхние фермы. И, прикидывая, как обвалятся верхние фермы, Иоганн забыл об Эльзе, о себе, о Зубове. Главное, он снова работает, и это сознание создавало ощущение деловой озабоченности, а что для него здесь могло быть лучше?

Кончился асфальт, они выехали на проселочную дорогу, машину начало бросать из стороны в сторону, несколько раз она застревала в глубоких лужах. Иоганн предложил Курту сменить его за рулем. И когда Курт перебрался на заднее сиденье, вместе с ним туда перешел и Дитрих.

Низкий, густой туман лежал в долине. Иоганн включил свет, но фары облепила парная пена тумана, и ничто не могло пробить ее. Иоганн вел машину как бы на ощупь, пришлось открыть дверцу, склониться наружу и, держась одной рукой за дверцу, другой крутить баранку. Потом дорога пошла вверх, начались леса, черные, мокрые, пахнущие погребом. Под деревьями, как белая плесень, тонким слоем лежал снег.

Иоганн вспомнил, как однажды в такую же погоду он со своим курсом ездил на субботник в совхоз. Это только так называлось — «субботник», длился он две недели. Студенты копали картошку на полях в речной пойме, которую заболотила рыжая, дождливая и холодная осень.

Мокрые и грязные, они шли после работы в столовую, где им давали эту же самую картошку: на первое — густой картофельный суп, на второе — картошка, жаренная на маргарине, который они привезли из Москвы. А ночевали все вместе на сеновале над коровником.

И староста группы Петя Макаров каждый раз патетически возглашал:

— Товарищи! Юноши и девушки!

— Почему «юноши», а не просто «ребята»?

— Ну ладно, — соглашался Петя, — пусть ребята. Все равно вы обязаны высоко держать знамя советской морали и вести себя прилично. И совершенствовать свою личность.

Алиса Босоногова, самая красивая девушка в институте, безбоязненно напивавшая на себя поэтому стеганую кацавейку и отцовские брюки, как-то сказала капризным голосом:

— А я не хочу совершенствовать свою личность. Я жажду безумной любви при луне. И хоть луны не видно, если напрочь воображение, лик Пашки Мохова мне ее вполне заменит. Иди ко мне, Мохов, согрей меня.

Рыжий, как огонь, веснушчатый Мохов, смущенно улы-

баясь, перелез через лежащих вповалку на сене ребят, сел рядом с Алисой.

Она деловито осведомилась:

— Конспекты при тебе? — И объяснила: — Сопромат — лучшее снотворное. Ты, Павел, читай, а я буду млеть возле тебя и грезить о пятерке.

Сено было сухое и пахло не сеном, а только пылью, но все перебивал острый и терпкий запах коровника. Саша Белов слушал, как шлепает дождь, слушал монотонное жужжание Мохова и вздохи Алисы, изредка прерываемые стоющими возгласами:

— Я не понимаю ничего! Повтори популярно и, пожалуйста, своими словами...

Кто-то из девушек спросил с надеждой в голосе:

— Как вы думаете, ребята, нам этот субботник зачтут при зачетах? Физмату, говорят, зачли...

Никто не ответил, а Гриша Медведев, отец которого тогда сражался в Испании, задумчиво проговорил:

— Гвадалахара. Мне кажется, она черная. И еще красная, горячая, как разрыв снаряда.

— А ты откуда знаешь, как снаряд рвется?

— Мне все время отец снится. Там, на фронте. Мы фашистов и не видели, разве только на карикатурах, которые Борис Ефимов рисует. А они там, в Испании, людей убивают. Коммунисты борются с ними, человечество от фашизма защищают — это настоящая жизнь. А мы здесь лежим себе в тепле, под крышей, с сытым брюхом и шутики шутим, отшучиваемся от жизни.

— Ну, — сказал Саша, — у нас задача есть: мне сейчас самое главное — диплом защитить. Это сейчас моя главная задача на земле.

Но диплом он так и не защитил. Не успел.

В управлении Госбезопасности он сдал инструкторам экзамены по многим дисциплинам, но ни одна из них, кроме немецкого языка, не входила в курс институтского обучения.

Майор, преподаватель немецкого языка, сказал Белову:

— Одна ошибка в произношении — и в конце предложения поставят свинцовую точку. Поэтому незаслуженно получить у меня пятерку так же недостойно, как вымаливать себе жизнь у врага...

А Саша и не собирался ничего получать незаслуженно.

Где они сейчас, его однокурсники? Может, воюют где-нибудь рядом? Интересно, где Алиса? Когда в институте узнали, что он вдруг на годы уехал на Север, как отнеслась к этому Алиса? Она всегда утверждала, что огорчения ей противопоказаны. И красива она только потому, что как бы воплощает девичье счастье и глубочайшим образом презирует

свои личные горести, отталкивает все неприятное, не думает о нем.

Всплакнула она? Пожалуй, нет. А что у нее на душе, никто никогда не знал. Она умела мило болтать, говорила о пустяках, лишь бы не упоминать о главном для нее, о ее тайне.

А у нее была тайна. Однажды после встречи Нового года она в дверях столкнулась с Сашей. Алиса всегда пела на институтских вечерах: у нее было приятное контральто, и многие даже советовали ей поступить в консерваторию.

И неожиданно она сказала в своем обычном шутливом тоне:

— А ну, лодырь, проводи прелестную девушку до дому, доставь себе такое удовольствие.

И всю дорогу она шутила и разыгрывала Сашу. А когда подошли к ее парадному, испуганно оглянувшись, подняла лицо и попросила:

— Поцелуй меня, Саша. — И добавила жалобно: — Можно в губы.

И Саша неумело прикоснулся к ее неумелым губам. А потом она сняла с его шеи свои руки, виновато опустила их, вздохнула.

— Знаешь, больше не будем.

— Никогда? — спросил Саша.

Алиса ясно и твердо посмотрела на него, но голос ее задрожал, когда она сказала:

— Вообще, если хочешь, я могу выйти за тебя замуж. — Подняла глаза, что-то высчитывая. — Второго сентября сорок второго года. — И объяснила: — Это день моего рождения — раз...

— А что два?

— Мне ведь нужно время, чтобы убедиться в твоей любви.

— Ладно, я запишу число, чтобы не забыть, — пошутил Саша, делая вид, что к словам Алисы он относится как к шутке.

Он не мог поступить иначе, хотя и понял, почувствовал, насколько для нее все это серьезно. Да, по правде сказать, ему самому было не до шуток. Но он в то время был уже зачислен в спецшколу и учился там, не оставляя пока института и не ведая, какая ему выпадет судьба. И он не знал, имеет ли он право связывать кого-либо, даже Алису, этой своей неведомой ему судьбой.

Алиса достала из сумки блокнот, приказала:

— Запиши!

По ее голосу Саша понял, что она никогда не простит ему этой шутки. И хоть ему было очень горько, он, продолжая

игру, с веселым видом поставил в блокноте дату и подписался под ней.

Алиса выдрала этот листок, разорвала его, бросила клочки в лужу.

— Все! — сказала она гордо и четко. — Все! — И ушла.

И больше они так вот, вдвоем, никогда уже не виделись. А потом он для нее, как и для других, уехал на Север.

28

Дорога в экспериментальный лагерь «О-Х-247» шла через сосновый бор. Здесь был поселок лагерного персонала — казармы охраны и домики начальствующего состава. Сам лагерь размещался внизу, в безлесной котловине; прежде там был песчаный карьер.

Низина заболочена: очевидно, со склонов стекают родники; на дне ее сивый туман, пахнущий гнилью. Поселок лагерного персонала походит на дачный: теннисный корт под маскировочной сеткой, песчаные дорожки окаймлены керамическими плитками, куртины роз бережно укрыты соломенными матами. Есть и площадка для детей: деревянный загончик с горкой песка, качели, веселые, пестрые грибки от солнца, плавательный бассейн — сейчас тут устроен каток.

Дежурный ротенфюрер из эсэсовской внутренней охраны проводил Дитриха и Вайса в дом для приезжих, любезно объяснил, где расположены туалетные комнаты, открыл шкаф — там лежали пижамы и войлочные домашние туфли.

Высокие кровати с двумя перинами. На тумбочках библии в черных дерматиновых переплетах, внутри каждой тумбочки фаянсовая ночная посуда и машинка для снятия сапог. Возле кроватей пушистые коврики. Пол, натертый воском, блестит, чуть липнет к подошвам. На окнах голубенькие занавески и тяжелые шторы с витыми шнурами.

В туалетной комнате кувшины с холодной и горячей водой, фаянсовые тазы, мохнатые полотенца. Мыло в нераспечатанной упаковке, губки с зубной пастой, одеколон, туалетный уксус. В аптекарском шкафчике медикаменты, на каждом латинская этикетка, и, кроме того, точно обозначено по-немецки, при каких обстоятельствах следует к ним прибегать.

Как только приезжие привели себя в порядок, явился вестовой и доложил, что их приглашает оберштурмбанфюрер Франц Клейн.

Не надевая плащей, они прошли песчаной дорожкой к оштукатуренному домику, увитому бурым декоративным плющом. Над его парадной дверью были прибиты огромные олени рога с белой лобной костью, по форме напоминающей щит.

В прихожей, отделанной дубовыми панелями и освещенной массивными медными канделябрами, их встретил сам оберштурмбанфюрер. Он был в бриджах, сапогах и мягкой клетчатой домашней куртке. Очевидно, Клейн преследовал двойную цель: хотел призвать гостей к дружеской непринужденности и в то же время показать им, что не считает нужным надевать мундир в честь людей, имеющих столь незначительное звание. Проводя Дитриха и Вайса в кабинет, уставленный массивной старинной мебелью, весь в тяжелых, огромных коврах — они лежали на полу, висели на стенах, — он познакомил приезжих с двумя офицерами: зондерфюрером Флинком — плешивым, полным, с солидным брюшком, и унтерштурмфюрером Рейсом — застенчиво улыбающимся юношей с косыми бачками, а также с профессором психологии Штрumpfелем — пожилым человеком, жующим большую черную сигару, в визитке и полосатых брюках, с брезгливым отечным лицом.

Сам оберштурмбанфюрер Клейн отличался изяществом и непринужденностью манер. Лицо у него было красное, нос с горбинкой, седые волнистые волосы, наперекор армейской моде, не острижены коротко, а ниспадают завитками на шею, небрежно повязанную шарфом из яркого кашемира. Он курил сигарету в длинном мундштуке слоновой кости.

В высоком, до самого потолка, шкафу, разделенном на узкие отделения, хранились пластинки. На подставке из красного дерева стоял патефон с откинутой крышкой, — очевидно, до прихода гостей здесь слушали музыку.

Стеклянный столик на колесиках был уставлен бутылками и бокалами, тарелками с соленым миндалем и сухариками. Но, по-видимому, особой склонности к алкоголю здесь никто не обнаруживал — открыты были только узкая бутылка рейнского да минеральная вода.

Прерванный разговор возобновился.

Клейн утверждал, что Гёте — величайший поэт всех времен и народов не только потому, что его поэзия проникнута глубокой общечеловеческой философией, но и потому, что она благозвучна, музыкальна, и он всегда слышит в ней могучую упоительную симфонию.

Профессор заметил, что достоинство истинной поэзии не в ее благозвучии: прежде всего она должна воспарять к самым вершинам мысли. И если бы Гёте был даже косноязычен, но создал образ Фауста, его величие было бы столь же бессмертно. И посетовал, что молодые немцы, хотя они и пламенные националисты, недостаточно знают своих великих классиков. Обратившись к Рейсу, он сказал:

— Господин унтерштурмфюрер, я был бы счастлив, если

бы вы меня опровергли, напомнив хотя бы несколько строк из нашего великого поэта.

Рейс на мгновение растерялся, но тут же весело и добродушно заявил:

— «Хорст Вессель», пожалуйста.

— Ай, как несовершенно ваше образование! — снисходительно пожурил его Клейн. Он остановил взгляд на Вайсе и, желая, очевидно, более энергично высмеять абверовского ефрейтора, спросил: — Ну, а вы, юноша? Вы, очевидно, тоже предложите спеть «Хорст Вессель»? Это проще. К чему тревожить старика Гёте?

Иоганн пожал плечами и ответил с достоинством:

— Если позволите... — и продекламировал:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

— Браво, — вяло сказал Клейн. — Браво. — И, будто аплодируя, сложил перед собой ладони.

Флинк хмуро заметил:

— Адмирал Канарис подбирает себе кадры, как римский папа: по принципу учености и изворотливости.

Дитрих добавил:

— И личной храбрости. — Выразительно скосил глаза на собственную грудь, украшенную орденом, кивнул на медаль Вайса, объяснил: — Ефрейтору Вайсу разносторонние познания не помешали совершить подвиг на фронте.

— Абверовцы на фронте — это новость, — удивился Флинк.

— Господа! — воскликнул Клейн. — Мы же сейчас отдыхаем. — Поднял бокал с минеральной водой. — За моих дорогих гостей.

В кабинет вошла фрау Клейн. Золотистые волосы ее были замысловато причесаны, а на лице, должно быть, навечно застыла ликующая улыбка красивой женщины. Она подала всем руку, белую, теплую, душистую, в кольцах.

И почти тотчас вестовой внес в кабинет младенца в кружевном, с шелковыми бантами конверте. Все выразили свое восхищение.

Фрау Клейн сказала:

— Это наш подарок фюреру. Мы дали ему имя Адольф.

Гости восхищались, сюсюкали, делали пальцами «козу». А когда вестовой унес младенца, Клейн распахнул двустворчатую дверь в столовую.

— Без церемонии, пожалуйста, у нас здесь по-домашнему. Прошу заранее извинить за скромный обед.

За столом Иоганн сидел рядом с Рейсом. Унтерштурмфюрер оказался простецким парнем. Он дружески подкладывал Вайсу на тарелку побольше всяких вкусных вещей и

коньяк паливал не в маленькую узенькую рюмочку, а в большой синий бокал, предназначенный для белого вина. Сам он ел весьма энергично, но все же кое-что успел сообщить Вайсу. Что служба здесь нетрудная, и хотя Клейн — чрезвычайно строгий и взыскательный начальник, ладить с ним можно, надо только уметь подчиняться. Что Флинк такой угрюмый не от тяжелого характера, а из-за язвы желудка, и, когда не страдает от приступов, он добродушнейший дядя, большой любитель крокета. Что же касается профессора Штрumpfеля, то это крупный ученый, и даже сам господин Гейдрих просил оказать ему максимальное содействие в его работах. Но хоть он и профессор, но, по-видимому, малый не промах, так как приехал сюда с молоденькой ассистенткой и комнату ей отвели рядом со спальней Штрumpfеля.

За столом больше говорили хозяева. Фрау Клейн рассказывала, как трудно было здесь, на песчаной почве, разбивать цветники. А штурмбанфюрер хвалил расположение в сосновом бору: климат тут очень здоровый, вокруг красивые виды, люди собрались приятные, спокойные, и поэтому даже белки стали совсем ручными. На зиму он приказал соорудить несколько десятков кормушек для птиц и уверен, что весной здесь можно будет в полную меру наслаждаться музыкой и птичьим щебетом.

После обеда мужчины вернулись в кабинет. Пили кофе, курили. Слушали музыку. Рейс одну за другой ставил пластинки с записями «Тангейзера». Клейн объявил, что Вагнер — величайший композитор. И все с ним согласились. И в этой обстановке сытой, томной полудремоты Клейн подсел к гостям на диван и, дружески похлопывая Дитриха по острому колену, туго обтянутому бриджами, сказал, что готов всячески содействовать его миссии.

Картотека заключенных в полном распоряжении Дитриха. Зондерфюрер Флинк даст консультацию по любому объекту. И, посасывая сигарету в длинном костяном мундштуке, Клейн коротко рассказал, что уже с тридцать третьего года — с тех пор, когда при каждом полку СС были созданы концентрационные лагеря, — он специализируется в этой области.

На первых порах концлагеря были крайне примитивны. Материал составляли коммунисты, либералы, профсоюзники — вообще красные, отсев был не организован, происходил главным образом естественным путем — вследствие эпидемий, истощений, ну, и в связи с нарушением правил внутреннего распорядка.

Пропускная способность лагерей значительно увеличилась, когда началось массовое поступление евреев и была введена специальная техника умерщвления. Здесь свое слово сказали

крупные фирмы, которые поставляли оборудование и химикаты.

И достижения в этой области были столь значительны, что позволили председателю данцигского сената Раушнинггу обратиться к фюреру с вопросом, нет ли у него намерения истребить сразу всех евреев. Но Гитлер ответил: «Нет. Тогда бы мы должны были снова кого-то искать. Существенно важно всегда иметь перед собой осязаемого противника, а не голую абстракцию».

Теперь, в современных исторических условиях, это, конечно, уже не имеет значения, так как появился новый материал. И созданы крупные, великолепно поставленные концентрационные лагеря с колоссальной пропускной способностью и почти неограниченными возможностями, такие, как Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, Саксенхаузен, Флоссенбург, Нейенгамм. Функции их — карающие и устрашающие, они же уничтожают нежелательный материал, который поступает с различных новых территорий.

Прежде экспериментальные лагеря носили чисто учебный характер. они предназначались для тренировки, выработки новых эффективных средств подавления, а также для обучения методам руководства. Таким, например, был лагерь Флоссенбург, где многие сотрудники СС приобрели первоначальный опыт.

Экспериментальный лагерь «О-Х-247», которым имеет честь командовать Клейн, несколько отличается от своих предшественников, а также от других подобных ему концентрационных лагерей. Наряду с решением общих задач в обязанности администрации входит выявление, обработка и подготовка отдельных экземпляров для использования их в определенных целях службами СД, гестапо и, естественно, абвера.

В заключение Клейн сообщил, что профессор Штрумпфель внес много ценных предложений, касающихся психической проверки лиц, предлагаемых специальным службам.

Дитрих поблагодарил Клейна, но заметил не без оттенка чванства в голосе, что он достаточно осведомлен о лагерной системе. Все, о чем здесь столь любезно рассказал господин оберштурмбанфюрер, известно любому эсэсману. А его интересуется количество кандидатур, которые господин оберштурмбанфюрер может предложить абверу.

— О, — живо воскликнул Клейн, — я не предложу вам ни одного экземпляра, увольте! Это на вашу ответственность. — И заметил ехидно: — Я слишком бюрократ. Карточка в вашем распоряжении. Но предупреждаю: все на вашу ответственность. Тут я умываю руки. — И сделал такое движение холеными руками, будто стряхивает с них брызги воды.

Унтерштурмфюрер Рейс, по-видимому, проникли симпатией к Иоганну; возможно, возникла она потому, что они были сверстниками, а его здесь окружали люди только старших возрастов. Даже солдаты охраны все были пожилые. С молочно-розовым лицом, с волосами, торчащими ежиком, и нелепыми широкими бачками на узких щеках, Рейс вел себя особенно трогательно, когда, забыв, что он старше Иоганна по званию, заботливо помогал ему надеть черную клеенчатую пелерину, пропитанную каким-то вонючим дезинфицирующим составом.

Клейн приказал Рейсу сопровождать абверовцев по лагерю, но Дитрих, опасаясь схватить инфекцию, отправился в канцелярию изучать картотеку заключенных.

Было холодное, свежее утро. Сосны с оранжевыми стволами, покрытые тонкой пленкой инея, блестят иглами хвои. Трава тоже в инее, а песок на дорожках скрипит под ногами, как снег в стужу. Пахнет смолой, льдом и горьковатожухлой травой. Небо прозрачнее, солнечное, прохладное, как вода со льдом. И только в низине, где расположен лагерь, лежал промозглый, похожий по цвету на бельмо, нечроглядный туман.

Рейс заехал за Иоганном на мотоцикле. Иоганн сел в коляску, вытянул ноги, накрылся клеенчатым фартуком. Рейс сказал приветливо:

— Я бы с гораздо большим удовольствием отве: тебя в город. И мы бы повеселились. Здесь такая же скучища, как в школе святого апостола Павла.

— Ты что, учился там?

— Отец хотел, чтобы я стал пастором.

Иоганн покосился на эсэсовскую фуражку Рейса с бархатным черным околышем и жестяной эмблемой черепа со скрещенными костями, заметил:

— Эта штука не очень-то походит на распятие.

Рейс усмехнулся:

— Мой отец до первой мировой войны был миссионером в Африке. Попадал из «манлихера» в подброшенную пуговицу.

— Он что ж, стрелял только в пуговицы?

— Когда негры вели себя прилично, только в пуговицы.

— Понятно, — сказал Иоганн. И спросил: — Ты давно здесь?

— Сразу после Треблинки. Это тоже экспериментальный лагерь, но назначение его всегда было только ликвидационное, уничтожали главным образом евреев. — Пожаловался: — Очень опасная была служба. Понимаешь, там впервые стали применять пар, а потом в трехкамерном отсеке — газ. У меня

почти всегда болела голова: угарный газ, смешанный с паром, долго не улетучивался. У меня даже был там приступ астмы.

— И поэтому тебя перевели сюда?

— Через некоторое время. Дело в том, что к нам приехал из своей резиденции в Кракове генерал-губернатор Ганс Франк и остался очень недоволен администрацией лагеря. Он нашел, что недопустимо занижена пропускная способность. Перед отъездом он собрал всех офицеров и сказал: «Что нам делать с евреями? Вы думаете, что мы поселим их в Остланде? К чему вся эта болтовня? Короче говоря, ликвидируйте их собственными средствами. Генерал-губернаторство должно быть так же свободно от евреев, как и рейх».

— А при чем здесь ты?

— Ну как же, руководство «гитлерюгенда» направило меня в школу Адольфа Гитлера. Я окончил специальное отделение — изучал работу контрразведок среди населения. А в Треблинке, после того как лагерь посетил Франк, у меня уже не было условий для такой работы.

— Почему?

— Ну, что ты, не понимаешь? Блокшрайберы только успевали составить список прибывших в очередной партии, как их тут же приходилось заносить в список выбывших. И я пожаловался штурмбанфюреру, что меня используют не по назначению.

— Тебя что же, заставляли принимать участие в казнях?

— Да что ты! Там у нас заключенного приговаривали к казни в самых редчайших случаях.

— Ну, а как же...

— Ну, это же были не казни, — перебил Рейс, — если ты имеешь в виду ликвидации. Казнь — это официально обставленная карательная акция. А это...

— Что это?

— Ну, это просто устранение неполноценной части населения освобождаемых территорий. — Добавил поспешно: — У нас была даже специальная инструкция, в которой указывалось, что вся процедура ликвидации должна производиться так, чтобы объекты не могли рассматривать ее как акцию возмездия. Поэтому, когда их направляли в газовые камеры, они думали, что идут в гигиенические душевые или в госпитальные блоки. Там даже вывешивали флаг с красным крестом. Часть заключенных ликвидировали под видом измерения их роста. Выстрел производился в прорезь измерительной планки, как раз над затылком, и объект даже не успевал понять, что с ним происходит, не испытывал боли.

— А ты откуда знаешь?

— Наши врачи говорили, что пуля, попадающая в мозжечок, вызывает такое же болевое ощущение, как удаление

зуба без анестезии, только еще более короткое. А отравляющее действие газа осознается в течение пяти минут, потом сознание притупляется, и объект только механическим сокращением мышц реагирует на дальнейшее умерщвление.

— Да ты, я вижу, в своем деле профессор.

— Мы все это обязаны знать: ведь если не знаешь, все-таки действует на психику, когда изо дня в день одно и то же...

— А когда знаешь, на психику не действует?

— Тех, кто раскисал, списывали на фронт или забирало гестапо.

— А ты ни разу не раскисал?

— Я много молился, даже ночами.

— И помогало?

— Я старался думать, что это просто бойня, а они все не люди, а животные.

— Ты молодец, здорово придумал...

— Конечно! И я, знаешь ли, научился не запоминать их лица. Это очень важно — научиться ничего не помнить.

— А если вдруг вспомнишь?

— Ну зачем же?!

— А если тебе когда-нибудь напомнят?

— Кто? Кто напомнит? — неприязненно спросил Рейс и даже притормозил мотоцикл. — Тех никогда больше не будет. А мы даже сейчас об этом не разговариваем, как будто ничего такого нет и не было.

— Ты считаешь, война уже кончилась?

— Ты что? — смущенно спросил Рейс. — Ты что?

— Ничего, — миролюбиво сказал Иоганн. — Просто я считаю, что война еще не кончилась. И когда-нибудь она кончится.

— Ну да, — согласился, успокаиваясь, Рейс. — Возьмем Москву и все человечество ляжет у наших ног.

— И у твоих?

— И у моих тоже.

— Ноги у тебя подходящие. Просто отличные ноги. С такими ногами бегать хорошо.

Иоганн говорил сквозь зубы, не забывая улыбаться при этом. И надо же было затеять такой разговор, когда все его существо и без того корчилось. Не растревая себя он должен, а собраться в железный комок, подготовиться к встрече с советскими людьми, чтобы стойко, с равнодушным видом пройти мимо них так, словно они для него не существуют.

Низина лежала в холодном дыму тумана.

Под колесами мотоцикла скрипел песок, щелкала щебенка. Отвесные стенки карьера с выжженным по склонам кустарником были черны. Силуэты деревянных вышек, ячеистая проволочная ограда в несколько рядов. На серых столбах бе-

леют крупные изоляторы — значит, через проволоку пропущен ток высокого напряжения.

Показались каменные низкие постройки с высокими кирпичными трубами.

— Крематорий?

— Нет, это печи для обжигания керамических плит, — охотно пояснил Рейс. Помедлил. — Но их тоже используют... Иногда...

Проехали одни, затем другие ворота, густо оплетенные колючей проволокой, по краям бетонные колпаки, разрезанные пулеметными амбразурами. Мотоцикл оставили у входа в комендатуру — барачного типа одноэтажное деревянное здание, без фундамента поставленное на бревна.

По кирпичному тротуару вышли на пустынный аппель-плац. Песчаная почва здесь была плотно утоптана, а пот и кровь с разбитых ног послужили вяжущим материалом для песка, превратили его в подобие асфальта.

Остальная площадь лагеря была разделена проволокой на клетки загонов, в каждом из них стояло по два низких барака, до ската крыши которых человек среднего роста мог дотянуться рукой. Эти бараки здесь называли блоками.

В нескольких метрах от проволочных заграждений тянулись белые известковые полосы. Ступивший на эту границу заключенный карается так же, как за побег.

Ни кустика, ни засохшей травинки, — ровное черное пространство, хорошо просматриваемое с любой возвышенной точки.

Окна в бараках, хоть и узкие, тянулись почти во всю длину стен, а деревянные вытяжные трубы шли почти через каждые десять метров, но поставлены они почему-то не вертикально, как полагается трубам, а торчат из стен куцыми ящичками.

Рейс объяснил:

— Это для прослушивания. — Потом сказал с гордостью: — Герр Клейн ввел много усовершенствований. Он, например, избегает публичных казней. Но каждый карцер снабжен такими средствами, чтобы виновный мог сам расправиться с собой, если, конечно, господин оберштурмбанфюрер считает его ликвидацию целесообразной.

— Значит, организуется самоубийство?

— Ну, почему же самоубийство? Просто свобода выбора.

Увидев приближающуюся полосатую колонну заключенных, Рейс посоветовал Иоганну обратить на них внимание.

— Принцип обезличивания — тоже идея герра Клейна. Начинается с того, что каждый заключенный имеет только свой номер — больше ничего своего. Ни одной вещи мы им не разрешаем иметь, только номер. В этих же целях каждый

заключенный меняет ежедневно барак, место на нарах и группу, в которой находится. Мы их тасуем, как колоду карт. Особенно у советских развит инстинкт организованности. А таким способом мы перешибаем этот инстинкт. Ну, и легче подсаживать слухачей.

— Доносчиков?

— Слухачей. Это наш термин, он более точен.

— И много их?

Рейс ответил загадочно:

— Это личные кадры оберштурмбанфюрера.

— Вот такие ребята нам и нужны! — с энтузиазмом воскликнул Вайс. — Надеюсь, вы нам кое-кого уступите?

— Как прикажет оберштурмбанфюрер.

Иоганн положил руку на спину Рейса и, дружески похлопывая его, спросил:

— А ну, по-приятельски. Парочку таких, какие покрепче. А то, я вижу, они все тут заморыши.

— Ну, не все, есть один кролик поразительной живучести.

Вайс сказал сухо:

— Те, на которых производятся медицинские эксперименты, нам не нужны.

— Да нет, этот совсем из другой породы, — рассмеялся Рейс, — из гончих. Ну, понимаешь, гончий кролик. Мы указываем ему место прохода в ограждении, он подговаривает группу на побег. Ну, и, следовательно, таким простым способом мы выявляем еще не обезличенные объекты и избавляемся от них.

— Здорово, — похвалил Иоганн.

— Шаблонный прием, — скромно сказал Рейс, — тянем его еще с Треблинки.

Иоганн обвел глазами колонну заключенных, попросил:

— А ну, покажи мне этого парня.

— Да вот он, напротив, — семьдесят три два ноля двенадцать.

Понимая, что речь идет о нагрудном номере на куртке заключенного, Иоганн довольно быстро нашел его.

Такой же, как все тут. Ничем особенно не выделяется. Лицо сизое, набрякшее, уши круглые, широкие, сутулый, с отвислым задом. Вот разве что правая бровь от шрама лысая.

— Не годится для нас, староват, — сухо объявил Иоганн.

— Да ему и тридцати нет. Они все здесь похожи на стариков.

Иоганн, испытывая неистовое напряжение душевных сил, смотрел на лица заключенных, смотрел им в глаза. Но взгляд его встречал только стеклянное, мертвое мерцание глаз, казалось не видящих его и не желающих его видеть. Он не существовал для этих людей — вот что означали их

взгляды. Не существовал — и все. Он был для них ничто. Ничто в сером мундире. Ничто, голосу которого они будут повиноваться так же, как голосу репродуктора.

Рейс сделал движение пальцем и произнес:

— Семьдесят четыре два ноля четырнадцать.

Блокфюрер выкрикнул:

— Семьдесят четыре два ноля четырнадцать, к господину унтерштурмфюреру!

Четко печата шаг, из рядов вышел скелетообразный человек, снял с головы полосатую матерчатую шапку, притопнул, вытянулся.

— Поговори, если хочешь, — разрешил Рейс Иоганну.

Иоганн, пристально глядя в лицо этого человека, громко и внятно спросил по-русски:

— Вы желаете предлагать свои услуги в качестве изменника родины? Во имя победы великой Германии и славы фюрера?

— Не понимаю, — глухо сказал № 740014.

— Я плохо объяснил по-русски? — спросил Вайс.

— Я не понимаю.

— Что вы не понимаете?

— Не понимаю — и все,

— Не хотите понимать?

Заклученный молчал.

Рейс спросил:

— Что он тебе ответил?

— Он хочет подумать, — сказал Иоганн.

Рейс попросил:

— Скажи ему, что я уже начинаю думать, не следует ли полечить его в спецблоке. Он очень плохо выглядит.

Иоганн перевел.

Лицо заключенного стало еще более серым. Он усмехнулся одной щекой, сказал сипло:

— Ясно!

— Что вам ясно? — спросил Иоганн.

— Все, — сказал № 740014. И добавил: — Значит, слезай, приехали.

— Марш! — приказал Рейс и небрежно объявил подскочившему блокфюреру: — Этого — к финишу.

— Момент, — сказал Иоганн. И с улыбкой попросил Рейса: — Разрешите мне самому его потрясти.

— Отставить! — приказал Рейс блокфюреру.

Щелкая по плацу деревянными подошвами, заключенные разошлись в бараки.

На плацу возникла вязкая, мертвая тишина. И сразу стали ощутимы кислая вонь тумана, угарный запах человеческого пота и мокрого тряпья, острый запах дезинфекции.

У проволочной ограды серыми тенями металась овчарка. Они никогда не лаяли; их приучили без звука бросаться на людей.

Рейс, осторожно шагая, чтобы не ступить в лужу, говорил:

— Наш лагерь отборочный. Материал приходит к нам после значительного отсева, и все же попадаются коммунисты. Это очень опасно.

— И сейчас есть подозрительные?

— Да, и притом несколько.

— Ты мне потом скажешь их номера, чтобы я не тратил зря времени?

— Конечно, — согласился Рейс. — Это всегда очень хитрые экземпляры. Они умеют хранить тайну и, только когда идут на казнь, обычно выдают себя.

— Чем же?

— Бессмысленной демонстрацией храбрости.

Иоганн шел по черному плацу, упругому, как кожа, и пахнущему потной кожей, и думал о том, что в лагере убивают сначала тех, кто не хочет продлевать свою жизнь и предпочитает мгновенную смерть медленному, мучительному умиранию. Есть здесь и крепкие люди, которых только смерть способна сломить. А есть и другие, тоже крепкие, но они гнутся до предела, гнутся, чтобы вдруг в какое-то мгновение выпрямиться и, выпрямившись, стать снова людьми, себе на гибель. И нужно найти таких людей. Это нужно для дела, которому служит Иоганн, и такие люди для него бесценны. Но как найти их?

Вот этот, № 740014. Кто он? Что он? Номер в картотеке? А если б Иоганн оказался в плену, разве он стал бы говорить правду? Конечно нет, он лгал бы.

Но этот, № 740014, уже приговорен Рейсом к смерти. Может, теперь он скажет о себе правду? А зачем? Если он раньше не откупился предательством, почему он сделает это сейчас? Или солжет, чтобы выжить? Но ведь он прошел много проверок, и, значит, было что-то, из-за чего он оказался в отборочном лагере, стал кандидатом в изменники.

Надо поговорить с глазу на глаз.

Может, он просто боялся других заключенных. Даже этот изощренный метод тасовки не избавляет слухачей от возмездия: их часто находят в отхожих местах мертвыми. Значит, кто-то здесь карает предателей. А ведь одному это не под силу, нужны организованные действия.

Нет такого луча, с помощью которого можно было бы увидеть человека насквозь. Нет и не будет. Но Иоганн должен найти способ. Должен...

Туман стал мокрым, почти непроглядным. Рейс включил на мотоцикле фару. Белый диск света торчал в туманной

удушливой мгле. Они выехали из низины. В бору было сухо, чисто. Песок скрипел под шинами, в окнах домиков лагерного персонала уютно светились шелковые разноцветные абажуры...

Дитрих сказал Вайсу, чтобы он занялся картотекой. Хитро подмигивая, предложил:

— Я просмотрел личные дела и составил список. Ты тоже составь такой список. Если номера совпадут, это будет хорошо: две головы всегда неплохо. — Потом пожаловался: — Господин Клейн — большой мошенник, не захотел расшифровать грифы на личных делах. Эсэсовцы привыкли работать только на себя.

И вот все вечера и даже ночи Иоганн стал просиживать в канцелярии. Служебное рвение его было вызвано не только указаниями Лансдорфа, хотя ими тоже не следовало пренебрегать. У Иоганна были свои, далеко идущие соображения: он решил прежде всего выявить слухачей-доносчиков. В сущности, Рейс, раскрыв «кролика», дал Иоганну в руки кончик ниточки, держась за нее, он и начал свое путешествие по канцелярскому лабиринту.

Иоганн не прикасался к картотекам в полированных ящиках, не интересовали его пока что и папки с личными делами заключенных.

Ведомости продуктового снабжения, записи кладовщика — вот что было ему нужно в первую очередь.

Все военнопленные обречены здесь на медленную смерть от истощения. И наказывают эсэсовцы голодом: тем, кто попадает в штрафной блок, совсем ничего не дают.

Продлить жизнь в лагере может только еда. Вот эсэсовцы и поощряют нужных им людей жратвой. Дополнительный паек получают старосты блоков — «капо», как их тут называют. Предателям тоже полагается дополнительный паек, а высшая награда для них — табак и шнапс.

Иоганн тщательно изучал замысловатые отметки на продуктовых ведомостях, анализировал подшитые к ним расписки блокфюреров. Номер «кролика» был для него ключом к расшифровке этой сложной бухгалтерии: И вскоре Иоганн убедился, что выбрал правильный путь.

В списках людей, направленных в спецблок, на крыше которого развевался белый флаг с красным крестом, он обнаружил несколько раз номер «кролика». А ведь из спецблока никто не возвращался живым. И даты пребывания «кролика» в спецблоке совпадали с датами расписок блокфюрера в получении дополнительного пайка, табака и шнапса.

Такую же закономерность Иоганн обнаружил и по спискам штрафного блока: дата «наказания» «кролика» всегда совпадала с датой получения дополнительного пайка блокфюрером штрафного блока.

После многих ночей в канцелярии Иоганн установил, что не один «кролик» благополучно возвращался из камер смерти. В списках было еще несколько «номеров», неоднократно попадавших в спецблок и штрафной блок, и пребывание их там всякий раз сопровождалось все теми же расписками блокфюреров.

Так Иоганн выявил предателей. Картотека ему понадобилась лишь для того, чтобы заменить номера именами. Зашифровав имена, он спрятал список под стелькой сапога, а номера занес в блокнот.

Продуктовые ведомости больше не интересовали Иоганна. Теперь он занялся личными делами заключенных. На некоторых из них гестаповец Флинк сделал пометки. Разобравшись в них, Иоганн понял, что заключенные, личные дела которых были помечены Флинком, обречены на смерть. Но не из-за крайнего физического истощения, а потому, что вопреки ему они сохраняют бодрость и оказывают тем самым вредное влияние на окружающих. Иоганн выписал имена и номера таких заключенных. Среди них оказался и № 740014 — тот заключенный, которому он столь недвусмысленно и открыто предложил стать изменником родины. Иоганн назвал вещи своими именами, хотя даже самые наглые фашисты облакали подобные предложения в более обтекаемые и неопределенные формы.

Первое напряжение бессонных ночей давало себя знать, но Иоганн был доволен. Он открыл методику поиска, выявил тех, кого следовало выявить, узнал имена заключенных, блестяще прошедших через все пытки и встретивших смерть с достоинством, которое Рейс, пожимая плечами, называл бессмысленным. Имена их Иоганн тоже зашифровал: он хотел выполнить свой долг перед казненными, хотел, чтобы на родине узнали об их подвиге, чтобы навечно сохранилась память о них.

Выйдя с рассветом из канцелярии, Иоганн отправлялся в карьер, где работали узники, и часами пытливо наблюдал за теми номерами, носители которых его интересовали. Он заметил, что доносчики не очень-то затрудняли себя, но охрана не понуждала их работать лучше. А тех, кого Флинк наметил к уничтожению, они понуждали трудиться в неимоверном темпе, беспощадно избивали. И однако же эти обреченные не только работали сами, но и помогали ослабевшему товарищу сдвинуть тачку с тяжелым, мокрым песком, поднять каменную глыбу. Все эти наблюдения совпадали с канцелярскими изысканиями Иоганна, подтверждали правильность его выводов.

Вскоре Иоганн мог уже составить список, которого ждал от него Дитрих. Отобрал он тех предателей, кто и по физическим и по интеллектуальным данным наименее подходил



для роли парашютистов-диверсантов. Иоганн не раз беседовал с ними и установил, что эти тупицы не способны решить даже простой арифметической задачи или запомнить три двузначных числа. А о том, чтобы набросать на бумаге маршрут от барака с керамическими печами до аппельплаца, и речи быть не могло. Хороши же будут из них террористы-разведчики! Мощное подкрепление получит фашистский вермахт!

Но заподозрить Вайса никто не мог. Обоснованием правильности его выбора служили личные дела тех, кого он нашел нужным включить в свой список. А в их личных делах черным по белому было зафиксировано все, что словоохотливо сообщали фашистским следователям эти трусливые и подлые души.

Как будто сговорившись, все они утверждали, что пострадали от советской власти, были ее жертвами. Отсюда напрашивался вывод, что они готовы отомстить за перенесенные в Советской стране страдания. Возможно, конечно, некоторые заключенные просто лгали во имя спасения собственной шкуры. Как бы там ни было, подобные показания служили несомненным документальным свидетельством, что Вайс отобрал кандидатуры по политическому принципу, а это не могло не вызвать одобрения Лансдорфа.

Через несколько дней, хоть погода была и неважная, Дитрих пригласил Вайса прогуляться по лесу. Очевидно, он полагал, что все стены здесь имеют уши, а ему хотелось поговорить без свидетелей.

Едва они углубились в лес, как Дитрих стал раздраженно жаловаться на Клейна. Он совсем не уверен, что Клейн добросовестно помогает ему подбирать нужных людей. По-видимому, гестапо не собирается расставаться с наиболее подходящими заключенными.

Иоганн почтительно выслушал сетования Дитриха, кивком головы молчаливо согласился с ним: да, задание досталось трудновыполнимое, — подождал, пока капитан облегчит свою душу, и, выбрав момент, предложил ему присесть на пенек, чтобы отдохнуть. Пока Дитрих усаживался, Иоганн достал из планшета составленный им список кандидатур и выписки из личных дел для его обоснования. Торжественно вручив бумаги, Иоганн, будто подвижимый скромностью и особой симпатией к Дитриху, попросил его считать проделанную им работу своей. Дитрих очень внимательно ознакомился с бумагами и, видимо, остался доволен. Поразмыслив, он решил представить список Вайса как результат своей особой проницательности в надежде, что это значительно повысит его престиж, да и вообще престиж абверовцев в глазах Клейна.

И вот достаточно оказалось этой малости, чтобы настро-

ние Дитриха сразу и очень заметно улучшилось. Лицо его выразило самодовольство, будто и вправду он сам так удачно отобрал кандидатуры и вся заслуга тут принадлежит именно ему и никому другому. Он уже не обращался к Вайсу, не замечал его. Он даже не испытывал к нему благодарности. Подумаешь, какое дело! Его подчиненный, ефрейтор, почти солдат, добыл для него кое-какие полезные материалы. Но ведь это его подчиненный, старался-то он для него, на него работал. Значит, ему, капитану Дитриху, как нечто само собой разумеющееся, и принадлежит право воспользоваться плодами этой работы, считать ее своей. Тут и разговаривать не о чем.

И, насвистывая, Дитрих зашагал по мокрому снегу лесной тропинки. Он был так доволен, так спешил к Клейну, что, вопреки своим привычкам, даже не боялся промочить ноги — ступал в тонких сапогах куда придется.

Как и ожидал Иоганн, ознакомившись со списком заключенных, отобранных Дитрихом, Клейн и Флинк не очень-то обрадовались.

Флинк пробурчал сердито:

— Господин капитан, вы беспощадны. Вы хотите лишить нас глаз и ушей в лагере. Я протестую.

Дитрих предостерегающе поднял бровь.

— Насколько я вас понял, вы протестуете против решения генералитета вести войну всеми доступными нам средствами?

Клейн не дал ссоре разгореться, вмешался, сказал примирительно:

— Я преклоняюсь перед вашим, господин Дитрих, блистательным талантом первоклассного разведчика. — С широкой улыбкой разлил вино, протягивая бокал, попросил: — Надеюсь, вы поделитесь с нами, расскажете, каким загадочным способом вам удалось выявить весь контингент осведомителей и оставить нас безоружными.

Несмотря на то, что Клейн говорил все это как бы с огорчением, глаза его торжествующе поблескивали. Он умолчал о том, что наиболее ценные, по его мнению, осведомители не попали в список Дитриха, и кроме того, в списке оказалась парочка несомненных коммунистов, кандидатов на уничтожение.

От Иоганна это не ускользнуло, а Дитрих ничего не заметил. Постучав себя по лбу, он заявил глубокомысленно:

— Увы, ключи от этого сейфа только у адмирала Канариса.

— О, я так и думал! — почтительно воскликнул Клейн. — Абвер — это замечательный инструмент для обнаружения чужих секретов, но в то же время и непроницаемая скала, когда речь идет о хранении профессиональных тайн. Я понимаю. — И глаза его снова лукаво блеснули.

На следующий день Иоганн пожаловался Рейсу, что зря он тут старался, не спал ночами: капитан Дитрих оказался настолько опытным контрразведчиком, что справился и без его помощи. И, увы, эта командировка Вайса едва ли будет расценена начальством положительно.

Рейс посочувствовал Иоганну, но в утешение мог предложить только, что отвезет его на своем мотоцикле в город, в тот дом с девицами, к которому был прикреплен начальствующий состав лагеря.

Все эти дни Иоганн не оставляла мысль о заключенном № 740014. Снова и снова листал он его личное дело и постепенно пришел к некоторым любопытным для себя выводам.

Так, в анкете местом постоянного жительства была названа Горловка, а в графе о профессии значилось «крестьянин-единоличник». А какой может быть единоличник в самом сердце промышленного Донбасса? Кроме того, в анкете № 740014 стояла русская фамилия, хотя тут же значилось, что по национальности он украинец.

Иоганн прикинул, как будет звучать эта фамилия, если переделать ее на украинский лад, и вдруг обнаружил, что это фамилия известного всей стране шахтера. Имя в анкете, по всей видимости, было указано подлинное, и оно тоже совпадало.

Вечером Иоганн пришел в спецблок, вызвал блокфюрера и не терпящим возражений тоном поставил его в известность, что с ведома господина оберштурмбанфюрера Клейна капитан абвера Дитрих уполномочил его допросить двух заключенных. Тем же повелительным тоном он приказал привести на допрос № 740014, а ровно через час после этого «кролика» с плетиной на брови.

Хорошо вышколенный и, по-видимому, привыкший беспрекословно повиноваться, блокфюрер проводил Вайса в отсек, специально отведенный для допроса заключенных, и оставил его здесь одного.

Иоганн осмотрелся. Внимание его прежде всего привлек высокий, до самого потолка, шкаф с неплотно прикрытыми дверцами. Иоганн открыл шкаф и отпрянул.

Шкаф предназначался для подвешивания, растягивания заключенных при допросе. Это был даже не шкаф, а футляр, прикрывавший смонтированное в нем особое хитроумное устройство. С потолка свисали на блоках ручные кандалы, а внизу лежали кандалы ножные. Иоганн попробовал поднять их и не смог — так тяжел был прикрепленный к ним бетонный груз. По всей видимости, честь изобретения этого чудовищного распятия принадлежала Флинку. Он как-то заметил вскользь, что с детства не переносит вида крови. И завтра, а может быть, еще и сегодня Иоганн встретится с этим Флинком, и пожмет его руку, и улыбнется ему, и справится о его

самочувствии, и говорить они будут о каких-нибудь малозначащих пустяках — о погоде, о новых пластинках...

Иоганн закрыл шкаф, сел за стол и с силой сжал резиновую палку, унизанную металлическими гайками. И тут же пальцы его разжались. Он понял, что перед ним на сей раз изобретение Рейса, которым тот не однажды похвалялся, шутиливо называя это орудие «жезлом с обручальными кольцами».

Постучали. Блокфюрер ввел заключенного № 740014, вытянулся у двери, ожидая приказаний. Иоганн снова взял в руки резиновую палку, подошел, приказал блокфюреру покинуть камеру. Размахивая палкой перед лицом заключенного, спросил по-русски:

— Ну, что скажешь? — И, будто испытывая орудие допроса, с силой ударил по косяку двери. Потом распахнул ее, выглянул. Коридор был пуст.

Иоганн подошел к столу, сказал:

— Садитесь.

Заключенный глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сел на привинченный к полу массивный табурет.

Пристально глядя ему в глаза, Иоганн назвал его подлинное имя. Добавил:

— Стахановец. Шахтер. Коммунист. Так?

Заключенный, не поднимая глаз, уныло рассматривал свои руки. Лицо его оставалось неподвижным, мертвым.

Иоганн закричал:

— Говори, животное, говори! — И ударил палкой по столу. — Говори!

Шахтер повернулся к нему спиной, привычно охватив голову руками.

Вайс сел, предложил:

— Покурим...

Заключенный изумленно уставился на него.

— Правильно, — одобрил Иоганн. — Все правильно. Молодец.

— А ты сволочь, — очень спокойно, с достоинством сообщил шахтер. — Пес в волчьей шкуре.

— Понятно, — сказал Иоганн, — точная формулировка. — Посоветовал: — А вы все-таки возьмите всю пачку, ну, как трофейную, что ли.

Шахтер недоверчиво потянул к себе сигареты, быстро sunul за пазуху. Спросил:

— Купить думаешь?

— Ну, если бы вы были продажный!

— Такой, как ты?..

— Ну ладно, — попросил Вайс, — хватит. — Наклохнулся. — А если я тебе верю?

— Покупаешь, — упрямо повторил шахтер.

Иоганн протянул к нему руку и чуть было не смахнул со стола большую жестяную банку с гипсом. Спросил машинально:

— На черта это здесь?

— Играть хочешь? — так же спокойно спросил шахтер. — Притворяешься новичком? Мало ты нам рты гипсовал, чтобы во время разделки не шумели?

— Так, интересно. — Иоганн потрогал пальцем холодную жидкость в банке. Он посмотрел на часы, приказал: — Подойди ко мне.

Тот покорно приблизился.

Иоганн зачерпнул из банки гипс.

— Открой рот. — Замазал рот заключенного объяснил: — Надо, чтобы ты молчал. Чтобы ни звука! — Открыл шкаф. — Становись.

Шахтер привычно протянул руки к кандалам.

— Не надо. Пошевелись, подвигайся.

Шахтер выполнил приказание.

— Теперь встань, обопрись о стенку, и чтобы ни звука, ни шороха. Понятно? — И, последний раз строго взглянув в растерянное, недоуменное лицо шахтера, закрыл шкаф и вышел.

В коридоре никого не было. Перед спецблоком — тоже ни души. Лагерь, окутанный промозглым, воняющим гнилой тинной туманом, казался вымершим. Резкий, какой-то мертвенный свет прожекторов клубился вместе с туманом. И ощущение нереальности окружающего на миг охватило Иоганна. Но только на миг. Из полузабытья его вывел блокфюрер. «Кролик», который пришел с ним, выразительно подмигнул, указывая на шкаф.

Блокфюрер сказал с уважением:

— Я-то думал, господин ефрейтор, вам ассистент нужен, а вы сами справились.

Втроем они вошли в камеру. Иоганн сел за стол.

«Кролик», державшийся с подобострастной развязностью, тоже сел, не дожидаясь приглашения.

— Встать! — крикнул Иоганн и, схватив резиновую палку, наотмашь ударил его по голове.

«Кролик» всхлипнул, прикрыл лицо руками.

— Молчать! — приказал Иоганн и махнул рукой блокфюреру. Когда тот вышел, Иоганн чуть приоткрыл дверцу шкафа, пристально посмотрел на «кролика». — Ты!.. — И назвал номера еще трех осведомителей, причем произнес их громко, отчетливо. Потом развалился на стуле и, покачивая головой, продолжил: — Все вы четверо, — он снова отдельно повторил номера, — своей работой на гестапо заслужили повышения.

— Благодарю, господин обер-ефрейтор!

— Молчать! Я не закончил. Служба абвера берет вас в свою систему. А ты... — Вайс протянул «кролику» лист бума-

ги и карандаш, — пиши, кто тут, по твоим данным, подлежит немедленной ликвидации.

«Крелик» схватил бумагу, стал поспешно писать. От усердия на лбу его появились капли пота. Когда он протягивал исписанную бумагу Вайсу, от бывшей его развязности не осталось и следа.

Иоганн просмотрел список.

— Все? А теперь пошел вон. И запомни: мы, абверовцы, повесим тебя, если будешь болтать. — Выглянул в коридор, приказал ожидающему там блокфюреру: — Отведи его, да не забудь дать несколько раз по морде, чтобы он выглядел так, как полагается выглядеть после вызова в спецблок. — И проводил их до двери.

Вернувшись, подождал немного, снова выглянул в коридор, потом распахнул шкаф.

— Выходи. — Спросил: — Все слышал?...

Шахтер кивнул головой.

— Посмотри список.

Шахтер подошел к столу.

— И мой номер выписал, гадюка...

— Да, — сказал Иоганн. — Это хорошо, что он тебя не забыл.

— Кому хорошо?

— Ну, допустим, мне. — Спросил строго: — Теперь ты понял?

Шахтер снова кивнул.

Вайс сурово предупредил его:

— Через два дня — не раньше.

— Так, — спокойно сказал шахтер. — Через два дня задавим.

Иоганн приложил палец к губам и еле слышно прошептал:

— Дашь согласие поступить в фашистскую школу диверсантов-разведчиков. Чуть поломаешься — и согласишься. Но учти: я тебя больше не знаю, и ты меня там тоже не знаешь.

— Ясно.

— Пошли, — приказал Вайс и направился к двери.

И вдруг сзади раздалось такое родное слово.

— Товарищ! — позвал шахтер.

Иоганн обернулся.

— Надо мне тоже, дай как следует. — Шахтер показал кулак, зажмурился, потребовал: — Бей!

— Не могу...

— То есть как это не можешь? — возмутился шахтер. — Как это не можешь, когда надо?

— Не могу, — повторил Иоганн.

— Хлюпик, — презрительно бросил шахтер. Подумал и добавил: — Неврастеник.

Увидев, что все это не произвело на Вайса впечатления,

шахтер мгновение помедлил и решительно взял со стола резиновую палку, сплошь покрытую металлическими гайками.

— Не надо,— попросил Иоганн.

— Думаешь, сойдет?— спросил шахтер.

— Сойдет,— сказал Иоганн.

Они вместе покинули спецблок. Впереди, тяжело волоча ноги, плелся шахтер, сзади, держа руку на отстегнутой крышке кобуры, шагал Вайс. В комендатуре он приказал дежурному солдату охраны отвести заключенного в барак.

А на следующий день Иоганн предложил Дитриху якобы по рекомендации Рейса включить в список отобранных им кандидатур еще заключенного № 740014. И когда потом Иоганн поблагодарил Рейса за рекомендацию подходящей кандидатуры и назвал номер заключенного, Рейс изумленно уставился на Иоганна. Но тут же он ухмыльнулся и сказал, что рад оказать ему услугу. Очевидно, этот гестаповец полагал, что ловко провел абверовца. Он отлично помнил, что заключенный № 740014 — ближайший кандидат в смертники, а по каким мотивам именно его отобрали абверовцы — это Рейса не интересовало.

Теперь, когда список отобранных для диверсионной школы заключенных был составлен, капитан Дитрих имел все основания считать свою миссию в экспериментальном лагере завершенной и, как он полагал, завершенной успешно. Радовало его и то, что ему удалось избежать посещения лагеря, так как он боялся инфекции.

Перед отъездом оберштурмбанфюрер Клейн пригласил Дитриха и Вайса на завтрак. И все было как и в прошлый раз на обеде в честь их приезда. Клейн, Флинк, Рейс и Штрumpfель, развалившись в креслах, неторопливо беседовали об искусстве, только теперь предметом их разговора была не музыка, а живопись. Правда, Иоганн не сразу это понял, так как речь шла больше о цветной фотографии.

Собеседники довольно быстро пришли к единодушному взгляду на современную живопись. И взгляд этот несколько ошеломил, казалось бы, уже отвыкшего удивляться Иоганна. Оказывается, в Германии сейчас фотография и живопись сливаются в единое синтетическое искусство. Происходит так потому, что сама жизнь дает образцы возвышенного. И пример тому фюрер — образец нравственного совершенства, — таково было общее мнение гостей и хозяина.

После вкусного и сытного завтрака Клейн снова пригласил всех к себе в кабинет.

Профессор Штрumpfель наставительным тоном пространно делился с Дитрихом своими познаниями. Поскольку человек не что иное, как разновидность животного, разглагольствовал он, то в качестве стимуляторов следует использовать наиболее экономически выгодные средства воздействия: голод

в наказание и дополнительную кормежку в поощрение. Публичные экзекуции и казни могут оказать воспитательное воздействие только в тех случаях, когда подвергаемые им особи живо, активно реагируют на все процедуры, то есть ведут себя естественно. Если же они, что бывает чаще, реагируют цинично и противоестественно, то это оказывает на зрителей обратное действие.

Омерзительное деловое наставление, к тому же еще облеченное в некую наукообразную форму, вызывало у присутствующих одну лишь почтительную скуку, но прервать профессора никто не решался. И все оживились, когда Рейс, разомлевший за рюмкой шнапса, позволил себе прервать порядком втянувшуюся лекцию.

— А мы, герр профессор, в Треблинке оборудовали «госпитальную» приемную. Там были плюшевые диваны и даже олени рога — заключенные вешали на них одежду. А потом — «прошв». Дверь распахивалась — ров. И прямо сюда, — Рейс показал пальцем себе на затылок.

Презрение, ненависть, гнев — все это для разведчика Александра Белова было недоступной роскошью. Иоганн сидел, как и все, развалившись в кресле, курил. Воспользовавшись минутным молчанием, почтительно обратился к Клейну:

— Полагаю, герр оберштурмбанфюрер, все эти замечательные наблюдения представляют большую научную ценность, и убежден, что уважаемый профессор широко опубликует их.

— О да, — согласился Штрумпфель. — Это мой долг.

— Но не сразу, — поспешно вмешался Флинк. — Пока не утвердится мировое господство империи, мы должны соблюдать известную сдержанность в некоторых вопросах. Когда дело касается некоторых других наций.

— Само собой разумеется, — согласился Штрумпфель.

Клейн напомнил:

— По отношению, например, к голландским евреям мы проявляли даже любезность: возвращали прах семьям в запаянных металлических банках. И брали за банку по семьдесят пять гульденов.

Рейс поддержал разговор:

— Говорят, в Аушвице, где комендант Рудольф Гесс, волосы обрабатывают паром, а затем упаковывают в кипы, чтобы использовать для производства матрацев. И еще я слышал, что в Дахау кости перемалывают на удобрения для полей. Для этого там даже установлена специальная машина.

— Там колоссальные масштабы, — со знанием дела скавал Флинк. — Если бы они не применяли широко технические средства, им бы пришлось занимать огромные дополнительные территории для захоронений.

Клейн воскликнул с упреком:

— Господа, мне кажется, беседа на такие темы не может способствовать пищеварению!

— Да, — льстиво согласился Рейс, — завтрак был, как всегда, замечательный, особенно хороши были взбитые сливки.

— Вы сладкоежка.

— Я вспомнил маму, — мечтательно сказал Рейс, — она так чудесно стряпала!

— Да, все мы когда-то были детьми, — томно заметил Клейн и, вытянув ноги в теплых домашних туфлях, посмотрел в окно. Шел дождь со снегом. Клейн добавил грустно: — А теперь моя голова в горьком снегу седины. Недавно я долго рассматривал себя в зеркало и увидел немало предательских морщин...

— Да, кстати, — живо сказал Вайс, — капитан Дитрих и я, мы чрезвычайно вам благодарны: вы так предупредительно передали нам список ваших осведомителей! Это огромная услуга абверу.

Флинк бросил на изумленного Клейна подозрительно-мстительный взгляд.

«Хорошо! — подумал Иоганн. — Вы, сволочи, теперь сцепитесь, как пауки в банке. Флинк наверняка накапает дронс, и ты, лохотный палач, от него не отстанешь — тоже будешь строчить».

— Позвольте, позвольте, — смущенно промямлил Клейн, — здесь что-то не так...

Вайс не дал ему закончить, встал, пожал руку, произнес, приятно улыбаясь:

— Самые лучшие пожелания вашей уважаемой супруге и вашему прелестному малютке. — Потом обернулся к Рейсу: — Унтершарфюрер оказал нам особую любезность, рекомендовав заключенного номер семьдесят четыре два ноля четырнадцать: оказывается, это был его личный осведомитель. Поистине высокая жертва на алтарь абвера! — Поклонился всем, щелкнул каблуками и направился к двери.

Дитрих попрощался более сдержанно и не считал нужным кого-либо благодарить.

Он твердо решил, что все добытые здесь материалы припишет исключительно собственной инициативе и личной проницательности. Иначе перед Лансдорфом не выслужись. Он был достаточно осведомлен об этом человеке.

В годы первой мировой войны Лансдорф, друг фон Папена, под руководством Вальтера Николаи провел немало блестящих разведывательных операций в крупнейших странах Европы. И сейчас он занимает особое положение в СД, Гейдрих и Гиммлер привыкли полагаться на него. И все же он в опале: разошелся с имперским руководством во взглядах на «еврейский вопрос».

В первый период, когда наци только еще пришли к власти, Лансдорф считал истребление еврейской части населения целесообразным, ибо это, как он выразился, «приучало необстрелянную молодежь к мясу».

Но потом, после молниеносного захвата Польши и Франции, он стал прокламировать идею, что не следует полностью истреблять евреев. Наиболее работоспособных, по примеру рабов древнего Рима, надо заточить в выработанные рудники и шахты, чтобы они в специально оборудованных там мастерских производили различные ценности. Подобным же образом нужно поступить и с еврейскими учеными: собрать их, изолировать, но при этом создать такие условия, в которых они смогут заниматься научной работой. Ну, а все их достижения станут достоянием немецких ученых, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Это «ревизионистское» суждение об одной из существенных доктрин Третьей империи было расценено как либерализм, и Лансдорф не получил того высокого поста, которого заслуживал.

Кроме того, у Лансдорфа был крайне своеобразный взгляд на своих соотечественников, предназначенных для несения разведывательной службы.

— Мы, немцы, — рассуждал Лансдорф, — наделены способностью в совершенстве овладевать всеми формами государственного послушания. Инстинкт дисциплины, слепой исполнительности у нас необычайно развит. Это необходимые качества для разведчика. Но нам не хватает артистизма, которым обладают французы, а также славяне. Особенно славяне — им присущи черты реалистической фантазии. Не случайно именно русские одарили человечество Достоевским, Толстым, Чеховым. И дерзость! Совершили же они, черт возьми, эту революцию!

Поэтому Лансдорф был крайне скуп на похвалы своим сотрудникам. Он всегда усматривал в их операциях склонность к излишним силовым акциям, а внеплановые террористические акты считал признаком неврастения — работой на публику. И к Штейнглицу относился пренебрежительно: ну какой это разведчик — обыкновенный мясник, лишенный чувства воображения.

Дитрих знал, сколь трудно заслужить одобрение Лансдорфа.

А вот Вайс не знал, как пристально наблюдает за ним Лансдорф. Именно в этом прислуживающем ему молодом ефрейторе он находит тот артистизм, которого так не хватало немецким разведчикам. Он тонко подметил этот артистизм, когда Иоганн читал ему вслух скучнейший французский роман. У Иоганна был почти неосознанный дар перевоплощения. И он, очень тонко модулируя голосом, передавал интонации, тональ-

ность, манеру произношения тех персонажей, длиннющие монологи которых читал дремлющему в ванне умудренному опытом крупнейшему немецкому разведчику, с равной преданностью служившему и кайзеру, и Гинденбургу, и Гитлеру,—как, впрочем, и весь генералитет Третьей империи.

30

И потянулись бесконечные лагеря: прифронтовые, сборные, транзитные, сортировочные, отборочные, штрафные... Бесконечные открытые кладбища, где живые мертвецы были погребены в дощатых склепах барakov. Холод, голод, эпидемии числились здесь в графе наиболее экономичных средств умерщвления, и чем выше был процент гибели людей, тем плодотворнее считалась работа лагерной администрации.

Вайс беседовал с комендантами, слушал их жалобы, сетования, рассуждения. Жалобы повсюду были примерно одни и те же. Администрация вынуждена предоставлять лагерные емкости не только для военнопленных, но и для устранения излишних едоков на «освобожденных территориях». Расстрелы—слишком расточительная мера: они поглощают значительное количество боеприпасов, необходимых фронту,—но, к сожалению, только крупные концентрационные лагеря оборудованы капитальной техникой уничтожения. И все коменданты выражали сочувствие абверовцам: да, очень трудно найти здесь надежный материал! Поражало Иоганна, что зондерфюреры не помнили в лицо даже тех заключенных, которые работали на немцев,—отличали их только по номерам. Это было какое-то непостижимо тупое равнодушие, иногда даже беззлостное, подобное отношению к животным на бойне. Среди администрации лагерей часто встречались звери в человеческой личине, изобретательно и неустанно придумывающие изощренные пытки,—их считали увлекающимися, но полезными чудаками. Однако массовые акции требовали организаторско-хозяйственных способностей. И тех, кто обладал такими способностями, ценили больше, чем садистов, недостаточно содействовавших главному — плановому умерщвлению заключенных. А эта сторона деятельности лагерей строжайше контролировалась.

Вайс выражал уважительное сочувствие комендантам лагерей и почти механически произносил при этом самые ужасные слова из их лексикона. Он надеялся расположить их к себе, побольше выведать и о других трудностях, с которыми встречается администрация. Ему нужно было получить материалы о подпольных коммунистических организациях, действующих в лагерях. Интересовали его также наиболее практически полезные сведения о способах побегов,—он хотел знать, как осуществляется система охраны, каким образом

предотвращаются побег, ведется преследование и розыск беглецов. И эти «задушевные беседы», в которых Иоганн был поддакивающей и восхищенно чувствующей стороной, давали ему немало полезного, чем он и не преминул воспользоваться.

Как-то один из лагерных комендантов, со званием доктора, в чине зондерфюрера, выразил сомнение в целесообразности скоропалительного массового умерщвления заключенных. Он напоминал, что в доктрине фюрера есть формула «вспомогательный народ» — под этим термином подразумеваются люди, предназначенные для рабского труда. А когда германская империя завоюет весь мир, возникнет большая потребность в таком труде. Он глубокомысленно заявил, что раньше, по Веймарской конституции, президент выбирался на семь лет, а Гитлеру теперь права главы государства присвоены пожизненно. Фюрер обладает неограниченной самодержавной властью подлинного императора, и он сам сказал, что отныне «жизненная форма Германии тем самым определена на ближайшее тысячелетие». И когда фюрер станет властелином мира, ему понадобится много рабочих рук для гигантских, значительно превосходящих египетские пирамиды, сооружений, чтобы увековечить свое имя. Он даже напомнил, как ценились рабы в древнем Риме: за убийство чужого раба суд сената приговаривал к очень высоким штрафам. Но другой эсэсовец, в звании унтершарфюрера, возразил доктору.

— На ближайший период, — сказал он, — империя с излишком обеспечена рабской рабочей силой. В сельское хозяйство рейха направлено около миллиона одних только польских военнопленных, а в промышленности, где раньше ощущалась нехватка рабочих рук, теперь их хватает с избытком — на немецких заводах трудятся французские военнопленные. Количество военнопленных так велико, что использовать их в Германии оказалось невозможным и нецелесообразным, и тысячи голландских и бельгийских военнопленных отправлены к себе на родину. — И, сокрушенно разводя руками, добавил: — Поэтому массовая ликвидация восточных рас — мера чисто гигиеническая, хотя в известной мере она связана и с безопасностью: ведь все славяне в той или иной мере неизлечимо заражены большевизмом.

Доктор в чине зондерфюрера в свободное от лагерных обязанностей время писал книгу, и в эти часы не разрешалось производить расстрелы: доктор любил предаваться своим уединенным занятиям в тишине.

Сведения, почерпнутые в лагерных картотеках, и множество других материалов, накопившихся у Иоганна, потребовали особо вместительного хранилища. И вот, предусмотрительно обернув свои богатства в вату и придав им форму длинной тонкой колбасы, Иоганн вынужден был однажды порезать совершенно целую автомобильную камеру, чтобы погрузить в

нее свой архив. Убедившись, что все будет в сохранности, он заклеил камеру, засунул в покрышку, накачал воздухом и уложил в багажник. Смонтированный им запасной скат в случае нужды мог служить не хуже остальных четырех.

За эти дни безмерного напряжения Иоганн невероятно вымотался, но голова его оставалась ясной, мысль работала четко, а постоянная взвинченность от нервного напряжения, как это ни странно, помогла ему острее воспринимать окружающее, отделять главное от побочного, цепко схватывать на лету каждое слово, которое могло оказаться полезным. Физическое же его состояние заставляло желать лучшего. У него воспалились и болели глаза, ныли кончики пальцев, а от ночных бдений все время клонило в сон, и когда удавалось прилечь, это было как обморочное замирание.

Он проделал гигантскую работу, конспектируя, шифруя лагерную документацию, нанося на микроскопические клочки бумаги топографические наброски расположения лагерей, дислокации охранных частей и подразделений. На этих же клочках он размещал списки лагерного командования, сообщал статистику умерщвлений, имена героев и предателей. Особое внимание он уделял способам вербовки, применяемым врагом.

А приемов этих было множество. Например, узника, обреченного стоять несколько дней в бетонной камере штрафного блока, неожиданно извлекали оттуда, ставили под теплый душ, брили, напяливали на него приличный штатский костюм, усаживали в машину и привозили в один из городских «веселых домов». Затем, напоив, отводили к даме. А на расвете — снова в машину, снова в штрафной блок, в чудовищный каменный футляр. Проходило несколько дней. Сотрудник гестапо вызывал заключенного. И тот должен был выбрать: или смерть, или предательство.

Существовали и более тонкие методы, например, подсаживание провокаторов, выдающих себя за антифашистов. Цель тут была двоякая: с одной стороны, вызвав симпатии к себе, обнаружить истинное лицо заключенных и, с другой — это было более сложно, — сблизившись с особенно непокорными узниками, внушить им, что борьба бессмысленна, убедить их, что всех советских военнопленных, вернувшихся на Родину, в любых случаях ожидает кара. И для большей убедительности не раз инсценировали побег отдельных провокаторов, а потом их пересбрасывали через линию фронта или к партизанам, чтобы эти предатели клеветали на тех, кто и в лагерях сохранял мужество, стойкость, преданность Отчизне, находил в себе силы бороться с врагом.

Постепенно Иоганн научился выявлять предателей. Прежде всего он обращал внимание на тех заключенных, которые и в штрафных блоках получали улучшенное питание. Потом, чтобы убедиться в своей правоте, изучал продуктовые ведо-

мости. Подтверждением служило и то, что в канцеляриях нельзя было найти ни копии рапорта высшему командованию о побеге, ни приказа о розыске с перечислением примет бежавшего. Не числились они также в списке беглых и не входили в ту графу отчета, которая подытоживала число побегов, совершенных за месяц. И никто из их приятелей по лагерю не подвергался казни, а приятелями их обычно были капо.

Иногда таких предателей сама администрация включала в групповой побег: ведь всем было известно, что они часто попадают в карцер, — чем же больше можно зарекомендовать себя! Но в книге, где с немецкой тщательностью записывали всех заключенных, подвергаемых наказанию, против их номеров никогда не были указаны причины наказания. И хотя они часто попадали в штрафной блок, их номера не стояли в списках тех, кто подлежал истреблению. Разобраться во всем этом Иоганну было непросто. Огромный, необыкновенно кропотливый труд требовал гигантского напряжения сил, ума, сообразительности, логической сноровки, колоссальной емкости памяти. И Иоганн отнюдь не был невозмутимо спокоен, возясь с сотнями килограммов бумаги, отдаваясь дотошной следовательской работе, иступленно терпеливой и методической. Постоянная угроза висела над ним. Он понимал, что его ожидает, если в руки гестаповцев попадет хоть одна его запись и он не сумеет разумно объяснить, для какой цели она сделана.

Заложить мину под вражеский эшелон, взорвать бензохранилище, уничтожить крупного гитлеровца — все это было эффектной, звонче, зримей, чем кропотливый канцелярский труд, проделанный Иоганном.

Иоганн вспоминал «Севастопольские рассказы» Толстого, описания госпиталя, могучие изображения подлой изнанки войны. Лагерь были страшнее: здесь подвергались неслыханным и нескончаемым мукам души людей. И это было чудовищней, чем все, что Иоганн наблюдал до сих пор, чудовищней даже, чем вид человеческого тела, искромсанного равным металлом снаряда.

И, усталый, измотанный физически, Иоганн испытывал прилив холодной, расчетливой ненависти, мстительного воодушевления, и это делало его дерзким, самоуверенным, духовно бодрым, как никогда.

Он понял, что проделанная им «канцелярская» работа сейчас во много раз важнее так называемых «силовых акций». И когда Центр получит собранные им материалы, оперативные группы советских разведчиков после штабной разработки этих материалов будут не только верно и точно нацелены против предателей, проникших за линию фронта, но и здесь, в тылу врага, они сделают то, что им положено сделать. А от скольких мужественных, честных советских воинов, попавших в плен, будет отведена пытающаяся очернить их грязная

рука провокаторов! Разве это не равно спасению жизни и даже больше, чем жизни, — чести людей?

Клеветать устами предателей, чернить патриотов — это тоже фашистская диверсия, и разве меньше она может вызвать жертв, чем диверсант со взрывчаткой? И он, предотвращая такие диверсии, выполняет сейчас, может быть, самый славный чекистский долг: спасает людей. Спасает их честь, их доброе имя.

На первой чекистской эмблеме изображены меч и щит. Да, чекист поражает врага карающим мечом, но не для того, чтобы оборонять себя, вручен ему щит, — для того, чтобы защищать всех советских людей. Так говорил ему чекист-дзержинец, его наставник.

— Щит — это твое сердце коммуниста, и ничто столь надежно не защитит советского человека от беды, как чистое сердце коммуниста.

Что ж, Иоганну хотелось уничтожить предателей, оборотней, которых он здесь выявил, самому убить их. Наверно, того «кролика» в экспериментальном лагере шахтер уже убрал, может, и не своими руками: у них там большая подпольная организация. Но разве узнать, кто скрывается под № 740014, разве найти шахтера было менее важно, чем выявить предателя? Теперь Иоганн сообщит о нем Центру, и семья шахтера узнает, что пропавший без вести муж и отец достоин великого уважения, и будет гордиться им.

И снова мокрый снегопад, дороги, разможенные танками, развалины городов, мертвые, черные пожарища деревень — истерзанная земля, изрытая оборонительными сооружениями, и непогребенные трупы советских воинов.

Командировка закончена. Машина катится обратно к Варшаве.

Дитрих дремлет, прижимая к груди планшет. В нем список пленных, предлагаемых для вербовки, и докладная записка Лансдорфу, составленная Вайсом под диктовку капитана в энергичной, хвастливой манере, соответствующей духу имперской стилистики.

Дитрих очень доволен Вайсом и обещал, что тот получит унтерофицерское звание. Ему нравились всегда ровная, услужливая скромность Вайса, его истинно немецкое трудолюбие и та наглая настойчивость, с какой он добивался у лагерного начальника материалов, чтобы выполнить работу, которую, по существу, должен был делать Дитрих.

Гитлер обещал: «Я выращу такую молодежь, перед которой содрогнется мир. Эта молодежь будет жестокой и властной. Ни о каком интеллектуальном воспитании не может быть и речи». В прусских юнкерских семьях — а Дитрих принад-

лежал именно к такой семье — жестокая воля к власти издавна считалась признаком истинно немецкого характера, а военное воспитание — единственно возможным для ее отпрысков.

И Дитрих полагал, что солдат противника, сдавшихся в плен, следует казнить на месте, в поучение собственным солдатам. Лагерь для военнопленных он считал излишней роскошью и весьма скептически относился к возможности завербовать там надежных диверсантов. К лагерному персоналу он относился с презрением: в его глазах это были тыловики, нживающиеся на кражах лагерного провианта, не упускающие любой возможности урвать что-то для себя. Правда, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить огромные свинарники при каждом лагере. Нельзя было не обратить внимания и на грузовики, которые подъезжали к обширным складам: здесь оптом продавали набитую в тюки одежду и обувь умерщвленных узников. А костяную муку продавали для удобрения полей. Ни одна малость не ускользала от рачительной лагерной администрации, и в специально для того оборудованных помещениях зубные коронки казенных переплавляли на газовых горелках в золотые десятиграммовые брусочки.

Но Дитриху не было дела до всего этого, и вообще он не хотел себя ничем утруждать, а тем более — копаться в лагерьной грязи. И, несмотря на все свое высокомерие, он понимал, что если бы не долготерпеливая работоспособность ефрейтора Вайса, едва ли ему удалось бы так успешно справиться со своим служебным заданием.

И хотя лицо Вайса осунулось от переутомления, он не утратил своей обычной приветливости, он всегда оставался равно внимательным, почтительным к своему начальнику, и приятно было видеть его постоянную белозубую улыбку. Кроме того, ясно, что этот ефрейтор не дурак. Он смышлен, в меру образован и настолько простодушно предан Штейнглицу, что обижается каждый раз, когда Дитрих позволяет себе подшучивать над недостатками майора. Эту преданность Дитрих рассматривал как некую благородную черту, которую его отец так ценил в подчиненных.

Вайс тоже был доволен Дитрихом. И считал, что ему повезло, поскольку эта сволочь оказалась неактивной, ленивой скотиной. Капитан полностью возложил на Иоганна свои обязанности, мало во что вмешивался, почти ничем не интересовался и не мешал.

Мысли его не задержались на Дитрихе. Он с омерзением вспомнил своих «приятелей» из лагерных служб гестапо, этих чистюль, беспокоившихся о своем здоровье, панически боявшихся подцепить инфекцию. Для профилактики они по три раза в день принимали душ, без конца обтирали руки спиртом и тщательно сбривали каждый волосок у себя под мышками,

чтобы, упаси боже, не завелись вши, а одеколоном от них разило так, что, если постоять долго рядом, начинала болеть голова.

Рассуждали они все примерно одинаково: каждомулагается когда-нибудь умереть, и мы здесь не убиваем военнопленных, а просто не содействуем продлению их существования. Некоторые из них изощренно истязали заключенных отнюдь не из склонности к садизму, а из одной лишь боязни прослыть добряками. Это было опасно, и они фотографировались у виселиц во время казней, чтобы заручиться своеобразным документом, подтверждающим их профессиональную пригодность к подобного рода службе, самой безопасной во время войны.

Опьяненные военными успехами Германии на Западе, разгромом армий крупнейших капиталистических держав, они не сомневались в недалекой победе над Советской Армией. И поэтому, уверенные, что их зверства останутся без возмездия, афишировали их, показывали засекреченные медицинские блоки, хвастались запаянными стеклянными сосудами с детской кровью — ее направляли самолетами в армейские госпитали; называли храмами науки спецблоки, где немецких студентов-медиков обучали оперировать не на трупах в морге, а на живых заключенных.

А потом, после того, как эти гестаповцы, часто сверстники Вайса, показывали ему спецблоки, они дружески заботились о нем, стараясь уберечь от инфекции: обрызгивали одеколоном из пульверизатора, лили ему на руки из кувшина теплую воду, если душ не работал. И слово «скот», каким здесь называли заключенных, не звучало в их устах бранью. Вовсе нет. Они действительно считали военнопленных человекоподобными скотами и разделяли их только на послушных и непослушных, способных и неспособных к дрессировке.

Иногда все окружающее начинало казаться Иоганну фантастическим бредом, подобным сновидениям безумца. Вот он играет в скат со своими сверстниками за столом, накрытым чистой скатертью, пьет пиво. Они рассказывают ему о своем детстве, о родителях, мечтают, чтобы скорее закончилась война и можно было вернуться домой. Они шутят, играют на аккордеоне, поют. А потом кто-нибудь из них встает и, с сожалением объявив, что ему пора на дежурство, надевает пилотку, вешает на шею автомат, берет палку или плетль и уходит в лагерь, чтобы бить, мучить, убивать.

И он, Александр Белов, машет на прощание рукой этому убийце, приветливо улыбается, записывает номер полевой почты, чтобы потом дружески переписываться, и громко сожалеет, что такой хороший парень покидает компанию.

Каждый раз, когда Иоганн видел здесь истерзанного советского человека, незримая рана открывалась в его душе.

Таких ран становилось все больше, и он должен был выработать привычку переносить эту неисцелимую, всегда сопутствующую ему хроническую боль и, не надеясь на то, что она пройдет, научиться жить с этой болью и делать свое дело так, чтобы она не мешала ему, скрывая свои чувства, зная, что еще не скоро придет время, когда ты сможешь снова стать таким, какой ты есть в действительности. И какое же это будет счастье!..

С вечера у рейхсканцлера Адольфа Гитлера сильно болел живот. Но утром желудок работал нормально. Значит, боли были вызваны не расстройством кишечника, а имели чисто нервное происхождение. И сейчас рейхсканцлер в приятном изнеможении полулежал в кресле и с наслаждением вспоминал, как вчера здесь же, в имперской канцелярии, в его гигантском торжественном кабинете, на совещании по поводу обстановки на Восточном фронте, неожиданно для всех складывающейся не слишком приятно, он вдруг посетовал на рези в желудке. И все эти прославленные германские полководцы, цвет вермахта, словно забыв, зачем они пришли сюда, стали с глубокой озабоченностью обсуждать малейшие симптомы недомогания своего фюрера и дали ему множество полезных медицинских рекомендаций, проверенных а собственном опыте. И он внимательно, терпеливо и благосклонно их всех выслушивал. А когда Кейтель и Йодль с утонченной вежливостью, но дрожащими от злобы голосами спорили друг с другом, следует ли фюреру прибегать к искусственным мерам очищения желудка или не следует, он дал им выговориться, милостиво не вмешиваясь в их горячую и страстную полемику.

И то, что маршалы и фельдмаршалы, представители самых древних, самых прославленных военных родов Германии, столь увлеченно обсуждают этот интимный момент самочувствия фюрера, состязаясь перед ним в своей осведомленности о различных способах исцеления, навело Гитлера на некую ироническую мысль. Пожалуй, если б он вдруг позволил себе в присутствии этих полководцев шумно испортить воздух, — а о такой капризно-презрительной мести буржуазной публике говорил один гениальный француз, фамилию которого фюрер запамätовал, — то никто из них не нашел бы здесь ничего предосудительного.

И это тоже приносило упоительное сознание своей власти над ними. Над всеми этими тевтонскими рыцарями, кичащимися своей родовитостью, своей фамильной честью, своими военными заслугами перед рейхом.

А он, некогда мелкий австрийский шпион Шинкльгрубер,

ефрейтор, незадачливый живописец с физиономией кельнера, он вознесен над ними силой обстоятельств. Империи понадобился вождь, ради всего готовый из все, но не утративший при этом практической сообразительности и не забывающий, что истинный хозяин положения вовсе не он, а подлинные владельцы Германии — Круппы, Стиннесы, Тиссенсы. И хотя стратегия плана «Барбаросса» — вершина германской военной мысли, она все же нуждается в поправках имперских магнатов. Ведь они открыли немецкому фашизму кредит, и с ними нужно безотлагательно расплачиваться углем и металлом Донбасса, нефтью Баку, нужно вносить в обещанные сроки проценты в виде сырьевых придатков к их индустриальным владениям.

Захватить Москву и Ленинград — эту эффективную победу верховное командование считало главной стратегической целью. Генералитет привык на европейском театре войны «мыслить столицами», ибо после падения столиц обычно завершались войны: европейские державы традиционно капитализировали.

Но хотя он сам утверждал, что Советский Союз — это «колосс на глиняных ногах», в глубине сознания он начал постепенно ощущать, что война с Россией полна стихийных неожиданностей и разгадать, предотвратить их не в силах ни его соратники, ни он сам. Еще 3 июля начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер доложил по телефону в ставку:

— Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России была выиграна в течение четырнадцати дней.

И сам он, фюрер, вынужден был недавно, 7 октября, лживо заявить, будто Красная Армия окончательно разбита и война с Россией фактически закончена. Он лгал сознательно, преследуя благородную цель: хотел этим заявлением втянуть Японию в войну с Советским Союзом, создав у ее правителей впечатление, что русские накануне поражения.

Он политик, а ложь в политике — это оправданный метод для достижения ближайшей цели. Он сам провозглашал:

— У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка.

Но когда ему угодливо лгут, как врал Гальдер и другие прославленные немецкие полководцы, он, бывший ефрейтор, не может не испытывать к ним скрытого и снисходительного презрения. И когда они из его рук принимали ордена, как принимают чаевые, он видел на их лицах лакейское выражение. И когда он, искусно взвинчивая себя, иступленно и оскорбительно орал на них, если они допускали ошибку, они с привычной покорностью, демонстрируя этим дух прусской военной дисциплины и послушания, выслушивали бранные слова, любое из которых заставило бы покраснеть и ассенизатора. Он понимал, что его лицемерие про-

является обычно чересчур поспешно, что оно слишком грубо, и частенько завидовал своим генералам, непринужденно, с безукоризненным совершенством воспитанников высшей кайзеровской школы владеющим этим мастерством.

Но сейчас его заботило другое.

Он вызвал начальника абвера адмирала Канариса, чтобы дать ему нахлобучку. И отдыхал перед тем, как впасть в самозабвенную ярость, приступы которой были для него полезны: они возбуждали ум.

Канарис умел мягкостью, лестью и вкрадчивыми манерами успокаивать эти шумные бури. Он хвастал Гейдриху:

— Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его. Только тогда он может оказаться благоразумным.

Это коварная лиса, Канарис, — гиена в сиропе.

Еще в 1934 году Интеллидженс сервис заслала в Германию своих специальных агентов-психологов, чтобы они изучили психические склонности Шикльгубера — Гитлера. Всех их снабдили поисковой карточкой: «Рост средний, уши петлями, нос прямой, крупный, глаза выпученные, синие, волосы темные, телосложение нормальное, страдает несколько чрезмерной возбудимостью и раздражительностью, естественной для лица, стоящего во главе нового политического движения. Особых примет нет».

Эти английские разведчики, как грязные репортеришки, собрали самые интимные сведения о фюрере. Они узнали даже, что все его многочисленные попытки обзавестись потомством были плачевными и они же утверждали, будто бы ему нравится запах собственного пота, и поэтому он, поднимая руку, якобы нюхает собственную подмышку. А его склонность к мистике они объясняли неким отроческим пороком. И подобные «материалы» Канарис осмелился вручить ему, фюреру, главе империи, как будто бы оказывая этим дружескую доверительную услугу, как бы раскрывая перед ним все сейфы немецкой контрразведки.

Гитлер подозревал, что истинный текст донесений английских агентов Канарис припрятал, а этот состряпал сам или совместно с покойным Ремом, который тоже претендовал на роль фюрера и стремился уязвить Гитлера, намекнув, что в тайниках абвера копится и его грязное белье.

Гитлер знал, что Канарис любовно коллекционирует у себя в сейфах всю грязь, которую только могли собрать его шпионы об имперской верхушке. Подобным коллекционированием с не меньшим усердием занимаются Гиммлер, Гейдрих, Риббентроп. Эти картотеки — их личный золотой запас, который в случае нужды они могут обменять на валюту какой-нибудь мировой державы. Но Гитлер знает о них боль-

ше, чем даже они знают о себе, потому что каждый из них усердно, с энтузиазмом доносит ему на другого.

И если уж говорить об истинных личных заслугах Гитлера перед рейхом, то по крайней мере одна из них несомненна: став главой Третьей империи, он сумел использовать свой опыт мелкой полицейской ищейки и создал грандиозную систему тотального шпионажа. Гигантскую охранную систему безопасности тех, кто возвел его на вершины власти. И Круппы, Стиннесы, Тиссены — все эти магнаты, подлунные властители Германии, что бы потом ни произошло, обязаны, да, обязаны сложиться и отлить ему монумент из частицы того золота, которое бесконечным потоком несли в их банки реки крови, залившие сейчас Европу.

Канарис мелкой, семенящей поступью вошел в кабинет фюрера. Склонив набок румяную физиономию с седой прилизанной шевелюрой, он притворно часто дышал, показывая этим свое служебное рвение: прибыть секунда в секунду. Но он вовсе не запыхался, торопясь сюда: больше часа покорно дожидался, пока его вызовут, в приемной рейхсканцелярии, развлекая адъютантов фюрера веселой болтовней. Он умел болтать, ни о чем не пробалтываясь и вызывая при этом у собеседников опасные позывы к излишней откровенности.

Через адъютанта фюрера, тайного своего агента, Канарис знал, зачем его вызывали.

И Гитлер знал через Гейдриха, что Канарису известно, зачем он будет вызван. Знал он и от кого известно, так как один из ближайших сотрудников Канариса, готовивший ему материалы для представления фюреру, был тайным агентом Гейдриха. А правильно ли доложил обо всем фюреру Гейдрих проверит, в свою очередь, Гиммлер, у которого есть свои агенты в аппарате Гейдриха. И обо всем этом знал Канарис. И то, что Канарису все это известно, фюрер тоже знал. И принимал это как должное. Ведь страшно было бы, если бы один из его подручных в создании системы тотального шпионажа не понимал ее всеобъемлемости. И, зная, что Канарис великолепно осведомлен, зачем его вызвали, зная, что у того в папке принесены все материалы и даже заранее готова объяснительная записка, Гитлер все же посчитал нужным прийти в ярость, чтобы внезапно обрушиться на Канариса и застать его якобы врасплох. Недаром Канарис говорил с любовным восхищением, что внезапность — универсальный и безотказный прием фюрера и что это могут подтвердить даже некоторые особы слабого пола.

Ревностное соперничество гестапо, служб СД и абвера, их

стремление стать самым надежным источником секретной информации для главы Третьей империи Гитлер умело использовал, чтобы проверять каждого из информаторов. И о каждом из них он располагал такими материалами, которые свидетельствовали против них и могли служить официальным обоснованием смертного приговора. И это тоже было ведомо каждому из них.

И относительно своего любимца Геринга фюрер тоже располагал такими сведениями, такими документами, которые в любой момент можно было использовать против него.

Геринг как одержимый мошенничал, лелея мечту превзойти рурских магнатов, получить больше прибылей от своего концерна, чем получают они. И хотя тайным указом его еще в 1934 году назначили преемником Гитлера, он все-таки полагал, что истинную незыблемую власть над людьми дает только богатство, и безудержно мародерствовал во всех оккупированных странах Европы, и, оправдываясь, изворачиваясь перед фюрером, лгал, будто им овладела страсть к коллекционированию произведений искусства.

Что касается Геббельса, то за ним числились подлежащие уголовному наказанию похождения с юными танцовщицами, для которых в его поместье было устроено целое общежитие, нечто вроде гарема. И Гитлер снисходительно объяснял неубедительность многих его пропагандистских выступлений, даже таких, которые в виде листовок прилагались к хлебным карточкам, тем, что Геббельс чересчур истощает себя на ином поприще.

И так каждый власть имущий оставлял свой след в хранящемся у Гитлера своде черных деяний.

В этом списке значились и немецкие магнаты. Гитлер располагал документами, неопровержимо свидетельствующими о сотрудничестве крупнейших германских концернов с американскими и английскими фирмами, впрочем, в интересах Третьей империи.

Но в случае нужды он мог дерзнуть и обвинить в измене рейху кое-кого из немецких промышленников, конечно тех, кто помельче. Он держал про запас этот козырь, хотя взаимный обмен патентами, военными изобретениями, торговля стратегическими материалами, оружием, боеприпасами, топливом и иные подобные дела велись с ведома и одобрения имперского руководства, а в США и Англии владельцы крупнейших концернов тоже не делали из такого сотрудничества особой тайны.

Гитлер был вынужден послушно исполнять роль демонической личности, склонной к ясновидению. Официальные биографы приписывали ему эти черты, стремясь фантастически расцветить банальные, провинциальные вкусы невежды, а мнительность неврастеника выдать за пылкость гения.

Следуя этой своей обязанности быть тем, кем его хотели видеть, он вел себя так, чтобы поведение заставляло забывать об ординарности его натуры. Вот и сейчас, привычно возбуждаясь, словно впадая в транс, он яростно закричал и, опьяняясь своим криком, ощутил, что к нему приходит приятное, легкое беспамятство, как после приема небольшой дозы наркотика, бодрящего и освежающе действующего на нервную систему. И фюрер вопил, угрожал и кричал иступленно, самозабвенно, наслаждаясь этим дурманящим самозабвением.

Канарис, как и полагалось в такие моменты, привычно кривлялся, попеременно и мастерски изображая на своей жирной физиономии страх, ужас, униженную мольбу. Он гримасничал молча, долго, и от этой тяжелой мимической работы у него заболели лицевые мускулы, за ушами потек пот и судорожно двигались в черных лакированных ботинках пальцы.

Так продолжалось до тех пор, пока обе стороны не убедились, что каждый из них достойно выполнил свою роль и каждый из них при этом вел себя именно так, как ему и полагалось вести, и тогда Гитлер спокойно и удовлетворенно приказал Канарису докладывать. И, выслушав деловой рапорт, со свойственной ему дотошностью роясь в бумагах Канариса, Гитлер с полным, до тонкостей пониманием и знанием дела, четко и коротко объявил, что разведывательно-диверсионная деятельность абвера против Советского Союза, хотя расходы на нее составляют в год 31 миллион рейхсмарок, а это равно 11 миллионам 700 тысячам долларов, поставлена неудовлетворительно. И если до июня 1941 года деятельность агентуры абвера была парализована советскими органами контрразведки и упорной преданностью населения мифам коммунизма, то сейчас слабость немецкой агентурной работы ничем не может быть оправдана. Тут Гитлер опять забылся, снова впал в транс, принял соответствующую позу и стал высокопарно вещать, как будто перед ним была огромная аудитория, а не один-единственный слушатель, к тому же прекрасно все это знающий. Он начинает новую войну против русских и будет вести ее особыми методами тотальных диверсий, тотального шпионажа и тотальных подрывных действий. Он взорвет Советскую страну изнутри. Она покроется гейзерами крови, обломками заводов и фабрик. Смерть будет витать над каждым, и ужас террора повергнет народ в оцепенение. Начнется эпидемия убийств, и совершать их будут специально для того заброшенные агенты — люди без родины. Они будут сеять смерть из страха казни, потому что таким же агентам поручат уничтожать каждого убийцу, не выполнившего волю тех, кто послал его убивать. Все крупные заводы, фабрики, электростанции на территории Совет-

ской страны должны быть взорваны. Этот фейерверк обойдется рейху дешевле любой бомбардировки, а устроят его те, кто, трепеща за свою жизнь, во спасение ее будет убивать своих соотечественников. И Гитлер произнес вдохновенно:

— Мы должны содрать с восточных военнопленных тонкий слой советского лака и, обратив их в зверей, тысячами забрасывать на парашютах, чтобы они, как тифозные вши, покрыли землю, превратили ее в ад.

Канарис благоговейно, молитвенно взирал на фюрера, терпеливо ожидая момента, когда снова можно будет возобновить деловой разговор. Предстояло обсудить подготовленную им докладную записку о создании широкой сети диверсионно-разведывательных школ для массового обучения агентов, предназначенных действовать против Советского Союза. И как ни томительно было выслушивать выспренные суждения фюрера, Канарис был с ним совершенно согласен: в связи со столь неприятно замедлившимся продвижением армий вермахта на Востоке необходимо принять экстренные меры и провести их в огромном масштабе, чтобы содействовать быстрейшему успешному завершению похода на Россию иными средствами — средствами тайной войны, войны без линии фронта, еще более жестокой, чем обычные военные действия.

С этой целью Канарис и предлагал создать под грифом «Вали» особый разведывательный штаб в одном из пригородов Варшавы и развернуть при нем сеть разведывательно-диверсионных школ. Он давно разложил на огромном столе фюрера схемы расположения этих заведений с обозначением всех объектов, а также объяснительную записку, примерную смету и списки командно-преподавательского состава. И все это он уже успел зарегистрировать в рейхсканцелярии как сверхсекретные объекты, равные по шкале секретности ставкам на восточных территориях.

Фюрер перестал наконец вещать и занялся объяснительной запиской. Читая ее, он увлеченно ковырял в ухе концом карандаша, хмыкал одобрительно, а порой звонко цыкал зубом, как всегда, когда работа доставляла ему удовольствие. Сделав много правильных и весьма полезных замечаний, свидетельствующих о серьезном знании предмета и даже способности к некоему новаторству в этой древнейшей отрасли ведения войны, он поставил на проекте создания новой сети диверсионных заведений свою подпись, подобную следу, который оставляет удар хлыста.

Адмирал Канарис вздохнул с облегчением. И тут Гитлер неожиданно оторвался от бумаг и объявил торжественно:

— Я должен вас обрадовать, адмирал. Вчерашнее мое недопомогание оказалось несерьезным. Сегодня у меня был отличный стул.

— Я бесконечно счастлив, мой фюрер! — искренне воскликнул Канарис, сияя своей знаменитой улыбкой.

Он действительно был счастлив этим обстоятельством, потому что, если бы не оно, как знать, чем бы закончился сегодняшний его доклад. И чтобы еще более расположить к себе Гитлера, доложил ему, что, по информации Лансдорфа, в экспериментальном лагере заключенные задушили четырех агентов. А некий унтер-офицер абвера сообщил Лансдорфу, что эти агенты были бы особо ценны как диверсанты, и он хотел зачислить их в школу, но администрация лагеря предпочла выдать их заключенным, чем предложить службе абвера. И фюрер благосклонно согласился привлечь к ответственности руководство экспериментального лагеря, сказал, что прикажет гестапо сделать это, дабы впредь никто не чинил препятствий высокой миссии абвера, не мешал подготовке тотальной агентурной атаки на Востоке.

— Хайль Гитлер! — воскликнул Канарис.

— Хайль! — как бы салютуя самому себе, ответил фюрер. Он произнес приветствие машинально, потому что его тусклый, утомленный взор был обращен в этот момент к собственному, ярко написанному лучшими красками концерна «ИГ Фарбениндустри» парадному портрету, поднесенному 20 апреля — в день его рождения. Владелец этого концерна он был также обязан своим величием, как и концерн «ИГ Фарбениндустри» был обязан Гитлеру гигантскими сверхдоходами, неиссякаемая золотая лавина которых росла с каждым новым военным годом.

Фюрер твердо обещал армиям вермахта, действующим на Восточном фронте, что рождество они встретят в Москве. И сам он тоже был не прочь отпраздновать рождество в поверженной русской столице. Во всяком случае, генерал-квартирмейстер армии «Центр» припас на этот случай в обозе второго эшелона сервиз с инициалами фюрера.

Падал мокрый снег и таял. Серый Берлин влажно блестел. В серых каналах белыми комьями плавали утки и чайки. Они были совсем ручные. Добрые прохожие бросали им хлебные крошки. К зданию гестапо одна за другой подкатывали машины, из них, сцепив руки на затылках, выходили люди — такие же немцы, как те, кто их привез. Они поднимались по лестнице и выстраивались вдоль коридора, уткнувшись лицами в холодные, покрытые масляной краской стены.

После допросов некоторые из этих людей, марая кафельный пол кровью, сами добирались до камер, но большинство не могли идти, и их увозили на носилках с велосипедными колесами. В гестапо, как на военном заводе, работали круглосуточно — в три смены...

В городе было чинно, тихо, и влажный снег, лениво падавший с серого неба, не мог обелить его улиц. Снег падал и таял, растекаясь холодными, склизлыми лужами, и в них жирными пятнами отражались огни этого надменного города, выстроенного из серого камня.

32

Варшавская школа немецких разведчиков, как и некоторые ее филиалы, была организована в октябре 1941 года. Она находилась в непосредственном подчинении действовавшего на Восточном фронте разведывательно-диверсионного органа, условно именуемого «штабом Вали». Дислоцировалась школа в двадцать одном километре восточнее Варшавы, близ населенного пункта Ромбертово и железнодорожной станции Милосна, в местечке Сулеюówek, по улице Падеревского. Там же разместился один из филиалов «штаба Вали» и принадлежащая ему мощная радиостанция.

Филиал штаба разведоргана и канцелярия школы занимают белое четырехэтажное здание бывшего приюта для престарелых женщин, а под общежитие разведчиков и классные помещения отведены стандартные деревянные бараки в сосновом лесу. Территорию школы отделяет от филиала «штаба Вали» улица Падеревского; общежития разведчиков-ходоков и разведчиков-радистов отгорожены забором. Немецкие офицеры и солдаты караульной команды размещены неподалеку отсюда, на даче, некогда принадлежавшей Пилсудскому, и в двух бывших школах для детей.

Вокруг высятся шесть радиомачт мощной радиостанции. Если смотреть на весь комплекс сверху, с самолета, то обратит на себя внимание только штаб разведоргана: здание его резко выделяется размерами и красной черепичной крышей. Остальные постройки сливаются с местностью.

В бараке, расположенном в тридцати метрах севернее штаба, живут рабочие из военнопленных — шоферы, портные, сапожники; там же размещаются склады — продовольственный и вещевой. Двор перегорожен деревянным забором. Посреди той части двора, которая примыкает к этому барaku, небольшой одноэтажный склад, где хранятся личные вещи военнопленных и одежда, предназначенная для диверсантов, подготовленных к заброске в советский тыл. Западнее, где и находится сама школа, тоже несколько построек.

Три зеленых барака, расположенных в виде буквы «П» среди высоких сосен, обращены на восток. В трех комнатах южного барака, рассчитанного на пятьдесят человек, устроено общежитие для разведчиков-радистов.

Две комнаты северного барака, в которых может размес-

таться до тридцати человек, отведены под общежитие разведчиков-ходоков, а третья предназначена для занятий.

Все три комнаты среднего барака оборудованы под классы для радистов, в каждом из них могут заниматься десять человек.

Рядом с бараками стоит серое двухэтажное каменное здание, на втором этаже которого в специальной мастерской фабрикуют фальшивые документы, чтобы снабжать ими агентуру, забрасываемую в советский тыл. Здесь изготавливают все необходимое для этого: штампы, печати, есть и фотолаборатория.

Здание штаба имеет три входа, со стороны южной улицы — парадный ход с белыми колоннами, через который попадают в караульное помещение, а из него — на кухню и во двор. На кухню можно попасть и через другой ход — со стороны двора. Рядом с этой дверью деревянная пристройка для полевых кухонь. Но пользуются здесь почти всегда третьим ходом — тем, что в углу со стороны двора, он ведет в западное, пристроенное из красного кирпича крыло. На первом этаже этой пристройки кухня и казарма, на втором — кладовые, на третьем — квартиры офицеров и унтер-офицеров.

Сам штаб разведоргана занимает белое здание, где работают офицеры. Кабинеты, на дверях которых указаны их фамилии, расположены в первых двух этажах — по двенадцати на каждом. В крыле третьего этажа радиоузел. Имеется и зрительный зал на сто пятьдесят человек.

Для обеспечения агентуры, забрасываемой в тыл советских войск, фиктивными документами при «Вали-1» создана специальная команда «1 Г». В ее составе четыре-пять немцев — граверов и графиков и завербованный абвером русский военнопленный, знающий советское гражданское и военное дело-производство.

На команду «1 Г» возложены также сбор, изучение и изготовление наградных знаков, штампов и печатей. Ордена и бланки трудноисполнимых документов, таких, как паспорта и партбилеты, команда получает из Берлина.

В обязанности команды «1 Г» входит, кроме того, инструктирование агентов о порядке оформления и выдачи документов на территории СССР.

Склады, портновская и сапожная мастерские снабжают забрасываемую на советскую землю агентуру военным обмундированием, снаряжением и гражданской одеждой.

Отдел «Вали-2» руководит диверсионными и террористическими действиями в частях и в тылу Советской Армии. В его распоряжении склады оружия, взрывчатых веществ и различных диверсионных материалов, расположенные в местечке Сулеювек — там, где дача Пилсудского. Отдел «Вали-3» руководит контрразведывательной деятельностью. На него возло-

жена борьба с советскими разведчиками, партизанским движением и антифашистским подпольем в зоне армейских и дивизионных тылов на оккупированной советской территории.

«Штабу Вали» придан специальный авиационный отряд из четырех — шести самолетов, предназначенных для заброски агенты в советский тыл.

Варшавская школа при «штабе Вали», готовящая квалифицированную агента из советских военнопленных, считается центральной, показательной. Поэтому она служит также для ознакомления работников германских разведывательных органов с методами организации разведшкол и обучения агентов. Номер ее полевой почты — 57219.

Отбору агента в Варшавскую школу немецкая разведка придает особое значение. Представители абвера, наметив в лагере для военнопленных подходящего человека, прежде чем завербовать, и сами всесторонне изучают его и собирают сведения о нем через внутрилагерную агента.

В большинстве случаев завербованным не сообщают, как они будут использованы, — об этом их ставят в известность только в самой разведшколе. Одновременно они получают чешское или французское трофейное обмундирование и клички вместо имен.

Лансдорф расположился в одной из комнат «штаба Вали» с возможным для этого казарменного помещения комфортом. Пол и тахту устлали пушистые ковры, через стеклянные дверцы шкафа были видны пестрые корешки английских и французских книг, по углам стояли два торшера, и все это, особенно цветы повсюду, делало комнату уютной. Докладывая, Вайс приветливо глядел в сухое лицо Лансдорфа, но не видел ни тонких, поджатых губ, ни тонкого носа, ни впалых, сиреневых после бритья щек, ни крутого лба с большими залысинами: он только чутко следил, как менялось выражение выпуклых, по-стариковски вылинявших, но не утративших живого блеска глаз его начальника.

Лансдорф лежал на тахте, подложив руку под голову, и не изменил позы, когда вошел Вайс. Он был в пижаме и английского происхождения теплом халате из верблюжьей шерсти. На ногах меховые шведские домашние туфли. Верхний свет был погашен, и яркая лампа торшера освещала только лицо Вайса. И Вайс понимал, что не случайно стул, на который предложил ему сесть Лансдорф, стоял под торшером, и хотя резкий свет раздражал глаза, он и не подумал передвинуть стул.

«Прием довольно-таки дубоватый для такого маститого разведчика, как Лансдорф», — отметил Вайс.

Столь же примитивным было выражение скуки и равно-

душия, с каким Лансдорф, казалось бы, невнимательно слушал Вайса, и иронические замечания по поводу его доклада: ефрейтор оказался чрезмерно наивен в своем восхищении деятельностью капитана Дитриха, его умом и прожектами. Однако он не прерывал Вайса, когда тот приписывал Дитриху кое-какие соображения, чтобы выяснить реакцию Лансдорфа на них.

И он говорил, что капитан Дитрих проявил тонкую и глубокую наблюдательность и совершенно прав, что русские военнопленные, с легкостью согласившиеся стать предателями, с такой же легкостью могут изменить и Германии. И трусость их и низость — не очень надежная порука, едва ли можно сформировать из этих военнопленных готовых на все агентов. Ориентироваться только на подобных людей — значит избрать наиболее легкий путь. Но легкий путь не всегда приводит к цели.

— Что же ты предлагаешь? — перебил Лансдорф своим тусклым, ровным голосом.

— Я? Ничего. Я просто говорю о том, что мне довелось слышать.

Произнеся эти слова, Иоганн напряженно думал, каким способом вернее внушить Лансдорфу, что, кроме людей, рекомендуемых гестапо, абверовцы должны сами отбирать в разведывательно-диверсионные школы наиболее подходящих военнопленных. При этом условии Иоганну будет несколько легче отыскать и определить в школу людей, которые ему нужны, чтобы начать опасную, но такую необходимую сейчас его Родине работу: предотвращать злодеяния агентов абвера и спасать тех, кто окажется готовым к борьбе, способным на подвиг.

И, нащупывая почву, он заметил несколько неопределенно:

— Капитан Дитрих высказывал предположение, что, опасаясь возмездия со стороны других заключенных, некоторые только из самосохранения чуждаются контактов с нами. И это не что иное, как специфическая форма маскировки, а для такой маскировки нужны ум, выдержка, выносливость, — именно те качества, которые требуются от агента.

Лансдорф живо поднял голову, пристально взглянул на Вайса, процедил сквозь зубы:

— Это, пожалуй, оригинально. Во всяком случае, не шаблонно... — И задумался. Но тут же, не желая показать, что это соображение его заинтересовало, устало прикрыл белые веки, пожаловался: — Эта неустойчивая погода — то заморозки, то оттепель — действует на меня расслабляюще. В моем возрасте люди становятся чувствительны ко всяким переменам. — Тут он зябко передернул плечами и с томным видом

откинулся на подушки. Но на душе у него было тревожно, беспокойно.

На днях он сам допрашивал пленного советского офицера, почти своего ровесника. Пленный был сухощавый, подтянутый человек с твердым, спокойным лицом. Обращал на себя внимание пронзительный взгляд его несколько поблекших серых глаз в морщинистых веках. Офицера доставили к Лансдорфу из госпиталя, где ему поспешно наложили швы на раны, только с тем, чтобы сделать его транспортабельным. Переливание крови и введение в вену тонизирующих средств на короткое время придали пленному физические силы, которых он уже совсем почти лишился: жизнь его угасала, он был крайне слаб. И все же ценой невероятного нервного напряжения он проявил редкое самообладание, и нельзя было заметить, что всего только сутки назад этот человек лежал на хирургическом столе.

Пленный не отказался ни от предложенной ему Лансдорфом рюмки коньяку, ни от сигареты.

Держался он со спокойным достоинством, которое можно было бы счесть за наглость, если бы в его поведении чувствовался хотя бы малейший оттенок наигрыша.

Дать какие-либо сведения он решительно отказался. Пожав плечами, сказал с усмешкой:

— Мне кажется, я достаточно уже утомил более молодых и энергичных, чем вы, следователей, которые полностью ознакомили меня со всеми приемами гестаповской техники. — Осведомился: — Или вы хотите применить нечто исключительное? Так не теряйте времени.

Лансдорф взглянул на часы.

— Через сорок минут вас расстреляют. — Объяснил вежливо: — Я допустил эту откровенность с вами только потому, что, как офицер, ценю мужество, кто бы им ни обладал.

— Ах, так! — усмехнулся пленный и спросил вызывающе: — Вы не находите, что это похоже на капитуляцию?

— С чьей стороны?

— С вашей, конечно!

— Не надо бравировать.

— А почему?

— Ну, все-таки смерть — это единственное, с чем стоит считаться всерьез.

— О! Вы склонны к отвлеченностям.

— А вы?

Пленный офицер кивнул на переводчика, спросил Лансдорфа:

— Вам хочется, чтобы он потом восторженно рассказывал вашим подчиненным о ваших банальных рассуждениях?

— О ваших, — обиженно возразил Лансдорф. — Именно о ваших. Умереть за родину — чего уж банальней!

— Ну что ж,— сказал офицер,— вы сможете избежать такой банальности, когда мы будем допрашивать вас.

— Вы верите в загробную жизнь?

— Ну хорошо, когда наши будут допрашивать вас.

— А вы серьезно допускаете подобную версию? Я был бы вам очень обязан, если бы вы пояснили, какие есть возможности для ее осуществления.

— Бросьте! Бросьте! — дважды строго повторил офицер. — Это же наивный прием.

— Допустим.— Лансдорф снова взглянул на часы, показал пальцем на циферблат. Спросил: — Все-таки стоит ли? Может, вы еще подумаете? — Пообещал с уважительной интонацией: — Я могу согласиться. Даже если не сообщите ничего существенного. Мне было бы приятно сохранить вам жизнь.

— Для чего?

— Допустим, у меня сегодня хорошее настроение и я не хочу омрачать его.

— Грубо работаете,— упрекнул офицер. Добавил презрительно: — По старомодной шпаргалке.

Лансдорф напомнил:

— Десять минут!

— Может, у вас часы несколько отстают? — сказал офицер и оперся о стол, чтобы встать.

Переводчик поднял пистолет, который все время держал в руке.

Лансдорф сказал пленному:

— Пожалуйста, не спешите.— Голос его звучал вкрадчиво.— Итак, вы полагаете, что мы позволим вам умереть героем? Вы наивны. Листы вашего допроса уже заполнены, и на последнем отлично воспроизведен ваш автограф. И мы дадим прочесть ваши показания некоторым вашим сослуживцам, и, даже если они не обнаружат склонности оказать нам услугу, мы все-таки сохраним им жизнь и даже поможем кому-либо из них бежать и перейти линию фронта. И о вашей измене,— да, сфабрикованной нами измене,— станет известно у вас на родине.— Лансдорф откинулся в кресле, спросил с холодной ненавистью: — А вы полагали, что мы просто расстреляем вас как пленного офицера? Мы уничтожим вас как человека.

Лицо пленного стало серым, мелкие капли пота выступили на висках, губы судорожно сжались, побелели.

Наблюдая за ним, Лансдорф произнес с удовлетворением:

— Ну вот, я и полагал, что для таких, как вы, приемы физического воздействия неэффективны. Надеюсь, вы не испытываете никаких сомнений в том, что мы поступим именно так, как я вам сейчас сообщал?

Офицер молчал. Зрачки его сузились, дыхание стало пре-

рывистым, на шее вздулись вены. Страшным усилием он положил здоровую ногу на перебитую и, раскачивая ее, вдруг спросил хрипло:

— Ну?

— Что «ну»? — строго осведомился Лансдорф.

— Сорок минут прошло.

— Я даю вам еще десять минут. — Лансдорф медленно раскрыл папку, столь же неторопливо вынул из нее несколько фотографий — женщины и детей, — подал офицеру. — Знакомые вам лица? — Пообещал: — Они будут стыдиться вас. На всю жизнь вы станете для них источником позора.

Офицер секунду жадно смотрел на фотографии. Глаза его стали блестящими, почти светились. И тут же он откинулся на спинку стула, вздохнул с облегчением:

— Они не поверят! — Повторил торжествующе: — Они не поверят, — и сделал попытку встать.

Лансдорф нажал коленом кнопку звонка под столом.

Вбежали двое охранников, бросились к пленному. Одного он ударил локтем в лицо, увернулся от другого. Нервы переводчика не выдержали — раздался выстрел...

Когда унесли труп, Лансдорф сердито сказал переводчику:

— Передайте майору Штейнлицу, что в данном случае я не могу считать его предложение целесообразным. Ясно, что у этого офицера репутация настолько устойчива, что применить к нему подобную акцию не имело смысла.

И до конца служебного дня Лансдорф испытывал такое чувство, будто его безнаказанно оскорбили, уличив в неблагоприятном поступке. Это было очень неприятное ощущение, и оно еще усугублялось размышлениями о том, что для формирования разведывательных кадров ему впервые придется пользоваться человеческим материалом, лишенным привычного для Лансдорфа практицизма, который он всегда считал прочной основой для вербовки.

Еще в годы юности, накануне первой мировой войны, Лансдорф дружески сотрудничал с одним французским офицером — снабжал его секретными материалами и в обмен получал подобные же документы. Это облегчило обоим продвижение на избранном ими поприще: одному в германском генеральном штабе, другому — во французском генеральном штабе. И надо сказать, что ни один из них ни разу не обманул другого, не уронил своей офицерской чести, не прибег к мошенничеству, и все сведения, которыми они обменивались, имели равнозначную ценность. И за всю дальнейшую жизнь Лансдорфу ни разу и в голову не пришло, что он поступал тогда бесчестно. Смело, рискованно? Да, с этим он согласен. Но и только.

Мысли Лансдорфа снова и снова возвращались к советско-

му офицеру, и эти мысли раздражали его. Он чувствовал себя обманутым. Не этим офицером, нет. Он совсем иначе представлял себе тот народ, без победы над которым существование Третьей империи было зыбким. И впервые за последние годы Лансдорф почувствовал некую неуверенность. Впрочем, он спасительно приписал эту неуверенность усталости, возрасту и тому беспокойству, которое возникло у него после давнего разговора с Канарисом.

Фюрер уже несколько раз высказывал Канарису свое неудовольствие тем, что Советский Союз оказалась единственной страной, где все попытки сформировать «пятую колонну» не увенчались успехом. И когда Канарис рассказал об этом Лансдорфу, тот даже не решился доложить ему, что в оборонительных боях под Оршей участвовали заключенные из оршинской тюрьмы и только единицы перебежали на сторону немцев. Потом, когда атаки немцев были отбиты, заключенных снова отправили в тюрьму. Однако командующий советской дивизией настоял, чтобы ему разрешили сформировать из них отдельное подразделение. Узнав об этом, Лансдорф приказал направить перебежчиков в это подразделение для подрывной работы, но солдаты, бывшие заключенные, не подымая шума, придушили их металлическими касками.

Это было для Лансдорфа неожиданностью, ибо достоверные источники информации с несомненностью утверждали, что в России после изъятия земли у зажиточных крестьян и различных репрессий, коснувшихся многих людей, создалась достаточно благоприятная почва для сколачивания специальных подразделений, способных вести широкие подрывные действия.

И хотя Берлин дал отчетливые указания о том, какие именно анкетные данные военнопленных следует прежде всего учитывать при вербовке агентуры, эти указания часто настолько не совпадали с поведением русских на допросах, что ставили сотрудников абвера в затруднительное положение.

Поэтому, обдумав словамышленого ефрейтора, Лансдорф решил, что в порядке исключения можно позволить работникам первого отдела абвера отбирать для вербовки в разведывательные школы и тех военнопленных, которые не рекомендовали себя в лагерях открытым предательством, и действовать в таких случаях самостоятельно, не прибегая к консультации гестапо.

Но он, естественно, не счел нужным поделиться с Вайсом этими своими соображениями.

В тот же день Лансдорф дал указание зачислить ефрейтора Иоганна Вайса в подразделение «штаба Вали» переводчиком, хотя и был осведомлен о том, что познания ефрейтора в русском языке имеют изъяны, так как он не знает тонкостей советской терминологии и незнаком с многими современными

специфически русско-советскими языковыми новообразованиями.

Все это было естественно для прибалтийского немца, научившегося русскому языку у белоэмигрантов. И, общаясь с переводчиками, Иоганн со строжайшей бдительностью следил за своей речью, обдумывая каждое русское слово, прежде чем его произнести. Эта нелгкая умственная работа требовала скрупулезной точности, но от нее зависела жизнь Иоганна, как, впрочем, и от многих новых обстоятельств, о которых он должен был неустанно помнить.

В анналах разведок капиталистических стран хранятся хвастливые отчеты о стремительных операциях, которые можно счесть за незамысловатый плагиат: отмыть их от крови и грязи — и перед вами старинный плутовской роман. Различие только в том, что его персонажи начисто лишены живости воображения и низведены до степени мелких исполнителей неведомого им замысла.

Так, например, когда в январе 1940 года заправили фашистского рейха решили, что пришла пора завершить период «шутливой», «игрушечной» войны с Францией, один из немецких летчиков получил приказ в туманный день приземлиться на территории Бельгии. Летчик выполнил приказ, и при нем нашли сумку с документами, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что Германия, повторяя уже испытанный в первую мировую войну план Шлиффена, якобы готовится к вторжению в Бельгию.

И англо-французские полководцы поверили этому незамысловатому плутовству. Немцы совершили прорыв в районе Седана, и союзные войска попали в ловушку. Описания подобного рода остросюжетных операций можно найти в каталогах всех разведок мира, это — довольно занимательное чтение. Но миссия, которая выпала Иоганну Вайсу, лишена была фейерверочного блеска. Не блицтурнир с заранее определенными ходами, а величайшее испытание духовной прочности убеждений, нравственных представлений, умения не утратить веру даже в тех людей, у которых отнята Родина и честь, окровавлена совесть, — вот что предстояло ему, вот что ожидало его.

Он должен был преодолевать такие же невероятные трудности, какие преодолевает человек, которому поручено убедить раненых, только что вынесенных с поля боя и корчащихся на хирургическом столе в палатке полевого госпиталя, чтобы они немедленно вернулись в строй. Или терпеливо уговаривать совершивших самострел дезертиров решиться немедленно на подвиг.

Иоганну Вайсу предстояло работать с теми, кто оказался жертвой проигранных сражений, но не пал на поле битвы. С людьми, для которых нет больше неба.

Оно повержено, расстреляно, растоптано в грязи, там, где трупы павших в бою припаяли себя собственной кровью к поверхности пораженной войной планеты. Там, где громоздятся обгоревшие, превращенные в хлам, выпотрошенные взрывами танки и лопнувшая скорлупа их брони осыпается серой окалиной, где валяются орудия с вздернутыми кверху стволами, расщепленными, разорванными последней гранатой, сунутой в их раскаленное жерло. Там, где траншеи — могилы, а блиндажи — склепы, переплетенные серыми жесткими зарослями рваной проволоки, где по земле, начиненной минами, подобными свернувшимся плоской спиралью гадюкам, стелется угарный сырой туман, вонь тротила, где все покрыла черная, жирная и липкая копоть от сгоревшей взрывчатки, где перешиблены снарядами деревья и торчат высоченные пни, где талый снег едко рыжий от ржавчины, где почва смертельно обожжена и засыпана обломками лопнувших снарядов и мин.

Там, где было поле битвы, — там нет неба.

Небо намертво гаснет над теми, кого роковая судьба проигранного боя заживо делает добычей врага.

Гитлеровские лагеря для военнопленных, вся их система, были нацелены на то, чтобы убить в человеке все человеческое. В их задачу входило предусмотренное планом экономики рейха массовое физическое истребление заключенных. Для этого концлагеря были оснащены соответствующим техническим оборудованием, которое поставляли в точно обозначенные сроки самые солидные германские фирмы.

Размышляя над увиденным в многочисленных лагерях для военнопленных, Иоганн испытывал сложное и мучительное чувство. Он знал, что тысячи советских людей незримо ведут в них борьбу за то, чтобы не утратить человеческого достоинства, которое было для них дороже жизни. Но из числа тех, с кем предстояло Иоганну непосредственно иметь дело в немецкой школе разведчиков-диверсантов, исключались люди высокого и чистого духа, негибимой воли.

В школу поступали разные люди, большей частью тщательно отобранные подонки, низостью, презренным слабодушием зарекомендовавшие себя перед врагом. Иоганн даже мысленно не мог сопоставить их с теми военнопленными, которые в таких же умерщвляющих все человеческое в человеке условиях оставались советскими людьми, сохраняли достоинство и являли величайший героизм, остававшийся неизвестным. Они героически боролись за продление существования — не ради спасения жизни, а ради того, чтобы, не покорствуя, остаться советскими людьми до смертного часа и самой смертью утвердить свое бессмертие.

А другие — падаль.

И ненависть к этим живым мертвецам сжигала Иоганна.

Он должен был подавить свою ненависть и в то же время не предаться снисходительной жалости к тем, кто стал жертвой собственного слабодушия.

И не раз он вспоминал слова Феликса Дзержинского: «Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека...»

Конечно, среди этих изменников наверняка есть просто несчастные люди, покорно уступившие обстоятельствам, не нашедшие в себе силы для сопротивления. Что же, он будет сочувствовать слизнякам?

Но разве щит Родины не простирается и над теми, кто утратил все, но утратил не безнадежно и может быть еще возвращен Родине? И этот щит Родина вручила ему, Иоганну Вайсу. Владеть щитом здесь несоизмеримо труднее, чем мечом карающим, но он должен этому научиться, чтобы не отдать безвозвратно врагу тех, кто повержен, но еще может подняться, если протянуть ему спасительную руку. Вот только хватит ли у него сил, решимости помочь, удержать человека, повисшего на краю бездны, от окончательного падения!

Когда Белов постигал в школе специального назначения все премудрости, необходимые разведчику, он был твердо убежден, что полученные знания станут надежным оснащением в той борьбе, которую ему предстоит вести. И верил: эти знания помогут ему раскрыть замыслы «предполагаемого противника», провозгласившего идею «неограниченного насилия» и объявившего, что земной шар — только переходящий приз для завоевателя со свастикой на знамени.

Он принадлежал к тому поколению советских юношей, сердца которых были опалены событиями в Испании, на которых трагические битвы испанских республиканцев и интернациональных бригад с фашистскими фалангами Франко, Муссолини, Гитлера оставили неизгладимый след, вызвали непоколебимую решимость до конца отдать свою жизнь борьбе с фашизмом, победить его и уничтожить.

Александр Белов выбрал самоотверженный путь и отказался от научного поприща, а ведь он, наверно, мог бы кое-чего достичь под добрым руководством академика Линева. С суровым пуританизмом он готовил себя к избранной цели. Но, отказавшись от многого, он отказал себе и в праве быть снисходительным к тем, кто в предгрозовое, напряженное время по тем или иным причинам уклонялся от мобилизации воли.

Подобные особенности его взглядов сложились под влиянием представлений о тех качествах, какими, по его мнению, должен обладать чекист. Эта сдержанность, высокое сознание долга помогали ему преодолеть в своем характере черты, которые он считал элементами психологической несобранности. И он собрал себя в кулак, подчинив все своей воле, целеуст-

ремленной, направленной на одно — как можно лучше выполнить долг перед Родиной.

Да, до сих пор Белов считал себя достаточно вооруженным. Но тот род деятельности, который предстоял ему в фашистском разведывательно-диверсионном «штабе Вали», поверг его в смятение.

Он должен был иметь дело не с гитлеровцами, а с их пособниками — бывшими своими соотечественниками. Каждый из них незримо оброс трагической и грязной коростой подлости, слабодушия. Как проникнуть сквозь эту коросту в чужие души и терпеливо, непредубежденно проверить, сгнила сердцевина или только почернела сверху, словно кровь на ране человека? Ведь вернуть таким людям веру в жизнь можно, только заставив их снова встать на тот путь борьбы, от которого они отреклись.

Иоганн вспоминал свои студенческие годы, споры о Достоевском. Как он был наивен, когда самонадеянно утверждал, что копание в грязных сумерках подполья искалеченных душ — бессмысленная сладостная пытка и ничего более! Быть может, это имело какой-то смысл во времена Достоевского. В наших людях нет и не может быть ничего такого.

А вот теперь он должен копать в грязи человеческих душ, распознавать их, чтобы спасти, вырвать из цепких вражеских рук! И ему уже казалась легкой другая его задача — не дать врагу возможности использовать предавших Родину людей. Он считал, что для этого у него достаточно способности и условия тут вполне подходящие. К тому же и Центр поможет все организовать наилучшим образом, разработает точный и верный план действий.

33

Майор Штейнглиц не без сожаления расстался с Вайсом как со своим шофером, но готов был приветствовать его как нового сослуживца, сотрудника абвера. И все же счел нужным предупредить:

— Нам требуются факты, а вовсе не ваши умозаключения. Делаю вывод мы будем сами. Память — это профессия разведчика, — сказал он поучительно. И уже менее официально посоветовал: — Надо иногда иметь мужество выдавать себя за труса. Агрессивные задания поручаются храбрецам, но награды получают те, кто руководит из канцелярий.

Штейнглиц до сих пор не получил ожидаемой должности, по-прежнему исполнял неопределенные инспекторские функции и не переставал думать, что его обошли.

Дитрих, как только увидел Вайса на новом месте, деловито сообщил ему, что в штабе есть русский переводчик — господин Маслов. Но хотя он и полковник царской армии, за ним

нужен глаз, так как среди некоторой части белоэмиграции наблюдаются националистические настроения, недовольство победами германского оружия над Россией.

Командный, преподавательский и инструкторский состав школы еще не был в сборе, почти все жилые комнаты пустовали, и Иоганну представлялась возможность выбрать для себя лучшую из них, но он остановился на одной из худших, полагая, что скромность не лишняя рекомендация. Повлияли на его выбор и другие соображения. К этой комнате, расположенной в самом конце коридора, примыкали подсобные помещения — кладовая и пустующая сейчас кухня. Чердачная лестница тоже была рядом, и в случае необходимости Иоганн мог воспользоваться не только дополнительной территорией, но и запасным выходом, — ничего, что он вел на крышу.

«Для целей контактирования с курсантами во внеслужебное время», как выразился Дитрих, он порекомендовал Вайсу сменить военное обмундирование на штатский костюм, заметив при этом, что немец в штатском, знающий русский язык, скорее вызовет на откровенность, чем тот же немец, одетый в мундир победителя.

Продумывая, как держаться с новыми своими сослуживцами, Иоганн решил с самого начала поставить себя с ними если и не на равной ноге, то, во всяком случае, так, чтобы они почувствовали в нем человека серьезного, пренебрежительного к собственному достоинству. Надо также дать им понять, что он имеет известное представление о России и стремится фундаментально пополнить свои сведения, чтобы специализироваться в этом направлении не только в качестве переводчика, но и в надежде получить со временем какую-нибудь солидную должность при гаулейтере, допустим, московского генерал-губернаторства.

Он решил также позаимствовать у прусского аристократа фон Дитриха манеры и стиль поведения, взять их на психологическое вооружение. Холодная, бездушная, чеканная вежливость, умение обойтись в разговоре набором банальных, почти ничего не значащих, пустых фраз, которые в равной мере в ходу и у лакеев и у аристократов. Однако для аристократов они служат как бы паролем хорошего тона, благовоспитанности и необходимы для того, чтобы держать собеседника на выгодной дистанции.

По правде сказать, Иоганн больше опасался сослуживцев навязчиво откровенных, неукротимо болтливых, чем сухих молчунов, нелюбимых и подозрительных.

Общение с Лансдорфом тоже кое-что дало Иоганну. Этого человека, вероятно, так же, как и других выдающихся профессионалов, крупных деятелей немецкой разведки, снедало тщеславие. Он жаждал разработать невиданную доселе операцию, превзойти искусством коварства самые знаменитые

службы разведок. Чтобы прославиться на этом поприще, стать всеми признанным ловцом душ, увековечить себя, навсегда вписать свое имя в историю тайных войн.

Все помыслы Лансдорфа были обращены к этой неведомой операции, которая, как он был уверен, в один прекрасный день сделает его знаменитым. И он чувствовал себя счастливым только ночью, когда можно было стряхнуть все будничные докучливые заботы и в тишине сладостно обдумывать бесконечные варианты, хитроумные ходы этой операции, предвкушать триумф, который его ожидает. Так было ночью, а днем волею несправедливой судьбы ему приходилось заниматься мелкой работой. И естественно, что поручение вербовать военнопленных для массовых шпионско-диверсионных акций Лансдорф воспринимал так же, как принял бы боевой офицер приказ покинуть строй и отправиться в глубокий тыл, чтобы обучать там новобранцев.

А ведь Лансдорфу, пожелай этого начальство, было где развернуться. «Психологическая лаборатория имперского военного министерства», «Высшая школа разведки», созданная Гиммлером в Баварии, «Курсы повышения квалификации» в пригороде Берлина, где периодически проходили переподготовку крупнейшие разведчики, — вот подходящая для него арена, там он мог бы блеснуть своей профессиональной осведомленностью, изобретательностью, известного своими трудами многим разведкам мира мастера шпионажа.

Здесь же приходилось заниматься черновой работой, недостойной его квалификации и к тому же бессмысленной. Лансдорф давно уже сумел понять, что стратегия, применимая к другим европейским странам, в войне с Россией оказалась несостоятельной.

Все эти страны были завоеваны дважды: сначала незримо, тотальным немецким шпионажем, охватывающим все, вплоть до правящей верхушки, и только после этого вермахт собирал свои армии в железный кулак и молниеносно сокрушал, повергая к своим ногам, государства, разъяренные изнутри ржавчиной предательства.

В России не оказалось условий для осуществления тотального шпионажа. Немецкая агентура в России потерпела поражение и в предвоенные годы и в начале войны. А ведь это направление — Восточный фронт — считалось главным во всей системе немецких разведывательных служб.

Не будучи в силах создать в Советской стране хотя бы какое-либо подобие «пятой колонны», немецкая разведка стала на путь фальсификации и угодливо сочиняла факты, подтверждающие высказывания Гитлера о слабости России. Такая информация помогала фюреру разгромить сторонников генерала Секта, который еще в 1920 году предупреждал: «Если Германия начнет войну против России, то она будет вести

безнадежную войну». Широко использовались фальшивки и для пропаганды, но они не давали да и не могли дать истинного представления о реальных силах противника.

Зная все это, Лансдорф расценивал массовую подготовку агентуры из военнопленных как мероприятие подсобное, не имеющее решающего значения.

В России все иначе, чем в побежденных европейских государствах. Формирование «пятых колонн» на их территории предвляло военные акции и определяло их успешность. Здесь же победа всецело зависит от войск вермахта.

Поэтому Лансдорф был склонен пропустить через школы как можно больше людей, заранее примиряясь с тем, что диверсионные группы не будут в состоянии пополниться за счет местного населения. Значит, в школах нужно готовить не организаторов, а тупых исполнителей, покорных воле тех, кто их послал. Покорны они будут из страха перед казнью и на сторону своих соотечественников тоже побоятся перейти, так как знают, что русские не простят им предательства.

Фон Дитрих не разделял скептицизма Лансдорфа. Он полагал, что среди завербованных окажутся люди, способные стать крупными агентами, пробраться в органы советской власти. И он очень рассчитывал, что выявить этих людей ему поможет Иоганн Вайс. Поэтому Дитрих, против своего обычновения, даже стал проявлять к Вайсу некое снисходительное расположение, причину которого тот без труда разгадал. А вот почему Лансдорф стал относиться к нему с равнодушным холодком, Иоганн понять не мог.

Их привозили сюда в серые сумерки по одному, по двое, реже — небольшими группами в крытых грузовиках-фургонах с зарешеченной дверцей и завешенными брезентом стеклами. Доставившие их эсэсовские охранники, молчаливые, угрюмые, с жесткими, будто из булыжника, лицами, были уведолены лишь о том, что стрелять в этих людей можно только в случае открытой попытки к бегству. И едва машина, после множества проверок, въезжала в сектор и местная охрана расписывалась в приеме данного лица или данных лиц, эсэсовцы немедленно отправлялись в обратный путь.

Доставленные прежде всего просились в уборную. На всем пути, часто долгом, им в соответствии с приказом ни разу не разрешали выйти из машины.

Они не знали, куда и зачем их привезли. И от томящей неизвестности почти у всех лица были одинаково искажены ознобом тревоги.

Сюда отбирали преимущественно тех, чье предательство было на практике проверено в лагерях, кто уже зарекомендовал себя в качестве капо, полицейских, провокаторов. Прини-

мались во внимание и сведения, которые военнопленные сообщали сами, стремясь выдать себя за непримиримых врагов советской власти. До вербовки каждого из них всесторонне изучали через внутрилагерную агентуру и администрацию лагеря. А если человек этот был уроженцем местности, оккупированной немцами, то гестапо проверяло его по захваченным там документам и опрашивало о нем местное население.

Новоприбывшим запрещали разговаривать. Охранник с автоматом на шее и палкой в руках сидел посреди барака, в который их запирали, и строго следил, чтобы они соблюдали карантин молчания.

На оформление их водили поодиночке.

Иоганн Вайс выполнял не только роль переводчика. Дитрих поручил ему проводить первый, летучий контрразведывательный опрос, чтобы, проанализировав правильность сообщаемых сведений, можно было или уличить завербованных во лжи, или выявить их психическую непригодность.

С этого момента каждому под страхом немедленного наказания запрещалось называть кому-либо свою настоящую фамилию. Взамен ее присваивалась кличка.

— Ну! — приказывал Вайс. — Быстро и коротко.

Лицо его обрело в общении с этой публикой «арийское», холодно-высокомерное, презрительное выражение, которое можно было бы считать вершиной искусства самого талантливого мима. Правда, на этот раз оно, пожалуй, произвольно передавало его искренние чувства.

Человек, стоявший перед ним, отвык самостоятельно сообщать и потому молчал. На толстой и длинной губе его выступил пот, плешь на макушке тоже покрылась испариной.

Вайс спросил утвердительно:

— Значит, «Плешивый»?

Все так же молча человек этот согласно кивал в ответ головой.

Вайс обернулся к писарю:

— Запишите «Плешивый», — и злорадно подумал: «Хороший экземпляр еще и с обличительной кличкой!»

С самого начала Вайс решил, заботясь о дальнейшем, присваивать курсантам клички-приметы, и во многих случаях ему это удавалось.

Плешивого посадили на табурет перед висевшей на стене белой простыней, и солдат абвера из отдела «Г» нацелился «лейкой» в фас, а потом в профиль — так, как снимают тюремные фотографии.

Вайс внимательно наблюдал за Плешивым. В процессе фотографирования физиономия его выказала готовность запечатлеться с улыбкой.

Вайс скомандовал:

— Смирно!

И физиономия Плешивого мгновенно приняла тупое и неподвижное выражение.

Заполнив анкету, он старательно, четко вывел свою подпись и занялся автобиографией. Писал он долго, вдумчиво, часто осведомлялся:

— Про то, как я их кандидатов в Верховный Совет всегда вычеркивал, отметить? — Сообщил доверительно: — По суду много раз привлекался, только благодаря личному дару находчивости каждый раз выкручивался.

Покончив со всеми формальностями, он так же разборчиво и четко вывел свою фамилию под подпиской-обязательством работать в пользу немецкой разведки, приложил к ней указательный палец, смазанный на специальной байковой каталке мастикой, вытер его и объявил с облегчением:

— Ну, всё, теперь чистый.

— Кто? — резко спросил Вайс.

— А вот пальчик, — испуганно съежась, пролепетал Плешивый. — Я ведь только про палец выразился.

Такой процедуре оформления подвергались все прибывшие в школу. И уже с этого момента, с самого первоначального ознакомления с ними, можно было уловить некие индивидуальные особенности.

Одни держались с истеричной развязностью, как бы подчеркивая отчаянную готовность на все, что им предложат. Но, возможно, они только прикрывали этой своей манерой поведения муки совести или нарочно вели заранее замышленную игру, изображая из себя пропащих людей, которым море по колено.

Другие, с тусклыми глазами мертвецов, сломленные, подавленные, опустошенные, отупевшие, покорные, вяло и равнодушно выполняли все, что от них требовалось.

Попадались юркие, сноровистые на вид, — они деловито осведомлялись об условиях содержания в школе. Или такие, которые напоминали шепотом о своих лагерных заслугах, тревожились, чтобы об их предательстве не забыли и не смешали их потом со всеми прочими.

Были и такие, которые вели себя довольно независимо. Они пытались говорить по-немецки и объявляли себя принципиальными противниками советского строя. В анкете такие обязательно подчеркивали, что не были ранены и не попали в окружение, а сдались в плен добровольно. Все они в своих автобиографиях обязательно сообщали, каким имуществом до революции владели их родители. Отвечая на вопрос: «Состоял ли в профсоюзе?» — обязательно приписывали: «Состоял насильственно».

Один из «развязных», коренастый, широкоплечий, скуластый, с приткым, бегающим взглядом, не дожидаясь, сам поспешно подсказал себе кличку:

— «Лапоть».

Просматривая анкету, Вайс прочел в графе «Должность, занимаемая в армии»: «Боец похоронной команды». Таких подразделений в начале войны не было. В ответ на вопрос о профессии было написано: «Сапожник».

Вайс предложил:

— У нас есть мастерские, я тебя зачислю.

Лапоть поежился. Потом, обрадовавшись, что нашел убедительный аргумент, усмехнулся, объявил обидчиво:

— Меня ведь не в сапожники вербовали — на шпiona подписку дал. За что же такое понижение в должности?

Автобиография Лаптя была написана абсолютно грамотно, хотя он и утверждал, что окончил только три класса начальной школы.

Вайс все взял на заметку, но не счел целесообразным до поры до времени задерживать свое внимание на ком-либо в отдельности.

При опросе, заполнении анкет и составлении автобиографии пленные вели себя по-разному. Одни стремились как можно больше сообщить о себе, другие, напротив, ограничивались краткими ответами на обязательные вопросы и упорно уклонялись от оскорбительных эпитетов, описывая советский период своей жизни.

Одному такому Вайс сделал замечание. Тот ответил хмуро:

— Я же дал подписку на сотрудничество, чего же вы от меня еще хотите?

Вайс сказал:

— Ты должен дать политическую оценку советской системы.

— Зачем?

— А затем, что если вздумаешь стать перебежчиком и в случае, если это твое жизнеописание как-нибудь попадет в руки советским властям, то тебя повесят без снисхождения.

— И без этого, будьте спокойны, повесят.

— Значит, ты предпочитаешь, чтобы тебя казнили там, а не здесь?

— Что я предпочитаю, ясно. Иначе бы тут не был.

— Кем был в лагере?

— Человеком.

— Я спрашиваю, — строго произнес Вайс, — какие имел заслуги перед нами?

— А, заслуги?.. — будто только сейчас поняв вопрос, повторил опрашиваемый. — Заслуги самые обыкновенные. Мне один тип указал подкуп, а я его придавил, чтобы других бежать не сманивал.

— А может, этот тип был нашим подставным «кроли-

ком», — пытливо глядя собеседнику в глаза, спросил Вайс, — и ты его убил?

Человек изменился в лице, но сумел справиться с собой.

— Гестапо мной занималось, — проговорил сквозь зубы. Поднял рубаху, показал рубцы: — Вот, глядите, штампы — проверенный...

Один из тех, кто держал себя солидно, — лысый, пожилой, с опавшим брюшком и командирским баритоном, — обстоятельно разъяснил Вайсу, почему он стал на этот путь.

Да, он кадровый командир, но из его послужного списка отчетливо явствует, сколько лет он сидел на одной и той же должности, не получая повышения в звании и личных наград. Он полагал, что война откроет перед ним перспективы для продвижения по службе, и действовал решительно: приказал вверенной ему части подняться с оборонительной полосы и в не подходящий для этого момент перейти в штыковую атаку. Все до одного полегли под огнем противника, а он остался жив и знал, что его ожидает военный трибунал. Он предпочел сдаться.

— Кстати, — напомнил этот кадровый, — я еще в первую мировую был в плену и навсегда сохранил самые благоприятные воспоминания о гуманности немцев.

— Вы были тогда офицером?

— Только вольноопределяющимся. Но бумаги на присвоение мне чина прапорщика были уже отосланы в полк.

Некоторые из этих людей, решившихся на измену Родине, полагали, что их предательство будет как-то по-особому отмечено немцами, и настойчиво пытались выведать у переводчика, на какие привилегии они могут рассчитывать. Больше всего их интересовало, получают ли они после того, как выполняют задание, — если, конечно, останутся живы, — право на немецкое гражданство или хотя бы возможность занять выгодные должности на оккупированной территории.

Одни задавали такие вопросы заинтересованно, по-деловому, другие, как смутно предполагал Вайс, только для того, чтобы внушить, будто бы они действительно рассчитывают на награду, стараясь прикрыть подобными вопросами то, что они хотели утаить здесь от немцев.

Иоганну приходилось вести допрос с утра до позднего вечера. В бараке пахло дезинфекцией, пропитанной потом обувью, прогорклой грязью немытых человеческих тел.

Мучительнее всего было смотреть в глаза этим людям — у одних распахнутые в молчаливом вопле отчаяния, со зрачками как запекшиеся черной кровью сквозные раны. Такие немом кричащие глаза, верно, бывают у людей, неотвратимо приговоривших себя к самоубийству.

У других — сошуренные, узкие, как лезвие, оледеневшие

в жестокости на себя и на всех, выражающие безоглядную готовность на что угодно.

У третьих — юркие, прытко бегающие, неуловимые, и в этой их неуловимости таилась живучая сила коварной изворотливости.

Были глаза мертвые, с остановившимся взглядом, как у человека, отрешившегося от жизни и продолжающего существование помимо своей воли и сознания.

Были блестящие, злые, и зрачки их зияли чернотой наведенного пистолетного дула. Патроны кончились, но у человека теплится тайная надежда, что остался еще один, последний, и он колеблется: сохранить его в последнее мгновение для себя или выстрелить во врага?..

Были белые, бараньи, одинаково взирающие на все, на что бы ни упал их взгляд, взгляд равнодушного домашнего животного.

Были сверкающие, словно горящие изнутри, как у тифозных, охваченных бредом, когда утрачивается представление о времени, о себе и правда так сплетается с вымыслом, что все, даже собственное существование, кажется недостоверным, лживым.

Были и такие, которые обладали способностью сохранять непроницаемое спокойствие. И казалось, будто эти глаза созданы не из живой человеческой плоти, а из стекла и, подобно искусственным, служат только для того, чтобы не страшить людей пустыми темными впадинами глазниц.

Были внимательные и напряженно чуткие, с неустанным прищуром, как у снайпера в засаде, хорошо знающего, что каждый его выстрел — это не только урон врагу, но одновременно и демаскировка: ведь этим выстрелом он вызовет на себя огонь противника, и надо неторопливо все взвесить, прежде чем нажать на спусковой крючок.

А может, это только казалось Иоганну. Ему очень хотелось верить, что среди тех, кто проходил перед ним, можно обнаружить людей с тайными помыслами. Людей, не утративших окончательно человеческих черт даже после самых жесточайших испытаний.

Беглый медицинский осмотр завербованных проводился не для того, чтобы установить их физическую пригодность, а с единственной целью — оборонить немецкий персонал от возможной инфекции. Кроме того, если на теле имелись следы множественных боевых ранений, это вызывало подозрение, и завербованного подвергали дополнительному допросу, чтобы установить, при каких обстоятельствах он был ранен, не следствие ли это некогда проявленного героизма, не служат ли эти ранения уликами против него. И все подозрительные улики заносились в карточку завербованного.

Были тела сухие, костистые, и на коже, словно на древ-

них письменах, можно было прочесть, какими орудиями, средствами пыток доведен человек до той степени отчаяния, которая привела его сюда.

Были болезненно обрюзгшие в лагерях от наградной жратвы, которую они поглощали втайне, поспешно и жадно, страшась быть уличенными в этой жратве, ибо она была неотвратимым доказательством их предательства. А предателями они становились ради этой жратвы, ради освобождения от каторжных работ и скрывались в одиночном карцере от всех, как звери в норе — в норе, пахнувшей кровью тех, кого бросали сюда обессиленными после экзекуций.

И на всех Иоганн должен был смотреть внимательно, запоминая, вылавливая и классифицируя приметы, но не будучи уверенным, что ему удалось обнаружить хотя бы одну точку, на которую можно опереться. Ничего обнадеживающего пока не было.

Все эти дни Иоганн испытывал болезненную тревогу, даже смятение, ибо, оказавшись лицом к лицу с бесконечной вереницей этих так низко павших людей, он пришел в отчаяние, стал сомневаться, сумеет ли все преодолеть, подняться над опустошающим душу сознанием, что среди его соотечественников незримо и мирно жили, работали, существовали и такие, как они.

Как и многие молодые люди его поколения, Иоганн привык думать, что есть только классовые враги, с ассортиментом очевидных примет, не однажды распознанных в борьбе,— примет, столь же явственных, как родимые пятна. Да, тут были и такие, с этими отчетливо обозначенными приметами. И с ними все было просто и очевидно, и сознание этой очевидности освобождало от мучительной необходимости объяснить себе их измену. Но были и иные — те, кого не подведешь под облегчающую сознание привычную рубрику.

Значит, есть еще нечто сокровенное, слагающееся из суммы нравственных черт, которые воплощаются в особенностях характера. Железо убежденности не срастается с душевным жиром себялюбия. Покорность обстоятельствам лишает человека воли, он не в состоянии ополчиться против них и не совершить измены.

Есть еще коварство загнанного ума, которое предательски подсказывает оказавшемуся в тупике человеку позорный и жалкий выход, и человек не думает о том, что выход, который он нашел для себя, толкает его в бездну.

После первой уступки врагу человек порой приходит в иступленное отчаяние, утрачивает силу сопротивления и, ступив в гниль трясины, все глубже и глубже опускается на дно.

И если ведомо, из каких чистых источников черпает человек силы для борьбы, в сколь ужасающих условиях она бы ни происходила, то неведомы до конца все отравляющие его

душу яды, бессильные против одного человеческого характера и смертельные для другого.

Решение всех этих людей стать на путь измены Родине отсекало их от Родины, и сами они, скрепив это решение собственноручной подписью, как бы подписали себе приговор неоспоримый.

Казалось, все здесь ясно, и Иоганну оставалось только найти способы и средства, чтобы привести в исполнение приговор, который сами себе подписали изменники, и чем скорее это совершится, тем вернее он обезопасит советских людей от преступлений, орудиями которых стали в руках врагов эти отступники.

По разве дано ему право — право вынести всем тем, кто здесь проходит перед ним, огульный приговор? Нет, необходимо провести предварительное «следствие», выводы которого будут опираться на изучение душ, ибо других материалов, более достоверных в таких условиях, у него нет и не будет. И он должен решиться на это, повинувшись своей убежденности: какой бы мертвящей судорогой ни была сведена душа этих людей, если она не утратила живую частицу отчизны, есть еще надежда, что эта маленькая частица сумеет победить все черное, омертвевшее в человеке.

И здесь, среди отъявленных врагов, Иоганн должен найти себе союзников. Он знал, что это потребует такого напряжения всех его духовных сил, какого требует истинный подвиг.

И он пылливо, изучающе вглядывался в каждого, кто проходил перед ним, упрямо отыскивая опорную точку, иногда даже сбманчивую, мнимую. Если такая точка обнаружится, необходимо расширить ее, как предмостный плацдарм для завоевания человека. Решившись на подвиг, такой человек обретет право стать его, Иоганна, соратником.

Что же касается безнадежных, неспособных искупить свою черную вину, то тут все проще — тут все дело в технике: Иоганн тщательно продумал, какие технические средства следует ему применять. Он был достаточно хорошо профессионально оснащен, достаточно знаком с оперативным искусством, с методами организации разведывательной работы, наиболее целесообразно применимыми в данных условиях, и знал, что здесь он не будет одинок: после того, как дома получат его предложения, специалисты в этой области посвятят немало кропотливого труда их плановой разработке.

Всему этому сопутствовали размышления о том, как себя вести, чтобы сослуживцы по «штабу Вали» благосклонно оценили его служебное усердие, как вместе с тем, не вызывая ревнивой зависти, внушить им, что их молодой сотрудник обладает некоторыми способностями и главная сфера их проявления — неутомимое трудолюбие. Это, с одной стороны, вызовет расположение сослуживцев, а с другой — сэкономит

его время и силы, направленные на решение главной задачи. Но без такой защитной брони он не может выйти на арену битвы. Надо ли говорить, какое безмерное душевное и физическое напряжение требовалось от Иоганна?

34

В отличие от обычных воинских частей германской армии, в поведении офицеров абвера на службе и вне ее особой разницы не было. Не было какой-либо подчеркнутой подтянутости и официальности на службе, а тем паче за пределами ее. Солдаты в большинстве рекрутировались из интеллигенции и знали границу между почтительностью и полуфамильярностью.

Офицеры одинакового звания и на службе и вне ее обращались друг к другу по имени и на «ты». К высшим чинам, начиная с генерала, а иногда полковника, если он занимал генеральскую должность, обращались по званию, прибавляя слово «господин», а по делам службы — в третьем лице. Вне ее — и во втором лице, особенно если видели начальника не в первый раз и разговор не был подчеркнут официально. Агенты обращались ко всем офицерам только по званию, не упоминая фамилии и не прибавляя слова «господин». Приветствие было военным — абверовцы козыряли друг другу, — а не партийным, как в СД, СС, гестапо, где салютовали подтянутой рукой.

В сущности, все это были матерые специалисты, профессионалы с мозолями на запястьях от долговременного пребывания на подобного рода службе. Те из них, кто попрытче, перекинулись в свое время в СД, в гестапо или, став доверенными подручными Канариса, прочно обосновались в Берлине. Некоторые еще в юности прошли практику в тайной полиции, другие — их было большинство — приобрели фундаментальный опыт в годы первой мировой войны на агентурной работе в разведке и контрразведке.

Будучи узкими специалистами каждый в своей отрасли, убежденными в том, что служба абвера всегда почитаема правителями Германии, они считали себя людьми особой касты, и эта кастовая общность создавала между ними атмосферу обоюдного доверия и уважения.

Поэтому появление в их среде новичка Иоганна Вайса вызвало скептическое недоверие, порожденное не столько политической подозрительностью, сколько вопросами этики. Кроме кодекса офицерской воспитанности здесь существовал кодекс профессиональной этики. Он заключался в том, чтобы не называть вещи своими именами.

Подлейшие средства, приемы, чудовищные, зверские цели украшались профессорской элегантной терминологией и об-

суждались с академической бесстрастностью. Даже те, кто, пройдя практику в уголовной полиции, в совершенстве владел жаргоном профессиональных уголовников и проституток, здесь не решались пользоваться этим богатым фольклором и стремились изъясняться изысканно научно.

Как ни странно, но такая атмосфера благовоспитанности не усложнила, а облегчила задачу Вайса.

Его недюжинные познания, знакомство с немецкой классической литературой, философией, работами ученых в области техники, трудами стародавних историков и юристов, книгами по различным отраслям знаний, написанными в догитлеровские времена, послужили прочным фундаментом, чтобы выглядеть человеком, чуждым вульгарности типичных наци и вместе с тем достаточно гибким и осведомленным, чтобы не казаться со своими познаниями несколько старомодным.

С первых же встреч с новыми коллегами Вайс дал им понять, что его «немецкий консерватизм» — лишь следствие жизни вне рейха, в Прибалтике, где привязанность к отчизне могла находить выражение только в привязанности ко всему тому, что создал немецкий народ на протяжении своей истории. Это признание произвело впечатление правдивости.

Иоганн считал необходимым заявить также о том, что Германия нового порядка, когда он был вдали от нее, воспринималась им особенно возвышенно, романтически. Он чувствует себя в долгу перед рейхом и поэтому любую работу, какую бы здесь ему ни поручили, будет выполнять с полной отдачей всех своих сил, надеясь, что более опытные и заслуженные сотрудники не откажут ему в добрых советах и помощи, а за это он в свою очередь готов отблагодарить их любыми услугами.

Эта скромность и непритязательность немало содействовали тому, что предубежденность в отношении к Иоганну растаяла, а его любезная готовность исполнять чужие обязанности была воспринята благосклонно.

Вместе с тем медаль и упоминание о знакомстве с отдельными деятелями гестапо и СД послужили некоторого рода предупреждением; было ясно что, хотя Вайс и благодушный юноша, он не простак, ищущий у каждого поддержки и покровительства. Он из тех, кто стремится достичь успеха в служебных делах, но хочет только того, чего может добиться.

Расторопность, смысленность и работоспособность Вайса в первые же дни формирования школы были замечены и отмечены. С особым усердием он посвятил себя канцелярским трудам. Изучив личные дела, он по собственной инициативе составил специальную конспективную картотеку, где определенными цветами была обозначена степень благонадежности каждого завербованного. Это было очень удобно для команд-

ного состава, так как позволяло мгновенно ориентироваться в пестром контингенте новичков.

Поменять же в случае изменения характеристики цветные кодированные обозначения совсем не составляло труда — стоило только прикрепить скрепкой цветной квадратик к той или иной карточке.

Картотека, созданная Вайсом, не имела официального характера и предназначалась только для внутреннего, служебного пользования. Официальная картотека, составленная по утвержденной форме, была более громоздкой. Для своей картотеки Вайс заказал дополнительные комплекты фотокарточек, и, так как этот заказ не мог быть внесен в платежную ведомость, оплатил работу фотографа из своих денег. А то, что у него оказался на руках второй комплект фотозаказа, можно было счесть наградой за предприимчивость, трофеем. Правда, Иоганн все же счел необходимым в присутствии фотографа сжечь лишний комплект фотографий, завернув их в старые газеты. Это был довольно незамысловатый прием, ибо в старые газеты он завернул не фотографии курсантов, а стопку засвеченной фотобумаги. Тем самым Иоганн избавил себя от необходимости снова выступить в роли художника.

Тайник для хранения фотографий он решил устроить в комнате обер-лейтенанта Гагена, с которым установил самые дружеские отношения, и недолго думая с помощью ленты пластира прилепил пакет с фотографиями с оборотной стороны большого зеркала, висевшего над умывальником.

Все это было весьма обнадеживающим началом новой стези Иоганна Вайса в качестве переводчика-инструктора при разведывательно-диверсионном «штабе Вали».

Ночью здесь тихо, будто в глубокой яме. И темнота за окном кажется вязкой, холодной, как тина. Даже сторожевые псы выдрессированы так, что никогда не лают — они молча бросаются на человека.

На вешалке мундир и штатский костюм Иоганна.

Лежа на койке, он смотрит на эти свои немецкие одежды и не чувствует себя свободным от них. Отдых не приходит. Он стал плохо спать. А ему нужно уметь хорошо выспаться, что бы там ни было.

Даже если оружие все время держать на боевом взводе, спусковая пружина ослабевает, металл ослабевает и может быть осечка.

Металл ослабевает от постоянного напряжения. А человек?

Почти все работники «штаба Вали» ведут здесь строго регламентированный, размеренный, гигиеничный образ жизни. Большинство офицеров — пожилые люди, и они пекутся о своем здоровье с особой тщательностью. Соблюдают диету.

Перед сном в одиночестве гуляют по плацу, мерно печатая шаг. Встречаясь, беседуют на легкие, не обременяющие ум темы. Этаким разговорный моцион.

О служебных делах говорят только на работе, в остальное время подобные разговоры звучали бы не только странно, но и неприлично. Для этих людей род деятельности, избранный ими, — служба, не более. Разве только чувство корпоративности развито сильнее, чем у других. Годы опыта выработали у них такое же отношение к обучаемым агентам, как у учителей-педантов к школьникам: дисциплина — вот главное. Методика, приемы обучения сложились десятилетиями огромной практики и проверены действиями обученных ими агентов во многих странах. Некоторым присуще педагогическое тщеславие, и они с гордостью вспоминают тех своих подопечных, чьи операции вошли в хрестоматию немецкой разведки.

Такие старые офицеры абвера, привыкшие работать с агентурой на западноевропейском материале, часто завербованном среди тех, кто занимает видные посты или должности или имеет солидное положение в мире коммерции, достигнутое порой с помощью той же разведки, — такие ветераны разведки считают порученное им занятие — подготовку агенты из военнопленных — ничтожным, мелким делом, пренебрежением к их квалификации, использованием не по назначению.

Знакомясь с личными делами военнопленных, будущих агентов, они сетуют на то, что среди них нет людей, занимавших у себя на родине солидное, уважаемое положение или высшие офицерские должности. С их профессиональной точки зрения, это материал самого низкого сорта — непрочный. Уж если эти личности не смогли многого достигнуть у себя дома, значит, они не обладают способностями для этого, значит, у них отсутствуют данные, необходимые профессиональным агентам-разведчикам. И среди них нет достаточно перспективных, годных для долгого оседания, способных проникнуть благодаря личным качествам в важные для разведки советские учреждения.

Читая в автобиографиях перечень различного рода бед и ущерба, нанесенного советской властью всем этим людям, они пожимали плечами, полагая, что человек, обладающий умом и ловкостью, при любых обстоятельствах, даже враждебно относясь к существующему строю, мог бы найти тысячи способов, не опускаясь на дно, всплыть на поверхность.

Бывшего уголовного преступника по кличке «Чуб», перечислившего все статьи и сроки заключения, к которым он приговаривался, а также обстоятельства, при которых он попадался, сочли фигурой малоперспективной. Ведь если он всегда действовал в одиночку, — значит, лишен организатор-

ских способностей. А все крупные европейские уголовники-профессионалы уже давно усвоили практику разделения труда, осуществляемую посредством строжайшей дисциплины и организованности.

Эрнст Гаген наставительно говорил Вайсу:

— Заметьте, Иоганн, — русские по большей части лишены практицизма и элементарной житейской мудрости. Кстати, эту черту гениально подметил Достоевский, а большевики развили ее до крайности. Мы даем здесь этим людям определенные профессиональные знания. Дальнейшее воспитание делает их до некоторой степени пригодными для службы. Специфика ее в том, что отпадает надобность в различного рода нравственных представлениях. Я хочу сказать, что они получают освобождение от многих норм, выработанных для того, чтобы личность была строго привязана к таким условиям, как понятие родины, долга, чести и прочего.

Человек, вербуемый в одной стране для нужд другой страны, освобождается от национальной привязанности, политического эгоизма и преданно, как никто другой, служит собственным интересам, самому себе.

Именно такое осознание своего назначения присуще лучшим агентам, завербованным нами в различных европейских странах. А эти русские переживают какую-то трагедию, не спят, нервничают, и совсем не потому, что они будут подвергаться опасности, когда их забросят в тыл. Нет. Они ищут самооправдания. В чем? В том, что, следуя логике обстоятельств, они поступили разумно и в качестве побежденных оказались на службе у победителей!

И, вы заметьте, совсем не многие из них спрашивают о форме вознаграждения. Вначале мне это казалось подозрительным. Но потом я убедился, что они настолько поглощены болезненно чувствительными воспоминаниями о своем прошлом, что не способны не только трезво, житейски интересоваться своим будущим, но даже достаточно четко оценить свое сегодняшнее, преимущественное положение по сравнению с тем, в каком находятся их же соотечественники в наших концлагерях. Они не способны понять, внушить себе то, что при подобных обстоятельствах приходит в голову любому нормальному человеку. Если они согласились быть привлеченными из лагерей, значит, мы их спасли от смерти. Значит, их жизнь принадлежит нам. Они лишились права собственности на свою жизнь, как лишается права на собственность банкрот. Но мы возвращаем им жизнь, их собственность, сохраняя за собой только право разумного и целесообразного ее использования.

— Вы не пробовали внушить им это? — поинтересовался Вайс.

Гаген произнес задумчиво:

— Пробовал. Беседовал с одним в подобном духе, но мне показалось, он слушал меня, как христианин может слушать язычника.

— Простите, я не понял, — сказал Вайс, хотя он и понял: ему хотелось уточнить слова Гагена. — Ведь в большинстве они атеисты.

— Я не в буквальном, а в переносном смысле употребил слово «христианин» — как синоним некоей иступленной веры.

— И кто это был?

— Я не помню, — уклонился от ответа Гаген и добавил строго: — Это говорит о том, что даже здесь попадаются экземпляры столь же редкостные, сколь и нежелательные.

— Смею вам возразить, — сказал Иоганн. — Среди них имеются отличные экземпляры — несомненные ненавистники советской государственности.

— Вы имеете в виду тех, кто прибыл к нам из Бельчинской, Брайтенфуртской и Нойкурнской подготовительных школ?

Вайс кивнул.

Гаген снова задумался.

— Самые ценные среди них из белоэмигрантов — националисты. Их идеи являются наиболее действенным подрывным средством для порабощения нами того народа, который они представляют. Испыганный метод Англии разделять, чтобы властвовать, подтверждает эту истину. Но все они, в сущности, фанатики-фантазеры.

— Почему фантазеры?

— А потому, — наставительно объяснил Гаген, — что эти националистические элементы нужны нам сейчас только для того, чтобы использовать их на оккупированных территориях. Они нужны нам для разложения противника, для ослабления его единства. Но в дальнейшем существование националистов станет несовместимым с германизацией и колонизацией национальных территорий даже в том случае, если мы будем рассматривать эти территории только как экспортное пространство и сырьевые придатки или, уже абсолютно либерально, как неких сателлитов.

Это же в равной мере относится к монархистам и к тем, кто полагает, что с помощью немецкой армии в России будет реставрировано буржуазно-демократическое правление в духе Керенского.

— А почему бы и нет?

— А потому, — сердито сказал Гаген, — что межнациональный Советский Союз состоит из наций, которые на практике испытали выгоду этого союза. И они уже привыкли исчислять свою мощь и величие совокупностью общей экономики и, пользуясь выгодой этой совокупной экономики,

привыкли к определенному уровню жизни и правовому равенству.

— И что же?

— А то, что рубить их на куски, надеясь, что эти куски не будут стремиться к воссоединению, — это все равно как пытаться клинком опустошить водоем.

— Какой же может быть путь?

— Я полагаю, — твердо произнес Гаген, — тот единственный, который мы избрали в отношении этой страны. И если некоторым подход фюрера к решению проблемы казался раньше слишком прямолинейным, то теперь мы убеждены: другого пути нет и не может быть. Только применяя крайнюю степень насилия, можно сохранить эти территории за рейхом. Нужно опустошить гигантский человеческий резервуар, и опустошить самым решительным образом. А то, что останется на дне, использовать как вспомогательную рабочую силу, регулируя рождаемость так, чтобы в будущем нам ничто не могло угрожать потопом. — Добавил наставительно: — Поймите, мой молодой друг: нации, находящиеся долговременно под влиянием советского устройства и вскормленные его плодами, подобны Ромулу и Рему, вскормленным волчицей.

Волчицу можно убить, но ее молоко уже всосано. И те, которые, попав к нам, называют эту волчицу зверем и, призывая к ее убийству, зверствуют над теми, кто почитает ее матерью, могут рассчитывать на поддержку только отдельных индивидуумов. Но не на племя.

— На кого же нам тогда полагаться?

Гаген улыбнулся и сказал, подчеркивая снисходительной улыбкой превосходство своей логики:

— Именно на этих националистов, поддерживая у них иллюзии самостийного сепаратизма, буржуазно-демократического реставраторства, и на тех, кто принимал здесь участие в казнях своих соотечественников, чем пожизненно закрепил себя за нашей службой. Это тот материал, с которым нам надлежит работать.

Что из этих суждений Гагена было плодом его собственных размышлений, а что — наигрышем, профессиональным навыком двоедущия, порождением механической привычки подламливать собеседника, кем бы он ни был, — определить трудно. Но все это расширяло представление Иоганна о своих сослуживцах, открывало ему те извилистые способы, с помощью которых они прощупывали собеседника.

Во всяком случае, Иоганну удалось обнаружить слабую точку в надежно защищенной панцирем профессиональной осмотрительности душевном организме Гагена. Такой уязвимой точкой оказалось авторское тщеславие.

Гаген считал себя теоретиком науки о разведке. Он полагал, что стремление к познанию — это уже своеобразная форма разведывательной деятельности. Устойчивость государственной власти зависит лишь от степени разветвленности агентурной системы, и опасность существующему строю может грозить только оттуда, куда эта система не проникает. Эта концепция была плагиатом японской доктрины тотального шпионажа, систему которого Гесс изучал в Японии и успешно перенес на почву Третьей империи.

Гаген, страдавший дальновзоркостью, держал страницы рукописи на вытянутой руке и высоким голосом читал Иоганну избранные места. При этом его рыхлое, бледное лицо становилось торжественным и обретало сходство со скульптурным портретом Нерона, только вылепленным из жирного пластилина.

Голосом декларатора Гаген произносил высокопарно:

— Быть всеведущим — это значит быть всемогущим. Знать противника — это быть всемогущим. Знание противника — это наполовину одержанная победа.

Эта истина столь же неукоснительна и всеобща, как то, что для подчинения низших существ высшему — человеку — неизбежно применение такого регулятора подавления инстинктов, как голод, неизбежно также применение динамических приемов, вызывающих болевые ощущения. Только надежная система секретных служб может обеспечить правящих лиц сведениями о тайных слабостях управляемого ими общества и придать этим лицам династическую устойчивость.

Вайс спросил с деланной наивностью:

— Но у Фюрера, увы, нет наследников?

— Да, — согласился Гаген. — Фюрер обладает величайшим политическим темпераментом и все другое приносит ему в жертву.

Вайс заметил с подчеркнутой серьезностью:

— Ваш труд открывает в нашей деятельности такие глубины, показывает ее в таком неожиданном аспекте, что я просто ошеломлен. — И скромно добавил: — К сожалению, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить все значение ваших сообщений.

Гаген, тронутый похвалой простодушного собеседника, пообещал:

— Я окажу вам некоторую помощь — моя библиотека в вашем распоряжении.

Беседы о книгах, взятых у Гагена, позволяли Иоганну пополнить знания о стилевых приемах, применявшихся фашистскими разведчиками.

Создавая разведшколы для подготовки агентов из числа советских военнопленных, руководство гитлеровской разведки издало специальную директиву, в которой указывалось,

что руководители школ, преподавательский и инструкторский состав должны строить свою работу в расчете на завоевание полного доверия со стороны курсантов. С этой целью предписывалось в общении с ними быть обходительными, требовательными, но справедливыми, чтобы создать впечатление гуманности и высокой культуры. Убеждать курсантов, что немцы выполняют лишь роль посредников, оказывающих содействие антисоветским зарубежным центрам в освобождении СССР от большевиков. Внушать мысль о том, что курсанты — сыны своей страны, только страны нового порядка, и действуют добровольно, по собственному желанию, и немцы не вмешиваются в их внутреннюю жизнь, а лишь оказывают им психическую помощь.

Эта двуединая тактика бича и пряника, помесь палача с кондитером, гибрид гены с лисой были достаточно известны Иоганну. По книжным источникам специального фонда, составленного из покаянных показаний провалившихся шпионов, он изучал школу подлости империалистических разведок, хорошо ознакомился с теми методическими уловками, которые они применяли в отношении своей агентуры. И видеть, как ловцы загнанных душ с изощренным мастерством коварного лицемерия осуществляют свою тактику, было для Иоганна равносильным тому, чтобы ежедневно, ежечасно наблюдать палачей, которые перед совершением казни состязаются в любезности к своим жертвам.

Какие нужны слова, чтобы передать «задушевную» беседу Гагена с человеком с мертвыми, остановившимися глазами на синюшном отечном лице?

В лагере этот человек по кличке «Гога» отказался выбить скамейку из-под ног приговоренного к повешению. Ему пригрозили такой же казнью, но он снова отказался. Тогда тот, у кого уже была петля на шее, сурово приказал:

— Не лезь мне в напарники! Добровольная смерть — значит на них работать. — И попросил: — Не теряйся, товарищ!

Гога совершил то, что казалось тому человеку необходимым для борьбы с фашистами и тем самым оправданным. Но заключенные не простили Гогу. Он ослабел, опустился до должности капо. И сейчас он здесь, курсант.

И этому человеку с погасшим взглядом Гаген ласково разъясняет, что если бы коммунисты не создавали среди военнопленных подпольных организаций и военнопленные подчинялись бы всем установленным правилам, то не было бы никакой нужды ни в военной охране лагеря, ни в системе наказаний, — ведь все это противоречит свойственной немцам чувствительности и вызывает у исполнителей душевные страдания, причем более мучительные, нежели физические страдания нарушителей порядка.

Что же касается ограниченного рациона питания заклю-

ченных, то объясняется это совсем просто. Германия взяла на себя миссию содержать советских военнопленных, но саботаж советских граждан на оккупированных территориях лишает ее возможности получать оттуда такое количество продовольствия, которое могло бы обеспечить и военнопленных. Таким образом, получается, что советские люди, находящиеся на оккупированных территориях, виновны в том, что советские военнопленные умирают в лагерях от голода.

Все это Гаген говорил воркующим тоном, участливо глядя в мертвые глаза Гоги.

Гога сидел перед Гагеном на табуретке, вытянувшись, будто по команде «смирно». Руки его покорно лежали на коленях, окурок сигареты уже обжигал губы, но он не замечал этого. Лицо оставалось бесстрастным, и только правая нога, — вероятно, ею он вышиб скамейку из-под ног приговоренного к смерти товарища, — непрерывно дрожала.

Склоняясь к Гоге, Гаген говорил с вкрадчивой улыбкой:

— Русский народ — прекрасный народ, у него добрая, простая душа и есть очень красивые песни. Он хороший, трудолюбивый пахарь. Мы очень любим русский народ. И мы поможем вашим целям, чтобы Россия снова стала для вас уютной, как родная изба. — Напомнил вкрадчиво: — У вас были очень добрые императрицы — Екатерина Первая, а также Вторая. Немки. О! Как они заботились о русском народе! А народ называл их «матушка», то есть «мама». Как это прекрасно! — Гаген закатил глаза, потом произнес строго, осуждающе: — Конечно, мы, немцы, виноваты перед вами, что не смогли в свое время разоблачить перед всем миром преступность идей Маркса. Вы пали их жертвами, и теперь мы несем ответственность за то, что Маркс родился на нашей земле, и вынуждены спасать другие народы от его зловредных идей. Нам помогают в этом наши доблестные солдаты. — Спросил заботливо: — Ты все понял?

Гога вскочил, вытянулся.

— Так точно! — Но мертвые глаза его — Иоганн заметил это — на какое-то мгновение блеснули зло и насмешливо, а потом снова потускнели, умерли.

Когда Гога ушел, Гаген попросил Иоганна открыть в канцелярии форточку, сказал брезгливо:

— От этих скотов воняет псиной. — Спросил оживленно, с хвастливой нотой в голосе: — Вы заметили, как это существо растрогалось, когда я сказал приятное о его племени? — Заявил: — Мы должны очень хорошо знать их историю, обычаи. Им это лестно и пробуждает здоровые инстинкты земледельцев.

Каждый из руководителей, преподавателей, инструкторов изощрял свои способности, стремясь наилучшим образом выполнить секретную директиву о снискании доверия курсантов.

В долгие безмолвные ночи, когда все, обессиленное тишиной, казалось здесь мертвым, жгучие мысли обжигали мозг Иоганна, лишая его сна.

У него было ощущение, что он сам попал в ловушку этой коварной директивы, лишившей его возможности найти путь к сближению с курсантами. Если руководители, преподаватели, инструкторы, следуя этой директиве, будут завоевывать доверие курсантов при помощи лицемерного доброжелательства, то, естественно, у тех, кто нужен Иоганну, рано или поздно возникнет острое недоверие к немцам, ищущим сближения с ними таким путем. Для Иоганна этот путь неприемлем. Все, что он попытается сделать, будет казаться ловушкой тем, кто еще имеет надежду вырваться на свободу.

Дать понять людям, которых он наметит, что все это немецкое дружеское расположение не что иное, как ловушка? Но как? Для этого он должен предварительно обрести их доверие. Но когда все немцы здесь стремятся к тому же, как смогут выбранные им люди отличить его искренние стремления от стремлений его сослуживцев?

И еще одно, очень важное. У Иоганна оказался талант перевоплощения, и, пройдя предварительную подготовку, он заставил себя перевоплотиться в немца, стать немцем, неизменно оставаясь при этом самим собой. Играя эту роль, он все время совершенствовал ее, восприимчиво заимствуя у окружающих нужные ему мельчайшие черточки, которые он неустанно подмечал и кропотливо собирал. Верно угадывая психологию тех, с кем ему приходилось общаться, он с механической точностью воспроизводил их идеологические канонизированные фразы: они служили ему защитным средством, таким официозным мундиром мысли. Все это выходило у него достаточно достоверно. Но проникнуть в душу человека, изменившего Родине, поставить себя на его место, чтобы тщательно исследовать, что же человеческое осталось в нем в таких обстоятельствах, а что погибло намертво,— это Иоганну не удавалось.

Он еще мог представить себе загнанного, замученного, слабавольного человека, который в момент отчаяния решил «в качестве разумного временного компромисса» сделать начальную уступку врагу и, втянутый в первый круг водоворота, потом падает все ниже, влекомый суживающимися кругами на гибельное дно.

Такого человека он должен понять и суметь найти логику убеждения, чтобы внушить ему мужество, так позорно утраченное, и затем обнадежить, заставить поверить, что, совершив подвиг, он сумеет вновь вернуться к своему народу.

И надо думать, что такой путь падения прошли многие. Но среди тех, кто стал предателем из-за своей слабости, есть и другие, те, кто совершает сейчас новое и еще более подлое

предательство: легко клюнув на внушаемые фашистами лживые посулы, эти трусы набираются здесь храбрости в надежде стать доверенными соучастниками в разбойничьем рассечении их отчизны на куски. Они верят, что каждый такой кусок под благосклонной эгидой германской империи станет изолированным заповедником всего стародавнего, патриархального и Германия будет заботиться о подопечных земледельческих нациях — своих сырьевых придатках.

К познанию вот таких личностей Иоганн не мог подобрать ключи, не понимал их. А такие были, особенно среди тех, кого привезли сюда из подготовительных школ, — воспитанники различных буржуазно-националистических антисоветских центров. Им мерещилась кроткая покорность своих народов, обращенных вспять, к старым, патриархальным временам, тихая жизнь под соломенными кровлями хат, «самостийное» существование. И ради него они готовы были истреблять свой народ, который влился в семью других советских народов, образовавших величайшую социалистическую державу. Но вместе с тем нельзя было не думать, что, кроме тех, у кого навязанные врагом взгляды срослись с плотью, были и другие, и для них эти взгляды могли служить только защитной окраской, средством самосохранения.

Каждому курсанту на очередном занятии предлагалось написать сочинение на тему «Почему я враг советской власти».

С одной стороны, это сочинение должно было стать своего рода векселем, залогом проданной врагам души, а с другой — давало материал для исследования. По нему можно было судить, насколько совершенное предательство связано с суждениями предателя о своей родине.

Как бы ни было омерзительно это чтение, Иоганн отводил ему многие часы. Напряженно, вдумчиво анализировал он каждую фразу, искал в ней скрытый смысл, сопротивление мысли или изворотливость, прибегая к которой можно уклониться от необходимости оскорблять самое священное для человека. Он стремился распознать даже ту преднамеренную тупость, за которой таится, быть может, еще не полностью утраченная привязанность к родной стране. Другие переводчики, не владевшие русским языком в такой степени, не могли, читая сочинение, постичь во всей полноте его сокровенный смысл и потому не были способны раскрыть истинное значение фраз, в которых Иоганн опознавал умысел, двусмысленные, тайную издевку.

А тупую злобу, порожденную утратой собственности, злобу пополам с надеждой, что эта собственность будет возвращена, немецкие переводчики воспринимали как наглое попользование раба на долю награбленного хозяином. И таких брали на заметку как страдающих никчемными иллюзиями.

Здесь каждого поощряли шить себе из грязного тряпья

антисоветских пропагандистских отбросов любое знамя. Курсантам разрешали считать себя как бы негласными союзниками вермахта, но они были всего-навсего как те черные крысы, которых забрасывают на корабли противника, чтобы они изгрызли в трюмах все, что им будет по зубам.

Исследуя души агентов по их письменным откровениям, сотрудники абвера с чиновничьим усердием подсчитывали количество несомненных и сомнительных антисоветских выражений, и если баланс был в пользу курсанта, ему ставили положительную отметку, если же нет, сочинение приходилось писать заново.

У Иоганна тоже имелся свой реестр. Он хранил в памяти клички курсантов, в сочинениях которых можно было подметить уклончивое двусмыслие или даже такую деталь, как начертание слова «Родина» с большой буквы, и много других тонкостей. Возможно, тут был некий тайный умысел, а может быть, и автоматизм еще не истребленной привычки.

Тупая злоба не ищет оригинальной аргументации для доказательства своей готовности послушно исполнять волю сильного. Докладывая Лансдорфу о сочинителях такого рода, Иоганн подчеркнул совпадения в их аргументации и осторожно намекнул, что эти люди не внушают ему доверия, он сомневается в их искренности: свидетельство тому — механическое повторение одних и тех же антисоветских выражений.

Лансдорф похвалил его за проницательность.

Гаген разработал тактику засылки диверсантов на советскую территорию. Он предлагал одновременно засылать по две группы, расчленив их функции: одна из групп предназначается непосредственно для выполнения задания, а другая ведет за ней параллельный контроль-наблюдение и в случае невыполнения задания уничтожает эту группу.

Иоганн написал подобную же докладную записку, причем предложения его совпадали с разработкой Гагена, но через некоторое время подал Лансдорфу рапорт, в котором подробно излагал, почему он считает свою докладную ошибочной.

На первый план Вайс выдвинул соображения экономического порядка: амортизация транспортных средств, расход грючеге, комплектов вооружения, средств связи. На второй — отчетность перед Берлином. Если для выполнения каждого задания засылать двойное количество агентов, а результаты определять деятельностью только половины этих агентов, то эффективность работы школы окажется наполовину сниженной. И третий аргумент. Принцип фюрера — тотальный шпионаж, и, руководствуясь им, следует проводить массовую засылку агентуры. Резервы материала имеются для этого большие, и

если даже будет определенный отход, то они все-таки не уклонятся от главного — от указаний фюрера.

Лансдорф принял самокритику Иоганна, а заодно не дал хода и докладной Гагена, заявив, что предлагаемая им тактика приемлема только лишь для особо важных заданий.

Так Иоганн подготовил почву для возможности парализовать действия засылаемых групп в тех случаях, если в них окажется человек, способный контролировать агентов и при необходимости уничтожить их. Кроме того, он внушил Лансдорфу мысль о необходимости заранее примириться с тем, что отдельные группы не сумеют выполнить задания. Эти провалы не будут иметь особого значения, так как численность засылаемых групп со временем увеличится.

Стремясь к этому, Иоганн исходил из своей не поколебленной даже здесь убежденности в том, что прослойка предателей среди военнопленных, в сущности, ничтожна и, вербуй нужные им кадры, абверовцы зачерпнут не только эту прослойку, но и те пласты советских военнопленных, которые сохранили преданность Родине, а если еще уведомить подпольные лагерные организации, то в школы попадут люди, которых сами подпольщики пошлют на подвиг.

Иоганн даже прибегнул к расовой теории, для того чтобы внушить сослуживцам, что представители низшей расы не способны выполнять сложные агентурные задания, интеллектуальная неполноценность, примитивность психики ставит перед ними непреодолимые барьеры.

А Гагена он утешил, сказав, что если даже некоторое число групп и провалится или перейдет на сторону противника, то это будет притуплять бдительность русских и создаст на время благоприятные условия для действия других групп.

Гаген согласился с Иоганном и назвал это тактикой разбрасывания приманки. Он даже сказал, что такая тактика — нечто новое в условиях специфических действий, обеспеченных большим количеством материала, услуги которого не нужно оплачивать, как приходилось их оплачивать на западноевропейском театре войны.

35

Заключенный № 740014 из экспериментального лагеря «О-Х-247», тот самый, которого там спас Иоганн и которому он открыл свое настоящее лицо, благополучно прибыл в школу и после оформления получил кличку «Туз».

Но в первой же беседе с Иоганном он выразил явное недовольство тем, что его извлекли из лагеря смерти.

Сухо и несколько высокомерно он сообщил Иоганну, что в лагере его избрали в число руководителей подпольной организации. Им удалось связаться с другими подпольными сугани-

зациями и создать комитет Союза военнопленных, который они впоследствии собираются назвать Верховным Советом Союза военнопленных. Они будут объединенными усилиями, при поддержке немецких антифашистских организаций, готовить одновременное восстание во всех лагерях. Поэтому он считает свое пребывание в школе нецелесообразным. И хотя работа, проделанная комитетом, пока еще не столь значительна, все же место его там, в лагере.

Все это было неожиданным для Иоганна. И означало потерю человека, на которого он мог здесь всецело опереться. Вместе с тем, вернувшись в лагерь, Туз сумел бы помочь Иоганну, и в разведывательно-диверсионные школы были бы направлены те военнопленные, которых отберут для этого подпольные лагерные организации.

Иоганн пообещал Тузу, что постарается, сославшись на какую-нибудь его провинность или на неспособность к агентурной работе, отправить его обратно в лагерь, как только тот найдет себе среди здешних курсантов достойную и верную замену. И с этого момента стал избегать каких-либо встреч с Тузом.

Нельзя было не обратить внимания на совершенно новые, самоуверенные манеры бывшего № 740014. Он с какой-то снисходительностью, с нескрываемым превосходством, загадочно усмехаясь, слушал Вайса, словно хотел дать ему почувствовать, что он, Туз, теперь уже не тот, что прежде. Теперь он персона, наделенная некими особо возвышающими его правами, и еще неизвестно, кто кого будет обслуживать — он советского разведчика или тот его.

И хотя с костистой его физиономии не исчезли следы лишаев, побоев, голода, а полученный в школе французский мундир висел на нем как на вешалке и огромные кисти его рабочих рук с иссохшими мышцами, разбитые неимоверным трудом на каменоломне, были подобны двум сплюсненным гроздьям из скрюченных пальцев, — несмотря на все это, от всей его фигуры веяло такой величавостью, какой не выразить ни в бронзе, ни в мраморе.

Таким степенным, полным чувства собственного достоинства человеком его, несомненно, сделало доверие, которое ему оказали в лагере, избрав в руководство подпольной организации.

Это был избранник народа, твердо убежденный в том, что он облечен самой главной здесь властью.

Вот почему он несколько снисходительно слушал Иоганна, полагая, что хотя тот и советский разведчик — может, даже лейтенант или капитан, — но все-таки служащий. А он, Туз, так сказать, представитель блока партийных и беспартийных. И избран он не просто от экспериментального лагеря «О-Х-247», но и от межлагерного Союза военнопленных, который должен

подготовить восстание узников концлагеря. И он входит в руководящую группу этого межлагерного Союза. Когда обсуждалась работа Союза, члены руководящего комитета высказали различные точки зрения на тактику подготовки восстания. Пришлось вести борьбу с левацкими, сектантскими тенденциями тех, кто утверждал, что нечего тратить время на организаторскую деятельность, на пропагандистскую работу, а надо только сформировать надежное ядро, которое нанесет удар по охране, — и тогда массы сами стихийно присоединятся к восстанию. И если даже при этом все заключенные погибнут, важно совершить эту акцию. Свобода или смерть — таков был их лозунг.

Были и такие, кто придерживался оппортунистических воззрений, полагая, что задача Союза — лишь обеспечить максимальную выживаемость заключенных и, поскольку победа Красной Армии исторически неизбежна, надо стремиться только к тому, чтобы выжить, сохраниться до этого всеразрешающего исторического момента. Поэтому, говорили они, в лагерях не следует создавать подпольные коммунистические организации, а коммунисты должны войти в Союз не как представители этих организаций, а на общих основаниях. И Союз надо бы оформить в духе организации, служащей только целям взаимопомощи и общекультурного просвещения. Тогда, в случае провала, члены Союза не будут истреблены полностью, погибнут одни руководители. А возможно, в некоторых лагерях администрация даже примирится с такой безобидной формой организации военнопленных, и тогда Союз впоследствии можно будет использовать для более активных действий.

Эти жаркие дискуссии происходили в узком забое. Члены комитета, теснясь, влезали в его каменную щель и, лежа голова к голове, шепотом убеждали друг друга, пока товарищи, выделенные для охраны и прикрытия, рушили позади них глыбы камня, образуя завалы, через которые невозможно было пробраться. Но эти завалы почти отсекали и доступ воздуха, и члены комитета, задыхаясь, обливаясь потом, испытывая боль в груди и удушие, какое испытывает, должно быть, заживо погребенный, страстно спорили в поисках решения, которое могло стать общим, непререкаемым для всех.

Информация Туза о планах создания Союза военнопленных отличалась предельным лаконизмом. Возможно, Туз уплотнял ее так, учитывая краткость времени, отпущенного на их встречу, но не исключено также, что он хотел дать почувствовать Вайсу ту суровую деловитость, какой была проникнута работа лагерного комитета.

Но и этого было достаточно, чтобы Иоганн ощутил возвышающее душу неистребимое непокорство, могучую жизнеспособность советских людей, убить которую невозможно так же, как самую жизнь на земле.

В глазах Иоганна как бы померк ореол некоей исключительности, которым, как ему казалось прежде, озарена его миссия, ибо тысячи людей, подобных этому заключенному № 740014, совершают подвиг борьбы в тылу врага, подобный его подвигу, используя методы, подобные его методам. И, в сущности, им неизмеримо труднее бороться в лагере, они находятся как бы на дне гигантской могилы. Он же, Иоганн, внешне оказался в более привилегированном положении, хотя малейшая оплошность может обречь его перед неизбежной казнью на длительные, мучительные истязания, не менее жестокие, чем те, каким подвергаются в лагерях.

Майор Штейнглиц, воодушевленный старопрусским заветом: «Человек — ничто, организация — всё», весь отдался административной деятельности. Поточный способ массового производства разведчиков, к которому он вначале относился скептически, постепенно увлек его возможностью блеснуть капцелярским размахом рапортов, направляемых в Берлин. Вместе с Гагеном они готовили статистические докладные, где, основываясь на будущих победах вермахта, отчисляли проценты от людского состава побежденных армий в сеть своих школ. И эти прогнозируемые исчисления выглядели грандиозно, внушительно.

Установленный в школе распорядок дня никогда не нарушался. Подъем в 6 часов, физзарядка — от 6 часов 10 минут до 6 часов 40 минут, время на туалет — 20 минут, завтрак — от 7 до 8 часов, занятия — от 8 часов до 12 часов, обед — с 12 часов до 14 часов, занятия — с 14 часов до 18 часов, ужин — до 19 часов, вечерняя поверка — в 21 час 30 минут. Отбой — в 22 часа.

По воскресеньям занятий нет.

Курсантам почту доставляют прямо в барак, это всевозможная антисоветская и белоэмигрантская литература и газеты. Иногда короткая лекция на тему «История Советского государства».

Раздумывая о безотказно действующей системе организации и воспитания, о ее быстрой результативности, Штейнглиц выразил опасение, как бы в таких идеальных условиях, сроднившись, так сказать, с немецким образом жизни и порядком, курсанты не позабыли бы о тех условиях, в каких им придется орудовать, и поэтому дал указания развесить в бараках советские трофейные плакаты. Он приказал также, чтобы курсанты обращались друг к другу со словами «товарищ» и по воскресеньям обязательно пели хором свои народные песни.

Дитрих был озабочен созданием надежной системы так

называемого «негласного оперативного обслуживания состава слушателей школы».

Он подобрал среди курсантов наиболее надежных для выполнения функции провокаторов. Дал задание доставить в расположение школы несколько женщин, способных — главным образом в интимных условиях — проверить политическую надежность отдельных сомнительных лиц. Решил предоставить этим последним возможность выходить за пределы школы, чтобы наблюдать за их поведением на воле. Приказал выделить в его личное распоряжение большое количество спиртного для проведения экспериментов, и курсантов подпаивали в надежде получить от пьяных какую-либо заслуживающую внимания информацию об их настроениях. Тщательно продумывал разного рода проверочные комбинации для тех, чье поведение казалось ему подозрительным. Приказал установить микрофоны в общежитии.

Словом, каждый был поглощен своей деятельностью.

И только один Лансдорф не нарушал обычного, установленного им ритма жизни и без воодушевления выслушивал хвастливые рапорты подчиненных.

Штейнглица он обычно угнетал своим умственным превосходством и убийственным скептицизмом.

— Будьте любезны, майор, напомните мне: от кого мы получили губительные для Франции сведения о ее военном потенциале?

Штейнглиц с готовностью перечислял имена известных ему шпионов.

— Вздор! — пренебрежительно отвечал Лансдорф. — Мелочи. В тысяча девятьсот тридцать восьмом году французский генерал Шовино опубликовал книгу «Возможности вторжения», сопровождаемую предисловием маршала Петэна. Она стала для нас настольным справочником. — Разглядывая ногти, осведомился: — А по Англии?

Штейнглиц, вытянувшись, молчал, хотя ему очень хотелось напомнить о своей личной заслуге.

— Знаменитый английский военный историк Лидделл Гарт опубликовал труд «Оборона Британии». Фюрер высоко оценил эту книгу. А Гесс отметил, что она важна для правильной оценки всей ситуации в целом и содержание ее найдет важное практическое применение. — Упрекнул: — Вы не тревожите себя лишними знаниями, майор. И напрасно. — Заметил многозначительно: — Ключи от государственных тайн не всегда обязательно воровать, отнимать, похищать коварными способами или добывать с помощью массового производства дрянных отмычек. Люди мыслящие могут их получить от ученых, историков, исследователей, порой заботящихся о своем тщеславии больше, чем об интересах собственного государства.

Штейнглиц обиделся, сказал сдержанно:

— В салоне леди Астор, поклонницы нашего фюрера, любой агент-практикант может узнать, о чем час назад говорил Черчилль,— для этого ему только не следует скрывать, что он наш агент. Во Франции я могу вам назвать имена нескольких министров, которые ежемесячно получали из специальных фондов адмирала Канариса вознаграждение, значительно превосходящее их министерское жалование.

Что же касается ассигнований на советскую агентуру, то тут, к сожалению, мы достигли такой экономии средств, которая может поставить под сомнение всю нашу работу. Если, конечно, — добавил он, — не считать расходов на вспомоществование эмигрантам и на пенсии семьям наших агентов-немцев, после того как советские органы пресекли их деятельность.

— Ну-ну, не надо горячиться, — успокаивающе, мирным тоном сказал Лансдорф. — Я ценю ваши усилия и понимаю наши трудности. — Проговорил задумчиво: — По-видимому, большевикам удалось внушить народу мысль, что государство — это в какой-то степени собственность каждого, и они дорожат его интересами так же, как мы с вами своим имуществом. — Заметил деловито: — Я просматривал протоколы допросов различных военнопленных. Некоторым из них, оказывается, проще расстаться со своей жизнью, чем с теми сведениями, которыми они располагают. Трудный материал, трудный. И поэтому еще раз напоминаю: гибче, гибче с ним. И если вы сочтете нужным, особо подающих надежды следовало бы на несколько дней свозить в Берлин, чтобы поразить их воображение уровнем нашей цивилизации, благосостояния, бытовыми условиями, магазинами. Пусть даже что-нибудь купят себе. Словом, попытайтесь оказать воздействие с помощью арсенала не только наших идей, но и вещей. Вы меня поняли?..

Штейнглиц из этого разговора понял только, что Лансдорфа беспокоит ненадежность курсантского состава и что, по его мнению, агентурная работа в западноевропейских странах имеет более плодотворную почву, чем в России, — с этим последним Штейнглиц был полностью согласен.

Наблюдая за учебными занятиями курсантов, он убедился, какие это тупые, неспособные люди. Самые элементарные вещи они усваивают с трудом, у всех расслаблена память, отсутствует сообразительность, и поэтому сроки обучения недопустимо затягиваются. И Штейнглиц с гордостью за своего соотечественника думал о бывшем своем шофере, ефрейторе Иоганне Вайсе, так блистательно воплотившем в себе лучшие черты немецкой нации. Ведь он за самое короткое время сумел полностью овладеть необходимыми познаниями и занять достойное место среди самых опытных сотрудников абвера. Вот подобных Иоганну способных молодых людей он не

видел среди этих русских и был убежден, что виной тому их национальная ограниченность, вековечная отсталость от других европейских народов.

Конечно, откуда бы мог знать Штейнглиц, что, казалось бы, вопиющая тупость, беспамятливость, несообразительность многих курсантов требовали от них поистине виртуозной сообразительности и остроты наблюдательного ума.

Кстати, эта талантливость притворства некоторых курсантов ставила Вайса в такое же тяжелое положение, как и Штейнглица, и удручала их обоих, хотя и не в равной степени и по совсем противоположным поводам. А источник трудности был для них один и тот же.

До сих пор Иоганн не мог считать, что он достаточно полно изучил хотя бы одного курсанта. Именно это и служило причиной его бессонных размышлений, когда приходилось перебирать в памяти тысячи мельчайших, разрозненных, еле ощутимых признаков, говорящих о том, что человек остался человеком. Но эти обнадеживающие черточки сочетались с таким множеством отрицательных, что прийти к какому-либо выводу было пока невозможно.

А время шло и повелительно требовало действий, и, хотя Иоганн почти регулярно оставлял информацию для Центра в тайнике, указанном Эльзой, и получал через обратную связь рекомендации и советы, кроме Туза, других верных людей ему до сих пор найти не удалось.

Дневной рацион курсантов составляли хлеб — четыреста граммов, маргарин — двадцать пять граммов, колбаса гороховая или конская — пятьдесят граммов и три штуки сигарет. Утром и вечером ячменный или свекольный кофе. По сравнению с лагерным этот паек мог показаться обильным.

Больше всего курсанты страдали от недостатка курева. Подобно тому, как заключенный в ожидании приговора жаждет утолить тоску непрерывным курением, так же и эти люди — одни вялые, подавленные, с замедленными движениями, другие возбужденные до истерики — испытывали мучения от табачного голода.

Как-то Гаген добродушно посулил им бодрым тоном:

— Когда поможете нам захватить Кавказ, будет вам табак.

Хотя в переводе на русский язык это звучало несколько двусмысленно и кое-кто усмехнулся, такое обещание никого не утешило.

После отбоя Иоганну приходилось поочередно с другими переводчиками дежурить с наушниками в канцелярии у провода микрофонов, установленных в общежитиях. С помощью переключателя он мог слышать, о чем говорят между собой курсанты в любом помещении каждого из барачных.

После дежурства он обязан был сдавать запись наиболее

существенных разговоров Дитриху. Кстати, Иоганн предполагал, что подобные же микрофоны установлены в комнатах сотрудников штаба, но прослушиванием этой линии занимаются только работники отдела «З-Ц» и сам Дитрих.

Гаген дал Вайсу два исторических романа Виллибальда Алексиса. Сказал значительно:

— Великий наш романтик прошлого века.

«Какая провинциальная уость, какая напыщенность», — подумал Иоганн. Читая на дежурстве эти книги, он испытывал только щемящий душевный голод. Подумать только: Толстой, Чехов, Достоевский писали в то же время.

Иоганн вспомнил «Войну и мир», и воспоминания приходили так, будто это все была и его жизнь, которой он здесь лишился. Но когда он вспоминал страницы, посвященные Платону Каратаеву, его кроткую, покорную беззлобность к врагу, его способность тихо, безропотно, беспечно ко всему приспосабливаться, умиленно радоваться просто оттого, что он существует, этот Платон мгновенно предстал перед ним в обличье курсанта Денисова по кличке «Селезень».

Русоволосый, сероглазый, говорит окая, на лице просящая, застывшая улыбка. В своем «сочинении» Денисов писал: «Как известно, человек рождается в жизни один раз. Но при этом от него независимо, какой страны он получается гражданином. В силу такого стихийного обстоятельства я оказался советским».

В цейхгаузе Денисов долго и тщательно выбирал себе обшуйки французского трофейного обмундирования, какие получше. Долго искал такие ботинки, каблуки и подошвы которых были меньше стоптаны, заведомо зная, что сносить ему все это не доведется и после окончания курсов выдадут все другое. Но хозяйственный инстинкт был выше реальных обстоятельств. И Денисов счастливо улыбался, когда ему удалось сыскать в груде обуви пару ботинок на двойной подошве.

— Добрая вещь, — сказал он с довольной улыбкой. — Расчитана на серьезного потребителя.

В столовой он ел медленно, вдумчиво. Когда жевал, у него двигались брови, уши, скулы и даже жесткие волосы на темени. Охотно обменивал сигарету и отломанную половину от другой на порцию маргарина.

Занимался старательно. Испытывал искреннее удовольствие, получая хорошую отметку, огорчался от плохой. И был по-своему смекалист.

Вот сейчас Вайс слышит в наушниках его дребезжащий, сладенький, деловитый тенорок. Рассуждает, наверное лежа на койке:

— Пришел я в себя, и первое, чему очень даже обрадовался, — тому, что не помер. И бою конец. Очень было неприятно предполагать все время, что все именно в твоё тело стре-

ляют. Подходит немец. Встал перед ним, от страха дрожу. Гляжу — человек как человек. Улыбаюсь деликатно. Ну, он меня и пожалел. Ведет, автоматом в спину пихает. Кругом наши ребята лежат. Жалею. Поспешили. А загробной жизни-то нет. Землячок мой в нашей роте был. Его бы я еще насчет плена постеснялся. Но он раньше, в санбате, помер. Значит, свидетелей нет. А я оказался живучий. Имею возможность на дальнейшее существование. Мне ведь самой лучшей жизни не надо. Мне бы только избушка и солнышка чуток, ну и чтоб пища. Я без зависти. Меня сюда только за одно поведение прислали. Я и в лагере жить привык. Наспособился ко всему. Люди огорчаются наказанием несправедливым. А я что же, ничего, продолжаю жить, только маленько сощурюся, и ничего — существую. Есть причины, от нас зависимые, а есть независимые. Есть лагеря, есть школы для шпионов — тоже. Кто-то же все равно место займет. А почему не я? Не пойду — другой пойдет. Механика ясная.

— Ты аккуратный и резать будешь аккуратно.

Грубый голос, наверное принадлежащий человеку по кличке «Гвоздь». Лицо его после ожога в глянцевиной, тугой, тонкой, полупрозрачной розовой коже. В анкете записано — сапер. Вайс подозревает: танкист или летчик, обгорел в машине.

— Мне это не обязательно, — возразил Денисов. — Я на радиста подал. В силу грамотности, полагаю, уважат. В колхозе я всегда на чистой, письменной работе был.

— Лизучий ты.

— А это у меня из вежливости. Имею личный жизненный опыт всякое начальство чтить и уважать. Ум у меня, может, и небольшой, но чуткий. Велели во время коллективизации жать — ну я и жал. Но кого по моей статистике высылали, перед их родственниками потом извинялся. Не я. Власть! Оспорю — меня заденут. Понимали. Народ у нас сознательный. Другим в окошко стреляли, мне — нет. Я человек простодушный и тем полезный.

— Как рвотное средство.

— А тебе меня такой грубостью за самолюбие не ущипнуть. Нет. Хошь — валий плюнь! Утрись — и ничего. Если только ты не заразный. Плевок — это только так, видимость. А вот если ты меня где-нибудь захочешь физически... Тут я тоже тебе самооборону не окажу. Но начальство будет точно знать, кто мне повреждение сделал. Поскольку я теперь на их инвентарном учете.

— У нас одного такого в лагере в сортире задавили, — сказал Гвоздь раздумчиво.

— И напрасно, — возразил Денисов. — Убили одного, скажем, провокатора. И за его мерзкую фигуру десятка три хороших людей после постреляют. Я всегда был против такого.

И можно сказать, что немало хороших людей спас тем, что предотвратил.

— Доносил?

— Так ведь на одного, на двух умыслявших. А сохранил этим жизнь десяткам. Вдумайся. И получится благородная арифметика.

— Кусок ты...

— На словах задевай меня как хочешь. На грубость я не восприимчивый. И тебя обратно ею задевать не стану. Потому мне любой человек — человек. А не скотина, не животное, хотя я тоже к ним отношусь с любовью. И при мне всегда кот жил. И, если хочешь знать, так о нем я грущу, вспоминаю. А люди — что ж. Люди везде есть, и все они человеки, и каждый на свою колодку.

— И долго ты при советской власти жил?

— Обыкновенно, как все, — с самой даты рождения до семнадцатого июля нынешнего года, когда мы накрылись, — словоохотливо сообщил Денисов.

Гвоздь сказал задумчиво:

— Вот я бы с тобой на задание в напарники пошел: человек ты обстоятельный, с тобой не пропадешь.

— Не-е, — возразил Денисов, — против тебя у меня лично возражения.

— А чем не гожусь?

— Пришибешь ты меня — и все, и сам застрелишься от огорчения.

— Это почему же?

— А так, глаза у тебя дикие. Немец — он до нас тупой, не различает. А я чую — переживаешь. К своим не подашься, нет. Это я не говорю. Даже ничуть. Явишься, допустим, к властям: мол, здрасте, разрешите покаяться. А тебя — хлоп в НКВД. Могут и сразу, без канители, в жмурики, а могут и снизойти — дадут четвертак. — Сказал с укоризной: — Найдутся среди нас, я полагаю, наивники с мечтой в штрафниках свою вину искупить. Мечта детская. На то он и «карающий меч» в руках пролетариата, чтоб таких, как мы, наивников сокращать.

Гвоздь спросил:

— Тебе за такую агитацию сигаретами выдают или жиром?

— Не-е, я добровольно. — Тревожно спросил: — А что, раз-ве добавку дают за правильное собеседование?

— Дают, — сказал Гвоздь. — Но только не здесь.

— А ты меня не стращай. Другие, вроде тебя, в случае — попадутся, может, таблетку с ядом сглотнут. Я — нет. Я самоубийством заниматься не стану. Господин инструктор правильно рекомендовал на такой случай «легенду на признание». Я советские законы знаю. За быстрое и чистосердечное

признание — по статье скидка. Ну и поживу в лагере, что ж, и там люди.

— Ох и гнида ты, Селезень!

— Я ж тебя информировал,— сердито сказал Денисов.— Не заденешь!

Зашуршал соломенный тюфяк,— наверно, улегся... Тишина.

Иоганн повернул ручку переключателя на другой барак. Здесь играли в карты на сигареты и порции маргарина. Сделал запись: «Курсант Гвоздь сказал курсанту Селезню: если тот захочет перебежать к противнику, Гвоздь застрелит его. Гвоздь оказывает правильное воспитательное влияние. Возможно, следует соединить их при задании».

Вспомнил, как однажды Гвоздь сказал ему в ответ на замечание: «Господин инструктор, у меня только глаза дерзкие, а так я тихий, как дурак, спросите кого хотите». Не так давно Иоганн стал свидетелем драки Гвоздя с бывшим уголовником Хнычем. Выясняя причину, узнал: Хныч высказал грязное предположение насчет жены Гвоздя, и тот чуть не убил его. Обоих отправил тогда в карцер. Хныч умолял посадить его отдельно, утверждал, что Гвоздь псих и задушит за свою бабу.

После дежурства Вайс узнал в картотеке адрес Гвоздя и составил шифровку: просил найти жену Гвоздя и получить от нее письмо для мужа.

К карточке Денисова он прикрепил желтый квадратик: ненадежен, к карточке Гвоздя — зеленый: проверен. Это он сделал не для себя, а для ориентации сослуживцев, точнее — для их дезориентации.

Выпал непрочный, слабый снег. Воздух был тусклым. Курсанты на плацу занимались физзарядкой — приседали, взмахивали руками.

Денисов усерднее других проделывал упражнения. На скулах его появился румянец, глаза блестели от удовольствия, что он жив, дышит и еще сколько-то будет жить.

Гвоздь вскидывал руки яростно, энергично. Розовое глянцево-лицо его было неподвижно, как лакированная маска.

Курсанты топтали слабый, нежный снег, отпечатывая на нем свои черные следы, тотчас же заполняемые талой водой.

Огромные сосны с розовато-желтыми стволами в легкой чешуе отслаивающейся тонкой коры широко распростерли ветви с зелеными кистями хвои. И если поднять голову и долго смотреть на шатровые вершины деревьев и еще выше — в самое небо, смотреть до легкого головокружения, то может прийти пьянящее ощущение, что ничего этого нет, и не было, и не может быть, и вот сейчас Иоганн опустит взгляд и увидит...

Нет-нет, нельзя распускаться, дразнить себя, свое воображение.

Сегодня занятия по подготовке агентов путем допроса друг друга. Этим занятиям отводится много учебных часов. Один из агентов выступает в роли официального сотрудника советской контрразведки, другой — в роли задержанного в тылу советских войск подозрительного человека. Первый обязан уличать «задержанного» в принадлежности к агентуре немецкой разведки, а второй — оправдываться и любыми способами отводить от себя обвинение.

Эти «спектакли», учиняемые турнирными парами за каждым столом, давали Иоганну новые, неотвратимо обличающие улики против одних и укрепляли надежды, возлагаемые на других, — тех, кого он приметил и к кому начал питать даже нечто вроде скрытой симпатии.

Денисов играл свою роль совершенно искренне. Его серые, как слизны, глаза мокры. Униженно и скорбно он молит своего «следователя»:

— Вы ко мне по-человечески. Окружили. Убёг. Документы сничтожил... А эти? Откуда же я знал, что они «липа»? Переходил линию фронта с одним окруженцем. Его огнем пришибло. Я документы у него вынул: сдать властям, как полагается. Ну, наскочил на патруль. Они — документ! Я и сунул его документ. Если б я знал, что он шпион, я бы его самостоятельно сразу. Примкнул ко мне, гад! Я же не сыщик, чтобы понять, кто он такое. Почему возле железной дороги бродил? Так где же мне еще находиться? Истомился, все пешком. Желал подохнуть с попутным эшелонном... Как куда? До крупного населенного пункта, где НКВД. Доложиться. Армейские особы — они нашего брата окруженца сразу того... А вы опыт на шпионах имеете. Вам различить чистого от нечистого сам бог велел... Что значит — скрывался? Ни от кого не скрывался. Мне бояться своих нечего, это я когда у немцев в тылу скрывался, может, привычка осталась таиться, так я за нее извиняюсь...

Гвоздь увлеченно разыгрывал роль следователя, говорил яростно пожилому, степенному Фишке, бывшему петлюровцу, считавшему себя здесь выше всех, кичившемуся своим заслуженным перед немцами прошлым:

— Ты, гад, немцам Украину уже раньше продавал и теперь снова продаешь с потрохами!

— Гражданин следователь, у вас нет никаких улик, — солидно возражал Фишка.

— А оружие? Оружие у тебя нашли? Советских людей убивал, паразит!

— Оружие я носил для самообороны. Защищаться от тех, за кого вы меня принимаете.

— Из армии дезертировал?

— Я баптист. Уклонился от службы в армии не по политическим мотивам, а по религиозным убеждениям.

— Бог у тебя не с крестом, а со свастикой. Ты же эшелон подорвал с людьми!

— Откуда у вас такие неверные сведения?

— Так ты же сам хвастал!

— Кому?

— Мне.

— Где? Когда?

— Да в бараке, недавно. Что шуришься?

Вайс нашел нужным вмешаться, сказал строго:

— Курсант Гвоздь, вы должны пользоваться только теми предполагаемыми уликами, которые вы получили при задержании.— Фишке заметил наставительно:— Кстати, учтите, что советские органы при задержании могут востребовать все материалы, касающиеся вашего прошлого. Поэтому не исключайте возможность подобных вопросов. Для более плодотворной тренировки изложите курсанту Гвоздю хотя бы основные факты, говорящие против вас, с тем чтобы, когда он обратит их против вас, вы попытались найти контраргументацию.

Фишка, поеживаясь, вздыхая, начал перечислять Гвоздю свои минувшие деяния.

Лицо Гвоздя стало серым, напряженным, глаза зло блеснули.

Вайс, якобы всецело занятый другой парой, стоя спиной к Фишке, внимательно слушал перечень некоторых его злодеяний, которые тот считал возможным пустить в оборот для тренировочного допроса.

Потом Вайс перешел к новой паре. Разыгрывавший роль следователя уныло выуживал у допрашиваемого:

— Нет, ты мне толком скажи, почему ты им продался, против своих пошел?

— Да я не пошел. Насильно заставили. И потом, думал, как подвернется случай, к своим убегу.

— А чего сразу по начальству не явился?

— Боялся статьи.

— Так ты там в лагере был?

— В лагере.

— А в шпионы пошел, чтобы из лагеря уйти?

— Правильно, только поэтому. От смерти самоспасался.

— Значит, теперь ты со всех сторон пропащий.

— А ты что, нет?— обиделся допрашиваемый.— Кто в лагере на своих доносил? Ты.

Вайс строго предупредил:

— Допрашиваемый лишен права задавать вопросы следователю.

Допрашиваемый пожаловался:

— А что он мою личность задевает не по существу дела?

Я раскаявшегося играю, темную жертву фашизма, а оп наш местный материал против меня сует...

Вдруг раздался звук пощечины, стон, хрип. Вайс подошел к столу, за которым сидели Гвоздь и Фишка. Оба они вскочили, вытянулись перед ним.

— Он меня бить стал, бить изо всей силы!— восклицал Фишка, мясистое лицо которого набухало лиловыми пятнами.

Гвоздь, кривя сухие губы и нагло глядя в глаза Вайсу, объяснил развязно:

— А что такого? Я следователь. Он запирается, ну, я ему и вмазал. Сами же нас уговаривали, что в НКВД пытаются.— Кивнул на Фишку, объявил:— Вот я ему и сделал тренировку. Пусть закаляется.— В зеленоватых узких глазах Гвоздя играл насмешливый огонек.

— В карцер обоих,— приказал Вайс.

— А меня за что?— изумился Фишка.

— Не проявили стойкости, выдержки, хладнокровия. Трое суток...

Изредка в канцелярии появлялась высокая худощавая дама с застывшим, неподвижным лицом, в роговых очках. Держала она себя с достоинством, деловито. По приказанию Дитриха ей показывали фотографию того или иного курсанта и сообщали его основные приметы.

Дама внимательно, запоминаяще смотрела на фотографию, молчаливо выслушивала то, что ей сообщали о предметах, и, равнодушно кивнув, уходила, четко печатая шаг в меховых полуботинках, украшенных бантиками из лакированной кожи.

Это была унтершарфюрер Флинк. Специальность ее — оперативное исследование отдельных лиц посредством особо подобранной для этого группы уличных девок.

В свободное от заданий время девки могли заниматься своим обычным, ничем не усложненным промыслом, отчисляя определенный процент доходов в фонд праздничных подарков фронтовикам.

Унтершарфюрер проводила с ними занятия. По утрам после физзарядки — строевые, а два часа перед обедом — по агентурной подготовке.

Курсанты, числящиеся не полностью благонадежными, наряду с другими проверочными комбинациями подвергались обследованию с помощью этих девиц. И девицам твердо вменялось в обязанность заучить наизусть какую-нибудь жалобную историю жертвы фашизма, дабы спровоцировать сочувствие к себе.

Соответствующее количество спиртного для этих целей, так же как и разнообразную гражданскую одежду девицам, женское вспомогательное подразделение унтершарфюрера Флинк получало со складов «штаба Вали».

На выпущенного за пределы расположения испытуемого курсанта унтершарфюрер, используя фотографию и приметы, нацеливала одну из своих подчиненных. Та охотилась за ним и, в зависимости от того, за кого она себя выдавала — за судомойку, горничную, уборщицу, — приводила на кухню, в столовую, в кладовку подвального помещения. Девушки были все немолодые, опытные, неглупые и обычно твердо выучивали свои роли и только сообщали унтершарфюреру Флинк о результатах идеологической проверки испытуемого.

Докладывая как-то Лансдорфу о настроениях курсантов, выявленных с помощью подслушивания по микрофону, Вайс необычно громким голосом заявил в ответ на вопрос, не следует ли Дитриху несколько усложнить методы проверки:

— Господин капитан Дитрих — выдающийся контрразведчик, я преклоняюсь перед его талантом.

Лансдорф удивленно вскинул глаза. Иоганн сделал гримасу, дотронулся до своего уха, потом указал на стену и повторил столь же отчетливо громко:

— Капитан Дитрих — это ходячая энциклопедия всех самых современных приемов техники разведки.

Лансдорф ничего не ответил. Но спустя несколько дней, встретив во дворе Вайса, сказал:

— Ефрейтор Вайс, я еду вместе с капитаном Дитрихом в Варшаву, вернемся мы только на следующее утро. В мое отсутствие придет связист. Укажите ему мою комнату и комнату Дитриха. У нас что-то не в порядке с телефонами. — Приказал строго: — Окажите ему помощь, в которой он будет нуждаться. Но чтобы вы и он — больше никого...

— Слушаюсь, — сказал Вайс.

Он оказал весьма высококвалифицированную помощь связисту и не только помог установить в комнате Дитриха тайник с микрофоном, провод от которого был протянут в комнату Лансдорфа, но и успел вмонтировать такой же микрофон в комнате Лансдорфа, а отводы от обоих микрофонов спустить в помещение канцелярии, замаскировав их под электропроводку.

Теперь Иоганн получил возможность во время дежурств прослушивать разговоры не только одних курсантов.

Когда Лансдорф вернулся, Вайс доложил ему, что не мог оказать помощь связисту, так как, к сожалению, не обладает для этого достаточным опытом и знаниями. Но связист и один справился. Вайс проверил — телефонные аппараты работают отлично. Связист отбыл в свою часть.

Для выброски на задание формировались небольшие группы. Старшим групп обычно назначали радиста, но не исключалось, что старшим мог быть и разведчик-ходок.

Большинство слушателей школы разведчиков-радистов раньше с радиоделом знакомы не были. Попадая в плен, советские бойцы-радисты, как правило, упорно скрывали от врага свою воинскую профессию. Те же из них, кто становился на путь измены Родине, тоже, хотя и по иным побуждениям, скрывали, что они радисты, и в школе с большей или меньшей долей притворства как бы заново изучали радиодело.

В первый же день занятий проводилась контрольная письменная работа по русскому языку. Вследствие низкой грамотности, притворной или действительной, часть курсантов сразу же отсеивалась и зачислялась в школу разведчиков-ходелков.

Занятия в классах, оборудованных передающим зуммером и телефонными наушниками, проводились по семи часов в день. Первые две недели отводились изучению алфавита на слух. В день разучивали в среднем по две буквы.

После месяца учебы тех, кто был неспособен или притворялся неспособным освоить прием азбуки Морзе на слух, отчисляли из школы радистов и отправляли в барак разведчиков-ходелков. Этих отчисленных Йоганн внимательно изучал, чтобы выявить, кто из них действительно не обладает способностями, а кто счел необходимым утвердить за собой репутацию полуграмотного тупицы.

Тренировочный период в группе считался законченным, когда курсант, обладающий самой низкой способностью приема на скорость, принимал не меньше семидесяти буквенных знаков в минуту.

Потом группа изучала код, правила шифровки и расшифровки. Разбившись по двое, из соседних классов обменивались радиogramмами. Инструктор включал свои наушники, контролировал пары и разбирал ошибки, когда передача заканчивалась.

Затем переходили к работе на радиях. Отправлялись в лес и на расстоянии трех — пяти километров группа от группы вступали в радиосвязь. Участки леса, где проходили занятия, патрулировались охраной со сворами сторожевых собак.

На овладение короткой связью отводилось десять дней.

Обучению работе на длинной связи тоже отводилось десять дней. Корреспондентом служила одна из кенигсбергских радиостанций — филиал разведывательного центра абвера, много лет специализировавшегося на изучении Востока.

Срок подготовки радистов-слухачей составлял от трех до четырех месяцев, в зависимости от способностей и усердия

учащегося. Группы радистов имели четные номера, группы ходоков — нечетные.

Особенное отвращение Иоганн испытывал к радисту по кличке «Фаза».

Этот юноша лет девятнадцати, из московских ополченцев, по-видимому, был до войны радиослушателем, но выделялся он здесь не только способностями к радиodelу. Вкрадчивой общительностью, гибкой лестью он сумел завоевать расположение многих руководителей школы, тем более что за короткое время пребывания здесь научился бойко говорить по-немецки.

Он был нагл, развязен, на тощем, остроносом лице его постоянно блуждала ироническая улыбка. С курсантами держал себя высокомерно, ни с кем из них не сближался. Его сочинение на обязательную тему отличалось не только хвастливой, вычурной литературностью, но и восторженными рассуждениями, восхваляющими фашистский кодекс всевластия сильней личности.

Вызванный как-то Вайсом на беседу, он держал себя без тени подобострастия. Расчетливо и умно объяснил, почему он разделяет фашистские убеждения. И даже позволил себе упрекнуть Вайса в старомодных взглядах на категорию нравственности. Заявил, что не собирается такие отвлеченные понятия, как родина, воинская честь и т. п., возводить в степень высшей морали. Сказал, что разумом здравомыслящего человека управляет действительность. И если фашистская Германия практически доказала, что она более сильна, чем Советский Союз, то естественное право каждой свободной индивидуальности стать на сторону сильного.

Он цитировал на память соответствующие его высказываниям места из антисоветских брошюр, которыми обильно снабжали курсантов. Но цитировал с такой убежденностью, что у Иоганна не оставалось даже тени сомнения в том, что перед ним не только завербованный немцами изменник, но и редкостной подлости экземпляр, искренне и необратимо предавший свои советские верования. Его несколько невразумительную извинченность Иоганн приписал той наглой нетерпеливости, с какой сей тип хотел занять привилегированное положение, возвышающее его над прочими курсантами.

Изучая поступающую из различных источников информацию о благонадежности курсантов, Дитрих выделил Фазу и после беседования с ним решил, что тот заслуживает особого доверия, а способности, которыми он тут, несомненно, выделялся, дают все основания утвердить его в качестве инструктора радиodelа.

Вайс, понимая, какие дополнительные трудности в его деятельности создаст зачисление Фазы в преподавательско-инструкторский состав школы, пытался, но, увы, безуспешно,

возражать Дитриху. К удивлению Иоганна, его возражения против этой кандидатуры поддержал заместитель начальника школы обер-лейтенант Герлах.

Герлах прошел нелегкий жизненный путь. Отец его, инвалид войны, нищенствовал. Герлах еще юнцом совершил ограбление мелочной лавки. Но неудачно — попался. Отбыл наказание в тюрьме для малолетних преступников. Выйдя из тюрьмы, долго оставался безработным. Вступил в штурмовики, вначале соблазнившись одним лишь казенным обмундированием да дармовыми завтраками. Постепенно стал одержимым фанатиком, таким же, как многие другие наци, которые готовы были отдать жизнь за фюрера не только за-за преданности его идеям, но и потому, что видели в нем человека, подобно им вышедшего из самых низов. Герлаха роднила с его фюрером ненависть к евреям и к интеллигенции. На евреях можно было безнаказанно вымещать свою злобу за все пережитое. А презрение к интеллигентам, преследование их как бы ставило его, люмпена, выше образованных людей, подчиняло их его злой, дикарской воле.

Гитлеру удалось поднять всю грязь со дна общества. И эти выплывшие на поверхность подонки видели в нем своего апостола, главаря, говорившего на площадях понятным им языком крови, погрозмов, грабежей.

К Дитриху, этому надменному аристократу, Герлах испытывал тайную неприязнь.

Вначале, ослепленный социальной демагогией Гитлера, он полагал, что движение наци ущемит немецкую аристократию, потомственных юнкеров-помещиков, юнкеров-промышленников. Но расправа над Ремом и его штурмовиками, учиненная в угоду требованиям рурских магнатов и генералитета вермахта, показала, что его мечты были иллюзией. Гитлер упрочается в своей власти, упрочая власть господствующих, правящих классов. И все же преданность Герлаха фюреру не ослабела. Наоборот, она перешла в иступленное, слепое преклонение.

Он верил только фюреру — и никому больше.

Герлах отличался необычайной работоспособностью, он никому ничего не поручал, стремился все сделать сам. Подозрительный, угрюмый, упрямый, он не доверял даже старшим по званию и занимаемой должности. Бесстрашно отстаивал то, в чем был уверен, убежденный, что его безукоризненное фашистское прошлое служит ему надежной защитой.

Он был опасен Вайсу не только своей неусыпной подозрительностью: он был здесь, пожалуй, единственным, кто свою работу в разведывательно-диверсионной школе рассматривал не просто как прохождение армейской службы, а как своеобразное служение высшему существу и самозабвенно, самоотвер-

женно отдавал все свои силы делу, не интересуясь ничем другим, кроме дела.

К советским военнопленным он чувствовал звериную ненависть и даже мысли не допускал, что эти низшие существа могут служить Германии, руководствуясь каким-либо иным побуждением, кроме страха смерти. Поэтому он не верил, что курсант Фаза надежен. И присоединил свои аргументы к возражениям Вайса.

Но Дитрих непреклонно стоял на своем. Это упорство было вызвано, очевидно, неприязнью, которую он со своей стороны испытывал к Герлаху, этому наглому выходцу из низов. В свое время такие, как Герлах, были на месте, отлично выполнили свою палаческую роль, расправились с представлявшим немалую опасность немецким рабочим движением, но ныне они уже отработали свое.

Начальником разведывательно-диверсионной школы был ротмистр Герд — зять фабриканта Вентлинга.

Некогда Герд, как и его тесть, придерживался монархических взглядов и до тридцать пятого года находился в оппозиции к Гитлеру. Но затем уверовал в фюрера как в главу Третьей империи, императора новой, великой Германии. И хотя из иных побуждений, чем Герлах, но так же, как и тот, отдался служению фюреру.

Империалистическая агрессия фашистской Германии сулила фирме Вентлинга возможность занять монополистическое положение среди крупных воротил в финансовом мире, а восточные сырьевые придатки — баснословные барыши. Герд, так как и Герлах, работал много и добросовестно. Но это было одно лишь чиновничье усердие, лишенное страсти. Он думал только о том, чтобы посылаемые в Берлин рапорты и отчеты выглядели солидно, внушительно.

Герлах знал, что Герд не захочет из-за какого-то курсанта усложнять свои отношения с офицерами отдела «З-Ц», и поэтому вынужден был уступить настояниям Дитриха. Но все-таки посоветовал Вайсу подать рапорт о своих соображениях, касающихся курсанта по кличке «Фаза».

После занятий, проводимых на объемном макете одного из советских городов, и просмотра хроникального фильма о металлургическом комбинате, расположенном в этом городе, — завод намечался объектом для диверсионного акта, — к Иоганну подошел курсант Хрящ и сказал шепотом, что у него есть секретная информация.

Хрящ выдавал себя за сына бывшего коннозаводчика из Сальских степей, служившего в годы гражданской войны адъютантом у генерала Гнилорыбова. При советской власти Хрящ работал ветеринаром конного завода на Дону. Утверждал, что он казак, хотя в действительности был сыном орловского пристава.

В лагере для военнопленных Хрящ подавал прошение, чтобы ему разрешили сформировать казачий эскадрон, но при проверке оказалось, что он не знает кавалерийской службы.

Белесый, с рыхлым, бабьим лицом и светлыми бараньими глазами, трус, ленивый и глупый, Хрящ, оказавшись в разведывательно-диверсионной школе, наушничал, как мог. Но курсанты сторонились его. Он раздражал их своей навязчивостью, нытьем, грубыми попытками выпрашивать о запрещенном, и его, случалось, даже втихомолку поколачивали. Доносы Хряща были настолько мелочны, что Дитрих приказал вычеркнуть его из списка осведомителей.

Обычно преподаватели и инструкторы выслушивали доносы в специально для этого отведенной комнате рядом с канцелярией. Это была крохотная каморка вроде кладовой, с отдельным выходом во двор. Хрящ сообщил Вайсу, что слышал, как курсант Туз, разговаривая с курсантом Гвоздем, сказал: «Лучше красиво и гордо помереть за дело, чем подлостью отыгрывать себе жизнь». И Гвоздь согласился. И сказал, что он подумает.

Вайс сказал убежденно:

— Я полагаю, он имел в виду дело великой Германии.

Хрящ поежился, но, набравшись храбрости, возразил:

— Неточность. Он совсем в обратном смысле думает. И с другими тоже шепчется.

— Ладно,— прервал Иоганн. — Понятно. — Приказал: — Если еще чего узнаешь, доноси только мне лично. Я сам займусь Тузом.

— Слушаюсь! — Хрящ помялся, прошептал: — А еще этот, из интеллигентов, Фаза... Он разъяснял, будто Гитлер дал указание, чтобы в оккупированной России всем жителям позволять только четырехклассное образование. И еще запретить всякие прививки, чтобы, значит, дети мерли свободно. Регулировать там будут количество населения. Словом, внушал нам пессимизм этот Фаза.

— Зачем?

— А затем, чтобы мы заскучали, а он, подлец, выигрывал перед нами своей бодростью.

Вайс задумался. Приказал:

— Пиши мне о нем рапорт.

Рапорт Хряща с доносом на Фазу Иоганн подписал, поставил дату и положил в папку для докладов обер-лейтенанту Герлаху.

Он все-таки не расстался с надеждой, что вместо Фазы ему удастся подобрать более подходящую кандидатуру на должность инструктора по радиodelу. Что же касается Туза, то надо постараться как можно скорее отчислить его из школы. Иоганн знал, что Хрящ не ограничится доносом только

ему, а будет наущничать всем другим преподавателям и инструкторам.

Воспользовавшись жалобой администрации экспериментального лагеря на то, что капитан Дитрих, забрав в школу почти всех внутрилагерных агентов, поставил руководство лагеря в трудное положение, Иоганн под этим предлогом посоветовал Дитриху вернуть Туза обратно в лагерь.

На вопрос Дитриха, представляет ли какую-нибудь ценность этот курсант, Вайс ответил пренебрежительно:

— Психически нсуравновешен, подвержен ностальгии. Крайне истощен физически. Только в лагере ему и место.

Дитрих подписал приказ, и Вайс вызвал Туза, чтобы дать ему наставления о том, как следует выполнять в дальнейшем функции внутрилагерного агента. Туз получил от Иоганна важные рекомендации, касающиеся работы Союза военнопленных.

Прежде всего Вайс посоветовал на всех листовках, выпущенных Союзом военнопленных, ставить адрес — Берлин. Это будет выглядеть значительно. И замаскирует подлинное местонахождение организации.

— Гений! — сказал Туз. — Ну просто гений!

На тех курсантов, которых Туз предложил вместо себя, Иоганн раньше обратил внимание и порадовался, что их наблюдения совпали.

Протягивая руку Иоганну на прощание, Туз произнес задумчиво:

— Хороший ты парень. — Помолчал и добавил: — Я вашего брата не очень-то чтил. А теперь вижу, какие у вас есть люди: партийной выделки. — Усмехнулся: — Теперь мы все тут против фашистов чекисты. Штатные и нештатные, а чекисты.

— Ладно, — сказал Вайс. — Береги себя.

— Обязательно, — пообещал Туз. — Я же теперь госценность...

Обер-лейтенант Герлах решил все же учинить проверку Фазы и довольно хитро разработал план этой проверки. Он выписал ему увольнительную в город и выдал пистолет со сточенным бойком и патронами, из которых был удален порохов. Сообщил унтершарфюреру Флинк, чтобы та снарядила соответствующую девицу. Кроме того, поручил агенту, исполнявшему роль беглого лагерника, попытаться снискать сочувствие к себе у молодого курсанта. Подготовившись столь основательно, Герлах с нетерпением ожидал результатов.

Но результаты проверочной комбинации оказались катастрофическими для всего руководства школы.

На шоссе нашли обезоруженного мотоциклиста, с пролом-

ленной пистолетом головой. Этот мотоциклист должен был отвезти Фаза в Варшаву. Сам Фаза исчез. Но исчезли также радиокоды. Их, несомненно, похитил Фаза: вероятно, он полагал, что эти коды используются не только для занятий.

Из Берлина прибыла в школу следственная комиссия. Обо всем этом Иоганн Вайс не знал. В тот день, когда Туз был отправлен обратно в лагерь, Вайс уехал в командировку. Он получил задание отобрать из трофейного фонда советские хроникальные кинофильмы, пригодные для обучения агентов, подготавливаемых для заброски в определенные города и районы.

Сидя в пустом, затхлом, пахнущем пылью кинозале, Иоганн трое суток просматривал фильмы, и жизнь Родины проходила перед его глазами. Это было безмерно волнующее ощущение — он как бы возвращался в подлинную жизнь, единственно, казалось, для человека возможную, единственно реальную на свете. Это было пробуждение после лживого, тягостного сна.

Иоганн знал, что эти ленты для его страны — уже прошлое. Ныне она стала другой — суровой, строгой, напряженной в своем трагическом единоборстве. Но здесь, на экране, была она, его отчизна, и он сам такой, каким он был недавно. И за все это он готов был отдать свою жизнь, как отдают ее миллионы его соотечественников, ушедших с этих празднично-радостных лент на фронт, на смерть.

И эти ленты будут внимательно глядеть те, кто стал на путь измены Родине, глядеть для того, чтобы как можно более умело вредить народу, которому они изменили.

Это были мучительные для Иоганна трое суток. Он вернулся в «штаб Вали» обессиленный, словно после болезни, когда жар и бред истощают физические и нервные силы человека настолько, что он может зарыдать от пустяка — от неласкового слова, от внезапного шума — и впасть в истерику, если пуговица на рубашке не застегивается.

И тотчас же Вайса вызвали в штабной флигель на допрос.

Члены следственной комиссии сидели за столом. Руководители школы — на стульях поодаль.

Вайс не мог не заметить, какое бледное, вытянутое лицо у Дитриха, как торжествует Герлах, как встревожен Штейнглиц, как озабочен Лансдорф. Один лишь Герд сидел в равнодушной спокойной позе, будто все происходящее здесь его не касалось.

Каким невероятным ни показался Иоганну побег этого Фаза, в измученном, усталом мозгу его не мелькнуло ничего, кроме удивления. И лицо Иоганна отразило это удивление.

У него не было сейчас даже сил мысленно наказать себя за глухую, злобную ненависть, которую он испытывал к этому юноше.

Он просто тупо удивился — и все. Наверное, раскаяние, гнев на свою недалекость, на отсутствие тонкости в наблюдательности придут позже, обязательно придут и будут грызть его безжалостно, мучительно. Но теперь его хватило только на то, чтобы удивиться.

Казалось, что все это происходит во сне. Ни о чем не хотелось думать. В сущности, во всей истории с этим парнем он абсолютно чист, и ничто ему не угрожает. И это ощущение безопасности как бы усыпляло все его чувства.

«Ну, в чем дело?» — вяло размышлял Иоганн. Он же возражал Дитриху, вместе с Герлахом считал, что этого юнца не следует делать инструктором, предупреждал начальника школы.

Из-за этого Фазы капитан Дитрих стал в последнее время гораздо холоднее относиться к Вайсу. Ну и пускай теперь за это поплатится.

Да, Дитрих поплатится. Но разве Дитрих не нужен больше Вайсу? На смену ему придет другой. Кто? И как он будет относиться к Вайсу? А Штейнглиц, он все-таки считает себя приятелем Дитриха, ему выгодно дружить с Дитрихом. Что будет со Штейнглицем, если Дитриха уберут? Ну, а Лансдорф, он ведь благоволил к Дитриху, и не потому, что видит в нем способного работника: он ценит в нем немецкого аристократа. Кто же от всего этого выиграет? Герлах. Фашист, фанатик, работяга, самый полезный здесь для школы человек. Раз самый полезный, значит, самый опасный для Вайса.

По мере того, как эти мысли сначала вяло, а потом все быстрее проносились в голове Иоганна, восстанавливалась обычная для него напряженная и четкая ясность, боевая вооруженность мышления, которую он было утратил, полагая, что нужды в таком оружии сейчас нет. А она есть. И не будь у него собранности мысли, он мог бы безвозвратно потерять то, что так долго и терпеливо, с невероятной гибкостью и чуткостью искал в сближении с этими людьми.

Иоганн вздернул подбородок, глаза его блеснули, и он сдержанно и равнодушно сказал главе следственной комиссии:

— Господин штандартенфюрер! Я признаю, что вначале не располагал отрицательными материалами о бывшем курсанте по кличке «Фаза», но капитан Дитрих настойчиво приказывал следить за ним. Затем я получил донос на курсанта Фазу от курсанта Хряща и направил его господину обер-лейтенанту Герлаху, но тот оставил информацию без внимания. — Оглянулся на Герлаха. — Ведь вы, обер-лейтенант, стояли на точке зрения, прямо противоположной взглядам капитана Дитриха, и я вынужден был соглашаться с вами как ваш непосредственный подчиненный. — Глядя в глаза штандартен-

фюреру, сообщил: — Донос с датой и моей визой находится в папке рапортов обер-лейтенанту Герлаху.

Эсэсман по приказанию штандартенфюрера вышел из комнаты и принес папку. Донос Хряща пошел по рукам членов комиссии.

Иоганну сказали, что пока он может быть свободен.

И больше его не вызывали.

Герлах отбыл из школы под охраной эсэсовцев.

Но только один Штейнглиц нашел возможным откровенно оценить поступок Вайса. Встретив его в коридоре, он подмигнул, похлопал по плечу, сказал дружески, тронув пальцем его лоб:

— А у тебя тут кое-что есть!

Ротмистр Герд стал вести себя с Вайсом с особой вежливостью, за которой скрывалась настороженность.

Лансдорф заметил как-то с усмешкой:

— Низший чин спасает жизнь офицера. Ты, оказывается, хитрый, пруссачок. Я думал, ты простодушней.

Что же касается фон Дитриха, то тот стал избегать Вайса, а при встречах так пылливо-внимательно, неприязненно и подозрительно поглядывал на него холодными глазами, словно хотел дать Иоганну почувствовать: что бы там ни было, он, капитан Оскар фон Дитрих, контрразведчик и ни в какие благородные человеческие побуждения не верит.

Иоганн немало размышлял о том, чем грозит ему эта неожиданная неприязнь Дитриха, и пытался установить ее причины.

Возможно, высокомерному, брезгливому аристократу Дитриху претит, что он обязан низшему чину своим спасением. Не исключено и другое: прибегнув ко лжи, он тяготится тем, что Вайс, так же как Лансдорф и Штейнглиц, стал свидетелем его унижения. Можно допустить и иной вариант: Дитрих, как-то связав теперь с Вайсом свою судьбу, с отвращением ждет, что тот напомнит о своей услуге и даже больше того — нагло потребует награды.

Но ведь, в сущности, Вайс ничего такого не сделал, он только сказал членам следственной комиссии, что Дитрих занимал позицию, противоположную точке зрения Герлаха. А то, что Дитрих при несомненной поддержке Лансдорфа и Штейнглица сумел потом энергично выскочить через открытую для него лазейку, это Вайса уже не касается, это — дело самого Дитриха.

Как же поступить? Дать Дитриху почувствовать, будто он, Иоганн, не придает своему поступку никакого значения и даже не понимает, сколь круто могла покатиться вниз карьера капитана?

Нет, спасительное простодушие теперь уже исключено из арсенала Иоганна. Он настолько утвердил за собой репута-

цию смышленного, неглупого человека, что притворная наивность в данном случае может только повредить, предать его.

Значит, лучше всего терпеливо ждать и, оставаясь все время настороже, хладнокровным равнодушием умиротворить раздражение Дитриха.

Через несколько дней Иоганн обнаружил в тайнике, указанном Эльзой, долгожданное письмо, о котором он запрашивал Центр, — письмо от жены курсанта Гвоздя своему мужу.

Рекомендация Туза и непосредственные наблюдения за Гвоздем укрепили уверенность Вайса, что с этим человеком можно начать работу.

Вызвав Гвоздя на очередное политическое собеседование, он начал издали:

— Как заявил маршал Геринг, в интересах долговременной экономической политики все вновь оккупированные территории на Востоке будут эксплуатироваться как колонии и при помощи колониальных методов. Поэтому отдельные представители восточных народов, отдавшие себя служению великой Германии, могут рассчитывать на некоторые привилегии по сравнению со своими соплеменниками.

— Понятно, — сказал Гвоздь. — Спасибо за разъяснение, а то некоторые глупые полагают: немцы только против большевизма. А выходит, вы умные, по-хозяйски мыслите. Колония — и точка.

— За освобождение народов Востока от большевистского ига, за такую услугу Германия должна получить экономическую компенсацию, и это справедливо, — заметил Иоганн и внезапно спросил сурово и резко: — Вы сдались в плен добровольно?

Гвоздь настороженно посмотрел Иоганну в глаза. С лица его исчезла ухмылка, скулы напряглись.

— Находясь в состоянии беспамятства, в силу контузии, вел себя очень деликатно, вполне как живой покойник.

Вайс сказал пренебрежительно:

— Значит, как трус, сдались. — Повторил злобно: — Как трус!

Гвоздь сделал движение, чтобы приподняться. Опомился, расслабил сжавшиеся кулаки.

— Правильно. — Наклонился и спросил: — А вам что, желательно, чтобы я храбрецом оказался?

— Желательно!

— Это в каком же смысле? Чтобы, значит, я на фронте ваших бил, а потом таким же манером своих? Этого же не бывает! Кто ваших на фронте старательно бил, тот своих не тронет. Разорви его на части — не тронет!

— Значит, вы считаете, что все здесь только трусы?

— Нет, зачем же? Герои! Куда же дальше! Дальше ехать некуда.

— Некуда?

— Нет, почему же, есть адресок на виселицу.

— Где?

— И тут и там.

— И где вы предпочитаете?

— Да вы меня не ловите, не надо,— снисходительно попросил Гвоздь.

— Вы коммунист?

— Здравствуйте. Хотите все сызнова мотать?

— А Туз — коммунист?

— Это кто такой?

— Член комитета Союза военнопленных.

— Никого и ничего я не знаю.

— Ладно, поговорим иначе.

— Бить желаете? Это ничего, это можно. После лагеря я маленько отвык, конечно. Но, выходит, зря отвык.

Вайс продолжал, будто не расслышал:

— Туз дал показания, что вы согласитесь выполнить его задание.

Гвоздь угрюмо поглядел себе под ноги, предложил:

— Ты вот что, ефрейтор, брось пылить. Хватит мне глотку словами цапать, я на такое неподатливый!

— Ах, так! — Иоганн растянул кобуру.

Гвоздь усмехнулся.

— Зачем же в помещении пол марасть? Ваше начальство будет потом недовольно.

— Пошли! — приказал Иоганн.

Он привел Гвоздя к забору за складским помещением. Поставил лицом к бревенчатой стене, бережно потыкал стволом пистолета ему в затылок и сказал:

— Ну, в последний раз спрашиваю?

— Валяй,— ответил Гвоздь.— Валяй, фриц, не кани-те-ся.

— Наклонись,— сказал Вайс.

— Да ты что, гад, желаешь, чтобы для удобства я тебе еще кланялся? — Гвоздь резко повернулся и, яростно глядя Иоганну в глаза, потребовал: — Пали в рожу! Ну?

Вайс положил пистолет в кобуру.

— Я был вынужден к этому прибегнуть. — Указав на бревно неподалеку, предложил: — Присядем? — Вынул свернутое в сигаретный цилиндр письмо на папиросной бумаге, протянул Гвоздю.— Это от вашей жены.— Объяснил: — Надеюсь, теперь не будет никаких сомнений.

Гвоздь недоверчиво взял бумажный цилиндр, развернул, стал читать, и постепенно лицо его утрачивало жест-

кость, ослабевало, а потом начало дрожать, и вдруг Иоганн услышал не то кашель, не то хриплое рыдание.

Он встал и отошел в сторону.

По небу медленно волоклись серые, дряблые от снега лиловые тучи. В просветах светились звезды. От земли, покрытой жидким, нечистым снегом, пахло кислой грязью.

Высокий тюремный забор с навесным дощатым козырьком, оплетенный колючей проволокой, ронял черную тень, будто возле заборов зиял бесконечный ров. Было тихо, как в яме.

Подошел Гвоздь. Лицо его за эти несколько минут осунулось, но глаза блестели. Спросил шепотом:

— Вы мне позволите сказать вам «товарищ»? Это допустимо? Или еще нельзя, пока не докажу чем-нибудь?

Иоганн протянул ему руку. Объяснил:

— По понятным вам причинам, остаюсь для вас ефрейтором Вайсом.

Гвоздь жадно пожал ему руку.

— Механик-водитель, сержант Тихон Лукин.

— Так вот, сержант Лукин,— сказал Иоганн деловито.— Первое задание. Заниматься так, чтобы выйти в отличники по всем предметам. По политической подготовке тоже. Не пренебрегайте всей этой антисоветчиной: пригодится для разговоров с другими курсантами. А то, я заметил, пренебрегаете. Через пять дней обратитесь ко мне после занятий с каким-нибудь вопросом. Я вызову на собеседование. Все. Идите в бак.

— Товарищ,— вдруг попросил Лукин жалобно,— разрешите, я тут маленько посижу.— Виновато признался: — А то ноги чего-то не держат, все ж таки смертишку я от вашей руки пережил. Когда вы пистолет наставили, весь твердо собрался. А сейчас отошло, вот я и ослаб.

— Хорошо,— согласился Вайс.— Отдохните.— И попросил: — Так вы все-таки меня извините за ваши переживания.

— А письмишко супруги нельзя сохранить? — стонущим шепотом попросил Лукин.

— Нет,— сказал Иоганн.— Ни в коем случае.

Он сжег папиросную бумагу, затоптал пепел и ушел, не оглядываясь. Ему казалось, что лицо его светится в темноте: такое вдруг охватило его счастье. Ведь это счастье — спасти человека от самого страшного, от губительного падения. Счастье деяния, добытое из тончайших наблюдений за малейшими оттенками человеческих чувств, хотя порой казалось, что тот, на кого Иоганн обратил внимание, неотвратимо низвергнул себя в пропасть предательства, что нет здесь настоящих людей, только отбросы.

Это был поединок на смертоносном острие. Поединок за че-

ловека. Человек этот заслужил кару, но Иоганн боролся за то, чтобы спасти его от возмездия, предоставив ему возможность подвигом искупить свою вину.

А как это трудно — проникнуть в душу человека, раздавленного тяжестью совершенной измены...

Этот юноша, по кличке «Фаза»... Его поймали через несколько дней после побега. Преследователи загнали его на крышу дома, на чердаке которого он скрывался. Он отстреливался до последнего патрона и спрыгнул с крыши на землю так, как наверно, прыгал с трамплина в воду, — ласточкой.

Умиравшего, его притащили на допрос. Молчал. Из последних сил собрал пальцы в кукиш, но поднять руку, чтобы поднести к склоненному лицу переводчика, не смог. Так и умер со сведенными в кукиш пальцами.

У Иоганна было такое чувство, будто это он виноват в смерти юноши. На какую же потаенную в страшном одиночестве маскировку обрек себя этот паренек, чтобы дерзновенно, отчаянно отомстить врагам! А Иоганн не сыскал даже отдаленного, призрачного полунамеса на то, что творилось в его душе.

Курсантам объявили, что курсант Фаза переведен в один из филиалов школы.

Иоганн сообщил Гвоздю правду и рекомендовал, соблюдая осторожность, рассказать обо всем тем, кого Гвоздь считает заслуживающими доверия. Он также информировал Центр о героическом поступке Фазы — ополченца Андрея Андреевича Басалыги, 1922 года рождения, студента МГУ, как выяснилось из личного дела курсанта.

Думая об Андрее Басалыге, Иоганн испытывал одновременно и скорбь потери и чувство восхищения перед этим замечательным юношей, чье мастерское притворство он оказался бессильным разгадать. Такому притворству учился и Вайс, все тонкости его он постигал здесь день за днем. И как бы в новом озарении Иоганн осознавал свой долг, и чем явственней мерк ореол его собственной исключительности, тем сильнее упрочалась надежда найти тут верных соратников.

Бегство и «измена» курсанта Фазы пятном легли на Центральную показательную школу разведчиков при «штабе Вали» и повлекли за собой усиление наблюдения всеми доступными средствами не только за курсантами, но и за преподавательско-инструкторским составом.

Дитрих вместе с подчиненными ему сотрудниками контрразведывательного отдела разработал целую систему соответствующих мероприятий, и проверочным испытаниям должны были подвергнуться даже весьма уважаемые сотрудники абвера.

Следуя полученным от Вайса указаниям, Гвоздь стал заметно выделяться по успеваемости среди других курсантов. Ревностное чтение антисоветской пропагандистской литературы дало ему возможность весьма толково одобрять политику Гитлера. К тому же он теперь являл собою пример бодрости и жизнерадостности, что производило благоприятное впечатление. Все это послужило основанием, чтобы назначить Гвоздя старшим группы, выделенной для исполнения особо секретного задания.

Группу эту перевели в отдельное помещение. Здесь офицер абвера ознакомил курсантов с двумя самоновейшими немецкими снарядами для диверсионных действий и терпеливо учил, как надо с ними обращаться.

Первый снаряд предназначался для взрыва железнодорожного полотна. Это была металлическая конусообразная трубка, начиненная у основания клееобразной массой, схватывающей любой предмет. На верхушке трубки — отвинчивающийся колпачок, к которому прикреплена веревочка от взрывателя.

Снаряд следовало прилепить к рельсу, а затем, отвинтив колпачок, дернуть веревочку и бежать со всех ног в укрытие, так как взрыв следовал почти мгновенно.

Второй снаряд, служивший для разрушения телеграфных столбов и мачт электропередачи, походил на колбасу. Тестообразное вещество завернуто в непромокаемую бумагу. Перед взрывом в «колбасу» втыкается капсуль, насаженный на конец бикфордова шнура.

Кроме того, офицер продемонстрировал курсантам набор зажигательных средств, в изготовлении которых немцы, как известно, большие мастера.

Из всего этого следовало, что группа будет выполнять диверсионные задания.

Прочли завершающие лекции: разъяснили, как избегать слежки, как держать себя в случае задержания и на допросах.

Тому, как следует вести себя в местах заключения, учил солидный лектор, от чрезмерной тучности страдающий одышкой. Он так красочно и живописно, с таким великолепным знанием дела рассказывал о тюремных обычаях и способах приспособления к ним, так восхвалял свою собственную ловкость и изворотливость, что невольно возникала мысль, будто пребывание в тюрьмах — лучшие страницы жизни этого типа.

Но в его ответах на вопросы заключалось тягостное противоречие. С одной стороны, он обязан был внушить курсантам бодрость и надежду и потому не мог запугивать их строгостями тюремного режима. С другой же стороны, он обязан был погасить все их надежды и так застрашать заключением и

ужасами тюрьмы, чтобы они предпочли самоликвидацию добровольной явке с повинной. Поэтому, уклоняясь от прямых ответов, он главным образом усиленно рекламировал пилюли с ядами как шедевр германской химической промышленности, действующими мгновенно и, значит, почти безболезненно.

Инструктаж о порядке пользования фальшивыми документами проводил испитой, плешивый человек с унылым узким лицом. Своих зубов у него не было, их заменяли вставные, и когда он говорил, челюсти хлопали, словно пасть капкана. Немцы освободили его из тюрьмы, где он отбывал очередной срок за спекуляцию валютой. Это была его наследственная специальность, и, будучи привержен ей, он хорошо изучил делопроизводство советских административных органов.

Глядя уныло на свой свисающий живот, он мямлил:

— В командировочном предписании вы сами проставите дату: на сутки раньше дня вылета. Срок командировки, согласно действующему закону, — пятнадцать суток. Поэтому по истечении срока аккуратно заполните новое командировочное предписание.

Не храните гражданские и военные документы в одном месте. В случае чего первоочередно уничтожайте военные. Если обнаружат, что ваши гражданские документы фальшивые, можете отговориться тем, что купили их, чтобы избежать службы в армии. Самое большое — пошлют на фронт. А если обнаружат оба комплекта документов — и гражданские и военные, — то будет затруднительно доказывать, что вы не засланные. Когда прибудете в назначенный пункт, отметьтесь у коменданта города. Но не спешите. Если заметите, что дежурный придиричивый, обождите до следующего дня. Поселяйтесь в частных домах, а не в гостиницах, лучше всего — у вдов. Освобождение от воинской повинности дается с переосвидетельствованием. Статьи подберите сами. Желательно, чтобы у вас на них имелись хоть малые признаки. Если нет, берите психические болезни. Как симулировать — будет дополнительная консультация.

Сказал, выставив в улыбке синевато мерцающие зубы:

— Лично у меня убедительно получалась мания преследования. А также болезнь рака, в силу чего не раз в местах заключения выхлопывал диетическое питание. — Объявил почтительно: — Германская полиграфия на такой недосыгаемой высоте, что лучше немцев «лип» никто не делает. — Добавил осторожно: — Но если удастся на месте обрасти подлинными документами, скажу: береженого бог бережет. Лично от себя советую: на взятки не полагаться. Возьмут, но и тебя

за шкуру тоже. Имею на такие случаи из личной практики печальные прецеденты.

Мастерская по изготовлению фальшивых документов находилась в помещении без окон, за обитой железом дверью. Старик гравер, бывший работник артели «Часы, печати, оптика», по фамилии Бабашкин, находился здесь в заточении. Спит он на раскладушке, а днем убирает ее. На нем вся техника заполнения документов и согласования необходимых данных. Он же подписывает документы разными перьями, чернилами, любым почерком.

Каждого курсанта трижды сфотографировали: один раз — в военном обмундировании и два — в разной гражданской одежде, — для паспорта и удостоверения. Снимки подвергли химической обработке, чтобы они не выглядели на документах такими новенькими.

Иоганну удалось достать образцы «почерка» пишущей машинки, на которой печатали текст удостоверений, и обнаружить, что на фальшивых партбилетах обложка несколько ярче, и если посмотреть вдоль нее, то ясно виден искристый отблеск. Он заметил также, что, когда Бабашкин отрезал от расчетных книжек комсостава талоны на получение денежного содержания, маленькие ножницы, которыми он пользовался, оставляли на корешке книжек зигзагообразный след.

Все эти сведения, а также образцы клея, которым здесь приклеивали фотографии к документам, он переправил через тайник в Центр.

Перед тем как выдать курсантам документы, ротмистр Герд собрал группу для последних наставлений.

Он сказал строго, что ожидает четкой работы. Выдумывать разведанные бессмысленно: все сведения будут перепроверяться. Всякая попытка обратиться к НКВД приведет лишь к гибели самого разведчика, немецкому же командованию нанесет только незначительный материальный ущерб.

Потом он встал и, благостно улыбаясь, предложил:

— Кто испытывает колебания или боится, пусть заявит об этом сейчас. Вам предоставляется последняя возможность решить, работать с нами или нет. Если кто-нибудь откажется, ему ничего плохого не сделают. Отправят обратно в лагерь или в другое место, где работа будет ему по силам.

Герд выждал. Наивных простаков — охотников на такие признания — не нашлось.

Обо всей этой процедуре Гвоздь был предупрежден Вайсом и соответствующим образом подготовил двоих заслуживающих наибольшего доверия людей из своей группы.

За несколько дней до отъезда отбывающих начали обмундировывать. Они получили теплое белье. Кальсоны белые бумажные и оранжевые трикотажные. Сорочки голубые. Джемперы серые, с зеленой каймой на воротнике и рукавах. Совет-

ские портянки, теплые, фланелевые — их разрезали пополам, и они стали квадратными. Брюки на складе остались только красносармейские — диагональные, а шинелей комсостава РККА и вовсе не было. Сапоги преимущественно кирзовые.

Гражданские костюмы иностранного покроя: на брюках два задних кармана, пиджаки однобортные с сильно закругленными фалдами. Сорочки верхние обычно без воротничков. Иногда их пришивают в мастерской, выкраивая материю из подола, и это сразу заметно, а если материал полосатый, то полосы на воротнике получаются не горизонтальные, а вертикальные.

Почти всем выдали серые полотняные полуботинки с черными головками.

Полученную одежду и обувь носить в лагере не разрешается — сразу же после примерки все должно быть упаковано. Если происходит задержка в отправке группы, обмундирование сдается обратно на склад с ярлычками, на которых обозначено, что кому принадлежит.

Все эти мелкие и, казалось бы, совсем незначительные детали, точно помеченные Вайсом, имели существенное значение: они послужат уликами для опознания преступников. Даже то, что немцы не дают своим агентам возможности обносить одежду, может стать приметой для зоркой наблюдательности советских людей. Необношенная одежда в годы войны и лишений — мундир по меньшей мере жулика или дезертира.

Штейнглиц скептически наблюдал за процедурой примерки обмундирования.

До нападения на Советский Союз, в ходе войны с европейскими государствами, Гитлер придал косвенным военным действиям широкий размах и вложил в них особое содержание. Он рассчитывал на вольных и невольных агентов из среды правящих классов этих государств, на их своекорыстное честолюбие, авторитарные наклонности. Крупнейшие финансисты, промышленники успешно сотрудничали со своими немецкими партнерами по международным концернам, обогащаясь за счет независимости своих стран.

До сих пор германское командование основное внимание уделяло не столько прямым военным действиям, сколько нападению на противника с тыла в той или другой форме.

Штейнглиц знал: раньше Гитлер начинал войну с деморализации и дезорганизации противника. Отравить, сломить волю противника к сопротивлению — вот высшая цель тайной войны.

А кто эти так называемые «агенты»? Отбросы. Пададь, которую поставили на ноги, чтобы, как скот, гнать на укрепления противника, на его минные поля. Их гибель должна

была содействовать выявлению тайных опасностей в лагере врага, расставленных там ловушек.

Он вспоминал опытных, солидных агентов, завербованных в процветающих европейских странах. И хотя эти люди и были чужды ему, с ними он всегда находил общий язык, добивался взаимопонимания. Ведь у них и у него была общая жизненная цель. Они, как и он, видели свое благополучие в сумме, записанной на их счету в одном из иностранных банков. И если они изменяли, то не своим собственным интересам, а своему правительству. В случае военного поражения изменилось бы только правительство, но не сущность и цель жизни каждого, кто хочет и умеет делать деньги любыми способами.

А эти?

Ну, убьют, взорвут, передадут агентурные материалы. Но разве они способны отравить, ослабить волю противника к борьбе, снискать у каких-либо советских кругов сочувствие, поддержку? Изучая советских военнопленных, Штейнглиц давно начал подозревать, что политическая стратегия войны против России была построена на ложной предпосылке, мифе о существовании в Советском Союзе реальной оппозиции строю и режиму.

Ведь если бы это отвечало действительности, абверовцам достаточно было бы выявлять среди военнопленных соответствующим образом настроенных людей. Но увы, все было совсем иначе.

Главный контингент завербованных составляли слабодушные, те, кто, будучи сломлен лагерным режимом, предпочел путь к измене дороге в крематорий.

Еще в начале своей карьеры, работая в уголовной полиции, Штейнглиц убедился, что лучшие полицейские агенты — это бывшие уголовники. Но они не нуждались в перевоспитании так же, как и политические агенты абвера, завербованные в других капиталистических странах. И в этом залог их надежности.

А эти?

Он презирал их так же, как крупный профессионал-уголовник презирает тех, кто крадет, понуждаемый только страхом перед голодной смертью.

Штейнглиц молча, насмешливо наблюдал, как агенты примеряют обмундирование. И даже эта дешевенькая их одежда, лишенная европейского лоска и шика, вызывала у него презрливость.

Очевидно, те же чувства испытывал и Лансдорф. Он был знаком с Бенито Муссолини еще в годы первой мировой войны, когда тот подвизался в качестве рядового агента «Второго бюро»: работал на французскую разведку, не отказывая в услугах и Лансдорфу, богатому немецкому аристократу-раз-

ведчику, принятому в лучших домах Парижа, Рима, Лондона. Сам Уинстон Черчилль начал свою политическую карьеру разведчиком, и, как знать, если бы Лансдорф, будучи знаком с ним в те годы, угадал его будущее, многое могло быть иначе... А Гитлер? Не случайно при нем немецкая разведка достигла такого процветания. Гесс свою диссертацию написал, отдав годы изучению японской системы тотального шпионажа, и эту систему потом с колоссальным размахом перенесли на почву рейха.

Случай с курсантом Фазой произвел на Лансдорфа тяжелое впечатление. Он не сумел разгадать эту сильную личность. Беседа с ним внушила ему надежду, что этот энергичный, образованный юноша, сын врача, уверовав в фашистские догмы, сможет выполнить усложненное, с дальним прицелом задание. И как же он обманулся! И теперь, руководствуясь инстинктом чисто служебной безопасности, он самоустранился от новых попыток найти среди курсантов такого блестящего агента, каких ему удавалось вербовать во многих европейских странах.

Теперь Лансдорф ограничивался докладами ротмистра Герда, требуя от него не устной, а только письменной информации, чтобы в случае чего предъявить специально подобранные документы и уничтожить те, какие могут свидетельствовать не в его пользу.

И только Дитрих, разъяренный случаем с курсантом Фазой, с необычайной и, пожалуй, не свойственной ему энергией дотошно следил за всеми этапами подготовки специальной группы. Так, он заметил, что один из курсантов небрежно примеряет обувь, а когда кладовщик обратил внимание этого курсанта на то, что подметка на одном ботинке как будто отстает, тот сказал легкомысленно: «А, ладно, сойдет...» И этого было достаточно, чтобы Дитрих тут же устранил курсанта из особой группы.

Вайс сделал из всего этого вывод, что напряженное внимание Дитриха становится сейчас особенно опасным и для него самого.

Он вел себя с Дитрихом с подчеркнутой деловитостью и избегал разговоров, не имеющих прямого отношения к службе.

Попытки Дитриха выведать, какое впечатление на него произвела смерть курсанта Фазы, Иоганн пресек небрежными репликами:

— Истеричный мальчишка. Боялся агентурной работы, поэтому и удрал.

— Но он отстреливался до последнего патрона!

— От страха перед наказанием за побег.— И добавил с насмешкой: — От отчаяния. Боялся порки — и всё.

Старшиной школьного лагеря был военнопленный по кличке «Синица» — тяжеловесный, обрюзгший, чрезвычайно властный и беспощадно требовательный к курсантам.

В годы первой мировой войны он попал в плен к немцам. В тридцатом году, находясь в составе советской торговой делегации (он имел поручение купить красители для текстильного производства), остался в Германии. Получал вспомоществование от белогвардейского центра, доносил в гестапо на просоветски настроенных эмигрантов. Зброшенный агентом в Советский Союз, струсил. Деньги растратил в ресторанах, кутежах. Отозванный обратно, был посажен в концентрационный лагерь, где доносил на заключенных, немецких коммунистов, вызвав их доверие тем, что выдавал себя за советского гражданина, схваченного гестапо. Провалился. Из лагеря его взяли в абвер, как специалиста по русским делам. Обнаружил неосведомленность. Стал переводчиком. Женился на уличной девке. Отчислили из абвера за столь неприличную женитьбу. Жил на доходы супруги. Когда супруга очутилась в специальной больнице, работал швейцаром в ночной гостинице. Пришел в советское посольство. Каким-то образом сумел обмануть. Его пожалели и разрешили вернуться. Призванный в Красную Армию в июле 1941 года, перебежал к немцам.

Синица говорил курсантам:

— Русские — это нация мужиков и солдат, а генералами у нас всегда были только немцы. У немцев, верно, души нет. Душа — это у нас, у славян. От нее фантазии и глупости. Немец что любит? Порядок. Чистоту. Аккуратность. То, чего у нас нет. Соблюдай — и будешь в целости.

Грубый, тупой солдафон, он стремился еще больше подчеркивать эти свои качества, чтобы снискать доверие начальников.

Ротмистр Герд считал Синицу образцовым экземпляром славянина.

Став мнительным, Дитрих подозревал в Синице тайного сторонника русских монархистов, приверженцев единой, неделимой великой России, тех, кто наивно полагал, что, как только Россия будет освобождена от большевиков, на престол се возйдет русский царь, а немцы добровольно удалятся. Дитрих считал, что такой образ мыслей порождает не только никчемные, но и вредные иллюзии. Россия, Украина, Кавказ — бескомпромиссные колонии великой германской империи. И никакие иные формы управления этими территориями неприемлемы. Инакомыслящий внушает подозрение. Дитрих установил наблюдение за Синицей.

Не внушал Дитриху доверия и радист штабной радиостанции, бывший штурмовик Хакке, которого он подозревал в сочувствии Рему, казненному фюрером вместе с другими главарями штурмовиков 30 июля 1934 года в угоду требованиям германского генералитета. Член национал-социалистской партии с 1930 года, Хакке был таким же преданным наци, как и обер-лейтенант Герлах, но был несколько умнее его. Вернес,

у него хватило ума понять, что после того, как штурмовики проделали самую черную, палаческую работу, терроризовали немецкий народ и Гитлер завоевал признание германских магнатов и получил от них команду готовить под опекой генштаба войну, нацистским низам за все их грязно-кровавые подвиги отводится всего-навсего роль бездумных, бешеных фанатиков, вспомогательных ударных, карающих сил вермахта. И поэтому Хакке, как и Герлах, испытывал угрюмую неприязнь к Дитриху, видя в нем одного из представителей извечно правящего класса — прусской аристократической военщины.

Так же он относился и к Герду, понимая, что для Герда сотрудничество с наци — это только форма взаимодействия капиталистических монополий с нацистской верхушкой. Но не более.

Он чувствовал себя обманутым в своих надеждах. Будучи ветераном нацистского движения, он рассчитывал на более видное место, чем ему отвели, зачислив в кадры тайной агентуры нацистской партии, чтобы вести наблюдения за политической благонадежностью каждого наци, вне зависимости от должности и звания. Его попытки прощупать Вайса тот отражал с помощью хитроумного приема. Достаточно осведомленный в истории древнего Рима, Иоганн с увлечением рассказывал Хакке, какие ритуалы и символы наци позаимствовали у римлян и что они означали в своем первородном виде. Это позволило Иоганну уклоняться от ответов на каверзные вопросы и одновременно демонстрировать свои глубокие познания в деталях фашистского катехизиса.

Но жизнь Вайса здесь состояла не только в том, чтобы улавливать всевозможные оттенки отношения к нему окружающих и, основываясь на них, продумывать тактику поведения с каждым. Не мог он сосредоточить все свои силы и на том только, что в совокупности составляло его труд разведчика: собирать, обрабатывать, организовывать материалы и транспортировать их, а также изучать тех, кто находился в поле его зрения.

Для того чтобы иметь возможность осуществлять свою прямую задачу, он должен был прежде всего слыть исправным служащим абвера. И поскольку он не был лицом командующим, а лишь исполняющим команду, подчиненным многим другим, то, естественно, ему приходилось выполнять не только свою работу, но и часть работы тех, у кого он находился в подчинении. И не просто выполнять, а выполнять с блеском, с той педантичной точностью, какая — так полагали абверовцы — в крови у истинных немцев.

Вайс знал: достаточно допустить малейшую оплошность по службе, хоть кому-нибудь показаться неисполнительным, — и его неотвратимо ждет отчисление на фронт. И ему все время приходилось проявлять двойную бдительность: с одной сто-

роны, служебную, ни на секунду не забывая, что он абверовец, а с другой — бдительность советского разведчика, успех работы которого прямо зависит от успешности его службы в абвере.

И естественно, что Байс не мог в связи со своей перегрузкой по одной линии ослабить работу по другой. Напротив, как только он получал задание в одном направлении, сейчас же гармонично, как в челночном движении, возникала потребность усилить деятельность в направлении противоположном.

Словом, если отбросить моменты психологического характера и не думать о конечных высоких целях, которые руководили Байсом, если взять его работу, абстрагируясь от ее назначения, то специалисты, занятые изучением проблем гигиены умственного и физического труда, несомненно, пришли бы к выводу, что совмещение столь интенсивной и разнообразной деятельности требует от человека такой высокой умственной и нервной возбудимости, какая свойственна людям только в порыве самозабвенного вдохновения.

Но Александр Белов был начисто лишен права на какие-либо порывы. Единственным источником, из которого он черпал запасы сил, служила холодная расчетливая рассудочность.

Он приучил себя спать без сновидений, чтобы его мозг мог хотя и кратковременно, но полностью отдыхать. Он приучился — конечно, в тех случаях, когда представлялась возможность, — как бы выключать свое сознание, «обращаться в дурака», гасить на время нервную возбудимость. Надев на себя личину напряженного внимания, он делал вид, что почтительно слушает пространные наставления начальства подчиненным, а сам в это время блаженно расслаблялся и ни о чем не думал, не вспоминал, чтобы отдохнула голова.

Такие выключения помогали Иоганну блестяще, с неукоснительной точностью справляться с двойственностью своего положения, требовавшей всех его сил.

На одни только обязанности переводчика-инструктора ежедневно уходило девять-десять до отказа заполненных часов, и должность эта отнимала не только время, но и умственные силы. Для того чтобы успешно справляться с ней, нужна была неустанная сообразительность. К этому следует приплюсовать канцелярские и хозяйственные задания, которые ему постоянно поручали, и необходимость, общаясь со своими сослуживцами уже в нерабочее время, быть бодрым, свежим, находчивым и приятным в обращении, как всякий хорошо воспитанный человек.

Поэтому те крохи свободного времени, какие ему перепали, он как бы спрессовывал в концентрат, обдуманно уплотненный до самых крайних пределов.

Как бы ни были кратковременны поездки в Варшаву,

Иоганн старался использовать их с максимальной пользой. Так, однажды ему удалось свести знакомство с мелким имперским чиновником из группы, инспектирующей заготовку шерсти в генерал-губернаторстве.

Иоганн оказал чиновнику небольшую услугу, устроив его машину на ремонт в армейский гараж.

В обмен на это чиновник, очевидно стремясь, в свою очередь, возвыситься в глазах Вайса, похвастался, что порученное ему задание имеет особо важное значение. До недавнего времени планировалась заготовка зимнего обмундирования только для оккупационных частей. Однако сейчас получен приказ снабдить теплыми вещами все армии Восточного фронта.

Это свидетельствовало о том, что, несмотря на обещание Гитлера и его генералитета покончить с Россией к исходу 1941 года, генштаб исподволь готовится к затяжной войне.

Особое внимание Иоганн оказывал механику — специалисту по счетным машинам, присланному из Берлина для наладки криптографа — шифровального аппарата, установленного в помещении радиостанции.

Криптографы выпускала шведская фирма, но несколько лет назад гитлеровцам удалось купить контрольный пакет акций и стать ее фактическими хозяевами. Фирма снабжала своими изделиями специальные службы многих стран мира. И вот внезапно она отказалась заменить быстро изнашивающиеся запасные части криптографов, установленных в тех европейских странах, на которые гитлеровцы готовили нападение. Аппараты выходили из строя как раз в то время, когда от специальных служб этих стран требовалась особенно интенсивная деятельность.

Механик держал себя с профессорской важностью. Иоганн встретил его на Варшавском вокзале, привез в расположение «штаба Вали» и даже уступил ему свою комнату, получив за это право по вечерам беседовать с ним.

Некоторое представление о конструкции подобных машин Иоганн имел. Академик Линев считал, что со временем они могут быть использованы в качестве баснословной информационной кладовой памяти, и утверждал, что за такими машинами великое будущее.

Вайс, разговаривая с механиком, иронически и ядовито подвергал сомнению возможность четкой и безупречной комбинационной работы механизмов, подобных криптографу, чем несказанно раздражал собеседника. Но свой консерватизм Вайс подкреплял технической осведомленностью. И для того чтобы опровергнуть Вайса, механик не только обстоятельно и толково ознакомил его со схемой устройства криптографа, но и объяснил в пылу спора, начертив на бумаге, как он настраивает систему кодирования, как обеспечивается самоконтроль

шифровальных знаков и какие именно детали своей нечеткой работой могут нарушить правильность шифровки и дешифровки. И, разъясняя, указывал на образцах брака, где, в каком месте происходило искажение.

Иоганн передал все эти разрозненные сведения в Центр, и там был найден ключ к расшифровке кода.

Как известно, сия тайна оберегается в сейфе, открываемом одновременно двумя ключами, хранимыми у ~~этих~~ лиц, кроме того, существует шифр-набор для особого, третьего замка, меняемый почти каждую неделю.

Для похищения подобных тайн у других иностранных служб абвер разрабатывал операции с применением подкупов, убийств, взрывчатки, и участвовали в них целые группы самых матерых разведчиков. Иоганну помогли не только его изобретательность и находчивость, но главным образом недюжинные математические способности, которые он принес в жертву своему новому трудному поприщу.

И хотя код периодически менялся, на какое-то время, пока он действовал, Центр получил возможность расшифровывать корреспонденцию радиостанции «штаба Вали».

Все это входило в повседневный труд разведчика Александра Белова, неотрывный от труда ефрейтора Иоганна Вайса. Ведь, кроме ежедневной переводческой работы в школе, он был загружен составлением канцелярских отчетов и конспектов с различными сведениями о советских районах, куда предполагалось забросить диверсионные группы. Немало времени отнимали также всевозможные поручения командного состава, начиная от отправки посылок семьям и кончая финансовыми отчетами, которые Вайс писал за помощника начальника школы по материально-хозяйственной части.

К тому же надо было неустанно наблюдать за теми курсантами, которых Иоганн наметил для своих целей. И Гвоздь осторожно выводил их сокровенные мысли, довольно быстро научившись кратко докладывать о них Вайсу во время встреч на ходу — от плаца до барака.

Несмотря на неимоверную нагрузку, дела у Иоганна шли хорошо. Тем неожиданней для него оказалось внезапное приказание ротмистра Герда сесть с ним в машину, чтобы сопровождать особую группу до прифронтового аэродрома.

Ротмистр разрешил отлучиться только на минуту: сменить ботинки на сапоги и захватить с собой пару теплого белья.

Иоганн заметил, что рядом с шофером грузовика-фургона, в котором разместились агенты, сидит с угрюмым лицом радист Хакке. А среди агентов почему-то оказался и старшина лагеря Синица, которого не готовили для заброски в тыл.

Ротмистр сопровождал группы на аэродром в крайне редких случаях. Обычно это поручалось кому-либо из офицеров.

Он почти всю дорогу милостиво беседовал с Вайсом и даже считал возможным поделиться с ним соображениями на тему о том, как полезна служба в разведывательной школе. Ему лично, например, она много дает, так как здесь он приобретает ценный опыт, который, бесспорно, будет применен им в его дальнейшей коммерческой деятельности. Вайс, очевидно, знает о существовании Бюро «Н-В-7» экономической разведки «ИГ Фарбениндустри», дающего этому величайшему концерну возможность получать информацию из первых рук. И опыт агентурной работы «штаба Вали», несомненно, обогатит приемы коммерческой разведки, без которой ни одна солидная фирма не может успешно развиваться.

И он доброжелательно посоветовал Вайсу специализироваться в области экономической разведки, так как и в том случае, если Германия овладеет мировым пространством и не будет конкурирующих держав, останется конкуренция между мировыми немецкими концернами, и им понадобятся услуги опытных агентов разведки.

Иоганн рассеянно слушал ротмистра, прикидывая, какие дела остались незавершенными из-за внезапного отъезда и чем вызвана такая внезапность. Размышлял он также о том, что внезапность эта не случайность, а прием, нацеленность которого он не мог выявить, сколько ни пытался перевести разговор на тревожащую его тему.

Едва только Вайс касался этой темы, как Герд тотчас же начинал озабоченно хмуриться и замолкал. Поведение Герда заставляло Иоганна все больше утверждаться в своей догадке, что внезапность его отъезда была заранее кем-то предусмотрена. Но кем?

Все вокруг завалил чистый, сухой от холода снег.

На ротмистре был авиационный комбинезон с электроподогревом, шнур от которого он включил в запасные аккумуляторы, специально для этого поставленные на пол кабины.

Кроме того, в держалках стояли два больших термоса с горячим кофе. Но ротмистр, наливая себе из термоса, каждый раз забывал предложить кофе Вайсу, так же как не поделился с ним завтраком, уложенным аккуратно в дорожный несессер с прикрепленными к крышке пластмассовыми тарелками, складными наборами ложек, вилок, ножей и даже соковыжималкой.

Началась метель. Сквозь белый движущийся сумрак Вайс видел, как население окрестных деревень и городков разгребает под наблюдением солдат снег с дороги, и не у всех в руках лопаты — сгребают и досками.

Ротмистр спал. Во сне его лицо обмякло, губы обвисли, и казалось, что это не живое человеческое лицо, а маска.

Белая, шуршащая о стекла машины, сыпучая, снежная мгла. Мерное, подобное метроному, скрипучее движение «дворников», протирающих ветровое стекло. Усыпляющее качание их было схоже с колебаниями маятника, неведь кому отсчитывающего медленное, тягучее время.

Только теперь, в этом состоянии безделья, Иоганн почувствовал — имел наконец время почувствовать, — как безмерно он устал, измотался. Сказался почти мгновенный переход к покою от невероятного напряжения, от необходимости постоянного острого комбинационного мышления, решения уравнений со многими неизвестными, неустанный жестокого самонаблюдения и чутко возбудимого, настороженного внимания ко всем другим. Все это было подобно неустанному поединку одного со всеми, бесконечно длящемуся каждый день, каждую минуту.

И теперь, в пути, он добровольно отдался бездумному отдыху, почти прострации, той тоскливой прострации, какая охватывает человека после неимоверного напряжения всех сил.

И в его сознании без сопротивления пронеслись воспоминания, которым он прежде не разрешал себе предаваться, считая их уступкой слабости.

...Вот так же, как сейчас, падали махровые хлопья снега. Они исчезали в незастывающей, цвета дымчатого стекла воде Москвы-реки. Он шел по набережной с Линой Линевой. Она говорила взволнованно, осуждающе:

— Если человек смелый, то он должен быть смелым во всем.

Он взглянул в ее лицо — худенькое, с влажными щеками, его не назовешь красивым. Но глаза! Всегда такие ярко выразительные, откровенные. Он взглянул в ее глаза и понял их. Сказал, отвечая не на слова Лины, а на ее взгляд:

— Ну, ты и доказала бы, что любишь. И ни о чем другом думать не хочешь.

— Я и не думала тогда ни о чем, и ты не имел права думать! А ты думал!

— Вот именно, думал о тебе! Неужели ты не понимаешь?

— Я хотела заставить тебя всю жизнь помнить меня. Я на это решилась — и всё.

— Даже если мы потом не будем вместе?

— Ты полагаешь, все это для того, чтобы получить тебя в пожизненное пользование?

Ему не нравился весь этот разговор. И он сказал хмуро:

— Мне кажется, мы не разговариваем, а читаем вслух чей-то чужой диалог.

Лина остановилась. Глаза ее стали добрыми, она воскликнула радостно:

— Ну вот, понял наконец-то! — И, вздохнув, прошептала: — Ты знаешь, Саша, любовь требует величайшего такта... и ума.

— Я это читал где-то.

— Возможно. Но я хотела придумать тебя такого...

— Ладно, — с досадой сказал Белов, — валяй придумывай...

Академик Линева говорил ему как-то:

— Настоящий ученый должен знать все, что существует на свете в той области науки, которой он себя посвятил, а также все возможное о сопутствующих науках. Но если, обретя все эти знания, он не извлечет из ведомого новое, неведомое познание, он все равно не ученый, а только книжный шкаф. — Произнес раздраженно: — Овладение нашей новой интеллигенцией иностранными языками — это не только проблема ее деловой информированности, но и идеологическая проблема. Одноязычие — признак национальной ограниченности либо невежества.

Злой, нетерпимой требовательности Линева был обязан Белов своим безукоризненным знанием иностранных языков.

Линева строго и тщательно занимался многими видами спорта, утверждал:

— Научный работник обязан обладать максимально крепким организмом. Рабочий день его не нормирован. Интенсивность отдачи нервных и даже физических сил колоссальная. Прерывать свою деятельность из-за любых недомоганий — безобразие недопустимое, возмутительное. — Делился своим опытом личной жизни: — Жениться следует отнюдь не в юношеском возрасте. Один раз и окончательно. Любовные коллизии обычно сопровождаются колоссальной растратой необратимой нервной энергии.

— Папа! — с упреком воскликнула Лина. — Но ты же совсем не такой! Я читала твои письма к маме.

— Значит, есть документальное подтверждение того, что я прав, — отнюдь не смущаясь, сказал академик. Обращаясь к Белову, объяснил: — Ухаживая за своей будущей супругой, в то время студенткой Петроградской консерватории, я, будучи музыкально абсолютно бездарным и тупым, тратил гигантское количество драгоценного времени на посещение концертов и даже пытался обучиться, представьте, игре на арфе. Воображаете? Мужчина — арфист! Это была высшая степень подхалимажа. — Подозрительно покосился на дочь, кивнул на Белова, спросил: — Как, он все еще терпит твои фортепьянные бдения?

— Но он любит музыку!

— Не знаю, не знаю, что он там любит, — сердито сказал

академик и добавил ехидно: — Но я любил не столько слушать свою будущую супругу, сколько смотреть на нее, мечтая о тишине вдвоем.

— Но тебе нравится, когда я играю.

— У меня выработался защитный рефлекс!

Как-то Лина сказала Белову:

— Папа относится к тебе как тренер к своему ученику, которого он готовит к мировому рекорду. Он тщеславен и мечтает, чтобы его ученик превзошел его самого.

Академику нравилось, когда Белов оставался у них в доме обедать. Потирая руки, провозглашал:

— Я сторонник средневекового цехового обычая, когда мастера брали к себе учеников на харчи.

За столом часто велись серьезные разговоры.

— Владимир Ильич был величайшим ученым, — сказал однажды Линева. — В силу этого Октябрьская революция не носила характера политической импровизации. Я полагаю, в политике, так же как и в науке, субъективизм — плод опасного невежества и спесивого самомнения. Я твердо убежден, что субъективизм в науке и политике чужд коммунизму и приносит чрезмерный вред.

...У Белова не хватило духу зайти проститься с Линевыми перед отъездом из Москвы. Он мог только мысленно представить себе, какое презрение и ярость вызвало бы у Линева сообщение о том, что его ученик, по-мальчишески бросив институт, вдруг отправился невесту куда, на Север. А Лина? Что она о нем подумала?

И сейчас, в дорожном безделье, Иоганн Вайс позволил себе эту роскошь воспоминаний. Словно награждая самого себя отдыхом, он устроил просмотр некоторых частей хроники своей жизни, как бы прослушал их звукозапись.

Он помнит побледневшее, холодное, запрокинутое лицо Лины с остановившимися глазами, почти бездыханные, горячие, дрожащие, ставшие мягкими губы, ее руки, вальсы, обессиленные... А он не решился. Нет, он решился. Решился отшатнуться и, задыхаясь, сдавленно спросить:

— Лина, ты понимаешь? — Потряс за плечо. — Понимаешь?

Она молчала. Приподнялась, поправила волосы, присела к зеркалу и, глядя в зеркало на Белова, сказала раздельно:

— Я все всегда понимаю и помню — это мой недостаток. Но даю тебе слово: никогда, ни при каких обстоятельствах, я теперь с тобой не забуду этих моих недостатков. Можешь быть уверен. — И пообещала мстительно: — Теперь тебе не угрожает опасность совершить безнравственный, не зарегистрированный в загсе поступок.

— Лина! — воскликнул он с упреком.

— Цинично не то, что я сказала, а твоя попытка вразум-

лять меня.— Опустила глаза, прошептала жалобно: — Очевидно, даже после этого люди не становятся до конца близкими.— Посмотрела, сощурилась, на него в кулак: — Ох, какой ты сейчас от меня далекий! И маленький, как лилипут, но,— добавила она насмешливо,— солидный и умный.

Это случилось в тот день, когда Белова предупредили, чтобы он подготовил близких к мысли о своем длительном отсутствии, и, как деликатно выразился начальник, «если у него нет перед кем-либо моральных обязательств, то не следует в преддверии чрезвычайно продолжительной командировки брать на себя невыполнимое».

37

Ротмистр Герд вольготно полулежал на сиденье, бесцеремонно отеснив Вайса к бронированной холодной стенке вездехода. После уютного сна в электроотапливаемом авиационном комбинезоне, после кофе со значительной порцией коньяка он пришел в добродушное настроение и был не прочь поболтать с Вайсом.

Очевидно, Герд пожелал разъяснить своему спутнику, что хотя чин у него небольшой — он только ротмистр, но положение его в германской промышленности равно генеральскому и даже больше того. И, по существу, люди, подобно ему обладающие крупным капиталом, независимы настолько, что могут позволить себе говорить такие вещи, которых не посмеют высказать безнаказанно вслух даже самые матерые наци.

О Канарисе он заметил пренебрежительно, что в годы первой мировой войны тот работал агентом вместе со знаменитой Мата Хари, но, по всей вероятности, выдал ее французам и этим спасся от ловушки, расставленной ему «Вторым бюро». Сейчас положение Канариса незавидное, потому что Гиммлер рано или поздно, но все равно добьется объединения, подчинит себе все немецкие разведывательные службы и практически станет вторым лицом в империи. Что же касается Гейдриха, то ходят слухи, будто он приказал похитить с могилы своей бабки старое надгробие, где значилось ее имя — Сара Гейдрих, и заменил другим, на котором высечены теперь только инициалы. Об этом знает Канарис. И Гейдрих знает, что об этом знает Канарис, и поэтому они вынуждены ладить между собой.

Самым дальновидным из всех наци Герд считал Геринга. Слабость его к орденам и чинам простительна, потому что Геринг стал на солидный путь и его концерн позволит ему войти в круг истинных правителей Германии, таких, как господа Стайнес, Борзиг, Крупп, Тиссен. Именно они и представляют германскую империю. Политическое дарование Гитлера

именно в том, что он понял это раньше, чем все другие руководители национал-социалистской партии.

Герд сказал, что, когда высшие чины генерального штаба, разрабатывая планы будущей войны, проводили в 1936 году в Дрездене учения, на них присутствовали Бош, Феглер, Шпрингорум, Сименс, Тиссен, Крупп, Борзиг, а также другие крупные промышленники, которые подготавливали экономическое обеспечение этой наступательной войны. Но если немецкий генеральный штаб и имперское правительство мыслят в рамках узконациональных интересов, то крупных промышленников отличает широта мышления, и их международные экономические связи независимы от того, находятся государства в состоянии войны между собой или не находятся.

Так, например, Крупп еще до первой мировой войны заключил сделку с английской военной фирмой «Викерс — Армстронг» — продал ей патент на взрыватель для ручной гранаты. При заключении сделки было обусловлено, что за каждую использованную гранату уплачивается по одному шиллингу, и англичане в соответствии с этим условием выплачивают Круппу дивиденды. Такие же доходы получают другие немецкие фирмы за оптические прицелы.

В свою очередь немецкие промышленники выплачивают дивиденды за подобные сделки иностранным фирмам, в том числе крупнейшим концернам США, так же как и те им.

— Поэтому, — наставительно сказал Герд, — наш поход на Россию — это как бы священная война, связанная не только с интересами рейха, но и с главной целью: покончить с коммунизмом, который опасен тем, что пытается подорвать у народов Европы доверие к цивилизации, покоящейся на незыблемых устоях.

Иоганн спросил:

— Если я вас правильно понял, — чем больше английские солдаты будут бросать в нас гранат со взрывателями нашей системы, тем больше будет приток к нам английских фунтов?

— Совершенно верно, — согласился Герд. — Поэтому, как бы ни была разрушительна война между цивилизованными державами, в итоге она укрепляет экономическую и финансовую мощь самых могучих промышленных объединений, не затрагивая политических и экономических устоев. Именно благодаря этим обстоятельствам мы вышли из огня первой мировой войны, как птица феникс, и с еще большей энергией и оснащенностью вступили в новую силовую акцию.

— Вы, несомненно, будете министром! — с восхищением воскликнул Вайс. — Вы обладаете исключительным аналитическим даром.

— Я только называю вещи своими именами, — поскромничал Герд. Добавил добродушно: — Некоторые наши моло-

дые люди считают представителей делового мира бездельниками, живущими в роскоши и праздности. Как видите, я отдаю все свои силы работе, испытываю лишения наряду со всеми другими офицерами, не позволяю себе никаких излишеств. И служу фюреру с преданностью и благодарностью за ту исключительную решимость, с какой он широкими насильственными мероприятиями избавил нас от опасности, угрожающей целостности исторически сложившейся системы, управляемой теми, кто этого достоин по правовым принципам собственности.

На ночлег остановились в Гомеле, в расположении абвергруппы № 315.

Как обычно, абверовцы, офицеры этой группы, были в штатском. Держались они друг с другом свободно, по-товарищески. В большинстве это были выходцы из интеллигентных семей, воспитанные и тактичные, и представителям «штаба Вали» они оказали приятное, без тени подхалимажа, но вместе с тем подчеркнуто уважительное гостеприимство.

Разговоры с гостями носили характер светской болтовни. Абверофицеры не прочь были посплетничать и дружелюбно высмеивали различные мелкие происшествия, участники которых довольно терпеливо относились к тому, что их избрали мишенью для шуток за столом.

Так, во время ужина, устроенного в честь Герда и Вайса, объектом дружеского розыгрыша стал зондерфюрер Вилли Крахт. Наменяли на его донжуанские похождения, что ему, несомненно, льстило. Начальник зондергруппы Дресс рассказал, между прочим, про него одну занятную историю.

Вилли Крахт вынудил к сожительству радистку из парашютной группы, некую Раю Мокину. Впоследствии выяснилось, что эта Мокина — предательница и работает на противника. Ее вторично арестовали, на этот раз органы СД, начальником которого в Гомеле был Вилли Шульц, большой друг Крахта. И вот, чтобы подшутить над Крахтом, он во время допросов сожительствовал с ней.

Потом они оба присутствовали, по долгу службы, при ее казни, а она вдруг стала кричать: «Вилли! Вилли!» Но, поскольку они оба были «Вилли» и имели к ней равное личное касательство, положение их оказалось настолько комичным, что даже унтер-офицер, проводивший казнь, не мог скрыть улыбки.

И Дресс, стремясь представить себя рыцарем без страха и упрека, разъяснил свое повествование:

— Как видите, чувство юмора скрашивает некоторые мрачные стороны, связанные с выполнением нашего долга. — Заметив, что из всех присутствующих только Герд и Вайс не улыбнулись, сообщил уже другим, строгим и осуждающим, тоном: — Но вообще я не поощряю подобных раз-

влечений. — И, обратившись к Крахту, спросил: — Вы помните, Вилли, мы держали на отдыхе после основательного пребывания в тюрьме и достаточно энергичных допросов гестапо некую Милу, в прошлом машинистку какого-то маленького учреждения? Хорошенькая девица, правда, слишком тощая и изнуренная. Но некоторым именно такие нравятся. И вот гостившие у нас старшие офицеры из Берлина после ужина с напитками возымели желание нарушить уединение этой девицы.

Что же сделал я? Умчался вперед на машине и увез ее на дачу. Берлинские друзья были этим не только огорчены, но и возмущены, и это грозило мне неблагоприятным отзывом о нашей работе. Но я пошел на это в интересах абвера. Агентку должны были на следующий день забросить. Но помилуйте, как бы она могла выполнить задание после такого визита, причем нескольких мужчин? И тут я пресек их поползновения со всей решительностью, не колеблясь ни на минуту.

— И где же сейчас эта худышка? — поинтересовался Герд.

Вилли Крахт не мог сдержать усмешки, но Дресс, строго взглянув на него, с готовностью объяснил:

— К сожалению, господин ротмистр, должен вам доложить — разбилась. При первом же выбросе на парашюте. Не раскрылся. Но, полагаю, не из-за технической неисправности. Некоторые из них, знаете ли, избирают подобный возмутительный способ для того только, чтобы уклониться от выполнения задания. — Добавил почтительно: — Конечно, контингент вашей школы представляет большую ценность. Мы же вынуждены мириться с подобными потерями. Бербуем наспех, по тюрьмам. Получаем материал физически крайне ослабленный. Как только перестают волочить ноги, засылаем. Время на подготовку весьма ограниченное. Попадаются и ценные экземпляры — сыновья тех, кого большевики некогда лишили крупной земельной собственности. У этих развиты способности к террористическим актам. Но, к сожалению, они снова падают жертвами тех, кто воспользовался их землей. — Пожаловался: — Вы видели белорусские деревни? Мужиков? Азия! По сравнению с крестьянами, имеющими землю в любой европейской стране, — нищие. И вот загадка. Уходят целыми селениями в партизанские отряды, дерутся, как дьяволы. Мне думается, они развращены политически значительно сильнее, чем мы предполагали.

Поэтому только соединением усилий частей СС и вермахта удастся осуществить массовую ликвидацию излишнего населения на этих оккупированных территориях. Это не гуманное, но единственно целесообразное действие.

Вилли Крахт предложил Вайсу переночевать в его комнате.

Сдержанность гостя Крахт принял за своего рода чопорность, свойственную выходцам из дворянских семей, и, желая расположить его к себе, рассказал подробно историю своего сближения с Раей Мокиной.

После вина Крахт был настроен сентиментально и, лежа на койке и куря сигарету в длинном костяном мундштуке, говорил, мечтательно прикрыв глаза:

— Вы себе представить не можете, какое это было занятное существо. Как неистово она меня вначале ненавидела! Но я, чтобы смягчить ее, сделать более приятной, пользуясь своей дружбой с начальником местного отделения СД Вилли Шульцем, попросил его о некоторых временных поблажках для заключенных, которые, как утверждала Рая, были абсолютно ни в чем не виновны. И даже доставил ей письмо от них. Ну, и позволил себе также быть объектом ее пропаганды. Унизил своих родителей до степени рабочих. Рассказал о себе рождественскую сказку: бедный мальчик копил пфенниги, чтобы учиться в школе. Представьте, это измученное беседами в СД существо стало даже жалеть меня, как заблудшую овцу в стае волков.

Ее наивность была настолько трогательной и восхитительной, что, откровенно между нами, я просто влюбился. К сожалению, наедине со мной она говорила такое, что мне пришлось официально доложить Шульца о ее неблагонадежности.

— И что же было дальше?

— Вы же слышали: ее казнили.

— Были основания?

— Да, кое-какие основания у Шульца были... Хотя Шульц, этот грубый баварский мужлан, мог бы повременить хотя бы из уважения к моим чувствам.

— Вы ее вспоминаете?

— Да, конечно. Это хотя и советская, но, безусловно, Гретен, с присущей ей наивностью, чистотой и страшно упрямой убежденностью.

Иоганн смотрел на Вилли Крахта — такого деликатного, благовоспитанного. Смотрел на его высокую опрятную шею. На его лицо, чуть бледное, узкое, с правильными чертами. На его выпуклые, голубоватого оттенка глаза. На его по-женски безмускульные руки. На теплую фуфайку, которую Вилли заботливо надел, чтобы не простыть ночью даже под периксй, привезенной, очевидно, из дому.

Он видел на тонкой шее Вилли золотую цепочку со связкой медальонов-иконок, которые тот, прошептав молитву, прежде чем лечь в постель, бережно поцеловал.

Вилли показал Вайсу портрет своей сестры. Сказал, что они близнецы. Нежно любят друг друга. И один из медальо-

нов — талисман, который его сестра приобрела за большие деньги у известного в Мюнхене астролога, и этот талисман должен уберечь его от насильственной смерти.

И, глядя на тонкую шею, на которой висел талисман, Иоганн не мог позволить себе даже подумать о том, с каким бы наслаждением он сдвигал своими пальцами эту шею.

Полузакрыв глаза, он мысленно повторял номера автомашин, которые, как ему удалось заметить, развозят по конспиративным квартирам абвера в Гомеле пайки с продуктами. Зная номера этих машин, оперативная группа или партизанские группы смогут установить места явок немецких агентов.

И пока он впечатывал всю эту нумерацию в свою память, Вилли, удобно улегшись на подушках, понизив голос, сплетничал. Говорил он главным образом о своем начальнике.

Капитан Дресс — пьяница. Недавно он, совершенно пьяный, ввалился к отмечавшему свой день рождения коменданту города, старому прусскому служаке. Бухнул на стол — прямо перед носом изумленного полковника — вытащенную из абвергрупповской столовой пыльную, полузасохшую пальму и, прервав речь, которую тот произносил, долго жал и тряс его руку. Потом сел за стол и уснул, положив голову на тарелку.

Всего несколько дней назад он пил здесь, в этом доме, с ротмистром фон Вальде, но когда ротмистр покинул собутыльника и пошел спать, Дресс ворвался в его комнату и потребовал продолжить выпивку. Вальде отказался. Тогда Дресс объявил, что, если тот не вернется к столу, он помочится здесь же, в комнате Вальде, на печку.

Вальде взял пистолет, лежавший на ночном столике, и прицелился. С трудом удалось утащить Дресса из комнаты.

Постоянный собутыльник капитана, начальник гомельской жандармерии, и тот стал его избегать после того, как Дресс ночью вломился в жандармерию и пошел по длинному коридору, стреляя в лампочки. Жандармы решили, что это — нападение партизан, и все могло окончиться ужасно, если б начальник жандармерии не узнал голос Дресса, кричавшего при каждом выстреле: «Желаю пить, желаю пить!»

Но вообще-то Дресс — хороший служака. Добр ко всем сослуживцам, заботлив. А недостатки его можно объяснить. Ведь допросы местного населения контрразведывательный отдел ведет ночью.

К тому же у людей низшей расы настолько притуплены болевые ощущения и так не развит естественный для каждого живого существа страх смерти, что приходится прибегать к особым мерам, и это требует от работников второго отдела колоссального самообладания и такой грубой физической ра-

боты, по сравнению с которой труд каменотеса или мясника — детская забава.

О себе Вилли сказал с содроганием, что он не выносит криков. И не может понять, как их выносят другие его коллеги. И вообще это ужасно, что мы, немцы, вынуждены так ренять свое достоинство с этими людьми, не желающими понимать всю бессмысленность сопротивления новому порядку.

Вайс спросил:

— Ну, а если нам несколько смягчить отношение к местному населению?

— Что вы! — ужаснулся Вилли. — Это было бы воспринято ими как проявление слабости, и они стали бы еще чаще нападать на нас. Нет-нет, как это ни жестоко, но жестокость — единственное средство. Вы же знаете, считается, что мы находимся в тылу. Но опасности, которым мы здесь подвергаемся, ничуть не меньше, чем на фронте. — Пожаловался: — А награда дадут меньше. Это несправедливо.

— Вы свое получите, — твердо сказал Вайс. — Это я вам обещаю. — И тон, которым он это произнес, ему самому показался непростительно откровенным.

Но Вилли ничего не заметил.

— Конечно, вы можете замолвить в «штабе Вали» доброе словечко обо мне, — сказал он. И вежливо пожелал: — Спокойной ночи, дружище!

А что оставалось Вайсу? Ответить тем же.

Утром, еще до завтрака, Иоганн напомнил Вилли Крахту о его желании быть аттестованным «штабу Вали» с лучшей стороны и в связи с этим попросил как о любезности чисто по-товарищески информировать его о достоинствах и недостатках агентов, работающих на группу № 315. Вайс объяснил, что ротмистр Герд имеет поручение подобрать кандидатов для разведывательных школ, но, по вполне понятным мотивам, капитан Дресс предпочтет лучших агентов оставить при своей группе и поэтому может необъективно охарактеризовать их.

Крахт, замаявшись, напомнил о правилах обращения с секретной документацией.

Вайс изумленно пожал плечами.

— Но разве я прошу, чтобы вы давали списки мне в руки? Отнюдь. И читать их буду не я, а вы. Просто я взгляну на то, что вы читаете, и, если агент не заслуживает доверия, ну... вы ограничитесь одной лишь мимикой. — Положив руку Крахту на плечо, Иоганн сказал доверительно-дружески: — Только между нами — вы знаете, чей зять господин Герд?

— О! — воскликнул Вилли. — Еще бы!

— Так вот, ротмистр Герд не обладает некоторыми качествами, необходимыми для офицера абвера, и, по-видимому,

не стремится их приобрести. Капитан Дресс легко проведет его. Но если Герд узнает, что вы оказали ему эту маленькую услугу... — Вайс устремил глаза ввысь, произнес задумчиво: — В конце концов, после войны нам с вами, Вилли, как и многим молодым людям, благодарность совладельца такой крупной фирмы, какую представляет Герд, может дать значительно лучшее положение в обществе, чем железные кресты всех степеней. Я лично именно так думаю и так поступаю.

Крахт заколебался.

— Но как я могу быть уверен в том... — он несколько замешкался, скулы его порозовели, — ну, в том, что вы не припишете себе мою заслугу?

— Если ротмистр не выкажет вам благодарность, вы можете без всяких церемоний представить меня перед ним в самом невыгодном свете, — решительно заявил Вайс. И добавил с улыбкой: — Но клянусь вам, Вилли, у вас не будет нужды прибегать к этому.

Вилли Крахт выполнил просьбу Иоганна Вайса. Натренированная память помогла Иоганну с автоматической точностью почти зрительно запечатлеть то, что его интересовало.

Оставался Герд. Тут требовалась работа на чистом воображении.

Иоганн спросил Герда, не считает ли он разумным взять в качестве сувениров несколько икон из старинного русского храма. В самых богатых домах Германии иконы сейчас считаются модным украшением.

Герд обрадовался.

Тогда Иоганн произнес тоном заговорщика:

— Капитан Дресс намеревается раздобыть их для себя, но зондерфюрер Крахт, желая сделать вам приятное, сообщил мне, где находится этот храм.

— Отлично. Я ему чрезвычайно признателен.

Вайс сказал настойчиво:

— Я думаю, господин ротмистр, вы выразите Крахту свою благодарность, но только в самых общих выражениях, чтобы не поставить его в затруднительное положение перед капитаном.

— Можете быть уверены, — решительно пообещал Герд.

И он выполнил свое обещание. Горячо пожал руку Крахту, дал свою визитную карточку. И многозначительно заявил, что не забудет его любезности.

О церкви, превращенной в склад боеприпасов, Иоганн узнал от бывшего дьякона, находящегося на службе абвергруппы № 315 в качестве возчика.

Вайс не раз беседовал с «этим типичным русским бородачом», который интересовал его главным образом потому, что развозил продукты агентам, живущим на квартирах в разных концах города.

По пути на аэродром они заехали на склад, и Герд беспретственно получил «модные украшения» для своего загородного дома.

На секретном аэродроме абверчасти, где стояло только несколько транспортных самолетов, Вайса подстерегала первая и очень неприятная неожиданность. Здесь оказалась группа агентов, подготовленных в школе «Зет». И если они и не отличались столь фундаментальной и тщательной технической подготовкой, как агенты Варшавской центральной школы при «штабе Вали», то обладали другими особенностями, свойственными стилю этой специальной школы.

Почти всех их заставляли быть исполнителями казней, и фотографии, запечатлевшие их в этот момент, заменяли в их личных делах письменные работы курсантов Варшавской школы, в которых те объясняли, почему они считают себя врагами советской власти. Их тренировали в технике свершения террористических актов. Это были утратившие человеческие чувства, отупевшие, готовые на все, законченные мерзавцы.

Группу Варшавской школы включили в группу агентов школы «Зет», и старшим оказался уже не Гвоздь, на чем строил Вайс свои расчеты, а агент из «Зет» по кличке «Хлыст», совершивший уже не одну операцию.

В соответствии с инструкцией за час до вылета Вайс выдавал своим курсантам карту объекта разведки масштаба 1:30 000. Карту пути от места высадки до объекта масштаба 1:100 000. Наганы с патронами. Компас, один на двоих. Карманный электрический фонарь, один на двоих. Советские дензнаки — по 10 тысяч рублей каждому. Ручные часы. Складные ножи.

В порядке исключения заставил радиоинструктора опробовать вместе с Гвоздем его позывные и позывные его корреспондента. Еще раз проверил букву, обозначающую его подпись, пароль на случай перехода обратно через линию фронта, личный номер для предъявления в штабе любой немецкой части. Выдал гранату, которой Гвоздь был обязан в случае крайней необходимости уничтожить рацию.

Вайс знал, что руководство никогда не смешивало в одной операции выучеников разных школ. Необычный поступок со стороны педантичного начальства его насторожил и заставил видеть за всем происходящим нечто недоброе и опасное.

По выражению глаз Гвоздя он понял: тот уже догадался, что план срывается и Хлыст со своими людьми занимает господствующее положение.

Вайс задержал Гвоздя под тем предлогом, будто хотел проверить, как тот пригнал ремнями себе на грудь обернутую в одежду рацию.

— Плохо? — прошептал Гвоздь.

Иоганн кивнул.

— Мне бы хоть первым выпрыгнуть.

— Зачем?

— Есть соображение. — Он посмотрел Иоганну в глаза и твердо добавил: — Надо.

Иоганн знал, что в соответствии с инструкцией посадка в самолет производится в порядке, обратном порядку выброски (тот, кто садится последним, выбрасывается первым), и сказал об этом Гвоздю.

В довершение всего Гвоздю вдруг было приказано снять с себя рацию и передать ее радисту из школы «Зет». Тем самым терялась возможность сообщить в Центр радиосигналами о месте нахождения группы после приземления. Но новый радист, взяв у Гвоздя рацию, забыл попросить у него полагающуюся к ней гранату, и она осталась у Гвоздя.

Перед самой посадкой Гвоздь уселся на землю и стал переобуваться.

Из-за этой задержки он поднялся по трапу последним. Оглянувшись на тоскливо и потерянно глядящего ему вслед Иоганна, Гвоздь вдруг успокоенно и торжествующе усмехнулся.

Вернувшись с летного поля в штабной барак, Вайс застал здесь Хакке и Синицу. Вначале его удивило их путешествие вместе с курсантами, но потом он как-то не задумывался об этой странности, и только теперь, увидев их встревоженные лица, он понял, что все это неспроста и, вероятно, имеет какое-то отношение и к нему, потому что оба они устремили на него явно беспокойно-вопросительные взгляды.

Вошел ротмистр Герд вместе с комендантом аэродрома и, держа в руках телеграфную ленту, прочел, запинаясь, приказ штаба. Предписывалось немедленно высадить в тылу противника для выполнения особого задания группу в следующем составе: Вайс — старший, радист — Хакке, Синица.

О цели задания группе будет сообщено сразу же после ее приземления.

Комендант, как только Герд закончил читать приказ, потребовал, чтобы члены группы сдали свое личное оружие для замены его советскими пистолетами «ТТ». И тут же солдат внес советское обмундирование: белье, носки, сапоги и даже советские папиросы и спички.

А комендант разложил на столе армейские документы, изготовленные в мастерской абвера. Для Вайса была заготовлена орденская книжка.

Переодевшись, Иоганн старался понять, зачем у него сразу же отобрали личное оружие. Если не дадут другого, зна-

чит... Но что значит? Где он мог допустить ошибку, оплошность? И потом он ведь не один, с ним Хакке, Синица. Нет, здесь явно таится что-то другое.

Да вот и комендант. Принес пистолеты и, сверив по номерам, положил рядом с документами. И даже гранаты-лимонки выложил на стол. Это хорошо. Значит, тут другое.

Вайс подошел к столу и, улыбаясь, попросил коменданта разъяснить, есть ли какие-либо особенности у советского оружия, которые следует учесть.

Комендант с вежливой готовностью дал необходимые объяснения.

Но Вайс заметил, что ротмистр посмотрел на него при этом вопросительно и удивленно.

Иоганн понял, что он переиграл. В школе ведь изучали все образцы советского оружия. И тут же Иоганн заявил коменданту, что ему отлично известны конструктивные особенности советского оружия. Но он задал свой вопрос, чтобы узнать, пристрелян ли его пистолет и какие при этом выявлены особенности, ибо всякое оружие обладает своими особенностями, и их следует учитывать при стрельбе.

Комендант сказал:

— Нет, не пристрелян.

— Напрасно, — пожурил Вайс. — Значит, если я промахнусь, отвечать будете вы.

— Правильно, — согласился Герд. — Это — серьезное упущение.

Комендант взглянул на часы.

— Пора. Пообедать придется в самолете.

Солдат помог им надеть парашюты.

Вайс подошел к Герду, протянул руку:

— До свидания, господин ротмистр.

Но Герд, будто не видя протянутой руки, с недоступным выражением лица произнес сухо:

— Желаю вам с честью выполнить ваш долг.

Иоганн мельком поймал тусклый, неприязненный взгляд Герда и сделал вывод, в котором, правда, еще не был окончательно уверен.

Выброску их в тыл Герд не рассматривает как подвиг. Это ясно. Герд не сумел притвориться, будто провожает его как героя на подвиг, и тем самым кое-что выдал Вайсу. Он чем-то озабочен. Уж не тем ли, что так откровенно беседовал с Вайсом и, когда они были в абвергруппе № 315, слишком подчеркивал перед офицерами свое к нему расположение? Но почему это его теперь беспокоит?

Иоганн решил первым подняться по трапу в самолет, чтобы прыгать последним. Зачем? Чтобы выгадать лишние минуты. Они могут пригодиться.

Окна в кабине самолета были заклеены черной бумагой, в какую обычно заворачивают фотопленку.

Самолет выкатился на взлет тотчас, как захлопнулась дверца за Хакке, — у Хакке на груди была подвешена рация, он вошел последним.

Батареи с питанием находились у Синицы.

Несколько минут летели в полном мраке, потом зажглась лампочка в потолочном плафоне.

Синица объявил, что помирать на голодное брюхо не собирается, и развернул свой пакет с едой. На каждого была бутылка водки.

Хакке почти не прикоснулся к еде, но, держа бутылку в руке, часто отхлебывал понемножку из горлышка.

Синица ел и пил смачно. Он быстро охмелел, стал болтливым. Подбрасывая на ладони ампулку с ядом, сказал, нежно на нее поглядывая:

— Говорят, мгновенно: раз — и готов.

— Кто говорит? — спросил Вайс. — Те, кто пробовал?

— Правильно! — расхохотался Синица. Потом спросил с надеждой: — Все ж таки химия, а вы, немцы, в ней великие мастера, не то что мы, сиволапые... — Вздохнул: — Эх, Россия! — Дунул на другую ладонь: — Была — и нет. — Пожаловался: — А я все ж таки хухрик.

Вайс спросил:

— Хухрик? Это что по-русски?

— Так... — сказал печально Синица. — Вроде тех, кто сами себя обмошенничивают, а других не умеют. Небось те, кто поумнее, сидят себе в Берлине на заседаниях и сочиняют контрреволюции, а тех, кто попроще, тех, как меня вот, швыряют, будто мусор с балкона на головы прохожим.

— Вам это не нравится?

— Нет, почему же! — насторожился Синица, — У каждого своя доля.

Хакке явно презирал Сеницу, недовольный, очевидно, тем, что этого русского поставили с ним как бы в равное положение. Он сказал доверительно Вайсу:

— Я полагаю, что этот тип должен быть только нашим носильщиком.

Вайс кивнул. Снова отхлебнув из бутылки, Хакке пробормотал раздраженно:

— Я полагаю, моя кандидатура была выбрана господином ротмистром потому, что я сообщил партии о некоторых его чрезвычайно вольных взглядах.

— И что же? — спросил Вайс.

Побагровев, Хакке ответил озлобленно:

— Мне дали строжайше понять, что господа, подобные Герду, находятся вне досягаемости. И мы, наци, обязаны им, а не они нам. Как вам это нравится?



— Насколько я помню, — строго сказал Вайс, — все крупнейшие промышленники и финансисты оказали фюреру поддержку в самом начале его пути, о чем я вам не рекомендовал бы забывать.

— Да, — согласился Хакке, — это верно. Но я проливал кровь за фюрера.

— Да, но не на фронте и не свою.

Хакке задумался, потом сказал обиженно:

— С гестаповцами так не обращаются, как со мной, их не посылают на подобные задания, они работают в тылу...

— Почему же вам выпала эта участь?

Хакке опять приложился к бутылке, еще больше побавровел, закашлялся, вытер мокрый рот ладонью и прошептал, дохнув в лицо Вайса перегаром:

— А потому, что я, как и многие другие ветераны движения, многовато знаю кое о чем таком... Поэтому вот, — Хакке похлопал себя по спине, где, как горб, возвышался парашют, — меньше свидетелей. Людвиг Рем предупреждал нас, что фюрер пойдет за наш счет на сделку. Вот и получилось, — он скривил рот, — господин Герд — фигура. А я, старый ветеран, наци, — у этого фабриканта под каблуком... И фюрер тоже.

— Господин Хакке, — осуждающе произнес Вайс, — я не желаю слушать ваши рассуждения.

Хакке откинулся к стенке кабины, внимательно и долго смотрел на Вайса, потом сказал совершенно трезвым тоном:

— Это не мои рассуждения.

— А чьи же?

— А ты как думаешь, — грубо заявил Хакке, — мне безразлично, с кем я буду работать? Нет, парень, не безразлично. Я тебя пощупал. Понял?

— И что же?

— А ничего, — сказал Хакке. — Ничего. Сойдешь за ангелочка. Только вот, думаю, советские тебя сразу отгадают.

— Почему?

— Уж очень ты немец, из тех, кому еще в «гитлерюгенд» вколачивали, каким должен быть немец.

— Да, я такой, — с гордостью согласился Вайс.

— Но никто не будет знать, что ты и с петлей на шее захочешь проорать: «Хайль Гитлер!» Никто.

— А ты где в это время будешь? — спросил Вайс. Предупредил: — Ветеран! Запомни: струсишь — я тебя сразу же к твоему Рему отправлю...

— Правильно, — сказал Хакке. — Правильно говоришь, командир. Настоящие слова, — и протянул руку.

Но Вайс не подал своей. Сказал холодно:

— Ладно, посмотрим, каков ты там будешь.

— Также правильно. — И Хакке, довольно улыбаясь, объя-

вил: — Крепкий ты парень, вот такой, какие нам нужны.

И, слушая Хакке и говоря с ним, Йоганн упорно думал, чем вызвано решение «штаба Вали» забросить его в тыл. Он засекал время взлета, по его расчетам, самолет уже должен был миновать линию фронта и лететь над советской территорией. Но моторы почему-то работают на одном и том же режиме, и нет расслабляющего ощущения высоты. Вайс знал, что по инструкции самолету полагается брать над территорией противника потолок от четырех тысяч до шести тысяч метров и кабина снабжена кислородными аппаратами. Странно.

Потом он думал о том, что ему придется сразу же овладеть рацией Хакке. Надо дать знать Центру об опасности, которую представляет сейчас группа, куда входит Гвоздь, а также сообщить о месте своего приземления. Но как завладеть рацией? Применить оружие?

Он может пристрелить и Хакке и Синицу еще в воздухе, когда те будут висеть под ним на парашютах: ведь он прыгает последним.

Но тогда безвозвратно, необратимо погибнет Йоганн Вайс. Останется только Александр Белов, по существу погубивший ефрейтора абвера Вайса, бесценного человека. А его долг — спасти Вайса, сохранить Вайса и вернуть Вайса туда, где он должен сейчас находиться. А как тогда предотвратить злодеяния группы, где Гвоздь оказался блокированным агентами школы «Зет»? Заодно с ним только двое — он успел обработать двоих и в свое время сообщил об этом Йоганну.

В кабину вошел второй пилот и приказал готовиться.

Парашюты были полуавтоматического действия: шпильку крышки дергает не парашютист, а канатик, прикрепленный к самолету. Над люком для сбрасывания протянут стальной трос, а на крышке парашюта уложен змейкой канатик длиной восемь — десять метров, с карабином на конце.

Перед прыжком часть канатика отпускается, карабин защелкивается на тросе, и разведчик вниз головой сползает по желобообразному люку.

Никакой специальной парашютной тренировки, даже объяснений, как нужно прыгать, курсантам не дается. Сообщают лишь, что при приземлении ноги надо держать вместе, а падать на бок.

Эти же рекомендации получили Вайс, Хакке и Синица.

Командование «штаба Вали» считало нецелесообразным расходовать моторесурсы и горючее на обучение курсантов парашютным прыжкам. И так как обычно при приземлении кто-нибудь из агентов получал тяжелые травмы, старшему группы вменялось в обязанность бесшумно избавиться от раненого. Командование «штаба Вали» — так же как и руководство других разведывательных школ — стремилось к максимальной экономии всех материальных средств, и снижение

затрат производилось с необычайной тщательностью. Даже зимнее обмундирование агентам выдавали непарное: к суконной гимнастерке — бумажные брюки или наоборот. Вот почему добротные советские офицерские шинели не получал никто. Их, если они были, распарывали и отсылали в посылках своим домашним.

Первым сполз по желобу Хакке, за ним Синица.

Светящееся звездное пространство океаном повисло над головой Иоганна, он окунулся в белый мрак облачности. а потом и в темные сумерки ночи.

Он начал подбирать стропы с одной стороны, чтобы приземлиться несколько в стороне от своих напарников, рассчитывая на возможность случайной встречи с кем-нибудь из советских людей, когда он пойдет на сближение.

Глядя вниз на всплывающую навстречу землю, Иоганн заметил отчетливую выпуклую сетку межей, которую не мог скрыть слабый снежный покров, а в стороне мелькнуло острие кирхи. Вот разгадка того, чему он так тщетно искал объяснения!

Иоганн стал быстро подбирать стропы, теперь уже для того, чтобы сблизиться при приземлении с напарниками. Поздно. Он поджал ноги, принял удар и повалился на бок, на вздутое полотнище парашюта.

Отстегнув и закопав парашют, поспешно зашагал к месту приземления напарников. Но вдруг остановился, вынул пистолет, сел на корточки, снял ушанку и, засунув в нее руку с пистолетом, нажал спусковой крючок.

Щелчок. Выстрела не было. Оттянул ствол, повторил все сначала — выстрела не было. А когда он вынул из гранаты запал и осмотрел его, латунная трубка со взрывчаткой оказалась пустой.

«Ловко. Значит, вот что они со мной затеяли. Ладно».

Иоганн уже не шел, а бежал через поляну к темнеющей опушке леса, где, как он и предполагал, его ожидали напарники.

Хакке, уже с наушниками на голове, сидел у рации.

— Приказано идти прямо по просеке, в сторожку лесника, и там ждать дальнейших указаний.

Сторожка оказалась нежилой, заброшенной. Возле печки Иоганн увидел полуобгоревшие клочки польского букваря, а на пустой пыльной консервной банке, стоявшей на подоконнике, была датская этикетка.

Пока Хакке переплетал антенным канатиком бельевую веревку, висевшую во дворе, чтобы замаскировать антенну, Байс мысленно собирал воедино все им подмеченное, обнаруженное и окончательно утверждался в том, что стал объектом проверочной комбинации, задуманной и симпровизированной Дитрихом. И сознание, что теперь он может прини-

мать решения не вслепую, вселяло в него бодрость и уверенность в себе.

Вайс запретил разводить огонь. Поужинали всухомятку. Приказав Синице нести дежурство первым, он предложил Хакке выспаться как следует. И сам тоже лег на дощатый топчан.

В сторожке пахло гнилью, сыростью. Спать на голых досках было жестко, зябко. Но Иоганн приказал себе уснуть, ни о чем не думать, так как надо отдохнуть, вернуть свежесть ясной и четкой мысли.

И, думая о том, что не надо ни о чем думать, он уснул.

Их взяли на рассвете.

Синица сидел на земле, раскачивался, стонал, прижимая ладонь к окровавленной голове. С ним не церемонились, пинками заставили подняться.

Хакке, связанный, корчась, скрипел зубами. Но его никто не бил, как не били и Вайса, только ныли руки, скрученные за спиной куском антенного канатика.

Два парашюта, выпачканные землей, как улики внесли в сторожку.

Человек с двумя шпалами в петлицах и звездой политработника на рукаве командовал захватившими их бойцами.

Хакке и Вайса отвели в погреб-ледник рядом со сторожкой лесника и заперли там.

Значит, допрос решили начать с Синицы.

Они хорошо провели операцию, эти парни. Но если они особысты, почему ими командует батальонный комиссар? И почему они сразу же обнаружили два парашюта, на точке приземления и не могли найти третий, который Вайс зарыл не на обусловленном месте, только слегка присыпав землей? Все подкрепляло предположения Вайса.

Один из этих людей беспрестанно, как заведенный, тщательно ругался матом. Другие обменивались негромкими и короткими фразами, подкрепляя их указующими жестами, словно не были уверены, что их слова можно понять.

Батальонный комиссар в лайковых перчатках. Забавно. Бесебая операция, а руки у него в перчатках. В перчатках! Какая же может быть точность стрельбы в перчатках? Ясно, он не рассчитывал, что придется применять оружие.

А почему не рассчитывал? Ведь он так уверен, что взял немецких парашютистов. И правильно, что уверен: разве советские военнослужащие будут выбрасываться сами у себя в тылу на парашютах? Ведь парашюты-то обнаружены.

Сквозь деревянную вытяжную трубу в кровле погреба доносились вопли и страдальческий визг Синицы. В темноте Вайс не видел Хакке, но слышно было, как тот ворочается на соломе, уложенной поверх льда.

Хакке спросил шипло:

— Слышишь? — Добавил глухо: — Но я не дам такого концерта русским. Пусть хоть кожу сдерут. — Потом осведомился: — А может, они хотят нас здесь заживо заморозить?

— Не думаю, — сказал Вайс. От озноба голос его звучал сипло.

— Трусись? — спросил Хакке.

— Пока не очень.

Синица перестал вопить. Вызвали Хакке.

Он нашарил во мраке руку Вайса, пожал. Пообещал:

— От меня ты звука не услышишь, я лучше откушу себе язык.

Дверь захлопнулась. Иоганн остался один. Прислушался. Кроме возни, падения тела и глухих ударов — ничего. Ай да Хакке! Крепкий мужик.

У Иоганна уже не было сомнения в том, как ему следует теперь себя держать. Сейчас он заботился только о том, как бы не простыть в погребе: ведь одного этого достаточно, чтобы в лучшем случае остаться инвалидом. Только не сидеть неподвижно, иначе замерзнешь. И он стал подпрыгивать, шевелил пальцами на руках и ногах, извивался, стучался о каменные стены погреба.

Наконец вызвали и его, привели в сторожку.

«Комиссар» сидел за столом. Он по-прежнему не снял перчаток. На полу молча лежал Синица. Хакке стоял лицом к стене с поднятыми руками, стонал. Бриджи его свисали, на обнаженном теле вздулись рубцы.

В углу сидел солдат с наушниками. Рация в брезентовом чехле стояла перед ним на табуретке.

Иоганн бросил внимательный короткий взгляд на шкалу диапазона.

Стрелка указывала диапазон, на котором работала штабная радиостанция «Вали».

Радист встал и подал человеку с неподвижным холодным лицом, одетому в форму батальонного комиссара, бумажку, где была записана принятая радиограмма.

Тот прочел и разорвал бумажку. Кивнув на лежащего на полу Синицу, сказал:

— Он выдал вас. Вы заброшены к нам в тыл как диверсанты. — Ткнул пальцем: — Ты Иоганн Вайс, он Зигфрид Хакке. — Вынул из расстегнутой кобуры наган и, нацелив в живот Вайса, приказал: — Ну?! Быстро. — Выждал. Спросил: — Ты отморозил язык? Хорошо. Мы тебя согреем экзекуцией.

Быть выпоротым? Ну, нет!

Иоганн наклонился и попросил:

— Хорошо. Я согласен. Но только, — он указал глазами

на Хакке и Синицу, — развяжите руки, я дам письменные показания.

Ему развязали руки. Он взялся за табуретку, медленно поволочил ее к столу и вдруг рывком поднял и обрушил на офицера, одновременно левой рукой выдирая у него пистолет.

Бросился к двери. Выстрелил и побежал через двор, стреляя в разбежавшихся солдат.

За амбаром стоял мотоцикл. В коляске, застегнутой брезентовым фартуком, сидел солдат. Он не успел подняться — Иоганн ударил его по голове ручкой пистолета, раскатил машину с пригорка, прыгнул в нее и помчался по просеке.

Держа одной рукой руль, другой расстегнул фартук и с ходу выбросил солдата на землю.

Оказавшись на шоссе, Иоганн включил полный газ. Он запомнил, в каком направлении высилась островерхая кирха. Крупное селение. Там, наверно, должна быть немецкая комендатура.

Не доезжая до селения, Иоганн скинул гимнастерку: слишком уж небезопасно было появляться здесь в полном советском обмундировании.

Въехал на главную улицу поселка. Без труда, по скоплению машин у одного из лучших зданий, понял — здесь. Затормозил прямо у ног изумленного часового. Произнес повелительно:

— Герр коменданта. Чрезвычайно важное сообщение.

Его провели в здание комендатуры. Но дежурный офицер, прежде чем доложить о нем коменданту, потребовал объяснений. Вайс топнул ногой:

— Ты, тыловая крыса! У вас под носом высадились советские парашютисты, а ты еще смеешь перед агентом абвера строить тут из себя штабного адъютанта! — И, властно толкнув ногой дверь, вошел в кабинет.

От участия в операции по уничтожению советских десантников Вайс уклонился, сославшись на необходимость срочно продиктовать радисту информацию обо всем случившемся в «штаб Вали».

Дежурный офицер, после того как «штаб Вали» вынужден был подтвердить принадлежность Вайса к службе абвера, стал чрезвычайно любезен и даже отдал Иоганну свой запасной комплект обмундирования, чтобы тот мог принять приличный вид.

В этот день Иоганну не удалось повидаться ни со своими напарниками, ни с теми, кто организовал на них облаву. Его, очевидно по приказанию «штаба Вали», продержали более двух суток в уважительной и весьма комфортабельной изоляции. И только после того, как сюда приехали Штейнглиц и Дитрих и Вайс провел с ними наедине некоторое время, понадобившееся на то, чтобы клятвенно заверить обоих офи-

церов, что обо всем происшедшем он будет докладывать именно так, как они договорились, ему предоставили свободу.

И не только свободу — Штейнглиц и Дитрих официально оценили поведение Вайса как героическое.

Был составлен рапорт, послушно подписанный и комендантом гарнизона, в том, что в данном районе такого-то числа высадилась группа советских десантников. При ее уничтожении погибли — далее перечислялись имена военнослужащих из подразделения СС, которому было поручено провести операцию по проверке сотрудников абвера, а также солдат немецкого гарнизона, павших во время перестрелки с теми, кого приняли за советских десантников.

Три стороны: серьезно покалеченный ударом табуретки офицер подразделения СС, комендант гарнизона и майор. Штейнглиц с капитаном Дитрихом — договорились во имя спасения своей репутации, и не только своей, о количестве уничтоженных советских парашютистов.

За основу приняли соотношение 1:3 — потери, обычные при любом наступательном бое.

Синицу в тот же день расстреляли за предательство.

Хакке, выдержав экзекуцию, не выдержал, когда «комиссар», допрашивая его после экзекуции, объявил, что никакой он не советский, а гестаовец. Хакке же признался в том, что он сотрудник абвера, а к гестапо не имеет никакого отношения, и заявил, что гестаповцы — это палачи, а абвер — военная служба разведки, и поэтому нельзя, не надо его вешать, а надо взять его в плен и обращаться с ним как с военнопленным.

38

Пребывание в ледяном погребе не прошло для Иоганна бесследно — он захворал воспалением легких. Но от госпиталя решительно отказался.

Лежал у себя в комнате в расположении «штаба Вали». И награждал себя отдыхом.

Лансдорф несколько раз навестил его во время болезни. В первый раз он только осторожно пытался выяснить, как расценивает Вайс все происшедшее.

Мямлил что-то о чести мундира. Говорил, что печальная слабость Хакке — это пятно на мундире абвера, что так отлично зарекомендовавший себя Синица оказался неспособным перенести даже самый деликатный способ проверки. И все это очень неприятно, так как службы СС и гестапо стараются раздуть этот случай, чтобы причинить неприятность Канарису.

Но Вайсу не о чем беспокоиться: уже подписан приказ

о присвоении ему унтер-офицерского звания и о награде его железным крестом второго класса за участие в операции по уничтожению советского десанта.

И как бы между прочим Лансдорф рассказал поучительный эпизод из практики первой мировой войны, когда один из сотрудников разведки, которой тогда руководил полковник Вальтер Николаи, тоже, как и Вайс, был награжден железным крестом за исключительную смелость и преданность рейху.

Этот сотрудник продал женам нескольких старших офицеров генерального штаба противника ювелирные изделия из настоящих бриллиантов, выдав их за фальшивые. Затем он помог неприятельской контрразведке арестовать себя, и у него обнаружили список тех, кому он продал драгоценности.

Офицеры дали показания, что жены их купили дешевые побрякушки, что это жалкая имитация. А когда экспертиза установила, что бриллианты настоящие и огромной ценности, судьба этих офицеров была решена.

— Поэтому, — многозначительно произнес Лансдорф, — героизм, доблесть — это все фейерверк. Я сторонник операций изящных, бесшумных, но производящих действие более разрушительное, чем даже прицельное бомбометание.

Иоганн не понял: не то Лансдорф хочет умалить значение его «подвига», не то пытается внушить ему желание поискать применения своим силам в совсем ином стиле работы.

Штейнглиц искренне радовался успеху Вайса. Но так же, как Лансдорф, скептически рассуждал о том, что в их профессии смелость — это нечто вроде солдатской доблести. Награждают низших, а платят высшим. И поведал о том, как в угоду немецкому генералитету Гейдрих ловко скомпрометировал фельдмаршала Бломберга, подсунув фюреру неопровержимые доказательства того, что жена Бломберга — бывшая проститутка.

— Вот за такую работу, — сказал Штейнглиц, — конечно, не награждают. Но платят. И платят столько, что одной подобной операции достаточно, чтобы обеспечить себе старость.

Вайс сказал с улыбкой:

— Но я еще не думаю о старости.

— Напрасно, — упрекнул Штейнглиц. — Молодость — это только средство, чтобы обеспечить себе старость. И ничего больше.

С Дитрихом Иоганн держал себя холодно, сдержанно, всячески подчеркивая, что не может примириться с оскорблением, которое тот ему нанес, подвергнув испытанию проверочной комбинацией.

Напомнил, что во время истории с курсантом Фазой он, в сущности, спас Дитриха и испытание проверкой объясняет не чем иным, как только желанием капитана избавиться от свидетеля своего служебного позора.

И решительно заявил, что больше не хочет сохранять все это в тайне...

Такая наступательная тактика возымела свое действие. Дитрих струсил.

В довершение всего Вайс сказал, что считает Дитриха, затеявшего нелепую проверочную комбинацию, прямым виновником бесславной гибели доблестных сотрудников СС и солдат комендатуры.

Это можно рассматривать как преднамеренное убийство, и за подобное служебное преступление рейхсфюрер Гиммлер, пожалуй, прикажет не расстрелять даже, а позорно повесить. И сейчас Вайс чувствует себя в положении человека, укрывающего преступника.

Хорошо зная, с кем он имеет дело, Вайс предупредил Дитриха, что, испытав уже один раз на себе его коварство, он теперь обезопасил себя. Изложил все это на бумаге и послал ее одному другу, который в случае любого несчастья с Вайсом не замедлит передать пакет в СД.

Все это Вайс говорил шепотом, и Дитрих отвечал ему тоже шепотом. И оба они смолкали, когда кончалась очередная пластинка, положенная на патефонный диск.

Дитрих был жалок. Он даже стал советоваться с Вайсом, не застрелиться ли ему, спасая фамильную честь.

Но скоро Иоганну надоело быть безжалостным, да и противно было все время видеть это влажное, дрожащее лицо, пахнущее пудрой.

Он сказал властно:

— Ладно. Но помните, Дитрих: вы мне обязаны всем, а я вам ничем. — И вловеще предупредил: — И если вы хоть на минуту об этом забудете, я не забуду сделать то, о чем я вам говорил.

Хакке до приезда следственной комиссии держали в карцере при расположении «штаба Вали».

Курсанта по кличке «Финик», прибывшего в школу из экспериментального лагеря по рекомендации заключенного № 740014, Иоганн дополнительно проверил через Центр.

В группе радистов новичок сразу выделился своими знаниями и прекрасной подготовкой, и Иоганн, мимоходом сказав Дитриху, что, по-видимому, этот Финик — подходящая кандидатура, совсем не удивился, когда через несколько дней узнал, что курсант зачислен на должность инструктора.

Чего Иоганн, даже с некоторой примесью уважения, не мог не оценить, так это того чопорного самообладания и спесивой великогерманской офицерской амбициозности, с какими

его абверовские сослуживцы молчаливо восприняли катастрофическое поражение армий вермахта под Москвой. Никто в расположении «штаба Вали» не проронил об этом ни слова. Казалось, все тут состязались друг перед другом в безукоризненном мастерстве притворства.

Но если раньше здесь как бы витал дух дружеского попустительства, порожденный пренебрежением к противнику и непоколебимой уверенностью в быстром и победоносном завершении Восточной кампании, то теперь его сменила жестокая подозрительность, беспощадная дисциплина и безукоризненно точная исполнительность, любое отклонение от которой незамедлительно каралось.

Да, если бы Иоганн в нынешних условиях начал свое продвижение по служебной лестнице абвера, едва ли бы он столь преуспел.

Отбор курсантов в разведывательно-диверсионные школы проводился теперь многоступенчато, с изощренной тщательностью. Кандидатов подвергали такой коварной проверке, что выдерживали ее только самые отъявленные подонки, и немало людей, подготовленных подпольными лагерными организациями, гибло при этих проверках — цели достигали лишь единицы.

Режим в школах усилился, и за малейшее отступление от правил распорядка пороли, а иногда даже расстреливали.

Но положение Иоганна Вайса было уже совсем иным, чем вначале. В школе у него имелись свои люди. Он расставил их, и по цепочке они руководили друг другом. Только один из них знал Вайса, принимал от него указания, для остальных же он оставался врагом, немцем.

Штейнглиц, зайдя проведать Иоганна во время его болезни, высказал мрачное предположение, что теперь Гиммлер и Гейдрих попытаются причины временных неудач на Восточном фронте свалить на абвер, не сумевший разведать истинных сил противника. Канарис, не снимая грозившей ему опасности, полностью отдался маневрам тайной дипломатии, связался с англичанами. Но теперь поздно.

Если до разгрома вермахта под Москвой Черчилль еще колебался, следует ли заключить сепаратный мир с Германией, чтобы совместными усилиями продолжать войну с большевиками, то теперь все кончено.

— Ерунда, — сказал Вайс, — просто ты (он теперь был на дружеской ноге с Штейнглицем) обижен на то, что из Берлина снова пришел отказ использовать тебя как специалиста по западным странам, хотя ты посылаешь уже не первую просьбу об этом.

— А как же я могу быть не обижен? — оживился Штейнглиц. — Я знаю своих старых ребят, которые сейчас делают

карьеру и деньги, давно участвуя во всей этой возне с англичанами.

— Заделались дипломатами! — усмехнулся Вайс.

— Нет, зачем же! Работают по специальности. Ведут слежку за теми, кто тайно выполняет дипломатические миссии или играет роль посредников в переговорах. — Спросил: — Ты помнишь ту парочку глухонемых?

Иоганн кивнул.

— Даже эти калеки неплохо заработали в Швейцарии. — Добавил злорадно: — Но им не пришлось получить наличными.

— Почему?

— Парни Гиммлера ликвидировали их. — Вдохнул. — Очевидно, рейхсфюреру не нравится, что Канарис слишком много берет на себя в переговорах с англичанами.

— Но фюрер знает? Это же предательство.

— Ты дурак или притворяешься? — рассердился Штейнглиц. — Ты что же думаешь, Гесс, будучи первым заместителем фюрера, без его соизволения очертя голову кинулся на англичан с парашютом? Да любому солдату известно, что фюрер остановил Гудериана перед Дюнкерком только для того, чтобы тот не уничтожил начисто английские экспедиционные войска. Им дали возможность унести ноги и души через пролив, с тем чтобы английское правительство на примере этого дружеского со стороны фюрера акта убедилось, что есть еще возможность союзничества с нами против главного пртивника — России. В этом сказался гений фюрера. А то, что сейчас Гиммлер, Геринг, Риббентроп, наш Канарис и еще кое-кто, каждый порознь, крутят с англичанами, так это не против политики фюрера, а в соответствии с его надеждами. Только каждый из них заинтересован в том, чтобы получше разузнать, о чем разговаривают с англичанами его соперники. И здесь для настоящего профессионала, — такого, допустим, как я, — исключительные возможности выскочить в большую политику. И дают не награды, а чеки: любой банк в любой валюте...

Вайс спросил, какова судьба разведывательно-диверсионной группы, в которую входил курсант Гвоздь.

Штейнглиц сказал, что, хотя самолет, доставлявший группу в советский тыл, не вернулся на базу и двое — старший группы и радист — погибли при неудачном приземлении, руководство оставшимися тремя взял на себя радист Варшавской школы Гвоздь. Он передает ценную информацию, а совсем недавно его группа совершила диверсионный акт, подорвала воинский эшелон.

Штейнглиц сообщил об успешной работе группы без всякого воодушевления. Не то потому, что это был для него самый обычный, рядовой факт агентурной деятельности, не

то потому, что в последнее время слишком был озабочен. Ему не давала покоя мысль о том, почему еще в июне 1940 года адмирал Канарис приказал уничтожить его, Штейнглица, докладную записку об исключительной слабости английских вооруженных сил, что полностью соответствовало действительности, и приказал составить другое донесение, в котором силы англичан лживо преувеличивались. А ведь Канарис располагал самыми точными статистическими данными об английских вооруженных силах: шифровальщик американского посольства в Лондоне Тейлор Кент передал абверу свыше 1500 кодированных сообщений, заснятых на микроплентку.

Если за этим крылась какая-то политическая комбинация, то Канарис должен был, как это принято, оплатить услугу Штейнглица. А может быть, Канарис вынудил его написать лживую докладную, чтобы потом «держат на крючке»? Но для чего? И без того над ним висит постоянная опасность: Гейдрих знает, что он загнал агента гестапо в лапы Интеллидженс сервис. И никому нет дела, что он поступил так по неведению.

Штейнглиц мучило также одно стыдное воспоминание. Через своего агента он получил информацию о том, что в марте 1940 года Герделер и Шахт, встретившись в Швейцарии с лицом, близким английскому и французскому правительствам, сообщили ему, что Гитлер решил двинуться дальше Данинга и Варшавы, на Восток, и захватить черноземную Украину и нефтяные источники Румынии и Кавказа.

Штейнглиц решил, что в руки ему попал сверхсвежий материал, уличающий двух высокопоставленных особ в шпионаже в пользу иностранных держав. И этот материал даст ему возможность совершить скачок в ранее недостижимые сферы.

Канарис, получив его рапорт, смял бумагу и даже не уничтожил на спиртовке — бросил в корзину.

Спросил:

— Какие приметы у осла? — И пристально посмотрел на уши Штейнглица. — Вы полагаете... — И потрогал свое ухо. Усмехнулся. Ткнул пальцем в корзину: — Вот они, ослиные ваши приметы.

Только несколько месяцев спустя Штейнглиц узнал, что таким методом Герделер и Шахт по заданию фюрера вывели, что Англия и Франция благосклонно относятся к германской агрессии на Восток.

Вот высший класс разведки тех, кто принадлежит к высшим правящим классам рейха.

А Штейнглиц их чернорабочий. Поэтому его и не радовало, что одна из диверсионных групп, засланных в Россию, успешно выполняет задание. Не те это масштабы, не те.

Пессимистическое настроение не покидало Штейнглица.

Ротмистр Герд в последнее время был также погружен в себя и озабочен.

Дело в том, что он и его тесть состояли пайщиками акционерного общества «Дейч-американише петролеум АГ», капитал которого на 95 процентов принадлежал американской компании «Стандард ойл», поставлявшей Германии половину всей потребляемой в стране нефти. К началу войны она одного только авиационного бензина поставила на сумму в 20 миллионов долларов. Кроме того, она же построила в Гамбурге крупнейший в мире нефтеперегонный завод и финансировала строительство заводов синтетического бензина.

И Герд должен был срочно выяснить, согласятся ли американские фирмы на то, чтобы британские воздушные силы бомбили на немецкой территории их собственность, включая сюда предприятия автомобильной и танковой промышленности, находящиеся под финансовым контролем Форда и «Дженерал моторс», или не согласятся. И если согласятся, то тогда следует немедленно продумать, в какое дело рентабельнее всего вложить свои страховые премии. Например, в кавказскую или румынскую нефть. Кавказская, несомненно, перспективнее в смысле колоссальных дивидендов. Но кто убедит фюрера в том, что разгром Москвы сейчас не столь существен, как захват территории Украины и нефтеносных районов Кавказа?

Следовало бы быть сейчас в Берлине, где делается политика. А он, Герд, вынужден сидеть в предместье Варшавы и готовить агентов для засылки в тыл Красной Армии, когда главное и решающее сейчас вовсе не здесь.

Поразмыслив, Герд написал письмо герцогу Карлу Эдуарду Саксен-Кобург Готскому, он же внук королевы Виктории, носитель титула английского герцога Олбани, и он же — группенфюрер СА. Сопроводив свое послание чеком на предъявителя, Герд просил герцога — группенфюрера СА Карла Эдуарда о дружеской услуге: дать коммерческую деловую консультацию по волнующему его фирму вопросу.

Озабоченный всеми этими чрезвычайной важности делами, ротмистр Герд склонялся к тому, что капиталы все-таки следует вложить в кавказскую нефть. И волновался, как бы англичане во время наступления армий вермахта на Кавказ не переправили туда своих агентов для проведения диверсий на нефтепромыслах. Он помнил, что еще до заключения договора с Румынией абвер заслал в ее нефтеносные районы специальные группы для охраны промыслов от диверсионных акций англичан.

И сейчас Герд серьезно подумывал, не склонить ли ему руководство абвера к мысли о засылке подобных групп и на Кавказ, чтобы перед захватом нефтеносных районов обезопасить их от диверсий противника.

Герд был настолько поглощен всеми этими высшими стратегическими соображениями, что в делах управления школой всецело положился на Штейнглица, обещая ему за эту безопасность какую-нибудь хорошо оплачиваемую должность после войны в фирме своего тестя.

Обо всем этом Штейнглиц откровенно поведал Вайсу.

Информацию обо всех соображениях Герда Йоганн передал в Центр.

Даже во время болезни Йоганн Вайс не бездельничал, а работал, собирая с помощью навещавших его сослуживцев информацию, чтобы быть в курсе дел, которые представляли для него существенный интерес.

Так, он узнал, что последняя радиограмма, полученная «штабом Вали» от Гвоздя, носила трагический характер: «Группа накрыта советскими органами контрразведки. Радиоуничтожаем. Если удасть уйти от преследования, будем пытаться перейти линию фронта». Значит, с Гвоздем все в порядке.

Дитрих, основываясь на своем опыте, который он приобрел во время допросов в лагерях, отбирая кандидатуры для школ, пришел к выводу, что у русских чрезвычайно развито чувство братской взаимопомощи, активного сочувствия к тем, кто в нем нуждается. Кроме того, в советских доктринах имеются официальные указания, требующие от граждан чуткости друг к другу. И главное, определяющее: советское гражданское население фанатически патриотично, и каждый советский солдат или офицер, ставший инвалидом после ранения, пользуется глубоким уважением соотечественников, заботой и покровительством властей.

В связи с этим Дитрих считал более чем целесообразным приступить к поискам в лагерях инвалидов.

Впрочем, он мало надеялся на успех, так как обычно лагерная администрация из чисто экономических соображений в первую очередь ликвидировала военнопленных, оставшихся калеками, или создавала им такие условия, при которых они довольно быстро погибали естественным путем.

Дитрих уже дал абвергруппам команду нанять в лагерях поисками военнопленных, лишенных одной из конечностей. А если таких в наличии и не будет обнаружено, то наметить подходящие кандидатуры, чтобы, после проверки их благонадежности, под тем или иным предлогом отправить «на излечение» в госпиталь. Там опытные медики в соответствии с полученными указаниями ампутировали им руку или ногу.

Но пока такой контингент поступит в школу, не следует ли наметить несколько кандидатур из числа уже подготовленных курсантов, которые находятся в несравненно лучшем

физическом состоянии, нежели заключенные в лагерях, и исцеление их после операции потребует значительно меньше времени?

По мнению Дитриха, лучше всего ампутировать нижнюю конечность. Это броско, заметно и даст засланному в тыл противника агенту возможность требовать, поскольку руки у него целы, чтобы ему предоставили работу на каком-нибудь оборонном советском предприятии.

Наличие рук позволяет работать, а отсутствие ноги (естественно, потерянной на фронте) — лучшая гарантия того, что агент, поступая на оборонное предприятие, не будет подвергнут слишком тщательной проверке.

Штейнглиц высоко оценил это предложение Дитриха.

Лансдорф, выслушав обоих офицеров со скучающе-брезгливым выражением лица, сказал:

— Нечто подобное проделывали компрачикосы.

Штейнглиц не знал, кто такие компрачикосы, и задумчиво моргал.

Дитрих воскликнул протестующе:

— Но военнопленные не дети!

— Тонкое наблюдение для контрразведчика, — иронически заметил Лансдорф.

Он испытывал одновременно досаду и смутную грусть, только сейчас почувствовав, что с возрастом постепенно утрачивается память и он начинает забывать о многом из своей богатейшей и когда-то весьма изощренной практики.

Еще в годы первой мировой войны, во время боев под Верденом, он придумал летучие разведгруппы, которые спешно инструктировали отдельно легко раненных немецких солдат, переодевали во французские мундиры и утаскивали ночью на поле боя. Здесь этих диверсантов подбирали французские санитары и на своих плечах приносили в крепость.

Во время войны в Испании один из коллег Лансдорфа, занимавший должность советника при Франко, вспомнил об этом методе. Легко раненных франкистов переодевали в комбинезоны республиканцев, и по ночам они весьма успешно орудовали пистолетами и взрывчаткой на улицах Мадрида, а днем выставляли напоказ свои толсто перебинтованные конечности и, живо ковыляя на костылях по Рио-де-Гранде, вызывали восторженное поклонение горожан.

Но для Лансдорфа это было бы ниже его достоинства — кичиться своим блистательным прошлым и напоминать о своих заслугах так, словно они были недооценены. Поэтому, отдавая честь замыслу Дитриха, он снисходительно согласился с ним.

— Ваше предложение в своей основе остроумно и психологически неотразимо. Но... — Лансдорф сложил перед собой ладони и, разглядывая тщательно отполированные, с синне-

ватым оттенком ногти (не то уже сердце: с возрастом оно бьется все медленнее и медленнее), холодно заявил: — Но я решительный противник, — помедлил, — экстравагантностей, подобных насильственному оперированию.

Дитрих живо перебил:

— Никакого насилия. Объект попадает в госпиталь. Там ему внушают необходимость хирургического вмешательства. При современных анестезирующих средствах он даже не испытает болевых ощущений. Проснется и...

Лансдорф поморщился.

Дитрих, заметив это, сказал поспешно:

— В конце концов, нашим хирургам разрешено проводить некоторые медицинские эксперименты на лагерном материале. Я сам видел, посещая спецблоки, как...

— Вы видели, а я не хочу знать об этом, — раздраженно перебил Лансдорф.

— Но все это во имя высоких общечеловеческих целей, — напомнил Дитрих. — Сейчас не средневековье, когда врачей приговаривали к сожжению на костре только за то, что для проникновения в тайны человеческого организма они вскрывали трупы.

— Именно не следует забывать, что сейчас не средневековье, а эпоха цивилизации, которую мы несем человечеству. — Эту фразу Лансдорф произнес почти механически, вспоминая о своей недавней поездке в Берлин.

Там он был на интимном обеде у колченогого Геббельса, этого всемогущего ничтожества, запуганного скандальными припадками ревности своей супруги Магды, — она даже фюреру сплетничает о всех сластолюбивых прихотях своего мужа и провозвестника новой германской культуры.

Так вот, после обеда Геббельс повел Лансдорфа в свою картинную галерею, где были развешаны полотна, похищенные из прославленных музеев разных европейских стран.

Многие из этих картин Лансдорф помнил еще с тех пор, когда ездил по Европе, выполняя различные специальные миссии, но, будучи просвещенным человеком, находил время посетить пантеоны искусства.

Он поделился с Геббельсом своими воспоминаниями.

Тот сказал озабоченно:

— Вы правы. Существует обычай рассматривать эти изделия как национальные ценности, своего рода собственность государства. Но я по личной просьбе фюрера, Геринга, Гимmlера, Риббентропа и других высоких лиц империи собрал небольшой консилиум из самых выдающихся юристов. И они заверили меня, о чем я информировал заинтересованных лиц, что международные законы предусматривают лишь двадцатилетний срок давности, после которого лицо, совершившее любое деяние, уголовно не наказуется, а владельцу

ценностей не может быть предъявлен иск потерпевшей стороны.

— Стоило ли беспокоить юристов? — спросил Лансдорф.

— А почему бы и нет? — в свою очередь задал вопрос Геббельс. И лукаво осведомился: — Вы заметили, дорогой друг, что в наших коллекциях чувствуется печальное отсутствие предметов из национальных галерей Лондона, Нью-Йорка и, что самое огорчительное, пока ничего нет из Москвы, Ленинграда? Так вот, — сказал он многозначительно, — если стены моей галереи не будут украшены кремлевскими иконами и картинами из Ленинградского Эрмитажа, консультация юристов окажется отнюдь не лишней. Как коллекционер, я проявляю дальновидность, извинительную для коллекционера, и не только для коллекционера, не так ли?

Этот разговор с Геббельсом пришел сейчас на память Лансдорфу не случайно.

И, делая из него столь же дальновидный вывод, Лансдорф сказал Дитриху официальным тоном:

— Как ваш начальник, я запрещаю вам любые действия, которые могут противоречить принципам гуманности. — Перевел взгляд на Штейнглица, спросил: — Надеюсь, у вас хорошая память и вы при любых обстоятельствах сумеете вспомнить это мое решительное указание? — Задумался. Потом глядя насмешливо на вытянутые, разочарованные лица офицеров, повторил: — Так вот, я запрещаю всякие насильственные действия. И если кто-либо из курсантов, допустим, во время ознакомления с новыми взрывчатыми веществами или из-за небрежного обращения с оружием получит травматические повреждения, что часто бывает с солдатами во время боевой подготовки, я, несомненно, наложу строжайшее взыскание на того офицера, который будет проводить эти занятия. Но если потерпевший после выздоровления окажется физически пригодным и выразит добровольное желание продолжить свою агентурную службу, — такой человек достоин всяческого поощрения. — Добавил внушительным тоном: — А вообще ваше намерение использовать инвалидов после ранения на фронте имеет гуманную цель: дать им возможность приобрести профессию и быть полезными рейху. Кстати, обычно калеки ощущают свою неполноценность, их мучает бесперспективность в будущем, и потому они наиболее податливый материал для вербовки. Не только абвер, но и другие наши разведывательные и контрразведывательные органы не раз убеждались в этом. Здесь уже приобретен богатый и плодотворный опыт.

Так, например, майор Штейнглиц, очевидно, полагает, что одно высокопоставленное лицо из английского министерства иностранных дел оказывало нам услуги потому, что стало едуг поклонником идей фюрера? Увы! Мы воздействовали

на него не идеологическими, а медицинскими способами. Предложили нашему соотечественнику, знаменитому лондонскому медику, внушить своему пациенту, что он неизлечимо болен раком, и даже точно определить срок его недолгого пребывания на этом свете. Естественно, тот в состоянии крайней подавленности был озабочен только одним — обеспечить семью после своей смерти. Мы и помогли ему это сделать, высоко оплачивая его услуги. О том, что он снабжал нас документами из нескораемых шкафов «Форин-оффис», вы знаете. — Зевнул, потянулся. — Как видите, господа, цветы новых идей вырастают из семян, собранных нами, стариками.

Все-таки Лансдорф не удержался и удовлетворил свое заветное тщеславие, дав Дитриху понять, что его предложение не столь уж ново, как тот полагал.

Вайс был в курсе идеи, с которой носился Дитрих. Оставалось только узнать, кого из курсантов намечено превратить в инвалидов, а также выяснить, на каком предприятии намечается диверсия. Вайс прежде всего решил ознакомиться с заявкой на отбор соответствующей советской кинохроники. Он уже неоднократно пользовался этим, чтобы собирать информацию для Центра.

До сего времени агентуре «штаба Вали» не удавалось проникнуть ни на одно советское оборонное предприятие. Несмотря на гневные требования Канариса, почти все операции, направленные к этой цели, неизменно срывались.

Теперь диверсии стали готовить в атмосфере исключительной секретности.

При «штабе Вали» был создан особый лагерь, допуск за ограждение которого имели только высшие офицеры. А тем абверовцам, которые работали с подготавливавшимися в лагере группами, запрещалось выходить за его пределы. Вайс не имел туда доступа.

Создание этого секретного лагеря свидетельствовало о новом этапе деятельности «штаба Вали», о том, что перед ним поставлены серьезные задачи, о том, что сейчас он, как никогда раньше, представляет большую опасность для Советской страны.

Строжайшая дисциплина усугубилась еще и тем, что ожидался приезд Канариса, который решил совершить инспекционную поездку по всем частям абвера, нацеленным на Восток.

В этих условиях Иоганну необходимо было соблюдать величайшую осторожность, гибкость и вести себя с вдумчивой неторопливостью даже в таких обстоятельствах, когда каждый день промедления в раскрытии вражеских замыслов приближал грозную опасность.

Начальник женского филиала Варшавской разведывательной школы, капитан созданной немцами из изменников и предателей так называемой «Русской освободительной армии» (РОА), Клавдия-Клара Ауфбаум-Зеленко была дама образованная и с большим житейским опытом.

Так, по ее настоянию еще в 1920 году ее супруг Фриц Ауфбаум, бывший бухгалтер донецкой шахты, принадлежавшей бельгийской компании, переименовал не только фамилию, но и специальность и при советской власти занял уже должность главного инженера. В этом не было ничего удивительного. Нужда в технической интеллигенции была огромная. Недостаток знаний искупался у новоявленного главного инженера умением солидно держаться с подчиненными, немногословием и беспрекословным исполнением приказаний и рекомендаций любого начальства. Это был человек недалекий, не безбоязненный в своем самозванстве, ибо втайне он был глубоко убежден в том, что русские и украинцы — это полуазиаты. А поскольку он, Ауфбаум, чистопородный европеец, — этого вполне достаточно для того, чтобы руководить ими, тем более что среди подчиненных попадались люди хорошо осведомленные о том, о чем сам он имел весьма смутное представление.

Клавдия Зеленко увлекалась украинской стариной и даже опубликовала в этнографическом журнале какой-то труд по этому вопросу. Потом, когда мужа перевели в Брянск, она начала увлекаться и русской стариной.

В тот период, когда из стахановцев, прославивших себя трудовыми рекордами, стали готовить командиров производства, Клавдия Зеленко преподавала этим уважаемым взрослым людям немецкий язык.

Это дало ей возможность приобрести связи с теми из них, кто стал потом руководить крупными предприятиями.

Будучи человеком трудолюбивым, она переводила немецкую техническую литературу на русский язык и хорошо зарабатывала. А затем стала переводить с русского языка на немецкий те труды советских металлургов и угольщиков, которые интересовали немецких издателей.

Несколько раз Федор Зеленко ездил в командировки в Германию.

Там, узнав, что он немец, к нему проявили особый интерес, пытались завербовать. Выслушав все предложения и посулы, тщательно все взвесив, Зеленко-Ауфбаум уклонился от этих предложений: его положение в Советской стране, прочное, солидное и перспективное, прельщало его больше, чем роль германского агента.

Вернувшись домой, он считал выгодным для себя сообщить

об этих предложениях ГПУ, а также своей супруге. Данная им информация еще более упрочила доверие к нему. Что же касается супруги, то тут реакция была несколько неожиданной.

Клава-Клара, будучи женщиной пылкой, с сильно развитым воображением, не только увидела в этом некую романтику, но и воспылала страстной тоской по земле своих предков. И вопреки воле мужа связалась с одним работником издательства, где она сотрудничала, оказавшимся немецким агентом.

Воображая себя новой Мата Хари, вдохновленная своей новой деятельностью, Клава-Клара даже похорошела, похудев от хлопотных переживаний и восстановив тем самым девическую статность фигуры.

Но тут — и притом с самой неожиданной стороны — на семейство Зеленко-Ауфбаум обрушился удар.

У них был пятнадцатилетний сын, комсомолец.

Образ Павки Корчагина служил ему идеалом. Он бросил школу и, вопреки родительской воле, вступил в молодежную бригаду на одной из шахт, находившихся в состоянии прорыва.

Работали яростно, самоотверженно, но, несмотря на все, жили впроголодь, так как, не имея опыта, да и физических силенок, не могли выполнять нормы.

Это была молодежная бригада-коммуна из тех, что, как известно, впоследствии были расформированы, ибо хотя в них и существовал дух равенства и братства во всем, но стояли они на порочном пути уравниловки.

И вот однажды, приехав домой, чтобы вымыться и за один день отъесться за все дни недоедания, сын услышал, как ночью шепотом его отец категорически требовал от матери, чтобы она прекратила свои сношения с немецким агентом.

Сын ворвался в спальню родителей и спросил с ужасом:

— Это правда?!

Клава-Клара после всех слов, сказанных ей мужем и сыном, крикнула с отчаянием:

— Можете доносить на меня!

— Ну что ж, я так и сделаю, — сказал сын. И, вырвавшись от отца, который пытался удержать его, ушел из дома.

А наутро Федор Зеленко, войдя в гараж, где стояла собственная «эмка» — премия за выполнение на сто четырнадцать процентов годового плана предприятием, которым он руководил, — обнаружил, что сын повесился.

У Федора Зеленко не оказалось душевных сил после этого несчастья поступить так, как собирался поступить его сын, тем более что потрясенную случившимся Клаву-Клару в невменяемом состоянии пришлось отвезти в психиатрическую лечебницу.

В 1937 году арестовали не Клаву-Клару, а ее супруга.

Прервав после смерти сына и выхода из психиатрической больницы связи с немецким агентом, она, уже побуждаемая яростным стремлением отомстить за мужа, попыталась их снова восстановить, но немецкий агент отклонил ее услуги по двум мотивам. Во-первых, потому, что теперь, являясь женой репрессированного, она могла оказаться под наблюдением. А во-вторых, он не пожелал простить ей прежнего отказа от работы по таким не заслуживающим оправдания мотивам, как самоубийство сына.

Благодарная память о ней известного стахановца, ее бывшего ученика, ставшего одним из крупных командиров промышленности, помогла Клаве-Кларе избежать судьбы, которая постигла в то время большинство других жен репрессированных.

Она получила должность преподавателя в десятилетке, а затем даже стала ее директором.

Когда немецкая армия оккупировала город, где жила Клава-Клара, ее забрали в лагерь. Продержали несколько месяцев и после всесторонней проверки зачислили переводчицей в формирование РОА, а потом, учитывая ее энергичную деятельность и немецкое происхождение, дали, не без участия гестапо, капитанский чин и пост начальника женской разведывательной школы.

Эта школа, расположенная, как и Варшавская, в дачной местности, готовила разведчиц-радисток. Обучение продолжалось шесть месяцев.

Затем курсанток отвозили в центральную школу, где в течение еще одного месяца они проходили подготовку совместно с мужчинами — каждая со своим напарником.

Командование «штаба Вали» полагало более целесообразным использовать в качестве радистов женщин, а не мужчин. Ибо мужчина призывного возраста, долго живущий на одном месте, скорее навлечет на себя подозрение, чем женщина, которая может выдавать себя за беженку из оккупированных немцами областей или за эвакуированную и даже вызывать этим сочувствие к себе местного населения.

Контингент курсанток вербовался из лагерей и тюрем, где сотрудники СС и гестапо подвергали их подготовительным испытаниям. После этого, отобрав соответствующую подписку, их обычно привозили в школу в самом плачевном состоянии, и начальнику охраны, доставлявшей будущих курсанток, приходилось каждый раз заверять капитана Клару Ауфбаум: компетентная медицинская экспертиза дала справку, что доставленная (или доставленные) не имеет тяжелых повреждений жизненно важных внутренних органов и обязательно выживет.

Абвергруппы, полиция, немецкие комендатуры, дейстующие

щие в оккупированных районах, также оказывали содействие школе, поставляя кадры, уже проверенные у них на работе.

Эти привилегированные особы прибывали не столько с охраной, сколько с сопровождающими лицами, выглядели весьма неплохо, были прилично одеты и вначале держали себя развязно. Но капитан Клара Ауфбаум своеобразным способом быстро давала им понять, что здесь не публичный дом, а разведывательное училище с более строгим, чем даже армейский, порядком.

Сама капитан Ауфбаум, правда, никогда лично не применяла физических методов воспитания.

Для этой цели имелся специальный человек — помощник начальницы школы по политической части, лейтенант РОА, горделиво именовавшая себя Ингой Ратмировой, но откликаясь и на имя Нюрка, — коренастая, широкоплечая, с тучным вздернутым задом, затынутым в бриджи, коротко стриженная, с ровной челкой на низком лбу и коричневыми, прокуренными зубами. У нее были мужские манеры и мужские повадки.

Профессиональная уголовница, большой знаток тюремных и лагерных нравов, она еще в тюрьме подала прошение с просьбой послать ее на фронт и была направлена в воинскую часть санитарником. И когда попала в плен, немецкие солдаты обнаружили в ее санитарной сумке множество ручных часов, портсигаров, смятые пачки денег.

Ее чуть не забили насмерть: так возмутил солдатские чувства этот промысел. Но гестаповцы усмотрели в нем лучшее доказательство ее несомненной полезности для рейха.

И мародерку сначала спасли от солдатской расправы, а потом с отличными рекомендациями переправили в тыл для несения службы в формировании РОА.

Женщины, прибывающие из оккупированных районов, уже имели опыт по части сотрудничества с немцами и умения завязывать с ними связи, и к тому же они не утратили физического здоровья. Поэтому они давали решительный отпор Нюрке, когда та пыталась проявить кое-какие свои специфические наклонности, но некоторых, измученных и обессиленных пытками и допросами в тюрьмах гестапо, девушек она, делая вид, что заботливо ухаживает за ними, понуждала уступать ей.

Сама капитан Клара Ауфбаум отличалась высоконравственным поведением, несмотря на то что, благодаря гигиеническому образу жизни, выглядела очень молодожаво и никто не мог сказать, что этой женщине за сорок. И мундир шел к ее фигуре, и ее остроносое, с птичьим профилем лицо было свежим, и на высокой шее ни одной морщины.

Некоторые пожилые, степенные офицеры абвера были бы

не прочь завязать с ней необременительные приятные отношения, в крайнем случае даже супружеские, но она мужественно отклоняла все домогательства, так как считала безнравственным выходить замуж при наличии живого мужа. А кратковременные легкие связи — это было ниже ее достоинства.

Порочные склонности Нюрки вызывали у нее естественное чувство брезгливости. Но, в душе страшась этой иногда впадавшей в яростное бешенство, способной на все уловницы, капитан Ауфбаум ограничивала протесты по поводу непристойного поведения своего заместителя по политической части тем, что с холодной и жестокой ненавистью преследовала курсанток, которые пользовались благосклонностью Нюрки.

За малейший проступок она отчисляла их в концлагерь. А если проступок был серьезным, то направляла в подразделение СС, расположенное неподалеку от школы. Ликвидационными операциями это подразделение занималось в районе мусорной свалки, вокруг которой были поставлены столбы с надписями «Запретная зона», обычными для мест, где производились казни.

Когда в школу с хозяйственной, финансовой или учебной инспекцией приезжали офицеры абвера, капитан Ауфбаум встречала их очень гостеприимно. И сама руководила в таких случаях приготовлением обедов и ужинов, чтобы побаловать «гостей» домашней стряпней. Еще в Донбассе она научилась делать отличные настойки из различных ягод и восхищала своим искусством приезжих.

После обильного ужина и столь же обильной выпивки, дабы отклонить ухаживания, затрагивающие ее женское и офицерское достоинство, капитан Ауфбаум, выбрав момент, любезно предлагала настроившемуся легкомысленно гостю просмотреть личные дела ее курсанток, в которых имелись фотографии. Если внимание гостя привлекало какое-либо дело, она говорила, что дополнительные сведения тот может получить непосредственно от интересующей его курсантки, и давала приказание вызвать девушку в комнату, специально предназначенную для инспектирующих чинов абвера.

Этот ее способ избавляться от фамильярничания старших по званию или по занимаемой должности офицеров вызывал возмущение и протесты ее заместителя. Но объяснялись они не столько соображениями нравственными, сколько самой низменной ревностью.

Понимая это, капитан Ауфбаум строго делала соответствующее внушение и приказывала:

— Лейтенант, смирно! Кругом марш!

И лейтенант Нюрка вынуждена была подчиняться свя-

щенным правилам армейской дисциплины, столь же неукоснительной в абвере, как и в частях вермахта.

Вильгельм Канарис, сын директора Рурской металлургической фирмы, лощеный офицер крейсера «Бремен», приобрел на этой плавающей базе германской разведки специальность, приведшую его ныне к высокой должности начальника абвера.

Канарис считался человеком светским, порой склонным к отвлеченным философским рассуждениям, к которым он прибегал, стремясь уклониться от высказывания прямых и ясных суждений.

Его дружба с начальником гестапо Гейдрихом, тоже бывшим офицером крейсера «Бремен», но уволенным с флота за порочные наклонности, зиждилась не на юношеских воспоминаниях.

Оба они имели все основания бояться, презирать, ненавидеть друг друга.

Руководствуясь своего рода смелостью, смешанной с коварством, они предпочли видимость дружбы откровенной вражде, прощупывающие схватки на короткой дистанции — бою на длинных, но независимо от дистанции эти схватки были в равной степени обоюдно опасны.

Наиболее удачные разведывательные операции Канарис обычно проводил, опираясь на деловые круги немецких промышленников. Используя свои международные связи, они весьма охотно и успешно выполняли разведывательные поручения абвера, совпадающие с экономическими интересами германских концернов. Тем более что, помимо всего прочего, концерны располагали своими собственными специальными разведывательными отделами, состоящими на бюджете фирм.

Самую бесценную для фюрера информацию Канарис получал от лиц, правивших германской промышленностью и одновременно бывших компаньонами столь же могущественных магнатов США, Англии, Франции.

Этот обоюдный обмен деловых людей деловой информацией только крайне бестактный и невоспитанный человек мог бы назвать шпионажем, наносящим ущерб безопасности стран, гражданами которых они числились. Но так или иначе баснословные прочные дивиденды были им при всех условиях обеспечены, даже в том случае, если между этими странами возникнет война.

Естественно, что директоров крупнейших германских фирм, возвращающихся из зарубежных вояжей, Канарис не рассматривал как вульгарных агентов и не платил им из специального секретного фонда абвера за их разведывательные услуги. Напротив, они сами с готовностью предлагали

вознаграждение для имперских министров, маршалов и фельдмаршалов, с тем чтобы те форсировали военные заказы германским концернам.

Кроме того, директора хотели получить соответствующие субсидии, чтобы быстрее начать выпуск продукции по патентам, добытым у зарубежных компаньонов, предприятия которых также выполняли военные заказы своих правительств.

Так, например, совершенно братские коммерческие связи установились между немецкой фирмой «Карл Цейс» и американской «Бауш энд Ломб» и в угоду уважаемому партнеру американская фирма отказала союзной державе — Англии, когда та попросила выполнить заказ на военную оптику.

Как известно, построенные в Германии заводы «Опель», выпускающие военную продукцию, — собственность американской «Дженерал моторс».

Что же касается Гуго Стиннеса — владыки Рура, то он предусмотрительно создал за океаном фирму «Гуго Стиннес индастрис корпорейшн» (Нью-Йорк.) В Англии, в центре Глазго, возвышалось здание с вывеской «Гуго Стиннес Лимитед». Надо отметить, что в период самого разнузданного расизма в Германии немецкие магнаты становились, так сказать, выше предрассудков и вступали в тесные не только финансовые, но и родственные связи с такими владетельными иностранными семьями, ни одна из которых не смогла бы пройти даже самой снисходительной проверки в расовом чистилище рейха.

Таким образом, то, что составляло сокровенную, строжайшую государственную тайну, служило лишь предметом дружеской болтовни между промышленно-финансовыми партнерами, сплоченными общими коммерческими интересами.

Для подстегивания Гитлера в его агрессивных планах рурские промышленники были заинтересованы в некотором преувеличении сведений о военной мощи США, Англии, Франции. Финансируя военное производство, используя все средства фашистского террора внутри страны, они надеялись полностью парализовать недовольство рабочих масс.

Кроме того, им желательно было, чтобы фюрер не имел истинного представления о военной мощи СССР, так как это могло несколько притупить его воинственный пыл в отношении большевизма. Тем более что зарубежные компаньоны германских магнатов порой снисходительно шли на значительные уступки в твердой надежде на то, что гитлеровская Германия, осуществив поход на Восток, создаст самую плодотворную почву для процветания корпораций, сливших свои капиталы и политические чаяния.

И Вильгельм Канарис за услуги агентурной информации, оказанные ему германскими магнатами, расплачивался тем,

что информировал фюрера в обусловленном направлении и духе.

Что до Гейдриха, то его уделом была разведка внутри страны, которой он и занимался успешно, во всеоружии своего опыта.

Менее удачливо Гейдрих конкурировал с Канарисом в области разведки и контрразведки за рубежом, не располагая для этой цели столь ценными кадрами, как его соперник.

Для получения сведений из иностранных политических кругов Канарис пользовался услугами самых родовитых аристократических семей рейха, чьи имена были записаны в готском альманахе — племенном справочнике титулованной знати.

Правда, здесь ему приходилось прибегать к крупным изъятиям из секретного фонда абвера в западной, стойкой валюте.

Но такие расходы всегда были оправданны.

Эти люди с громкими титулами, даже если и не занимали официальных государственных постов, обладали способностью при встречах в других странах с себе подобными со свободной небрежностью, будто между прочим, выведывать важнейшие политические секреты. Этим секретам в так называемом высшем обществе придавалось куда меньше значения, чем семейным тайнам, затрагивающим честь имениных фамилий.

Особое дарование в этой области проявил, например, князь Гогенлоэ.

А разве не бесценны были услуги французского маршала Петэна? Еще будучи французским послом в Мадриде, он систематически информировал Франко о состоянии французских вооруженных сил, твердо уверенный в том, что это незамедлительно станет известно Гитлеру и усердие информатора не будет забыто.

А знаменитый американец Чарльз Линдберг — поклонник фюрера, принятый в Лондоне с распростертыми объятиями!.. Сей национальный герой США с рабым усердием обстоятельно сообщал немецким друзьям о возможностях воздушного флота как Америки, так и Великобритании.

А услуги Ватикана...

Да, Канарис мог позволить себе изображать просвещенного гурмана, покровителя искусств, нежного любителя такс, чудака, развлекающегося игрой на флейте, выращивающего в оранжерее редкие тропические растения, и, облачившись во фрак, принимать на своей загородной вилле агентов с такой торжественностью и почтительностью, какой заслуживают особы высшей знати и владыки немецкой промышленности.

И хотя сфера деятельности между Гейдрихом и Канарисом была официально поделена: Канарис занимался разведкой иностранной, Гейдрих — разведкой внутри страны, — оба они стремились залезть в охотничьи угодья друг к другу.

Гейдрих — с целью слежки за абвером, Канарис — с целью собрать как можно больше грязи, как можно больше нужных ему сведений о тех, кто входил в правящую клику, чтобы держать их в случае нужды на привязи.

И каждый в этой конкурентной борьбе стремился изловить другого, предать, чтобы прибрать хозяйство павшего к своим рукам.

После семейной партии в крокет Канарис и Гейдрих, оставив жен в саду, удалились в кабинет, чтобы поболтать наедине в ожидании обеда.

Гейдрих даже во время игры в крокет не решился расстегнуть пуговицы на кителе.

Он, как всегда, был чопорно-подтянут и, если проигрывал, сжимал узкие губы так, что они белели.

Канарис, напротив, небрежно относился к своему туалету, а проигрывая, умел так ликовать, так радоваться успеху противника, что у того возникало ощущение невольной досады: стоило ли так усердно стремиться к победе ради того только, чтобы доставить удовольствие своему партнеру?

Гейдрих коротко рассказал Канарису о полученном им рапорте, в котором сообщалось, что в одной из разведывательных женских школ абвера курсантка совершила покушение на жизнь сотрудника гестапо.

— Знаю, — лениво сказал Канарис. — Истеричка. — И заметил предостерегающе: — Если ваши ребята не видят разницы между известными домами и моими школами и ведут себя там неподобающим образом, не мне, а вам следует призвать их к порядку. — И ехидно добавил: — В сущности, у вас больше опыта работы с женской агентурой. Когда вы были начальником тайной уголовной полиции, берлинские уличные профессионалки как будто составляли наиболее надежную вашу сеть? Здесь же материал иного порядка. У этих, очевидно, еще не изжиты некоторые представления о женской чести.

— Я не знал, что ваши школы подобны пансионатам для городских девиц, — съязвил Гейдрих.

Канарис добродушно улыбнулся.

— Дорогой друг! В силу своей биологической природы женщины самым богом поставлены в зависимое положение от нас, мужчин. Но и мы, мужчины, по законам физиологии в некоторой мере зависимы от женщины. Ибо все, что мы делаем, — это воля тайного инстинкта, объемлющего всю нашу

сущность и являющегося духовной субстанцией, пренебрегать которой и вредно и опасно. — Последние слова он произнес подчеркнуто угрожающим тоном.

— Не мне ли грозит подобная опасность?

— Ну что вы! — запротестовал Канарис. — Я имел в виду только одно: согласитесь, этот ваш унтершарфюрер после возвращения из госпиталя заслуживает наказания. Ведь своими действиями он чуть было не испортил ценный материал, подготавливаемый нами для важного задания. Теперь же выполнение этого задания непозволительно откладывается из-за чуть было не утраченных упомянутым объектом необходимых иллюзий. А без иллюзий человечество одичало бы. Мы все жертвы иллюзий. — Сказал со вздохом: — Я, например, всегда мечтал стать знаменитым музыкантом. — Сокрушенно развел руками. — И что же? Вы даже мне в утешение не скажете: «Канарис играет на флейте как виртуоз». По моим данным, — он обольстительно улыбнулся, — вы высказывали нечто совсем противоположное. А по сведениям из другого источника, — речь идет о вопросе, меньше задевающим мое самолюбие, — даже изволили высказать предположение, будто я нашему десанту в Англию предпочитаю английский десант на нашу территорию с целью совместного ведения войны против России.

Глаза Гейдриха стали леденяще внимательными.

— Кстати, — столь же внимательно глядя на Гейдриха, деловито продолжал Канарис, — у Черчилля за плечами опыт высадки английских экспедиционных войск на Севере России. Об этом нам не следует ни при каких обстоятельствах вабывать. И если б он в новых условиях и на новых условиях применил, уже совместно с нами, свой опыт, мы могли бы потом в новом варианте вернуться к операции «Морской лев», хотя этого льва когда-то сильно потрепали русские. Но это, конечно, в том случае, если б Черчилль не против нас, а с нами принял участие в Восточной кампании. — Упрекнул: — И напрасно вы расправились с моими глухонемыми в Швейцарии. Меня только интересовало, насколько плодотворно ваши люди ведут переговоры с англичанами, чтобы потом, получив информацию, дать вам несколько добрых советов в обоюдных наших интересах. И вдруг такая бестактность! Впрочем, я не протестую: они знали много лишнего. Поэтому позвольте рассматривать это как чисто дружескую услугу гестапо абверу. — Объявил насмешливо: — Считайте меня обязанным вам.

Гейдрих молча глядел на световые блики, играющие на носках его ярко начищенных сапог.

Спросил хмуро:

— Так как же мы поступим с этим раненым унтершарфюрером?

— Дайте ему медаль. Если он не дурак, то сумеет понять совершенную им глупость. А если не поймет, пусть на фронте покажет свою храбрость. Хотя не одолеть девчонку — позор для эсэсовца!

— Хорошо, — согласился Гейдрих. И, осторожно дрогнув щекой, что означало улыбку, дружеским тоном осведомился: — Насколько мне известно, эта русская — дочь репрессированного советского полковника?

— Да, — небрежно подтвердил Канарис и положил руку на костлявое плечо Гейдриха. Сказал с шутливым упреком: — И эту девицу, дочь благородного советского полковника, ваш парень хотел лишить иллюзий. — Добавил игриво: — А также и... Ай-ай, как нехорошо! Неприлично. Невоспитанно. Мы же европейцы... — Спросил деловито: — Лансдорфа знаете?

Гейдрих угрюмо кивнул.

— Великий человек, — с искренним восхищением сказал Канарис. — Он обещал мне подыскать там у себя, в «штабе Вали», настоящего арийца — благовоспитанного, абсолютно надежного и обладающего соответствующей внешностью. Тот с полной деликатностью и целомудренностью совершит с этой девицей небольшую туристскую развлекательную поездку. Успокоит и вдохновит на работу, которую она обязана будет выполнить. Вот так, мой друг... Нам нужен подходящий человек для засылки в крупный армейский штаб. Надеюсь, что ее сумеют хорошо подготовить... — Признался с легким вздохом: — Это моя слабость — предпочитаю агентуру не из подонков, которые, увы, заполняют наши разведшколы, нацеленные на Восток.

Вошел пожилой лакей с мясистым лицом, задрапированным профессорскими, торжественными морщинами. Он получал жалованье как лейтенант абвера и одновременно почти такую же сумму как агент гестапо.

Объявил:

— Кушать подано...

40

«Самая большая роскошь — это чистота». Говоря так курсанткам, капитан РОА Клара Ауфбаум без всяких иллюзий имела в виду только чистоту помещений и одежды.

Инспектировавший однажды школу представитель «штаба Вали» Эрнст Гаген поучал ее:

— Женственность для агентки имеет две стороны — положительную и отрицательную. Первая — приманка. Вторая — применяя эту приманку, агентка может настолько увлечься, что превратит ее в самоцель, забудет, ради чего она использует свою внешность как приманку.

В цивилизованных государствах — я исключаю из их числа Россию, — кроме продажных женщин известной профессии, имеются мужчины, посвятившие себя такого же рода деятельности. Мы их используем только в западных направлениях. Что касается этих наших восточных агенток, то мы не ставим вам в упрек слишком завышенный процент самоубийств среди них. Среди мужского контингента тоже бывают подобного рода инциденты. Причем способы, применяемые для этой цели, обычно старомодны. — Поясняя, Гаген растопырил пальцы и коснулся ими своей старческой, морщинистой шеи. — И тут мы почти бессильны лишить их самых примитивных бытовых средств, которые они используют для того, чтобы лишать себя жизни. Так что, повторяю, с этой стороны у нас к вам нет особых претензий.

Но есть момент в подготовке агенток, представляющий дилемму.

Действуя в тылу противника, идя на сближение с интересующими нас лицами, они, естественно, обязаны энергично пользоваться теми дарами, которыми их снабдила природа.

У цивилизованных наций, в особенности это касается образованных кругов, выработались совершенно здоровые суждения, далекие от рабских понятий так называемой морали, освобождающие от каких-то там нравственных обязательств при решении физиологических проблем.

У восточных рас все еще господствуют первобытные представления. Они чрезмерно преувеличивают интимную сторону жизни, предаются совестливым переживаниям, дрожат от мистического страха перед возмездием, и все это по таким поводам, которые для культурных людей давно уже не составляют никаких проблем.

Следовательно, — Гаген все-таки опустил глаза, — свободное общение ваших курсанток с нашими военными служащими входит в задачи подготовки агенток так же, как и обязательная программа их обучения. Следует, конечно, строжайше следить, чтобы при общении не возникало никаких обоюдных привязанностей. Этого можно добиться, решительно не допуская повторных встреч.

Таким образом мы обезопасим агенток и будем уверены, что при исполнении ими своих обязанностей у них не возникнут лирические чувства, которые могли бы привести их к излишней откровенности при выполнении заданий в тылу противника.

— Господин Гаген, — внушительно заявила Ауфбаум, — вы забываете о священном писании.

— Я христианин, фрау капитан, — сухо сказал Гаген. — И не нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали об этом.

— Но вспомните Марию Магдалину, она все-таки раскаялась. И я не уверена, что ваше предложение может стать радикальной гарантией.

— Мария Магдалина — исключение, — строго заметил Гаген. — И весьма желательно, в ваших же интересах, чтобы подобных феноменов среди ваших агенток не оказалось.

Повинуясь инструктажу Гагена, как представителя руководящего «штаба Вали», капитан Клара Ауфбаум дала служащим школы соответствующие указания.

И не только офицеры квартирующих поблизости частей, но даже младшие чины получили доступ в школу.

Две попытки самоубийства — одна из них закончилась смертью курсантки — не смутили командование школы, твердо выполняющее указания свыше.

Но то, что одна из курсанток нанесла ранение унтершарфюреру СС, пятном ложилось на школу.

Эту курсантку, вскрывшую потом себе вены осколком стекла, вернули к жизни, с тем чтобы торжественно расстрелять во дворе школы, в назидание всем другим.

Но неожиданно пришел приказ освободить арестованную из заточения. А для расследования происшествия должен был прибыть полномочный представитель «штаба Вали».

Этим особоуполномоченным представителем оказался Иоганн Вайс.

Его снабдили инструкцией, предписывающей строжайше наказывать виновников, а потерпевшей разрешить десятидневное путешествие по любому избранному ею маршруту. Цель — отдых и развлечения.

Причем Вайс, оказывая девушке всяческое уважительное внимание, должен был сопровождать ее в этом путешествии.

В день приезда Вайса в школу прибыл также полковник РОА Сорокин, который получил приказ выполнять на месте все распоряжения представителя абвера.

Вызывая поочередно курсанток для допроса, Вайс убедился, до какой степени утраты даже тени человеческого достоинства довел этих женщин метод, порекомендованный Гагеном.

Одни из них, оступившие и безразличные ко всему, не способны были понять вопросы, которые им задавались. Все время испуганно смотрели на руки Вайса и, съехившись, закрывали глаза, когда он произвольно делал резкое движение.

Лица у них были одутловатые, а глаза тусклые, с неподвижными зрачками.

С усилием они произносили «да», «нет», «не могу знать». И каждый раз при этом еставали, вытянув руки по швам и вздернув подбородок.

Другие, истерично возбужденные, почти до невменяемости взвинченные, хохотали, плакали, ругались, нагло требовали сигарет, водки, обещая за это все что угодно. Говорили безудержно, но в горячем потоке слов Вайс не мог уловить какого-либо смысла, не мог добиться от них ответа на свои вопросы. Многие из них страдали нервным тиком: у них дергались подбородки, нижние веки, беспрестанно дрожали пальцы. Это были психически искаленные люди. Полупомешанные.

Но самое гнетущее впечатление производили те, кто не потерял еще здесь полностью психического и физического здоровья. Большинство их озлобилось и ожесточилось в лагерях настолько, что им было безразлично, кто станет потом жертвой их преступлений. Чаще всего это были здоровенные бабы, тупые, с уголовным прошлым. В лагерях они были блок-овыми надзирателями, избрав предательство и палачество, чтобы продлить свою жизнь, добыть сытость, приобрести власть зверя над людьми.

Одна такая, с обрюзгшим и тяжеловесным лицом и выщипанными в ниточку бровями, заявила обиженно Вайсу:

— И никакого унижения я в этом не вижу. Все вполне нормально. Тут им не кружок самостоятельности.

— А вам?..

— А я — не они. Я идейная. Своя крупорушка у отца была. А муж — скорняк, до последнего на дому мастерскую держал. Как могли, от властей свою зажиточную жизнь спасали. — Сказала презрительно: — Тут девки больше какие? С которыми немецкие офицеры побаловались. В казино водили, вежливо, как невест. А после сдали в СС, ну, а те сюда, на пансион. Только какие из них шпионки? Одно название. По ночам спать не дают. Плачут. А о чем? О советской власти. Вот она им теперь, советская власть! — и показала кукиш. Порекомендовала внушительно: — Я бы, господин офицер, на вашем месте сюда из кого кадры подбирала? Исключительно из пожилых, которые понимают толк в жизни, про которых точно известно, что они советской властью обижены. Мне, например, ни медали, ни ордена за мое героичество не надо. Мне бы патент на торговлю меховыми товарами. Тут я в люди выйду, будьте уверены.

— И много тут таких, как вы?

— Раз два — и обчелся. А вот в РОА имеется публика положительная. Унтер-офицер Полканов о бане мечтает. Его предки по банному делу шли, на нем капитал собрали. — Спросила с надеждой: — Большевиков прогонят, тогда возврат на полную катушку для вольной коммерции?

Вайс сощурился, сказал строго:

— Но не для вас.

— Это почему же?

— Как вам известно по материалам РОА, Россия станет нашей колонией, и подобные вам обученные люди будут и в дальнейшем выполнять карательные функции по отношению к местному населению.

— Ну что ж, значит, причислят к фельдполиции. Я так вас поняла? — Вздохнула. — Ну что ж. Тоже должность.

Сорокин, полковник РОА, тучный, бравый, с венчиком крашенных в ярко-черный цвет волос вокруг белой лысины, страдал астмой и потому говорил с одышкой.

Преданно глядя в глаза Вайсу, заверял:

— У нас в РОА модерна не признают, всяких там современных фокусов. По старинке. как деды и прадеды. Порем. Есть такие мастера-уникумы! В гестапо подобных не имеется. Там по-европейски, с применением всякой техники. А у нас в РОА с обыкновенным сыромятным ремешком виртуозы!

Вайс сказал полковнику, чтобы тот дополнительно допросил лейтенанта Нюрку и ее пособницу о деле унтершарфюрера СС. А капитана Ауфбаум он допросит сам. Затем в сопровождении капитана Ауфбаум обошел общежитие курсанток. Это был такой же барак, как и в «штабе Вали».

Удушливо воняло дезинфекцией. К этой вони примешивался приторный запах крема, одеколona, пудры — всей той косметики, которую выдавали курсанткам в дни приезда начальства.

Ауфбаум внимательно оглядывала напряженные, напудренные лица стоявших по команде «смирно» женщин. Одни из них намалевались тщательно, аккуратно, другие нарочито небрежно, как бы в издевку над собой. Таким она делала строгие замечания. Объяснила Вайсу, что у курсанток есть также партикулярная одежда. Но хранится она в кладовой и выдается по мере надобности, в отдельных случаях.

— Например? — спросил Вайс.

Ауфбаум замялась:

— Ну... когда кто-нибудь из приезжих имеет желание побеседовать...

— Понятно, — сказал Вайс.

— Белые им мы выдаем солдатское. Но разрешаем обрезать кальсоны. А из обрезков они шьют себе лифчики.

— Дисциплинарные взыскания?

— Это миссия моего заместителя, лейтенанта, — уклончиво объяснила Ауфбаум.

— Есть жалобы, претензии?

Никто из женщин не ответил.

Вайс спросил девицу с обезображенным ожогами лицом:

— Это что у вас?

Ауфбаум поспешно сообщила:

— Это она сама, утюгом.

— Странно. Обычно утюгом лицо не гладят.

Стоящая в стороне толстая, ярко намалеванная девица сбьяснила мстительно:

— Это она нарочно рожу испортила, чтобы ее офицерам пореже вызывали. Чтобы другие за нее отдувались.

— Так, любопытно,— сказал Вайс. Спросил девушку с сбожженным лицом: — Ваша фамилия?

— Нет у меня ни имени, ни фамилии.

— Кличка?

— «Штырь»,— сказала Ауфбаум и пожаловалась: — Я полагала, поскольку у меня женский состав, давать клички по названиям цветов, но командование не одобрило.

Курсантку по кличке «Спица», ради которой он прибыл сюда, Вайс решил посетить один, без сопровождающих.

Ему указали комнату, где ее держали взаперти.

На топчане сидела тоненькая девушка в длинном, слишком широком для нее, расшитом блестками платье.

Маленькое, бледное личико, темные, чуть выющиеся короткие волосы, еще не успевшие отрасти после лагеря. Опухший большой рот, впавшие глаза, высокая, тонкая шея. Руки на запястьях забинтованы.

Она была такая худенькая, тоненькая и легкая, что матрац, положенный на топчан, не проминался под ней.

Иоганн вежливо представился и объяснил цель своего визита. Она молча выслушала, сказала:

— Врете.

— Вы сможете сами убедиться: виновники будут строжайшим образом наказаны.

— Увидим.

— Разрешите присесть? — и Вайс опустился на топчан.

Девушка вскочила, бросилась к двери, толкнула ее. Дверь распахнулась.

— Может, нам лучше беседовать не здесь? — Вайс тоже встал.

— А я не желаю с вами беседовать!

— Тогда назовем это иначе. Вы дадите мне некоторые показания, которые необходимы как формальность, хотя мне уже все ясно.

Она спросила, озлобленно улыбаясь:

— А если все ясно, зачем вам нужна я?

— Можно узнать ваше имя?

— У меня есть кличка — «Спица».

— Пожалуйста, ваше имя?

— Допустим, Инга.

— Вы Инга, а я Иоганн — приятное созвучие.

— В таком случае я Ольга.

— Это правда?

— Вы уже начинаете допрашивать?

— Знаете что, — дружески сказал Иоганн, — мне не нравится ваше платье, уж очень оно такое...

— Какое «такое»?

— Ну, сами знаете... Я попрошу, чтобы вам дали другое

— Шелк, блестки...

— Вот именно. И поэтому оно вам не идет.

Девушка внимательно посмотрела в глаза Вайса.

— Зря притворяетесь. Вы, гестаповцы, вначале всегда так...

— А потом?

— Вы сами знаете, что потом. Ведь я дала подписку...

Мне можно теперь приказывать все что угодно.

Глаза девушки потускнели, погасли.

Вайс сказал резко:

— Фрейлен, у меня есть основания курсантку по кличке «Штырь», — напомнил: — ну, ту, которая обожгла себе лицо утюгом, подозревать в сокрытии своих истинных убеждений. Ее следует направить обратно в штрафной блок Равенсбрюка.

— Ну что вы! — всполошилась Ольга. — Она... Она настоящая контрреволюционерка и поклонница фюрера! — лицо девушки выражало отчаяние и тревогу.

— Вы убеждены в этом?

— Да-да, полностью! — горячо заявила Ольга.

— Ваше свидетельство для нас настолько авторитетно, что в таком случае я отменю приказ капитана Ауфбаум.

Видя, что лицо Ольги прояснилось, он тут же спросил:

— А эта, с выщипанными бровями, меховщица?

— Сволочь!

— Простите, я не понимаю этого слова.

Блестя глазами, кривя губы, с какой-то коварной усмешкой Ольга сообщила:

— Эта особа не может внушать вам доверия.

— Благодарю вас. — Вайс встал, щелкнул каблуками, склонил в поклоне голову. Исподлобья глядя, быстро спросил: — Ваш отец полковник? Начальник штаба армии, репрессированный Советами?

Девушка, задыхаясь, кивнула. На шее ее вздулись вены.

Иоганн сказал:

— Будьте, пожалуйста, внимательны ко мне настолько же, насколько и я к вам. — Усмехнулся: — У меня ведь такая сложная миссия. А русская девушка — это загадочная славянская душа.

Ольга нерешительно спросила:

— Но вы из гестапо?

— К сожалению, — сказал Вайс, — не имею чести. Как доложил вам, я унтер-офицер абвера. — Помедлил. — Но это нечто родственное.

— Зачем вы об этом сказали?

— Чтобы была ясность.

Вайс пошел разыскивать Ауфбаум, чтобы дать ей приказание об одежде для Ольги. Но Ауфбаум, оказывается, сама разыскивала его, и не одна, а в сопровождении полковника Сорокина и двух солдат РОА.

Она бросилась к Вайсу, моля спасти, оказать ей милосердие...

Полковник, отстранив капитана Ауфбаум, доложил Вайсу, с трудом преодолевая одышку, что уже подверг экзекуции разжалованного лейтенанта Нюрку и курсантку, которая оказывала ей содействие в истории с унтершарфюрером СС.

А сейчас прибыл нарочный с приказом РОА разжаловать капитана Ауфбаум в рядовые.

Ауфбаум спросила скорбно, умоляюще глядя на Вайса:

— Что же вы мне посоветуете?

Вайс сказал холодно:

— Я хотел бы задать вам еще несколько вопросов.

— О, пожалуйста. Я вся к вашим услугам,— жалко улыбнулась Ауфбаум. Губы у нее дрожали.

Оставшись с капитаном РОА наедине, Вайс спросил:

— Насколько я выяснил, вы действовали по прямым указаниям сотрудника «штаба Вали» господина Гагена?

Ауфбаум только закивала в ответ. Вздволнованная и потрясенная, она еще не владела собой.

— Если это так и вы можете подтвердить все письменно, ваша вина облегчается.

— Я готова написать сию минуту все, что вы мне скажете.

— Я вам ничего не говорю. Я вас только спрашиваю: так это или нет? Если так, будьте любезны логически изложить все на бумаге.

— О, я так волнуюсь!

Но, несмотря на свое состояние, Ауфбаум очень толково и мстительно написала донос на Гагена.

Пряча бумагу в карман кителя, Вайс предупредил капитана Ауфбаум:

— Вас ждал самый суровый приговор. Но вы произвели на меня настолько благоприятное впечатление, что я счел возможным ограничиться чисто предупредительными мерами. При условии или, вернее, гарантии...— Спросил: — Какие я могу иметь с вашей стороны гарантии?

— О, я же сказала — какие вам угодно! — Ауфбаум, преданно улыбаясь, подняла руки, чтобы поправить волосы.

— Ну, это вы бросьте! — оборвал ее Вайс. Наклонился: — Вы мне дадите сейчас письменное подтверждение тому...— Иоганн на минуту задумался.— Допустим, полковник Сорокин предлагал вам работать на советскую разведку...

— Этот палач на все способен, на все! — горячо заявила Ауфбаум.

— Ну вот и пишите. Можете совсем коротко.

И только когда Вайс спрятал вторую бумагу рядом с первой, Ауфбаум спросила:

— Но зачем это вам?

— Затем,— внушительно произнес Вайс,— что, если вы в дальнейшем вздумаете отказать в какой-нибудь моей незначительной просьбе, это послужит мне гарантией.— Объяснил: — А теперь прикажите курсантке с обожженным лицом зайти после ужина ко мне в комнату.

— Ну и вкус у вас! — Ободрившись, Ауфбаум снова превратилась в гостеприимную хозяйку.— У нас есть просто милшки.

— Я не привык повторять.

Более часа Иоганн Вайс беседовал с девушкой по кличке «Штырь». Под конец они уже говорили так: сначала она шептала на ухо Вайсу, потом он ей.

Вайс не узнал ее из-за обожженного лица. Но она сразу узнала его.

Это была Люся Егорова из 48-й школы. Когда-то пионервожатая. Александр Белов был у них в школе на вечере и даже танцевал с ней.

Люся попала в плен, тяжело контуженная под Смоленском.

Вайс, разговаривая с ней, видел, что она вся дрожит.

— Ну, успокойтесь!

— Я спокойна, я очень спокойна. Просто я обрадовалась, что вы не подлец.

Об Ольге она ничего не могла сообщить и очень удивилась, услышав от Вайса, что Ольга старалась выгородить ее, назвав настоящей контрреволюционеркой.

— Странно,— протяжно, беспрестанно вздрагивая, сказала Люся.— Я с ней не разговаривала. Очень странно.

Перед тем как уйти, спросила:

— Я ужасный урод, да?

Вайс сказал искренне:

— Вы по-настоящему красивый человек.

— Не хотите лгать? Ну и не надо. А мне свое лицо не жалко. Хотя оно было ничего себе. Многие говорили, чтобы я обязательно снималась в кино. Ну, прощайте...

Иоганн наклонился и бережно поцеловал ее изуродованную щеку.

Полковник РОА Сорокин пил чай в комнате Клары Ауфбаум. Встав при виде Вайса, он кивнул на Ауфбаум и произнес снисходительно:

— Вот, жалею Клару Федоровну за ее переживания.

— Ну, хватит! — прервал Вайс. Заявил официальным то-

ном: — Расследование по делу капитана Ауфбаум прекращаю. Без последствий. А вы, полковник, подпишите-ка сейчас приказ о назначении курсантки Штырь заместителем капитана Ауфбаум по школе и о присвоении ей звания лейтенанта РОА. Исполнение — не позже трех дней.

— А что прикажете с теми, экзекуцированными?

— В лагерь!

Полковник щелкнул каблуками, склонил голову с выкрашенными волосами и вышел из комнаты.

Ауфбаум сказала жеманно:

— Вы спасли мне жизнь.

И, не удержавшись, заметила иронически:

— Однако вы щедры с девицами: чин, должность. За один визит!

— Вот что, капитан Ауфбаум! — сказал Вайс, глядя ей в переносицу. — Хотите продлить свое существование? Научитесь молча выполнять мои приказания, кем бы они ни были переданы.

Разорвал марку. Отдал половину, вторую спрятал в верхний карман кителя.

— Понимаю, — сказала Ауфбаум.

— Вот, давно пора. И предупреждаю: контрразведка абвера ничем не уступает гестапо в применении энергичных средств воздействия

— Значит, я могу считать себя...

— Да, пожалуйста. Считайте себя кем угодно. Но если третье лицо узнает, кем вы себя считаете, — и РОА, и гестапо, и абвер поступят с вами так, как вы будете того заслуживать.

Дальнейшие распоряжения Вайса касались только канцелярских бумаг.

Он потребовал, чтобы его ознакомили с личными делами курсанток, с приказами по школе, а также с отчетами о действиях агентов, засланных в советский тыл. Над этими материалами он просидел в канцелярии всю ночь.

41

Публичные шахматные турниры одновременной игры на множестве досок, которые победоносно проводят титулованные гроссмейстеры и экс-чемпионы мира, состязаясь с нетитулованными мастерами, помышляющими о почетном звании в шахматной иерархии, служат предметом всеобщего восхищения. Да и как не восхищаться виртуозной способностью человеческого ума демонстрировать на подобном ристалище мощь памяти, блеск молниеносных комбинационных решений и столь же мгновенное угадывание манеры мышления противника, его психологических особенностей!

И если на таком турнире чемпион и проигрывает кому-ли-

бо, то это расценивается как снисходительный дар партнеру, как поощрение, почти как акт королевской милости.

Конечно, высокое звание чемпиона действует на его противников гипнотически, подавляет у них волю к победе и дает чемпиону возможность навязать ту тактику, ту систему ходов, которые он в соответствующем количестве вариантов заранее подготовил и уложил в багаж своей памяти.

Что касается Иоганна Вайса, то ему приходилось средненько и ежечасно вести опасный турнир со множеством противников, и достаточно было проиграть только одному из них, чтобы расплатиться за проигрыш жизнью. Этот поединок одного со всеми длился уже многие месяцы. Бесчисленное количество раз менялись арены, противники, комбинации, способы и приемы борьбы. И чем дольше продолжался поединок, тем больше возникало новых, неожиданных ситуаций. Разрешать их Вайс должен был безотлагательно и часто в условиях непредугаданных и столь различных, несхожих между собой, сколь несхожи между собой люди.

Дрессировщик, выступающий на арене цирка с комбинированной группой хищников, обязан знать не только злобные повадки каждого зверя, не только удерживать наиболее опасных из них на определенной дистанции. Входя в клетку, он должен всегда помнить, что, кроме ярости, испытываемой к человеку, хищник готов растерзать каждого зверя другой породы. И очутиться между борющимися хищниками гораздо опаснее, чем остаться один на один с любым из них. Нечто подобное ощущал Вайс в моменты, когда ему приходилось быть свидетелем неутихающей борьбы между различными германскими разведывательными службами за полноту власти.

Великое контрастное выступление советского народа в подмосковной битве поведало всему миру о силе первого в мире социалистического государства, распознать которую оказались бессильны самые хитроумные службы немецкого шпионажа.

Поражение армий вермахта под Москвой было одновременно и сокрушительным ударом по престижу абвера и торжеством СД, торжеством Гиммлера и Гейдриха, злорадствующих по поводу унижения Канариса, который не сумел выкрасть у большевиков сокровенные тайны их мощи.

Органы абвера, желая реабилитировать себя в глазах фюрера, стремились создать теперь плотный разведывательно-диверсионный пояс непосредственно в прифронтовой зоне, перекрыть разведывательными резидентурами все основные узлы коммуникаций, соединяющие фронт с промышленными центрами, чтобы организовать постоянное наблюдение за переброской на фронт войск, боевой техники, боеприпасов, снаряжения и т. д.

Но осуществление всех этих крупномасштабных мероприятий требовало длительного времени, кропотливой работы.

Здесь не было надежды на немедленный, молниеносный и шумный успех. Канарис хорошо понимал это.

Правящая верхушка Германии, используя средства тайной дипломатии, напуганная поражением под Москвой, начала с новой энергией искать возможности для сближения с империалистическими кругами Англии и США. А средствами секретных служб она разрабатывала провокации, какие могли бы послужить причиной безотлагательного вовлечения и Японии и Турции в войну против СССР.

То, что Лансдорф стал проявлять глубокий интерес к японской Квантунской армии, Иоганн заметил не только по книгам и справочникам, географическим атласам и картам, которые стали вытеснять в книжном шкафу старика романы прошлого века.

Дитрих, вновь совершая вербовочные поездки по лагерям, разыскивал подходящие кандидатуры для заброски в советский тыл на длительный срок. И когда отобранные им люди прибывали в разведывательно-диверсионную школу, допрашивал их сам Лансдорф, чего он прежде никогда не делал.

Странное поручение, обязывающее Вайса выступить в качестве восстановителя душевного равновесия дочери репрессированного полковника, находилось в прямой связи со всем происходящим. Ему было приказано, используя любые средства связи, ежедневно доносить Лансдорфу о самочувствии своей подопечной.

Выступая на арене жизни другого народа, Иоганн Вайс должен был знать правила поведения, диктуемые законопослушным гражданам, и неукоснительно следовать этим правилам. А задача, поставленная перед благоразумными гражданами рейха, состояла в том, чтобы неотступно руководствоваться правилами, рекомендованными высшими для низших. Усвоить эту истину и обучиться повадкам ее исполнителя Вайсу удалось с безукоризненной точностью.

Но он ставил себе иные цели. Он хотел проникнуть в те немецкие круги, правила жизни которых состояли в том, чтобы не считаться ни с какими правилами, нормами, обычаями, морально-нравственными предписаниями. И чем наглее представители этих кругов попирали законы, тем выше было их положение в обществе. Эти люди и составляли правящую элиту.

Что же касается политической программы самого Гитлера, то каждый немецкий буржуа достаточно хорошо знал, как ждала Германия своего фюрера с того самого дня, когда был подписан Версальский мир. Это видно даже по немецким школьным учебникам.

И для страдающих манией национального величия имело не столь уж большое значение, какое имя будет носить этот фюрер — Шикльгрубер или иное. Важным для них казалось

только одно: чтобы он был покорно, фанатически предан традиционной политике грабежа и захвата и в то же время достаточно подготовлен для артистического исполнения в загородном крупновском поместье роли самозванного императора, ни при каких обстоятельствах не забывающего о том, кому именно обязан он своим стремительным возвышением.

Если бы психологическое мастерство разведчика Иоганна Вайса заключалось только в умении, притворяясь откровенным, рассказывать о себе небылицы, так же добросовестно исполнять обязанности абверовца в пределах уставных правил, возможно, он и продвигался бы постепенно по служебной лестнице, но никогда бы не сумел добиться того особого доверия начальствующих лиц, значение которого куда важнее высоких воинских званий и наград.

Однажды Вайс присутствовал при довольно откровенном разговоре между Лансдорфом и Гердом. Ротмистр Герд брюзгливо и высокомерно выражал всеильному представителю СД свое недовольство по поводу неудач на Восточном фронте.

— Мы, германские промышленники, — говорил раздраженно Герд, — секретно субсидируем почти всех наших полководцев. Под Москвой они не оправдали не столько надежды фюрера, сколько те суммы, которые мы переводим на их личные счета. Пора пойти на некоторые уступки, благоразумно договориться с США и Англией и совместно с ними решительно покончить с Россией.

— Я полагаю, — сказал уклончиво Лансдорф, — эти проблемы касаются только фюрера и партии.

— При чем здесь партия? — сердито возразил Герд. — Я и мой тесть не состоим в национал-социалистской партии, но наша фирма такими большими деньгами кредитовала движение коричневых в самом его зародыше, что мы имеем все основания считать себя акционерами с правом решающего голоса. Я сторонник умеренности: граница — до Урала, — солидно продолжил Герд. — И о многом свидетельствует то, что фюрер внял мудрым голосам наших промышленников и проявил великолепные способности в области экономического мышления, начав наступление на Кавказ. А Кавказ — это нефть. И если генералитет не сумеет восстановить потери в живой силе, понесенные в недавних боях, то, приказав войскам вермахта наступать в направлении Кавказа, фюрер сможет восполнить наши экономические потери. Таким образом он вновь укрепит свой престиж и восстановит доверие тех лиц, которые материально обеспечили ему возможность стать тем, кем он стал.

— Вы хотите сказать... — начал было Лансдорф.

— Но вернемся к нефти, — перебил его Герд. — Мы, германские промышленники, отвергаем критику, какой подвергли фюрера некоторые представители генералитета за то, что он

не сосредоточил всех усилий на взятии Москвы, а позаботился о приобретении кавказских нефтяных ресурсов.

Лансдорф на этот раз промолчал, и Герд продолжил после паузы:

— Я бы напомнил некоторым нашим генералам о том, что приход Гитлера к власти был выгоден офицерам рейхсвера с точки зрения их профессиональных перспектив. А нам, промышленникам, заинтересованным в сырьевых придатках, Гитлер обеспечивал экономические перспективы. Генералитет должен был реализовать для этого все свои способности.

— Немецкий генералитет независим от партии, — заметил Лансдорф. — Он руководствуется только чисто военными целями.

— Еще чего! — расхохотался Герд. — Но ведь по тайной просьбе весьма значительных представителей генералитета, завидующих генералам Бломбергу и Фричу, которых фюрер слишком приблизил к себе, Гиммлер сумел замарать обоих. Сначала Бломберга, доказав, что супруга его — бывшая проститутка, а потом донес, что Фрич склонен к половым извращениям. И обоих генералов с позором сняли с постов и заменили менее способными, но в то же время и менее опасными полководцами. Ведь так? Значит, генералитет прибегает к помощи нацистской партии, когда дело касается кусков пирога пожирнее.

— Вы считаете, была допущена ошибка?

— Я считаю, что фюрер нуждается в военных исполнителях, но не в советниках, роль которых пытались взять на себя Бломберг и Фрич. И Гиммлер осадил их, только и всего. Интересы германских промышленников и генералов всегда были едины. Мы поставили на фюрера.

— На Адольфа Гитлера, когда он еще не был фюрером?

— Я повторяю: на фюрера, — веско сказал Герд. — На диктатуру личной власти. Что касается личности как таковой, то это вопрос вкуса. Крупн, например, полагает, что у Гитлера оказалось больше политических способностей, чем это нам вначале представлялось. Но их могло оказаться и меньше.

Несмотря на всю терпеливую обходительность Вайса, его спутница, которой он должен был внушить наилучшие представления о моральном облике сотрудника абвера, держала себя крайне неприязненно.

Она сидела в машине, прижавшись к спинке сиденья, и сжимала пальцами ручку дверцы так, словно вот-вот готова была выскочить на дорогу.

Вайс спросил:

— Хотите осмотреть Варшаву?

— Зачем?

— Может, пожелаете что-нибудь купить в магазинах?
— На ваши деньги?
— Нет, на ваши. Командование выдало вам на путешествие порядочную сумму.

— Тогда дайте их мне.

Вайс достал из конверта пачку рейхсмарок.

Девушка взяла их, спросила:

— Это действительно большая сумма?

— Да, и очень.

Девушка решительно опустила боковое стекло и выбросила деньги.

Вайс не затормозил и даже не снизил скорости.

Через несколько минут она встревоженно спросила:

— Вы видели, я выбросила ваши деньги?

— Да,— сказал Вайс,— но они не мои, а ваши.

Помедлив, она предложила:

— Вы можете вернуться и взять их себе.

— Благодарю,— сказал Вайс.— Но я привык давать женщинам деньги, а не брать у них. Может, это не принято в России? — Он успел схватить ее руку и отвести от своего лица. Потом сказал, не отпуская ее руки: — Давайте договоримся — вы мне не нравитесь ни с какой стороны, я вам тоже. Я вынужден сопровождать вас, вы вынуждены быть моей спутницей. Вы будете слушаться меня, и за это в пределах мне дозволенного я буду считаться с вашими желаниями. Договорились?

Она ничего не ответила. Но рука ее, стиснутая пальцами Вайса, ослабела.

В Варшаве, в одном из лучших отелей, для них был отведен двухкомнатный номер.

Девушка, не сняв пальто, демонстративно уселась на стул посреди комнаты и молчала, настороженно следя за Вайсом.

Через некоторое время он предложил:

— Давайте спустимся вниз, в ресторан, и поужинаем.

— Я никуда не пойду.

— Вы согласились сотрудничать с нами,— строго сказал Вайс,— а ведете себя с немецким офицером в высшей степени странно.

— Разве вы офицер? Вы ведь только унтер...

— Я сотрудник абвера и в курсе всех ваших дел.

— Ах, так! — воскликнула она.— Значит, вам разрешили болтать о том, что я согласилась стать вашей разведчицей?

— Не кричите,— попросил Вайс,— вас могут слышать.

— Неужели командование не нашло офицера, чтобы составить компанию дочери начальника штаба армии?

— Советского,— напомнил Вайс.

— Да, репрессированного советского полковника,— гордо заявила девушка. Дернула плечом, приказала: — Пошли!

— Куда?

— В ресторан.

Вайс встал и покорно пошел вслед за девушкой, пытаясь предугадать, что она еще такое может выкинуть.

В ресторане она вела себя нескромно. Держа бокал у губ, так пристально смотрела в глаза пожилому полковнику, сидящему за соседним столиком, что у того маслено заблестели глаза. Через официанта полковник прислал им бутылку старого «иоганнесбургского», а вслед за тем и сам подошел к их столу. Попросил разрешения сесть рядом.

Девушка плохо знала немецкий и не совсем точно понимала, что говорит ей полковник. А тот принял ее за польку. И стал восхвалять красоту польских женщин в лице их прекраснейшей, как он выразился, представительницы.

Девушка сказала полковнику обещающе:

— Я бы очень хотела убедить вас в том, что вы правы.

«Ну и ну!» — подумал Вайс. И, нежно положив свою руку на руку девушки, поспешно предупредил полковника:

— Это моя невеста, с разрешения оберштурмбанфюрера гестапо Вилли Шварцкопфа. — И добавил: — Я осмелился вам об этом доложить, чтобы не возникло никаких неясностей между сотрудниками службы гестапо и доблестным представителем вермахта в вашем лице.

Вайс пошел на этот отчаянный шаг после того, как девушка изъявила согласие прокатиться с полковником по городу.

Он знал, армейцы предпочитали не связываться с сотрудниками спецслужб. Полковник благоразумно отказался от своего приглашения. И это спасло Вайса. Ибо иначе девица, несомненно, использовала бы ситуацию, чтобы ускользнуть из-под его опеки.

Когда полковник, вежливо раскланявшись с девушкой, удалился, она долго смотрела в глаза Вайсу, потом спросила с гримасой отвращения:

— Чего вы боитесь? Если вы меня потеряете, вас что, за это расстреляют или на фронт отправят?

Люди за соседним столом с любопытством смотрели на них. Иоганн забыл, что рядом с ним сидит молодая и красивая девушка, которая вызывает к себе это внимание. Он попросил ее жалобно:

— Если вы уже сыты, может, пойдем?

— Куда?

— Я бы предложил пойти в варьете «Коломбина» — там отличная программа.

— Ну вот еще! — презрительно ответила девушка. — Стану я таскаться по кабакам.

— Это не кабак, это вроде эстрады, — торопливо пояснил

Вайс и поспешно добавил: — Там выступает одна гимнастка. Я был бы вам очень признателен: нам с ней так редко удается видиться.

— Ладно, — поморщившись, согласилась девушка. Спросила: — Она немка?

— К сожалению, фольксдойч.

— А ваши знают об этом?

— Нет. Но я надеюсь на вашу порядочность.

— Вы даже по отношению к своей возлюбленной ведете себя как трус.

— Вот видите, я искренен с вами, хотя это и может грозить мне потом неприятностями.

Досадуя на себя, Иоганн думал о том, как трудно добиться доверия этой девушки. По-видимому, она неврастеничка, способная на любую крайность. Но кто довел ее до такого состояния — немцы или несчастье постигшее ее отца? А насколько это несчастье предопределило ее решение стать изменницей, сейчас трудно установить.

— И, пожалуйста, — попросил Вайс, — не глядите на меня так злобно, а то все подумают, что вы моя любовница и за что-то сердитесь на меня.

Девушка покраснела, закусил губу и больше не задирала Вайса, очевидно решив, что оскорблять хладнокровного абверовца, которого все ее оскорбления, в сущности, совершенно не задевают, ниже ее достоинства.

42

В варьете она почти не смотрела на сцену. Лицо ее как то сразу осунулось, обрело утомленное выражение скуки и безразличия. Откинувшись на спинку стула, она, казалось, дремала.

Искоса поглядывая на девушку, Иоганн впервые увидел ее лицо не искаженным гримасами ненависти, презрения, злобы. Печальное и спокойное, оно вдруг поразило его — столько в нем было застывшего страдания. Глядя на нее украдкой, Иоганн отказался от первоначального своего намерения свести ее с Эльзой и Зубовым, чтобы они выяснили, кто она, эта девушка, и почему она так странно ведет себя.

И он решился на опасный эксперимент. Осторожно коснувшись ее руки, сказал просто и задушевно:

— Знаете, Ольга, ну его к черту, весь этот балаган! Идемте.

Она изумленно глянула на него и с торопливой покорностью последовала за ним. Иоганн привел ее в локаль пана Полонского.

Поставив перед ними две кружки, в которых было больше пены, чем пива, Полонский сказал:

— Это красиво, как кудри блондинки.— Смахнув щеткой в совок очистки соленого гороха со стола, добавил наставительно: — Хорошим людям пиво кружит голову, плохим только пучит живот.

Ольга сказала Вайсу:

— После такого предупреждения я бы на вашем месте попросила воды.

— Для вас? — рассердился Иоганн.

— А вы не утратили еще способности обижаться!

— Ну, хватит задира́ть меня.

— Вы слишком хорошо для немца говорите по-русски.

— Я из Прибалтики.

Она поднесла кружку к лицу и, глядя поверх нее в глаза Вайсу, спросила:

— И часто вы выполняете подобные поручения?

— Какие?

— Ну, внушать таким, как я, будто среди таких, как вы, водятся существа, похожие на людей, а потом использовать нашу доверчивость нам на зло.

— Вы находите, я гожусь для такой роли?

— Она подлая! — Ольга поставила кружку на стол, открыв вдруг снова ненавидящее лицо, заявила гневно: — Мне больше нравятся гестаповцы: они по крайней мере честнее вас.

— Чем?

— Они не притворяются другими, чем они есть. Бравые парни, знают, чего хотят.

— Я вас не понимаю. Вы ведь согласились сотрудничать с нами?

— Совсем не потому, что гестаповцы меня пытали физически.

— А почему же?

— Просто надоело валять дурака с ними. Они лучше вас. Никогда не сердятся. Знают свое дело — и только. Вашему обществу я предпочла бы компанию любого из них. Ребята грубые, но зато не выдают себя ни за кого другого, работают с полной откровенностью.

— Но я же сказал вам о своем задании.

— Оно носит очень ограниченный характер: заниматься психологическим обыском.

Вайс помедлил, потом сказал спокойно:

— Допустим. А вы что же, полагали, ваше решение настолько неоригинально, что ваша персона не вызовет к себе никакого интереса со стороны нашего командования?

— Это правильно,— согласилась девушка.

— Ну вот. Значит, договорились,— сказал Вайс.— Теперь все ясно.— Спросил требовательно: — Ведь вы хотели ясности?

— Да, именно этого,— сказала девушка. Похвалила Вайса: — Умница. Наконец-то вы поняли, чего я от вас хотела.

— Вы тоже будьте умницей,— посоветовал Вайс,— и перестаньте задира́ть меня. Так будет лучше для нас обоих.

Вошла Эльза, села у окна спиной к нему и, вынув зеркальце из сумки, стала красить губы.

Это был знак Вайсу, чтобы он не подходил к ней. Одновременно она наблюдала за его спутницей.

Через несколько минут появился Зубов. Тот прямо направился к Вайсу, добродушно, по-приятельски улыбаясь. Иоганн познакомил его с Ольгой.

Зубов заговорил с ней по-польски, с ходу осыпав ее витиевато-напыщенными комплиментами.

Вайс, извинившись, встал и, пройдя за стойку, вышел за-пасным ходом во двор. Здесь его ждала Эльза.

Она сказала, не здороваясь:

— Центр сообщил, что Ольга, дочь репрессированного полковника, сейчас в Свердловске, учится в институте. После ареста отца ее взял в свою семью старший батальонный комиссар Александров, у которого дочь — Нина — одного с Ольгой возраста. Нина, служившая санинструктором, пропала без вести на Западном фронте под Вязьмой.

— Так,— сказал Вайс.— Любопытно.

Эльза предупредила:

— Берегитесь, Белов. Я полагаю, с помощью этой девицы немцы хотят устроить вам ловушку.

— Ладно. Как Зубов?

Эльза сказала брезгливо:

— Связался с немкой. Она нужна нам.

— Кто она?

— Вдова полковника СС.

— Неплохо!

— Отвратительная баба!

— Почтенная матрона?

— Какое это имеет значение?.. Молоденькая.

— Ну, это — другое дело.

— Пристала к нему, как блудливая кошка.

— А он?

— Вначале бегал от нее.

— А теперь?

— Врет, будто она хорошая.

— Почему же врёт? Может, и на самом деле так?

Лицо Эльзы стало несчастным, но она быстро справилась с собой и снова настойчиво повторила:

— Берегитесь, Белов. Мы за вас очень боимся.

— Кто это «мы»?

— Ну, я и Зубов.

— А о себе он не беспокоится?

— Из-за этой немки он стал совсем отчаянным...

— То есть?

— Она познакомила его с приятелями своего мужа. Нагло соврала всем, что он ее кузен. Зубов ездил с ней в Краков, на прием в резиденцию Ганса Франка. Во время концерта ушел с офицерами в спортивный зал и там ввязался в какое-то зверское состязание.

— Ну и как?

— Хвастал мне, что оберштурмфюрер СС Отто Скорцени, опытный диверсант и убийца, любимец фюрера — он состоял в карательной команде эсэсовской дивизии «Дас Рейх», а здесь проездом, едет лечиться после Восточного фронта, — публично пожал ему руку. Ну, мне пора идти. Так прошу вас... — в третий раз напомнила Эльза.

— Ладно, — согласился Вайс и попросил: — Все-таки не расстраивайтесь, Эльза. Алексей — хороший человек и чистый, к нему плохое не пристанет.

Эльза грустно усмехнулась и, не ответив, ушла.

Зубов увлеченно играл в карты с Полонским.

Ольга сидела за столом мрачная. Возможно, ее обижало, что Зубов перестал обращать на нее внимание.

Эльза предупредила Зубова об опасности, угрожающей Вайсу со стороны этой девицы, но запретила ему делать какие-либо попытки выяснить, кто она.

Зубов выполнил указание Эльзы с удивительной для него послушностью. Он почти не разговаривал с Ольгой, и только когда она попыталась встать, чтобы уйти, без улыбки попросил не покидать его и даже взял ее за руку. Потом пересадил девушку в угол, придвинул стол и объявил, уже с улыбкой, что она может считать себя узницей.

Пан Полонский, улучив момент, шепнул девушке, что из всех немцев герр Николь самый приличный, другие поступают более решительно и грубо.

Зубов не мог скрыть свою неприязнь к этой девице. До сих пор ему не приходилось сталкиваться с изменниками родины.

К Бригитте фон Вейнтлинг, вдове эсэсовского полковника, он с самого начала относился снисходительно, как к поклоннице его атлетического дарования.

Она заказывала себе в варьете всегда одно и то же место в первом ряду и приходила только на выход «два Николь два», а потом немедля исчезала.

Но однажды, стыдясь и волнуясь, она пришла в артистическую. По выражению лица Эльзы Зубов понял, что должен быть более чем любезен с этой дамой. Он так и вел себя с ней.

Через неделю, докладывая Эльзе о выполнении задания, он с такой обстоятельностью изложил все подробности, что она воскликнула негодуя:

— Ты забываешь, я все-таки девушка!

Зубов недоуменно пожал плечами:

— Я же тебе как старшему товарищу...

Тоненькая, миниатюрная Бригитта Вейнтлинг с тех пор, как она призналась ему, что тосковала в одиночестве после смерти мужа и, повинаясь какому-то чисто мистическому влечению, первый раз одна пошла в варьете, казалась Зубову просто смешным и любопытным созданием.

Ее покойный муж, полковник, обер-фюрер СС, был чиновником расового политического управления партии. Уже вдовцом он вознамерился жениться на Бригитте, не имея удовольствия знать ее лично, но получив от сотрудника управления справку о ее расовой безупречности. Родители настояли на браке дочери. К сожалению, солидный возраст и пошатнувшееся здоровье не дали полковнику возможности доблестно содействовать продолжению столь расово чистого рода.

Бригитта сказала Зубову, что встреча с ним — первый в ее жизни рискованный шаг.

Держала она себя с ним со смешной застенчивостью, но всем знакомым отважно объявила, что это ее дальний родственник, беспечный юноша, со странностями (поссорившись с семьей, стал акробатом), которому она намерена оказывать покровительство.

В ее обществе на лице Зубова всегда блуждала улыбка, которую Бригитта приписывала радости свидания с нею.

Зубов никак не мог отделаться от ощущения, что ему вдруг дали роль в пьесе иностранного автора. Но он справлялся с этой ролью, справлялся потому, что, оставаясь самим собой, со спокойным достоинством держался со знакомыми фрау Вейнтлинг. А его искреннее любопытство ко всему окружающему они воспринимали как налет провинциализма, как свидетельство некой интеллектуальной ограниченности, свойственной спортсменам.

Отто Скорцени, гигант, верзила, с лицом, иссеченным шрамами, тоже считал себя спортсменом. Он слыл в Третьей империи великим мастером по части тайных убийств и всегда действовал собственноручно.

Но в августе еще, под Ельней, эсэсовская дивизия «Дас Рейх» потеряла почти половину личного состава. А после поражения под Москвой Скорцени панически записал в своем дневнике: «Поскольку похоронить своих убитых в нас сквозь промерзшей земле было невозможно, мы сложили трупы у церкви. Просто страшно было смотреть. Мороз сковал их руки и ноги, принявшие в агонии самые невероятные положения. Чтобы придать мертвецам столь часто описываемое выражение умиротворенности и покоя, якобы присущее им, пришлось выламывать суставы. Глаза мертвецов остекленело уставились в серое небо. Взорвав заряд тола, мы положили в образовавшуюся яму трупы погибших за последние день-два».

Благоразумно придумав себе болезнь желчного пузыря, этот гигант рейха отправился в тыл на излечение.

Ганс Франк устроил прием в честь возвращающегося с фронта опасного гитлеровского любимца.

После выпивки, забыв, что он опасно болен, Скорцени решил изумить благоговеющих перед ним тыловиков мощью мускулатуры. И, пройдя в спортивный зал, стал демонстрировать свои таланты. Но каждый раз его взгляд натывался на снисходительно и лениво ухмыляющуюся физиономию Зубова.

Скорцени высоко подбрасывал обеими руками тяжелый пустотелый медный шар и потом ловил его. И вдруг кинул шар над головой Зубова и, отступив, крикнул:

— Вы! Берегитесь!

Зубов, не вынимая рук из карманов, чуть склонился и, приседая, мягко принял удар на шею. Сронив шар на руку, подбросил его и небрежно заметил:

— Детский мячик.

Скорцени яростно спросил:

— Вы кто?

Зубов невозмутимо ответил:

— Как видите, ваш поклонник.— И склонил голову так, будто снова готовился принять шар.

Скорцени несколько мгновений пребывал в нерешительности. Потом, обрадовавшись, объявил:

— Вот с такими бесстрашными, крепкими парнями мы похватим на свои плечи всю планету!

Бригитта была чрезвычайно польщена тем, что ее «кузен» произвел такое прекрасное впечатление на знаменитого Отто Скорцени. И Скорцени был в восторге от похвалы ему слов Зубова, когда на вопрос, почему он не на фронте, тот ответил, обаятельно улыбаясь:

— Как только вы меня пригласите, я с радостью составлю вам компанию.

Скорцени подарил Зубову свою фотографию с автографом, заметив, что она ему пригодится, в чем тот и не сомневался.

Вернувшись из Кракова в Варшаву, Бригитта вступила в деловую переписку с живущими в Берлине влиятельными родственниками покойного мужа. Речь шла о наследстве. Она изъявляла теперь готовность пойти на ряд уступок, если взамен будет оказано высокое покровительство ее предполагаемому супругу.

Бригитта вызывала у Зубова чувство какого-то жалостливого удивления. Он никогда не думал, что в этой среде могут быть люди столь несчастные, издерганные от постоянного ощущения страха перед чем-то неведомым. Она была суеверна до смешного, мнительна. Не могла уснуть без снотворного.

Часто беспричинно плакала. Вспоминать любила лишь свое детство.

Зубова раздражала ее навязчивость и то, что она тайно пользовалась наркотиками, к которым привыкла после тяжелой операции. У нее было красивое лицо со строгими и тонкими чертами, но, когда она говорила не о себе и о своих знакомых, а о каких-нибудь отвлеченных вопросах, она несла такую удручающую чушь, что лицо ее казалось ему глупым, как у красотки на обертке мыла. Он тяготился ею, жаловался Эльзе. Но та, хотя и с брезгливой усмешкой, приказывала ему не терять связь с Бригиттой, так как это давало возможность общаться с эсэсовскими кругами.

Зубов, вздыхая, покорялся, с огорчением замечая, что Эльза с каждым днем держится с ним все более официально, как с подчиненным, и глаза ее, когда она смотрит на него, теперь уже не теплеют, не светятся радостью, а остаются холодными.

Возможно, именно в связи с этим обстоятельством Зубов был так невнимателен к Ольге, буквально и равнодушно выполняя приказание Эльзы.

И когда Вайс вернулся в локаль, Зубов встал и заявил девушке с облегчением:

— Ну вот, пришел ваш кавалер, разрешите сдать вас ему в целости и сохранности.— И, небрежно кивнув Иоганну, удалился, считая, что выполнил все требующееся от него на сей раз.

Сообщение Центра об Ольге, переданное Эльзой, смутило Иоганна. Предположение о том, что гестаповцы вымучили у этой девушки согласие, теперь отпадало так же, как и версия мести за отца. И он готов был склониться к тому, что Ольга либо авантюристка, ловко набивающая себе цену у гитлеровцев, либо агентка, выполняющая в отношении него новую проверочную комбинацию, к которой мог иметь прямое касательство и Дитрих, тяготившийся своей тайной зависимостью от Вайса.

Иоганн решил нанести вместе с Ольгой визит баронессе в ее поместье. Если эта девица — авантюристка, то знакомство с баронессой польстит ей, и это в чем-нибудь да проявится.

Вайс полагал, что его абверовский мундир позволяет ему рассчитывать на благосклонность баронессы. Он считал ее хотя и вздорной, но неглупой старухой, привыкшей независимо, по-своему, судить о многом.

Иоганн, когда они приехали в поместье, попросил Ольгу побыть в машине и один вошел в дом.

Как он и предполагал, его мундир произвел на старуху должное впечатление. Забыв о том, что она, в сущности, ничего не сделала для служебной карьеры Вайса, баронесса уже готова была считать его визит выражением благодарности за буд-

то бы оказанное ему содействие и отнеслась к гостю более чем милостиво.

Иоганн, смущенно улыбаясь, сообщил, что приехал не один, а с военнопленной, дочерью русского полковника. Он покорнейше просит баронессу принять ее и побеседовать с ней. Впоследствии девушка эта может оказаться чрезвычайно полезной рейху...

— Ну, еще бы! — сказала ядовито баронесса. — Теперь, когда русские дали вам пинок под Москвой, вы предусмотрительно начинаете ухаживать за дочерьми их полковников.

Вайс в ответ лишь развел руками, давая понять, что он только исполнитель воли старших начальников.

— Зовите! — приказала баронесса. Она ретиво взялась выполнять роль гостеприимной хозяйки.

Высокопоставленная пленница произвела на нее наилучшее впечатление своей неприязненной, настороженной угрюмостью, которую баронесса посчитала выражением гордости.

Баронесса шепнула Ольге:

— Пусть ваш солдафон проваливает, если вы, конечно, не возражаете. А мы с вами придумаем что-нибудь такое, не очень скучное. — Оглянувшись на Вайса, сказала: — У вас, наверное, есть дела в городе? Считайте себя на некоторое время свободным.

Иоганн решил использовать оказавшееся в его распоряжении время, чтобы побывать в «штабе Вали». По пути он заехал на базовый склад трофейных кинофильмов и здесь узнал, что в его отсутствие майор Штейнглиц отобрал несколько коробок хроникальных фильмов, снятых в разное время на Челябинском тракторном заводе, ныне выпускающем танки. Теперь стало ясно, на что нацеливалась новая, особо засекреченная группа.

Доложив ротмистру Герду, что он заехал в штаб только для того, чтобы взять личные вещи, необходимые на время путешествия с агенткой, Вайс услышал от него, что Гвоздь, выполнив задание, благополучно вернулся, и проверкой установлено, что он действовал безукоризненно. И теперь его готовят к новому, более важному заданию.

Вайс заметил осторожно, наугад, что для подобного задания лучше бы подобрать тех, кто знаком с тракторным производством. Одно дело — взрывать эшелоны, мосты, а другое — крупнейшее в мире машиностроительное предприятие. Герд парировал, прекращая разговор:

— Ничего, обучим.

За те два-три часа, которыми располагал Вайс, он едва ли мог добыть какую-либо дополнительную информацию. А ведь необходимо было еще встретиться с Гвоздем. И действовать нужно очень осторожно.

Рассчитывая на то, что сейчас время обеда и в цейхгаузе никого нет, Иоганн решил вызвать туда Гвоздя. Свою машину он поставил рядом с цейхгаузом. Пошел в пустую канцелярию и напечатал на листке бумаги: «Курсанту Гвоздю немедленно явиться в вещевой склад».

Старшина лагеря обедал отдельно, за перегородкой, и обычно приходил в столовую последним. Вайс положил возле его прибора листок с вызовом, взял ключ в проходной и направился в цейхгауз.

Почти вслед за ним вошел Гвоздь, остановился. После уличного света он плохо видел в сумерках помещения.

Вайс позвал его в тесный проход между штабелями обмундирования.

— Здравсте!— Гвоздь протянул руку.

— Ну? Докладывай! Задание выполнил?

— В точности.

Докладывал Гвоздь скупо:

— Ну, полагалось прыгать первым. Ну, подошел к люку, швырнул аккуратно в хвостовой отсек гранату и выбросился. При взрыве самолета ударной волной смяло купол парашюта. Стал падать камнем. Думал, насмерть. Обошлось. Почти у самой земли вздулся парашют — приземлился как на пружинке. Как по плану было намечено, так и получилось. Приземлился в намеченной точке. Ну, ваши чекисты меня и взяли.

— То есть как это «взяли»?

— Ну, в машину, в «газик». Отвезли сначала в столовую, потом заметили, что я ногу свихнул, — в медпункт. Я ведь как ошалелый был, ничего не чувствовал. Застеснялся перед своими до полной потери соображения. Ну, потом что? Инструктировали.

Начал я в эфир выходить в положенное время, а передавал то, что мне давали. Потом специально ради меня диверсию организовали: взорвали на запасном пути порожняк. Все это я «штабу Вали» доложил как мой личный подвиг. Так вот и работал.

В заключение сообщил: группа накрылась. Получил указание выходить. Ну, перекинулся через линию фронта. Теперь снова здесь налицеству. — Задумался, добавил: — Вам сердечный привет от товарища Барышева. — Оживился: — Три ипалы в петлице, а такой негордый. «Мы, — говорит, — не можем приказывать, чтобы вы обратно к немцам возвращались...» — «То есть как это не можете? — Я даже встревожился: — Значит, я не солдат, да? Личность без прав и без звания?» Объяснил мне. Ну, я понял. Нужно с моей стороны добровольное согласие, вроде я как активный общественник, что ли. Теперь с Барышевым договорился, что в случае чего честь по чести: похоронку семье пришлют как о павшем бойце.

— Почему через тайник не известили о прибытии?

— Не успел. Сидел в кутузке прифронтовой зоны абвер-группы, пока они со штабом о моей личности сверялись. Как пришло подтверждение, сразу перевели в санчасть: когда фронт переходил, попал под обстрел, ногу при взрыве снаряда землей зашибло. Из санчасти привезли сюда. А я все маленько хромаю. Капитан Дитрих узнал, очень участливо отнесся. Говорит, надо бы к хирургу обратиться. Но я чего-то сомневаюсь. Зачем к нам в школу двух одноногих зачислили? Потом одного списали: значит, не захотел. А второй — уж так его Дитрих опекал — по другой линии оказался неподходящим: припадошный от контузии. Вдруг ни с того ни с сего упал, начало его кривить. Очень капитан Дитрих расстроился. Вот я теперь и думаю: почему он меня уговаривает здоровьем не брезговать, ногу лечить?

Вайс сказал, что Дитриху нужен инвалид для организации диверсии.

Гвоздь, подумав, объявил:

— Говорят, немцы мастаки резать. И ежели под новокаином, как зубы дерут, — ничего, стерпим ради дела, раз им вот так вот инвалид требуется.

— Да ты что?

— Ничего, — сказал Гвоздь. — Просто прикидываю. — Потер ладонью колено. — Болит ушиб, все равно нога плохо гнется.

— Я не могу тебе такое разрешить.

Гвоздь поднял лицо, посмотрел испытующе.

— А мне товарищ Барышев прямо сказал: «Желаешь добровольно — пожалуйста. А приказывать такое нельзя». Так вот, без вашего приказа. На основе одной личной инициативы. — Добавил насмешливо: — И капитану Дитриху будет очень приятно. Зачем же его обижать, если он за такую любезность меня в особую группу как главного втиснет?

Иоганн попросил взволнованно:

— Ты меня прости, пожалуйста, Тихон Лукич, что я тебя так холодно встретил.

— А что? — удивился Гвоздь. — Правильно! В тайник не доложился. Допустил нарушение. Все точно. — Подмигнул: — Я сразу понял, как ты мне велел докладывать, какой серьезный разговор будет. Дисциплина в нашем деле — первая вещь. — Сказал успокаивающе: — А насчет ноги моей вы не беспокойтесь. Может, еще сохраним на память о детстве. Если, конечно, она донимать меня не будет, а то вроде оглобли торчит, в колене не гнется. Такая штука тоже вроде бы ни к чему.

— Пока я не вернусь, — строго приказал Вайс, — никаких госпиталей.

— Если вы тут главный начальник — пожалуйста, — ук-

лончиво сказал Гвоздь. Спросил лукаво: — Так, может, теперь все ж таки поздороваемся?

Иоганн обнял Гвоздя, прошептал:

— Понимаешь, я так рад тебя видеть!

— Ну, еще бы,— сказал Гвоздь.— Все один и один, а теперь нас здесь уже двое советских, значит, сила.— И стал рассказывать о Москве.

43

Белый, чистый снег. Светлое, ясное, глубокое, как в летний день, небо. Сосны с розоватыми стволами и нежно-зеленой хвоей на концах разлапистых ветвей. Студеный, словно ключевая вода, воздух, и на скорлупе снежного наста солнечные цветные искры.

Иоганн вел машину на большой скорости не только потому, что должен был спешить в поместье баронессы к своей подопечной,— стремительное движение отвечало его душевному состоянию. Встреча с Гвоздем глубоко взволновала его.

Тихон Лукич, после того как Родина вернула себе его, стал совсем иным. Изменилось выражение лица, спокойной уверенностью веяло от его плечистой фигуры, появился живой блеск в мертвенно-тусклых прежде глазах. И эта перемена в Гвозде была столь разительной, что даже тревожила Иоганна: не вызовет ли она подозрения у немцев?

Иоганн видел перед собой лицо Тихона Лукича, глаза, озаренные внутренним светом счастья; душу его тоже наполняло счастье: он исполнил свой чекистский долг — вернул в жизнь утратившего было себя человека.

Он готов был улыбаться комьям снега, что лежали на ветвях сосен, пронизанные острой хвоей и поэтому похожие на бллых ежей, вскарабкавшихся на деревья. И ему хотелось дотронуться до них ладонью, погладить их.

Ему хотелось улыбаться деревьям — сородичам тех, какие были и у него дома, потрогать их шелушащуюся кору, древесную сухую кожу, чисто и терпко пахнущую смолой.

Все вокруг радовало Иоганна. Он опустил боковое стекло машины, вдыхал морозный воздух. И вместе с этим чудесным воздухом пришли воспоминания...

Он вспомнил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс», те дни, когда папанинцы оказались на обломке льдины одни в океане и их жизнь подвергалась смертельной опасности. Саша Белов, не отрываясь, сидел тогда у своей самодельной любительской радиации, блуждая в эфире, слушал взволнованные запросы почти на всех языках мира об отважных советских полярниках. Весь мир был объят тревогой за судьбу четырех советских людей, бесстрашно продол-

жающих работать на хрупкой, с каждым часом уменьшающейся под ними льдине.

И в этой тревоге людей планеты было такое прекрасное общечеловеческое единодушие, что казалось невозможным, чтобы они когда-нибудь позволили вовлечь себя в побоище войны. Думалось, что отныне все станут лучше, будут дорожить жизнью каждого человека.

В то время ведомство Геббельса запретило не только сообщать в печати о советской полярной экспедиции, но даже упоминать о Северном полюсе. И поэтому беспокойство немецких радиолюбителей, их бесчисленные запросы о том, успели ли снять папанинцев с разламывающейся льдины, были особенно трогательны и волнующи: ведь тайная полиция могла расправиться с каждым из них.

Вспомнил Иоганн и фашистское судилище, прогремевший на весь мир гордый, обличительный голос коммунизма — голос Георгия Димитрова. Миллионы советской молодежи готовы были так же, как Димитров, вступить в схватку с фашизмом и, если понадобится, отдать свою жизнь, чтобы спасти человечество от коричневой чумы.

И Саша Белов тогда видел себя в мечтах одним из таких борцов за освобождение немецкого народа от тирании фашизма.

Стать разведчиком... Деятельность разведчика представлялась ему сплошным подвигом. Он и предполагать не мог, что это главным образом бесконечно терпеливая, осторожная работа, успешность которой зависит от тысячи повседневных мелочей. И что эти же мелочи могут привести его к гибели. Ведь внимание врага способна привлечь и манера завязывания шнурков на ботинках и привычка машинально оказывать окружающим бескорыстные услуги. Никогда разведчик не должен забывать, что корыстолюбие, жажда личной наживы — лучшее и наиболее благонадежное свидетельство принадлежности к тому обществу, где каждый — за себя и никто — за всех.

Понадобилось время и время, чтобы понять во всей полноте, насколько твоя подлинная сущность, сущность советского человека, должна быть скрыта от окружающих, сведена до сурово ограниченного минимума.

Ничтожнейшее отклонение грозит разведчику гибелью. Чтобы действовать в стане врага, легенда разведчика должна обладать безукоризненной жизненностью, естественной подлинностью каждой скрупулезной детали. Малейшая уличенная подделка карается здесь смертью.

Вот почему Вайс не позволил себе долго предаваться радости и хранить на ладони тепло руки Тихона Лукича.

Нужно было думать об Ольге. Кто она, почему выдает себя за другую, что задумала, какая опасность таится в ней?

Он должен все это выяснить, и выяснить с помощью взбалмошной старухи, сделать старуху баронессу своей разведчицей. Но чтобы баронесса стала послушным инструментом в его руках, она должна довериться Вайсу, как своему достойному соотечественнику. Мало того — поддержкой баронессы можно заручиться только в том случае, если удастся внушить, что все это принесет и ей лично какую-то реальную пользу, прибыль. Она не из тех, кто действует, побуждаемый одним только желанием оказать бескорыстную услугу кому-либо, пусть даже рейху.

Иоганн правильно угадал, что, гостеприимно принимая по просьбе абверовца русскую военнопленную, баронесса думала не столько об услуге немецкой разведке, сколько о собственной выгоде, о том, что дочь советского полковника сможет пригодиться ей самой. Кто знает, как все еще повернется... Баронесса была очень напугана поражением под Москвой.

Из этих же соображений она покровительствовала двум величественным старухам полькам, отпрыскам древнейшего княжеского рода, брошенным своими уехавшими в Англию родственниками.

Но кроме будущего политического капитала баронесса усердно и деловито заботилась о своей материальной обеспеченности в настоящем. И в этом ей оказывал максимальное, хотя и не бескорыстное, содействие имперский советник доктор Иоахим фон Клюге.

Уже в пожилом возрасте граф фон Клюге женился на знаменитой девице-пилоте, прельстившись не столько славой «воздушной валькирии рейха», сколько мощными рельефами ее фигуры. Девица эта, став женой имперского советника, быстро, с помощью своих нацистских поклонников, состряпала против мужа судебное обвинение в безнравственности и, разведясь на этом основании, отторгла большую часть его имущества. Но, испытывая некоторую жалость к бывшему своему супругу, разоренному ею, она в помощь тех же самых нацистских друзей устроила его на должность партийного чиновника. Должность эта не очень хорошо оплачивалась, зато открывала перспективы для обогащения весьма своеобразными способами. У советника хватило ума воспользоваться ими, хотя много ума для этого и не требовалось.

Советник так излагал баронессе суть своей «работы».

— Наша задача — обеспечить продовольствием население оккупированных территорий в таком объеме, чтобы не утрачивать чувства реальности. Человечество повелевает желудки, а не головы. Правильно организовать недостаток продовольствия — это больше, чем выигранное сражение. Целые армии полицейских не смогут подавить сопротивление столь успешно, как делает это голод, лишаящий людей физических и моральных сил для сопротивления.

Армия-победительница способна грубыми, примитивными способами изъять лишь национальные сокровища побежденных государств. А ведь на руках у населения остаются огромные ценности, доступ к которым военными средствами исключен. И здесь может решать только экономический и финансовый гений нации-победительницы.

Чтобы правильно, равномерно и справедливо распределять ограниченные запасы продовольствия между всеми слоями населения оккупированных стран, существует карточная система. Ведают ею власти, выдвинутые из состава данной национальности. Но так как типографии, печатающие продуктовые карточки, находятся в нашем ведении, мы имеем возможность на законном основании получать по таким карточкам значительное количество выделенного данной стране продовольствия и возвращать его населению уже посредством так называемого черного рынка. Таким образом, мы изымаем припрятанные людьми ценности, не применяя насильственных средств, на основе полной добровольности.

В некоторых промышленных районах Франции детская смертность возросла в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем. Подобные же явления наблюдаются и в Бельгии. Дети мрут от недостаточного питания. Поэтому цены на продукты на черном рынке баснословны.

Однако, когда несчастьем своего народа пользуются местные спекулянты, мы их беспощадно расстреливаем, чтобы обрести симпатии голодающего населения.

Разумеется, репрессиям подвергаются лишь уроженцы здешних мест,— снова повторил советник. И это было правдой.

Баронессе, например, советник за определенные проценты помогал сбывать на черном рынке все, что давало ее поместье, и одновременно добился для нее значительного снижения обязательных поставок на армию. Он также помогал ей скупать различного рода художественные ценности, шуточно называя их «приданым». Эти его слова могли свидетельствовать о том, что если размеры приданого будут значительны, то советник сочтет для себя честью просить руки престарелой невесты.

Баронесса познакомила Вайса со своим предполагаемым женихом.

У коротконового, тучного, плешивого советника были такие округлые щеки, что создавалось впечатление будто он беспрестанно дует на горячее. Это был весельчак, жизнелюб, любитель фривольных разговоров.

Когда баронесса оставила мужчин вдвоем, советник попытался осторожно выяснить, в каких отношениях находится Вайс со своей спутницей, этой русской девицей, которой баронесса уделяет так много внимания.

Вайс коротко ответил, что он выполняет особо щепетильное задание высшего командования и успешность этого задания в известной мере зависит от баронессы.

Советник, почувствовав сдержанную холодность в словах Вайса, перевел разговор на другой предмет.

Посасывая большую черную сигару, которая служила лекарством, поскольку он страдал астмой, граф словоохотливо пустился в пространные рассуждения на общие темы.

— Завоевать страну — это только начало покорения. Для второй, решающей стадии необходима не храбрость, а доблесть государственно мыслящего ума. Так, руководствуясь гением наших деловых кругов, мы, имперские чиновники, превратили французские, чехословацкие, бельгийские, голландские заводы не только в поставщиков вооружения для вермахта. Мы реконструировали их производственные мощности таким образом, что теперь каждый завод выпускает только определенные детали, отправляемые ватем на сборку в Германию. Мы не оставили на месте оборудования, применявшегося ранее для выработки завершенной продукции, а разбросали его по всей Европе, специализируя предприятия на изготовлении только какой-либо одной детали, одной части механизма. И если эти предприятия окажутся отрезанными от Германии, их постигнет экономическая катастрофа.

Такое расчленение экономических комплексов равно тому, как если бы разобрать механизм вот этих моих отличных швейцарских часов, — он постучал ногтем по циферблату, — разложить детали в отдельные коробочки, подарить коробочки своим знакомым, а потом спрашивать у них, который теперь час.

Подобными же экономическими проделками некогда мы, юные кадеты, занимались с девицами легкого поведения. Разрывали банкнот на части, и, чтобы собрать его, девица вынуждена была оказать внимание не одному, а всем, у кого оказались кусочки банкнота. Такой способ мы и применили для европейской экономики. — Усмехнувшись, советник добавил снисходительно: — Я прибег к этому примеру, чтобы вы поняли сущность наших усилий. И, уверяю вас, все это больше держит в плену экономику Европы, чем присутствие там наших оккупационных частей.

Вайс сказал осторожно:

— Мне кажется, несмотря на всю вашу дальновидность, в ваших словах проскальзывает некоторая неуверенность.

Советник тут же парировал:

— А вы полагаете, мы, старшее поколение немцев, пренебрегаем печальным для нас опытом первой мировой войны? Ошибаетесь, милейший. Вы, молодежь, слишком самонадеянны и невосприимчивы к опыту истории. Для вас, например, концлагеря — лишь средство истребления низших рас, а бо-

лее миллиона иностранных рабочих — только рабы для производства вооружения. Для нас же, старшего поколения, это нечто большее.

— Что же именно? — спросил Вайс.

Граф, опуская тугие веки на выпуклые глаза, откинулся на мягкую спинку кресла и медленно произнес сонным, равнодушным тоном:

— Для нас, политиков, это гарантийный человекофонд, который мы всегда можем пустить в оборот.

— Каким образом?

— В благоразумных условиях, благоразумные немцы удержат неблагоразумных от истребления заложников. Только всего.

— А почему, смею спросить, лично вас эта проблема так занимает?

Советник ответил с самодовольной улыбкой:

— А потому, что я являюсь доверенным лицом некоторых высокопоставленных особ империи и, находясь на территории генерал-губернаторства по поручению свыше, интересуюсь, кто из заключенных в концлагерях представляет собой ценность, за которую можно получить от заинтересованной стороны определенные материальные ценности. И полагаю, что вы, как сотрудник абвера, могли бы оказать мне кое-какие услуги в этом направлении. Ведь вы занимаетесь чем-то подобным, но в узких границах своих возможностей. Капитан фон Дитрих, к которому я позволил себе обратиться, аттестовал мне вас с лучшей стороны.

Вайс склонил голову и объявил о своей готовности помочь советнику всем, что в его силах.

— Мне приходится испытывать трудности с лагерной администрацией. Я вынужден выступать как представитель Красного Креста, чтобы расположить к себе некоторых заключенных, вызвать их на откровенность. Тем из них, кто представляет особую ценность, я пытаюсь обеспечить рацион, который продлил бы их существование. Но представители службы гестапо, следующие нашим догмам, слишком неуклонно и негибко, бесцеремонно умерщвляют доверившийся мне контингент. Мне думается, что такая поспешность объясняется просто заинтересованностью в тех скромных посылках, которые я, как щедрый ангел, вручаю отдельным заключенным.

Строго сказал Вайсу:

— Для вас, молодых людей, погромы и уничтожение евреев в Германии были только естественным выражением расовых инстинктов. А мы, экономисты, подходили к этому фактору с позиций не чувства, а разума. Рейх получил миллиарды золотых марок неарийской собственности, что превосходило займы, которые предоставляли нам США и Великобритания. — Хлопнув себя по толстому колену, советник зая-

вил: — Вот, мой милый, что такое чистый разум в его абсолютном выражении! — Сказал ехидно: — Вы, молодежь, в концентрационных лагерях закаляете свою нервную систему, упражняясь в стрельбе по полутрупам, а мы, серьезные немцы, вынуждены копаться в этих полутрупах: надо же добыть рейху золото и валюту.

Вайс, чтобы распалить советника, заметил:

— Господин граф, вы имеете в виду золотые зубы, мосты и коронки мертвецов? Так уверяю вас, для этого поставлены специальные люди с клещами.

Советник не обиделся или не счел нужным обидеться. Его даже ничуть не задели слова Вайса.

Он пояснил свою мысль:

— Я имею в виду самих заключенных, вернее, некоторых из них. Тех, чьи родственники успели не только эмигрировать на запад, но и захватить с собой немалые средства или уже располагали значительными вкладами в банках США, Англии, Швейцарии. Моя идея, доложенная рейхсфюреру Гиммлеру, заключается в том, чтобы стать выше расовых предрассудков и предложить тем, кто сейчас живет в роскоши, пользуясь гостеприимством западных держав, позаботиться о своих несчастных родственниках и перевести соответствующие суммы на счета наших контрагентов.

Вайс спросил деловито:

— Словом, вы предлагаете торговать заключенными?

Советник брезгливо поморщился.

— На языке деловых людей это звучит иначе. Скажем, возмещение затрат на содержание лиц, не занятых производительным трудом, вследствие необходимости их перевоспитания в специфических условиях. — Пытливо глядя на Вайса жабьими увлажненными глазами, советник напомнил: — Капитан Дитрих рекомендовал мне вас после того, как я навел некоторые справки. Вы, оказывается, весьма осведомлены обо всех тонкостях лагерного режима и в качестве помощника капитана Дитриха посетили многие концлагеря. В силу этого я предлагаю — не безвозмездно, естественно, а в порядке чисто делового соглашения, — чтобы вы использовали вашу агентуру в лагерях для выявления лиц, имеющих материально обеспеченных родственников за границей.

— Я полагаю, — солидно сказал Вайс, — об этом вам следовало сообщить нашему командованию, и, когда будет соответствующий приказ, наша агентура, безусловно, такой приказ выполнит.

Советник снова поморщился.

— Поймите, — сказал он несколько раздраженно, — это лично моя идея. Я поделился ею с некоторыми высокопоставленными персонами в имперском руководстве, и они проявили заинтересованность. Но если о намечаемой операции бу-

дет разглашено в любой форме, даже в форме секретного приказа, другие могут также заинтересоваться ею, и тогда, как бы ни была велика полученная сумма, она уменьшится соответственно числу заинтересованных лиц и станет уже не столь значительной.

— Следовательно, эта «операция» носит чисто деловой, коммерческий характер, связанный с интересами определенного круга людей?

— Иначе, — с достоинством заявил советник, — наше государство могли бы обвинить, как вы сами только что выразились, в торговле людьми. А это, мой друг, возврат к черным временам средневековья. Кроме того, вы должны запомнить, что операция эта носит гуманный характер: вернем детям отцов и матерей или детей — матерям и отцам. Кстати, не забудьте внимательно обследовать детские лагеря. И обратите внимание на следующее: мы располагаем известным числом фотографий детей, которых разыскивают родители, обладающие значительными средствами. Пребывание в лагерях, насколько я понял, накладывает на внешность их маленьких обитателей определенный отпечаток, и некоторые черты сходства с фотографическими портретами утрачиваются. Учтите это обстоятельство. Кроме того, детская психика и память в лагерных условиях менее устойчивы, чем у взрослых. Поэтому, если какой-либо ребенок окажется похож на фотографию, но показания этого ребенка не совпадут со сведениями о его прошлом, следует настолько твердо внушить ему эти сведения, чтобы в момент вручения ребенка родителям у тех сразу же не возникло сомнения.

Заметив что-то такое в глазах Вайса, что ему не совсем понравилось, советник добавил строго:

— Считаю необходимым напомнить вам, что лица, заинтересованные в этой операции, располагают безграничными возможностями устранить любого, кто ответит нескромностью на то доверие, какое, например, я вам сейчас оказал.

И тут же, достав из бумажника чистый бланк с печатью, на котором стояла подпись, показал его Вайсу.

— Если мы найдем общий язык, — сказал советник, — то в этот уголок будет наклеена ваша фотография. И, допустим, звание оберштурмфюрера вам обеспечено, что равно оберлейтенанту. — Спросил: — Вам, очевидно, известен строжайший приказ фюрера о присвоении очередных офицерских званий только фронтовикам? — Твердо заверил: — Все это будет оформлено самым законным порядком.

Вайс встал.

— Благодарю вас, господин имперский советник, за доверие! Рад служить вам.

— А вы отличный парень, господин оберлейтенант Вайс, — похлопал его по плечу советник. — Капитан Дитрих

совершенно точно охарактеризовал вас. Вы человек, который не запрашивает больше, чем он стоит.

Хотя эта похвала и имела двусмысленный характер, Иоганн предпочел в данных условиях посчитать ее высшей оценкой своих достоинств и еще раз благодарно улыбнулся советнику.

Присутствие жениха не наложило отпечатка ни на внешность, ни на поведение баронессы.

Она не нашла нужным прибегнуть к спасительным средствам косметики: запудрить морщины, наругать увядшие, сухие щеки. И одета она была, как всегда, небрежно. Столь же неизменным оставалось выражение ее лица — суровым и язвительным.

Об Ольге она сказала недовольным тоном:

— Эта девица ведет себя так, будто оказывает мне честь своим присутствием. Еле отвечает на вопросы. Сидит, уставившись в одну точку. Я предложила ей осмотреть замок, она отказалась. Я ознакомила ее с моей родословной. Она дерзко заявила, что в России родословные книги ценятся только животноводами для выращивания племенного скота. Я не для того была так терпелива с этой русской, чтобы мои старания оказались напрасными.

— Ваши заслуги будут оценены абвером, — напомнил Вайс.

— Ну что может для меня сделать ваш абвер! — пренебрежительно бросила баронесса. — Вот если бы мне предоставили другое, более доходное поместье. Ведь я вынуждена сама заботиться о себе. — И приказала Вайсу: — Ступайте к своей подопечной. Она в гостиной.

При звуке открываемой двери девушка повернула в эту сторону лицо и, не мигая, как-то странно глянула куда-то мимо Вайса. Взгляд ее не выражал ничего, кроме ожидания. Она спросила:

— Ну?

— Что с вами?

— Ах, это вы! — И сказала она это так, словно не видела, кто вошел, а узнала Вайса только после того, как он обратился к ней.

Вайс предложил прогуляться по парку. Ольга решительно отказалась.

— Я очень прошу, — подчеркнуто настойчиво повторил свою просьбу Вайс.

— А если я все-таки не соглашусь, вы меня заставите?

— Да, я буду вынужден. Мне необходимо поговорить с вами.

В вестибюле он нашел ее пальто и подал ей. Спускаясь по

лестнице, она держалась за перила. Вайс хотел вежливо уступить ей дорогу, но она остановилась и стояла до тех пор, пока он не пошел впереди.

Она неуверенно шагала по расчищенной от талого снега аллее, не глядя на землю, ступая по лужам так, будто нарочно хотела промочить ноги. На лице ее было странное, горестно-озабоченное, сосредоточенное выражение.

Когда Вайс свернул на боковую дорожку, девушка, как бы машинально, продолжала идти по аллее. Вайс окликнул ее. Она пошла на его голос, продираясь сквозь кустарник.

Вайс остановился и, когда девушка приблизилась, резко махнул рукой перед ее лицом. Она даже не отшатнулась, не зажмурилась, только веки чуть дрогнули.

Вайс знал, что от голода на какое-то время теряли зрение не только многие заключенные концлагерей, но также и те, кого гестапо подвергало специфическим способам допросов. Такие периоды слепоты наступали внезапно.

Девушка, очевидно, не видя Вайса или, возможно, едва различая его, словно сквозь туман, должно быть, почувствовала на себе внимательный взгляд. Она поспешно отвернулась.

— Нина! — решительно сказал Иоганн и, взяв ее за плечи, принудил повернуть к нему лицо. — Нина, — повторил он, — я все о вас знаю!

Девушка сжалась всем телом и вдруг, вырвавшись из рук Вайса, спотыкаясь, побежала по дорожке.

Иоганн догнал ее.

— Ну, — приказал он, — не делайте глупостей!

Он тщательно продумал информацию Центра об этой «Ольге», и вывод, к которому он сейчас пришел, показался ему единственно правильным.

Он заговорил с ней спокойно, уверенно.

— Ольга эвакуировалась вместе с институтом в Свердловск. А вы — Нина. Ваш отец жив, и никто его не репрессировал. Единственное, что меня сейчас интересует: с какой целью вы выдали себя за Ольгу? И хорошо, если вы скажете правду. От этого будет зависеть для нас с вами очень многое.

— А если я ничего не скажу?

— Как вам угодно, — сказал Вайс. — В таком случае можете оставаться той, за которую вы себя выдаете.

— А кто я сейчас?

— Насколько я информирован, немецкая агентка. Изменница Родины. Так?

— Слушайте, — тихо произнесла она, — вы хотите мне внушить, что вы не такой немец, как все?

— Допустим...

— А может быть, вы просто...

— Вы не гадайте, — посоветовал Вайс.

— Хорошо,— сказала девушка и добавила с горечью: — В сущности, мне сейчас уже нечего терять.

— Вот именно, и если командование узнает, что вы почти ничего не видите, вас все равно швырнут за бесполезностью обратно в лагерь.— И Вайс добавил беспощадно: — Кому нужны слепые!

Вот что Иоганн услышал от девушки.

Да, действительно, ее отец взял в свою семью Ольгу, дочь репрессированного полковника. Потом, когда началась война, Нина стала санинструктором в части, где комиссаром был ее отец. Попала в плен. Какой-то предатель донес немцам, что она вовсе не дочь комиссара. Решил он так потому, что отец держал себя с ней на фронте строго, совсем не по-родственному. К тому же предатель этот знал от кого-то, что комиссар взял в свою семью дочь репрессированного полковника. Вот он и подумал, что Нина не дочь комиссара, а дочь репрессированного. Так он и донес немцам, добавив, что отец девушки — бывший начальник штаба, крупный военный деятель.

На допросах Нина сперва все это отрицала. А потом товарищи посоветовали ей не сопротивляться гестаповцам, назваться той, за кого ее принимали,— Ольгой — и подписать все требуемые бумаги.

В разведывательную школу она пошла, надеясь, как только выбросят в тыл, воспользовавшись полученным оружием, уничтожить своего напарника и бежать.

И когда девушка, закончив рассказ, сказала, что теперь Вайс может передать ее в гестапо или расправиться с ней по своему усмотрению, он ответил не сразу.

Иоганн колебался. Поверит ли ему Нина? Сумеет ли, когда узнает, кто он, преодолеть радость, которую — Иоганн знал это по своему опыту — иногда труднее скрывать, чем самое горькое разочарование?

Он сказал с деланным равнодушием:

— Я так и думал, что вы притворщица. Но меня все это не касается. Мне поручено сопровождать вас на время вашего отпуска. И все. Запомните: этого разговора между нами не было. Все остается по-прежнему. Вы Ольга. Что касается вашего зрения, не беспокойтесь — найдем врача и используем оставшиеся дни на лечение.

— Вы сами не тот, за кого себя выдаете! — сказала торжествующе девушка.

— Вы что же, считаете, среди нас, немцев, нет порядочных людей? — И проямил: — И, кроме того, вы такая хорошенькая, что я, естественно, могу испытывать к вам особые, нежные чувства.

— Чувства! — презрительно сказала девушка. — Вовсе вы не такой.

— А какой?

— А какой, вы хотите, чтобы я была?

Вайс положил ей руку на плечо, попросил:

— Пожалуйста, постарайтесь оставаться такой, какой вы были. Сможете?

Девушка кивнула.

— И постарайтесь быть любезной с баронессой. В сущности, старуха не такая уж ведьма. Ее гостеприимство вам еще понадобится.

— А больше вы мне сейчас ничего сказать не хотите?

— Хочу, но не могу.

Девушка расплакалась.

— Ну вот,— сердито сказал Вайс.— Куда же вы идёте?

— Ну, немножко-то можно? — попросила девушка.— Пожалуйста!

— Ничего мы не можем,— сказал Вайс.— Ничего не можем себе позволять. Понятно? — Он вытер ей лицо своим платком. Приказал: — Улыбнитесь! Ну, не так жалобно. Нахально улыбнитесь. Так, как вы это умели делать. Ну вот, пожалуйста, ничего, сойdet.

— Один только вопрос,— сказала девушка,— только один...

— Валийте. Только один.

— Кино «Ударник»?

— На улице Серафимовича,— смело ответил Вайс.

— Вы знаете,— сказала она, сжимая его руку,— я сейчас такая счастливая!...

Вайс сердито перебил ее:

— Ну и все! Все!

Когда они вернулись в дом, девушка сказала баронессе любезно:

— У вас отличная усадьба, только жаль, что запущенная. Аллеи не очищены от снега, я даже промочила ноги.— И, колебавшись, добавила: — Жаль, конечно, что я не все хорошо разглядела. У меня что-то с глазами.

После того как баронесса увела ее наверх переодеваться, Вайс попросил советника вызвать окулиста. Он сказал, что возместит все затраты, связанные с пребыванием агентки абвера в доме баронессы, так как на это ему отпущены специальные средства.

Вернувшись, баронесса спросила:

— Отчего это у нее?

Вайс объяснил:

— Как обычно: от отсутствия в лагерном рационе витаминов.

Советник заметил негодуя:

— Какая, в сущности, наглость со стороны наших противников вынуждать нас кормить военнопленных, когда эту обязанность следовало возложить на воюющие с нами державы!

Не задумываясь, Вайс ответил;

— С целью нанесения ущерба экономике противника мы в свою очередь возложили на него обязанность кормить немцев-военнопленных.

— У вас острый ум,— осторожно усмехнулся советник.

Вайс сделал вид, что не понял иронии. Обращаясь к баронессе, сказал:

— Дочь советского полковника восхищена вашим гостеприимством и просила передать, что у нее в роду все мужчины были военные, поэтому ваша родословная вызывает ее восхищение. И она просит извинить ее неуместные шутки.

— Да, тут вам звонил герр Лансдорф,— не без уважения в голосе сообщил советник.— Я заверил его, что с вашей подопечной все в порядке. Воспользовавшись случаем, я поговорил с ним об интересующем меня деле. Он просил передать, что не возражает, если вы некоторое время будете оказывать мне содействие.— Подмигнул.— Как видите, официальные и осведомленные лица не отказывают мне в своей поддержке.

— Я заранее был уверен в этом,— почтительно поклонился Вайс.

Отправившись на машине за врачом, Иоганн заехал к Эльзе и узнал дополнительные данные, сообщенные Центром о девушке. Они полностью совпали с тем, что она ему рассказывала. Совпали и внешние приметы Нины.

Центр рекомендовал Вайсу прощупать бывшего работника артели «Часы, печати, оптика» гравера Бабашкина, изготавливающего в «штабе Вали» фальшивые документы для агентов.

Письмо дочери Бабашкина к отцу будет передано Вайсу в ближайшее время.

Врач, осмотрев Ольгу, сказал, что при интенсивном лечении и хорошем питании ее зрение может быть восстановлено в течение двух недель.

И хотя врач был из армейских, он охотно принял от Вайса гонорар и поэтому заменил немецкие медикаменты швейцарскими — более дорогими и эффективными.

— Но главное,— сказал он,— больной необходимо не столько лекарство, сколько питание и покой.

Слепота русской девушки вызвала сочувствие баронессы. Вздбалмошная старуха вдруг ударилась в сентиментальность. Ей уже хотелось, чтобы ее гостя не перебарывала свою беспомощность, а покорно отдавалась ей. Это позволило бы баронессе сострадать ей, испытывать при этом приятное чувство жалости и показывать себя перед советником с неведомой ему, очевидно, до сих пор стороны.

Баронесса заявила:

— Ольга останется у меня, сколько бы времени ни понадобилось на ее излечение.

Она предалась трогательным воспоминаниям. Рассказала, как однажды в детстве, заливаясь слезами, спасла новорожденного котенка, которого дворецкому приказали утопить.

Почти такую же приятную чувствительность пробудила Ольга и у советника.

За ужином он красноречиво рассуждал о долге христианина, цитировал библию, и глаза его увлажнились, когда он следил за неловкими движениями девушки. Ее слепота казалась им обоим чем-то красивым, трогательным, что, по традиции, должно вызывать сострадание.

Оставив у себя Ольгу, баронесса, естественно, предложила и Вайсу погостить у нее.

Ей очень понравилась роль великодушной покровительницы слепой девушки.

Утром Вайс заметил, что она как-то подозрительно и настороженно поглядывает на него. С бесцеремонной откровенностью, отведя его в сторону, баронесса решительно предупредила, что не потерпит у себя в доме никаких посягательств на честь своей гостьи.

День тянулся томительно долго.

Ужинали при свечах в огромной, плохо отапливаемой столовой, где было сыро, как в погребе. Стены с содранными гобеленами, с панелями из резного дуба и высокие, стрельчатые окна с гербами на витражах придавали ей вид заброшенного храма.

Ужин был довольно скудный.

Баронесса в утешение напомнила советнику, что фюрер вегетарианец: не курит и не пьет вина и рекомендует всем капустные котлеты и минеральную водичку.

Советник взмолился:

— Моя жизнь слишком незначительна для того, чтобы я пытался продлить ее ценой подобных лишений,— и решительно протянул руку к графину с вином.

Ольгу баронесса посадила рядом с собой. Нарезала ей мяса. Уговаривала есть побольше.

Наблюдая за девушкой, Вайс заметил, как удивительно она преобразилась. Лицо ее стало умиротворенным, она улыбалась. Иоганн опасался этого счастливого выражения, но сейчас оно не представляло опасности: его можно было приписать благодарности за умиротворительное гостеприимство и заботу.

Советник, все время энергично наполнявший свой бокал, пришел в бодрое настроение и, склоняясь к Иоганну, рассказал ему:

— В тысяча девятьсот тридцатом году, помню, я был в гостях у Геринга. Он жил тогда в Шенебурге, в буржуазной

квартирке средних размеров, и его первая супруга, милейшая женщина, страдающая тяжелым заболеванием сердца, угощала меня гороховым супом, который подавала в фаянсовой тарелке ценой в полторы марки. А теперь господин Геринг — владелец концерна и славится как самый изысканный гурман. Только один его золотой сервиз стоит столько, сколько большое поместье. Как видите, занятие политикой может приносить доход не меньший, чем финансовые операции.

Баронесса права. Скромность фюрера в еде общезвестна. Он находит радости совсем в другом. Я помню, как еще до военных успехов фюрера в Европе его порученец предложил на одном аукционе у знаменитого антиквара девяносто тысяч золотых марок за картину Дефреггера. Как великий человек, фюрер позволяет себе вкладывать капитал только в бессмертные произведения искусства, цена которых превосходит стоимость имущества многих солидных промышленников. И когда фюрер всенародно объявил, что у него нет текущего счета в банке, он сказал правду: каждый банк в интересах собственного процветания считает честью оказать ему любые финансовые услуги.

Да, фюрер беззаветно любит искусство. Он лично дает живописцам указания по части техники, содержания, стиля. Они должны руководствоваться этими указаниями, если хотят, чтобы их произведения покупали. Музыкальные вкусы фюрера так же определены и устойчивы, как и в живописи. «Мейстерзингеров» Вагнера он обычно заставляет повторять для себя десятки раз. Высоко ценит военную музыку. Но особый его восторг вызывает исполнение «Веселой вдовы» Легара. Он испытывает от этой музыки истинное высокое наслаждение. Его ближайшее окружение строжайше заботится о том, чтобы какой-нибудь дерзкий наглец не осмелился сболтнуть при фюрере, что Легар был женат на еврейке. Это было бы трагедией для фюрера, крушением его идеала.

Но еще больше фюрер преклоняется перед финансовым и промышленным гением величайших деятелей рейха, девиз которых подобен девизу, выгравированному на щите барона XIV века Вернера фон Веслингена: «Я, князь Вернер фон Веслинген, вождь большой шайки, враг бога, милосердия и жалости».

Фюрера радует умение деловых великих немцев в сюртуках захватывать позиции в мировой экономике. Например, «ИГ Фарбениндустри», этот великолепный сплав монополий и картелей, добились права контроля и влияет на исследовательские работы и производство главных химических и металлургических фирм мира.

Еще до войны при помощи патентов и другими путями мы добились контроля над производством многих важных для ведения войны продуктов. Но мы не остановились на этом. Мы

пошли дальше в защите наших промышленных интересов. Когда германские фирмы регистрировали патенты в иностранных государствах, некоторые важные стороны процесса скрывались, а формулы излагались так, что происходил взрыв, если какой-нибудь иностранный ученый пытался, следуя нашим методам, получить синтетический продукт.

Так, метод получения красок, запатентованный Зальцманом и Кругером за № 12096, нанес существенный урон выдающимся иностранным ученым, которые гибли так, словно местом для прогулок избрали минное поле.

Фон Клюге торжествующе заметил Вайсу:

— Вам, молодому абверовцу, следовало бы понять, что по сравнению с успехами в подобных операциях наших крупнейших концернов, деятельность вашей службы выглядит, ну, чтобы не обидеть адмирала Канариса, как пиратские набеги, в то время как мы, черные шуртки, бесшумно завоевывали континенты в экономических битвах одними картельными соглашениями.

— А что же вы выиграли для себя в этих битвах? — любопытствовал Вайс.

Советник досадливо махнул рукой.

— Вы слышали о крахе кинофирмы «Фебус» еще в довоенные годы? Господин Канарис вложил в нее миллионы и вынудил меня стать его компаньоном.

— Вы поступили легкомысленно?

— Во все нет. Просто у господина Канариса имелись документы, касающиеся некоторых сторон моей прежней деятельности. И он предложил мне наиболее изящную форму получения интересующих меня бумаг. Вот я и вложил крупную сумму в эту фирму.

— Он заставил вас выкупить бумаги?

— Нет, просто это был наиболее благоразумный и деликатный способ сохранить наши дружеские отношения.

— Вы и сейчас друг адмирала?

— Безусловно. Это кристальной чистоты человек. И когда он оказался банкротом, то не позволил себе снова представить мне неприятные документы, хотя и сохранил их копии. Он мужественно перенес несчастье. И по его рекомендации я участвовал во время инфляции в финансовых операциях старика Тиссена.

— Вы знакомы с господином Гердом?

— Да, это серьезный делец, который стал на правильный путь, сочетая интересы фирмы своего тестя с политикой наци. Опыт работы в абвере, несомненно, пополнит его образование экономиста. Он сумеет ознакомиться с методикой и приемами исследования экономических потенциалов Востока.

Весь ужин говорил только советник. Баронесса и Ольга

почти все время молчали и не вслушивались в застольную беседу мужчин.

В десять часов баронесса велела Ольге идти отдыхать и приказала Вайсу проводить девушку до отведенной ей комнаты.

44

На следующий вечер у баронессы собралось небольшое общество: пожилые, одетые со старомодной тщательностью, благовоспитанные люди.

Они были близки ей не только потому, что с ними у нее издавна установились тесные, подобные родственным связи, но и потому, что все они, как и сама баронесса, владели земельной собственностью или же вложили солидные капиталы в надежные предприятия с устойчивыми доходами.

Несмотря на почтенный возраст и полную обеспеченность, все они охотно заняли предложенные им пришедшими к власти нацистами чиновные должности. Ведь передать свой опыт новому руководству империи было их патриотическим долгом.

По-видимому, они полагали, и притом не без основания, что их юношеские идеалы, сложившиеся во времена монархии, не только не устарели сейчас, но возрождены фюрером с поспешностью и энергией, несвойственными деятелям минувшего столетия.

Доктор фон Ключе, правда, позволял себе сомневаться и в этом достоинстве Гитлера и утверждал, что Карл Лампрехт еще в девятисотые годы с большим даже красноречием, чем фюрер, провозглашал: «После кровавых побед мир будет изменен путем германизации».

Гости держали себя с той непринужденностью, какая возможна в кругу людей, равных по положению, занимаемому в обществе.

Герр Кранц, высокий, жилистый, плоский, с маленькой прилизанной головкой на высокой тонкой шее и с моноклем в левом глазу — правый всегда оставался презрительно сощуренным, — в первую мировую войну служил в уланах. Он считался тонким знатоком лошадей, и, очевидно, поэтому в концерне Круппа ему была предоставлена должность главного инспектора в управлении рабочей силой.

Он позволял себе довольно смело критиковать фюрера за то, что тот пренебрегает кавалерией, отдавая предпочтение мотомеханизированным соединениям «этого выскочки Гудериана», который расхваливает танки так, будто служит в рекламном бюро машиностроительной фирмы и получает проценты с каждой единицы сбытой продукции.

В Пруссии у Кранца был конный завод, но, увы, покупал его лошадей не вермахт, а только полиция.

Густав Кранц был личным другом фюрера. В 1933 году он учредил фонд Адольфа Гитлера, предоставив нацистской партии огромные суммы для СА, СС, «гитлерюгенда» и ряда подобных же организаций. Кранц не без оснований считал фюрера должником фирмы.

Кранц прибыл в генерал-губернаторство, чтобы организовать в Освенциме строительство предприятий, изготавливающих детали к автоматическому оружию. Он сразу же потребовал от эсэсовского руководства выделить для этой цели из концлагерей наиболее жизнеспособных заключенных.

Забравшись на возвышение посреди аппельплаца, он приказывал гонять заключенных по кругу, а сам наблюдал за ними в бинокль, которым обычно пользовался во время скачек на ипподроме.

Тех, кто после нескольких кругов оказывался способным сохранить вертикальное положение, Кранц отмечал для себя. Записывал их лагерные номера и приказывал отправлять отобранных им людей в специальный концентрационный лагерь фирмы. За каждого обладающего подходящей специальностью заключенного он уплачивал в финансовые органы СС четыре марки, а за тех, кто не имел профессии, — по три марки, и в итоге это составляло довольно крупные суммы.

Поскольку большинство отобранных им заключенных не внушало Кранцу уверенности в том, что они смогут долго протянуть на тяжелых работах, он сделал в контракте специальную оговорку: устранение ослабевших возлагается на администрацию лагерей, причем убывшие заменяются без дополнительной оплаты.

Добиться оговорки в контракте было непросто, пришлось сделать денежные подарки местным руководителям СС. Но для этого Кранц располагал неподотчетными суммами, специально выделенными ему на подобные цели. И считал сделку крайне выгодной, так как смертность заключенных, занятых на различных работах, была чрезвычайно высока, а транспортировка и погребение каждого трупа по предварительной калькуляции обходились бы фирме в среднем в 30 — 50 марок.

Успешность всех этих деловых операций привела герра Кранца в отличное расположение духа, и он был одним из самых приятных гостей баронессы, так как мысли его в ее гостиной были заняты только тем, чтобы всем нравиться и быть любезным со всеми.

И хотя другой гость, герр Шик, представлял конкурирующую и давно развившую здесь гигантскую деятельность организацию, защищающую интересы концерна «ИГ Фарбениндустри», Кранц добродушно подшучивал над ним.

Шик в противоположность Кранцу был тучен и коротконог, к тому же он порядком обрюзг и отличался крайне

нервной озабоченностью, не покидавшей его даже в доме баронессы.

На химических предприятиях концерна кроме заключенных работали люди, насильственно увезенные в оккупированную Польшу из многих европейских стран. Герр Шик планировал увеличение производства главным образом за счет использования рабского труда заключенных и нервничал, справедливо полагая, что приоритет в отборе рабочей силы из лагерей должен принадлежать «ИГ Фарбениндустри», основавшей свои предприятия в Освенциме задолго до нашествия представителей крупновского концерна. Но, зная, какую признательность питает фюрер к Густаву Круппу, он льстиво расхваливал деловые способности Кранца, скрывая под потоком лживых слов свое недовольство его деятельностью.

Среди уважаемых гостей находился и видный мюнхенский терапевт, профессор Виртшафт, получивший в одном из освенцимских лагерей специальный блок для проведения медицинских экспериментальных работ. За эти работы профессор был награжден званием штурмбанфюрера, но, будучи человеком сугубо штатским, никогда не носил эсэсовского мундира.

Профессор трогательно заботился о своей рыжей таксе по кличке Амалия. Он никогда и нигде с ней не расставался, сам мыл ее и на ночь укладывал рядом с собой в постель.

У него было увесистое, мясистое лицо и добродушные, ярко-коричневые, заплывшие, узенькие глазки.

Он говорил:

— Если раньше было принято думать, что войны сулят человечеству расцвет мастерства хирургов, то теперь перед всей медициной открываются такие возможности исследования человеческих организмов, о которых даже самые дерзкие умы не могли и мечтать.

Герр Шик имел некоторое представление о роде занятий профессора, так как первоначально, еще в марте 1941 года, рейхсфюрер Гиммлер намеревался построить в Верхней Силезии близ Освенцима завод синтетических жиров, руководимый СС. Но Геринг, чтобы не допустить слишком большого влияния СС на экономику рейха, сорвал эти планы Гиммлера, передав строительные площадки концерну «ИГ Фарбениндустри».

О том, какого рода сырье предполагалось использовать для производства синтетических жиров, Шик у стало известно из медицинской документации, на основе которой были составлены исходные данные о содержании жировых веществ в предназначенном для переработки материале. Но возмущен он был не столько как христианин, сколько как человек, понимающий толк в производстве синтетической продукции:

основным исходным сырьем для нее должны служить минеральные, а вовсе не органические вещества!

Более успешны и плодотворны были эксперименты профессора, касающиеся ожогов третьей степени, а также обильных искусственных кровотечений и продолжительного замораживания.

И хотя работал он со слабым материалом, доставленным ему из молодежных и детских лагерей, — подопытные часто не выдерживали до конца всю программу эксперимента, — ряд статистических выводов профессора представлялся уже чем-то новым. Ведь не было еще случая в истории, чтобы кто-либо решился на подобную бесчеловечность только ради установления способности человека выносить самые чудовищные страдания.

Но что бы там ни было, профессор Виртшафт слыл хорошим лечащим врачом, замечательным диагностом и давал друзьям много полезных советов относительно того, как лучше сохранить самую величайшую для людей ценность — здоровье. Правда, о своем драгоценном здоровье он совсем не заботился. Много и жадно ел, пил, курил крепкие сигары и, будучи холостяком, человеком одиноким, был крайне неразборчив в отношении женского пола...

Если в годы первой мировой войны в лучших домах Германии с почетом принимали авиаторов вне зависимости от их происхождения и воинского звания, то ныне авиаторов сменили абверовцы: таинственная деятельность этих черных рыцарей, владеющих тайными способами ведения войны, окружала их заманчивым ореолом.

И когда баронесса представляла гостям Иоганна Вайса, мужчины хрепко и многозначительно жали ему руку, а молодая супруга Шика улыбнулась ему так нежно, застенчиво и многообещающе, что Иоганн даже на секунду сконфузился и не сумел сразу ответить на ее вопрос: как давно он решился отдать свою жизнь военному шпионажу, столь романтической, полной приключений профессии?

Помедлив, он скромно сказал, что, по его мнению, у лучших немецких разведчиков эти склонности обычно обнаруживаются еще в детстве. Мужчинам же он как бы вскользь заметил, что высшее офицерское звание составляет для сотрудника абвера некоторое неудобство, поскольку разведчик нигде и никогда не должен привлекать внимания к своей особе внешними атрибутами.

И все немедленно с ним согласились.

С герром Кранцем он поддержал беседу о скаковых лошадях, используя те сведения, которые приобрел в спортивном динамовском манеже от своего инструктора, бывшего бойца Первой Конной армии.

С герром Шиком обменялся мнениями о значении химии.

Когда-то Александр Белов увлекался химией, и это позволило ему пленить Шика своими познаниями в области переработки бурых углей.

Профессора Виртшафта Вайс заинтересовал сообщением о том, что уже древние египтяне совершали трепанацию черепа, — об этом он слышал от экскурсовода в Ленинградском Эрмитаже.

Вайс давно подметил одну любопытную и важную для него закономерность. К какому бы роду службы или общества ни принадлежали здесь немцы, они неукоснительно и благоразумно воздерживались от разговоров, касающихся их собственной деятельности и вышестоящих лиц данного круга, но все, что было за пределами этого круга, обсуждалось охотно, с всесторонней осведомленностью.

От сотрудников гестапо, например, он узнавал о руководителях абвера больше, чем от самих абверовцев. А его сослуживцы говорили о работе гестапо такое, чего никогда и никому не осмелился бы сказать ни один из сотрудников гестапо.

Эсэсовцы из числа лагерной администрации поведали Вайсу о своих связях с крупнейшими концернами Германии, которых они снабжают рабочей силой, и о тех колоссальных суммах, которые уплачивают финансовому управлению СС за подобные услуги различные фирмы. Что касается уполномоченных этих фирм, то они обычно жаловались Вайсу на службу СС.

Словом, почти каждый, с кем встречался здесь Вайс, охотно делился своими достаточно обширными знаниями о тайных делах других служб, тем более что это было и безопасно: никакие законы, правила и уставы не предписывали хранить чужие тайны.

Вайс успешно этим пользовался.

Так, о строительстве новых предприятий он узнавал от лагерной администрации, а о создании новых лагерей — от представителей различных фирм, которые рассматривали лагерь как источники рабской рабочей силы и либо приближали свои новые предприятия к этим источникам, либо добивались от руководства СС, чтобы новые лагеря создавались поблизости от уже существующих предприятий.

Каждый из гостей баронессы представлял интерес для Вайса. Научный интерес, если можно так выразиться. Самого беглого знакомства с ними было достаточно, чтобы понять, как полно воплощали они в себе то, что составляло сущность строя, породившего фашизм.

Искренне, по-человечески заинтересовал Вайса только один гость баронессы — инженер-химик Карл Будгофт, работавший

на ведущемся «ИГ Фарбениндустри» строительстве завода искусственного каучука.

Это был крупный специалист по производству синтетического каучука, в котором так остро нуждалась Германия. Будгофт принадлежал к числу необходимых рейху людей и поэтому держался совершенно независимо. Он мог позволить себе многое, зная, что едва ли кто-нибудь отважится хоть пальцем тронуть его.

Седовласый человек с моложавым лицом, нервный, раздражительный, он был склонен к неосмотрительным, едким суждениям.

На вопрос, где он живет, Будгофт ответил:

— В паршивом провинциальном городишке Освенциме, который скоро прославится в веках как мировой центр работорговли.

— Скажите лучше, Карл, — спросил его профессор, — что нового вы собираетесь подарить науке?

Будгофт усмехнулся:

— Труд о влиянии тугих мундирных воротников на зрение солдат.

— Но это, скорее, медицинская проблема, — улыбнулся профессор. — Вы шутник, Карл! С вашим умом и знаниями, — льстиво добавил он, — вы давно могли бы подарить рейху что-нибудь исключительное.

— Профессор, — живо отозвался Будгофт, — я весь к вашим услугам. Желаете кислотные растворители для трупов умерщвленных вами младенцев? Какая будет экономия в гоппливе! Ведь вы, кажется, отправляете их в крематории?

— Вам не следует много пить. И, кстати, среди моих пациентов нет никаких младенцев. Вы все преувеличиваете.

— Преуменьшаете, вы хотите сказать?

— Бросьте, Карл! Каждый из нас делает свое дело.

— Делает, но по-разному.

Профессор, будто не расслышав, услужливо наполнил коньяком узкий сверху и широкий снизу бокал, который держал в ладонях Будгофт. Тот машинально сделал несколько глотков. На впалых висках инженера выступили капельки пота. Глядя на господина Шика, он спросил:

— Слушайте, господин Шик. Знаете, как наказывают военнопленных у нас на стройке?

— Если нарушение не носит очень злого характера, кладут на козлы и отпускают ни в коем случае не свыше двадцати пяти ударов по мягким частям тела.

— А кто считает эти удары?

— Конечно, сам провинившийся.

— А если он после десяти — пятнадцати ударов теряет сознание?

— Делают перерыв.

— И кто должен потом продолжить счет?
— Он же.
— Но человек, едва придя в сознание, не способен считать.

— Естественно.

— И тогда его забивают насмерть?

— Солдаты действуют по инструкции, — напомнил Шик. — Считать обязан провинившийся, и он сам виноват, если не использует предоставленного ему права. — Спросил обидчиво: — Вас самого разве не порол в школе? И отец не порол? Странно!

Чтобы предотвратить вспышку ярости Будгофта, Вайс предложил ему прогуляться по парку. Тот, несколько смущенный своей горячностью, охотно согласился.

Темные шеренги лип с култышками обрезанных ветвей, скорлупа льда на дорожках, тонкий, жалобный месяц...

Лицо Будгофта было почти таким же белым, как и его волосы.

Он сказал Вайсу с отчаянием:

— Вы не представляете, какой это ад — лагеря!..

— Почему же не представляю? — Иоганн усмехнулся. — Вы, очевидно, забыли, к какому роду службы я принадлежу?

— Но вы же не гестаповец?

Вайс ответил:

— По убеждению — нет.

Будгофт подхватил оживленно:

— Вы правы, среди нас есть гестаповцы не по службе, а по образу мышления.

— Вы имеете в виду тех? — Вайс кивнул по направлению к дому.

Будгофт спросил:

— Вы считаете, что я был неправ, когда сказал, что Освенцим — центр работоторговли?

— Я думаю, вы ошибаетесь.

— А почему?

— Есть и другие районы лагерей, не меньших масштабов.

— О! — радостно воскликнул Будгофт. — Эта ваша поправка дает мне надежду, что вы не осуждаете меня за мои слова.

— Напротив! Я просто считаю, что вы были не совсем точны, характеризую ваш город.

Будгофт пожаловался:

— Гостиница, в которой я живу, переполнена представителями различных фирм, прибывшими для приобретения рабочей силы. И, поскольку я здесь уже почти абориген, они обращаются ко мне за советами. Лагерная администрация

бывает им людей, находящихся в таком состоянии, что половина умирает в пути. Это не столько убыточно, сколько представляет некоторое неудобство для финансовой отчетности, документы которой должны сохраняться в архивах фирмы.

— И что же?

— Ну как вы не понимаете! — рассердился Будгофт. — Ведь в бухгалтерских книгах Стиннесов, Фликов, Борзигов будут значиться сотни тысяч трупов, за которые были заплачены деньги.

— А при чем здесь вы?

— Ну как же! Филиалы «Фарбен» здесь обосновались давно, и сотрудники управления рабочей силой концерна прибегали к особой бухгалтерской методике, чтобы зашифровать такого рода убытки.

— Значит, представителей других фирм заботит этическая сторона дела? — спросил Вайс.

— Да. И, очевидно, потому, что все это преступно и гнусно.

— Но это утверждено имперским правительством — значит, законно. И, как я слышал, даже установлены твердые цены, чтобы не было спекуляции людьми.

— Вы серьезно?

— А разве к этому можно относиться иначе как серьезно? — в свою очередь спросил Вайс. — Но я просто констатирую, что мы, немцы узаконили торговлю людьми и это не совсем совпадает с общечеловеческими законами.

— Но человечество час ненавидит! — с отчаянием воскликнул Будгофт.

— Вы полагаете, все мы, немцы, заслуживаем ненависти?

— В глазах других народов — да.

— Но вот это ваше признание свидетельствует о том, что есть разные немцы.

— Вы хотите сказать, какой я немец?

— Вы уже сказали.

— Я не все сказал. — На бледных щеках Будгофта выступили красные пятна. — Среди немецких рабочих, которые руководят на стройке военнопленными, есть такие, которые, невзирая на то, что сами могут очутиться в положении этих заключенных, оказывают им всяческую помощь. А ведь эти наши рабочие были отобраны и проверены как наиболее благонадежные и преданные рейху. Но вот недавно одного из них казнили за то, что он помог бежать группе заключенных. И он не один помогал им. Но когда беглецов поймали, они никого не выдали. Это произвело очень тяжелое впечатление на всех наших рабочих.

— Почему тяжелое?

— Ну как же! Русские — наши враги, и они могли навзвать имена десятков немцев, отомстить нам, потому что

всех названных, несомненно, казнили бы. А они ни одного не назвали. Во время побега они убили охранников, а наших двух рабочих только связали.

— Кажется, у советских это называется чувством пролетарской солидарности?

— Я не знаю, как это у них называется, но в результате существует предположение, что среди наших рабочих возникло нечто вроде тайной организации помощи русским.

— Вы сообщаете об этом мне как сотруднику абвера?

— Нет, отнюдь нет. Просто мне показалось, что вы... — Будгофт замаялся.

— Что вам показалось? — строго спросил Вайс.

— Ну, просто, что вам не очень симпатичны гости госпожи баронессы, общество которых мы покинули.

— Вы ошибаетесь.

— Нет, — решительно объявил Будгофт, — я настолько не ошибаюсь, что заявляю вам здесь: я симпатизирую моим рабочим больше, чем всем этим господам.

— Вам не следует много пить, — мягко упрекнул его Вайс. — И еще больше не следует в таком состоянии открывничать с кем-либо.

— Слушайте, — восторженно заявил Будгофт, — ну их к черту! — Он махнул рукой. — Поедем сейчас ко мне в Освенцим. Я вас познакомлю с чудными ребятами. Один — учитель, другой, как и я, — химик, но они, понимаете, настоящие немцы, не из коричневых.

— Есть еще другие цвета, — уклончиво заметил Вайс.

— Например? — спросил Будгофт. Потом вдруг, как бы догадавшись, успокоительно объявил: — Да нет, они вовсе не красные. Вы что подумали, я сочувствую красным? Никогда. Просто мои друзья, как и я сам, стыдятся того, что сейчас творится.

Вайс сказал:

— Но там, где расположены военные заводы, теперь дырявое небо, и приглашать туда — это все равно что приглашать в гости на фронт.

Будгофт лукаво усмехнулся:

— Вы забываете, что «ИГ Фарбениндурии» не только представитель германской империи. Американская авиация не станет бомбить наши цехи. Это то же самое, что бомбить у себя дома дюпоновские химические заводы: удар был бы нанесен по общим капиталовложениям.

— А англичане?

— Две тысячи английских военнопленных работают здесь на наших предприятиях. Гестапо организовало побег двух англичан. Они должны предупредить Черчилля: ведь нельзя же бить по своим!

— Здорово!

— Да, в правлении «Фарбен» заседают умные головы. Если Германия выиграет войну, американские акционеры честно получают свою долю. А проиграет — концерн «Фарбен» не будет обделен своими заокеанскими компаньонами. Для всех них война — без проигрыша.

— А для вас?

— Для меня? — машинально повторил Будгофт и, видимо протрезвев на свежем воздухе, произнес скороговоркой: — Знаете, вернемся, я что-то продрог. — Спросил: — Не очень плохо будет, если я извинюсь перед Шиком? — Оправдываясь, объяснил: — Ему ничего не стоит устроить какую-нибудь гадость.

Вайс не ответил.

Баронесса при свечах играла со своими гостями в покер.

Будгофт все-таки не извинился перед Шиком. Пожав руку Вайсу и повторив свое приглашение навестить его в Освенциме, он уехал.

Вайс через некоторое время отправился к себе в «штаб Вали», получив твердое заверение баронессы, что она по-прежнему будет оказывать гостеприимство пленной дочери русского полковника.

В доме баронессы был еще один гость, который почти все время скромно молчал и обладал самой обычной внешностью. Кроме своего жестковатого выговора, он ничем не привлекал к себе внимания. Пожилой, лысый, с брюшком, в старомодном, длиннополом пиджаке и широченных брюках в полоску, он не выпускал изо рта сигары и, видимо, так наслаждался курением, что никто не решался отвлечь его от этого занятия.

Вайс уловил, что при некоторых уж слишком откровенных высказываниях своих гостей баронесса бросала тревожный взгляд на этого человека. Но едва лишь он сонно опускал припухшие веки, она успокаивалась, однако все же решительно пыталась изменить тему разговоров.

Когда Йоганн осведомился о нем у Карла Будгофта, тот сказал небрежно:

— Господин Шмидт — коммерсант из Гамбурга. Но он почему-то особенно интересуется новыми методами производства синтетических материалов. Я не мог удовлетворить его любопытства. Сотрудники «Фарбен» дают подписку о строжайшем сохранении в тайне всех моментов, связанных с нашим производством.

— Возможно, он представляет какую-нибудь конкурирующую фирму.

— У «Фарбен» нет конкурентов, — твердо заверил Будгофт.

Случилось так, что этот самый господин Шмидт попросил Иоганна подвезти его до Варшавы. Но в машине он не сел рядом с Вайсом — устроился на заднем сиденье.

Казалось, что этот человек нерешительный, — так подумал Вайс и ошибся. На протяжении всего пути Шмидт беседовал с ним. Правда, беседа носила несколько примитивный характер: Шмидт спрашивал, Вайс отвечал. Вопросы сыпались градом, и заметно было, что спутник Вайса торопится как можно точнее уяснить себе структуру абвера. Это было весьма квалифицированное любопытство.

Насторожившись, Вайс обстоятельно и подробно изложил герру Шмидту схему не имеющей отношения к абверу службы жандармерии в оккупированных районах. Но, по-видимому, Шмидту и эти сведения были для чего-то нужны.

В Варшаве Шмидт остановился не в гостинице, а в пригородной вилле крупного польского помещика, эмигрировавшего с семьей в Англию. Как выяснилось из дальнейшего, родственники помещика, оставшиеся в доме, и прислуга чрезвычайно внимательно относились к Шмидту, что показалось Вайсу не совсем обычным.

Шмидт пригласил Вайса зайти к нему и за рюмкой коньяку по-отечески стал расспрашивать молодого человека о его житейском бытии.

Вайс коротко рассказал самые общие вещи, и разговор перешел на всеобщие темы.

Будто бы вскользь, Шмидт осведомился, как оценивает Вайс неудачу операции «Морской лев» с высадкой немецкого десанта на побережье Англии.

Вайс высказался в том духе, что операция «Морской лев», по-видимому, была задумана как акт морального воздействия на англичан, для того чтобы они осознали свою ошибку. Эта ошибка заключается в том, что англичане воюют не на стороне Германии, а против нее.

Шмидт оживился и, соглашаясь с Вайсом, сказал, что такого же мнения в Англии придерживаются лица очень высокопоставленные. Как только Черчилль мог поступить так безрассудно!

Вайс осторожно спросил: точно ли в Англии существует подобное мнение? Шмидт, усмехаясь, сказал, что это известно не только имперскому руководству. И миссия Гесса увенчалась бы успехом, если бы Англия обладала такой же мощной системой политической полиции, какой обладает Германия в лице гестапо, сумевшего столь решительно разгромить все левые организации в стране.

Потом Шмидт сказал, что союзные отношения Англии с США зиждутся не на прочной основе. Известно, например, что американская фирма, производящая бомбовые прицелы по

патентам Цейса, отказалась снабдить ими английский воздушный флот, ссылаясь на свои обязательства перед Цейсом.

— Если бы англичане в достаточном количестве владели такими прицелами, бомбежка немецких городов была бы более эффективна. И не случайно, — сказал Шмидт, — среди двух тысяч английских узников Освенцима много английских летчиков, сбитых над территорией Германии. Из-за технического несовершенства английских прицелов они сбрасывают бомбы с опасного, низкого потолка полета.

Но тут же Шмидт признался с огорченным видом, что и в самой Германии крупные концерны подавляют своей властью развитие деловой инициативы владельцев небольших предприятий, которые оказываются под угрозой разорения. Так, например, господин Шмидт собирается открыть контору для оказания разного рода технической консультации мелким фирмам, но с первых же шагов он встретился с большими трудностями. И трудности эти вызваны не столько войной, когда изобретательская мысль, естественно, находится под контролем службы безопасности, сколько захватнической деятельностью крупнейших концернов, которые приобретают патенты, не имеющие прямого отношения к их производству, обездоливая тем самым мелкие фирмы и тормозя их рост.

И господин Шмидт сокрушенно перечислил те патенты немецких изобретателей, которые ему не удалось приобрести: на особый состав ароматического вещества, благотворно влияющего на самочувствие и боеспособность летчиков; на изготовление торфяной панели; на производство хлеба из перебродивших опилок — хлеб этот предназначался специально для населения оккупированной Европы; на использование табачных отходов, перерабатываемых в бумагу для печатания денежных знаков. Имелось предложение делать подметки сапог из проволоочной сетки, покрытой составом из прессованной кожи и каучука. Все это при правильной организации производства могло принести значительные дивиденды. Но... Шмидт развел руками и, огорченно улыбаясь, объявил:

— Перехватили другие, более значительные фирмы. И я сейчас весь в поисках чего-нибудь новенького.

Вайс сказал с сожалением:

— Увы, здесь я ничем не могу быть вам полезен. — И, мысленно отметив особенность названных Шмидтом изобретений, — обо всех них не так давно писали газеты, — спросил сочувственно: — Очевидно, господин Шмидт, для того только, чтобы узнать обо всем перечисленном вами, вы потратили немало труда?

— Не только труда, но главное — денег, — сокрушенно закивал головой Шмидт и добавил со вздохом: — Приходится быть щедрым со сведущими людьми. И, представьте, все они предпочитают рейхсмаркам английские фунты.

— Твердая валюта, — сказал Вайс.

— Да, — согласился Шмидт. И посоветовал: — Я бы вам тоже рекомендовал не пренебрегать ею в тех случаях, когда представится возможность.

Вайс пожал плечами и снова повторил:

— Увы, это так далеко от моей деятельности, что, к сожалению... — Он помедлил. — Впрочем, я вспомнил, у меня есть один приятель. Вы же знаете, в каждом взводе имеется специальный ящик, куда любой военнослужащий может опустить свои технические предложения. В армии сейчас много интеллигентных людей, которые пребывают в звании рядовых по причинам либо расовой неполноценности, либо неблагонадежности. Вот они-то иногда и делают весьма ценные предложения. Их награждают за это отпусками или званиями ефрейторов, даже унтер-офицеров. Так вот, мой знакомый работает в отделе, куда поступают разного рода предложения. Может быть, он будет вам полезен?

Шмидт разочарованно пожал плечами.

— Не совсем уверен, что это именно то, что мне нужно. Но, во всяком случае, я буду вам признателен, если вы познакомите меня со своим другом.

— Знакомым, — поправил Вайс. — И то, знаете ли, довольно далеким: встречались в казино.

На этом он простился с герром Шмидтом, получив приглашение заходить.

Конечно, Вайс не должен пренебрегать этим знакомством, ибо каждое новое лицо, с которым ему доводилось больше или меньше сблизиться, расширяло его представления о тех немцах, которые ринулись в Польшу за коммерческой добычей. Почти каждый из них имел связи с армейскими службами и, поскольку деловые операции находились в прямой зависимости от службы вермахта, мог служить источником информации для Вайса.

Но Шмидт как-то не походил на обычного коммерсанта. Было в нем что-то подозрительное. Солидное, сонное спокойствие, отличавшее его от прочих гостей баронессы, не соответствовало выражению глаз — напряженных, внимательных даже тогда, когда он как бы дремал с сигарой в зубах. За столом он разбавлял шнапс сахарной водой, чего никогда не делают немцы.

И потом — почему у этого богатого, как он заявил, привыкшего к путешествиям человека в комнате стояли новехонькие немецкие фибровые чемоданы и столь же новый несессер с туалетными и бритвенными принадлежностями? Среди разложенных на столе и на кресле личных вещей Шмидта не было ни одной иностранного происхождения. А ведь богатые немцы — Йоганн знал это — всегда предпочитали заграничные изделия отечественным. И Шмидт, едва они вошли в

его комнату, скинул с ног с большим облегчением новые ботинки и остался в одних носках: комнатных туфель у него не оказалось.

Кроме того, когда Шмидт переодевался в пижаму, Иоганн отметил мощную мускулатуру его торса и два вдавленных круглых шрама, напоминающих оттиски монеты с рубчатыми краями, — такие шрамы остаются на теле после пулевых револьверных ранений. На тумбочке у Шмидта стоял накрытый ковриком многоламповый приемник, в то время как в генерал-губернаторстве уже давно было приказано пользоваться только слабенькими, так называемыми «народными» радиоприемниками.

Иоганн решил в самое ближайшее время навести справки об этом гамбургском коммерсante.

Лансдорф недавно прилетел из Берлина и сейчас отдыхал, лежа на диване с книгой в руках. Не отрывая глаз от страниц книги, он выслушал рапорт Вайса. Похвалил:

— Это вы хорошо придумали: воспользоваться нашим знакомством с баронессой для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на нашу русскую агентку. Как вы ее находите?

Вайс уклончиво ответил, что чувствует она себя неплохо.

— Я спрашиваю, верите ли вы, что давая согласие работать на нас, она действительно руководствовалась желанием отомстить за своего репрессированного отца?

Иоганн увидел глаза Лансдорфа. Сузившись наподобие прорези прицела, они в упор смотрели на него поверх страниц книги, и притом с таким жестким выражением, какое бывает, когда человек прицеливается, чтобы убить.

Он понял, как опасно для него сейчас малейшее притворство. И сказал решительно:

— Нет, не верю.

Лансдорф опустил книгу. Он улыбался, глаза его смягчились.

— Я тоже не верю, — сказал он. — И не верю не потому, что в гестапо могли известными способами внушить ей эту мысль и, очевидно, внушили. Я не верю ей потому, что в последнее время посещал третий отдел во время допроса русских, подлежащих ликвидации. И открыл одну весьма любопытную закономерность.

Во время допросов работники контрразведки пытались добиться у русских, чтобы те подтвердили или дополнили факты, характеризующие те или иные отрицательные стороны их жизни. И русские опровергали эти факты, хотя следователям они были известны из советской печати. А знаете, почему отрицали? Потому что считают, что о дурных сторонах своей

жизни не должно говорить с противниками. Это оскорбляет их советское достоинство. Ведь они убеждены, что все эти отрицательные стороны их жизни — лишь временное явление.

— Вы тонкий психолог, герр Лансдорф.

— Нет, тут дело не в психологии. Эта черта характерна для представителей молодого поколения русских. Наша агентка, как и те, другие, лжет нам. Даже если ее отца арестовали, она уверена, что это судебная ошибка и ничто другое.

— Но ведь кто-то персонально виновен в том, что его репрессировали, и она, возможно, руководствуется чувством мести.

— Коммунисты против террористических акций.

— Она не по политическим мотивам, а по личным...

— Вы говорите глупости, — отрезал Лансдорф.

— Нет, не глупости, — решительно возразил Вайс. — Она взбалмошная, инфантильная, с болезненным воображением. Выбросила на дорогу мои деньги. Чуть не удрала от меня из гостиницы с каким-то красавчиком. Она, в конце концов, просто истеричка. Но вместе с тем вела себя у баронессы с большим достоинством, как и подобает дочери крупного военного деятеля.

— Это любопытно, — задумчиво пробормотал Лансдорф. — Психическая неуравновешенность плюс взвинченное воображение... — Спросил отрывисто: — Вы знаете о воздействии на человеческий организм скополамина в соединении со снотворным?

— Если не ошибаюсь, впервые этот препарат был удачно применен на Ван дер Люббе?

— Возможно, — сказал Лансдорф. И строго добавил: — Но, во всяком случае, мне это не известно.

— Слушаюсь, — почтительно наклонил голову Вайс.

— Значит, вы меня поняли?

— Безусловно. — И добавил огорченно: — Очевидно, я не оправдал ваших надежд.

— Почему?

— Вы заменяете меня препаратом.

— Ах, так, — улыбнулся Лансдорф. — Ну что ж, наблюдайте, как вы считаете нужным, за этой девушкой, Иоганн, а теперь ступайте. Я хочу отдохнуть.

Впервые Лансдорф назвал Вайса по имени. Это было радостной неожиданностью. Ведь за этим скрывалось самое главное — особое доверие Лансдорфа, которое Вайс не только не утратил, а еще более упрочил.

Все дни, пока девушка гостила у баронессы, Вайс занимался обычной своей служебной работой в расположении «штаба Вали».

Среди новых, недавно прибывших курсантов оказались люди, рекомендованные подпольными лагерными организациями. Но Вайс теперь получил возможность не вступать с ними в непосредственное общение. Для этой цели у него был связной по кличке «Нож» — моряк-десантник, который успешно справлялся с возложенными на него обязанностями и, в свою очередь, имел связного.

Когда, обледенев, лопнул один из тросов на высотной антенне радиостанции штаба и немецкие солдаты оказались бессильными устранить повреждение, Нож с разрешения Вайса забрался на почти тридцатиметровую мачту и, работая, как акробат под куполом цирка, поднял и закрепил трос. Это дало Вайсу возможность устроить его на постоянную должность ремонтника. Нож понравился немцам своей отчаянной смелостью. На допросе у Дитриха он так объяснил мотивы, по которым решил пойти на службу к немцам:

— Я же циркач. — И дал пощупать твердые бугры своих бицепсов. — Силовик международного класса. А дома у нас мускулатуру не ценят, значок или медальку повесят — и все. А у вас, говорят, за каждый выход — большие деньги. — Попросил: — Вы уж меня, пожалуйста, как отслужу, в цирк наладьте, в благодарность согласен вам лично проценты отчислять.

— Абсолютный болван, — с удовольствием констатировал Дитрих.

Шесть курсантов из диверсионной группы погибли во время занятий от внезапного взрыва подрывных снарядов. Нож сказал Вайсу, плутовато шурясь:

— А я при чем? Меня там не было. Не соблюли техники безопасности, — и все. А потом, чего их жалеть? Сволочи. Пробовал распропагандировать — ни в какую. Ну, бог их и наказал.

— Значит, этот бог наловчился так взрыватели ставить, что они раньше времени срабатывают?

— На то он и бог: соображает! Но зато вместо них еще двух убедил.

— Как?

— Очень просто. Говорю одному про другого: «Ты у него в вещах пошарь, особо под стельками ботинок. Чего найдешь — доложи». И другому такое же задание дал. Доклады-вают после: «Ничего нет». Все понятно, ребята с перспективой.

— Почему?

— Да я же самолично им листовки подложил. Вот, выходит, оба мне и попались, как цуцки. Побил я каждого. Конечно, осторожно, чтобы не покалечить. Не признаются. Ну тогда я им признался. Обрадовались. Зачислил в кадры.

Таких счастливо выявленных людей Вайсу удавалось направлять в другие школы. Каждая тройка имела одного связного, которому поручалось держать связь через тайники. Это была кропотливая, скрупулезная работа, требующая педантичной точности и постоянного наблюдения. Труднее всего, пожалуй, было сдерживать самостоятельную инициативу: люди, обрадованные, что вновь могут бороться с врагом, слишком нетерпеливо рвались к борьбе.

Так получилось и с Гвоздем. Он все-таки согласился лечь в госпиталь.

Дитрих, с упорством маньяка одержимый своей «новаторской идеей», уговорил Гвоздя полечить ногу, хотя Гвоздь и знал, чем ему грозит госпиталь. И даже прямо сказал об этом Дитриху.

Но Дитрих ничуть не смутился.

— Это будет гениальный способ маскировки. Диверсанта-инвалид. Грандиозно! Такого еще никогда не было. Я очень прошу вас. Подобный случай достоин быть записанным на страницах истории.

Вайсу удалось убедить Лансдорфа, чтобы тот запретил опасный эксперимент. Он сказал, что в результате будет потерян ценный, уже проверенный агент. Человек, став инвалидом, рано или поздно осознает свою неполноценность и, утратив психическую устойчивость, рассчитывая на жалость окружающих, в конце концов явится с повинной.

Но Вайс опоздал. Когда он пришел в госпиталь с приказом Лансдорфа, у койки Гвоздя он застал Дитриха. Капитан был чрезвычайно доволен мужеством, с каким Гвоздь перенес операцию, и его бодрым состоянием после нее. Дружески похлопав своего подопечного по плечу, он пошел разыскивать хирурга, чтобы поблагодарить его за удачную операцию.

Оставшись с Гвоздем наедине, Иоганн спросил сокрушенно:

— Зачем же ты позволил себя так искалечить, Тихон Лукич? — И взял его тяжелую, усталую руку в свои ладони.

— Так не весь же окорок, — сказал Тихон Лукич, — всего только чуть ниже колена. Аккуратно, под протез. — Добавил задумчиво: — А среди немцев тоже есть ничего. Двоих врачей гестаповцы забрали за то, что отказались меня резать, еле третьего нашли, поуступчивей. — Улыбнулся: — А Дитрих — он тоже уступчивый. Я ему советую: «Вы меня до полного заживления перебросьте. Со свежей раной я в какую-нибудь больницу забреду, полежу с недельку, а после уйду

со справкой. Документ. Не то что немецкие липы». Ну, он одобрил. Сказал, что у меня голова хорошо работает, умею соображать. А так — что ж, Дитрих свое слово держит. Навещает. Рацион офицерский приказал давать. Пиво, вино, сигареты. В отдельное помещение уложил. Обещал медаль схлопотать. Что ж, считаю — заработал. Буду носить дома. Свастику наизнанку, а на лицевой нацарапаю: «От благодарных покойных фрицев незабвенному Тихону Лукичу». Смешно?

Вайс смотрел на Тихона Лукича. У того от боли непроизвольно дергалась щека. Виски запали. Но общее выражение лица умиротворенное, проникнутое спокойным достоинством, и глаза блестят живой надеждой и даже задором.

А Тихон Лукич говорил Иоганну:

— Ты здесь нам кто? Советская власть. Я как понял, что ты за человек, — воскрес. Ребята, которые теперь наши сотрудники, меня тоже советской властью величают. — Сказал жалобно: — У меня один засыпался: во время практических занятий по подрывному делу заряд украл. Взяли его в конторе Дитриха в оборот: на вывернутых руках к шкафу подвесили. Потом увезли. Вызывает меня Дитрих. Говорит: «Вот, добились признания». Я похолодел. Переводчик читает: «Похитил снаряд с целью подорвать ночью на койке старшину группы по кличке Гвоздь за его измену Родине». Какой человек! Ему смерть в глаза глядит, а он соображает только, как мой авторитет у немцев больше укрепить. И укрепил. А самого его повесили. Вы уж его, пожалуйста, в шифровке отметьте. Герой!

— Нога как?

— А чего нога? Человек не животное. Это животному без ноги плохо. А у человека главный предмет — совесть. — Произнес печально: — Вот о чем я все думаю. Понимаешь, кусок ноги срезали, а я ее все чувствую, и даже пятка болит, которой нет. Но есть люди, у которых память на Родину отшибло. А Родина — она же все равно что ты сам, где бы ты ни был, но она есть и болит, когда ее даже нет. Кто же они, эти уроды? Ненавистники, слабодушные или просто гады? — Помолчал. Пожаловался: — На немцев у меня нервов хватает в глаза смотреть. А на этих терпения нет. Вспоминаю, как тогда гранатой в хвостовой отсек самолета шаркнул. Лично большое удовольствие получил. — Сообщил доверительно: — Себе в компанию я целый гадючник собрал.

— Только ты смотри не горячись.

— Все будет аккуратно. Я понимаю.

И ни разу, даже намеком, Тихон Лукич не позволил себе посетовать на то, что стал жертвой жестокого замысла. Он даже ликовал втайне, что провел Дитриха, вроде поймал его в его же ловушку. Рассказал Вайсу:

— Говорю этой заразе: «С моей ногой вы здорово придумали. Вам, может, теперь железный крест дадут. Так вы бы массовое производство диверсантов-инвалидов наладили». И рекомандую ему для этого дела самых выдающихся подлецов. Он клочки записал. Пообещал продолжить опыт, если со мной удачно получится. Будут знать, гады, как Родиной торговать.

Возвращаясь вместе с Дитрихом из госпиталя, Вайс выслушивал похвалы по адресу Гвоздя.

— Это настоящий русский Иван, — говорил Дитрих. — Простодушный, доверчивый. Я хотел бы иметь такого слугу, но только с целыми конечностями. Он мне даже сказал по своей русской наивности, что с одной ногой жить дешевле — вдвое меньше расход на обувь. Я так был растроган — ведь он ничуть на меня не сердится, — подарил ему бутылку рома.

Вайс смотрел на узкий затылок Дитриха, на его тонкую белую шею, на тощие, вздернутые, безмускульные плечи, и ему было нестерпимо трудно сохранить спокойствие.

Переборов себя, он отдался мыслям о Тихоне Лукиче и о тех людях, которые, подобно Тихону Лукичу, здесь увидели в нем, Вайсе, представителя советской власти.

А вот те, кто заслужил возмездие... те от возмездия не уйдут. Уже в нескольких школах сотрудники Вайса обучились мастерству наладки взрывателей для гранат и подрывных зарядов мгновенного действия. Диверсионные группы, снабженные такими взрывателями, сами подрывались на них раньше, чем успевали применить оружие в тылу Советской страны.

И заброшенные в советский тыл с фальшивыми документами, меченными Вайсом или кем-либо из его людей — в определенном месте документы были проколоты иголкой, — диверсанты оказывались меченными не только этим: с завидной для любого кадровика дотошностью в картотеке советской контрразведки трудами Вайса и его помощников были собраны все сведения, касающиеся таких диверсантов.

А когда в группу удавалось включить своего человека, как это было с Гвоздем, то эта группа долгое время работала на холостом ходу, устраивая безопасные взрывы в тех местах и в то время, как это было указано чекистами. И весь многосложный разведывательный штаб абвера разрабатывал донесения подконтрольной чекистам группы. Донесения, проинкнутые дезинформацией, из которой терпеливо сплеталась сеть ловушки, часто имеющей значение не меньшее, чем бесшумный разгром целой вражеской дивизии.

Чекисты любезно снабжали таких абверовских разведчиков отлично выполненными чертежами, над которыми долго ломали головы лучшие советские конструкторы, чтобы с наибольшей технической убедительностью показать вымышлен-

но уязвимые участки брони новых советских танков. И потом по этим участкам тщательно и прицельно, но безуспешно стучали немецкие бронебойные болванки.

Общий список труда советской разведки можно было бы продолжать бесконечно. Но первичной, отправной точкой для всего этого многосложного творческого процесса была работа таких, как Вайс.

О конечном результате своего изначального труда Иоганн Вайс был осведомлен не всегда. Но он знал, как часто первичное, достоверно точное сообщение служит основанием для разработки операций, над которыми трудились сотни специалистов различных областей знания.

Установить связь со стариком гравером Бабашкиным, изготовляющим в мастерской «штаба Вали» фальшивые документы, Вайс поручил Ножу через одного из его подопечных. Спустя неделю Нож доложил, что старик вначале оказался твердым орешком. На упреки он ответил:

— Я что? Только фальшивые бумаги делаю для фальшивых людей. А всю жизнь чинил людям часы разных иностранных фирм. И полагал, что если нет советских часов, то это ничего. Можно и старые ремонтировать. Но зато у нас делают свои пушки и свои самолеты. Я считался с таким фактом и работал на утиле. А где они, наши пушки и самолеты, если немцы со своими пушками и самолетами и со своими часами, — которые, между нами, хуже мозеровских, я уже не говорю о П. Буре, — нахватали наши города, наших людей, как то вам известно?

И этим я удивлен и обижен на советскую власть больше, чем на фининспектора, который во время нэпа облагал меня налогом, как владельца механизированного предприятия. А весь мой станочный парк состоял из токарного станочка для обточки осей часов, который мог поместиться в коробке от папиросных гильз.

Но всю свою жизнь я избегал заказов на всякую «липу». А теперь стал профессиональным жуликом и делаю «липу» для бандитов. Обманываю советскую власть. И честно служу немцам за гонорар: продление моей жизни, как моей личной частной собственности. Поэтому не морочьте мне голову с совестью!

Но постепенно старик смягчался.

Больших трудов стоило чекистам разыскать дочь Бабашкина и его дальнего родственника, тоже старика. И те вместе написали ему письмо, полное гнева и презрения.

После того как гравер прочел это письмо и, по просьбе одного из подопечных Ножа, сжег на огне спиртовки, он сдул пепел и спросил просто:

— Так в чем дело, товарищ? Чем могу быть вам полезен?

И с этого дня все документы, проходящие через искусные руки гравера, стали непрозрачными уликами против тех, кто ими пользовался.

Все эти дни Вайс периодически навещал баронессу и радовался, что здоровье девушки заметно улучшалось. Руководствуясь приказанием Вайса, она своей скромностью и признательностью добилась расположения старухи. Вайс также встречался с господином Шмидтом. Он особенно заинтересовался им после того, как узнал от Эльзы, что, по наведенным ею справкам, никакой конторы у коммерсанта Шмидта в Гамбурге нет. Не числится он и в списке телефонных абонентов.

Польские друзья сообщили Эльзе, что помещик, в доме которого Шмидту оказывают такое гостеприимство, связан с польскими эмигрантскими правительственными кругами в Лондоне и его родственники, оставшиеся здесь, возможно, являются агентами этого правительства.

Вайс поручил Зубову последить за Шмидтом, а Эльзу он попросил поделиться с ним кое-какой информацией, касающейся производства новой немецкой синтетической продукции. Сведения о ней для Центра Эльза получила из неизвестных Иоганну рук. Сведения от Зубова поступили довольно быстро. Один из его людей засек тайник, через который Шмидт передавал информацию доверенному лицу. Бумаги были пересняты, и среди них Вайс обнаружил записку, свидетельствующую о прямой связи английского резидента с Гердом.

И вот, оснащенный этими материалами, Вайс решил нанести визит почтенному гамбургскому коммерсанту.

Шмидта очень обрадовал его приход. Правда, он пытался скрыть свою радость, вяло приветствуя Вайса ленивыми жестами, как будто он предавался беспечному отдыху и гость разбудил его. Но в комнате было сильно накурено, в пепельнице еще дымился окурок сигары, а на конторский стол Шмидт поспешно набросил купальный халат. Глаза его влажно блестели, и белки порозовели, как у человека, прошедшего бессонную ночь.

Шмидт зажег спиртовой кофейник, поставил на стол коньяк и шнапс. Развалясь в кресле и положив ноги на стул, предложил Вайсу последовать его примеру, ибо, как он выразился, «древние римляне предпочитали даже пищу вкушать лежа».

Вайс спросил, не скучает ли Шмидт о Гамбурге.

— Беспокоюсь о своей конторе.

— У вас большое дело?

— Я никогда не стремился к богатству, только к финансовой независимости, — уклончиво ответил Шмидт.

— Должно быть, это все же приятно — иметь много денег?

— А вы не пробовали?

— Собираюсь попробовать...

— Каким образом?

— Что вы скажете, если вместо моего приятеля я сам окажу вам небольшую услугу?

Шмидт вопросительно поднял брови:

— Небольшую услугу?

— Но очень ценную.

— В самом деле «очень»?

— Мой приятель, к которому я обратился с просьбой кое в чем помочь вам, сказал, что это весьма ценная услуга.

— Но вы сказали, что хотите оказать мне н е б о л ь ш у ю услугу?

— Ах, вот вы о чем, — развязно заметил Вайс. — Тогда пожалуйста: он просил передать вам, что служба безопасности чрезвычайно интересуется людьми, которые в военное время интересуются оборонными изобретениями.

— Он так вам сказал?

Вайс объявил небрежно:

— Мой приятель не занимает крупной должности, поэтому я позволяю себе не приводить его высказывания дословно.

— Кем работает ваш приятель?

— Если это вас так интересует, вы будете иметь возможность встретиться с ним лично.

— Где?

— Все это будет зависеть от того, как вы оцените его услугу.

— Послушайте, мальчик, — сказал Шмидт, — бросьте меня шантажировать вашим приятелем! Кстати, передайте ему, если он работает в гестапо, что коммерсант Шмидт собирает вырезки из наших газет о патриотах-изобретателях, и то, о чем я упомянул в нашей с вами беседе, напечатано в еженедельнике «Дас Рейх». Вас это устраивает?

— Вполне, — сказал Вайс. И произнес восторженно: — Господин Шмидт, позвольте выпить за ваши успехи! — Добавил искренне: — В конце концов, очень рад, что вы уничтожили даже тень моих сомнений.

— А в чем они заключались?

— Представьте, — простодушно улыбаясь, сказал Вайс, — я подумал, что вы английский разведчик.

Откинувшись в кресле, Шмидт захохотал так, что мускулистый живот его содрогался под вязаным жилетом.

— О мой бог! — стонал Шмидт. — Я английский шпион! — Передохнув, сказал огорченно: — Для сотрудника абвера подобное фантастическое и, я бы сказал, весьма беспочвенное воображение — серьезный недостаток.

— Но я рассчитываю, что этот комический казус останется между нами?

— Ладно, черт с вами, дарю вам мое слово, как сувенир на память о добром старике Шмидте. — Он чокнулся с Вайсом. — Все-таки вы симпатичный малый. Симпатичный своей откровенностью. И я бы еще добавил — смелостью.

— Почему смелостью?

— Ну как же! Пришли к английскому шпиону и заявляете ему, что он английский шпион.

Вайс лукаво усмехнулся:

— Вот здесь вы ошибаетесь, господин Шмидт. Вы не обратили внимания на то, что я все время держал руку в кармане. А там у меня... — И Вайс торжествующе положил на стол «зауэр».

Шмидт пришел в восхищение.

— Нет, это просто великолепно! Значит, я был на волосок от смерти. — Признался: — Ну, знаете, такого со мной еще никогда не бывало.

— Что ж делать... — сконфуженно сказал Вайс. — Приходится быть бдительным.

— Да, — согласился Шмидт, — теперь я вижу, что вы не такой уж простак. — Поднял рюмку: — Ваше здоровье!

Потом они посплетничали о баронессе.

— Баронесса встревожена тем, что бывшие владельцы ее поместья приняли английское подданство, — сказал Вайс. — Боятся, что если Германия не победит Англию, то подлинные хозяева поместья когда-нибудь обратятся в суд.

— Но пока она выгадала, — возразил Шмидт, улыбаясь. — Английская авиация, как вы знаете, не бомбит английской собственности за рубежом.

— Я этого не знаю, — сказал Вайс. — Это вы знаете.

Но Шмидт не захотел придать значения его словам.

— Я предпочитаю вкладывать свои деньги в патенты, — заметил он. — Портативно. И устойчиво, как твердая валюта.

— Кстати, — сказал Вайс, — я вам все-таки кое-что принес. Разумеется, это не вырезки из газет.

— Да? — лениво протянул Шмидт. — Покажите, любопытно...

Вайс вынул из кармана своего кителя пакет, полученный от Эльзы, и протянул Шмидту.

Тот углубился в чтение.

Вайс, оставив пистолет на столе, встал, прошелся по комнате, откинул штору. В саду был темно. В нижнем этаже светилось только одно окно, и свет из него падал на песчаную дорожку.

— Послушайте, вы, сотрудник абвера! — сказал Шмидт. — Вы, предполагая, что я английский разведчик, принесли мне очень важные материалы о военных изобретениях. Что это значит?

— Да вы же не разведчик, — оглянувшись через плечо, ответил Вайс. — Я показал их почтенному немецкому промышленнику.

— Врете.

Шмидт стоял, положив руку на пистолет Вайса. И хотя говорил он негодующим тоном, напряженное выражение его лица свидетельствовало скорее о торжестве, чем о негодовании.

— Ладно, — примирительно сказал Вайс. — Я хотел оказать вам любезность. А теперь верните мне бумаги. И выпьем. — Он подошел к столу.

— Нет, — сказал Шмидт. — Все будет не так.

— А как?

— Я приобретаю ваши бумаги и плачу вам за них английскими фунтами. — И уже тоном приказа произнес: — Садитесь за стол и пишите расписку.

— Ну конечно, — сказал Вайс. — Я готов. — Уселся за стол, полуобернулся. — Но сумма, надеюсь, будет четырехзначной?

— Пишите, — повторил Шмидт. И продиктовал. — «Я, такой-то, получил одну тысячу фунтов за информацию, переданную Интеллидженс сервис». И поставьте рядом со своей подписью сегодняшнее число.

— Ну что за глупые шутки! — взмолился Вайс.

— Пишите, — вновь повторил Шмидт, встав за спиной Вайса и упирая ему в затылок ствол «зауэра».

— Не давите так, мне больно.

Шмидт, убедившись, что Вайс в точности выполнил его требование, указал пистолетом на закусочный стол:

— Ну-с, теперь вы можете пересечь туда и выпить уже за наши с вами общие успехи.

Вайс покорно подчинился и, наполняя дрожащей рукой свою рюмку, пролил несколько капель коньяку на скатерть.

— Бросьте трусить! — презрительно сказал Шмидт. — Теперь уже поздно. Трусить нужно было раньше, когда вы решились прийти ко мне.

— Я понимаю, — подавленно пролепетал Вайс, поднимая на Шмидта глаза, жалобные, тоскующие... — Я в ваших руках.

— Вот теперь вы умница. Значит, не потеряли способность соображать. А сейчас слушайте и запоминайте.

Шмидт подробно и точно сообщил Вайсу поучающим тоном, в чем будут состоять его функции. Когда он закончил, Вайс спросил несколько разочарованно:

— И это все?

— Да.

— И только ради этого вас сюда перебросили?

— Ну, это не вам со мной обсуждать.

Вайс выпрямился. Лицо его стало жестким. И вдруг он приказал Шмидту:

— А ну, сядьте. И перестаньте вертеть перед моей физиономией моим же незаряженным пистолетом. — Выхватил из кармана другой пистолет. — А вот этот, — сказал он, — с полным комплектом. И действует бесшумно, если вы обратите внимание на глушитель. Тоже зауэровское производство, но для специального, не фронтового назначения. — И пожурил: — Нехорошо, мистер, как вас там... Наверно, давно работаете, и вдруг — такой грустный финал. У вас есть жена, дети, родственники? Почему вы молчите? — Защелкнул наручники на вытянутых вперед руках Шмидта. Объяснил: — Это только в целях сохранения вашей же жизни. Вдруг разгрызете ампулу с ядом и удалитесь в мир иной, лишив нас ценных показаний...

Шмидт молчал. Вайс привязал его к спинке тяжелого кресла, повернул ключ в двери и начал тщательно, сантиметр за сантиметром, обследовать комнату.

Лицо Шмидта стало серым, на висках выступили капельки пота.

Вайс налил ему коньяку, дал выпить из своих рук, спросил:

— Почему вы нервничаете? Ведь англичане славятся своим хладнокровием. Вы меня просто разочаровываете.

В книжном шкафу Вайс без особого труда обнаружил радиопередатчик английского производства. Осмотрев его, занялся портсигаром Шмидта: осторожно разламывал каждую сигару и в одной из них нашел тоненький листок шифровки. Потом сел, взял в руки молитвенник и внимательно перелистал. Над отдельными строками псалмов оказались еле заметные на бумаге шероховатости. Сказал с упреком:

— Все-таки вы консерваторы. Почему-то пользуетесь для кода священным писанием.

Раскрыл чемодан Шмидта, вынул из него новые полуботинки на толстой каучуковой подошве, понюхал, надавил пальцем, похвалил:

— А вот и она, ваша прославленная мастиковая взрывчатка. Остроумно. Такой способ хранения — новость. — И сно-

ва подошел к книжному шкафу. Между страницами книг были заложены крупные английские купюры.

Шмидт наконец открыл рот:

— Возьмите деньги себе. Я считаю, вы их заработали.

— Будьте спокойны, не растеряюсь, — сказал Вайс. Сел напротив Шмидта, испытующе глядя на него, спросил: — Хотите еще выпить?

Шмидт кивнул.

Вайс налил половину рюмки. Шмидт умехнулся.

— Что же вы жалеете мне мой же коньяк?

— Я не хочу, чтобы вы напились. — Осведомился деловито. — Дадите о себе нужные сведения?

— Нет, — отрезал Шмидт.

— Значит, предпочитаете ораторствовать на аудитории, которая будет вас обрабатывать, применяя все доступные ей средства?

— Предпочитаю.

— Но ведь вы все равно заговорите.

— Нет.

— Вы еще не знаете, какими мы располагаем эффективными средствами...

— Я погибну с честью, как офицер армии его величества.

— Ну какой там офицер! Рядовой шпион. Кстати, так скоро погибнуть мы вам не дадим: у нас отличные медики, они уж позаботятся максимально продлить ваше существование, в каком бы противоестественном состоянии ни находились ваши кости, кожа и некоторые органы.

— Вы, оказывается, знаток.

— Можете не сомневаться, вами займются настоящие знатоки этого дела.

Шмидт тяжело дышал, но не проронил ни слова.

Вайс сказал примирительно:

— Послушайте, в конце концов, любезность за любезность. Вы не сообщите нашим, сколько у вас было наличных денег. А я за вашу скромность сообщу по указанному вами адресу о вашей смерти. И из уважения к вашей стойкости отмечу: умер с достоинством. Это должно доставить вам удовольствие.

— Ладно, — согласился Шмидт. — Запомните: Уилсон Дуглас, Манчестер Цайт Хилл, сто восемнадцать, миссис Энн Дуглас. — Пояснил: — Это моя мать.

— У вас больше нет близких родственников?

— Люди моей профессии не обременяют себя ни женами, ни детьми. Это было бы эгоистично.

— А вы, оказывается, совестливый человек!

— Интересно, как бы вы заговорили, если бы оказались на моем месте?

— Да, — согласился Вайс, — мне самому интересно знать, о чем бы я тогда с вами говорил.

— Не поменяются ли нам местами? — иронически предложил Дуглас.

— Допускаю, что мне еще представится такая возможность.

— Желаю, чтобы это поскорее осуществилось, — буркнул Дуглас.

— Когда вас казнят, ваша мать будет получать за вас пенсию?

— Едва ли, — угрюмо сказал Дуглас. — Во всяком случае, не скоро. Ведь абвер не пошлет официального извещения о моей смерти. А у чиновников из Интеллидженс сервис, пока они не получают точных данных, будут основания полагать, что после провала я купил себе жизнь ценой измены.

— А почему бы вам в самом деле не пойти на такую сделку с нами?

— Я англичанин.

— А мы немцы.

— Вы фашисты.

— А вы демократ.

— Я не желаю обсуждать с вами того, что касается только моего народа.

— А когда из вас в течение долгого времени будут изготавливать кровавый бифштекс, вы тоже будете считать, что этот бифштекс лучшего сорта, потому что он из мяса англичанина?

— Знаете, — сердито сказал Дуглас, — мне надоело чести с вами язык. Зовите ваших агентов.

— Я не нуждаюсь в ваших советах, — заметил Вайс. — И радуйтесь, что вам пока предоставлена краткая возможность сидеть в удобном кресле.

— Да, я слышал, вы сажаете заключенных на бутылки из-под шампанского, как некогда азиаты сажали пленников на колы.

— Вы можете попросить, чтобы бутылки из-под французского шампанского заменили для вас бутылками из-под английского виски.

— Чего вы тянете? Чего вы от меня хотите?! — раздраженно воскликнул Дуглас.

— Хочу знать цель вашего пребывания здесь. — И Вайс предложил: — Давайте побеседуем спокойно. — Вложил в рот Дугласу сигару, щелкнул зажигалкой. Несколько помедлив, сказал: — Когда вы изволили завербовать меня, — замечу, весьма неоригинальным способом, — было ясно, что вас интересует техническая документация производства новых синтетических веществ на одном из химических предприятий Освенцима. Так?

— Да, я получил строжайшее указание: добыть здесь

только техническую документацию и ничем другим не заниматься.

— Ведь это сложная операция, и обойдется она вашему правительству недешево.

— Значит, документация стоит того. Что касается меня, то за документы «Фарбен» мне обещана крупная сумма, вот и все. Вам ясно?

После короткого молчания Дуглас сказал сокрушенно:

— Никогда еще я не был в столь дурацком положении. Ах, если бы я мог пристрелить вас, чтобы не иметь свидетеля печального казуса в моей биографии!

— Вы так честолюбивы?

— Я профессионал. У меня свои понятия о чести.

— Совершить убийство для того, чтобы сохранить репутацию безукоризненного разведчика?

— Ну зачем так грубо? Просто устранить. — Спросил: — Вы, очевидно, пришли сюда не один?

— Конечно. Я принял меры, чтобы вы чувствовали себя со мной в полной безопасности.

— И вы считаете целесообразным ликвидировать меня?

— Ну что вы! — пожурил Вайс. — Разве можно быть таким мнительным?.. — Предложил: — Если вы настроены столь нервно, давайте на этом простимся.

Дуглас заколебался.

— И вы просто так со мной расстанетесь?

— Но ведь вы, оказывается, работаете здесь не столько затем, чтобы повредить нам, немцам, сколько для того, чтобы принести пользу своим фирмам, заинтересованным в немецких патентах. Вы почти безвредны. Пока я оставлю вас в покое. Но, возможно, вы мне еще пригодитесь. Сидите смирно, я сниму с вас наручники. Без лишних телодвижений. Помните, что вы у меня в руках.

Через минуту дверь за Вайсом закрылась.

Уже на следующий день ему стало известно, что герр Шмидт срочно отбыл из Варшавы: видимо, его призывали неотложные дела фирмы.

Эльза за последнее время стала выглядеть совсем плохо: исхудала, осунулась. Теперь ей каждый день приходилось дважды выступать в вечерних представлениях и это была немалая физическая нагрузка.

О Зубове она сообщала Вайсу только то, что непосредственно относилось к работе. И по сдержанности, с какой она говорила о нем, по ее тоскующему лицу Иоганн видел, что

те отношения, которые Зубов по ее же указанию установил с Бригиттой, причиняют Эльзе душевную боль.

Покинув кабаре, Зубов лишился брони, освобождающей его от военной службы, как и других артистов, предназначенных «поддерживать в народе хорошее настроение», — так было сказано в циркуляре Геббельса. Но благодаря связям Бригитты Зубов занял пост инспектора по физической подготовке в организациях «гитлерюгенда», а в ближайшее время рассчитывал и на нечто большее.

Зубов жаловался Эльзе, что Бригитта чрезвычайно ревнива.

По ночам он часто исчезал из дому, чтобы вместе со своими новыми товарищами, среди которых было уже пять поляков, немец-фольксдойч, два словака и один венгр, — с этим интернационалом, как он говорил, подышать «далеко не свежим воздухом»... Ибо там, где пламя пожаров на базах с горючим, пыль от взрывов на складах с боеприпасами и пальба, там не легко дышится.

И когда он под утро возвращался домой, Бригитта, прошедшая бессонную ночь в тревожном ожидании, ревнивым оком искала на его лице следы губной помады и нюхала запыленную одежду, страшась обнаружить запах чужих духов.

Ее откровенная ревность не очень тяготила Зубова, скорее, пожалуй, даже льстила его мужскому самолюбию.

При встречах с Эльзой, которую он считал более осведомленной в тонкостях немецкого языка, Зубов деловито вылавливал из ее речи незнакомые слова, внимательно повторял их, запоминал. И не замечал, что такие уроки немецкого языка причиняют ей боль.

И когда Эльза презрительно отзывалась о его немке, Зубов возражал:

— Нет, знаешь, она все-таки ничего. Ее старик полковник был порядочной гадиной, обращался с ней как с бездушной куклой и вынуждал ко всяким пакостям.

— Молчи! — с отчаянием просила Эльза. — Я не хочу этого слушать!

— Но почему же? Ты должна все знать об этой публике, — возражал Зубов. — А ведь Бригитта, в сущности, славная... Не успела окончить гимназию, как ее сунули замуж. Знаешь, я ее иногда просто жалею.

— Ну вот! — негодуя сказала Эльза. — Еще немного — и ты станешь образцовым супругом фашистки.

— Да она не фашистка, она добрая и немного несчастная. Но сейчас, кажется, счастливая. — Похвастал: — И я даже уверен, теперь она будет по-настоящему горевать, когда в ближайшее время снова овдовеет.

— Значит, она тебя любит?

— В том-то и дело. Я даже сам не ожидал. — И Зубов

пожал своими могучими плечами. Лицо его было растерянным.

— Ты, наверно, там с ней абсолютно обуржуазился, — гневно заметила Эльза. — Разовьет она у тебя барские наклонности.

— Да нет, она хорошая женщина, — запротестовал Зубов. — Просто ей в жизни не везло. И не такая уж она ба-рахольщица. Предлагает: «Убежим в Швейцарию и там будем жить в горной хижине вдали от всего света...»

— С милым рай и в шалаше, — раздраженно перебила его Эльза.

Зубов сказал задумчиво:

— Действительно, я к ней теперь стал как-то по-хорошему относиться. Понимаешь, последнее время заметил, что она тайком от меня плачет. В чем дело? Приставал-приставал, и вдруг она созналась. Встала на колени и умоляет, чтобы я простил ее. Ну, думаю, засыпался в чем-нибудь, и она меня выдала. А оказалось, смешно сказать, у какого-то ее предка прабабка была не арийка. Ну вот, она призналась, что даже на исповеди это скрывала.

— Значит, особым доверием она тебя дарит?

— Ну как же, она женщина принципиальная. Не захотела обманывать меня, поскольку, по ее мнению, я чистейший и образцовый ариец.

— А при чем здесь ты?

— Но я же ее супруг, с вытекающими отсюда последствиями. Вот и все.

— Влюбился?

— Ну, это ты зря, — возразил Зубов. — Во-первых, ты мне сама велела. Во-вторых, повторяю, я к ней отношусь теперь по-настоящему. А в-третьих, благодаря моему безопасному положению, я могу теперь действовать активнее. С этим венгром, Анталом Шимоном из города Печ, бывшим шахтером, мы разработали планчик операции на шахтах Фюрстенгрубена в окрестностях Освенцима — там необходимейшее сырье для «Фарбен». Кое-что можно затопить, используя паводковые воды, а кое-что и подорвать.

— А по ночам продолжаешь одиночные расправы?

— Чех Ян Шишка оказался отличным снайпером.

— А ты?

Зубов усмехнулся:

— Дилетант, спортсмен. Недавно выступил в женском атлетическом клубе. Знаешь унтершарфюрера из гестапо? Бывший чемпион Мюнхена по вольной борьбе. И представь, броском через плечо я швырнул его на ковер так, что он сломал себе ногу, теперь лежит в госпитале. И я послал его жене некоторую сумму, чтобы этим гуманным поступком заслужить благоволение местного общества.

— А взрыв бомбардировщиков в воздухе?

— Это помимо меня. Вайс достал у своих специалистов в школе ампулы, взрывающиеся от вибрации. Ящик с взрывателями привез на автосклад мой товарищ, немец-шофер с автобазы. Только и всего. И, как видишь, наша техника не подводит гитлеровских асов. Некоторым даже удастся благополучно приземлиться с парашютом и ждать окончания войны на советских харчах.

— А обо мне ты когда-нибудь думаешь? Я все-таки твой друг, и мне тут живется несладко, — неожиданно спросила Эльза.

Зубов потупился, пробормотал неохотно:

— Стараюсь не думать...

— Почему?

— Но ведь я ничем не могу облегчить твою жизнь.

— А я думаю о тебе, — резко сказала Эльза, — и много думаю.

— Напрасно, — возразил Зубов. — Я теперь наловчился действовать аккуратно. И потом у меня здесь надежная «крыша».

— Вместе с возлюбленной, этой немкой...

Зубов поднял голову и, глядя Эльзе в глаза, серьезно сказал:

— Для меня она человек. И, если хочешь знать, я ей благодарен за многое.

— Ну как же! — усмехнулась Эльза. — Не может сомкнуть глаз, пока ее любовник не соизволит вернуться и пересказать ей все те нежные слова, которым я его обучила.

— А что? — сказал Зубов. — Слова хорошие, сердечные.

— Ладно, — сказала Эльза, вставая. Приказала: — Уходи! И приходи теперь только в тех случаях, когда будет самая острая необходимость.

— Но я же по тебе все-таки скучаю... — взмолился Зубов. — Знаешь, как тягостно долго быть без советского человека! Я даже худею, когда тебя долго не вижу.

— Оно и заметно! — ядовито бросила Эльза. И, холодно пожав руку Зубова, посоветовала: — Знаешь, ты все-таки береги себя. — И добавила шепотом: — Хотя бы для того, чтобы твоя мадам вновь не овдовела.

Зубов ушел, недоумевая, почему в последнее время Эльза так странно стала вести себя с ним — задиристо, обидно и вместе с тем с какой-то скрытой горечью.

Он испытывал к ней особое чувство после того, как, рискуя жизнью, она спасла его от преследования гестаповцев и сделала своим партнером в кабаре. Но общаться с молодой женщиной и любить одни ее добродетели — это было не в характере Зубова. Поэтому всякий раз, когда они репетиро-

вали свой акробатический номер, Зубов, подхватывая ее после пируэта в воздухе, неохотно выпускал из своих объятий. И когда Эльза однажды залепила ему пощечину, он вынужден был признаться, что покоряется этому освежающему жесту только потому, что она выше его по служебному положению и он должен безропотно соблюдать армейскую субординацию. Правда в Советской Армии такое обращение с подчиненными строго карается, но, поскольку оба они находятся на вражеской территории, все это вполне законно.

Бригитту частенько навещали знакомые ее покойного супруга, и служебное положение некоторых из них представляло существенный интерес для получения информации. Но Зубов не обладал умением вести непринужденные беседы, в процессе которых можно было бы ловко коснуться вопросов, интересующих нашу разведку. И большого труда ему стоило скрыть свою радость, когда прибывший с Восточного фронта командир дивизии, бывший офицер рейхсвера, участник первой мировой войны, полковник Фурст немногословно, с чрезвычайной серьезностью охарактеризовал поразительную стойкость русских солдат и хладнокровное бесстрашие советских офицеров. Он рассказал о новом русском оружии ужасающей сокрушительной силы, названном женским именем «катюша». По сравнению с советскими «катюшами» немецкие огнеметы — это то же самое, что бензиновые зажигалки против термитного снаряда.

Полковник даже позволил себе иронически заметить, что немецкий генеральный штаб дезинформировал армию, расписав неудачи русских во время финской кампании, но скрыв их успех в прорыве линии Маннергейма, не уступавшей по своей мощи линии Мажино. И заявил, что адмирала Канариса, оказавшегося неспособным разгадать тайные, скрытые до того силы противника, следовало бы вместе с его бездарными агентами повесить на Бранденбургских воротах.

И уже вскользь Фурст отметил, что советский морской флот своевременно получил приказ о боевой готовности № 1 и внезапные атаки его немецкими морскими силами и авиацией оказались в первый день войны безуспешными.

— В связи со всем этим я полагаю, — заключил Фурст, — что война с Россией примет затяжной характер, и это потребует не только исключительного самообладания нашего генералитета, но и предельной самоотверженности всей нации.

И тут же Зубов с таким восторгом предложил выпить за здоровье полковника, что тот даже несколько смутился. Он никак не ожидал столь почтительного отношения к себе, особенно после того, как в районе Ельни потерял почти весь личный состав своей дивизии.

Рассматривая на свет наполненный вином бокал, Фурст сказал с грустью:

— На Днепре, в районе Соловьевской переправы, советский офицер, командовавший зенитной батареей, обратил зенитные пушки против моих танковых подразделений. Я испытывал известные трудности, считая не совсем удобным докладывать командующему группировкой фельдмаршалу фон Боку об этом конфузном казусе, принесшем нам значительный урон. Но когда на подступах к Туле русские зенитные пушки нанесли куда более значительный урон этому выскочке, любимцу фюрера танковому королю Гудериану, я счел это для себя утешительным. Ибо масштабы моих потерь несоизмеримы с конфузом Гудериана. Но я надеюсь, — добавил он в утешение, — что немецкий технический гений превзойдет русскую техническую мысль. И если новые наши машины будут соответствовать своим несколько романтическим названиям, то «пантеры» и «тигры» так же свирепо разделяются с русскими войсками, как хищники, вырвавшиеся из клетки на цирковой арене, с перепуганной толпой. Во всяком случае, мы твердо рассчитываем на подобный результат.

— Вы уже видели эти новые машины? — поинтересовался Зубов.

— О, нет. Пока их производство и испытания на танкодромах сохраняются в строжайшей тайне.

Стараниями Бригитты Зубов получил теперь новую должность — в строительной организации рейхсминистра доктора Тодта. Зубов руководил здесь полувоенной частью. Она состояла из немецких граждан, отбывающих трудовую повинность на разного типа стройках, связанных с нуждами вермахта. Благодаря своей сообразительности Зубов довольно быстро занял в этой организации прочное положение.

И совершенно неожиданно он обнаружил в себе дарования тонкого и дальновидного дельца. Так, например, по личным просьбам местных руководителей гестапо и СС, а также имперских особых уполномоченных он щедро отпускал высшие сорта цемента и стальной прокат на сооружение в их особняках обширных и благоустроенных бомбоубежищ. А потом при помощи своих заказчиков или актировал эти дефицитные, остро необходимые фронту материалы, как не доставленные на место в связи с аварией на железнодорожном транспорте, или же подменял сортами, малопригодными для оборонительных сооружений.

Когда Вайс похвалил его за то, что он стал работать на более высоком уровне и с более плодотворными результатами, Зубов признался со вздохом:

— Переквалифицировался в блатмейстера, только и всего. Я думал, у немцев в этом деле порядочек — строжайший

учет, дисциплинка. А на самом деле что? Тянут себе все, что плохо лежит. Ну и жулье!

— Ты только не вздумай отказываться от подарков, — строго сказал Иоганн.

— Значит, учишь взятки брать?

— Именно. И соразмерно твоему положению, чтобы тебя уважали.

— За взятки?

— Не за взятки. — Иоганн постарался несколько смягчить выражение. — Просто ты должен помнить о своем престиже и не ронять его по пустякам.

Зубов вытянул пальцы, которые до того стыдливо поджимал, показал два перстня, украшенные бриллиантами, спросил смущенно:

— Видишь, до чего дошел?

Вайс осмотрел кольца, предупредил:

— Смотри, чтобы фальшивых не всучили. Дураков здесь не очень-то любят. И учти: когда еще будут давать, нужно капнуть на камень, — если капля растекается, значит, фальшивые. А лучше всего в кислоте держать, — если камни не потускнеют, значит, настоящие. Человек, знающий толк в драгоценных камнях, заслужит больше уважения в этом обществе, чем тот, кто прочтет лишнюю книгу.

— Да на черта мне эти бриллианты! — возмутился Зубов.

— Ты дурака не валяй! — рассердился Иоганн. — Такой перстень при случае можно в лагере на человека обменять, и, пожалуй, даже не на одного.

48

Наступил, период, когда Александр Белов полностью и окончательно перевоплотился в абверовского офицера Иоганна Вайса. Он научился мыслить и вести себя так, как полагалось мыслить и вести себя Иоганну Вайсу, облеченному доверием вышестоящих начальников, руководителей немецкой разведки. Он сумел заслужить их уважение не только своей безупречной исполнительностью, но и инициативностью, — а это было качество, не столь уж распространенное среди немецкого офицерства. И постепенно ему удалось добиться не одного лишь доверия к себе. Иоганн Вайс приобрел прочную репутацию человека, способного выполнять самые замысловатые, самые щепетильные поручения, сохраняя при этом скромность, бескорыстие и молчаливую преданность тем, от кого он подобные поручения получал.

Но завоевать симпатии Лансдорфа, в котором Вайс безошибочно угадал человека незаурядного ума, было не так просто, пришлось прибегнуть к более усложненному методу.

Прежде Иоганн безропотно соглашался со всеми рассуждениями Лансдорфа. Теперь, хотя это было и не всегда безопасно, он позволял себе, конечно в границах сдержанной почтительности, высказывать суждения, отличные от его мнений.

Так, Вайс стал тонко и вместе с тем настойчиво внушать Лансдорфу, что разведывательные неудачи абвера на Восточном фронте объясняются вовсе не тем, что отбор агентов якобы недостаточно тщателен и в их подготовке допускаются оплошности.

Все дело в конъюнктуре. И в оккупированных районах и в тылу население Советской страны настолько воодушевлено недавними успехами Красной Армии и одновременно так возмущено поведением частей СС, служб гестапо и армии вермахта, что, по существу, все русские стали как бы добровольными сотрудниками советской контрразведки. И в этих условиях даже самые выдающиеся агенты немецкой разведки проваливаются вовсе не потому, что они недостаточно подготовлены. Просто они как бы попадают в положение людей, очутившихся вдруг среди жителей иной планеты, обычаи и нравы которых столь отличны, столь чужды, что приспособиться к ним невозможно.

В качестве примера Вайс привел недавнюю историю с агентом Байеном.

Этого опытного провокатора, еще в тридцатых годах проникшего в одну из коммунистических организаций Кельна, долго и тщательно готовили для заброски в советский тыл. В лучшем госпитале его содержали на специальном рационе, чтобы, резко похудев, он походил на заключенного. В концлагере Байен потерял около восемнадцати килограммов веса. Затем его подвергли порке под местной анестезией, чтобы оставить телесные доказательства экзекуции. И ради него организовали групповой побег заключенных из концлагеря. Вместе с ними он благополучно достиг расположения советских войск. Но когда Байен, действуя якобы по поручению подпольной немецкой организации, предложил советскому командованию выпустить фальшивые продуктовые карточки и разбросать их с самолетов над Германией, чтобы нарушить нормированное снабжение населения продуктами и вызвать голод, это его предложение показалось подозрительным. И в дальнейшем советская контрразведка установила, что Байен — немецкий агент.

А вся эта операция была затеяна для того, чтобы усилить в народе ненависть к русским. На самом деле фальшивые продуктовые и промтоварные карточки разбрасывали над Германией англичане, стремясь внести хаос в снабжение продуктами немецкого населения. Предполагалось, что в случае успеха операции Байена ответственность за эту провокацию

удастся свалить на русских. Но Советы по непонятной для немецкого ума логике не послушались Байена.

Само собой разумеется, Вайс в свое время информировал Центр о махинациях, касающихся засылки провокатора Байена. Так же, как и о том, что Байен передаст советскому командованию карту, на которой будет отмечена точка в одном из горных районов Германии, где якобы находится секретный научный центр, занимающийся разработкой нового смертоносного оружия. И о том, что Байен будет настойчиво рекомендовать, чтобы на эту точку был совершен массированный налет советских бомбардировщиков. На самом деле, как выведal Вайс, там находился только детский туберкулезный санаторий. И «заказ» на разрушение этого объекта поступил к абверовскому агенту Байену лично от министра пропаганды Геббельса, который уже заранее написал для редактируемого им еженедельника «Дас Рейх» страстную негодующую статью о чудовищном зверстве большевиков, разбомбивших приют больных немецких детей. Тот факт, что туберкулезный санаторий оказался в неприкосновенности, привел Геббельса в ярость.

Вайс, играя на тщеславии Лансдорфа, высказывал свои соображения о том, что, поскольку война с Россией принимает втяжной характер, сейчас следовало бы подумать о создании крупной разведывательной группы для длительного оседания в тылу противника. Не проявляя излишней поспешности, стоило бы создать разветвленную сеть. Причем не обременять пока агентов скоропалительными диверсионными актами и необходимостью передавать оперативную информацию, а дать им возможность акклиматизироваться с учетом изменившейся обстановки. И даже если их бездействие затянется, располагать таким агентурным фондом для господина Лансдорфа все равно, что абонировать в самом надежном международном банке персональный сейф, ключ от которого будет храниться только у него лично.

— Почему у вас возникают подобные мысли? — подозрительно осведомился Лансдорф.

Вайс ответил в высоком стиле:

— Время разрушает даже величайшие горные вершины, превращает их в песчаные пустыни. А мне не хотелось бы затеряться в вихре различных обстоятельств, во всяком случае, выпасть из вашего поля зрения.

Лансдорф улыбнулся польщенно.

— Что ж, — сказал он, немного подумав, — идея создания информационного фонда, связанного с длительным оседанием наиболее надежных агентов на территории противника, не лишена смысла. — И похвалил Вайса: — У вас обнаруживаются не только тактические способности, но и постепенно вырабатывается стиль стратегического мышления. Ка-

жется, я в вас не обманулся. — Заметил ворчливо: — А вот в отношении майора Штейнглица, бывшего вашего непосредственного начальника, моя проницательность, как всегда, безошибочна. Работает грубо и примитивно. У нас возникли подозрения, что польский профессор, бывший социал-демократ, доктор медицины Ливинский пользуется популярностью у населения вследствие своих антинемецких настроений. Я дал указание опубликовать в выходящей на польском языке варшавской газете письмо начальника эйнзатцен-группы Вольфа Губера, лично участвовавшего в казнях польских патриотов. В письме выражалась благодарность этому Ливинскому за то, что тот излечил его от опасного заболевания. То была великолепная публичная компрометация этого либерала. Поляки объявили ему бойкот. И нервный интеллигентик чуть было даже не покончил самоубийством.

Но вот майор Штейнглиц, почувствовав недомогание, явился к Ливинскому, чтобы тот оказал ему медицинскую помощь. Естественно, Ливинский отказался. И Штейнглиц не нашел ничего лучшего, как пристрелить его. Болван! Испортил нам такую изящную операцию. Плебей, возмнивший себя носителем офицерской чести!

Байс заступился за Штейнглица:

— Майор Штейнглиц в любую минуту готов не колеблясь отдать свою жизнь за фюрера.

Лансдорф ответил, скривив губы:

— Он не встретит в этом с моей стороны никаких препятствий. Напротив, я готов всячески содействовать тому, чтобы для достижения своей цели он как можно скорее отправился на фронт.

Байс дважды посетил дом Бригитты Вейнтлинг на правах старого знакомого Зубова.

Представ перед Беловым в роли избалованного комфортом и нежным вниманием супруги, выхоленного и модно одетого красавчика, Зубов в первые минуты чувствовал себя сконфуженным и никак не мог преодолеть некоторого смущения. Он сидел в обставленном тяжеловесной мебелью мрачном кабинете и скулил:

— Живу так, словно меня наняли сниматься в роли не то помещика, не то графа. Первое время каждый день в кино ходил — искал фильмы из великосветской жизни. А фашисты гонят одну политику, не на чем подковаться. Приходится читать на ночь исторические романы. Но пишут в них черт знает о чем, а бытовой информации — с гулькиной нос. Такая это, понимаешь, морока — овладевать техникой настоящего барина.

Вот, скажем, перчатки. Простая вещь. А оказывается, су-

ществует целая наука, когда, где, какие надевать. И цвета нельзя путать. То одну нужно в руке держать, то обе.

Обеденным инструментом я овладел. Но вот хамством — не вполне. Уронишь, скажем, вилку на пол — и жди, чтобы старик официант ее с пола поднял. А ты сиди, как сфинкс. Боже тебя сохрани поблагодарить даже кивком человека за то, что он тебе шинель подаст, дверь перед тобой распахнет. Ухаживают, как в госпитале за инвалидом. И рожа при этом должна сохранять спесивое выражение, будто перед тобой не человек, а так, чучело.

Или вот Бригитта. Она ревнивая. Приходят в гости ее знакомые дамы и так начинают трепаться — только подморгни, будь здоров! Ну, я отмалчиваюсь или о чем-нибудь таком солидном разговариваю. А потом Бригитта меня упрекает в невоспитанности. Я ей: «Да ты что, смеешься?» Положат ногу на ногу так, что смотреть неловко, ну, и разговор, мягко выражаясь, игривый... А одна такая нахальная оказалась, я даже возмутился. Разве можно? В чужом доме, да еще у подруги. Упрекнул. А она сощурилась и заявила: «Вы, оказывается, слишком утомлены... Бедная Бригитта! С вами она обрекла себя на вечную верность своему покойному супругу». И такую презрительную рожу скорчила, будто я ее смертельно оскорбил. А что я должен был делать?

Вайс усмехнулся, сочувственно посоветовал:

— Ну, во всяком случае, мог бы проявить чуткость в пределах дозволенного.

Зубов рассердился.

— Дозволенного! Вот именно — дозволенного. А они здесь считают: раз война, так все дозволено. — Вздыхнул: — Как соберутся бабы, чувствую себя словно в окружении. Неизвестно, с какой стороны ждать атаки. А если перехожу в активную оборону, потом от Бригитты проработка: грубиян, бестактный, не умею себя вести, не понимаю шуток.

А если с какой-нибудь поговорю о чем-нибудь серьезном — скандал. Ревность. Уверяет: если мужчина наедине с женщиной говорит о серьезном, значит, он этим маскирует свои легкомысленные намерения. А вслух при всех можно у любой расхваливать ножки или другие детали, — пожалуйста, сколько угодно...

С мужчинами, правда, легче. Я, понимаешь, строю из себя эдакого спесивого гордеца, любителя охоты. Мол, это моя страсть. Правда, на одного подлеца нарвался — он почти во всех странах побывал на охоте. Но я его Бремом сразил.

— То есть как это?

— Ну, читал я в свое время, еще в школе. И унизил толкостями познания животного мира. А так — больше в картишки после ужина. Но, понимаешь, неловко: проигрываю. —

Попросил жалобно: — Ты бы сказал Эльзе, пусть хоть под отчет даст, что ли! Стыдно мне у Бригитты брать.

— А она что, скупая?

— Да нет, она добрая. Но некрасиво ее деньги всяким сволочам проигрывать. Сама-то она из семьи врача, выдали замуж за пожилого полковника. Отец ее с социал-демократами когда-то путался, ну вот и пришлось от фашистов дочерью откупиться.

— А что ты такой бледный?

— Да вот все головной болью мучаюсь.

— Ты что, выпивать стал?

— Какое там выпивать!... — Объяснил огорченно: — Обстреляли мы недавно на шоссе колонну грузовиков, думали, там охрана, а оказалось — консервные банки с газом «Циклон Б». Ну, и надышались этой отравой.

— Ну, а с Бригиттой как у тебя отношения?

Зубов сконфузился.

— Неустойчивый я оказался, раскис. — Заявил жалобно: — Но мы же все ж таки интернационалисты. Нельзя же всех немцев одной меркой мерить.

— А при чем здесь твоя дама?

— А если она ничего, душевная?

— Да ты что, влюбился?

Зубов потупился.

— Не знаю, но только жалею ее очень... Такая она, понимаешь, сейчас счастливая, будто я для нее — подарок на всю жизнь. Говорит, ничего ей на свете не надо, только вместе быть. Вообразила, будто я такой хороший — дальше некуда и таких не бывает. А я что? Ну, отношусь к ней по-товарищески. Кое-что объясняю, чтобы не была такая отсталая.

— Учти, Зубов: женщины — народ коварный. Еще влипнешь со своей откровенностью.

— Да нет, я с ней о политике не говорю, — так, о жизни...

В осунувшемся, исхудалом лице Зубова Иоганн впервые заметил смятенность, растерянность, скрытую печаль. Но все это явно не было связано с его главной деятельностью, где Зубова никогда не покидали самообладание, неколебимая решительность, бесстрашие.

Вошла Бригитта — тоненькая, миниатюрная, удивительно пропорционально сложенная. И когда она, сдержанно улыбаясь, остановилась в отдалении, казалось, весь свет, льющийся из двустворчатых окон в эту просторную комнату, устремлен только на нее одну. Одета она была скромно, просто. На высокой обнаженной шее никаких побрякушек, — а в то время в Германии входили в моду металлические позолоченные ожерелья в виде ошейников.

Бригитта встретила Вайса очень сердечно:

— Муж мне столько хорошего говорил о вас.

Иоганн, нахмурившись, покосился на Зубова. Тот поспешно объяснил:

— Я рассказывал Бригитте о твоих подвигах на фронте.

— Я выполнял обычный долг солдата.

За завтраком разговор был несколько принужденным. Вайс заметил, что его сдержанность и резкость обычных для наци суждений не вызвали симпатии Бригитты. Зубов почти все время молчал, и Иоганн решил пока отложить тот разговор с ним, ради которого он пришел сюда. А покинув дом Бригитты, тревожно размышлял о том, как бы эта сентиментальная, романическая история не обернулась плохо для их общего дела.

Как-то в разговоре Лансдорф между прочим вспомнил об Ольге и сказал Вайсу, что, если русская, гостящая в доме баронессы, уже обрела зрение и психическое равновесие, ее надо будет в самое ближайшее время увезти, так как все уже подготовлено для заброски ее в советский тыл.

Так же обстояло и с Тихоном Лукичем. Хотя после ампутации рана еще не совсем зажила, Гвоздь убедил Дитриха, что медлить не следует. В таком виде он вызовет больше сострадания, а это облегчит ему возможность выдать себя за патриота, жаждущего работать на оборонном заводе.

Дитрих относился к Гвоздю почти с нежностью. Он гордился им как плодом своего блистательного и оригинального замысла. Считал этого человека как бы своим изобретением, которое должно прославить имя Дитриха, как прославили свои имена Мессершмитт, Юнкерс, Манлихер, Маузер, Зауэр, изобретшие средства убийства, названные в их честь их именами.

Но изобрести инвалида, «героя войны», диверсанта-террориста — это до сего времени было недоступно гению ни Канариса, ни Гиммлера, ни их предшественников. Теперь фон Дитрих впишет свое имя в анналы новаторских способов ведения тайной войны. И его агент будет столь же неуличим, как герцог Виндзорский, которого после высадки в Англии и ареста Георга VI фюрер предполагал водрузить на престол в качестве гаулейтера, правда, с сохранением королевского титула из уважения к монархическим традициям британцев.

И Дитрих был очень признателен Вайсу, когда тот посоветовал не спешить с производством диверсии на намеченном для того советском объекте, а, снабдив Гвоздя соответствующими орденами и документами, постараться, чтобы он занял там высокий пост и благодаря этому обстоятельству наилучшим образом обеспечил агентурную сеть на Урале — в индустриальном сердце России.

Нина-Ольга окончательно выздоровела. Со зрением теперь все было в порядке, да и самочувствие у нее значительно

улучшилось. Пришел день, когда Иоганн заехал к баронессе, чтобы отвезти Нину обратно в разведывательную школу.

Девушка полагала, что во время этой поездки Вайс откроется ей, скажет, как она должна теперь себя вести, что предпринять. Надеялась она также, что он даст ей задание от имени советского командования. Но Иоганн был немногословен. Деловито, даже с некоторым оттенком суровости сказал, что пока она должна лишь неуклонно выполнять приказания фашистов. Приказания же эти будут состоять в том, чтобы проникнуть в советский армейский штаб,— какой именно, ей укажут,— и выявить среди штабных работников людей, пригодных для вербовки.

— Что касается наших с вами дел, Нина, — сказал он, прекращая этот разговор, — то несколько позже я сообщу вам пароль, по которому вы установите связь с нашими. И помните: вам поручают большое дело. От вас требуется только одно — выдержка. Больше ничего. — Иоганн посмотрел ей в глаза. — Вынужден вас предупредить: если проявите самостоятельность, вы сорвете задание.

Доставив девушку в разведывательную школу, Вайс сдал ее под расписку фрау Ауфбаум. Когда они с фрау капитаном остались наедине, Вайс предупредил Ауфбаум, что та поплатится жизнью, если эта агентка не будет готова в любой момент выполнить секретное задание. «Особой важности», — добавил он твердо.

На прощание Вайс не без удовольствия узнал, что по обусловленному им паролю Ауфбаум зачислила в школу четырех девушек из женского лагеря Равенсбрюк: польку, двух русских и словачку из Братиславы. И когда в «Вали III», которым руководит капитан Дитрих, узнали, что эти кандидатуры проверены Вайсом, в их личных карточках без задержки был поставлен штамп о пригодности к обучению в разведывательной школе. Девушки оказались дисциплинированными и вполне удовлетворительно проявили себя на занятиях по радиосвязи.

Встречаясь с Эльзой в местах заранее намеченных явок, Иоганн с грустью убеждался, что здоровье ее с каждым днем становилось все хуже. Щеки у Эльзы запали. Большие глаза болезненно блестели, и в углах их обозначились тонкие морщинки. На похудевших руках набухли вены.

Он привозил Эльзе большую часть своего продуктового пайка, но, по-видимому, болезнь зашла так далеко, что даже усиленное питание уже не могло помочь.

И однажды Иоганн решился:

— Вам нужно бросить ко всем чертям это варьете!

— Еще чего! — возмутилась Эльза.

— Я сообщу в Центр. Вы больны. Вас нужно сменить.

— Каким образом?

— Сменить?

— Нет, каким образом вы передадите обо мне в Центр?

Я не пропущу шифровку на личную тему.

— Разве эта тема личная?

— Она касается только меня.

— А если свалитесь?

— Можете не беспокоиться! Ваши материалы всегда будут доставлены вовремя.

— Послушайте, — сказал Иоганн, — вы просто влюбились в Зубова. Сохнете от любви. И это вредит делу. Поэтому моя телеграмма о вас не будет носить личного характера. Я сообщу, что ваше состояние не способствует нормальной работе. — Он говорил так резко потому, что чувствовал: силы девушки на пределе.

И вдруг Эльза заплакала.

Иоганн неловко обнял ее вздрагивающие плечи. Она уткнулась ему в грудь, чтобы скрыть лицо, заглушить рыдания. Он растерялся, прошептал:

— Ты же чекистка, разведчица. Разве можно?..

— Можно... — всхлипывая, пролепетала Эльза. — Можно... — Подняла к нему вдруг ставшее гневным лицо. — А что, я не человек? Думать, как он там целыми днями любезничает с этой смазливой фашисткой!

— Она не фашистка, — неуверенно возразил Вайс.

— Все равно. Да еще старуха.

— Она на год моложе его.

— Все равно противно. Я видела, как он ей улыбается. — Эльза прикусила губу.

Иоганн недоуменно пожал плечами. Предложил:

— Ты старшая. Можешь приказать — и завтра же он бросит ее. Он парень дисциплинированный.

Эльза зло сощурилась.

— Ну конечно, потерять такую явку и «крышу»! Еще чего не хватало!

— Так чего же ты хочешь?

— Не знаю, — сказала Эльза. — Для Зубова его немка — объект чрезвычайно перспективный. Но, понимаешь, от бесполезности, что ли, я раскисла. мне хочется.. ну, хотя бы один раз пройти с ним по улице. Не для дела, а так... Просто чтобы он шел рядом и ни о чем не говорил...

Иоганн, помедлив, пообещал:

— Ну что ж, пожалуй, это можно будет организовать. Если найдется свободное время.

— Свободное время! — воскликнула Эльза. — У нас свободное время? Нет его. И не будет. Не будет у нас свободного времени. И нет ни личных дел, ни личных переживаний. — Сказала твердо: — А Зубову передай, что ставлю ему на вид: в последней информации он неточно передал транскрипцию технической терминологии. Это брак. Пришлось потребовать дополнительное время на связь. А ты знаешь, что значит каждая лишняя секунда работы рации: чем больше она работает, тем скорее ее засекут пеленгаторы. — Повторила: — Так и передай: больше я не потерплю неточностей. Это распушенность. И я могу простить все, но только не разгильдяйство.

Александр Белов настолько свыкся с Иоганном Вайсом, настолько переоплотился в него, что нынешнее его состояние уже казалось ему вполне естественным «производственным» состоянием разведчика. И если он мысленно и обращался к самому себе, к Александру Белову, то лишь в тех случаях, когда возникала необходимость получить дальнейшие указания от человека, которому он, как говорится, строжайше подотчетен. Обличье абверовца почти не стесняло его. У него ни разу не возникло потребности помедлить, чтобы решить, как в том или ином случае вести себя, рассуждать или поступать абверовцу Иоганну Вайсу.

Но он несколько растерялся, когда окончательно удостоверился в том, что Эльза любит Зубова.

По соображениям чисто деловой целесообразности Эльза решительно вынудила Зубова завязать отношения с Бригиттой, и эти отношения вскоре приняли характер любовной связи, полезной для дела, но мучительной для Эльзы. Это было для нее все равно, что самой отказаться от любимого человека, отказаться от надежды на возможное счастье. То была одна из множества невосполнимых утрат, какие приходится переносить разведчикам.

Вечером Эльза, кокетливая, с игривой улыбкой на губах, в черном трико, туго обтягивающем ее ставшую как бы бесплотной фигурку, должна была развлекать в варьете воинов вермахта. После выступления принимать поклонников за дочкой, наподобие стойла, перегородкой своей артистической и всячески исхитряться, чтобы избежать армейской настойчивости фронтовиков, переносящих стратегию блицкрига на отношения с женщинами.

Днем она должна была репетировать свой номер, обходить тайники, встречаться на местах явок с товарищами, передавать радисту материалы, принимать и расшифровывать шифровки, выполнять поручения Центра.

Помимо всего этого, у себя дома, среди соседок и соседей, нужно было вести себя стойко и последовательно, так, чтобы сохранить репутацию полупорядочной девицы, твердо решив-

шей скопить себе на приданое и выйти замуж за солидного пожилого человека, не слишком щепетильного, который не станет придирается к ее прошлому. И, готовя себе в общей кухне обед, она должна была, как истая немка, проявлять крайнюю бережливость, а жалея многодетную вдову, муж которой пал на Восточном фронте, скрывать от всех, что делится с ней своим скудным пайком. Это было бы расценено не иначе, как то, что она, Эльза,— распутная девка, ей перепадает кое-что от фронтовиков, отсюда и ее безрассудная щедрость.

Однажды Эльза со смехом рассказала Иоганну, что ей сделал предложение пожилой вдовец, лейтенант из роты пропаганды. И если она достанет документы, подтверждающие, что в ее жилах не течет ни капли еврейской крови, он готов немедленно оформить брак и даже хочет еще до того, как они станут супругами, устроить так, чтобы она отдохнула в одном из высокогорных санаториев в Австрийских Альпах.

Иоганн, не обращая внимания на иронический тон Эльзы, сказал поспешно:

— Вот и хорошо. Пусть пока Зубов тебя подменит. А ты отдохнешь. А потом пошлешь этого вдовца куда-нибудь подальше.

— Зубов? — переспросила Эльза.— Ну, знаешь, ты совсем не разбираешься в людях. Этот человек абсолютно не годится для серьезной организаторской работы.

— Позволь,— возмутился Иоганн,— ведь у него уже целая группа. И действуют они успешно. Совсем недавно они перебили около десятка курсантов разведывательно-диверсионной школы, а пятерых искалечили на пути к аэродрому, откуда их должны были забросить к нам в тыл.

— Нет-нет,— непреклонно заявила Эльза,— против Зубова я категорически возражаю.— Сказала грустно: — Пожалуй, после войны я в Бакурнани съезжу, отдохну.— Дернула презрительно плечом: — И если Зубов там будет работать инструктором лыжного спорта,— это для него самое подходящее. Пусть отправляется туда вместе со своей знаменитой мускулатурой.

В Варшаву приехал Гуго Горфельд, старый друг Лансдорфа. Он был одним из директоров заводов «Опель», входящих в концерн «Дженерал моторс».

Горфельд остановился в Варшаве проездом после продолжительной деловой поездки по Донбассу, где он вел переговоры с командованием СС о быстрейшем восстановлении нескольких металлургических предприятий: в последнее время фирма стала испытывать недостаток в специальных сортах стали, необходимых для производства танков новой конструкции.

Но в Донбассе его постигла неудача. Старый советский ин-

женер, осужденный в тридцатых годах, после отбытия наказания занимал рядовую должность снабженца на одном из интересных Горфельда заводов. Немецкое командование учло «почтенные» обстоятельства биографии старика. Его облекли особым доверием, назначили главным инженером завода, и даже немецкие служащие обязаны были ему подчиняться. Горфельд возлагал большие надежды на этого человека.

И тот действительно чрезвычайно требовательно и даже жестко относился к советским рабочим, которых под угрозой расстрела вынудили трудиться здесь. Он еще до революции служил у прежних владельцев этого завода и умел заставить своих подчиненных работать с таким нечеловеческим напряжением, что они — и не однажды — даже покушались на его жизнь.

Гестапо приставило к нему телохранителей. Он получал очень большой оклад и даже побывал в Германии, где ознакомился с некоторыми техническими новшествами.

Словом, этот человек был настоящей находкой.

Но через несколько месяцев оказалось, что детали машин, изготовленные из металла, поставляемого этим заводом, дают трещины и выходят из строя раньше времени, а танковая броня ломается от советских болванок, как ветровое стекло автомобиля от брошенного в него камня.

Длительными и довольно сложными анализами было установлено, что портят металл присадки, которые при варке стали давал главный инженер.

Его привезли в Берлин, и наиболее квалифицированные следователи начали вести дознание. И этот немощный старик, испытанный на допросах все способы физического воздействия, молчал, очевидно намереваясь унести в могилу тайну своего метода порчи металла. Преодолеть его упорство удалось только наркотическими средствами. Одурманенный, он, посмеиваясь, выболтал рецептуру присадок, образующих в металле волосовики, которые невозможно обнаружить на шлифах даже самыми совершенными оптическими приспособлениями. И похвастал, что сам, без чьей-либо помощи, бросал в кипящую сталь бумажные пакеты с этими присадками.

Старика приговорили к смертной казни, но обещали помиловать, если он согласится снова сотрудничать с немцами.

— Представь,— брюзгливо завершил свой рассказ Горфельд,— этот наглец даже позволил себе заявить, что именно теперь он особенно сожалеет о былых сомнениях и о том, что не с первого дня революции отдал свои знания советскому народу. Тому народу, который теперь, когда советские танки придут в Берлин, даст Германии последний и самый поучительный исторический урок.— И тут же Горфельд озабоченно осведомился у Лансдорфа:— Как ты оцениваешь подобную версию?

— С этим стариком?

— Нет, с советскими танками.

— Техника — твоя область, — уклонился от прямого ответа Лансдорф. И в свою очередь спросил: — Как ты находишь русских?

— Они продолжают сражаться.

— Нет, тех, которые остались на оккупированной земле?

— Извини, но психология противника — это уже, во всяком случае, твоя область, — усмехнулся Горфельд.

Лансдорф задумчиво пожевал сухими губами.

— Мы совершили крупную стратегическую ошибку.

— О, ты уже критикуешь генералитет!

— Нет, — печально сказал Лансдорф. — Генералитет планирует сражения, и, возможно, в них — вершина нашей военно-научной мысли. Абвер дал генералитету все сведения о том, что касалось вооружения противника, его дислокации и прочего. Дело совсем в другом.

— В чем же?

Лансдорф нахмурился. Две глубокие морщины словно вонзились в его переносицу.

— Изучая русских, я пришел к любопытному открытию. Определенное число их подвержено — как бы это точнее выразиться — общечеловеческим порокам, связанным с биологическими факторами: они боятся смерти, страданий и прочего. Но таких меньшинство. У значительного же большинства полностью отсутствует естественное психологическое свойство добровольно принимать в определенных условиях некие формы рабского подчинения, чтобы продлить свою жизнь.

Вначале я искал объяснение этому в их атеистических убеждениях. Но постепенно, — пойми, я еще не совсем уверен в своих выводах, ибо увериться в подобном — значит утратить многое из того, в чем мы были непоколебимо убеждены, — постепенно я стал думать, что у этого народа сознание свободы равнозначно ощущению собственного существования.

— И к какому же выводу ты пришел в итоге столь тонких наблюдений? — поинтересовался Горфельд.

Лансдорф не придавал значения иронии.

— Вывод единственный. Если мы не истребим советский народ, эпидемия распространится по всему миру, и даже люди Запада уподобятся твоему русскому старику инженеру, который поначалу боролся против ненавистной ему советской власти, а потом отдал жизнь за ее победу над нами. Поэтому нам следует отказаться от расовых предрассудков. Мы должны любой ценой сохранить устойчивую структуру отношений между имущими и неимущими. В нынешних условиях германский нацизм не может не отталкивать возможных союзников.

Горфельд понимающе усмехнулся.

— Во всяком случае, фирма «Опель» поступила дальновидно и благоразумно: на ее коммерческих бланках нет изображения свастики. Танки «Дженерал моторс» и фирмы «Опель» сражаются сейчас в Африке, и водят эти танки и немецкие танкисты и наши противники. Качество нашей продукции и продукции наших компаньонов равноценно, как это и было оговорено в соглашении между фирмами. Мне думается, что именно здесь закладываются основы будущего содружества наций, вне зависимости от того, кто победит в этой войне.

У нас уже был опыт первой мировой войны. Вспомни, во сколько миллиардов долларов и фунтов обошлось США и Великобритании то, что после поражения наша промышленность стала более мощной, чем тогда, когда мы вступили в войну. Все возвращается на круги своя. — И Горфельд заключил елейным тоном: — Мы христиане и должны в сердце своем хранить священные и великие библейские заветы.

Иоганн, сидя за рулем — Лансдорф хотел показать своему другу окрестности Варшавы и попросил Иоганна помочь в этом, — старался не упустить ни одного слова из этой беседы.

Он почерпнул из нее много полезного для себя. Так, он узнал, кроме всего прочего, что немецкая фирма «Опель» передала фирме «Дженерал моторс» новые фильтры для танковых двигателей — старые часто засорялись во время маршей по пескам африканской пустыни. Взамен Роммель, воюющий с англичанами в Африке, получил от американской фирмы новую рецептуру смазочных масел, чрезвычайно стойких к высоким температурам, что было очень важно для танков и машин, продвигающихся под жгучими солнечными лучами.

Такая коммерческая взаимопомощь фирм воюющих держав только простаку могла показаться предательством. На языке бизнеса это называлось иначе: точное соблюдение взятых на себя договаривающимися сторонами обязательств, нарушить которые невозможно даже тогда, когда правительства этих стран окажутся в состоянии войны между собой.

Скептическую оценку использования военнопленных в качестве агентуры, данную Лансдорфом в разговоре, Иоганн приписал не столько его проникательности, сколько своего рода перестраховке. Было известно, что из-за козней Гиммлера фюрер вновь устроил разнос Канарису. Тот представил Гитлеру добытые агентурой чертежи новых советских танков. Построенный по этим чертежам из соответствующих сортов броневой стали танк был расколотен вдребезги на танкодроме немецкими противотанковыми пушками.

Этот успех немецкой противотанковой артиллерии Иоганн мог всецело приписать своим заслугам, так как особо тщательно подготовил группу для этой операции и его стараниями

разведчик-ходок доставил чертежи танка и рецептуру стали. А при освобождении нашими войсками Ростова немецкие танкисты в дуэльном сражении с советскими танками понесли серьезные потери.

Лансдорф уже давно искал возможность переместиться из «штаба Вали» в Берлин, так как полагал, что там найдет более эффективное и безопасное применение своим способностям. Поэтому приезд Горфельда был ему на руку, ибо через него он решил напомнить о себе Гиммлеру, надеясь, что тот, возможно, сочтет своевременным вернуть его туда, где сейчас делается политика.

Иоганн выполнял возложенные на него поручения с неуклонной точностью, которая соответствовала четкому стилю работы всего аппарата абвера. За это время обстановка на фронтах сложилась столь неблагоприятно для вермахта, что потери, понесенные недавно в России, были уже невосполнимы. Нарастало недовольство среди союзников Германии. Бомбардировки немецких городов приобретали все более разрушительный характер. Однако Иоганн с изумлением наблюдал, что, вопреки всему этому, сотрудники «штаба Вали» ведут себя так, будто самое течение времени и дух его не подвержены никаким влияниям извне.

Какие бы ни происходили бури в безбрежном океане фронта, островок «штаба Вали», гарнизон его жил по раз и навсегда установленному распорядку и люди мыслили так же, как мыслили год назад. Здесь считалось доблестью, неким особым шиком игнорировать все, что не имело отношения к прямым служебным обязанностям.

И если следователи из отдела «штаба Вали III» в первые дни войны, вербуя в концлагерях заключенных, с механической точностью доказывали им, почему Германия станет властительницей мира, а Советский Союз рухнет под ударами доблестных сил вермахта, то и теперь они с той же механической точностью повторяли прежнюю аргументацию, не пытаясь ни на йоту приспособить ее к изменившейся обстановке.

Вначале Иоганн чуть было не впал в заблуждение, считая эту механическую аргументацию плодом пропагандистской догматики, приписывая ее чиновничьему безынициативному педантизму. Но потом он понял, что дело тут гораздо сложнее и корни надо искать в той почве, которая питала стиль и дух империи.

Поражение на Восточном фронте вызвало еще большую активность всех карательных и сыскных служб рейха, направленную против самих же немцев.

Поэтому даже сотрудники абвера — доверенные люди империи — не решались «обрабатывать» агентуру в соответствии

с изменившейся обстановкой. Ведь сам факт констатации сотрудником абвера изменения обстановки на Восточном фронте мог быть обращен против него, как свидетельство неверия в победу. А это преступление, равно как и малейшие сомнения в непогрешимости фюрера, жестоко каралось.

И если что и изменилось в поведении рядовых сотрудников «штаба Вали», то заметно это было только в том, что теперь они публично, с показным пылом, состязались между собой в выражении преданности фюреру и предсказаниях победы в самые ближайшие сроки.

Но когда эти давно приноровившиеся друг к другу люди разрабатывали план операции для очередной группы, засылаемой в советский тыл, они трудились с необычайной тщательностью и всеохватывающей предусмотрительностью. И Вайс понимал, насколько теперь трудно, вернее, почти невозможно было предотвращать подобные операции, если бы он своевременно, действуя с величайшей осторожностью, не расставил во многих звеньях штабной работы «Вали» своих людей.

Даже в сапожной мастерской у Вайса был свой человек. И подковку на каблук к трофейному советскому кирзовому сапогу он прибывал под определенным углом, чтобы след этого сапога был для советского следопыта-контрразведчика уликой того, что здесь проходил преступник.

С помощью несостоявшегося курсанта — заключенного № 740014 — Вайсу удалось найти верных людей среди партии лагерников, прокладывающих траншеи для телефонного кабеля к одной из ставок на Восточном фронте. Они сделали подкоп под этот кабель, соорудили нечто вроде блиндажика, где, как в могиле, обложенной дерном, долгое время скрывался наш связист, заброшенный сюда для того, чтобы подключать свой аппарат к кабелю, соединяющему ставку на фронте с рейхсканцелярией в Берлине.

Но каждый свой шаг, слово, поступок Иоганн теперь, как никогда раньше, должен был особенно тщательно контролировать в сгустившейся атмосфере слежки и недоверия, которая столь ощутимо нависла над головами всех без исключения немцев. Даже тех, кто имел особые заслуги перед рейхом и ранее не раз проявил бесстрашие, когда приходилось собственноручно применять самые изощренные способы быстрой ликвидации людей.

Теперь даже такие «мастера» своего дела теряли самообладание и не могли унять дрожь в пальцах, если кто-нибудь из их же сотрудников ехидно осведомлялся:

— Так вы, кажется, выразили желание войти в специальную группу добровольно сдавшихся немецких военнослужащих, чтобы принять личное участие в диверсионной операции

освобождения из советского плена старших немецких офицеров?

Нечто подобное проделали недавно трое чекистов. Они проникли в один из немецких концлагерей вместе с партией военнопленных, освободили большую группу узников, а потом втроем под прикрытием металлического дорожного катка вели двухчасовой бой на шоссе, не давая эсэсовскому моторизованному подразделению возможности преследовать беглецов.

Вся эта операция была разработана Вайсом.

После длительных допросов и изучения следственного материала контрразведка абвера и соответствующий отдел гестапо констатировали: все детали операции и совокупность связанных с ней мероприятий свидетельствуют о том, что ею руководил выдающийся мастер.

И описание этой операции было разослано абвергруппам не только в качестве информации, чтобы принять меры для предотвращения впредь подобных эксцессов, но и как рекомендация агентам. Тем, кто, обладая высоким мужеством, сочтет возможным попытаться повторить подобную операцию в советском тылу для освобождения немецких военнопленных.

Но в этой информации умалчивалось о том, что три советских чекиста, превратив дорожный каток как бы в бронеколпак цилиндрической формы, тащили его трактором по шоссе и продолжали вести бой под его защитой. А когда въехали на железнодорожный виадук, последний из оставшихся в живых героев заложил в каток такое количество взрывчатки, что при взрыве его осколки с силой бронебойных снарядов срезали устои ферм и пробили баки нефтецистерн так, будто они были не металлические, а картонные. Даже клочья тел героев невозможно было обнаружить на опаленной, закиданной обгорелым и скрученным металлом почве. Они как бы испарились, исчезли.

Последователей подобной методики крупной освободительной операции среди сотрудников абвера что-то не обнаруживалось. Хотя по заданию Канариса сотни чиновников подбирали в архивах разведок все схемы побегов, когда-либо совершенных из лагерей военнопленных, чтобы рекомендовать наиболее удачные из них своим группам. Ведь теперь, помимо всего прочего, перед абвером возникла задача освободить ряд офицеров вермахта из советского плена, что до сего времени не было предусмотрено ни в функциях абвера, ни в плане «Барбаросса».

Дитрих направил на фронт специальную группу немцев, сотрудников абвера. Они получили задание добровольно сдаться противнику, чтобы в советских лагерях для военнопленных расправиться с немцами, попав в плен, позволяют

себе усомниться в победоносном величии Третьей империи.

И от Вайса потребовалось немало изворотливости, прозорливости да и времени, чтобы выявить цель этого задания, ознакомиться со списками отобранных Дитрихом сотрудников, составить картотеку их примет и без задержки переправить все эти материалы в Центр.

Если исключить из сферы деятельности Иоганна Вайса обязанности, которые возлагались на него как на сотрудника «штаба Вали», а взять в чистом виде только многосложные задания, какие ему приходилось выполнять как советскому разведчику, то и тогда можно было бы считать, что человек работает с величайшим перенапряжением всех нервных, физических и умственных сил.

Одна только операция с Гвоздем требовала колоссальной и кропотливой повседневной работы.

Гвоздь, став «резидентом», развернул на Урале под руководством Барышева активную работу. И от него все время поступали заявки на дополнительную засылку новых групп, средств связи, вооружения, самоновейших подрывных средств. И, наконец, просто крупных денежных сумм для «подкупа» все новых ответственных советских работников.

Сам Гвоздь, как он сообщил, проник на металлургический комбинат в качестве сотрудника отдела кадров, что давало ему почти неограниченные возможности для размещения немецкой агентуры в различных цехах и учреждениях, находящихся в ведении комбината.

Вайс понял, что советские контрразведчики организовали огромную ловушку оптового масштаба и выкачивают из «штаба Вали» все больше и больше людей и средств в этот резервуар, обладающий, очевидно, весьма значительной емкостью. Группа Гвоздя уже перешла в разряд «разведцентра», донесения о деятельности которого, минуя «штаб Вали», поступали теперь непосредственно самому адмиралу Канарису. И Лансдорф испытывал некоторое недовольство: самолюбие его было ущемлено тем, что крупнейший разведцентр абвера вышел из-под его непосредственного подчинения.

А Дитрих был просто в ярости. Заслуги этого разведывательного центра он приписывал всецело себе. И ампутацию ноги Гвоздя считал не столько достижением медицины, сколько частью блистательно разработанной им разведывательной операции. Еще бы! Подготовлен агент, неуязвимый в такой же степени, как человек, обладающий волшебной шапкой-невидимкой.

Распалая ущемленное авторское самолюбие Дитриха, Иоганн без особых ухищрений выведал у него о намерении расправиться с теми немцами в советских лагерях для военнопленных, которые стали считать наци подлинными врагами Германии.

Некоторые из засланных в советский тыл абверовских разведывательных групп уже на месте приземления вынуждены были принять бой с советскими оперативниками. Наиболее же благоразумные участники этих групп стали работать под контролем советских чекистов, загружая отделы штабов абвера разносторонней информацией, которую здесь отнюдь не считали лживой, потому что она была правдоподобной. И именно в силу своей правдоподобности она оказывала более разрушительное действие на деятельность штабов вермахта, чем даже дерзновенные налеты подразделений советских парашютистов на эти штабы.

Так, например, Гиммлеру была доставлена папка с отлично сработанными докладными и дневником крупной советской геологической экспедиции, возглавляемой знаменитым ученым. В них содержался анализ залежей редких металлов в определенных районах страны. Все материалы неоспоримо свидетельствовали: залежи эти оказались столь ничтожными, что эксплуатация их была бы бессмысленной, никчемной. На обложке папки мастерской рукой графолога была начертана свирепая резолюция наркома.

А на самом деле нарком не столь давно с большой радостью подписал представление к высшим правительственным наградам почти всех участников этой экспедиции, открывшей для страны и, значит, для нужд оборонной промышленности баснословные залежи редких металлов.

50

Как бы ни был велик разум человека, исследующий первопричины явлений — касается это материальной структуры вселенной или импульса, порожденного столь совершенной и чуткой сигнальной системой, как нервная клетка, — могучие умы во имя обнаружения истины вежливо, но непреклонно отстаивают на страницах объемистых научных трудов каждый свою точку зрения. Разнообразны многочисленные концепции, гипотезы, доктрины, касающиеся одного и того же явления.

Так же и «провал» разведчика исследуется с научной тщательностью, всесторонностью, объективностью, но порой первопричины бедствия объясняются настолько тончайшими обстоятельствами, что установить их так же невозможно, как определить мгновение, когда иссякает день и наступает ночь.

Как обычно, в пять часов утра, после гимнастических упражнений перед открытой форточкой в своей комнате, Эльза, склонившись над тазом, обтиралась мокрой губкой. В тусклом зеркале, висящем над крохотным столиком, отражалось ее узкобедрое, широкоплечее, плоское тело, сухие мускулистые руки и ноги. Ворох всклокоченных бронзово-рыжих, крашеных волос. Узкое, маленькое лицо с впалыми щеками и

сурово сжатым ртом. Угрюмо поблескивающие, глубоко запавшие глаза. И грязноватые потеки на скулах от еще с вечера накрашенных ресниц.

Эльза с гадливостью смотрела в зеркало и казалась сама себе жалким галчонком с ощипанными перьями. И так как она была одна в комнате, ее жестокий приговор своей внешности никто не оспаривал.

Но, честно говоря, она была несправедлива к себе. В этом изнуренном худобой девичьем теле любой, даже посредственный, ваятель увидел бы те гармоничные пропорции, какие в мраморе передают друг другу, начиная с древности, великие художники, искатели абсолютного идеала женской красоты.

И, не столько стыдясь своей наготы, сколько испытывая брезгливое чувство к себе, Эльза поспешно оделась с той продуманной вульгарностью, которая соответствовала профессии актрисы варьете.

Намазала лицо гримом, взбила пошлый кок над выпуклым и чистым лбом, навела тушью под глазами порочащие их чистоту тени.

Взяв блестящую сумочку из эрзац-лака, спустилась по грязной, вонючей лестнице и пошла по улице вихляющей поступью канатоходца.

Сегодня в 11 часов 10 минут Эльза должна была пройти мимо человека, покупающего в газетном киоске на Маршалковской три номера геббельсовского еженедельника «Дас Рейх», и, когда он будет их рассматривать, положить на прилавок «Фёлькишер беобахтер», чтобы этот человек взял газету себе.

Эльзе не нужно было знать приметы этого человека, не следовало и запоминать его. Единственное, что ей было известно, — он будет в светлых перчатках и в левой руке, между мизинцем и безымянным пальцем, должен быть зажат короткий янтарный мундштук с незажженной сигаретой. Вот и все. Если этот человек сочтет нужным угостить ее сигаретой, она должна взять третью, считая слева. Значит, она получит шифровку, которую надо будет обработать по возвращении домой.

Задание обычное, не представляющее особой сложности. И это необременительное, безопасное, ординарное задание как бы освободило ее сознание для иных, преследующих ее с мучительной настойчивостью, отнюдь не служебных мыслей, которые она безуспешно пыталась отогнать от себя в последние дни.

То, что Зубов с такой покорной готовностью и беззаботностью выполнял ее указания и сблизился с Бригиттой, больно кольнуло сердце Эльзы. И не потому, что она стала испытывать к Зубову какие-то особые чувства, хотя в его обаянии

красавца, легкого, заботливого, ласкового товарища по работе и таилась опасность. И не было бы ничего удивительного, если бы Эльза начала мечтать о любви этого смелого и чистого человека.

Отношения Эльзы с Иоганном Вайсом носили иной характер, хотя он был привлекательным молодым человеком и выглядел в своем офицерском мундире весьма импозантно. Его умные, пронизательные глаза часто без слов говорили, что он понимает переживания Эльзы. Порой она ловила на своем лице его взгляд — то был взгляд не сочувствия, а скорее восхищения, взгляд человека, высоко ценящего своего товарища по опасной работе.

Но самообладание, деловитость, абсолютная подчиненность долгу, казалось, не оставляли в сердце этого человека места ничему, что могло быть сочтено излишней душевной нагрузкой для опытного разведчика, в ведении которого находилась уже многосложная, разветвленная сеть связей.

Эльза шла к газетному киоску на Маршалковской, и мысли ее были далеко от того, что ей предстояло выполнить. Задание было самоеординарное, простейшее и потому не требовало строгой сосредоточенности. Сейчас не нужно было начисто выключать из своего сознания все, что могло помешать ей и заставить ее хоть на мгновение усомниться в своей неуязвимости. Женщина, такая, какой она выглядит, — вне всяких подозрений. Подобных ей здесь много. И именно они вне подозрений: ведь их моральные принципы родственны этике представителей рейха. У тех не может возникнуть даже тени сомнения в том, что такая женщина, как Эльза, не «своя». И поэтому она смело шла по Маршалковской вихляющей походкой канатоходца, и ее круглые колени, обтянутые шелковыми чулками, глянцево блестели под короткой юбкой. Глаза подмалеваны, сощурены. Рот ярко намазан и выделяется на бледном лице, как мишень. И когда она видела свое отражение в стеклах пустых витрин, ей казалось, что это не она, а оскорбительный шарж на женщину; типаж удалось скопировать с безукоризненной точностью.

Женщины на оккупированной врагом земле стремились любыми способами скрыть свою молодость, миловидность, женственность. Бедность, убогость их одежды не всегда были следствием одной только нищеты, в которую немцы ввергли население. Часто старящий, уродливый траур был тщательно продуман. Молодые полки носили грубые чулки, плотно обматывали головы старушечьими платками и ходили, неуклюже шаркая по тротуару своими разношенными ботинками. И такой их облик вызывал у патрулей только повышенную бдительность.

Но были и другие — свежеразмалеванные, с залихватскими прическами из протравленных пергидролом волос, в чрез-

мериз коротких юбок и кофтах с глубоким вырезом, с продуманной тщательностью выставляющие напоказ все свои женские прелести. Эти шествующие конской поступью на высоких каблуках всем видом являли как бы пароль, демонстрировали преданность и готовность к услугам. И надо сказать, что они-то и пользовались благосклонностью оккупантов. Патрульные офицеры не требовали от них предъявления аусвайса, а если и осведомлялись деликатно о месте жительства, то в целях, отнюдь не связанных с полицейскими обязанностями.

Таким образом, Эльза избрала наиболее подходящую в данных условиях защитную оболочку.

Человек, которого она должна была встретить у киоска, чтобы передать газету с нанесенной между строк шифровкой, был ей неизвестен. Не знала она и о том, какое задание он выполняет в тылу врага.

Кто бы он ни был, Эльзе следовало лишь точно выполнить столь, казалось бы, простое, не требующее ни труда, ни усилий, ни как будто бы даже сообразительности задание. Она должна была в условленное время подойти к киоску, оставить на его прилавке свернутую в трубку газету и уйти, даже не взглянув на человека, ради которого все это делалось.

В плане операции, разработанной Центром, каждая крохотная подробность имела такое же значение, как мельчайшая деталь огромного механизма: ведь если она, эта деталь, не будет выполнять свои строго определенные функции, гармонически взаимодействуя с бесчисленным количеством других деталей, мощный агрегат не сможет работать, остановится.

Итак, Эльза семенила по Маршалковской. Ее жесткие от туши ресницы колючим венчиком окружали прячущие подавленную грусть глаза, единственно неподдельным в которых был их цвет. Она точно рассчитала время и, не убыстряя и не замедляя шаг, подошла к киоску почти одновременно с человеком, запоминать внешность которого ей не было нужды. Положила на прилавок свернутую старую газету, купила две почтовых открытки, спрятала их в клеенчатую сумочку и отошла от киоска, механически улыбнувшись на прощание старухе киоскерше, которая посчитала ниже своего достоинства ответить на улыбку уже с утра размалеванной девицы.

Человек, рассматривавший еженедельник, взял его вместе с оставленной Эльзой газетой, расплатился и, не оглядываясь, направился на другую сторону улицы.

И тут дверца газетной будки вдруг распахнулась. Из нее выскочил какой-то мужчина и, сунув правую руку в прорезь на груди своего плаща с капюшоном, поспешно направился вслед за человеком, только что купившим еженедельник. Дви-

жение его было настолько явно профессиональным, что Эльза мгновенно сообразила, какой опасности подвергается человек, несколько минут находившийся под ее опекой. Не раздумывая, она швырнула свою сумочку из эрзац-лака в проволочную мусорную корзину, бросилась вдогонку за типом в плаще и, настигнув его, хватая за руки, закричала, что вот сейчас, сию минуту, он украл у газетного киоска ее сумочку.

Этот тип оказался сильным мужчиной. Но в цепкой ловкости Эльза не уступала ему. Завязалась борьба. И сразу же из-за угла высхали два мотоциклиста и машина с окрашенными боковыми и задними стеклами. Эльзу бросили в машину и увезли. Все произошло так быстро, что прохожие даже не успели понять, в чем дело.

Спустя несколько часов полицейский объявил киоскерше, что задержанная оказалась уличной воровкой.

Вот и все, что случилось в это утро.

В тот же вечер аттракцион фрейлейн Николь в программе варьете был заменен выступлением актрисы, исполняющей танец с пылающими факелами.

Среди агентов уголовной полиции у Вайса был знакомый, некий господин Адам. В прошлом знаменитый варшавский сыщик, он специализировался на поисках фамильных драгоценностей, похищенных у знатных особ. Такие кражи обычно совершали крупные профессионалы. Зная их наперечет, господин Адам вступал с похитителями в переговоры, в результате которых за умеренный выкуп владельцы драгоценностей получали их обратно. От тех и других Адам получал недурное вознаграждение, достаточное для того, чтобы определить двух своих дочерей в гимназию и даже кое-что откладывать про черный день. Он не утратил своей должности и во время оккупации, так как жена его была немка. Но его специальность уже не приносила прежних доходов. Он превратился в обыкновенного уличного топтуна, и все его обязанности сводились к тому, чтобы в районе улиц, находившихся в его ведении, следить за имуществом, присвоенным немецкими оккупационными властями в домах, прежде принадлежавших полякам, не допускать воровства.

Вайс частенько угощал Адама рюмкой спиртного в локале пана Полонского. Неторопливо поглощая водку, Адам в благодарность выкладывал различные новости уголовного мира, всякие полицейские сплетни, и Иоганн иногда выуживал кое-что подходящее для себя.

Как-то вечером Адам рассказал Вайсу о девушке, пойманной сегодня у газетного киоска, и осуждающе заметил, что с такой внешностью и фигуркой ей не следовало заниматься уличными кражами. И если б она была знакома с порядоч-

ным, солидным человеком, таким, например, как он, то этот человек сумел бы наставить ее на правильный, честный путь. Он устроил бы так, чтобы она не знала отбоя от господ офицеров. И хотя фронтовики народ грубый и привыкли все брать силой и бесплатно, с профессионалками они обычно ведут себя как порядочные люди. И если и бывают какие-либо недоразумения, то отнюдь не на финансовой почве.

Вайс, движимый неясным беспокойством, попросил Адама узнать, в какое полицейское управление была доставлена эта воровка.

На следующий день Адам доложил, что она не зарегистрирована ни в одном из полицейских управлений Варшавы.

К этому времени Иоганн уже не сомневался, кто эта «воровка», о которой рассказал Адам.

Единственное, что удалось узнать Вайсу через Адама, — это приметы и номер полицейской машины, забравшей Эльзу.

Номеров с такой серией ни одна служба в генерал-губернаторстве не имела. На крыше и бортах этой машины стояли знаки красного креста. Но это не была санитарная машина: на капоте у нее, как у гестаповских машин, имелись резиновые прокладки для откидывания ветрового стекла, чтобы при погоне можно было вести огонь с переднего сиденья. В задней двери — узкие амбразуры, заделанные пуленепроницаемым, с синеватым отливом стеклом. Значит, можно было предполагать, что машина бронированная.

Подобного типа броневики, замаскированные под обычные санитарные машины, применялись лишь в специальном подразделении СД, находящемся в личном подчинении рейхсфюрера Гиммлера.

Да, Иоганну было о чем задуматься в связи с исчезновением Эльзы. Чрезвычайная опасность нависла не только над ней.

51

За это время Александр Белов сформировал в тылу врага целенаправленную, организационно закрепленную разведывательную сеть.

Для создания подобной структуры необходим не только организаторский, оперативный, профессиональный талант разведчика, — нужно еще обладать даром человековедения. Ведь даже малейшая неточность в оценке психологических особенностей человека по своим последствиям равна оплошности минера. Причин гибели минера обнаруживается великое множество, но установить ту, единственную, которая привела к взрыву, невозможно, ибо уничтожено все, что послу-

жило бы даже малейшим намеком на истинную причину катастрофы.

В последнее время разведывательные и диверсионные операции «штаба Вали» проваливались одна за другой. Это свидетельствовало об успешной работе Иоганна Вайса и тех, кого он, доверив им свою жизнь, сделал своими сотрудниками.

Гиммлер направил в «штаб Вали» самых опытных контрразведчиков, чтобы выявить причины провалов, и здесь создалась крайне опасная, напряженная обстановка. Угроза нависла и над начальством и над рядовыми сотрудниками. Каждый шаг, каждый поступок любого, кто имел отношение к «штабу Вали» — будь то один из его руководителей, преподаватель разведывательно-диверсионной школы, охранник или курсант, — подвергался тщательной проверке. Все и вся находились под строжайшим наблюдением, и Вайсу с каждым днем становилось труднее находить возможности для общения со своими людьми. Опасность ежеминутно подстерегала их да и его самого.

Условия сложились такие, что приходилось решать, как быть дальше: свести до минимума работу с невероятным трудом созданной Вайсом внутри «штаба Вали» системы или даже временно свернуть ее.

Конечно, можно было бы просто затаиться и в бездействии выжидать, пока контрразведка прекратит свое обследование. Ведь постепенно ее активность уменьшится, бдительность ослабнет, а там, глядишь, контрразведывательную группу и вовсе отстранят от слежки за «проштрафившимся» объектом, перекинут на другой.

Но был и иной выход из создавшегося положения: найти возможность переместиться на другую арену, чтобы там, не прерывая, продолжать свою деятельность.

Иоганн выбрал этот путь.

Он приказал Зубову и его интернациональной группе активизироваться. Поляков, чехов, венгров и русских, входивших в эту группу, Зубов с помощью Бригитты определил в служение по домам ее знакомых. Днем они мирно исполняли обязанности поваров, дворников, садовников, а по ночам занимались во главе с Зубовым силовыми актами, часть которых, по рекомендации Вайса, они приписывали некоему тайственному союзу штурмовиков имени Рема, якобы мстящему эсэсовцам и гестаповцам за казнь своего вожака.

Что же касается взрывов железнодорожных эшелонов и складов с боеприпасами и горючим, то эти операции оставались анонимными.

На совещании командного состава «штаба Вали», в котором приняли участие прибывшие из Берлина сотрудники СД, было высказано следующее предположение: не исключено,

что разведка противника засекла расположение «штаба Вали» и установила за ним наблюдение.

Предположение это сделали сами абверовцы, руководители «штаба». Представители СД возразили, что видят тут скорее частные террористические действия разрозненных групп польских патриотов.

И все же в результате длительных обсуждений и споров было решено передислоцировать «штаб Вали» в район Кенигсберга.

Распорядок же внутри «штаба Вали» и подопечных ему разведывательно-диверсионных школ члены комиссии СД признали удовлетворительным. Совместно с абверовцами они подписали протокол обследования и приложили его к докладной на имя рейхсфюрера СС Гиммлера, крайне обеспокоенного положением, сложившимся в «штабе Вали».

И хотя неприязнь Гиммлера к Канарису была очень велика и он так и горел желанием подложить адмиралу свинью, в данном случае интересы рейха восторжествовали.

Таким образом, в итоге деятельности Вайса и его разведывательной сети сотрудники абвера вынуждены были покинуть прекрасную, со здоровым климатом дачную местность близ Варшавы и перекочевать в каменистую, сырую и ветреную Прибалтику. С переездом были связаны не только личные бытовые неудобства. Передислокация всей системы «штаба Вали» требовала длительного времени и, по существу, надолго выводила из строя важнейший разведывательный орган вермахта.

Ущерб от такого перерыва в нормальной работе «штаба Вали» равнялся крупнейшей диверсии, принесшей потери, которые трудно оценить, настолько они серьезны.

Но, помимо всего прочего, для Иоганна Вайса было наиболее важно то, что вместе с личным составом, оборудованием, приписанным к «штабу» имуществом в полной сохранности передислоцировались на новое место те люди, которых он нашел и обучил, которые работали в сложной сети, раскинутой внутри абвера. И эти советские люди, сотрудники Вайса, будут исполнять свой долг в новых условиях. И наша разведка будет знать обо всех вражеских замыслах, созревающих под бетонным теменем «штаба Вали», где бы он ни находился — в уютном лесу под Варшавой или на каменистой почве в районе Кенигсберга. И неважно, что здесь расположение «штаба Вали» скрывает уже не дощатая, а неприступная железобетонная ограда: за ней есть и свои, советские люди.

В технической лаборатории «штаба Вали» уже второй месяц трудился химик Петер Химелль — специалист по изготовлению симпатических чернил. В его обязанности входил также инструктаж курсантов о способах их применения.

Это был старый член национал-социалистской партии,

фронтовик, тяжело раненный под Смоленском. После госпиталя его направили в систему абвера.

Пелантичный, немногословный, он был чрезвычайно высокого мнения о своей персоне, считая, что два ордена железного креста, первого и второго класса, говорят сами за себя. Семья его погибла в первые же месяцы войны, при бомбежке Кенигсберга советской морской авиацией. Поэтому всем были понятны причины его угрюмости и необщительности.

Кратко и безулыбчиво Петер Химель, он же Петрусь Матусов, доложил о себе Вайсу, передавая ему секретку Центра.

В первые дни войны Матусов с группой белорусских чекистов организовал партизанский отряд, дрался в тылу. Потом его отозвали в партизанский штаб. Командовал отрядом, получил тяжелое ранение, отлежался в госпитале. В дальнейшем он проходил военную службу в качестве санитаря одного из госпиталей для раненых немецких военнопленных. Знание немецкого языка помогло ему толково ухаживать за немецкими солдатами и офицерами, а также узнавать то, что требовалось знать человеку, пожелавшему работать во вражеском тылу.

После того как он таким образом повысил не только медицинскую квалификацию, но и квалификацию разведчика, среди немецких военнопленных был выбран соответствующий типаж с подходящей биографией. Затем Матусова перебросили через линию фронта, и, пройдя систему явок, он оказался в расположении «штаба Вали» на вышеупомянутой должности.

Вводя Матусова постепенно в курс дела, Вайс пришел к убеждению, что ему есть на кого положиться, если возникнет необходимость передать свою должность — не ту, которая числится в штатном расписании сотрудников «штаба Вали», а ту, какую должен здесь исполнять советский разведчик. Петер Химель вполне справится с обязанностями Иоганна Вайса, продвинувшегося в своей служебной карьере уже до звания обер-лейтенанта службы абвера.

Очевидно, имперский советник фон Клюге переговорил по телефону с Гердом и Лансдорфом об Иоганне Вайсе.

Во всяком случае, в такое горячее время, когда все сотрудники «штаба Вали» были поглощены организацией переезда, Вайс получил предписание отправиться в командировку, чтобы посетить несколько концентрационных лагерей, указанных ему имперским советником.

Александр Белов настолько прочно вжился в Иоганна Вайса, что искренне чувствовал себя обиженным. Его не на шутку возмутило несправедливое отношение к Вайсу: никто

из руководства не противился его командировке, никто не выразил сожаления, что столь ценный работник — а у Иоганна Вайса были все основания считать себя ценным для абвера человеком — уезжает в трудную для «штаба Вали» пору.

Руководствуясь этой логикой, Вайс держал себя при Ландсдорфе с подчеркнутой холодной почтительностью, и выражение оскорбленного достоинства не сходило с его лица. Он даже, пожалуй, упивался сознанием нанесенной ему обиды. И для этого были причины.

Обидели его явно несправедливо, — значит, в дальнейшем он может рассчитывать на компенсацию. Но важнее было другое. Пока что эта совершенно бесперспективная в служебном отношении командировка неожиданно освободила ему несколько дней, которые были необходимы, чтобы найти Эльзу.

Вся информация, собранная Иоганном из самых различных источников, не содержала даже намека на причины ареста Эльзы. Но в какую тюрьму ее заточили, он узнал.

Тюрьма эта находилась довольно далеко — в одном из горных районов, на территории старинного замка. Древние стены укрывали небольшое железобетонное здание современной конструкции. Предназначалась она для особо важных политических преступников. Содержалось там обычно десятка два заключенных. Соответственно невелика была и охрана.

Некоторые маститые германские историки утверждали, что подлинный, чистопородный аристократизм передается из поколения в поколение, и это драгоценное свойство не может быть присуще ни одному человеку плебейского происхождения, какими бы духовными и физическими совершенствами его ни наградила природа. Они уверяли, что истинный аристократизм сразу виден.

Возможно, Иоганн Вайс не был осведомлен о теоретической аргументации этих ученых. Возможно также, что для полемики с ними по этому вопросу у него не было достаточной эрудиции. Но перед ним возникла практическая необходимость стать в самые кратчайшие сроки заносчивым, кичливым пруссаком, мышление которого представляет монолитный сплав тупости и чванства, непроницаемый ни для логики, ни для слов убеждения. Пруссаком, надменным настолько, что его неосведомленность в ряде вопросов должна выглядеть как манера, а вовсе не как следствие незнания некоторых вещей, с которыми — Иоганн знал это — ему придется столкнуться.

Иоганн вместе с Зубовым скрупулезно разработал предложенный им план освобождения Эльзы. Пришлось потратить

немало душевных сил, проявить дьявольский такт и даже пойти на жертвы, чтобы внушить Зубову, что план этот безупречен. Вначале Зубов назвал его жалкой и трусливой комедией, достойной лишь человека, настолько привыкшего к лицемерию, что он не решается прямо и открыто рискнуть собой даже ради спасения товарища, жизнь которого висит на волоске.

— Чекистские штучки,— говорил Зубов.— Научили вас там сочинять шарады! Это не боевая операция, а сюжетник для кино!

В пылу спора он ссылался на авторитет Дзержинского, который один, без всякой охраны, бесстрашно явился в логово восставших анархистов. Не удовлетворившись этим, Зубов обозвал Иоганна типичным разведчиком бюрократического типа, сочинителем, а не бойцом.

И все-таки ему пришлось уступить. Истощив дружеское терпение, Вайс прекратил наконец убеждать Зубова в целесообразности предлагаемого им плана, встал и произнес с каменным лицом:

— Товарищ младший лейтенант! Я вам приказываю...

И Зубов подчинился.

Гравер «штаба Вали» Бабашкин успел изготовить для Вайса все необходимые документы. Пришлось спешить, так как весь технический отдел «штаба» вот-вот должен был отправиться с автоколонной в Кенигсберг.

Местом сбора группы Зубова был назначен лесистый горный массив в сорока километрах от тюрьмы. Это место определили по карте.

Зубову следовало прибыть туда ночью вместе со всеми своими людьми, снаряжением, оружием, военным обмундированием. Ему нужно было достать также одежду лагерных заключенных и, главное, наручники и кандалы, которые применяло гестапо при аресте особо важных преступников.

Иоганн должен был прибыть к месту сбора отдельно.

Проводив своих сослуживцев и дружески простившись с ними, Вайс и сам тронулся в путь. За рулем его машины сидел чех Пташек. Долговязый, с удивительно унылым выражением лица, человек этот тем не менее успешно подвизался в роли клоуна-силача в кабаре, куда Вайс в свое время устроил его через Эльзу, когда гестапо казнило актера, изображавшего Чарли Чаплина. Тот позволял себе иной раз на секунду шаржировать облик фюрера и поплатился за это жизнью.

Некогда Пташек был известным чехословацким спортсменом-десятиборцем и обладал не только железной мускулатурой, но и железным лицом. И так умел владеть лицом, что скулы обретали мощь бицепсов, когда он жонглировал тяжелыми кегельными шарами, и казалось, что при этом он сов-

сем не напрягается, а только подмаргивает, чуть склонив голову.

Вайсу, когда он в свое время вербовал Пташека, пришлось порядком напрячь память, чтобы вспомнить имена всех известных советских спортсменов. Этого потребовал Пташек в доказательство того, что Вайс — русский разведчик.

А поверив, он с восторгом подчинился Вайсу и почувствовал себя таким счастливым, что лицо его, правда оставаясь привычно унылым, обрело еще и черты гордого высокомерия, которое сам Пташек объяснял тем, что отныне он должен внушать ужас фашистам. Действительно, после того как Вайс свел Пташека с Зубовым, они стали действовать вместе. И, по отзывам Зубова, все операции Пташек проводил с таким профессиональным хладнокровием, будто встречался на стадионе с противниками, спортивные данные которых, как ему уже заранее известно, заведомо уступают его возможностям.

Вайс упрекнул его однажды в излишнем, опасном усердии. Пташек ответил меланхолически:

— Если меня убьют, по очкам я все равно их переиграл. — И, загибая жилистые, длинные пальцы, перечислил тот урон, который противник уже потерпел от его рук за время их с Зубовым ночных вылазок.

Поездка немецкого офицера по дорогам Польши на легкой открытой машине и без охраны уже сама по себе была подвигом. Иоганн отлично знал, что польские партизаны, советские оперативные группы и самодеятельные отряды бежавших из концлагерей военнопленных не упустят такую добычу. Но когда он поделился своими опасениями с Пташеком, тот спросил:

— Значит, трусишь?

— А ты?

Пташек печально согласился:

— Как никогда в жизни! Боюсь получить пулю от своих. Это же ужас!

Для большей безопасности они решили ехать в штатском. Пташек даже рекомендовал завестись у польских подпольщиков какими-нибудь документами, но на это уже не оставалось времени.

К счастью, все обошлось благополучно, и они без задержки добрались до назначенного места.

В заросшей кустарником балке уже разместились люди Зубова. Туда же Зубов пригнал грузовик, выкраденный с базы снабжения, расположенной на порядочном расстоянии от города. Он был покрыт фанерой и по виду ничем не отличался от тюремного фургона.

Восемь человек, включая Зубова, были в эсэсовских мундирах, остальные — в полосатой лагерной одежде и сандале-

тах на деревянной подошве. На груди пришит доскут с буквой «К» — от слова «кригсгефангенер» (военнопленный).

Одним из них Зубов здесь же выстригал машинкой половину головы, другим пробривал дорожку, третьим снимал волосы начисто, так как в каждом концлагере был свой способ метить заключенных.

Никто не оставался в бездействии. Тушью наносили на руках лагерные номера. Мазали лица землей. Пташек тоже сразу принялся за дело — мастерски гримировал тех, у кого физиономии, несмотря на все ухищрения, не казались истощенными.

Туалет «заключенных» отнял довольно много времени, и Иоганн пока что успел переодеться в припасенный специально для него капитанский мундир.

Чувствовал он себя в этом мундире отлично. Его лощенное великолепие, манеры пруссака, кичащегося своей военной родословной, и холодное презрение, с каким он смотрел на окружающих, были совершенно естественны. И у тех, кто видел его сейчас, лица невольно принимали жесткое, неприязненное выражение.

Жилистый кустарник. Серая щебенка. Плеск родника, казалось сочащегося из почвы под тяжестью мшистых скал. Сумрак ущелья и сверкающее, кишачье кроткими звездами небо.

Многие боевики, собравшиеся здесь, видели друг друга впервые. Они соединились сейчас только для того, чтобы выполнить задание. И потом, когда дело, порученное им, будет завершено, они уже никогда больше не увидятся. Ведь в общей системе разведки существует строгая специализация, разделение труда — каждый на своем посту. Помешать им встретиться вновь могла и иная причина, простая и естественная — гибель при выполнении этого боевого задания.

Но у человека, не знающего, для чего все они сошлись здесь, могло создаться впечатление, что эти люди чрезвычайно довольны чем-то. На столь непохожих лицах одинаково отражалась радость. А радовались они вовсе не потому, что не понимали или недооценивали опасности предстоящей операции. Напротив, каждый из них отчетливо сознавал, как трудно будет осуществить дерзновенный замысел. Возможно, ни один из здесь присутствующих не останется в живых.

Все они давно привыкли к неслышной поступи смерти, шагающей рядом. Знали, что будут одиноки в свой последний час. Что весь смысл этого последнего для них часа в том, чтобы молча выдержать все. Не назвать себя. Для врагов ты Никто. И погибнуть должен как Никто — человек без имени, без роду и племени.

Безымянная смерть — высший и самый трудный подвиг разведчика. К нему нужно быть готовым. Нужно забыть о

себе, уничтожить в памяти все, прежде чем тебя уничтожат. Ты должен убить память о себе в своем сознании прежде, чем убьют тебя самого, чтобы никакие муки не вынудили тебя вспомнить, кто ты.

А тут что ж! Бой в открытую, плечом к плечу с товарищами. И они радостно жаждали этого боя, зная, что если погибнут, то погибнут с оружием в руках, как солдаты на поле битвы, падут в яростной схватке с врагом. А уже это одно — счастье.

Все они тайно работали в тылу врага и почти все не то что пистолета — перочинного ножа при себе не имели. Нужно было маскироваться, соблюдая правила бытовой безопасности с аккуратностью обывателя, примирившегося с оккупантами и с рабской покорностью работающего на них.

Даже в случае провала эти люди не считали себя вправе добровольно отказаться от последнего шанса на победу. Они до конца вели поединок со следователями СД, или гестапо, или контрразведчиками абвера, противопоставляя изворотливость угасающего в муках разума тупому усердию палачей. И нередко выигрывали состязание.

Прибегнуть к ампуле с ядом эти люди считали ниже своего достоинства, считали чем-то подобным капитуляции, результатом слабости, утраты веры в последний шанс, который обязательно должен представиться и дать возможность выпутаться из следственной сети.

То была высшая этика, руководившая советскими разведчиками в их борьбе. Ее никто им не предписывал, но она стала для них как бы духовным уставом. До конца остаться бойцом. Бойцом без имени. Твое имя — Никто.

И люди, не назвавшие себя и казненные безымянными, устаиваются от своих соратников высших почестей. О таких говорят: он погиб как чекист. Это значит: человек ничего не сказал, и его безымянным казнили в застенке. Враг не узнал его имени. Никто — вот его имя для врага.

Безмолвная безымянность — высшая доблесть для человека, как бы избравшего девизом своей жизни слова замечательного болгарского революционера Василя Левского: «Если выиграю — выиграет весь народ, если проиграю, то только себя».

В этих словах — сущность работы разведчика в тылу врага. Этими словами определяется значение его подвига...

Иоганн смотрел на людей, которые укрылись в кустах. Расстелив на земле куртки, они тщательно чистили пистолеты и автоматы, проверяли каждый патрон. Прятали оружие под лагерную одежду с таким расчетом, чтобы его нельзя было обнаружить при поверхностном осмотре. Наиболее креп-

кне физически рассчитывали, что отберут оружие у врага, и запаслись для этого кто брезентовой рукавицей со свинцовыми опилками, кто болтом, засунутым в пареную брюкву, кто свернутой в спираль патефонной пружинкой с отточенным, как лезвие бритвы, краем, кто подобной стилету вязальной спицей — ее прятали в грубый шов на брюках.

Давно уже Иоганн Вайс выработал манеру независимо и самоуверенно держать себя со своими сослуживцами по абверу. Он хорошо понимал, как нужно вести себя с каждым из них, о чем следует и можно говорить, и общение с ними не требовало от него усилий: он действовал как бы автоматически. Когда же он встречался с кем-нибудь из своих соратников, приходилось строжайше экономить время и в соответствии с правилами конспирации говорить лишь о том, что относится к заданию, и выслушивать в ответ только то, что непосредственно связано с делом.

Сейчас, очутившись в такой обширной компании родных людей, Иоганн почувствовал радостное смятение. Да и как не прийти в смятение, когда неожиданно исчезла привычная необходимость скрываться, экономить каждую секунду времени, быть напряженным, как взведенный курок пистолета.

Он бродил между боевиками с растерянной, какой-то жалобной улыбкой. И его лицо под эсэсовской фуражкой сразу неузнаваемо изменилось. Исчез Иоганн Вайс. Здесь, в овраге, был только Саша Белов, почему-то переодетый в форму немецкого офицера. И бродил он тут, волнуясь, как бродит неприкаянно за кулисами участник самодеятельного спектакля. И сам он волнуется, и все за него волнуются: а сумеет ли этот парень, такой русский, сыграть роль немецкого фашиста Иоганна Вайса? Ведь во всем его облике нет ничего, что могло бы помочь ему сыграть эту роль. Всем здесь, вероятно, приходило в голову, что трудновато будет Белову, с его добродушной физиономией и грустно-задумчивыми глазами, выступить в роли немецкого офицера, строптивного, надменного, властного. А он думал, как далеки эти ребята с их повадками рабочих людей от механической выправки солдат конвойной команды.

О тех же, кто в полосатой одежде заключенных, и говорить нечего. Разве они лагерники, эти люди с блестящими, озорными глазами, лихо заломившие на ухо или на темя круглые, из полосатой материи шапочки узников? Да нет, тут явный маскарад. Всех их вопиюще выдает отсутствие той мертвящей вялости смертников, которая обычно свойственна приговоренным к казни. В своей внушающей ужас полосатой одежде они развалились в кустах так вольготно, будто на них пижамы, надетые на ночь, не более.

Но вместе с тем в поведении всех этих людей ощущалась строгая, суровая выучка. Они не спрашивали друг друга:

«Кто ты?», «Откуда ты?» Им не следовало обременять себя лишними сведениями. Они сейчас отдыхали. И даже то, что расположились они строго по парам, не было случайностью. Каждая пара получила точное задание, каждый знал, как ему предстоит действовать в условиях боевой операции. Все вплоть до мельчайших подробностей было предусмотрено: и различные варианты взаимозаменяемости в соответствии с обстановкой, и то, кому подорвать заполненные взрывчаткой коробки противогазов, чтобы прикрыть группу в том, крайнем случае, если операция сорвется и возникнет необходимость отойти, скрыться.

На рассвете самокатчик в форме службы гестапо доставил на мотоцикле начальнику тюрьмы секретный пакет на его имя. И этот пакет и бумага с приказом принять заключенных были изготовлены в мастерской «штаба Вали».

Одновременно, еще в предутренних сумерках, один из боевиков засел в траншее, выкопанной под кабелем линии связи, идущей от тюрьмы. Однако он не перерезал кабель, а только замыкал его, нарушая слышимость настолько, что телефонный разговор состояться не мог.

К вечеру группа разместилась в грузовике, строго соблюдая все правила обычного конвоирования заключенных.

Зубов в форме эсэсовца сел в машину Вайса.

Место рядом с шофером Пташеком занял одетый в форму гестаповца парашютист Мехов, назначенный быть личным охранником Иоганна.

Мехов обладал большим опытом подрывника и говорил о себе, что он человек с пониженным слухом из-за шумной работы. И даже утверждал, что теперь ему все равно, какое кино смотреть, звуковое или немое. И если он выживет, то придется ему после войны, как старику, вешать на грудь слуховой аппарат. Впрочем, Мехов сильно преувеличивал: все, что нужно было, он прекрасно слышал.

Низкие, грузные тучи, казалось, пронзенные вершинами скал, источали потоки дождя. Было серо и сумрачно. Над озером дымилась водяная пыль. Ее выбивал с поверхности озера тяжелый, твердый ливень.

Дорога извивалась в каменистых кручах. Обогнав грузовик, легковая машина Вайса вскоре приблизилась к казавшимся заброшенными угрюмым развалинам, лишь по силуэту напоминавшим старинный замок.

Внешняя охрана, едва Вайс предъявил документ абвера, беспрепятственно пропустила машину за крепостную стену. Миновали тяжеловесной каменной кладки древние ворота, въехали во внутренний двор замка. Тут оказалась вторая, бетонная стена, поверх которой были натянуты провода высокого напряжения. И вот в металлические ворота этой стены машину не пропустили. Пройти в караульное помещение

сквозь узкую дверь, расположенную далеко от ворот, охрана разрешила только офицерам — Вайсу и Зубову

Здесь им предложили подождать.

Явился дежурный обер-ефрейтор СС, тщательно проверил документы приехавших, повторил просьбу подождать и удалился, взяв документы с собой.

Ждать пришлось недолго, всего несколько минут. Снова появился обер-ефрейтор, на этот раз в сопровождении двух охранников, и предложил господам офицерам пройти на квартиру коменданта, расположенную рядом с канцелярией.

Начальник тюрьмы, или, как здесь его называли, герр комендант, долговязый, тощий, но с большим отвислым брюхом, чуть приподнялся из-за стола и жестом предложил офицерам сесть против него в старинные кресла с высокими резными спинками.

Перед ним лежал приказ, доставленный человеком Вайса, и документы приехавших, взятые у них обер-ефрейтором.

— Я вас слушаю, господа, — сказал начальник тюрьмы, уныло посмотрел на свое висящее между сухих ног брюхо и осторожно погладил его.

Вайс сказал:

— Да? — И, нагло глядя в тусклые глаза коменданта, осведомился: — У вас здесь, вероятно, нет туалетной комнаты?

— Есть. Я прикажу проводить вас туда.

— Мне не требуется, — сказал Вайс. — Но мы как будто нарушили ваше уединение? Не стесняйтесь. Мы располагаем временем. — И, обратившись к Зубову, заметил небрежно: — Не правда ли, мы готовы оказать герру коменданту такую любезность?

— Приказ составлен несколько не по форме, — сказал комендант и подтолкнул к Вайсу желтой рукой бумагу, жирно подчеркнутую в нескольких местах синим карандашом.

Вайс, не глядя на приказ, усмехнулся:

— Герр комендант, осмелюсь доложить вам, что я не штабной писарь. И не нахожу нужным разбираться в подобных мелочах.

— Однако документ составлен не по форме, — настойчиво повторил комендант, и его испитое лицо стало упрямым. — И я не могу, не получив документа, составленного по форме, принять ваших заключенных, тем более что мне негде их поместить.

— Не можете? — переспросил Вайс.

Комендант сокрушенно развел руками.

— Отлично, — сказал Вайс. И, улыбаясь, сообщил: —

Ваш отказ нас вполне устраивает. — Встал, резко склонил голову: — Имею честь откланяться, герр комендант.

— Вы так спешите? Может, позволите предложить вам рюмку шнапса?

— Пожалуй, — милостиво согласился Вайс, — но только после того, как отдам команду своим людям и прослежу за исполнением. — И, как бы успокаивая, добавил: — Это займет всего несколько минут.

— Что именно? — спросил начальник тюрьмы.

— Как что? — Вайс даже изумился. — Перестреляем эту пададь у стен вашего заведения. И все. Не потащим же мы их обратно.

— Позвольте, — забеспокоился комендант, — но почему на нашей территории?

— У меня приказ — доставить заключенных сюда. И я их доставил. Вы не желаете их принять. Хорошо. Я оставлю их вам в таком виде, при котором для них уже не потребуются тюремных камер. Все будет в порядке, уверяю вас. — И Вайс направился к двери.

— Герр капитан! — голос начальника тюрьмы дрогнул. — Я пытался связаться с командованием, чтобы получить уточнения, но связь работает адски скверно. — И придвинул к Вайсу телефонный аппарат. — Можете убедиться.

Вайс сказал брезгливо:

— Я не сомневаюсь, герр комендант, что даже связь у вас и то в плохом состоянии. И, будьте уверены, доложу об этом командованию.

— Я уже послал связиста проверить линию, — сказал комендант. И попросил: — Немного терпения, господа офицеры.

Вайс насмешливо осведомился.

— Могу я попросить об этом же вас, герр комендант? Вся операция займет минут двадцать, не больше. Собственно, мы оказываем вам любезность, сокращая срок пребывания здесь ваших заключенных.

— Хорошо, — сказал комендант, уже в двери останавливая Вайса. — Пусть ваших заключенных доставят во внутренний двор. — И приказал обер-ефрейтору: — Распорядись!

— Но не наших, а ваших заключенных, — поправил Вайс. И, обратившись к Зубову, попросил: — Будь добр, отдай это приказание нашим людям, ибо герр комендант полагает, что они подчиняются его обер-ефрейтору, а не своим офицерам.

Зубов и обер-ефрейтор вышли из канцелярии.

— Послушайте, — примирительно произнес комендант. — В каждом деле есть строгий порядок. Для вас, абверовцев, ликвидировать десяток-другой заключенных... — И он так сложил губы, будто сдувал с рукава пушинку. — Для нас же, тюремной администрации, каждый заключенный — это целая

система отчетности. Для занесения в соответствующую графу любого смертного случая необходима аргументация, причем обязательно медицинского характера.

— Я понимаю вас, — благосклонно согласился Вайс. И предложил: — Вы все-таки взгляните на преступников. Некоторым из них все же, я полагаю, придется задержаться у вас на продолжительное время. Настолько важные персоны, что их дела будут доставлены вам особым курьером.

— Я обратил внимание на отсутствие личных карточек и объяснил это себе как раз теми мотивами, о которых вы только что сказали, — согласился комендант.

Он набросил на плечи черную клеенчатую пелерину и, вежливо пропустив Вайса вперед, провел его по железной витой лестнице во внутренний двор тюрьмы, куда за это время въехал грузовик с «заключенными».

Человек десять тюремных охранников заняли позиции несколько поодаль от грузовика.

Группа боевиков, одетых в эсэсовские мундиры, выстроилась у машины грозной квадригой. Автоматы наведены, кобура пистолетов открыта. Они вели себя так, словно не замечали тюремных охранников и считали, что на них одних целиком возложено конвоирование заключенных.

А те сходили на каменные плиты двора по спущенной с борта грузовика железной лесенке. Двоих, накрытых бумажными мешками, сами заключенные вынесли на носилках и оставили несколько в стороне.

Вайс, небрежно кивнув в сторону носилок, успокоил коменданта:

— О, эти вполне еще живы. Но у них, знаете, выпадение прямой кишки.

— Да, — сказал комендант. — Знаю: слабительное. Мы тоже применяем этот способ.

Шел дождь, тяжелые капли четко стучали о плиты песчаника, устилавшие тюремный двор, и разбивались в водяную пыль.

Со шлемов конвоиров вода стекала потоками. Заключенные ссутулились, скорчились под ливнем. Но они не столько сами защищались от дождя, сколько охраняли от воды спрятанное под одеждой оружие. Некоторые зябко совали руки за пазуху — не потому, что мерзли: они хотели сохранить руки сухими, чтобы в них не скользило оружие.

Вайс объяснил, почему заключенные ведут себя не по форме:

— В дороге мои ребята кое-кому из них отбили пальцы, а возможно, и еще кое-что. И все-таки, как видите, стоят на задних лапках. Я полагал, после этого они смогут передвигаться только на четвереньках.

-- Оказывали сопротивление? — спросил комендант.

Вайс пожал плечами, усмехнулся.

— Если бы! Тогда бы нам не было нужды волочить их в такую даль.

— У вас brave ребята, — похвалил выправку боевиков комендант.

— По-честному говоря, они сами еле держатся на ногах, — сказал Вайс. — Сейчас служба безопасности работает как на фронте. Очень много заданий. — Спросил лениво: — Может, вернемся?

— Да, — согласился комендант, — мокнуть под дождем нам с вами вовсе не обязательно. — И поманил за собой сутулого человека с обвислыми плечами и узким горбоносым лицом.

В канцелярии комендант представил Вайсу этого человека:

— Герр Шварцберг — мой главный помощник. — Добавил значительно: — Обладает исключительными волевыми качествами. Настойчив настолько, что даже самые упрямые в его руках начинают верещать, будто канарейки.

Шварцберг улыбнулся Вайсу так, как улыбаются знаменитости, привыкшие к всеобщему восхищению. Попросил скромно:

— Герр капитан, будьте любезны назвать номера тех, кем я должен заняться в первую очередь. Желательно также знать, где они подвергались предварительной обработке. В методике и средствах мы стремимся избегать повторов. — Добавил многозначительным тоном: — Прежде чем назначить заключенному определенный режим, я тщательно обдумываю и взвешиваю все обстоятельства того предварительного опыта, который он получил. Ведь эффектно всегда только новое, еще не изведенное.

— Отлично, — согласился Вайс, — я вижу, у вас здесь все поставлено на серьезную ногу, — и опустил руку к планшету, висящему рядом с кобурой.

Медлить дальше было нельзя. Выхватывая парабеллум, Иоганн с силой ударил стоящего несколько позади Шварцберга в челюсть. Затем, держа начальника тюрьмы под прицелом, пнул ногой в висок распростертого без чувств на полу Шварцберга. Обезоружил коменданта и приказал ему отнести Шварцберга в ванную комнату. Комендант, видимо совершенно ошалеv от всего происшедшего, безропотно поволок по коридору бесчувственное тело своего помощника. В ванной Вайс мгновенно и почти беззвучно покончил с обоими. Быстро обшарил карманы, взял все ключи. Запер дверь на задвижку, огляделся, сунул пистолет в карман и спустился по винтовой лестнице во двор.

Потоки дождя по-прежнему тяжело шлепались на камен-

ные плиты. Заключенных уже не было видно. Боевики разбегались по двору якобы в поисках защиты от дождя.

Только дисциплинированные тюремные охранники по-прежнему стояли у стен под дождем.

Подошел Zubov. Обращаясь к нему, Вайс сказал громко:

— Герр лейтенант, может, вы зайдете попрощаться с комендантом? — и сунул ему связку ключей, отобранных у Шварцберга.

За Zubovым, тяжело ступая, проследовал Мехов.

Вайс закурил, чтобы дать время Zubovu и Мехову уйти и начать со своей группой действия во внутренних помещениях тюрьмы. Несколько раз глубоко затянувшись, швырнул сигарету и, отдав команду: «По местам!» — упал на землю.

Четверо боевиков последовали его примеру. Остальные открыли огонь, стреляя в застывших от неожиданности у стены тюремных охранников.

Убедившись, что все здесь идет, как и было задумано, Вайс побежал в помещение тюрьмы. В тюремных коридорах сражение уже почти закончилось.

На полу рядом с трупами охранников лежали погибшие товарищи: они первыми вступили в схватку, использовав запрятанное под надетой на них полосатой одеждой оружие.

Следуя разработанному плану, камеры пока не открывали. Было решено освободить заключенных только после того, как одна группа закончит бой с внутренней охраной, а другая — с внешней.

Вайс снова вышел во двор. Здесь все уже завершилось. Потеряли троих. Он приказал подбегавшему Пташкеку взять на себя руководство группой, оставшейся во дворе.

Пора было посмотреть, что делается во внутреннем помещении тюрьмы. Как Иоганн и предполагал, Zubov нарушил план операции.

Двери камер были распахнуты.

В раздражении на Zubova, забывшись, Иоганн повелительно крикнул заключенным по-немецки:

— Обратно по камерам!

И чуть было не стал жертвой своих слов. Освобожденные с такой яростью набросились на него, что, несомненно, задушили бы, если бы не были так слабы.

Следовало дорожить каждой минутой. Иоганн, подавив жалость к этим людям — мученикам, страдальцам, братьям, твердо командовал ими. Иного пути призвать к благоразумию, как остудить их сердца холодной деловитостью, не было. Ради их же спасения он был почти начальственно официален, даже груб с ними.

Выдал каждому документы и карту местности, на которой был определен маршрут беглецов. Проследил, чтобы ос-

разбужденные сбросили тюремную одежду и переоделись в сложенные на грузовниках штатские костюмы.

Потом пошел в канцелярию и занялся было исследованием секретных архивов, хранившихся в подорванном Меховым несгораемом шкафу, но тут Зубов внес в канцелярию Эльзу, бережно положил на диван. Герр Шварцберг использовал в качестве карцера морг-ледник. Там и нашли Эльзу.

Она была без сознания, не подавала признаков жизни.

Иоганн приказал выбросить из ванной комнаты трупы начальника тюрьмы и Шварцберга.

Ванну наполнили горячей водой и опустили в нее девушку.

Разжав стиснутые зубы Эльзы ножом, Пташек влил ей в рот спирта из фляжки.

Зубов стоял бледный, руки его дрожали, китель и брюки в крови.

— Ты ранен? — спросил Иоганн.

— Пока не чувствую. — И, опустив руки в воду, Зубов стал оттирать ступни девушки.

Вода окрасилась кровью...

— А ну, идите отсюда! — махнул рукой Мехов. — Лучше я сам. Вы только мешаете.

В канцелярии, выжимая мокрые рукава, Зубов сердито сказал Иоганну:

— Поделикатничал ты с этими, комендантом и палачом. — Упрекнул: — Вот уж не ожидал от тебя!

— Чего именно? — удивился Вайс.

— Ну, отпустил ты их!

— То есть как это «отпустил»? — Иоганн скосил глаза на трупы. — А это тебе что?

Зубов повторил упрямо:

— Отпустил с миром, что называется. Если бы ты видел, как она лежала там, в леднике, на трупах. Замерзая, заползла на трупы. Они теплее, чем лед, вот она и заползла.

— Да ты не горячись, — попросил Иоганн.

— Хладнокровный ты, как лягушка, — сказал Зубов.

— Вот именно!

— Нет у меня больше таланта притворяться. Уйду с группой — и все.

— Еще чего! — сурово сказал Иоганн. Спросил: — Тебя что, в голову ушибли? Сдурел?

— Если она не оживет... Катись ты подальше со своей конспирацией. Я за них самостоятельно возьмусь.

— Неврастеник! — презрительно сказал Вайс.

— Ты понимаешь? Ее там среди мертвецов заживо замораживали.

Прибежал Мехов.

— Идите скорей: живая... — Потное лицо его расплылось в улыбке.

В ванной комнате было жарко, все заволело тусклым паром.

Накрытая шинелями, в ванне лежала Эльза. Под голову ей Мехов сунул пестрый купальный халат начальника тюрьмы.

— Глядите, — хвастливо объявил Мехов, — ожила!

Голова Эльзы с мокрыми волосами казалась мальчишеской. Виски запали, щеки осунулись. Кожа неестественно розовая.

Эльза улыбнулась опухшими губами, обнажив кривые обломки зубов. Подняла исхудалые, белые, как веточки с ободранной корой, руки и попыталась протянуть их Зубову и Вайсу.

Зубов опустился перед ней на колени, опустил голову, заплакал.

Эльза что-то прошепелявила. Ей трудно было говорить разбитым ртом, воздух проникал в обломки зубов, вызывая острую боль. Лицо ее исказилось. Она умолкла.

Мехов склонился над ней, снова приложил к ее губам свою фляжку.

Иоганн вопросительно взглянул на Мехова.

Тот виновато потупился, объяснил:

— Она сейчас сильно пьяная. Перелил я в нее спирта. Ничего, ей так лучше.

— Зубов... — Эльза положила руку на его крутой затылок. — Я тебя так долго ждала, а ты все не шел... — Сказала жалобно: — Конечно, из-за Бригитты. Ну и пускай. Пускай она теперь ждет тебя дома, на Таганке. А я все равно тебя не отпущу. И молчи. Я уже все решила за нас. И как я хочу, так все и будет. Ты меня привык слушаться, да? Даже с Бригиттой послушался.

Эльза хотела привстать. Мехов удержал ее за плечи. Показал глазами на дверь.

Иоганн увел Зубова в канцелярию, усадил на стул.

Зубов хрипло дышал. Китель его весь пропитался кровью. Иоганн раздел Зубова, забинтовал его раны — осколками гранаты задело руку и бок. Спросил:

— Ты как себя чувствуешь?

— Как подлец! — живо отозвался Зубов. И, гневно глядя на Вайса, объявил: — Такую девушку я из-за вас потерял! Не простит она меня за Бригитту.

— А ну вас! — устало сказал Иоганн. — Не морочьте вы мне голову. Еле живы, а мелете чепуху да еще в такой обстановке. Эльза хоть опьянела, а ты? — И, махнув рукой, пошел проверить караулы.

Все было в порядке. Убитых тюремных охранников переодели в одежду заключенных и снесли на ледник.

Машина начальника тюрьмы вывозила по нескольку заключенных и тут же возвращалась за новыми.

Во двор вышел Мехов, доложить Вайсу, что Эльза отогрелась и теперь спит. Сказал озабоченно:

— У нее не только зубы повыбиты. Видать, подвешивали — искалечены руки и ноги. Передвигаться не сможет. Пусть поспит немного, а потом я ее в одеяло укутаю, уложу в мотоцикл и на полном газу доставлю куда следует. — Потребовал: — Выдумывай и пиши справку о ней, чтобы в случае чего я мог патрульным постам предъявить.

В канцелярии были тюремные бланки, печать, штампы. Иоганн отпечатал на машинке приказ о том, что заболевшая тюремная надзирательница направляется в госпиталь СС. Подделать подпись начальника тюрьмы было не так уж сложно.

В полночь Мехов завернул сонную, слабую, еще не совсем опаматовавшуюся Эльзу в одеяло, вынес во двор тюрьмы и уложил в коляску мотоцикла.

Вайс спросил:

— Может, позвать Зубова? Пусть простится.

— Нет, — сказал Мехов, — не надо. Зачем им еще и из-за этого мучиться? У них еще вот сколько впереди будет всего! — И коснулся ребром ладони своих бровей. Крутнул ногой заводную ручку мотоцикла, выкрикнул зло: — Но в случае чего я лично ее живую им больше не оставлю!.. Будь уверен! — и показал глазами на пакеты со взрывчаткой.

— Только преждевременно не горячись, — попросил Вайс.

— Будь уверен, — пообещал Мехов. И похвастал: — Я человек обдуманного действия. Иначе давно бы живым не был. — И кивнул на прощание.

Мотоцикл развернулся и выехал в полуоткрытую дверцу ворот. Дежурный тотчас замкнул ее на тяжелый стальной брус.

В памяти Иоганна осталось запрокинутое лицо Эльзы на черной клеенчатой подушке коляски мотоцикла. Худенькое, изможденное, обескровленное, оно сейчас, после всех мук, которые перенесла Эльза, выражало только усталость. И волосы светлые, смиренно затянутые, а не пышные, ярко-рыже-бронзовые, нагло вбитые, как прежде. Милое, простое, очень усталое лицо, словно у выздоравливающей после тяжелой болезни.

Лежащие на руле сильные руки Мехова были в ссадинах и кровоподтеках. Из-за широких голенищ сапог торчали запасные кассеты к автомату, а из незастегнутой кожаной сумки для инструмента высовывался взрывпакет, превосходящий по своей разрушительной силе противотанковую мину.

Надо думать, Мехов благополучно доставит Эльзу на место. А потом ее перебросят через линию фронта, и не будет больше связной Эльзы, и станет она — ну как ее зовут? — Лена, Лиза, Надя, Настя, Ксюша или Катюша?

Встретятся они когда-нибудь на улице и пройдут мимо, не узнают друг друга. Что ж, возможно и такое...

...Зубов, услышав об отъезде Эльзы, пришел в отчаяние, что не простился с ней, и яростно обрушился на Вайса, который не нашел нужным предупредить его об ее отъезде.

— Брось, — миролюбиво сказал Иоганн, — не морочь девушке голову.

— Это потому, что я теперь женат на немке?

— Нет, не потому.

— В чем же тогда дело?

— Дело в том, — ответил Иоганн, — что ты, воображая, будто ты один бессмертный, нахально лезешь навстречу смерти.

— А что ж, я ее стесняться должен? Я человек откровенный, — зло сказал Зубов. — Есть возможность бить, бью от чистого сердца, по-солдатски. — Добавил презрительно: — И если бы не ты, не твоя дипломатия, я бы давно...

— Был бы на том свете, — закончил за него Иоганн. Строго добавил: — И запомни: если Бригитта в ближайшее время снова овдовеет, значит, ты по своей вине провалил нам личную «крышу».

— Ну, знаешь, на покойников взыскания не накладывают!

— Пока человек еще не покойник, есть возможность его пропесочить. Тебе было приказано руководить боем внутри тюрьмы, а ты впереди людей один кинулся в ворота. Футболист! Опять вернешься к Бригитте покалеченный да еще с разбитой физиономией.

— Ну, уж это наше с ней дело, — огрызнулся Зубов. — Семейное.

— Нет, — сказал Иоганн, — это не ваше личное дело, какая там у тебя рожка, а мое. Не будь ты таким красавчиком...

— Ах, так, — обиженно прервал его Зубов, — значит, я тебе нужен только как пижон?

— Не мне, а Бригитте, — возразил Иоганн.

— Она меня не за внешность любит, — серьезно сказал Зубов, — а просто по-человечески. Если бы не это, мне Эльзе легче в глаза было бы смотреть и вообще все было бы легче.

— Ну ладно, — Вайс встал, — хватит переживать. — Приказал: — Через десять минут сматывайся!

— Это почему сматываться? — возмутился Зубов.

— А потому, — кротко ответил Иоганн, — что первыми будут уходить те из нашей группы, кто по своему положению в тылу врага представляет для нас наибольшую ценность.

— Вот, значит, ты и сыпь первым.
— Да, — сказал Иоганн, — я и буду в числе первых.
— Но после меня?
— Именно после тебя.
— Ты меня переоцениваешь! — усмехнулся Зубов. — А мне скромность не позволяет с тобой согласиться.
— Через пять минут тебя здесь не будет, — сказал Иоганн.

— А тебя?

— Я с Водицей уеду несколько позже, нам еще нужно покончить с архивами. Не беспокойся, мы не задержимся.

Водица, высокий, тощий, как и Пташек, но, в противоположность ему, жгучий брюнет, смуглый и черноглазый, был родом из Югославии. Среди соратников Зубова он слыл самым отчаянным. Поэтому Вайс старался не упускать его из виду и до последней минуты хотел держать его при себе.

В Воеводине фашисты отрубили на базарной площади головы отцу и двум старшим братьям Водицы и повесили обезглавленные тела на столбах, прикрепив на грудь дощечки с надписью: «Партизан».

В семнадцать лет Водица впервые оказался в концентрационном лагере. Но не за то, что научился убивать врагов одним ударом шила в спину, а за то, что украл хлеб в немецкой армейской лавке.

Водица совершал побеги из концлагерей, его ловили.

Однажды Водица бежал из концлагеря таким образом: удушил охранника, бросил труп на провода высокого напряжения и, опираясь на него, как на изоляционный материал, перебрался через ограду.

В последний раз он бежал из Освенцима, когда фирма «Топф и сыновья» еще не оборудовала там крематория и трупы не сжигали, а закапывали во рву за пределами лагеря. С ночи Водица спрятался между сложенными во дворе в штабеля трупам, и утром его вместе с покойниками швырнули в кузов грузовика. Из рва он успел выбраться до прибытия команды могильщиков.

С помощью Эльзы Водицу, выдав его за итальянца, устроили в ресторан при гостинице, так как он знал итальянский язык. Самым трудным для Эльзы было убедить этого тощего, жилистого парня со сверкающими ненавистью, черными, как агаты, глазами, чтобы он смиренно вел себя на новой должности.

Для верности она даже повела его в костел и там взяла с него клятву. И Водица послушно поклялся на кресте. Но потом, когда они вышли из костела, сообщил, что он не только не католик, но вообще не верит в бога, а один из его братьев был даже коммунистом.

— Ну, тогда поклянись мне как коммунист, — попросила Эльза.

Водица печально развел руками:

— Но я не член партии...

— Ну, тогда памятью отца и братьев.

Водица задумался, потом сказал сокрушенно:

— Нет, не могу. — Но, увидев отчаяние на лице Эльзы, пообещал: — Хорошо. Не буду трогать никого из тех, кто ходит в ресторан.

Перед отъездом Вайс с Водицей поднялись на караульную вышку, чтобы оглядеть окрестности. Они смотрели отсюда на пустынную дорогу, на силуэты гор, на гигантское, просторное небо в звездах.

— Смотри, как красиво! — не удержался Вайс.

Водица мрачно покачал головой.

— Ты не видел Югославии. Ты не можешь знать, что красиво и что некрасиво.

Но Вайс видел, как жадно хватали тонкие ноздри Водицы чистый горный воздух, с какой тоской смотрел он на зазубренные силуэты горных вершин. И промолчал, не стал опровергать его.

На рассвете Вайс был уже в Варшаве. Он явился в отделение абвера, где ему был вручен пакет с приказом следовать в Вильнюс. Дальнейшие указания он получит там от начальника абверкоманды.

52

Стоящий в глубине сада богатый барский особняк на Маршалковской служил старшим офицерам абвера, прибывающим с командировочными целями в Варшаву, как бы гостиницей. Известно, что истинное служебное положение разведчика часто определяется не его чином и даже не должностью, а тем заданием, которое на него возложено. Чаще же всего — связями с высшими кругами и местом, которое занимает разведчик в этих кругах. Поэтому получение комнаты в этой секретной абверовской гостинице зависело не столько от того, что значилось в служебном удостоверении сотрудника абвера, сколько от того, как он держал себя с комендантом, восседавшим за курительным столиком в вестибюле.

Комендант был в штатском — этакий полупортье-полусыщик. Он даже не раскрыл поданного ему удостоверения. Постукивая его твердым корешком по столу, с любезной улыбкой осведомился, откуда Вайс прибыл.

С такой же любезной улыбкой Вайс, в свою очередь, спросил коменданта, нравится ли ему Ницца, и предложил:

— Если нравится, будем считать, что я приехал из этого прелестного городка. — И тут же строго, уже без улыбки, предупредил: — О моем прибытии доложите майору Штейнлицу не раньше, чем я приму ванну, приведу себя в порядок и повидаясь с герром Лансдорфом. Он обо мне осведомлялся?

Комендант раскрыл удостоверение Вайса.

— Голубчик, — с упреком сказал Вайс, — герр Лансдорф мог забыть, что там написано. Возможно, он спросит только, осведомлялся ли о нем кто-либо из его друзей. Ведь так?! — Победоносно взглянув на коменданта, произнес небрежно: — Так вот, после того как вы проводите меня в мою комнату, можете сообщить герру Лансдорфу, что я уже осведомлялся о нем.

Иоганн столь упорно стремился попасть в эту гостиницу для того, чтобы застать здесь своих начальников и успеть кое о чем поговорить с ними во внеслужебной обстановке — ведь она всегда располагает к откровенности.

Покоренный властной самоуверенностью Вайса, комендант приказал служителю проводить его, полагая, что, пока приезжий будет устраиваться в отведенной ему комнате, можно успеть навести о нем дополнительные справки у дежурного гестапо.

Вайс уже было последовал за служителем к лифту, как вдруг увидел, что по красному ковру, устилающему лестницу, спускается Ангелика Бюхер, а вслед за ней важно шествует, как всегда, бледный и изможденный полковник Иохим фон Зальц.

Вайс замер, вытянулся и коротким кивком приветствовал эту пару. Он разрешил себе чуть улыбнуться Ангелике и просиять восхищенным взглядом. Тем особенным взглядом, который оценивает не столько лицо женщины, сколько ее фигуру. И хорошо сложенным женщинам такие взгляды не кажутся оскорбительными.

— Ба! Иоганн! — сказала Ангелика и протянула ему узкую, затянутую в кожаную перчатку руку.

Вайс галантно коснулся губами перчатки. Полковник остановился, озабоченный, так как не знал, следует ему узнать этого человека или не следует.

Вайс, на мгновение зажмурясь, сказал Ангелике:

— Вы, как всегда, ослепительны!

— Вы за кем-нибудь приехали? — задал вопрос полковник, желая показать, что он вспомнил этого шофера.

— Да, — сказал Вайс. — К герру Лансдорфу. — И произнес безразличным тоном: — Мне надо с ним кое о чем посоветоваться. — Взглянул на часы, добавил: — Но, я полагаю, у меня будет еще достаточно времени для этого.

— В таком случае вы позавтракаете с нами, — сказала Ангелика. И, с упреком оглянувшись на полковника, объяс-

нила: — Фрау Дитмар говорила мне, что господин Вайс успешно продвигается по службе.

Вайс многозначительно усмехнулся, склонил голову и, уже адресуясь к полковнику, сказал:

— Смею высказать уверенность, что теперь уже мы раньше, чем сами москвичи, узнаем, какая в Москве погода. Хайль Гитлер! — Прошел к двустворчатой двери ресторана и, пропуская вперед полковника и Ангелику, небрежно приказал коменданту: — Доложите герру Лансдорфу и майору Штейнглицу, что я буду здесь.

Вайсу очень хотелось, чтобы оба они застали его в обществе Зальца. Но тут же он подумал, что, пожалуй, чересчур развязно ведет себя, и попросил полковника:

— Будет большой любезностью с вашей стороны, если вы пригласите их!

Нужды в этой просьбе не было. Лансдорф и Штейнглиц уже завтракали в ресторане каждый за своим столиком. И Вайс сумел, так ловко представить даме сначала Лансдорфа, а затем и Штейнглица, что полковнику не оставалось ничего другого, как пригласить их обоих к своему столу.

Штейнглицу, без всякого сомнения, было лестно оказать себя в обществе полковника. Что же касается Лансдорфа, то тот сразу же со старомодным изяществом начал непринужденно ухаживать за девушкой, совсем не интересуясь, нравится это полковнику или не нравится.

Разговор с ней он вел на столь тончайшей грани приличия и неприличия, что нельзя было не подивиться его опытности в той области, которая, как казалось Иоганну, могла служить для него лишь предметом воспоминаний.

Этот весьма оживленно начавшийся завтрак оказался вдвойне полезен Вайсу. Во-первых, знакомство с полковником сильно возвысило его в глазах начальства. Во-вторых, комендант отвел ему комнату значительно лучше той, какую вначале предполагал дать этому нагловатому абверовцу с небольшим чином, но, как выяснилось, вполне обоснованным высокомерием.

Оказалось, что по поручению полковника Ангелика посетила женскую разведывательную школу и присутствовала на занятиях. Она сказала Лансдорфу:

— Странно, — во всем, что касается технической подготовки, они очень сообразительны. Но когда я стала допрашивать о самых элементарных женских приемах, необходимых при вербовке агентуры, то в этом вопросе они проявили удивительную тупость.

— Может, фрейлейн поделится со мной теми знаниями, которыми она обладает? — игриво осведомился Лансдорф. — Возможно, я окажусь достойным учеником.

Штейнглиц грубо хохотнул.

— Черт возьми, фрейлейн, вы просто умница! Убедите герра Лансдорфа создать школу из девиц, обладающих подобными талантами, — и мы все готовы стать кадетами в этой школе.

Фон Зальц сказал недогольно:

— Фрейлейн Ангелика ставит важные вопросы о принципе подготовки женской агентуры, ибо сильная сторона каждой женщины определяется ее умением воздействовать на слабости мужчин.

— Если мужчина слаб, то на него уже ничто не может воздействовать! — вздохнул Лансдорф.

— Bravo! — воскликнула Ангелика. — Вы просто прелесть, герр Лансдорф!

Штейнглиц, наливая себе коньяк, сказал озабоченно:

— Баба-агентка... — и брезгливо оттопырил губы. — Они годятся в мирное время и не против русских.

— Но почему? Разве бог сотворил их иначе, чем нас? — насмешливо осведомился полковник.

Штейнглиц залпом выпил коньяк и, переведя дух, ответил грубо:

— А потому, что эти дикари, как монахи в серых сутанах, бросаются сейчас только на одну дамочку, состоящую целиком из костей. И она уже помчалась в нашу сторону, как беглая девка из солдатского дома, где ей сильно доставалось.

— Не понимаю ваших аллегорий, — нахмурил брови полковник.

Вайс пояснил:

— Герр майор дает нам понять, что если силой оружия не удалось сразу убедить противника в нашей победе, то вряд ли женские чары могут склонить его к иному о нас мнению.

— Вот именно, — буркнул Штейнглиц, — чары! — И, глядя на Ангелику пустыми глазами, галантно заявил: — Но если б вы, фрейлейн, работали против нас, клянусь — перед вами я бы не устоял.

— Это высший комплимент даме, какой только может сделать разведчик, — сказал Лансдорф.

Обращаясь к Вайсу, Ангелика сказала:

— Там, в школе, заместительница начальницы — русская. Одна половина лица у нее ужасно изуродована, а другая красивая, как профиль камня...

— Значит, двуличная особа, — перебил Штейнглиц.

Вайс понял, что речь идет о Люсе Егоровой. Сдержанно заметил Штейнглицу:

— Настоящий разведчик — это человек с тысячью лиц. А какое из них подлинное, может понять только тот, кто сам не потерял лица.

Ангелика кивнула, соглашаясь о Вайсом.

— Однако у вас оригинальный вкус, — понизив голос, сказала она. — Насколько мне стало известно, вы были равнодушны к этой девице?

«Болтливая стерва! — подумал Иоганн о Кларе Ауфбаум. — Это ей дорого обойдется». И, улыбаясь, ответил:

— Фрейлейн, мы, абверовцы, обладаем искусством перевоплощаться в кого угодно. Но при всем том остаемся мужчинами.

— Разве? — насмешливо удивилась Ангелика. — Во всяком случае, для меня это новость. Вы обычно держались со мной так скромно, что эту вашу скромность можно счесть теперь просто оскорбительной.

Вайс пообещал многозначительно:

— Я заслужу прощение у вас, фрейлейн, с вашего позволения.

— А у той, русской, вы тоже сначала спрашивали позволения?

Лансдорф, прислушивавшийся к этому разговору, поощрительно подмигнул Вайсу и сказал громко:

— О, оказывается, и непогрешимые тоже грешат, но только скромно и тайно.

Что оставалось Иоганну делать? Не протестовать же. Он лишь застенчиво усмехнулся. Лансдорф рассмеялся и одобрително положил руку на плечо Вайса.

Медленно наливая себе коньяк, Вайс сосредоточенно посмотрел на рюмку, и вдруг перед ним, как призрак, возникла Люся Егорова, такая, какой она была, какой он впервые увидел ее на пионерском сборе, — тоненькая, ликующая, светящаяся. Она шагала рядом со знаменосцем, и рука ее, поднятая в пионерском салюте, как бы заслоняла лицо от слепящего солнца, хотя день был дождливый, пасмурный. И всем, кто смотрел на эту стройную, как шахматная фигурка, девушку, казалось, что от нее исходят яркие лучи, что она блещет солнцем Артека.

Он мотнул головой, как бы стряхивая наваждение, и, поднеся рюмку с коньяком к губам, многозначительно посмотрел в прозрачные, студенистые глаза Ангелики.

— За ваше самое страстное желание, фрейлейн.

Словно издалека, до него донесся приглушенный голос.

— Я была очень разочарована, — рассказывала Ангелика. — Я думала, будет казнь. А они раздевались лениво, как перед купанием. Переговаривались между собой, подходили по очереди к яме и даже ни разу не взглянули на нас, хотя мы были последними, кого они видели перед смертью. Они просто нагло не считали нас за людей. Я даже не знаю, боятся они боли или не боятся, понимают, что такое смерть, или

не понимают. И только голые, будто для приличия, прикрывались руками.

Штейнглиц хохотнул:

— Ну как же, если при казни присутствовала дама... — Добавил хмуро: — Работать с русскими — это все равно что учить медведя ловить мышей в доме. Я ни на одну минуту не чувствую себя с ними спокойным. Выполнять операции с такой агентурой — то же самое, что травить зайца волчьей сворой. Никогда не знаешь, на кого они бросятся — на зайца или на тебя.

— У вас сегодня плохое настроение, — заметил Лансдорф.

— Да, — сказал Штейнглиц, — плохое. — Сообщил вполголоса служебным тоном: — Курсант по кличке «Гога», — ну, тот, который участвовал в казни через повешение своего соплеменника, — устроил в самолете побоище. Почти вся группа уничтожена. Раненый пилот успел совершить посадку на фронтовой территории, доступной огню противника. — Пожал плечами: — А был этот Гога такой тихий, надежный, и вот — снова неприятность.

Вайс встал и, сияя радужной улыбкой, поднял рюмку с недопитым коньяком.

— Господа, предлагаю тост за нашу прелестную даму, фею рейха, фрейлейн Ангелику Бюхер!

Все вынуждены были подняться.

И тут Иоганн увидел, как предупредительно распахнулись двери ресторана и в элегантном эсэсовском мундире, сопровождаемый целой свитой чинов СД и гестапо, вошел Генрих Шварцкопф.

Лицо Генриха изменилось: потасканное, безглаголивое, неподвижное, как у мертвеца. На скулах красные пятна, глаза тусклые, воспаленные, губы поджаты. В руках он сжимал стек. Ударив этим стеклом по стоявшему в центре зала столику, скомандовал:

— Здесь! — И, недовольно оглядев сидевшую в углу компанию, громко спросил у одного из офицеров СД: — Вы уверены, что тут нет господ, присутствие которых не обязательно?

Лансдорф поднялся из-за стола. Тотчас к нему подскочил комендант и стал почтительно, но настойчиво шептать что-то на ухо.

— А мне плевать... — громко сказал Лансдорф. — Хотя бы он был племянник самого рейхсфюрера! — и шагнул к Шварцкопфу, высокомерно вскинув сухую седую голову.

Полковник фон Зальц так озабоченно протирал кусочком замши стеклышко монокла, будто именно от этого зависела незапятнанность его фамильной чести.

Штейнглиц неуловимым, скользким движением провел по бедру, и в ладони его оказался «зауэр». Он сунул руку с

пистолетом под скатерть и, прищурясь, наблюдал за Шварцкопфом. Можно было не сомневаться, что он готов постоять за своего начальника.

Действия Штейнглица не ускользнули от внимания гестаповца, который, войдя в зал вместе с другими сопровождавшими Шварцкопфа, остался стоять у двери. Он вскинул на согнутый локоть парабеллум с удлиненным стволом и навел его в спину Штейнглица.

«Ну вот, только этого не хватало, — подумал Иоганн. — Влипнуть из-за того, что кого-нибудь тут ухлопают. Хотя это было бы и занятно и до некоторой степени полезно: все-таки одной сволочью меньше». Но — увы! — он не имел права на такое удовольствие. И как ни противны были Иоганну пьяная заносчивость, высокомерная чванливость уверенного в своей безнаказанности эсэсовца, как ни отвратителен был сам Генрих, пришлось все же взять на себя роль миротворца.

— Ба! Генрих! Откуда ты свалился, черт возьми?! — воскликнул он с энтузиазмом и сделал руками такое движение, будто раскрывал объятия. Правда, при всем этом Иоганн не сумел придать лицу выражения восторга или хотя бы приветливости. Глаза его были презрительно холодны.

Генрих вздрогнул. Его пьяное злое лицо стало вдруг жалким.

— Это ты, Иоганн? — растерянно и изумленно спросил он. — Ну, знаешь, потрясен! Такая встреча... — Сияя улыбкой, обошел Лансдорфа, будто на его пути был не человек, а стул, схватил руку Вайса, притянул к себе. Обнял. Торжественно объявил сопровождавшим его людям: — Господа! Рекомендую: мой лучший друг Иоганн Вайс. — Почтительно представился Ангелике, фон Зальцу, Штейнглицу и Лансдорфу: — Имею честь — Генрих Шварцкопф. — Склонил голову, щелкнул каблуками, сказал извиняющимся тоном: — Если мое поведение было неучтивым, готов наложить на себя любое взыскание.

— Герр гауптштурмфюрер, вы всегда и всюду действуете столь решительно? — осведомилась Ангелика. — Или только...

— Ради бога, простите, — пробормотал Генрих и обратился к Лансдорфу: — И вы тоже, господин Лансдорф. — Добавил значительно: — Мы с вами встречались в Берлине, у рейхсфюрера, если вы соизволите вспомнить. — Указывая глазами на Вайса, добавил: — Я тогда еще спрашивал вас о моем друге.

«Значит, Генрих не полностью оскотинился, если говорил обо мне с Лансдорфом, — подумал Иоганн. — Ну что ж, ради пользы дела надо восстанавливать отношения».

Положив руку на плечо Шварцкопфа, он сказал, улыбаясь:

— Мы с Генрихом давние приятели.

— В сущности, — любезно сказал Генрих, глядя в глаза Лансдорфу, — я ваш гость. — И спросил уже официальным тоном: — Вы получили депешу из Берлина?

— Да, — сухо ответил Лансдорф, — получил.

— Так вот, этот особоуполномоченный рейхсфюрера — я. — И Генрих еще раз поклонился, но на сей раз более сдержанно, со строгим достоинством.

— Я к вашим услугам, — сказал Лансдорф.

— Отлично! В таком случае попросим прощения у дамы. — Пожал сокрушенно плечами: — Служба. — Обернулся к Вайсу: — Тебе тоже придется покинуть приятное общество — по тем же причинам, что и нам с господином Лансдорфом.

У дверей в апартаменты Шварцкопфа, отведенные ему в этом же особняке, стояли на страже эсэсовцы.

«Оказывается, Генрих — птица высокого полета», — определил Иоганн.

В кабинете, где имелись два несгораемых шкафа штабного тыла, а на столе — несколько телефонных аппаратов, Генрих предложил Лансдорфу расположиться на огромном кожаном диване и даже заботливо придвинул к нему курительный столик.

Присаживаясь на стуле рядом с Лансдорфом, Генрих сказал, как показалось Вайсу, с коварной скромностью:

— Я, в сущности, профан в ваших делах. Поэтому не ищите в моем вопросе чего-либо иного, кроме желания почерпнуть полезные сведения у столь высокочтимого и многосопытного человека, как вы.

Лансдорф, помедлив, ответил настороженно:

— Я готов, господин гауптштурмфюрер, быть вам полезным.

— Мне — едва ли, — сказал с улыбкой Генрих. — Рейхсфюреру!

Лицо Лансдорфа вытянулось и, казалось, еще более высохло.

Одутловатая физиономия Шварцкопфа утратила выражение беспечности. Низко склоняясь к Лансдорфу, он сказал жестко и неприязненно:

— Судя по вашему донесению, в индустриальном центре противника вот уже несколько месяцев успешно действует разведывательная организация под грифом «VI». Эта организация неоднократно пополнялась разведгруппами и техникой. Возглавляет ее агент Гвоздь. Так, если я не ошибаюсь, Гвоздь? Человек с ампутированной вами ногой.

Лансдорф молчал.

Генрих усмехнулся.

— Эта организация информировала нас о технологии изготовления новых светских танков. Сведения были весьма

утешительны. Крупповские специалисты, изучив эту технологию, дали заключение, что броня советских танков подобна скорлупе орехов. Отлично! Но моторизованные части вермахта засвидетельствовали обратное. И из-за этого небольшого расхождения в оценке новых советских машин мы понесли тяжелые потери. За чей прикажете счет их отнести?

— Я полагаю, — сказал Лансдорф, опуская белые веки, — что...

— Одну минуту, — перебил Генрих, — я еще не закончил. Далее. Эта же группа произвела диверсию. Мощным взрывом был уничтожен сборочный цех. Так?

Лансдорф кивнул.

— Но, — снова улыбнулся Генрих, — наша агентура сообщила, что этот взрыв был нужен самим большевикам для закладки котлована под новый цех, который они теперь там строят. — Продолжал насмешливо: — Не правда ли, какая странная созидательная диверсия в пользу противника? Вас это не огорчает, господин Лансдорф? Смеем вас заверить, рейхсфюрер был необычайно удивлен всем этим. Более удивлен, чем в том случае, если бы вам удалось наконец уничтожить завод как таковой. Рейхсфюрер просил меня осведомиться у вас, не сочтете ли вы возможным разъяснить столь загадочные события.

Лицо Лансдорфа стало серым.

Вайс, напряженно вслушиваясь в допрос, учиненный Лансдорфу, — ибо то, что происходило здесь, иначе назвать было нельзя, — понимал, какой опасности подвергается вся проводимая с помощью Гвоздя операция, имитирующая работу крупной антисоветской организации в советском тылу. Он должен был сейчас же, не медля ни секунды, найти спасительный ход. Но как?

Лениво потягиваясь, с капризной интонацией в голосе Вайс спросил Шварцкопфа:

— И из-за такой ерунды ты вынудил нас покинуть общество фрейлейн Ангелики Бюхер и себя лишил удовольствия познакомиться с ней поближе? — Упрекнул: — Ты стал настоящим чиновником, Генрих.

Шварцкопф нетерпеливо дернул плечом.

— Серьезность дела настолько очевидна, что я не могу понять, как можно относиться к моему вопросу так легкомысленно.

— Но ведь ты не меня спрашиваешь. Если б ты меня спросил, я бы ответил.

— Ну! — потребовал Генрих. — Попробуй ответить.

— Но ведь все это, извини меня, до смешного просто, — поскромничал Вайс. — Большевики разработали примитивную технологию изготовления новых танков в соответствии с предполагаемой потерей рудных баз на Востоке. И не их вина,

что армии вермахта не дошли до намеченных рубежей и в распоряжении большевиков по-прежнему остались рудные базы хрома, никеля, кобальта и так далее. Вот почему технология изготовления танков оказалась иной и броня их более прочной, чем мы предполагали. Но здесь вина не нашей агентуры, а, извини меня, генералитета вермахта.

Что касается диверсии, то тут все так же просто понять, как поставить яйцо на плоскости, чтобы оно не катилось. Для этого не обязательно быть Колумбом. Наши агенты взорвали сборочный цех, заложив для этой цели огромное количество взрывчатки. А большевики, утерев слезы после диверсии, сообразили, что образовавшуюся яму можно использовать под коглован, и теперь на месте старого сборочного цеха строят новый. В чем же можно упрекнуть наших агентов? В том, что они заложили слишком много взрывчатки и после диверсии образовалась впадина, которую большевики решили рационально использовать? Ну, это уж, знаешь, слишком... — Пожал плечами: — Вы просто там, в Берлине, воображаете, что наши агенты должны быть дальновиднее, чем сам фюрер.

Наши агенты, как и мы, считают, что Россия разгромлена и ее промышленность лишена сырьевых баз. Поэтому они и сообщают о том, как большевики готовятся делать танки и оружие чуть ли не из одного железа и чугуна. А вы их в Берлине за это упрекаете. Странно... — Добавил решительно: — Если агент не убежден в конечной победе великой Германии, он уже не агент. Наша первая обязанность — внушить ему эту мысль. Это одна из главных задач в работе с агентурой. Не правда ли, герр Лансдорф?

Лансдорф кивнул, на щеках его появился румянец. Но голос звучал по-прежнему нервно, когда он произнес:

— Надеюсь, гауптштурмфюреру наши разъяснения показались достаточно убедительными. — И несколько более бодрым тоном спросил: — Есть еще вопросы ко мне?

Дальнейшая беседа, в которую Вайс не считал нужным вмешиваться, косила незначительный характер и касалась деталей работы «штаба Вали».

В конце ее Лансдорф пообещал составить для Шварцкопфа донесение, в котором будут содержаться все сведения, интересующие рейхсфюрера.

— Отлично, — согласился Генрих и на прощание уже совсем дружески протянул руку Лансдорфу. Сказал с уважением: — Я очень счастлив, что мне довелось побеседовать со столь авторитетным в области разведки человеком, как вы, герр Лансдорф. — Вайса же он удержал: — Старик! Мы не можем с тобой так расстаться. — Подмигнул: — Или ты по-прежнему коньяку предпочитаешь пиво, а пиву — воду? — Провожая Лансдорфа к двери, сказал, оборачиваясь и глядя

с ласковой улыбкой на Вайса: — Вы не представляете, герр Лансдорф, как я рад встретить старого друга. Но, черт возьми, скажите: и на службе в абвере он ведет себя как святоша?

— Я самого лучшего мнения об обер-лейтенанте, — буркнул Лансдорф. — Он имеет не только самые высокие представления о нравственности, но, что, несомненно, важнее, неотступно следует им.

Когда они остались вдвоем, Генрих подошел к Иоганну, положил руки на его плечи и, жадно заглядывая в его лицо, спросил недоверчиво:

— Ты действительно совсем не изменился?

— А ты? — в свою очередь спросил Иоганн, хотя отлично понимал, что глубокие перемены произошли не только во внешности Генриха Шварцкопфа.

На каждого человека воздействует великое множество разнообразнейших раздражителей. Они атакуют его чувства, его память, подстегивают мышление даже тогда, когда он пребывает в состоянии относительного покоя.

Александр Белов не должен был оставлять без внимания ни один, даже самый мельчайший раздражитель. Специфика его деятельности была такова, что каждый незамеченный импульс мог стать упущенным сигналом грозящей опасности. Поэтому неусыпная, обостренная чувствительность, восприимчивость, нервная напряженность, собранность всегда были его нормальным рабочим состоянием.

С ходом времени выявляя и привлекая к своей работе все новых людей, способных на длительный подвиг, Белов неведомо для них по закону конспирации сцеплял их всех в единую цепочку, каждое звено которой было замкнуто старшим.

Иными словами, он создал организацию внутри абвера. Организацию, несущую службу советской разведки в сердцевине разведки вермахта. И все соратники Белова обязательно должны были, так же как и он, быть исполнительными и дисциплинированными службистами абвера. За этой стороной их деятельности Белов наблюдал столь же неукоснительно и зорко, как и за тем, чтобы, пользуясь доверием противника, они оправдывали высокое доверие отчизны и выполняли задания нашей разведки наиболее плодотворно и четко.

Поэтому, инструктируя своих товарищей по борьбе в тылу врага, Белов давал рекомендации, казалось бы, во взаимоотношениях друг друга направлениях: как лучше выполнять службу в абвере, строго следуя тому духу и правилам, какие здесь считались образцовыми для агента, и как лучше разрушать, разоблачать все то, для чего был предназначен абвер. И не раз Белов грозно отчитывал своего сотрудника за то, что тот недостаточно старательно служит немцам. И обучал этой службе так, как, скажем, обучал своих подчиненных

Штейнглиц, маститый знаток всех тонкостей тайной службы германской разведки.

Инструктируя своих подчиненных, Белов рассуждал примерно так: «Ты получил от врага оружие в свои руки. Ладно. Но не для того, чтобы от врага отбиться, — чтобы выиграть бой. Для этого надо сперва в совершенстве изучить оружие врага, затем научиться владеть им лучше, чем владеет он сам. Настоящий советский разведчик — это то же, что снайпер в засаде. Достиг рубежа, замаскировался — замри и жди, терпеливо высматривай достойную твоей пули цель. Выбрал, нажал спусковой крючок, врага выбил, но и себя выдал выстрелом. Меняй огневую позицию, маневрируй, не стесняйся, петляй, как заяц. Ты задачу выполнил — береги свою жизнь для следующей задачи».

Традиционная конспиративная цепочка, где каждое звено — организационно замкнутое кольцо и в каждом кольце только одному ведом другой из следующего звена, в советской разведке служил, помимо всего прочего, тем же, чем служил для альпинистов связывающая их веревка, с помощью которой товарищ помогает товарищу или спасает его, если тот повиснет над бездной.

Говорят, есть конструкторы, которые отличаются способностью мысленно представлять себе, в каком взаимодействии находятся все многочисленные детали механизма при любом рабочем положении.

Такой способностью обязательно должен обладать советский разведчик, руководящий цепочкой людей; каждый из них работает в специфических условиях, но их общие усилия сливаются в одно русло, по которому идет информация, подобно подземному роднику, пробивающему себе путь на поверхность.

Разведчик всегда должен знать, каково состояние дел его соратников по работе, что благоприятствует одним, что угрожает другим и когда надо эвакуировать третьих, тех, над которыми нависла неотвратимая опасность. А так как он принадлежит себе только на малые доли своего жизненного времени и интенсивность его собственного рабочего дела необычайна по напряженности, универсализму, разносторонности, то чуткость и интуиция столь же необходимы ему, как ученому, занятому поисками решения важной научной проблемы. Свое воображение разведчик должен держать на короткой и прочной привязи к фактам, дисциплинировать его фактами, проверять фактами. Он — исследователь.

Но, чтобы выбрать главное направление в своей исследовательской работе, разведчик должен обладать политическим талантом, коммунистической убежденностью, которая, помимо зоркости, дарует человеку дальновидность — умение в сегодняшнем прозревать будущее.

У Иоганна Вайса были теперь все основания расценивать свое положение в абвере как солидное, прочное, а созданную им внутри абвера организацию — исключительно надежной. Он подготовил кандидатуры, которым мог хоть сейчас без колебания доверить руководство этой организацией. И теперь только ожидал соответствующих на то указаний Центра, чтобы, передав работу в «штабе Вали» в верные руки, начать новое восхождение к новым тайнохранилищам германских секретных служб.

После встречи с Вайсом Генрих Шварцкопф, должно быть терзаясь запоздалым раскаянием — ведь, в сущности, он бросил своего приятеля в Лицманштадте на произвол судьбы, — проявлял к нему столь пламенную привязанность, что она даже стала обременять Иоганна. Генрих требовал, чтобы все свое свободное время Иоганн проводил только с ним.

Конечно, дружба с берлинским сотрудником СД, племянником гестаповского теперь уже оберфюрера СС Вилли Шварцкопфа, возвышала Вайса над его сослуживцами по абверу и могла стать мостиком для перехода к иной сфере деятельности, но в этой дружбе таилась и некоторая опасность, преодолеть которую Вайс не мог, хотя и пытался.

Дело в том, что Генрих действительно стал другим.

Заносчивость и высокомерие его легко объяснялись молниеносным продвижением по службе и правом власти над людьми, а грубость и хамство с подчиненными — принятой манерой обращения внутри служб СД, и все это Вайс мог с самообладанием и тактом отворачивать от себя, не роняя своего достоинства, но пьянство Генриха было невыносимо. Напиваясь, Генрих становился распушенно и опасно откровенным, не считаясь зачастую с присутствием посторонних.

Он оказался широко осведомлен об интимных сторонах жизни правителей Третьей империи, и, когда они бывали вдвоем, Вайс с интересом слушал его и даже поощрял своим искренним удивлением провинциала. «Ведь это известно всему Берлину», — говорил Генрих.

Он с иронической усмешкой рассказывал Иоганну, что Гитлер страдает истерическими припадками. Истуканно рыдая, он катается по полу и восклицает: «Я так одинок!.. Я обречен на вечное одиночество. Но все великие люди одиноки. Наполеон тоже был одинок... И Фридрих Великий... И Иисус...»

До встречи Гитлера с Евой Браун партия пыталась женить его на богатой родственнице композитора Вагнера, а потом на вдове фабриканта роялей госпоже Бехштейн, чтобы их состояние пополнило пустующую партийную кассу. Но фюрер наедине с этими дамами держал себя безнадежно непредпринимчиво или же произносил перед ними политические зажига-тельные речи.

Многодетная мать — госпожа Магда Геббельс пользуется особым расположением фюрера, но, к огорчению ее супруга, отношения у нее с ним чисто платонические. Она готовит для фюрера сладкие блюда, а он ласков с ней, гладит ее, как кошку, — к большему он и не стремится. Но даже это вызвало у Геринга завистливую ненависть к Геббельсу, и тот, зная о приверженности Геринга к наркотикам, с помощью своих тайных агентов в изобилии снабжает его наркотическими средствами. Но у Геринга мощный организм, он заправляется наркотиками, как танк горючим.

Гиммлер тех, кто пытался приблизиться без его ведома к Гитлеру, раньше устранял просто: тело жертвы заталкивали в бочку, заливали цементом и бросали на дно одного из озер в окрестностях Берлина.

Между Геббельсом и Розенбергом тоже идет борьба за место поближе к фюреру. Геббельс распространил материалы о том, что будто бы Розенберг между 1917-м и 1919 годами служил во французском разведывательном «втором бюро», действовавшем против немцев. Розенберг в свою очередь разыскал свидетелей, которые уличили Геббельса во лжи. Изображая из себя страдальца, Геббельс распространял слух, будто во время первой мировой войны при оккупации французами Рейнской области он был выпорот оккупантами. С помощью подставных лиц Розенберг разоблачил ложь Геббельса.

Когда-то Гитлер был влюблен в свою племянницу Гели, но, оказавшись неполноценным, потерпев фиаско в роли любовника, отравил ее. И теперь понуждает Еву Браун надевать одежду покойной.

На вилле Гитлера в Берхтесгадене есть кукла в натуральную человеческую величину с чертами Гели — эту куклу виртуозно сделал венский мастер, и с ней фюрер находит отдохновение, когда Ева отсутствует.

Что касается самой Евы Браун, то это — весьма робкое и глупое существо. Работала она ассистенткой личного фотографа Гитлера, который, получив монополию на распространение фотографий фюрера, стал миллионером. Ева как-то, рыдая, жаловалась своей сестре, что обрекла себя на роль весталки.

Вдова Бехштейн сейчас тоже при фюрере — в качестве ясновидящей. Дама эта явно не в своем уме. По приказанию Гиммлера, в ее комнате установлен замаскированный громкоговоритель, в микрофон которого один из агентов Гиммлера вещает замогильным голосом ее покойного супруга, и потом вдова Бехштейн пророчески передает фюреру эти слова.

У Гитлера над левым карманом кителя висит железный крест первого класса. Но те, кто знал его в годы первой мировой войны, утверждают, что он никогда не участвовал в боевых действиях: сначала служил десантником старшего сер-

жанта роты Аммана, затем вестовым в офицерской столовой, а к концу войны — полковым курьером.

Его контузия — результат истерического припадка при внезапном взрыве снаряда во время отступления в обозе германской армии осенью 1918 года, и она повлияла на его зрительный нерв — фюрер подслеповат. Но очки не носит из тщеславия.

Генрих рассказывал обо всем этом с оттенком хвастливости (не каждый столь осведомлен), бездумно, будто подобная болтовня ненаказуема, и отхлебывал коньяк маленькими глотками из большой пузатой рюмки, которую согревал в ладонях.

Надирался он медленно, тщательно и целеустремленно, накачивая себя коньяком, и, стремясь во что бы то ни стало подольше удержать при себе Иоганна, развлекал его историями из быта правителей рейха. Но рассказывал он обо всем этом таким тоном, каким говорят о некоторых странностях, присутствующих знаменитостям, имеющим право на странности, потому что они знамениты.

Закинув ногу на ногу, Генрих говорил, что фюрер, помимо всего прочего, обладает здоровым коммерческим инстинктом. В начале победоносного пути к высотам власти он хорошо заработал на продаже своей книги «Майн кампф» и вложил весь гонорар в фирму «Эггерт и К^о». Эта фирма занималась не только издательскими делами, но и владела всеми предприятиями партии по продаже мундиров и сапог для штурмовиков и снаряжения для «гитлеровской молодежи». Каждый член партии должен был покупать на собственные деньги специальное облачение: коричневую рубашку, мундир, пояс, сапоги, а также песенники, револьвер... Даже в случае политического поражения партии у фюрера остался бы в утешение недурной капиталец.

Гитлер считает себя не только великим политиком, но и художником.

Директор Мюнхенской академии художеств, который несколько лет назад забраковал экзаменационные работы Гитлера, отозвавшись о них пренебрежительно: «...обнаруживает полное отсутствие таланта», «нет признаков необходимого артистического импульса», — был казнен в Дахау.

Коллекции картин, принадлежавших фюреру, могут позаивать американские архимиллионеры.

Специальные эксперты, зачисленные в штат гестапо, в сопровождении агентов гестапо уничтожали тех, кто имел несчастье быть обладателем хотя бы одного полотна знаменитого мастера. Поэтому можно смело сказать, что в гестапо есть люди, знающие толк в искусстве.

Гиммлер — отличный организатор. Во все жилые дома гестапо назначает «дежурных». Их обязанность — следить за

каждым жильцом и представлять регулярные отчеты «дежурному по улице», который состоит во главе районного отделения гестапо. Они могут по своему усмотрению открывать отмычками квартиры и производить в них обыски. Таким образом, жизнь народа как бы на виду у руководителей рейха.

Гитлер — изумительный оратор. Его личный врач утверждает, что во время публичных выступлений с ним происходит нечто вроде припадка эпилепсии — фюрер впадает в транс.

Вследствие огромного напряжения голосовых связок в гортане у фюрера образовывались опухоли, но не раковые, а доброкачественные. Хирург удалял их, и фюрер снова мог по нескольку часов подряд произносить свои речи.

Фюрер часами просиживал в одиночестве в собственном кинозале. Он обожает американские сентиментальные любовные фильмы, а также фильмы из жизни ковбоев и гангстеров. Для него ставят и специальные порнографические картины, смотрит он их вдвоем с Магдой Геббельс, но при этом беседует с ней о чем-нибудь возвышенном, поэтичном.

Говорят, что когда он смотрел фильмы Чарли Чаплина, он громко хохотал и хлопал себя по ляжкам, но потом заявил, что это «отвратительный образчик разрушительного еврейского юмора». И при этом похвально отозвался о восстановлении в некоторых городах средневекового обычая выставлять людей у позорного столба.

К этим обычаям и вправду сейчас вернулись.

Молодым немкам, поддерживающим знакомство с евреями, сбрасывали волосы, а потом, повесив на грудь дощечку с надписью: «Я свинья. Я запятнала свою германскую честь общением с еврейскими свиньями», — возили на особых повозках по городу.

— Кстати, — осведомился Генрих, — тебя еще не подвергли проверке при помощи агента «чисто арийского авангарда»?

Байс ответил недоумеющим взглядом.

— Это специальный разведывательный отряд партии, состоящий из блондинок, обязательно натуральных, с толстыми косами, уложенными вокруг головы. Они одеты в старопотдамском стиле, очень скромно: высокие воротники, плотно облегающие блузки, туфли на низких каблучках и никакой косметики. Нацисты выдвинули принцип: германская женщина не нуждается в искусственных красках.

Так вот, этот отряд ариек ставит себе целью проверить максимальное число верноподданных фюрера путем установления с ними интимной близости, в процессе которой они проводят блицдопрос о политических взглядах.

— Знаешь, — сердито сказал Иоганн, — порой мне кажется, что по отношению ко мне ты взял на себя функции, по-

добные тем, какие выполняют эти девицы. Ну на черта ты говоришь мне всю эту ерунду?

— Но ты же правове́рный, разве может поколебать твои убеждения такая мелочь?

— Нет!— твердо ответил Иоганн — Мои убеждения только крепнут от твоей болтовни.

— Да?— спросил, сощураясь, Генрих.— Любопытно.— И лицо его приняло неприязненное выражение.

Иоганн держал себя с Генрихом очень осторожно. Терпеливо выжидал. И, проводя с ним много времени, избегал до поры затевать разговоры, касающиеся тех моментов жизни Генриха в Берлине, которые могли бы представить интерес для нашей разведки.

Он сообщил в Центр о своей встрече с Генрихом Шварцкопфом. Спустя некоторое время связной доставил Зубову пакет на имя Вайса.

В этом пакете содержались материалы следствия по делу об убийстве инженера Рудольфа Шварцкопфа.

Как установили органы советской контрразведки, Рудольф Шварцкопф был убит по указанию своего брата, Вилли Шварцкопфа. Убил его Функ при соучастии Оскара Папке, который дал об этом письменные показания, когда его задержали на советской границе. Эти показания тоже содержались в полученном Вайсом пакете.

Снова и снова листая материалы следствия, Иоганн решил: очевидно, Центр направил ему эти материалы потому, что считал возможным ознакомить с ними Генриха Шварцкопфа, если это будет целесообразно. Но пока необходимости в этом не ощущалось.

53

Постепенно дом Зубова стал хорошей конспиративной явкой. Бригитта Вейнтлинг безоговорочно верила всему, что говорил Зубов. А он сказал ей, что сотрудничает в одной из секретных служб и поэтому вынужден часто отлучаться из дому во имя интересов рейха. И она даже гордилась этой его таинственной новой службой. При всем том он, по-видимому, воспитывал свою «супругу» далеко не в фашистском духе, и хотя плоды такого воспитания вызывали симпатию Вайса к хозяйке дома, в гораздо большей степени его тревожили опасения, как бы Зубов не зашел слишком далеко в своих попытках перевоспитать Бригитту.

Так, Зубов посоветовал Бригитте изучать русский язык якобы для того, чтобы ей легче было объясняться с прислугой из военнопленных. Однажды Бригитта даже позволила себе упрекнуть Вайса за его слишком высокомерные и несправедливые суждения о русских, напомнив, что Советская

Россия была единственной страной, выступившей против жестокостей Версальского договора: она заключила с Германией в 1922 году Рапалльский договор, который и положил конец изоляции Германии от всего мира.

Услышав это, Вайс с изумлением уставился на Бригитту, потом с укоризной перевел взгляд на Зубова и пролепетал, что он только солдат и его дело — видеть в России врага и ничего больше.

А Зубов, будто не заметив молчаливого упрека Вайса, похвалил свою супругу:

— Просто Бригитта не боится, как некоторые, что в случае превратности судьбы советские солдаты будут вести себя на нашей территории так же, как наши ведут себя на их территории.

— И напрасно не боится,—сердито сказал Вайс, с гневом взглянув на Зубова.— Я уверен, они начнут с того, что тебя, например, обязательно выпорют за легкомыслие.

— Никогда,—запротестовала Бригитта.— Русские не применяют телесных наказаний. Ведь правда, не применяют?—обратилась она за поддержкой к Зубову.

— Но введут их специально для вашего супруга,—сердито пообещал Вайс.

Зубов только торжествующе ухмыльнулся в ответ на эти слова.

Прощаясь, Вайс негодуя спросил Зубова:

— Ты что, обалдел? Рассчитываешь на любовь до гроба?

Зубов пожал могучими плечами.

— А что, разве она не стоит того?—И тут же энергично объявил:— Я человек дисциплинированный. Но притворяться до такой степени, будто бы я и не человек вовсе, не буду. Не умею.

— Прикажу — будешь!— пообещал Иоганн. И весьма сдержанно расстался с Зубовым.

Иоганн был недоволен Зубовым: тот вел себя неосторожно до глупости; но он не мог не признаться себе, что теперь этот славный парень, ни секунды не колебавшийся, когда надо было riskнуть жизнью ради спасения товарища, увлекающийся, но чистый и верящий в людей, стал ему еще более дорог.

Он вспомнил, как Зубов, хладнокровно выходявший на ночные операции, с горечью говорил ему:

— Мы тут, прежде чем ремонтно-артиллерийские мастерские подорвать, обследовали обстановку. Наблюдал я, как немцы-рабочие на вертикально-сверлильном станке обтачивали каналы орудийных стволов. Ну, знаешь, золотые руки! Виртуозы! Уникальные мастера! И, понимаешь, пришлось весь план диверсии заново перекраивать: рванули так, чтобы никто из людей не пострадал,— между сменами. Аккурат-

ленько, тютелька в тютельку. И получилось. А иначе рука не поднималась.— Добавил уверенно:— Я полагаю, политически правильно рассчитали. Хотя с точки зрения подрывного дела поставили себя в трудное положение: еле ноги унесли. А Пташку часть щеки при взрыве оторвало. Но ничего, зато свое лицо уберегли — рабочих не искалечили. А станки — в утиль. Это верно — гробанули сильно.

Генрих как-то вскользь сказал Иоганну, что встречается с Ангеликой Бюхер.

— Тебе что, она нравится?

— Нисколько. Это психопатка, мечтающая стать героиней рейха.

— Зачем же она тебе?

— Так, чтобы испортить настроение фон Зальцу.— Заметил с насмешкой:— Этот чопорный пруссак оказался самым обыкновенным трусливым дохляком. В юности он обратился к хирургу, чтобы тот под анестезией нанес ему на лицо шрамы, и всю жизнь делает вид, будто эти шрамы — след рапиры и получил он их на дуэлях. Недавно я сказал ему, что костлявые ключицы фрейлейн Бюхер оскорбляют мои эстетические чувства. А он промолчал в ответ, словно не понял, о чем речь.

— А если бы он, недолго думая, просто пристрелил тебя за эту дерзость?

— Вот и отлично было бы,— вяло процедил Генрих.— Освободил бы от этой вонючей жизни.

Вайс подумал, что он пьян, но глаза у Генриха были как никогда трезвы, холодно пусты и безжизненно тусклы. Во время припадков уныния он обычно либо напивался до бесчувствия, либо пускался в разговоры на такие скользкие темы, что Иоганн начинал опасаться, не подвергает ли его Генрих проверке.

Вот и сейчас, пристально глядя Иоганну в глаза, Генрих спросил:

— Ты, конечно, знаком со всеми способами массового умерщвления людей? Так, может, поделишься опытом? Как коллега. Ну, не скромничай, Иоганн, не скрывай от дорогого друга своих драгоценных познаний.

— Да ну тебя к черту!— рассердился Иоганн.— Тоже нашел тему!

— А что? Весьма благородная тема для беседы двух молодых представителей великой нации будущих властителей мира. Нам ведь придется приложить еще немало усилий, чтобы достичь совершенства в этой области.— Генрих пристально глядел в лицо Вайса.— Не так давно мы начинали весьма примитивно. Помню, приезжаю я как-то в лагерь. Представь себе, дождь, слякоть. Гора трупов. Их собираются сжечь на гигантском костре, разложенном в яме. Дрова сырые, горят

плохо. Тогда один из приговоренных лезет в яму, зачерпывает ведром жир, натекающий с других трупов, и передает ведро напарнику. Тот выливает жир на дрова, костер разгорается, и все идет отлично. И какая экономия: не надо тратить горючего! Покойники на самообслуживании — используют собственный топленый жир.

— Противно слушать, — сказал Вайс.

— А делать?

— Хоронить трупы заключенных — обязанность самих заключенных.

— А превращать их в трупы — наша обязанность? — Генрих по-прежнему не отрывал взгляда от лица Вайса.

— Война.

— В день пятидесятичетырехлетия фюрера расстреливать по пятьдесят четыре заключенных в каждом лагере — это тоже война?

— Подарок фюреру.

— Ты знаешь, как это делается?

— В общих чертах, — осторожно ответил Иоганн.

— Они ложатся рядами голые в ров, набитый теми, кого уже расстреляли, но прежде чем лечь, сами посыпают убитых негашеной известью. И так слой за слоем. И никто не молит о пощаде, не теряет разума от ужаса. Медлительно, как очень усталые люди, они выполняют приказания, иногда переговариваются вполголоса. А тех, кто их убивает, они просто не замечают, не видят. Не хотят видеть. Ты знаешь, как это страшно?

— Кому?

— Тем, кто убивает. Нам страшно. Нам!

— Ты что, непосредственно участвовал в казнях?

— Нет.

— Так зачем столько переживаний, Генрих? Или ты считаешь расстрелы старомодными? Так есть газовые камеры. Кстати, ты знаешь, концерн «ИГ Фарбениндустри» за каждого заключенного, работающего на его предприятиях, платит службе СС по три марки, а служба СС платит «Фарбен» по триста марок за килограмм газа «циклон Б». Этот газ бросают в банках через дымоход в помещение, куда сгоняют заключенных, подлежащих уничтожению. Вот где образец истинного содружества промышленности и наших высших целей!

Делая вид, что ему наскучил этот разговор, Иоганн лениво потянулся и сказал:

— Чем больше обогащаются Круппы, Тиссенсы, Стигнесы, тем сильнее упрочается нация, ее экономическое могущество, и если мы даем «Фарбен» возможность заработать, то этим мы патриотически укрепляем мощь рейха. Это азбучная истина.

— Ты так думаешь?

— Для тех, кто думает иначе, «Фарбен» изготавливает «циклон Б».

— Однако ты здорово насобачился мыслить как подлинный наци.

— Скажем несколько иначе: рассуждать...— поправил Вайс.

— Значит, ты не хочешь быть со мной откровенным?

— Выходит, ты молот все это для того, чтобы вызвать меня на откровенность?— Вайс усмехнулся и строго напомнил:— Учти, я приобрел кое-какой опыт и, когда работаю с агентурой, сам осуждаю некоторые стороны нашей идеологии. Это помогает, так сказать, расслабить объект, вызвать его доверие, толкнуть на откровенность. Прием грубый, элементарный, но плодотворный.

— Так ты считаешь меня...

— Не горячись...— Иоганн положил руку на плечо Генриха, понуждая его снова сесть.— Я считаю, что ты, как и я, знаешь свое дело, и возможно, даже лучше, чем я. Разве я не могу высказать тебе свое искреннее профессиональное уважение?

Генрих так долго молча, напряженно и пытливо смотрел на Вайса, что тому стало не по себе от его жадно ищущего взгляда. Наконец он медленно, словно с трудом находя слова, произнес, все так же не отводя глаз от лица Вайса:

— Вначале я думал, что ты только хитришь со мной, что ты стал совсем другим — таким, как все здесь. Но сейчас я убедился в обратном. Это ты здорово дал мне понять, какая я сволочь.

— Ну что ты! Как я мог!— запротестовал Иоганн.

— Однако ты смог,— торжествующе заявил Генрих.— Смог, когда так иронически сказал о профессиональном уважении ко мне. Это было сказано иронически, и я понял, что ты не такой, как другие.

— Уверю тебя, ты ошибаешься,— механически произнес Иоганн.

Он был зол на себя. Выходит, он не сумел скрыть свои мысли, выдал их, если не словами, то интонацией. Негодуя на себя, он воскликнул горячо:

— Ты напрасно столь подозрительно относишься ко мне, Генрих! Я не ожидал.— Предложил настойчиво:— Прошу тебя, если ты сочтешь возможным и в дальнейшем считать меня своим приятелем, наведи обо мне справки в гестапо. Так будет проще. И, кроме всего прочего, это освободит тебя от естественной необходимости лично проверять мой образ мыслей.

Иоганн говорил деловым, но дружеским тоном, заботливо, доброжелательно, с мягкой улыбкой.

Однако его просьба вызвала на лице Генриха только выражение безразличия. Глаза его снова стали тусклыми, сжатые губы побелели, одна бровь высоко поднялась, как от приступа головной боли.

Такая реакция обрадовала Иоганна, но он ничем не выдал своих чувств и, тайно наслаждаясь мучительными переживаниями Генриха, как счастливой, драгоценной находкой, продолжал тем же искательным, фальшиво-задушевым тоном:

— Ты должен правильно понять меня, Генрих. Почему я так горжусь тобой? Ты был первым настоящим наци в моей жизни, образцом для меня. Еще в Риге ты, как подлинный ариец, сумел стать выше своего отца, дружившего с профессором Гольдблатом, и проучил этого еврея вместе с его дочерью, открыто выказывая им свое презрение. А ведь я в то время позволял себе считать их не только полноценными людьми, но даже привлекательными и благородными, и завидовал тебе, потому что Берта мне нравилась. Ты помнишь Берту? Я тогда думал, она красавица.

— А теперь она кажется тебе безобразной?

— Конечно! — поспешно согласился Иоганн. — В лагерях этот материал выглядит весьма неприглядно. Пожалуй, там бы я не узнал ее. Кстати, ты знаешь, какие меры возмездия практикует штандартенфюрер Лихтенбергер в рижских концлагерях? Провинившегося закапывают в землю по самую шею, а потом заставляют заключенных оправляться на его голову. — Заметив, что лицо Генриха внезапно стало серым, добавил осуждающе: — Но я лично противник подобных излишеств. Другое дело, когда заключенных закапывают там голыми в снег: наблюдения над результатами этого переохлаждения принесли пользу при лечении наших солдат, обмороженных на Восточном фронте. В Дахау, например, гауптштурмфюрер СС доктор Рашер весьма успешно проводит опыты с переохлаждением. Недавно он указал, что отогревание сильно охлажденных людей животным теплом может быть рекомендовано только в тех случаях, когда в расположении не окажется других способов отогревания или когда речь идет о слабых индивидуумах, которые плохо переносят массажную подачу тепла. В качестве примера он привел опыты с переохлаждением грудных детей. Оказывается, они лучше всего отогреваются у тела матери, если добавить еще бутылки с горячей водой. — Предложил услужливо: — Я могу показать тебе копию докладной доктора Рашера. Там ты найдешь много любопытного.

На сером лице Генриха глаза блестели холодно и жестоко. Сжав кулаки, он весь подался к Вайсу, глядя на него с ненавистью. Но Вайс, будто не замечал этого, продолжал тем же деловым тоном, только уже с некоторым оттенком печали:

— Ты, наверно, знаешь, что, заботясь о превратностях

войны, руководство СС дало указание испытывать на заключенных сильнодействующие яды. На случай, если нам самим придется воспользоваться этими ампулами. Весьма дальновидное мероприятие! Опытами руководит доктор Шуллер, а проводятся они обычно в присутствии лагерного руководителя СС Тоберта, штурмбанфюрера СС доктора Конрада Моргена и гауптштурмфюрера СС доктора Венера. Все они стоят за занавеской и через отверстие в ней наблюдают, как действуют на русских военнопленных ядовитые вещества — их вводят вместе с супом. Ну и, конечно, ведут хронометраж. — После небольшой паузы осведомился: — Ты был в Освенциме? — И продолжал, не ожидая ответа: — Пока там не построили муфельные печи для крематория, районы, прилегающие к лагерю, превратились в сплошные гниющие болота. Зловоние стояло невыносимое. Трупы засыпали небольшим слоем земли, и поэтому почва там стала подобна трясине. — Произнес с улыбкой: — Конечно, в таких условиях службе СС не позавидуешь. Но вместе с тем просто возмутительно, что уполномоченный рейхсфюрера, занимавшийся перевозкой ценностей из Освенцима, похитил сорок килограммов золотых зубов и скрылся. И, представь, его до сих пор не могут найти. Такие типы позорят мундир СС! — заявил Вайс с негодованием. И озабоченно добавил: — После того как в Галиции ликвидировали гетто, служба СС предъявила еврейской общине счет на три тысячи сто злотых за израсходованные патроны и потребовала немедленно оплатить его. Эти ретивые служаки, руководствуясь чувством бережливости, проявляют неустанную заботу о государственных доходах рейха. Надзиратель лагеря Заксенхаузен Вильгельм Шуберт, например, прибегает к самодеятельному способу казни заключенных. Он дает приговоренному веревку, гвоздь, молоток, запирает его в сторожке и приказывает собственноручно там повеситься. В противном случае заключенному угрожает экзекуция весьма своеобразная: он сам вкапывает в землю столб, а затем его вздергивают за связанные на спине руки на этот столб, и он висит на вывернутых руках до тех пор, пока не предпочтет более эффективного способа повешения. Таким образом, заключенные казнят себя как бы почти добровольно. Подобные самоубийства весьма популярны и в других лагерях.

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — хрипло спросил Генрих.

— Извини, — сказал Вайс, — очевидно, в моей болтовне для тебя нет ничего нового. Но ты офицер СС, и я просто хотел сказать, что понимаю, в каких условиях вам приходится работать. По сравнению с вами абвер — кустарная мастерская. И, в сущности, мы очень обязаны вам. После вашей обработки наши агенты выглядят вполне надежно. И мы вам

очень признательны... И я хочу и тебе, как офицеру СС, выразить свою служебную признательность.

— Значит, ты считаешь меня таким, как все те, о ком ты сейчас говорил?

— Видишь ли, — уклончиво ответил Вайс, доставая из кармана записную книжку, — рейхсфюрер Гиммлер указывал нам в своей речи в Познани... — И прочел: — «Подыхают ли другие народы с голоду, это интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры... Большинство из вас знает, что такое сто трупов, лежащих рядом, или пятьсот, или тысяча лежащих трупов. Выдержать это до конца и при этом, за исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости, остаться порядочными людьми — вот что закаляло нас. Это славная страница нашей истории, которая не написана и которая никогда не будет написана».

Вайс закрыл книжку, снова положил ее в карман кителя, чуть заметно усмехнулся, спросил:

— Не правда ли, эти слова точно объясняют нашу миссию? И те, к кому они относятся, я уверен, заслужат честь быть отмеченными на страницах истории. И я полагаю, что фамилия Шварцкопф займет там свое место.

— Какого Шварцкопфа ты имеешь в виду? — яростно вскинулся Генрих.

— Обоих — и Вилли и Генриха, — сдержанно пояснил Вайс. Осведомился: — Я надеюсь, твой дядя вполне доволен тобой и давно простил тебе твое юношеское увлечение Бертой? Или ты скрыл от него? — И, не давая Генриху ответить, поспешно посоветовал дружеским тоном: — Я бы на твоём месте все-таки посетил женский концлагерь в Равенсбрюке. Возможно, Берта там. Любопытно, как она теперь выглядит. Правда, на молодых еврейках обычно производят медицинские опыты — пересадки костей, заражения, экспериментальные хирургические операции, прививки. После этого из них выдавливают кровь для приготовления вакцин. Оставшихся в живых стерилизуют и затем проверяют результаты стерилизации в домах терпимости, устроенных в лагерях для иностранных рабочих. Так что едва ли от нее что-нибудь осталось, от прежней Берты. И, пожалуй, не стоит тебе тратить на это время. Хотя было бы эффектно, если бы она увидела тебя такого, какой ты сейчас есть, а ты ее — такой, какой она стала. Я думаю, ты был бы вознагражден. Ведь в свое время она отнеслась к тебе несколько пренебрежительно...

Удар по щеке на мгновение ошеломил Вайса. Рука его непроизвольно легла на кобуру пистолета, но он быстро овладел собой. Улыбнулся без всякого внутреннего усилия, ибо он хотел, чтобы Генрих каким-либо образом отреагировал на его слова, всем сердцем, волей, разумом стремился к этому, ждал этого, надеясь, что не все еще потеряно. И какой бы

ценой ему ни пришлось заплатить за свое открытие, он шел к цели упорно, методично, расчетливо, правда не предполагая, что именно пощечиной увенчается его поиск. Пожалуй, можно было не прибегать к такой крайности, чтобы заставить Генриха раскрыть то человеческое, что в нем еще сохранилось. И все же это, в конце концов, не промах, а удача. И теперь нужно только подумать, как правильно ею воспользоваться.

Глядя Генриху в глаза, Иоганн сказал официальным тоном:

— Господин Шварцкопф, вы оскорбили меня как офицера. Вы, конечно, понимаете, что такое честь мундира и как ее защищают?

— Ты хочешь стреляться со мной? — насмешливо спросил Генрих. — Пожалуйста!

— Еще что! — сказал Вайс. — Я не желаю, чтобы меня судили военным судом.

— Так что тебе угодно?

— Ты хорошо играл в шахматы, — задумчиво сказал Вайс. — Если не разучился, может, согласишься сыграть со мной?

— Зачем?

— Проигравший расплатится жизнью. Способ — по собственному усмотрению. Только и всего.

— Я согласен, — не колеблясь объявил Генрих.

— Отлично! — с излишней горячностью воскликнул Вайс.

— Ты что, думаешь, за шахматами мы помиримся? — подозрительно посмотрел на Вайса Генрих.

— Нет! — решительно отрезал Вайс. — Ни в коем случае. Но только, знаешь, давай до турнира забудем о том, что произошло сейчас между нами. Попробуем быть волевыми парнями, а? Мне это будет труднее сделать, чем тебе. Но я постараюсь на время забыть об оскорблении.

— Надолго?

— Завтра вечером будем играть.

— Почему не сегодня?

— Если ты настаиваешь...

— Хорошо, до завтра, — сухо сказал Генрих и тут же гневно добавил: — Но помни: если ты собираешься простить мне пощечину, то я не собираюсь прощать тебе твои слова! Итак, до завтра.

И Генрих хотел встать. Но Вайс движением руки удержал его.

— А почему нам не побыть сейчас вместе? Ты что, боишься меня?

— Вот еще! — пренебрежительно отозвался Генрих. — Это ты трусил, не застрелил меня сразу же, на месте.

— Так же, как трусил ты и не застрелил меня, — огрыз-

нулся Вайс.— А теперь боишься, что, побыв со мной, размякнешь и будешь просить прощения.

— Никогда!— решительно сказал Генрих.

— Ну, тогда давай выпьем,— предложил Вайс,— и поговорим просто так, о чем-нибудь другом. За шахматами нам придется молчать, а потом один из нас умолкнет навечно.

— Скорее всего, ты.

— Допустим,— примирительно согласился Вайс. Спросил:— Так как же ты жил в Берлине?

Генрих неохотно начал было рассказывать о своей службе под началом Вилли Шварцкопфа, но вскоре сбился и сказал—рот его нервно кривился:

— Знаешь, либо ты притворяешься, либо у тебя железные нервы. Я не могу с тобой разговаривать после всего, что произошло.— Встал.— Так, значит, до встречи. У меня в номере завтра вечером. Тебя это устраивает?

— Вполне,— сказал Вайс. И ушел, не простившись.

Иоганна мало беспокоил исход шахматной дуэли с Генрихом. Во всяком случае, проигрыша он не опасался, так как рассчитывал не только на свое самообладание, но и на свое несомненное превосходство над Генрихом в этой игре. Тревожило другое: вдруг Генрих проявит слабодушие и попросту скроется, уедет или, еще хуже, пользуясь своим положением, предпримет такие шаги, после которых Вайс окажется в положении человека, обвиненного офицером СС в чем угодно...

Но подозревать Генриха в подобной подлости пока как будто оснований не было. Напротив, его запальчивость и его горячность никак не вязались с коварством. Но если Генрих вполне серьезно принял вызов, он не откажется от дуэли. Если же от нее откажется Вайс, то у Генриха будут все основания считать его трусом и с презрением отвернуться от него навсегда.

Это значит потерять Генриха. И потерять именно тогда, когда удалось обнаружить в нем ту частицу человечности, которая, быть может, таит в себе нечто такое, что окажется нужным, полезным Вайсу, его делу.

Припоминая, восстанавливая в памяти все оттенки переживаний, которые он улавливал на лице Генриха, когда рассуждал о лагерной инквизиции, Иоганн приходил к мысли, что эти рассуждения могли внушить Генриху ненависть к нему, к Вайсу, как к человеку, полностью разделяющему нацистские методы. И тогда Генрих может воспользоваться вызовом и безжалостно убить Вайса, как поступил бы и Вайс на его месте, представься ему столь удобная возможность. Если это так, значит, Вайс переиграл и жизнь его в опасности. Ведь каждый из них, прежде чем сесть за шахматную доску,

передаст другому записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Получив от Вайса такую записку, Генрих, не дожидаясь конца игры и даже вовсе ее не начиная, может попросту вклеить ему пулю в лоб. И поступит правильно, если он такой, каким сегодня показался Иоганну. Конечно, это замечательно, если Генрих такой. Это здорово, если он такой. Тогда он бесценный человек для того дела, которому служит Вайс. Но в этом случае Вайс подвергается опасности.

А что, если Генрих просто разыграл Вайса, чтобы проверить его? Талантливо разыграл, как контрразведчик СС, великолепно усвоивший все, чему обучал его Вилли Шварцкопф, матерый эсэсовец, специалист по душевным обыскам не только в застенках гестапо — у каждого своего закадычного друга он общаривает душу. Что тогда? Конечно, можно действовать впрямую. Прийти к Генриху и положить перед ним на стол материалы следствия по делу об убийстве Рудольфа Шварцкопфа, совершенном Функом по указанию Вилли Шварцкопфа. И сразу станет ясно, с кем пойдет Генрих.

Но тогда Иоганн должен раскрыть себя перед Генрихом. И если Генрих уклонится от выбора своей судьбы, от решения, за кем идти, Иоганн вынужден будет убить его.

Ничего другого, как убить Генриха, тогда не остается. Лучше всего, пожалуй, поступить так: после того как Иоганн обезопасит себя, получив записку Генриха с просьбой никого не винить в его смерти, надо будет ознакомить его с материалами следствия. Если Генрих простит Вилли Шварцкопфу убийство отца, — за одно это следует уничтожить его как подлеца, негодая.

Не исключено и иное: ошеломленный показаниями Папке, в смятении, Генрих отречется от своего дяди, от всех гестаповцев, вместе взятых, и, движимый одним только отчаянием, согласится помогать Вайсу. Но отчаяние — неустойчивое чувство. Оно может пройти так же быстро, как быстро возникло. А потом придут другие чувства, другие мысли — все то, что питало Генриха в фашистской Германии, — и они вытеснят отчаяние, коварно подскажут способы избавиться от тягостной скорби об отце. Все может быть.

Устойчива только убежденность. Но она не озаряет человека внезапно, не приходит как некое молниеносное просветление. И нельзя рассчитывать, что, ознакомившись с материалами Папке, Генрих сразу же переменит свои убеждения.

Да Иоганну и не нужен Генрих ошеломленный, растерянный в горестном отчаянии готовый на все. Ему нужен Генрих, убежденный, что в гибели его отца виноват не один Вилли Шварцкопф. Не только он подлый братоубийца. Главный убийца — гитлеровская Германия, планомерно уничтожающая другие народы и понуждающая к самоубийству свой народ, заставив его творить чудовищные злодеяния.

И когда Генрих поймет это, он придет к убеждению, что единственно правильный для него путь — стать на сторону советского народа, чтобы помочь избавить немецкий народ от гибели, от уничтожения.

Но как внушить все это Генриху, как проверить, тот ли он немец, который способен понять Иоганна и принять решение бороться за ту Германию, что сама первой стала жертвой фашистского террора?

Дитрих в последнее время с группой специально выделенных лиц занимался расследованием по делу о пяти немецких военнослужащих, отказавшихся принять участие в расстреле заложников.

Все они были приговорены к казни. И казнь должна была совершиться ночью в Варшавской армейской тюрьме, где специально для этого соорудили гильотину. Но конструкция ее оказалась недостаточно совершенной, и поэтому решено было прибегнуть к примитивному способу, использовав в качестве орудия казни топор мясника. Осужденным объявили, что для тех из них, кто пожелает взять на себя роль палача, казнь будет заменена отправкой на фронт, в штрафные штурмовые подразделения. Но ни один из приговоренных не согласился стать палачом.

Тогда Дитрих решил, что в таком случае честь уничтожить изменников рейха будет предоставлена офицерам абвера, имена которых он назовет перед самой казнью. Кстати, это послужит и проверкой устойчивости некоторых офицеров, проявивших недостаточную активность при допросах преступников. В связи со всем этим Дитрих и задержался в Варшаве.

Лансдорф одобрил идею Дитриха, он вызвал его к себе и, коротко сообщив ему, что в Варшаву прибыл Генрих Шварцкопф, племянник оберштурмбанфюрера СС Вилли Шварцкопфа, сказал, что было бы весьма целесообразно обеспечить его присутствие при казни военных преступников и даже участие в ней. Как бы снизойдя, объяснил:

— Это даст вам при случае возможность с лучшей стороны рекомендоваться оберштурмбанфюреру через его племянника. Кроме того, оберштурмбанфюреру будет приятно, если его родственник продемонстрирует в генерал-губернаторстве, что он достоин своего дяди — ближайшего сподвижника рейхсфюрера.

Дитриха весьма обрадовала перспектива знакомства с такой крупной персоной. И он даже излишне бурно поблагодарил своего начальника за эту весьма ценную рекомендацию.

Но Лансдорф сразу же прервал его излияния, решительно потребовав, чтобы Генрих Шварцкопф ни в коем случае не узнал заранее, для чего его приглашают в тюрьму. Ведь

в противном случае он прибудет на казнь в сопровождении двух эсэсовцев, и те могут оттереть Дитриха от командования всей процедурой. Нужно найти для приглашения какой-либо служебный повод, касающийся только самого Генриха Шварцкопфа.

— Вы совершенно правы,— согласился Дитрих.— Эсэсовцы — наглецы: полагают, что только они одни умеют достойно разделяваться с предателями. Как бы этот родственник высокопоставленного эсэсовца не стал первым хвататься за ручку орудия закона. Приоритет должен остаться за старшим по званию.

— Ну, это вы ему сами там объясните.— И Лансдорф добавил насмешливо:— Я полагаю, что уж вас-то, как организатора, он оттеснить не посмеет, отдаст вам дань уважения.

— Ну что вы, герр Лансдорф!— гревожно запротестовал Дитрих.— Я и не собираюсь воспользоваться своим правом. Одно дело — допросы с применением различных методов, а другое — казнь. Вы же меня знаете. Я еще никого не лишил жизни. Это моя слабость. Применять болеевые средства как способ достижения цели — долг службы. А финальные действия...— Дитрих замотал головой.— На это я не способен. Я чувствителен, как женщина.— И тут же деловым тоном пообещал:— Значит, все будет сделано так, как вы рекомендовали.

Гитлер, провозглашая: «Война облагораживает немцев и деморализует другие народы»,— не был новатором. Этот бодрящий клич он выкрал из словесного арсенала кайзеровских мясников времен первой мировой войны. Чрезвычайно нервный, восприимчивый, он тонко уловил тайные мечты магнатов Рура и Рейна, уже в период Веймарской республики жаждавших видеть во главе Германии сильную личность — деспота, тирана, диктатора, ибо, как они считали, только голая, абсолютная власть производит магическое впечатление.

Неврастеник, гордящийся приступами эпилепсии, будто особой метой, Гитлер вызубрил Ницше, как домашняя хозяйка поваренную книгу, и с пылом изображал из себя сильную личность.

Это был невзрачный человек, с мясистым носом, торчащими, как крылья у летучей мыши, большими мягкими ушами, гнилыми, почерневшими зубами, которые вечно болели, с жирной, прыщавой кожей, узкими плечами, осыпанными перхотью, и синими, цвета протухшего мяса глазами. Руки его постоянно метались в произвольных движениях,— он наивно хвастался, что ни один из наци не способен так неподвижно держать по несколько часов правую руку в фашистском приветствии, как держит ее он, Гитлер. Орди-

нарный австрийский мещанин по своим вкусам и склонностям, он был наделен коварством, неведомым даже хищному животному. В области всевозможных подлостей он был знатоком и умел орудовать, как никто другой. Именно беспредельность этой низости и привлекла к Гитлеру благожелательное внимание истинных владык Германии.

В политике он отличался расчетливым плутовством бакалейщика, сбывающего скверный, лежалый товар. В начале пути он оправдывался перед промышленниками Германии в пугающем их наименовании своей партии — «национал-социалистская», ссылаясь на Освальда Шпенглера. Утешал: «Прусский социализм исключает личную свободу и политическую демократию».

Его штурмовики подтверждали программное заверение своего фюрера погромами, террором, зверствами. И создали этими «подвигами» кровавый ореол Гитлеру как вполне приемлемой кандидатуре тирана, диктатора, деспота.

А он вел тайный бухгалтерский учет убийств, погромов, искалеченных, готовясь предъявить счет финансовым властям в надежде, что они оплатят этот счет, предоставив ему официальную должность главы Германии. Но не забывал и о своих соратниках, причастных к преступлениям: тщательно заносил в свою бухгалтерскую книгу каждого, чтобы всех держать на короткой привязи и в случае провала предать их, прежде чем они успеют предать его.

Так в начале пути поступал он с главарями банд штурмовиков.

Став главой Третьей империи, он придерживался тех же способов управления, с той только разницей, что применял их с неизмеримо большим размахом. Теперь он стремился сделать соучастником преступлений фашизма весь немецкий народ, замарать его кровью, чтобы каждый немец нес ответственность за злодеяния наци. Тактика истребления других народов являлась не только военно-политической целью Гитлера. Она отвечала его коварному намерению держать немецкий народ в страхе перед возмездием за преступные деяния фашизма.

И чем больше людей уничтожалось в лагерях и на оккупированной территории, тем реже нападали на фюрера приступы меланхолии, тоски, страха, тем лучше, бодрее он себя чувствовал. Ведь масштабы этой бойни вовлекали в нее все новых и новых немцев, а фюрер жаждал сделать ответчиком за преступления фашизма перед человечеством всю Германию. И то, что крупнейшие немецкие концерны изготовляли средства массового умерщвления людей, навечно породнило фюрера с величайшими магнатами рейха, связало с ними надежной, нерасторжимой круговой порукой. Он хорошо понимал, что даже на скамьях имперского стадиона не разместить

в качестве подсудимых всех тех, кто виновен в чудовищных преступлениях почти в такой же степени, как и он сам. Это сознание умиляло и бодрило фюрера. И, восхищаясь собой, он хитроумно укреплял свою власть над ближайшими сподвижниками: каждому в отдельности сообщал о подлостях, которые совершали по отношению друг к другу остальные, стремясь в результате этого соперничества занять место поближе к нему, к фюреру.

Гитлер знал: каждый из них считал себя ничем не хуже, а кое в чем даже половчее его. Но все они настолько ненавидели друг друга, что можно было быть уверенным: они не станут объединяться, чтобы вырвать у него власть.

Материалы, компрометирующие высокопоставленных деятелей рейха, имели рыночную цену, и чем омерзительнее были эти материалы, тем выше была их цена. Ими торговали или же обменивались между собой гитлеровские разведывательные службы.

Для руководителей разведывательных служб такие материалы служили оружием в междоусобной борьбе за власть: любой из них жаждал стать вторым после фюрера лицом в рейхе.

Вайс узнал от Дитриха о его разговоре с Лансдорфом после своей ссоры с Генрихом, и его охватила томительная тревога. Ведь если Генрих, присутствуя на казни, проявит хоть какие-либо признаки малодушия, Лансдорф не замедлит этим воспользоваться.

Вайсу было известно, что Гиммлер недоволен деятельностью Канариса, а Вилли Шварцкопф — приближенный к Гиммлеру человек. И, возможно, Генрих прибыл в генерал-губернаторство с каким-то секретным поручением, касающимся не только расследования неудач «штаба Вали».

И не случайно Лансдорф, узнав, что Вайс в приятельских отношениях с Генрихом, поручил ему выведать истинные цели его приезда.

Гитлеровскую механику проверки каждого наци на преданность Иоганн раскусил уже давно и знал, что тот, кто уклонится от соучастия в убийстве, будет считаться изменником. Лансдорф стремился скомпрометировать родственника близкого Гиммлеру человека, чтобы отомстить за происки против Канариса.

Иоганн отдавал себе отчет в том, что Генрих, проявив человечность, погубит себя. Надо во что бы то ни стало спасти его. Самое правильное, пожалуй, — сделать так, чтобы Генрих не имел возможности попасть в тюрьму во время казни.

Лансдорф заметил как-то, что если рейхсфюрер прикажет проверить причины передислокации «штаба Вали», то лучшим доказательством послужило бы нападение польских партизан на уполномоченных рейхсфюрера где-нибудь в районе

бывшего расположения «штаба». Лансдорф припомнил и рассказал шутливым тоном, как еще в первую мировую войну полковник Вальтер Николаи организовал с помощью своих агентов хищение документов в немецком генеральном штабе, а уже через сутки блистательно «разыскал» эти документы у «французских шпионов». Само собой разумеется, что французы были «убиты на месте при попытке к сопротивлению». Всем этим Николаи сразу же снискал особое расположение кайзера, что в конечном итоге благотворно повлияло на немецкое общество, возвысив в его глазах благородную роль германской разведки.

Восстанавливая в памяти эти слова Лансдорфа, Иоганн вспомнил и другой разговор, уже с Дитрихом. Когда он сказал, что напрасно Генрих Шварцкопф, подвергая себя опасности, один, без охраны, ходит в эсэсовском мундире по Варшаве, Дитрих ответил, пожав плечами:

— Ну и что ж? Если поляки его ухлопают, рейхсфюрер Гиммлер лишний раз удостоверится, в каких трудных условиях приходилось здесь работать нашему «штабу Вали». Ведь Гиммлер был обязан очистить все близлежащие районы от поляков, но так и не очистил, хотя в Польше наибольшее количество концлагерей уничтожения и они способны переработать население любого европейского государства.

Все это натолкнуло Иоганна на одну мысль; в голове у него родился план, который он решил осуществить с помощью Зубова. Если задуманное удастся, они сумеют уберечь Генриха от опасностей, грозящих ему здесь со всех сторон.

Встретились они с Зубовым, как обычно, на набережной Вислы, возле пустующей брандвахты.

Выслушав Вайса, Зубов сказал ворчливо:

— Ладно уж, но только, извини, канительная это будет штука. Твоего Шварцкопфа повреждать нельзя, а он нас может. Необоюдно как-то получается.

Иоганн огрызнулся:

— Если бы всегда и все было обоюдно, тебя бы давно в живых не было.

— Я сам удивляюсь, что живой,— согласился Зубов.— Но только почему это у меня получается? А потому, что задача всегда ясная: или мы их, или они нас. Ну, и воодушевляюсь. А тут... Он тебя может, а ты его нет. Ну разве не обидно?

— Ты не согласен?

— Что значит «не согласен», если приказываешь!..

— Не приказываю — прошу, как о личном одолжении.

— Ну? — удивился Зубов. — Это уже что-то новенькое. Но только не люблю я такую демократию. Может, все-таки прикажешь, а?

— Не имею права,— уныло сказал Вайс.— Могу только просить, как о дружеском одолжении.

— Значит, того и гляди ты мне потом таким же манером какого-нибудь фрица в порядке сюрприза на дом доставишь?— рассмеялся Зубов, но тут же отбросил шутливый тон и стал деловито советоваться, в какой обстановке лучше всего совершить похищение Генриха Шварцкопфа.

И когда все было оговорено, Иоганн из чувства признательности дружески стал расспрашивать Зубова о его семейной жизни.

Зубов сказал печально:

— А ничего хорошего не получается. Бригитта — женщина милая, добрая, а я ей только беспокойство причиняю. После налета на тюрьму прибыл домой перевязанный. Скрывал, что ранен. А утром она увидела, что простыни подо мной в крови,— ну и в обморок. Я — за врачом. Привели в чувство. В суматохе забыл, что сам в медицине нуждаюсь. Отпустил врача, а она в слезы. Любит она меня, понимаешь? Жаль ее будет, если меня убьют. Вот что.

— Выходит, и ты ее любишь?

— А как же? Одинокая она была в жизни. А со мной говорит откровенно и обо всем доверчиво, будто я ей родной, а не просто фиктивный муж.

— Почему же фиктивный, если любишь?

— Конечно, я ей кое-что правильное внушаю, вижу — растет.

— Ты смотри, полегче!— встревожился Иоганн.

— Самый моральный минимум, в пионерском масштабе,— успокоил Зубов.— Я тактично. Не из тех, кто цветок дергает, чтобы он быстрее рос.— Заметил ехидно:— Мне, конечно, далеко до тебя: перевоспитать эсэсовца — это ты отчуждил действительно по первому разряду. Если он тобой сам персонально в гестапо не займется.

Иоганн развел руками:

— Дело, как ты сказал, не обоюдное.

— Вот именно! Ты его в человека превратить хочешь, а он тебя на мясо.

— Ладно,— сказал Иоганн.— Значит, договорились?

— Выходит, так,— невесело согласился Зубов. Вздохнул.— Опять я дам Бригитте повод для ревности. Обещал вечером мирно пойти с ней в гости к высокопоставленным фашистам. И, выходит, обманул. Снова смоюсь на всю ночь. А она в таких случаях спать не ложится, ходит, курит, после от головной боли страдает. И допрашивает про баб. А какие бабы, когда я теперь женатый! Не понимает она нашей морали. Хотя, что ж, правильно, что бдительность соблюдает. Среди женщин здесь огромная распушенность. Пришел, понимаешь, с ней первый раз в один, думал, порядочный дом.

Хозяйка повела меня картины показывать, и так нахально пристала, что даже неловко.

Ну, я, чтобы антагонизма не вызывать, объяснил ей, что на фронте был контужен. Семейство важное, не хотелось терять контакта. Супруг — чиновник из управления экономики и вооружений ОКВ. Занимается делами захвата, сбора и охраны экономических запасов на оккупированных территориях. — Похвастался: — Я теперь прославился как фотограф-любитель. Всем знакомым их карточки дарю. Ну, попутно в кабинете у этого чиновника кое-какие документы на пленку отщелкал. Потом в тайник сложил для отправки в Центр. Полагаю, нам потом для предъявления иска пригодятся.

— А ты растешь! — похвалил Вайс.

— Квалифицируюсь, — согласился Zubov. — Пистолетом не всегда пощелкать можно с такой пользой, как «лейкой». Это я понял!

— Хороший ты парень, Zubov, — сказал Иоганн.

— Обыкновенный. Только что действую в оригинальной обстановке. А так — что ж... Терять свое основное лицо я, как и ты, не имею права.

— Это верно, — согласился Иоганн, — лицо свое мы должны беречь больше, чем жизнь. Человек без лица хуже покойника.

— Покойников я вообще не люблю, — сказал Zubov. — И стать покойником вовсе не желаю, хотя, возможно, и придется...

— Ну что за глупости!

— Верно. Что может быть глупее мертвеца? Разве только ты сам, когда помрешь. Это я согласен. Обязан выжить, хотя бы из-за одной такой отвратной мысли о себе. И я, конечно, стараюсь.

— Вот сегодня и постарайся.

— Идет, — согласился Zubov. И пообещал: — Будь уверен, пока жив, не помру. Это точно.

И они расстались. Один пошел налево, вдоль набережной, другой — направо. Серая глянцеви́тая Висла текла в плоских берегах, медленно и тяжело волоча свое зыбкое голое тело, зябнущее на ветру и дрожащее, как от озноба, мелкими, частыми волнами.

Набережная была пустынной.

Казалось, варшавяне покинули свою реку, у берегов которой, будто цепные псы на привязи, стояли немецкие бронекатера с торчащими из приплюснутых башен стволами спаренных пулеметов.

Шагая по истоптанным плитам набережной, Иоганн размышлял, правильно ли он действует в отношении Генриха. На первый взгляд все казалось логичным, оправданным сложными обстоятельствами и конечной целью. Надо спасти сейчас Генриха ради того, чтобы обратить его на свою сторону. И все же, обстоятельно анализируя задуманную им операцию, Иоганн склонялся к мысли, что она недостаточно глубоко, всесторонне обоснована.

Стоило ли рисковать жизнью Зубова и его интернациональной боевой братии только ради того, чтобы избавить Генриха от опасного испытания? Конечно, нападение на эсэсовского офицера лишний раз докажет необходимость передислокации «штаба Вали». Но ведь передислокация уже происходит. Работа «штаба Вали» на некоторое время приостановлена. Значит, действия в этом направлении бессмысленны, неоправданны. А затевать все ради того только, чтобы избавить Генриха от необходимости участвовать в казни, Иоганн просто не имеет права. Да, во всем этом деле Иоганн ошибся, что-то упустил.

Иоганн вспоминал рассуждения Барышева.

— План операции зависит от тактической грамотности, тренировки, выдержанности, дисциплины, — говорил Барышев. — Но главное, определяющее, высшее — это идея операции, то, ради чего она совершается. И это высшее неотрывно от основных целей борьбы нашего народа, оно должно раскрывать, объяснять ее сущность. Любая силовая операция, которую разведчик заранее подготавливает, должна быть обоснована высшими целями борьбы народа. Тогда эта операция, помимо ее конкретной боевой задачи, как бы освещает то, во имя чего мы сражаемся с врагами.

— Да что, мы там должны быть пропагандистами советской идеологии? — усомнился Белов.

— А почему бы и нет? — строго заметил Барышев. — Если обстановка позволит, разве боевая задача не может обрести назначение и пропагандистской? Бить по противнику в тылу врага можно и должно. А как — это зависит от твоей собственной убежденности и, конечно, от твоего таланта разведчика... Нужно только при решении любой задачи ни на минуту не забывать, ради чего она задана. Руководствоваться конечными целями борьбы, не подчиняться вынужденным обстоятельствам, а подчинять обстоятельства высшей цели...

А в данном случае выходит: Вайс подчинился вынужденным обстоятельствам. Операция, которую он готовился осуществить, не обоснована высокими целями и поэтому кажется надуманной и даже легкомысленной.

Придя от такого вывода в смятение, Иоганн круто повер-

нулся и быстро зашагал вслед за Zubовым. Но догнать Zubова ему не удалось.

Дойдя до Саксонского сада, он опустился на скамью. В зеленых влажных сумерках деревьев горько пахло клейкими почками тополя. Чувствовал Иоганн себя усталым, опустошенным как никогда. Скверно было у него на душе.

К скамье подковылял на костылях тощий немецкий солдат в мундире, с костлявым и злым лицом, сел рядом.

— Давно с фронта? — спросил Вайс.

— Два месяца.

— Тяжелое ранение?

— Нет. В прошлом году записали бы тяжелое, а теперь считают — легкое. Значит, снова на фронт.

— Герой!

— Побольше бы таких героев, — усмехнулся солдат, — тогда меньше было бы таких дураков, как я.

— Почему ты так о себе говоришь?

— Потому! — зло ответил солдат.

— Ну все-таки?..

— Ладно. Извольте. Надрались мы с приятелем так, что лейтенант и пинками поднять не мог. Забрала нас военная полиция в тюрьму. А ночью налет партизан. Ну, они нас вместе со своими из тюрьмы и освободили.

— Смешно, — осторожно сказал Вайс.

— Это правильно, — согласился солдат, — комический номер. Но только мой приятель у партизан остался, а я бежал.

— Молодец! — неизвестно кого похвалил Вайс.

— После зачислили меня в роту пропаганды, рассказывать, как моего приятеля партизаны истязали.

— Что, и вправду сильно мучили?

— Супом, кашей и разговорами о пролетарской солидарности, — буркнул солдат. — Как узника фашизма.

— А ты его похоронил? — усмехнулся Вайс.

— Если бы! Ведь он потом через рупор с переднего края рассказывал все, как было. Ну и, конечно, против войны трепался.

— Значит, предал фюрера?

— И меня он предал! — яростно сказал солдат. — И меня! — Вытянул скрюченную ногу. — Вот, свои же меня и искалечили. Метили в спину — дали по ногам.

— За что же?

— За это самое. За то, что, мол, русские немцев убивают только потому, что они, немцы, до последнего живого убивают.

— А разве это не так?

— Если бы... Тогда бы в меня свои же не стреляли.

— Кто это «свои»?

— Вы что ж думаете, — огрызнулся солдат, — вся эта ше-

стимиллионная сволочь, которая за коммунистов голосовала, в концлагерях сидит? Нет, они тоже на фронте.

— А твой приятель что, коммунист?

— Нет, просто маляр с гамбургской судоверфи.

— Так почему же он перебежал к русским?

— Обласкали за то, что рабочий. Вот он и раскис.

— А ты наци?

— Хотел, но не приняли: у меня брат был красным.

— А где он сейчас?

— Отец погорячился, голову ему молотком проломил, когда меня из-за него в штурмовики не приняли. — И солдат добавил раздумчиво: — Отец меня больше любил, чем его. Я парень был способный, далеко мог продвинуться, если бы не брат. — Поглядел на свои скрюченные ноги, сказал с надеждой: — Вот хорошо бы на фронте снова в роту пропаганды попасть, — это лучше, чем передовая. Я и в госпитале время не терял, как другие, почитывал чего надо. Может, возьмут...

Иогани уже рассеянно слушал солдата. Его вдруг захлестнула одна мысль, обожгла своей ясной, простой и целесообразной силой. Машинально кивнув солдату, он поднялся и поспешно зашагал к выходу из парка.

И хотя он только в крайних случаях позволял себе навещать Зубова, сейчас в этом возникла острая и неотложная необходимость. Ведь, как говорил Барышев, в плане каждой операции должно быть предусмотрено все, вплоть до ее отмены, пока это еще возможно.

Иогани весь был сосредоточен на том, что ему открылось сейчас как главная цель операции. И пока он шел к дому Бригитты Вейнтлинг, мысль его работала напряженно — четко, расчетливо, с той холодной ясностью, которую дает внезапное озарение.

Он нашел необходимое звено, сумел отделить главное от второстепенного.

Исходным в задуманной операции, ее первоосновой должно быть вовсе не избавление Генриха Шварцкопфа от опасности, а спасение приговоренных к казни. Нужно руководствоваться высшими целями борьбы, а не связанными с ней обстоятельствами — производными от основного. Вот когда будет полностью оправдан риск, на который идет группа Зубова. Подвиг его людей озарит благородная цель, без осознания которой нельзя идти на смерть. Ведь даже самые отчаянные храбрецы, если их не воодушевляет высокая цель, испытывают щемящую тоску и неуверенность в себе перед лицом опасности.

Спасение приговоренных к смерти — это удар по мозгам и дугам немцев, сокрушительный удар по гитлеровской пропаганде. К обреченным на смерть потянется рука борцов-ан-

тифашистов, ненавидящих фашистскую Германию, но страдающих о тех немцах, которые стали ее жертвами.

И еще одно обстоятельство, даже не одно, а два: операция эта попутно послужит новым подтверждением того, что «штаб Вали» находится якобы в окружении партизан, и одновременно избавит Генриха Шварцкопфа от чреватой опасностями нравственной пытки.

Зубов встретил Вайса неприветливо. Проводил его в кабинет с темными суконными шторами на окнах, уставленный во вкусе бывшего владельца тяжеловесной мебелью черного дуба, усадил в кресло с высокой, с затейливым резным узором спинкой и спросил досадливо:

— Ну, что еще? — Усмехнулся. — Хоть похищение твоего эсэсовца с благородными целями — дело для нас слишком умственное, ребята согласны. Но не по нутру им эта затея, я так понял. Ты извини, конечно. Тебе виднее.

— Правильно! — радостно согласился Иоганн. — Правильно, что не по нутру. — Обняв Зубова, спросил: — Спастиговоренных к казни честных немцев вы согласны? — Не давая ответить, повторил: — Спасти! Понимаешь, как это будет здорово! Слушай: в связи с передислокацией «штаба Вали» на четвертом километре от расположения сняли эсэсовский контрольно-пропускной пункт. А мы его восстановим. Машина с заключенными пойдет по этому шоссе. Обычно здесь каждую минуту останавливали и, независимо от того, кто едет, у каждого проверяли документы. Мы так и поступим, только и всего. Ясно?

Зубов мотнул головой, широко улыбнулся и спросил в свою очередь:

— А ты знаешь, о чем я до твоего прихода думал? О том, что я самый последний мандражист и трус! Понимаешь, так неохота было из-за твоего фашиста покойником заделываться. Даже выпил с горя, чтобы не думать об этом.

— Значит, ты пьян?

— Был, — твердо сказал Зубов. Пожаловался: — Раскис я оттого, что цель задания была мелкая, а мишень я по габаритам крупная. При таком соотношении только и оставалось, что текст речуги о самом себе сочинять для траурного митинга. — И добавил уже серьезно: — А теперь пропорции соблюдены правильно, операция с большой политической перспективой. — Крепко пожал Иоганну руку. — Вот теперь тебе спасибо! Операция красивая. Ничего не скажешь. — Попросил умильно: — Слушай, ты можешь Бригитте соврать, но только правдиво, чтобы она обязательно поверила, будто мне надо в Лицманштадт съездить по служебным делам?

— Пожалуйста, сколько угодно! — с готовностью согла-

сился Вайс. И тут же спросил удивленно: — А ты сам-то что, разучился?

— Да нет, просто по-товарищески прошу: возьми сейчас на себя эту нагрузку.

Зубов исчез за дверью и через минуту появился, сияющий, в сопровождении Бригитты. Она смотрела на Иоганна тревожно-враждебно, хотя губы ее и улыбались.

Протягивая гостью руку, спросила, пристально, в упор глядя ему в глаза:

— Так что вы, господин Вайс, придумали, чтобы помочь моему супругу? У него, я замечаю, в последнее время не хватает воображения, и ему все труднее изобретать достаточно убедительные поводы для того, чтобы надолго исчезать из дома.

Иоганн, не удержавшись, свирепо глянул на Зубова.

Тот испуганно спросил жену:

— Откуда ты это взяла, Бригитта? Почему такие странные мысли?

Она положила ладонь к себе на грудь:

— Вот отсюда. Из сердца.

— А! — обрадовался Зубов. — Конечно, я так и думал. — Торопливо объяснил Вайсу: — Бригитта чрезвычайно мнительна. Правильно, я как раз хотел сказать тебе, Бригитта... — начал было он.

Женщина сняла ладонь со своей груди, прикрыла рот Зубову, попросила:

— Пожалуйста, не говори. Я понимаю, я все понимаю. — И, обратившись к Вайсу, объявила с гордостью: — Я понимаю, что ему теперь все труднее покидать меня. И он не умеет скрывать этого. И потому я ему все прощаю. Все.

Зубов покраснел, но глаза его радостно блестели.

— Пойду приготовлю кофе, — выручила мужа Бригитта и ушла, торжествующая.

Как только дверь за ней закрылась, Зубов сказал вино-вато:

— А что я могу поделать, если она так меня чувствует, что ли? Я даже сам удивляюсь. Но это вполне естественно. Даже в литературе такие факты описаны. Может, это нервные флюиды?

— Флюиды! — передразнил его Вайс. — От таких флюидов того и гляди засыпешься, только и всего. Не такая уж она наивная дурочка, оказывается. Тебе повезло. Но за такую для тебя «крышу» мне голову оторвать мало. — Пояснил строго: — Боюсь я за тебя, вот что!

Зубов только победно усмехнулся.

Разливая кофе, Бригитта нежно говорила Вайсу о Зубове:

— В нем столько ребячества, наивности и простодушия, что я, естественно, всегда беспокоюсь за него. Он — как Ми-

хель из детской сказки. Черные крысы напали на города и селения, а он ничего не замечает, играет себе на своей дудочке и шагает по земле, глядя только вверх, — на солнце да на облака. А все кругом так ужасающе мрачно.

Зубов, не удержавшись, с усмешкой посмотрел на Вайса. — Слышишь? А ты, птенчик, пугался!

Вайс, делая вид, что не понял намека, спросил Бригитту: — Позвольте, откуда на нашей земле черные крысы?

Зубов лукаво подмигнул жене.

— Бригитта вовсе не собирается намекать на гестаповские мундиры. Что это тебе пришло в голову спрашивать, да еще таким тоном?

Бригитту не смутил вопрос Иоганна. Вызывающе глядя ему в глаза, она сказала твердо:

— Мой покойный муж носил черный мундир, и в профиле его было нечто крысиное. Но, возможно, это мне только казалось.

Теперь Вайс уставился на Зубова. Но тот, поднеся к губам чашку с кофе, исподлобья посмотрел на Иоганна, еле заметно пожал плечами и пробормотал с притворной обидой:

— Пусть моя супруга считает меня глупеньким Михелем, но мне кажется, что об этом ей не следовало говорить вслух, даже в твоём присутствии, хотя ты и мой друг.

Бригитта обиженно поджала губы.

После кофе мужчины удалились в кабинет и обсудили все подробности предстоящей операции. А когда Вайс шел к себе в гостиницу, его не покидала щемящая грусть, какая порой охватывает одинокого человека, невольно ставшего свидетелем чужого счастья, пусть даже недолгого и хрупкого.

Уже давно Зубов рассказал Иоганну, что жизнь Бригитты с покойным мужем, старым развратником, была подобна домашнему аресту. Она ненавидела его упорно, злобно, неистово. И только одурманенная наркотиками, к которым ее приохотил муж, становилась вяло-покорной, ко всему безразличной. И после смерти мужа она еще долго жила как бы двойной жизнью. Когда Зубов впервые увидел ее в кабаре, она показалась ему полупомешанной. Но потом он понял: это — действие наркотиков. Он сказал Иоганну:

— Что бы там ни было, а сначала мне просто было ее жаль, — и ничего больше. Вижу, пропадает она, ну, и пожалел...

А теперь Бригитта предстала перед Иоганном совсем иной.

Безгранично преданная, жадно любящая, она мгновенно настораживалась в минуты, когда безошибочное женское чутье подсказывало ей, что Зубову угрожает опасность.

Рядом с ней Зубов, высокий, сильный, с могучим конусообразным торсом и круглой мускулистой шеей, казался крепким дубком, на ветвь которого устало опустилась яркая за-

летная птица и вдруг начала доверчиво вить гнездо, не ведая, какие губительные бури будут обрушивать на дерево свою ярость, сотрясать ствол, ломать ветви, срывать листву...

На другое утро Иоганн решил зайти к Дитриху, чтобы выведать дополнительные подробности, относящиеся к казни немецких военнопленных.

В коридоре особняка, где находился замаскированный под водолечебницу филиал «Вали III», он увидел пана Душкевича. Некогда этот пан Душкевич помог майору Штейнглицу подыскать в окрестностях Варшавы усадьбы, подходящие для размещения разведывательных школ. С тех пор Иоганн с ним не встречался.

Душкевич только что вышел из комнаты, отведенной Дитриху.

Почти механически, по давно выработанной привычке, мгновенно связав все относящиеся к тому или другому человеку, устанавливая, имеет ли этот человек отношение к задаче, которую предстоит в ближайшее время решить, и, вспомнив сказанное Вубовым о намерении польских партизан совершить покушение на Генриха, Иоганн прикинул:

«Пан Душкевич — агент-provokator. С ведома контрразведки он также агент польского эмигрантского правительства в Лондоне. Проник в среду польской патриотически настроенной интеллигенции, где вербует одиночек-смертников для участия в эффектных террористических актах, каждый раз завершающихся самоубийством или же поимкой героев. Такие провокации служат СС также поводом для казни заложников и массовых арестов среди польской интеллигенции якобы в целях обнаружения «огромной» террористической организации.

Душкевич вышел от Дитриха...

А что, если Дитрих поручил Душкевичу не просто припугнуть, а убить Генриха? Если так, он ловко рассчитал. Убийство племянника Вилли Шварцкопфа, сподвижника рейхсфюрера Гиммлера, — великолепное, шумное дело! Это убийство повлечет за собой гигантские карательные меры, и если Дитрих уже заранее наметил виновников, за их поимку его ждет признательность самого рейхсфюрера.

В самом деле, почему контрразведка не охраняла Генриха? Ну, естественно, почему: по званию ему не положена личная охрана. Правда, могли принять во внимание родственные связи. Но не приняли...»

Обожженный своей догадкой, Иоганн понял, что нельзя терять ни часа, но вместе с тем нельзя терять и головы. Не ответив на вежливый поклон пана Душкевича, он поманил его пальцем и, будто с трудом узнавая, спросил:

— А, это вы... Разве мы вас еще не повесили?
— За что, пан офицер?
— Вернемтесь на минуточку,— и Вайс открыл дверь в комнату Дитриха.

И, как только дверь за Душкевичем закрылась, ударил его в челюсть. Душкевич рухнул на пол и, видимо совершенно оглушенный, не сделал попытки подняться.

Дитрих вскочил из-за стола. Но Вайс остановил его движением руки, приказал:

— Садитесь!— И, склонившись к Дитриху, вымолвил резко: — Сейчас мне этот мерзавец похвастал, что вы лично поручили ему организовать покушение на Генриха Шварцкопфа. Я вас арестую, капитан Дитрих.— И, держа свой пистолет в правой руке, левой вынул из кобуры пистолет Дитриха.

— Неправда!— воскликнул, побледнев, Дитрих.— Я не поручал этого Душкевичу, он сам предложил нам организовать покушение.

— А вы разрешили?

— Разрешил, но только для того, чтобы выловить преступников: на место засады я собирался направить свою группу. И жизнь Шварцкопфа была бы в полной безопасности.

— Напишите коротко обо всем, что вы мне сейчас рассказали.

— Зачем?

— А затем, что если на Шварцкопфа будет совершено покушение и он погибнет, вы последуете за ним. Только ждет вас не пуля, а виселица.

— А если я не напишу?

— Я сейчас же сообщу Вилли Шварцкопфу о вашем преступном намерении.

— А где доказательства?

— Вот!— Иоганн кивнул в сторону лежащего на полу Душкевича, который стал уже подавать признаки жизни.

— Хорошо,— согласился Дитрих и, с ненавистью глядя на Вайса, спросил: — Но потом вы мне вернете эту бумагу?

— Возможно,— кивнул Вайс.— Говорите: кто исполнители?

— Это служебная тайна. Я не имею права ее разглашать.

— Вы хотите получить обратно бумагу?

Дитрих утвердительно кивнул в ответ.

— Так вот, знайте: вы получите ее в день отъезда Шварцкопфа.

— Вы клянетесь?

— Бросьте, мы не в кадетском корпусе! Я сказал — и так будет.

Дитрих показал глазами на папку, в которой лежало до-

несение Душкевича. Пробежав его глазами, Вайс вынул бумагу из папки, аккуратно сложил и спрятал в карман.

— Что вы делаете? Оно ведь уже зарегистрировано! — всполошился Дитрих.

— Ничего, — спокойно сказал Вайс. — В ваших же интересах подsunуть под этот же номером какое-либо другое донесение.

— Это правильно, — согласился Дитрих, внезапно меняя тон. — Надеюсь, Иоганн, вы не захотите повредить моей карьере.

— Да, — сказал Вайс, — вот именно. Просто мечтаю, чтобы вы стали фюрером.

Дитрих сел за стол и начал быстро писать свое собственное донесение. Вайс пробежал его глазами. Похвалил:

— Вы настоящий службист. Очень точно все изложили. Это у вас талант — точность. — И, возвращая пистолет Дитриху, спросил: — Вы не собираетесь выпалить мне в спину?

— Что вы, Иоганн! — удивился Дитрих. — Как можно! Мне кажется, мы все уладили? — И добавил с уважением: — Я понимаю вас, Генрих Шварцкопф — ваш друг, и ваши действия даже благородны. Ну, значит, все.

Вайс небрежно прикоснулся к козырьку фуражки и вышел из комнаты.

В коридоре он неожиданно почувствовал ломящую боль в ватылке. Перед глазами, ослепляя, поплыли сверкающие радужные пятна. Руки и лицо покрыл липкий пот.

Иоганн прислонился к стене. «Ну конечно, — подумал он, — нервы сдают, нервы. — И вдруг вспомнил: он не только не обедал, но даже не успел позавтракать сегодня. А вчера? — Это уже распущенность, — осудил себя Иоганн. — Самая безобразная распущенность. — Пообещал себе мстительно: — Ты сейчас, что бы там ни было, пойдешь в столовую, и съешь две отбивных, и будешь тщательно пережевывать пищу, как будто тебе некуда спешить, как будто ничего нет такого, что может помешать тебе регулярно питаться и вести здоровый гигиенический образ жизни». Он уговаривал себя и все же довольно долго не мог сдвинуться с места.

Наконец, преодолевая слабость, Иоганн оторвался от стены и медленно пошел по длинному коридору. И тут из комнаты Дитриха донесся звук выстрела. Иоганн повернул назад, кинулся к двери, распахнул ее.

Дитрих, застегивая кобуру, обернулся к Вайсу и неохотно сообщил сквозь зубы:

— Этот тип пытался напасть на меня.

Стараясь не глядеть на безжизненное тело пана Душкевича, брезгливо отворачиваясь от этого зрелища, Дитрих сочувственным тоном осведомился:

— Вы, наверное, в отчаянии? Увы! Единственный свиде-

тель — и вдруг... Но что ж я мог поделать? Действовал в порядке самозащиты.

— Вы защищались от СД,— сказал Вайс.— От Вилли Шварцкопфа.

— Ну-ну, вам не следует больше пугать меня,— сказал Дитрих.— Теперь з о только слова. У вас нет никаких доказательств.

— А если поляки все-таки нападут на Генриха Шварцкопфа?

— Теперь вы уж сами думайте, что может произойти, а меня вы в это дело больше не вмешаете.—И, потрясая папкой, Дитрих заявил торжествующе:— Душкевича я все-таки заставил признаться кое в чем. Здесь лежит его маленькая записочка... Я теперь полностью гарантирован от ваших попыток навязать мне какие-либо незаконные намерения. Вот так, дорогой Вайс. Мы с вами сыграли ноль-ноль. Кажется, так это называется?

Вернувшись в гостиницу, Иоганн не стал подниматься к себе в номер, а сразу направился в ресторан с твердым намерением основательно пообедать. И хотя есть ему не хотелось, особенно после всего, что произошло с паном Душкевичем, он, преодолевая подступавшую к горлу от запаха пищи тошноту, вынудил себя войти в зал ресторана. И сразу же натолкнулся на столик, за которым в обществе офицеров СД и гестапо сидел Генрих Шварцкопф, уже основательно накачавшийся, в расстегнутом кителе. Увидев Вайса, он с трудом поднялся и, пытаясь неверными пальцами застегнуть пуговицы на кителе, объявил:

— Господа, я вынужден покинуть вас. Он,— Генрих кивнул на Вайса,— пришел за мной, чтобы...—Пошевелил согнутым указательным пальцем, будто нажимая на спусковой крючок.—Чтобы он или я...—С трудом вылез из-за стола, подошел к Вайсу, оперся на его плечо, приказал:— Веди меня ко мне, сейчас я сделаю из тебя труп. Ты хочешь стать трупом? Нет? А я не возражаю. Пожалуйста, сколько угодно!

Поднялись по лестнице. Иоганну пришлось взять у Генриха ключ и самому открыть дверь в его комнату.

Генрих тяжело плюхнулся на кушетку, закрыл глаза. Пожаловался:

— Я тону, понимаешь, тону!— Руки и лицо его были бледными и мокрыми от пота.

Вайс снял с него китель, смочил салфетку водой из графина, положил ему на сердце.

Генрих бормотал, глядя тусклыми глазами на Иоганна:

— Ты понимаешь, прежде чем казнить, их пытались заставить кричать: «Хайль Гитлер!» Простреливали мягкие части тела, чтобы кричали. А они молчали. Молчат, как животные.

— Ты что, уже вернулся из тюрьмы после казни?

— Нет, меня возили в концлагерь.— Усмехнулся.— На экскурсию. Я надрался с утра, вот они и повезли проветриться.

— Ну и как, понравилось?

— Да,— сказал Генрих.— Но почему только их? Надо и нас всех. Чтобы никого не осталось. Одна пустая вонючая земля, и на ней никого, ни одного человека. Ни одного! Человек хуже, чем вошь, хуже...

Иоганн выжал лимон в стакан с содовой водой, заставил Генриха выпить. Генрих, мотая головой, судорожно глотал воду. Потом, откинувшись на кушетке, долго лежал неподвижно. Иоганну показалось, что он заснул. Но Генрих открыл глаза, сел и сказал трезвым голосом:

— Ты пришел, отлично!— Подошел к столу, не задумываясь, поспешно написал записку, вложил в конверт, заклеил и, протягивая его Вайсу, заявил небрежно:— Я готов.

— Ерунда!— сказал Вайс.— Все это глупо, как сновидение идиота.

— Значит, струсил?

— Именно!— рассердился Вайс.— Струсил.

— Ну зачем ты лжешь?— спросил Генрих.— Зачем?

— А на черта я буду говорить тебе правду?

— Но ведь когда-то ты говорил...

— Кому?

— Ну хотя бы мне.

— А ты сам способен говорить правду?

— Тебе?

— Да!

— Что ты от меня хочешь?

— Кто ты теперь, Генрих Шварцкопф? Кто?

— А ты не знаешь? Прочти письмо, кажется, мне удалось найти себе титул.

— Не стану,— сказал Вайс.— И вообще вот что я сделаю.— Разорвал конверт, бросил обрывки в пепельницу. Положил на клочки бумаги зажженную спичку и, наблюдая, как горит этот крохотный костер, сказал с облегчением:— Вот! Глупость— прах!

— Напрасно,— возразил Генрих.— Мне все равно придется оставить письмо, но, боюсь, не удастся снова написать столь пылко и убедительно.

— Да ты что?

— Ничего. Просто я, как все мы, провонялся дохлятиной, но в отличие от других не хочу больше дышать этой вонью.— Съязвил зло:— А ты, конечно, принялся и мечтаешь только о том, как бы выбиться из подручных на бойне в мясники.

— Ну да!— сказал Вайс.— Я так завидую твоему положению в этой должности.

— Вот я и освобожу ее для тебя!

— Каким образом?

— А вот каким,— Генрих кивнул на тлевшую в пепельнице бумагу.

— Брось, этим не кокетничают,— упрекнул его Вайс.— В конце концов, если тебе и приходилось принимать участие в акциях...

— Я никого не убивал!— истерически крикнул Генрих.— Никого!

— Значит, ты решил начать с меня?— спросил Вайс.

— Ты же меня оскорбил, и потом...— Генрих задумался, слабая улыбка появилась у него на губах.— Все равно я бы проиграл тебе в любом случае: я уже давно решил.

— Не понимаю,— спросил Вайс,— зачем тебе нужно, чтобы я был как бы соучастником твоего самоубийства?

— Но с твоей стороны было бы очень любезно помочь мне осуществить мое решение: вопрос чести, такой прекрасный предлог...

— Ты болен, Генрих. Только больной или сумасшедший может так говорить.

— Знаешь,— презрительно сказал Генрих,— ты всегда был на диво логичен. Таким и останешься на всю жизнь. Так вот слушай. В Берлине я читал сводки, составленные статистической группой генштаба. Там работают выдающиеся германские математики. В их распоряжении имеются даже вычислительные машины. Они подсчитывают, сколько людей убивают, калечат каждый день, каждый час, минуту, секунду. И они не находят свои занятия ужасными. Но для меня все это невыносимо. Что может быть сейчас позорнее, чем называться человеком!

— Тебя что, смутили наши потери на фронтах? Не веришь, что мы победим?

— Я боюсь другого,— сказал Генрих.— Боюсь остаться в живых, если мы победим в этой войне. Ведь мы, немцы, заслуживаем, чтобы всех нас уничтожили в лагерях смерти, как мы сейчас уничтожаем других людей. Или же вообще ни один человек не должен остаться в живых. Если только он человек.

— Насколько мне известно из допросов военнопленных,— заметил Вайс,— советские люди, например, несмотря на все, убеждены, что гитлеровцы — это одно, а немецкий народ — совсем другое.

— Вздор!— горячо воскликнул Генрих.— Немцы — это немцы, и все они одинаковы.

— Тебе сегодня представится возможность усомниться в этом.

Генрих побледнел, сказал яростно:

— Да, я дал согласие поехать в тюрьму. Но знаешь, почему? Я должен знать, почему эти немцы решились поступить

так: из трусости, боясь что не сумеют стать палачами, или из храбрости, потому что хотели быть такими немцами, каких я не видел, но желал бы увидеть...

— Зачем? Чтобы участвовать в их казни?

— Если такие немцы есть, то я считал бы для себя честью...

— Чтобы тебя казнили пятым?

— Пусть.

— Неплохой подарок Гитлеру! Племянник Вилли Шварцкопфа добровольно кладет голову на плаху.— Иоганн коснулся рукой плеча Генриха.— Знаешь, ты просто запутался. Если бы ты отказался присутствовать при совершении казни, это было бы расценено как измена фюреру.— Иоганн помолчал и сказал серьезно:— Я очень тревожусь за тебя, Генрих. Но раз ты решил поехать в тюрьму, значит, все в порядке.— Взглянул на часы, встал.— Мне пора.

— Одну минутку,— твердо попросил Генрих и, мгновенно отрезав, пристально посмотрел в глаза Иоганну.— Если эти ребята отказались не из трусости быть палачами, а из храбрости, клянусь тебе: или я выручу их из тюрьмы, или составлю им компанию!

— Посмотрим,— усмехнулся Вайс.— Потом заметил сдержанно:— Ты племянник Вилли Шварцкопфа и можешь многих отправить на казнь. Но спасти от казни даже одного кого-нибудь ты не в состоянии.— Пообещал:— Я зайду к тебе, как только ты успеешь после всего этого вымыть руки. Надеюсь, ты поделишься со мной своими впечатлениями?

— Какое ты все-таки циничное животное!— негодуя воскликнул Генрих.

— Да!— весело подтвердил Вайс.— Именно! А из тебя животное как будто бы не получилось. Может, тебя это не устраивает? В таком случае извини...

Собственно, весь этот разговор дал Иоганну лишь зыбкую почву для суждения об истинном душевном состоянии Генриха. И если в его смятении Вайс обнаружил пусть крохотные, но все же обнадеживающие островки совести, то твердо полагаться на них оснований пока не было. Ведь под ними могла оказаться только хлябь слабодушия, растерянности — и ничего более.

Сведения о берлинской жизни Генриха, которые удалось собрать Вайсу, ничего привлекательного не содержали: записав, пьет, участвовал вместе с Герингом в ночном авиационном налете на Лондон, принят в высших нацистских кругах.

Побывал у Роммеля в Африке. И будто бы посоветовал

ему в целях саморекламы отпускать иногда на волю пленных англичан.

Вернувшись на родину, эти англичане осыпали Роммеля безмерными похвалами, вызывавшими зависть многих генералов вермахта.

Затем Генрих некоторое время работал под руководством конструктора «Фау» Вернера фон Брауна в Пенемюнде. Подсказал Брауну несколько плодотворных технических идей, но не поладил с ним. Его раздражали нелепые притязания Брауна: тот полагал, что созданные им летающие снаряды способны уничтожить целые народы, в том числе и немецкий народ, если он не захочет признать Брауна своим новым фюрером. Его истукпленная, изуверская фантазия вызвала у Генриха только насмешку. Технический замысел летающих снарядов Брауна зиждился на работах советского ученого Константина Циолковского. Установить первоисточник конструкции не составляло особого труда. Генрих не преминул язвительно сказать об этом вслух. И Браун тут же помог ему без особых неприятностей покинуть засекреченный объект, где, как в комфортабельном концлагере, на положении заключенных, но не испытывая тех лишений, которые выпадают на долю узников, безвестно жили и работали немецкие ученые и инженеры.

Вернувшись в Берлин, Генрих предался разгульной жизни, что вполне устраивало его дядю.

Хищнический захват Герингом множества предприятий в оккупированных странах Европы вызывал у Вилли Шварцкопфа не только зависть, но и послужил ему примером. Этот пример вдохновил его на бесстрашное мародерство. И грубый, жестокий грабеж, которому предавался дядя, как бы скрашивался легкомысленным бескорыстием племянника.

Впрочем, Вилли Шварцкопф был не одинок. Таким же грабежом и с не меньшим размахом занимался весь генералитет вермахта. Специальный сотрудник, секретно наблюдавший за гитлеровскими полководцами, доносил Канарису: «В диком опьянении эти облагодетельствованные судьбой люди кинулись на новые богатства. Они делились поместьями и землями Европы; заправились получали субсидии, командующие армиями — блестящие дотации».

«Лучшие дома» Берлина, которые посещал Генрих Шварцкопф, по своему облику походили на притоны, куда бандиты сносят награбленное. И чем значительнее были особы, которым принадлежали эти загородные особняки, тем больше их дома напоминали «хазу» скупщиков краденого.

Неутолимая, бешеная, алчная жажда наживы настолько овладела представителями высших кругов империи, что они уже бесцеремонно, в открытую, устраивали у себя специальные вечера, на которых обменивались трофейными ценностями.

ми и ликовали, когда при этом удавалось еще и надуть кого-либо из присутствующих.

Когда однажды Вилли Шварцкопф ознакомил племянника с одной из «памяток» СС по оккупации России, где, среди всего прочего, было сказано и о том, что «русские должны будут уметь только считать и писать свое имя», Генрих заметил иронически:

— Подобную реформу в первую очередь следовало бы провести в Германии: ведь только вернувшись к одичанию и варварству, мы сможем превратить весь наш народ в идеальных завоевателей.

Вилли Шварцкопф не стал спорить с племянником, но через несколько дней Генрих был направлен в эсэсовскую часть, дислоцирующуюся в Прибалтике.

Там Генрих разыскал в одном из концентрационных лагерей профессора Гольдблата и тут же подал рапорт рейхскомиссару Лозе с просьбой освободить этого талантливого ученого.

Рейхскомиссар пригласил Генриха к себе в резиденцию и сказал наставительно:

— Еврейский народ будет искоренен — так говорит каждый член нашей партии, так записано в нашей программе. Мы и занимаемся искоренением евреев, их истреблением. Но иногда приходят ко мне немцы, такие, как вы, и у каждого из них есть свой порядочный еврей. Конечно, все другие евреи — свиньи но этот — первосортный еврей! Я верю им так же, как и вам. И стараюсь в пределах своих возможностей помочь каждому такому немцу.

— Значит, я могу быть уверен?

— Вполне.— Рейхскомиссар Лозе протянул руку Генриху и уважительно проводил его до двери.

Но когда Генрих на другой день приехал в концлагерь, ему сообщили, что Гольдблат по приказанию Лозе был казнен ночью.

Лозе отказался снова принять Генриха, а когда тот связался с ним по телефону, сказал насмешливо:

— Да, я обещал вам помочь. И выполнил свое обещание: помог арийцу освободиться от позорящей его заботы об евреях.

Генрих разразился такими отчаянными угрозами, что Лозе не оставалось ничего другого, как принять соответствующие меры. В тот же вечер, едва Генрих вышел на балкон гостиницы, с крыши соседнего здания кто-то выстрелил в него из снайперской винтовки. Пуля попала в плечо. Будучи человеком разумным, Лозе представил Генриха к награде якобы за участие в ликвидации группы латышских партизан, а как только здоровье раненого позволило, отправил его на санитарном самолете в Берлин.

В санатории для эсэсовцев Генрих спивался в одиночестве.

Командировку в «штаб Вали» с целью ревизии ему выхлопотал Вилли Шварцкопф, надеясь, что она вернет его несколько скомпрометированному племяннику былое положение в обществе.

Конечно, ради своего спокойствия Вилли Шварцкопф давно мог найти способ отделаться от племянника, но было одно обстоятельство, с которым он не мог не считаться.

Гитлер был маниакально подозрителен и ни одному своему сподвижнику не верил до конца. Гестапо даже сконструировало специально для него кастрюли с воздухонепроницаемыми крышками и замками, ключи от которых хранились у самого Гиммлера.

На одном из торжественных обедов у Гитлера присутствовал и Генрих. И, как бывало и на других приемах, он напился и вел себя чрезвычайно развязно.

Гитлер, обратив внимание на шум, поднятый Генрихом, вперил в него разъяренный взгляд. Наступила зловещая тишина. Генрих, растерянно и жалко моргая, посмотрел на фюрера, неожиданно лениво улыбнулся, потер глаза, положил голову на плечо соседа, поерзал на стуле, пробормотал что-то и... задремал.

Гитлер осторожно выбрался из-за стола и в сопровождении двух верзил-телохранителей на цыпочках приблизился к Генриху. Заглянув ему в лицо, он вдруг радостно ухмыльнулся и движением руки приказал всем тихонько перейти из столовой в зал.

Здесь фюрера, как он и предполагал, ожидали почтительные и восхищенные поздравления. Еще бы, он так великолепно продемонстрировал свой необыкновенный талант гипнотизера! И фюрер был счастлив: после разгрома армии вермахта под Москвой ему необходимы были эти подобострастные похвалы.

О том, что Генрих явился на прием уже мертвецки пьяным и несколько рюмок коньяку было вполне достаточно, чтобы погрузить его в сон, знал только Вилли Шварцкопф. Но Гитлера случай с Генрихом окрылил: он еще более уверовал в то, что обладает сатанинской способностью подчинять себе волю людей. И впоследствии он не однажды благосклонно осведомлялся о племяннике Вилли Шварцкопфа, утверждая, что именно такие тонко чувствующие своего фюрера арийцы могут быть подсознательно преданы ему.

Поэтому Генриха как бы охраняло некое священное табу. И он мог позволять себе выходы, за любую из которых наци, занимающие гораздо более значительные посты, давно бы заплатились своей шкурой. Даже его высокопоставленный дядя вынужден был считаться с ним, как с человеком особым, оказавшимся блистательно восприимчивым к волевым флюидам самого фюрера.

Впрочем, из всего этого Иоганну Вайсу было известно только одно: Генрих Шварцкопф, несмотря на разгульный образ жизни и безнаказанные выходки, за которые другой наци давно бы жестоко поплатился, благоденствовал в Берлине, был принят в «лучших домах». И все же, как выяснилось из разговора с ним, считал себя чем-то глубоко оскорбленным, обманутым настолько, что не раз уже бесцельно рисковал своей жизнью, как человек, исполненный отвращения к жизни, доведенный до последней степени отчаяния.

Убедившись в этом, Вайс мог, конечно, легко подтолкнуть Генриха к окончательному решению, надо было только ознакомить его с показаниями Папке. Но можно ли считать мгновенно вспыхнувшую мстительную ненависть к убийце своего отца достаточно прочным основанием для того, чтобы вызвать такие же гневные чувства ко всем гитлеровцам, ко всему тому, что породило их?

Иоганну казалось, что он обнаружил в душе Генриха болезненную рану, которую тот пытается скрыть под наигранной развязностью и цинизмом. Но насколько она глубока, эта рана, определить пока трудно. История с Гольдблатом еще ни о чем не говорит. Лансдорф, например, помог своему домашнему врачу-еврею эмигрировать в Англию, ни разу не ударил на допросах пленного, но при всем том Лансдорф был самым отъявленным злодеем, только более изощренным и утонченным, чем его соратники. Уж кто-кто, а Иоганн Вайс хорошо знал это.

Вот уже годы Александр Белов жил в постоянном нервном сверхнапряжении, и ему приходилось величайшим, сосредоточенным усилием воли преодолевать это состояние, чтобы обрести хоть краткий, но совершенно необходимый душевный отдых. Этот душевный отдых давался ему нелегко. Он часто отравлен был чувством неудовлетворенности собой, горьким сознанием не до конца исполненного долга. У Белова не было уверенности в том, что он, советский разведчик, безукоризненно выполняет все, чего от него ждут, чего требует дело.

Он понимал, что уже не однажды отступил от тех правил, в каких воспитывали его старшие товарищи. Они внушали ему, что самоотверженность чекиста, работающего в тылу врага, заключается не только в его готовности отдать свою жизнь во имя дела, но и в высшей духовной дисциплине, в умении, когда это нужно, подавить жажду действия, в умении не отвлекаться на достижение побочных целей.

Самым мучительным испытанием первое время было для него медлительное бездействие, продиктованное все той же задачей: вживаться в Иоганна Вайса, абверовца, фашиста.

И это испытание он не сумел выдержать до конца. Душа

его была обожжена, когда он увидел упоенного победой, торжествующего врага. И он, забыв о главной цели дела, которому служил, очертя голову пополз к советскому танку, чтобы помочь обреченному гарнизону.

Этого поступка Александр Белов не мог простить себе, и дело даже вовсе не в том, что он не дал желанных результатов, — разве что на душе стало легче. Этот поступок раскрыл Белову, что ему еще не хватает необходимой для советского разведчика выдержки.

И лишь по собственной вине он почти выбыл из строя, оказавшись в госпитале. Только волей обстоятельств удалось счастливо вернуться к своим обязанностям, снова стать борцом, как ему и было назначено.

Атмосфера немецких секретных служб, в которую он окунулся, обнажала с предельной беспощадностью чудовищную сущность фашизма: он своими глазами видел, как осуществляются гнусные цели гитлеровцев, и знал запланированные гитлеровцами на ближайшие годы процентные нормы умерщвления народов. Вместе со своими сослуживцами по абверу он присутствовал на совещаниях, где обсуждались методы, какими наиболее целесообразно наносить коварные удары в спину советскому народу. И во имя долга обязан был проявлять на этих совещаниях деловитость и опытность немецкого разведчика. Только таким образом мог он укрепить, расширить плацдарм действия для себя и для своих тайных соратников, чтобы наносить с этого плацдарма парализующие удары по планам гитлеровской разведки.

И у него хватало выдержки неуязвимо вести себя среди врагов, быть необличимым для них. Но порой его охватывало такое чувство, будто прикрывающая его спасительная «броня» Иоганна Вайса невыносимо раскаляется от огня жгучей ненависти. Накаленные гневом сердца, защитные доспехи Вайса сжигали Белова, но он не имел права сбросить их: это значило бы не только погибнуть, но и провалить дело. А без отдыха носить на себе эти раскаленные доспехи, все время оставаться в них становилось выше его сил.

55

В Центре высоко ценили информацию, поступавшую от Александра Белова. Но его откровенные, подробные отчеты не всегда вызывали одобрение.

На оперативных совещаниях некоторые товарищи отмечали, что Белов бывает невыдержан, склонен к импровизации, допускает в работе опасные отклонения и, увлекаясь побочными операциями, не связанными непосредственно с его за-

данием, нередко нарушает дисциплину разведчика. И, пожалуй, те, кто говорил так, были правы.

Барышев, отвечая им, соглашался с тем, что Белов не всегда поступает в работе столь осмотрительно и целеустремленно, как поступал бы на его месте более зрелый и опытный разведчик. И даже сам отмечал оперативную легковесность, недостаточно всестороннюю продуманность некоторых действий своего ученика.

Соглашался Барышев и с тем, что Белов, привлекая для выполнения тех или иных задач Зубова и его группу, не умеет по-настоящему руководить ею. Работа группы заслуживает серьезной критики. Действия Зубова не всегда достаточно обоснованы и грамотны, а это ставит под удар не только Белова, но и саму группу. Говоря об этом, Барышев неожиданно для всех улыбнулся и заявил решительно:

— Но какие бы ошибки ни совершал Саша Белов, его работа меня пока что не столько огорчает, сколько радует. Обратите внимание: в своих отчетах он никогда не хвастает, хотя было чем похвастать, и каждый раз сам же первый упрекает себя. Пишет: «Не хватило выдержки, ввязался в порученную Зубову операцию освобождения заключенных». Ну как бы сбежал парень на фронт.

Барышев подумал секунду, сказал проникновенно:

— Вот мы отобрали для работы у нас самую чистую, стойкую, убежденную молодежь. Воспитывали, учили: советский разведчик при любых обстоятельствах должен быть носителем высшей, коммунистической морали и нравственности, тогда он неуязвим.

Но когда молодой разведчик попадает в тыл врага и оказывается там в атмосфере человеконенавистничества, подлости, зверства, — что же, вы полагаете, его душу не обжигает нетерпеливая ненависть, ярость? И чем больше боли причинят ему ожоги, тем, значит, правильнее был наш выбор: хорошо, что мы остановились именно на этом товарище. А закладка этой боли — процесс сложный, продолжительный. Человеком в равной мере управляют чувства и разум. И чем острее чувствует человек, тем сильнее должен быть его разум, чтобы управлять чувствами. У людей, тонко чувствующих, обычно и ум живее и сердце горячее. Самообладание — это умение не только владеть собой, но и сохранить огонь в сердце при любых, даже самых чрезвычайных обстоятельствах. А хладнокровие — это уже совсем другое: порой это всего лишь способность, не используя всех своих возможностей, оставаться в рамках задания.

Не все согласились с Барышевым. Но, поскольку Барышев лучше других знал характер своего ученика, ему поручили при первой же возможности связаться с ним. Следовало обстоятельно проанализировать действия Белова в тылу врага.

После этого предполагалось разработать для него новое задание, исходя из условий, в каких Иоганн Вайс успешно продвигался по служебной лестнице абвера. Барышев, как никто зная Сашу Белова, давно был убежден, что в тылу врага первой и основной опасностью для его ученика окажутся душевные муки. Его будет терзать мысль, что он мало сделал для Родины, не использовал до конца все представившиеся тут возможности, и эта неотвязная мысль толкнет его на опрометчивые, поспешные шаги навстречу опасности, которую следовало и должно было хладнокровно избегать. Но в битве между разумом и чувством победоносная мудрость одерживает верх далеко не в начале жизненного пути. Не из готовых истин добывается она, а ценой собственных ошибок, мук, душевных терзаний, и, сработавшая из этого самого сокровенного материала, мудрость эта не приклеивается легковесно к истине, но навечно спаивается с ней, становится сущностью человека-борца, а не просто существователя на земле.

Иоганну очень хотелось участвовать в спасении приговоренных к казни немецких военнослужащих. И не только потому, что эта, как выразился Зубов, «красивая», благородная операция, что этот подвиг боевиков должен был во всеуслышание заявить здесь, во вражеском логове, о бессмертии пролетарской интернациональной солидарности. Просто Иоганна постоянно жгла, томила неутоленная потребность к непосредственным действиям против врага.

Он отлично понимал, что эта жгучая потребность свидетельствует не о стойкости, а, скорее, о слабости, знал, что его участие в боевых действиях, быть может, помешает решению тех главных задач, которые перед ним поставлены.

Он понимал также, что если погибнет в бою, тем, кто будет заново проходить по его пути, придется в тысячу раз труднее: ведь время, необходимое для длительного, постоянного «вживания» во вражеский стан, уже необратимо утрачено. И вовсе не потому его жизнь бесценна сейчас, что он, Александр Белов, — личность неповторимая, одаренная качествами, которыми другие не обладают. Напротив, он хорошо знал, что в тылу врага действуют, и порой даже более успешно, чем он, талантливые советские разведчики, на счету у которых не одна блистательная операция.

Все дело в том, что он, Александр Белов, такой, какой он есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, достиг высоты, на которую его нацелили по карте битвы с тайными службами врага. И если он уйдет с нее, враг снова сможет наносить отсюда свои удары. Значит, волей обстоятельств его жизнь — это не просто одна жизнь, а много человеческих жизней, и поэтому он не имеет права распоряжаться ею, как своей личной собственностью.

Все это так. И сознание этого придавало душевную стойкость Иоганну Вайсу. Но и она была не беспредельна.

Ему приходилось терпеливо выслушивать бесконечные рассуждения своих сослуживцев о том, что немцам самой биологической природой предназначено быть «новой аристократией крови», что немец — это «человек-господин, наделенный волей к власти и сверхвласти». Они упоенно превозносили смерть на войне. Всемерно заботясь о сохранении собственной жизни, чужие жизни они и в грош не ставили.

Умерщвление людей других национальностей они называли «оправданной целью сокращения народной субстанции». И газовые камеры, где душили людей, были оборудованы смотровыми глазками, для того, чтобы нацисты, принимая к ним, могли сдать публичный экзамен на бесчеловечность.

Когда Гитлер провозгласил, что Германия либо сделается владычицей мира, либо перестанет существовать вообще, его слова вызвали только чванливый восторг. А ведь они означали, что гитлеровцы не остановятся ни перед чем, даже перед истреблением самого немецкого народа, и будут воевать до последнего своего солдата.

Слушая своих сослуживцев, Иоганн каждый раз с отчаянной ненавистью, с яростью убеждался, что рассуждения эти объясняются вовсе не трусливым раболепием перед чудовищными фашистскими догмами, уклонение от которых беспощадно каралось: в основе их лежало нечто еще более отвратное — уверенность, что они составляют сущность германского духа.

И как ни привык Белов маскироваться под делового, но ограниченного одной только служебной сферой абверовца, с какой бы ловкостью ни уклонялся от кощунственных «философствований» на подобные темы с другими сотрудниками, — все это давалось ему путем огромного насилия над собой — ему все время приходилось мучительно сдерживать себя. Это строгое подчинение Белова Иоганну Вайсу походило иногда на добровольное заточение в тесной камере. Это было невыносимое духовное, замкнутое одиночество. Белов никому, даже Зубову, не говорил о своих муках. Но самому себе признавался, что сможет продолжать свой длительный подвиг уподобления наци голыка в том случае, если ему удастся хоть бы изредка вырываться из духовного заточения и, пусть хоть на краткое время, становиться самим собой.

Понятно, что ему очень хотелось участвовать в спасении приговоренных к смерти немецких военнослужащих. Это дало бы ему возможность как бы душевно очиститься. А он тем сильнее нуждался в таком очищении, чем удачнее шли в последнее время его дела в абвере, чем больше упрочалась за ним среди сослуживцев репутация истинного наци.

Но как бы там ни было, он отказал себе в праве участвовать в предстоящей операции.

Возможно, Барышев сказал бы по этому поводу, что к Белову после некоторых его незрелых решений и поступков пришла наконец зрелость разведчика...

Не сразу примирился Иоганн с этим нелегким для него решением. Главную роль здесь сыграли размышления о Генрихе Шварцкопфе, о том, что может сулить и какую пользу может принести делу возобновление дружбы с ним.

После долгих сомнений и колебаний Иоганн пришел в конце концов к определенному выводу. Он увидел в Генрихе смятенного немца, с душой раненой, но, возможно не до конца искалеченной фашизмом. Ему было не просто жаль Генриха, хотя тот и вызывал жалость. Он задумал испытать себя, попробовать свои силы в самом трудном и, пожалуй, главном. Он решил не только вернуть дружбу Генриха, но и вызвать к жизни то лучшее, что в нем было когда-то. Если это удастся, Генрих, несомненно, превратится в его соратника.

Подсадив на себя за то, что с первой же встречи с Генрихом он невероятно осложнил их отношения и едва сам не запутался, Иоганн пришел к такому выводу: единственный и самый надежный путь проникнуть в душу Генриха — правда. Правда — это самое победоносное, самое неотвратимое на земле.

Вот он хотел рискнуть своей жизнью в боевой операции не потому, что его участие в ней необходимо, а для того только, чтобы в открытой схватке с врагом восстановить душевные силы. На такой риск он, пожалуй, не имеет права. Но если он рискнет жизнью ради того, чтобы обратить Генриха в своего соратника по борьбе, его риск будет оправдан.

Приняв такое решение, Иоганн вынужден был поставить себя в довольно-таки жалкое положение перед Зубовым.

Пришлось покорно принять снисходительное одобрение Зубова, когда тот, услышав, что Иоганн отказывается от участия в операции, заметил:

— Ну и правильно! Чего тебе с нами суетиться? Ты — редкостный экземпляр, обязан свое здоровье сохранять. И нам беречь тебя надо как зеницу ока.

Но от Иоганна не укрылось и то, что Зубов, в глубине души жаждавший быть главарем в предстоящем деле, обрадован его отказом. А обидные, унижающие его слова, — что ж, Зубов, пожалуй, имел на них право: ведь сам же Иоганн рассказывал ему, что участие в освобождении из тюрьмы Эльзы и других заключенных Центр считал прямым нарушением дисциплины, недопустимым отклонением от тактики, предписанной ему по роду его деятельности в тылу врага.

И хотя Иоганн понимал, что в данном случае поступает правильно, целесообразно, он был все же удручен и несколько

завидовал Зубову, который с отчаянным бесстрашием вольно распоряжается своей жизнью.

Мало того, что Иоганн сам отказался участвовать в боевой операции,— он потребовал, чтобы Зубов освободил от нее и поляка Ярослава Чижевского, которого тот просто обожал за все те качества, какими, кстати сказать, и его самого со столь опасной щедростью наградила природа.

Изящно вежливый, скромно-приветливый, тщательно и даже франтовато одетый, с нежно-женственным лицом и ясными голубыми глазами, Ярослав Чижевский, как бы извиняясь перед Зубовым, говорил ему:

— Мне очень прискорбно, что вы не видели Варшавы. Это изумительно красивый город.

— Что значит «не видел»? — запротестовал Зубов. — А где я сейчас, не в Варшаве, что ли?

— То не Варшава, — грустно говорил Ярослав, — то сейчас горькие развалины.

Зубов соглашался:

— Фашисты изуродовали Варшаву, а варшавян нет: ведь вы не согласились капитулировать!

— Как было можно! — вздохнул Ярослав.

— Здесь каждый опаленный камень вроде памятника человеческой стойкости.

— То так. Благодарю вас за красивые слова. — И Ярослав наклонил голову с аккуратным подбором.

— Правильные слова сказать нетрудно. А вот драться за них — это другое дело.

— О, вы так добже деретесь за Варшаву, пан Зубов, что я давно уже считаю вас почетным гражданином нашего города.

Зубов сконфузился.

— Ну, такого я еще не заслужил. А вот тебя я бы рекомендовал на будущую мраморную доску героев. — И тут же сердито добавил: — Но только чтобы не посмертно!

— Такой гарантии я вам дать не могу, — улыбнулся Ярослав.

— Обязан, — твердо сказал Зубов.

— А о себе вы можете дать такую гарантию? — коварно осведомился Ярослав.

Зубов обиделся.

— Я лейтенант, а ты гражданский.

— Я поляк, — с гордостью заявил Ярослав. — И если вы, пан лейтенант, падете на польской земле, то знайте — я лягу рядом с вами.

— Значит, позволишь немцам уколошить себя?

— То будет наша с вами совместная ошибка, — усмехнулся Ярослав.

Познакомились они еще зимой, когда Зубов и его боевики

спасли юношу от преследовавших его гестаповцев. А гнались за ним потому, что он перекинул через забор, прямо на крыши армейских складов, примыкающих к железнодорожному полотну, самодельные термитные зажигательные пакеты. Люди Зубова доставили обожженного Ярослава Чижевского на одну из явок, оказали ему медицинскую помощь. Узнав, кто его спас, он сказал чопорно-вежливо:

— Я вам глубоко признателен. Мне, право, так совестно за хлопоты, которые я вам причинил.

Зубов заметил, усмехнувшись:

— Ну что вы! Это же пустяки...

Ярослав удивленно поднял тонкие брови, помедлил и вдруг снисходительно объявил:

— Я смогу ответить вам тем же.

«Ну и нахал!» — подивился Зубов. Но как бы там ни было, чрезмерная самонадеянность юноши даже чем-то понравилась ему.

Выздоровев, Ярослав Чижевский стал участником боевой группы и очень скоро завоевал сердце Зубова своим абсолютным бесстрашием и манерой держать себя в боевой обстановке так сдержанно и корректно, словно он выступает на спортивной арене и на него устремлены тысячи глаз. Единственно, что не нравилось Зубову, — это, как он думал вначале, тщеславное стремление Чижевского первенствовать в схватках. И со свойственной ему прямоотой он упрекнул юношу.

Против ожидания, Ярослав, покорно выслушав Зубова, сказал почтительно:

— Пан лейтенант, прошу прощения, но я хочу зарекомендовать себя перед вами с лучшей стороны. — И добавил чуть слышно: — Я не коммунист, как вы, но ведь все может быть?!

Для Зубова это признание Чижевского значило многое.

В первые месяцы Ярослав беспрекословно выполнял все приказания Зубова, касающиеся боевых заданий, но в разговорах с ним неприязненно и настойчиво напоминал о тех гонениях, которым подвергался польский народ в эпоху русского самодержавия.

И Зубов покорила Ярослава тем, что с той же ненавистью и ничуть не меньшей осведомленностью в истории подтверждал его слова.

— Ну, все это правильно, — говорил он. — А раз правильно, значит, правильно, что мы Октябрьскую революцию сделали, советскую власть установили. И вам бы тоже так сделать. И были бы мы тогда с самого начала вместе. Как, примерно, мы с тобой сейчас. Только и всего. Николай Второй — кто? Русский император, царь польский и прочее. Мы его собственноручно убрали, а ты с меня за него спрашиваешь, когда мы с него и за вас тоже все спросили. Подвели старой истории

баланс — и на этом точка. — Спросил: — Тебя в гимназии истории обучали?

Ярослав кивнул.

— Воображаю, что за учебники у вас были. Такие, должно быть, могли для вас и в Берлине печатать, — заметил грустно Зубов. — Это же отравя. Шею народу сворачивали, чтобы не вперед смотрел, а назад.

— Да, — согласился Ярослав. — А ведь мы одна кровь — славяне.

— Конечно, приятно, что мы сородичи, — задумчиво произнес Зубов. — Но только на одной этой платформе далеко не уедешь. — Посоветовал: — Ты прикинь, почему в нашей группе такой интернационал собрался, даже два немца есть. Интересно, отчего это они с нами, а?

— Антифашисты? — вопросительно произнес Ярослав.

— С существенной добавочкой, — улыбнулся Зубов, — коммунисты. — Напомнил: — Был еще один, третий, но мы его в польской земле похоронили. Он ее вместе с нами от фашистов чистил. — Вдохнул. — Война — страшное дело. Но товарищ за товарища готов погибнуть. Никогда в другое время сразу столько прекрасного в людях не увидишь...

И вот теперь Зубов обязан снять с операции Ярослава Чижевского — бесстрашного и беззаветно отважного. И в то время, когда его товарищи будут драться с конвоем, Ярославу предстоит заняться совсем мирным делом. Он должен разыскать кого-либо из членов той польской патриотической группы, в которую проник провокатор Душкевич, и передать им добытые Вайсом документы. А когда они ознакомятся с этими обличающими предателя документами, следует убедить их, что нападение на Генриха Шварцкопфа спровоцировано немецкой контрразведкой, которой нужен повод для проведения новых массовых репрессий.

Иоганн не считал нужным предупредить Зубова, что будет все время рядом с Генрихом Шварцкопфом. И если Чижевский не сумеет выполнить задание и покушение все-таки будет совершено, Иоганн, чего бы ему это ни стоило, попытается спасти Генриха.

Не предупредил потому, что, хотя Зубов и понял, что Иоганн не имеет права участвовать в боевых операциях, все-таки усмешка превосходства мелькнула на его лице, когда он, выслушав указания о задании Чижевскому, заметил:

— Ну, ясно: ты вроде высшей математикой занимаешься, а наше дело — простое, как дважды два.

Не предупредил и потому, что бессмысленно было обременять Зубова лишними заботами, когда его группа, и без того ослабленная из-за отсутствия Чижевского, будет занята боевой операцией.

Была и еще одна причина. Такое предупреждение прозвуч-

чало бы неким оправданием Иоганну. Мол, хоть, он и не участвует в операции, но все равно его подстерегает опасность причем ничуть не меньшая, чем Зубова. Ведь не в силах же он предугадать, когда и откуда будет совершено покушение на Генриха.

Конечно, можно было бы вызвать охранников в штатском и обезопасить себя и Генриха, но тогда польские патриоты попадут в засаду.

Иоганн ломал себе голову, прикидывая, как бы выкрутиться из чрезвычайно сложного положения, в которое он попал. А что, если попытаться убедить Генриха, чтобы он не выходил из своего номера в гостинице? Нет, Генрих сейчас необычайно взвинчен и не захочет довольствоваться обществом Вайса. Он скорее предпочтет компанию, с которой прибыл сюда для ре-визии «штаба Вали». Вместе со своими берлинскими коллегами будет по-прежнему бурно развлекаться в кабаках и ресторанах, где на него всего легче совершить покушение.

Припутнуть Дитриха и заставить его отменить покушение тоже нельзя: это означало бы выдать на расправу контрразведке спровоцированных Душкевичем поляков.

Судьба Вайса и Генриха зависела сейчас от того, насколько успешно Чижевский выполнит задание. Но Иоганн не считал необходимым ставить его в известность об этом. Вполне достаточно, если Чижевский будет руководствоваться в своих действиях сознанием, что срыв задания ставит под угрозу жизнь многих поляков.

Иоганн появился у Генриха задолго до того, как обещал навестить его. И был встречен с подчеркнутой неприветливостью, которая могла бы выглядеть оскорбительной, если бы Иоганн с первых же слов не обезоружил Генриха своим подкупающим простодушием.

— Что тебе надо? — недовольно буркнул Генрих.

— Тебя, Генрих, — улыбаясь, ответил Вайс и добавил с открытой, доброй улыбкой: — Понимаешь, соскучился. — И, бросив взгляд на столик с закусками, на окаменело сидевшего в позе неприступного величия полковника Иоахима фон Зальца, на Ангелику Бюхер, полулежавшую несколько поодаль в качалке с бокалом красного вина, который она грела в ладонях, спросил: — Можно, я поем у тебя? — И пожаловался: — Весь день на ногах, ужасно голоден.

Иоганн мгновенно понял, как нежелательно в данный момент для всех троих его присутствие в этой комнате. И, поняв это, выдвинул повод для визита. Ну разве можно отказать в гостеприимстве преголодававшемуся человеку? Это было бы верхом неприличия.

Любезно поздоровавшись с гостями Генриха, Вайс будто

не видя ледяного лица полковника и негодующей физиономии Ангелики, молча сел за стол и так сосредоточенно занялся едой, что спустя некоторое время его даже перестали замечать.

Возможно, такое невнимание граничило с презрением к его особе. Но на это Вайсу было, в сущности, начхать. Он достиг того, чего хотел. Победил в этом крохотном турнире на выдержку, волю и самообладание.

Иоахим фон Зальц, угарно чадая сигарой, продолжил прерванный появлением Вайса разговор. Вылетая из его рта, сухие слова, казалось, потрескивали.

— Да, мы, немцы, — романтики-идеалисты. И, как никакая другая нация, мы одарены фанатической способностью быть преданными идеалу, заложенному в наши сердца и умы еще предками. Вначале Европа, а потом и весь мир — вот он, наш идеал. Мы должны обладать миром во имя национального самосознания. Наша историческая миссия — властвовать над народами.

Насилие — это выражение свободы нашего духа и метод достижения цели, — вещал своим скрипучим голосом Зальц. — Извечный страх перед насилием над личностью, над целыми народами мы превратили в универсальное орудие. Доблестная готовность немецкого солдата идти на смерть складывается из двух моментов. Его сознание абсолютно подчинено мысли, что уклонение от этой готовности грозит ему смертью. И страх перед наказанием освобождает его от психической боязни смерти. Так страх перед насилием порождает способность к насилию. Как бы противна ни была нашей природе жестокость, она диктуется гуманной необходимостью: страх перед жестокостью уменьшит количество людей, которые могут стать жертвой жестокого возмездия...

Любые проявления снисходительности, — продолжал он, почти скрывшись за облаками сигарного дыма, — к приговоренным военным преступникам свидетельствовали бы о нашей неспособности решительно аннулировать все то, что чуждо нашему духу, заражено социальной инфекцией марксизма. Чтобы закончить наш разговор, скажу вам, любезный господин Шварцкопф, что я решительно не согласен с вами...

Но тут Вайс прервал его. Вытер губы салфеткой, аккуратно сложил ее и спросил, не поднимая глаз:

— Простите, господин полковник, насколько я понял, из ваших суждений следует, что самый храбрый немецкий солдат одновременно и самый большой трус? И мы должны быть жестокими из страха, чтобы нас самих не повесили за недостаточную жестокость? — Не дожидаясь ответа, Вайс развалился в кресле и, ковыряя в зубах спичкой, обратился к Генриху: — Следуя программе господина Иоахима фон Зальца, ты должен прийти к выводу: необходимо принять участие в казни военнослужащих. Ведь таким способом ты подтвердишь

правильность его умозаключений — бесстрашно разделяешь с приговоренными только из боязни быть обвиненным в слабодушии? — Твердо взглянув в белесые глаза полковника, Вайс сказал: — Так получается, если следовать вашей логике. — Ухмыльнулся: — Во всяком случае, меня такая логика не воодушевила бы, хотя она и выражена столь торжественными словами, что они могли бы стать гимном трусости.

— Господин обер-лейтенант, вы забываетесь! — тонким голосом почти завизжал фон Зальц.

Вайс вскочил.

— Господин полковник, по роду моей службы я обязан не забывать ни о чем, что наносит оскорбление доблестному вермахту. А вы сейчас обвинили его в трусости.

Побледнев, фон Зальц обратился к Генриху:

— Герр Шварцкопф, он извращает смысл моих слов! Не откажитесь сейчас же подтвердить это.

— Оставь, Йоганн, — сказал Генрих. — Ты же отлично понимаешь, что полковник излагал нацистские идеи, правда, в несколько обнаженном виде.

— Я считаю, — Вайс непримиримо стоял на своем, — что герр полковник позволил себе лишнее.

Вмешалась Ангелика:

— Послушайте, Йоганн, не надо быть таким подозрительным. — Протянула руку: — Ведь мы с вами старые друзья?

— Ради вас, фрейлейн, — галантно сказал Вайс, — я готов признать, что погорячился.

— Вот видите, какой вы милый! — Ангелика вопросительно взглянула на полковника, напонила: — Вы, кажется, хотели отдохнуть?

Когда дверь за Ангеликой и фон Зальцем закрылась, Генрих спросил живо:

— Ты нарочно все это выкинул?

— Возможно, — неопределенно ответил Вайс и спросил в свою очередь: — Тебя действительно заташнило от его откровений, или это мне только показалось?

— Нет, не показалось. Он спорил со мной. Я сказал, что решительно отказываюсь присутствовать при казни.

— Что же ты встретил меня так неприветливо? Ты должен благодарить меня за дружескую услугу: ведь я помог им убраться отсюда.

Генрих сказал задумчиво:

— Но не он один так мыслит.

После паузы Вайс сказал:

— Как ты думаешь, если для исполнения приговора вызвать палачей-добровольцев из лагеря военнопленных, любой русский охотно согласился бы?

— Безусловно.

— А если найдутся такие, которые откажутся?

— Почему? Казнить немца — это было бы для них чрезвычайно приятно.

— А вдруг, вместо того чтобы казнить приговоренных немцев, они попытались бы их спасти?

— Это невероятно!

— Но ведь отказались же четверо немцев участвовать в казни русских военнопленных!

— Мне бы очень хотелось знать, что ими руководило.

— А если бы ты узнал?

— Ну что ж... — печально произнес Генрих. — Очевидно, их слова в чем-то убедили бы и меня.

— И когда?

— Тогда я, возможно, поверил бы, что в Германии есть и другие немцы.

— И ты бы тоже стал другим немцем?

— Которого ты, как офицер абвера, счел бы своим долгом присоединить к этим четырем...

— В этом случае я забыл бы о том, что принадлежу к службе абвера, — парировал Вайс.

— Ради приятеля ты готов совершить преступление перед рейхом?

— А почему бы нет? — задорно сказал Вайс. — В конце концов, истинная дружба в том и заключается, чтобы не щадить своей skóry ради друга.

— Даже если он изменник?

— Кому? Ведь он же присоединился к немцам.

— Но эти немцы нарушили свой воинский долг.

— Долг быть палачами?

— Нарушение воинской дисциплины способствует победе русских.

— А если бы русские спасли этих четырех немцев от казни, они что, помогли бы победе Германии над Советским Союзом? — спросил Вайс.

— Чтобы русские спасли их?! Это было бы столь фантастично, что после такого сообщения надо застрелиться или...

— Что «или»?

— Да ну тебя! Говоришь какие-то нелепости...

— Я повторяю, — пристально глядя в глаза Генриху, сказал Вайс. — Если это произойдет, и русские спасут приговоренных к казни немцев, и тебе представится возможность увидеться с ними и выслушать их, — что тогда?

— Это невероятно!

— Я прошу тебя, скажи, как бы ты поступил?

— Я бы встретился с ними...

— Ты даешь слово?

— Ты так настаиваешь, что я начинаю думать, уж не поручили ли тебе проверить меня.

— Кто?

— Гестапо.

— Ну что ж,— задумчиво протянул Иоганн,— ты прав. Так вот, чтобы у тебя был залог.— Он взглянул на часы.— Через час ты позвонишь в тюрьму и узнаешь, что четверо немецких военнослужащих, приговоренных к казни, бежали.

— Ха! Ты, оказывается, весьма осведомленный абверовец. Но зачем же откладывать? Я позвоню сейчас, и мне сообщат об их бегстве.

— Нет,— сказал Вайс.— Еще рано.

— А если я сейчас позвоню?

— Тогда их не удастся спасти.

— Значит, если я не позвоню, то стану как бы соучастником их побега?

— Так же, как и я,— сказал Вайс.

— Ну зачем ты меня разыгрываешь?!— досадливо поморщился Генрих.

— Я предупреждаю: если ты не позвонишь в течение получаса,— холодно сказал Вайс,— ты станешь соучастником их побега.

— Давай забудем об этом разговоре!— попросил Генрих.— Право, не нужно нам так друг друга испытывать. Все это вздор.

— Нет, все это правда!

Генрих потянулся к бутылке с коньяком. Вайс задержал его руку:

— Нет, прошу тебя.

— Правильно,— согласился Генрих.— Надраться сейчас было бы трусостью.

Он прошелся по комнате,— задержался у столика, на котором стоял телефонный аппарат. Не спуская глаз с Иоганна, снял трубку.

Рука Иоганна легла на кобуру. Генрих, продолжая следить за ним глазами, повернул диск. Вайс уже сжимал пистолет, и по мере того как Генрих набирал номер, рука его с пистолетом поднималась все выше.

— Ангелика,— сказал в трубку Генрих,— будьте любезны, попросите к телефону полковника.— И через минуту продолжал вежливо:— Я считаю своим долгом принести вам, герр полковник, извинения. Мой приятель неприлично вел себя. Он был просто пьян... Да, конечно, сожалеет... Нет, он был весьма пристыжен и сразу же ушел... Отлично, я так и думал: очевидно, он привык к более упрощенным формам изложения идей фюрера... Да, конечно. Примите мои уверения...

Положив трубку, Генрих торжествующе и насмешливо улыбнулся. Лицо Иоганна было бледно, на висках выступили капли пота.

— Вот теперь я тебе поверил,— сказал Генрих. Спросил вкрадчиво:— Что, Иоганн, не так-то просто ухлопать старого друга? А ведь ты мог. Да?

— Палей мне, пожалуйста,— Вайс кивнул на бутылку с коньяком.

— Значит, тебе можно, а мне нельзя? Это несправедливо!

— Знаешь, Генрих, я сейчас так счастлив.

— Ну, еще бы, не пролил крови друга. В наше время это— редкое везение.— Генрих подошел к Иоганну, сел рядом с ним.— Давай помолчим. Я сам хочу разобраться во всем, что сейчас происходит.— Он закурил, вытянув ноги, положил их на другой стул и закрыл глаза.

Так, молча, они сидели недвижимо, пока не раздался телефонный звонок.

Генрих открыл глаза и вопросительно взглянул на Вайса. Тот посмотрел на часы.

— Подойди.

— И ты снова будешь целиться в меня из пистолета?

— Теперь нет.

Генрих взял трубку, и, по мере того как он слушал чей-то тревожно рокотавший в ней голос, лицо его становилось твердым и вместе с тем каким-то печально-спокойным. Положив трубку, он объявил Вайсу:

— Все! Ты прав.

— Ты хочешь спросить меня о чем-нибудь еще?— осведомился Вайс.

— А можно?

Вайс кивнул.

— Значит, ты с теми немцами, которые считают, что спасти Германию от Гитлера может только Красная Армия?

— Я с теми немцами,— сказал Вайс,— каким ты должен стать.

— Ты думаешь, я смогу?

— Да.

— Пока что,— сказал грустно Генрих,— ты уже спас меня. Я намеревался раз навсегда покончить со всей этой грязью. Я был очень одинок, Иоганн,— до исступленного отчаяния. Чувствовал себя узником, заточенным в собственной шкуре, и чтобы освободиться...

— Ладно,— прервал его Вайс,— теперь ты тоже не свободен, пока Германия не свободна.

— А это может быть, чтобы мы стали свободными?

— Ты только что не верил в возможность освободить четырех немцев. И вот они уже на свободе. И освободили их те, кто борется за свободную Германию.

— Но ведь это же русские создали организацию из военнопленных, она называется «Свободная Германия».

— Не русские создали организацию «Свободная Германия»,— возразил Вайс,— а немцы, освобожденные от власти гитлеровцев, создали ее с помощью русских.

— Чтобы, используя эту организацию немцев, завоевать Германию?

— Разве я похож на завоевателя? — усмехнулся Вайс.

— Но ведь ты не русский.

— Коммунисты, Генрих, всегда, во все времена, боролись за свободу и независимость Германии.

— Ты стал коммунистом?

— Если бы в Германии у власти стояли коммунисты, Советская страна была бы самым большим другом Германии.

— Да, пожалуй... — согласился Генрих.

— Но ведь русские большевики остались теми же большевиками, которые первыми заключили с Германией Рапалльский договор и этим освободили ее от блокады держав-победительниц, — напомнил Вайс. — Значит, русские, как и прежде, хотят, чтобы Германия была свободной, независимой и, конечно, социалистической.

— Только, знаешь, — сердито сказал Генрих, — не навязывай мне, пожалуйста, никаких верований. Я хочу оставаться свободным.

— Один?

— Там посмотрим, — уклончиво ответил Генрих. — Во всяком случае, теперь я не с теми, с кем был. Этого с тебя достаточно?

56

Как всегда после удачно проведенной операции, Зубов с особым рвением занялся служебными делами. На этот раз ему поручили руководить строительством складов для хранения металлолома.

В сущности, складов можно было не строить, а ограничиться примыкающими к железнодорожному полотну платформами, укрепив их фундамент. Но Зубов поддержал проект архитектора Рудольфа Зальцмана, представителя крупновской фирмы и племянника одного из ее директоров. Зальцману чрезвычайно хотелось возвести монументальные, с гробовидными кровлями, и строго внушительные, в стиле Третьей империи, сооружения. Так и было решено, а это потребовало много времени, дополнительной рабочей силы и ценных строительных материалов.

Канцелярия Зубова помещалась в крытой дрезине, и он без помех путешествовал по строительным объектам, распекая подчиненных за малейшее упущение.

Демонстрируя нетерпимую требовательность к качеству исполнения, он понуждал подчиненных переделывать уже наполовину готовую работу, утверждая, что речь идет о немецком техническом престиже.

Зубов был настолько занят, что Иоганну только на следующий вечер после операции удалось повидаться с ним.

Как уже не раз бывало после удачных вылазок, Зубов доложил Вайсу об этой отлично выполненной боевой операции с щегольским лаконизмом, граничащим с хвастовством. Уже очень ему хотелось, чтобы Иоганн сам подробно расспросил его.

Но Иоганн, как бы в отместку за это нескрываемое торжество Зубова, принял его более чем краткий доклад как нечто совершенно обычное и не стал ни о чем расспрашивать. Он только деловито осведомился, нельзя ли свести Шварцкопфа с освобожденными немцами и может ли эта встреча повлиять на Генриха в нужном направлении.

Зубов обиделся:

— Выходит, тебе эти немцы нужны были только как собеседники для твоего эсэсовца?

Иоганн ответил сдержанно:

— Если Генрих Шварцкопф будет с нами, считай это лучшим из всего, что мы здесь сделали.

Зубов недоверчиво усмехнулся. Подумав, он все же обещал все устроить, но просил несколько дней на подготовку. Главная трудность, как он объяснил, состояла не в том, чтобы организовать встречу, а в том, что нужно было еще выяснить, годятся эти немцы для беседы с Шварцкопфом или нет.

А вот о том, как выполнил свое задание Ярослав Чижевский, Вайс расспросил Зубова с особой тщательностью. И оказалось, что далеко не все здесь благополучно.

Чижевский связался с группой польских патриотов, передал им материалы, неоспоримо свидетельствующие, что пан Душкевич — давний провокатор. И вся группа рассредоточилась, люди глубже ушли в подполье. Но покушение на Шварцкопфа не отменено, только срок отодвинулся. Значит, жизнь Генриха по-прежнему в опасности. И виноват в этом Иоганн, поскольку не счел нужным своевременно рассказать обо всем Зубову.

Теперь Зубов пообещал Иоганну сделать все, чтобы отвести опасность от Генриха. Он видел, как беспокоится Иоганн за жизнь Шварцкопфа, и невольно его охватывала ревность. Никогда еще, даже в минуты смертельной опасности, Зубов не замечал, чтобы Иоганн был так встревожен. И за кого тревожиться? За этого немца, какой бы он там ни был нужный и важный для дела человек. Значит, Иоганн связывает с Генрихом, помимо всего прочего, и дружба. А Зубов считал себя здесь единственным настоящим другом Иоганна. Что же это получается? Выходит, он теперь не более чем подчиненный, исполняющий поручения. А Иоганн будет все свое свободное время проводить с этим немцем, и, возможно, этот немец ста-

нет для него означать больше и даже делать больше, чем Зубов.

По выражению печали, горечи, отразившейся на лице Зубова, Иоганн чутко уловил, что этот разговор задел его. Было что-то наивное в обиде Зубова. Но в то же время и по-настоящему чистое. Люди, бесстрашные перед лицом смерти, часто теряются, когда жизнь сталкивает их с холодом рассудочности, с черствой расчетливостью. Иоганн хорошо понимал это.

— Ты пойми меня правильно,— обратился он к Зубову с доброй серьезностью.— Генрих еще очень слабый человек, он как бы в тумане бродит: может к нам прийти, а может и на нас пойти. И я с ним... ну, как с больным, что ли.

— Ладно,— грустно согласился Зубов.— Выхаживай...

Иоганн подумал, что мог бы напомнить Зубову о Бригитте, но сдержался из опасения задеть друга: для него ведь все это тоже было мучительно непросто.

На прощание Зубов посоветовал Вайсу увезти куда-нибудь Шварцкопфа на несколько дней, пока Чижевский снова установит связь с польской группой.

Это вполне устраивало Иоганна, тем более что он должен был выполнить давнишнее поручение доктора фон Клюге. Кроме того, нельзя было пренебрегать командировочными документами, дающими существенные привилегии. Командировка давала также возможность раскрыть перед Генрихом еще одну сторону подлой работорговли, из которой не только руководство СС, но и германские промышленники и имперские чиновники извлекали немалые доходы.

Генрих сразу же, даже не поинтересовавшись целью служебной командировки Вайса, согласился сопровождать его. Иоганн решил пока умолчать об этой цели, тем более что Вилли Шварцкопф поручил Генриху проверить, насколько успешно выполняет лагерная администрация секретный приказ о разработке проекта методологической инструкции для тех эсэсовцев, которым, если возникнет такая необходимость, предстоит уподобиться заключенным и раствориться среди них.

Когда Вайс спросил Генриха, для чего это нужно руководству СС, тот ответил пренебрежительно:

— А черт их знает! Но не думаю, чтобы эсэсовцы пошли на такие лишения из одного только желания доносить на заключенных.

— А для чего же все-таки?

— А помнишь, с каким упоением фон Зальц философствовал о социальной силе страха?— напомнил Генрих.— Я думаю, все из-за этого всеобъемлющего страха.

— Не понимаю тебя.

— Ну как же! Те, кого преследует страх, жаждут избавиться от него, скрыться где угодно, хоть в концлагере под видом заключенных. Это и есть спасение от возмездия.— До-

бавил с усмешкой: — Недавно дядя показал мне ампулу с ядом — он теперь всегда носит ее с собой в зажигалке. И постоянно с тревогой ощупывает верхний карман кителя — проверяет, не забыл ли эту зажигалку. А как нащупает, поверишь, лицо у него становится наглым, насмешливым: вот, мол, что бы там ни было, а я могу от всего сразу избавиться, я-то уж выкручусь!

— Он всерьез думает о самоубийстве?

— Ну что ты! Он такой страстный жизнелюб. Ни за что не решится. Но сознание, что у него есть такая возможность, бодрит его. Вот и все.

— Значит, твой дядя думает, что война уже проиграна?

— Да нет, что ты! Просто он боится, что кто-нибудь за какой-нибудь проступок предаст его и фюрер прикажет его убить. На случай военного поражения у дяди, как у многих — и равных ему и занимающих более высокое положение, — имеются другие благоприятные возможности.

— Какие?

— Ну и провинциал же ты, Иоганн! — рассердился Шварцкопф. — Неужели ты не понимаешь, что побудило большинство из тех, кто стоит поближе к фюреру, отговорить его от захвата Швейцарии, например?

Вайс отрицательно покачал головой.

— Господи! — воскликнул Генрих. — Но ведь в этой нейтральной стране мощные банки, и каждый более или менее значительный в империи человек держит там секретные вклады — гарантии на все случаи жизни. Понял? Нет, — повторил он, — все-таки ты провинциал.

— Да, конечно. Хотел бы я побывать в Берлине. Берлин — город моей мечты.

— Ладно, — пообещал Генрих, — я тебе как-нибудь покажу Берлин.

— Когда война закончится?

— А ты что, очень спешишь?

— Во всяком случае, я не хотел бы снова расстаться с тобой, — искренне заверил Вайс.

— Я тоже, — сдержанно сказал Генрих.

И снова начались поездки по концентрационным лагерям. Это были специальные детские лагеря или такие, в которых вместе со взрослыми заключили и детей.

Вайс беспощадно ввел Генриха в курс своей командировки, вынудил стать свидетелем чудовищной, страшной процедуры, связанной с проверкой и отбором для экспорта за границу сотен высохших наподобие скелетов детей. Их выкупали родственники.

Не раз обескровленные умерщвляющим донорством, вялые,

безразличные ко всему, дети равнодушно спрашивали при виде господ офицеров: «Что, нас уже в газакамеру, да?» Когда они задавали этот вопрос, лица у них были неподвижны и бесстрашны: ведь уже ничто на свете не могло напугать их; они пережили все земные ужасы и привыкли к ним, как привыкли к трупам, которые сами вытаскивали по утрам из барачных.

Все это так подействовало на Генриха, что Вайс стал опасаться, как бы он в припадке отчаяния не покончил с собой или вдруг не начал в упор стрелять из пистолета в сопровождающих их по лагерю представителей охраны и администрации.

Выход был один: отправляясь в очередной концлагерь, Вайс теперь заставлял Генриха оставаться в гостинице, где тот в одиночестве напивался обычно до потери сознания.

Но что мог Вайс поделать? Надо было закончить все связанное с командировкой, тем более что, кроме детей, подлежащих продаже родственникам, он, пользуясь своими особыми полномочиями, включил в списки эвакуируемых из лагеря многих из тех, кого еще можно было спасти.

Вайс уже сообщил Зубову, чтобы тот, объединив своих людей с польскими партизанами, готовился напасть на охрану эшелона, в котором повезут детей, не имеющих родственников. Этих детей Вайс включил в отдельную, наиболее многочисленную группу. Предполагалось, что, когда детей освободят, их возьмут в свои семьи те, кто захочет заменить им родителей.

Только после того, как Вайс шифровкой сообщил Зубову, где будет стоять железнодорожный состав и когда начнется погрузка в него детей, он смог считать свое задание выполненным. Тем более что под видом конспирации всего этого коммерческого предприятия СС ему удалось добиться, чтобы детей не сопровождала специальная вооруженная охрана, забота о них была на сей раз поручена женам лагерного руководства, хотя надо сказать, что многие из этих дам не уступали своим мужьям в жестокости и умении владеть хлыстом и пистолетом.

Перед отъездом Вайс зашел за Генрихом в гостиницу и застал его в состоянии иступленного отчаяния. Он заявил: или Вайс поможет ему перебить всю эту сволочь, истязующую детей, или он сделает это сам. Если же Йоганн попробует помешать ему, он застрелит его.

— Хорошо,— сказал Вайс,— я помогу тебе. Но сначала лучше помоги спасти детей.

— Как?!— закричал Генрих.— Как?

— В твоём распоряжении еще несколько дней. Только не надо горячиться. Я располагаю сведениями о польских подпольщиках. Свяжись с ними. Я научу тебя, как это сделать.

— А ты?

— Я в таких опасных авантюрах не участвую. Уволь, пожалуйста,— холодно сказал Вайс.— Не хочу, чтобы меня повесили в гестапо.

— Трус!

— Да,— подтвердил Вайс.— И не скрываю этого от тебя.

— А что ты раньше говорил мне? В чем убеждал?

— Видишь ли,— рассудительно сказал Иоганн,— одно дело — критически относиться к тому, что происходит вокруг, а другое — решиться на открытую борьбу, то есть перейти на сторону тех, против кого мы воюем.

— Значит, вот ты какой!

Вайс пожал плечами. Не было у него сейчас сил на другой разговор. Его истерзала, обессилила неодолимая, слепящая ненависть. Он настолько изнемог за эти дни поездок по лагерям, что казалось, самообладание вот-вот покинет его.

Маленькие узники — подростки и дети — утратили в лагерях представление об ином мире, не похожем на тот, в котором они существуют.

Они привыкли к своей обреченности. Они знали, кого из них и когда поведут или повезут на тачке в «санитарный блок» — так называли здесь газовую камеру с глухими, безоконными стенами и покатым полом, обитым жестью.

Раньше, когда не было газовой камеры и крематория, заключенных расстреливали по средам и пятницам. В эти дни дети пытались прятаться, и взрослые помогали им прятаться. А теперь, когда муфельные печи крематория работают беспрерывно, днем и ночью, спрятаться от них нельзя. И дети не прячутся.

Раз в неделю для отправки в «санитарный блок» отбирают не меньше двадцати детей — сначала больных, потом чрезмерно истощенных, а если больных и истощенных для комплекта не хватает, те, у кого на груди пришит желтый лоскут, знают, что пришла их очередь. Знают задолго до этого дня. Старшие дети объясняют младшим, что все это длится недолго и не так уж больно — менее больно, например, чем когда берут кровь. Нужно немного потерпеть, и потом уже не страшно, потому что ничего не будет — ни лагеря, ни голода, ни свитой из телефонного провода плети. Ничего.

В лагере дети говорили друг с другом на странной смеси языков, и никто их не понимал, кроме них самих.

— Господин офицер,— спросил Вайса метровый скелетик с изможденным лицом взрослого и огромными, детские ясными глазами,— не отправляйте меня сегодня в газовку.— И пообещал:— Я могу дать еще кровь.— Объяснил деловито:— Прошлый раз кровь не пошла. А откуда у меня может быть кровь, если мою пайку съели крысы?

Мальчик это был или девочка — Иоганн определить не сумел. Единственным признаком, по которому можно было от-

личить детей от других заключенных, был их маленький рост, а лица у всех тут одинаковые — старческие, высохшие, неподвижные, как гипсовые маски, снятые с мертвецов.

Шарфюрер СС снабдил Вайса конфетами, чтобы ему легче было выведать у детей об их прошлом. Но каждый раз, когда Иоганн угощал детей, они в испуге отшатывались и лица их становились бледно-серыми, а те, кто не мог устоять перед яркой оберткой, все же не решались положить конфету в рот.

Иоганн подумал, что они не знают или забыли, что такое конфета. И когда он стал настаивать, чтобы кто-нибудь из детей тут же съел свою конфету, кто-то из них, ростом выше других, покорно подчинился и почему-то лег на землю. Спустя несколько секунд Вайс услышал вопль ужаса: подросток кричал, что ему дали плохой яд, он действует медленно и, значит, придется долго мучиться.

Вайс выхватил целую пригоршню конфет из своего пакета, лихорадочно развернул и стал иступленно жевать, стараясь убедить детей, что конфеты не отравлены.

Но подросток не верил ему и все вопил, что ему дали плохой яд.

Другие дети молча, неподвижно стояли рядом, и никто из них не только с негодованием, но даже вопросительно не взглянул на Вайса. И когда подросток наконец поднялся с земли, в глазах у него не было ничего, кроме удивления, что он жив и не испытывает мук.

Невозможно передать ощущения Вайса, когда он, стремясь спасти хоть кого-нибудь из заключенных, посещал так называемые «молодежные лагеря». Казалось, судорога намертво скорчила все его чувства, кроме непреодолимой жажды мщения.

Железные защитные доспехи Вайса жгли его. У него ни на что не было душевных сил, он почти не мог общаться сейчас с Генрихом, который впал в протрацию после первых же посещений детских лагерей и теперь, в состоянии тупого опьянения, лепетал только, что это чудовищно, что человек — мразь по своей сущности и всех людей на земле после такого надо уничтожить, как гнусных насекомых.

Вайс отобрал у Генриха пистолет, чтобы он не покончил с собой или не застрелил первого же эссовца, который пожелает нанести ему визит вежливости. И, когда уходил, запер его на ключ в номере, наедине со шнапсом.

Белов ничего не мог поделать с собой, и порой ему чудилось, что он сходит с ума. Он ловил себя на том, будто издали, внимательно, пытливо и презрительно наблюдает за Вайсом, слышит его голос, когда тот обсуждает с администрацией концлагеря все детали отправки детей. Слышит, как Вайс говорит небрежно и цинично:

— Господа, не надо быть идиотами. Половина сдохнет в

пути. Значит, исходя из этого расчета, следует комплектовать двойное количество. Плевал я на картотеки! Я сдаю определенное количество голов. Что? Вы полагаете, герр шарфюрер, что эти ублюдки о чем-нибудь помнят? В таком случае, смею вас заверить, вы больше подходите для фронтового подразделения СС, чем для своей должности здесь. И я доложу об этом. Что? Ну, тогда отлично! — снисходительно произносит Вайс. — Теперь, надеюсь, вы поняли, какой у вас товар? — И уже по-приятельски советует: — Но обращаетесь вы с ним, я вам откровенно скажу, расточительно. Рекомендую умерить пыл. Вчера с вас могли взыскать за мягкотелость, а сегодня и завтра, пожалуй, повесят за то, что вы лишаете империю нового источника дохода. — И Вайс насмешливо заявляет: — Ах, вы не знали? А вам и теперь не надлежит знать ничего иного, кроме того, что вы ничего не должны знать.

И как бы со стороны он видит этого человека, этого Вайса. Но это не человек, это говорящий манекен. И вдруг его с непреодолимой силой охватывает желание, чтобы этот манекен поднял свою руку, затянутую в перчатку, и с той же насмешливой улыбкой, растопырив пальцы, судорожно стиснул их на тощей шее шарфюрера. И, повинуясь его воле, рука манекена поднимается, но вдруг замирает у шеи шарфюрера, поднимается выше и треплет его по одутловатой щеке. И Вайс слышит свой голос, повинующийся не ему, а этому жесту:

— Ну что, шарфюрер? Вы довольны? Теперь ваши загончики пустуют. Никаких хлопот.

Шарфюрер довольно улыбается. Но улыбка сразу же исчезает с его лица, как только Вайс-манекен произносит сухим, трескучим голосом:

— Кстати, сегодня же надо начать их откармливать. Но так, чтобы не расстроились желудки. Позаботьтесь и о питании в пути. За падеж до момента доставки в эшелоны все-таки будете отвечать вы, а не я.

Сощураясь, Вайс-манекен роняет:

— Герр Шварцкопф обратил внимание на то, что вы откармливаете своих свиней провиантом, предназначенным для других целей. Я позабочусь, чтобы он забыл об этом, конечно, в том случае, если вы выполните все, о чем мы договорились.

Вайс-манекен шагает к воротам лагеря в сопровождении свиты из местного начальства. Перед тем как сесть в машину, подает шарфюреру руку. Руку манекена в перчатке.

Манекен остается один в машине. И тут один Вайс как бы поглощает другого Вайса. Теперь вместо двух Вайсов один — Белов-Вайс. Одно целое, неразделимое. И теперь этому последнему уже невозможно с изумлением и ненавистью наблюдать за Вайсом-манекеном.

Теперь в страшном, отторженном от всех одиночестве живой Вайс должен пережить все, что видел Вайс-манекен. И преодолеть муку, чтобы не повторилось больше это раздвоение, это хотя и облегчающее душу, но опасное наваждение.

Если бы Вайс мог вести себя здесь так, поступать так, как поступал Зубов, — действовать, он находил бы в этих прямых действиях спасительную разрядку от сверхчеловеческого напряжения душевных сил, воли, нервов. Но прямое, с оружием в руках действие стало для него запретной зоной. Он уже несколько раз рисковал жизнью, нарушая свой долг разведчика. Больше он не имеет права так поступать.

Повинуясь этому самозапрещению, он должен был отказаться от борьбы с оружием в руках. Отказаться во имя того, чтобы Александр Белов в обличье Иоганна Вайса мог выполнить назначенный ему высший долг перед своим народом.

Александр Белову, как и многим его сверстникам, создающие страну пятилетки казались героической атакой. Народ атаковал толщу времен, и она податливо расступалась, открывая веками грезившуюся цель, о которой говорили слова песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Поэтому все, что сбывалось, все, что делали рабочие руки народа, казалось сказочно прекрасным.

Белова, равно как и его сверстников, ошеломила быстрота, с которой советский народ воздвигал крепости индустрии. Объятые нетерпением, они были убеждены, что с такой же быстротой в советских людях проявятся те качества, которые окажутся присущи человеку будущего.

И с пылкой отвагой молодые люди искали возможности проверить, готовы ли они стать людьми будущего. Они хотели жить и работать в самых трудных условиях, где необходимо поле для героизма, а героизм повседневности воспринимается как обыденное явление. Любое отклонение от атаки на время они воспринимали как предательство в отношении людей будущего. Нетерпеливость рождала нетерпимость. Они были сурово требовательны к себе. Считали себя должниками тех, кто сломал для них ограду старого мира, открыл перед ними сияющие перспективы грядущего.

Ничего особенного, исключительного не было в том, что студент Александр Белов в канун второй мировой войны с радостной готовностью покинул институт и пошел в школу разведки. Став разведчиком, он был непоколебимо уверен, что ничто не устрасит его и, если понадобится, он без колебаний отдаст свою жизнь за дело, которому служит...

Но оказалось, что отдать жизнь — еще не самое трудное. Гораздо труднее сохранить ее как драгоценную, народную, а не свою личную собственность.

Его старшие товарищи, волей народа облеченные властью, послали его на еще более трудный подвиг: ему следовало

быть не самим собой, а тем, кого советские люди справедливо называли самым чудовищным порождением империализма.

Но, как и все его сверстники, Александр Белов имел чисто умозрительное представление об этом чудовищном порождении империализма. И когда опытные наставники-чекисты учили его, как перевоплотиться в фашиста, он слушал их и сдавал экзамены по всем необходимым предметам с самоуверенностью отличника, убежденного, что не все науки пригодятся ему в жизни. Важно только окончить курс, а когда он выйдет на просторы жизни, понадобится другое. Но что именно другое, Белов, конечно, не знал.

И обучить его этому другому наставники, при всем своем опыте и дарованиях, не могли.

Старый чекист Барышев опасался столкновения комсомольца Белова с этим другим больше, чем тактических промахов, хотя любой из таких промахов может стать гибельным для разведчика.

Барышев знал: читать, изучать, умозрительно представлять себе, что такое фашизм, — одно, а лицом к лицу столкнуться с ним — другое. И нет такого обезболивающего средства, которое могло бы уберечь душу советского человека от страданий, ярости, гнева, когда он, повинаясь своему долгу, обязан будет совершить самоотверженный подвиг самообладания. Неучастие в спасении жертв фашизма превращается как бы в соучастие в преступлении против них — это было самое ужасное.

Барышев это понимал и, случалось, поддерживал Вайса, когда тот спрашивал разрешения на проведение им лично операций, которые противоречили и духу и цели его непосредственного задания.

— Да, из Белова еще не выковался настоящий разведчик, — соглашался Барышев с тем, кто ему возражал. — Но он будет им, если поймет, что еще не обрел необходимой ему дальновидной выдержки.

Настоящий разведчик выигрывает целые сражения, но ведь начинает-то он тоже с операций местного значения. Сражение складывается из боев, бои закаляют. Но если разведчик бросается в бой, не дождавшись, пока враг приблизится на удобное расстояние, только потому, что его нервы не выдерживают, — это плохо. Однако такое случается и со старыми, испытанными бойцами.

Вайс получил через связного шифровку от Барышева еще до его рискованных разговоров с Генрихом Шварцкопфом.

Барышев прозорливо говорил о главном:

«Все сам. Ведь и там люди. Найди, убеди. Шварцкопф Генрих? Оторви от Вилли. Рудольф не захотел быть с ними. Его убили. Если сын пойдет дальше отца, он сделает там мно-

го больше, чем можешь ты. Это будет лучшее, что ты сделаешь».

Значит, Вайс должен добиться, чтобы Генрих стал его соратником.

Было известно, что провал зимней кампании и отказ Рузвельта и Черчилля принять тайное предложение германских дипломатов о заключении сепаратного мира и начале совместных действий против СССР вызвали у некоторых крупных деятелей рейха недовольство Гитлером. Эти недовольные полагали, что виной всему Гитлер, и если устранить его, то союзники СССР согласятся возобновить переговоры с фашистской Германией.

Не объясняется ли ненависть Генриха к Гитлеру этим обстоятельством? А его стремление к самоубийству могло объясняться тем, что он где-нибудь неосторожно проболтался о своей ненависти к Гитлеру и теперь страшится возмездия.

Как бы ни была истерзана душа Вайса недавно пережитым, он, не полагаясь на свою интуицию и следуя устойчиво сложившейся привычке, тщательно расчленил и выверил все, что относилось к Генриху.

Он знал, что в Германии существуют вполне благоустроенные «воспитательные учреждения», в которые, после экспертизы, проводимой эмиссарами расового отдела, и медицинского обследования, доставляют из оккупированных стран малолетних детей для «германизации». Детей воспитывали в презрении к своему народу, чтобы впоследствии, используя свои национальные признаки, они могли проникнуть во все сферы его деятельности.

В этих школах умерщвляли души детей, готовили из них врагов народов, кровь которых текла в их жилах. Эти человеческие «подделки» должны были служить тем же подрывным целям, что и фальшивая валюта многих стран, изготовленная под наблюдением СС в строжайше засекреченном блоке Равенсбрюка.

Однажды Вайс мельком спросил Генриха, не слышал ли он о таких детских школах.

— Ну и что, разве может быть иначе? — ответил Генрих рассеянно. — Если в немецких школах учатся дети иностранного происхождения, они, естественно, усваивают обычаи и культуру тех, кто их обучает.

— Для того, чтобы они стали шпионами, диверсантами!

— Но ты, кажется, тому же обучаешь их отцов? — насмешливо заметил Генрих.

Если бы Иоганн мог вместе с Зубовым спасти детей, когда их доставили к железнодорожному эшелону, это в какой-то степени облегчило бы его душу. Но так же, как и в преды-

дущий раз, он запретил себе участвовать в этой операции, лишил себя возможности даже на короткое время сбросить обличье Вайса.

Этой зимой, узнав, что в Варшаву прибыл эшелон с полуодетыми, долгое время лишенными воды и пищи, совсем крошечными двух-трехлетними еврейскими детьми, польские женщины бросились на охрану, расхватали, унесли детей, и немало женщин погибло под пулями эсэсовцев на обледеневших досках перрона.

Когда Зубов рассказывал об этом Вайсу, у него дрожали губы и вид был такой растерянный и несчастный, словно он один виноват в гибели женщин.

Неистовствуя, Зубов ударил себя кулаком по скуле и ожесточенно уверял Вайса:

— Ну, всё! Я им такой салют устрою...

Спустя несколько дней взорвался состав бензоцистерн, стоящий рядом с эшелонном, в котором отправлялась на фронт очередная эсэсовская часть.

Зубов почти тотчас прибыл на своей дрезине к месту катастрофы и принял деятельное участие в извлечении полуобгоревших трупов из-под обломков.

И когда Вайс потом увиделся с Зубовым, тот с удовлетворенным видом сказал ему:

— Почаще бы подворачивалась такая работенка, и можно жить со спокойной совестью!

А вот Вайс никогда не испытывал этого освобождающего, счастливого удовлетворения.

В последнее время он все чаще думал о том, как необходим ему здесь достойный соратник. Если бы заодно с ним действовал человек, обладающий не меньшими, чем он, а значительно большими возможностями проникновения в правящие круги рейха, это принесло бы настоящую пользу делу.

На обратном пути в Варшаву Вайсу мало о чем удалось поговорить с Генрихом.

Генрих был подавлен, мрачен. Возможно, он просто плохо чувствовал себя после тяжелого запоя в одиночестве.

Лицо Генриха опухло, глаза были воспалены. Его снова охватило отвращение к жизни, безразличие ко всему на свете.

Он сразу же потребовал, чтобы Вайс быстрее гнал машину.

— Асфальт скользкий, опасно: можно разбиться.

— Ну и разобьемся, велика беда! — ворчал Генрих. И, ежась, жаловался: — Я весь будто в дерьме. Скорее бы принять ванну.

— Хочешь быть чистеньким? — спросил Вайс.

— Ты меня сейчас лучше не трогай!

— Ладно, — согласился Вайс и осведомился: — Но ты скажешь, когда можно будет тебя тронуть?

— Скажу. — Генрих закрыл глаза, пробормотал: — А все-таки неплохо сейчас шлепнуться в лепешку, чтобы ничего больше не было.

Вайс вспомнил, как в лагере дети говорили о газовой камере: «Немного потерпеть — и потом больше ничего не будет. Ничего!» Он оглянулся на полулежащего с закрытыми глазами Генриха. Не испытывая ни жалости, ни сочувствия, Иоганн пытался найти в его одутловатом лице с набрякшими темными веками и сухими, потрескавшимися губами хотя бы признаки решимости, воли — и не находил. Это было лицо ослабевшего, утратившего власть над собой, отчаявшегося человека.

И вот на этого человека Иоганн решил делать ставку. Он вел машину как никогда вдумчиво и осторожно. И не потому, что опасался аварии на скользком от дождя шоссе. Нет. Он решил, что отныне всегда будет беречь Генриха. Это единственно правильная тактика, и он должен терпеливо применять ее для того, чтобы Генрих понял, как бесценна жизнь, если она отдана борьбе за освобождение своего народа.

Не успел Генрих войти в свой номер в варшавской гостинице, как хмуро объявил, что прежде всего примет хорошую дозу снотворного, чтобы забыться.

Тон, каким это был сказано, явно свидетельствовал: присутствие здесь Вайса нежелательно.

Но Иоганн твердо решил, что до тех пор, пока не получит информацию о переговорах Чижевского с польскими патриотами, он не отойдет от Генриха. И сказал:

— Ты не будешь возражать, если я устроюсь тут на кушетке? — И стал раздеваться, будто не сомневался в согласии Генриха.

— У тебя, кажется, есть своя комната, — проворчал Генрих.

Вайс не ответил. Он сосредоточенно снимал сапоги и, казалось, был настолько поглощен этим занятием, что ничего не слышал.

Когда Генрих вышел из ванной, он взглянул на Вайса — тот, видимо, уже заснул.

Генрих погасил верхний свет, зажег стоявшую на ночном столике лампочку с голубым абажуром, улегся на спину и закурил.

В открытые окна комнаты не доносилось ни звука. Огромный погасший город был тих, как пустыня.

Два желания боролись в душе Генриха, он не знал, что лучше — выпить или принять снотворное. И когда первое победило и он, шаркая ночными туфлями, побрел к уставлен-

ному бутылками серванту, неожиданно раздался отчетливый и громкий голос Вайса:

— Не надо, Генрих!

— Ты что же, не спишь? Следишь за мной?

— Просто беспокоюсь за тебя.

— Какого черта?!

— Мне казалось, тебе тяжело оставаться одному.

— Правильно, — успокоился Генрих. — Но в таком случае давай выпьем вместе.

— Зачем? Чтобы не думать о том, что мы с тобой видели в концлагерях, и притворяться, будто всего этого нет и не было?

— Чего ты от меня хочешь? — воскликнул Генрих. — Чего?

Вайс встал, взял сигарету. Подошел к Генриху и, прикуривая от его сигареты, пытливо взглянул на него.

Лицо Генриха было сведено болезненной гримасой.

— Тебе ведь плохо, я знаю.

— Мне всегда плохо после выпивки.

— Нет, не поэтому. — Помедлил: — Ты мне веришь?

— Я теперь никому не верю, и себе тоже.

Вайс снова улегся на свою кушетку.

— Я хочу задать тебе один вопрос, Генрих, — раздался его голос после долгого молчания. — Как ты думаешь, если бы твой отец вернулся на родину, он стал бы служить наци?

Генрих молча выпил, шаркая туфлями, отошел от серванта, улегся, погасил свет. Спустя некоторое время снова закурил и вдруг прошептал:

— Нет.

Вайс ничего не сказал, как будто не слышал.

Генрих прислушался и поосторился:

— Нет, отец не стал бы им служить. — Спросил: — Ты спишь, Иоганн?

Вайс снова не ответил. Сейчас он услышал самое главное. Ответ Генриха обнадежил, воодушевил его. Ему хотелось встать со своей кушетки, подойти к Генриху, заговорить с ним наконец откровенно, рассказать правду об убийстве его отца. Но Иоганн сдержался. Он хотел, чтобы соучастие Вилли Шварцкопфа в этом преступлении не явилось бы главным для Генриха при окончательном решении своей судьбы.

Притворившись спящим, Вайс слышал, как Генрих погасил сигарету о пепельницу и налил в стакан воды, чтобы запить снотворное, как долго он еще ворочался, прежде чем забылся тяжелым, беспамятным сном...

Зубов вернулся в Варшаву только через несколько дней. Он был возбужден, радостен. Детей спасли и благополучно роздали в польские семьи. Но мало этого — в операции приняло участие столько добровольцев, что следовало подумать о формировании партизанского отряда из местного населения.

Зубов также сообщил Вайсу, что освобождение приговоренных к казни немецких военнопленных не прошло бесследно. Гестапо и военная полиция арестовали много немецких солдат: те с изумлением рассказывали о дерзком налете, хотя им было строжайше приказано ни слова не говорить об этом.

Что же касается дела, порученного Чижевскому, то тут все не так просто, как думалось вначале.

Оказывается, с поляками, которым пан Душкевич указал на Генриха Шварцкопфа, связан английский разведчик. Собственно, по его инициативе эта группа и сформировалась исключительно из патристически настроенной польской интеллигенции. Ими движет ненависть к оккупантам, но никаким опытом конспирации и тем более умением бороться с оружием в руках они не обладают. Этот английский разведчик выдал себя за руководителя группы и, получив от Чижевского материалы, свидетельствующие, что пан Душкевич — провокатор и замышленное им убийство Генриха Шварцкопфа носит провокационный характер, скрыл их от поляков. И Чижевский пока ничего не может поделать, так как группа переменила места явок и связь с ней утрачена.

Обдумав все это, Вайс и Зубов пришли к выводу, что английскому агенту, очевидно, было специально поручено создать группу Сопротивления из людей, которые менее всего приспособлены к вооруженной борьбе. Их гибель была бы злоумышленной. Прежде всего она послужила бы полякам предостережением, показала бессмысленность вооруженной борьбы с оккупантами. Кроме того, у гестапо появился бы повод провести массовые аресты среди польской интеллигенции, загнать в концлагеря семьи тысяч честных людей, отказавшихся служить палачам. Но и это еще не все. Покушение будет произведено на племянника одного из ближайших сподвижников самого Гимmlера, и тогда, возможно, прикажет предпринять гигантские карательные меры против поляков. А это, конечно, на руку Дитриху. Он давно мечтает продемонстрировать дееспособность контрразведывательного отряда абвера в широкомасштабной операции, о результатах которой можно будет послать свой личный доклад рейхсфюреру.

Вайс не исключал возможности, что английский агент

действовал с ведома Дитриха, под контролем разведки абвера. И во всяком случае, можно было не сомневаться, что кандидатура Генриха была указана Дитрихом через Душкевича.

Посоветовавшись с Zubовым, взвесив все, Вайс сказал, что именно Чижевскому надо поручить заботу о безопасности Генриха. Чижевскому следует во что бы то ни стало разыскать поляков, входивших в эту немногочисленную группу, он знает их в лицо, и ему будет легче, чем любому другому, предотвратить покушение.

Так и решили. Покончив с этим делом, Вайс спросил, что представляют собой освобожденные немцы.

Zубов объяснил, что он был в группе прикрытия и еще не успел поговорить ни с одним из них, но теперь обязательно найдет время побеседовать.

— Как?

— Очень просто, как со всякими другими.

Вайс взглянул в серо-синие, весело блестящие глаза Zubова и не мог сдержать улыбки. Уступая их беспечному сиянию, он, вместо того чтобы строго отчитать Zubова за пренебрежение правилами конспирации, осведомился:

— Что же, сядешь рядом и побеседуешь?

Понимая, что Иоганн не удовлетворен его словами,—мало сказать не удовлетворен,—Zубов увильнул от прямого ответа.

— Операция была — сплошной блеск ума,—хвастливо объявил он.—Никого из гестаповцев пальцем не тронули. Посадили вместо заключенных в фургон, заперли — только и всего. Пташек сел за шофера, погнал по другой дороге — прямо к железнодорожному переезду. Дождался поезда. Ну, и нарушил правила движения транспорта. А сам на велосипеде только к утру вернулся. Доложил: ко всему еще и эшелон приплюсовал.

Вайс спокойно выслушал эти слова, звучащие как упрек за то, что он цепляется к мелочам.

— Так,—сказал он непреклонно.—Выходит, операцию ты продумал, выполнил и теперь как бы в умственном отпуску?

— Отдыхаю,—согласился Zubов.

— Чтобы на пустяке провалиться?

Zубов вздохнул, сказал, жалобно моргая:

— Ты сказал: «Поговори»,—ну, я и ответил: «Поговорю». А у тебя лицо такое, будто я в чем-то виноват!

— Да в том виноват, что себя не бережешь!—И, не давая Zubову оправдаться, Иоганн приказал:—Ты этих немцев в тодтовский строительный отряд пристроил. Так вот, есть у тебя там Клаус, надежный антифашист. Пусть он с ними и побеседует.

— Правильно!—обрадованно согласился Zubов.—Он их до костей прощупает.

— А кто мне расскажет об этой беседе?
— Ну, я же! Клаус мне расскажет, а я — тебе.
— Нет, — возразил Вайс. — Надо, чтоб информация была точной.

— А я сам не смогу запомнить, что мне Клаус скажет? — изумился Зубов.

— Надо, чтобы во время самой беседы, помимо Клауса, кто-нибудь еще мог составить мнение об этих немцах.

— Значит, чтобы двое с ними разговаривали?

— Да нет, разговаривает пусть один Клаус. Но надо, чтобы кто-нибудь другой, не принимающий участия в беседе, мог бы объективно судить о них со стороны. Говорить и одновременно наблюдать — трудно.

— Ну хорошо, я помогу — послушаю, как они будут разговаривать.

— Тебе нельзя.

— Почему?

— Любой из них может тебя выдать.

— То есть как это — выдать, когда я их спас?! — возмутился Зубов.

— Тебе бы, Алеша, не во вражеском тылу работать, а на фронте батальоном командовать.

— А здесь я плохо воюю? — обиделся Зубов.

— Ну, вот что. — Вайс встал. — Поручаю тебе присутствовать при беседе, но никто из них не должен тебя видеть.

— Здравствуй! Да что я, человек-невидимка?

— Хорошо, — досадливо поморщился Вайс. — Допустим, ты прикажешь, чтобы Клаус побеседовал с ними возле дощатой кладовой, где у вас хранится инструмент. А в этой кладовой окажется кто-нибудь и услышит весь этот разговор. Что тогда?

— Возле кладовой нельзя. Я бы такой глупости не допустил.

— Ты пойми, — взмолился наконец Вайс, — пойми, почувствуй до конца: самое вредное в тебе, самое опасное — что ты не хочешь бояться, ну, попросту трусить.

— Что я, хлюпик какой-нибудь? — возмутился Зубов.

— Так вот, — серьезно сказал Вайс. — Ты ведь хорошо знаешь, что не только собой рискуешь, но и мной и всеми, кто входит в твою группу. И как бы ты там героически ни погиб, твоя смерть по отношению ко всем нам будет предательством. Потому что тебя убьют не как немца, а как советского боевика-разведчика и ты всех нас потянешь за собой. Понял? Кстати, учти: Бригитту тогда тоже повесят. Повесят из-за какой-нибудь дурацкой оплошности, вроде этой... — Вайс передразнил: — «Побеседую». А если один из четырех спасенных немцев вздумает потом покаяться и предаст своего спасителя?

Зубов не удержался от улыбки.

— Правильно. Даже в библии подобные факты записаны. И в связи с тем, что не извлек уроков из священного писания, я тоже влипнуть могу.

Вайс не поддержал шутки.

— Запомни еще одно. Если ты погибнешь, другой должен будет занять твоё место. Ты знаешь, как это непросто. Пока это произойдет, многие наши люди, гораздо более стоящие, чем мы с тобой, погибнут. И мы с тобой будем виноваты в их гибели.

— Понятно,— печально согласился наконец Зубов.

Вайс улыбнулся и, смягчаясь, произнес с воодушевлением:

— Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы последующие поколения не имели права сказать про каждого из нас: «То было ничтожество». Или еще хуже...

— Кто это сказал? — жадно спросил Зубов.

— Чехов.

— Вот не ожидал!

— Почему?

— Ну, он такой скромный, задушевный — и вдруг... — Зубов на мгновение задумался. — Ладно, — твердо сказал он, — теперь как в шашки: на три хода вперед все буду продумывать.

Через два дня Зубов обстоятельно информировал Вайса о беседе Клауса с освобожденными немцами и о своих впечатлениях от этой беседы.

Вайс решил, что для встречи с Генрихом из этой четверки наиболее подходит Хениг.

Клеменсу Хенигу, степенному и малоразговорчивому, было уже за сорок. Демонстративно отказываясь участвовать в казни советских военнопленных, он рассчитывал, что его поддержат другие солдаты, но этого, увы, не случилось. Он винил в этом себя: значит, недостаточно активно вел антифашистскую пропаганду в батальоне, и поэтому его поступок не вызвал того эффекта, на который он рассчитывал.

— Серьезный немец, — одобрительно заключил Зубов, передав слова Хенига.

— Правильно, — согласился Вайс. — Лучшего человека и не придумаешь. — И обстоятельно объяснил Зубову, какое поручение Клаус, будто бы от своего имени, должен дать Хенигу.

Встреча Генриха с Клеменсом Хенигом состоялась в ближайший же день, но Вайс не стал спрашивать о ней Генриха. И Генрих, в свою очередь, не считал нужным поделиться с Вайсом своими впечатлениями об этой встрече.

Спустя несколько дней Зубов сообщил, что в назначенный Хенигом тайник Генрих Шварцкопф положил копии довольно ценных документов.

Теперь Вайс считал возможным спросить Генриха о том, какое впечатление произвел на него Хениг.

Генрих ответил скороговоркой, что этого немца спасла партизанская группа противника. По-видимому, он отказался казнить военнопленных не по политическим мотивам, а из чисто гуманных побуждений.

Эта внезапная скрытность Генриха обрадовала Вайса.

И вообще поведение Генриха изменилось. Он стал неразговорчив, совсем перестал пить: даже в ресторане, окруженный эсэсовскими офицерами, наливал в свой бокал только минеральную воду.

Как-то один из офицеров позволил себе пошутить по этому поводу. Генрих с уничтожающей надменностью уставился шутнику в глаза и так зловеще осведомился, не адресована ли эта шутка одновременно и фюреру, который, являя собой высший образец воздержания, не пьет ничего, кроме минеральной воды, что лицо эсэсовца стало серым и он долго извинялся перед Генрихом, испуганно заглядывая в его немолимо строгие глаза.

Теперь, когда они оставались вдвоем, роли их поменялись: уже не Вайс допытывался у Генриха, в чем тот видит цель жизни, а Генрих настойчиво выпрашивал об этом Вайса. И если раньше Генрих гневно обличал мерзостные повадки берлинских правящих кругов, то теперь, когда Вайс пытался рассказывать о нравах старших офицеров абвера, Генрих обрывал его, утверждая, что рейх не рай, а государство, которое открыто провозгласило насилие своей политической доктриной. И те, кому поручено осуществлять политику рейха, должны обладать крепкими нервами и такой же мускулатурой. Что касается морали и нравственности, то безнравственно применять эти понятия к людям, которые освобождают жизненное пространство для установления на нем нового порядка.

Вайс слушал разглагольствования Генриха, радуясь той стремительной метаморфозе, которая произошла с его приятелем. С каждым днем Вайс проникался все большим уважением к нему. Генрих стал необыкновенно осторожен, не хотел откровенничать даже с ним, с Вайсом. В Генрихе теперь ощущалось нечто совсем иное, он стал целеустремленным, собранным. Исчезло дряблое, колеблющееся, мучающееся существо, которое совсем недавно называли Генрихом Шварцкопфом.

И Вайс с удовольствием замечал, что Генрих словно бы удаляется от него, поглощенный «особо секретным поручением Берлина», как он сказал.

Но вот однажды Зубов сообщил Вайсу: Генрих требует, чтобы Хениг устроил ему встречу с советским разведчиком. Генрих объяснил, что располагает весьма важными сведениями и считает возможным передать их не через кого-либо из посредников, а только в руки советскому разведчику.

— Хорошо, — согласился Вайс, — я с ним встречаюсь. — И назвал наиболее подходящее для этого место.

— Давай я пойду, — предложил Зубов. — Может, еще рано тебе раскрываться? Не стоит все же рисковать.

— Спасибо.

— За что? — спросил Зубов.

— Ну, за осторожность.

— Да я за тебя волнуюсь.

— А я думал, за всех нас.

— Зря ты ко мне цепляешься, — обиделся Зубов. Но долго обижаться он не умел и тут же похвастал: — А я недавно речугу двинул перед отрядом тодтовцев — не хуже самого фюрера. — Признался: — Правда, по бумажке. Сплошные цитаты. Но снайперски в стиль попал. Воодушевил всех до полного обалдения.

— Молодец, — похвалил Вайс.

— Блевотина, — махнул рукой Зубов.

Хениг сообщил Генриху день, час, место встречи с представителем советской разведки, связанным с немецкой антифашистской группой, а также пароль, отзыв.

Вайс еще издали увидел Генриха.

Набережная Вислы была пустынной. И хотя погода выдалась солнечная, жаркая, на пляжи высыпали только немецкие солдаты. Самые пожилые из них терпеливо сидели с удочками.

Вайс облокотился о парапет и стал смотреть на воду, покрытую жирными пятнами мазута.

Когда Генрих подошел поближе, он обернулся к нему с улыбкой.

Но Генрих не обрадовался этой встрече. Лицо его выражало скорее досаду, чем удивление. Кивнув, он осведомился безразличным тоном:

— Оказывается, ты любитель свежего воздуха?

— Да, — сказал Вайс. — В городе слишком пыльно и душ.

— И пошел рядом с Генрихом.

— Тебе куда? — спросил Генрих, озираясь.

— Безразлично, куда хочешь.

— Извини, — сказал Генрих, — но у меня иногда возникает потребность побыть наедине с самим собой.

— Другими словами, ты просишь меня удалиться?

— Ты удивительно чуток, — усмехнулся Генрих.

Вайс протянул руку и дружески застегнул третью, считая

сверху, пуговицу на его кителе, потом застегнул ту же пуговицу у себя на груди, объяснил значительно:

— Мы с тобой сегодня, кажется, одинаково небрежны.

Генрих изумленно уставился на него.

— Ну! — приказал Иоганн.

— Рейн, — механически пролепетал Генрих.

— Волга.

— Но этого не может быть! — запротестовал Генрих.

— Почему?

— Но как же так: ты — и вдруг?! — Генрих даже отшатнулся.

— Ну что ж, будем знакомиться? — Вайс протянул руку.

Генрих нерешительно пожал ее.

— Все-таки это невероятно, или...

— Я понимаю тебя, — сказал Вайс. — Нужны доказательства?

Генрих кивнул.

Вайс предложил спуститься на берег и пройти на брандвахту, которую он заранее обследовал.

Лучшее место для откровенной беседы трудно было найти.

— Садись. — Вайс указал Генриху на деревянный, расщепленный и протертый канатами кнехт, похожий на гигантский трухлявый гриб.

— А ты?

— Читай, — приказал Вайс, подавая Генриху стопку тоненьких листочков. Объяснил: — Это копия дела об убийстве Рудольфа Шварцкопфа. Здесь показания Папке. Ты помнишь Папке? Я устроил так, что этого подлеца перебросили через фронт на парашюте, и наши захватили его на месте приземления. Но для советских следственных органов он представлял интерес только как соучастник убийства советского гражданина — твоего отца.

— Мой отец не был советским гражданином!

— Здесь есть фотокопия письма твоего отца, в котором он сообщил правительству Латвии, что решил принять советское подданство. Читай, — повторил Вайс и добавил сочувственно: — Я пока оставляю тебя одного, но буду рядом, погуляю по набережной. Когда прочтешь, мы погуляем вместе.

Генрих не ответил. Он жадно припал глазами к тонким листам бумаги, трепещущим на речном ветру.

Вайс медленно ходил по плитам песчаника, устилавшим набережную. Ему было жаль Генриха, он понимал, как тяжело ему узнать об ужасных подробностях убийства отца, о которых столь обстоятельно сообщил следователю Папке. Но одновременно Вайс понимал и другое: теперь Генрих будет окончательно и решительно избавлен от засасывающего гнета того мира, который ласкал его рукой Вилли Шварцкопфа — рукой братоубийцы.

Прошло достаточно времени для того, чтобы прочесть документы, а Генрих все не появлялся. Не дождавшись его, Вайс снова поднялся на обветшавшую палубу брандвахты.

Генрих сидел на кнехте. Лицо его было бледно. Он оглянулся, глаза его жестко блеснули.

— Я убью его.

— Запрещаю. — Вайс предчувствовал, что Генрих именно так и скажет, и заранее обдумал ответ. Добавил нарочито официальным тоном: — Вилли Шварцкопф будет судим советскими органами и Папке повторит на суде свои показания.

— Когда?

— Частично это зависит и от нас с тобой.

— Не понимаю, — возмутился Генрих, — почему ты до сих пор скрывал от меня все это?

И этот вопрос Генриха был уже давно предугадан.

— Я хотел, чтобы ты сам пришел к своему решению, — сказал Вайс. — Сам. И не только потому, что Вилли убил твоего отца. И ты понимаешь, почему убил: Рудольф Шварцкопф компрометировал Вилли Шварцкопфа, мешал его карьере. Я хотел, чтобы ты пришел к своему решению главным образом потому, что весь этот мир, мир Вилли и ему подобных, стал враждебен тебе. Что, если бы ты из одного чувства мести перешел к нам? Кем бы ты тогда был? Только исполнителем моей воли в пределах определенных заданий.

— А кем я должен быть?

— Человеком, который действует во имя блага своей родины, руководствуясь своими убеждениями.

— И для этого я должен помогать разгрому Германии!

— Освобождению немецкого народа, — поправил Вайс, — с нашей помощью.

— А потом? Потом завоеватели будут диктовать немцам свою волю?

— Потом немецкий народ сам выразит свою волю. Советское государство безоговорочно примет решение народной власти.

Генрих слушал с блуждающим взглядом. Перебив Вайса, он спросил жадно:

— Но ты еще до войны перешел на советскую сторону, потому что ты коммунист, да?

— Но я же русский, — просто сказал Вайс.

Генрих вскочил с кнехта:

— Это неправда!

Вайс растерялся:

— То есть как это неправда?

— Когда я встретился с тобой после Берлина, я был просто эсэсовцем, но ты все-таки встретил меня как бывшего сво-

его друга и обрадовался мне. Искренне обрадовался. Я знаю, искренне.

— Ну, правильно.

— Как же так может быть: я твой враг, немец, эсэсовец, а ты русский коммунист — и вдруг...

— Но я же любил тебя когда-то как своего товарища, знал, что в тебе есть много хорошего. Самое непростительное для советского разведчика — не уметь разглядеть во враге человека. Ты знаешь, что изображено на эмблеме чекистов?

Генрих отрицательно покачал головой.

— На ней щит и меч, — сказал Вайс. — И наш долг, — где бы мы ни были, прикрывать этим щитом людей, спасать от злодейства.

— Значит, ты сейчас как бы распростер надо мной этот благодетельный советский щит?

— Нет, — сказал Вайс. — Просто ты сам взял сейчас в руки и щит и меч.

— Хорошо, — согласился Генрих. И пожаловался: — Но все-таки мне почему-то трудно поверить, что ты русский.

— Ну, а если бы я был не русский, а немец-антифашист, коммунист, разве это повлияло бы на твое решение?

— Пожалуй, нет, — задумчиво сказал Генрих и настойчиво потребовал: — Но все-таки объясни, как мог ты так неулично притворяться? Это просто невероятно!

— Видишь ли, — сказал Вайс, — я еще со школьной скамьи был уверен, что первой после нас, первой европейской страной, где произойдет революция, будет Германия. Учил язык, много читал. Германия стала как бы моей любовью. А когда к власти пришли фашисты, я хотел бороться против них вместе с немецким народом. И мне нетрудно было чувствовать себя немцем. Но не просто немцем, а немцем из тех, кого я чтил как революционных борцов. Самым мучительным здесь было то, что такие долго не встречались мне. Но, ты сам понимаешь, абвер не то место, где их можно найти.

— Да, — вдруг серьезно сказал Генрих, — ты действительно русский.

— Почему ты только сейчас поверил в это?

— Ты извини меня, но так разговаривать могут только русские.

— Ты что, не согласен со мной? — тревожно спросил Вайс.

— Я просто хочу сказать, что ты действительно именно русский. Сразу раскрыл мне свою душу...

— А как же иначе? — удивился Вайс. — Мы же теперь будем вместе.

— Да, вместе, — сказал Генрих. Поднялся, взволнованно положил обе руки на плечи Вайса. — Я тебе верю. — И сразу потребовал: — Скажи твое настоящее имя!

— Знаешь, — смутился Вайс, — без специального разрешения я не могу тебе его назвать. — И тут же заверил: — Но как только придет время, я скажу.

— Ладно, — согласился Генрих, — я подожду, но мне очень хотелось бы, чтобы скорее наступило это время.

Вайс первым ступил на сходни, перекинутые с брандвахты на илистый берег.

— Одну минутку, — попросил Генрих.

Вайс остановился.

Генрих смотрел на него сердито, во взгляде его было разочарование.

— Я предполагал встретиться здесь с человеком, для которого важнее всего будет получить от меня некоторые сведения.

Вайс улыбнулся. Действительно, его так переполняла горделивая радость, какую, верно, человек ощущает только тогда, когда спасает другого человека, что он позабыл обо всем на свете.

— Эх, ты! — сказал Генрих. — Чувствительная русская душа. — Пожал плечами, произнес раздумчиво: — Не понимаю. Неужели для тебя, советского разведчика, мои признания важнее, чем сведения, которые я могу сообщить? Странные вы люди.

— Вообще-то ты прав, — пробормотал Вайс. — Я, понимаешь, так обрадовался... — И тут же с непреклонной убежденностью объявил: — Но ведь самое главное — ты. Твое решение.

Они снова вернулись на брандвахту.

Когда с делами было покончено, Вайс проводил Генриха до машины, которую тот оставил возле сквера.

Сидевшие в обнимку на ближайшей скамье юноша и девушка поспешно поднялись, увидев, что Генрих открывает дверцу. Юноша, держа руку в кармане, направился к машине, а девушка отошла за дерево. Откуда-то из-за киоска выскочил Чижевский, бросился на юношу. Вайс успел сбить с ног Генриха, упал на него как раз в то мгновение, когда раздались глухие, частые звуки, будто пробки вылетели из пивных бутылок, — так стреляет пистолет с глушителем.

С треском вылетели стекла, зашипел пробитый скат машины. Закрывая Генриха своим телом, Вайс искоса увидел, что юноша рухнул на землю, сраженный ударом в челюсть. Чижевский же зигзагами бежит к дереву, за которым стояла девушка, положив на согнутую руку толстый ствол пистолета с навинченным на него глушителем.

Вайс подсчитал выстрелы и, когда по его расчету в обойме мог оставаться только один патрон, вскочил, включил мотор, с силой нажал на голову Генриха, заставляя его пригнуться, и погнал машину на полной скорости. Он успел уви-

деть, как девушка поднесла пистолет к груди и как вскинул для удара руку Чижевский. Глухого звука выстрела он не услышал. Все поплыло перед глазами, голову пронзила невыносимая слепящая боль. Вот оно что! Значит, он не стукнулся головой о подножку машины, как ему показалось, когда он упал, чтобы прикрыть собой Генриха. Это пуля рикошетом от мостовой ударила его. Теряя сознание, Иоганн последним усилием воли до конца вдавил педаль ножного тормоза.

Очнулся Вайс в комнате Генриха. И сразу же подумал: какая умница Генрих! Не отволок его в госпиталь, вызвал врача в гостиницу. Этой осмотрительности Вайс обрадовался не меньше, чем известию, что ранение его оказалось поверхностным. Голова, правда, по-прежнему мучительно болела от контузии.

Генрих, сияя глазами, радуясь, что Иоганн так счастливо отделался, осведомился:

— Кажется, вы изволили спасти мне жизнь?

— Да ну тебя!

— Почему же? Это так трогательно.

— Молодец, что не отвез в госпиталь.

— Я же любопытен, — сказал Генрих, — и предпочел первым узнать от тебя, из каких соображений меня чуть было не убили. Очевидно, твои соратники не знали, что я оправдал твои предположения, и по неведению решили поступить со мной так, как если бы я их не оправдал. — Добавил холодно: — Однако твое доверие ко мне зиждилось на пистолетной гарантии. Я не в осуждение. Просто констатирую, что все вы, люди, занимающиеся такого рода делами, пользуетесь универсальными средствами.

— Неправда! — горячо воскликнул Вайс. — Неправда!

Ему было трудно говорить: каждый звук, который он произносил, отдавался в голове, словно тяжелый удар. И все же, преодолевая боль, Вайс обстоятельно и точно рассказал Генриху всю историю этого спровоцированного Дитрихом покушения.

Генрих, не прерывая, выслушал Вайса и мстительно заявил, что гестапо сегодня же займется Дитрихом.

— Нет, — твердо сказал Вайс.

Он настаивал, чтобы Генрих встретился с Лансдорфом и изложил ему все обстоятельства покушения. При этом ни в коем случае не следует требовать расследования дела и наказания Дитриха. Наоборот, Генрих должен придать разговору самый миролюбивый характер. Надо убедить Лансдорфа, что Генрих заботится только о том, как бы лучше сконтактировать работу СД и абвера. И если Лансдорф пове-

рит, что, несмотря даже на покушение, самое настойчивое желание Генриха — укрепить отношения с абверовцами, и не сообщит о происшедшем в Берлин, — что ж, тогда можно считать, что он клюнул на эту удочку.

Генрих блестяще выполнил рекомендацию Вайса. И тут немало помогла его репутация беспечного малого, прожигателя жизни, для которого поручение проверить работу «штаба Вали» — не более как наказание за недостаточное послушание. Поэтому, чтобы вернуть расположение Вилли Шварцкопфа, которое для него важнее всего, он всячески стремится привезти в Берлин хорошо составленный отчет обследования.

Беседа с Генрихом произвела самое благоприятное впечатление на Лансдорфа. И когда Вилли Шварцкопф позвонил ему из Берлина, чтобы осведомиться об успехах племянника, Лансдорф так комплиментарно отозвался о Генрихе, будто тот был и его родственником.

Когда они снова встретились, Лансдорф передал Генриху свой разговор с Вилли Шварцкопфом и покровительственно заметил, что позволил себе в этом разговоре несколько преувеличить достоинства его племянника, дабы еще больше укрепить свою с ним дружбу.

Лансдорф сказал также, что Вилли Шварцкопф передал ему просьбу бригаденфюрера СС, генерала Вальтера Шелленберга, начальника Шестого управления, ведающего в главном имперском управлении безопасности политической разведкой. Надо было подыскать Шелленбергу среди офицеров абвера молодого, скромного и способного человека для личных поручений.

— Эта просьба является свидетельством высокого доверия бригаденфюрера ко мне лично, — подчеркнул Лансдорф.

Генрих спросил:

— Кого же вы наметили?

— Я полагаю, что ответ на этот вопрос получит сам бригаденфюрер.

Усмехнувшись, Генрих произнес почтительно:

— Кандидатура Иоганна Вайса могла бы свидетельствовать о вашей проницательности. И о том, что человек, спасший мне жизнь, будет вознагражден вами. При этом условии я могу навсегда похоронить воспоминание о некоем печальном казусе.

Пожалуй, Лансдорф и без помощи Генриха мог прийти к такому выводу. Шелленбергу нужен был человек, не имеющий ни родственных, ни приятельских связей с сотрудниками других секретных служб, ни даже знакомств в Берлине. И с этой стороны лучшую кандидатуру, чем Вайс, трудно было подобрать. Но нагловатая настойчивость племянника

Шварцкопфа невольно раздражала. Лансдорф не смог скрыть этого чувства.

— Не советую вам применять приемы, которые мы иногда используем для особых целей, — недовольным тоном произнес он. — Я не нуждаюсь в советах, а тем более в советах под угрозой.

— Почему же? — чистосердечно удивился Генрих. — Я чувствую себя должником этого Вайса. Естественно, что, лишившись возможности выразить ему признательность, я буду вынужден исполнить свой уже не личный, а служебный долг. Доложу в Берлине, как недружелюбно отнесся ко мне другой ваш офицер, господин Дитрих. Кстати, вы так и не собрались доложить о его проступке в Берлин? Уж не его ли вы решили рекомендовать бригаденфюреру? Это было бы по меньшей мере оригинально!

Лансдорф пробормотал хмуро:

— Вы напрасно пытаетесь приписать мне пристрастное отношение к кому бы то ни было. Я руководствуюсь исключительно интересами дела и сам предполагал остановиться на Вайсе. Я уже не однажды отмечал этого молодого человека.

— Отлично! — Генрих склонил в коротком поклоне голову. — Я ни секунды не сомневался ни в вашей проницательности, ни в вашем расположении ко мне лично.

Вернувшись в гостиницу, Генрих встал в величественной позе перед лежащим на кровати Иоганном и бодро объявил:

— Повелеваю тебе в ближайшие дни ехать со мной в Берлин. Будешь работать у Шелленберга в качестве черт знает кого. Перед ним даже Вилли Шварцкопф трепещет. Это один из самых опасных людей в империи. Сам Гиммлер считает его коварство неодолимым и посему держит Шелленберга неотлучно при себе, как верного друга...

Дитрих, очевидно следуя совету Лансдорфа, навестил Вайса.

Держал он себя весьма развязно. Сказал, что поступил правильно, застрелив Душкевича: тот признался, что работает и на английскую разведку.

Вайс напомнил:

— Об этом было давно известно и Штейнглицу и вам тоже.

— Душкевич работал под нашим контролем, — пояснил Дитрих. — Но когда он начал отдавать предпочтение другой стороне, он получил то, чего заслуживал. — И добавил значительным тоном, пытливо глядя в лицо Вайсу: — Так же, как и те поляки, которые пытались совершить покушение на вашего друга.

Лицо Вайса оставалось холодно-неподвижным. Он знал, что Чижевский помог скрыться и юноше и девушке. Теперь они в надежном месте, да и вся их группа снова ушла в подполье.

— А как вы поступили с пойманным вами английским агентом? — полюбопытствовал Вайс.

— Пока мне не удалось ничего с ним поделывать, — смутился Дитрих.

— Боюсь, что Берлин не оценит вашей инициативы в деле с поляками. Вы слишком поспешно расправились с ними. Там их казнь могут воспринять только как вашу уловку, уклонение от расследования дела.

— Генрих Шварцкопф обещал не придавать этому событию особого значения, — заверил Дитрих.

— Но, казнив виновников покушения, вы сами придали делу официальный характер.

— Вообще-то, — промямлил Дитрих, — мы взяли несколько поляков, ну, и я помогал арестовать их...

— Я вам дружески советую, — сказал Вайс, — отпустить этих поляков за недостатком улик. Вы так запутались во всей этой истории, что ваша голова может полететь вслед за их головами.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Дитрих. — Что же касается английского агента, — Дитрих снисходительно усмехнулся, — то здесь, скажу доверительно, вы проявили по меньшей мере наивное неведение. — И тоном превосходства объяснил: — Англичане снабжают оружием отдельные террористические группы. Но одновременно они стремятся, чтобы поляки поддерживали свое эмигрантское правительство в Лондоне. Правительство же это, как вам известно, всегда проводило политику дружбы с Германией. В подтверждение напомним, что оно, не без участия Черчилля, отвергло предложение Советского Союза заключить пакт о взаимопомощи. Поэтому у английской агентуры двойственные функции. С одной стороны, она формирует малочисленные группы террористов и в этом смысле представляет для нас некоторую опасность. С другой стороны, она выступает против широкого народного партизанского движения в Польше, и отдельные агенты даже оказывают нам важные услуги, когда, передавая по радио в Лондон о подобных массовых организациях, пренебрегают шифром.

Дитрих помолчал, откинулся на спинку стула и спросил торжествующе:

— Надеюсь, мой дорогой, теперь вы понимаете, что некоторые мои шаги отнюдь не столь странны, как вам показалось. — И добавил поучительно: — Черчилль всегда хотел видеть Германию достаточно сильной для того, чтобы она могла напасть на Советский Союз, но в то же время недостаточ-

но сильной для того, чтобы соперничать с Англией на мировом рынке. Черты этой двойственности присущи и деятельности английских агентов, которых к нам засылают. Конечно, их действия наносят нам кое-какой ущерб, но этот ущерб вполне окупается. Они ведь выступают решительно против тех поляков, которые полагают, что некая новая Польша должна объединиться с Советским Союзом для борьбы против Германии. Поэтому я, как контрразведчик, обязан подходить к английским агентам с особой осторожностью. И если бы я на собственный риск опрометчиво решил судьбу какого-либо английского агента, уверяю вас, моей собственной судьбе никто бы не позавидовал.

Сведения, сообщенные Дитрихом, были полезны Вайсу. И он вполне искренне похвалил его.

— Вы тонко работаете, Дитрих.

И Дитрих, польщенный и поощренный Вайсом, болтливо откровенничал с ним до самого прихода Генриха.

А когда Дитрих ушел, Генрих поделился с Иоганном новостями. Через неделю они оба должны быть в Берлине. Приказ об отчислении Вайса в распоряжение СД уже подписан.

Самочувствие Иоганна оставляло желать лучшего, но все оставшееся до отъезда время он работал без отдыха почти круглые сутки: надо было передать свое «хозяйство».

Вайс сообщил в Центр обо всем, что ему удалось сделать здесь за последние дни, и получил «добро» на отъезд в Берлин, а также новое, связанное с переменой места задание.

Зубов огорченно сказал ему на прощание:

— Значит, бросаешь меня?

— Тоже мне сирота! — улыбнулся Вайс.

— Без тебя мне плохо придется. Привык я к тебе.

— Будет другой товарищ.

— Слушай, — оживился Зубов, — а что, если мы с Бригиттой тоже в Берлин махнем? Столица все-таки.

— Если этот товарищ разрешит, — не совсем уверенно ответил Вайс, — то что ж, я буду очень рад.

— А если не разрешит?

Вайс пожал плечами.

— Ну, хотя бы в отпуск, — настаивал Зубов.

— Во время войны какие же отпуска?

— Но у немцев есть отпуска, а здесь я немец.

— Не очень-то ты немец, — усмехнулся Вайс.

— А если до уровня подтянусь, как думаешь, отпустят?

— Кто?

— Да наши...

— Ты только береги себя, — попросил Вайс.

— Обязательно, — сказал Зубов, — как вещественное доказательство редкой живучести...

С большим сожалением покидал Вайс Варшаву. Польская

земля, хоть и полоненная немцами, многим была близка его сердцу. Здесь он слышал польский язык, походивший на русский, видел лица польских рабочих — такие же, как у русских, даже поля и рощи ничем не отличались от полей и лесов его родины. И сколько раз это ощущение родственной близости польского народа помогало ему преодолевать отчаяние одиночества! Радостно было сознавать, что в случае чего он всегда и без особых усилий найдет здесь приют и помощь. И когда он ходил по улицам Варшавы и ловил на себе гневные взгляды прохожих, сердце его ликовало, он горячо любил этих людей, ненавидящих его, оккупанта, Иоганна Вайса, и ненависть их воодушевляла его, помогала и ради них тоже оставаться Иоганном Вайсом.

Но он не имел права предаваться расслабляющей горечи расставания. Надо было, как никогда, собрать свою волю. Он знал: Берлин станет для него самым главным испытанием, все предыдущее было только подступом к этому испытанию.

58

Ночью они приехали на аэродром, и, едва забрезжил рассвет, транспортный самолет «Люфтганзы» поднялся в воздух. Пилотировали машину молодые немки, а обязанности бортстрелка исполняла тоже немка, но уже немолодая, тучная. Рукава ее комбинезона были засучены, растянутый воротник обнажал полную, в складках шею.

Самолет летел низко, шатаясь и проваливаясь, и с полков все время падали какие-то пакеты, мешки, рюкзаки.

Потом вошли в сырую облачность и почти до самого Берлина летели в болотной мгле.

Шел дождь, было промозгло, душно, и пахло гарью.

На выходе из аэродрома у всех проверили документы. Когда Вайс предъявил свои, дежурный эсэсовец посмотрел в какой-то список и передал удостоверение Вайса молодому человеку в штатском. Тот, положив документ себе в карман, бросил отрывисто:

— Следуйте за мной.

Вайс оглянулся.

Генрих поймал его взгляд, сказал:

— Увидимся позже, — и вышел через турникет.

Вайс направился вслед за своим спутником. В комендатуре молодой человек передал его удостоверение другому, постарше, с обширной лысиной и тоже в штатском. Лысый внимательно, неторопливо осмотрел документ, холодным, обыскивающим взглядом сверил фотографию с лицом Вайса и сунул во внутренний карман своего пиджака. Кивнул и,

пропуская Вайса вперед, командовал: «Прямо», «Налево». Вышли на площадь.

— Машина № 1732, — сказал лысый и шел за Вайсом до тех пор, пока они не обнаружили на стоянке машину с этим номером.

Вайс протянул было руку к дверце, но она сама распахнулась, вышел небольшого роста коренастый мужчина, сказал:

— Садитесь!

Войдя в машину, Вайс увидел, что там уже кто-то есть. Низенький сел с другой стороны, сразу скомандовал шоферу:

— Поехали.

И Вайс оказался зажатым между молчаливыми спутниками, которые не очень-то заботились о его удобствах.

Он знал, что Берлин бомбят, но следов разрушений не было видно. Гигантский город — слишком обширная мишень. Возможно, его везли по неповрежденным участкам. Полицейские, услышав клекочущий сигнал машины, останавливали движение, и по улицам она мчалась с такой же скоростью, как по автостраде.

Город стоял на плоской равнине. Глыба домов с черепичными крышами, пространства, покрытые яркой и свежей зеленью, и снова тяжеловесные здания, порой напоминающие гигантские склепы или каменные катафалки.

Этот город выглядел сытым. В витринах магазинов мелькали груды колбас, окороков, пирамиды консервов, хотя для населения уже давно были введены карточки.

На подножках многих легковых машин стояли цилиндрические газогенераторные установки, выкрашенные алюминиевой краской: экономили бензин.

Большинство прохожих, даже дети, одеты в форму, но не военную, а каких-то милитаризованных гражданских организаций.

Стены зданий оклеены разноцветным пластырем плакатов. Повсюду, не только в витринах магазинов, но и в окнах частных домов выставлены портреты фюрера. Гитлер держит одну руку на пряжке пояса, а другую вытянул так, будто пытается схватить что-то над своей головой. Волосы гладко причесаны, челка зализана над правой, судорожно сведенной бровью.

От плакатов рябило в глазах. Они были рекламой Третьей империи вермахта.

Когда свернули на Вильгельмштрассе и помчались мимо правительственных зданий, Иоганн еще раз подивился их сходству со склепами и катафалками: приземистые, тяжелые глыбы с затемненными квадратами непомерно маленьких окон-амбразур.

По карте, альбому, специальным фильмам Вайс хорошо знал Берлин, и для него не составляло труда определить, по каким улицам проезжала машина. Вот выехали на Потсдамское шоссе и направились на запад, в район Ванзее.

На Бисмаркштрассе, утопающей в зелени улице особняков и вилл, машина коротко просигналила, свернула враспахнувшиеся ворота. Обогнув газон, остановилась у входа в одноэтажный коттедж. В глубине двора среди зарослей сирени виднелись еще два таких же коттеджа.

Вайс вышел из машины, огляделся и сказал своему низенькому спутнику, который в выжидательной позе стоял у открытой дверцы:

— Неплохое местечко! Как оно называется?

— Пройдемте, — вместо ответа предложил низенький, толкнул перед Вайсом белую дверь в коттедж и, указав на кресла в холле, попросил: — Присядьте.

Он ушел куда-то и через некоторое время появился уже в сопровождении хилого белоголового старика с властным сухим лицом. Лицо это странным образом показалось знакомым Вайсу, но сейчас не было времени задумываться над этим. Старик взял переданное ему низеньким удостоверение, так же внимательно, как все предыдущие, сверил фотографию с оригиналом и, так же, как все они, спрятал документ в карман своего пиджака. Кивнул, отпуская низенького, а Вайсу сказал сухим, скрипучим голосом:

— Пойдемте наверх. Ваша комната там.

Комната была небольшая, обставлена простой и удобной мебелью, на окнах белоснежные кисейные занавески.

Старик сказал:

— Можете называть меня Франц.

Вайс представился:

— Иоганн Вайс.

— Нет, — строго сказал старик. — Нет Иоганна Вайса, есть Петер Краус. — Спросил: — Запомнили: Петер Краус? — И приказал: — Вы примете ванну.

— В таком случае я хотел бы принести сюда свой чемодан.

— Нет, — сказал Франц. — Вам все будет выдано из нашего гардероба, все необходимое, в соответствии с предметами, имеющимися в вашем чемодане.

Пожав плечами, Вайс направился в ванную.

— Возьмите купальный халат, — напомнил старик, указывая на шкаф.

Остаться неожиданно в одиночестве — как это было здорово! Строить какие-либо предположения не имело смысла. Впереди — неизвестность. От него потребуются напряженная настойчивость, сосредоточенность всей нервной энергии. А сейчас, если уж представилась такая возможность, необходимо

отдохнуть, чтобы набраться сил. И Вайс с наслаждением, бездумно плескался в ванне.

Когда он в купальном халате вернулся в свою комнату, его мундира там не было. На деревянных плечиках висел штатский двубортный темно-серый костюм в полоску, а на крюке у двери — дождевик.

Все остальное лежало в чемодане — не в кожаном, с которым Вайс прилетел в Берлин, а в другом, фибровом. Кто-то тщательно заменил каждую его вещь другой, идентичной, хотя и не все было новое и прежнего качества.

«Работа грубая, но аккуратная, ничего не скажешь», — подумал Вайс и начал одеваться, удивляясь точности размеров всех предметов одежды и обуви; все пришлось впору.

Все, любую мелочь заменили с педантичной скрупулезностью, даже спичечная коробка с незнакомой этикеткой была, как и прежняя, ваполнена только наполовину.

Горничная с неподвижным лицом внесла поднос и молча сервировала завтрак на два прибора. И тотчас появился Франц.

— Я составлю вам компанию, — сказал он. Наливая себе кофе, объявил: — Побеседуем, чтобы вам не было скучно.

С первых же его слов стало ясно, что никакая это не беседа, а просто-напросто допрос. И вел его Франц с механической последовательностью, обычной для всех допросов.

— Послушайте, Франц, — в голосе Вайса звучала унылая скука, — если меня хотят здесь заново пропустить через фильтры, то ведь я и сам не новичок. В абвере мы работаем тоньше.

Франц поджал сухие губы.

— Не торопитесь, Петер, все в свое время. — И предложил деревянным голосом: — Итак, вы утверждаете, что в «штабе Вали» были удовлетворены вашей работой.

— Ничего я не утверждаю, — запротестовал Вайс.

— Да или нет?

— Да.

— Откуда у вас такая твердая уверенность?

— Вот отсюда, — Вайс постучал ладонью по сиденью своего стула. — Иначе я не сидел бы здесь, на этом стуле.

— Вы очень самонадеянны. Генрих Шварцкопф — ваш друг?

— Да.

— Чем вызвано его расположение к вам?

— Тем, что я всегда помню, кто я, и не претендую на дружбу с теми, кто занимает более высокое служебное положение.

— Однако со мной вы держите себя несколько развязно, — заметил Франц.

— Я отдаю дань уважения вашему возрасту, но подчиняюсь только старшим по званию.

— Неплохо сказано, — задумчиво протянул Франц. — Неплохо вы пытаетесь выведать, кто я такой.

— О, вы мэтр! — простодушно согласился Вайс. — Именно это я и хотел узнать.

Блеск в глазах Франца свидетельствовал, что Вайс правильно нащупал его слабое место. Наклонясь к старику, он, понизив голос, сказал доверительно:

— Я преклоняюсь перед вашей проницательностью.

— Ну-ну, не преувеличивайте, — довольным тоном произнес Франц, собирая в углах глаз сухие морщинки, означавшие улыбку.

Свой жизненный путь Франц начал в отеле «Адлон» мальчиком-лифтером и дослужился до высокой должности портье.

Для тайных и явных дипломатов, агентов различных секретных служб отель «Адлон» был традиционной международной биржей. Здесь они заключали сделки между собой: торговали государственными тайнами и сведениями, избобляющими государственных и политических деятелей, — в ход шли и постыдные улики и порочные наклонности. Цены котировались в зависимости от международной ситуации.

Германская тайная полиция неусыпно заботилась о безопасности клиентов этого фешенебельного пристанища международных разведок, тщательно следила, чтобы здесь не нарушались нормы этикета и правила приличия. Поэтому каждый служащий отеля подвергался строжайшей проверке германской тайной полицией и был ее агентом.

Остановившись в «Адлоне», иностранный клиент мог быть совершенно уверен: многочисленный и высококвалифицированный штат отеля обережет и его и его бумаги от любопытства секретных агентов всех других держав.

Что же касается самой немецкой разведки, то за свои услуги она облагала клиентов «Адлона» как бы незримым палогом и с изящной деликатностью проникала в их тайны. Великолепно подготовленный персонал отеля пользовался для этой цели специальной техникой, которую выпускали фирмы «Филипс» и «Телефункен».

Здание отеля «Адлон» стояло между Бранденбургскими воротами и имперской канцелярией.

Когда господин Риббентроп ведал международным отделом еще не пришедшей к власти национал-социалистской партии, он, чтобы пополнить партийную кассу, через доверенных лиц, а иногда и сам лично торговал в отеле «Адлон» оказавшимися в его руках копиями важнейших документов германского министерства иностранных дел.

Франц отлично усвоил правила службы.

Прежде всего честность. Он не однажды был свидетелем незаметного исчезновения тех служащих отеля, которые увеличивали собственные доходы, оказывая чрезмерные услуги тому или иному иностранному клиенту. Каждый такой служащий неожиданно умирал тихой смертью в подвальном помещении отеля, где хранились продукты, и тело его вывозили в железном цилиндрическом контейнере для отходов за город, на мусоросжигалку.

Затем скромность. Формировалась она теми же обстоятельствами. Когда кто-то из служащих позволил себе с улыбкой раскланяться с одним из карателей, его незамедлительно подвергли все той же операции. Правила отеля предписывали обслуживающему персоналу ни в коем случае не подчеркивать свое знакомство с вышестоящими.

Техника фотографирования, деликатные тонкости обследования предметов обихода клиентов, умение обнаружить тайники даже в механизме ручных часов, где умещались микрокопии различных документов, а также схем новейших типов оружия, рецептура только что созданной взрывчатки или заменителя стратегических материалов, — всем этим Франц овладел в совершенстве. И, заняв пост портье, не только с обворожительным гостеприимством принимал каждого клиента в обитель знаменитых деятелей тайного ремесла, но и с беспощадной требовательностью командовал обслуживающим персоналом отеля — людьми, вымуштрованными, как солдаты, бесстрашными, как налетчики, и ловкими, как шулера.

В свое время в «Адлоне» останавливался и Барышев.

Он любезно предоставлял Францу, надевавшемуся найти в его чемоданах тайники и спрятанные документы, возможность рыться в его вещах. Те же сведения, ради которых прибыл сюда Барышев, хранились в деревянной груше, прикрепленной к ключу от номера, и ключ с этой грушей ежедневно принимал из рук Барышева, любезно улыбаясь, Франц. Он и не подозревал, что фотографии физиономий тайных агентов, остановившихся в «Адлоне», хранятся, как в альбоме, в некоем предмете, являющемся собственностью отеля.

Среди фотографий тайных агентов была и фотография самого Франца.

В свое время Барышев показал ее Саше Белову и, подчеркнув выдающиеся способности Франца как ищейки, заметил:

— У него две слабости. Первая — смертельная боязнь в случае разоблачения потерять должность, а вместе с ней и жизнь. И вторая — тайное, мучительное тщеславие непризнанного гения сыскного дела. Мне как-то довелось побеседовать с ним. Я выразил свое восхищение несколькими детективными романами. Он оспорил некое мое суждение, приведя при этом настолько великолепную аргументацию, что она даже пред-

ставляла для меня известную ценность. Владеет множеством европейских языков, но ни разу не покидал Германии. Берлин знает только по путеводителю — вся его жизнь прошла в отеле. Резиденция Гитлера и его сподвижников находилась в то время в отеле «Кайзергоф», и Франц иногда передавал мне некоторые существенные «сплетни». Ведь служащим запрещалось говорить с клиентами только о том, что относилось к другим постояльцам «Адлона». Все прочие темы не были запрещены. Но потом, когда я переселился в «Кайзергоф» и заходил иногда в бар «Адлона», Франц, оскорбленный этой изменой, перестал узнавать меня.

— А вам тогда удалось хоть раз увидеть Гитлера?

— Я даже беседовал с ним, — усмехнулся Барышев.

— Каким образом?

— Очень просто: купил «Майн кампф» и, когда Гитлер проходил через вестибюль со свитой своих головорезов, почтиительно попросил у него автограф.

— И он согласился?

— А как же! Иностранец в смокинге — и вдруг читает его стряпню. Это тогда было редкостью.

— О чем же он говорил с вами?

— Мне важно было не что, а как он говорит. Хотелось выяснить психологический тип, способность к логике и последовательность мышления.

— И что же?

— Психическая неуравновешенность, крайняя ограниченность, самоупоенность, склонность к жестокости, свойственная натурам, страдающим болезненной мнительностью и возбудимостью. Все это теперь уже не новость.

Иоганн восстановил в памяти этот рассказ Барышева и, вглядываясь в лицо Франца, с радостью узнавал знакомые ему по фотографии черты. Фотография была сделана давно, и Франц выглядел на ней значительно моложе.

В этот же день Вайс подвергся медицинскому обследованию. Но врача, по-видимому, меньше всего интересовало его здоровье.

Предложив Иоганну раздеться, врач подошел к нему и начал диктовать своему помощнику-стенографу анатомические сведения с такой подробностью, будто производилась опись каких-то вещей.

От первого врача Вайс перешел ко второму. На этот раз обследование заняло значительно больше времени и причинило немало беспокойства. Происходило оно в подвале, превращенном в бомбоубежище. Усадив Вайса, этот врач прежде всего предложил ему прочесть страницу машинописного текста, содержавшего множество цифр и названий, а сам встал за его спиной. Не успел Вайс дочитать до конца, как врач внезапно выстрелил у него над головой из пистолета и одно-

временно вышиб из-под него стул. И потребовал, чтобы Вайс тут же повторил все, что прочел. Внимательно подсчитав удары пульса на руке пациента, врач изумился.

— Черт возьми! — воскликнул он. — У вас феноменальная память и чудовищное самообладание!

И то и другое помогло Иоганну прийти к кое-каким выводам. В свое время он искусно навел Штейнглица на воспоминания о том, какой проверке еще в догитлеровские времена подвергали агентов при отборе в высшие разведывательные школы.

Выходит, техника испытаний осталась прежней.

А потом врач сделал уколы в икры Вайсу. И хотя слепящая боль так свела его мышцы судорогой, что хотелось вопить, он, преодолевая себя, силно читал вслух какую-то статью из предложенной ему газеты.

Врач задумчиво смотрел на часы. А когда Иоганну показалось, что от мучительной боли у него уже раскалывается череп, врач наклонился и снова сделал уколы, от которых боль быстро утихла.

Проникшись, по-видимому, уважением к Вайсу, он сказал поощрительно:

— Ну, если вы и попадете в чужие руки, я уверен, при допросе у вас хватит самообладания давать только правдивые сведения, но такие, которые уже известны противнику.

— Я не собираюсь сдаваться живым, — высокомерно объявил Вайс.

— Это поможет вам избежать пыток, если вы окажетесь в затруднительном положении. Так вам удастся скрыть самые важные, неизвестные противнику сведения, которые в любом случае из вас, несомненно, вытянули бы длительными пытками. — Произнес поучительно: — Есть определенный предел терпению любого человека, как бы тверд и закален он ни был. — Помолчал и закончил: — Если, конечно, сама природа не позаботится о нем и не лишит его рассудка.

Гестаповцы Гимmlера не раз перехватывали зарубежных агентов Риббентропа, когда те прибывали в Берлин с чрезвычайно важными сведениями. Агентов умерщвляли, предварительно выкачав из них все возможное, а доставку сведений гестапо приписывало себе. Таким же образом исчезло несколько крупных агентов абвера, и потом не Канарис, а Гимmlер доложил фюреру о материалах, которые могли раздобыть только эти сгинувшие без следа агенты Канариса.

Вайс слышал обо всем этом, и откровенность врача обрадовала его. Значит, его испытывают на пригодность к определенного рода службе, а все остальное не вызывает сомнения.

Франц поучал Вайса, как избежать наблюдения за собой, какими способами хранить секретные документы в крошечных контейнерах, изготавливаемых из предметов самого обыч-

ного обихода, и с помощью каких приемов можно мгновенно уничтожить эти документы.

Первые дни Вайс никуда не выходил, завтрак, обед и ужин аккуратно доставляли в его комнату. Но спустя некоторое время ему предоставили возможность общаться с другими обитателями коттеджей. В большинстве это были люди среднего возраста, и печать усталости, глубокой, сосредоточенной озабоченности лежала на их лицах.

Знакомясь, называли только имя. Все до одного были безукоризненно воспитанны, чрезвычайно вежливы, и хотя среди них были и молодые люди и несколько привлекательных девушек, все тут относились друг к другу с полным безразличием, которое свидетельствовало, что работа поглощает их целиком и полностью, не оставляя места ни для каких других эмоций.

Старшим здесь, как не сразу удалось установить Вайсу, оказался сутулый, с тяжелой, шаркающей походкой, чухлый, медлительный и молчаливый человек с глубоко ввалившимися глазами и тихим голосом. Звали его Густав.

Держал он себя со всеми одинаково ровно, да и его как будто бы никто особо не отличал от прочих. Но стоило Густаву сказать кому-либо несколько самых незначительных слов, как лицо человека, к которому он обратился, мгновенно принимало выражение безупречного послушания.

Да, люди здесь были предельно вымуштрованы.

В одном из флигелей размещалась великолепная справочная библиотека с картохранилищем и читальней. Каждый столлик в этой читальне был огражден ширмой, что лишало возможности выяснить, над какого рода материалами ведется работа.

Покидать расположение разрешалось, нужно было только точно сообщить Францу время возвращения. Никакой военной охраны не было: ее функции выполняли привратники, садовники, дворники.

Почти во всех комнатах стояли телефонные аппараты, но включались они в общую сеть через местный коммутатор. И если снять трубку, отвечал всегда один и тот же голос, а иногда — Франц.

Вайс позвонил Генриху и, давая ему понять, что разговор подслушивают, шутливо осведомился, с кем тот прожигает свою жизнь. Генрих догадливо подхватил этот тон. Они ничего не могли сказать друг другу, но Вайсу важно было сообщить Генриху, что пока у него все благополучно.

Несколько раз Густав давал ему одинаковые поручения: встретить в аэропорту человека, фотографию которого Вайс имел возможность увидеть только мельком, и сопроводить его до определенного места. Адрес Густав каждый раз называл довольно невнятно.

Вайс выполнял эти поручения с той степенью точности, какая от него требовалась.

Однажды встреченный им на железнодорожном вокзале пассажир стал настойчиво требовать, чтобы Вайс незаметно взял у него потрепанный путеводитель по Парижу и тотчас же передал Густаву.

Вайс решительно отказался. Пассажир, все так же шепотом, начал угрожать. Вайс остался непреклонен. Доставив пассажира по указанному Густавом адресу, он вежливо простился с ним, в ответ услышал брань и угрозы.

Когда Вайс доложил Густаву об этом, тот пожевал сухими губами, произнес равнодушно:

— Очевидно, вам предлагали передать материал чрезвычайной и неотложной важности. Жаль, что я не получил его сразу. Но вы действовали правильно, и я вас не упрекаю.

Спокойствие, с каким Густав отнесся к промедлению в доставке важного материала, говорило не только о значительности занимаемого им положения, но и о том, что это человек редкостной силы воли и самообладания. Кроме того, Вайсу стало ясно, что дисциплина здесь ценится выше инициативы и что раз ему дают такие поручения, значит, он уже прошел существенную стадию проверки.

И хотя из этого потрепанного путеводителя, вероятно, удалось бы узнать кое-что о делах, которыми руководил здесь Густав, он не сожалел об утерянной возможности. Вайс знал: только терпением и выдержкой он может добиться награды за свое безукоризненное послушание.

И как бы в знак особой милости Густав пригласил его сыграть утром партию в теннис.

Хилый на вид, вяло-медлительный, Густав в игре неожиданно обнаружил яростную подвижность, удары его ракетки отлечались силой и резкостью.

Вайс с позорным счетом проиграл все геймы. Но когда Густав подошел к сетке, чтобы по традиции пожать руку побежденному, Вайс, удерживая его горячую, сухую ладонь, сказал с лукавой усмешкой:

— Я не так восхищен вашим спортивным мастерством, господин Густав, как искусством скрывать столь бурный темперамент.

Густав досадливо поморщился, но тут же улыбнулся морщинистым сухим ртом:

— А вы, Петер, умны.

— Если это не обмен комплиментами, мне чрезвычайно приятно услышать это именно от вас, — без улыбки сказал Вайс, подчеркивая, какое значение он придает словам Густава.

Такого человека, как этот своеобразный тип, пошлые и примитивные похвалы могли только раздражить, но умная и изящная лесть должна была доставить ему удовольствие.

В душевой Густав спросил Вайса:

— Что вы думаете о Франце?

— Экспонат для музея криминалистики.

Шелленберг, заняв пост руководителя Шестого отдела имперской службы безопасности, не внес в работу никаких новшеств, но старался подобрать свои, особые кадры. Он выделял людей материально обеспеченных, с устойчивым положением в обществе и университетским образованием, предпочитая их ставленникам Мартина Бормана, стремившегося обеспечить Шестой отдел надежной агентурой нацистской партии. Борман был достаточно точно осведомлен о всех происках Шелленберга. Но дружба с Гиммлером защищала Шелленберга от поползновений Бормана наложить руку на Шестой отдел СД.

У Вайса не было никаких сомнений в том, что Гейдрих пользовался услугами Франца еще в те времена, когда возглавлял тайную полицию, и, перейдя в гестапо, он, естественно, не отказался от этих услуг.

Судя по всему, собранные здесь люди принадлежали к новым кадрам Шелленберга. Опытные сотрудники секретной службы не казались бы столь измученными работой и не стали бы относиться друг к другу с таким откровенным безразличием.

Отличала их не только преданность своему шефу. Никто из них никогда не притрагивался к газетам: политические новости они, по-видимому, черпали из совершенно других источников. И фронда к официальной пропаганде была не случайна. Она как бы подчеркивала, что этим людям ведомо то, чего не знает никто другой.

Густав ничего не сказал в ответ на пренебрежительную реплику Вайса о Франце, но, одеваясь перед зеркалом и наблюдая в зеркало за Вайсом, вдруг спросил:

— Кто был наиболее достойным человеком в «штабе Вали»?

— Лансдорф, — не задумываясь ответил Вайс.

— И вы считаете, его место там?

— Нет.

— Почему?

— Лансдорф — мастер политических комбинаций. На Востоке они невозможны.

Долго и тщательно завязывая галстук и продолжая наблюдать за Вайсом, который не счел нужным скрывать, что видит, как за ним наблюдают, Густав произнес медленно:

— А вы любопытный субъект.

— Мне бы не хотелось, чтобы хоть что-нибудь во мне было для вас неясно.

— Мне тоже,— согласился Густав. Похлопал Вайса по плечу: — У нас с вами впереди еще много времени. — Посоветовал: — А почему бы вам не навестить Генриха Шварцкопфа?

— Это вам желательно?

— А вам?

— Генрих — мой друг. Но его дядя Вилли Шварцкопф — крупный деятель гестапо.

— И что же?

— Моих способностей хватает только на то, чтобы служить там, где моя служба.

— Значит, ваш визит будет полезен той службе, к которой вы принадлежите. Если вам ясно это, то у меня в отношении вас больше не остается никаких неясностей.

Вайс склонил голову, щелкнул каблуками.

Густав сказал снисходительно:

— Здесь у нас такая форма выражения готовности не принята. В отличие от абвера мы различаем сотрудников не по званиям, а по степени их способности понимать больше, чем им сказано.

После этой многозначительной беседы, как по мановению волшебной палочки, исчезла незримая преграда вежливой, холодной отчужденности между обитателями коттеджа и Вайсом.

И хотя разговаривали с ним больше на отвлеченные темы, Вайс почувствовал уже не безразличие, а пытливый интерес к себе.

Вилли Шварцкопф жил на Фридрихштрассе в доме странной архитектуры — помесь модерна с цейхгаузом. Некогда здесь у него была квартира в три комнаты, но после того, как здание ариезировали, он захватил под личную канцелярию целый этаж. Племяннику он уступил одну из комнат в прежней своей квартире.

На этаже, так же как и в прихожей, дежурили эсэсовцы.

Завтрак был накрыт в новом кабинете Вилли Шварцкопфа, обставленном с нарочитой казарменной скудостью и суровой непритязательностью. Солдатская койка. У изголовья столик, уставленный армейскими телефонными аппаратами. Посредине комнаты большой стол без ящиков. Огромная карта, завешенная полотном. В стену вмурованы большие негосгораемые шкафы. Крашеная металлическая дверь с крошечным круглым окошечком, прикрытым стальной задвижкой.

Возле койки на коврике лениво дремала огромная сытая овчарка. Моду на этих сторожевых псов ввел фюрер.

Сервировка была тоже казарменного типа: алюминиевые ложки и вилки, армейские ножи-полутесаки. Но яства до-

рогие и так же, как и вины, в большинстве иностранного происхождения.

Мундир на Вилли был довольно поношенный, только сапоги лаково сияли.

Принял он Вайса радушно. Разведя руками, признался, как бы извиняясь:

— Когда германский народ все отдает фронту, мы, его вожди, следуем духу спартанцев.

Генрих только усмехнулся этой хвастливой лжи. В Шарлоттенбурге, в самых аристократических кварталах Берлина, у Вилли был роскошный особняк, который он превратил в склад всевозможных ценностей, но об этом знали лишь самые близкие ему люди.

Обнимая племянника, Вилли сказал самодовольно:

— Если бы Генрих, начиная свою деятельность, был таким, каким сейчас вернулся сейчас из Варшавы, черт возьми, я бы не удивился, получив приказ явиться к нему в рейхсканцелярию с докладом. Не будь его, я сейчас не справился бы и с половиной своих дел. Парень перебесился и взялся за ум.

За завтраком Вилли много ел и пил. Генрих же почти не ел и пил только минеральную воду.

— Ну как вам понравились люди Вальтера? — спросил Вилли и, не дожидаясь ответа, начал возмущаться: — Набрал личный дипломатический корпус из чистоплюев. Салонные шалопаи, изнеженные сынки богатых родителей, имеющих родственные связи во всех странах Европы. Какие, они, к дьяволу, агенты! Ведь любой из них, попади он в руки самому паршивому контрразведчику-мальчишке, наложит в штаны и начнет болтать, как на исповеди. А этот Густав! Хороша штучка! В свое время на Альбрехтштрассе, восемь, он умел заставить разговариваться самых упорных, а теперь заделался гувернером у этих щенков на псарне Вальтера. Что вы скажете о Густаве и вообще о его пансионате?

— Я бы не оправдал рекомендацию герра Лансдорфа и вашу тоже, — глубокомысленно улыбнулся Вайс, — если б позволил себе не только высказывать суждения о моих сослуживцах, но и делиться с кем-либо тем, что касается моей новой работы.

— Да бросьте! — весело воскликнул Вилли. — Здесь, за бронированными дверями, мы как у Христа под мышкой. — И добавил внушительно: — У нас один хозяин — Генрих Гиммлер.

— Слуги, у которых слишком длинный язык, обычно не задерживаются в хорошем доме, — отпарировал Вайс.

— О, вы вон, оказывается, какой камушек! — в голосе Вилли звучали недовольные ноты. — Ничего, я все же надеюсь, — мы с вами подружимся.

— Я тоже,— сказал Вайс. И счел нужным добавить: — Смею вас заверить, мои самые лучшие впечатления о вас останутся в такой же неприкосновенности, — он кивнул на несгораемые шкафы, — как бумаги, которые там хранятся.

— Однако вы человек твердых правил! — проворчал Вилли.

— Нет, — сказал Вайс, — но я умею твердо подчиняться тем правилам, какие мне рекомендуют старшие.

— Ловко сказано! — расхохотался Вилли и обратился к Генриху: — А этот твой приятель, оказывается, не такой простофиля, как мне показалось тогда, в Лицманштадте. — И тут же упрекнул Вайса: — Вы человек неглупый и должны были понять, что если уж старик Вилли оказывает услугу ближнему, то при том он всегда рассчитывает на ответную любезность.

— Я готов приложить все усилия, чтобы выполнить любое ваше поручение, — почтительно наклонил голову Вайс, — если, конечно, оно не пойдет вразрез с обязательствами, которые я на себя взял.

— Ладно, ладно, — грубовато-снисходительно похлопал его по плечу Вилли, — я сам никогда не забываю тех, кого чем-нибудь одолжил.

По-видимому, он ожидал другого от Вайса, но, прикинув, что не часто попадают в рейх люди, с таким упорством отстаивающие свою служебную честь, смирился и сказал:

— Образованные люди сейчас редкость. Незначительную часть их мы бережем в тюрьмах. — Расхохотался. — Недавно надо было произвести экспертизу художественных ценностей, доставленных из оккупированных областей. Если б вы видели рожи этих интеллигентов, когда мы привезли их в подвалы хранилища! С некоторых картин они буквально слизывали пыль и грязь. Но когда я потребовал от них, чтобы они установили стоимость каждого предмета, подлецы заявили, что это невозможно, так как национальные реликвии, мол, не имеют продажной цены. Ну, им так всыпали за саботаж, что нашим ребятам пришлось на руках тащить их обратно в тюремный фургон.

Генрих пояснил коротко:

— Дяде поручено подготовить материальные фонды СС к эвакуации. В банках нейтральных держав для этого абонированы специальные сейфы.

Вилли нахмурился, но тотчас нашелся:

— Мы просто хотим спасти национальные реликвии побежденных стран от бомбежек, сохранить их.

— Но ведь сейфы абонированы определенными людьми.

— Ну и что? — сердито спросил Вилли. — Империя — это и есть определенные люди. Не будь их, не было бы и империи.

— Вы удивительно точно сказали, — согласился Вайс. От Вилли не ускользнула усмешка на лице Генриха. Он смутился, пробормотал:

— Народность германского духа Третьей империи — это не нечто бесплотное: она воплощена в фюрере.

— Полагаю, что и в таких, как вы, — заметил Вайс.

— Да, — самодовольно согласился Вилли. — Я действительно ветеран национал-социалистской революции.

Вайс повторил вопросительно:

— Революции?

— В свое время фюрер воспользовался терминологией марксистов, и это очень пригодилось нам. — И Вилли развил свою мысль: — Когда мы были слабы, а красные сильные, такой кумуфляж помог нам благополучно разрешить многие вопросы.

— Например?

— Мы так громко трясли этими погремушками перед стадом, готовым следовать за красными, что оглушили его. И не успело оно опомниться, как оказалось в нашем загоне, и мы заставили его шагать в ногу под грохот наших барабанов.

Разговор на эту тему, видимо, наскучил Вилли. Обведя глазами свой кабинет, он сказал Вайсу:

— Как видите, даже дома я не принадлежу себе, все подчинено работе. — Поднялся и пригласил Вайса следовать за ним.

Они прошли анфиладу комнат, где за конторскими столами сидели люди в штатском. При появлении Вилли все они мгновенно, как по команде, вскакивали и вытягивали руки в партийном приветствии. Отвечать им Вилли не находил нужным. Вайсу он объяснил:

— Я даже свое скромное жилище превратил в личную канцелярию, и все служащие находятся здесь на казарменном положении. Мы работаем и ночами. Но зато, когда рейхсфюреру нужно срочно получить особые справочные материалы, я незамедлительно докладываю ему обо всем, что его интересует.

— Разве у службы безопасности не хватает аппарата для этого?

Вилли усмехнулся загадочно:

— Справки для шефа мы готовим в одном экземпляре. Мы даем объективный анализ, поэтому у шефа всегда есть возможность быть в курсе истинного положения дел в империи.

— Я думал, что такая задача стоит перед службой безопасности в целом.

— Несомненно. Но есть Борман, есть Кальтенбруннер, и каждый из них горит желанием первым доставить фюреру

информацию, не обременяя себя ее сбором. Но главное не в этом. Главное в том, что это моя личная канцелярия и я лично доставляю рейхсфюреру наши материалы. И поскольку они получены не из официальных источников, он сам решает, докладывать о них или не докладывать. В известный момент они могут вызвать только раздражение фюрера, а в другой — гневное недовольство теми, кто скрыл от него истинное положение вещей.

Так, например, промышленные круги, с которыми фюрер вынужден больше чем считаться, настаивали, чтобы генералитет вермахта, внося существенные изменения в стратегический план «Барбаросса», направил военные действия в первую очередь на захват территорий, богатых сырьевыми ресурсами.

С помощью агентуры в свое время мы установили, что нашей промышленности пока хватает сырья, чтобы обеспечить военное производство на срок, определенный для «блицкрига». Но под воздействием промышленных кругов различные министерства дали иные справки. Поскольку принцип «блицкрига» был руководящим, никто не решился признать, что война на Востоке принимает затяжной характер. И рейхсфюрер, с одной стороны, смог доказать фюреру, что руководители отдельных министерств не верят в скорую победу и поэтому неправильно ведут экономическое планирование, совершая преступление перед рейхом. С другой же стороны, располагая точными данными о сырьевых ресурсах страны, он поддерживал перед фюрером требование промышленных кругов — прежде всего захватить богатейшие районы стратегического сырья на Украине и Кавказе, что в итоге отвечало нуждам рейха. — И Вилли похвалился: — Мне было поручено собирать объективные данные о запасах редких металлов.

— А другим?

— Вы смывленный молодой человек, — поощрительно улыбнулся Вилли. — В рейхе достаточное количество подобных специализированных исследовательских филиалов. — И, потерев руки, насмешливо объявил: — А ваш Канарис оказался профаном. Мы выделили ему бесчисленное количество техники и гигантские денежные средства на создание сотен разведывательных школ. В его распоряжении было все население оккупированных районов, лагеря военнопленных, великолепные кадры, которые приобрели богатейший опыт в период первой мировой войны и отшлифовали его в рейхсвере. Но до сих пор мы не получили от его агентуры сколько-нибудь значительных данных об экономическом потенциале России, хотя главная задача абвера именно в этом. Что же касается союзников России, то здесь мы и без абвера получаем достаточно полную и точную информацию. И не от ка-

ких-то там агентов, а из первых рук — от представителей иностранных фирм, которые не порывают деловых связей с нашими концернами. Поэтому, юноша, я вам советую не очень афишировать, что в абвере вы занимались восточным направлением. В Берлине служба абвера вызывает более чем неудовлетворение. Кстати, — самодовольно заявил Вилли, — ваш бывший начальник, ротмистр Герд, убедившись в бесперспективности действий Канариса, счел более целесообразным предложить свои услуги нам. Герд неплохо отзывался о вас, оценил вашу преданность и мужество. — И тут же Вилли заметил снисходительно: — Вы проявили преданность и мужество, отклонив мое предложение. Но, смею вас заверить, эти превосходные качества еще принесут вам неприятности.

«А он не глуп, — думал Вайс, слушая разглаговольствования Вилли, — хотя, по-видимому, выполняет в СД только роль рабочей лошади. Но работать он умеет и, если судить по его личной канцелярии, умеет заставить работать и других».

Потом, когда Вилли оставил их, Генрих привел Вайса в свою комнату и спросил:

— Ну?

— Деловой человек и очень осведомленный, — сказал Вайс, понимая, что Генрих ждет его мнения о Вилли.

— Ну, тут ты ошибаешься, — возразил Генрих. — Он хвастался перед тобой. Функции его ограничены узкой задачей: знать положение дел в промышленности настолько, чтобы планировать доставку рабочей силы из концлагерей. Ведь доход от нее поступает в СС. Только и всего.

— Если бы твой дядя даже в этих пределах ознакомил меня с материалами, которыми он располагает, я бы считал это в высшей степени любезным.

— Понятно, — сказал Генрих. — Теперь ты захочешь, чтобы племянник оказал тебе эту любезность. Ну что ж, прими мой подарок! — И Генрих протянул руку к одной из книг, стоявших на полке.

Вайс строго остановил его:

— Вот этого тебе делать не следует.

— Почему? Я принял решение. Бесповоротно. Разве ты еще не убедился в этом? Думаешь, так просто быть племянником убийцы своего отца? А я остался племянником, хотя легче переносить самые страшные муки!.. — с озлобленным отчаянием воскликнул Генрих.

— Я понимаю тебя. Но и ты должен кое-что понять.

— То есть?

— Нужно не только хотеть, но и уметь.

— Ты считаешь, что я действовал неосторожно?

— Недисциплинированно.

— Наверно, забыл спросить у тебя указания?! — рассер-

дился Генрих. — Извини, запомню, что ты теперь как бы мой начальник.

— Ну зачем ты обижаешься? — с упреком сказал Вайс. — Просто мы должны сначала разработать, подготовить все, что хотим сделать, и только потом сделать все, что мы хотим.

— Хорошо, герр профессор. Я готов в любое удобное для вас время прослушать курс наук.

— Я рад, что у тебя такое хорошее настроение. Интересно только, чем оно вызвано?

— Свиданием с тобой, — чистосердечно сказал Генрих. — Просто я рад, что снова вижу тебя. Хотя все же никак не привыкну к мысли, что ты русский, — следовательно, особь неполноценная в расовом отношении.

— Недочеловек, — подсказал Вайс.

— Вот именно, — согласился Генрих.

— Полуживотное, — напомнил Вайс.

— Ну, а ты какого черта веселишься? — в свою очередь осведомился Генрих.

— По тем же причинам, что и ты.

— Знаешь, — потягиваясь, сказал Генрих, — у меня здесь оказалась целая куча каких-то дальних родственников, и среди них есть весьма интересные особы женского пола!

— Отлично!

— Хочешь, познакомлю? — предложил Генрих.

— Ну конечно!

— Предупреждаю: это небезопасно.

— Если знакомство полезно, что ж, у меня есть опыт, — мужественно согласился Вайс.

— А если влюбишься?

— Ну, знаешь! — только пожал плечами Вайс.

Генрих развалился на кушетке и, с усмешкой глядя на Вайса, сказал требовательно:

— Нет, тут я тобой буду командовать. Ты, однако, не знаешь правил жизни этих кругов. Если два холостых офицера разных служб часто встречаются, их дружба вызовет подозрения. Но есть две извинительные причины — выпивка и женщины или и то и другое одновременно. Выбирай!

— А если увлечение каким-нибудь видом спорта? — неуверенно предложил Вайс.

— Для этого я слишком ленив. К тому же все знают, что спорт меня не интересует. И мы ведь уже не мальчики. Ну же, старик, будь мужественным!

— Я подумаю, — пообещал Вайс. — Найдутся и другие варианты.

— Я уже все продумал за тебя, — решительно сказал Генрих. — В воскресенье я представлю тебя семейству Румпфов. У них скромная вилла в районе Груневальд. Оттуда совсем

недалеко до столь внешне непривлекательного кирпичного здания на углу Гогенцоллерн и Беркаерштрассе, тридцать один — тридцать пять. Там размещается штабквартира Вальтера Шелленберга, твоего шефа, на которого пятьсот мастеров разведывательного дела работают круглосуточно, в три смены. Кстати, здание ариезированно, прежде это был не то приют для престарелых евреев, не то больница еврейской общины. А теперь — центр по трепанации черепов и сейфов, содержащих секреты и тайны различных держав мира. Ты туда еще не допущен. Но, надеюсь, твоя любознательность победит застенчивость, и ты будешь вхож в это здание. Правда, теперь там не испеляют и отнюдь не озабочены продлением жизни тех, кто может представить интерес для обитателей этого дома.

Когда Вайс ушел, Генрих вновь попытался передать ему книгу, и снова Вайс отказался взять ее.

— Трусись? — упрекнул Генрих.

— Нет, — возразил Вайс. — Просто не желаю быть соучастником непродуманных действий.

— А если мне небезопасно хранить эту книгу?

— Ну что ж, — сказал Вайс, — в таком случае придется взять, но ты толкаешь меня на рискованный шаг.

— Нет, — сказал Генрих. — Оставь. Я понял. Ты прав. Но мне так хотелось сразу же начать работать...

— Мне когда-то тоже хотелось сразу же все начать, — признался Вайс, — но оказалось, что терпение требует мужества.

59

Поручения, которые Вайс продолжал получать от Густава, были все так же незначительны. Он встречал людей, узнавал их по самым беглым приметам, провожал по указанным адресам.

Один из встреченных им на аэродроме людей оказался в скверном состоянии: по-видимому, он был тяжело ранен и потерял много крови. И, хотя этот человек умолял отправить его в госпиталь, Вайс безжалостно доставил его на явочную квартиру. Здесь раненый сказал, что обстоятельства вынудили его уничтожить шифровки, и просил Вайса выслушать его. Он боялся, что умрет раньше, чем сюда явится человек, которому он должен передать информацию.

Как ни соблазнительно было выслушать раненого, Вайс категорически отказался и ушел. Когда Густав сам примчался на мотоцикле к оставленному в одиночестве умирающему человеку, тот уже скончался.

Густав пришел в ярость, назвал Вайса безмозглой тупицей, разразился угрозами. Однако он быстро справился с собой, и

хоть и не извинился, но вынужден был признать, что Вайс поступил так, как полагалось по инструкции.

На следующий день, очевидно после доклада о поведении Вайса кому-то из вышестоящих лиц, Густав сказал:

— Вы Петер, заслужили доверие своей дисциплинированностью. И, исходя из этого, в определенных исключительных случаях вам разрешается принимать пакеты или получать изустную информацию. Но повторяю — только в чрезвычайных случаях, подобных этому печальному инциденту.

В ближайшее же воскресенье Генрих вынудил Вайса посетить семейство Румпфов.

Иоганну очень не хотелось подвергать себя новому испытанию. И все же он уступил Генриху в надежде, что вскоре найдет повод покинуть общество, если пребывание в нем покажется ему бессмысленным.

Семейство Румпфов встретило молодых людей так радушно, будто оба они уже были сегодня здесь, а потом вышли погулять и сейчас вернулись.

По всему чувствовалось, что Генриха тут любят, считают как бы членом семьи.

И Вайсу сразу же пришлось сбросить с себя чопорную неприступность, как только Шарлотта Румпф, высокая, статная девушка в простеньком ситцевом платье, подавая ему руку, сказала сердечно:

— Можете не называть себя. Вы Иоганн! Я вас почти так и представляла.

Темно-серые пытливые глаза девушки были странно лишены блеска, и поэтому, даже когда она улыбалась, ее усталое лицо со строгими чертами сохраняло чуть печальное выражение.

Не дав Иоганну ответить, Шарлотта попросила:

— Только, пожалуйста, не притворяйтесь, что вы удивлены. Генрих рассказывал мне о вас.

Генрих счел нужным вмешаться, пояснил:

— Только то, что необходимо знать девушке о незнакомом ей интересном молодом человеке.

— Генрих, не надо, — смутился Иоганн.

Тут в комнату стремительно вошла смуглая брюнетка в чем-то ярко-оранжевом, и от этого пронзительного цвета все вокруг померкло. Сверкнув черными глазами, она небрежно сказала Иоганну:

— Каролина фон Вирт. — Ласково положила руку на плечо Генриха, внимательно посмотрела на него. — Про вас сплетничают, будто вы все свои силы стали отдавать службе. И теперь я могу это подтвердить.

— Какие у вас для этого основания?

— Ну как же! Вы наконец-то захотели увидеться со мной.

— Только по велению сердца.

— Но в прошлый раз вы так интересовались моей работой на Беркаерштрассе, что я не могла не подумать: больше всего я вас интересую как ваша сослуживица.

Генрих смутился и, стараясь избегать взгляда Вайса, объяснил:

— Просто меня интересовало, насколько вы стали серьезны после того, как начали там служить.

— Представьте, не больше, чем вы.

Генрих обернулся к Вайсу, сообщил:

— Каролина знает несколько иностранных языков в совершенстве, впрочем, она совершенство и во всех других отношениях.

Вайс уже был осведомлен о том, что на Беркаерштрассе размещался лишь один отдел секретной службы — отдел иностранной связи. Он ведал операциями за границей и анализировал поступающие из-за границы материалы.

Позже он узнал, что Каролина, дочь умершего в 1935 году дипломата, почти всю свою жизнь провела за рубежом. Когда отец девушки умер, министерство иностранных дел пыталось привлечь ее к работе в своем разведывательном отделе, но она решительно отказалась. А чтобы избежать мобилизации на трудовой фронт, поступила в Шестой отдел СД стенографисткой и вскоре стала там переводчицей. Лучшей рекомендацией послужило то, что ее старший брат, недавно погибший на фронте, окончил в 1933 году университет вместе с Вальтером Шелленбергом.

Вначале Вайса обеспокоила энергичная решительность, с какой Генрих организовал для него это знакомство, но уже вскоре, как только они вышли с девушками погулять по лесу, все сомнения исчезли. Генрих был настолько увлечен разговором с Каролиной, что даже не подумал о том, как отнесется к встрече с ней Вайс.

Но если Густав узнает об этом знакомстве, ему, пожалуй, может показаться подозрительным, что Вайс уж слишком притко акклиматизируется в Берлине. Поэтому Иоганн решил на всякий случай держать подальше от Каролины, чтобы не дать ей повода говорить кому-либо о своем новом знакомстве.

Уловив выражение озабоченности в глазах Вайса, Шарлотта спросила:

— Вам скучно со мной? — И как бы сама с собой согласилась: — Конечно, я очень скучная и какая-то несовременная. Многие мои подруги поступили во вспомогательные женские подразделения, а я пошла на завод, отбываю там трудовую повинность. Живу в казарме и только на воскресенье прихожу домой.

— Но ведь вы тоже поступили патриотично, — равнодушно сказал Вайс.

— Нет, просто мне так захотелось. Папа был инженером на этом заводе, но с тридцать третьего года он нигде не работает, ушел на пенсию из-за болезни сердца.

— Ваш отец очень бодро выглядит, — машинально сказал Вайс. — Никак не скажешь, что он болен.

Шарлотта с тревогой взглянула на него. Уверила торопливо:

— Нет-нет, он очень болен.

И вдруг Иоганна осенило. Тридцать третий год — год прихода к власти фашистов. Нет, тут все не так просто. И с такой же поспешностью, как Шарлотта, сказал:

— Действительно, люди с больным сердцем часто выглядят великолепно.

Шарлотта кивнула и, благодарно улыбнувшись, спросила:

— Вам интересно слушать мою болтовню?

— Разумеется, — ответил Вайс, — очень!

— Мне иногда кажется, — печально сказала девушка, — что я живу какой-то странной, двойной жизнью. И знаете, не так уж страшно в цехе, хотя работа изнурительная и многие женщины калечатся или заболевают неизлечимыми болезнями. Самое страшное потом — в казарме. Туда мужчины приходят, как в... ну, сами знаете куда. И есть женщины, которым все безразлично. Они так напиваются — ужасно... А некоторые матери прячут в казарме своих детей, потому что им некуда девать их. — Помолчав, она добавила: — Но почему же члены национал-социалистской партии освобождены от всего этого и не терпят тех лишений, от которых страдает вся нация? Вы считаете это правильным?

— Я ведь недавно в Берлине, — попытался увильнуть от прямого ответа Вайс.

— Я забыла, ведь вы служили в генерал-губернаторстве. Гитлер говорил, что генерал-губернаторство — это резервация для поляков, это большой лагерь. Там действительно ужасно?

— Для кого как.

— Меня интересует не то, как вы жили там, а как там умерщвляют людей!

— Разве у вас на заводе не работают военнопленные?

— Их избивают до смерти, а многие умирают своей смертью — от истощения. Мне иногда стыдно, что я немка! — с горечью сказала Шарлотта. — И знаете, что я думаю? Если русские победят, они станут обращаться с нами так же, как мы обращаемся с ними. Доктор Геббельс все время утверждает, что русские будут мстить нам за жестокость жестокостью. Я устала от его длинных речей.

— И все-таки согласны с тем, что он говорит?

— А разве это не так?

— По роду моей службы мне приходилось знакомиться с

принципами большевиков, — сказал Вайс. — Они радикально отличаются от принципов, которые провозглашает фюрер, и я думаю, русские поведут себя не так, как мы предполагаем. — И счел нужным добавить: — Поэтому Советский Союз и является главным противником Третьей империи. И не только внешним противником, как его союзники, но и политическим.

— Странно, — медленно протянула Шарлотта, — я знаю, что вы офицер СД, но почему-то не боюсь вас. А вы, мне кажется, меня боитесь и поэтому говорите так осторожно и так уклончиво отвечаете на мои вопросы.

— Знаете, — с нарочитым легкомыслием в тоне сказал Вайс, — я предпочитаю не говорить с девушками о политике.

— Хорошо. Поговорите со мной о том, о чем вы обычно разговариваете с девушками. — И Шарлотта нетерпеливо приказала: — Ну, я вас слушаю.

Вайс в замешательстве опустил глаза.

— Может, я вам не нравлюсь?

Вайс честно признался:

— Ну что вы, даже очень!

— А чем именно? — настаивала девушка.

— Тем, что вы такая, какая вы есть.

— Какая же?

— Ну, мне показалось, будто я вас давно знаю.

— Со слов Генриха?

— Нет, он никогда не говорил мне о вас.

— Мужчины обычно говорят о девушках. Что вы скажете Генриху обо мне? Ну, будьте же смелы!

— Что вы фея Груневальдского леса.

— Странно, — задумчиво сказала Шарлотта, — но вы становитесь таким неестественным, когда говорите банальности.

— Это упрек?

— А вы обиделись? Вы хотели быть таким, как все?

Вайс быстро нашелся, сказал с сожалением:

— Я только недавно в Берлине, и мне, конечно, не хватает умения держать себя в обществе.

— Вы уже были в берлинском Зоо? Нет? Напрасно. Следовало начать именно с этого: вы нашли бы там много почетного.

— У вольеров с попугаями?

— Во всяком случае, не у клеток с хищниками. — Шарлотта улыбнулась. — Поверьте, я говорю так только потому, что знаю: вы лучше, чем хотите казаться.

Вайс вовсе не хотел произвести такого впечатления на эту смело и резко высказывающую свои суждения девушку. Это было опасно. И хотя ему приятно было слышать слова Шарлотты, он не имел права больше рисковать. Кто знает,

как далеко может зайти душевная проницательность Шарлотты... Поэтому он спроеил, чтобы переменить тему разговора:

— Генрих, кажется, всерьез увлечен фрейлейн Каролиной?

— Просто она красивая. Разве вы не заметили?

— Да, конечно, красивая, — согласился Вайс.

— Ухаживать за красивой девушкой, — наставительно заметила Шарлотта, — для мужчины так же естественно, как для офицера заботиться о чести своего мундира.

Если вначале Вайса несколько заботило столь явно преувеличенное, настойчивое внимание Генриха к сотруднице политической секретной службы Шестого отдела СД, то теперь он совершенно успокоился. Из слов Шарлотты он понял, что дружба Генриха с красивой Каролиной фон Вирт ни у кого не может вызвать подозрений.

Иоганн вдохнул такой вкусный, казалось, стерильной чистоты воздух. Огляделся.

Груневальдский лесной массив простирался вокруг, и не было ему конца. Лес был так ухожен, что напоминал парк. Огромную территорию лесники прибирали с такой же аккуратной старательностью, с какой садовники ухаживают за клумбами или горничные убирают анфилады комнат в богатых усадьбах, нигде не оставляя соринки.

Даже не верилось, что за лесом так тщательно ухаживают сейчас, во время войны, когда миллионы немцев согнаны по принудительной трудовой мобилизации на сельскохозяйственные работы.

Большие участки леса с отличными асфальтированными дорогами ограждала колючая проволока. Предупреждающие надписи оповещали: «Внимание, частная собственность!» Пренебречь таким предупреждением было равносильно проникновению в запретную зону.

Ужинали на открытой террасе в сумерках. Не успели сесть за стол, как сирены оповестили о воздушной тревоге.

В этом пригородном районе особняков и вилл не было общих бомбоубежищ — только частные, у самых богатых. Копать щели в лесу запрещалось, а портить свои крохотные участки мелкие владельцы не решались.

Обычно союзники бомбили густонаселенные рабочие районы Берлина. Так было и на этот раз. И хотя Берлин лежит на низкой плоскости, дымы и пожары как бы поднимали высь его огненные, конвульсивно шевелящиеся очертания.

Глухие удары бомб доносились сюда, как звуки гигантской трамбовки.

Все молчали. Никто не притронулся к еде.

Потирая свой выпуклый, с залысынами лоб, герр Румпф произнес вполголоса, ни к кому не обращаясь:

— Странно — почему только Америка и Англия взяли на

себя выполнение этих карательных мер в отношении немецкого населения, а советская авиация в них не участвует?

— Очевидно, потому, что у русских недостаточно самолетов,— высказала предположение Каролина.

— Рейхсмаршал Геринг утверждает противоположное. Русские переместили свои авиационные заводы на Восток, в недосыгаемые для наших бомбардировщиков районы.— Румпф искоса глянул на Вайса.— Для Канариса в свое время это явилось неожиданной новостью.

Вайс молча развел руками.

— На месте американцев и англичан я бы снабдила русских самолетами дальнего действия,— сказала Каролина.

— Зачем, собственно?— спросил Генрих.

— Чтобы нас бомбили русские летчики и чтобы мы еще больше ненавидели русских!— гневно воскликнула Каролина.— Я полагаю, это было бы в интересах самих союзников.

Вайс процедил с ленивым безразличием:

— Не следовало бы так откровенно говорить о том, чем озабочены наши шефы на Беркаерштрассе.

Лицо Каролины приняло виноватое выражение. Зябко поведя плечами, она пробормотала смущенно:

— Извините, я не предполагала, что вы столь хорошо информированы.

Вайс успокаивающе улыбнулся ей, сказал мирно:

— Собственно, тут нет никакого секрета. Разве могло быть иначе?

Багровое небо над Берлином продолжало гудеть, словно его толщу буравили гигантские сверла. Холодные голубые лезвия прожекторов рассекали тучи, и тут же их прошивали красные пунктиры зенитных снарядов. Разрывы бомб походили на подземные толчки.

Наклонив к Вайсу бледное лицо, Каролина прошептала:

— Иногда мне кажется, что союзники не желают Германии поражения, а этими налетами только откупаются от русских. И тогда я их оправдываю.

— Вы умница!— усмехнулся Вайс.— Конечно, убивать мирное население легче да и безопаснее, чем открыть второй фронт против нас.

Поощренная Вайсом, Каролина добавила таким же шепотом:

— Тем более что крупные промышленные объекты они тщательно избегают разрушать.

— Ну, это маловероятно!

— Вы так думаете?— Каролина насмешливо улыбнулась.— А почему тогда их разведка ни разу не попыталась установить пеленги в районах оборонных предприятий?

— Я полагаю, здесь заслуга нашей контрразведки.

— А русские агенты это делают!

— Но вы же сами сказали, что русская авиация не участвует в подобных налетах.

— В подобных— да, но по выборочным целям они бьют с точностью, которая наводит на самые неприятные размышления.

— Какие же?

— Ах, как вы не понимаете!— рассердилась Каролина.— Русские даже в этом ставят себе пропагандистские задачи и внушают населению ложные представления о себе.

— Вы полагаете, что русские действуют так дальновидно?

— Дальновиднее, чем их союзники. И мы должны помочь их союзникам понять это.

— Каким образом?

— Если мы, немцы, сумеем стать выше тех жертв, которые приносят нам бомбардировки, и найдем способ внушить союзникам русских, что русские в конце концов обманут их, возможно, их союзники станут нашими союзниками.

— Вы правы,— согласился Вайс.— Но русские, кажется, верны своим обязательствам в отношении союзников больше, чем союзники своим обязательствам в отношении русских.

Каролина объявила пылко:

— Я верю в наш гений. И те из нас, кто обладает высоким воображением и опытом, смогут представить союзникам русских документальное подтверждение того, что русские обманывают их, а русским— такие же документы об их союзниках.

— Да,— живо сказал Вайс.— Я не сомневаюсь, что на Беркаерштрассе есть люди, которые не только думают так же, как и вы, но и располагают соответствующей техникой, чтобы осуществить этот план.— И похвастал:— В «штабе Вали» у нас изумительные мастера: безукоризненно изготавливают любые фальшивки. Но, знаете, почему-то наши агенты все-таки предпочитали подлинные документы: они надежнее.

Иоганн понимал, что словоохотливость Каролины объясняется не одним только желанием показать свое превосходство над ним. Ее пугает зловещее зарево бомбежки, она взвизгивает до истерики и, чтобы сохранить видимость самообладания, говорит без умолку, пытаясь заглушить страх звуками собственного голоса. А когда бомбежка кончилась и отменили воздушную тревогу, Каролина, совершенно обессиленная, протянула свою холодную, потную руку Вайсу и боязливо спросила:

— Я, кажется, наболтала вам лишнего?

— Ну что вы!— удивился Иоганн.— Ваши слова свидетельствуют, насколько вы озабочены, поглощены своей работой. И только.

Провожая гостей к машине, Шарлотта спросила Иоганна:

— Неужели вас занимает болтовня Каролины? Я даже не ожидала, что работа наложит на нее такой неприятный отпечаток.

— Просто она разнервничалась,— сказал Вайс.

— Да,— согласилась Шарлотта,— и я тоже. Эти бомбежки скоро всех нас сделают сумасшедшими.— Спросила тихо:— Вы еще придете к нам когда-нибудь?— Добавила смущенно, вопрошающе ласково глядя на Иоганна своими грустными темно-серыми глазами:— Теперь, когда вы вошли в круг наших знакомых, вы можете приехать к нам один, без Генриха, если он будет занят.

Иоганн кивнул, сел в машину, оглянулся. Шарлотта стояла у низенькой, сплетенной из ветвей калитки, подняв руку в прощальном приветствии.

Прежде чем поделиться с Генрихом своими впечатлениями о семействе Румпфов, Иоганн долго и обстоятельно излагал ему правила и тактику, которым Генрих должен теперь следовать. И поймал себя на том, что говорит с той же отеческой интонацией, которая слышалась обычно в голосе Барышева, когда тот наставлял его самого.

Внезапно Генрих прервал Иоганна:

— А ты знаешь, что отец Каролины умер вовсе не от болезни, а был отравлен?

— Кем?

— Я знаю только, что его отравили.

— Ты увлечен ею?

— Приближаюсь к этому состоянию,— буркнул Генрих.— Но могу остановиться.

— Видишь ли,— сказал Вайс,— я, например, не считал и не считаю главным, решающим для тебя то, что твой отец был убит фашистами.

— Моим дядей!

— Фашистами,— настойчиво повторил Вайс.— Главным и решающим для тебя было другое. Ты убедился, понял, что не можешь идти с теми, кому сейчас принадлежит власть над немецким народом.

— Господи!— воскликнул Генрих.— Опять он философствует!..

Вайс, будто не слыша насмешливого восклицания Генриха, продолжал спокойно и рассудительно:

— Каролина же, если, допустим, узнает, что ее отец был убит по указанию какого-то определенного лица, возможно, воспылает ненавистью именно к этому человеку. Но не к нацистскому строю...

— Ты в этом уверен?— перебил Генрих.

— Я только строю предположение.

— Значит, я должен приказать себе: «Стоп!»? Ну, а если это увлечение окажется полезным?

— Я предпочел бы другие методы.

— А если забыть о вашей более чем странной этике, тогда как?— спросил Генрих.

— Дело не в этике. Ты должен был заметить, как безудержно болтала Каролина, когда стала нервничать, испугавшись бомбежки. Такой несдержанной из-за своей чрезмерной нервозности она может быть и при других обстоятельствах, и это не пройдет незамеченным. Значит, чем дальше ты будешь от нее держаться, тем лучше для нас обоих — разумнее и безопасней.

— Но ведь ее болтовня представляет интерес для тебя— я заметил это по твоему лицу.

— Она говорила только о том, что нам и так известно из других источников.

— Ну хорошо, возможно, я ошибся, ты прав. Но у меня хватило наблюдательности установить и еще кое-что. По-видимому, Шарлотта произвела на тебя впечатление?

Иоганн молча кивнул, не поворачивая головы.

— Ладно, не отводи своего трусливого взгляда. Я буду великодушней, чем ты. Пожалуйста, встречайтесь, сколько хотите! Шарлотта — хорошая девушка.

Иоганн сказал печально:

— Вот именно, настолько хорошая, что я боюсь, как бы ее суждения не принесли ей беды. Нельзя ли как-нибудь предупредить ее?

— Вот ты и предупреди, да не днем, а при луне, в Груневальдской таинственной лесной чаще.

— Я не вижу здесь повода для шуток,— тихо сказал Иоганн.— Но ты сам понимаешь, я не могу ее ни о чем предупредить. И даже, возможно, больше не встречу с ней.

— Ты это серьезно?

Иоганн снова кивнул.

— Ну,— сказал Генрих,— считай, что мы с тобой понесли одинаковые потери.

— Мне кажется, Шарлотта — очень хорошая девушка,— повторил Вайс.

— Ну да, ты хочешь этим сказать, что потерял больше, чем я. Впрочем, возможно. Каролина слишком уж красива, и вряд ли у нее есть за душой что-либо, кроме ее красоты. Пожалуй, ты прав. И ты несчастней меня. Прими же мои соболезнования!..

При отлучке из расположения каждый обязан был информировать Густава о том, где и с кем он провел время. Но письменного рапорта не требовалось. Информация носила видимость ленивой беседы равного с равным.

После первого же визита к Шварцкопфам Вайс с твердым

достоинством решительно дал понять Густаву, что ни на какие сведения о них тот рассчитывать не может.

— Очевидно, Вилли Шварцкопф вызывает у вас большую симпатию? — иронически заметил Густав.

— Не в этом дело, — серьезно сказал Вайс. — Когда Вилли проявил интерес к моему образу жизни, я ответил ему так же, как сейчас ответил вам.

— Вы так осмотрительны!

— Да, — сказал Вайс. — Так. Я очень дорожу дружбой с Генрихом Шварцкопфом. Я ему многим обязан.

— Ну что ж, — протянул Густав, — вы правы: это действительно слабость. Но такой недостаток настолько не распространен среди тех, кто у нас служит, что я готов с ним примириться.

— Благодарю вас, — сказал Вайс.

Визит Иоганна к Румпфам не вызвал интереса у Густава. Тем более что Шарлотту Вайс охарактеризовал как типичную воспитанницу «гитлерюгенда», фанатичку, для которой работа на заводе — только способ выразить свою страстную преданность фюреру.

Но о Каролине фон Вирт он говорил с таким пылким восторгом, что Густав вынужден был осведомиться, не влюбился ли Вайс в нее с первого взгляда, а потом как бы между прочим заметил:

— Ну что ж, желаю вам приятных свиданий. Когда вы собираетесь снова встретиться с ней?

— Я не решился попросить ее об этом, — потупил глаза Вайс.

— Почему?

— Вот тут я хотел бы с вами посоветоваться, — с искренним чистосердечием в голосе попросил Вайс. — Конечно, она красивая девушка, из хорошей семьи, но долго жила с отцом за границей, и я не заметил в ней высокого патриотизма.

— Не заметили? — удивился Густав. — В таком случае поздравляю! Значит, она настолько увлеклась вами, что забыла о политике.

— Вы так хорошо ее знаете?

Не ответив на этот вопрос, Густав посоветовал:

— Во всяком случае, учтите: красота для женщины может быть таким же оружием, как ум для мужчины. А то и другое в равной мере необходимо в арсенале секретных служб.

— Вы предлагаете мне привлечь ее? — спросил Вайс.

Густав снисходительно улыбнулся.

— Я предлагаю вам подумать над моими словами.

— Кажется, я вас понял, — пробормотал Вайс.

— Вот и отлично. Какой же вы сделали для себя вывод?

— В свое время вы скажете мне, должен я буду возобновить знакомство с Каролиной фон Вирт или нет.

— Вы умница, Петер,— сказал Густав.

Не все сотрудники особой группы офицеров связи при Вальтере Шелленберге постоянно находились в укрытых кустах сирени коттеджах. Некоторые из них жили у себя дома, а сюда приезжали, только чтобы получить задание. Это были люди, хорошо известные в берлинском обществе. Все они принадлежали к почтенным семействам и имели независимое материальное положение.

Один из них, Гуго Лемберг, сын известного берлинского адвоката, юрист по образованию и летчик по военной профессии, привлек внимание Вайса.

Этот спортивного вида молодой человек держался весьма независимо и высказывал суждения резкие и решительные. Однажды он спросил Вайса:

— Вы работали в абвере и занимались русскими делами. Скажите, как по-вашему, допускают они мысль о возможности каких-либо отдельных переговоров с Германией?

— Нет,— сказал Вайс.

— А о том, что Россия может быть побеждена нами?

— Нет,— повторил Вайс.

— Ну, а те, которые работают с нами?

— Обычно это отбросы.

— Значит, вы считаете, что подрывная работа изнутри в России бесперспективна?

— У нас были отдельные удачные операции, например...

— Я вас понял,— перебил Гуго. Предложил Вайсу сигарету, задумчиво затянулся дымом.— Отсюда можно прийти к одному выводу: для того, чтобы мы могли выиграть войну на Востоке, нам необходимо как можно раньше и успешнее проиграть ее на Западе. И некоторые полагают, что лучше пойти на уступки нашим только военным противникам на Западе, чем быть побежденными нашими военно-политическими врагами на Востоке.

— Я уверен в конечной победе великого рейха,— сказал Вайс.

— Я тоже,— сказал Гуго.— Но пути к победе бывают различными.

Как-то Гуго пригласил Вайса к себе. Особняк Лембергов находился недалеко от Ванзее, в районе Далема. И здесь Вайс неожиданно встретил ротмистра Герда. Но тот при виде Вайса не выразил никакого удивления: очевидно, он заранее знал об этой встрече.

Обедали на огромной застекленной террасе, пол которой был устлан грубыми каменными плитами. Разговор за обедом носил самый отвлеченный характер. Потом поднялись в кабинет отца Гуго. Увидев на библиотечных полках большое

собрание последних изданий периодической советской печати, Вайс не ошел нужным скрыть удивление.

Гуго объяснил:

— По поручению некоторых влиятельных лиц отец взял на себя задачу сделать анализ политико-психологического состояния советского общества.

— Ваш отец знает русский язык?— спросил Вайс.

— Нет, но у моего отца есть помощники, знающие его в совершенстве,— сказал Гуго.

— Господин Вайс тоже обладает такими познаниями,— напомнил Герд.

— Мне приятно убедиться не столько в лингвистических познаниях моего гостя,— сказал Гуго,— сколько в его смелых и правильных характеристиках политико-морального состояния русских.— Он обернулся к Иоганну:— Это делает вам честь.— И чуть наклонил голову с тщательно проведенным пробором в коротких, гладко прилизанных волосах.

Предложив Вайсу и Герду сесть в кресла и сам усаживаясь возле круглого курительного столика, Гуго спросил:

— Скажите, как по-вашему, есть ли различие в степени виновности между изменой империи и изменой рейху?

— Я не юрист и, к сожалению, не могу разбираться в подобных тонкостях,— сказал Вайс.

— Ну хорошо,— согласился Гуго.— У вас еще будет время обдумать мой вопрос. Но задал я его с определенной целью — чтобы вы поняли: рейх бессмертен, и каждый из нас, кто причинит хоть какой-либо ущерб делу рейха, заслуживает смерти.

— Несомненно!— горячо воскликнул Вайс.

— Отлично,— сказал Гуго.— Теперь попрошу особого вашего внимания. Вам, возможно, придется встречать и сопровождать иностранцев, которые являются противниками фюрера, но друзьями Германии. Если они в вашем присутствии позволят себе высказывать критические суждения о фюрере, как вы поступите?

Вайс сказал убежденно:

— Если встречи с такими людьми входят в мои служебные обязанности, я буду держать себя в соответствии с теми указаниями, которые получу...

Герд не выдержал, прервал Вайса и с самодовольным торжеством объявил Гуго:

— Теперь вы убедились? Я же вам говорил! У него удивительно развито чувство понимания своего места.— Обернувшись к Вайсу, сказал, как бы извиняясь:— Вы, надеюсь, не обиделись? Правда — высший наш повелитель!..— Попросил Гуго:— Вы позволите мне внести некоторые разъяснения?— Герд прикрыл глаза, сложил руки на животе и стал мямлить:— Видите ли, все мы, несомненно, в равной мере обо-

жествялем фюрера. И величие его настолько бесконечно и совершенно, что постигнуть его не дано даже наиболее выдающимся представителям других наций.

— Короче! — нетерпеливо попросил Гуго.

— Словом, я хочу сказать вот что: бессмертие фюрера воплощено в нашей великой германской империи, и забота о ее сохранении есть служение фюреру. Но Гитлер — это только имя. Фюрер же — дух Германии. Потому, если сопровождаемое вами лицо будет интересоваться, сможет ли германский народ во имя нашей великой империи, якобы и без Гитлера, успешно выполнить свою историческую миссию, хотелось бы, чтобы вы привели в подтверждение этого достаточно убедительные доводы.

— Если мне прикажут, — сказал Вайс.

— И не забудьте охарактеризовать большевистское единодушие русских столь же определенно, как вы сделали это недавно в разговоре со мной, — добавил Гуго.

— Я надеюсь, — сказал Вайс, — что обо всем этом будет упомянуто при инструктировании.

60

После встречи с Гуго Лембергом и Гердом ничего не изменилось для Вайса. Он по-прежнему продолжал выполнять незамысловатые поручения Густава, он пользовался относительной свободой, и это дало ему возможность связаться с Центром. Он подробно информировал о новом своем положении, получил соответствующие указания, а также узнал, что ему поручено и в дальнейшем поддерживать контакт с резидентом в Берлине.

Местом явки был назначен салон массажа, расположенный вблизи штаб-квартиры Вальтера Шелленберга на Беркаерштрассе.

Процедуры в салоне назначал профессор Макс Штутгоф. Он сам осматривал каждого нового пациента, но массировал только избранных посетителей, а к наиболее высокопоставленным выезжал на дом в старомодном, отделанном изнутри красным деревом «даймлере».

Пройдя в кабинет, Вайс увидел седовласого пожилого человека с лицом, покрытым доблестными следами дуэлей. Как он потом узнал, это шрамы с большим мастерством нанес Штутгофу советский хирург.

Вайс назвал пароль и, получив ответ, ожидал, что профессор немедленно примет у него информацию и передаст инструкции. Однако Штутгоф предложил Вайсу раздеться и тщательно обследовал его. Заполняя медицинскую карточку, с довольным видом отметил, что после ранения, полученного Вайсом во время эпизода с танком, ему действительно необ-

ходимо пройти курс массажа. Упрекнул Вайса: пренебрегая своим здоровьем, тот довел нервную систему до непоправимой степени истощения. Выписал лекарства и порекомендовал соответствующий режим.

— Послушайте, — нетерпеливо сказал Вайс, — не надо из меня делать жертву ваших сомнительных познаний.

— Почему сомнительных? — обиделся Штутгоф. — Я, батенька мой, начал практиковать еще тогда, когда вы пионерский галстук носили. И поскольку ваши родители неоднократно проявляли беспокойство о состоянии вашего здоровья, я как медик получил прямое указание Центра заняться вами самым серьезным образом. И, если понадобится, даже поместить вас в стационар...

— Еще чего! — рассердился Вайс.

Профессор усмехнулся:

— Учтите, я здесь пользуюсь большим влиянием, и мне ничего не стоит сообщить кому-либо из власти имущих, что вы нуждаетесь в лечении. И вас, как цуцика, уложат в мою лечебницу по указанию хотя бы того же вашего Густава. Я помог ему полностью восстановить функционирование коленного сустава, который он повредил, очевидно, во время какой-нибудь бандитской операции. Так что прошу проявлять ко мне самую высокую почтительность. А теперь прошу вас пройти к кассиру. Внесете соответствующую сумму, вас обслужат, а потом я вас выслушаю, как полагается.

После того как Вайс подвергся разного рода лечебным процедурам, которыми славилось заведение профессора Штутгофа, он в приятном изнеможении вернулся в уже знакомый кабинет, передал информацию и выслушал инструкции. На прощание профессор сказал:

— Не забудьте показать свой абонемент в наш салон Густаву, а также разрекламировать среди своих сослуживцев целительные свойства процедур, которые вы здесь получили. Не обязательно встречаться со мной при каждом вашем посещении салона. Целесообразней будет найти для связи с вами товарища, который располагает большими возможностями для различного рода поездок, чем я.

Учтите: мое заведение дает значительный доход и приносит большую пользу некоторым моим клиентам. И было бы весьма нежелательно, если бы из-за каких-либо обстоятельств я не смог столь успешно и плодотворно продолжать свою деятельность. Поэтому наши встречи должны быть крайне редкими.

Теперь слушайте внимательно. Сейчас в Германии среди власти имущих образовались группы, которые установили связи кое с кем из правящих кругов США и Англии, ведут с ними тайные переговоры. Цель — заключение сепаратного мира. Взамен Германия берет обязательство сменить вывеску

Гитлера, продолжая добиваться осуществления его военно-политических целей на Востоке, но уже при поддержке армий союзников или, по крайней мере, с их экономической помощью. В компенсацию за это Германия пойдет на ряд уступок Западу. У каждой группы есть свои вариации. Но сущность у всех одна. В общем, это не что иное, как заговор против народов антифашистской коалиции.

Наш долг — представить неопровержимые документальные доказательства изменнических действий тех, кто, вопреки союзническому долгу и воле своих народов, вступает в тайный сговор с общим нашим противником, попирая обязательства, подписанные главами своих правительств.

Следовательно, единственная и самая важная задача вашей деятельности здесь — добыть такие документы. И все, кто будет связан с вами, выполняют эту задачу. Тут требуется величайшая осторожность, ибо любой опрометчивый поступок послужит сигналом, что советская разведка действует в этом направлении.

А теперь, чтобы вы поняли всю важность задания: мы уже располагаем такими данными об этих переговорах, что, если хотя бы часть из них стала известна Гитлеру, он немедленно приказал бы казнить многих и многих ближайших своих сподвижников, которые втайне от него связались с союзниками.

Возможно, любая другая разведка так и поступила бы. Но мы всегда видим перед собой высшие цели. Мы хотим предотвратить угрозу, нависшую над будущим всего человечества. Эти документы должны быть представлены советским правительством правительствам наших союзников. Во всяком случае, их главам.

— Нельзя ли все-таки хоть бы одну завалящую копию Гитлеру показать?..

Профессор улыбнулся, погрозил пальцем и добавил серьезно:

— Гитлер тоже пытается вести тайные дипломатические переговоры с союзниками. Но делами имперской канцелярии занимаются, надо полагать, другие наши товарищи. Конечно, в меру доверия, оказываемого им приближенными фюрера. Вайс изумленно поднял брови.

Профессор сказал мечтательно:

— Если бы на будущем параде Победы наши товарищи могли пройти строем по Красной площади в своих немецких мундирах... Они выглядели бы, наверно, как внушительное подразделение...— Профессор смолк, задумался, и вдруг лицо его просияло. Он поднялся, вытянул по швам руки, приказал шепотом:— Капитан Александр Белов! По поручению командования сообщаю: за героическую работу в тылу вра-

га вы награждены орденом Отечественной войны первой степени.

— Служу Советскому Союзу!— сказал Иоганн, встав перед профессором.

Профессор прикоснулся ладонью к его груди.

— Вот,— сказал он дрогнувшим голосом.— Принимай в сердце и носи.— Обнял Иоганна, тяжело засопел, оттолкнул.— И уходи, уходи быстрее. Я тут с тобой расчувствовался, а мне сейчас одну отвратительную образину массировать придется. Палач, гад! Придушить его хочется, а я ему морщины на роже и на шее отглаживаю. Ну. отчаливай! В час добрый!

Спустя несколько дней Вайс получил приказание встретить на Темпельгофском аэродроме пассажира и отвезти его по сто девятому маршруту в округ Темплин, в поместье Хоенлихен, где размещался госпиталь для эсэсовцев. Вайсу уже было ведомо, что никакой это не госпиталь, а штаб-квартира рейхсфюрера Гиммлера.

По дороге он должен был остановиться в местечке Вандлиц и предложить гостю закусить в ресторане «Амзее» у третьего стола справа, если считать от стойки бара.

Пассажир оказался представительным мужчиной. Держался он весьма непринужденно и не находил нужным маскировать свою англосаксонскую внешность и манеры иностранца.

Он несколько не удивился, что Вайс знает английский язык. Сев в машину, сразу же предложил Вайсу виски и американские сигареты.

— Вот что, парень, можешь называть меня Джо,— я знал простаков с таким именем. Я сам тоже простак,— отрекомендовался пассажир и приказал тоном, не терпящим возражений:— Сначала повози меня по вашей большой деревне. Интересно посмотреть, где наши ребята больше всего наломали камней.

Вайс сказал:

— Мне приказано следовать по маршруту.

Джо полез в карман, вынул стянутую резинкой пачку долларов, предложил:

— Можешь взять себе несколько картинок с портретом президента.

— Нет,— сказал Вайс.

— Слушай, птенчик, я не занимаюсь ерундой и, будь спокоен, к военной разведке не имею никакого отношения. Ты сфотографируешь меня моим фотоаппаратиком на фоне развалин — только и всего. А потом сунешь аппарат вапим,

пусть они сами проявят и отпечатают пленку. Я знаю ваши порядки не хуже тебя.

— По маршруту будут подходящие развалины,— сказал Вайс.

— Ну, тогда валяй,— согласился Джо. Откинувшись на сиденье, спросил:— Ну, как здоровье вашего фюрера?

— А как здоровье мистера Рузвельта?

— Ох и ловкий ты парень!— рассмеялся Джо. И тут же грубо предупредил:— Только ты со мной не крути. Я знаю о тебе ровно столько, сколько мне нужно знать. Ты работал в военной разведке, нацеленной на Восток. Ну, быстро! Как оцениваешь русских?

— Они ваши союзники, и вы должны лучше знать их.

— Тебя учили так отвечать мне?— сердито спросил Джо.

— Ладно,— примирительно сказал Вайс.— Сейчас я вам все начистоту: русские утверждают, что они первыми против вас руки на Эльбе.

— Через ваши головы?

— Через наши трупы.

— Значит, будете драться с ними до последнего солдата?

— До последнего немца. Так сказал фюрер.

— Как русские оценивают отсутствие второго фронта?

— Они говорят, что он уже есть. Они теперь называют вторым фронтом партизанское движение и движение Сопротивления в странах Европы.

— Значит, если кое-кто не поторопится, русские будут рассчитывать только на этот «второй фронт»?

— По крайней мере, так они его называют.

— Это любопытно, парень! Ну, и что из этого следует?

— Спросите Рузвельта.

— Я спрашиваю тебя, немца!

— Тогда просите, чтобы вас принял фюрер,— он первый немец империи.

— На нашей бирже он сейчас уже не котируется.

— Фюрер готовит вермахт к новому наступлению, и тогда вы иначе заговорите.

— Я не из тех, кто играет на повышение его акций.

— А есть у вас такие?

— Были... Но какого черта ты задаешь мне вопросы?

— Только из вежливости,— сказал Вайс,— чтобы поддержать разговор.

— Ну, тогда сыпь,— согласился Джо.

— Вашего босса мы будем дожидаться в Вандлице?

— Как назначено.— И тут же Джо изумленно осведомился:— А тебе кто сказал, что я сопровождаю босса?

Иоганну никто этого не говорил. Просто он понял, что Джо — не тот человек, которого могли бы ожидать в Хоенлихене. Даже видным эсэсовцам нужен был особый разовый

пропуск, чтобы попасть туда. Вся зона вокруг Хосенлихена считалась запретной. Он утвердился в своем предположении, как только нащупал локтем ручку пистолета-автомата год мышкой Джо: облеченный большими полномочиями человек не стал бы держать при себе оружие.

Вайс, не отвечая на вопрос Джо, сказал:

— Ничего, когда-нибудь сам станешь боссом. Это у вас в Америке быстро делается.

— Ну да, как же! — воскликнул Джо. — Я уже два раза валялся раненый в госпитале после таких поездок. — Он, по-видимому, сразу же примирился с тем, что Вайс угадал его должность, и, уже не скрываясь, откровенно пожаловался: — Разве можно в таких условиях отвечать за безопасность босса!

— Не стоит беспокоиться, — утешил его Вайс. — О боссе мы позаботимся не хуже, чем все ваши службы, вместе взятые.

— Поэтому мне и обещали такого парня, как ты, — сказал Джо, — из абвера, а не из гестапо.

— У вас считают, что абвер работает лучше?

— Нет, просто босс не хочет, чтобы за его безопасность отвечало гестапо. Быть под охраной военного разведчика — гораздо почетней, чем под охраной гестаповца. Из политических соображений босс не желает иметь дело с этой фирмой. Связь с гестапо может повредить ему дома. Простые избиратели решительно настроены против Гитлера, нацистов, гестаповцев и всяких ваших фашистов. Они платят налоги, они служат в армии — приходится с ними считаться.

— Ну да, — сказал Вайс. — Очевидно, босс так любит своих избирателей, что приехал просить, чтобы их не очень сильно щипали на Западном фронте.

— Береги лучше собственную голову! — рассердился Джо. Заметил ядовито: — От наших «летающих крепостей» под какой не спрячешься.

— Ну, воевать-то мы вас научим, — усмехнулся Вайс.

— А вас русские отучат!

— Правильно, — согласился Вайс. — То-то вы боитесь, чтоб русские раньше вас не вышли к Ла-Маншу.

— С чего ты это взял?

— А вот с того самого: хотите отделаться сепаратным договором.

— Не так это все просто, парень...

— Вот именно, — снова согласился Вайс. — Поэтому вам с боссом приходится больше бояться здесь агентов Рузвельта, чем гестапо.

В местечке Вандлиц Вайс свернул налево по узкой, заросшей сиренью улочке и остановился у ресторана «Амзее».

Предназначенный для них столик был уже накрыт.

Во время завтрака Иоганн больше молчал, зато Джо говорил без умолку. Официант, судя по его внимательному, сосредоточенному лицу, запоминал каждое слово Джо, которое ему удавалось услышать. Персонал, обслуживающий посетителей в ресторане, составляли сотрудники гестапо.

Дорога в Хоемлихен тянулась почти сплошь через лес. Здесь были охотничьи угодья, и молодые олени несколько раз перебегали путь перед машиной.

Джо скоро заснул. Шоссе было пустынно, но Вайс не превышал указанной ему скорости. У Среднегерманского канала их обогнали бешено мчавшиеся машины с синеватого отлива бронебойными стеклами.

Охранники у решетчатых железных ворот не потребовали предъявления документов: у них были фотографии Вайса и Джо.

Хоемлихен, эта секретная цитадель Гиммлера, выглядел, как выглядит богатое поместье. Оранжереи, глубокий чистый пруд, огромный гараж. В чаще деревьев дом с высокими черепичными крышами, террасами, балконами. Покой, тишина.

Очень вежливый человек в штатском, взяв чемодан Джо, повел его по устланной каменными плитами дорожке к небольшому двухэтажному флигелю, а Вайсу указал глазами на помещение, предназначенное, по-видимому, для охраны. Там Вайса встретил эсэсовец, сопровождал в одну из комнат и сказал, чтобы он ждал здесь дальнейших приказаний.

На следующее утро Вайсу было приказано отвезти Джо в концентрационный лагерь Равенсбрюк, находящийся в тринадцати километрах от Хоемлихена, и там выполнить все пожелания американца. Потом доставить Джо в Берлин и показать все, что он захочет увидеть, а затем отвезти на аэродром.

Собственно, в самый лагерь Джо допуска не получил. Комендант принял его в канцелярии, где на стульях сидели несколько упитанных женщин в полосатой одежде заключенных. Вайс сразу понял, что это переодетые немки-надзирательницы.

Джо сфотографировал их и задал им несколько вопросов, на которые ответил комендант. Но когда он покинул канцелярию и направился к машине, в ворота лагеря вошла в сопровождении охраны небольшая партия узниц. Джо оживился и сказал коменданту, что их он тоже хочет сфотографировать.

Комендант категорически запретил ему это. Тогда Джо предложил, ухмыляясь:

— Снимите с них лагерную одежду и дайте им обыкновенную, словом, переоденьте их, как это вы сделали с теми, кого я только что с вашего позволения фотографировал. — И, видя, что комендант непоколебим, подмигнул и заверил: — Можете быть спокойны, эти фотографии будут свидетельст-

зовать только о том, что немецкие женщины доведены войной до крайней степени истощения. Уверяю вас, увидев такой фотодокумент, многие наши сенаторы прослезятся.

Комендант был из смысленных гестаповцев. Спустя некоторое время узниц, переодетых в гражданские платья охранниц, выстроили возле канцелярии.

Джо спросил коменданта, не найдется ли в лагере несколько ребятишек, имеющих столь же вызывающий жалость вид, как эти дамы.

— Дети — всегда трогательно, — объяснил он.

Эта его просьба тоже была выполнена.

Пока Джо суетился, заставляя женщин и детей стоять не строем, а свободной группой, Вайс из своей «лейки» сфотографировал его на фоне лагерной ограды за этим занятием.

Когда вернулись в Берлин, Вайс по требованию Джо повез его в районы, наиболее сильно разрушенные бомбардировками. Джо старательно и долго фотографировал развалины. Потом, на пути к аэродрому, Вайс спросил:

— Ты что, продашь эти снимки в газеты?

— Это решит босс, — сказал Джо. — Я работаю на него, а он — на политику.

— Какая же в твоих снимках политика?

— Ну как же! — удивился Джо. — Наши красные орут, что вы фашисты и звери. А мой босс представит фотодокументы, и все увидят истощенных немцев с голодными детьми и тех, с сытыми мордами, в одежде заключенных. Развалины Берлина — это варварское уничтожение европейской цивилизации. И все — с благословения Рузвельта. Понятно? У нас — демократия. И если есть в Америке сторонники сепаратного мира с Германией, то они будут добиваться его, используя принятые в свободном мире средства и доказательства. — Джо засмеялся и похлопал Вайса по плечу.

На следующий день Вайс посетил салон массажа и передал профессору Штутгофу негативы фотографий, на которых был запечатлен Джо во время его мошеннических манипуляций. Выслушав Иоганна, профессор сказал, что срочно переправит негативы в Москву, а оттуда, надо полагать, их перешлют в советское посольство в Вашингтоне. Там знают, что нужно с ними сделать, если босс, которому служит Джо, попытается использовать эти фальшивки.

Густав спросил Вайса, что полезного он выудил у этого Джо, настоящее имя которого Фрэнк Боулс.

Вайс сказал:

— Ничего интересного. Боулс больше всего интересовался обычными развалинами Берлина: хотел заработать на сним-

как.— И счел нужным добавить:— Но ни одного военного объекта он не сфотографировал.

Густав заметил пренебрежительно:

— Этот не из тех разведчиков, кто стремится сохранить жизнь своим летчикам, и поэтому не интересуется системой нашей противовоздушной обороны. И, пожалуй, он больше заботится о том, как свалить Рузвельта, чем о том, как победить Гитлера...

— Да,— подтвердил Вайс.— Он очень непочтительно говорил о своем президенте.

— А о фюрере?

Вайс твердо взглянул в глаза Густаву.

— Дословно он сказал так: «Вам, немцам, следует сместить вывеску Гитлера на другую, тогда вашей фирме проще будет вести дела».

Густав пожевал губами, попросил:

— Запишите это его высказывание в рапортчику. Остальное можете опустить...

В коттеджах на Бисмаркштрассе так же, как и в доме на Беркаерштрассе, 31/35, даже во время сильнейших воздушных налетов на Берлин деловая, рабочая обстановка не нарушалась, словно жилые районы с грохотом рушились не в том же городе, всего в нескольких километрах отсюда, а в какой-то другой стране.

Сначала Вайс приписывал такое железное спокойствие мужеству и самообладанию сотрудников секретной службы. Но вскоре убедился, что ошибается. Это были лишь плоды уверенности в том, что некая частная, «джентльменская» договоренность между германской иностранной разведкой и ее коллегами в Вашингтоне и Лондоне не будет нарушена. Очевидно, из благодарности военно-воздушным силам союзников СССР за создание нормальной рабочей обстановки немецкая иностранная разведка, в числе многих других обязательств, взяла на себя спасение летчиков, сбитых над территорией Германии.

Геббельс призывал население вершить самосуды над американскими и английскими летчиками, которые выбросились на парашютах из горящих самолетов.

Но не всех пленных американских и английских летчиков ожидала такая участь. Некоторые из них попадали в лагеря для военнопленных, и даже не в общие, а специальные, достаточно комфортабельные, и сотрудники немецкой иностранной секретной службы помогали офицерам и сыновьям тех, кто занимал значительное положение в своей стране, бежать отсюда, обеспечивая возможные удобства и полную безопасность при побеге.

Поручения, которые выполнял теперь Вайс, и были связаны с переброской таких военнопленных. В его распоряжение выделили «опель»-фургон, с мощным мотором, снабженный потайным сейфом, радиопередатчиком и вместительным баком для горючего.

Уже дважды Вайс перевез пассажиров через границу: один раз швейцарскую, другой — шведскую. Но этим задание не ограничивалось.

Сейф в его «опеле» был заполнен золотыми слитками с клеймом немецкого рейхсбанка.

Золото следовало поместить в швейцарском банке в сейф, абонированный СД.

По законам Третьей империи вывоз золота за пределы рейха считался государственной изменой. Попытка нелегально вывезти из страны золото или валюту каралась смертной казнью.

И его пассажир и груз, который Вайс должен был вывезти с своим «опелем» за рубеж, равно таили для него смертельную опасность, хотя делалось это с ведома самого Гиммлера.

Вайс был снабжен охранными документами. Но в случае, если бы гестапо проявило законное любопытство и обнаружило в машине Вайса пассажира или груз, тот же Гиммлер подписал бы приказ о его казни, ни на мгновение не задумываясь, и Шелленберг представил бы неопровержимые доказательства того, что Иоганн Вайс — Петер Краус — никогда не числился в кадрах иностранной разведки рейха. Тем более что Вайс принадлежал к составу особой группы Шелленберга, картотека которой хранилась в его личном сейфе.

У каждого из нацистских лидеров была за рубежом своя мощная и солидная агентура, ведавшая их закулисными финансовыми операциями. На плечи Вайса легли самые трудные обязанности — он стал курьером, доставлявшим валютные ценности.

И не столько удручала Иоганна опасность, которой он постоянно подвергался, сколько другое. Кроме информации о том, что нацисты, обеспечивая себя на случай поражения рейха, как крысы, стаскивают запасы в новые норы, он в своих рейсах ничего существенного приобрести не мог. К тому же ему казалось, что он перешел на более низкую ступень в своей служебной карьере. Но эти его мысли были плодом представлений, свойственных психологии советского человека.

Иоганн не мог понять, что в том мире, где он оказался, золото и валюта — величайшие из всех ценностей, и, назначив его «золотым курьером», ему тем самым оказали неограниченное доверие. А он воспринял поручение заниматься контрабандой золота и валюты как выражение недостаточного к нему доверия.

Однажды при пересечении границы его стали преследовать гестаповцы. Он принял бой с ними и, несмотря на то, что его машина была повреждена, все-таки благополучно доставил свой груз. И когда все было кончено, Иоганн лишь порадовался, что получил возможность, с соизволения службы СД и действуя строго по инструкции, перебить нескольких гестапсцев.

Поэтому он был несколько растерян, когда, после того как он вернулся на Бисмаркштрассе и поставил на место свою простреленную машину в гараж, началось паломничество. Сотрудники разглядывали пробоины в машине с таким восхищением, будто это были орденские отличия, и восторженно хвалили Вайса. Из донесения гестапо они уже знали, что при пересечении границы «неизвестный человек застрелил трех сотрудников гестапо и тяжело ранил двух, а сам, очевидно, был убит в стычке».

Густав, который тоже пришел в гараж, сказал задумчиво:

— После этого вы могли бы совершенно спокойно зачислить себя в покойники. Приобрели бы в Швейцарии любые документы и, сдав золото и валюту в швейцарский банк на новое свое имя, махнули бы в любую нейтральную страну, и там все были бы рады новому миллионеру.— Густав пытливо поглядел на Вайса.

Вайс сосредоточенно обследовал наскоро заделанные пробоины в машине и, очевидно, поэтому недостаточно внимательно отнесся к словам Густава. Он только пожаловался:

— Швейцарцы такую цену за ремонт машины заломили, что мне ничего другого не оставалось, как самому у них в гараже и маляром и жестянщиком стать, а то пришлось бы возвращаться на искалеченной.

— У вас же миллион был с собой, не меньше. Вы что, забыли?

— А какое я имею к нему отношение?— пожал плечами Вайс.— Никакого.

После инцидента на швейцарской границе Вайс сделал несколько рейсов с таким же грузом в Швецию.

Посетив после очередной поездки в Стокгольм салон массажа, он уныло доложил профессору:

— Мотаюсь, как извозчик. Вернулся почти к тому, с чего начал здесь.— Предложил не совсем уверенно:— Может, ваши люди организуют на меня налет? Если аккуратно ранят, пожалуй, вывернусь. Валюта и золото вам пригодятся. А я готов, пожалуйста, только прикажите.

— И это говорит воспитанник Барышева! Ай-я-яй!— пожурил профессор.— Надежда рейха — и вдруг такой пессимизм... Нет, голубчик, больше терпения. Верьте—СД рано или поздно оценит ваши заслуги. Вы просто скромничаете.

Вайс вздохнул.

— Значит, по-прежнему шоферить?

— Да,— приказал доктор.— И при этом избегать стычек с теми, кто стоит на страже законов империи.

— Они же меня обстреляли!

— А просто удрать вы сочли ниже своего достоинства?

— Но ведь это же гестаповцы.

— Впредь запрещаю.

— А в порядке самообороны? Это даже по нашим законам разрешается. А если бандиты нападут?

— Вы должны быть разумным трусом, Белов.

— Хорошо,— согласился Вайс.— Я попытаюсь.

Профессор сообщил Иоганну, что за время его отсутствия в тайник, предназначенный для Генриха Шварцкопфа, поступило несколько важных материалов. Они подтверждают, что созданные в Германии в связи с поражением на Восточном фронте оппозиционные группы ставят своей целью насильственное устранение Гитлера. За этим следует установление в стране режима военной диктатуры, образование военного правительства и заключение компромиссного мира с союзниками СССР на условиях, приемлемых для германского генералитета и промышленников. Капитуляция на Западном фронте и новое наступление на Восточном при поддержке США и Англии.

Поэтому главной для Вайса по-прежнему остается задача достать документы, свидетельствующие о переговорах между представителями правящих кругов рейха и союзниками,— документы, касающиеся условий заключения сепаратного мира.

Машина Иоганна еще не вышла из ремонта, новых заданий он не получал и, так как делать было совершенно нечего, попросил у Густава разрешения посетить Шварцкопфов. Но Густав отказал ему. Правда, при этом он как-то загадочно улыбнулся и сказал, что отдых — высшая награда для человека в столь бурное и тревожное время.

Несколько дней Вайс не выходил из коттеджа на Бисмаркштрассе, потом Густав неожиданно предложил ему отправиться с ним на рыбалку.

Иоганн оделся соответствующим образом, и, когда он сел в машину, Густав, оглядев его костюм, еле заметно усмехнулся:

— Я и не подозревал, что вы такой опытный рыболов. Поехали они не к озерам, а в Шмаргендорф.

— Что это значит?— спросил Вайс.

— Есть счастливая возможность доставить вам удовольствие посредством знакомства с одним коллекционером.

Вайс вопросительно глянул на Густава.

— Потом сами все узнаете.

Машину они оставили у подъезда небольшого ресторани-

ка под названием «Золотой олень», дальше пошли пешком. Вилла стояла где-то в глубине сада, и через дворик и сад их провел слугитель. Вслед за ним шествовали двое в штатском, одинаково державшие правую руку в карманах пиджаков. Не доходя до виллы, Густав объявил, что подождет Вайса в саду на скамье. Дальше Вайса сопровождал только слугитель, но и тот, остановившись в вестибюле, сказал вполголоса:

— Первая дверь налево, вторая комната. Ваше место в кресле у окна.

Иоганн прошел в указанном направлении. В комнате никого не было. У окна здесь стояло кресло, огражденное тяжелым столом в виде буквы «П», а несколько поодаль — другое кресло и столик с телефонами. На ручке этого второго кресла Иоганн заметил ряд разноцветных квадратных пластмассовых кнопок: очевидно, они служили для какой-то сигнализации.

Он послушно опустился в кресло у окна и стал ждать. Прошло более получаса, но никто не появлялся. Иоганну уже надоело разглядывать великолепно ухоженный сад, в глубине которого важно расхаживали павлины. И тут он услышал мягкие, неторопливые шаги.

В комнату вошел человек лет тридцати пяти, среднего роста, сухощавый. На нем был серый плотный костюм в «елочку», а под пиджаком, несмотря на жару, черный джемпер. Опустившись в кресло, он устало разбросал руки и пристально посмотрел на Вайса черными, глубоко впавшими глазами.

Вайс приподнялся в своем кресле, но человек этот сделал нетерпеливый жест рукой, Вайс снова сел, давая незнакомцу возможность пытливо осмотреть себя и, в свою очередь, так же пытливо разглядывая его.

Темные, гладко причесанные волосы, большие хрящеватые уши, тонкий, с горбинкой нос, защемленный на переносице строгими морщинками. Более глубокие морщины опускались от крыльев носа к углам жестко сжатых губ. Острые скулы, впавшие щеки, под глазами коричневые тени. Кожа желтая, но не от загара, а такая, какая бывает у людей с больной печенью. Сливаясь, эти черты придавали незнакомцу облик скорее привлекательный, чем отталкивающий.

Иоганн мог ограничиться и меньшим перечнем примет, чтобы установить, кто перед ним. Это был не кто иной, как Вальтер Шелленберг, бригаденфюрер СС, генерал-майор полиции, начальник Шестого отдела главного имперского управления безопасности. Но он продолжал с искренним любопытством разглядывать Шелленберга, безошибочно угадав, что тому это может показаться только лестным.

— Однако вы молоды, — сказал Шелленберг без улыбки.

— Если это недостаток, то со временем я исправлю его.

— И смелы, — добавил Шелленберг.

— Виноват, господин бригаденфюрер! — Вайс вскочил, вытянулся.

— Сядьте, — приказал Шелленберг. — Я имел в виду ваше поведение не здесь, передо мной, а на границе.

— У меня есть достойный пример, которому я бы хотел следовать, — сказал Вайс и твердо взглянул в глаза Шелленберга.

Тот чуть улыбнулся.

— И к тому же честны. Не слишком ли много для одного человека?

— Для человека, который служит вам, — нет! — Лицо Вайса не дрогнуло.

— Вы находчивы. — Добавил: — Вилли Шварцкопф был крайне удивлен, что вы не сочли возможным поделиться с ним впечатлениями о своей новой службе.

— Разговоры о службе нам строжайше запрещены, мой бригаденфюрер.

— Кем?

— Самим содержанием нашей работы, — быстро нашелся Вайс.

— И она вам нравится?

— Я служу рейху.

— В таких случаях принято отвечать — фюреру.

— Так точно, мой бригаденфюрер!

— Ну что ж, вы кажется, отлично разобрались в тонкостях нашей службы, — многозначительно сказал Шелленберг. Спросил после паузы: — У вас есть ко мне вопросы?

— Я счастлив увидеть вас, мой бригаденфюрер!

— Это все?

Вайс промолчал.

Шелленберг, пристально глядя в глаза Вайса, вдруг объявил:

— Запомните еще одну вашу кличку — «Фред». Она будет существовать только для моих личных распоряжений. — Помедлил, протянул Вайсу заложенное в пластмассовую обложку удостоверение, приказал: — Прочтите.

В удостоверении значилось:

«Предъявитель, 178 см роста, 72 кг веса, серые глаза. Имеет право ездить по всем дорогам рейха, генерал-губернаторства, Франции, Бельгии, Голландии, въезжать в запретные зоны, концлагеря, гарнизоны войск СС и вермахта на любой машине в гражданской или военной одежде и с любым пассажиром (или пассажирами). Удостоверение действительно лишь при наличии фотографии.

Подпись: рейхсфюрер СС (Гиммлер), начальник гестапо (Мюллер), начальник ОКВ (Кейтель), начальник СК (Кальтенбруннер)».

— Мощный документ, — сказал Вайс, почтительно возвращая удостоверение Шелленбергу.

Тот небрежно бросил его на столик, приподнялся и, подавая Вайсу руку, сказал:

— Надеюсь, если вы и впредь будете столь же исполнительны, ваша фотография, возможно даже в ближайшее время, понадобится для этого документа.

Вайс пожал протянутую ему руку, поклонился и направился к двери.

Внезапно он был остановлен.

— Почему вы не донесли партии о некоторых преступных действиях капитана фон Дитриха? — спросил Шелленберг.

Вайс быстро обернулся и решительно ответил:

— А потому, что мой непосредственный начальник господин фон Лансдорф не давал мне об этом никаких указаний.

— Вы не выполнили долга наци.

— Я руководствуюсь в первую очередь своим служебным долгом.

— Вы хотите сказать, что существует какое-то различие между долгом перед партией и служебным долгом.

— Я этого не говорил, — сказал Вайс.

— Но я вас так понял.

— Вы хотите так меня понять? — спросил Вайс.

— А вы не хотите, чтобы я вас так понял?

Иоганн знал, что у Шелленберга отношения с Гиммлером отличные, а с Борманом — почти враждебные. И решился на отчаянно смелый поступок.

Сделав шаг вперед, объявил:

— Да, вы меня правильно поняли, мой бригаденфюрер.

Шелленберг сжал губы, острые скулы еще резче выступили на его желтоватом лице. Он долго молчал, не спуская испытующего взгляда с лица Вайса, потом неожиданно улыбнулся, сказал дружелюбно:

— Господин фон Лансдорф — мой друг, и его благожелательный отзыв о вас послужил дополнительной причиной того, что отныне вы будете числиться в моем личном списке как «Фред». И я отвечу доверием на ваше доверие. Не исключено, что в ближайшие дни фюрер, возможно, подчинит абвер рейхсфюреру. Тем самым вы получите возможность вновь встретиться с некоторыми своими прежними сослуживцами, в том числе и с капитаном фон Дитрихом. — И Шелленберг снова, на этот раз многозначительно, тверже пожал руку Вайсу.

Когда Иоганн разыскал в саду Густава, тот ко его лицу сразу же догадался о результатах встречи с «шефом» и тоже решительно, даже с некоторой горячностью, пожал ему руку.

В ресторане «Золотой олень» Густав настоял, чтобы они распили в честь успехов Вайса бутылку старого, коллекционного вина. И сам заплатил за нее, хотя подобное расточительство не было принято даже среди закадычных друзей:

офицеры разведки привыкли в таких случаях расплачиваться каждый за себя.

Очередную встречу профессор назначил Иоганну в укромном, заросшем длинноветвистыми плакучими ивами местечке на берегу озера Хавель.

Когда Иоганн пришел, он уже ждал его в рыбацьем ялике.

Берясь сразу за весла, профессор сказал:

— Представьте, я пригласил вас только для того, чтобы, как говорится у нас дома, провести вместе выходной день.— Усмехнулся:— Как вы думаете, можем мы себе позволить такую роскошь?

— Не знаю,— сказал Вайс.

— Я предлагаю,— заявил профессор,— полностью отдаться фантазии: представим себе, что мы с вами рыбачим где-нибудь, допустим, на Ладоге.

— Непохоже,— со вздохом возразил Вайс.

— Моя жена и дочь тоже считают, что непохоже,— согласился с ним профессор.

— А откуда они могут это знать?

— Извините,— насмешливо сказал профессор,— но я человек семейный, и этот факт укрепляет здесь мою репутацию.

— Вы женаты на немке?

— Что вы, голубчик! Карьеру семьянина я начал еще с рабфака.

— И ваши жена и дочь знают?..

— Безусловно,— сказал профессор. Улыбнулся.— И, верите, неплохо получилось подразделение: жена — инженер на секретном заводе Юнкерса, дочь — во вспомогательном женском батальоне службы наблюдения ПВО Берлина.— И добавил с нежностью:— Весьма оказались толковые товарищи.

Иоганн жалостливо поглядел на профессора:

— И вам за них не страшно?!

— Видите ли, в данных обстоятельствах я предпочел бы, чтобы жена безропотно подчинилась моей воле и покорно ожидала супруга дома. Но мы с ней, в один год и даже в один месяц вступили в партию. И в связи с этим она считает, что у меня перед ней нет никаких преимуществ старшего. Очевидно, она и дочь воспитала в подобных представлениях. Думаю, что Центр разрешил мне эту семейственность на работе в порядке исключения.

— Я бы на такое никогда не решился,— сказал Вайс.— Рисковать своей жизнью — это что ж, не так трудно... А вот рисковать жизнью тех, кого любишь, у меня не хватило бы духа,

— У меня его тоже не хватало,— признался профессор.— Но у жены и дочери мужества оказалось более чем достаточно. Мы помогаем друг другу жить, исполнять свой долг. Если есть высшая близость между людьми, я полагаю, что она добывается именно таким образом.

Вайс посмотрел на профессора с восхищением и нежностью.

— И вы давно чекист?

— Имею значительную выслугу лет.

— Вы действительно врач?

— Это мой второй диплом, — с достоинством сказал профессор. — Первый я получил в тридцатом году, когда закончил истфак. Склонность к медицине обнаружил в себе позже, а образование получил в Мюнхене. — И вдруг сразу же, круто переменяя тему разговора. — Кстати, как вы оценивали поражение немцев под Сталинградом? — спросил он.

— Я боялся, что выдам себя, не смогу скрыть радость и провалюсь на этом.

— Нет, с точки зрения немца.

— Ну что ж, — нерешительно сказал Иоганн, — как величайшее поражение вермахта, полный провал плана «Барбаросса».

— А с политической стороны?

— Точно так же.

— А вот, представьте, гитлеровская пропагандистская машина использовала катастрофу под Сталинградом в свою пользу. Превратила ее в пропагандистскую акцию, обращенную к реакционным правящим кругам союзников.

Вы знаете, Гитлер, потрясенный поражением, не мог в эти дни выступать, его речь прочел по радио Геринг. Слышали эту речь? Не пришлось? Напрасно! Она вся была обращена к Уолл-стрит и Сити. Гитлер расписывал себя как единственного спасителя западной цивилизации от большевистского варварства. А Геббельс, в дальнейшем развивая эту мысль, объявил: «Ясно, господа, что мы неверно оценивали военный потенциал Советского Союза! Сейчас он впервые открылся нам во всей своей кошмарной величине. Сталинград был и остается великим сигналом тревоги... Осталось лишь две минуты до двенадцати», — то есть до полного поражения Германии.

А этот трехдневный траур после ликвидации окруженных под Сталинградом войск? Вы понимаете, зачем это? Превратить гибель своих солдат в орудие пропаганды, чтобы напугать правящие верхи союзников мощью Советской страны. Помочь реакционным кругам Америки и Англии вызвать в своих странах волну антикоммунизма и подготовить таким образом почву для вероломного сепаратного мира. И, по нашим данным, действия гитлеровской пропаганды оказались небезуспешными. Тайные дипломаты союзников чрезвычайно оживились. Аллен Даллес перекочевал в Берн с целым разведывательным штабом, и множество посланцев немецких разведслужб, с которыми у Даллеса старые доверительные отношения, протоптало к нему тропы.

— Да, — сказал Вайс, — я это знаю.

— Учтите, — предупредил профессор, — союзники заслали

в Германию целую армию разведчиков. И знаете, чем они сейчас занимаются? Изучают настроения германского народа, силы Сопротивления. Но вовсе не для того, чтобы помочь движению Сопротивления хотя бы оружием. Нет. Хотят выяснить, не будет ли это движение препятствовать намерениям союзников сохранить Германию после ее поражения как империалистическую державу, враждебную Советскому Союзу. По имеющимся у нас данным, Даллес озабочен тем, чтобы вермахт и после поражения сохранил силы, способные подавить революционное движение в стране.

Значит, Даллес представляет те американские круги, которые сейчас разрабатывают не столько планы наступления на втором фронте, сколько планы подавления революционных сил германского народа после поражения Гитлера и, как болтал ваш подопечный американский разведчик, хотят сменить вывеску Гитлера на другую. Ненависть американского и английского народов к Гитлеру настолько велика, что Даллес, кажется, готов содействовать покушению на его жизнь, чтобы потом договориться с той же самой фашистской фирмой, по действующей уже под иной вывеской. И не исключено, что Геринг, Геббельс, Гиммлер были бы счастливы подарить рейху свое имя для этой цели.

— Да,— задумчиво согласился Вайс,— Все это, пожалуй, так...

— Слово «пожалуй» — плохое слово, — сердито прервал его профессор. — Я говорю, опираясь на факты и доказательства. И наша с вами задача — представить в Центр документы, с исчерпывающей и неопровержимой полнотой свидетельствующие, что между союзниками и оппозиционными группами рейха ведутся переговоры о сепаратном мире. Как видите, сейчас мы с вами должны поработать на Германию. На будущую Германию. Ну как, не возражаете? — Заметил с улыбкой: — Может, вы полагаете, что я, как историк по образованию, в данном случае мыслю лишь историческими категориями? Но мой опыт чекиста подтверждает: такое мышление сродни долгу, который я выполняю. Предотвратить новый заговор против народа, уже ставшего жертвой фашистского заговора, — значит спасти его. Я думаю так.

Некоторое время они молчали. Но вот после долгой паузы профессор снова заговорил:

— Рассказав вам о моей семье, я нарушил правила конспирации. Но я сделал это намеренно. Сознание, что я здесь не один, что малейшая моя оплошность может привести к гибели самых близких мне людей, воодушевляет меня, если так можно сказать, на величайшую осмотрительность. — Профессор просительно улыбнулся. — И теперь я рассчитываю, что вы будете вести себя так же осторожно. Ведь, рассказав вам о своей семье, я как бы доверил вам ее судьбу. Я знаю,

что вы несколько излишне склонны к самостоятельным действиям, часто увлекаетесь, но верю: вы поняли, чем теперь я вас обязываю неуклонно продумывать каждый ваш шаг на пути к намеченной цели.

Самоотверженное решение старого чекиста потрясло Иоганна своим великодушием, проникновенной заботой и доверием — самым высоким, какое может оказать человек мужественный, сильный, безошибочно чувствующий эти же качества у своих друзей.

Гуго Лемберг снова пригласил к себе Вайса и снова принял его в кабинете отца. Иоганн заметил, что с книжных полок исчезли материалы и книги о Советском Союзе.

На этот раз Гуго был более откровенен. Он говорил о трагическом положении Германии. Сказал, что, по данным абвера, насыщенность советских войск боевой техникой в сравнении с осенью 1942 года возросла в пять-шесть раз, соответственно вырос и их боевой опыт, и что военными средствами Германия теперь войну выиграть не может.

— А какие же средства требуются, чтобы не проиграть войну? — спросил Вайс.

Гуго ответил уклончиво:

— В США существует сильная антирузвельтовская группировка, которая заинтересована в том, чтобы сохранить военный потенциал Германии как угрозу против России. Но эта группировка бессильна против ненависти американцев к Гитлеру.

— А в Англии?

Гуго усмехнулся.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмом году Черчилль заявил, что мечтает видеть во главе Англии деятеля такой силы воли и духа, как Гитлер, а теперь он боится английского народа и вынужден обуздывать стремления лидера английских фашистов.

— Ну, а каковы намерения России?

Гуго пожал плечами.

— Сталин, выражая позицию советского правительства, утверждает, что задачей Советского Союза в войне является не уничтожение Германии, но уничтожение преступного гитлеровского режима и его вдохновителей.

Вайс развел руками.

— После отдельных неудач на фронте фюрер снял с постов многих наших прославленных полководцев, — сказал Гуго. — И этим как бы возложил на генералитет ответственность за провал кампаний.

— А теперь эти полководцы в отставке пытаются возло-

жить на фюрера вину за военные неудачи,— ехидно заметил Вайс.

Гуго бросил на Вайса недовольный взгляд.

— Если мы потерпим поражение, то пресечь революционный мятеж во всех случаях сможет только правительство военной диктатуры, состоящее из тех же полководцев,— сказал он и добавил:— По данным СД, несомненно преуменьшающим явную опасность, выходит, что сейчас в Германии лишь пятьдесят — шестьдесят процентов населения беспрекословно подчиняется правительству. Тридцать процентов недовольны существующим режимом, но опасности не представляют. Остальные — ненадежны. Этим подвергают усиленным репрессиям или пачками отправляют на фронт. Такое соотношение политико-морального состояния населения не стабильно: оно непрерывно ухудшается. Возможно, армии союзников и взяли бы на себя полицейские функции подавления недовольных. Но для этого армии союзников должны прийти в Германию, и прийти не ослабленными нашим сопротивлением, иначе они не сумеют выполнить свои важные функции.

Вайс спросил:

— Но ведь для того, чтобы они могли сохранить свои силы, нам придется снять армии с Западного фронта?

Гуго сказал со злостью:

— Паулюс изменнически капитулировал в Сталинграде, опозорил мундир германского офицера. Но если бы так поступил немецкий генерал на Западном фронте, это была бы акция, совершенная во имя спасения Германии от катастрофы революционного восстания.

— Значит, открыть фронт на Западе,— это не измена, а услуга рейху?

— Да, если мы не хотим потерять империю. Если мы хотим спасти Германию от опасности коммунизма.

При этих словах Гуго в комнату вошел офицер, внешность которого поразила Иоганна своей строгой сосредоточенностью. Приятное лицо не портила даже черная повязка, прикрывавшая его левый глаз. Сухопарый, подтянутый. Вместо правой руки — протез в лайковой перчатке, на левой не хватало двух пальцев.

— Знакомьтесь,— сказал Гуго,— полковник генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауфенберг.— Объяснил:— Граф был ранен на тунисском фронте, только что из госпиталя.— Добавил не без оттенка зависти:— Получил в Берлине пост начальника штаба резервной армии.— Обращаясь к Штауфенбергу, сообщил:— Обер-лейтенант Иоганн Вайс, как я вам уже говорил, работал в абвере, специалист по России.— Пояснил Вайсу:— У меня с полковником различные точки

зрения на русский вопрос, как, впрочем, и на некоторые иные вопросы, но это не мешает нашей дружбе.

Штауфенберг сказал, усаживаясь в кресло напротив Вайса:

— Как вы теперь знаете, я воевал в Африке. Но меня живо интересует наш главный противник — русские.

Вайс предупредил:

— Я не был на Восточном фронте.

— Но по роду своей службы вы общались с русскими военнопленными, изучали их, осведомлены о подпольных организациях, которые они создают в лагерях,— все это для меня небезынтересно. Расскажите все, что возможно,— попросил полковник.

Сначала Иоганн говорил очень сдержанно. Но потом, когда Гуго вышел, вопросы Штауфенберга стали более откровенны. В них сквозило не только любопытство. Иоганн уловил в этих вопросах даже некоторый оттенок одобрения той героической борьбе, которую ведут в условиях концлагерей русские военнопленные.

Обо всем этом Иоганн рассказывал так, будто он хотел только объяснить, как трудна и сложна работа абвера с контингентом советских военнопленных. И, говоря о стойкости, непреклонной политической убежденности военнопленных, он как бы одновременно оправдывал недостаточные успехи абвера в работе с агентурой.

Особое впечатление на Штауфенберга произвело сообщение Вайса о том, что советские разведчики спасли четырех приговоренных к казни немецких военнослужащих. Не меньше взволновал его и рассказ о побеге группы заключенных, работавших на одном из немецких заводов. Когда их поймали, они даже под самыми страшными пытками не выдали немецких рабочих, с помощью которых совершили побег. А ведь вместо тех, кто помог им бежать, они могли назвать имена любых других немцев, работавших на заводе, и тех бы казнили вместе с ними. Это избавило бы русских от пыток и дало им возможность отомстить немцам как своим палачам.

Штауфенберг слушал Вайса с глубокой сосредоточенностью. Его усталое лицо с горькими морщинками в углах рта выражало искреннюю взволнованность и вместе с тем как-то смягчилось. Он спросил:

— Вы полагаете, у военнопленных и у иностранных рабочих уже существует какая-то организация Сопротивления?

— Возможно.

— В таком случае они, несомненно, связаны с немецким коммунистическим подпольем.

— Эти вопросы находятся в компетенции гестапо,— сказал Вайс.

Штауфенберг, будто не расслышав, заметил задумчиво:

— А те, безусловно, связаны с советским командованием...

Если бы в это время не вернулся Гуго, возможно, Вайсу удалось бы составить более определенное представление о том, чем вызван интерес Штауфенберга к организациям Сопротивления военнопленных. Но при виде Гуго полковник мгновенно переменял тему разговора. Сказал, обратясь к Гуго:

— Обер-лейтенант Вайс — весьма опытный разведчик, и я почерпнул немало полезного из беседы с ним. — И, пристально глядя на Вайса, заметил поощрительно: — Ваши методы вербовки действительно оригинальны.

Вайс машинально кивнул, несколько ошеломленный: он не сказал полковнику ни одного слова о методах вербовки.

На прощание, подавая Вайсу левую руку, Штауфенберг сказал:

— Я был бы рад снова встретиться с вами.

Но им никогда больше не довелось увидеть друг друга.

В течение довольно длительного времени Иоганн исполнял функции курьера в пограничной швейцарской или шведской зоне. Каждый раз какой-то человек, особо доверенный агент, подходил к его машине, сам прятал пакет в сейф, вмонтированный в машину, и запирал своим ключом. Второй ключ находился у Густава. Третий ключ Вайс получил от профессора после того, как ему удалось снять слепок: будто желая оказать любезность одному из агентов, он взял из его рук ключ и открыл им дверь сейфа.

Теперь на маршруте Вайса встречали люди профессора. Он открывал сейф, на ходу передавал пакет и чуть медленнее продолжал свой путь. В определенном пункте его догоняли и так же на ходу возвращали пакет. Неоправданные задержки могли вызвать подозрение: Вайс знал, что в его машине установлен прибор, фиксирующий на ленте все остановки. Знал он также, чем грозит ему любая неосторожность в технике вскрытия пакета и извлечения из него документов. Знали об этом и люди профессора. Но Иоганн даже не успевал разглядеть их лиц — так быстро все происходило. И только однажды связной, с бешеной скоростью догнавший Вайса на мотоцикле, успел шепнуть, что ряд полученных от него и переданных через Центр советскому правительству документов сослужил исключительно важную службу. Документы содержали неопровержимые доказательства того, что некоторые доверенные лица правящих кругов Вашингтона и Лондона, став на путь вероломства, недозволительно нарушают обязательства, принятые главами правительств союзников. И главы правительств США и Англии вынуждены были признать это.

Что это за документы, Вайсу не было ведомо. Возможно,

фотокопии материалов, содержащих условия, на которых предлагал союзникам заключить сепаратный мир тот или иной из правителей рейха — Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс, Риббентроп; возможно, меморандумы о составе будущего правительства, представленные союзникам имперскими группами, оппозиционно настроенными по отношению к Гитлеру. Сколько бы ни были различны эти группы, все они сходились на том, что самая большая опасность как для союзников, так и для рейха — вторжение Советской Армии на немецкую территорию и революционная борьба немецкого народа за новую Германию. И все они видели спасение только в капитуляции перед западными державами и установлении в Германии правительства военной диктатуры. Об этом говорил Иоганну и Гуго Лемберг.

Иоганну было известно, что каждый из правителей империи вел секретные переговоры втайне от других. Так же действовали и прочие оппозиционные группировки. И все, кто вел эти переговоры, следили друг за другом. И ради того, чтобы выведать цену, предлагаемую союзникам за капитуляцию каждой другой группой, готовы были похитить, истязать, убить любого человека, пусть не причастного к этой торговле, но участвующего в ней в качестве курьера или связного. Те же, кто назначал цену, находились вне досягаемости, им ничто не угрожало.

В разное время два курьера такого рода групп были пойманы агентами гестапо, когда один из них пересекал швейцарскую, а другой — шведскую границу. Документы, которые они везли, попали в руки Гиммлера. Но курьеров не казнили. Они были осуждены только как спекулянты за незаконный провоз валюты. Отсюда Вайс сделал вывод, что Генрих Гиммлер осведомлен о деятельности оппозиционных групп, но почему-то не находит нужным пресечь ее.

Вайс не знал, что среди пакетов, которые он передал связному, чтобы с них могли снять фотокопии, содержалась запись разговора одного из немецких агентов тайной дипломатии с Даллесом. Речь шла о возможном главе будущего нового правительства Германии. И Даллес назвал имя Генриха Гиммлера. Он высказал предположение, что Гиммлер, будучи сейчас вторым после Гитлера человеком в империи, мог бы со временем стать и первым. Располагая огромным опытом беспощадного насилия, Гиммлер успешнее, чем кто-либо, сумеет подавить любое последующее за капитуляцией демократическое движение в стране.

Но Вайс знал другое: начальник отдела безопасности гестапо обергруппенфюрер Мюллер, жаждущий занять место рейхсфюрера, недавно арестовал агента, везшего депешу Гиммлера к Даллесу. Содержание этой депеши Мюллер сообщил Гитлеру. Все же Гиммлер кое-как вывернулся. Но теперь Мюл-

лер и Гиммлер ненавидят друг друга. Мюллер выслеживает каждого личного порученца Шелленберга, поскольку именно Шелленберг, по приказанию особо доверяющего ему рейхсфюрера, ведет тайные переговоры от его имени.

61

Внезапно Иоганн получил приказ выехать в Берн. Густав показал ему фотографию и сказал:

— Вы будете находиться в полном подчинении у этого человека или у того, на кого он вам укажет. Вы несете полную ответственность за его безопасность. Поэтому вы должны установить, ведется ли за ним наблюдение, и любыми средствами ликвидировать наблюдателя, кем бы он ни был. Возможно, что слежкой занимается целая группа. Ну что ж, я равно рассчитываю на ваше мужество, — твердо объявил Густав. — Если при этом вы сумеете остаться в живых, можете не опасаться за свою дальнейшую судьбу. Пусть даже швейцарский суд приговорит вас к смертной казни за убийство — для нас не представит особого труда добиться вашего освобождения. Швейцарское правительство хорошо знает, что если фюрер не счел целесообразным оккупировать эту страну, то на это имелись особые соображения: мы использовали и будем использовать ее в своих целях.

Запомните: те люди, которые будут заниматься слежкой за доверенным вам лицом, могли получить такие же указания в отношении вас, какие я дал вам в отношении их. Полагаю, что вы достаточно умны и поймете, что эти люди не из числа агентуры наших военных противников. Поэтому будьте осторожны там с нашими соотечественниками. Повторяю: кем бы они ни были и с какой бы, пусть самой лучшей, стороны вы их ни знали. Не забывайте об этом ни на минуту.

Вы получаете крупную сумму в английских банкнотах, но, — улыбнулся Густав, — можете не опасаться: в связи с тем, что ваше задание особо важное, это будут подлинные изделия Лондонского казначейства. — Спросил: — Ведь у вас было ранение? Так вы можете пройти там курс лечения. Заплатите побольше врачу, и он найдет, от чего вас лечить...

Транспортный самолет «Люфтганзы» на рассвете доставил Вайса в Цюрих. В тот же день он на дизельном экспрессе приехал в Берн и поселился в гостинице. У него был голландский паспорт и документы, удостоверяющие, что он является немецким политическим эмигрантом. Но ни портье, ни швейцарская полиция не потребовали, чтобы он прошел регистрацию.

Тихий, благостно-спокойный город, казалось, отделенный от потрясенного войной мира столетиями бюргерского благо-

получного бытия, был подобен заповеднику. Горожане вели такой образ жизни, как десять, двадцать, тридцать лет назад.

Город чиновничества и посольств. Пристанище разведок и разведчиков, которые в меру своих способностей перенимали от бернцев их неторопливость, чопорную вежливость и бережливое отношение к каждому франку — самой стойкой в то время валюте в мире.

Вайс взял напрокат в гостинице старенький двухместный спортивный «фиат»-фаэтон и медленно ездил на нем по городу, изучая улицы не столько с познавательной целью, сколько для того, чтобы не испытывать затруднений, когда придется опекать доверенного ему человека. Вскоре он обнаружил его. Тот осматривал старинную Бернскую ратушу, построенную в четырнадцатом веке.

Это был человек преклонного возраста и аристократической внешности. Он так свободно говорил по-французски со своей молодой спутницей, что его можно было принять за француза.

На фотографии, которую Густав показал Вайсу, у этого человека были куцые, гитлеровские усики щеточкой, а сейчас на его губе закручивались значительно более длинные кайзеровские усы. После Сталинграда многие пожилые берлинцы стали отращивать усы по стародавнему монархическому образцу.

Вайс поставил машину и тоже стал осматривать ратушу. И когда старик и его спутница приблизились к нему, он вслух выразил свое восхищение старинной архитектурой.

Старик внимательно посмотрел в лицо Вайса, — по-видимому, он тоже был знаком с ним по фотографии. Пожевал губу, чуть заметно кивнул, не потому, что этого требовала конспирация, а потому, очевидно, что ему было свойственно высокомерно здороваться с людьми, и, уже не глядя на Вайса, бросил:

— Если у вас нет потребности любоваться этим старым сооружением, можете не затруднять себя больше...

Это был князь Гогенлоэ, доверенное лицо фюрера в переговорах с Даллесом. И, как понял потом Иоганн, князю ни с какой стороны ничто здесь не угрожало. Первоначально присутствие Вайса в Берне нужно было Канарису и Шелленбергу лишь для того, чтобы дать князю понять: им известно, зачем тот приехал сюда, потому они поручили своему агенту сыграть роль почетной охраны при его персоне.

Но Даллес, как он однажды выразился, «предпочитал более перспективных представителей, из руководящих кругов СС». И именно об этих «перспективных представителях» Вайс должен был проявить заботу, помня все наставления Густава.

Вечером Вайс зашел в кафе недалеко от американской миссии и увидел в нем майора Штейнглица. Штатский костюм и осунувшаяся, печально-озабоченная физиономия Штейнглица не вызывали у Вайса желания выказывать особую почтительность к своему бывшему начальнику. Он незаметно подошел сзади и легонько хлопнул его по плечу. Штейнглиц съехался и поспешно сунул руку за борт пиджака.

Вайс удержал его руку. Штейнглиц поднял глаза и расплылся в искренней, радостной улыбке.

Разговаривали они как равные. Зная, что Штейнглиц все равно будет допытываться, почему он оказался в Берне, Вайс тут же сообщил с недовольным видом, что у него скучное поручение чисто финансового характера. Штейнглиц посочувствовал:

— Швейцария — не то место, где следует сбывать наши фальшивые банкноты.

Вайс удрученно заметил:

— Приказ есть приказ.

Штейнглиц протянул мечтательно:

— В Италии наши люди обменивают английские фунты германского производства и скупают ценности. Вот это бизнес!

— Как дела? — спросил Вайс.

— Как видишь, — ответил Штейнглиц. — Сиж у окна, разглядываю прохожих.

— Посещающих американскую миссию, — улыбнулся Вайс. Наклонился: — Я полагаю, вашей службе следовало бы занять такой же пост у посольства Великобритании.

— Американцы — обнаглевшие сволочи! — злобно проворчал Штейнглиц. — Хотят устранить Канариса и напечатали в своих газетах, что он якобы участвует в заговоре против фюрера. Это провокационная работа их разведки. Но зато англичане им в отместку напечатали целую серию статей о нашем адмирале: призывают казнить его, как злодея, после войны.

— Дружеские услуги за прошлое и настоящее, — сказал Вайс таким непререкаемым тоном, что Штейнглиц вынужден был промолчать.

Боязливо оглянувшись по сторонам, он позволил себе заметить только:

— Однако ты стал слишком самоуверенным.

— Заразился от своего непосредственного начальства.

— Да, — задумчиво произнес Штейнглиц. — Нашему сухопутному адмиралу сейчас приходится туго. Но он еще покажет себя... — Прощептал еле слышно: — Ленгебен проболтался ему, что союзники не верят в фюрера и ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких, как рейхсфюрер СС Гиммлер. — Добавил задумчиво: — Хотя, в сущности, из всех этих за океаном Даллес расположен к ним наиболее дружелюбно. Говорят, он заявил, что признает при-

тязания германской промышленности на ведущую роль в Европе.

— Да, — согласился Вайс, — он не хочет, чтоб после войны Англия оказалась самой сильной в Европе державой.

— Значит, не так уж все плохо, — отозвался Штейнглиц. И вдруг нахмурился, лицо его стало жестким. — Так ты теперь занимаешься политической разведкой?

— Чтобы была полная ясность, — строго сказал Вайс, переходя на «вы», — я знал, что встречу вас здесь. Информирован о вашем задании. — Усмехнулся. — Мое не совпадает с вашим, вы человек Канариса, а не Гиммлера. Помня о наших прежних хороших отношениях, я считаю своим долгом предложить вам нейтралитет.

— Нейтралитет? — удивился Штейнглиц. — Скажите пожалуйста, как мило!

— Этого достаточно для того, чтобы наши люди случайно не ухлопали вас, — деловито заявил Вайс. — Пора абверовцам прекратить соваться туда, где они уже не котируются.

Лицо Штейнглица стало серым.

— Значит, Гиммлер не простил мне ту старую историю в Англии.

— Очевидно, — сказал Вайс, — Канарис, используя свою дружбу с Гейдрихом, в свое время спас вас. Что же касается Гиммлера, то он не испытывает к адмиралу даже подобия симпатии.

— Да, — задумчиво согласился Штейнглиц, — и ему ничего не стоит меня прихлопнуть.

— А что, если вы окажете содействие его сотруднику и этот сотрудник не забудет упомянуть в своей информации о вашей услуге?

Штейнглиц, поколебавшись, медленно заговорил:

— Черчилль говорил Хесселю, что до совершения переворота он никаких обязательств на себя взять не может, но если переворот произойдет и новое правительство будет обладать достаточным авторитетом, то удобный выход найдется. Англичане помнят, какую услугу оказал им Канарис, когда они после Дюнкерка оказались в катастрофическом положении: он представил фюреру доклад, в котором неимоверно преувеличил оборонеспособность Англии и соответственно преуменьшил силы русских. Они благодарны ему и будут отстаивать его кандидатуру в новом правительстве. Кроме того, адмирала поддержит и часть генералитета.

— Слушайте, — сказал Вайс нарочито раздраженным тоном. — Будет ли в новом правительстве Гиммлер, Геринг, Канарис или останется фюрер — это нас с вами не касается. И лучше нам в такие дела не соваться.

— Правильно, — согласился Штейнглиц. — Ну, а если суют?

— Раньше, когда вас посылали за границу, вы работали против определенной иностранной державы, и все было ясно.

— Это так, — кивнул Штейнглиц.

— А сейчас, — сказал Вайс, — если вы будете работать против Англии или США, вас пристрелят, и не кто-нибудь, а наши. Те, которые работают на американцев и англичан.

— Так что же ты предлагаешь? — удрученно спросил Штейнглиц.

— Я уже предложил: свой нейтралитет в уплату за ваши услуги.

— Цена неравная, — заметил Штейнглиц.

— Здесь то же неравенство, как и между моим рейхсфюрером и вашим адмиралом, корабль которого, возможно, в самое ближайшее время, но уже без самого адмирала, войдет в состав СД, — вспомнил Вайс намек Шелленберга.

— Да, такие разговоры ходят, — угрюмо согласился Штейнглиц.

— Ну как? — спросил Вайс.

— Послушай, — Штейнглиц круто повернулся к нему всем корпусом, — а что, если я имею указание, встретив на своем пути такого, как ты, устранить его?.. И я бы, клянусь, устранил. Ты знаешь, я умею это делать. Но вот увидел тебя, и, внаешь, впервые рука не поднялась.

В душе Йоганн обрадовался: значит, первая нависшая над ним угроза предотвращена. И, чтобы закрепить гарантию безопасности, сказал небрежным тоном, снова переходя на «ты»:

— Через нашу агентуру Шелленбергу стало известно об указании, которое ты получил. Но я попросил его не принимать в отношении тебя никаких мер до тех пор, пока я не вступлю здесь с тобой в личный контакт.

— И ты неплохо отозвался обо мне, когда говорил с бригаденфюрером?

— Да, — твердо заверил Вайс. — Ведь я видел от тебя только хорошее.

Штейнглиц растроганно пожал ему руку.

— Знаешь, — сказал он как-то растерянно, — это очень странно, но ты всегда вызывал у меня подозрение.

— Чем же? — спросил Вайс.

— Ну, своей порядочностью, что ли, — с трудом подбирая слова, объяснил Штейнглиц. — Как бы это сказать... Ну, не тот мундир в рядах нашей службы. — Признался печально: — Вообще-то у меня нет чутья на порядочных людей. Не часто приходилось их встречать.

Со дня этой встречи Штейнглиц добросовестно снабжал Вайса информацией, добытой у тех самых ведущих тайные переговоры с союзниками уполномоченных Канариса, которых он бдительно охранял от агентов гестапо.

Со своей стороны Вайс охранял гиммлеровского уполномоченного от разносторонней слежки, которую вели и гестаповцы Мюллера, и абверовцы, и агенты Риббентропа, в свою очередь проводившие здесь тайные переговоры с союзниками от имени фюрера.

Спустя три недели Вайс уже вошел в состав большой группы СД, подчиненной полковнику СС Отто Гауптману.

Вскоре Гауптман вызвал к себе Вайса и еще двух сотрудников. Показав им фотографию Штейнглица, он дал указание выследить его и ликвидировать, а труп отвезти за город, сунуть в мешок с цементом, залить водой, подождать, пока цемент схватится, и тогда утопить в Аре. Зацементированные трупы никогда не всплывают.

Операцию было назначено провести через два дня. Вайс отправился на поиски Штейнглица и, найдя его в маленькой пивнушке на окраине города, где они обычно встречались, рассказал, какая опасность ему угрожает. Штейнглиц принял это известие с мрачной покорностью судьбе. Он только спросил:

— Может, лучше мне самому?..

— А спастись ты не можешь?

— Как? — спросил Штейнглиц. — В Германии все равно найдут. Здесь тысячи агентов гестапо. Если удеру в другую страну, они сообщат по радио, по телеграфу... Все равно меня возьмут, разве что потрошить будут дольше, только и всего. — Он подал руку, прощаясь, произнес сдавленно: — Спасибо, что рассказал.

— А почему такое решение, как ты полагаешь? — спросил Вайс.

Штейнглиц сказал задумчиво:

— Это не наши решили, это те. — Он махнул рукой куда-то в сторону, добавил сконфуженно: — Не забыли, что я когда-то, еще до войны, убил чиновника министерства иностранных дел Англии, похитил для фюрера документы. Наверно, адмирал теперь выдал меня англичанам, чтобы никакие пятна не затемняли его отношений с ними. Ну а те в качестве предварительной проверки лояльности гестапо к интересам Британской империи потребовали, чтобы меня ликвидировали. А ээсовцы в порядке, как говорится, любезности взяли это на себя. Вот и все,

Ссутулился, опустил голову на руки. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа.

— Прощай, Йоганн, — сказал Штейнглиц, — прощай и живи, пока тебя свои же не ухлопают так же, как меня, за излишнее служебное рвение...

В ту же ночь Штейнглиц застрелился у себя в номере гостиницы.

Полковник Отто Гауптман договорился с похоронной конторой о торжественном погребении соотечественника.

Самоубийство немцев считалось сейчас крайне нежелательным, и пришлось пойти на значительные расходы, чтобы полицейский врач констатировал смерть от разрыва сердца.

На кладбище гроб с телом Штейнглица доставили в черной автомашине-катафалке. Надгробная плита была уже приготовлена. На ней были высечены имя, даты рождения и смерти и надпись: «Благородному сыну рейха от любящих и скорбящих соотечественников».

62

Через несколько дней Вайс отбыл обратно в Германию.

Гауптман поручил ему лично передать Шелленбергу, что шеф склонен поддержать намеченную кандидатуру, но провозглашение нового фюрера следует приурочить лишь к высадке войск союзников — в ином случае последствиями этой операции могут воспользоваться антиправительственные элементы.

Из Берна Иоганн послал несколько информации в Центр по каналу связи, указанному ему профессором Штутгофом. Успел он передать и то, о чем ему изустно сообщил полковник Гауптман.

На немецкой границе дежурный офицер вручил Вайсу приказ покинуть машину и немедленно вылететь в Берлин.

В самолете кроме него оказалось только четверо пассажиров. По-видимому, они не были знакомы друг с другом и не стремились завязать знакомство. За всю дорогу никто из них не проронил ни слова, но когда самолет приземлился на запасном аэродроме и Вайс сошел по трапу на землю, тот из пассажиров, который шел рядом, молниеносным движением замкнул на его запястьях наручники. В то же мгновение другой пассажир, шедший сзади, накинул на Иоганна плащ, с таким расчетом, чтобы не было видно его скованных рук. Двое остальных встали по бокам.

Прямо на посадочную площадку въехала машина, в которой сидели два офицера в форме гестапо. Дверца распахнулась, спутники Вайса втокнули его в машину, а сами как ни в чем не бывало продолжали лениво шагать к зданию аэропорта.

Сквозь окрашенные стекла машины ничего не было видно. Обращиваясь к гестаповцам, Вайс сказал:

— Хорошо работаете.

— Есть опыт, — откликнулся один из них.

— А может, вы ошиблись? — спросил Вайс и пояснил угрожающе: — Я обер-лейтенант СД.

— Да? — спросил тот же гестаповец. И, усмехнувшись, до-

бавил: — Всякое бывает. У нас генералы тоже иногда рыдают, как дети.

— Дайте закурить, — попросил Вайс.

Ему вложили в рот сигарету, щелкнули зажигалкой.

Вайс кивнул, похвалил:

— А вы, ребята, оказывается, можете быть вежливыми.

— Для разнообразия! — захохотал гестаповец, который с самого начала поддерживал разговор.

— Весельчак, — заметил Вайс.

— Правильно, — согласился гестаповец. — Просто шутник! — Он снова щелкнул зажигалкой и поднес ее к самому носу Вайса.

Иоганн откинул голову.

— Брось, — разжав наконец губы, недовольно сказал второй, — всю машину завоняешь.

— Ничего, пусть привыкает. — И первый гестаповец снова поднес к лицу Вайса зажигалку.

Кожа на подбородке сморщилась, но теперь Иоганн остался неподвижен.

— Твердый орешек! — объявил первый гестаповец.

— Ничего, не таких раскалывали, — хмуро заметил второй.

Голову Иоганна закутали плащом. Машина остановилась. Его подняли и повели, сначала по каменным плитам, а потом куда-то вниз, по такой же каменной лестнице. По пути неторопливо обыскиали.

Наконец с головы Иоганна сдернули плащ, и он увидел узкую бетонную камеру с низким сводом. Откидная железная койка, откидной столик, параша. Стоваттная лампа заливала камеру ослепляющим, ядовитым светом. В темной двери глазок.

Дверь захлопнулась. Спустя некоторое время снова явился надзиратель, принес тюремную одежду, приказал Вайсу переодеться, но прежде тщательно осмотрел его, даже полость рта.

Иоганн молча подчинился, понимая, что всякий протест бессмыслен.

Когда Вайс переоделся в полосатую одежду, надзиратель заметил одобрительно:

— А ты не нервный!

— А что, сюда только нервных сажают? — спросил Вайс.

— Увидишь, — пообещал надзиратель и ушел с его одеждой, бросив на пол камеры дымящийся окуроч сигареты. Но поначалу Иоганн еще не смог по достоинству оценить этот акт величайшего милосердия.

Больше месяца Вайса не вызывали на допрос.

Все это время он тщательно и последовательно восстанавливал

ливал в памяти свою двойную жизнь — советского разведчика и сотрудника германской секретной службы.

Он продумывал ее всесторонне, как следователь, и параллельно сопоставлял одну с другой в поисках оплошностей, упущений, улик.

Он всячески выверял свою деятельность советского разведчика, то рассматривая ее с точки зрения Барышева, то глядя на нее со стороны, с жестокой пронизательностью гестаповца или с утонченной подозрительностью начальствующих над ним лиц германской секретной службы.

Не раз приходило ему в голову, что он стал жертвой тайной борьбы главарей секретных служб за первенство, за власть. Думать так было все же утешением.

Самым страшным представлялось только одно: он как советский разведчик допустил где-нибудь когда-нибудь промах, непростительную ошибку... А что, если эту ошибку совершил кто-нибудь из тех, с кем он был связан?

Он думал о тех людях, из которых составил цепочку в «штабе Вали». Каждого он вернул к жизни, доверив ему свою собственную. В любом из них как бы заключалась частица его самого. Нет, он не мог осквернить себя сомнением в них.

Но где-то что-то порвалось в этой цепочке, если он здесь...

Он думал о Зубове, который часто с самоуверенностью бесшабашного храбреца пренебрегал мерами предосторожности. Но этот недостаток искупался у Алексея отчаянной решимостью и находчивостью. Однажды во время боевой операции у Зубова в мякоти ноги застряла пуля. Зубов сел, выдал из раны эту пулю, подбросил ее на ладони и, оскалив белые зубы, объявил:

— Ну, теперь можно идти налегке.

И шел, почти не прихрамывая.

Нет, Зубов всегда находил выход из самых опасных положений...

Вайс с исключительной дисциплинированностью выполнял все правила распорядка тюремной жизни и даже снискал себе этим уважение надзирателей. Он щеткой до лакового сияния доводил каменный пол, надраивал тряпкой стены. Его тюремное имущество — миска и ложка — блестело. Он трижды в день делал физическую зарядку, обтирался смоченным в кружке с водой полотенцем, совершал по камере длительные прогулки в несколько тысяч шагов; занимался чтением любимых книг, восстанавливая в памяти некогда прочитанное.

Университетом тюремного бытия служили для Вайса любимые его книги о подвигах революционеров. И еще рассказы отца, просидевшего до революции много лет в одиночке. Свою камеру отец обратил в подобие класса: он изучал иностран-

ные языки по самоучителям и прочел то, что ему было некогда прочесть в другое время.

Давая волю воображению, Вайс мысленно перебрасывал себя в то прошлое, с которого начался подвиг старшего Белова. Он как бы продолжал этот подвиг здесь. Гестаповская тюрьма виделась Вайсу царским застенком.

Но для полноты реальности этого ощущения ему не хватало одного: Вайс не мог избавиться от сознания, что он лишь ученически повторяет подвиг старших — идет по изведанному пути, уже обученный нравственным правилам, нарушение которых было бы подобно измене.

Тревожило его то, что, отторженный заключением от внешнего мира, очутившись наедине с самим собой, он начинал утрачивать черты Иоганна Вайса. Облик Александра Белова все явственнее проступал в нем, все его недавнее немецкое бытие рассеивалось, как мираж, как нечто вымышленное, никогда не бывшее.

И Белов вынужден был начать самоотверженную, кропотливую работу над своей волей, всеми силами стремясь сохранить в себе Вайса. Он заставил себя отказаться от столь отрадных для него воспоминаний Саши Белова и ограничиться сферой воспоминаний немца Иоганна Вайса — сотрудника германской секретной службы, незаконно и беспричинно арестованного гестапо.

Только на втором месяце заключения Вайса вызвал следователь, лысоватый, сутулый человек в штатском. С равнодушной вежливостью он задал ему лишь несколько общих анкетных вопросов.

Протесты Вайса против необоснованного ареста следователь выслушал с некоторым вниманием, ковыряя при этом в ушах спичкой, потом, аккуратно положив спичку обратно в коробок, осведомился:

— Есть ли жалобы на тюремную администрацию?

Вайс сказал:

— Пока нет.

— Тогда подпишите, — и следователь подтолкнул к Вайсу печатный бланк, в котором было сказано, что заключенный не имеет претензий к администрации тюрьмы.

Вайс ядовито улыбнулся.

— Я сказал: пока. — И, наклонившись к следователю, спросил: — Я с этими нашими методами достаточно хорошо знаком: сначала заключенный подписывает такую штуку, а потом мы спускаем с него шкуру, верно?

Следователь молча положил бланк в папку, приказал охраннику:

— Уведите заключенного!

На следующий день Вайс снова был вызван на допрос.

На этот раз следователь выглядел совершенно иначе. Но

его преобразил не только мундир гестаповца. Он был явно воодушевлен чем-то. Оглядев Вайса с ног до головы, потирая с довольным видом руки, следователь прочел его показания и спросил, подтверждает ли он их.

Вайс сказал:

— Да, подтверждаю.

Лицо следователя мгновенно обрело жестокое и властное выражение.

— Лжешь, ты не Вайс! — крикнул он.

— Так кто же я?

— А вот это мы из тебя еще выьем! — Помедлив, наслаждаясь тем, что уличил преступника, торжественно объявил: — Обер-лейтенант господин Иоганн Вайс — тот, за кого вы выдавали себя, — мертв. Он погиб в автомобильной катастрофе! — Следователь порылся у себя в папке, достал два фотоснимка и протянул Вайсу.

На первом были сняты обломки автомашины, лежащий ничком, пронзенный рулевой колонкой знакомый Иоганну курьер и рядом с ним другой труп, с разможенным о ветровое стекло лицом.

На втором снимке был запечатлен только труп человека с разможенным лицом. Увидев на нем свой костюм, отобранный в первый день заключения в тюрьме, Вайс испытал чувство облегчения. Значит, все это подстроено гестапо и он взят не как советский разведчик, а как сотрудник службы Шелленберга.

Вайс небрежно бросил оба снимка на стол, сказал:

— Жаль парня!

— Какого именно? — поднял брови следователь.

— Курьера, которого вы убили. Второго, на которого вы надели мой костюм, вы так отделали — не только я, родная мать не опознала бы. Ну что ж, узнаю традиционные методы службы гестапо. — Наклонился, спросил: — Так чем вызваны эти ваши хлопоты?

Следователь сохранял на лице невозмутимое выражение, будто Вайс говорил на неведомом ему языке и он ничего не понял. Помедлив, следователь спросил:

— Теперь признаете, что вы не тот, за кого себя выдавали?

— Не валяйте со мной дурака, — сказал Вайс.

— Вы на что-то еще рассчитываете? — поднял на него глаза следователь. Достал третью фотографию, подавая ее, улыбнулся. — Вот, взгляните — и вы поймете, что вам не на что больше надеяться. Сделайте из этого разумный вывод.

На снимке — траурные носилки с урной, на урне табличка: «Иоганн Вайс», другие надписи на табличке мельче, их разобрать нельзя. Носилки несут Генрих Шварцкопф, Густав,

Франц. Четвертого человека Вайс не знал. Позади носилок — сам Шелленберг, рядом — Вилли Шварцкопф.

— Ну? — спросил следователь. — Теперь вам все ясно? Обер-лейтенант Вайс мертв, и прах его замурован в урне. Иоганн Вайс больше не существует.

— Скажите, — осведомился Вайс, — а этот бедняга, которого вы уколошили вместо меня, он в самом деле заслуживал такого почетного эскорта? Если бригаденфюрер когда-нибудь узнает, что стал игрушкой в вашей комбинации, многим из вас несдобровать, и вам в том числе.

На следователя эти слова, видимо, произвели впечатление, в глазах его мелькнул испуг. Он приподнялся и объявил официальным тоном:

— Заключенный номер две тысячи шестнадцать, ваша вина усугубляется дачей ложных показаний, в чем я вас сейчас и уличил посредством неопровержимых фотодокументов.

Спустя несколько дней следователь опять вызвал Вайса. Но теперь на допросе присутствовали еще двое в штатском. Следователь вынул из папки новую фотографию, где Вайс был снят возле машины, на которой он ездил в Швейцарию в качестве курьера — перевозчика ценностей.

Следователь спросил:

— Вы можете подтвердить, что на снимке именно вы?

— Кажется, похож.

— Да или нет?

Вайс промолчал.

Следователь заявил:

— Это, несомненно, вы.

На второй фотографии Вайс был заснят в швейцарском банке, а на третьей был запечатлен документ с подписью Вайса и чиновника банка, свидетельствующий о том, что от него, Вайса, принято десять килограммов золота в двадцати слитках.

— Это ваша подпись? — спросил следователь.

— Но вы сказали, что Иоганн Вайс мертв, а я неизвестно кто.

— Нашим расследованием установлено, что вы Вайс — однофамилец погибшего во время автомобильной катастрофы обер-лейтенанта Иоганна Вайса. — И крикнул: — Встать!

Вайс нехотя поднялся.

Двое штатских тоже встали со своих мест. Один из них надел очки и прочел по бумажке:

— «На основании статей законов (следовало перечисление) чрезвычайный народный суд Третьей империи Иоганна Вайса, уличенного в незаконном вывозе золота за пределы рейха, приговаривает за совершенное преступление к смертной казни через повешение. — Добавил: — Примечание. Руководствуясь неопровержимыми уликами и в связи с тем, что

преступник не мог быть доставлен в суд из тюремного госпиталя, где он находится, приговор вынесен судом заочно».

— Но, мне кажется, я абсолютно здоров,— сказал Вайс.

— Сейчас это для вас уже не имеет значения,— сказал человек в штатском, укладывая очки в футляр.

Следователь снова обратился к Вайсу:

— Я снял с вас обвинение в лжесвидетельстве, поскольку установлено, что вы действительно носите фамилию Вайс.

Вайс поклонился и шаркнул ногой.

— Вы имеете что-нибудь сказать? — спросил следователь.

— Только два слова,— усмехаясь, заявил Вайс.— Одному из наших агентов в Берне я оставил письмо на имя Вальтера Шелленберга, в котором высказал предположение о возможности подобной комбинации со мной и об опасности, грозящей мне со стороны господина Мюллера. Об этом меня предупредил агент абвера майор Штейнглиц.

— Ну что ж,— сказал человек в штатском,— тем скорее, значит, вам придется последовать за господином Штейнглицем.

Но Вайс заметил, что при этом его заявлении все трое «судей» украдкой переглянулись.

Сколько Иоганн ни пытался не думать о казни, сознание не повиновалось ему.

Он смог лишь вынудить себя не представлять подробностей, отсеять их.

Он знал, что может быть казнен немцами как советский разведчик. И все поведение перед смертью было им продумано до мельчайших подробностей. Он был уверен в себе и знал, что до последней минуты сумеет сохранить достоинство советского человека, чекиста. И эта борьба до последнего мгновения за свое достоинство должна была поглотить его целиком, заслоняя мысль о самой смерти.

Но быть казненным в обличье Иоганна Вайса — нет, к этому он не был подготовлен.

Самое страшное, что даже в эти предсмертные часы он не может, не имеет права стать самим собой. Он будет казнен немцами как немец.

Гестаповцы убьют немца, сотрудника германской секретной службы, и только.

Нелепость такой смерти терзала душу, приводила в бешенство.

Бессмысленно напрягать все свои душевные силы, готовиться к смерти, как к некоей вершине. Он может вопить, рыдать, молить о пощаде. Он может заниматься этим сколько угодно. Это будет только естественно для Иоганна Вайса, ставшего жертвой борьбы двух секретных служб, жалкой жертвой грызни между властителями рейха. И Вайсу нет нужды и не для чего сохранять человеческое достоинство перед смертью.

Но Александр Белов все же решил отвергнуть логику таких мыслей. Ведь существовал еще Вайс, тот Вайс, каким он стал. Ведь этот, нынешний Вайс во многом отличался от того, прежнего, с которым он начал свой путь. Он стал личностью в своем роде. И с этой личностью, возможно, кое-кому придется считаться.

Белов, взвешивая все шансы на спасение, пришел к выводу, что если бы Иоганн Вайс, живущий в мире подлости, и пошел на сделку, то это была бы только никчемная отсрочка, купленная ценой слабодушия. А именно к этому понуждали Вайса двое людей, поочередно являвшихся к нему в камеру. Первый, приторно вежливый, по-видимому юрист по образованию, приходил один раз в неделю. Терпеливо, логично и настойчиво он убеждал Вайса сообщить все, что ему известно о деятельности в Берне агентов тайной дипломатии Шелленберга. За это он сулил ему помилование. С ним, воспитанным и образованным человеком, Вайс держал себя нагло, угрожая возмездием со стороны Бальтера Шелленберга. Юрист тихо и убежденно отвечал:

— Даже если упомянутой вам личности станет известно о месте вашего пребывания, вряд ли она теперь проявит к вам интерес, ибо знает, что здесь умеют заставить человека развязать язык. И в силу этих обстоятельств вы не представляете уже никакой ценности.

— Значит, если вы меня потом и выпустите на свободу, эта личность сделает все, чтобы расправиться со мной за длинный язык?

— Несомненно,— соглашается юрист.— Но другая личность, которая заинтересована в вашей информации, располагает достаточными возможностями, чтоб экспортировать вас, допустим, в Испанию.

— Чтобы там ребята Шелленберга расправились со мной?

— Это будет зависеть от вашего таланта конспиратора.

— А что мне помешает сообщить из Испании Шелленбергу, какую комбинацию вы проделали со мной?

— Это бессмысленно. Шелленбергу своевременно будут предъявлены ваши показания. Почему бы ему не поверить им?

— А потом он договорится с вашим главным лицом, и они сообща решат убрать меня.

— Это произойдет не сразу. И даст вам некоторое продление жизни.— Юрист улыбнулся, спросил: — Вы, надеюсь, заметили, насколько я с вами откровенен? Предельно, не правда ли?

— Ну, еще бы,— сказал Вайс,— дальше некуда!

Второй человек приходил в камеру Вайса только по пятницам — в день, когда в тюрьме производились казни и экзекуции.

Этот был низкорослый, с толстой шеей, широкоплечий, с тугим, выпуклым пузом и неподвижным, мертво застывшим лицом.

Войдя в камеру, он прежде всего проверял, достаточно ли крепко связаны руки у заключенного. Потом снимал с себя пиджак, аккуратно клал его на табурет, засучивал рукава и, натянув перчатки из толстой кожи, молча, опытно, так, чтобы смертельно не искалечить, бил Вайса в продолжение двадцати минут. Садился, отдыхал, а потом повторял все снова. Перед уходом спрашивал:

— Ну?— И уходил, небрежно бросив:— До следующей пятницы.

Вайс вынудил себя в перерыве между избиваниями разговаривать с этим человеком. Так, будто понимает его профессиональные обязанности и считает, что они не должны служить преградой для общения.

Вайс пошел на это потому, что с каждым разом ему все труднее было восстанавливать силы, готовиться к новому избиванию.

А умереть от побоев он не хотел. Первое время, используя свой опыт занятий в боксерской секции «Динамо», он, чтобы ослабить побои, старался смягчить их, отшатываясь в момент нанесения удара. Но низкорослый разгадал эту хитрость и, избивая, стал прислонять Вайса к стене.

Пока палач отдыхал, присев на койку, Вайс, изможденно опираясь о стену спиной, боясь отойти от нее, чтобы не упасть, еле двигая разбитыми губами, рассказывал случаи об исключительной преданности собак своим хозяевам, об их уме и удивительной способности чутко улавливать настроение человека. Однажды он заметил в кармане пиджака своего истязателя собачий ошейник с поводком и решил попытаться смягчить булжник его сердца разговорами о животных.

Но тот только молча слушал, потом со вздохом подымался и снова начинал усердно трудиться над Вайсом.

После трех недель таких посещений низкорослый, закончив сеанс, объявил:

— Ну-с, все.— Протянул Вайсу руку, спросил шепотом:— Заметили, никаких внутренних органов не повредил? А почему? Действительно, как и вы, имею ту же слабость. Из всех живых существ предпочитаю собак.

Процедуры избиваний на этом окончились, так же как и посещения вежливого юриста, который после своих безуспешных попыток склонить Вайса к откровенности пожаловался:

— Как психолог, я вас понимаю. Вы настолько широко осведомлены в нашей методике, что у вас полностью атрофировался комплекс доверчивости, и в силу этого я лишен возможности с вами контактировать.

На несколько дней Вайса оставили в покое, потом однажды его разбудили, надели рубаху с отрезанным воротом, завязали на спине руки и повели. Сначала казнили двоих. Потом еще двоих. И когда Вайс и стоящий рядом с ним скрюченный, очевидно с поврежденным позвоночником, человек подняли уже головы, чтобы на них надели мешки, их обоих развели по камерам.

Потом еще и еще раз Вайса водили на казнь. Он возвращался в свою камеру живым, но с таким ощущением, что его уже трижды казнили.

И после этих трех несостоявшихся, но пережитых казней Иоганн впал в состояние безразличия ко всему. И когда он уличил себя в этом, из презрения к себе самому решил снова стать самым примерным заключенным, чтобы волей к действию перебороть давившую его свинцовую тяжесть пережитой смерти.

Вновь в камере все блестело, вновь Вайс занимался гимнастикой, полдня уходило на многокилометровые путешествия, во время которых он мысленно перечитывал любимые книги или разыгрывал в уме шахматные этюды.

Счет дням Вайс вел по количеству мисок с баландой, которые он получал. Ибо здесь в камере, не было ни дня, ни ночи. С пронзительной яростью светила стоваттная лампа, казалось выедавая глаза жгучим, как серная кислота, светом. Но после того, как посещение камеры Вайса этими двумя лицами прекратилось, стоваттную лампу заменили совсем слабосильной, красновато-тлеющей двумя волосками. И в камере стало темно, как в яме, и холодно, как в яме. Очевидно, сильная лампа согревала воздух и не давала возникнуть непреодолимому ощущению озноба, который теперь беспрестанно мучил Иоганна.

Смертный приговор продолжал висеть над ним. Но он приучил себя не думать об этом.

На каждый следующий день он давал себе задание. Например, пройти пешком из Москвы до Баковки и снова вернуться в Москву, — значит, сорок шесть километров, сначала мысленно смотреть на правую сторону, а на обратном пути — на левую.

Он придумывал сложнейшие гимнастические упражнения, математические задачи.

Одно время он колебался: не уступить ли? Рассказать все что ему известно о тайной дипломатии Шелленберга, и этим купить хотя бы временную свободу. Но, тщательно взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу: если его не казнили до сих пор, то только потому, что не удалось вырвать из него никаких сведений. А когда он станет пустым, его уничтожат, как уничтожают использованные пакеты от секретных документов. Кроме того, очевидно, его стойкость

внушила гестаповцам мысль, что в политической секретной службе он более важная фигура, чем они до сих пор предполагали.

А самое главное — над Шелленбергом и Мюллером стоит Гиммлер, и Шелленберг действует по поручению Гиммлера. И если Мюллер использует сведения Вайса против Шелленберга, об этом будет знать Гиммлер. Он помирит Шелленберга с Мюллером, и оба они после примирения (а может быть, и до него) постараются расправиться с Вайсом. Конечно, он мог бы увильнуть от их мести, уйти в подполье, например, в группу Зубова, но это значит погубить карьеру Иоганна Вайса, а чтобы проникнуть на место Вайса, многим советским разведчикам придется пойти на смертельный риск. Нет, надо бороться за свою жизнь во имя сохранения жизни Иоганна Вайса.

Даже тюремные надзиратели прониклись уважением к этому заключенному, приговоренному к смерти, который с таким упорством сопротивляется физическому и психическому разрушению, казалось неизбежному в условиях, когда каждый новый день может стать последним днем.

Камера Вайса блистала чистотой, которую он наводил с редким усердием.

Он был дисциплинированным заключенным, бодрым, приветливым и никогда не терял при этом чувства собственного достоинства.

Постепенно Вайсу удалось сломить двух надзирателей — старых профессионалов тюремщиков, у которых заключенные вызывали меньшее любопытство, чем кролики в клетках.

Они почувствовали к Вайсу нечто вроде расположения, как к образцовому заключенному, и стали оказывать ему мелкие услуги. Вайс получил возможность читать книги. В углубленном, отрешенном чтении он обретал душевное равновесие, способность наблюдать за собой как бы со стороны. И когда он обрел эту способность, он проникся к себе доверием, спокойной уверенностью в том, что не утратит теперь контроля над собой ни при каких обстоятельствах.

В конце июля за Иоганном внезапно пришли надзиратели. Он подумал: «Поведут на казнь».

И удивился, что не впадает в протрацию и не испытывает ни содроганий ужаса, ни даже желания думать о чем-нибудь значительном в эти последние минуты.

Должно быть, он так устал размышлять о смерти, что разучился страшиться ее. Но его повели не туда, где совершались казни, а на этаж выше, где находились общие камеры.

Идя по коридору, он слышал, как хлопали железные две-

ри, шаркали по бетонному полу чьи-то ноги, стучали кованые каблук охраны.

Мимо него прошел немецкий генерал со скрученными на спине руками и разбитым лицом. Спина генерала казалась вогнутой — с такой силой два эсэсовца подталкивали его сзади стволами автоматов.

Общая камера, где неожиданно для себя оказался Вайс, напоминала армейскую казарму — столько здесь было офицеров. Но выглядели они как вояки, только что сдавшиеся в плен неприятелю, заставшему их врасплох.

Противник сорвал с них погоны, выдрал вместе с сукном мундиров знаки наград; некоторые были избиты, двое со следами ранений лежали на полу.

Кроме армейских, здесь были и люди в штатском. Один почему-то в шелковой пижаме и домашних меховых туфлях.

Койки в три этажа, наподобие этажерок, все оказались заняты старшими офицерами. Остальные или сидели, или лежали на бетонном полу.

В отдалении от всех сидел, прислонившись спиной к стене, человек в штатском. Окровавленная голова его бессильно свесилась на грудь, он был без сознания, но на него никто не обращал внимания.

Вайс налил в металлическую кружку воды, взял пачку бумаги, лежащей на полочке над парашей, скатал из нее тугие шарики, положил их на пол, зажег и на этом крохотном костре согрел в кружке воду, обмыл голову раненому и обложил рану такой же бумагой. Потом оторвал от подола своей нижней рубахи длинный лоскут и перебинтовал его голову.

Вайс заметил, что заключенные внимательно следят за его манипуляциями. Закончив, он поднялся с пола, оглядел всех и сухо заметил:

— Однако, господа, это не по-солдатски — отказать в помощи раненому.

— Это что, поучение? — раздраженно спросил белобрысый офицер.

— Да, — сказал Вайс, — поучение. — И посоветовал: — Берегите нервы, они вам еще пригодятся.

Направился к койке, где сидел, свесив ноги, седовласый офицер, по-видимому старший здесь по званию, так как остальные взирали на него с некоторой почтительностью. Вытянулся перед ним, представился:

— Обер-лейтенант Иоганн Вайс, приговорен к смертной казни через повешение.

— Уже? — только и спросил офицер.

И вдруг с верхней койки Вайс услышал изумленный голос Гуго Лемберга:

— Мой бог! Вы живы?

Вайс улыбнулся Гуго. Тот спрыгнул с койки на пол, обнял его.

— Не могу сказать, что рад видеть вас здесь, но солгал бы, если бы скрыл свое чисто эгоистическое удовольствие от нашей встречи,— признался Иоганн.

— Вы молодцом держитесь!

— А что мне еще остается?

— Вы знаете, что произошло?

Вайс покачал головой.

Гуго стал шептать ему на ухо:

— Помните полковника Штауфенберга, ну, того, без руки, вы познакомились с ним у меня?

Вайс кивнул.

— Полковник совершил покушение на жизнь Гитлера, но неудачно, бомба взорвалась, а Гитлер спасся. Говорят, он при этом произнес историческую фразу: «Ох, мои новые брюки— только вчера их надел!»

Лицо Гуго дергалось, глаза блестели, зрачки были расширены, он истерически рассмеялся.

— Может, дать вам воды?— спросил Вайс.

— Нет, не надо.— Гуго удержал Вайса и зашептал, задыхаясь:— Вы не представляете всей той бездны предательства, трусости, которая открылась в этом заговоре против Гитлера!— Произнес с отчаянием:— А вот я не успел застрелиться, как другие. И теперь меня повесят. Повесят, да?

— А Штауфенберг?

— Его расстреляли вместе с прочими во дворе, при свете автомобильных фар. Расстреляли те, кто сразу же изменил делу, узнав, что фюрер жив. Расстреляли еще до прибытия эсэсовцев, чтоб замести за собой следы, а теперь некоторые из тех, кто расстреливал, тоже здесь— вон один из них лежит на койке.— Крикнул иступленно:— Все погибло, Вайс, все!— Помолчал. Потом сказал хриплым голосом:— Последние слова Штауфенберга перед расстрелом были: «Да здравствует вечная Германия!»— Спросил с надеждой:— Но вы, возможно, заметили— мои взгляды отличались от воззрений Штауфенберга? «Да здравствует великая Германская империя!»— вот что бы я крикнул, будь я на его месте.

— Очевидно, вам еще представится такая возможность— сдержанно сказал Вайс, поняв, что даже перед лицом смерти Гуго Лемберг считает должным подчеркнуть отличие своих политических позиций от позиций Штауфенберга.

Но, как бы там ни было, благодаря Чуго все эти заключенные здесь офицеры признали в Вайсе человека своего ранга и прониклись к нему доверием. Иоганн довольно быстро занял среди них положение старшего, и не только как многоопытный заключенный, но и благодаря своему умению организовывать любых людей в любых условиях.

Он предложил, чтобы всем раненым и избитым были предоставлены места на койках. Исключение сделал для седовласого полковника, заметив, что единственно, кому предоставляется здесь преимущество,— это престарелым людям.

Так как во время длительного пребывания в тюрьме он стяжал у персонала репутацию образцового заключенного, ему удалось выпросить у надзирателей кое-какие медикаменты.

Нескольким заключенным удалось сохранить обручальные кольца. Вайс посоветовал использовать их для подкупа надзирателя, с тем чтобы можно было по какому-нибудь одному адресу переслать общее послание близким, с коротким, возможно — прощальным, приветом от каждого.

Он даже определил количество слов: по десять на человека. Ибо длинное послание или несколько посланий надзирателю трудно будет спрятать и тайком вынести из тюрьмы. Чернила Вайс изготовил, зная химический состав полученных медикаментов. Перо сделал, расплющив обнаруженную на мундире у одного из офицеров обломанную булавоочную застёжку от медали за зимнюю кампанию 1941—1942 годов в России.

В течение первой недели почти треть заключенных была уведена на казнь сразу же после допроса.

Вайс всеми силами старался облегчить пребывание в камере заключенных офицеров, хотя не все они вызывали симпатию и далеко не все заслуживали участия.

Например, полковник, высоко оценивая боеспособность дивизий СС, сетовал лишь на то, что фюрер не изъявил желания сформировать подобные же привилегированные части из состава армии вермахта. Они могли бы с не меньшим успехом выполнять функции СС, а также функции зондеркоманд гестапо, энергично очищающих оккупированные территории от избыточного и сопротивляющегося законам победителей населения.

Особенно его возмущало то, что приказом Гитлера от 22 декабря 1943 года существовавшие в частях вермахта с 1942 года «офицеры попечения» (называвшиеся тогда политическими офицерами) были выделены из системы войсковых контрразведывательных органов («1-Ц») и подчинены непосредственно начальникам штабов, с переименованием в «офицеров национал-социалистского руководства» (сокращенно—НСФО). На должность НСФО назначались, как правило, руководящие работники национал-социалистской партии, не имеющие никакого военного опыта и не нюхавшие фронта. Подбором офицеров руководил Борман, и фактически НСФО подчинялось его партийной канцелярии.

Полковник, собирая морщины на низком, упрямом лбу, изрекал гневно:

— Полагаю, что заслуживаю расстрела, как офицер, но не виселицы, как государственный преступник, ибо я остаюсь верен тем целям, которые преследовал фюрер. Руководители путча приводили доказательства, свидетельствующие о том, что рейхсфюрер Гиммлер уведомлен о нашем недовольстве Гитлером и сочувственно относится к нам. И в новый состав правительства военной диктатуры войдут наиболее опытные генералы, способные подавить всякое недовольство масс с не меньшей решительностью, чем СД, СС и гестапо.

— Значит, участники путча находились под покровительством Гиммлера?— спросил Вайс.

— Увы, это можно назвать не более чем снисходительным попустительством,— печально вздохнул полковник.— Но мне кажется,— перешел он на еле слышный шепот,— что рейхсфюрер был взбешен не столько тем, что совершилось покушение на жизнь фюрера, сколько тем, что оно оказалось безрезультатным. И не случайно он одним руководителям заговора дал возможность и время покончить самоубийством, а других велел без допроса расстрелять на месте.

— Вы объясняете это только тем, что он хотел уничтожить свидетелей своего, как вы выражаетесь, «снисходительного попустительства»?

— Нет,— покачал головой полковник,— не только этим. Гиммлер, несомненно, умный и дальновидный человек. Будучи информирован о ходе подготовки путча, он, очевидно, предвидел всю опасность его.

Лицо Вайса выразило удивление.

— Я имел в виду ту огромную опасность, которая угрожала рейху в случае успеха покушения. Это развязало бы действия широких, оппозиционных фашизму слоев населения нашей страны, и красные, выйдя из подполья, сумели бы возглавить их. Таким образом, мы могли стать невольными виновниками революционного восстания, и за это нас следовало уже не повесить, а растерзать, утопить в нечистотах, а наши имена предать вечному проклятию. — Полковник заявил пылко: — И когда я до конца осознал это, я убедился, что заслужил казнь, и готов к ней!

— Ну что ж,— усмехнулся Вайс,— вы мужественный человек, если с такой твердостью готовы встретить смерть.

— Но мы оказались простофилями,— горестно воскликнул полковник,— потому что дали примкнуть к своему заговору младшему офицерству, мыслящему иначе, чем мы, старшее поколение! Особо опасным оказался Штауфенберг — наиболее активное лицо в организации путча. К сожалению, мы слишком поздно узнали, насколько эта фигура зловредна. Штауфенберг стал настаивать на блоке не только с различными оппозиционными группами, но даже с левыми социалистами и, представьте его наглость,— с коммунистическим

подпольем. Мало того: он предлагал вступить в переговоры с Россией!

Но он завоевал такое доверие и авторитет среди молодых офицеров, что нам трудно было с ним бороться. Кроме того, он человек ошеломляющей отваги и твердости духа и оказался единственным из всех нас способным на террористический акт, — другого такого не было.

— Значит, вы вынуждены были ему кое в чем уступать?

— Конечно! Например, четвертого июля Штауфенберг должен был встретиться с лидерами коммунистического подполья. И мы даже не смогли оспорить это его чудовищное решение.

— И встреча состоялась?

— Нет, — сказал полковник. — Кажется, кто-то из наших благоразумно уведомил Гиммлера о наличии внутри нашего заговора опасного течения, представленного левыми социал-демократами, готовыми заключить блок с коммунистами, а также о дне предполагаемой встречи Штауфенберга с лидерами коммунистического подполья. Не знаю почему, в назначенный день Штауфенберг не смог прийти на эту встречу, когда гестапо совершило налет, и коммунисты были схвачены. Я после этого беседовал со Штауфенбергом, он с еще более ожесточенной решительностью извращая нашу цель, высказывал намерение довести заговор до степени широкого демократического движения. И уже сделал в этом направлении немало. Да, — задумчиво повторил полковник, — Штауфенберг, — это зловеющая фигура, и чем больше я о нем думаю, тем больше каюсь в своем заблуждении.

Но тут же полковник твердо заявил:

— Несомненно, в случае успешного проведения Штауфенбергом акции мы, старые офицеры, предприняли бы все меры, чтобы внушить массам величайшую скорбь и сожаление по поводу злодейского убийства фюрера. И как восприимчивики его величия во имя рейха предали бы позорной казни его убийцу. Народ должен знать, что всякий поднявший руку на главу империи или его сподвижников — величайший преступник.

— Ловко! — сказал Вайс. — Выходит, Штауфенбергу угрожала смерть не только в процессе покушения на Гитлера, но и от руки тех, кто возглавлял заговор?

Полковник величественно кивнул в знак согласия.

— Иначе мы все перед лицом истории были бы причислены к тем злодеям, которые в разные времена покушались на жизнь монархов.

— Вы монархист?

— Нет. Эта форма управления старомодна. Только правительство военной диктатуры имеет право на всю полноту неограниченной власти. В современном мире это единственная

власть, способная держать народ в подчинении и решать все проблемы средствами военного насилия как внутри страны, так и вне ее.

— У вас стройная концепция,— заметил Вайс.— И как вы могли пойти против фюрера, в сущности разделяя его стремления?

— Фюрер должен был бы сам пожертвовать своей жизнью,— хмуро сказал полковник,— ради того, чтобы мы могли свободнее осуществить его идеалы. Он слишком сфокусировал на своей личности эти идеалы. Чтобы добиться их осуществления, нам следовало пожертвовать фюрером. Принеся его в жертву, мы с новыми силами смогли бы, объединившись, бороться за свои идеалы в контакте с западными державами. Свои мысли я изложил на бумаге—это нечто вроде политического завещания. И, полагаю, вместо сентиментального послания близким, вы должны сделать все возможное для того, чтобы мое завещание попало в руки тех, кому оно предназначено. Вы понимаете всю важность подобного документа? В сущности, это даже не просьба, а приказание.

Вайс возразил:

— Только в том случае, если большинство заключенных согласится отказаться от письма родным и заменить его вашим, так сказать, завещанием.

— Но они же не согласятся!— сердито воскликнул полковник.— Здесь слишком пестрое общество, среди них есть и такие, что придерживаются взглядов Штауфенберга.

— А вы попробуйте ознакомить их с вашим документом,— посоветовал Вайс.— Эти люди — тоже часть Германии, о судьбе которой вы так печетесь.

— Пожалуй, я это сделаю,— с некоторым колебанием в голосе произнес полковник. Но потом, после долгой паузы, объявил:— Нет, здесь слишком много нежелательных лиц.— Достал из-под матраца сложенные в тетрадку листы бумаги, попросил:— Возьмите,— может, вы все-таки найдете способ сохранить этот документ и передать его кому-либо.

— Я не могу гарантировать вам,— сказал Вайс,— что он попадет в руки тем адресатам, на которых вы рассчитываете.

— Ну что ж,— согласился полковник,— пусть это будет кто угодно.— Иронизируя над самим собой, заявил:— Очевидно, я соглашаюсь на это только из тщеславия. Но пусть будет так.

Полковника основательно отделали на первом же допросе. Его приволокли в камеру и бросили на пол полутрупом.

Вайс, уже имея немалый опыт, оказал ему посильную помощь. Придя в сознание, полковник сказал Вайсу:

— Я изложил им все, что говорил вам, и вот видите...— Он хотел поднять руку к лицу, но у него не хватило сил.

— Они вам не поверили?— спросил Вайс.

— Пожалуй, поверили,— сказал полковник.— Но потребовали, чтобы я дал сведения о генералах — участниках заговора. Я отказался: это противоречит моим понятиям о чести.

— А о младших офицерах вы тоже ничего не сказали? — спросил Вайс.

— Как старший офицер, я имею право оценивать их всесторонне,— туманно ответил полковник.

На следующий день полковника отвели на казнь. Он мужественно отказался от полагающейся ему порции шнапса, так же как и от таблеток опиума, которыми торговали надзиратели.

Прежде чем уйти, он обошел всех офицеров, каждому пожал руку и пожелал встретить смерть с тем же присутствием духа, как и он.

От прощания со штатскими заключенными полковник уклонился. Он ушел, твердо ступая, и даже не оглянулся в дверях.

Гуго Лемберг сказал Вайсу, что центральная группа заговора до конца 1943 года была против убийства Гитлера — из опасения, что это развяжет антифашистскую борьбу широких масс. Заговорщики лишь стремились добиться отставки фюрера, чтобы придать перевороту характер законной смены главы рейха. К тому же Даллес рекомендовал связанным с ним представителям заговорщиков не предпринимать никаких действий до того, как армия союзников высадится в Европе.

Покушение на Гитлера должно было совпасть с высадкой союзников. Новое правительство Германии снимет войска с Западного фронта. Армия союзников, оккупировав Германию, сама подавит возможность революционного антифашистского восстания. Таким образом, войска вермахта будут освобождены для контрудара по наступающей Советской Армии. Все силы будут брошены на это.

— Но полковник, например,— с усмешкой сказал Гуго,— был противником капитуляции Германии перед США и Англией. По его мнению, она могла быть воспринята как общее военное поражение Германии. Он был и против оккупации страны англо-американскими войсками: подавить антифашистские силы должна, по его мнению, сама германская армия, внушив таким способом народным массам надлежащее уважение к новому германскому правительству. Наивность солдафона! — насмешливо заключил Гуго.

— Разве? — усомнился Вайс.

— Безусловно. Дело в том, что нам, военным, с самого начала следовало опереться на наиболее влиятельные силы

Германии, тогда наш путч имел бы все необходимые гарантии.

— Что же это за силы?

— Промышленные круги рейха, — сказал Гуго. — Но, увы, многие из этой среды были против смены Гитлера. Они хорошо помнили, как решительно он в свое время расправился с коммунистическим движением. И с какой смелостью и последовательностью осуществил полное подчинение сил нации экономическим интересам магнатов промышленности. Кроме того, — понизил голос Гуго, — мне кажется, до сведения Гимmlера дошло, что некоторые наши генералы колебались, признать ли его новым фюрером рейха или не признать. А ведь им было известно, что эта кандидатура имела решительную поддержку со стороны правящих кругов США и Англии. И я предполагаю, что если бы покушение на Гитлера прошло успешно, Гимmlер незамедлительно обрушил бы на большинство участников заговора всю мощь карающих сил СС с гестапо.

— Значит, заговор безнадежен?

— Нет, почему же? — угрюмо возразил Гуго. — Если бы, как предлагал Штауфенберг, мы объединились с широким демократическим фронтом, возможно, все было бы иначе. Но я не за такую Германию, я противник такой Германии.

— А немецкий народ какую предпочел бы Германию?

Гуго пожал плечами.

— Народ только тогда надежный фундамент для здания государства, когда он прочно утрамбован сильной властью. — Широко обведя рукой нары, на которых лежали заключенные, Гуго со злой насмешкой заявил: — Если бы сейчас здесь вдруг оказался русский коммунист, представляю, как бы он злорадствовал.

— Почему же? — спросил Вайс.

— Потому, — ответил Гуго, — что русским нужен Гитлер как ненавистный символ самой Германии, как мишень. А мы не смогли лишить их этой мишени...

— Наивно! — сказал Вайс. — Вы хотели сменить фюрера Гитлера на фюрера Гимmlера. Мишень же Советской Армии — немецкий фашизм. Вы сами это отлично знаете из перехватов заявлений советского правительства.

— Да, пожалуй, — уныло согласился Гуго. — Действительно, больше всего мы боялись не того, что верные Гитлеру части СС могут уничтожить нас, а того, что убийство Гитлера будет воспринято как сигнал к революционному восстанию. Мы боялись и того, что советские войска нанесут окончательное поражение нашей армии прежде, чем американские и английские части начнут продвигаться по нашей территории. — И вдруг, будто только сейчас осененный внезапно возникшей мыслью, Гуго спросил живо: — А почему вы осуждаете некоторые мои высказывания?

— Мне небезразлично, за что вас собираются казнить здесь!— сказал Вайс.

— А мне, знаете, теперь уже наплевать, казнят ли меня как единомышленника Штауфенберга или как противника его заблуждений. Важно одно — смерть все и всех уравнивает. — Гуго добавил с усмешкой: — Каждый живой мыслит по-своему, но все мертвые воняют одинаково. Жаль, что здесь я не могу предложить вам проверить это на практике: ведь вас, очевидно, тоже скоро повесят.

— Да,— сказал Вайс и потрогал пальцем шею.— Очень любезно, что вы напомнили мне об этом.

— Простите мою маленькую месть, но мне показалось— вы как будто умаляете значение нашего заговора...

Два молодых офицера, Юргенс и Брекер, вернувшись после короткого, беглого допроса, в конце которого им сообщили, что они будут приговорены к казни, находились в состоянии глубокого отчаяния. Не близость казни — к известию о ней они отнеслись с достойным мужеством — ужасала их. Они поняли по ходу допроса, что среди генералов, возглавлявших заговор, оказались доносчики. Эти предатели называли гестапо фамилии участников и сообщили ряд подробностей заговора. А другие генералы в день 20 июня, когда было назначено убийство Гитлера, проявили трусость, нерешительность. Они бездействовали, взвалив все на Штауфенберга. Узнав, что Гитлер после взрыва бомбы остался жив, эти генералы лишь покорно ожидали возмездия и не предприняли ничего, чтобы дать возможность спастись своим младшим сообщникам.

Всю ночь Вайс провел с этими молодыми офицерами.

Юргенс с ожесточением говорил, что теперь он понял: многие генералы, снятые Гитлером с постов за поражение на Восточном фронте, стали участниками заговора только из чувства мести, чтобы потом свалить на Гитлера свои военные неудачи.

Брекер рассказывал, что Штауфенберг, как и те, кто разделял его взгляды, считал, что прежде всего надо добиться капитуляции армий вермахта на Восточном фронте. Но теперь, в отчаянии повторял молодой офицер, теперь, когда заговор провалился, самое ужасное не то, что многие участники его казнены, а другие еще будут казнены. Что такое их смерть по сравнению с тем, что не удалось предотвратить гибель сотен тысяч немецких солдат на Восточном фронте?

На все эти сетования Юргенс с горечью отвечал:

— Но ведь мы с тобой знали, что руководители заговора единодушно сходились на капитуляции перед США и Англией с тем, чтобы продолжать войну с Россией.

— Да, но мы были за Штауфенберга,— возразил ему Брекер,— а с ним сочли возможным вступить в переговоры даже коммунисты.

— А где они сейчас? Также казнены?..

Через два дня Вайса внезапно вызвали в контору тюрьмы и сообщили, что он свободен.

У тюремных ворот его ждал в машине Густав. Похлопав Вайса по плечу, он сказал одобрительно:

— Однако вы оказались выносливым господином.

Густав, не заезжая на Бисмаркштрассе, отвез его в штаб-квартиру Шелленберга.

Тот, еще более похудевший и пожелтевший, встретил Вайса без улыбки. Пожал руку, сказал:

— Я подробно информирован о вашем поведении. — Блезненно сморщился, потер левый бок, спросил: — У вас есть какие-либо просьбы?

— Я готов продолжать службу, и можете не сомневаться... — начал было Вайс.

— Я на это имею в виду, — нетерпеливо перебил Шелленберг.

— Прошу вас тогда, прикажите освободить заключенных офицеров вермахта Брекера и Юргенса.

— Вы имеете доказательства их невиновности?

— Они не предали никого из участников заговора: это — лучшее свидетельство того, что они могут пригодиться.

— Для какой цели?

— Я полагаю, вы оцените их способность держать язык за зубами даже под угрозой казни.

— Я уже оценил в вас эту способность, — улыбнулся одной щекой Шелленберг.

— Благодарю вас, — сказал Вайс. — Значит, я могу твердо рассчитывать...

Шелленберг снова перебил его:

— Я собирался обратиться к рейхсфюреру с просьбой о награждении вас железным крестом первого класса. Вы предпочитаете, чтобы я побеспокоил его по другому поводу?

— Разрешите мне снова повторить мое ходатайство.

— Хорошо, — Шелленберг взял со стола какую-то бумагу, медленно разорвал ее, бросил в корзину. — Можете идти.

Но на пороге остановил:

— Вы полагаете, они годятся для секретной службы?

— Нет, — сказал Вайс.

— Тогда для чего же?

— Когда рейхсфюрер их помилует, господин Мюллер будет пытаться выяснить, не были ли они агентами рейхсфюрера. — Вайс усмехнулся. — Мюллер потерпит неприятное для него поражение. О предпринятом им расследовании станет известно, и это послужит новым доказательством его недружественного отношения к Гиммлеру.

Шелленберг молча, испытующе смотрел в глаза Вайсу и вдруг улыбнулся.

— Это, пожалуй, остроумно. Теперь я понял. Вы готовите маленькую месть Мюллеру за ваше пребывание в заточении?

— Вы проникательны, мой бригаденфюрер, — сказал Вайс. — Значит, я могу быть уверен?..

— Так же и в том, — подхватил Шелленберг, — что сейчас я прикажу отпечатать новое представление райхсфюреру о вашем награждении.

На пути к Бисмаркштрассе Густав успел рассказать Вайсу, что всю махинацию с ним не без труда разоблачили криминалисты, находящиеся на службе Шелленберга. Смерть неизвестного человека последовала не во время автомобильной катастрофы, а в результате отравления, задолго до катастрофы.

Потом через агентов удалось установить, что Вайс находится в тюрьме. Но Вальтер Шелленберг приказал не предпринимать никаких срочных мер для освобождения Вайса: ведь его пребывание там являлось серьезнейшим испытанием, лучшей проверочной комбинацией и не придумаешь. А потом, занятый множеством дел, бригаденфюрер, очевидно, забыл о Вайсе, напомнить же о нем никто не решался. И только когда Шелленберг случайно увидел в подписанном Гиммлером списке приговоренных к казни имя Вайса, он принял соответствующие меры.

— Но, возможно, — добавил Густав, — ни Гиммлер, ни Шелленберг не хотели в это сложное время ссориться с Мюллером. После же того, как Гиммлер расправился с участниками заговора и, главное, с теми из них, кто был вхож к нему, открылась возможность отобрать вас у Мюллера.

— Но меня могли повесить в любой день после приговора, — заметил Иоганн.

— Не исключено, — согласился Густав. — Возможно, вас реабилитировали бы посмертно. Но, знаете ли, хоронить вас дважды — это было бы уж слишком. — Посоветовал: — Кстати, не забудьте съездить на кладбище — увидите отличное надгробие: «Незабвенному Иоганну Вайсу». Нового уж, во всяком случае, не понадобилось бы заказывать.

Когда Иоганн вошел к себе в комнату и взглянул в зеркало, он невольно оглянулся. Из зеркала на него смотрела костлявая, жесткая физиономия с глубоко впавшими висками, щеками, глазами. Волосы потускнели и серебрились. Шея тонкая, губы, казалось, присохли к зубам.

— М-да, — презрительно произнес он, — типичный дистрофик. — И, погрозив зеркалу, заявил: — Это же клевета на человека, а?

Спал он почти сутки.

Берлин сотрясался от беспрерывных бомбежек.

На следующий день, дождавшись отбоя воздушной тревоги, Вайс посетил салон массажа профессора Штутгофа.

Штутгоф встретил его шутливыми словами, но без улыбки:

— А, привет покойнику! — Сел, положил вытянутые руки на стол. — Ну, рассказывайте!

Вайс сообщил о тех подробностях заговора, какие ему стали известны. Привыкнув в тюрьме к изможденным, скорбным лицам, он не обратил внимания на то, что и лицо профессора сейчас выражает скрытое страдание.

Вслушав рассказ Вайса, профессор помолчал, потом как бы нехотя заметил:

— Собственно, отсрочку казни мы вам выхлопотали.

— Каким образом?

— Нашли человека, который сообщил князю Гогенлоу, что офицер, приставленный к нему для поручений, взят Мюллером с целью получить информацию о деятельности князя. Тот к фюреру с протестом. Пока выяснялось, что это недоразумение, имя Иоганна Вайса попало в бумаги имперской канцелярии. Ну, и Мюллер струхнул, не решился вас вешать. — Спросил: — Генриха видели? Инициативный и вместе с тем осторожный товарищ. Он очень переживал вашу гибель, очень. Встретьтесь с ним сегодня же.

И только сейчас Вайс заметил, что лицо профессора потеряло способность улыбаться.

— Простите, мне кажется, вы чем-то огорчены? — участливо спросил Вайс.

— Да нет, — болезненно поморщился профессор, — какие у меня могут быть огорчения! Просто обыкновенное горе. — И каким-то деревянным тоном сообщил: — Ну, надо было знакомиться с комплектом секретных чертежей. Жена правильно рассчитала: бомбежка, пожар — наиболее для этого благоприятное время, но почему-то замешкалась. Сначала рухнул лестничный пролет, а потом обвалилась стена. Сейчас бомбят, знаете ли, ежедневно, так что, пожалуйста, учтите. — Встал, подал руку. — Да, чуть не забыл. Ваш Алексей Зубов в Берлине.

— А как же теперь вы? — участливо спросил Вайс.

— Учусь, — ответил профессор. — Учусь перебарывать свое горе. — Посмотрел на потолок, видимо не желая встречаться глазами с Вайсом, сказал: — Зубов командует военнопленными, которых присылают из лагерей для разборки развалин после бомбежек, но работают они также и во время бомбежек: спасают погребенных в бомбоубежищах немцев.

Потом, чуть посветлев лицом, продолжил:

— Сей индивидуум решительно не годится для операций, где требуется изощренная тонкость ума. Типичный боевик. Он, знаете ли, во время восстания пробрался в варшавское гетто, говорят, совмещал в своем лице и Давида и Голиафа. Таскал на спине станковый пулемет, меняя огневую позицию на крышах, и прошивал фашистов словно мишени на полигоне. Двое из боевой группы приволокли его домой чуть живого. И, представьте, эта его Бригитта через свои связи добилась для него назначения на работу в Берлин. Странная особа. Меня представили ей случайно в доме, где я массирую одного видного имперского сановника. И сразу же она вцепилась в меня, умоляя лечить ее супруга. Еле отбилсЯ.

— Но почему же?— удивился Вайс.— Зубов — замечательный парень.

— Возможно,— сердито сказал доктор.— Но от подобных активистов я предпочитаю держаться подальше: любители висеть на волоске — самая трудновоспитуемая публика.— Насмешливо заметил:— Вы, кажется, тоже некогда обнаруживали склонность к этому занятию?— И вдруг лицо его побелело, профессор схватился за сердце.— Идите, идите,— махнул он рукой,— это у меня быстро проходит...— И сердито прикрикнул, так как Вайс не двинулся с места:— Я же вам сказал — вон!

...Генрих встретил Иоганна с восторгом.

— Я все время думал о тебе. А ты вспоминал меня?— Стикнул руку Вайса.— Это такое счастье, что ты живой!

Иоганн смущенно улыбнулся, пробормотал:

— Да, действительно неплохо.— И, желая быть абсолютно правдивым, признался:— Разумеется, я вспоминал о тебе, Генрих, беспокоился главным образом о том, чтобы ты не допустил какого-нибудь промаха. Клял себя за то, что не проэкзаменовал тебя по всей нашей технике. Это было мое упущение.

— Похоже,— сказал Генрих.

— На кого?

— На тебя.

— Извини,— смутился Вайс,— но это правда, эта мысль мучила меня.

— Так, может, сразу, с первых же слов начать докладывать?— иронически осведомился Генрих.

Иоганн, делая некоторое усилие над собой, промямлил:

— Нет, зачем же? Успеется...

— Ты совсем не умеешь притворяться,— усмехнулся Генрих,— не умеешь скрывать свои чувства.

— А зачем, собственно, я должен их от тебя скрывать?— пожал плечами Вайс.— Мне в самом деле не торопится узнать, что тут происходило с тобой.

— Ну вот!— ликуя, воскликнул Генрих.— В этом твоём вопросе я услышал то, что хотел. Ну что, доволен ли мной Штутгоф?

Вайс кивнул.

— А ты знаешь, что жена его, в сущности, работала на англичан?

Лицо у Вайса было вытянулось.

— И весьма эффективно,— продолжал Генрих.— Дело в том, что радионавигационные приборы, которые изготовлял секретный цех, где она работала, предназначались для «Фау». Что-то неладное происходило в этом цехе: большинство снарядов почему-то не достигало цели, падало в море. Дело в том, что в особых маслах для смазки механизмов оказались ничтожные доли эфирного вещества, оно испарялось особо интенсивно в период полета снаряда, смазка затвердевала, и траектория полета изменялась.

— А кто это установил?

— Я установил,— гордо заявил Генрих.— Дядя включил меня, как человека с инженерным образованием, в техническую группу гестапо, которой было поручено произвести следствие по этому делу.

— Ну и что же?

— Ничего,— сказал Генрих.— После того как я обнаружил эту остроумную порчу смазочных масел, я склонил комиссию гестапо к тому, что дефект снарядов заключается в некоторых просчетах, связанных с недоучетом силы притяжения водной поверхности. Мне пришлось немало потрудиться над проблемами баллистики. Моя аргументация выглядела весьма убедительной. Через профессора я посоветовал его супруге впредь производить смазку навигационных механизмов только после их сдачи техническим представителям ВВС. Только и всего.

Вайс сказал:

— Ты знаешь, жена Штутгофа погибла.

Генрих вздохнул.

— Знаю. Это ужасно. Видишь ли, создана была новая конструкция летающего снаряда. Она, очевидно, хотела узнать, в чем заключалось его отличие от прежнего...

— В чем же?— спросил Вайс.

Генрих сказал:

— Увы, когда более авторитетная комиссия ознакомилась с моим заключением, его сочли наивным и беспомощным. И я отделался сравнительно легко: лишился права принимать участие в подобных технических экспертизах. Занят главным образом тем, что помогаю дяде. На него возложены обязанности управляющего делами СС. Чисто финансовая и хозяйственная деятельность.— Пожаловался:— Когда я был уверен,

что тебя убили, ты думаешь, мне было легко сидеть с ним по ночам в его кабинете и заниматься этой проклятой канцелярщиной? А он, как назло, проникся ко мне особо нежными родственными чувствами, то обнимет меня, то положит руку на плечо, заботливо спрашивая: «Мой дорогой, налить тебе еще кофе?» Чувствуя на своем плече руку убийцы отца, я содрогался от ненависти и омерзения. Мне стоило неимоверного труда вести себя спокойно: так хотелось влить ему пулю в лоб!

— Что же тебя удерживало?

— Профессор. Я не знал о его существовании, просто относился к тайнику то, что, мне казалось, представляло интерес. А потом стал думать: когда ты был со мной, ты мне верил. А когда ты погиб, нет никого из твоих, кто бы захотел мне верить. Я решил, что меня просто используют — используют, не доверяя мне. Эти сомнения были очень мучительны. Тогда я вместо информации положил в тайник письмо, неизвестно кому адресованное, в котором изложил свои чувства и сомнения. И профессор назначил мне встречу.

Он сказал, что, поступая так, нарушает правила конспирации, но по-человечески он понимает меня и поэтому не мог не откликнуться на мое письмо. — Генрих задумчиво усмехнулся. — А вообще странно и даже как-то смешно: когда я думал, что ты погиб и я очутился в одиночестве, я почувствовал себя несчастным, каким-то брошенным, но отнюдь не свободным. Тебя нет, а я все равно должен исполнять свой долг перед тобой.

— Не передо мной, а перед самим собой — в этом все дело. Ведь, в сущности, именно сейчас ты совершенно свободен, внутренне свободен от власти тех, кого ты сам же считаешь позором Германии. Разве это не настоящая свобода?

— Да, ты прав, но это нелегко. Я — немец, и я против немцев...

— Слушай, — сказал Вайс. — Мой отец был солдатом в первую мировую войну, имел георгиевские кресты всех степеней, ну, вроде ваших железных, а был судим военно-полевым судом за то, что призывал солдат повернуть оружие против царя. Ты не изменник, нет. Ты враг врагов Германии, фашистской клики. Послушай, я тебе расскажу... Там, в тюрьме, я познакомился с несколькими участниками заговора против фюрера. Одни из них хотели убить Гитлера только для того, чтобы убрать одиозную личность, ставшую символом фашизма. Заменив его другим, не столь скомпрометированным перед мировой общественностью лицом, которому уже в блоке с США и Англией удалось бы продолжить то, что не удалось сделать Гитлеру... А другие, — сказал с волнением Вайс, — надеялись на то, что убийство Гитлера послужит сигналом для восстания антифашистских сил, на то, что Советская Армия не даст по-

давить это восстание и немецкий народ получит возможность избрать народное правительство. — Произнес грустно: — Мне как-то довелось встретиться с полковником Штауфенбергом — тем самым, что потом совершил покушение на Гитлера. Так вот, когда он беседовал со мной, он все старался выведать у меня, как у абверовца, какие-нибудь сведения о подпольных организациях немцев и военнопленных. Должно быть, он искал связи с ними и, возможно, с советским командованием. — Вайс развел руками, произнес грустно: — Потом, когда я узнал в тюрьме, какой это человек, мне было горько думать, что я ничем не помог ему.

— Ну, рассказывай о себе, — попросил Генрих. — Поделись ценными впечатлениями узника. Когда тебя приговорили к смерти, о чем ты думал?

— Самое трудное было заставить себя не думать о смерти, вернее, о нелепости такой смерти. Представляешь: пасть жертвой вражды между двумя фашистскими службами — и только. Перед казнью человек, если он настоящий человек, борется с собой, собирает все свои силы, чтобы умереть достойно, он весь поглощен этой мыслью. А я что мог? Для чего мне было демонстрировать гестаповцам, каким стойким может быть немецкий фашистский офицер перед казнью? Да на черта мне это нужно! И поэтому смерть мне казалась особенно подлой, ужасной, и я не просто трусил, а прямо вся душа корчилась.

— Но как же ты смог выдержать эту пытку?

— Как — сам не знаю. — И Вайс сказал неуверенно: — Может, выдержал потому, что очень хотел жить, и жил в тюрьме как заправский узник. А что еще оставалось?

— Мысли о самоубийстве к тебе приходили?

— Ну что ты! — возмутился Вайс. — Когда заболел там, страшно боялся, что умру.

— Но ведь это лучше, чем петля?

— В смысле болевых и психических ощущений — возможно, — согласился Иоганн. — Но, понимаешь, если ты держишься, то до последнего мгновения не перестаешь верить, что будешь жить. — Досадливо поморщился: — И вообще, знаешь, хватит. Давай говорить о другом.

— Извини, — задумчиво сказал Генрих, — мне это нужно было знать на тот случай, если и со мной такое случится. — Вдруг насмешливо сощурился. — Кстати, разреши сообщить тебе нечто приятное: Шарлотта каждое воскресенье отправляется на кладбище и возлагает на твою могилу цветы.

Вайс смутился, сказал поспешно:

— Ну, ты объясни ей, это же — недоразумение.

— Нет уж, будь любезен — сам. Подобные поручения не входят в мои обязанности.

В этот момент в дверь постучали, и на пороге появился

Вилли Шварцкопф. На лице его изобразилось такое фальшивое изумление при виде воскресшего Вайса, что тот понял: Вилли с самого начала был прекрасно осведомлен обо всех его злоключениях. И не случайно старший Шварцкопф счел нужным заметить Вайсу, что о его преданности Вальтеру Шелленбергу ходят легенды.

— Вы своим «подвигом», герр Вайс, натворили черт знает что. Теперь рейхсфюрер захочет каждого из нас испытывать в преданности ему — до виселицы включительно! — Расхохотался и объявил: — Вы штрейкбрехер, Иоганн, вот вы кто! Сумели выслужиться и возвыситься над нами всеми. Нехорошо. Нескромно. Теперь далеко пойдете, если не споткнетесь. — Предупредил дружески-доверительно: — Учтите, вашему успеху завидуют, и многие не столько пожелают протянуть вам руку, сколько подставить ногу. — И заключил: — Но я всегда испытывал к вам особое расположение. Надеюсь, вы это помните?

Услышав такие слова из уст высокопоставленного эсэсовца, Вайс сделал вывод, что пребывание в тюрьме сулит ему в будущем немалые выгоды. И вместе с тем предупреждение Вилли настораживало: видимо, этот успех далеко не безопасен.

Вилли вышел, чтобы распорядиться об ужине.

Генрих молча развернул на столе карту, где была обозначена обстановка на фронте.

Иоганн припал к карте. И то, что он увидел на ней, переполнило все его существо радостью. Он признался Генриху:

— Знаешь, самое опасное для разведчика — ну, такое ощущение счастья, когда невозможно с ним справиться.

— Скажите пожалуйста, то он с самой смертью на «ты», то он, видите ли, капитулирует — впадает в панику от радости.

— Очевидно, в тюрьме несколько истрепалась нервная система, — попытался оправдаться Вайс. — Ты извини, я уйду. Право, у меня нет охоты изображать скорбь на лице, когда твой дядюшка заговорит о трагическом положении на фронте.

— Хорошо, — согласился Генрих. — Я скажу, что у тебя разболелась голова. Головная боль после заточения — это вполне достоверно.

Больших усилий воли стоило Вайсу подавлять в себе желание расспрашивать о ходе сражений на Восточном фронте. Эти расспросы требовали бы слишком большой душевной нагрузки. Нести на себе бремя притворства, вести каждый раз поединок с самим собой, выражать чувства, противоположные тем, что переполняли душу, — такое напряжение было сейчас невыносимо для него: приходилось экономить душевные силы.

Он предусмотрительно выработал для себя стиль поведе-

ния деловитого, целиком преданного своей профессии, гордого оттого, что он приобщен к ее тайнам, преуспевающего сотрудника СД. Что же касается вермахта — это не его ведомство. Поэтому, когда сослуживцы обсуждали при нем победы или поражения германской армии, Вайс сохранял невозмутимоспокойный вид, раз и навсегда заявив всем, что его эмоции узкопатриотичны и ограничены единственно делами разведки. Он не желает расточать свою умственную энергию на обсуждение проблем, не имеющих прямого касательства к его служебным делам.

Эта декларация, ставшая принципом его поведения, не только защищала Вайса от необходимости надевать на себя еще одну личину сверх той, которую он носил, но и внушала уважение к нему, как к человеку строгих правил, поставившему перед собой твердую и ясную цель — занять высокое положение в системе СД. И не благодаря каким-то там связям, интригам, подсиживанию, а лишь в результате своей способности всегда с честью выполнять то, что ему предписывает долг службы.

Но сколько ни учился Вайс владеть собой, узнав о вступлении советских армий на территорию Германии, он испытал такое чувство счастья (подобного он не испытал даже тогда, когда его выпустили из тюрьмы), что ему показалось — он не в состоянии будет скрыть его. Еще мгновение — и ненавистная личина сама собой спадет, и все увидят ликующее лицо Александра Белова.

Эту опасность надо было преодолеть и беспощадно расправиться с радостью, столь властно завладевшей всем его существом, что она могла оказаться губительной.

Вот почему Вайс ушел от Генриха.

Он пошел бродить по городу.

Последние дни Берлин подвергался особенно ожесточенным бомбардировкам.

Глыбы зданий с тусклыми, затемненными окнами. В сырых подвалах, холодных как склепы, лежали вповалку люди, вагнанные под землю очередной бомбежкой. Целые районы превратились в развалины. Стояли плоские черные хребты арочных каменных стен, подобные древним руинам. Воняло гарью, битым кирпичом, щипало глаза от дыма сгоревшей взрывчатки, каменная пыль висела в воздухе, как песчаные облака в пустыне.

Он шел по мертвым улицам, по обе стороны которых грохотились зубцы разрушенных зданий и насыпи из камней. На очистку выгоняли жителей со всего Берлина, — они копошились здесь со своими детскими колясками и носилками, складывая в них камни и обломки дерева.

Надсмотрщиками над этими людьми назначались уполномоченные нацистской партии — от каждого уцелевшего дома,

квартала, улицы. Они носили особые нарукавные повязки и, подражая гестаповцам, упивались властью над своими покорными соотечественниками.

Достаточно было одному из таких наци уличить жильца подчиненного ему дома, квартала или улицы в невыходе на работу, как рапортчика с обвинением гражданина Третьей империи в саботаже поступала в районное отделение гестапо. Уклонение от трудовой повинности приравнивалось к измене рейху. Вот почему Берлин, подвергаясь бомбежкам, в промежутках между ними все-таки выглядел «прилично». Сотни тысяч берлинцев с утра до ночи прибирали город, придавая кладбищам его улиц вид древних, но аккуратных раскопок с тщательно расчищенными дорогами. Властители немецкого народа могли свободно передвигаться в своих машинах по городу.

Все это делалось не столько для того, чтобы совершить невозможное — очистить Берлин от развалин, сколько для того чтобы очистить нацию от подозрительных элементов, держать в повиновении людей, выявлять ропшущих, устранять их.

Гитлеру показывали фотографии прибранных развалин как утешительное свидетельство высшего патриотизма немцев и их неколебимой веры в победу.

Но Борман приносил фюреру и другие фотографии — немец, посмеявшись усомниться в победе немецкого оружия и повешенных за это на фонарных столбах.

И эти другие снимки могли служить портретами Берлина весны 1945 года.

Гсббельс в своих бесчисленных речах объяснял берлинцам, как они должны понимать тот процесс преобразования, который происходит в структуре немецкого общества в связи с бомбежками: наибольшие материальные убытки несут имущие слои населения, и, таким образом, само собой ликвидируется материальное неравенство, и тем самым закладываются основы демократического общества, вещал он. На развалинах были расклеены объявления: «Фирма гарантирует строительство нового дома после войны, если четверть его стоимости будет внесена немедленно». И здесь же по трафарету лозунги: «Мы приветствуем первого строителя Германии — Адольфа Гитлера!»

Вайс останавливался перед такими объявлениями и лозунгами, читал их при блеклом свете луны. Они были столь же кошунственны, как улыбка на лице мертвеца.

Он долго стоял и смотрел, как на одной из улиц, превращенной в груды обломков, уцелевшей после бомбежки жители очищают мостовую от камней, в то время когда в подвалах погребены их близкие.

И тех из них, кто пытался тайком копать проход в подвал в надежде спасти своих близких или хотя бы извлечь оттуда их тела, надсмотрщики с бранью гнали обратно на дорогу. Если

дорога не будет очищена к утру, виновных в саботаже грозили препроводить в районные отделения гестапо.

Это был час затишья. Вайс видел длинные очереди берлинцев возле водопроводных колонок. У магазинов похоронных принадлежностей разгружали гробы и складывали их в штабеля, возвышающиеся почти до крыши дома, — товар, который шел сейчас нарасхват.

В скверах и парках старики сторожа обметали метлами пыльную листву деревьев и кустов сирени — прежде их поливали из брандспойтов.

На скамьях или просто на чемоданах спали бездомные.

В серых сумерках лица людей казались серыми, словно присыпанные пеплом.

Стены уцелевших зданий были сплошь заклеены яркими плакатами.

Потом город стал вновь содрогаться от бомбовых ударов.

Нацистская Германия в стратегии войны рассчитывала на блицкриг, и все ее боевые средства были оружием нападения. Возможность войны на территории самой Германии полностью исключалась из системы планирования. Нет смысла увеличивать выпуск зенитных орудий, которые на каждые две тысячи выстрелов дают одно попадание. Это слишком высокая цена для того, чтобы оплачивать ею защиту немецкого населения.

Когда в небе появились эскадры бомбардировщиков, Вайс без особого труда установил, сколь тощ оборонительный огонь берлинской противовоздушной обороны, — он был подобен жалкому фейерверку.

Соединения тяжелых бомбардировщиков разгружались над Берлином организованно, неторопливо, сваливая свой груз с разумной осмотрительностью только там, где тропы огненных трасс зенитных снарядов были едва заметны. Они сбрасывали бомбы над густо населенными рабочими районами.

Они били по рабочему Берлину, облегчая гестаповцам их труд. Зачем искать здесь антифашистов? Мертвые, под развалинами, они не доставляли никому забот, не нуждались даже в погребении.

Глядя на зарево пожарищ, на окутанные траурным дымом рабочие окраины, Вайс ощущал судорожные конвульсии сотрясаемого от бомбовых толчков города.

Заводские массивы, принадлежащие концернам, находились как бы в зоне недосягаемости, будто их охранял закон о неприкосновенности частной собственности, — гибли люди.

Город выглядел мертвым, покинутым. В подвалах, как в моргах, вповалку лежали старики, женщины, дети.

Соединения бомбардировщиков продолжали деловито разгружаться над Берлином.

Небо казалось каменной плитой, пробуравленной авиамоторами. От нее откалывались и падали на город тяжелые об-

ломки, гулко сотрясая воздух. Трассирующие снаряды и прожекторы только освещали путь их падения.

Воздушная волна выдавливала стекла в верхних этажах зданий, и они осыпались, как осколки льда.

Буравящий звук авиамоторов приблизился, вдогонку за ним скользнули голубые лучи прожекторов и словно отсекали своими негнушимися лезвиями от плиты неба гигантскую глыбу, и дом — нет, не дом развалился, а этот упавший на улицу, отсеченный черный кусок неба.

Вайс, оглушенный, поднялся. Он успел добраться до входа в метро в тот момент, когда стена другого дома, медленно кренясь, осыпалась вдруг каменной лавиной.

Под низкими сводами неглубокого метрополитена на каменной площадке перрона, тесно скупившись, сидели и лежали вповалку люди.

Кафельные стены метро были увешаны рекламами, прославляющими кондитерские изделия, пивные бары, зазывающими посетить увеселительные заведения и знаменитые рестораны. Чины военной полиции с медными бляхами в виде полумесяца на груди, светя карманными фонарями, проверяли документы. Белый световой диск этих фонарей обладал, должно быть, силой удара, потому что головы отшатывались при его приближении так, будто над ними заносили кулак.

Военная полиция использовала бомбежки для выявления тех, кто подлежал тотальной мобилизации, — юнцов и стариков.

Обходить бомбоубежище проще, чем устраивать облавы в домах и на улицах. Не так хлопотно, и безопаснее работать в укрытии, не спеша, не опасаясь бомбежек.

Они выявляли здесь также и психически травмированных. Их увозили в «лечебницы» и делали им там укол цианистого калия в сердце — в порядке чистки расы от неполноценных экземпляров.

Гестаповцы — грубияны. Чины военной полиции вели себя более благовоспитанно — обнаруженных «дезертиров» угощали сигаретами. А у тех, кто был в ботинках, разрезали шнурки, чтобы будущие защитники рейха не вздумали удрать, когда их поведут на сборный пункт.

Никто не кричал, не стонал, не метался, когда слышался грохот обвала. Люди боялись, чтобы их не заподозрили в психической неполноценности. Матери ниже склонялись над детьми, инстинктивно стремясь защитить их своим телом. Лежали, сидели, стояли неподвижно, молча, словно заключенные в камере после приговора.

До сих пор Вайсом владело жгучее чувство ненависти к гитлеровцам только за свой народ. Но сейчас ему хотелось мстить им и за этих немцев, за этих вот людей, приговоренных к бомбовой казни.

Вайс знал, что подачками из военной добычи гитлеровцы приобщили многих немцев к соучастию в своих преступлениях. Они отдавали им в рабство женщин и девушек, пригнанных из оккупированных территорий. Создали изобилие жратвы, грабя людей в захваченных землях и обрекая их на голод. Почти три миллиона человек, вывезенных из стран Европы, как рабы работали на немцев. Они строили им дома, дороги, пахали и сеяли.

Но за все эти блага, полученные от властителей Третьей империи, приходилось расплачиваться наличными: не пфеннигами, а отцами, мужьями, сыновьями, одетыми в мундиры цвета пфеннигов. Таков был товарооборот рейха.

Иоганн видел, понимал: прекратить страдания немецкого народа могло только одно — подвиг Советской Армии, сокрушительный удар, который повергнет ниц и растопчет фашизм, как уползающую гадину, чьи скользкие петли обвили тело Германии и продолжают душить лучших ее сыновей в застенках гестапо.

Что мог сделать здесь Вайс? Единственное, что он мог себе позволить, — это приказать чинам военной полиции немедленно покинуть бомбоубежище. Он велел им патрулировать улицу, якобы для выявления вражеских сигнальщиков.

Он выгнал их наружу и сам последовал за ними. Обернувшись, Вайс заметил, как отобранные «тотальники» провожают его изумленными и обрадованными взглядами людей, приговоренных к казни и вдруг получивших помилование.

Первый эшелон бомбардировщиков разгрузился. Разрушенные фугасками дома бесшумно пылали — термитные бомбы подожгли их.

Этот метод бомбометания — смесь фугасок с зажигалками — союзники называли «коктейлем».

Вайс вышел на улицу, которой не было, — развалины ее пылали, словно вытекая из-под земли лава. Он шел по асфальту, усыпанному осколками стекла, как по раздробленному льду.

Огромные жилые здания лежали каменной грудой, будто обвалился скалистый берег и рухнул на отмель.

Остроконечными утесами торчали уцелевшие стены. На каменном дымящемся оползне, возвышавшемся недалеко, Вайс увидел полуголых скелетообразных людей — они пробились траншеей в развалинах, подобную тем, которые прокладывают археологи во время раскопок древнего города.

— Дмитрий Иванович! — услышал Вайс спокойный хриловатый голос. — Подбрось пятерых: нащупал местечко, где перекрытие ловчее пробивать.

Пять человек вылезли из траншеи и, согбенные под тяжестью ломов, стали карабкаться по обломкам.

Тела и одежда в известковой и кирпичной пыли. Ноги тонкие, как у болотных птиц, животы свисавшие. Но на торсах и руках, как на муляжах для сбучения медиков, обозначались мышцы.

Потом Вайс увидел, что такие же изможденные люди приподняли тяжелую двутавровую металлическую балку, и казалось ему — он слышит сквозь дребезг металла, как скрипят мышцы этих людей, совершающих нечеловеческое усилие. Им самим надо было, верно, уподобиться по стойкости железу.

Здесь, спасая жителей, погребенных в подвалах бомбоубежищ, работали военнопленные.

Вокруг стояли эсэсовцы в касках, держа на поводке черных овчарок; псы дрожали и прижимались к ногам своих стражей: их пугало пламя и грохот отдаленных взрывов.

Эсэсовцы заняли посты в развороченных бомбовых воронках или в укрытии рядом с гигантскими глыбами развалин. Видно по всему, их не столько беспокоило, что кое-кто из военнопленных может убежать, сколько опасность нового налета.

Сформированные из немецкого населения спасательные команды работали только после отбоя воздушной тревоги. Военнопленных гоняли и тогда, когда район подвергался бомбежке.

Стуча ломами, люди пробивали перекрытие. Руки и ноги их были обмотаны тряпьем, на телах — кровавые подтеки от ранений, причиненных кусками арматурного железа или острыми краями камня. Но вот странно — на их усохших, со старческими морщинами лицах не замечалось и тени подавленности. Они бодро покрикивали друг на друга, состязаясь в ловкости и сноровке. Казалось, они преисполнены сознанием важности своего дела, того, что сейчас они здесь — самые главные.

Вайсу горько и радостно было слушать русский говор, наблюдать, как подчеркнуто уважительно они называют друг друга по имени-отчеству, с каким вкусом произносят слова из области строительной технологии, советуются, вырабатывая наиболее целесообразный план проходки к подвалу бомбоубежища.

Полуголые, тощие, они выглядели так же, как, верно, выглядели рабы в древнем Египте, соорудившие пирамиды; почти столь же примитивны были и орудия труда. Только труд их был еще более тяжел и опасен.

— Ура! — раздался атакующий возглас. — Ура, ребята, взяли! — Огромная глыба, свергнутая с вершины развалин, кувыркаясь, покатилась вниз.

Вайс еле успел отскочить. Он понял: делая сверхчеловеческое усилие, чтобы свалить глыбу, эти люди еще старались свалить ее так, чтобы зашибить глазеющего на них снизу немецкого офицера.

Они расхохотались, когда Вайс пугливо шархнулся в сторону.

Кто-то из них крикнул:

— Что, говнюк, задрыгал ногами? Научился уже от нас бегать!— И добавил такое соленое словцо, какого Вайс давно уже не слышал.

К Иоганну подошел охранник и, извинившись перед господином офицером, посоветовал отойти несколько в сторону.

— Работают как дьяволы,— сказал он Вайсу,— и при этом не воруют, даже кольца с мертвых не снимают. И если что берут, то только еду. Хлеб, по-русски. Наверное, они сошли с ума в лагерях. Если бы были нормальные, брали. Кольца можно было бы легко спрятать: обыскиваем мы их только поверхностно.

— Эй, гнида!— закричал охраннику, по-видимому, старший из заключенных.— Гебен зи мир! Битте ди латерн!

Охранник отстегнул повешенный за ремennую петлю на пуговице электрический фонарик и, прежде чем подать его заключенному, сообщил Вайсу:

— О, уже пробили штольню!..— И пообещал с улыбкой:— Сейчас будет очень интересно смотреть, как они вытаскивают людей.

Через некоторое время заключенные выстроились возле пробитого в перекрытии отверстия и стали передавать из рук в руки раненых. Последние в этой цепочке относили раненых на асфальт и осторожно укладывали в ряд.

Позже всех из завала выбрались немцы, не получившие повреждений. Среди них был пожилой человек. Он бросился к охраннику и, показывая на сутулого военнопленного, заорал:

— Этот позволил себе толкнуть меня кулаком в груды! Вот мой партийный значок. Я приказываю немедленно проучить наглеца здесь же, на месте! Дайте мне пистолет, я сам...

Подошел старшина военнопленных. Высокий, седоватый, со строгим выражением интеллигентного лица. Спросил охранника по-немецки:

— Что случилось?

Охранник сказал:

— Этот ваш ударил в бомбоубежище господина советника. Старший повернулся к сутулому заключенному:

— Василий Игнатович, это правда?

Сутулый сказал угрюмо:

— Сначала раненых, потом детей, женщин. А он,— кивнул на советника,— всех расталкивал, хотел вылезти первым. Ну, я его и призвал к порядку. Верно, стукнул.

— Вы нарушали правила,— попытался объяснить советнику старший,— полагается сначала раненых, потом...

— Я сам есть главный в этом доме!— закричал совет-

гик.— Пускай русские свиньи не учат меня правилам!— И попытался вытащить пистолет из кобуры охранника.

Вайс шагнул к советнику:

— Ваши документы.

Советник с довольной улыбкой достал бумажник, вынул удостоверение.

Вайс, не раскрывая, положил его в карман, сказал коротко:

— Районное отделение гестапо решит, вернуть вам его или нет.

— Но почему, господин офицер?

— Вы пытались в моем присутствии обезоружить сотрудника охраны. И понесете за это достойное наказание.— Обернувшись к охраннику, бросил презрительно:— И вы тоже хороши: у вас отнимали оружие, а вы держали себя при этом как трус!— Записал номер охранника, приказал:— Отведите задержанного и доложите о его преступных действиях. Все!

И Вайс ушел бы, если бы в это время к развалинам не подкатила машина и из нее не выскочил Зубов. Костюм его был покрыт кирпичной пылью.

Старшина военнопленных вытянулся перед Зубовым и доложил по-немецки:

— Проход пробит, жители дома вынесены из бомбоубежища на поверхность.

— Что с домом сто двадцать три?— спросил Зубов.

— Нужна взрывчатка.

— Для чего?

— Люди работают,— хмуро сказал старший,— но стена вот-вот рухнет, и тогда все погибнут.

— Вы же знаете, я не имею права давать взрывчатку военнопленным,— сказал Зубов.

Старший пожал плечами.

— Ну что ж, тогда погибнут и ваши и наши.

— Пойдем посмотрим,— и Зубов небрежно махнул перчаткой двум сопровождавшим его солдатам.

Вайс решил остаться. Он только перешел на другую сторону улицы и не торопясь последовал за Зубовым и старшиной. Высоченная стена плоской громадой возвышалась над развалинами. Зубов и старшина стояли у ее подножия и о чем-то совещались.

— Сережа!— вдруг закричал старшина.— Сережа!

От группы военнопленных отделился худенький юноша и подошел к старшему.

Потом Вайс увидел, как этот юноша с ловкостью скалолаза стал карабкаться по обломанному краю стены. Он был опоясан проводом, который сматывался с металлической катушки по мере того, как юноша поднимался.

Добравшись до вершины стены, он уселся на ней, прово-

дом втянул пеньковый канат и обвязал его между проемами двух окон. Он втягивал канаты и обвязывал их то вокруг ба-лок, то между проемов. Закончив, он хотел на канате спуститься на землю, но старшина крикнул:

— Не смей, запрещаю!

Юноша послушно спустился по краю стены.

Потом военнопленные взялись за канаты и, по команде старшины, стали враз дергать их.

Стена пошатнулась и рухнула. Грохот, клубы пыли.

Широко шагая, шел от места падения стены Зубов, лицо его было озлоблено, губы сжаты.

Остановившись, он стал отряхивать с себя пыль.

Вайс подошел к нему.

Зубов, выпрямившись, едва взглянув на Вайса, сказал:

— Одного все-таки раздавило.— Сокрушенно махнул рукой и, вдруг опомнившись, изумленно воскликнул: — Ты?! Тебя же повесили!

— Как видишь, нет.

— Подожди,— сказал Зубов,— я сейчас вернусь.

Ушел в развалины и долго не возвращался.

Снова начался налет авиации. Сотрясалась почва, от вихря взрывной волны вокруг поднялись облака каменной пыли. Но сквозь нее Вайс видел, как люди прокладывали траншею в поисках места, где было бы удобнее пробивать проход в бомбежище.

Наконец Зубов появился, но сперва он что-то сказал своим сопровождающим, и те, очевидно выполняя его приказание, поспешно уехали на машине. Потом Зубов подозвал старшину военнопленных, спросил:

— Ваши люди вторые сутки работают без питания. Приказать охране отвести их в лагерь?

— Нет,— сказал старшина,— как можно? Там, под землей, ведь тоже люди мучаются. Зачем же бросать?

Зубов задумался, потом, оживившись, посоветовал:

— Пробеите проход вон там, где болтается вывеска кондитерской.

— У нас уже нет на это сил,— сказал старший.— Может, после, желающие...— Попросил: — Прикажите охране, чтоб не препятствовала.

Зубов кивнул и дал распоряжение охраннику. И только тогда подошел к Вайсу и, глядя ему в глаза, объявил:

— Ну, это так здорово, что ты живой, я даже выразить тебе не могу!

Машина вернулась за Зубовым. Зубов открыл перед Вайсом дверцу:

— После поговорим.

Всю дорогу они молчали, только изредка позволяя себе взгляды друг другу в глаза.

Над районом, из которого они только что уехали, с новой силой разразился налет.

Солнечный восход окрасил поверхность озера Ванзее в нежные, розовые тона. Вайсу показалось, что перед ним мараж.

Возле пристаней стояли крохотные яхты и спортивные лодки красного дерева.

Машина спустилась к набережной и остановилась возле купальни.

Зубов хозяйски взошел на мостки, толкнул ногой дверь в купальню. Сказал хмуро:

— Давай окунемся,— и стал раздеваться.

Вайс, оглядывая мощную, мускулистую фигуру Зубова, заметил:

— Однако ты здоров, старик!

— Был,—сказал Зубов.— А теперь не та механика.— Погладил выпуклые, как крокетные шары, бицепсы, пожаловался:— Нервы.— Разбежался и, высоко подскочив на трамплине, прыгнул в воду и яростно поплыл саженками.

Вайс с трудом догнал его в воде, спросил сердито:

— Ты что, сдурел?

— А что?— испуганно спросил Зубов.

— Разве можно саженками?

— Ну, извини, увлекся,— признался Зубов. Брезгливо отплеывая воду, заявил:— Купается здесь всякая богатая сволочь, даже воду одеколоном завоняли.

— Это сирень,— объяснил Вайс, приподнял голову, вдохнул аромат:— Это же цветы пахнут.

— А зачем пахнут?— сердито сказал Зубов.— Нашли время пахнуть!

— Ну, брат, уж это ты зря — цветы ни при чем.

— Разве что цветы,— неохотно согласился Зубов. Глубоко нырнул, долго не показывался на поверхности. Всплыл, выдохнул, объявил с восторгом:— А на глубине родники аж жгут, такие студёные, и темнота там, как в шахте.— Поплыл к берегу брассом, повернул голову, спросил ехидно:— Видал, как стильно маскируюсь? Не хуже тебя, профессор!

Они поднялись на плавучий настил купальни, легли на теплые, уже согретые солнцем доски. Вайс заметил новый рубец от раны на теле Зубова, затаенный еще совсем тонкой, сморщенной, как пенка на молоке, кожей.

— Это где же тебя?

Зубов нехотя оглянулся:

— Ты какими интересуешься?

— Самыми новенькими, конечно.

— Ну ладно,— хотел уклониться от ответа Зубов,— живой же!...

— А все-таки?

Зубов помолчал, зачерпнул в горсть воды, попил из нее, потом сказал хрипло:

— Я ведь в Варшаве в гетто с моими ребятами проник, но только после восстания, когда ихних боевиков уже почти всех перебили. Кругом горит, люди с верхних этажей обматывают детей матрацами и, обняв, прыгают вниз. А по ним снизу из автоматов...

Ну, организовал оборону. Девушки, парни, совсем школьники. Расшифровался, что русский. Был момент — не поверили, вызвали старика — когда-то жил в России, — тот подтвердил. Таскал его за собой как переводчика, пока не убили. Но он мне авторитет создал — стали слушаться. Набьем фашистов, а совсем маленькие ребята к трупам ползут — за оружием, патронами. Я кричу: «Назад!» — не слушают. А ведь огонь, от камней осколки летят. А они же совсем дети! — Потер лоб ладонью. — За нашей группой стали из артиллерии охотиться. Плечо задело осколком. А я один у пулемета — и за первого и за второго номера.

— А что группа?

— Что, что! Ну, не стало группы, девяносто процентов потерял. Увязался за мной помощник, шустрый такой мальчишка, ничего не боялся. Только научил я его оружием владеть, как все — подстрелили. Начал его перевязывать. А он по-польски объясняет: «Извините, говорит, вы не доктор, вам стрелять надо». Отполз к краю крыши, чтоб мне его было не достать, и там у желоба помер. Потом старуха с дочерью у меня за второго номера были. Дочь — врач, ловко умела перевязывать, но когда в третий раз меня ранили, их уже не было. Кто-то в подвал меня сволок, там я отлежался, выполз. Работал из автомата — прикрывал, пока старики, женщины и дети в люке от канализации скрывались. Их потом там дымовыми шашками немцы задушили.

— А ты?

— Ну, что я, существовал. Фашисты ночью уже по пустому гетто бродили, сапоги обмотали тряпками, чтобы неслышно ступать, и, как найдут живого, добивали.

Я для личной безопасности больше ножом действовал, от пальбы воздерживался. Потом вконец устал, без памяти свалился.

Очнулся как бы в земляной норе, аккуратно перебинтованный. Ну, ухаживали за мной, будто я самый лучший человек на земле. Понимаешь, такие люди! Им самим там дышать нечем — воздуху нет. Знаешь, хлебом, водой поделиться — это что, а вот когда дышать нечем... А тут такая здоровенная дылда, как я, зубами от боли скрипит и последний воздух хлюпает. Уполз я от них. Вижу — дети синеют, ну и уполз.

И, представь, напоролся вдруг на Водицу с Пташеком —

вылезли из канализационного люка. Они, оказывается, беглецам решетку пропиливали, где выход из туннеля на Вислу. Кое-кто спасся — те, кто не потонул. Ну, тут я, очевидно, и скис. Как они меня оттуда уволокли, не знаю.

Недели через две или вроде того я с ними одну диверсию не совсем аккуратно сработал. Все получилось, но вроде как гестапо чего-то учуяло. Я намекнул Бригитте: неплохо было бы в Берлин эвакуироваться, — ну, она выхлопотала.

Зубов опустил голову, пробормотал:

— А вообще-то как там, в гетто, все было, нет возможности человеческими словами рассказать! — Посмотрел на озеро, добавил: — И моря не хватит, чтобы такое смыть навечно из памяти. Так вот. — Встал и начал одеваться. — Из Берлина туристские автобусы приезжали, специальная остановка возле варшавского гетто. Гид пояснения публике давал, брюхоногие развлекались, как в цирке. Может, из здешних vill жители.

— Так кем же ты сейчас числишься у немцев? — спросил Вайс.

— Видел же, — неохотно процедил Зубов. — Командую по линии «Тодта» спасательными отрядами из немцев, но главным образом — заключенными.

— Ну и как?

Зубов сказал сконфуженно:

— Наши вначале договорились убить меня. Народ организованный, понимаешь, постановление вынесли. Один подлец мне об этом донес. Ну, я, конечно, разволновался: от своей смерть принять — это же ни к чему. А потом решение принял: пристрелил под каким-то предлогом при всех заключенных этого гада во время спасалки, но чтобы все поняли, что к чему. Как шлепнул — сказал: «Это был весьма нехорошего языка человек». Ну, видимо, они сами на этого подлеца уже глаза щурили. Спустя день старшина подходит и спрашивает: «Герр комиссар, вы застрелили нашего товарища — он хотел сделать вам плохое?» — «Не мне, а вам», — это я так ему сказал. Поглядели мы в глаза друг другу и разошлись. Выходит, отменили они после этого свое решение: много было возможностей пришибить меня, а не использовали.

— А есть случаи бегства?

— Обязательно. Бегут, да еще как! — ухмыльнулся Зубов.

— Но ведь это может на тебе отразиться.

— Почему? Составляю акт по форме — и всех делов: мол поймал и расстрелял на месте — за мной все права на это. А некоторых заново в списки погибших при бомбежке или во время завалов. Бухгалтерия у меня на такие дела чистенькая. — Сказал завистливо: — Чувствую по всему: у них партийная и другая организация имеются, они и решают, кому и когда бежать. Живут коллективом. А я для них вроде как пешка — не человек, одна фигура.

— Слушай, а почему они так здорово работают?

— Так ведь людей спасают.

— Немцев, — напомнил Вайс.

— Да ты что! — возмутился Зубов. — Знаешь, когда детей задавленных из рухнувшего бомбоубежища выносят, смотреть невозможно: будто они их собственные, эти ребятишки. — Вздыхнул: — Вот, значит, какая конструкция души у советских! И кто скажет, слабина в этом или сила...

— А ты как считаешь?

— Как? А вот так и считаю.

Они сели за столик на открытой веранде кафе, свободной от посетителей в этот ранний час. Кельнер, не спрашивая о заказе, принес кофе, булочки, искусственный мед и крохотные, величиной в десятипфенниговую монету, порции натурального масла.

Зубов отпил кофе, брезгливо сморщился:

— Надоело это пошло, лучше закажу пива.

— Да ты что? Пиво — утром? Здесь не принято.

— Ну, тогда щи суточные.

— Ладно, не дури, — сказал Вайс.

Зубов посмотрел на грязное от дымных пожарищ, все в багровых отсветах, будто налитое кровью небо, спросил сердито:

— Ты вот что мне объясни. Союзники бомбят Германию. А почему немецкая промышленность не только не снизила выпуск продукции, но, наоборот, постоянно его увеличивает и кульминационная точка производства самолетов приходится как раз на время самых сильных бомбежек? И все это вооружение гонится против нас.

— А союзники лупят не по объектам, а только по немецкому населению — с целью терроризировать его и вызвать панику, — продолжил его мысль Вайс.

— Но гестапо так терроризировало население, что куда там бомбежки! — сказал Зубов. — Недавно репрессировали более трехсот тысяч человек. И, понимаешь, вчера ночью я видел, как на молочных цистернах фирмы «Болле» и автомашинах берлинской пожарной охраны вывозили на Восточный фронт стационарные батареи, входящие в систему ПВО Берлина. А раньше туда отправили много зенитных железнодорожных установок. Я уж не говорю об эскадрильях ночных истребителей, снятых с берлинской ПВО для той же цели. Выходит, союзники должны сказать гитлеровцам: «Мерси, услуга немалая». — Поморщился, словно от зубной боли. — Похабная эта стратегия, вот что я тебе скажу! Вместо того чтобы сломать хребет военной промышленности Германии, бьют вкуче с гестаповцами гражданское население. Союзники усиливают воздушный террор, а гестаповцы — полицейский. И немцу от всего этого податься некуда, разве только на фронт. Всех и сме-

тают подчистую тоталкой. И тоже на Восточный фронт гонят. — Сказал со злостью: — Был я тут на одном военном заводишке, смотрел. Вкалывают немцы, отбывающие трудовую повинность, по двенадцать часов в сутки. Началась воздушная тревога — работают. Вот, думаю, народ! А что оказалось? Бомбоубежища нет, а кто оставит станок — саботажник, ему прямой путь в концлагерь. В заводских зонах дежурят не зенитчики, а наряды гестапо. Вот и вся механика. Самые же крупные военные заводы находятся за пределами городов, и союзники их не бомбят — не та мишень. — Помолчал. Вздохнул: — Занимаюсь кое-чем в свободное от спасательных работ время.

— Чем же именно? — спросил Вайс.

— Да так, мелочи, — устало сказал Зубов. — Со стройки бомбоубежищ для высокого начальства ворую взрывчатку, ну и используем по назначению.

— У тебя что, снова группа?

— Так, скромненькая, — уклончиво сказал Зубов. — Но ребята отважные. Воспитываю, конечно, чтобы без излишней самостоятельности. Недавно одного агента из вашего «штаба Вали» пришибли.

— Как вы разузнали об агенте?

— Есть человек наш, связной, — дал приметы, сообщил, что этот агент прибудет в Берлин на поезде, с одним сопровождающим. Встретили обоих с почетом, на машине. Повезли. Как всегда, бомбежка. Ну, и остановились у бомбоубежища, которое я по особому заказу построил, но клиенту еще не сдал. Ну, входит. Допросили. Приговорили. Все по закону, как полагается. — Зубов поднял глаза, спросил: — А ты, значит, без передышки, все время немец? — Покачал головой. — Я бы не смог. Душа присохла бы. Железный ты, что ли, — такую нагрузку выдерживать? — Пожал плечами. — Одного не могу понять: на черта тебе было в тюрьме из себя благородного немца корчить? Ну, настучал бы Мюллеру на своего Шелленберга, и пусть цапаются. Ради чего в петлю лез?

Вайс сказал:

— В прошлом году гестапо арестовало агентов Гиммлера, возвратившихся после тайных дипломатических переговоров с представителями английских и американских разведок, и предъявило им обвинение в незаконном ввозе иностранной валюты. И Гиммлер подписал им смертный приговор лишь потому, что они настаивали, чтобы его уведомили об их аресте.

— Дисциплинка! — усмехнулся Зубов.

— Нет, — сказал Вайс, — не только. Это метод их секретной службы: не обременять себя людьми, допустившими оплошность. Есть и другие, более скоростные способы. Сотруднику не делают замечаний, если он допустил ошибку. Его посылают к врачу. Тот делает привизку — и все.

— Понятно.— Зубов погладил руку Иоганна.— Ты уж там у них старайся на полную железку.— Добавил печально: — И не надо нам с тобой больше видеться. Я человек не совсем аккуратный, иногда грубо работаю.

— Ну, а Бригитта как?

На лице Зубова появилось выражение нежности.

— Ничего, живем.— Наклонился, произнес застенчиво счастливым шепотом: — Ребенок у нас будет. Хорошо бы подгадать, чтоб к приходу нашей армии: я бы его тогда зарегистрировал как советского гражданина, по всем правилам закона.

— А Бригитта согласится?

— Упросим,— уверенно сказал Зубов.— Будут же все условия для полной аргументации. Уж тогда я перед ней всю картину нашей жизни разверну. Не устоит. Она на хорошее чуткая.

Вайс встал, протянул ему руку.

— Ну что ж, прощай,— грустно вздохнул Зубов.— Нервный я стал. Раньше не боялся помереть, а теперь очень нежелательно. Чем ближе наша армия подходит, тем труднее становится ее ожидать...

Густав зашел навестить Вайса в его коттедж и как бы между прочим осведомился, какое впечатление на него произвели участники заговора, с которыми он был в заключении.

Вайс сказал пренебрежительно:

— Самое жалкое.

Густав, не глядя на Вайса, заметил:

— Штауфенберг, чтобы спасти от казни своих арестованных друзей, по собственной инициативе пытался совершить покушение на фюрера еще одиннадцатого июня.

— Скажите какое рыцарство!— усмехнулся Вайс.

— Оказывается, один генерал, будучи участником заговора, все время информировал о нем рейхсфюрера.

— Ну что ж, следовало бы зачислить этого генерала в штат гестапо.

— А он и не покидал своей секретной службы там. Между прочим, Ганс Шпейдель, начальник штаба фельдмаршала Роммеля, также донес на своего начальника.

— Но Роммель, кажется, погиб в автомобильной катастрофе?

— Да, так,— согласился Густав,— и, очевидно, для того, чтобы он не страдал от ранений, полученных в этой катастрофе, кто-то из сотрудников предложил ему принять яд, что он и сделал.

— Герой Африки — и такой бесславный конец!

— Когда-то он был любимцем фюрера...— напомнил Густав.

Вайс, пытливо глядя ему в глаза, спросил:

— Очевидно, вы хотели услышать мое мнение не о Роммеле?

— Разумеется, не о Роммеле, а о тех,— мотнул головой Густав.

— В сущности,— твердо сказал Вайс,— насколько я понял из их разговоров, руководители заговора приняли решение капитулировать перед Западом, с тем чтобы потом начать наступление на Восточном фронте. Это был чисто военно-политический маневр — и только. И хоть они покушались на жизнь фюрера, дух его они впоследствии хотели воскресить во всем величии.

— В чьем лице?

— Я полагаю, в лице нового фюрера. Но,— иронически заметил Вайс,— Геббельс точно определил этот заговор как «телефонный».

Густав помолчал, потом порекомендовал дружески:

— Если к вам с таким же вопросом обратится наш шеф, я полагаю, ваши ответы в этом духе могут удовлетворить его. Они смелы, неглупы и свидетельствуют о вашей проницательности.

— Благодарю,— кивнул Вайс.

Густав улыбнулся.

— Разрешите вручить вам секретный пакет. Распишитесь на конверте и не забудьте кроме даты точно указать время.

Когда Густав ушел и Иоганн вскрыл пакет, он увидел тот самый документ, который некогда, во время первой их встречи, показал ему Вальтер Шелленберг. Только теперь на удостоверении была наклеена его фотография.

64

Вскоре Вайс вновь выехал в Швейцарию. На этот раз в его подчинении была группа, состоявшая из трех человек.

Его обязанности заключались в том, чтобы встречать и расселять прибывающих в Швейцарию людей и устанавливать, не ведется ли за ними наблюдение. Кроме того, он должен был принимать курьеров из Берлина и отправлять их обратно, а также осматривать запломбированные портфели-сейфы из стальной сетки, прежде чем вручить их курьерам или получить от курьеров.

Если документы были чрезвычайной важности, в эти портфели-сейфы помещалась плоская портативная мина с часовым механизмом. В том случае, если бы курьер задержался в пути, мина, сработав, уничтожила бы и документы и курьера.

Получив такой портфель, Вайс должен был вскрыть потайной кармашек на стальной сетке, в котором хранилась ми-

на, и ключом определенной конфигурации остановить часовой механизм. После этого он передавал портфель кому следовало. Когда же он отправлял курьера, то заводил часовой механизм мины, но уже другим ключом.

Довольно быстро Йоганн разработал методику, позволявшую изымать из портфеля документы и фотографировать их. Однако он был вынужден на это время не останавливать часового механизма мины, хотя курьеры, доставлявшие портфель, частенько запаздывали и мина могла сработать, пока он занимался своим делом. Останавливать часовой механизм, прежде чем начать работу, было рискованно: при контрольном осмотре циферблата могло обнаружиться, что мину обезвредили до того, как вручить портфель тому, для кого он предназначался.

Для того чтобы получить возможность обрабатывать портфели-сейфы без особых помех, Вайс предложил своему начальству по СД вкладывать в определенное место портфеля крохотный кусочек фотопленки. В том случае, если портфель подвергся бы вскрытию, это можно было легко обнаружить, так как пленка оказалась бы засвеченной. Он придумал также ловушку-улику: из пульверизатора опылял сетку специальным невидимым порошком. И если бы кто-нибудь прикоснулся к сетке, на ней остались бы отпечатки пальцев.

В Швейцарии Вайс вел жизнь сурового, требовательного к себе и людям педанта. Он был чрезвычайно исполнителен и настолько предан работе, настолько поглощен своим делом, что сотрудники невзлюбили его за нелюдимость, пуританизм и неумолимую взыскательность.

Дни, похожие один на другой, тянулись томительно медленно. Все это время гитлеровцы вели с англичанами и американцами переговоры о подписании соглашения. Даллес втайне от СССР вероломно договаривался с немцами о сепаратном мире. И почти в каждый из этих дней Вайс отсылал в Центр через связного фотопленки. Что на них запечатлено, он не знал: читать документы при фотографировании у него не было времени.

В тот день, когда по поручению советского правительства Народный комиссариат иностранных дел СССР указал в негодующем письме послу США, что «в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования — с другой», — в тот день Вайс уже снова был в Берлине. Он не знал об этой ноте, как не знал и о содержании тех документов, фотокопии которых почти регулярно отсылал в Центр. И пребывание в Швейцарии он вспоминал потом как один из самых скучных и серых периодов своей жизни.

Неожиданно Вайс получил от Густава довольно странное указание. Он должен был обратиться к библиофилам и заняться поисками книг, рукописей, документов, касающихся деятельности тайных организаций, когда-либо существовавших в истории человечества. Надо было изучить буквально все, будь то средневековые рукописи о тайных монашеских орденах или современные американские издания о ку-клукс-клане, писания о карбонариях, иллюминатах, ирландских син-фейнерах, масонах.

Это занятие оказалось не только не обременительным, но даже интересным и дало возможность познакомиться со многими собирателями редкостных фолиантов и старинных рукописей.

От хранителя берлинской университетской библиотеки Иоганн узнал, что уже в 1942 году, после поражения вермахта под Москвой, Гейдрих приказал повсюду изымать книги такого характера в свое личное пользование. Иоганн попросил хранителя составить список книг, переданных Гейдриху, и, если возможно, устно аннотировать их. Хранитель, обладавший отличной памятью, сделал это с изумительной точностью, тем более что некогда ему уже было поручено письменно изложить содержание таких книг, чтобы облегчить Гейдриху знакомство с ними.

Особо одобрительно хранитель отзывался о японской литературе на эту тему, где описывались различные японские тайные организации. Иоганн вспомнил, что Гесс в свое время изучал в Японии деятельность разведывательных служб и написал о ней диссертацию, за которую получил научное звание. Когда он сказал об этом хранителю, тот самодовольно заметил, что имел честь помогать Гессу в работе над диссертацией. Вайс щедро заплатил хранителю за отобранные в университетской библиотеке книги и рукописи и уговорил, чтобы тот оказал ему такую же помощь в работе, какую он когда-то оказал Гессу.

Спустя некоторое время Вайс сообщил Густаву, что не только собрал указанные ему книги, но даже составил нечто вроде конспективной справки для пользования ими.

Густав тщательно ознакомился с объемистым исследованием и был поражен его обстоятельностью и предугаданной направленностью. И, очевидно в поощрение за проделанную Вайсом работу, разрешил ему лично передать Вальтеру Шелленбергу все собранные материалы — книги, рукописи и аккуратно переплетенную библиографическую справку.

Когда Вайс приехал в Хоенлихен и сдал дежурному ящики с книгами и опечатанную папку со своей рукописью, ему приказали подождать.

Дежурный ненадолго вышел, потом вернулся, протянул открытую ладонь, потребовал:

— Ваше оружие! — И, приказав следовать за собой, привел Вайса к озеру, а потом вытянул руку в сторону аллеи: — Идите прямо.

Иоганн пошел было в указанном направлении, как вдруг его остановил негромкий возглас:

— Стойте!

Под сенью огромных каштанов сидел на скамье Шелленберг, а рядом с ним — рейхсфюрер Гиммлер. На столе перед ними лежала раскрытая папка с рукописью Вайса.

Вайс вытянулся и доложил о себе рейхсфюреру.

Гиммлер сидел, разбросав руки на спинке скамьи и закинув ногу на ногу. Стекла очков ледяно блестели. Шея тонкая, с дряблой кожей, плечи узкие и — что самое отвратительное — крохотные, женские руки с розовыми отшлифованными ногтями. Большой белый и жирный лоб, обрюзгшие, слабо свисающие щеки, петлистые уши.

Шелленберг показал глазами на рукопись:

— Рейхсфюрер одобрил вашу работу.

Вайс снова вытянулся, замер. Ах, если бы у него был пистолет! Лицо его стало бледным от отчаяния...

Наклонясь к рейхсфюреру, Шелленберг сказал, кивнув на Вайса:

— Вы только взгляните на него — и убедитесь, какой благоговейный трепет внушаете вы моим людям.

Гиммлер рассмеялся, но глаза его при этом не утратили мертвенного выражения. Он спросил неожиданно тонким голосом:

— Это вас должны были повесить?

— Да, мой фюрер.

Гиммлер, будто не заметив, что ему присвоили титул фюрера, чуть подавшись вперед, чтобы лучше разглядеть лицо Вайса, осведомился:

— И почему же вас не повесили? Вы ведь нарушили валютное законодательство империи.

— Виноват, мой фюрер, — сказал Вайс.

— Так вот, — сказал Гиммлер, — если вы дадите нам новый повод, мы вспомним об этом вашем преступлении, и тогда уж вам не миновать петли. — Обернувшись к Шелленбергу, объяснил: — Я только тогда верю в преданность, когда она зиждется на страхе, — и махнул рукой.

Вайс отдал приветствие, повернулся, щелкнул каблуками и пошел по аллее к выходу, стараясь ступать твердо и четко.

Когда он вернулся на Бисмаркштрассе, поджидавший его Густав сообщил радостно:

— Поздравляю вас: вы произвели благоприятное впечатление на рейхсфюрера!

Еще раньше, когда Иоганн занимался поисками книг для

Гиммлера, он неожиданно встретился с Хакке — бывшим радистом «штаба Вали». Хакке был в гестаповской форме. Он рассказал Иоганну, что в ночь на 23 ноября 1943 года, когда было разбомблено здание гестапо в Берлине, на Принц-Альбрехтштрассе, 8, он оказался там на третьем этаже, где располагался личный штаб Гиммлера, и только чудом уцелел.

В знак особого расположения к Вайсу за то, что тот в свое время выручил его, Хакке сообщил доверительно:

— Во время бомбежки все заботились только о том, как спасти свою шкуру. Горели важнейшие документы, но никто о них и не подумал.

— А вы? — спросил Вайс.

Хакке хитро подмигнул.

— После того, как меня тогда все предали, я поступил на службу безопасности. И в ту страшную ночь кое-что предпринял, чтобы обеспечить на дальнейшее свою личную безопасность. — Сказал злобно: — Теперь многие вот где у меня! — и показал сжатый кулак.

Вайс, делая вид, что не понял намека Хакке, заметил одобрительно:

— Конечно, теперь, когда вы работаете в гестапо, никто и ничто не может вам угрожать.

— Ясно, — согласился Хакке и тут же пригласил Вайса зайти к нему домой.

По всему видно было — здесь, в Берлине, Хакке сумел о себе позаботиться. Его комнату заполняли дорогие вещи. Возле дивана, накрытого пушистым ковром, Иоганн заметил неогороженный шкаф. Он почему-то не стоял, а лежал на полу, вниз дверцей, прикрытый спускающимся с дивана ковром.

Уходя, Вайс записал адрес и номер телефона Хакке. О себе он сказал, что в Берлин приехал на короткое время, в командировку.

Вечером Иоганн через тайник сообщил Зубову адрес Хакке и рекомендовал ему поинтересоваться содержимым неогороженного шкафа, если дом, где тот живет, подвергнется бомбардировке и представится такая возможность.

В эти же дни Иоганн узнал о довольно странной операции, которая проводилась якобы по указанию Гиммлера. Агенты полиции получили несколько тысяч фотографий и картотеку примет неких безымянных людей. Их следовало обнаружить в Берлине в течение двух недель, но применять при этом оружие строжайше запрещалось. Несомненно, тут что-то крылось, и, по-видимому, важное, так как были мобилизованы все лучшие криминалисты.

Вайс зашел в дирекцию полиции и пожаловался, будто в число фотографий разыскиваемых людей по ошибке попала и карточка его агента, задержание которого весьма нежелательно.

Полицейский офицер предложил ему просмотреть все фотографии разыскиваемых, чтобы изъять этот снимок.

Перебирая пачки снимков, Вайс обнаружил среди них фотокарточки нескольких знакомых ему эсэсовцев и сотрудников гестапо, в том числе и Хакке. Закончив работу, он поблагодарил офицера за любезность и сказал, что фотографию своего агента, к сожалению, не мог найти. Но если будет задержан человек, который скажет, что его кличка «Лунатик», он просит полицейского офицера немедленно позвонить в гестапо. Иоганн укрепился в своей догадке о том, что назначение этой операции — тренировка лиц, отобранных для «вервольфа».

Возвращаясь из полиции, Вайс встретил на Кенигсаллее штурмбанфюрера Клейна, начальника экспериментального концлагеря, который он некогда посетил вместе с Дитрихом. Узнав, что Вайс теперь служит в СД и стал офицером, Клейн захотел в свою очередь похвастаться собственными успехами. Он сообщил, что его вызвали в Берлин прочесть для видных сотрудников СС и гестапо цикл лекций о правилах поведения, нравах и обычаях заключенных в концлагерях. И что лекции на эти темы для такого же состава слушателей он уже прочел в других крупных городах.

— Вы, вероятно, делитесь также своим богатым опытом обращения с заключенными? — предположил Вайс.

— Нет, — ответил Клейн. — Моя тема строго ограничена: быт, нравы, обычаи, правила поведения заключенных. Особенности их взаимоотношений друг с другом. Приемы, к которым они прибегают для конспирации и укрывания тех, кто подлежит ликвидации, а также некоторые особенности их терминологии. — Похлопал Вайса по плечу, сказал снисходительно: — Что касается вас, то, если вы будете продолжать подвиг наци в иных условиях, нет оснований для беспокойства. Я уверен, вас не понадобится обучать, как вести себя с заключенными, чтобы удостоиться их доверия. — Рассмеялся. — Вы меня поняли?

— Вполне. — И Вайс добавил внушительно: — Надеюсь, вас не очень удивит, если я скажу, что меня больше интересует движение Сопротивления. Ну, оказаться среди подпольщиков значительно труднее, чем быть принятым за своего в концлагере.

— Несомненно, — согласился Клейн. — Но эти вопросы вне моей компетенции. Лекции на эту тему для того же контингента слушателей читают другие.

— Вы не помните, кто?

Клейн поморщился.

— Кажется, из бывших социал-демократов, типа Гаубаха. Находясь в рядах заговорщиков, покушавшихся на жизнь фю-

рера, он считал своим долгом информировать обо всем гестапо.— Добавил презрительно: — Один такой был у меня в лагере осведомителем. И, представьте, после Сталинграда я получил указание выпустить его, но потом его снова вернули, причем приказали содержать в исключительно привилегированных условиях.— Спросил озлобленно: — Неужели такие вот еще рассчитывают выплыть на политическую арену?

— В качестве лягушки, перевозящей на спине скорпиона.

— Вы умница,— рассмеялся Клейн.— И как только мы переплывем на западный берег, мы их всех утопим.

— Несомненно,— согласился Вайс.

Генрих во время встречи с Иоганном рассказал, что его дядя превратился сейчас в типичного хозяйственника: заготавливает в огромных количествах продукты питания, способные долго сохраняться, а также самую разнообразную штатскую одежду, вплоть до рабочей. И, очевидно пытаясь скрыть свою обиду на то, что ему поручили столь непривлекательную работу, делает вид, будто у него задание особой секретности и важности.

Вайс спросил:

— Что же, все это хранится на каком-нибудь определенном складе?

— Да нет,— сказал Генрих,— вывозят в какие-то селения, которых даже нет на карте, или в такие места, где, по-моему, и селений никаких нет. Да, еще что интересно,— Генрих усмехнулся,— в свое время закрыли все кустарные предприятия, изготовлявшие игрушки, вечные ручки и всякие там предметы домашнего обихода. А теперь, представь, они снова работают, но режим на них такой же секретности, как на военных заводах.

— А ты не видел у дяди изделий таких предприятий?

— Он держит образцы в несгораемом шкафу.

— Да-а,— протянул Иоганн,— это в самом деле интересно.— Сказал озабоченно: — Если тебе, Генрих, не удастся записать названия всех пунктов, куда Вилли направляет снаряжение, надо будет постараться сфотографировать карту, на которой эти пункты помечены. И как это ни трудно, но необходимо добыть один из образцов таких секретных изделий. И будь осторожен, Генрих, когда возьмешь в руки подобную игрушку.

— Почему?

— Я думаю, они обладают способностью взрываться,— серьезно заметил Иоганн.— Фашистские летчики уже разбрасывали такие вещички над советскими городами, и дети, подбирая их, гибли от взрывов.

— Хорошо,— согласился Генрих,— допустим. Ну, а зачем тебе карта размещения складов? Их же, по-моему, сотни. Может, лучше узнать, где находится базовый склад?

— Ни продукты питания, ни запасы одежды — каково бы ни было их количество — сейчас не имеют никакого значения. Главное — установить, для кого и для чего они предназначены. Зная пункты, мы сможем это выяснить.

— Мы с тобой? — удивился Генрих. — Да для того, чтобы только объездить их, и полугода не хватит.

Вайс улыбнулся.

— Мы — это Советская Армия. У нее найдется и время и люди, чтобы все это сделать.

— Ну, знаешь, собирать такие трофеи!.. — возмутился Генрих.

— Не собирать трофеи, а выявлять тех, для кого предназначены склады, — сказал Иоганн.

Он все больше утверждался в правильности своих подозрений, возникших у него с того момента, когда Густав поручил ему собрать для самого рейхсфюрера книги на определенную тему.

И он правильно понял намек Гиммлера, пригрозившего повесить его, если об этом станет известно кому-либо, кроме тех, кто выполнял поручения того же характера.

Как-то Иоганн позвонил Хакке по телефону.

Тот просто завопил от восторга, что Вайс снова вспомнил о нем. И настоял, чтобы Иоганн сейчас же приехал к нему.

— Куча роскошных новостей! — кричал Хакке в трубку. — Прошу вас, приезжайте немедленно! — Было слышно, как, стоя у телефона, он топал ногой от нетерпения.

Советская Армия вела мощное наступление на территории рейха. И в такое время вдруг ликующий нацист — на это уникальное зрелище стоило подивиться.

Хакке Иоганна встретил в ситцевом фартуке, надетом поверх гестаповского мундира.

Он приготовил ужин, проявив незаурядные кулинарные способности. На столе стояло несколько бутылок дорогого вина, только что откупоренных, — в знак уважения к высокому гостю.

Хакке принял в обе руки фуражку Вайса и бережно, как драгоценность, положил ее на сервант.

Сказал, хитровато щурясь:

— Недавно вы были обер-лейтенантом, а теперь уже капитан — гауптшарфюрер. А Хакке — он кто? — Показал вытянутый мизинец, усмехнулся. — Но, знаете, мой дорогой, чем выше пост занимает человек, тем меньше он знает и видит. А мы, мелюзга, повсюду, и, встречаясь, усиками пошевелим, как муравьи, и готово, всесторонний обмен информацией. — Произнес уважительно: — Я знаю подробности всех ваших злоключений и горжусь вашей стойкостью. Наш шеф господин Мюллер сказал, что таких людей, как вы, надо хоронить в мраморном мавзолее.

— Но почему же хоронить? — спросил Вайс.

— А как же! — удивился Хакке. — Мюллер мечтал повесить вас, чтобы насолить Шелленбергу: он его не любит. Да и за что любить? Подумаешь, магистр юридических наук! Кормили его эти науки! С тысяча девятьсот тридцать четвертого года — шпик СД в рейнских университетах.

— Неплохая практика работы с интеллигенцией, — заметил Вайс.

— Знаю! — всплеснул руками Хакке. — Знаю! Вы готовы жизнь отдать за своего шефа. Но уверяю вас, служба в гестапо имеет свои особые преимущества.

— Какие же? — поинтересовался Вайс.

— В политической заграничной разведке много университетской публики. А вот в гестапо образованный человек — фигура. Он сумеет не только, как все мы, выбить кулаком мозги, но и вложить вместо них подследственному такое, что тот был бы рад, если бы его поскорее повесили.

— Не понимаю, каким образом?

— Ну как же! Вот, к примеру, штурмфюрер Крейн. Был профессором Боннского университета. Образованный человек. Обращались мы одного журналиста. Кожа клочьями, но ничего, молчит. Крейн приказал его выпустить. Показался этот журналист своим знакомым в Берлине, все узнали, что он на свободе, а потом мы тихонечко снова его взяли. И штурмфюрер собственноручно написал несколько статей и опубликовал за его подписью. Но только в нашем духе. Узнал журналист — сам в камере повесился. Вот это мина! Но чтоб такую мину подложить, нужна культура. Так что вы подумайте, — многозначительно сказал Хакке. Помолчал, добавил внушительно: — Вот доктор Лангебен был тайным эмиссаром Гимmlера в секретных переговорах с Даллесом. А мы, гестаповцы, раз — и арестовали его, когда он вернулся из Швейцарии в Германию. И что же? Рейхсфюрер не захотел из-за него раскрывать свои интимные секреты. Повесили. — Вздохнул. — В политической заграничной разведке служить — все равно что блох у волка вычесывать. А в гестапо сейчас колоссальные перспективы. — Наклонился, сообщил значительным тоном: — Имею точные сведения: множество руководящих деятелей СС зачислено сейчас в списки участников заговора против фюрера. А еще больше заведено следственных дел на крупнейших функционеров партии. И их имена даже стали известны англичанам и американцам. Сам по радио слышал — восхваляли их союзники за борьбу с Гитлером.

— И что же, все они уже арестованы?

— Нет.

— Скрылись?

Хакке поежился.

— Нет.

— Странно, — удивился Вайс. — Политические преступники — и на свободе?

Лицо Хакке вдруг стало хмурым, озабоченным. Он сказал неуверенно:

— Правильно. Тут что-то не то. — Признался озлобленно: — А я-то ликовал, пускал пузыри, надеялся: возьмут их — и откроется перспектива занять место повыше. — Стукнул себя кулаком по толстому колену и, морщась от боли, воскликнул: — А я-то, я-то думал, пойду теперь вверх по лесенке! А они что же? Выходит, начальники себе убежище подготавливают. Участники Сопrotивления! А меня, старого нациста, под ноги бросят!

Лицо Хакке стало багровым, потным, яростным, глаза, казалось, вылезли из орбит. Он потерял всякую власть над собой и, склонившись к Вайсу, истощено, неудержимо говорил, захлебываясь словами, как в горячечном бреду:

— Все, картина ясная! Лейнера знаете? Хоронили недавно с необычайной пышностью: венки от партии, от СД и СС, от имперского руководства. Речи. С женой и детьми истерика. В тот же вечер я к ним на виллу пришел с визитом — выразить соболезнование. Сидят ужинают. На лицах такое спокойствие, будто ничего не произошло. В столовой сигарой пахнет, окурки в пепельнице дымится. А у них в семье, кроме самого Лейнера, никто не курил.

— Уверяю вас, вам это показалось.

— Нет! — еще больше распаляясь от недоверия Вайса к его словам, возразил Хакке. — Нет, не показалось! За одну эту неделю восемь таких скоропостижных смертей! И все покойники накануне своей внезапной кончины почему-то аккуратно сдали ключи от служебных сейфов тем, кто потом их заменил. Это откуда же такая предусмотрительность?

— Вы стали болезненно мнительны, Хакке, — насмешливо упрекнул его Вайс.

Насмешка обожгла Хакке.

— Нет, — сказал он, — я всегда хладнокровен. Только сейчас я вне себя. Вот, слушайте. В расово-политическом управлении партии была заведена картотека на самых чистейших арийцев, элиту нации. Профессора неоднократно вымеряли их циркулями и всю их родословную расписали. А теперь карточки сменили. И знаете, кем они числятся? Они записаны как евреи. А?! Как евреи! Это зачем же? Из концентрационного лагеря для евреев в Блехамере привезли в партийную канцелярию документы, одежду с красными крестами на спинах и желтыми полосами. И столько комплектов в брезентовых мешках привезли, сколько в картотеке вместо лучших наци стало числиться евреев.

— Ну знаете, — сказал Вайс, — это же трусы, чтобы спасти свою шкуру, они на все идут.

— Да, согласился Хакке, — на все. Сейчас осудили и приговорили к казни с десяток самых надежных из тех, кого я знаю. Пришел я на службу, стал их поносить — ну, как изменников. А мой начальник приказал мне заткнуться. Потом я двух этих «покойничков» в госпитале эсэсовском встретил в Ванзее — гуляют по парку в пижамах. Один только бороду отращивает, а у другого вся рожа забинтована после пластической операции.

Вайс, вакинув ногу на ногу, сказал пренебрежительно:

— Вы наивны, Хакке. И, в сущности, не только недостаточно осведомлены, но, к сожалению, ваша горячность подтверждает, что на службе вам не доверяют. Вот и все.

— И вы обо всем этом знаете? — изумился Хакке.

— Конечно, — утвердительно кивнул Вайс. — И все это делается в интересах будущего империи.

Хакке налил себе вина, выпил залпом, вытер тыльной стороной ладони губы. Глаза его смотрели тревожно.

— Я, кажется, наговорил лишнего?

— Отнюдь, — сказал Вайс. — Я слушал вас с большим интересом. И извлек пользу для себя, а значит, и для моей службы. — Потянулся, заложил руки на затылок, пояснил: — Ведь нам тоже, возможно, придется принимать меры для маскировки. И кое-чем из вашей информации мы, конечно, воспользуемся. Вы не возражаете?

— Только не упоминайте источника! — испуганно взмолился Хакке. — Ради бога!

— Хорошо, — согласился Вайс, — это я могу вам обещать. Но услуга за услугу: вы мне поможете составить записку по этому вопросу, и я в порядке личной инициативы представлю ее своему руководству. А то, я полагаю, — он усмехнулся, — герр Мюллер, перенеся свою неприязнь к моему шефу на область служебных отношений, неполно ознакомит его с опытом гестапо в этом направлении. И если вы окажете мне существенную помощь, то, понятно, и я смогу быть вам полезным. Помните: у нас, заграничной службы, есть кое-какие контакты с западными разведками.

— Я знаю, — уныло сказал Хакке.

— Ну, тем более. Следовательно, если мы соответствующим образом аттестуем вас перед ними, вам не придется отращивать бороду.

— Мне кажется, — неуверенно заметил Хакке, — в гестапо меня все-таки ценят. По приказанию начальства я теперь ежедневно читаю в канцелярии различную марксистскую литературу, изучаю листовки, выпущенные подпольщиками...

— Вас хотят сунуть к ним?

— Возможно, — сказал Хакке. — Но мне бы не хотелось.

— Почему?

— Как бы я ни крикал цитатами, коммунисты сразу поймут, что я подсадная утка. Кого мы только ни совали в камеры, все до одного прогорали в первые же дни. — В голосе его послышалась зависть: — Я слышал, в Швейцарии недавно откупили много коек в туберкулезных санаториях и кое-кого из наших отвозят туда в санитарных вагонах, а потом на носилках вносят в здание. Но везет, конечно, тем, кто занимал большое положение. — Вздохнул. — В крайнем случае я бы пошел в псевдопартизанский отряд, мы их сейчас формируем на территории Голландии, Бельгии, Дании. А потом, как участник Сопротивления, остался бы там до лучших времен...

— Вы фантазер, — прервал его Вайс. — А на какие средства вы будете жить?

Хакке усмехнулся.

— В этих странах есть достаточно состоятельных людей, которые поддерживали нацистов. Изредка я буду напоминать им об этом. Очень деликатно, в пределах суммы, необходимой для самого скромного образа жизни.

— Ну что ж, это разумно, — сказал Вайс. — Однако, я вижу, вы основательно подготавливаете свое будущее.

— Как и все, — согласился Хакке.

— Но откуда вы получаете столь разносторонние сведения?

— Я же сказал: маленькие люди работают за больших людей. Телефонисты в службе подслушивания, шифровальщики, канцеляристы, порученцы, адъютанты, рядовые сотрудники — все мы делимся тем, что знаем о своих хозяевах. Они никогда ни о чем не говорят с нами, но часто беседуют друг с другом в нашем присутствии. Ведь для них все мы болваны — и только. На нас можно не обращать внимания. Но не все из нас болваны. — Хакке подумал немного. — Вот Карл Лангебен. Он работал на Гиммлера, на Канариса и на американскую разведку. И все ему хорошо платили.

— Но его повесили, — напомнил Вайс.

— Повесили его вовсе не за это, — мрачно возразил Хакке.

— А за что же?

— Лангебен знал о связях Канариса с английской разведкой, и, когда его арестовало гестапо, Гиммлер не хотел, чтобы он проболтался об этом. А ведь Лангебен был лучшим агентом Гиммлера в его тайных переговорах с американцами. Но если бы он проболтался о Канарисе, англичане перестали бы относиться к Гиммлеру с прежним благожелательством. Говорят, они только потому помогли чехословацким партизанам убить Гейдриха, что он готовился разоблачить Канариса как английского агента.

— А разве Канарис был английским агентом?

— Он поддерживал самые дружеские отношения с английской разведкой. Делился с ней добытой через своих агентов информацией о Советской Армии, так как всегда стремился, чтобы англичане стали нашими союзниками в войне против России.

— Так почему же арестовали Канариса — за связи с английской разведкой или за то, что он был причастен к заговору против Гитлера?

— Рейхсфюрер еще раньше знал все о Канарисе.

— Так. Но почему же его сейчас не приговорили к казни?

— Да ведь ему известно, что рейхсфюрер все знал о нем, — наверно, поэтому. И до тех пор, пока он будет молчать, он может пользоваться всеми удобствами, предоставляемыми привилегированным заключенным. Вообще, — сказал Хакке, — в последнее время старик стал уже совсем бесполезным. Хеттель говорил, что стремление Канариса всегда быть на ногах и в действии со временем превратилось в какую-то одержимость. Канарис не мог усидеть на месте, и, по мере того как он старел, страсть к путешествиям овладевала им все сильнее. Он думал только о путешествиях и совсем перестал интересоваться человеческими взаимоотношениями. Но двадцатого июля, когда совершилось покушение на Гитлера, он был дома. Весь этот день он просидел на своей вилле под Берлином и не покинул ее даже для того, чтобы посетить штаб заговора на Бендлерштрассе.

— Обеспечивал себе алиби?

— Да, чтобы вывернуться, как он всегда умел выворачиваться. Но не на сей раз. Теперь рейхсфюрер достиг того, к чему так неуклонно стремился: все службы абвера влились в СД. И если бы Канарис в свое время не разгласил повсюду, что Гиммлер был некогда псаломщиком, возможно, тот его помиловал бы и даже сохранил на службе в качестве консультанта по английской разведке.

— Однако вы высказываете довольно-таки резкие суждения, — улыбнулся Вайс.

— Мы, старые наци, очень обеспокоены тем, что некоторые лидеры империи, ведя переговоры с англичанами и американцами, согласились распустить национал-социалистскую партию. Только фюрер, который через князя Гогенлое тоже предложил западным державам свои условия сепаратного мира, не идет на это. Поэтому мы до последнего останемся верны фюреру. Партия будет жить, пока существует империя! — торжественно объявил Хакке.

— Но ведь Гиммлер уже давно говорил о возможности военного поражения...

— Да, я знаю об этом. Но если удастся сохранить нас, старых наци, мы сделаем все, чтобы империя вновь возроди-

лась из пепла. Ведь даже сам Даллес настаивал, чтобы в новом составе германского правительства пост имперского комиссара на правах министра по борьбе с хаосом и беспорядками получил его агент Гизевиус, поскольку он имеет опыт работы в гестапо.

— Значит, еще не все надежды утрачены?

— Нет, — сказал Хакке. — Но только мне очень неприятно, что десятки тысяч наших переходят на нелегальное положение в более благоприятных условиях, чем я. Меня хотят сунуть к коммунистам. И знаете, зачем? Чтобы потом я, как участник Сопротивления, мог дезориентировать оккупационные власти, спровоцировать их на аресты тех, кто действительно участвовал в движении Сопротивления. А мне уже за пятьдесят. Я не мальчишка. Не та голова. Не то воображение.

— Послушайте, — спросил Вайс, — почему вы вначале делали вид, будто вам неведомы пути, по которым мы переходим на особое положение?

— Почему? — буркнул Хакке. — Да потому, что я все-таки рассчитываю занять место одного из тех, кто сейчас уходит в подполье. Хочу, чтобы последняя моя должность в гестапо была выше той, которую я сейчас занимаю. Думаю, что на это у меня хватит времени, прежде чем и меня бросят в подполье. И мне интересно было проверить на вас, сколько мне еще следует продержаться на поверхности. Я очень уважаю и ценю ваш ум, капитан Вайс.

— Однако вы притворщик, — пожурил Иоганн.

— Вы тоже. — И Хакке погрозил Иоганну пальцем. — Задавали всякие наводящие вопросы, хотя осведомлены гораздо лучше, чем я.

— Привычка, — не смутился Вайс.

— Должно быть, так. — Хакке озабоченно наморщил лоб. — Вы знаете, на нашей службе человек может внезапно исчезнуть. Особенно в том случае, если он знает что-нибудь лишнее.

Вайс кивнул.

— Но у меня есть гарантии. Они тут, — Хакке отвернул ковер и постучал костяшками пальцев по металлическому днищу несгораемого шкафа. Помолчал, поднял глаза на Вайса. — Вы единственный человек, которому я могу доверить свою жизнь. Завтра меня должен принять Мюллер. Я знаю, на что иду, но все же рискну. Потом поздно будет. Если он даст мне то, что я хочу, — я буду требовать звание штурмбанфюрера, — тогда все в порядке. Если же нет, считайте: старика Хакке больше не существует. Вот вам ключ. Не ранее, чем через два дня, заберете все из этого шкафа и передадите Шелленбергу. — Наклонился, прошептал: — Здесь бумаги Гейдриха, и среди них копия досье на самого фюрера, а также

на ряд высокопоставленных людей империи. Шелленберг доложит обо всем фюреру, ну, и полетят головы, в том числе и голова Мюллера.

— Вы стащили эти бумаги в гестапо во время бомбежки?

— Я только сохранял их,— гордо поправил Хакке,— сохранял, чтобы они не достались в руки какому-нибудь прохвосту.

— И, кроме этих досье, в шкафу ничего нет?

— Конечно есть,— сказал Хакке.— Здесь спрессованы все нечистоты. Вы понимаете, как с их помощью можно держать за горло руководителей империи?

Вайс отстранил от себя руку Хакке, сжимавшую ключ:

— Напрасно вы тревожитесь. Я уверен — завтра вы получите звание штурмбанфюрера.

И, как Хакке ни упрасивал, Вайс не согласился взять у него ключ. И на прощание Хакке вынужден был признать:

— А вы, Вайс, действительно кристальной чистоты человек. Только не понимаю, на какого черта вам это нужно?

Когда на следующий вечер Иоганн позвонил ему по телефону, он услышал властный голос:

— Штурмбанфюрер Хакке слушает!

Новоиспеченный штурмбанфюрер упрасил Вайса снова прийти к нему: хотел показаться в только что полученном мундире. И, желая продемонстрировать перед Вайсом, какие перспективы безграничной власти открылись перед ним, привез его к себе в канцелярию и там выслушивал при нем доклады подчиненных. Это дало Иоганну возможность получить более отчетливое представление о гигантском размахе подготовки крупных гестаповцев к переходу в подполье.

А спустя несколько дней во всех берлинских газетах был опубликован некролог по случаю безвременной кончины штурмбанфюрера Хакке. На похороны прибыли видные члены секретных служб империи. И старые нацисты, среди которых было немало награжденных золотыми партийными значками, на своих плечах вынесли гроб, и поставили его на катафалк, и накрыли флагом со свастикой.

Возможно, гроб был набит землей, а в это время сам Хакке, сменив мундир на штатскую одежду, уже только в качестве рядового пассажира «Люфтвагзы» перекочевывал в нейтральную страну. А возможно, в гробу действительно лежало тело Хакке. Все-таки не в правилах Мюллера было прощать подчиненным такие выходы, какую позволил себе Хакке, столь настойчиво потребовав повышения по службе.

Что же касается хранившихся у Хакке досье, то они теперь ни для кого не представляли интереса. Ни один из руководителей империи не мог использовать этот концентрат подлости и мерзости во вред другим: было уже поздно. Оставались считанные секунды исторического времени до той по-

ры, когда советские артиллерийские орудия должны были пробить последний, двенадцатый час существования фашистского рейха.

Физиономии рядовых сотрудников политической разведки СД приобрели какое-то странное выражение: такие лица Иоганн видел у людей с ослабленной после длительной болезни памятью.

Прежде всех их отличали равнодушная отчужденность, неразговорчивость, холодная, чопорная вежливость,— все это давало возможность, общаясь друг с другом, избегать разговора на сколько-нибудь существенные темы. Теперь они стали суетливы и бесцеремонно, с жадным любопытством расспрашивали о «новостях» — таков был псевдоним военной сводки. И у каждого в глазах замерло еле сдерживаемое отчаяние: не оставят ли его до последних секунд перед наступлением двенадцатого часа здесь, на Бисмаркштрассе?

Крупные же агенты-зарубежники, напротив, сохраняли достойное спокойствие. Им легко было соблюдать спокойствие: все они уготовили себе в западных странах благоустроенные «норы» и знали, что могут переждать, отсидеться в них до лучших времен, регулярно получая из банка такие же суммы, какие они получали всегда в соответствии со своими заслугами и положением, занимаемым в разведке.

Вайс подметил, что почти все крупные немецкие резиденты, прибыв в Берлин из той ли иной западной страны, где они работали, меньше всего времени уделяли составлению отчетов. В основном они занимались устройством дел своих начальников. По-видимому, их обязали обеспечить все удобства для проживания руководителей германской разведки в тех странах, где резиденты уже прочно акклиматизировались.

Шелленберг уехал в Швецию.

Густав вызвал к себе пять молодых офицеров, в том числе Вайса, и представил им человека атлетического сложения, но уже пожилого, плешивого, с лицом, изборожденным равно глубокими шрамами и морщинами:

— Можете называть его Поль.

Теперь по утрам они впятером регулярно выезжали вместе с Полем в Груневальдский лес на тренировку. Поль обучал их всевозможным способам убийства: применяли холодное оружие, различные подсобные средства — кусок проволоки, бутылочное горлышко. Учились обходиться и одними голыми руками.

Поль сказал, что по приказанию рейхсфюрера он обучает этим же приемам высших чинов службы, но только на дому у каждого.

В связи с отсутствием Шелленберга у Иоганна было боль-

ше свободного времени, и он смог написать обстоятельную информацию в Центр. Зашифровав, переправил ее профессору Штутгофу через обусловленный между ними тайник.

Тем временем Генрих выяснил, в каких пунктах размещены секретные склады, снабжением которых занимался Вилли Шварцкопф. Но когда Иоганн сверил названия этих пунктов с картой, их на ней не оказалось. По-видимому, все эти названия были вымышлены или закодированы, и расшифровать их без ключа не представлялось возможным.

Генрих, услышав об этом, встревожился:

— Значит, дядя мне не доверяет.

— Не горячись,— сказал Вайс.— Возможно, система конспирации такова, что о местоположении того или иного склада известно только старшему той группы, которая будет базироваться именно в этом пункте.

— Едва ли,— усомнился Генрих.— Тогда зачем Вилли хранит карту на внутренней дверце особого, плоского несгораемого шкафа? Я однажды вошел к нему в кабинет, когда он делал пометки на этой карте, но он сразу же захлопнул дверцу.

— А что еще в этом шкафу?

— Ничего, только карта. Очевидно, шкаф специально предназначен для хранения секретных карт. В кабинете было темно, но карту освещал рефлектор, находящийся внутри шкафа.

— И дядя никогда при тебе не открывал этот шкаф?

— Никогда.

— Ну что ж, возможно, ты прав,— рассудил Иоганн.

— Я понимаю, как это важно!— горячо сказал Генрих.— И сделаю все, чтобы достать карту.

— Каким же образом?

Генрих пожал плечами.

— В конце концов, он убил моего отца и когда-нибудь должен ответить за это.

— Не тебе.

— А кому?

— Советским людям за убийство советского человека.

— А я кто?— спросил Генрих.— Фашист?

— Ну, не сердись,— Иоганн положил руку на его плечо.— Не надо, Генрих. Не надо тебе этого делать.

— Сейчас?

— Вообще никогда.

— Ну, знаешь!— возмутился Генрих и сбросил руку Иоганна со своего плеча.

— Я не хочу, чтобы ты из мести пачкал себя кровью. Не хочу.

Генрих намеревался возразить, но Иоганн, вынув из кармана карандаш и бумагу, остановил его:

— Ты же инженер, верно?

— Ну, почти.

— Смотри — вот схема. Когда шкаф открывается, зажигается рефлектор. Дверца шкафа, нажимая на контакты от провода к замаскированному фотоаппарату, соединяет их, срабатывает автоматический затвор — и готов снимок.

— Дядиной спины, — усмехнулся Генрих.

— Ну а если допустить, что дядя в этот момент не будет стоять у шкафа?

— Что ж, возможно... Не представляю только, где установить фотоаппарат

— А ты подумай.

— Но ведь дядя откроет шкаф только тогда, когда ему понадобится взглянуть на карту.

— Это мы уж знаем. Но можно отозвать его в этот момент.

— Каким же образом?

— Очень просто — телефонным звонком.

— Но прежде, чем подойти к телефону, он закроет дверцу — и все. И потом, как узнать, когда именно нужно позвонить ему по телефону?

— Видишь ли, — сказал Иоганн, — все это можно объединить проводом в общую цепь, чтобы, допустим, через пять секунд после телефонного звонка опускался затвор фотоаппарата.

— А щелчок фотоаппарата?

— Можно высчитать, чтобы он был синхронен со вторым телефонным звонком. Ведь дядя, не услышав голоса, положит трубку, и новый звонок совпадет со щелчком камеры.

— Ну что ж, — неуверенно сказал Генрих, — можно попробовать.

— Где ты собираешься это сделать? — спросил Иоганн.

— Как где? Ну, в кабинете у дяди.

— Нет, — сказал Вайс. — Сначала ты эту конструкцию должен установить в своей комнате и хорошенько испытать ее, проверить, фотографируя корешки книг в книжном шкафу. И если при многих повторениях эксперимент удастся безотказно, только тогда можно будет нацелить все это оборудование на дядюшкин несгораемый шкаф.

— Все-таки я тебя не понимаю, — в голосе Генриха звучало раздражение. — Готовятся тайные склады, базируясь на них, диверсанты будут убивать ваших солдат и офицеров даже тогда, когда гитлеровская Германия перестанет существовать. А ты относишься ко всему со странным хладнокровием.

— А что, ты считаешь, я должен делать?

— Нужно застрелить штурмбанфюрера и взять у него карту.

— Зачем?

— То есть как зачем? — изумился Генрих.

— Кому она понадобится, если Вилли Шварцкопф будет убит? Грош цена тогда этой карте, независимо от того, заберем мы ее или только переснимем. За твоим дядей числится экземпляр карты. И, судя по конструкции шкафа, это самый секретный из всех документов, находящихся в его распоряжении. Значит, в случае подозрительного убийства Вилли склады, помеченные на карте, будут перебазированы.

— А если дать дяде сильную дозу снотворного и, когда он уснет, тихонько взять у него ключ от шкафа?

— Твой дядя — преданный служака, и, очнувшись, он сочтет своим долгом поступить, как и полагается в подобных случаях каждому, кто хранит у себя секретные документы. Немедленно доложит Гиммлеру, что по неясным причинам некоторое время находился в беспамятстве. Ну, и начнется расследование...

— Что ж, — со вздохом согласился Генрих, — придется продумать твою схему. — Добавил запальчиво: — Но я не уверен, что она так уж идеальна!

— Можешь довести ее до полного совершенства, уступаю тебе патент на нее... — И тут Иоганн смущенно замолчал, поняв, что допустил бестактность. Ведь он невольно напомнил о былых притязаниях Генриха на патенты, которые его отец получал за изобретения, разработанные на основе технических идей профессора Гольдблата.

Но Генрих или не обратил внимания на его слова, или не считал нужным обратить. Он был не только хорошо воспитанным человеком, но настолько чутко относился к Иоганну, что и без слов отлично улавливал малейшие оттенки в его настроении.

Как-то в комнате Иоганна раздался телефонный звонок. Это было удивительно: ведь он не знал номера своего телефона и, следовательно, никому не мог его сообщить. Пользоваться телефоном можно было только через внутренний комму-татор.

Сняв трубку, Иоганн услышал голос Лансдорфа. Тот просил навестить его и сказал, что уже послал за Иоганном.

Шофер долго гонял машину по окраинам Берлина, кружил по улицам и переулкам, а потом вернулся в район Ванзее и остановился у особняка, ходу до которого с Бисмаркштрассе было не больше пятнадцати минут.

Лансдорф встретил Вайса с дружеской простотой, как бы подчеркивающей, что нынешнее положение гостя ставит их почти на равную ногу.

Он похудел еще больше, лицо у него так высохло, что кожа, казалось, скрипела, когда он, как всегда, оторожно улыбался одними губами. Но в общем вид у него был бодрый и глаза не утратили холодного, испытующего выражения.

Лансдорф сказал, что приказ вывести абвер из подчинения генеральному штабу вермахта давно следовало ожидать. Ведь, по существу, деятельность абвера всегда находилась под контролем СД. Единовластие Гиммлера над всеми разведывательными службами только обеспечит их слияние в одну систему.

О себе он заметил с усмешкой, что в последнее время занимался кабинетной, научной работой: готовил для рейхсфюрера докладную, в которой изложил результаты своих исследований партизанского движения и системы подпольных организаций в оккупированных странах Европы. И хотя материалы, которыми Лансдорф располагал, оказались недостаточно полными, он все же пришел к выводу, что наиболее совершенных форм организации достигли советские партизаны, действующие в оккупированных районах.

Прикрыв глаза тугими белыми веками, Лансдорф пожевал губами и снова заговорил скучным тоном:

— Но, к сожалению, те, для кого предназначался мой доклад, даже сейчас, в трагические для Германии дни, настолько еще обуреваемы прусской самоуверенностью, что пренебрежительно отнеслись к высокой оценке, которую я дал этого рода деятельности русских. Должен, однако, признать, что она, по всей вероятности, для нас неприемлема. И не потому, что техника их организации имеет какую-то особую специфику. А потому главным образом, что русские опираются на сочувствие населения оккупированных районов. Они рассчитывают не столько на людей, профессионально подготовленных, сколько на широкие народные массы. Для нас же более подходят формы тайных заговорщических организаций, действующих в строжайшей изоляции от населения Германии, на поддержку которого они сейчас едва ли могут надеяться.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году я руководил диверсионными подпольными группами, состоявшими главным образом из офицеров. И когда войска западных держав оккупировали Германию, мы сумели внушить им страх и уважение отлично организованными террористическими актами. Этот опыт, несомненно, приемлем в современных условиях, и в основном, я полагаю, на восточной территории нашей страны, которая в первую очередь будет оккупирована Советской Армией.

Что же касается иных форм, то мы будем придерживаться системы строжайшей децентрализации диверсионных групп, распылим их по всей территории Германии.

Рассчитывать на аппарат партии, ее функционеров, нам не приходится, так как Мартин Борман разработал свой особый план перевода этого контингента в подполье. Функционеры наденут личину пострадавших от фашизма и после длительной консервации скрыто начнут действовать в сфере политики,

стремясь возродить нацистскую партию под тем или иным названием. Возможно, для этой цели им поручат проникнуть в какую-либо вновь созданную демократическую организацию, чтобы впоследствии полностью овладеть ею.

Словом, мы занимаемся здесь сейчас тем, чем некогда занимались в «штабе Вали», только обучаем не военнопленных, а немцев, главным образом из подразделений СС. Созданы специальные молодежные школы — «Адольф-Гитлершулен». Кстати, я считаю не лишним остроумия, что эти школы мы разместили в старинных орденских замках и восстановили средневековый ритуал посвящения в члены тайного ордена. Различные мистические аксессуары, клятва при свете факелов, загробный голос, оповещающий, что за измену делу члены организации казнят всех родственников ослушника, процедуры испытаний, пыток — все это очень полезно, так как разжигает воображение молодежи.

Байс слушал и старался понять, для чего вся эта длинная лекция и какое отношение она имеет к нему самому.

— Кроме того, — продолжал своим тусклым голосом Ландсдорф, — служба гестапо доставляет в «Адольф-Гитлершулен» людей, подлежащих изъятию. И курсанты не на условных, а на подлинных объектах практикуются в допросах с применением различных средств воздействия. А некоторых из этих доставленных выпускают в парк, якобы на прогулку, и тот или иной курсант самостоятельно разделяется с ним — молниеносно и бесшумно, с таким расчетом, чтобы труп потом внушал ужас.

И, знаете ли, эти совсем молодые люди — от шестнадцати лет — весьма преуспевают.

Кстати, фрейлейн Ангелика Бюхер, ваша знакомая, зачислена по ее просьбе в такую школу. И хотя Ангелика — между нами, конечно, — истеричка, она уже стоит во главе женской пятерки. Им разрешили практику на военнопленных, работающих у окрестных фермеров. И, представьте, они орудуют так энергично, что фермеры скоро окажутся без рабочих рук. Я надеюсь, что столь же успешно они будут действовать, когда Германия подвергнется оккупации, — бедь теперешние их акции в отношении военнопленных впоследствии обяжут их поступать так же с немцами, которые захотят сотрудничать с оккупационными властями. — Закрыв глаза, произнес сонно: — Фюрер, мне передали, весьма благожелательно отозвался о наших слушателях. Он сказал: «В моих «Орденсбургах» вырастет молодежь, от которой мир в страхе отпрянет; неистово активная, властная, бесстрашная, жестокая молодежь — вот что мне нужно!»

Ландсдорф помолчал, приоткрыл глаза и, строго глядя на Байса, заметил:

— Естественно, что слушателей высших школ мы отбира-

ем только из состава СС и гестапо. Это должны быть непревзойденные мастера. И когда Советская Армия превратится из действующей лишь в оккупационную и ее офицеры и солдаты начнут относиться к немецкому населению с тем простосердечием и добродушием, которые свойственны большевикам, убежденным, что классовые симпатии сильнее национальных антипатий, — вот тогда вся эта наша распыленная армия мести и начнет орудовать, внушая советским войскам ненависть к немцам. Естественно, советское командование примет соответствующие меры. Но никто из наших людей не пострадает: специальная агентура будет передавать советским оккупационным властям массовые списки немцев, якобы участвовавших в преступлениях. И на террор красных мы с еще большей силой ответим своим, черным террором.

Вайс придал лицу кислое, унылое выражение, спросил:

— Собственно, вы так увлекательно обо всем рассказываете, что я подумал — уж не хотите ли вы снова сделать меня вашим сотрудником?

— Да, — сказал Лансдорф. — Именно. Ценя ваш опыт работы в абвере.

— Но я не собираюсь менять своей должности. Кроме того, мне кажется, — на всякий случай решил похвастаться Иоганн, — я пользуюсь расположением Шелленберга и...

— Я обо всем этом знаю, — перебил Лансдорф. — Но у меня есть возможность убедить Шелленберга, что ваша служба у нас более целесообразна.

— Хорошо. Я подумаю.

— Как долго?

— Это будет зависеть от вас, — развязно сказал Иоганн. Лансдорф вопросительно вскинул брови.

— Поскольку я не лишен права выбора, я хотел бы несколько обстоятельнее узнать, что вы мне предлагаете. Если это возможно, конечно.

— Я дам приказание майору Дитриху, и он, естественно в соответствующих пределах, ознакомит вас с тем участком работы, который мы вам предлагаем.

— Дитрих здесь?! — воскликнул Иоганн. — И уже майор?! Рад был бы поздравить его.

— Вы сможете это сделать сейчас же. — Лансдорф нажал кнопку, приказал дежурному офицеру: — Попросите майора Дитриха.

Иоганн был даже не рад, а просто счастлив, что Дитрих оказался здесь. Он знал, как ему следует вести себя с Дитрихом и чем тот ему обязан.

И когда Дитрих вошел, Иоганн просиял улыбкой, но взгляд его сохранил жесткую, непреклонную требовательность.

Проведя Вайса в свой кабинет, Дитрих уселся рядом с ним

на диван и сказал участливо, но с известной долей разочарования:

— До нас дошли слухи, что вас повесили.

— Не меня, а мне,— поправил Вайс и показал глазами на железный крест, украшавший его китель.

— Поздравляю,— скучным голосом процедил Дитрих.

— У вас уже есть опыт,— дружески сказал Вайс,— и вы знаете, что я умею хранить тайну ваших преступлений как самую величайшую драгоценность.

— Не понимаю вашего шутливого тона! — возмутился Дитрих.

— Напрасно,— пожурил Вайс.— Просто я даю вам понять, что в моих глазах все это не имеет особого значения, да и, пожалуй, на общем фоне не выглядит уж столь вопиюще. Не правда ли? Сейчас люди куда покрупнее, чем вы и я, готовы черт знает на что, лишь бы только спасти свою шкуру. Но мы-то с вами, какими бы мы там ни были, готовы жизнь отдать за фюрера, не правда ли? И в волчьих шкурах «вервольфа» мы будем продолжать борьбу, когда наши начальники благополучно эвакуируются в Испанию, Аргентину, Швейцарию, Мексику; не исключено, что им предоставят убежища и в США, не так ли? А в это время мы с вами будем сражаться как одинокие волки.

— Да,— уныло согласился Дитрих.— Возможно...— И спросил, внезапно оживившись: — Вы, кажется, были «золотым курьером»? Перевозили ценности в швейцарский банк, обеспечивая благополучие и процветание высокопоставленным деятелям рейха на время их будущей эмиграции?

Иоганн, не ответив на вопрос, сказал соболезнующе:

— Когда Советская Армия вторглась в Восточную Пруссию, я вспомнил о вас, майор Дитрих. Ведь там поместье ваших родителей? Вас лишили собственности. Это ужасно!

У Дитриха печально повисли плечи.

— Да,— подтвердил он.— Кроме офицерской пенсии, меня ничего не ждет в будущем.

— А кто вам даст эту пенсию?

— Как кто? — удивился Дитрих.— Но ведь хоть какое-нибудь правительство в Германии будет, и уж оно не останется безучастным к судьбе офицеров, защищавших рейх на полях битв.

— Позвольте,— перебил Вайс,— но мы с вами не офицеры вермахта. Вряд ли принадлежность к нашего рода службе вызовет у нового правительства Германии желание оказать нам поддержку.

— Не знаю...— растерянно развел руками Дитрих.— Я просто в отчаянии. Если бы наше поместье находилось не в зоне советской оккупации, тогда у меня оставалась бы хоть какая-нибудь надежда.— Помолчал, потом спросил: — Так вы

в самом деле хотите покинуть Шелленберга и вернуться к Лансдорфу? — Он вздохнул завистливо: — Кадры заграничных разведки, несомненно, будут лучше обеспечены, чем мы, и в материальном отношении и в смысле безопасности.

— Конечно, — сказал Вайс. — Мы будем получать пенсию из специальных фондов СД, хранящихся в банках нейтральных стран. Кроме того, нами, вероятно, заинтересуются коллеги из США и, став восприимчивыми нашего опыта, позаботятся о том, чтобы мы не испытывали лишений. Очевидно, вскоре все войска с Западного фронта будут переброшены на Восточный, и это сразу же создаст на Западе атмосферу сочувствия и даже доверия к нам — при условии, разумеется, полного контакта в действиях.

— Ах, все это я знаю! — досадливо поморщился Дитрих. — Даже армейские, уже не таясь, говорят о переброске войск. Но я не могу покинуть Лансдорфа. Оставаться же с ним — значит превратиться в рыцаря черного плаща и кинжала. А мне не пятнадцать лет, как этим юнцам из «Адольф-Гитлер-шулен». — Положил свою руку на руку Вайса. — Если бы мы с вами могли поменяться должностями, я был бы просто счастлив. Тем более что я отлично знаю Западную Европу и, несомненно, сумел бы оказаться полезным Шелленбергу.

— Ну, — пожал плечами Вайс, — специалистов по Западной Европе у нас более чем достаточно. Вот разве Советский Союз...

— Ну что вы! — горячо перебил Дитрих. — Я предпочитаю застрелиться.

— Может, восточноевропейские страны? Мы оставляем там большую сеть агентуры.

— Но ведь там же повсюду революционное брожение, — безразлично заметил Дитрих. — Я, еще будучи кадетом, посещал эти страны, но тогда все в них выглядело почти прилично. Знаете, Иоганн, — с мольбой произнес Дитрих, — я готов на самое скромное положение, но в государстве, где верхушка управляет народом, а не народ управляет страной. Я всегда найду общий язык с людьми любой нации, занимающими такое положение, какое занимал я. И воспитание и образ мыслей роднят меня с ними.

— Ладно, — пообещал Вайс, — если представится возможность, постараюсь что-нибудь сделать для вас. А пока займемся предложением Лансдорфа. Попробуйте соблазнить меня вашей сферой деятельности. Если вам это удастся, не исключено, что я поменяюсь с вами местом. — Заявил патетически: — В конце концов, может, мне больше захочется умереть за фюрера на земле рейха, чем жить на положении эмигранта, например, в Южной Африке, куда мечтают попасть некоторые из наших. — Сказал с циничной откровенностью: — Ну, начнем торговлю. Что вы мне предлагаете?

— Вначале инспекцию.
— Чтоб накрыться во время бомбежек?
— Это исключено: пункты, в которых расположены школы, находятся вне поля зрения бомбардировочной авиации.
— Докажите!
— Как?
— Давайте карту.
— Но она абсолютно секретна.
— Черт с ней. Тогда — список. Я знаю Германию, пойму и без карты.

— Но это невозможно по тем же причинам.

— Ну, — Вайс встал, — тогда желаю вам успеха в вашем подвиге.

— Подождите, подождите, — уже сдаваясь, остановил Дитрих. — Хорошо, я ознакомлю вас со списком школ. — Открыл несгораемый шкаф, достал несколько липнувших к пальцам листов папиросной бумаги.

Вайс прочел:

«1) Орденский замок (Орденсбург) «Зонтлофей» в Альгой (Бавария).

2) Орденский замок «Бюлов» (Померания).

3) Орденский замок «Фогельзанг» около Гемюнд (Эйфель).

4) Замок «Поттербрут» около Санкт-Пельтен (Австрия).

5) Академия руководителей молодежи в Брауншвейге.

6) Школа партийных руководителей в Зальцбурге.

7) В Гризе.

8) Орденский замок «Крессинзее» около Фалькенбурга (Восточная Пруссия)».

Вайс медленно закурил, глубоко затянулся и, будто наслаждаясь сигаретой, откинулся на спинку дивана. Сейчас он напряженно работал — сосредоточенно запоминал названия школ. И небрежно возвратил список Дитриху, когда убедился, что они прочно закреплены в его памяти. Кстати, еще раньше, отбирая книги для Шелленберга, он предположил, что некоторые из этих орденских замков могут быть использованы как базы для тайных фашистских организаций.

— Собственно, — сказал Вайс, — на Бисмаркштрассе у нас более подробные сведения о вашей дислокации. Я очень сожалею, Дитрих, но, по-видимому, вы принимаете меня за офицера вермахта. Неужели вы не понимаете, что мы, сотрудники Шестого отдела СД, располагаем несравненно более серьезными сведениями о целях и усилиях фюрера, чем вы? — Объявил твердо: — Я должен иметь прочные гарантии, должен быть уверен, что вы не бросились в авантюру отчаяния, а занимаетесь действительно хорошо обдуманном и надежно обеспеченным делом, от которого может зависеть будущее новой великой Германии. — Добавил мягче: — Вы дол-

жны убедить меня в этом, хотя, чтобы вам было ясно, я не испытываю никаких сомнений в бессмертии тысячелетнего рейха.

— Вайс,— покорно сказал Дитрих,— но, пожалуйста, не сегодня.

— Почему же? Вы должны понять мою настойчивость. Сейчас, в дни, когда решается судьба Германии, каждый из нас решает и свою собственную судьбу. Возможно, вернувшись на Бисмаркштрассе, я получу задание и, как это бывало неоднократно, уже послезавтра окажусь в самой неожиданной для себя стране. И останусь там надолго. Поэтому, прежде чем уйти от вас, я прощаюсь с вами, быть может, уже навсегда.

— Хорошо, Иоганн,— сказал Дитрих.— Мы поговорим, но сейчас я должен переложить некоторые бумаги из своего сейфа в личный сейф Лансдорфа. Вы не возражаете, если вам придется подождать?

— К вашим услугам,— сказал Вайс.

Открыв дверцы сейфов, Дитрих стал неторопливо переключать папки. Время от времени развязывал какую-нибудь из них и перечитывал содержащиеся в ней бумаги.

Вайс подошел к нему, встал рядом. Дитрих, будто не замечая, не спеша продолжал свою работу. Длилось это не очень долго. Закрыв дверцы сейфов, Дитрих обернулся к Вайсу:

— Так вы все еще ждете? Хотите, чтобы я вам еще что-нибудь предложил?

Вайс протянул ему руку.

— Благодарю, Дитрих. Вы очевидно, правы: то, чем вы занимаетесь, весьма перспективно. Я позвоню вам завтра.— И поспешно покинул комнату.

Иоганн шел по улице, не видя ничего вокруг, не ощущая себя. Он был весь судорожно, иступленно напряжен. Это была нечеловеческая работа, самое настоящее истязание мозга. Требовалось восстановить в памяти содержание бумаг, которые перелистывал Дитрих.

Иоганн вошел в кафе, сел за угловой столик, вынул из кармана газету и, глядя хмельными глазами на кельнера, бросил:

— Хорошо!— Потом, словно проснувшись, добавил вяло: —Минеральной воды.

И когда кельнер вернулся, Иоганн только махнул рукой, продолжая делать какие-то пометки на страницах «Фелькише беобахтер», которую он, казалось, читал с жадным интересом. Потом, выпив воду, оставил щедро «на чай» и ушел, прихватив с собой газету.

Он впервые явился в салон массажа в непоказанное время. Приказал вызвать профессора Штутгсга и, когда тот поя-

вился в кабине, начал возмущенно жаловаться на неловкость массажиста. Профессор попросил его успокоиться и пригласил к себе в кабинет. Вайс, закутавшись в простыню, держа в руке все ту же газету, последовал за профессором. И, не дав ему высказать возмущение столь недопустимым нарушением правил конспирации, приказал — да, именно приказал — взять бумагу и записывать то, что он сообщит.

Завернутый в простыню, он сидел в кресле с закрытыми глазами и, покачиваясь как маньяк, диктовал и диктовал профессору, только изредка поглядывая на отметки, сделанные в газете.

Когда Иоганн кончил диктовать, его изможденное лицо покрылось потом.

Профессор дал ему выпить какую-то микстуру, сказал:

— Сейчас я отведу вас обратно в кабину. Ложитесь на диван и спите. Спите во что бы то ни стало. Ваш мозг невероятно переутомлен, необходим глубокий сон, иначе такое напряжение не может пройти бесследно. — Взял Иоганна за плечи, притянул к себе, поцеловал в лоб: — Умница, мой дорогой, умница.

Бережно провел по коридору, закрыл дверь кабины и повесил на ней табличку: «Глубокий отдых! Не беспокоить!»

Вайс, как и было положено, доложил Густаву о встрече со своими бывшими сослуживцами по абверу. Тот заметил насмешливо:

— Адмирал Канарис хотел пришвартоваться к берегам Англии, и не удивительно, что кое-кто из его команды тоже испытывает тяготение к этой стране.

Иоганн знал, как коварен Дитрих. Вероятнее всего, он уже сообщил Лансдорфу, что ознакомил Вайса с некоторыми секретными материалами. Поэтому Вайс сказал Густаву пренебрежительно:

— Майор Дитрих, стремясь снова сделать меня своим сотрудником, решил похвастать товаром из их лавки.

— Ну и что? — спросил Густав.

— Придумали девиз: «Ненависть — наша заповедь, месть — наш боевой клич», — и собирают мальчишек под это знамя. Меня занятия такого рода не увлекают.

— Вы все-таки не теряйте связи со своими прежними сослуживцами, — посоветовал Густав. Добавил внушительно: — Рейхсфюрер не любил Канариса и, приняв экипаж адмирала под свою команду, едва ли исполнен доверия к его людям.

— Слушаюсь, — сказал Вайс.

В тот же день Лансдорф снова пригласил его к себе.

На этот раз он был мрачно настроен и крайне раздражителен. Мэрил шагами комнату, потом вдруг остановился, топнул ногой, спросил:

— Вы знаете, что произошло в этом доме двадцатого января тысяча девятьсот сорок второго года?

Вайс отрицательно покачал головой.

— Представители высших органов власти приняли и утвердили здесь предложенный Гиммлером план уничтожения евреев. Были установлены точные цифры для каждой европейской страны, сумма которых составила свыше одиннадцати миллионов человек. Но уже с тысяча девятьсот тридцать третьего года Грейфельт, Эйхман, Глобке руководили массовыми умерщвлениями евреев.

Вайс испытующе посмотрел на Лансдорфа, проговорил спокойно:

— Главы правительств наших противников приняли на Ялтинской конференции обязательство наказать военных преступников.

— Вот именно. Вы правильно меня поняли,— сказал Лансдорф.

Вайс заметил ехидно:

— Но я не был в этом доме тогда и не живу в нем сейчас.

Лансдорф сощурился.

— Вас часто видели в Берне на улице Херренгассе. Там, кажется, расположена резиденция уполномоченного управления стратегической службы США Аллена Уэлша Даллеса?

— Возможно, за мной вели слежку агенты английской разведки,— парировал Вайс.

Лансдорф, будто не расслышав, продолжал задумчиво:

— Даллес раньше часто приезжал в Берлин, и некогда я был знаком с ним, а в тысяча девятьсот тридцать третьем году даже имел с ним длительную интимную беседу, когда фюрер пригласил его на обед. Юридическая контора Даллеса представляла в США интересы крупнейших германских монополий, и не исключено, что он и сейчас по-прежнему защищает их интересы.— Пожевал губами.— После этой войны Великобритании уже не вернуть прежней своей мощи. Она превратится в партнера США, и такого партнера, с которым не будут считаться.

— Возможно,— согласился Вайс, соображая, к чему клонит Лансдорф, друг и единомышленник Канариса. Несомненно, такая внезапная и явная переориентировка на США объяснялась страхом: Лансдорф боялся попасть в число военных преступников.

Голос Лансдорфа зазвучал строго, даже угрожающе:

— Дитрих сообщил мне, что вы воспользовались его оплошностью и проявили довольно подозрительный интерес к некоторым секретным документам. По инструкции я обязан доложить об этом.

— Можете не беспокоиться,— ухмыльнулся Вайс,— я уже сам доложил об этом своему начальству.

— С какой целью?

— Но ведь я тоже знаю эту инструкцию и потому действовал по инструкции.

Лансдорф взглянул на него с интересом.

— Вы, однако, кое-чему научились, Вайс.

— Под вашим руководством,— скромно признал Иоганн и добавил укоризненно: — Только напрасно вы хотели силой обязать меня к чему-нибудь. Я никогда не забуду, чем обязан вам. И готов к услугам.

— Вы правы, Вайс,— вздохнул Лансдорф.— Вы человек прямой. И в общении с вами следует придерживаться того же принципа.

Вайс встал, склонил голову, приложил руку к сердцу.

— Так вот,— сказал Лансдорф.— Есть одно особое задание среди тех общих, которые возлагаются в дальнейшем на наши террористические группы. Кстати, мы хотели бы по юрисдикции считать эти группы партизанскими. Может статься, что при подходе противника администрация концентрационных лагерей вследствие каких-либо исключительных обстоятельств не сумеет эвакуировать или же уничтожить заключенных. В этих случаях на террористические группы возлагается задача ликвидировать всех, до единого, заключенных и сжечь, взорвать, по понятным вам соображениям, все специфическое оборудование лагерей.

Вайс присвистнул.

— Кажется, я начинаю кое-что понимать. Таким образом, с вашей «партизанской» деятельности будут сняты всякие украшательские покровы патриотизма, героизма и прочего. И каждого террориста при поимке казнят как самого вульгарного убийцу беззащитных людей. И все немцы, даже те, которые прежде сочувствовали вам, с негодованием отрешатся от вас.

— Да,— согласился Лансдорф,— вы меня правильно поняли.— Заявил гордо: — Я готов погибнуть с честью как борец германского Сопротивления. Но у меня есть слабость: я хотел бы, чтобы мое имя сохранилось для истории.

— Так чем я могу быть вам полезен? — деловито осведомился Вайс.

Лансдорф снова молча прошелся по комнате, потом открыл несгораемый шкаф, вынул запечатанный конверт, подал Вайсу. На конверте было написано: «Мюнхен, Альберту фон Лансдорфу». Иоганн недоуменно поднял глаза.

— Письмо адресовано моему брату,— объяснил Лансдорф.— В нем я высказываю некоторые свои мысли. И хочу передать это письмо через вас.

— Но я не знаю, доведется ли мне побывать в Мюнхене...

— Я рассчитываю,— перебил его Лансдорф,— что вы снова будете в Берне. И если каким-нибудь образом это мое письмо случайно попадет к Даллесу, я не стану упрекать вас. Вам все ясно?

— Да,— сказал Вайс.— Но прежде, чем взять на себя такое щепетильное поручение, я должен хотя бы в самых общих чертах ознакомиться с содержанием письма.

— О, не беспокойтесь!— уверил Лансдорф.— Там нет никаких военных или государственных секретов. Нечто вроде дневниковых записей, в которых я высказываюсь против уничтожения заключенных в концлагерях, так как считаю это бесчеловечным.

— Вы благородный человек!— воскликнул Вайс.— И какая предусмотрительность!

— Во всяком случае, американцы могут быть уверены: я приму все меры, чтобы подчиненные мне группы не совершали подобных актов в концлагерях, размещенных на западной территории Германии.

— А на восточной?

— Достаточно того,— поморщился Лансдорф,— что я спасу тех, кого перед лицом западных держав считаю целесообразным спасти.

— Значит, на восточных территориях рейха заключенные будут уничтожены?

— Полагаю,— уклончиво ответил Лансдорф,— с этим справится сама лагерная администрация, конечно при содействии частей вермахта или с помощью специально для того выделенных подразделений СС. Кстати, поскольку у нас сейчас общее руководство, вам и майору Дитриху поручается небольшая, всего на два дня, но весьма кропотливая канцелярская работа. Нужно проверить, как оформлены документы тех, кого, по понятным вам мотивам, мы направляем сейчас в концлагеря. Делается это под видом перемещения из одного лагеря в другой, чтобы сохранить, так сказать, длительный стаж заключения. Вы имеете опыт работы в абвере, знаете все тонкости этого дела. Приступить можете сейчас же.

Дитрих, как хорошо было известно Вайсу по прошлым временам, привык взваливать всю работу на других, а себе приписывал чужие заслуги. К тому же он не располагал даже самыми элементарными познаниями лагерного делопроизводства, хотя и выдавал себя за специалиста в этой области. Поэтому его очень обрадовал приход Вайса.

Особых «дел» на новоиспеченных «заключенных» не заводи́ли. Ограничились только тем, что в «делах» убитых сменили фотографии: вместо прежних приклеили новые, предварительно подвергнув их искусственной химической обработке, чтобы придать им давнишний вид. На всех этих «делах»

имелся гриф, означающий, что заключенные подлежат «особому режиму», то есть должны быть умерщвлены.

К каждому «делу» следовало приложить копию из гестаповской картотеки, в которой было отмечено, за какого рода «преступление» заключенный приговорен к казни.

Подпись рейхсфюрера ставилась штампом. И также с помощью штампа наносился на карточки гриф, означавший, что данный заключенный не может быть казнен без особого на то распоряжения гестапо.

Нарисованная тушью на обратной стороне карточки в нижнем левом углу тонкая стрелка с развернутым оперением острием вверх подтверждала, что этот гриф действителен.

В канцеляриях секретной службы такой значок обычно ставили перед датой рождения, а перед датой смерти стрелку поворачивали острием вниз. Если стрелка была без даты, она обозначала только одно — заключенный должен умереть. Именно этот знак и ставил Иоганн, когда просматривал документы, следя, чтобы все в них было строго по форме.

Дитрих и не думал проверять его.

По инструкции, к каждой стрелке в «деле» с обеих сторон следовало прикрепить треугольничек из красной бумаги. Дитрих считал это чисто канцелярской изощренностью. Но Иоганн знал, что каждая деталь оформления «дела» имеет особое значение. Поэтому он нарезал треугольнички из черной бумаги и подсунил коробку Дитриху. И тот машинально продолжал прикреплять их к карточкам, так как предпочитал работу со скрепками кропотливой возне с проверкой деталей оформления. Черные бумажки под скрепками обычно обозначали, что на данного заключенного довольствие не выдается, — иначе говоря, лагерная администрация может «списать» его в день прибытия в лагерь.

Во время их совместной работы Дитрих сообщил Вайсу немало интересного. Рассказал, например, что все сотрудники мастерских абвера, которые раньше изготовляли фальшивые советские документы, теперь фабрикуют фальшивые немецкие документы. И в ожидании лучших времен многие сотрудники секретных служб превратятся отныне в крестьян, ремесленников, торговцев. А некоторых даже снабжают документами, подтверждающими, что люди эти побывали в плену и отпущены советским командованием специально для пропагандистской работы среди населения. Такие документы владельцы должны показывать немецкому населению и просить убежища. И если их укроют, то они обязаны собственноручно расправиться со всей приютившей их семьей. Кроме того, этим людям вменяется в обязанность выявлять тех германских военнопленных, которые действительно отпущены советским командованием на родину, с тем чтобы призывать к сопротивлению фашистам.

Дитрих спросил Вайса, разговаривал ли он о нем с кем-либо из руководства зарубежной разведывательной службы.

Вайс ответил утвердительно, так как он действительно говорил о Дитрихе с Густавом.

Дитрих произнес мечтательно:

— Я был очень хотел оказаться сейчас в Испании: не мог же Франко забыть, какие услуги мы ему оказывали в подавлении революции. Я думаю, что Испания станет для немцев самой гостеприимной страной.

Докладывая Густаву об окончании работы, выполнявшейся по поручению Лансдорфа, Вайс считал необходимым пожаловаться на Дитриха: сказал, что, по его мнению, тот недостаточно знаком с правилами оформления подобного рода документов и мог допустить ошибки в этой спешной и вместе с тем требующей исключительного внимания работе.

Густав успокоил Вайса:

— А, плюньте! Если даже по ошибке и ликвидируют несколько эсэсовцев, невелика беда.

В следующие дни Вайс вместе с Дитрихом побывал на сборных пунктах молодежи, зачисленной в подразделения «вервольфа». И хотя у многих из этих ребят на поясах висели кинжалы, вид у них был довольно жалкий. Почти все «призывники» были пьяны, шнапс им выдавали без ограничения.

Увидев пришитую к щеке одного мальчишки пуговицу, Вайс поинтересовался, для чего это нужно. Глаза у мальчишки были заплаканы, губы дрожали от боли, но он объявил гордо:

— Я прошел высшее испытание на преданность фюреру!—И, боясь дотронуться до багровой, опухшей щеки, только указал на нее пальцем.— Можно было съесть крысу, как другие. Но я предпочел это.— Добавил доверительно:— Мы сами решили подвергнуться испытаниям. А те, кто боится пройти через испытание, становятся нашими слугами, и мы их порем, если они не слушают нас.

— Кто это «мы»?— спросил Вайс.

— Те, кого после испытаний посвятили в рыцари.

Германия металась, словно тифозный больной. Отступающая немецкая армия выселяла из восточных районов страны множество людей, некогда покинувших западные территории, чтобы спастись от воздушных бомбардировок. Тысячи солдат, в прошлом рабочих, снимали с фронта и отправляли на военные заводы, а через несколько недель снова посылали на передовую.

Перебрасывали воинские части с Западного фронта на Восточный. Людей, жилища которых были разрушены бомбардировкой, гнали под конвоем нацистских функционеров в деревни и заставляли работать у фермеров только за одну еду.

Из городов выселяли тех, кто не представлял ценности для империи и не имел ценностей, чтобы кормиться с черного рынка. И на эти сотни тысяч обездоленных, бездомных семейств устраивались облавы: тотальная мобилизация, которую проводили нижние чины вермахта, сметала всех уцелевших мужчин до шестидесяти лет. Хватали и подростков и зачисляли их в подразделения «вервольфа».

Ничто не могло сломить, нарушить четкий ход гигантской чиновничьей машины нацистской Германии. В каком бы состоянии ни был человек, где бы он ни оказался, его мгновенно брали на учет, под наблюдение, подвергали насилию его волю и мысли. Всепроникающая полицейская система, облеченная в самые разнообразные формы, повсюду настигала людей.

Однажды на одной из окраинных улиц Берлина Иоганн увидел фрау Дитмар, она стояла в длинной очереди за водой. Он не сразу узнал ее. Фрау Дитмар очень сильно изменилась за эти годы — исхудала, постарела, ссутулилась. Она страшно обрадовалась, узнав его, и стала упрашивать зайти к ней в ее более чем скромное жилище. Хозяйка квартиры, жаловалась она, относится к ней и к ее сыну Фридриху как к оккупантам.

Фридриху во время бомбежки Пенемюнде оторвало обе ноги. Его отправили в берлинский госпиталь. Когда он выписался оттуда, ему, как инвалиду, предоставили возможность вселиться в чужую квартиру. Правда, комната очень скверная, даже не комната, почти чулан. Но хозяева ненавидят его за это вторжение. Ненавидят и за то, что он хоть и инвалид, а остался жив. Их же сыновья погибли на фронте.

Иоганн вошел в комнату вслед за фрау Дитмар.

Все здесь было приспособлено для существования безногого человека: низкий, с коротко обрезанными ножками стол, такие же стулья.

Фридрих неприязненно встретил Вайса, хотя некогда они переписывались.

Стоя на полу, он едва доставал головой Иоганну до пояса. Лицо у него было рыхлое, бледное. Очевидно, он никогда не выбирался из этого мрачного чулана, сидел здесь, как в заточении.

Фрау Дитмар, видимо, подавлял офицерский мундир Вайса. Она держалась необычайно робко, заискивающе и даже не решалась напомнить Иоганну, что когда-то он был ее жильцом.

Иоганн не стал задерживаться, записал адрес и быстро ушел. В тот же день он постарался через Франца переселить фрау Дитмар в одну из оставленных зажиточными хозяевами квартир, которые агенты СД держали под контролем, на всякий случай.

Квартира была большая, комфортабельная, хорошо обставленная. В шкафах висела самая разнообразная одежда, на кухне хранились запасы консервов и вин.

Фридрих понемножку оттаял и кое-что рассказал о себе Иоганну. Так, он сообщил, что авиация противника никогда бы не обнаружила их объект, если бы на песчаной отмели не остались «лыжи» пускового устройства самолета-снаряда.

— Русские военнопленные, на обязанности которых было убирать после залпов все следы техники, нарочно оставили эти «лыжи». В тот день разразился ливень, и охрана не проверила, и всех их, кто остался жив после бомбежки, потом повесили, — сказал Фридрих, дерзко глядя Иоганну в глаза. — С точки зрения русских это был подвиг.

Иоганн в свою очередь пристально поглядел на него.

— Ну что ж, пожалуй, это так и есть.

После этих слов Фридрих окончательно осмелел и рассказал Иоганну о своей работе в Пенемюнде. Под конец он произнес задумчиво:

— В сущности, мы убийцы. Наши летающие снаряды предназначались для того, чтобы уничтожить население, а не армии противника. — Посмотрел на свои обрубки, пробормотал: — Только тогда, когда моя голова оказалась ближе к земле, я стал думать, что земля — это не летающая в космосе гигантская могила всех предшествующих поколений человечества, погибших в войнах, а звездная колыбель поколений, которые придут после нас и навечно скажут войне свое «нет!».

— Почему же после нас? — спросил Иоганн. — Надеюсь, это случится не в столь отдаленные времена.

— Вы мечтатель, — улыбнулся одними губами Фридрих.

...Для фольксштurmистов не хватало армейского обмундирования. Их обряжали в старые форменные куртки почтальонов, железнодорожников, кондукторов метро и трамваев, мундиры мелких министерских чиновников, сданные некогда в фонд зимней помощи. Отряды фольксштурма маршировали по улицам в галошах. Это был марш потрепанных призраков, как бы издевающихся над былым могуществом Третьей империи. И Геббельс, отправляя их на смерть, визжал из всех радиорупоров:

«Немецкий мечтатель должен пробудиться от своей спячки, если он не хочет вместе со своей свободой потерять также и свою жизнь».

Эсэсовцы с овчарками конвоировали, как заключенных,

колонны фолькштурма до железнодорожных эшелонов.

А Геббельс вопил из радиорупоров, установленных на развалинах вокзалов:

«Четырнадцатилетний мальчик с бронебойным ружьем, подкарауливающий врага и оказывающий ему сопротивление, сегодня ценнее для нации, чем десяток «мудрецов», obstательно пытающихся доказать, что наши шансы упали до нуля».

Гестаповцы вылавливали таких «мудрецов» и вешали на первом попавшемся фонарном столбе, кто бы они ни были, хотя бы и инвалиды войны, на себе испытывшие всю неотвратимую тяжесть ударов наступающей Советской Армии.

«Вас ожидает час конечного триумфа,— орал Геббельс.— Этого часа мы добиваемся ценой слез и крови. Однако он вознаградит нас за принесенные нами жертвы... Исход этой войны решится лишь за секунду до двенадцати».

«Миллионы немцев будут вести партизанскую войну»,— тоном судьи, торжественно объявляющего смертный приговор, возвещали радиорупоры. Передачи вел знаменитый берлинский радиодиктор Гегенхельм, и негде было спрятаться от его бархатного голоса:

«Каждый из нас, умирая, постарается захватить с собой в могилу пять или десять врагов...»

Гегенхельм, обладавший женственной внешностью и мужественным голосом, был в свое время любовником Рема. После казни Рема его сослали в концентрационный лагерь, но не мужской, а женский, чтобы усилить этим меру наказания.

Вспомнили о Гегенхельме тогда, когда понадобился его гулко, будто из канализационного колодца, звучащий голос. Своим загробным баритоном он благословлял на смерть стариков и юнцов, составивших батальоны фолькштурма.

С тонущего судна Третьей империи кидали в пучину войны людей, как сбрасывали в древние времена из трюмов рабов, если корабли преследовал флот страны, борющейся с работорговцами.

Это были конвульсии Третьей империи. Фашизм ставил под ружье тех немцев, которые по старости или по молодости не могли пополнить поредевшие ряды вермахта: отряды фолькштурма были слишком рыхлой затychкой для отступающих армий. И, погибая, эти немощные старики и неоперившиеся юнцы не знали, что фюрер скажет о них с ненавистью и презрением: «Если немецкий народ оказался таким трусливым и слабым, то он не заслуживает ничего иного, кроме как позорной гибели... Нет необходимости в том, чтобы обращать внимание на сохранение элементарных основ жизни народа. Наоборот, лучше всего эти основы уничтожить».

Система противовоздушной обороны была практически уп-

разднана: отряды авиации, зенитной артиллерии и службы наблюдения отправляли на Восточный фронт. И «летающие крепости» американцев, «галифаксы» и «ланкастеры» англичан почти беспрепятственно сваливали на города Германии свой смертоносный груз. Спасательные отряды и пожарников отправили на Восточный фронт еще раньше.

Проезжая по разбомбленным улицам Берлина, Иоганн снова и снова видел, как советские военнопленные, работая в дыму и пламени, выносят детей, женщин, стариков из-под каменных развалин.

Черные от копоти, казалось, обугленные, эти люди бережно, как величайшую на земле драгоценность, выносили на руках раненых и ушибленных при обвалах детей. И дети не хотели разжимать ручонки, обнимающих тощие шеи своих спасителей, будто не было у них теперь на свете ничего ближе, будто только эти люди могли защитить их от ужаса и страданий.

Остановив однажды машину у полуобвалившегося дома, Иоганн увидел рыдающую женщину, у которой опаленные волосы осыпались с головы, как пепел. Она простерла к пленным обожженные руки и осуждающе кричала:

— Когда же ваша армия придет? Когда? Боже, скорей бы!

И один из пленных успокаивал по-немецки:

— Да придут, скоро уж... — Оглянувшись на своих, сказал по-русски: — Слыхали? Выходит, мы же виноваты...

— Я не понимаю! — воскликнула женщина.

Пленный попросил по-немецки:

— Не надо кричать, фрау, вы же видите, чем мы заняты.

Женщина сквозь рыдания промолвила:

— Почему вы нас спасаете?

— Вы люди, и мы люди! — сказал военнопленный.

— А потом нас всех в Сибирь?

Пленный улыбнулся глянцево блестящим от заживших ожогов лицом.

— Нет, — сказал он. — Нет. Ваш дом — ваша земля. Наш дом — наша земля. И всё. Мы не фашисты...

Генриху удалось переснять карту, хранящуюся у Вилли Шварцкопфа. Передавая снимки Иоганну, он сказал:

— Но я для фотографирования другую схему придумал. Оригинально. И вот получилось.

— Молодец! — одобрил Иоганн. И добавил: — Это у тебя, наверно, наследственное: изобретатель, в отца пошел.

— Как ты думаешь, — спросил Генрих, — если б отец был жив, как бы он отнесся к тому, что я стал советским разведчиком?

— Переживал бы, волновался, как и мой отец, — грустно

сказал Иоганн.— И гордился бы сыном, как гордится и мой отец.— Пообещал:— Я тебя с ним обязательно познакомлю.

Но когда Иоганн доставил фотокопию карты профессору, оказалось, что названия пунктов, в которых расположены секретные базы для террористических групп, не совпадают с данными, добытыми из документов, хранившихся у Дитриха. Иоганн сказал растерянно:

— Значит, либо карта закодирована, либо документы. А может, и то и другое. И без ключа все это ни к чему.

— Вы только наполовину правы,— усмехнулся профессор.— Документы, которые показал вам Дитрих, действительно закодированы, поэтому он и позволил вам на них взглянуть. А карта — ключ к коду. Ничего, наши специалисты разберутся,— утешил он Вайса.— Не такие головоломки они решали. Все в порядке.— Положил руку на фотокопию карты, подумал немного.— В сущности, все это означает, что террористические акты, которые собирались провести уцелевшие фашисты, будут предотвращены. Мы спасем жизнь многим нашим солдатам и офицерам, а еще большему числу немцев — тех, которые будут строить новую Германию. Так что можете считать: вы и ваш друг Генрих Шварцкопф уже поработали на будущее немецкого народа. Кстати, вы не считаете нужным представить товарища Шварцкопфа к правительственной награде?

Иоганн просиял.

— Составьте шифровку,— деловито сказал профессор.— Она будет передана.

Несколько суток подряд Берлин подвергался непрерывным налетам авиации союзников. Возвращаясь на машине в одну из этих страшных ночей к себе на Бисмаркштрассе, Иоганн увидел Зубова. Тот медленно шел по улице, явно направляясь к месту, где располагалась секретная служба. Недопустимое нарушение конспирации! Зубов не имел права показываться не только на этой, но даже на близлежащих улицах.

Иоганн сбавил ход и, поравнявшись с Зубовым, приоткрыл дверцу машины.

— Садись!

Зубов, не здороваясь, покорно влез в машину.

Иоганн понесся на большой скорости, стремясь быстрее оказаться подальше от этого района. Он молчал, но весь кипел от злости. А Зубов вдруг прикрикнул:

— Куда гонишь? Сворачивай к моему дому!— И потребовал:— Быстрее!— Потом махнул рукой.— А, теперь уже все равно... Спешить некуда.

— Ты что, пьян? — спросил Иоганн сквозь зубы.— От тебя перегаром несет.

— Может быть, и несет,— согласился Зубов.

— Значит, ты пьян?

— Хотел бы, не получается.
— Да что с тобой?
— Бригитта... — Зубов с трудом выговаривал слова. — Два дня была еще немного жива, а потом умерла. Ну, совсем умерла, понимаешь? Нет. Я сутки возле нее просидел. А потом больше не смог. То есть смог бы... — Прошептал: — А ведь она, знаешь, не одна умерла — вместе с ребеночком. Еще бы два месяца, и у нас был бы сын или дочь. Она больше всего страдала не от того, что сама умирает, а от того, что ребеночек погибнет. Очень, понимаешь, хотела остаться живой, чтобы родить. Я ей приказывал: «Не ходи без меня на улицу, не ходи». А она: «Мне вредно не ходить». Осколок-то попал — ну всего как кусочек безопасной бритвы. Доктор вынул, бросил в посудину — даже и не заметно его совсем.

Подъехали к дому, поднялись в квартиру Зубова.

В первой комнате на столе в гробу лежала Бригитта.

Зубов спросил шепотом:

— Слушай, а нельзя ее спрятать, а потом увезти?

— Куда?

— Ну, к нам, домой... Понимаешь, я все думал, думал: как это сделать? Может, можно, а?

Лицо Зубова было бледно. И Вайс решился на недопустимый поступок: позвонил профессору Штутгофу и попросил его сейчас же приехать.

Едва профессор вошел и увидел Зубова, как его суровое лицо смягчилось. Он сел рядом, внимательно, не перебивая, слушал, что бормочет Зубов, и во всем соглашался с ним. Потом достал шприц и сделал Зубову укол в руку. Тот как будто даже не заметил этого, но постепенно глаза его стали сонными, веки опустились, голова поникла.

Профессор попросил Вайса помочь ему перенести спящего Зубова на диван и сказал:

— Если глубокий сон не поможет и он не сумеет собрать себя в кулак, вам придется увезти его куда-нибудь. А еще лучше — скажите, что он предает нас всех.

Когда утром Вайс повторил Зубову эти слова, тот только молча кивнул в ответ.

И выдержал весь похоронный ритуал, а потом принимал соболезнования родственников и знакомых Бригитты.

Через день Вайс навестил Зубова. Судя по окуркам, разбросанным вокруг стола, он не вставал с места долго, — возможно, всю ночь и часть дня.

Зубов молча поднялся, взял с пола рюкзак, предложил:

— Пошли.

— Куда?

— Я никогда не вернусь сюда, — объявил Зубов.

— Нет, — возразил Вайс, — ты должен жить здесь.

— Зачем?

— Я приказываю.— И Вайс добавил мягче:— Это нужно для нас всех, Алеша. Нужно, понял? И ради Бригитты тоже. Ведь если ты сбежишь из ее дома сейчас, как только она умерла, ты оскорбишь ее память.

— Это верно,— согласился Зубов.— Ты в самую точку попал. Я должен остаться. Верно. Теперь я уже никуда от нее не убегу до самой своей смерти. Ты понимаешь, она знала...

— Что?

— Ну, не все, конечно, но знала, кто я.

— Почему ты думаешь?— спросил Вайс.

— Понимаешь,— торопливо говорил Зубов,— я вроде как не догадывался, а только чувствовал иногда: знает. А вот когда уже совсем подошла смерть, она показала рукой, чтоб я к ней наклонился, и вроде как всем лицом мне улыбнулась и прошептала по-русски: «Хорошо, спасибо, здравствуйте!» Глаза у нее сразу ужасно так расширились — и все. На это у нее последние остатки жизни ушли, чтобы, значит, сказать мне, что она знала. Вот и все. Жила и знала.— Погрозил кулаком перед лицом Вайса.— Да если бы я знал, что она знает, я бы, понимаешь, был самый счастливый на свете человек. А то мучился: вроде я с ней поддельный,— но я же по-настоящему ее любил. Понял?

— Ты собрался на кладбище?— спросил Вайс.

— Да.

— Я пойду с тобой.

— Пойдем,— сказал Зубов. И добавил:— Спасибо тебе.

У могилы Бригитты он спросил:

— Потом можно будет на камне приписку сделать по-русски, что она Бригитта Зубова?

— Обязательно,— поддержал его Вайс,— а как же иначе? Она ведь твоя жена...

67

Состав дислоцирующейся на Бисмаркштрассе особой группы при Вальтере Шелленберге за последние месяцы основательно изменился. Люди незаметно исчезали, и так же незаметно на смену им появлялись новые.

Вместо Густава группу теперь возглавлял Альфред Фаергоф — долговязый, худощавый мужчина с узким, мумиеобразным лицом, на котором неподвижно застыла вежливая улыбка.

Фаергоф был университетским товарищем Шелленберга и некогда постоял за его честь. Кто-то из студентов сказал ему, что Шелленберг доносчик и работает в службе безопасности. Фаергоф в негодовании вызвал этого студента на дуэль и вышел из нее победителем. Отважным выпадом рапиры он расцарапал до крови щеку противника.

После окончания университета Фаергоф открыл в Бонне адвокатскую контору, но провалился на первом же судебном процессе: он не защищал своего клиента, а обвинял его, как прокурор. То же произошло и в следующий раз. И это не было случайностью. Фаергоф хотел власти над людьми, а профессия адвоката ставила его в положение человека, хитрящего перед мощью государственных законов, увиливающего от них. Но стать прокурором он не решился, опасаясь, как бы отбывшие наказание не начали мстить ему. Такие случаи, он знал, бывали.

Вальтер Шелленберг, став начальником Шестого отдела службы безопасности, предложил Альфреду Фаергофу пост в секретной следственной части этого отдела.

В следственную часть поступали донесения тех, кто втайне наблюдал за работой агентов и резидентов иностранной разведки Шестого отдела СД. И на основе таких донесений Фаергоф мог вынести заочный приговор агенту или резиденту. Исполнение возлагалось на специально для того предназначенных сотрудников, а приемы и способы они избирали сами.

Это уже была настоящая власть над людьми, над их жизнью, к тому же не приходилось вести полемики с подсудимыми и их защитниками.

В редких случаях проштрафившегося агента вызывали в следственную часть. Но это не был ни допрос, ни следствие. Фаергоф встречался с агентом на какой-либо из уютных, хорошо обставленных конспиративных квартир. Радужно принимал гостя, изычно и свободно беседовал с ним.

Вызывая очередного смертника на откровенность, Фаергоф позволял себе такие острые высказывания о правителях империи, за которые любого другого повесили бы без промедления. Он утверждал, что для людей их профессии не существует общечеловеческих норм. Они посвящены во все тайны власти имущих, и это дает им право сознать себя особой кастой. Для них не существует и обременительных предрассудков совести, чести и тому подобной ерунды, придуманной, чтобы держать человека в узде.

Достигнув цели, Фаергоф в изысканных выражениях благодарил разоткровенничавшегося агента за приятную беседу, крепко пожимал ему руку. Пока тот спускался с лестницы, он подходил к окну и, если это было днем, задергивал штору, ночью же ставил на подоконник лампу с розовым абажуром.

Поджидавшие его знака люди встречали агента на улице. Все остальное относилось уже к их работе, чрезвычайно узко специализированной.

Принципиальный аморализм Фаергофа, которым он кокетничал перед самим собой, был характерной чертой всех фашистских лидеров.

Вильгельм Хеттль, один из ближайших сподвижников Вальтера Шелленберга, имея уже время поразмыслить над прошлым, в своем признании, сделанном публично, говорил об одном из таких лидеров, Гейдрихе, и, хотя его характеристика Гейдриха отличалась льстивыми преувеличениями, она все же позволяла понять, что представляли собой и другие фашистские вожаки.

«Он, — говорил о Гейдрихе хорошо его знавший Хеттль, — несомненно, был выдающейся личностью и ведущей фигурой не только в национал-социализме, но и во всей концепции тоталитарного государства. В историческом плане его можно сравнить скорее всего с Цезаре Борджиа.

Оба они с полным презрением относились ко всем нравственным устоям. Оба были одержимы одинаковой жаждой власти, оба обладали одинаково холодным умом, ледяным сердцем, одинаково расчетливым честолюбием.

...Он не только не имел какого-либо христианского морального кодекса, но был лишен и элементарного инстинктивного чувства порядочности. Не государство, а власть — личная власть — была его богом. Это был тип человека эпохи Цезаря, когда власть как цель никогда не ставилась под сомнение и считалась самоцелью. Для него не существовало такой вещи, как идеология, он не думал о ее правильности или ценности, а рассматривал ее исключительно как орудие, с помощью которого можно было повелевать массами. Все в его мозгу было подчинено одному стремлению — овладеть властью и использовать ее. Истина и доброта не имели для него внутреннего смысла, они служили лишь орудием, которое следовало использовать для дальнейшего захвата власти, и любые средства достижения этой цели были правильны и хороши.

Политика также являлась для него лишь переходной ступенью к захвату и удержанию власти. Споры о том, является ли какое-либо отдельное действие правильным само по себе, казались ему такими глупыми, что он, безусловно, никогда не задавал себе такого вопроса.

В результате вся жизнь этого человека состояла из непрерывной цепи убийств людей, которых он не любил, убийств конкурентов, претендовавших на власть, убийств противников и тех, кого он считал не заслуживающими доверия. К этому следует добавить цепь интриг, которые были столь же гнусными, как убийства, и часто замышлялись еще более злобно.

Человеческая жизнь не имела никакой цены в глазах Гейдриха, и, если кто-либо становился на его пути к власти, он безжалостно уничтожал его. Он добивался власти лишь для самого себя. Он стремился удовлетворить лишь собственную жажду власти.»

Секретные досье, сосредоточенные в руках Гейдриха, принадлежали к числу документов, которых больше всего боялись правители Третьей империи.

Гитлер, дальновидно опасаясь Гейдриха, так как обладал многими сходными с ним чертами, отправил его в Чехословакию, где тот стал неограниченным властителем. И когда чехословацкие патриоты убили Гейдриха, главных чинов его охраны даже не покарали. Гитлер удовлетворялся расправой над чехословацким народом, превратил Лидице в огромный эшафот и залил страну кровью. Преемником Гейдриха стал Гиммлер — человек, родственный ему по склонностям и по манере поведения, но, с точки зрения Гитлера, обладавший весьма ценным для такого рода службы даром: почти патологической боязнью за свою жизнь.

Здоровье Гиммлера оставляло желать лучшего, и он никогда не расставался с лечащим врачом, а также массажистом, которым доверял больше, чем кому-либо из своих приближенных.

В интимной жизни Гиммлер избегал излишеств, и не потому, что считал их аморальными: просто он опасался за свое здоровье.

Страх, который Гиммлер испытывал перед Гитлером, выражался в самой бесстыдной, унижительной форме. Даже Кейтель, получивший среди свиты фюрера прозвище «Лакейтель», говорил, что каждый раз, когда Гиммлер выходит из кабинета фюрера после очередного разноса, он испытывает брезгливость и омерзение, передавая в дамские, выхоленные дрожащие пальцы рейхсфюрера стакан с водой.

Именно эта рабская трусость Гиммлера внушала фюреру уверенность в том, что его избранник более предан ему, чем Гейдрих.

Но, пресмыкаясь перед фюрером, Гиммлер, скользкий и гибкий, как очковая змея — во внешнем облике его даже обнаруживалось сходство с этим брюхоногим пресмыкающимся, — унаследовал многие черты своего предшественника, правой рукой которого он был в течение продолжительного времени.

За долгие годы Гиммлер привык находиться в подчинении у более сильного, а Гейдрих, несомненно, был таковым. Но, став главой службы безопасности Третьей империи, Гиммлер оказался еще более страшной фигурой, чем Гейдрих. Он настолько боялся вызвать недовольство фюрера, что руководствовался в своей деятельности лишь одним — стремлением предугадать его желания. Поэтому он иногда допускал в своем палаческом усердии такие излишества, что изредка даже Гитлер вынужден был выражать удивление чересчур поспешной исполнительностью своего главного помощника.

Обычно Гиммлер обезоруживал фюрера, приводя в доказательство своей правоты какую-нибудь случайно оброненную тем фразу или цитату из речи, исходя из которых он будто бы и подписывал приговоры.

Фюрер любил тех, кто подбирал каждое оброненное им слово и провозглашал его незыблемым параграфом нового закона. И Гиммлер сумел разгадать эту его слабость.

Но чем больше он общался с Гитлером, тем больше замечал в нем черт, свойственных его бывшему шефу Гейдриху, а значит, и ему самому. И постепенно в сердце Гиммлера закралась тайная зависть к Гитлеру: ведь он сам мог стать первым человеком империи. Роль второго его уже не устраивала.

Больше всех других Гиммлер приблизил к себе Вальтера Шелленберга. Доверять ему он стал после того, как окончательно убедился, что у этого молодого человека существуют незыблемые и твердые правила поведения. Шелленберг служит не рейху, не Третьей империи, не нацистской партии, не фюреру даже. Он служит только одному определенному человеку, на которого возлагает все свои надежды. Он ревностно и преданно трудился на пользу этому человеку и, лидируемый им, в награду за самоотверженную преданность получил из его рук свою долю власти.

Таким человеком был для него Гиммлер.

Шелленберг, будучи неглупым политиканом, был невысокого мнения о достоинствах Гиммлера и отлично понимал всю низость его натуры. Но он знал, что пост начальника службы безопасности Третьей империи занимает кандидат в новые фюреры. Он держит в своих руках все тайные нити управления империей, а прочность тотального режима диктаторской власти зиждется на разветвленной и всеохватывающей системе секретных служб с ее силами подавления.

Еще в 1939 году Шелленберг вместе с небольшой группой сообщников завязал контакты с английской разведкой. Выдавая себя за враждебных режиму немецких офицеров, они сумели установить связь с английскими официальными кругами и, заинтересовав их заговором против Гитлера, намеревались проникнуть в высшие сферы иерархии английского правительства. Гитлер одобрил эту идею, а английские коллеги заверили Шелленберга, что в ближайшее время в Голландию для встречи с ним прибудет из Англии высокопоставленный официальный представитель. Это также было известно Гитлеру.

8 ноября, за несколько часов до взрыва бомбы в Бюргербраухеле, где инсценировалось покушение на фюрера, Гейдрих внезапно дал указание прекратить секретные переговоры с английской разведкой. Английские офицеры связи были схвачены и переброшены в Германию.

Операция удалась в том смысле, что Гитлера немецкая пропаганда стала превозносить как божественную личность, которой покровительствует само провидение, англичан изображали инициаторами неслыханного преступления, а Голландия была скомпрометирована. И все это вместе послужило как бы прелюдией к тому, чтобы породить у немцев энтузиазм перед планами широко задуманной войны.

Но подобные «подвиги» Шелленберга остались в далеком прошлом.

Под ударами Советской Армии кренилось и падало здание фашистской империи. Войска союзников высадились на материке. Руководители рейха, в том числе и сам Гитлер, лихорадочно вели с англичанами и американцами тайную дипломатическую торговлю. Каждый из них, предлагая себя в качестве главы новой империи, обязывался продолжать войну с СССР и требовал поддержки от Англии и США. Расходились лишь в том, какие формы примет капитуляция Германии перед Западом и какую часть своей военной добычи она должна уступить.

Все дни Шелленберг проводил с Гиммлером, воодушевляя и подталкивая его на решение стать преемником Гитлера, и вел в Стокгольме переговоры с представителями тайной дипломатии Англии и США уже от лица будущего, нового фюрера. Некоторых из этих представителей Шелленберг привозил в штаб-квартиру Гиммлера в Хоенлихен, где можно было в полной безопасности договариваться с рейхсфюрером.

Для успешного завершения этой деятельности бригаденфюреру необходимы были люди, которые могли бы преданно, надежно и быстро выполнять любые его поручения.

Альфред Фаергоф должен был отобрать нескольких человек из состава особой личной группы при Вальтере Шелленберге.

Йоганн Вайс своим стоическим поведением в тюрьме засвидетельствовал безусловную преданность Шелленбергу. Но принять окончательное решение Фаергоф не торопился. Чем больше нравился ему Вайс, тем более подозрительными казались его сдержанность и то достоинство, с каким он держал себя. Фаергоф был принципиально убежден, что чем благородней оболочка человека, тем больше скрывается за ней дряни. Его опыт подсказывал: чем подлее человек, тем тщательнее он стремится соблюдать все внешние правила приличия и нравственности.

В один из вечеров Фаергоф пригласил Вайса покататься с ним в лодке на Ванзее и, наблюдая, как тот гребет, спросил, не был ли он моряком. Вайс сказал, что прежде жил в Риге и часто выходил в море со своим другом Генрихом Шварцкопфом.

Фаергоф заявил презрительно:

— Племянник Вилли Шварцкопфа? Оберштурмбанфюрер-

ра, у которого открылся талант лабазника? Я думаю, он хорошо наживаете на хозяйственной работе в СС.

— Вилли Шварцкопф — старый член партии, — возразил Вайс.

— Поэтому он и успел нахватать себе столько ариевированного имущества, что стал богачом!

— Он живет очень скромно.

— Где?

— В своей личной канцелярии.

— А вы были в его новом особняке?

— Я дружу только с Генрихом.

— Напрасно. Друзей следует выбирать не по влечению сердца, а по тому месту, которое они занимают в империи.

— Но я не смею предложить свою дружбу фюреру, — усмехнулся Вайс.

Фаергоф расхохотался, но глаза его остались холодными. Внезапно он спросил требовательно:

— Вы действительно готовы были отдать жизнь за Шелленберга, когда находились в тюрьме?

— А что мне еще оставалось? — в свою очередь задал вопрос Вайс. — Я предпочел быть повешенным за преданность Шелленбергу, чем за то, что не сохранил преданности ему.

— Это вы хорошо сказали, — одобрил Фаергоф. — А то, знаете, личности, щеголяющие в одеждах героев, не внушают мне доверия. В этом всегда есть что-то противоестественное. Еще вопрос: вы были знакомы с Хакке?

— Да.

— Что вы о нем можете сказать?

— Болван.

— Ну а подробнее?

— Если вы о нем знаете что-нибудь другое — пожалуйста!..

— А что именно вы о нем знаете?

— Думаю, меньше, чем вы.

— Ах, так! — зло воскликнул Фаергоф. — Так вот: Хакке показал, что предлагал вам взять досье, которые хранились у него в сейфе.

— Что значит «показал»? — спросил Вайс. — Разве его кто-нибудь допрашивал?

— Сейчас я вас допрашиваю.

— О чем?

— Почему вы отказались взять у него досье? Вы ведь знали, кого они касаются.

— Вот поэтому я и отказался, — ответил Вайс.

— Точнее, — потребовал Фаергоф.

— Если бы я только подержал их в руках, — сказал Вайс, — меня бы давно ликвидировали. Ведь так?

— Так, — подтвердил Фаергоф.

— Ну вот вам мой ответ на ваш вопрос.

— А почему вы не донесли?

— Кому?

— Шефу.

— Как по-вашему, если бы Шелленберг не захотел связать себя некими сведениями о фюрере, которые никому не должны быть известны, что бы он сделал со мной? Ликвидировал.

— А если б он захотел ознакомиться с досье?

— Тогда зачем ему, чтобы об этом знал я? И в этом случае он поступил бы со мной так же.

— Слушайте! — воскликнул Фаергоф. — Вы мне нравитесь, вы просто разумный трус.

Вайс сказал убежденно:

— А я и не скрываю этого. На нашей службе единственный способ сохранить жизнь — стараться не предугадывать, что тебе прикажут сделать, а делать только то, что тебе приказывают.

— Прекрасно, — с облегчением согласился Фаергоф. — Но все-таки вы, наверно, хотите чего-то большего?

— Как и все, — вздохнул Вайс. — Хочу, чтобы мне приказывало как можно меньше людей, а я мог бы отдавать приказания многим.

— Отлично! — обрадовался Фаергоф. — Вы просто открыли универсальную формулу стимула для каждой человеческой личности. — И, вдохновляясь звуками собственного голоса, почти продекламировал: — Человек может осознать себя личностью только через власть над другим человеком. А убийство — это и есть проявление инстинкта власти.

— Здорово! — сказал Вайс. — Можно подумать, что это вы помогали фюреру сочинить «Майн кампф».

— Книга написана дурно, богатство немецкого языка в ней совершенно не использовано.

— Это библия партии.

— Не ловите меня на слове, — с насмешкой в голосе посоветовал Фаергоф. — Стилистические тонкости только затемняют смысл политического документа, каждое слово которого должно быть отчетливо ясно и проникать в голову, как пуля.

— Правильно, — согласился Вайс. — Вы удивительно точно владеете энергичной фразеологией.

— Если бы не моя многолетняя дружба с Вальтером, я бы давно проявил свои способности теоретика.

— Как Розенберг?

Фаергоф поморщился.

— Геббельс остроумно заметил как-то: «Социализм в нашей программе — лишь клетка для того, чтобы поймать птичку». Но я считаю, что Розенберг слишком злоупотреблял социалистической терминологией, и в свое время это отпугивало от нас германских промышленников и финансистов.

— А теперь?

— Вы же знаете, что промышленные и финансовые магнаты имели самое прямое отношение к «заговору двадцатого июля». Но имперский министр вооружения и военной промышленности Шпеер, очевидно с ведома фюрера, запретил проводить расследование об их участии в заговоре. Как-никак в их руках военная экономика страны, и это могло на ней отразиться.

Лодка причалила к берегу, и Вайс, поддерживая Фаергофа под руку, чтобы тот не свалился в воду, помог ему выйти на пристань. Когда они оказались на берегу, он спросил:

— У вас еще будут ко мне вопросы?

— Позвольте,— запротестовал Фаергоф,— я просто приятно провел с вами время.

— Нет,— решительно сказал Вайс,— для этого у нас теперь нет, да и не может быть времени.

— Хорошо,— согласился Фаергоф.— У меня сейчас нет никаких возражений против вас.

— Только это я и хотел знать,— с удовлетворением произнес Вайс. И добавил:— Можете быть уверены, что ваша прощательность и на этот раз не обманула вас.

Оказалось, что «в высшей степени секретное» задание, которое Вайс выполнял под наблюдением Фаергофа, не требовало ни особой сноровки, ни особых усилий.

Он обязан был следить, чтобы в определенные сроки на участке дороги и улице, прилегающих к указанному ему заданию, а также у входа в само это здание не появлялись люди, чьи приметы не были бы ему заранее известны. Или, находясь в каком-нибудь пункте, он должен был дожидаться, пока мимо пройдет машина с заранее названным ему номером, и сообщать об этом по радио неведомому корреспонденту.

Нетрудно было заметить, что наблюдение ведется, в свою очередь, и за ним. Он как бы очутился в гигантской тюрьме и, лишившись свободы, пунктуально выполнял лишь то, что ему было предписано.

Вскоре Вайс получил командировку в Стокгольм, но задание его оставалось прежним. Он стал частицей слаженного и безотказно работающего механизма слежки, в который Шелленберг включал наиболее опытных агентов своей секретной службы.

Выпасть из этого механизма даже на самое короткое время пока не представлялось возможным: все его детали были настолько точно соединены одна с другой, что малейшее отклонение мгновенно вызвало бы сигналы тревоги по всей цепи. С поста наблюдения немедленно удаляли и агента, вольно или невольно допустившего ошибку, и агента, на которого падала только тень подозрения в нарушении правил службы. Расправа часто совершалась тут же, на месте, и Вайсу, как и



другим, был выдан для этой цели бесшумно действующий пис-толлет.

Полная изоляция, в которой очутился Вайс, казалась ему катастрофической. Он изнемогал от бездействия, от бесплодности усилий связаться с кем-нибудь из своих. Отчаявшись, он уже считал, что весть о победе Советской Армии над фашистской Германией застанет его где-нибудь в Стокгольме. А он по-прежнему будет одиноко стоять возле опостылевшей ему будки телефона-автомата. Он пользовался этим автоматом в тех случаях, когда нужно было сообщить, что граф Бернадотт, племянник короля Швеции, выехал из своей резиденции для встречи с очередным доверенным посланцем Гиммлера. Чаще всего этим посланцем был сам Шелленберг.

Вайс знал, что граф занимает не один только пост председателя шведского Красного Креста. Он был директором шведских филиалов американских фирм «Интернейшнл бизнес мэшин», принадлежавших тресту Моргана. Возможно, он был связан не только с деловыми, но и с правящими кругами США, от лица которых и вел секретные переговоры с гитлеровцами.

Обязанности Вайса состояли в том, чтобы обезопасить посланцев Гиммлера от слежки, поскольку Стокгольм был буквально наводнен агентами Риббентропа, Кальтенбруннера, Бормана, Геббельса, да и самого фюрера. В свою очередь, особая группа Шестого отдела СД, в которую входил Вайс, тоже вела наблюдение за всеми этими агентами.

Неожиданно Вайса сняли с поста наблюдения. Он получил приказ отправиться в один из пригородных стокгольмских особняков, чтобы проинформировать о методах конспирации собравшихся там сотрудников гестапо, офицерский состав СС и видных нацистов, которые уходили сейчас в подполье. Эти методы он изучил, выполняя в свое время с Дитрихом поручение Ландсдорфа.

В назначенное время Иоганн явился по указанному адресу и, пройдя целый ритуал обмена установленными тайными знаками, очутился в большом зале, стены которого были покрыты панелями из черного дуба и увешаны геральдическими гербами, охотничьими трофеями и старинным оружием. Здесь собралось большое общество, и не только люди среднего возраста, но и молодежь с выправкой штурмовиков. Рядом с трибуной, предназначенной для Вайса, на специальной подставке был выставлен портрет Гитлера, инкрустированный из кусков дерева разных пород. По обе стороны портрета высились железные треножники с горящими факелами.

Александра Белова не считали в институте искусным оратором. Он всегда испытывал неловкость, видя с трибуны лица своих товарищей, которые думали так же, как думал он, знали то же, что знал он, и вовсе не нуждались, чтобы он убеждал их в том, в чем они были убеждены никак не меньше его

самого. Поэтому лицо его на трибуне всегда принимало застенчивое, виноватое выражение, и говорил он глотая слова и так торопился кончить, будто ждал, что вот сейчас ему крикнут: «Не воруй время! Время — это жизнь, а ты нам ее укорачиваешь!»

Но когда он поднялся на трибуну здесь, в этом богатом зале, и увидел почтительные физиономии шведских фашистов, с уважением, как старшего, приветствовавших его, он воодушевился и произнес блистательную речь. По-видимому, она произвела впечатление. Слушатели были настолько ошеломлены, что, когда Вайс закончил, последовала недопустимо затянувшаяся пауза. И лишь после того, как он покинул трибуну, раздались вежливые аплодисменты. Они звучали глухо, так как ладони у всех стали влажными от выступившего на них пота.

В своем выступлении Вайс перемешал деловые рекомендации, касающиеся методов конспирирования уходящих в подполье немецких фашистов, с сообщениями о том, какое количество людей и какими способами они умерщвляли. В заключение, приведя цитату из речи Гитлера, заявил, что эта война — только лишь эпизод в истории тысячелетнего рейха. И заверил слушателей, что третья мировая война принесет расе господ безраздельное владычество над всеми другими народами.

Это полное оптимизма обещание произвело на шведских фашистов не слишком отрадное впечатление. Но зато деловую часть они записали со старательностью учеников воскресных школ.

Отвечая на вопросы, Вайс посоветовал бородатым сбрить бороды, а бритым отращивать; женатым разойтись, поскольку женщины болтливы и могут выдать их; неимущим разбогатеть, чтобы замаскировать свое прошлое, а богатым, напротив, превратиться в нуждающихся. Кроме того, он дал много полезных советов на тот случай, если кто-либо из присутствующих попадет в тюрьму. С полным знанием дела объяснил, как наиболее правильно и рационально использовать время пребывания в заключении, откуда черпать телесную бодрость. Своим опытом в этом отношении он делился щедро, с необычайной откровенностью.

Рекомендации Вайса привели присутствующих в тяжелое, подавленное состояние. И только во время интимного банкета в его честь настроение несколько улучшилось. И здесь, за столом, Вайс узнал имена тех шведских финансистов, которые сами предложили свои услуги агентам Гиммлера. Они хотели, чтобы через них была установлена связь с премьер-министром Черчиллем, стремясь таким путем быстрее достичь соглашения о приемлемых для фашистской Германии условиях мира.

Вайсу удалось узнать даже основные пункты меморанду-

мов, какими обменивались те или иные представители сторон в этих переговорах.

Местные фашисты, тревожась главным образом за свою судьбу, выражали возмущение чрезмерными претензиями западных держав к Германии. И рекомендовали Вайсу быть очень осторожным в Стокгольме, так как в связи с победами Советской Армии народ Швеции настроен необычайно решительно. Носить значки со свастикой сейчас — почти самоубийство. Членов фашистской партии неоднократно избивали на улицах.

Вайс пообещал, что будет беречь себя.

Спустя два дня он получил новое задание.

Предстояло вылететь в Берлин в одном самолете с чиновником германского министерства иностранных дел. У этого чиновника будет портфель с диппочтой, и полетит он не один, а в сопровождении вооруженной охраны из агентов Риббентропа.

За полчаса до назначенного по расписанию времени самолет должен приземлиться на запасном аэродроме, где с чиновником и его охраной будет покончено. Если же самолет не совершит посадку, Вайс обязан застрелить чиновника из бесшумно действующего пистолета.

— А как же я? — спросил Йоганн.

— Если отобьетесь от охраны — выброситесь с парашютом, все будет в порядке.

С этого момента за Вайсом неотступно следовали два агента. Они проводили его на аэродром и не отошли от трапа до тех пор, пока дверца в кабину самолета не захлопнулась.

Пилот оказался верным человеком. Как и было договорено, он пунктуально совершил посадку на запасном, пустынном в этот час аэродроме. Чиновник и его охранники не успели шевельнуться: корпус кабины точно в тех местах, где они сидели, был пробит автоматными очередями.

Абсолютно все было заранее предусмотрено, и, выйдя из самолета, Вайс увидел, что ремонтники из состава технических войск СС уже накладывают металлические заплатки на пробоины.

На площадках трапов, подведенных к обеим сторонам кабины, стояли автоматчики. Один из них любезно указал Вайсу, в каком направлении следует идти к присланной за ним машине.

Шелленберг в эти дни был самым целеустремленным, энергичным и решительным из всех государственных деятелей Германии. Но меньше всего он думал о том, как сложится дальнейшая судьба рейха. Он был убежден, что его

собственное будущее от этого никак не зависит. Давно, еще со времен Сталинграда, он понял, что военное поражение рейха неизбежно. И сделал ставку на Гиммлера. Если Гиммлер станет первым человеком в Германии, то он, Шелленберг, будет вторым. Какой Германии — это теперь не имеет значения. Но именно сейчас, в эти дни, для него все решалось. И поставки фольксштурма — людей, которых, как дрова, грузили в вагоны и спешно отправляли на Восточный фронт, — интересовали Шелленберга лишь постольку, поскольку это могло замедлить продвижение Советской Армии. А ему необходимо было выиграть время, чтобы завершить переговоры Гиммлера с теми, кто взял на себя роль тайных дипломатических агентов западных держав.

Канун падения гитлеровской Германии стал для Шелленберга как бы вершиной всей его деятельности. От его ума и ловкости зависело сейчас, будет ли он первым наперсником нового фюрера и вторым человеком в Германии. Личная капитуляция Гиммлера была бы для него трагедией, большей катастрофой, чем капитуляция Германии. Военное поражение рейха, по его мнению, еще не означало политического поражения. Если действовать в этот критический момент целеустремленно и решительно, можно выиграть для себя лично великое будущее. Так он и действовал.

Все эти дни Шелленберг не покидал Гиммлера. Был необычайно бодр, самоуверен и красноречиво разжигал воображение своего шефа упоительными перспективами самодержавного единовластия.

В бомбоубежище Хоенлихена Шелленберг продемонстрировал Гиммлеру киноплёнку, на которой по его приказу один из агентов запечатлел фюрера с помощью скрытой камеры.

Съемка производилась специальным, замедленным способом, который позволил отчетливо и обстоятельно зафиксировать малейшие оттенки физического состояния Гитлера.

На сером экране перед ними, будто в аквариуме под водой, передвигался в пространстве сутулый человек с бледным, рыхлым, оползшим лицом и нижними веками, оттянутыми, как у дряхлого пса. Левая рука произвольно тряслась, словно ласты у тюленя, правую он подносил к уху, прислушиваясь: слух его значительно снизился после недавней операции. Вот он направился к столу. Подошвы его штиблет как бы прилипали к полу, и от этого походка была падающей, как у древнего старца. Взял лист бумаги и с трудом, будто непомерную тяжесть, поднес к глазам. С глазами у Гитлера тоже было плохо, и документы для него теперь печатали на специальной машинке с необычайно крупным шрифтом.

Гиммлер передвинул стул ближе к экрану. Он смотрел на своего фюрера молча, пытливо, с явным наслаждением.

Несколько дней назад Шелленберг беседовал о состоянии

здоровья Гитлера с профессором де Крини и директором психиатрической больницы Шарите. Это были свои люди, и сведения, которые он получил, носили самый обнадеживающий характер: состояние Гитлера безнадежно. Тогда он устроил Гиммлеру свидание с де Крини и имперским руководителем здравоохранения Конти. Гиммлер выслушал их напряженно и жадно, с полным пониманием: еще прежде он прочел в медицинской энциклопедии статью о так называемой болезни Паркинсона — этот диагноз ставили Гитлеру.

Сейчас, когда просмотр киноплёнки был закончен и в зале зажегся свет, Гиммлер сказал с лицемерным сочувствием:

— Это все оттого, что фюрер ведет совершенно противостественный образ жизни: превращает ночь в день, оставляя для сна только два-три часа. Его непрерывная деятельность и постоянные взрывы бешенства изводят окружающих и создают невыносимую атмосферу. — Признался: — Когда он меня вызывает, я каждый раз испытываю смертельный страх — ведь в припадке ярости ему ничего не стоит застрелить меня.

— Да, — согласился Шелленберг. — И если вы будете медлить, в один прекрасный день ваш труп вывезут из бомбоубежища под рейхсканцелярией, как уже было с другими.

Гиммлер побледнел, но по-прежнему лицемерно воскликнул:

— Погибнуть от руки фюрера — великая честь!

Шелленберг обладал железной выдержкой и терпением, но даже его иногда обезоруживало это бесстыдное и теперь уже никому не нужное притворство. Лицемерие было как бы второй натурой Гиммлера. Подписывая приказ об «особом режиме» для десятков тысяч заключенных в концлагерях, он жаловался:

— Если бы наши противники оказались более гуманными, они взяли бы на себя затраты на содержание военнопленных и сами снабжали их продуктами питания. Не могу же я обрекать на голод немецкий народ, чтобы за его счет откармливать этих бездельников.

Зольшинство медицинских экспериментов над заключенными производилось с его санкции. И, читая присланные ему пачками-медиками материалы об этих экспериментах, Гиммлер говорил:

— Я забочусь о здоровье немецкого народа как никто другой. Испытания различных новых препаратов на живом материале гарантируют нашу медицину от ошибок при лечении людей высшей расы.

С особым вниманием он следил за успехами эсэсовских медиков, проводящих опыты стерилизации заключенных.

— Фюрер требует от нас, чтобы мы умерщвляли миллион славян в год. Но я мечтатель. Мы можем обезопасить свое будущее: сохраним для себя рабочую силу, но лишим ее опасной возможности размножения.

Гиммлер иступленно боялся, что Гитлеру станет известно о его тайных переговорах с агентами западных держав. И накануне их прибытия в Хоенлихен он притворился больным. Чтобы вызвать у Гиммлера порыв к активности, Шелленберг даже решился припугнуть его. Сказал, что, по его данным, Кальтенбруннер подозревает об этих переговорах Гиммлера. Сотни личных агентов Кальтенбруннера рыскают вокруг Хоенлихена и охотятся за людьми Шелленберга.

Тогда Гиммлер воскликнул раздраженно:

— Их нужно убивать, убивать на месте!— И уже мягче посоветовал:— А тех наших агентов, которые не смогут с ними справиться, не привлекая внимания, нужно немедленно ликвидировать и так составить материалы следствия, чтобы было ясно: в наших рядах есть изменники и их уничтожают.

— Слушаюсь,— ответил на это Шелленберг.

Через несколько дней после просмотра киноплёнки Гиммлер вызвал Шелленберга в свое имение в Вустраве и, когда они гуляли по лесу, сказал:

— Шелленберг, мне кажется, что с Гитлером больше нечего делать.— Спросил:— Вы верите диагнозу де Крини?

— Да,— ответил Шелленберг,— я, правда, давно не видел фюрера, но мои наблюдения позволяют мне сделать вывод: сейчас настал последний момент для того, чтобы начать действовать.

Гиммлер, соглашаясь, кивнул. Потом остановился и произнес значительным тоном:

— Если англо-американцы окажут мне добросовестную помощь в победе над Россией, я согласен вознаградить их. Мы можем передать под управление Англии часть Сибири — ту, что между Обью и Леной. А США отдадим район между Леной, Камчаткой и Охотским морем.— Спросил:— Я полагаю, их удовлетворяют эти условия?

— Да,— сказал Шелленберг.— Несомненно.

Сейчас его не интересовали мечты будущего фюрера. Он был более реалистичен. И его обрадовало, что Гиммлер настроен решительно. Значит, и действовать теперь можно более энергично.

Больше всего Шелленберга беспокоила кровавая репутация Гиммлера. Самым первостепенным сейчас было по возможности обелить его, чтобы эта репутация не послужила препятствием к возведению нового диктатора на трон. Более шести миллионов евреев было умерщвлено по утвержденному Гиммлером на совещании в одной из вилл в районе Ванзее плану, получившему поэтому гриф «План Ванзее».

Еще в январе 1944 года Шелленберг предусмотрительно организовал свидание Гиммлера с бывшим президентом Швейцарии Мюзи. От имени еврейских организаций тот предложил

пять миллионов швейцарских франков за освобождение евреев-заключенных по определенному списку.

Гиммлер был склонен произвести эту сделку. Он потребовал, чтобы на всю сумму доставили в рейх тракторы, автомашины и техническое оборудование. А для себя лично пожелал, чтобы в американской и английской печати были опубликованы статьи, авторы которых охарактеризовали бы его только как государственного деятеля Третьей империи.

О его роли руководителя службы безопасности следовало умолчать.

И вот сейчас для переговоров с Гиммлером в Германию прибыл из Швеции Бернадотт, а из Швейцарии, почти одновременно с ним, — восьмидесятилетний Артур Лазар. Старика сопровождал его младший сын.

Шелленберг доставил Лазара в одну из резиденций Гиммлера.

Мюзи выполнил свое обещание — Артур Лазар привез с собой пачку английских и американских газет, в которых были опубликованы статьи о Гиммлере.

Старик Лазар молча сидел в кресле. В черной визитке, в широких полосатых серых брюках, складками спадающих на ногах. Крахмальный воротничок с отогнутыми углами как бы поддерживал его голову. Глаза тусклы, взор их обращен внутрь, и от этого они были мертвы.

Когда он уезжал в Германию, жена простилась с ним, как с покойником. Но он не боялся смерти: она и так уже тащилась где-то рядом, как тень, как дань прожитым годам. Убьют сына? Шесть миллионов плюс один человек. Себя он уже не мог считать жертвой. Он поехал сюда потому, что был очень стар: его высохшему сердцу легче перенести все это.

Он думал: если бы был бог, он не допустил бы ничего подобного. Но если можно выторговать сейчас у фашистов жизнь нескольких тысяч человек, почему не сделать этого? Он знал, когда Гитлер пришел к власти, западные державы помогали ему вооружаться, рассчитывая, что он нападет на большевиков. И когда нацисты в Германии убивали евреев, западные державы молчали. Молчали, а наци на евреях обучались ремеслу убийц.

Он знал, что Эйхман даже изучил еврейский язык, стремясь обладать нужной подготовкой для должности начальника службы, специализированной на истреблении евреев.

Лазар был противником Советского Союза: считал, что в этой стране ограбили тех, кто благодаря превосходству ума умеет делать деньги так же, как он сам умел их делать.

Но поражение фашистской Германии нанес не кто-нибудь, а большевики. И только Советская Армия могла бы освободить всех узников из фашистских концлагерей. Если бы!..

Лазар знал о тайных переговорах союзников с гитлеров-

цами. Знал, что фашисты все свои армии перебрасывают с Западного фронта на Восточный, надеясь при поддержке союзников остановить русских.

Он знал, что Ален Даллес в беседе с агентом гитлеровцев заявил: «При всем уважении к историческому значению Адольфа Гитлера и его делу трудно себе представить, чтобы возбужденное общественное мнение англосаксов согласилось увидеть в Гитлере бесспорного хозяина великой Германии». И далее: «Гиммлер может быть партнером для переговоров».

Лазар знал: Даллес, и не только он один, настойчиво поддерживает кандидатуру Гиммлера как преемника Гитлера.

Если Гиммлер станет новым фюрером, он запросит за освобождение заключенных слишком много. Но может и уничтожить их всех, якобы по повелению Гитлера. Свалит убийство на ближайшее окружение фюрера.

Лазар знал, что миссия, которую он взял на себя, более чем сомнительна. Он должен был вступить в переговоры с главным палачом своего народа ради того, чтобы спасти несколько тысяч человек, указанных в списке, а сотни тысяч, обреченные на смерть, останутся в концлагерях.

Но он взял на себя эту миссию, надеясь убедить Гиммлера, чтобы он не эвакуировал концентрационные лагеря ни перед неудержимо накатывающейся лавиной советских армий, ни перед войсками союзников, медленно и осторожно продвигающимися от западного побережья.

Ради всего этого он здесь.

Рейхсфюрер вошел в комнату в сопровождении Шелленберга. Он был неуверен в себе, раздражен и явно волновался, сознавая всю опасность переговоров с Артуром Лазаром. Пожать руку еврею — для Гиммлера и то уже было подвигом. Но он пошел на этот подвиг ради выгод, которые еулил ему Шелленберг.

Гиммлер с первых же слов сбивчиво заговорил о том, что он лично предлагал разрешить еврейский вопрос путем эвакуации евреев куда-нибудь на острова. Но это оказалось невозможным: во-первых, из-за иностранной пропаганды, а во-вторых, из-за сопротивления, возникшего в партийных кругах. Как бы пытаясь оправдаться, он вдруг захотел показать Лазару какое-то документальное доказательство своих гуманных намерений. Извинившись, ушел к себе в кабинет и стал рыть там в бумагах.

Он перебирал поступающие к нему из концлагерей сводки о количестве производимых умерщвлений — в неделю, в месяц, в квартал. Копии своих приказов с выговорами руководителям лагерной администрации за проявленную медлительность. Докладные с техническими проектами газокамер и его одобрительными резолюциями в углу титульного листа.

Снимки препарированных трупов с разорванными легкими после пребывания в вакуумных камерах, где проводились с его санкции испытания человеческих организмов на степень выносливости в разреженной атмосфере (заказ Геринга для изучения влияния на летчиков высотных полетов).

Сводки о количестве тонн крови, полученной для нужд фронта от детей, заключенных в концлагерях.

Донесение министерства сельского хозяйства об использовании удобрений, изготовленных из кремационного пепла.

Под руку ему попался приказ 16 февраля 1942 года за его подписью. Он бегло пробежал его.

«Высшему руководителю СС и полиции на Востоке обергруппенфюреру СС Крюгеру. Краков.

В целях обеспечения безопасности приказываю, чтобы после перевода концентрационного лагеря Варшавское гетто было снесено до основания. Причем перед этим следует использовать все годные части домов и всякого рода материалы. Снос гетто и устройство концентрационного лагеря осуществить необходимо, так как иначе мы никогда не успокоим Варшаву, а бесчинства преступных элементов не смогут быть искоренены, если гетто будет оставлено.

Мне должен быть представлен общий план ликвидации гетто. В любом случае нужно добиться, чтобы имеющаяся до сих пор жилплощадь, на которой проживает 500 тысяч человек низшей расы и которая никогда не будет пригодна для немцев, была стерта с лица земли, а миллионный город Варшава, всегда являющийся опасным очагом разложения и мятежа, был уменьшен.

Г. Гиммлер»

Он со злостью сунул эту бумагу обратно в ящик, туда, где лежал кусок экспериментального мыла из человеческого жира.

На столе он увидел копии заранее подготовленных телеграмм комендантам лагерей Дахау и Флоссенборг.

«О передаче не может быть и речи. Лагерь необходимо немедленно эвакуировать. Ни один заключенный не должен попасть живым в руки врага.

Генрих Гиммлер»

Он схватил эти телеграммы, скомкал и бросил в корзину под стол, потом наклонился, поднял и сжег в пепельнице. И, сделав это, пришел в лучшее настроение: одной уликой меньше.

Вернувшись в комнату, где его терпеливо ожидал Лазар, Гиммлер сразу заявил, что принимает все три предложенных ему пункта. Пункт первый: он прикажет не убивать больше евреев. Второй пункт: имеющиеся в наличии евреи, число которых весьма неточно и спорно, во всяком случае, останутся в лагерях, их не будут «эвакуировать». И третий: все лагеря, в которых еще имеются евреи, будут перечислены в списке, и о них будет сообщено.

Лазар выслушал это все с каменным выражением лица, молча. После паузы сказал:

— Я хочу, чтобы мой сын посетил один из лагерей. Это нужно для того, чтобы мы могли быть уверены, что ваши указания выполняются в точности.

Гиммлер встревоженно оглянулся на Шелленберга. Тот кивнул. Тогда Гиммлер поспешно сказал:

— Ваше желание, мосье Лазар, будет исполнено. У вас не должно остаться никаких сомнений.

Гиммлер верил в талант Шелленберга выкручиваться из любого положения.

Ему хотелось произвести на Лазара благоприятное впечатление. И, усевшись рядом в кресле, он с самым дружелюбным видом посетовал на то, что германская экономика при решении еврейского вопроса потерпела некоторый ущерб, лишившись искусных рабочих рук, а также той части технической интеллигенции, которая могла быть особенно полезна. И со вздохом сожаления заключил:

— Но увы! Принципы, какими бы они ни казались на первый взгляд странными, есть принципы. Нам приходилось идти на жертвы ради укрепления национального духа. — Встал и, сославшись на занятость, извинился, что не может продолжать беседу. На прощание протянул руку.

Лазар в старческой рассеянности, казалось, не заметил этого жеста. И был озабочен в этот момент только тем, чтобы раскурить сигару. Руки его были заняты.

Гордо вскинув голову, Гиммлер вышел из комнаты. Он действительно спешил: в Хоенлихене у него была назначена встреча с Бернадоттом. Встреча эта имела для Гиммлера исключительно важное значение, ибо Бернадотт должен был подтвердить признание кандидатуры Гиммлера на пост нового фюрера заинтересованными кругами США и Англии.

Но все-таки, прежде чем покинуть комнату, Гиммлер, задержавшись на пороге, успел сказать Лазару, что сегодня же прикажет освободить из Равенсбрюка группу женщин-евреек. Но Лазар обязан найти быстрейший способ информировать генерала Эйзенхауэра об этом акте милосердия.

Гиммлер намеревался через посредничество Бернадотта добиться свидания с Эйзенхауэром и был чрезвычайно любезен с графом.

Граф Бернадотт не впервые устаивался чести быть принятым в Хоенлихене—этой штаб-квартире Гиммлера, барском имении, отлично замаскированном под огромный благоустроенный госпиталь якобы для раненых эсэсовцев.

Здесь во множестве коттеджей помещались самые секретные канцелярии службы безопасности; в отдельных флигелях были расположены лаборатории, где химики и бактериологи изобретали новые средства для массовых умерщвлений.

Рядовые сотрудники этих служб с искусно перевязанными конечностями и снабженные костылями приезжали и уезжали из Хоенлихена в санитарных машинах. Некоторых, особо

секретных агентов выносили из машин и вносили в машины на носилках, и, как у тяжело раненных в голову, лица их были тщательно забинтованы.

В таком же виде доставляли сюда тех, кого Гиммлер считал необходимым допросить лично. Такие люди, как правило, не возвращались обратно: при Хоенлихене имелось кладбище, как и при некоторых других госпиталях.

В этом «госпитале» никого не подвергали грубым истязаниям: в отлично оборудованном хирургическом кабинете производились разнообразнейшие операции, но без применения каких-либо средств анестезии.

Вызывали на откровенность посредством электродов, которыми прикасались к трепанированным участкам мозга или освобожденным от мышечных тканей сплетениям нервных узлов.

Эсэсовцы не в мундирах, а в больничных пижамах исправно несли здесь свою службу.

Еще в предыдущие визиты к Гиммлеру графу Бернадотту удалось добиться свободы для ряда лиц скандинавского происхождения. Из концентрационных лагерей их вывозили по ночам на автомашинах шведского Красного Креста под надзором людей Шелленберга. Граф дал обязательство сообщить об этом Эйзенхауэру, когда будет передавать ему условия Гиммлера, на которых желательно было бы заключить сепаратный мир с США.

Встречаясь в эти же дни с Риббентропом и Кальтенбруннером, граф и с их стороны выслушивал ту же просьбу — посредничать между ними и Эйзенхауэром. Он знал о том, что некоторые круги союзников делают ставку на Гиммлера. И сам держался подобной точки зрения. Он был глубоко разочарован, когда Кальтенбруннер вдруг воспрепятствовал дальнейшему вывозу пленных шведов на родину.

Граф, будучи дипломатом, понимал, что Кальтенбруннер сделал это, желая повредить Гиммлеру — помешать ему разыгрывать перед западными державами роль гуманиста. Понимал он также, что Кальтенбруннер и сам был не прочь играть перед ними подобную роль. Но факт этот свидетельствовал о том, что Гиммлер не настолько еще всемогущ, чтобы выступить открыто против своих соперников, и тем более против Гитлера.

Граф давно подозревал Гиммлера в нерешительности, слабодушии. И теперь ему оставалось только одно: удивляться, как этот человек с конституцией слизняка мог исполнять обязанности главного палача в Третьей империи.

Кроме того, до сведения графа было доведено, что советским кругам стали известны переговоры гитлеровцев с агентами союзников, ведущиеся через шведских посредников. Его имя деликатно не упоминалось, но граф и без этого понял, как детально информированы о его деятельности советские

круги. Все это явилось результатом тонкой работы советской разведки. Очевидно, разведчик проник в главную цитадель германской секретной службы.

Зная непреклонную позицию Советского Союза, его стратегическую и политическую мощь и понимая, какова будет роль Страны Советов при решении послевоенных проблем Германии, граф отдавал себе отчет в том, что любые попытки выдвигать теперь кандидатуру Гиммлера на пост главы нового германского правительства безнадежны и в будущем могут принести ему только вред.

Был момент, когда Гиммлер мог возглавить правительство: лидеры заговора «20 июля» шли на то, чтобы Гиммлер стал главой Германии. Зная о заговоре, рейхсфюрер попустительствовал заговорщикам, его служба безопасности до поры бездействовала. Но он был робок и нерешителен. Вместо того чтобы самому руководить организацией убийства Гитлера, Гиммлер ожидал, когда это сделает однорукий, одноглазый человек, отдавший себя в жертву подвигу отчаяния. А ведь Гиммлер мог, если бы он действовал наверняка, казнить потом убийцу и главных заговорщиков и по их трупам взойти на престол фюрера, как его верный восприемник.

Сейчас, в конце войны, ненависть к фашизму объединила народы мира, и трудно будет убедить общественное мнение в том, что роль посредника между германскими фашистами и западными державами относится к сфере тонкой дипломатии, и только. Бернадотт в душе сознавал, что деятельность его выглядит как попытка помочь убийце спрятать улики, как советы убийце свершить какое-нибудь мелкое доброе дело, — например, выпустить из клетки птичку в доме, где он зарезал людей.

Все это вызывало чувство досады у графа. И он был весьма дурно настроен, когда Гиммлер и Шелленберг, извиняясь за несколько минут опоздания, вошли к нему в коттедж.

Шелленберг с первой же минуты не без тревоги заметил, что в поведении графа появилось нечто новое. Если раньше, при прежних встречах, он всегда был деловито озабочен, целеустремленно спешил перейти от светской болтовни, неизбежной в начале серьезного разговора, к существу дела, то теперь он вдруг заговорил об окрестностях Хоенлихена, заинтересовавшись его охотничьими угодьями, и обнаружил при этом тонкие познания в охотничьем искусстве.

Стремясь понять, какими тайными причинами вызвано такое отклонение от обычного поведения, Шелленберг решил поддержать разговор на эту тему и понаблюдать за графом. Но Гиммлер, сам будучи изощренным притворщиком, не умел угадывать этот дар в других. Усевшись рядом, он воспользовался короткой паузой и сразу перешел к делу.

Начал он торжественно, будто готовился сообщить графу величайшую политическую тайну.

— Мы, немцы, — заговорил он глухим голосом, — должны объявить себя побежденными перед западными державами.

Гиммлер выдержал паузу, ожидая, какое впечатление это ошеломляющее признание произведет на графа. Бернадотт, склонившись, рассматривал ногти у себя на руках так внимательно, будто увидел их впервые, потом вынул из жилетного кармана замшевую подушечку и стал орудовать ею.

Гиммлер сказал несколько растерянно:

— Это то, что я прошу вас передать через шведское правительство генералу Эйзенхауэру, для того чтобы избежать дальнейшей бессмысленной борьбы и кровопролития.

Граф поднял голову, спросил участливо:

— Кажется, сейчас потери германской армии на Восточном фронте достигают в отдельные дни свыше ста тысяч? — Сказал без всякого выражения на лице: — Это ужасно.

Гиммлер пробормотал:

— Перед русскими нам, немцам, и прежде всего мне, невозможно капитулировать.

— Это понятно, — сказал граф.

Словно получив одобрение, Гиммлер с горячностью заявил.

— Там мы будем продолжать бороться, пока фронт западных держав не сменит сражающийся немецкий фронт.

— Ну да, конечно, — согласился граф и тут же заметил: — Но, по имеющимся у меня сведениям, американские и английские военачальники не располагают дивизиями, подобными эсэсовским. Кроме того, им понадобится время, чтобы договориться со своими солдатами, которые до сих пор были убеждены, что они союзники русских. — Спросил неожиданно: — Как здоровье фюрера?

Гиммлер сказал мрачно:

— Я не имею права сообщать это для дальнейшей передачи. Но вам лично скажу, что при теперешнем развитии событий это вопрос двух, самое большее — трех дней. Гитлер расстанется с жизнью в этой драматической борьбе. — Добавил печально: — Утешением может служить то, что он падет в борьбе с большевизмом — с тем злом, предотвращению которого он посвятил всю свою жизнь.

— Вы точно знаете день, когда падет в этой борьбе фюрер? — задал вопрос граф.

Гиммлер смутился.

— Я, собственно, руководствуюсь соображениями, которые высказывали лечащие фюрера врачи.

— Ах, врачи! — только и сказал граф.

Шелленбергу пришлось вмешаться, чтобы направить разговор по более определенному руслу: ведь главная цель сегодняшнего свидания — это организация встречи Гиммлера с Эйзенхауэром. В результате граф согласился на то, чтобы

Гиммлер написал письмо Гюнтеру с изложением своей просьбы в надежде, что его превосходительство поддержит его. Ссылаясь на неотложные дела, Гиммлер простился и ушел, а Шелленберг под каким-то предлогом задержался еще на несколько минут. Он сделал это, чтобы еще раз настойчиво повторить просьбу Гиммлера к Бернадотту: немедленно лететь к Эйзенхауэру и добиться для Гиммлера свидания с ним.

Граф дружески взял под руку Шелленберга, к которому испытывал всегда особое расположение, считая его умным и смелым пройдохой. Окажись Шелленберг на месте Гиммлера, он действовал бы куда более решительно и день смерти Гитлера определил бы, не советуясь для этого с его личными врачами.

Мягко шагая по темной аллее, граф сказал:

— Рейхсфюрер не отдаст себе отчета в истинном положении дел. — Вздохнул: — Я в данный момент ничем не могу помочь ему. — Добавил после паузы: — Я мог это сделать после первого посещения, если бы он тогда полностью принял на себя руководство делами рейха. Теперь, по моему мнению, у него нет никаких шансов. — Любезно улыбнулся, посоветовал: — А вы, мой милый Шелленберг, поступили бы умнее, заботясь о самом себе.

Когда Шелленберг вернулся к Гиммлеру, тот, воодушевленный беседой с графом, стал говорить о том, какие шаги он предпримет в первую очередь, когда станет фюрером. И тут же сказал, озабоченно наморщив лоб, что придется как-нибудь иначе назвать партию. «Национал-социалистская» — от этого названия западные державы потребуют отказаться.

— «Национальная партия объединения». Как вы находите? — предложил Шелленберг.

— Отлично! — воскликнул рейхсфюрер и похвалил: — Вы удивительно быстро соображаете, Вальтер!

Потом Гиммлер стал жаловаться на Кальтенбруннера: тот вмешивается в его распоряжения и отменяет его приказы, связанные с освобождением небольших групп заключенных. А ведь это необходимо в связи с обязательствами, принятыми во время переговоров с Мюзи и Бернадоттом. Сказал досадливо:

— Я понимаю, для фюрера все эти заключенные и иностранные рабочие — заложники. До последней минуты он может угрожать западным державам, что прикажет произвести побоище в лагерях. Но я тоже имею право создать себе некоторую гарантию перед Западом путем угрозы уничтожения всех лагерей со всем их содержимым.

Гиммлер дал приказание Шелленбергу создать секретную группу из особо надежных лиц его службы.

С одной стороны, группе этой поручалось воспрепятствовать полному уничтожению заключенных в лагерях, когда такой приказ последует от Гитлера или Кальтенбруннера. С

другой стороны, составлявшие эту группу люди должны быть готовы выполнить подобный же приказ, если он будет исходить от Гиммлера.

...Случилось так, что сопровождать сына Лазара в один из концентрационных лагерей было приказано Вайсу.

Целью поездки являлась проверка того, как выполняется приказ Гиммлера об освобождении тех заключенных, чьи имена были указаны в списке.

Вайс несколько своеобразно выполнил поручение Шелленберга. Сначала он, пользуясь своим мощным документом, минуя комендатуру, провел молодого человека по лагерю и обстоятельно ознакомил его с постановкой дела. Он показал ему все, вплоть до помещения, примыкающего к входу в крематорий, где в стены были вбиты крюки для повешения и на полу лежали деревянные молоты для тех случаев, когда все виселицы были заняты. И только после этого провел его в комендатуру.

Получив уведомление о том, что лагерь посетит представитель международного Красного Креста, начальник лагеря держался со спутником Вайса подчеркнуто почтительно.

И когда молодой человек потребовал, чтобы ему показали заключенных, имена которых обозначены в списке, комендант сказал любезно:

— Но, к сожалению, все они в картонных коробках, урнами мы не располагаем. Очевидно, их так потрясло счастье о близком освобождении, — он сообщнически улыбнулся Вайсу, — что все они скончались скорострельно от сердечных спазм. Наши врачи пытались спасти их, но медицина оказалась бессильной.

Вайс раскрыл свой документ перед ухмыляющимся лицом начальника лагеря. Сказал:

— Вы ответите за это собственной головой. По чьему приказу вы действовали?

— Вот, — начальник лагеря вынул из кармана бумагу и протянул Вайсу. Внизу стояла подпись Кальтенбруннера.

На обратном пути спутник Вайса не сел с ним рядом. Он устроился на заднем сиденье, и Вайс видел в зеркале его бледное, ненавидящее лицо. Вайс свернул на боковую грунтовую дорогу и остановил машину в чаще деревьев.

— Что случилось? — тревожно спросил юноша.

Вайс повернулся к нему, спросил:

— Вы все поняли?

— Что вы имеете в виду?

— Если вы все поняли и не сумеете скрыть своих чувств, с вами может произойти то же, что и с теми... Возможно, средством для этого послужит автомобильная катастрофа.

— Вы меня не пугайте! — И юноша ожесточенно, с отчаянной решимостью стал обвинять Вайса в убийстве несчастных узников. Да-да, он соучастник этого убийства!

Вайс слушал не прерывая.

— Вы смелый человек, — сказал он, когда поток проклятий истощился. — Мне это в вас нравится. Вы никогда не забудете то, что видели сегодня?

— Во веки веков! — воскликнул юноша и тут же опомнился и с изумлением посмотрел на Вайса.

— Ну что ж. Аминь. Поехали дальше. Только, пожалуйста, не вздумайте стрелять мне в затылок. По вашему лицу я чувствую, что вам очень хотелось бы это сделать.

Доставив своего спутника в Хоемлихен, Вайс доложил Шелленбергу о результатах поездки.

Шелленберг был вне себя.

Вайс сказал:

— Прошу прощения, мой бригаденфюрер, но мне кажется — здесь была допущена не просто оплошность.

— А что именно?

— Мне думается, что тот, кто дал указание, хотел этим повредить нашему рейхсфюреру.

Шелленберг долго, пытливо смотрел в приветливо-спокойное лицо Вайса. Потом приказал:

— Подберите себе двух человек, абсолютно надежных и готовых на все. — Добавил: — На это вам дается три... нет, один день. И ждите дальнейших распоряжений.

— Слушаюсь, мой бригаденфюрер, — слегка сдвинул каблуки Вайс, не считая необходимым особо щеголять выправкой, наступило время, когда этого от него уже не требовалось.

69

Вайс посетил салон массажа.

Здесь все шло так, будто не было никакой войны. Вымуштрованный персонал, как всегда, отменно любезен и услужлив. Тишина, покой, стерильная чистота кабин и халатов. После процедур профессор пригласил Вайса к себе для «медицинского осмотра».

Штутгоф похудел, осунулся, лицо его выглядело еще более изможденным и усталым.

Вайс доложил обо всем, что ему удалось в эти дни узнать.

Профессор молча слушал, делал по временам отметки в крохотном блокноте. Спросил:

— Это все?

— Только самое существенное.

Профессор сказал:

— Гитлеровцы единодушны в своем намерении уничтожить концлагеря и заключенных в них людей, уничтожить, как улику, как свидетелей обвинения. Такова обычная тактика преступников. Кроме того, Гитлер рассчитывает, что это

величайшее злодеяние вынудит нацистов, боящихся возмездия, укрыться в подполье и продолжать борьбу. Что касается попыток некоторых властителей рейха сотнями или даже тысячами освобожденных откупиться сейчас за убийство миллионов, то это сплошное мошенничество. Но воспользоваться им надо, чтобы освободить большее число заключенных, чем намечено в списках. Главная наша задача теперь — предотвратить массовое уничтожение людей. И это — указание Центра. Могу сообщить, — он чуть-чуть улыбнулся, — ваши данные о секретных базах террористических подпольных фашистских организаций изучены в Центре, проверены. И, соответственно этим данным, оперативные группы нашей контрразведки брошены в указанные районы. Советской Армии, таким образом, обеспечена безопасность в тыловых районах. — Усмехнулся. — Кстати, массажист Гиммлера получает у меня консультацию по чисто медицинским вопросам. Он доверительно поведал мне, что слышал разговор Шелленберга с Мюзи по телефону. Шелленберг говорил Мюзи, что он лично несколько раз оказывал услуги еврейским семьям, а также вступившим в смешанный брак. Он уверял даже, что числится «неблагонадежным» с точки зрения партийной иерархии и обладает властью только в государственном аппарате. Фашисты пытаются отречься от фашизма в надежде уцелеть. Они будут предавать друг друга и готовы отдать все за спасительную фальшивку своей якобы «неблагонадежности» — учтите.

В дверь постучали.

— Прошу, — сказал доктор.

В комнату вошла девушка в форме вспомогательного женского подразделения службы наблюдения воздушной обороны. Статная, миниатюрная, с неприятным, высокомерным выражением кукольно-холодного, надменного лица.

— Это моя Надюша! — сказал доктор по-русски и, кивнув на Вайса, предложил ей: — Знакомься!

Вздернутые плечи девушки как-то сразу опустились, лицо преобразилось, будто мгновенно сменили его на другое — застенчивое, милое и немного растерянное.

— Это вы! — воскликнула она и, краснея, протянула руку Вайсу. — А я вхожу, вижу — фриц. — Сказала, жадно глядясь на Вайса: — Вот вы, значит, какой!

Вайс смутился, отвел взгляд.

— Ну, вы там, молодежь, хватит! — почему-то рассердился профессор и потребовал от дочери: — Докладывай.

Девушка села на стул так, чтобы можно было смотреть и на Иоганна и на отца. Заговорила, глядя смеющимися глазами на Вайса, но таким сухим и строгим тоном, что казалось, эти слова произносит другой человек.

— Операция под кодовым обозначением «Вольке» планирует бомбардировку немецкой территории подразделениями германского воздушного флота. Бомбардировщики будут за-

маскированы под авиацию союзников. База этих подразделений отмечена на карте. Объекты налета пока еще неизвестны. Есть предположение, что это концентрационные лагеря, так как план операции утвержден Гиммлером и Кальтенбруннером.

— Вот видите, — сказал профессор, — Кальтенбруннер препятствует Гиммлеру освободить из концлагеря несколько сот человек, Гиммлер мешает сделать то же самое Кальтенбруннеру, — грызутся, чтобы ни один из них не получил лишнего шанса перед союзниками. И оба при этом единодушно разрабатывали акции массового уничтожения сотен тысяч. — Склонился, потер колено, поморщился. Объявил, строго глядя на Вайса: — Ваша задача — выявить, какие именно лагеря намечены для уничтожения с воздуха. Второе — я не возражаю против того, чтобы включить вас в боевую группу, которая должна будет на месте воспрепятствовать этому. — Встал. — Всё!

Вайс смотрел на девушку и нерешительно улыбался.

— Всё! — повторил профессор.

Девушка попросила:

— Можно, я провожу товарища?

— Вот еще! — рассердился Штутгоф. — Не маленький, сам знает дорогу.

— Ну, папа! — умоляюще воскликнула девушка.

— Я сказал — нет. И вообще — нечего...

— Что нечего? — упрямо переспросила девушка. — А вдруг нам по пути?

— Знаете, — сказал профессор, подталкивая Вайса к двери, — проваливайте! — Оглянулся на дочь. Произнес жалобно: — Ты же в опергруппе, потерпите — на базе встретитесь...

То ли от ослепительной чистоты голубого дня, то ли от мимолетного ласкового взгляда советской девушки, то ли просто потому, что к нему вдруг пришло необъяснимое чувство радости бытия, но Вайс почувствовал, что его больше не мучает чувство одиночества.

Он ощутил себя частицей огромного мира, созданного человеком для человека, и в этом удивительном, светлом состоянии духа пришел к Генриху.

Генрих был мрачен. Он швырнул Вайсу несколько листов бумаги, на которых было что-то напечатано.

— Прочти! Из личной канцелярии Вилли Шварцкопфа. Иоганн сел к столу и стал читать.

«Административно-хозяйственное управление СС

Секретно

Рейхсфюреру СС.

Рейхсфюрер! Золотые зубы умерших заключенных по вашему приказу сдаются санитарному управлению. Там это золото используется при изготовлении зубных протезов для наших лю-

дей. Оберфюрер СС располагает уже запасом золота свыше 50 килограммов; этого хватит для покрытия предполагаемой потребности в благородных металлах на ближайшие пять лет.

Как по соображениям безопасности, так и в интересах должного использования, я не считаю целесообразным накапливать большее количество золота для этой цели.

Прошу разрешения в дальнейшем весь лом золотых зубов умерших заключенных направлять в рейхсбанк.

Хайль Гитлер!

Исполняющий обязанности Франк, бригаденфюрер СС и генерал-майор войск СС».

Другая бумага гласила:

«Список поношенных изделий из текстиля, вывезенных по распоряжению главного административно-хозяйственного управления СС из лагерей Освенцим и Люблин:

старая мужская одежда	92000 комплектов
	26000 »
	3900 »
	Всего 34 вагона
тряпье	400 вагонов
перины и подушки	130 вагонов
женские волосы	1 вагон

Копия верна: *Гауптштурмфюрер СС».*

Глядя на Вайса, Генрих воскликнул:

— И дальше все такие же! Иоганн, я больше не могу. Я убью его.

— Если ты это сделаешь, — сказал сухо Вайс, — ты окажешься виновником гибели сотен, тысяч людей. Твой дядя для нас сейчас источник тех сведений, при помощи которых мы сможем спасти сотни тысяч... Подожди, — остановил он Генриха, — сейчас все станет ясным. Скажи, поступали к Вилли приказы о списании с довольствия каких-нибудь лагерей?

— Да, недавно, кажется, в Дахау, в Линдсберге, Мюльдорфе и еще где-то.

— Установи точно! Дело в том, что сейчас готовится операция по уничтожению заключенных. Те лагеря, что назначены на первую очередь, соответственно снимаются с довольствия. Понял?

— Да.

— Сегодня сможешь узнать, примерно к вечеру?

— Да.

— Ну вот и все.

— Подожди, — попросил Генрих. — Но ведь это не «все». Как ты любишь это слово «все»! Надо сделать еще что-то главное, чтобы спасти людей.

— Это возлагается на боевые группы.

— А я?

— Что — ты? Ты делаешь огромное дело.

— Нет, — возразил Генрих. — Нет. Я тоже должен быть там, где ты. Обещаешь?

— Ладно, — сказал Вайс. — Это мы еще обсудим.

Зубова Вайс в первый момент даже не узнал: по улице к месту свидания шел сутулый человек, плохо побритый, с почерневшим лицом, на котором острыми выступами обозначались скулы.

Выслушав Вайса, Зубов оживился.

— Люди? Есть! И четыре немца — тоже из лагерников. — Добавил несколько виновато: — В свободное от работы время выходил с ними на операции. Народ в боевом отношении грамотный.

— Оружием обеспечены?

— Еще как! Можем продать излишки.

— Так вот, с этого момента, — сказал Иоганн, — чтоб тише воды... Только быть в готовности номер один.

— Ясно! — сказал Зубов.

Вайс положил руку на его плечо.

— Ты, старик, держись.

— Трудно мне, — пожаловался Зубов. — Если б хоть жить не в ее доме. Кажется, всюду ее вижу... Ноет, как зуб. — Попросил: — Может, можно съехать, а?

— Нельзя, — сказал Вайс.

— Значит, терпеть?

— Да, — сказал Вайс.

Очевидно убедившись после разговора с Бернадоттом в полной безнадежности всех попыток произвести Гиммлера в сан нового фюрера, Шелленберг не придавал уже никакого значения «особой группе», в которую входил и Вайс. И хотя эта группа отлично справилась с задачей тайной эвакуации лиц, освобожденных из лагеря по спискам Бернадотта и Мюзи, ее сейчас включили в состав другой группы СС, занятой всецело разработкой планов и техники истребления заключенных, а также иностранных рабочих на секретных объектах.

Работая в этой общей, расширенной группе, Вайс сумел ознакомиться со списком уполномоченных СД, которые направлялись в лагерь для общего руководства операцией. Сократить число лиц, благополучно прибывших к месту назначения, должны были боевики.

Кроме того, используя бланки, образцы печатей, подписей, различные секретные грифы, добытые Вайсом, удалось изготовить приказы, отменяющие «эвакуацию лагеря» на известный срок или впредь до особого распоряжения. Эти приказы доставляли в лагерь «курьеры» из числа боевиков-немцев или таких, которые в совершенстве знают немецкий язык. Обычно подобные приказы привозили офицеры СС или чины гестапо. Значит, прибыв в лагерь, боевики не могли его сра-

ву покинуть, как это положено рядовым. Чтобы не вызвать подозрения, им приходилось пользоваться некоторое время гостеприимством лагерной администрации. Но каждый час пребывания в лагере угрожал смертью.

Двенадцать уполномоченных СД должны были вылететь через три дня в районы Западной Германии и руководить там уничтожением лагерей.

Штутгоф, получив эту информацию от Вайса, сказал ему через день, что союзники предупреждены и их истребительная авиация будет в воздухе. Но если германскому транспортному самолету с уполномоченными СС все же удастся благополучно совершить посадку, предотвратить с земли дальнейшее будет невозможно.

Сразу же после вторжения союзников на Западе специальные отряды «командос» начинают охотиться за научно-исследовательскими материалами, за самими исследователями, патентами и технической документацией. Других указаний они не имеют. Эта охота за документами и людьми носит наименование «Пеипер-Клипс». И хотя среди «командос» есть группы, которые, без сомнения, могли бы предотвратить бойню в концлагерях, приказа на это им не дадут. Как быть?

Вайс сказал:

— В состав пассажиров секретного рейса мы никого включить не можем: список подписан Гиммлером и Кальтенбруннером. Но экипаж формируется только в день вылета, и люди не знают друг друга.

Можно сделать следующее: я приеду на аэродром к дежурному гестапо и вместе с ним займусь проверкой экипажа. К одному из его членов я вызову подозрение и сниму его с полета. Если понадобится, соединю дежурного с Дитрихом — тот скажет то, что я ему скажу.

Времени будет в обрез, дежурный начнет волноваться, и если в это время поблизости окажется наш человек, специально подготовленный, я проверю у него документы, которые не встретят с моей стороны возражений. Члены экипажа имеют парашюты. Он сможет открыть люк и выпрыгнуть, после того как установит мину. Другого пути не вижу.

— Но этот человек должен быть летчиком, иначе он сразу разоблачит себя.

— Да, конечно, я ведь и говорю: специально подготовленный.

— Но у нас таких нет.

— Может, в группе Зубова?

Когда Вайс обратился к Зубову с этим вопросом, тот радостно заявил:

— Я же в осоавиахимовской школе учился, ходил уже самостоятельно в воздух, без инструктора, через час — и был пилот.

— И этого часа не хватило?

Зубов сконфузился.

— Да, понимаешь, пришили воздушное хулиганство за преждевременное чкаловское пилотирование. Словом, за бредущий рядом с поездом пострадал. — Ухмыльнулся хвастливо: — Пассажирам понравилось: платками из окон махали, я одним глазом наблюдал.

— Слушай, — сказал Вайс, — этот полет, ты понимаешь...

— Здравсте! — прервал его Зубов. — Я же бессмертный. К тому же у меня свыше двадцати прыжков с парашютом, это моя главная гарантия. Не беспокойся, великолепно выживу.

Документы для Зубова достала Надя. Передавая их Вайсу, она сказала:

— Только нужна другая фотография. — Добавила: — А так документы очень хорошие. — Попросила: — Но, если можно, верните сегодня же: я должна положить их обратно.

— А если не удастся?

Надя подняла на Вайса глаза, сказала тихо:

— Папе это было бы особенно тяжело, после того как мы уже потеряли маму.

Узнав о том, что операция поручена Зубову, профессор недовольно поморщился.

— Я не сомневаюсь в авиационных способностях товарища Зубова, но хулиганить на «У-2» — это одно, а водить большой транспортный самолет — другое. — Добавил: — Я решительно против.

— А если бортмехаником?

— Он же незнаком с конструкцией немецкой машины. Завалится!

— Слушайте, — сказал Вайс. — Бортстрелок!

— Это, пожалуй, подойдет.

И профессор закончил уже совсем другим тоном:

— Самое замечательное — это то, что он имеет опыт парашютных прыжков. Посылать другого — значило бы на верную гибель.

Все получилось гораздо проще, чем ожидал Вайс.

Вызвав к дежурному гестапо членов экипажа для дополнительной проверки, установив по армейским книжкам, кто из них бортстрелок, Вайс подозрительно глянул на этого человека и с величайшим напряжением удержал на лице озлобленно-обыскивающее выражение.

Низкорослый, коренастый малый, на которого он смотрел, подойдя вплотную,дохнул на него запахом такого водочного перегара, что Вайс испытал чувство восторга.

— Свинья! — закричал Вайс. — Сзинья и трус! Нахлестался перед вылетом. — И, обращаясь к дежурному гестапо, сказал: — Это преступная небрежность с вашей стороны. —

Приказав членам экипажа удалиться, спросил: — Что вы намерены делать?

— Я сейчас вызову другого человека.

— Сколько на это потребуется времени?

— Двадцать минут, не больше.

— Самолет должен вылететь через двенадцать минут: его будут сопровождать истребители, они уже, наверное, в воздухе. Вы сорвали задание чрезвычайной государственной важности.

Дежурный стоял вытянувшись, бледный, губы его высохли, он их облизывал.

Вошел Зубов в авиационной форме, с рюкзаком. Отдал приветствие. Вайс набросился на него:

— Почему без сопровождающего? Документы! — Посмотрел, сунул дежурному, сказал небрежно: — Вам чертовски везет. — Подмигнул ему. — Подозреваю, что я напрасно вас упрекал: очевидно, вы оказались более предусмотрительным, и этот ваш человек явился не через двадцать минут, а мгновенно. — Похлопал дежурного по плечу: — Умеете работать, а?

Дежурный мельком взглянул на документы, приказал Зубову:

— Марш в машину!

Зубов сказал:

— Но, господин унтерштурмфюрер, у меня назначение на другой рейс.

— Марш, не разговаривать!

Зубов ушел. Ушел, положив документы в карман.

А если документы не будут сегодня же возвращены Наде, Штутгоф, потерявший здесь жену, завтра, а может, уже сегодня ночью потеряет и дочь.

Вайс предложил дежурному пройти с ним к самолету. Дежурный записывал в книгу, что снят с полета бортстрелок и заменен другим.

Пассажиры уже находились в кабине. Зубов не показывался. Гестаповец поглядывал на часы, его попросили подняться в самолет.

Вайс остался один и уже готов был последовать за дежурным, чтобы разыскать Зубова, но Зубов появился у дверцы, держа ранец-парашют. Он бросил его на взлетную площадку и успел передать Иоганну свои документы.

Вайс был необыкновенно счастлив и обрадован тем, что документы Зубова у него в руках. Он удивился, но вначале не придавал особого значения факту, что Зубов выбросил парашют и что за этим парашютом последовало еще три других.

Как только гестаповец спустился из самолета по лесенке, лесенка была убрана, люк туго и гулко захлопнулся, и машина, гудя прозрачными нимбами пропеллеров, покатилась

но взлетной полосе, все больше и больше набирая скорость. Оторвавшись от земли, транспортник круто стал набирать высоту.

Возвращаясь вместе с гестаповцем с аэродрома, Вайс спросил:

— Почему выбросили из самолета парашюты? Что они, лишние?

— Нет, — сказал гестаповец, — не лишние. Просто старший группы — штандартенфюрер — очень взволновался, когда узнал, что один из членов экипажа снят с полета как не заслуживающий доверия. И потребовал, чтобы у всех членов экипажа отобрали парашюты. Он считает, так больше гарантии, что летчики не бросят самолет, если машину подобют вражеские истребители. Они будут до последней минуты стараться спасти машину, а значит, и пассажиров. — Одобрил: — Что ж, в этом есть логика. Мне оставалось только выхолнить его категорическое приказание.

Вайс смотрел в пустое небо, гигантское, как бездна. Он испытывал непреодолимое отчаяние, пустоту, будто утратил сейчас свою собственную жизнь. И все вокруг казалось ему мертвым.

70

В штабе группы Вайсу сообщили, что его желание удовлетворено и он может сегодня же выехать на авиационную базу для проверки, насколько личный состав ее и материальная часть подготовлены к выполнению специального задания под кодовым обозначением «Вольке».

Он пришел к профессору, вернул ему документы, сообщил о том, что отбывает, и о том, что Зубов при выполнении задания теперь не сможет воспользоваться парашютом.

Профессор, прикрыв рукой документы, возвращенные ему Вайсом, будто боясь расстаться с ними хотя бы на минуту, сказал:

— Вот до того момента, пока вы не пришли, я все время думал, переживу я или не переживу, если погибнет Наденька. И знаете, понял, что не переживу. Вот так вот. А теперь — Зубов. Тяжело, верно. В нашем деле самое, пожалуй, легкое, когда ты решаешь собственную судьбу, а не судьбу другого. — Посмотрел твердо в глаза Иоганну. — Свою дочь, как опытную радистку, я включил в состав группы, которая будет вам придана. Вы должны иметь постоянную оперативную связь с Центром. — Разложил карту. — В районе, находящемся в зоне авиационного воздействия базы, находится несколько крупных концентрационных лагерей. Но вот что нам следует с вами продумать. Вот здесь вот, — Штутгоф показал на карте, — подземный концентрационный лагерь, где производятся «Фау-один» и «Фау-два». Заключенные ни-

когда не выходят из штольни. Там работают, там умирают, только их трупы вывозят и кремируют в наземных лагерях. Обе основные подземные шахты тянутся почти на полтора километра под землей и связаны между собой сорока восемью туннелями. Ствол входа и выхода один, остальные заделаны и забетонированы.

Понятно, что этот подземный лагерь, где находится свыше двенадцати тысяч заключенных, не может быть уничтожен с воздуха. Но, по данным, полученным вами от Генриха, весь лагерь снимается со снабжения через шесть дней, исключая сегодняшней. Значит, предполагается, что через шесть дней он должен быть уничтожен.

Главная ваша задача, — выяснить, каким способом предполагается уничтожить лагерь, и предотвратить его уничтожение. — Сказал грустно: — Приданная вам группа не столь многочисленна, как хотелось бы, но я не в силах увеличить ее. Вы сами знаете, не только Зубов, но и многие другие товарищи выполняют сейчас труднейшие задания. — Он вздохнул и добавил: — Я надеюсь, вы выполните приказ Центра успешно.

Вайс был неприятно удивлен тем, что в командировку на авиационную базу он едет не один, а с Дитрихом.

Дитрих сказал, потирая руки:

— Вы знаете, я очень энергично настаивал, чтобы это задание было поручено и мне. — Объяснил, плутовато улыбаясь: — Операция совершенно секретная, приказ подписан Гиммлером и Кальтенбруннером. Мы с вами никакого отношения не имеем к ее прямому исполнению, на нас возложена только функция контроля подготовки и так далее. Но это знак особого доверия. И я уверен, что потом никто не посмеет совать меня в эту опасную возню с организацией нашего подполья. Я надеюсь, что меня незамедлительно переправят на Запад — куда-нибудь в Швейцарию, например, где я буду свято хранить тайну этой операции, при соответствующем обеспечении всех необходимых для меня жизненных удобств, разумеется.

— Спешите удрать? — спросил Вайс.

— Это же необходимо в интересах высших лиц, подписавших приказ, который, как говорят дипломаты, не для печати. Хотя, пожалуй, напротив — Геббельс будет визжать с газетных страниц о злодейском налете авиации союзников на концентрационные лагеря. Мы с вами, как свидетели этого ужасного налета, сможем подтвердить его слова.

— Значит, хотите жить? — спросил Вайс.

— И еще как, — улыбнулся Дитрих, — с комфортом.

Полковник Вальтер, командир особой авиационной части, кавалер рыцарского железного креста, летчик еще времен пер-

вой мировой войны, сухонький, седой, низкорослый, но с величественным, надменным лицом, вскрыл секретный пакет. Прочитав приказ и приложенную к нему инструкцию, он взглянул на Вайса и Дитриха так брезгливо, будто у этих офицеров СД были не застегнуты ширинки, и сказал, что просит дать ему час на размышление, после чего он готов будет снова принять господ офицеров.

Дитрих положился во всем на Вайса, а сам отправился завтракать в компании с молодыми летчиками.

Полковник, несмотря на свою явную неприязнь, вынужден был обсуждать с Вайсом подробности операции.

— Горючее? — сказал полковник. — Большевики наступают, через неделю они могут быть здесь. — Он топнул маленькой ступней, обутой в лакированный старомодный, остроносый ботинок. — У нас горючего на сегодня ровно столько, чтобы сняться отсюда.

— Но к вам должно поступить горючее!

— Завтра ночью, если бензовозы благополучно придут.

— А почему они могут не прибыть?

— Русские разбомбили мосты.

— Но имеются понтонные переправы.

— Да, если успеют их навести.

— В каком пункте? — спросил Вайс.

Полковник показал на карте. Потом сказал:

— Я полагал, что мой долг — вывезти на самолетах всех людей, и поэтому самолеты не загружены бомбовым комплектом. Надо посылать машины на склад, — для этого понадобится время.

— Естественно, — согласился Вайс.

— И еще, — сердито сказал полковник, — помимо всего — вот приказ Кальтенбруннера: на меня возлагается обязанность сбросить на парашютах контейнеры с отравляющими веществами для использования их лагерными подразделениями СС на случай, если какая-то часть заключенных уцелеет после бомбардировки.

— Очень предусмотрительно, — заметил Вайс.

— Слушайте, — гневно сказал полковник. — Я ас первой мировой войны. Мое имя известно во Франции и Англии. На моем счету двадцать восемь авиационных поединков, которые я провел с честью.

— Ну и что же? — спросил Вайс.

— Я солдат, — сказал полковник. — Солдат. И у меня есть свои воинские убеждения и принципы. А вы гестаповец...

— Я офицер СД.

— Не вижу существенного различия.

— Короче говоря, вы хотите сказать, что вам не слишком нравится это боевое задание?

— Оно не боевое, не воинское.

— А какое же?

— Вы сами отлично знаете какое.

— Вы просто боитесь. Боитесь, что впоследствии вас будут рассматривать не как военнопленного офицера, а как военного преступника.

— Да, — сказал полковник, — я не боюсь погибнуть, быть даже расстрелянным большевиками. Но не повешенным, как...

— Как кто? — спросил Вайс.

— Как вас, например, могут повесить.

— Вы хотите уклониться от задания?

— Я солдат и подчиняюсь приказу.

— Но приказы не обсуждают.

— С подчиненными — да. А вы не мой подчиненный. Вайс посмотрел прямо в глаза полковнику.

— Я вам признателен за то, что вы столь честно и откровенно высказали мне свое мнение.

— И вы этим воспользуетесь в соответствии с родом и духом своей службы?

— Нет, — сказал Вайс. — Просто вы меня заставили тоже кое о чем задуматься.

После этого разговора Вайс еще побывал у полковника, но беседовал с ним о чем угодно, только не о ходе подготовки к операции. Точно так же вел себя и полковник.

Через связного Вайс сообщил группе о времени, когда должны прийти цистерны с горючим, и указал на карте, где находятся понтонный мост, и бомбовый склад, и дорога от склада к аэродрому.

Вайс осмотрел два блиндажа, служившие теперь хранилищем для отравляющих веществ, — кроме баллонов с газами здесь лежали ящики с ядами в ампулах и в коробках. Во время одного из осмотров ему удалось сунуть между ящиками термитную пашку с химическим запалом замедленного действия, изготовленную в виде пластмассового портсигара.

Через день весь личный состав в противогазах боролся с пожаром в блиндаже. После этого понадобились еще сутки для того, чтобы люди могли вернуться в расположение аэродрома, не подвергая себя опасности отравления. Почти на два километра вокруг листа на деревьях пожелтела и пожухла.

А еще через день полковник вызвал к себе Вайса и сообщил ему, что понтонный мост взорван и бомбовозы не смогут переправиться, пока не наведут переправу; кроме того, транспорт машин с бомбами, следующий от склада к аэродрому, был обстрелян. Машины приведены в негодность, часть их взорвалась вместе с грузом.

Разведя руками, он сказал тоном фальшивого сожаления:

— Таким образом, я бессилён выполнить приказ в указанные сроки.

Дитрих был в бешенстве. Он пытался наладить переговоры с Берлином.

Связной передал Вайсу, чтоб в эту ночь он покинул аэродром. Но Вайс не смог этого сделать: Дитрих ни на шаг не отходил от него. Он сказал Вайсу:

— Вы разрабатывали с полковником операцию и виновны в том, что она сорвалась. — Пригрозил: — Я доложу о вас. Офицеры подтвердят, что вы устранили меня от подготовки к операции.

Вайсу предоставили отдельную комнату, но теперь к нему перебрался Дитрих. Ложась спать, он запирает дверь на ключ и клал его в карман, говоря, что боится диверсантов, а пистолет засовывал под подушку.

Ночью советские штурмовики и бомбардировщики совершили налет на аэродром.

Вайс бежал, пригнувшись, к обочине аэродрома, туда, подальше, где он заметил земляные щели, выкопанные солдатами охраны. Вслед за ним в щель прыгнул и Дитрих.

Щель оказалась полусасыпанной. Дитрих выталкивал Вайса с того места, где щель была глубже. Заметив блиндаж, он решил добежать до более надежного укрытия, выскочил. Бомбовый разрыв. Вайса почти погребло землей. Очнувшись, он выбрался из-под земли. Ноги Дитриха торчали из воронки. Вайс потянул его за ноги и втолкнул в щель. Живот Дитриха был разворочен осколком. Вайс стал бинтовать его, но бинтов не хватило. В это время Дитрих очнулся. Он посмотрел на свою рану, брезгливо сморщился, потом заплакал.

Вайс снял китель, разорвал рубашку; когда снова раздался бомбовый разрыв, он почти машинально склонился над Дитрихом, прикрывая его собой, чтобы в рану не насыпалась земля. Дитрих это заметил. Пролепетал:

— Иоганн, вы, возможно, хороший человек. Но я донес на вас. — Простонал осуждающе: — Как вы, немец, могли стать изменником?

— Что же вы донесли? — спросил Вайс, озабоченно подкладывая свой китель под голову Дитриху.

Дитрих сказал, еле двигая губами, свистящим шепотом:

— Муж фрау Бригитты — русский диверсант. Вы все время общались с ним. Перед самым отъездом об этом донес один русский военнопленный, уличенный в краже ценностей во время спасательных работ.

— Почему же тогда меня сразу не арестовали?

Дитрих вздохнул:

— Лансдорф мне не поверил. Он сказал, что я хочу свести с вами счеты за то, что вы скрыли — помните? — некоторые мои неблагоприятные поступки.

— Помню, — сказал Вайс.

— Ну вот, видите... Он мне не поверил... Приказал только вести наблюдение. Ему грозили бы большие неприятности, если б вы оказались изменником. Поэтому он все свалил на меня, приказал следить... — Дитрих замолчал, видимо бо-

рясь с невыносимой болью. — И когда мы здесь принимали с вами душ, я вышел, сказав, что мне нехорошо. И в вашем кителе нашел портсигар. — Снова последовала долгая пауза. Вайс молчал. — Такие штучки мне знакомы, — шепотом прохрипел Дитрих. — А потом, когда загорелся блиндаж, у вас больше этого портсигара не было. И сейчас его нет. Верно?

— Да, — подтвердил Вайс.

— Вот видите, — похвастался Дитрих, уже коснеющим языком. — Я ведь хороший контрразведчик, да?..

— А зачем вы мне это все рассказали? Чтобы я вас убил?

— Да, конечно... Я не хочу мучиться. Я понял, что не смогу мучиться. Пожалуйста, Йоганн, я не могу видеть свои внутренности. Ну?

Вайс вынул сигарету, закурил.

Штурмовики стальным скользящим потоком неслись над аэродромом, и косой светящийся ливень их крупнокалиберных пулеметов бил по бетонной полосе, высекая длинные сухие синие искры.

Вайс сказал:

— Нет, я не буду убивать вас, Дитрих. Даже напротив — я пойду и пошлю за вами санитаров с носилками. Такие, как вы, не должны умирать сразу. Вам надо понюхать как следует, что такое смерть. Вы убивали других, но сами считали, что с вами этого не случится. Если вы и умрете, то, во всяком случае, с комфортом, в постели. Вот я и позабочусь о таких удобствах для вас.

Он встал, спросил:

— Вы слышите, Дитрих? Я уйду за санитарями.

Дитрих молчал.

Вайс дотронулся до его плеча. Голова Дитриха покачнулась, но глаза были неподвижны. Вайс взял свой китель, надел и пошел к горящим службам аэродрома.

Налет окончился.

Полковник руководил тушением пожара. Он был бодр, энергичен и свирепо командовал людьми.

Вайс сказал:

— Я вынужден покинуть вас, полковник.

— Да? — спросил полковник, смотря на него так, будто впервые его увидел. — Ну что ж, вы мне не подчинены, а то бы я и вас заставил поработать. — Он махнул рукой в том направлении, где горели самолеты и, треща, рвались в них уклады пулеметных лент и снарядов.

Вайс разыскал свою машину и поехал прочь от аэродрома, потом остановился, вышел, снял с нее номер. Машина была покрыта гарью и хлопьями сажи, цвет ее стал неразличим. Свернув с шоссе, Вайс поехал по грунтовой дороге лесом, погнулся, отсчитав шестнадцать просек, в семнадцатую, завел машину в кусты и дальше пошел пешком.

Как ему было указано связным, он вышел на тропинку.

Спустился в балку, по дну которой бежал чистый родничок, наполнился.

Смутно было у него на душе. Засыпался, думал он. Штутгиф говорил — Зубов действует не всегда осмотрительно. А он сам? Как он мог допустить такую опшибку с портсигаром? Когда он узнал, что Дитрих едет с ним, он должен был придумать что-нибудь более примитивное и, значит, более неуличимое для хранения термитной шашки. Почему он это упустил? Да потому, что все это время думал о Зубове и перестал думать о себе.

Но он не мог не думать о Зубове, который, совершая свой подвиг, приговорил себя к смерти...

Из кустов вышли двое в эсэсовской форме, с автоматами, висящими на груди. В петлице у каждого, как было условлено, сосновая веточка. Вайс назвал пароль, получил отзыв и пошел дальше, шагая между этими двумя немцами. Лица их были серы, морщинисты. Вайс понял: бывшие заключенные антифашисты, а может быть, и коммунисты.

Показался охотничий домик, выстроенный в готическом стиле, с жестяным петухом на шпиле остроконечной деревянной башни. Вайса провели в просторную, увешанную оленьими рогами комнату с камином, сложенным из кирпичей. За столом, склонившись над картой, сидел советский офицер в аккуратной, будто только что выутюженной, чистенькой форме.

Он подал руку, представился:

— Майор Колосов. — Смущенно улыбнулся. — Извините, проформа: ваше удостоверение личности.

Вайс подал свой документ, подписанный Гиммлером, Мюллером, Кейтелем, Кальтенбруннером. Майор взглянул и, возвращая, сказал уважительно:

— Коллекционная вещь. Ну, значит, еще раз здравствуй-те, товарищ Белов. — Горячо пожал руку, кивнул на стол: — Вот мозгую. Садитесь, прошу вас. — Придвинул пачку «Казбека»: — Курите!

Вайс с нежностью взял папиросу.

— Довоенные?

Майор пожурил:

— Отстали вы от действительности! Послеблокадные, ленинградские. — Ткнул в карту карандашом: — Значит, вот какая петрушка получается: подступы открыты. Но сначала — ваши соображения?..

После обсуждения плана операции Вайс вышел из охотничьего домика в сопровождении майора.

Во дворе он увидел построившихся советских парашютистов в армейской форме, а рядом с ними — тоже в строю — стояли люди в немецких мундирах и в штатской одежде.

— Ну вот, — показал на них рукой майор, — весь наш интернационал в наличии. И это, так сказать, есть наш еще не

последний, но весьма решительный бой. Ведь свыше двенадцати тысяч человек мы должны освободить с наименьшими потерями. А ваша группа во флигеле, — указал он рукой. — Рекомендую не терять времени. Ознакомьтесь, побеседуйте — и в путь. — Попросил: — Очень желательно, чтобы вы по возможности точно уложились в расписание.

Вайс направился к флигелю. Когда он вошел, со скамьи поднялись четверо в форме офицеров СС. Двоих из них Вайс знал — чеха Пташека и подрывника Мехова. Они дружески поздоровались. Двое других назвали себя. Белобрысый, скуластый, атлетического сложения — Вальтер Кох, другой — черный, необычайно мускулистый, яркоглазый — Ганс Шмидт.

— Откуда вы? — спросил Вайс.

Кох, улыбаясь скуластым лицом, доложил:

— «Свободная Германия».

— Были в плену?

— Нет. Берлин. Подполье. — Кивнув на Шмидта, сказал почтительно: — Он работал еще с Антоном Зефковым.

Вайс обсудил со своей группой план операции. Она заключалась в следующем.

Соответственно данным, полученным через Генриха, провантское снабжение заключенных подземного концлагеря было рассчитано еще на двое суток. Значит, ликвидация его будет произведена по истечении этого срока.

Но если продвижение Советской Армии в этом направлении убыстрится, уполномоченный СС может принять решение ускорить уничтожение лагеря; кроме того, не исключено, что на этот счет будет дан особый приказ руководством СД.

Неосомненно, что на командном пункте уполномоченного СС установлена связь с постом минеров и по его сигналу они должны привести в действие электроподрывные взрыватели, провода которых протянуты в шахты к минным погребам. Очевидно, посты минеров расположены на поверхности. Задача — выявить эти посты и обезвредить. И, когда это будет сделано, присоединиться к группе захвата, которой командует майор Колосов. Она проникнет в шахты, разминирует минные ловушки и освободит заключенных. Часть группы майора останется на поверхности, займет оборону, чтобы прикрывать отряд, действующий в шахте.

С людьми этой группы, одетыми в немецкие офицерские мундиры, Вайс и выехал в пункт, обозначенный на карте как штаб охраны лагеря, его административного управления и складов готовой продукции.

Полковник Роберт Штайнер, уполномоченный СС, принял Вайса у себя на командном пункте.

Пожилый, с плоским лицом и угловатым черепом, так называемой гинденбургской формы, спереди — прямой пробор, затылок и виски почти наголо выстрижены; сжатые губы,

пронзительные глаза с вздрагивающими веками; короткие широкие пальцы с синеватыми ногтями. Рыцарский железный крест на ленте под воротником кителя.

Документ Вайса, тщательно проверив, он бросил перед собой на стол.

— Что? — сказал Штайнер так, будто Вайс перед этим обращался к нему с какими-то словами.

Вайс, кладя ногу на ногу, в свою очередь тоже осведомился:

— Что «что»?

— ...вас интересует? — промычал Штайнер.

— Я хотел бы быть уверенным в том, что меня здесь ничего не должно интересовать.

— Почему?

— В том случае, если все у вас в порядке.

— Вы имеете в виду нечто определенное?

— Да, — сказал Вайс, прищелкнув пальцами, — вот это именно!

— Техника?

— Ну что вы! — улыбнулся Вайс. — Здесь я не компетентен. Если вы меня заверите, что все в отличном состоянии, мне этого достаточно, чтобы доложить.

— Кому?

— Очевидно, кому-нибудь из тех, кто подписал мой документ.

— Непосредственно? Вы такой доверенный человек?!

— Нет, что вы! — сказал Вайс. — Передам рапорт, как полагается по службе.

— Странно!

— Что именно?

— Мне не доверяют! — вспыхнул Штайнер. — Я лично беседовал с Гиммлером и Кальтенбруннером, прежде чем отбыть сюда. А ведь я сказал им, — Штайнер выпятил грудь: — «Это для меня высокая честь». — Он опустил глаза. Вайс увидел кнопку, вмонтированную в стол, которая была прикрыта металлической скобой, запертой на висячий никелированный замок. — Высокая честь, — повторил Штайнер. — Одно мановение руки — и я исполню свой долг перед империей. Мы так хлопнем дверью, уходя, что большевики содрогнутся от ужаса. — Добавил: — Но ваше присутствие свидетельствует о том, что мне не доверяют. Я буду протестовать. — Он положил руку на телефонную трубку.

— Кстати, полковник, — сказал Вайс, — когда будете говорить с Берлином, сообщите, пожалуйста, что из восьми лагерей я уже объехал пять. И там все в порядке.

Штайнер, не снимая руки с телефонной трубки, спросил:

— Значит, вы не специально ко мне?

— Ну что вы! — улыбнулся Вайс. — У меня приказ доложить о восьми лагерях. Ваш — шестой. Осталось посетить еще

два.— Пожаловался: — Дико устал. Вы думаете, это легко — все время на ногах? Некоторые лагеря уже эвакуируют, и ликвидация происходит во время маршей, трупы оставляют на дороге.— Спросил: — Вы пробовали ездить на машине по трупам?

— Нет еще,— сказал Штайнер.— Но, если дороги ими забиты, придется...— Посмотрел несколько приветливее на Вайса.— Я могу вас уверить, что такого беспорядка я после себя не оставляю.

— Ну и отлично.— Вайс сделал движение, будто собирается встать.— Значит, я так и доложу.

— Вы только за этим приезжали?

Вайс взглянул на часы, пожал плечами.

— А, собственно, что еще? По-моему, все.— Напомнил: — Ведь у меня еще два лагеря!

— Так нельзя,— укоризненно сказал Штайнер.— Ну хоть пообедайте со мной. Я распоряжусь.

Полковник вышел.

Вайс мгновенно перерезал провода, идущие к кнопке, закрытой скобой с замком.

Когда полковник вернулся, Вайс сказал ему:

— Позвольте, я предупрежу сопровождающих меня офицеров о том, что задерживаюсь.

— Ну зачем вам самому? Пошлю адъютанта, он передаст.

Вайс понизил голос:

— В порядке исключительного к вам доверия. Мне кажется, среди сопровождающих меня людей находится особый человек от партии. Ну, как бы приставлен от партийной канцелярии. Я боюсь, как бы он не счел обидным для себя, что ваш адъютант передает какие-то поручения от моего имени. Я должен сам сказать ему это. Простите, но, если я поступлю иначе, мне будут грозить неприятности.

— Так пригласите и его.

— Сделайте мне одолжение, пригласите его сами.— Добавил многозначительно: — Я полагаю, этот человек может быть и вам полезен.

— Ну что ж.— Штайнер надел фуражку.

Вайс вместе со Штайнером подошел к машине, стоящей у стень склада. Его люди не выходили из нее.

Вайс сказал, открывая дверцу:

— Уполномоченный СС, имею честь представить.

Штайнер, снисходительно улыбаясь, приблизился к открытой дверце. Вайс ударил его по шее ребром ладони, Штайнер упал лицом вниз, две пары рук подхватили его и мгновенно втащили в машину.

Вайс вынул сигареты, закурил, ждал. Из машины ему подали связку ключей. Вайс взял их, сунул в карман и вернулся в кабинет Штайнера.

Заперев дверь, он открыл неогороемый шкаф одним из

ключей. Нашел папку с грифом, который был ему знаком, вынул из нее бумаги, спрятал их у себя под мундиром и вышел. Сел в машину, передал Мехову лист из папки, на котором были обозначены посты минеров, сказал:

— Соображайте.

Пташек и Кох прочно упирались ногами в связанного Штайнера, лежащего на полу с заткнутой в рот скомканной фуражкой.

— Поехали,— сказал Вайс сидевшему за рулем Шмидту.

Мехов, ознакомившись за время пути с планом минирования, сказал майору Колосову:

— Мы можем перерезать провода, идущие от пунктов минеров к штольням. Когда подрывные машинки не сработают, на линию пошлют поисковую группу. Их задержим засадой. Ну, сколько там — полчаса, пожалуй, не больше. Гарнизон охраны, должно быть, не маленький — дольше не устоять.

— Так,— сказал майор.— А потом?

— Потом группа прикрытия примет бой. В районе выхода из штольни будет наша последняя линия обороны, пока успеем вывести людей.

— Двенадцать тысяч,— напомнил майор.— Надо с карандашом подсчитать, сколько придется держаться.

— Трудная арифметика,— сказал Мехов.— Люди обессиленные, на это тоже нужно взять поправку.— Ткнул пальцем в точку выхода из штольни: — Видите — блиндажи для охраны, а она еще не снята. Впереди целая канитель: надо выбивать. Бесшумно не получится,— значит, к месту происшествия бросят весь гарнизон.

— Это точно,— согласился майор,— придется вам побыть на поверхности.

— Это почему?

— Минировать подступы.

— Возражаю,— сказал Мехов.— Я тут самый квалифицированный, а штольни кто будет разминировать?

— Правильно,— согласился майор.— Ну, тогда проинструктируйте тех, кто останется на поверхности.

— Это можно.

И, хотя всего удобнее было начать операцию ночью, майор приказал немедленно выходить на исходные позиции.

Допрос Штайнера ничего не дал. Гауптштурмфюрер, казалось, помешался от отчаяния и ненависти. Вначале он был как бы в истерическом припадке, а потом впал в состояние прострации, глаза закатились под лоб, рот полуоткрыт, как у кретина, от него дурно пахло. Он не мог даже сидеть, сползал со стула, когда его не держали.

— Если симулирует, то очень здорово,— сказал, приглядевшись к нему, майор.— Врача бы! А так, не для специалиста,— рехнулся, и все. Вот это называется казус.

Вход в шахту начинался с туннеля, пробитого в склоне горы,— к нему вела узкоколейка для вагонеток.

Когда весь отряд парашютистов бесшумно собрался у подступов к штольне, группа боевиков в мундирах эсэсовцев под командованием Вайса строевым шагом направилась к туннелю.

Из-под свода туннеля вышел эсэсовец в звании ротенфюрера и приказал остановиться. Из амбразур двух бронеколпаков торчали стволы спаренных пулеметов.

Вайс продолжал шагать впереди группы, будто не слыша угрожающего предупреждения.

Видя нацеленные стволы пулеметов, он ощущал себя как бы гигантской мишенью для них.

Остановил группу он метрах в пятнадцати от бронеколпаков. Заорал изо всех сил:

— Ротенфюрер, ко мне!

И, когда тот сделал несколько неуверенных шагов, приказал ему, кивая на строй:

— Принять команду!

Ротенфюрер неуверенно сказал:

— Но, гауптштурмфюрер, это не мои люди.

— Принять команду! — повторил Вайс. Пройдя мимо растерявшегося ротенфюрера под свод туннеля, пожаловался: — Жара, пыль... Воды! — И стал сбивать пыль с мундира снятыми лайковыми перчатками. Приказал: — Выстроить ваших людей! — Добавил, дружески улыбаясь: — Я оглашу сейчас приказ фюрера о награждениях в честь дня его рождения. — Пояснил: — Теперь этот торжественный акт приказано совершать на ходу, чтобы не отрывать людей от несения службы.

Ротенфюрер поднес к губам свисток, его подразделение выстроилось.

Вайс отдал команду своим людям занять освобожденные посты. А сам, поднявшись на бронеколпак, обратился с речью к выстроенному перед ним подразделению. И, когда цепь парашютистов приблизилась, Вайс, внезапно прервав речь, произнес спокойно и деловито:

— Теперь сдавайтесь!

Спрыгнув с бронеколпака, он залег за ним.

Но это были не просто солдаты, а отборные эсэсовцы. Они попытались вступить в бой, и только четверо добровольно сложили оружие.

Майор, после того как схватка закончилась, мельком взглянув на часы, сказал Вайсу:

— Ну что же, прошумели. С этой минуты наша операция больше уже не секретная от немцев. Значит, знай держись!

Часть отряда парашютистов занимала оборону вокруг выхода из штольни, другая окапывалась на рубежах в километре от нее. Пять человек, взяв взрывчатку, бросились в туннель вслед за Меховым.

Через минуту они выбежали оттуда. Мехов скомандовал:

— От туннеля — прочь!

Присел поодаль, тяжело дыша.

Мягкий, приглушенный взрыв потряс почву. Из жерла туннеля выбросило клубы пыли, осколки камня.

Натягивая на уши пилотку, Мехов объявил, сияя:

— Порядок! Откупорили. Но теперь для меня начнется самая возня с их сюрпризами. — Предупредил: — Пока фонариком не помигаю, семафор закрыт, отдыхайте спокойненько. — Махнул рукой двум парашютистам, тоже минерам: — Пошли.

Штурмовая группа, которой назначено было пройти в штольню, состояла всего из семи человек. Майор остался на поверхности командовать обороной.

Вайс, ссылаясь на недостаточный армейский опыт, сказал, что пойдет со штурмовой группой. Майор задумался.

— Ну что же, резонно. Только я вам еще радистку придам. Связь держать надо, а линейщики нужны здесь — нитки тянуть к подразделениям. — Подмигнул: — Золотая девушка.

— То есть? — спросил Вайс.

— Ну, как и вы, в тылу у немцев работала. — Махнул рукой: — Бегите, она вас догонит!

Вайс вместе с Пташеком и молодыми парашютистами пролез сквозь отверстие, проломленное в стене замурованной штольни, где скрылся Мехов с двумя минерами. Освещая путь фонарями, они двигались во мраке — сухом, душном, наполненном вонью мазута и угаром недавнего взрыва.

Они шли по шпалам узкоколейки, и шаги их гулко звучали под сводом туннеля. У спуска в штольню их ждал один из минеров Мехова, сказал:

— Спускаться в клетки небезопасно. Вдруг заминирована... Придется шлепать по ступеням.

Железная ржавая влажная лестница свисала в ствол шахты. Здесь, у ствола, их нагнала радистка; за плечами у нее на брезентовых ремнях висела рация с тонкой, как удилище, антенной.

— Ах, — сказала радистка, — как неудобно будет спускаться. — И объяснила: — Видите, я же в юбке. Пустите меня первой, чтобы потом вам не пришлось дожидаться.

— Непредусмотрительно обмундировались.

Наденька — это была она — кивнула Вайсу, словно видела его только вчера. Улыбнулась и стала спускаться, предупредив:

— Пожалуйста, осторожней, не заденьте ногами антенну.

Чем ниже они спускались, тем тяжелее становился воздух, протухший, сырой, казалось, липнущий к коже, как плесень.

Несколько раз прозвучали тугие, гулкие взрывы.

Минер объяснил:

— Товарищ Мехов, видать, новые стенки подрывает. —

Вдохнул.— Замуровали людей и много заслонок понаставили, так понимать надо.

Спустились на горизонт, откуда начиналась штольня. Снова слышались взрывы, дохнуло горячим угаром сгоревшей взрывчатки. И вдруг — снова взрыв и потом — звук мягкого падения.

Вайс бежал, согнувшись, и, когда оказался на месте последнего взрыва, он увидел лежащего замертво минера, другой прижимал обе ладони к лицу.

Мехов сидел на полу между ними и озабоченно перетягивал раздробленную левую руку бикфордовым шнуром, один конец которого он держал в зубах.

Наденька опустила перед ним на колени и раскрыла медицинскую сумку. Мехов, отшатываясь от нее, приказал:

— Ты сначала тех осмотри! Говорил им: тут с фокусом. Нет, надо же было лезть с кусачками! — Сказал Белову: — Ну вот. Дешево отделался, не башкой, — при себе осталась, как предмет первой необходимости. — Попытался встать, встал, прислонился к стене, увидел мертвого минера, лицо его исказилось, голос дрогнул: — Какого парня потеряли, а? — Шагнул, пошатываясь, к тому, у которого было разбито лицо, спросил: — Глаза целы? Ну, тогда порядок. — Посоветовал: — Щеку ты все-таки поддерживай ладошкой, пока приклеится, а после — пришьют. — Похвастал: — Меня хирурги здорово обратно составляли: кости на ногах на серебряных шурупах.

Надя перевязала Мехова, сказала:

— Вы замучились, вам надо отдохнуть хоть чуточку.

— После, — покачал головой Мехов, — в госпитале, здесь не те удобства, не то обслуживание. — Опираясь о плечо Нади, тяжело волоча ноги, побрел вперед.

Послышался гул голосов и удары чем-то тяжелым о железо.

Шли еще долго, штольню пересекла решетка, сквозь клетки которой можно было просунуть только руку.

— Товарищи! — закричала первая Наденька. — Товарищи!

Сотни рук просунулись сквозь клетки этой тяжелой стальной решетки. Надя кинулась пожимать их.

Мехов, напрягшись, закричал:

— Ура, товарищи! — И, ослабев, сел на каменное днище штольни. Очнувшись, он прошептал виновато: — Это я не от слабости свалился — от чувств. Ну, от переживания вроде, так надо полагать.

Добрел до решетки, стал осматривать ее, руки людей мешали ему. Потом позвал Вайса, наклонился, сказал на ухо, потому что люди за решеткой сильно кричали:

— Подорвать можно. Но сначала надо наладить дисциплинку, чтобы все граждане за решеткой удалились, насколько

ко это возможно. И второй момент: кинутся валом наружу, а там, надо полагать, бой. Надо связаться с майором.

Вайс позвал Надю. Отошли подальше от решетки. Надя включила рацию, надела наушники.

— Что передать?

— Нашу обстановку, какую видите. Запросите, как у них.

Спустя некоторое время Надя пожаловалась: слышимость плохая, помехи. Под землей работа рации очень затруднена.

— Но все-таки — что же передают?

— Отдельные слова разобрала: «Горячо... Всех в укрытие... Артиллерия...»

— Так, — сказал Вайс. — Понятно.

Парашютисты пробовали призвать людей к спокойствию, но невозможно было перекричать их.

Вайс спросил Надю:

— А какую-нибудь станцию мощную вы принять можете?

— Мощную — конечно.

— Хорошо бы музыку, — сказал Вайс. — Хорошую. Начнут слушать и смолкнут. Понятно?

— Я попробую.

— Я не уверен, но вдруг... — сказал Вайс

Спустя некоторое время раздались тихие звуки музыки неизвестно какой радиостанции.

Сначала смолкли те, кто стоял первыми у решетки; потом постепенно затихли все — вся эта гигантская, плотно спрессованная в штольне человеческая масса...

И тогда Белов подошел к решетке и закричал громко, насколько мог:

— Товарищи! Прошу всех спокойно отойти подальше от решетки, лучше всего — в боковые ходы, они, наверное, у вас есть. Для того чтобы разрушить решетку, нужно произвести взрыв. — Спросил: — Вы поняли?

Наверное, каждый человек выговорил очень тихо это слово:

— Да.

Но оно так громко отдалось под сводами, что было подобно ослабленному гулу подземного обвала.

Вайс выждал, пока гул смолкнет, сказал:

— Товарищи, мы уверены, что вы будете вести себя организовано, как подобает советским людям. — Крикнул: — Старшим остаться у решетки, остальным отступить в укрытие!

Шорох и топот ног. Потом в решетке показалось только гать человеческих рук. Вайс подошел, пожал каждую и повторил то, что надо было выполнить всем этим людям. Добавил:

— Пожалуйста.

Укрепив, где нужно, заряды, парашютисты подняли обесилевшего Мехова и понесли. Мехов был грузным человеком, а идти приходилось, поднимаясь по отлогому склону, так как

штольня была здесь проложена по скошенному горизонту.

Преодолев подъем, они остановились и залегли за составом вагонеток, нагруженных бочками цемента и каменными глыбами, видимо служившими для перемычек, которыми была замурована штольня.

Несколько минут спустя раздался взрыв, и воздушная волна его оказалась такой силы, что состав вагонеток толкнуло назад, упоры слетели с рельсов, и вагонетки, сначала медленно, потом ускоряя ход, покатались вниз по склону, туда, куда сквозь пролом в решетке бросились плотной массой тысячи людей.

Вайс вскочил и побежал рядом с передней вагонеткой, пытаясь подсунуть под ее колеса деревянный башмак, но его с силой отбросило прочь. Тогда Вайс выхватил гранату, сбросил с нее металлическую рубашку, дающую тысячи осколков, повернул ручку и через две секунды швырнул гранату вперед, между рельсов, а сам лег плашмя у стены штольни лицом вниз, прикрывая голову руками.

Взрывом свалило первую вагонетку, остальные напоззли на нее, громоздясь грудой железа и камня.

Из накренившейся вагонетки на Вайса посыпались обломки камня. Ладонь, которой он накрывал голову, раздробило одним из таких камней. Вагонетка, кренясь в сторону, грозила опрокинуться на Вайса и раздавить его своей тяжестью.

Откуда нашлись силы у этих умирающих от голода, жажды, удушья людей, как хватило воли и организованности, чтобы быстро выделить несколько десятков наименее ослабевших и научить их сделать единственно возможное? Одни из них пролезли между вагонетками и стеной штольни и, упираясь полосатыми от выпирающих ребер спинами в накренившиеся борты вагонетки, удерживали ее на себе; другие в это время сбрасывали камни, завалившие Иоганна, и затем вытащили и его самого, окровавленного, потерявшего сознание.

И когда Надя, склонившись над Иоганном, сказала горестно: «Он дышит, товарищи, но воздуху ему не хватает, воздуху!» — эти люди отпрянули и подались назад, словно освобождая пространство для доступа воздуха.

В бой против советских парашютистов были брошены эсэсовские охранные подразделения. Они отлично умели убивать, совершать облавы, расправляться с партизанами, они точно рассчитывали количество стволов, боеприпасов, самолето-вылетов, чтобы на каждый метр линии партизанской обороны приходилось не меньше сотни осколков и попаданий станковых и ручных пулеметов.

Но парашютный отряд состоял из воинов, каждый из которых в отдельности владел искусством осмотрительного и самостоятельного ведения боя. Это были мастера военного дела, участвовавшие во многих сражениях.

Знаменитый снайпер Борис Веткин стрелял с озабоченным выражением на строгом и умном лице. Движения его были ленивы, мягки и не лишены грации. Он смотрел в оптический прицел с тем же внимательным любопытством, как некогда — будучи студентом-микробиологом — в окуляр микроскопа.

Он был ранен, но расчетливо соображал, что, если не получит нового ранения, у него еще хватит сил удержаться здесь снайперскую позицию, — только не нужно ее менять, а оставаться на прежнем месте, плотно прижавшись к разрыхленной земле.

Минометный расчет, напротив, маневрировал, меняя позиции, чтобы не дать противнику пристреляться. Бойцы, передвигаясь по-пластунски, волокли за собой, как на буксире, привязанные за провод к ноге ствол, плиту и железные кассеты с минами. Занявшие оборону парашютисты были вооружены ручными пулеметами и автоматами. Когда противник приближался, брались за автоматы. Подносчики обеспечивали боеприпасами каждый свою группу.

Парашютисты не успели скрыто заминировать подходы. Они просто разложили мины и протянули к себе в окопы куски проволоки, соединенные с предохранительной чекой взрывателя. Когда цепи противника приближались, дергали за проволоку, чека выскакивала, и мина срабатывала.

Раненых отволакивали на разостланных плащ-палатках под свод туннеля. Это был бой, тщательно продуманный и организованный, как будто работал цех под открытым небом. Если б только людей в этом «цехе» не убивали, а механизмы от попадания мин и снарядов не выходили из строя!

Майор Колосов, руководя работой боя, поглядывал на часы. Обещанный танковый десант запаздывал. Он видел, как гаснут одна за другой огневые точки парашютистов. Он слышал разрывы ручных гранат, означающие, что начался ближний бой. Взял трубку полевого телефона и приказал командиру расчета станкового пулемета:

— Егоров, брызни на левый фланг, а то там жарко!

Он видел в бинокль, как парашютисты отступают на вторую линию обороны. Радист подошел к нему и сказал, что люди из шахты запрашивают разрешения выходить.

— Нельзя, — сказал майор. — Ни в коем случае. — Потом добавил, подумав: — С десяток, каких покрепче, пускай выделят. Что ж, все-таки резерв.

Спустя некоторое время в туннель из ствола шахты поднялись пятнадцать лагерников и с ними парашютисты и Надя. Они принесли раненых и положили их поближе к выходу, чтобы люди могли дышать. Надя присела рядом с Беловым, расстегнула китель, положила ладонь ему на грудь. Она почувствовала — сердце бьется. Но когда отняла ладонь, она была в крови.

Лица, как и тела лагерников, были черны от рудничной

пыли. Все они были настолько худы, что казались плоскими, словно силуэты людей, вырезанные из грязной фанеры.

Один из них сказал:

— Товарищ майор, разрешите обратиться? — И стукнул костлявыми коленями, сведя ноги по стойке «смирно». — Мы к бою готовы!

— Ладно, — согласился майор, — не спеша, по одному на огневые позиции, марш! — Добавил, улыбаясь: — Спасибо, товарищи, за выручку.

Пошел дождь. Но не дождем можно угасить огонь неравного боя — силой. А силы парашютистов были на исходе... Майор приказал радисту:

— А ну, покричи в эфир ВВС! Надо, чтобы накидали чего-нибудь. Задерживают десант, а у меня потери.

Радист доложил:

— Приказали через двадцать две минуты всем в укрытие. Беспокоятся, чтобы своих не задеть. Просили обозначить передний край ракетами.

— Ладно, — согласился майор, — подсветим!

И когда в не прекращающемся ни на минуту дожде сгустились влажные сумерки, заворчал грозное небо. Сначала свалили груз пикировщики, падая на крыло, словно пришибленные. А потом черными лезвиями низко метались над полем боя штурмовики, вонзая в землю огненные очереди.

И еще действия авиации не завершились, а майор уже вынул из кобуры пистолет и не спеша спустился к залегшим поодаль парашютистам. И спустя несколько минут, как только исчез последний самолет, парашютисты выскочили из укрытий и пошли на противника по вздыбленной, изуродованной, словно вывернутой наизнанку земле.

Рота танкового десанта завершила этот бой.

Майор Колосов был ранен. Но у него хватило сил дать все необходимые распоряжения командиру подразделения танкистов, лейтенанту.

— Вы, значит, нам теперь приданы?

Танкист посмотрел на часы, сообщил, улыбаясь:

— Мы теперь уже не десант.

— А кто же?

— Подразделение танковой армии, и вроде как у себя в тылу. Наш передний край уже километров за тридцать отсюда. Так что на освобожденной территории, выходит, базируемся.

— Здорово, — сказал майор. Усмехнулся. — Теперь от армии далеко не отбежишь.

— Взаимодействие, — пояснил танкист. — Ваше дело — объект, наше — все остальные окрестности.

Лагерники выходили из туннеля длинной чередой. Люди шли, подпирая друг друга плечами, вздернув костлявые подбородки. Они шли и шли бесконечной шатающейся колонной,

Лейтенант-танкист поднес руку к шлему. Колосов чуть приподнялся и тоже поднес дрожащую руку к фуражке.

Командовали лагерниками те, кого они избрали в своих подпольных организациях старшинами.

Колонна развернулась и по приказанию такого старшины замерла по команде «смирно». Но вся эта линия людей пошатывалась. Было тихо, слышалось только их сиплое дыхание.

— Товарищи! — сказал танкист. — Извините, мы задержались...

— Ты им речь скажи, — потребовал майор. — Наверное, полагается...

Лейтенант сбросил с головы шлем. Лицо его было молодо. Жалобно морщась, задыхаясь, он сказал:

— Всё, товарищи, всё! И клянусь, больше такого на земле не допустим. — Подбежал, обнял первого, кто оказался ближе.

— Не получилось митинга, — вздохнул майор. Он снова опустился на носилки и уже вянущим голосом успел отдать распоряжение накормить и разместить освобожденных людей.

В примыкающем к расположению лагерей и лесному массиву городке оказался немецкий госпиталь, не успевший полностью эвакуироваться. В нем разместили раненых, в том числе Колосова и Белова. Госпиталь передали санбату вступившей в этот район советской моторизованной части.

Нади уже не было здесь. Едва успев еще раз взглянуть на Белова, недвижно распростертого на койке, она вынуждена была оставить его. Бои шли на подступах к Берлину. Девушка тревожилась за отца, да и, кроме того, советская армейская разведка нуждалась в ней.

Майора Колосова в тяжелом состоянии вывезли из немецкого городка в армейский госпиталь. Начальнику госпиталя Колосов сумел только пролепетать, что контуженный Иоганн Вайс — очень большой человек и надо о нем особо заботиться.

Вайс не приходил в сознание. У него было сотрясение мозга. Он был нетранспортабелен.

Замполиту госпиталя доложили, что в мундире Вайса обнаружен документ офицера СД с особыми полномочиями, подписанный Гиммлером, Мюллером, Кейтелем, Кальтенбруннером. Замполит сообщил об этом начальнику Особого отдела. Тот сказал:

— Значит, правильно информировал майор — важная хищная птица. Поправится — допросим. — И предупредил: — Но чтобы культурненько. Полный уход, все как полагается.

От удара у Вайса были повреждены глазные нервы. Он почти не видел.

Операцию ему сделал вызванный с фронта хирург-окулист. Он сказал лечащему врачу, что больному необходим аб-

солютный похей, никаких раздражителей, в том числе зрительных.

Лечащий врач знал немецкий язык, нашли сестер, которые тоже знали немецкий язык. Было сделано все для того, чтобы оградить раненого офицера СД от всяких «раздражителей». Он лежал в отдельной палате.

Когда сознание возвращалось к нему, он начинал медленно соображать. Где он? Может, его ранили во время бомбежки аэродрома и Дитрих выдал его? И сейчас врачи-немцы стараются сохранить ему жизнь, чтобы потом гестаповцы могли медленно выжимать ее, капля за каплей... Все дальнейшее выпало из памяти Вайса. Все, кроме засевшего у него в мозгу признания Дитриха. И оно жгло его мозг. Значит, он, Вайс, допустил где-то роковую ошибку, допустил накануне того, как ему предстояло завершить работу над заданием, от которого зависела жизнь многих тысяч людей. Эта навязчивая мысль, душевные страдания, вызванные этой мыслью, отягощали и без того тяжелое состояние Вайса.

Память Вайса остановилась на том моменте, когда Дитрих сказал ему, что донес на него, потому что пало подозрение на Зубова, а Вайса видели с Зубовым. Быть может, это произошло в день смерти Бригитты, когда он дожидался Вайса на Бисмаркштрассе, возле секретного расположения особой группы заграничной разведки СД. Вайс помнил, как Зубова потрясла смерть Бригитты, а ведь сам он никогда не боялся смерти и не думал о ней.

И теперь перед Вайсом выплывало, как из тумана, склоненное лицо Зубова в момент, когда он выбросил из самолета свой парашют. Иоганн видел это лицо, эту смущенную улыбку. Зубов словно извинялся за то, что вынужден теперь умереть.

А если он спасся? Зубов не такой, чтобы без борьбы достаться смерти. Что, если он нашел выход и спасся? Вернулся в Берлин, и там его взяли по доносу Дитриха. И палачи гестапо терпеливо, усердно пытаются его — могучего, сильного, способного выдержать самые ужасные пытки, от которых другой, менее стойкий человек мог бы быстро умереть. А Зубов не может, и потому муки его длятся бесконечно долго.

Он все время думал о Зубове.

Зубов тоже думал о Вайсе. Перед его глазами стояло встревоженное, удивленное лицо Иоганна. И он поспешно захлопнул люк самолета, чтобы быстрее отсечь себя от Иоганна, не подвергать его ненужной опасности, — слишком уж ясно читалось волнение на его лице.

Когда самолет взлетел, Зубов мрачно взглянул на спины пассажиров — уполномоченных СС, пролез в хвостовой отсек

и присел у крупнокалиберного пулемета, пахнущего машинным маслом. Сквозь пластиковый колпак он видел кусок неба. В хвостовом отсеке было узко и тесно «Уютненко, как в гробу», — с усмешкой подумал Зубов.

Время полета — семьдесят минут. Механизм взрывателя мины рассчитан на пятнадцать минут с момента, когда будет сломана ампула кислотного взрывателя. Плоскую мину Зубов вынул из планшета и подвесил на специально приспособленной лямке себе под китель, под левую подмышку. На его мощном торсе эта выпуклость была почти незаметна.

Потом он стал думать о том, как на его месте поступил бы Иоганн. И ничего не придумал.

Небо сквозь колпак виднелось грязное, поверхность колпака как бы шевелилась от потоков влаги. Было темно, как в яме.

На ремне у Зубова висел тяжелый бельгийский браунинг с прицельной рамкой.

Он подсчитал пассажиров и членов экипажа. Многовато. Можно попробовать, но это едва ли разумно. С пассажирами он, пожалуй, справился бы. Но кабина замкнута металлической дверью. Бить сначала по пилотам — не будет точности попаданий. Начнет с пассажиров — пилоты успеют выскочить и уничтожить его самого, прежде чем он расправится со всеми гестаповцами, а ведь каждый из тех, кто уцелеет, везет приказ об истреблении десятков тысяч людей. Даже если только двое останутся, все равно многие тысячи людей будут обречены. Значит, остается мина. Она-то ведь работает наверняка.

Наверняка? Надо все-таки сломать ампулу за полчаса до посадки, а то вдруг техника подведет. Тогда за оставшиеся пятнадцать минут он успеет порядком сократить количество уполномоченных, пока его самого не сократят. Пожалуй, так все логично, правильно. Пожалуй, так бы поступил и Вайс.

Зубов вынул сигарету, хотел закурить, но потом вспомнил, что здесь нельзя. Машинально спрятал сигарету. Да, пожалуй, так лучше — не надо этого поединка с пассажирами. Если мина не сработает, начать бить по бакам. Патроны в каскетах у него уложены чередуясь — бронебойные с зажигательными. Значит, будет полный порядок.

Он вздохнул с облегчением. И ему снова захотелось курить. Как вот тогда, в гетто, когда он лежал в земляной норе и нечем было дышать. Потом он вспомнил парня, подававшего ему ленту, когда он вел огонь с крыши подожженного фашистами дома, из окон которого люди выбрасывались на мостовую, где их добивали.

Паренек спросил Зубова:

— Вы кто, поляк?

— Нет, русский.

Паренек взглянул на него удивленно.

— Нет, вы обманываете. Вы правда советский? А чем вы докажете?

Зубов дал точную очередь по фашистам. Оглянулся. Спросил:

— Видел? — И объяснил: — Вот это мое самое главное доказательство.

Потом, когда парня ранили смертельно, он попросил Зубова:

— Возьмите у меня в кармане сигареты.

— Не надо, — сказал Зубов. — Обойдусь.

— Пожалуйста. — И паренек пролепетал посиневшими губами: — Вы же постесняетесь взять у меня потом, у мертвого... А вам же надо курить, вы же курящий.

...Зубов протер рукой запотевший козырек, но от этого не стало светлее. Однажды в сумерки Бригитта почему-то попросила не зажигать огня. Она сказала Зубову, приподнимаясь на пальцах, кладя ему руки на плечи и прижимаясь к нему уже заметным животом:

— Когда-нибудь все будет хорошо.

— А сейчас тоже неплохо, — сказал Зубов.

— Но не так, как ты хочешь. — И пообещала: — Но все будет так, как ты захочешь. — Закрыла глаза и спросила шепотом: — Как по-русски — мама?

— Не знаю. — И Зубов высвободился из рук Бригитты.

Значит, она еще тогда догадывалась, но откуда? Может, слышала, как он ночью, включив приемник, слушал Москву? Он это скрыл от Вайса. Если б Вайс знал... Зубов поежился.

И вдруг сверлящий, пронзительный звук врезался в гудящее бормотание транспортника. Зубов увидел узкий силуэт аэрокобры и пунктирные нити пулеметного огня.

Он припал к пулемету, отводя ствол так, чтобы в прицеле не было силуэта истребителя. Потом нажал гашетку. И длинная, бесконечная очередь до конца расходуемой ленты раскаляла конец ствола, как раскаляется лом сталевара во время шуровки мартеновской печи.

Зубов жадно ждал новой атаки. Но транспортник, сотрясаясь, вошел в тучу, он шатался и вилял, как будто вот-вот должен рухнуть. Зубов выбрался из хвостового отсека. В кабине слышен был свист ветра, дуло в пробойны. Один пассажир свесился с кресла, но другие, с бледными лицами, вцепившись руками в подлокотники кресел, сидели почти неподвижно.

Зубов вошел в кабину пилотов. Козырек кабины был пробит во многих местах. Бортрадист и правый пилот лежали мертвые — один в своем кресле, другой — уткнувшись головой в разбитую панель радиации. Левый пилот был ранен — одна рука висела, лицо разорвано осколками плексигласа. Увидев Зубова, он сказал:

— По документам ты летчик. — Указал глазами на кресло

правого: — Сбрось его и бери рулевое управление. — Добавил: — Я сейчас скисну.

Зубов отстегнул ремни и высвободил тело мертвого летчика. Потом занял его место, поставил ноги на педали, положил руки на штурвал.

Он не заметил, как левый пилот, освободившись от ремней, хотел встать, но, обессиленный, свалился на мертвого бортрадиста. Зубов вел самолет и весь был поглощен этим. Когда он почувствовал, что машина ему повинуетя, его охватило ощущение счастья. Но он знал, что ему не удастся дотянуть самолет до расположения советских войск. Из пробоев баков хлестало горячее, образуя позади радужное сияние. Оставались считанные секунды. Или самолет вспыхнет, обвятый пламенем, или падет на землю с заглухими моторами.

Старший группен-уполномоченный, штурмбанфюрер СС, вошел в кабину и замер при виде кучи сваленных тел. Но Зубов обернулся и сказал:

— Все в порядке, штурмбанфюрер.

Лицо Зубова было невозмутимо, глаза блестели. Это подействовало на штурмбанфюрера успокаивающим образом. Не взглянув больше на трупы, он закрыл за собой дверь.

Зубов медленно и осторожно набирал высоту. Он сам не знал, зачем он это делает. Возможно, его просто влекла высота. И когда он вырвал машину из почти непроглядной темноты, он оказался в гигантском сияющем пространстве, в великом океане света, в близне неземного сверкания. А ниже громоздились прохладным, словно снежным полем сплоченные облака. Этот лилейной чистоты снежный покров походил на его родную землю зимой, такую прекрасную и кроткую. И, ощущая эту сладкую близость родной земли, Зубов сделал то, что он должен был сделать, — медленно перевел машину в пики.

Правой рукой он передвинул ручки газа до полной мощности работы моторов. И радужные, прозрачные нимбы от пропеллеров сверкали и сияли, усиливая пронзающую воздушное пространство скорость.

В кабину пилотов вполз штурмбанфюрер. Он вопил, с силой удержаться за подножку кресла. Упал, и тело его хлопнулось о колпак, затемняя его. Зубов, чтобы видеть землю, нажал левую педаль.

Самолет падал на какой-то город с высокими черепичными крышами. Последнее, что подумал и решил Зубов: «Зачем же людей? Люди должны жить». С нечеловеческой силой он потянул на себя колонку рулевого управления, казалось слыша хруст своих костей. Городок промелькнул как призрак. В облегчении и изнеможении Зубов снял руки с управления. Вдохнул. Но выдохнуть он не успел. Земля неслась навстречу ему...

Так на планете обозначилась крохотная вмятина, опален-

ная, словно после падения метеорита. А небо над ней стало чистым. Недолго в этом небе прожил Алексей Zubov.

Все эти дни Александра Белова мучила непреодолимая боль; она вселилась в него, заполнила все его существо, копошилась в голове, как большая черная крыса. Попытки не прекращались ни на минуту, и временами его окутывал тугий розовый туман, и ему чудилось, что он колышется в этом тумане боли и сознание его как бы тает в ее упругом и жгучем пламени.

Но едва сознание возвращалось к нему, как он начинал думать о Зубове. Думать тоскливо, с тревожным отчаянием, страдая оттого, что не может предотвратить грозящую Зубову опасность. И эти страдания еще больше усиливали муки, причиняемые тяжелой контузией, — раны от осколков гранаты заживали благополучно.

71

В тот день, когда началась операция по освобождению заключенных из подземного концлагеря, Генрих и Вилли Шварцкопфы, одетые в парадные мундиры, пробирались среди развалин рейхсканцелярии — они шли поздравить фюрера с днем рождения. Прием для самых приближенных к Гитлеру лиц был назначен в подземном бункере.

Привести с собой племянника Вилли Шварцкопфу предложил Кальтенбруннер, надеясь, что фюреру, возможно, будет приятно вспомнить, как однажды силой своего гипнотического взгляда ему удалось «усыпить» этого молодого человека.

Перед выходом из дома Вилли подошел к зеркалу и тщательно осмотрел себя, а потом как бы примерил несколько улыбок, выбирая, какую изобразить на лице, когда он будет приветствовать фюрера. Ожидая дядю, Генрих небрежно проглядывал бумаги у него на столе. На одной из них он прочел:

«Главному административному правлению СС.
Берлин — Лихтенфельде — Вест

Докладываю о том, что строительство крематория III закончено. Таким образом, все крематории, относительно которых был издан приказ, построены.

Производительность имеющихся теперь крематориев за сутки работы:

- 1) Старый крематорий I. 3×2 муфельных печей — 340 трупов.
- 2) Новый крематорий в лагере для военнопленных II. 5×3 муфельных печей — 1440 трупов.
- 3) Новый крематорий III. 5×3 муфельных печей — 1440 трупов.

4) Новый крематорий IV — 768 трупов.

5) Новый крематорий V — 768 трупов.

Итого: 4756 трупов в сутки».

К докладной был подколот счет фирмы «И. А. Топф и сыновья» (Эрфурт):

«Смета расходов:

Цена печи — 25148 рейхсмарок, вес — 4637 кг. Цена ука-
зана франковагоны, отгружаемые со станции.

По доверенности «И. А. Топф и сыновья»: Зендер, Эрдман,
50001/0211».

Протягивая Вилли эти бухгалтерские документы хозуп-
равления СС, Генрих сказал:

— Ну что ж, скоро нам всем придется расплачиваться по
этим счетам!

Вилли недовольно буркнул:

— Это старые бумаги, я приготовил их, чтобы уничто-
жить.

— Как улики? — спросил Генрих.

Вилли сказал хмуро:

— Я тут ни при чем. Мне приказывали, и я делал заказ,
наблюдая за стройкой, платил деньги. — Добавил: — Я чест-
ный человек, и никто не посмеет упрекнуть меня, что я брал
комиссионные с тех фирм, с которыми имел дело, хотя в ком-
мерческом мире это принято.

— Так почему же вы решили уничтожить эти документы?

— Я еще подумаю, стоит ли. Пожалуй, они могут приго-
диться в качестве характеристики моей добросовестности.

— А кому нужна будет такая характеристика?

— Знаешь, — сердито сказал Вилли, — что бы там ни бы-
ло, фирмы и концерны, с которыми я имел дело, в любом слу-
чае не прекратят своего существования. Так было в прошлую
мировую войну, надеюсь, то же будет и теперь. Значит, Вил-
ли Шварцкопф может рассчитывать на должность управляю-
щего в одной из тех фирм, с которыми он имел деловые кон-
такты и при этом зарекомендовал себя с самой лучшей сто-
роны.

— Вы верите в свое будущее, дядя?

— Да, конечно, пока западный мир остается таким, ка-
ким он был и до фюрера и каким он будет после него. Когда
окончится эта шумиха с победой над нами, западным держа-
вам придется раскошелиться, чтобы восстановить нашу мощь
и снова нацелить ее против Советского Союза.

— Однако вы оптимист, и нервы у вас железные.

— Конечно, — самодовольно согласился Вилли. Хмыкнул
презрительно: — Я не Лансдорф. Это он застрелился, как ис-
теричка, когда кто-то из подчиненных доложил ему, что один
из его любимцев — якобы советский разведчик.

— На кого же пало подозрение? — поинтересовался Генрих.

— Неизвестно. Лансдорф сжег все бумаги. Слишком уж он кичился своим недосягаемым, как ему казалось, для простых смертных мастерством читать в чужих душах. Готовил мемуары, где изобразил себя как звезду первой величины в германской разведывательной службе. И, наверно, не захотел, чтобы его мемуары оказались подпорченными. Вот и застрелился из авторского тщеславия и старческой болезненной мнительности.

— Значит, никакого советского разведчика не было?

— Конечно. Обычный донос незадачливого сотрудника, ревнующего к преуспевающему.

Пробираясь через развалины рейхсканцелярии в подземную казарму эсэсовской охраны, Шварцкопфы изрядно перепачкали свои парадные мундиры известью и битым кирпичом. В узком коридоре они сняли перчатки, затем прошли каменной лестницей через гараж и встали в медленно продвигающуюся очередь высших чинов рейха, прибывших приветствовать фюрера.

В длинной, как вагон, приемной с низким потолком и обнаженными бетонными стенами, под портретом Фридриха Великого, заключенным в золоченую раму, сидел в кресле Гитлер.

Ноги его, в широких брюках, были широко расставлены, словно он сползал с кресла и хотел удержаться на нем. Картофельного цвета, рыхлое лицо обвисло, оттягивая нижние веки. Волосы влажны и аккуратно расчесаны, как на покойнике.

Громадный, гориллообразный Кальтенбруннер стоял по левую руку от фюрера. Рядом с ним — низкорослый Борман. Его безгубая, с узкой щелью рта физиономия сохраняла прежнее надменное выражение.

Старший адъютант Гитлера, озабоченно склонившись, стоял справа и после каждого рукопожатия незаметно протирал ладонь фюрера ваткой, смоченной дезинфицирующей жидкостью.

Хотя в бункере стояла тишина, в этом затхлом и душном подземелье было трудно расслышать, что отвечал Гитлер на приветствия. Он с заметным усилием, булькающе бормотал какие-то неслышные слова, и его, казалось, бескостное, дряблое тело все ниже спускалось с кресла. Только крупный, грубой формы нос на сером и влажном лице торчал твердо, высокомерно и самостоятельно. Лежащая на подлокотнике левая рука все время конвульсивно подергивалась. И никто не смел смотреть на эту одинокую руку, энергично дергающуюся в то время, как ее владелец обессиленно и вяло сползал с кресла.

Но, когда к Гитлеру подошел Гиммлер и, сладко улыба-

ясь, начал восторженно приветствовать его, случилось то, чего Генрих Шварцкопф менее всего ожидал от этого полутрупа и о чем передавали лишь в сплетнях, легендах.

Фюрер вскочил, яростный, напряженный, неистовый. Вопя и визжа, он пытался своими скрюченными пальцами сорвать ордена с мундира Гиммлера.

Из нечленораздельных воплей с трудом можно было понять, чем вызвана эта ярость: англо-американские войска обнаружили в концлагере Берген-Бельзен, а также и других лагерях неумерщвленных узников. Эсэсовцы, применяя фаустпатроны, успели убить только часть заключенных, но опаленные трупы не были сожжены.

Гитлер обвинял Гиммлера в том, что тот сделал это нарочно, стремясь помешать завершению переговоров с англичанами и американцами о совместных действиях против Советской Армии.

Гиммлер молча и терпеливо выждал, пока этот приступ бешеной энергии закончился и силы Гитлера иссякли. Воспользовавшись моментом, стал деловито докладывать. Он отдал приказ отправить всех заключенных из концентрационных лагерей Заксенхаузена, Равенсбрюка и Нейенгамма походными колоннами в Любек. Там их должны погрузить на суда, вывезти в открытое море и утопить. Приказ этот уже выполняется.

— И не останется никаких следов? — спросил Гитлер.

— Абсолютно, — твердо заверил Гиммлер. Потом сказал: — Мой фюрер, вы же знаете, — в концентрационных лагерях, расположенных и в самой Германии и на оккупированной территории, содержалось в общей сложности около восемнадцати миллионов человек. Одиннадцать миллионов из них за эти годы были подвергнуты обработке на умерщвление. — Произнес с достоинством: — Мои заслуги и усердие в этом направлении вам известны. — Пожаловался: — Но, к сожалению, в ряде лагерей мой исходящий из вашего повеления приказ не был исполнен. Виною тому роковые обстоятельства, не поддающиеся расследованию: тут и катастрофа с самолетом, в котором летели уполномоченные СС, и многое другое...

Докладывая ровным голосом, Гиммлер замирал от ужаса: боялся, что фюреру стало известно о его тайных кознях и вот сейчас, сию минуту, последует приказ арестовать его.

Шелленберг всячески старался внушить Гиммлеру бодрость и веру в будущее. Он вызвал из Гамбурга астролога Вульфа, и тот составил для Гиммлера гороскоп, в котором была предначертана его судьба: он будет фюрером. Шелленберг подговорил Феликса Керстена, личного массажиста Гиммлера, чтобы тот внушал раскисшему рейхсфюреру, будто ему предназначено стать восприимчивым Гитлера.

Взбодренный всеми этими внушениями, Гиммлер даже решился просить своего старого школьного товарища Штумп-

феггера, чтобы тот сделал Гитлеру смертельный укол, заменив наркотическое вещество в шприце ядом.

Но сейчас, согбенно стоя перед обессиленно, с неподвижными зрачками валяющимся в кресле фюрером, Гиммлер содрогался от ужаса.

Отправляясь к Гитлеру, чтобы поздравить его с днем рождения, Гиммлер засунул себе за щеку ампулу с ядом. И, докладывая, все время ощущал ее у десны. Если фюрер отдаст приказ арестовать его, он чуть шевельнет языком — и ампула окажется на зубах. Сомкнуть челюсти, ампула хрустнет — и все. И он обманет Кальтенбруннера и Бормана, лишит их возможности пытать его, применяя все те способы, которые за долгие годы практики в застенках научился применять он сам...

Фюрер устало махнул рукой. Гиммлер перевел дух и на прыпочках направился к выходу. Лицо его, шея и подмышки были мокры от вонючего, как моча, пота.

На этом прием был закончен. Фюрер устал, заявил адъютант, но пообещал, что обо всех, кто пришел поздравить, будет потом доложено.

В подземном гараже толпились не принятые Гитлером высокопоставленные визитеры, главным образом ближайшее его окружение, его свита.

Среди них Генрих увидел наглого и упоенного собой генерала Фегелейна, мужа сестры Евы Браун. От Вилли он знал, что Фегелейн — сподвижник Гиммлера и ведет с ним какие-то тайные переговоры. Но сейчас генерал со злостью, громко поносил Гиммлера за бездарность, за неспособность уничтожить заключенных в концлагерях. И Гиммлер покорно выслушивал оскорбления, ни слова не отвечая на них.

Фегелейн смолк только тогда, когда в сопровождении своих детей появилась Магда Геббельс: в присутствии особы женского пола были недопустимы те выражения, которые он употреблял, понося Гиммлера.

Оба они — и Фегелейн и Гиммлер — почтительным поклоном приветствовали фрау Геббельс. Потом, словно это не он только что оскорблял Гиммлера, Фегелейн как ни в чем не бывало обратился к рейхсфюреру:

— Я полагаю, он, — кивок в сторону двери, — до конца не покинет бункер.

— Вы думаете? — с сомнением в голосе произнес Гиммлер и, оглядев сырые бетонные своды, заметил: — Сооружение не очень-то надежное.

— А что сейчас надежно и кто надежен? — спросил Фегелейн.

— Кого вы имеете в виду?

Фегелейн, ухмыляясь, похлопал Гиммлера по плечу:

— Однако вы смелый человек — решились поздравить

фюрера. А вот Геринг не решился — засел на юге, выжидает, пока его провозгласят преемником.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Вот именно, — согласился Фегелейн и еще раз многообещающе улыбнулся Гиммлеру.

Откуда было Фегелейну знать, что, пока он успеет донести фюреру на Гиммлера, Бормани и Кальтенбруннер донесут на него самого и не пройдет и нескольких дней, как он будет расстрелян здесь же, на заваленном обломками дворе рейхсканцелярии. И Ева Браун в утешение и не без зависти скажет своей овдовевшей сестре:

— Ну да, теперь ты можешь перед западными державами выдавать себя за жертву Гитлера. И даже получить от них пенсию, вполне достаточную для того, чтобы открыто содержать твоего Скорцени.

— Сначала он был твоим любовником, — напомним вдова.

— Но душой и сердцем я всегда была с Адольфом, — гордо отпаривает Ева, — даже тогда, когда Отто бывал со мной мил.

Из-за хилого здоровья и крайней неврастеничности Гитлер никогда не мог позволить себе удовольствия собственноручно убить кого-либо. Но он любил тех, кому это было под силу. Любил и завидовал им. Он был привязан к Отто Скорцени. Его телесная сила, его «огромность» восхищали фюрера. Этот тупой, с крохотным, зачаточным мозгом верзила, будучи буршем, даже на первом курсе не мог освоить самых элементарных предметов. Но попробовали бы не дать ему диплом инженера! Да он проломил бы голову любому профессору из-за угла кастетом.

У Скорцени была фигура борца, он оброс плотным, тяжелым мясом, но на студенческих спортивных состязаниях никогда и ни в чем не мог добиться первенства. Зверь по натуре, он был лишен некоторых черт, свойственных животным. Ему не хватало слепой отваги. Но для того, чтобы убивать безнаказанно, не встречая сопротивления, нужна только сноровка. И он убивал профессионально, как мясник, зная, что ему ничто не угрожает. Его профессия убийцы привлекала к нему фюрера, и фюрер снисходительно прощал сестрам Браун их влечение к этому животному.

Магда Геббельс шла сквозь толпу, собравшуюся в гараже, презрительно вздернув и без того высокие по тогдашней моде плечи. Она знала, что каждый здесь не раз со скорбным лицом выспрашивал Мюрелье, личного врача Гитлера, о состоянии здоровья фюрера в надежде, что оно безнадежно.

Но Мюрелье так наспиговывал Гитлера инъекциями наркотиков, что тот из полутрупа вновь превращался в одержимого бешенством, жаждущего отомстить всем и каждому властелина.

Магда Геббельс знала: все здесь жаждут смерти Гитлера.

Но каждый хочет услышать о ней прежде других, чтобы не медля начать пресмыкаться перед тем, кто, изловчившись, сумеет стать преемником фюрера.

А для некоторых смерть Гитлера послужила бы только сигналом к бегству на Запад или куда угодно. Бежать без этого сигнала они боялись, зная, что Гиммлер, Кальтенбруннер, Борман настигнут беглеца и с наслаждением убьют. И убьют не как дезертира, а как возможного претендента на участие в тайном дележе гигантских сокровищ, которые хранятся в банках нейтральных держав. Это был резервный фонд на тот случай, если для нацистов откроется возможность снова прийти к власти.

Магда Геббельс ненавидела этих людей давно — с тех времен, когда Гитлер еще не был диктатором империи, но уже был фюрером нацистов.

Гитлер испытывал к Магде странную привязанность и оказывал ей предпочтение перед всеми другими женщинами. Она готовила ему любимые блюда — картофель с рубленными крутыми яйцами и сбитые сливки с шоколадом. Он был сладкоежка, любил домашний уют и наслаждался им.

Геббельс униженно молил Магду ради их собственного благополучия сблизиться с фюрером.

Магда послушно пыталась выполнить волю супруга. Но фюрер, мягко отклонив все ее попытки, разъяснил, что он не имеет права расточать свою энергию, отданную политической деятельности. Выслушав это величественное признание, Магда стала относиться к Гитлеру с еще большим восхищением: ведь он так отличался от окружающих его людей.

Ревнуя к преимуществам Геббельса, близкие к фюреру лица стали настойчиво искать для него другую наперсницу — такую, которую они могли бы сделать своей агенткой.

Но все неудачно. Аристократка Пуцци Ганфштенгль отклонила притязания Гитлера еще тогда, когда он был не фюрером, а только вожаком фашистов и не умел себя вести ни за столом, ни в обществе. Потом Гитлер отверг рекомендованную ему госпожу Вагнер, родственницу композитора, а вслед за ней и вдову фабриканта роялей Бехштейна.

Наконец нашли баварку — Еву Браун, ассистентку фотографа Гофмана, бывшего ефрейтора. Она-то и вытеснила Магду Геббельс.

...Магда Геббельс бросила злобный взгляд на мясистую фигуру Кальтенбруннера: она знала, что Кальтенбруннер и его друг Скорцени все подготовили для бегства в Австрийские Альпы, где в тайниках было спрятано огромное количество разного рода ценностей. Оба они лгали фюреру, что в горах сооружены неприступные бастионы, где засядут отборные эс-эсовцы, чтобы продолжать борьбу.

Магда не верила, что эти любимцы фюрера будут сражаться, когда его не станет. Она знала: они просто хотят укрывать припрятанные в горах сокровища.

Но могла ли она знать, что произойдет в дальнейшем? Что Скорцени, сопровождая обессиленного Кальтенбруннера по горной тропе, предаст его американцам в надежде снискать себе их признательность и отделаться от партнера при дележе хорошо укрытых богатств? Скорцени преуспел в своем намерении, к тому же у него была твердая гарантия в том, что англо-американцы отнесутся к нему почтительно. Когда, после капитуляции Италии, Скорцени похитил Муссолини из заключения, он сумел украсть у него не только часть дневников, но — что самое главное — тайную переписку с премьер-министром Англии Уинстоном Черчиллем.

Эти письма содержали столь компрометирующие Черчилля материалы, что его политическая репутация могла на скло-не лет оказаться запятнанной, без надежды на очищение.

Скорцени предъявил англо-американцам эти письма Черчилля как ультиматум, потребовав взамен почтительности, комфорта и полной свободы.

Гейбельс стоял в окружении генералов, опираясь о крыло загруженной чемоданами машины с непробиваемыми сизыми стеклами. Откинув голову со скошенным лбом, постукивая ногой с наращенным, как копыто, каблуком, он говорил:

— Мы твердо верим, что в нынешней героической борьбе нашего народа, если заглядывать далеко вперед, возникает самая великая империя, какую когда-либо знала история. Но это зависит только от нас самих...

Магда знала, что в этой машине они должны уехать из Берлина, но только не сейчас, а потом, когда Гитлер подпишет свое завещание. Муж рассчитывает, что его верность будет по достоинству оценена фюрером. А пока он только старается использовать оставшееся время: сплетничает Гитлеру на Гиммлера, Кальтенбруннера и Бормана как возможных претендентов на роль фюрера.

Кейтель крутил ручку патефона, как всегда, когда к нему обращались с вопросами, на которые он не хотел отвечать. С тупым выражением лица слушал музыку, ожидая, когда терпение человека, обратившегося к нему с неотложным вопросом, иссякнет.

Кейтель знал: фюрер не покидает бункер под рейхсканцелярией не потому, что жаждет руководить отсюда войсками, безнадежно сражающимися против штурмующих Берлин советских дивизий. Стоит Гитлеру покинуть бункер, как те, кто окажется рядом с ним, во имя своего спасения передадут его противнику как выкуп за себя. И будут клятвенно и документально заверять, что этот впавший в состояние прострации, утративший речь, зрение и слух полупаралитик и есть тот самый Гитлер, фюрер, бывший диктатор бывшей Третьей империи.

А пока собравшиеся в помещении рейхсканцелярии отмечали день рождения Гитлера.

Сейчас в гараже они беседовали, курили, пили, ставя бутылки с вином на подножки машин. Все было прилично.

Кто-то шутливо сообщил, что Крупп сказал о Геринге: «Эту тушу следовало приволочь в Рур, чтобы накрыть ею те мои заводы, на которые падают бомбы. Это единственное, на что он сейчас пригоден».

О безуспешных попытках Геринга от своего имени заключить сепаратный мир с союзниками было известно всем. Но также было известно и другое: подавить демократическое движение в Германии мог только Гиммлер, сосредоточивший в своих руках все полицейские и эсэсовские силы рейха.

Гиммлер сейчас единственная фигура, достойная стать восприемником Гитлера. Но, к сожалению, ему не удалось уничтожить самых опасных улик: заключенные многих концлагерей освобождены Советской Армией, а также войсками союзников.

Гости фюрера пытались выяснить, что помешало Гиммлеру и Кальтенбруннеру начисто смести все концлагеря с лица земли. Говорили об этом с раздражением, терялись в догадках.

Не понимали они также, почему с немецкой территории, занятой советскими войсками, не поступают сведения о подпольных террористических отрядах «вервольфа», в изобилии снабженных всем необходимым для самых активных действий.

Слыша эти разговоры, Генрих Шварцкопф с гордостью думал об Иоганне Вайсе. И собой он сейчас тоже гордился. Затянутый в черный мундир эсэсовца, он держал себя здесь надменно. Было известно, что фюрер благоволит к нему. Он считался ловким малым, и даже генералы на всякий случай любезно улыались, подымая бокалы, чтобы выпить с ним.

Прибывшие поздравить фюрера не спешили расходиться, но вовсе не потому, что им приятно было общаться друг с другом. Началась очередная бомбежка, и, не желая показаться трусами, они продолжали оживленно беседовать. Соблюдая приличия, болтали о чем угодно, терпеливо выжидая, когда наконец можно будет удрать из этого ненадежного подземья.

У тех из них, кто принадлежал к свите, охране и обслуживающему персоналу Гитлера, лица были светло-серыми, больничного цвета. От постоянного пребывания в подземелье кожа обесцветилась, и, чтобы не слишком походить на покойниц, долго пролежавших в морге, женщины-связистки так ярко размалевались, будто им предстояло выйти на сцену.

Это был склеп, в котором бродили мертвецы, и каждый из них пытался притворяться живым человеком.

Вилли Шварцкопф ни на минуту не оставался один, его беспрестанно отводили в сторону, что-то озабоченно шептали

ему на ухо. Административно-хозяйственное управление СС было сейчас главным звеном рейха: оно занималось финансовым обеспечением всех этих деятелей империи на те времена, когда империя перестанет существовать.

И Вилли Шварцкопф направо и налево раздавал щедрые и утешительные обещания. Ему тоже сулили золотые горы в вознаграждение за услугу. В ответ он недоверчиво качал головой, отлично зная, что его надуют так же, как и он намеревался надуть многих из своих подопечных. Он сам руководил финансовыми операциями, оформлял перевод валюты и золота в иностранные банки на текущие счета с подставными именами. Документы на эти подставные имена отлично изготовил технический отдел зарубежной разведки, и часть из них Вилли успел присвоить. Он не собирался бежать на Запад с обременительными, громоздкими чемоданами; чтобы аккуратно уложить эти документы, достаточно будет потрепанного ручного саквояжа с двойным дном. А получить по ним в банках он успеет. Сначала нужно освоиться и решить, в какое предприятие надежней и доходней всего вложить свои средства. Сознание, что он уже стал обладателем миллионов, помогало Вилли сохранять скромный вид и услужливо обещать каждому все, что угодно.

Так, он терпеливо выслушал Кейтеля, который, прежде чем обсудить с ним некоторые свои финансовые дела, сказал доверительно:

— Фюрер не утратил надежды, нет. Князь Гогенлоэ еще может от его имени договориться с англо-американцами. Особые надежды он возлагает на США. Если б вы видели фюрера, когда он получил извещение о смерти Рузвельта! Он радовался от всего сердца, как ребенок. Вы знаете, он пуританин, не пьет ни капли спиртного, а тут потребовал шампанского. Почему только это произошло так поздно? Если бы на год раньше! Трумэн слишком поздно стал президентом. — Сказал раздраженно: — Мы давно знали о его симпатиях к нам и могли бы ему помочь в свое время — подбросить способных агентов, чтобы устранить Рузвельта. Гейдрих умел устраивать такие дела с безупречным изяществом. Не то что Гиммлер. Что такое Гиммлер? Тупица. Фюрер не простит ему оплошности с концлагерями. Борман расценивает переговоры Гиммлера с агентами англичан и американцев как измену и ставит вопрос об его исключении из нацистских рядов. Но главное — концлагеря. И он еще посмел поставить исключительно себе в заслугу истребление одиннадцати миллионов. И не смог справиться с остальными. В каких условиях? Наиболее благоприятных! Да за это повесить мало!

Вилли почтительно доложил Кейтелю, какие меры принял административно-хозяйственное управление СС, чтобы оформить текущие счета в банках нейтральных стран на подставных лиц. Их имена вписываются в документы, изготовленные

техническим отделом СД, и вручаются тем, для кого и сделаны эти вклады.

— Отлично, — сказал Кейтель. — Я еще подумаю над тем, какой способ будет для меня наиболее приемлемым.

Толпясь в гараже в парадных мундирах, все эти руководящие деятели империи говорили друг с другом шепотом, сохраняя на лицах скорбное, торжественное выражение, какое бывает на похоронах. Все они испытывали те же чувства, какие овладевают людьми, когда умирает сверстник: каждый боязливо и с тревогой думает, нет ли у него самого симптомов болезни, от которой скончался покойный.

И так же, как на похоронах любят говорить о светилах медицины, которые могли бы своим вмешательством спасти покойного, так же с особой надеждой присутствующие осведомлялись друг у друга, намереваются ли Трумэн и Черчилль «спасти» германскую империю для новой войны против России.

Генрих, переходя от одной группы к другой, внимательно слушал эти разговоры. И, слушая, о чем говорят между собой обреченные, он думал об Иоганне Вайсе — друге своем, который, рискуя жизнью, вытащил его из этой бездны и сделал борцом за новую Германию.

Генрих не собирался возвратиться в тот дом, где он жил и где Вилли Шварцкопф устроил свою канцелярию.

Еще накануне он извлек из сейфов Вилли множество документов, свидетельствующих о злодеяниях нацистов.

Генрих выполнил поручение Иоганна Вайса: в руках у него оказались неотвратимые улики, которые потом можно будет предъявить от имени новой Германии на суде над гитлеровскими военными преступниками, над фашизмом. Часть этих документов впоследствии и была передана Международному трибуналу в Нюрнберге.

Все эти бумаги он спрятал в тайник, указанный ему профессором Штутгофом. Профессор дал Генриху явку в одну из немецких подпольных организаций в рабочем районе Веддинга. Здесь Генрих, переодетый в простую одежду, и укрылся на время в квартире многодетного рабочего, коммуниста Отто Шульца.

Генрих рассказал Шульцу, что его дядя Вилли Шварцкопф подстроил убийство своего брата, и он, Генрих, хотел застрелить убийцу отца, но один русский товарищ запретил ему это.

Шулец с глубоким сочувствием слушал Генриха.

— Этот русский, несомненно, ваш самый большой друг, — сказал он. — Он хотел, чтобы вы стали борцом с фашизмом не только потому, что один из фашистов убил вашего отца.

— Да, — сказал Генрих, — он такой, мой Иоганн...

— Он немец?

— Нет, — сказал Генрих, — настоящий русский. Но он коммунист, как и вы. — Добавил гордо: — И он за немцев —

таких, как вы и ваши товарищи. — Помолчал и тихо закончил: — Но, кажется, Иоганн погиб...

— Не знаете, при каких обстоятельствах?

— Он спасал заключенных в концлагерях. Там были люди всех национальностей — из тех стран, которые поработили фашисты, десятки тысяч людей. Он любил говорить, что человек только тогда счастлив, когда он служит людям...

— Вы не знаете его настоящего имени?

— Нет, — сказал Генрих. — Но он спас меня, спас от чего-то более страшного, чем смерть...

72

Сознание медленно возвращалось к Иоганну Вайсу, но очнулся он внезапно, как от удара, когда увидел перед собой смутный, колеблющийся силуэт Барышева.

Постепенно силуэт уплотнялся, словно изображение на экране, которое сначала было не в фокусе, а потом вдруг сразу приобрело четкость.

На широкие плечи Барышева был наброшен халат, режущий глаза своей белизной. Барышев, кряхтя, опустился на стул возле койки и, будто они виделись только вчера, сказал своим обычным голосом, как всегда деловито и озабоченно:

— Ты чего же это, Белов, такой не очень веселый? — Наклонился, прижался своей гладко выбритой щекой к лицу Иоганна, выпрямился: — Ну, здравствуй! — Сказал: — На улице жара, а у тебя здесь хорошо, прохладно. — Вытер платком шею, осмотрелся. — Палата персональная. — И стал выкладывать на тумбочку из кулчков фрукты и разную снедь.

Вайс внимательно и недоверчиво смотрел на Барышева, ожидая, когда этот призрак вновь заколеблется и растает, как таяли вещи, которые он до этого пытался разглядеть, чтобы установить, сохранилось ли у него зрение. Но с появлением Барышева все предметы в палате приобрели твердую устойчивость и существовали уже не как силуэты, а во всей своей вещной плотной основательности.

Обернувшись к медицинской сестре, которая с несколько ошеломленным и растерянным лицом стояла у двери, Барышев попросил умильным тоном:

— Нам бы, сестрица, чайку с хорошей заваркой, по-московски. Можно? А то вы, по всему виду, его, как фашиста, только спитым поили.

— Ничего подобного, — строптиво возразила сестра, — обслуживали на уровне своего офицерского состава.

— Ладно, — добродушно согласился Барышев. — Так, значит, чайку на этом же уровне.

Когда полковник Барышев прибыл теперь уже в гарнизонный госпиталь, расположенный в небольшом немецком городке, где, по полученным сведениям, должен был находить-

ся на излечении Белов, дежурный врач, проверив списки, сообщил ему, что никакого Белова у них нет и не было. Есть несколько больных и раненых советских офицеров, но тот, кого ищет полковник, среди них не числится.

— А все-таки, может быть, есть еще какой-нибудь раненый, находящийся на излечении? — настаивал полковник.

— Есть немец, офицер СД. — Врач поднял брови и заявил решительно: — Но как медик я возражаю, чтобы вы его сейчас допрашивали. Это может окончательно нарушить его психику. Травматические повреждения оказались весьма серьезными. — Предложил: — Если желаете, можете взглянуть на его госпитальную карту. — Объяснил: — Матерый фашист. — И тут же счел необходимым добавить: — Но мы относимся к нему не как к военному преступнику, для нас он только раненый, находящийся на излечении.

— Разрешите взглянуть, все-таки любопытно.

Врач подал Барышеву историю болезни.

«Гауптштурмфюрер Иоганн Вайс», — прочел Барышев, и ему понадобилась вся его воля, чтобы сохранить спокойствие.

— Ну, и что это за птица? — вяло спросил Барышев, жадно поглядывая на графин с водой.

— Это человек, исключительно преданный фашизму. Даже в состоянии глубокой психической травмы, сопровождающейся общей подавленностью и временным ослаблением зрения, слуха и функций конечностей, он сохраняет представление о себе как о нацистском «герое». Правда, — продолжил после небольшой паузы врач, — его психоз несколько своеобразен: ему кажется, будто он среди своих, в немецком госпитале. И, чтобы не вызывать дополнительных волнений, мы всячески стараемся не разубеждать его. Он в очень плохом состоянии, и, если узнает, что находится в плену, это может привести к летальному исходу.

— Так. — Барышев помолчал немного, потом, будто спохватившись, одобрил: — Я, конечно, не медик, но полагаю, с точки зрения психиатрии, ваш метод научно обоснован.

— Несомненно, — сказал доктор.

Барышев неверными пальцами взял папиросу, сунул ее в рот обратным концом, попытался зажечь, с отвращением бросил в пепельницу, спросил с трепетом:

— Ну, а как вы думаете — выздоровеет он?

Врач пожал плечами.

— Видите ли, — сказал он внушительно, — множественные ранения зарубцевались удовлетворительно. Но функции мозговой деятельности — это пока для нас тайна. Бывает, какой-нибудь внешний раздражитель воздействует так, что весь психический аппарат внезапно обретает утраченную устойчивость. Но может быть и обратное. Мы рассчитывали на лечение длительным сном. Этот общий отдых нервной

системы дает обычно наиболее благоприятные результаты.

— И что же, он спит?

— Представьте, даже самые эффективно действующие препараты снотворного бессильны. И мало того, больной притворяется, что спит: веки его реагируют на световые раздражители, а у спящих этого не бывает.

— Слушайте, — жалобно попросил Барышев, — разрешите мне стать этим самым благотворным раздражителем. Поймите, дорогуша, это же наш товарищ и, попросту говоря, самый обыкновенный герой.

Доктор изумленно уставился на него. Барышев взмолился:

— Разрешите, а? — Признался: — Я сам волнуюсь. — Попросил: — Дайте чего-нибудь, — пощелкал пальцами, — ну, вроде валерьянки, что ли... А то, знаете, тоже нервы.

В конце концов Барышев взял себя в руки и с первой минуты, как только вошел в палату к Белову, стал держать себя так, будто они все время были вместе и он только отлучился ненадолго, а теперь вернулся. Оглядывая узкую палату и как бы примериваясь, Барышев спросил Белова:

— Ты как, не возражаешь, если мне тут, у стеночки, коечку соорудят? — Объяснил: — Я, конечно, не раненый, но для докторов был бы человек, а болезни найдутся.

И когда по просьбе Барышева в палату внесли вторую койку, он переоблачился в больничную одежду и сказал:

— Люблю полечиться, хотя и не часто доводилось. К хирургам, правда, попадал — приносили. А вот так, чтобы своими ногами прийти, — все некогда. А все-таки свой организм уважать надо: ведь благодаря ему существуем. А мы все больше так: тело вроде тары, держит тебя, — значит, порядок. — Улегся на койку, предложил: — Поспим, что ли? — Осведомился тревожно: — Ты как, не хранишь?

Белов смотрел на Барышева пристально и тревожно.

Барышев надавил на кнопку звонка и, когда пришла сестра, а за ней врач, попросил:

— Вы все-таки меня обследуйте. — Пожаловался неопределенно: — Слабость. — И похлопал себя по покатоному, мускулистому плечу. Спросил: — Может, ревматизм? Или даже температура?

Пока врач и сестра занимались полковником, он вел с ними бесконечные разговоры: интересовался, есть ли в пруду возле госпиталя рыба и на что клюет, как обстоит дело со снабжением, часто ли здесь бывает кино. Когда доктор и сестра вышли, Белов спросил с усилием:

— Они русские?

— Сестра — нет, типичная украинка, а доктор — сибиряк. — И Барышев добавил: — Он военнослужащий, она вольнонаемная.

— РОА, — сказал Белов.

— Ну вот! — воскликнул Барышев. — Откуда же им

взяться здесь, в советском госпитале? — Попросил ласково: — Ты, Саша, успокойся. Оцени обстановку объективно, не торопясь, с анализом всех фактов. — Поворочался в постели. — Не спится. Тебе чего-нибудь такого не дают, чтобы с ходу в сон?

Белов прошептал:

— Дают. Но я их в руках перетираю, таблетки, а потом сдуваю, как пыль, чтобы не нашли, не знали, что я их не принял. — Сузил глаза. — Усыпить хотят, я понимаю.

— Это ты молодец, ловко придумал, — похвалил Барышев. — Однако одну одолжи от бессонницы. И себе возьми за компанию. А то я буду спать, а ты нет — неловко.

— Нет, — сказал Белов.

— Да ты что, мне не веришь? Ну, за компанию, как говорится, по одной?.. — Барышев подал Белову таблетку и стакан с водой, проследил, чтобы проглотил, погладил по плечу: — Ну вот, умница.

Снова улегся и скоро увидел, что лицо Белова обрело спокойное, усталое выражение. «Заснул, — подумал он. — Выходит, ко всему еще и этим мучил себя». Лег на спину, но сон не шел к нему, слишком взволновала его эта встреча, велико было счастье увидеть Александра Белова — Сашу Белова, как Барышев привык называть его.

Он чувствовал себя несколько виноватым...

Дело в том, что сотруднику, находящемуся в Берлине, было поручено немедленно разыскать Белова. Но он еще накануне получения задания обнаружил в архивах гестапо материалы о гибели Иоганна Вайса в автомобильной катастрофе, подтверждавшейся фотодокументами, а главное — надмогильной плитой на кладбище, что было убедительней всего.

Однако у этого сотрудника возникло естественное подозрение: будучи человеком педантичным, предполагая некую коварную махинацию СД, он продолжал дальнейшие розыски в бумагах секретных служб, а это потребовало времени.

Когда поступил запрос в Центр от «профессора» о состоянии здоровья Белова, сопровождавшийся не принятой в подобного рода официальных бумагах просьбой передать привет ему от некоей Надежды, тут встревоженный Барышев незамедлительно вылетел в Берлин и спустя два дня выехал на машине туда, где не столь еще давно происходило сражение парашютистов совместно с группой, приданной Белову.

В Берлине Барышев был вынужден задержаться по весьма важным делам. Но в число их входила и встреча со старым знакомым, бывшим портье «Адлона», матерым гестаповцем Францем.

Барышев посетил Франца в тюремной камере, где тот, щедро снабженный бумагой и письменными принадлежностями, старательно трудился, обстоятельно и добросовестно излагая свои показания.

Бегло ознакомившись с ними, Барышев с радостью обнаружил имя Иоганна Вайса в числе самых даровитых, по мнению Франца, сотрудников Шестого отдела СД, пользовавшихся особым благоволением Вальтера Шелленберга.

Франц, обладая феноменальной памятью, узнал Барышева, в этой же способности не уступал ему и Барышев, посоветовав припомнить в показаниях то, что Францу очень хотелось забыть о своей личной деятельности в гестапо, о чем Барышев был достаточно осведомлен.

И сейчас Барышев чувствовал себя как никогда счастливым, обнаружив Белова и убедившись в том, как его Саша Белов прочно вошел в образ Иоганна Вайса, от которого, оказывается, не просто и не легко ему было освободиться.

Белов спал почти сутки. Проснувшись, он боязливо открыл глаза, опасаясь, что снова все вокруг будет расплываться туманными силуэтами. Но оказалось, что бояться нечего, зрение восстановилось почти полностью. И он увидел дремлющего на стуле перед его койкой Барышева в больничном халате. И лежал неподвижно, чтобы не разбудить его. Но Барышев спал чутко, при первом же шорохе проснулся, улыбаясь Белову, подошел к окну, раздвинул занавески. Одобрил погоду.

— Сейчас хорошо бы по грибы! — Объяснил тоном знатока: — В таких рощицах они водятся, особо на опушках.

Кроме поисков Белова у Барышева были здесь и другие важные служебные задания, но еще ночью он вышел босиком в коридор, боясь шаркать тапочками, из кабинета главного врача вызвал по телефону Москву, объяснил, где он. И заявил, что это свое пребывание в госпитале считает делом чрезвычайной важности. Профессор-специалист должен был по его просьбе прилететь в гарнизонный госпиталь сегодня же. Особенно долго Барышев говорил с родителями Белова.

— Самое главное, — кричал он в трубку, — температура нормальная. А это — все. Раз температура в порядке, значит, и человек тоже.

Когда утром Белов вдруг встал с постели и прошел к раковине умываться, Барышев спросил несколько растерянно:

— Это что ж такое? Выходит, симулировал?

Белов сказал:

— Ночью я вставал и учился ходить слепым, чтобы не разучиться ходить вообще. Я продумал все: если б удалось бежать, я бы выдал себя за ослепшего солдата вермахта.

— Ну, тогда правильно, — согласился Барышев. Вздыхнул. — Как представляю, что ты слепой ковыляешь по дороге... А шоферы у нас знаешь какие лихачи? Жмут на сто с лишним. Фасонят перед гретхенами. — Добавил осуждающе: — Взыскивать с них надо, вот что!

После завтрака Белов решительно объявил:

— В Берлин мне нужно!

— Нет, брат, пока опасно.
— А вы видели мой документ? А подписи видели?
— Смотрел. Почти весь зверинец расписался.
— Ну вот, — сказал Белов.
— Что вот? — спросил Барышев. — Ничего не вот! Любая регулировщица задержит — и все.

— Меня бы только через линию фронта перебросить, — попросил Белов.

— Нет, — отрезал Барышев. — Нет. И ничего вообще нет: ни линии, ни фронта, и твой документ — музейный экспонат, и только. — Пробормотал досадливо: — Может, это для тебя и раздражитель, как доктор говорил, но пускай раздражитель, только войне — конец. Наши на Эльбе загорают. Вот так вот. И, если хочешь знать, отметки о прибытии и отбытии на моей командировке официально должен заверить комендант Берлина. И пистолет мне там нужен, как валенки в Сочи, на пляже. Понял?

— Значит, все?

— Именно, — сказал Барышев. — Все.

Белов долго молчал. Жмурился, улыбаясь каким-то своим мыслям. Спросил вдруг:

— Машина у вас есть?

— Допустим.

— Пошлите за Генрихом Шварцкопфом, если он жив. Пусть привезут.

— Во-первых, он жив, — сказал Барышев. — А во-вторых, что значит «пусть привезут»? Товарищ Шварцкопф сейчас должностное лицо, директор крупного предприятия.

— Где?

— То есть как это где? В нашей зоне. Пока — зона, а потом немцы сами найдут, как ее назвать. Наше дело простое: как их народная власть решит, так и будет.

— Но я хочу его видеть.

— А я, думаешь, нет? Пошлем телеграмму, это можно. А насчет транспорта — он обеспечен. Персональный, как и положено по должности.

— Слушайте, а Гвоздь?

— Ну какой же он Гвоздь? Теперь шишка — председатель колхоза. Щелкает протезом, но дела у него ничего.

— А Эльза?

— Какая это Эльза?.. Ага, Орлова... В кадрах. Ну, только очень она, понимаешь, подозрительно интересовалась гражданской юриспруденцией: как брак Зубова с немкой, законный или незаконный? Оперативники считают, любила она Зубова.

— А где Зубов?..

Барышев нахмурился. Сказал, с трудом находя слова:

— Понимаешь, тот самолет, на котором он отбыл вместе с уполномоченными СС, не прибыл к месту назначения. Зна-



чит, выходит, при всех вариантах Зубов — герой, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Он... жив?

— Хотелось бы. Ну так хотелось бы! Ну, очень! — И тут же перевел разговор: — Люся Егорова, помнишь ее? Ну, та, с обожженным лицом, аведь красавица, когда другой половиной лица повернется, — она теперь мамаша, и такая страстная! Пришел в гости — в коридоре держит: «Согрейтесь с холоду, а то малютку простудите». Заглянул в коляску — конверт в бантах, а в нем — экземпляр, лежит и соской хлопает. Ну, я ей за держание в коридоре отомстил. Вынул у ребенка соску, выбросил, сказал: «Современная медицина против — негигиенично». Туз и сейчас туз — в райисполкоме командует. — Спросил: — Может, хватит, антракт? — Предложил строго: — Давай так, поначалу на информацию десять минут, в остальные дни — прибавка каждый раз по столько же. Чтобы порядок был. Режим. Мы же не где-нибудь, а в госпитале. И я сам тоже на положении рядового хворающего. Услышат вдруг разговорчики, наложат взыскание — внеочередную инъекцию витамина. А куда колют? В самую беззащитную территорию. — Произнес шутливо: — Интересно, генералам и маршалам тоже так или куда-нибудь в более благородное место?

Так, добровольно пойдя на заключение в госпитальной палате, Барышев терпеливо и настойчиво выхаживал Сашу Белова, объяснив высокому начальству, вызывавшему его в Москву, важность своего пребывания здесь, рядом с выздоравливающим Беловым.

Когда в госпиталь приехал Генрих Шварцкопф и, бросившись к Белову, крепко обнял его и стал шепотом, изредка оглядываясь на Барышева, рассказывать о тех днях, когда он остался один и продолжал работать, Барышев счел неудобным присутствовать при разговоре советского разведчика со своим соратником и вышел в коридор.

Сидя там на скамье рядом с «титаном», он курил и беседовал с выздоравливающим офицером о жизни, какая сейчас в стране и какая должна быть потом. А когда он, постучав предварительно в дверь, вернулся в палату, Генрих сказал смущенно:

— Извините, я не знал, что вы полковник Барышев.

— Это моя оплошность, — ответил Барышев. — Не представился.

Прежде всего Генрих захотел рассказать Барышеву о том, что важного он сумел установить в последние дни существования фашистской Германии.

Барышев его вежливо выслушал, поблагодарил. Потом сказал задумчиво:

— В сущности, это все, как говорится, минувшее. А вам,

товарищ Генрих, предстоит сейчас думать о том, какой станет Германия. Покончили с фашизмом мы, а строить новую Германию будете вы... — Провел ладонью по серым от седины волосам, добавил: — Вам, как товарищу Иоганна Вайса по работе, скажу: секретная служба гитлеровцев со всеми архивами и штатами, коей удалось уйти на Запад от нашей, выражаясь по-старинному, карающей десницы, перешла в наследство к тем, кто мечтает стать преемниками Гитлера. Так вот, надо, чтобы эти сладкие их мечты не превратились в горькую для вас действительность.

А если говорить о делах, то позволю себе не согласиться с вашим решением — оно стало мне известно — не брать на работу инженера Фридриха Дитмара только потому, что он инвалид.

— Нет, — возразил Генрих, — не потому. Я получил письма, в которых этот Дитмар охарактеризован как отъявленный нацист...

— Мне сообщили и это, — прервал его Барышев. — Хочу напомнить о бдительности. Тайные нацисты стремятся скомпрометировать тех немецких специалистов, которые, не скрывая своих прошлых заблуждений, хотят сотрудничать с вами.

— Фридрих Дитмар! Да ведь я же знаю его! — воскликнул Белов.

— Дело не в том, что именно ты его знаешь, — сказал Барышев. — Дело в том, что враг в разные исторические времена использует различные коварные приемы борьбы, но цель у него всегда одна: если не физически, то морально убить человека. Вот, — улыбнулся он, — значит, моя к вам просьба, товарищ Генрих: оставайтесь разведчиком, только теперь — человеческих душ.

Генрих обернулся к Белову:

— Иоганн, я решил вступить в Коммунистическую партию. Как ты думаешь, примут?

— Извините, я опять вмешиваюсь. — Голос Барышева звучал очень серьезно. — Учтите только вот что: когда об этом станет известно, в партию поступит много писем о вас как о бывшем эсэсовце. Так вы не обижайтесь, эти письма будут писать только честные люди.

— Да, — сказал Генрих, — я понимаю. — Прощаясь, он спросил: — Но ты будешь меня навещать, Иоганн?

— А ты меня?

— В Москве — обязательно. Скажи твой адрес.

Записав, Генрих хотел закрыть блокнот.

— Подожди, а кому?

— Да, я и забыл, что у тебя есть другое имя. — И Генрих задумчиво повторил несколько раз: — Александр Белов, Александр Белов. Знаешь, мне трудно привыкнуть. Мне странно, что тебя зовут не Иоганном.

— Ладно, пиши письма на имя Белова, а для тебя я по-прежнему остаюсь Иоганном Вайсом.

Когда Генрих ушел, Барышев сказал:

— Вот ведь что главное у нас — человека спасти. В этом великая цель и великая радость. — Лег на спину, спросил: — Поедем?

— Что-то не хочется, — улыбнулся Белов.

— Непорядок, — осудил Барышев. Приказал строго: — А ну, мобилизуй волевой импульс! — Скомандовал: — Спать! Инициатива моя, исполнение — мы оба. — И погасил настольную лампу.

Но за окнами еще было светло. Как ни старался Барышев, уснуть не смог. Искоса приоткрыв глаза, увидел, что Белов спит. Лицо у него было спокойное, безмятежное, и дышал он ровно. «Волевой парень, — завистливо подумал Барышев. И еще он подумал так же завистливо: — А может, это молодость? Ведь молодому легче справиться с трудностями, чем человеку, обремененному годами». И потом он уже с гордостью подумал о своей работе: «Большая она и бесконечно тонкая, сложная и требует человечности в той же мере, как и беспощадности ко всему бесчеловечному на земле».

Белов не спал. Он только вежливо притворялся спящим, ради успокоения Барышева.

Гибель Зубова потрясла его, но за эти годы он так научился перебарывать себя, подавлять свои чувства, что даже теперь, в присутствии Барышева, как бы автоматически, безотчетно не выдавал того, что пережил при этом известии. И сейчас, лежа недвижимо, с закрытыми глазами, он думал о Зубове, с пронзительной, напряженной ясностью видя его таким, каким он был в то тихое раннее утро, когда они купались в озере Ванзее.

Зубов спросил его вдруг:

«Ты хотел бы прожить сверхсрочно, ну хотя бы до ста? — И тут же заявил: — А я бы не возражал!»

И вот нет уже Зубова. Нет. Но он, как бы не покоряясь смерти, продолжал свое существование в сознании Белова, став его вечным, незримым спутником.

...Это был бомбардировщик, дослуживающий свою службу в качестве транспортного самолета. Пилотировали его два младших лейтенанта — молодые летчики, окончившие училище перед самым концом войны. И оттого, что на их гимнастерках не было ни орденов, ни медалей, ни нашивок за ранения, они казались обмундированными не по форме. И то, что пилоты были очень молоды, и то, что вся их экипировка была новенькая, словно только сегодня из цейхгауза, и то, что лица у них были чрезвычайно озабоченны, — все это напоминало сидящим у бортов на алюминиевых откидных скамьях армейским пассажирам, в большинстве старшим офицерам, их самих — таких, какими они уходили на войну.

Плексигласовый колпак в потолке кабины, под которым некогда висел у турели пулемета бортстрелок, был весь в пробоинах, залатанных перкалем; крановые установки над бомболоками размонтированы, и на балке с болтами, как на вешалке, висят плащи и фуражки.

Самолет летел над территорией Германии.

Пассажиры, неловко повернув шеи, косо сидели на металлических откидных скамьях и смотрели вниз сквозь квадратные иллюминаторы, запотевшие после взлета.

Солнечные лучи, почти отвесно падая на землю, освещали ее так искусно, как это умели делать старые мастера в своих идиллических пейзажах, полных изобильного цветения и земного плодородия.

С высоты земля действительно выглядела аккуратно и тщательно возделанной. И домики с высокими черепичными крышами казались такими же яркими, чистенькими и уютными, как на олеографиях в учебнике Глезера и Петцольда, по которому задолго до войны изучали в школе немецкий язык многие из тех, уже пожилых людей, что летели в самолете. И сейчас они внимательно смотрели на эту землю, с которой природа и труд людей уже начали стирать то, что некогда называлось плацдармами, рубежами, передним краем, где происходили сражения с такой интенсивностью огня, что думалось, почва оплавится и навечно застынет черной, остекленевшей, как базальт, массой и ни былинки не взойдет на ней.

В этой войне человечество потеряло миллионы жизней. И среди погибших были те, кто мог бы своим гением и трудом даровать людям величайшие открытия, указать новые пути покорения природы, совершенствования человека. Но они были убиты.

Германский фашизм выпестовали не одни немецкие империалисты — в расчете на дележ добычи им тайно помогали их западные пайщики. В ходе второй мировой войны эти пайщики не раз колебались, боясь упустить момент, когда следует примкнуть к сильнейшему. И только разгром фашистских армий положил конец колебаниям. Но не радость вызвала у них победа, а тревогу. Советская Армия помогла народам оккупированных фашистами стран Европы, сражавшимся в отрядах Сопротивления, изгнать оккупантов с их земли. И теперь эти народы могли продолжать борьбу за социальную свободу.

Так и произошло в странах Восточной Европы — они стали социалистическими. К этому же шли немцы, жившие на освобожденной Советской Армией восточной территории Германии. И на этой территории советские воинские части всячески стремились, чтобы страна быстрее поднялась из развалин и народ ее, идя по избранному им пути, мог начать строить новую Германию.

Вот почему большинство пассажиров так озабоченно и внимательно смотрели в иллюминаторы: самолет летел над Германией, на полях которой поднимались всходы нового урожая — первого после войны хлеба.

Смотрел в теплый от солнца иллюминатор и Александр Белов. На его гимнастерке, как и у молодых пилотов, не было ни орденов, ни медалей. И обмундирование у него было такое же новенькое, как у них. Выбритая голова со следами снятых швов, глубоко ввалившиеся глаза, скорбные морщины у губ, седина у висков — все это невольно вызывало любопытство пассажиров.

По возрасту — фронтовик. Но нет ни одной награды, — значит, штрафник. А может, бывший военнопленный, попавший в концлагерь в самом начале войны?

Когда сидевший рядом полковник осведомился, с какого года Белов на фронте и в каких сражениях участвовал, тот несколько растерялся, потом объяснил:

— Я, собственно, в тылу...

Полковник посмотрел на заметно впавшую грудь Белова и, снисходительно застегивая пуговицу на кармашке его гимнастерки, заметил наставительно:

— Когда бывало туго, то, знаете, всех тыловиков под гребенку — на передний край. И сражались. Многих я сам лично представил к правительственным наградам.

— Да, конечно, — согласился Белов.

— Значит, в фашистских лагерях довелось побывать? — догадливо решил полковник.

— Приходилось...

— И вынесли?

— Выходит, так, — сказал Белов.

Полковник повернулся к нему крутой спиной и больше уже не заводил разговора.

Самолет вошел в облачность. Стало тускло, сумрачно.

Белов посмотрел на спину полковника и сразу вспомнил Зубова, вспомнил, как тот, крихтя, задрал на своей, такой же широкой спине немецкий китель и попросил:

«А ну, погляди, чего у меня там. Не сильно, а? — И похвастал: — Он меня ранил, но я его не убил, воздержался. Понимаешь, пожалел: уж очень молоденький».

Это было после очередного налета группы Зубова на базу горючего в районе железной дороги. Морщась от боли, но смеясь глазами, Зубов сказал раздумчиво:

«Интересно было бы с карандашиком подсчитать, сколько самолето-вылетов мы немцев лишили. Просто так, для удовольствия».

А потом перед Беловым возникло лицо Зубова, когда тот, склонившись, выбрасывал из самолета на взлетную полосу свой парашют. Поймав удивленный взгляд Белова, он обод-

ряюще подмигнул ему и даже попытался пожать плечами: мол, ничего не поделаешь, так надо.

Но вот образ Зубова будто растворился, исчез, и Белов увидел другое лицо — запрокинутое, со свисающим на лоб лоскутом кожи. Это было лицо Бруно. И когда взгляд Бруно встретился с его взглядом, полным отчаяния, Бруно слегка повел головой, как бы безмолвно объясняя все то же: так надо.

— Может, закурите? — наклонился к Белову майор-танкист с новенькой золотой звездочкой на кителе. Добавил участливо: — Очевидно, здорово о советском табачке соскучились? — Протянул всю пачку. — Возьмите.

— Спасибо, у меня есть.

— Значит, снабдили в дороге. — И майор сообщил: — Я сам в плену был, но убежал. Нетяжелое ранение оказалось, как очухался, сразу и убежал. А вот под трибуналом я не был. Чего не было, того не было. — Сказал твердо: — Но если человек кровью вину искупил... Металля на груди у него нет, но, значит, он есть в сердце. Сейчас важно одно: годен человек для дальнейшего прохождения — уже не службы — жизни или не годен. Горе людское заживить, жизнь наладить — отощали. — Махнул рукой в сторону иллюминатора. — Двоих братьев своих здесь оставил. Вернусь домой один. Что матери скажу? «Здрасте!» — «А где другие?» — «Нет». А я живой. Разве после этого Звездой своей я ее обрадую? Нет.

— Вы неправы, — возразил Белов. — Если б наши люди не совершили невиданного подвига, погибли бы еще миллионы братьев, отцов, сыновей.

— Верно, — согласился майор. — Подвиг — это, в сущности, что? Один делает то, что под силу нескольким. Значит, остальным жить. Вроде как спасаешь их. Правильно? Я так в бою и думал: не сшибу их танк — он наш сшибет. Ну и сшибал. Когда боишься, что из-за тебя свои погибнут, за себя не боишься.

Самолет прорезал облачность, снова появилось солнце. Из рубки вышел второй пилот, объявил торжественно:

— Товарищи, пересекаем государственную границу Советского Союза. — Выждал, произнес тихо: — А то некоторые фронтовики обижаются, когда не информируем, что уже Родина.

Белов не отрывался от иллюминатора.

Огромная теплая земля отчизны, изборожденная шрамами оборонительных полос и круглыми вмятинами бомбовых воронок с мерцающей в них темной водой, лежала в мягкой зелени лесов могуче и проторно. И Белову казалось, что самолет не сам пошел на снижение, а это он силой тяготения

всего своего существа вынуждает его идти все ближе и ближе к земле.

Провожая Белова на немецком аэродроме, Барышев сказал:

— Значит, так: сначала в наградной отдел и только потом, при всех орденах, — в управление. Ты знай: я человек тщеславный, мой кадр — моя гордость. Да не забудь, отцу скажи: если поедете на рыбалку, мотылей пусть берет из моего тайника.

Надя отозвала Белова в сторону, раскрыла сумку и, строго глядя в глаза, приказала:

— Запомните: здесь, в бумаге, курица, четыре крутых яйца, масло в коробочке, какао в термосе. Папа велел передать: вы обязательно должны нормально питаться.

Белов посмотрел жалобно в ее, как всегда, чуть надменное лицо с коротким носиком, еще по-детски пухлыми губами, серо-зеленые глаза под сенью ресниц. Спросил:

— А вы?

— Что я?

— Вы будете в Москве?

Надя удивленно повела плечами.

— Но мы ведь там живем. — Подала твердую маленькую руку. Напомнила: — А витамины принимать до еды. Они в коробочке из-под капсулей для взрывателей.

— Я буду скучать без тебя! — сказал Генрих.

— Я тоже, — грустно улыбнулся Белов.

Генрих обернулся к Барышеву:

— Такими немцами, как Иоганн, можно гордиться!

— Ничего, — сказал Барышев. — Мой Белов ему не уступит. Ну все. Время.

И Белов, чтобы как можно дольше видеть эти дорогие ему лица, пятясь, поднялся по трапу.

А сейчас самолет все снижался и снижался, словно скачивался по стеклянному склону. Как только колеса туго коснулись земли, внезапно исчез один из пассажиров, незримо летевший в самолете, — Иоганн Вайс. Он исчез безмолвно, бесследно. Не было больше двойника у Александра Белова. Майор Белов остался один. На мгновение его охватило чувство одиночества. Но это ощущение покинуло его так же неожиданно быстро, как и появилось.

И никто, даже Александр Белов, не почтил торжественным вставанием гибель Иоганна Вайса. Никто!

Белов жадно и нетерпеливо искал глазами среди встречающих лицо матери — самого главного для него человека на свете. Она была матерью не только Саши Белова, но и Иоганна Вайса, и так как она этого не знала, то исчезновение Вайса ее тоже не опечалило.

Так перестал существовать Иоганн Вайс — гауптштурмфюрер СД.

Оформление
серии «Мир приключений»
В. Змеева



СЕРИЯ
«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
КОЖЕВНИКОВ
ЩИТ И МЕЧ
ИБ № 2188

Ответственный за выпуск Л. Ожован. Художественный редактор П. Пивченко. Технический редактор Т. Выходец. Корректоры В. Никитина, Э. Рипсман.

Подписано к печати с матриц 05.01.83. Формат бумаги 60×90^{1/16}. Печатных листов 53,50. Уч.-изд. листов 56,10. Тираж 50 000. Цена 3 руб. 70 коп. Заказ № 43. Бумага типографская № 1. Гарнитура школьная. Печать высокая.

Издательство «Лумина» («Свет»), Кишинев, пр. Ленина, 180.

Центральная типография, Кишинев, ул. Флорилор, 1. Государственный комитет Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

